

Книги находящіяся на складѣ. Москва, Моховая, д. Бенкендорфъ.

Разныя изданія.

Ауербахъ. „Три единственные до чери“. Пов. М. 99 г. ц. 1 р.
Аленсъезъ, А. А. Воспоминанія актера. М. 91 г. ц. 1 р.

Аленстевскій. Справочная книга для фабрикантовъ, заводчиковъ и владельцевъ промышленныхъ заведеній. Изд. 2-е. М. 98 г. ц. 3 р.

Альбовъ, М. „День да ночь“. Эпизоды изъ жизни одной человѣческой группы. Спб. 94 г. ц. 1 р. 50 к.

Альбовъ, М. и Баранцевичъ, Н. „Вавилонская башня“. Исторія возникновенія, существованія и паденія одного фантастическаго общества. Ром. въ 2-хъ част. съ 20 рис. М. 96 г. ц. 2 р.

Анна. Руководство для установщиковъ электрическаго освѣщенія. Съ рисун. и таб. Изд. 2-е дополн. М. 97 г. ц. 1 р. 50 к.

Баранцевичъ. „Весеннія сказки“. Изящное изд. съ рис. ц. 35 к.

— „Лѣсъ“. Съ рисунками. М. 99 г. ц. 40 к.

— Уголокъ души. 40 юмор. рис. ц. 1 р.

— Птица небесная. 40 юмор. рис. ц. 1 р.

Беллами. „Будущій вѣкъ“ (Черезъ сто лѣтъ). Ром. пер. съ англ. М. 99 г. ц. 75 к.

Борнсъ, Робертъ. Стихот. въ пер. русскіихъ поэтовъ съ биографическимъ очеркомъ и портрет. М. 97 г. ц. 40 к.

Бурже, П. „Вторая любовь“. М. 98 г. ц. 50 к.

— „Голубая герцогиня“. Ром. М. ц. 1 р. 25 к.

Быстренинъ, В. „Житейскія быльи“. Изд. 2-е. М. 98 г. ц. 1 р. 25 к.

Гелдъ, Адольфъ. Фабрика Ремесло. Пер. Спасскаго. М. 96 г. ц. 25 к.

Геппе-Зейдлеръ. Физиологическая химія. Перев. Булыгинскаго. М. 78 г. 3 тома, ц. 1 р. 25 к.

Гребенна. Чайковскій. Ром. М. 99 г. ц. 60 к.

— Докторъ. Ром. ц. 60 к.

Гринвудъ. Подлинная исторія ма-

ленькаго оборвыша. Перев. Марко Вовчокъ Изд. 2-е. ц. 1 р. 50 к.

Демьяновъ. Путеводитель по Волгѣ. Изд. 5-е. Нижній-Нов. 99 г. ц. 1 р.

Дрожжинъ, С. Д. Стихотв. Съ записк. автора о своей жизни и поэзіи. Изд. 2-е. Спб. 94 г. ц. 1 р.

Друммондъ, Генри. Эволюція и прогрессъ чловѣка. Переводъ съ англійскаго П. А. Иванова. Изд. 2-е. М. 97 г. ц. 2 р. 25 к.

Жунъ, В. „Какъ мать должна кормить ребенка“. М. 96 г. ц. 50 к.

Засодимскій, П. „Легенды“. I. Графъ Борегеръ и Агнесса Туссенель II. Невѣдомый страдалецъ. Спб. 93 г. ц. 60 к.

— „Грѣхъ“. Ром. Спб. 94 г. ц. 1 р.

Золя, Э. Парижъ, Романъ. Спб. 98 г. ц. 1 руб.

— Процессъ. Съ миѣн. Л. Толстого. ц. 50 к.

— Римъ. Романъ. ц. 80 к.

— Штурмъ мельницы. Разск. М. 99 г. ц. 30 к.

— Семья. Ром. Спб. ц. 1 р.

Зунтеръ, Б. Долой оружіе! (противъ войны). Ром. М. 99 г. ц. 1 р.

Лерингъ. Объ основаніи защиты владѣній и пересмотръ ученія о владѣніи. М. 83 г. ц. 1 р. 50 к.

— Гражданско-правовые казусы безъ рѣш. М. 83 г. ц. 1 р. 50 к.

— Борьба за право. Кіевъ. 93 г. ц. 60 к.

Карлентеръ. Современная наука. Перев. Л. П. Толстого. ц. 15 к.

Кирпичниковъ, А. И. Проф. Диккенсъ, какъ педагогъ. Хар. 1881 г. ц. 40 к.

Козевниковъ, В. А. Безцѣльный трудъ „Недѣланіе“ или дѣло? Изд. 2-е. М. 94 г. ц. 20 к.

Козыревъ, М. „Днемъ и ночью“. Типы Замоскворѣчья. Изд. 2-е. М. 96 г. ц. 30 коп.

Коринескій. „Пѣсни сердца“. Стих. Въ изыск. перепл. Изд. 2-е. М. 97 г. ц. 1 р.

Нудашевъ, В. А. „О сбереженіи почвенной влаги при обработкѣ озимыхъ полей“. Изд. 3-е исправл. и дополн. М. 94 г. ц. 80 к.

НАРОДНАЯ РУСЬ.

А. А. Коринфскій.

374

801-83

12178-2

НЕ КОПИРС

НАРОДНАЯ РУСЬ

3

КРУГЛЫИ ГОДЪ СКАЗАНИИ, ПОВЪРИИ, ОБЫЧАИ
И ПОСЛОВИЦЪ РУССКАГО НАРОДА.

Изданіе книгопродавца М. В. КЛЮКИНА.
Москва, Моховая, домъ Бенкендорфъ.
1901.

Первая женская типографія, Е. К. Гербекъ, 2-я Мѣщанская, д. № 26.



Посвящается
Алексию Сергеевичу Ермолову.

„Слово сказаній живыхъ,
Мощное, вѣчное слово—
Свѣтлый, кипучій родникъ,
Кладезь богатства родного!...“

„...старый таинственный сказъ,
Словно странникъ съ клюкою, въ народѣ
Ходить-бродить, пророча порой...“

»
Нѣтъ ему ни въ чемъ помѣхъ!
Это—славный русскій витязь,
Богатырь послѣдній—Смѣхъ...“



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая книга — плодъ болѣе чѣмъ двадцатилѣтнихъ наблюденій надъ современнымъ бытомъ крестьянина - великоросса, дополненныхъ сравнительнымъ изученіемъ всѣхъ ранѣе появившихся въ печати матеріаловъ по русской и славянской этнографіи.

Самостоятельныя наблюденія сосредоточиваются преимущественно на нижегородско-самарскомъ Поволжѣ (губерніяхъ Нижегородской, Казанской, Сибирской, Самарской). Волгу я извѣздилъ вдоль и поперекъ, на берегахъ ея провелъ дѣтство, юность и раннюю молодость, поставившія меня лицомъ къ лицу съ народной жизнью, обвѣявшей меня неотразимымъ дуновеніемъ самобытной поэзіи яркихъ преданій прошлаго.

Съ юношескихъ лѣтъ стали наполняться одна за другою мои записныя тетради—то пословицами, поговорками и ходячими народными словами, то обрывками деревенскихъ пѣсенъ, то содержаніемъ подслушанныхъ сказокъ.

Часть этихъ тетрадей, къ сожалѣнію, утратилась безслѣдно; уцѣлѣвшія послужили мнѣ поводомъ къ написанію—во „Всемирной Иллюстраціи“, „Нивѣ“, „Сѣверѣ“ и другихъ журналахъ—первыхъ (если и вошедшихъ въ настоящую книгу, то только въ качествѣ матеріала) бѣглыхъ замѣтокъ о русскихъ просто-народныхъ суевѣрныхъ обычаяхъ, связанныхъ съ различными праздниками и временами года.

Семь лѣтъ тому назадъ у меня явилась мысль объ изученіи исторіи русскаго народовѣдѣнія — съ цѣлью болѣе подробной разработки накопившагося въ тетрадяхъ и въ памяти матеріала. Близкому ознакомленію съ богатой литературой этого вопроса, начиная съ древнихъ первоисточниковъ и кончая новѣйшими изслѣдованіями, я въ немалой степени обязанъ предупредительной любезности, встрѣченной мною со стороны завѣдующаго Русскимъ Отдѣленіемъ Императорской Публичной Библіотеки—Владимира Петровича Ламбина. Достоянная всякаго уваженія личность этого человѣка хорошо извѣстна всѣмъ работникамъ пера, которымъ приходилось за послѣднее десятилѣтіе пользоваться сокровищами, собранными въ нашемъ государственномъ книгохранилищѣ.

Въ концѣ 1895 года былъ напечатанъ въ фельетонѣ „Правительственнаго Вѣстника“ первый мой очеркъ, посвященный бытописанію народной Руси; въ 1896-мъ за нимъ послѣдовало нѣсколько новыхъ, а съ

конца 1897-го по настоящее время они стали появляться періодически, постепенно слагаясь въ нѣчто цѣльное; къ 1899-му году созрѣлъ уже и общій планъ всего труда.

Безчисленные перепечатки, которыми встрѣчала столичная и провинціальная ежедневная печать каждый, появившійся безъ всякой подписи, очеркъ, и переводы нѣкоторыхъ изъ нихъ на французскій и нѣмецкій языкъ—служили для меня достаточнымъ побужденіемъ къ писанію дальнѣйшихъ,—причемъ зарождалась уже и мысль о приведеніи всего этого матеріала въ извѣстный порядокъ и объ изданіи книги.

Вниманіе, совершенно неожиданно оказанное этнографическимъ фельетонамъ „Правительственнаго Вѣстника“ Ея Императорскимъ Высочествомъ Великой Княгиней Милицей Николаевною, пожелавшей узнать имя автора и запросившей особымъ отношеніемъ, чрезъ адъютанта Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Петра Николаевича, барона Стааль, редакцію газеты, „будутъ-ли эти фельетоны изданы отдѣльной книжкой“, укрѣпила меня въ этой мысли, которая, однако, была еще далека отъ осуществленія. Письма, полученные отъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. С. Ермолова, оказавшагося постояннымъ читателемъ этихъ очерковъ-фельетоновъ и выразившаго желаніе лично познакомиться съ ихъ авторомъ, явились высокой наградою за мой безымянный трудъ. Ободряемый

добрými совѣтами и благими пожеланіями столь освѣдомленнаго читателя—я и приступилъ къ изданію этой книги.

Болѣе полугода потребовалось на систематическую обработку напечатанныхъ фельетоновъ, на дополненіе ихъ новыми очерками, также появившимися въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, благодаря исключительно сочувственному отношенію главнаго редактора—Константина Константиновича Случевского, отведшаго на столбцахъ газеты широкое поле замысламъ автора.

Чѣмъ жива народная Русь—въ смыслѣ ея самобытности? На чемъ зиждется незыблемые устои ея вѣковѣчныхъ связей съ древними, обожествлявшими природу, пращурами? Какими пережитками проявляется въ современной жизни русскаго крестьянина неумирающая старина стародавняя? Гдѣ искать источниковъ того неизсякаемаго кладезя жизни, какимъ является могучее русское слово—запечатлѣнное въ сказаніяхъ, пѣсняхъ, пословицахъ и окруженныхъ ими обычаяхъ? Чѣмъ крѣпка безконечная преемственность духа поколѣній народа-богатыря? Что даетъ свѣтъ и тепло жизни народа-шахари? Что темнитъ-туманитъ и охватываетъ холодомъ эту подвижническую-трудовую жизнь, идущую своими заповѣдными путями-дорогами?

Вотъ семь вопросовъ, на которые я по мѣрѣ силъ—пытался отвѣтить въ этой своей книгѣ. Вибившій міръ, обступаящій суевѣрную душу русскаго крестья-

нина, и внутреннее бытіе этой дѣтски-пытливой, умудренной многовѣковымъ жизненнымъ опытомъ, стихійной души,—вотъ что желалъ я отразить съ большей или меньшей полнотою на предлагаемыхъ вниманію читателей страницахъ.

Приблизился-ли я хоть сколько-нибудь къ задуманной цѣли—судить не мнѣ, а моимъ будущимъ читателямъ и критикамъ, за каждое существенное указаніе со стороны которыхъ я буду искренне признателенъ.

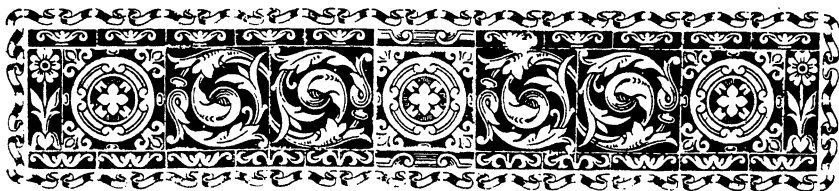
Если только суждено увидѣть свѣтъ, слѣдующимъ изданіямъ этой книги, являющейся—вмѣстѣ съ „Бывальщинами“—завѣтнымъ трудомъ всей моей жизни, то я не премину воспользоваться всеми такими указаніями, чтобы устранить, по мѣрѣ возможности, тѣ ошибки и неточности, которыя, несомнѣнно, могутъ встрѣтиться здѣсь, и пополнить допущенные теперь пробѣлы.

Жизнь русскаго пахаря красна праздниками: къ нимъ приурочено и огромное большинство простонародныхъ сказаній, повѣрій и обычаевъ. Поэтому въ основу своихъ очерковъ я и положилъ эти „красные“ дни, отвѣдая мѣсяцеслову („круглому году“) народной Руси чуть-ли не двѣ трети своей работы. На общіе вопросы жизни, отразившіеся въ сказаніяхъ русскаго народа, пришлась остальная треть (первые семь и десять послѣднихъ очерковъ.)

Перечитавъ отпечатанные листы своей „Народной Руси“, — считаю особенно пріятнымъ долгомъ посвятить эту книгу глубокопочитаемому Алексѣю Сергѣевичу. Безъ его нравственной поддержки, безъ его драгоцѣнныхъ для меня писемъ, она если-бы и увидѣла свѣтъ, то—въ лучшемъ случаѣ—только въ отдаленномъ будущемъ.

Аполлонъ Коринфскій.

9 декабря 1900 г.,
С.-Петербургъ.



H

H



I.

Мать-Сыра-Земля.

Ничего нѣтъ для человѣка въ жизни святѣ материнскаго чувства. Сынъ родной земли—живущій-кормящійся ея щедротами, русской народъ-пахарь, дышашій однимъ дыханіемъ съ прородою, исполненъ къ Матери-Сырой-Землѣ истинно сыновней любви и почтительности. Какъ пережившія не одинъ, не два вѣка сказанія, такъ и чуть не вчера молвившіяся-сказавшіяся красныя слова, облетающія изъ конца въ конецъ неоглядный просторъ народной Руси, въ одинъ голосъ подтверждаютъ это, ни на пядь не расходясь съ бытомъ-укладомъ позднихъ потомковъ могучаго богатыря Земли Русской Микулы-свѣтъ-Селяниновича, крестьянствовавшаго на Святой Руси въ старь стародавнюю.

Ветхозавѣтное слово, повѣствующее о созданіи человѣка „отъ персти земныя“, не могло не придтись по мысли, не могло не прирости къ суетврному сердцу славянина-язычника, крестившагося въ волнахъ Дѣвѣра-Словутича при Владимірѣ Красномъ-Солнышкѣ, князѣ стольнокиевскомъ. Въ стихійной народной душѣ еще и до нашихъ дней не умираетъ живучее сознаніе вѣковичной связи съ обожествлявшейся супругою прѣбога Сварога, праматерью человечества, за которую слыла обнимаемая небомъ земля, сливающаяся съ нимъ въ единомъ плодотворящемъ таинствѣ.

„Отъ земли взять, землею кормлюсь, въ землю пойду!“ -- говоритъ хлѣборобъ деревень русскихъ, примѣняя запавшія въ сердце слова Священнаго Писанія къ своему житейскому обиходу. „Кормилицей“ -- зоветъ онъ землю, сторицей возвращающую ему засѣянное въ добрый часъ зерно, „матушкой

родимую“ величаетъ. А это—слово великое въ неумытныхъ-прямодушныхъ устахъ его. „Добра мать до своихъ дѣтей, а земля—до всѣхъ людей!“ „Мать-Сыра-Земля всѣхъ кормить, всѣхъ поить, всѣхъ одѣваетъ, всѣхъ своимъ тепломъ пригрѣваетъ!“ „Поклонись матушкѣ-землицѣ, наградишь тебя сто-рицей!“ „Какъ ни добѣрь кто, а все не добрѣй Матери-Сырой-Земли: всякъ приючаетъ семью до гробовой доски, а земля приютитъ и мертвого!“—приговариваетъ народная молвь, подслушанная своими пытливыми калитами-собираателями. „Всякому человѣку—и доброму, и худому—земля дастъ при-ютъ!“ „Умру—похоронягъ, поверхъ земли не положить!“ „Вѣкъ живешь—маешься, бездомникомъ скитаешься; умрешь—свой домъ въ сырой землѣ найдешь!“—добавляетъ къ этой молви свои подсказанныя горемычной жизнью поговорки бѣд-нота-голь, живущая (по ея смѣшливому прибаутку) „про-тивъ неба, на землѣ, въ непокрытой улицѣ“. Недаромъ вы-плываютъ изъ глубины моря народнаго и такія слова, какъ: „Нужна рыбѣ вода, птицѣ вольная ширь поднебесная, а че-ловѣку—нѣтъ ничего нужнѣе, какъ Мать-Сыра-Земля,—ум-реть, и то въ нее уйдетъ!“ „Кому земля—мать родная, кому—родимая матушка, а кому и мачиха; да все, какъ время при-детъ, и пасынка къ сырой груди прижметъ, не оттолкнетъ, не погубитъ—къ себѣ возьметъ, на вѣчные вѣки приголу-бить!“ „Корми—какъ земля кормить; учи—какъ земля учить; люби—какъ земля любить!“.

Не мало ходитъ по-людямъ въ деревенской-посельской Ру-си всякихъ пословицъ, поговорокъ, присловіи и прибаутковъ о томъ, какъ и чѣмъ питаетъ своего пахаря земля-корми-лица. Все это красное богатство слова сводится къ дѣйстви-ной вѣрѣ сердца народнаго, въ которой отразилась просто-душная мудрость многовѣкового опыта трудовой жизни подъ властью земли.

Великую честь воздаетъ своей вѣковѣчной заботницѣ, сво-ей доброй кормилицѣ посельщина-деревенщина, вотъ уже не одно тысячелѣтіе припадающая къ ея могучей груди. „Святъ Духъ живетъ на землѣ!“—говоритъ она, именуя святою и свою родную землю, именуячи—приговариваетъ: „На родной землѣ хотъ умри, да съ нея не сходи!“ „На какой землѣ ро-дился—тамъ и Богу молись!“ Съ благоговѣніемъ смотритъ русскій пахарь на землю, молвить о ней только одну прав-ду-истину, да и никому не совѣтуетъ обмалвливаться передъ ней облыжнымъ словомъ. „Не моги солгать,—земля слышитъ!“ „На землѣ—правдой живи, тогда земля будетъ и твоимъ дѣ-тямъ кормилицей!“ „Въ землѣ дѣды-правды лежатъ, изъ

земли всякое слово слышать!“—говорится еще и теперь во многих уголках свѣтлорусскаго простора.

Терпѣлива Мать-Сыра-Земля: кого-чего она—могучая—на своей груди не держитъ! Но есть на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ и такіе грѣхи тяжкіе, которыхъ, по народному слову, и она, терпѣливая, не снесетъ: „Грѣхъ—грѣху рознь съ другимъ и сквозь землю провалишься!“ Всѣмъ открываетъ любве обильная кормилица хлѣбороба-пахаря свои материнскія объятія, когда пробьетъ часъ смерти человѣческой. Но темная сила, бродящая по-свѣту на пагубу роду людскому, соблазняетъ иныхъ людей и на такія черныя дѣла, что умереть человѣкъ—его даже и земля не приметъ послѣ смерти. Къ нимъ причисляетъ народное суевѣріе тѣхъ, кто, по его словамъ, спознается съ нечистой силою, продавая ей душу христіанскую—на всякое лихо другимъ людямъ. Твердо вѣрять въ это держащійся за землю православный людъ.

Охватить, обступить отовсюду иного человѣка горе, не даетъ ему—горемыкъ—ни сна, ни отдыха, ни пути, ни прохода; смѣется-потѣшается злосчастіе надъ его убожествомъ, заслоняетъ отъ истомленныхъ выплаканныхъ глазъ бѣдняка свѣтъ солнечный... Некуда дѣться пасынку жизни отъ своего горя горькаго! И вотъ—потерявъ всякую надежду на счастливый исходъ жизни-борьбы—обращается онъ къ послѣдному своему прибѣжищу. „Разступись ты, Мать-Сыра-Земля“,—вырывается у него изъ глубины души тяжкій стонъ: „Разступись, родимая, открой мнѣ двери царскія во твои-ли палаты вѣковѣчныя!“ Объ этихъ „палатахъ“ ходитъ на Святой Руси такой красный сказъ, — что и просторны-то онѣ (всѣхъ людей пріютятъ), и богаты-де (весь бѣлый свѣтъ укупятъ), и всѣ-то въ нихъ—и богатые, и бѣдные—за одними столами сидятъ: пьютъ, ѣдятъ, прохлаждаются, хлѣбосольными хозяевами не нахвалятся...

Добрый частоколъ можно было-бы нагородить вокругъ околомъ житья-бытья крестьянскаго изъ однихъ такихъ пристовій о землѣ, какъ то-и-дѣло повторяющіяся въ деревенскомъ обиходѣ: „Не роди Мать-Сыра-Земля!“ (вмѣсто—„Не дай Богъ!“), „Сквозь землю бы провалился (отъ стыда)!“ „Земли подъ собой не взвидѣлъ (отъ радости, а также—отъ страха)!“.. „Какъ это его еще земля носитъ?“—говорится объ явно недобросовѣстномъ человѣкѣ, „Какъ подъ землю провалился!“—о пропавшемъ безслѣдно, „Хоть изъ-подъ сырой земли достань, а вынь да положи!“ „Отъ меня и сквозь землю не уйдешь!“ „Легче въ землю лечь (чѣмъ это видѣть)!“ и т. под. „Не тужи по землѣ“,—утѣшаютъ бобыля смѣшливые краснословы, за

крылатымъ словцомъ не лязяшіе въ карманъ, походя его налету подхватывающіе: „Сажонку вдоль, полсажонки поперекъ, и будетъ съ насъ!“ (о могилѣ). Записаны кладонскателями живого великорусскаго языка и такія слова, связанныя съ землею, какъ: „Выросло дерево отъ земли до неба. На томъ деревѣ двѣнадцать сучковъ; на каждомъ сучкѣ по четыре кошеля, въ каждомъ кошелѣ по семи яиць, а седьмое—красное!“ Заганѣтъ мужикъ такую загадку да самъ—простота—тутъ-же и разгадываетъ: „Дерево—годъ, сучки—мѣсяцы, кошели—недѣли, семь яиць—семь дней, седьмой день—красенъ-праздничекъ, воскресеньице!“ Повторяетъ народная Русь и такія загадки о землѣ, какъ: „Меня бьютъ, колотятъ, ворочаютъ и рѣжутъ; я все терплю и всѣмъ добромъ плачу!“ (въ Псковск. губ.), „Что на свѣтѣ сытнѣй всего?“ (въ Самарск. губ.), „Аще, аще, что ни есть въ свѣтѣ слаще?“ (тамъ-же).

Земля—общая родина счастливыхъ и несчастныхъ, богатыхъ и бѣдныхъ. „Не по-небу и богачъ ступаетъ, не подъ землею живеть и нищій-убогій!“—гласить убѣленное съдинами пережитыхъ вѣковъ простонародное слово. „Сверху—небо, снизу—земля, а съ боковъ ничего нѣтъ. Хорошъ бѣлый свѣтъ: хоть жарко, да вѣтеркомъ обдуваетъ!“—приговариваетъ, прибаутки ладитъ словоохотливая деревня: „Небо въ туманѣ—и земля въ обманѣ, и пусто въ карманѣ!“ „Солнышко-вѣдрышко красной дѣвицей по синю небу ходить, а все на землю глазъ наводитъ!“, „На что далеко съ земли до неба, а какъ стукнетъ въ небѣ громъ—я у насъ слышно!“

Въ могучей семьѣ древнерусскихъ былинныхъ богатырей есть двое, всѣ подвиги которыхъ непосредственно связаны съ землею, вѣковѣчной кормилицею народа-пахаря. Это—Святогоръ, старѣйшій изъ всей дружины богатырской, да Микула Селяниновичъ—богатырь-оратай.

О первомъ изъ нихъ дошло до нашихъ дней нѣсколько былинъ, каждая изъ которыхъ выставляетъ его представителемъ чудовищно-могучей стихійной силы, не имѣющей прямого призмѣненія, ищущей и не находящей его во всемъ окружающемъ—ни среди природы, ни среди населяющихъ послѣднюю существъ. Это—мученикъ своей собственной силы. Грузно богатырю отъ нея что отъ тяжкаго бремени. Бродитъ у могучаго силушка по жилочкамъ, жжетъ огнемъ, горячитъ жаркимъ полымемъ бурливую кровь, просится на волю вольную; и нѣту ей—неуёмной—пути-выхода изъ тѣла богатырскаго. Заключена она въ немъ—что въ душной темницѣ, за семью дверями дубовыми, за семью желѣзными засовами... И хотѣлъ-бы Святогоръ-богатырь свою полонянку на волюшку

выпустить, да не может; и охота ему поработать ей дать, да не надъ чѣмъ: не съ кѣмъ старшему изъ богатырей русскихъ помѣяться-побрататися силой-моченькой. Всѣ богатыри — побратимы, всѣ несутъ вѣрой-правдою службу родинѣ; одному ему нечѣмъ порадовать Землѣ Русской! Тяжко могучему, обида горькая беретъ его за сердце. А силы—все прибываетъ день-ото-дня, все могутъ ей она—что ни часъ прошелъ на бѣломъ свѣтѣ... Да и не одному Святогору не въ моту тяжело отъ своей силы становится,—грузно отъ Святогоровой и самой Матери-Сырой-Землѣ. „По моей ли да по силѣ богатырской кабы державу мнѣ найти, всю землю поднять-бы!“—молвилъ богатырь, похваляючися. Облетѣла похвальба словомъ крылатымъ всю Святую Русь—отъ-моря до-моря... Поѣхалъ на матеромъ конѣ Святогоръ, ѣдетъ не на прогулку-поѣздочку богатырскую, не съ лихимъ ворогомъ на ратный бой снарядился: выѣхалъ-ѣдетъ тягу-державу земную искать. „...ѣдетъ шагомъ Святогоръ-богатырь, ростомъ выше дерева стоячаго, головою—въ небо упирается, ѣдетъ—самъ подремываетъ, сидючи“... Мать-Сыра-Земля подъ копытами богатырского матерого коня дрожмя-дрожить; держать путь онъ къ горамъ высокимъ каменнымъ, къ ущельямъ да разсѣлинамъ,—дорога тамъ вѣрнѣй-надежнѣе!.. И все грузнѣй ему отъ силушки: храпитъ подъ богатыремъ добрый конь, того и смотри—наземъ замертво грянется... Долго-ли, коротко-ли ѣхалъ Святогоръ, доѣхалъ богатырь до горы невиданной: крутая гора—что стѣна, кругомъ—падъ бездонная... Оглядѣлся старшой надъ богатырями русскими, видитъ: передъ нимъ брошена на горѣ перемѣтная сумка малая. „А и не въ ней-ли тяга-держава земная лежитъ?“—смѣется сердце богатырское. Ухмыльнулся Святогоръ въ густую, что дремучій лѣсъ, бороду,—слѣзъ съ коня, спѣшился, бьетъ поклонъ Матери-Сырой-Землѣ, хочеть сумку поднять. Диво дивное, чудо чудное: не поднять богатырю малой сумки перемѣтной. Какъ ни бился, такъ и не могъ онъ оторвать сумку малую,—а и грузно-же было богатырю отъ своей силушки!.. Да еще тяжелѣе было отъ нея самой землѣ: гдѣ стоялъ, тамъ вмѣстѣ съ сумкой Святогоръ и въ землю „угрызъ“. Насмѣялась судьба надъ его похвальбой смѣлою... И разошлась Святогорова мочь-силушка отъ той-ли каменной горы по всей землѣ православной; и бродитъ она подъ каждой пядью земной вплоть до нашихъ дней, появляючися на бѣлый Божій свѣтъ ненадолго—въ стихійной силѣ народной, порождающей людей богатырски-мощнаго духа.

Другая былина отправляетъ Святогора искать той-же тяги

земной—въ поле чистое, въ степь широкую... И видитъ богатырь впереди себя прохожаго съ малою сумочкой переметною... „Бдетъ рысью,—все прохожій идетъ передомъ; во всю прыть не можетъ онъ догнать прохожаго“. Окликаетъ его Святогоръ богатырскимъ зычнымъ голосомъ... Остановился прохожій — „съ плечъ на землю бросаль сумочку“... Бдетъ къ нему могучій, „наѣзжаетъ на эту сумочку, своей плеточкой сумочку пощупываетъ — какъ урослая, та сумочка не тронется“... „Перстомъ съ коня потрогиваль, съ коня рукой потягиваль,—не сворóхнется та сумка, не шевельнется“... Слѣзъ богатырь съ коня, обѣими руками за сумку взялся, во всю силу богатырскую натужился,— съ натуги кровь изъ глазъ пошла. „А подняль сумку онъ всего на-волось, по колѣна самъ во сыру землю угрызъ!“ Прохожій то былъ не простой подорожный человекъ, а богатырь-оратай Микула Селяниновичъ; а въ сумкѣ-то и несъ пахарь-оратаюшко тягу земную... Осѣдая сила богатыря-земледѣльца оказалась куда могутѣе кочевой- Святогоровой, хоть и не было отъ нея грузно ни самому Микулѣ, ни матери его Сырой-Землѣ ..

Недаромъ русскій народъ изстари вѣковъ слылъ народомъ-пахаремъ, — самымъ могущественнымъ изъ созданныхъ его вѣковыми сказаніями богатырей и является оратай Микула Селяниновичъ: волей-неволею уступаетъ ему по силѣ даже самъ Святогоръ. Представитель вѣрной народу земли-кормилицы, можетъ быть, и не зналъ пословицы — „Держись за землю, трава—обманетъ!“ , но оправдываетъ ее всѣми своими мужицкими подвигами. Подвизается Микула во чистомъ полѣ, свою соловенькую лошадку—знай понукиваетъ, съ края въ край бороздочку отваливаетъ, корни сохой выворачиваетъ—крестьянствуетъ, приготавливая, съ Божьей помощью, распаханную-засѣянную ниву-новъ новымъ поколѣніямъ народа-землепашца, всѣ свои надежды-чаянія возлагающаго на поливаемую трудовымъ потомъ землю. Въ могучемъ своей простотою богатырь-оратаѣ народная Русь воплотила саму-себя. Поэзія крестьянскаго труда, съ незапамятныхъ поръ питающаго население необъятной страны, — вся на-лицо въ былинѣ о Микулѣ Селяниновичѣ. Съ непокрытой головою, съ разстегнутымъ воротомъ—съ душой на-распашку, въ самодѣльныхъ лаптяхъ видѣнь этотъ могучій сынъ могучаго народа посреди безграничнаго простора полей, уѣзгающихъ въ неоглядную даль, увлекающихъ за собою взоры... Вѣтеръ, свободно гуляя по широкому полю, налетаетъ на него, треплетъ густыя пряди русскихъ кудрей добра-молодца, обвѣваетъ холод-

комъ его открытую, пышущую зноемъ, могучую грудь. Налетай сама буря грозная,—не только не свалить съ крѣпкихъ ногъ, а даже и не покачнуть, ей богатыря Микулу. Вѣра въ свое вѣчное, въ свое святое, призваніе—въ сердце его; сила, несокрушимая сила—въ мускулистыхъ-желѣзныхъ рукахъ пахаря. Нѣтъ у Микулы ни меча булатнаго, нѣтъ ни лука скорострѣльнаго у Селяниновича, ни острога копья мурзамецкаго: силенъ онъ самъ собой да своею сохой крестьянской... „А у пахаря сошка вленовенька, сошники во той сошкѣ булатные, захлеснуты гужочки шелковеньки, а кобылка во сошкѣ соловенька“... Такими словами любовно говоритъ былина о немъ, повѣствуя о встрѣчѣ его съ мудрѣйшимъ изъ богатырей — Вольгою-свѣтъ-Святославичемъ, поѣхавшимъ съ хороброй дружиною „по селамъ-городамъ за получкою, съ мужиковъ выбирать дани-выходы“... Зоветь Вольга Микулу ѣхать съ собой во товарищахъ. Поѣхаль Селяниновичъ. Много-ли, мало-ли отѣхали,—вспомнилъ онъ, что „не ладно въ бороздочкѣ свою сошку оставилъ неубранну“... Посылаетъ Вольга, по Микулиной просьбѣ, десять молодецвъ — „сошку съ земли повидернуть, съ сошничковъ землю повитряхнуть, бросить сошку за ракитовъ кустъ“. Не только эти, а и другіе, десять, а и вся дружинушка Вольги, не могли сдѣлать этого,—словно вросла соха въ землю, точно не земля, а желѣзо, на нивѣ у Микулы: „только сошку за обжи вокругъ вертять, а не могутъ съ земли сошку выдернуть“... Пришлось самому богатырю-оратаюшкѣ вернуться на полосу недопаханную: „одной ручкой бросилъ онъ сошку за ракитовъ кустъ“... Держить къ нему слово, спрашиваетъ пахаря вздивовавшійся Вольга: „А и какъ ты, мужикъ, звать по имени,—величать тебя какъ по изотчеству?“ Богатырь отвѣчаетъ Святославичу со всей свойственною народной рѣчи картинностью: „А я ржи напашу, во скирды сложу, домой выволоку, дома вымолочу да и пива сварю, мужиковъ сзову; и начнутъ мужики тутъ покликивать:—Гой, Микула-свѣтъ, ты Микулушка, свѣтъ-Микулушка да Селяниновичъ!“ По той былинѣ, гдѣ крестьянствующій богатырь встрѣчается со Святогоромъ, онъ, на такой-же вопросъ со стороны послѣдняго, отвѣчаетъ болѣе коротко: „Я—Микула, мужикъ я Селяниновичъ! Я—Микула, меня любить Мать-Сыра-Земля!“ Въ этихъ словахъ еще ярче встаетъ изъ-за темной дали вѣковъ свѣтлый образъ могучаго оратая Земли Русской.

Въ извѣстномъ народномъ стихѣ о „Голубиной Книгѣ“, еще и теперь распѣваемомъ убогими пѣвцами каликами-перехо-

жими, собраны—по мнѣнію Безсонова ¹⁾—„правила и рѣшенія на всѣ важнѣйшія стороны древнихъ воззрѣній“. Въ этомъ стихѣ, отразившемъ въ своемъ словесномъ зеркалѣ завѣтные взгляды родной старины чуть-ли не на всё существующее въ мірѣ, задается, между прочимъ, вопросъ: „Которая земля всѣмъ землямъ мати?“—„Свято-Русь-земля всѣмъ землямъ мати!“—слѣдуетъ отвѣтъ.—„Почему-же Свято-Русь-земля всѣмъ землямъ мати?“—не удовлетворяется полученнымъ отвѣтомъ пытливый духъ спрашивающаго.—„А въ ней много люду христіанскаго, оны вѣрують вѣру крещоную, крещоную-богомольную, самому Христу, Царю небесному, Его Матери Владычицѣ, Владычицѣ Богородицѣ; на ней строятъ церкви апостольскія, богомольныя, преосвященныя, оны молятся Богу распятому...“—слѣдуетъ поясненіе. Отъ рѣчи о томъ, какая земля „всѣмъ землямъ мати“, вопрошающій переходитъ—за доброй дюжиною попутныхъ вопросовъ—къ такому: „На чемъ-же у насъ основалася Мати-Сыра-Земля?“—„Основалася на трехъ на рыбахъ“,—не скупится на слова простодушная народная мудрость:

„На трехъ рыбахъ на китѣнышахъ,
На китахъ-рыбахъ вся сыра-земля стоитъ,
Основана и утвѣрждена,
И содержитца вся подселенная...“

Отвѣтъ доходитъ до самой, что называется, подноготной мірозданія: „Стоитъ Китъ-рыба не сворохнетца, — когда-жъ Китъ-рыба потронетца, потронетца—восколыхнетца, тогда бѣлый свѣтъ нашъ покончитца: ахъ, Китъ-рыбина разыгрантца, все синѣ море восколыхнитца, сыра матъ-земля вся вздрогнитца, увесъ міръ-народъ приужаснитца; тады буде время опослѣдняя“...

¹⁾ Петръ Алексѣевичъ Безсоновъ, извѣстный изслѣдователь русскаго народнаго творчества, происходилъ изъ духовнаго званія, родился въ 1828-мъ году, образованіе получилъ на историко-филологическомъ факультетѣ московскаго университета (окончилъ курсъ въ 1851 г.), выустившаго изъ своихъ стѣнъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ народовѣдцевъ. Сначала онъ служилъ въ комиссіи печатанія государственныхъ грамотъ и договоровъ, затѣмъ заведывалъ виленскимъ музеемъ и публичной бібліотекою и былъ директоромъ виленской классической гимназіи, съ 1867-го по 1879-й годъ состоялъ бібліотекаремъ московскаго университета, съ 1879-го по день смерти (22-е февраля 1898 года) занималъ кафедру славянскій филологіи въ харьковскомъ университетѣ. Онъ обогатилъ русскую науку трудами своими—„Болгарскія пѣсни“, „Калѣки переходже“, „Сборникъ дѣтскихъ народныхъ пѣсенъ“, и „Бѣлорусскія пѣсни“. Кромѣ того, изданы подъ его редакціей пѣсенныя собранія П. В. Кирѣевскаго и П. И. Рыбникова.

Наиболѣе вѣрное объясненіе этому отвѣту даетъ А. Н. Афанасьевъ ²⁾. „Земля покоится на водѣ, якоже на блюдѣ, простерта силою всеблагатаго Бога“,—приводитъ онъ слова одного изъ забытыхъ памятниковъ народной старины. Эта „вода“—небесный воздушный океанъ, въ которомъ тучи-водохранительницы представляются какими-то громаднѣйшими рыбами. „Китъ-рыба—всѣмъ рыбамъ мати!“—гласитъ „Голубиная Книга“. А потому-то тучи-рыбы переименовались въ китовъ, принявшихъ—по волѣ воображенія не видывавшаго этихъ „рыбъ“ пахаря—на свои спины „всю подселенную, всю подсолнечну“. Иные утверждаютъ,—говоритъ пытливый изслѣдователь поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу,—что изстари подпорою земли служили четыре кита, но одинъ изъ нихъ умеръ. Когда-же перемрутъ и остальные три, въ то время наступитъ кончина міра. Землетрясеніе—въ глазахъ пахаря, задумывающагося надъ основами мірозданія—не что иное, какъ отголосокъ шума, производимаго китами, поворачивающимися съ бока на-бокъ. По увѣренію памятливыхъ, особенно ревниво оберегающихъ дѣдовскія преданія, сказателей, встарину было даже не три-четыре, а семь, китовъ, подставлявшихъ свои спины для земли. Когда отяжелѣла она отъ незамолимыхъ грѣховъ человѣческихъ, ушли четыре кита „въ пучину эіопскую“. Во дни Ноя всѣ киты покинули свое мѣсто, отчего,—говорятъ дошедшіе до высотъ простонароднаго умозрѣнія свѣдущіе люди,—и произошелъ всемірный потопъ.

По другимъ—родственнымъ съ индійскими—сказаніямъ, земля стоитъ не на китахъ, а на слонахъ. Ихъ тоже было въ древнія времена больше, а не три, какъ теперь, да состарились они—повымерли. „До сихъ поръ Мать-Сыра-Земля изрыгаетъ ихъ кости!“—говорятъ въ народѣ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ

²⁾ Александръ Николаевичъ Афанасьевъ—извѣстный изслѣдователь памятниковъ русскаго простонароднаго творчества, родился 11-го іюля 1826 г. въ гор. Богучарѣ, Воронежской губерніи, по образованію—питомецъ московскаго университета (выпуска 1848 г.). Еще будучи студентомъ, онъ началъ помѣщать въ различныхъ изданіяхъ статьи по народовѣднью (въ „Современникѣ“, „Отечеств. Запискахъ“, „Архивѣ истор.-юридич. свѣдѣній о Россіи“, „Временникѣ общ. истор. и древн. рос.“, „Извѣстіяхъ Академіи Наукъ по отдѣленію русскаго языка и словесности“ и друг.). Съ 1849-го по 1862-й годъ онъ служилъ въ московскомъ главномъ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Три тома „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“, изданные въ 1866—1869-хъ годахъ, являются наиболѣе крупнымъ вкладомъ, сдѣланнымъ А. Н. Афанасьевымъ въ сокровищницу русской науки. „Кромѣ этого замѣчательнаго труда, имъ изданы „Русскія народныя легенды“ (М., 1860 г.), „Народныя русскія сказки“ (1-е изд. выходило выпусками; 2-е изд.—4 т. т.—М. 1873 г.; 3-е изд.—2 т. т.—М. 1897 г.) Скончался, онъ въ Москвѣ 23-го сентября 1871 года.

находить кости допотопнаго мамонта. Есть и такое представле-
 ніе объ устояхъ земли, что держится-де она не на китахъ и
 не на слонахъ, а на громадныхъ столбахъ. „Пошатнется ко-
 торый-нибудь изъ столбовъ, вотъ и трясеніе земли!“—думаетъ
 убѣжденный въ этомъ людъ. Въ отреченной (апокрифической)
 рукописи „Свитокъ божественныхъ книгъ“ сказано, что
 Творецъ основалъ хрустальное небо на семидесяти тьмахъ
 тысячъ желѣзныхъ столбовъ. „Да вижу, гдѣ прилежитъ небо
 къ земли, якожъ глаголютъ книги, яко на столпѣхъ желѣз-
 ныхъ стоитъ небо“...—читается въ сказаніи о Макаріѣ Рим-
 скомъ. Въ простонародныхъ заговорахъ то и-дѣло встрѣчаются
 такія выраженія, какъ: „Есть окіянь-море желѣзное, на томъ,
 морѣ есть столбъ мѣдный...“, или: „На морѣ-окіянь, посередь
 свѣта бѣлаго стоитъ мѣдный столбъ отъ земли до неба, отъ
 востока до запада...“ и т. п. По свидѣтельству митрополита
 московскаго Иннокентія³⁾, просвѣтителя алеутовъ, у этихъ
 инородцевъ также существуетъ повѣрье, что міръ держится
 на одномъ огромномъ столбѣ. Но въ народной Руси эти по-
 слѣднія сказанія распространены несравненно меньше, чѣмъ
 особенно пришедшееся ей по мысли первое—о китахъ.

Дошла до нашихъ дней, въ различныхъ спискахъ, сербско-
 болгарская рукопись XV-го вѣка, въ которой находится не-
 опровержимое подтвержденіе того, что всѣмъ славянскимъ

³⁾ И н н о к е н т і й, митрополитъ московскій, въ мірѣ Иванъ Евсевіевичъ По-
 повъ (по данной ректоромъ семинаріи фамиліи—Веніаминовъ),—одинъ изъ за-
 мѣчательнѣйшихъ русскихъ іерарховъ,—родился въ с. Англинскомъ Иркутской
 губерніи, 27 августа 1797 г., въ семьѣ бѣднаго пономаря. По образованію онъ—
 питомецъ иркутской духовной семинаріи. Служеніе Церкви началось для него
 въ 1817-мъ году, когда онъ былъ посвященъ въ діаконы, а затѣмъ, черезъ годъ—
 во священники. Въ 1823-мъ году о. І. Веніаминовъ, по вызову Св. Синода,
 отправился на островъ Уналашку на подвигъ просвѣщенія христіанской вѣрою
 алеутовъ. Апостольское служеніе его увѣличалось успѣхомъ: не только але-
 уты, но и сосѣди ихъ—колоши (обитатели острова Ситха)—приняли святое
 крещеніе. Въ 1839-мъ году просвѣтитель ихъ подалъ въ Петербургъ просьбу
 въ Св. Синодъ о разрѣшеніи напечатать переведенныя имъ на алеутскій языкъ
 священныя книги; въ 1840-мъ году онъ построилъ въ монахи и принялъ санъ
 архимандрита, 15-го декабря того-же года, по желанію императора Николая
 Павловича, былъ посвященъ во епископы новооткрытой алеутской епархіи, въ
 1850-мъ былъ возведенъ въ санъ архіепископа якутскаго, послѣ чего перенелъ
 Св. Писаніе на якутскій языкъ. Въ 1857 мѣ г. архіепископъ Иннокентій былъ
 вызванъ въ столицу для присутствованія въ Св. Синодѣ; затѣмъ, вернувшись
 въ Сибирь, онъ продолжалъ свой архипастырскій подвигъ на Амурѣ (въ 1862-мъ
 году переселился въ г. Благовѣщенскъ). 1867-й годъ, годъ кончины митропо-
 лита Филарета, ознаменовался для апостола алеутовъ, колошей и якутовъ
 назначеніемъ его митрополитомъ московскимъ. Пробывъ двѣнадцать лѣтъ
 въ этомъ санѣ, престарѣлый іерархъ скончался 31 го марта 1879 года, оста-
 вивъ по себѣ неизгладимую вѣками память въ дѣтонисяхъ Православной
 Церкви и всему, гдѣ пришлось ему трудиться на благо послѣдней.

народамъ родственны приблизительно одни и тѣ-же древнія сказанія о міросозиданіи. „Да скажи ми: що дръжитъ землю?“— задается вопросъ въ этой рукописи. „Вода висока!“—спѣдуетъ за нимъ отвѣтъ. „Да що дръжитъ воду?“—„Камень плосень вельми!“—„Да що дръжитъ камень?“—„Камень дръжитъ 4 китове златы!“—„Да що дръжитъ китове златы?“—„Рѣка огньная!“—„Да що дръжитъ того огня?“—„Други огонь, еже есть пѣжечь, того огня 2 части!“—„Да що дръжитъ того огня?“—„Дубъ желѣзны, еже есть прѣвопосаждень, отвѣсего же кореніе на силе божіей стоить!“ И дубъ, и огненная рѣка, и камень,— все это является древнѣйшимъ олицетвореніемъ громоносныхъ тучъ небесныхъ.

Сохранившіеся памятники отреченной народной письменности отводятъ не мало мѣста особо важному въ глазахъ пытливаго русскаго народа вопросу о томъ: на чемъ держится Мать-Сыра-Земля. Въ „Бесѣдѣ трехъ святителей“ говорится, на примѣръ, что земля плыветъ на волнахъ необъятно-великаго моря и основана на трехъ большихъ да на тридцати малыхъ китахъ. Малые киты прикрываютъ „тридцать оконце морскихъ“. Вокругъ всего моря великаго — „желѣзное столпіе“ поставлено. „Емлютъ тѣ киты десятую часть райскаго благоуханія, и отъ того сыти бывають“... По иному, занесенному въ „Соловецкій сборникъ“, разносказу этой „Бесѣды“: „въ огненномъ морѣ живеть великорыбіе—огнеродный кить—змѣй Елеафамъ, на коемъ земля основана. Изъ усть его исходятъ громы пламеннаго огня, яко стрѣлено дѣло; изъ ноздрей его исходитъ духъ, яко вѣтръ бурный, воздымающій огонь геенскій“... Когда „воскодеблется кить-змѣй“, тогда и настанетъ свѣтопреставленіе... Всемирный потопъ, по старинному сказанію о Меоодіѣ Патарскомъ ⁴⁾, произошелъ отъ того, что повелѣлъ Господь отойти тридцати малымъ китамъ отъ своихъ мѣстъ, и—„пойде вода въ си оконцы на землю иже оступиша киты“... Отреченная письменность является, по мнѣнію Аванасьева, Буслаева ⁵⁾ и другихъ

⁴⁾ Меоодіѣ Патарскій—епископъ-священномученикъ, пострадавшій за вѣру Христову въ IV-мъ вѣкѣ до Р.Х. (въ 312 г.)—одинъ изъ борцовъ христіанства противъ ересей и языческихъ философовъ III-го вѣка, оставившій дѣлный рядъ сочиненій. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: „О свободѣ воли, противъ валентиніанъ“, „О жизни и дѣятельности разумной“, „О воскресеніи“, „Пиръ десяти дѣвъ“, „Противъ Порфирія“, „О сотворенномъ“. Въ 1877-мъ году вышла въ Петербургѣ книга Ягуа, въ переводѣ проф. Е. П. Ловятина—„Св. Меоодій, епископъ и мученикъ, полное собраніе его сочиненій“.

⁵⁾ Оедоръ Ивановичъ Буслаевъ—академикъ, много поработавшій по изслѣдованію древнерусскаго и византійскаго искусства, а также древнерусской письменности, родился 13-го апрѣля 1818 года въ гор. Керенскѣ, Пензенской гу-

знатоковъ ея, прямымъ отраженіемъ простонародныхъ изустныхъ сказаній, а отнюдь не этимъ послѣднимъ дала пищу книги. Родственная связь изустныхъ сказаній у всѣхъ, даже и поставленныхъ въ самыя разнородныя условія исторической жизни народовъ, свидѣтельствуетъ о томъ-же, о чемъ говорятъ и научныя изслѣдованія: объ одномъ мѣстѣ ихъ первобытной жизни. Такъ, напримѣръ, преданіе о китахъ, поддерживающихъ землю, существуетъ даже у японцевъ: „Опять ворочается кить подъ нашей землею!“—говорятъ они, когда—въ недобрый часъ—случается землетрясеніе.

По всѣмъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора ходитъ, опираясь на слабѣющую память вымирающихъ пѣвцовъ-сказателей, духовный стихъ, именующійся то „Списками Ерусалимскими“, то „Свиткомъ („Листомъ“) Ерусалимскимъ“, то „Спискомъ ерусалимскаго знаменія“, то „Сказаніемъ („Притчею“) о Свиткѣ“. Вымрутъ сказатели, перелетающіе—что птицы Божіи—изъ конца въ конецъ Земли Русской, но будутъ живы ихъ сказанія, сбереженные отъ напрасной смерти въ сокровищницахъ собирателей словеснаго богатства народнаго. „Свитокъ Ерусалимскій“, во всѣхъ своихъ разносказахъ-разнопѣвахъ, приходится сродни „Голубиной Книгѣ“. Онъ „упалъ во святомъ градѣ Прасулимовѣ, въ третимъ году воскресенію Христову, изъ седьмова неба“—въ камнѣ: „камень ни огня, ни студень, ширины объ аршинѣ, тяготы яму несповѣдать никому“... Къ этому камню съѣхались,—гласитъ сказаніе,—цари, патриархи, игумены, священники и всѣ другіе христіане православные. Служились-пѣлись надъ невѣдомымъ камнемъ молебны три дня и три ночи. И распался камень на двѣ половинны, и выпалъ изъ камня свитокъ, почитаемый во многихъ мѣстахъ за „посланіе Господа Бога нашего Иисуса Христа“. Въ этомъ посланіи грѣшники и праведники предупреждаются о томъ, что „время Божіе

берни. Окончивъ курсъ московскаго университета (по словесному факультету), онъ былъ назначенъ преподавателемъ русскаго языка въ одну изъ московскихъ гимназій (въ 1838 г.). Въ „Москвитинѣ“ за 1842-й годъ появились первая печатныя строки его, въ 1844-мъ вышла книга „О преподаваніи русскаго языка“. Съ января 1847-го года О. П. Вулаевъ началъ чтеніе университетскихъ лекцій по русскому языку и словесности. Пѣлый рядъ дальнѣйшихъ печатныхъ трудовъ упрочилъ за нимъ славу знаменитаго русскаго ученаго. Въ 1861-мъ году онъ получилъ степень доктора русской словесности и былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ. Наибольше известны и цѣнны изъ трудовъ его: „Опытъ исторической грамматики русскаго языка“, „Историческіе очерки русской народной словесности“, „Историческая христоматія“ и „Народная поэзія“. Въ „Вѣстникѣ Европы“ были напечатаны его интересныя „Воспоминанія“. Скончался О. П.—въ 31-го іюля 1897-го года.

приближается, слово Божіе скончивается“. Въ цѣломъ рядѣ воззваній къ „чадамъ Божиимъ“ указываются наказанія за людское нечестіе. Самую тяжкой карою является безплодіе земней кормилицы живущаго, трудищагося и умирающаго на нѣ, русскаго пахаря.

„Чады вы Мои!

Да не послушаетя Моей заповѣди Господней

И наказанія Моего,—

Сотворю вамъ небу мѣдную,

Землю желѣзную.

Отъ неба мѣднаго росы не воздамъ,

Отъ земли желѣзной плода не дарю,

Поморю васъ голодомъ на землѣ,

Кладецы у васъ пріусохнутъ,

Истошницы пріускудѣютъ.

Ня будетъ на землѣ травы,

Ни на древѣ скоры,

Будетъ земля яко вдова...“

Вдовство-сиротство земли тяжелѣй всего для ея дѣтей, позднихъ потомковъ богатыря-крестьянина. Да и какъ-же не быть этой тяготѣ, если въ томъ-же, записанномъ П. И. Якушкинымъ⁶⁾, списокѣ „Свитка Ерусалимскаго“ прямо говорится, что отъ нея создано тѣло человѣческое („очи отъ солнца, разумъ отъ Святаго Духа), и что у всѣхъ чадъ Божиихъ:

„Первая мать—Пресвятая Богородица,

Вторая мать—Сыра-Земля...“

Мать-Сыра-Земля представлялась воображенію обожествляющаго природу славянина-язычника живымъ челоѣкоподоб-

⁶⁾ Павелъ Ивановичъ Якушкинъ—извѣстный народовѣдъ и собиратель памятниковъ изустнаго творчества народной Руси, уроженецъ Орловской губерніи (род. въ 1820 г.), сынъ отставнаго офицера и матери крестьянки. Образование онъ получилъ въ орловской гимназій и московскомъ университетѣ (по математическому факультету). Съ послѣдняго курса онъ „ушелъ въ народъ“—пѣшкомъ, съ котомкой, за плечами, подъ видомъ мелкаго торгаша-офени, для изученія быта сѣвернаго Поволжья. Съ этихъ поръ вся дальнѣйшая, богатая только одними лишеніями, жизнь этого отдаващагося до самоабвенія своему призванію челоѣка посвящена народу-пѣвцу, народу-сказателю. Смерть застигла вдохновеннаго народолюбца въ Самарѣ, на больничной койкѣ, восьмого января 1872 г. Народныя пѣсни, собранныя Якушкинымъ, печатались въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности“ сборникѣ „Утро“, „Отечественныхъ Запискахъ“. Отдѣльныя изданія ихъ появились въ 1860 мѣ („Русск. пѣсни, собран. П. И. Якушкинымъ“) и 1865 мѣ („Народныя пѣсни изъ собранія П. Якушкина“, 7 годахъ. Имъ былъ напечатанъ цѣлый рядъ любопытныхъ „Путевыхъ писемъ“ и разсказовъ („Великъ Богъ земли русской“, „Прежніе рекруты“, „Небывальщина“ и др.). Собраніе сочиненіе его издано въ началѣ 70-хъ годовъ В. П. Михневичемъ.

нымъ существомъ. Травы, цвѣты, кустарники и деревья, поднимавшіяся на ея могучемъ тѣлѣ, казались ему пышными волосами; каменные скалы принималъ онъ за кости; цѣпкіе корни деревьевъ замѣняли жилы; кровью земли была сочившаяся изъ ея нѣдръ вода. „Земля сотворена, яко чловѣкъ“, — повторяется объ этомъ, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, въ одномъ изъ позднѣйшихъ лѣтописныхъ памятниковъ: „каменіе яко тѣло имать, вмѣсто костей кореніе имать, вмѣсто жилъ дресеса и травы, вмѣсто власовъ быліе, вмѣсто крови—воды“... Рождавшая всѣ плоды земные богиня плодородія испытывала, по народному слову, не одно счастливое чувство материнства. Мучимая жаждою—она пила струившуюся съ разверзавшихся надъ ея лономъ небесъ дождевую воду, содрогалась отъ испуга при землетрясеніяхъ, чуткимъ сномъ засыпала при наступленіи зимней стужи, прикрываясь отъ нея лебяжьимъ покровомъ снѣговъ; вмѣстѣ съ приходомъ весны, съ первымъ пригрѣвомъ зачужаваго весну солнышка, пробуждалась она—могучая—къ новой плодотворящей жизни, на радость всему живому міру, воскресающему отъ своихъ зимнихъ страховъ при первомъ весеннемъ вздохѣ земли. Ходитъ селами-деревнями и въ наши дни цвѣтистая-красная молва о томъ, что и теперъ есть чуткіе къ вѣщимъ голосамъ природы, достойные ея откровеній люди, слышащіе эти чудодѣйные вздохи, съ каждымъ изъ которыхъ врывается въ жаждущую тепла и свѣта жизнь вселенной могучая волна творчества.

Противъ благоговѣйнаго почитанія Матери-Сырой-Земли, сохранивагося и до нашихъ дней въ видѣ яркаго пережитка древнеязыческаго ея обожествленія, возставали еще въ XV—XVI столѣтіяхъ строгіе поборники буквъ завѣтовъ Православія, громя въ церковныхъ стѣнахъ народное суевѣріе. Но ни грозныя обличенія, ни время—со всей его беспощадностью—не искоренили этого преданія далекихъ дней, затонувшихъ во мракѣ вѣковъ, отошедшихъ въ бездонныя глубины прошлаго-стародавняго. Кто не почитаетъ земли-кормилицы, тому она, по словамъ народа-пахаря, не дастъ хлѣба—не то что досыта, а и впроголодь. Кто сыновнимъ поклономъ очестливымъ не поклонится Матери-Сырой-Землѣ, выходя впервые по веснѣ въ зачернѣвшееся проталинами поле,—на гробъ того она наляжетъ не пухомъ легкимъ, а тяжелымъ камнемъ. Кто не захватитъ съ собою въ чужедалийнй путь горсть родной земли,—тому никогда больше не увидѣтъ родины. Больные, мучимые „лихоманками“—лихими сестрами, выходятъ въ поле чистое, бьютъ поклоны на всѣ четыре стороны свѣта блага, причитаючи: „Прости, сторона, Мать-Сыра-Земля!“ Волящіе

„порчею“ падают наземь на перекресткахъ дорогъ, прося Мать-Сыру-Землю снять напущенную лихимъ человекѣмъ бѣдѣсть. „Чѣмъ ушибся, тѣмъ и лѣчись!“—говоритъ народная Русь. И вотъ—совѣтуютъ знающіе люди старые выносить тѣхъ, кто ушибся-разбился, на то самое мѣсто, гдѣ приключилась такая бѣда, и молить землю о прощеніи. „Нивка, нивка! Отдай мою силку! Я тебя жала, силу наземь роняла!“—выкликаютъ во многихъ мѣстахъ поволжской Руси жницы-бабы, катаясь по землѣ, вполнѣ увѣренныя, что, припавъ къ ней, вернуть все пролитое трудовымъ потомъ засилье. Земля и сама по себѣ почитается въ народѣ цѣлебнымъ средствомъ: ею, смоченною въ слюну, —знахари заживляютъ раны, останавливаютъ кровь, а также прикладываютъ ее къ больной головѣ. „Какъ здорова земля,—говорится при этомъ,—такъ бы и моя голова была здорова!“ и т. д. „Мать-Сыра-Земля! Уйми ты всяку гадину нечистую отъ приворота и лихова дѣла!“—произносится кое-гдѣ еще и теперь при первомъ выгонѣ скота на весенній подножный кормъ. Встарину при этомъ выливалась наземь кубышка масла—какъ-бы для умишловленія земли этой жертвою. „Мать Сыра-Земля! Утоли ты всѣ вѣтры полуденныя со напастью, уйми пески сыпучіе со мятелью!“—продолжался послѣ этого памятуемый мѣстами и теперь благоговѣйный причетъ-заговоръ/

Было время на Руси, когда при тяжбахъ о чрезполосныхъ владѣніяхъ—вмѣсто нынѣшней присяги—въ обычаѣ было ходить по межѣ съ кускомъ вырѣзаннаго на спорномъ полѣ дерна на головѣ. Это было равносильно лучшему доказательству законныхъ правъ тяжущагося. Еще въ древнеславянскомъ переводѣ „Слова Григорія Богослова“ 7) — переводѣ, сдѣланномъ въ XI-мъ столѣтіи—встрѣчается такая самовольная вставка переводчика: „Овъ же дѣрънъ въскроушь на главѣ покладая присягу творитъ“... Въ писцовыхъ книгахъ Сольвычегодскаго монастыря значится: „И въ томъ имъ данъ судъ, и съ суда учинена вѣра, и отвѣтчикъ Окинѣенко далъ истцу Олешкѣ на душу. И Олешка, положи земли себѣ на

7) Св. Григорій Богословъ, одинъ изъ отцовъ Церкви, родился въ 328-мъ году въ Каппадокіи, близъ Павіанза. Въ молодости своей онъ обучался свѣтскимъ наукамъ въ Кесаріи Каппадокійской, Кесаріи Палестинской, Александріи и Афинахъ, гдѣ жилъ вмѣстѣ со св. Василіемъ Великимъ. По возвращеніи на родину, онъ принялъ святое крещеніе и удалился въ пустыню. Въ 379-мъ году былъ онъ вызванъ, будучи уже пресвитеромъ, въ Константинополь для укрѣпленія гонимаго аріанами Православія. Императоръ Феодосій назначилъ его епископомъ столицы. Святитель скончался въ 390-мъ году на своей родинѣ. Сочиненія его состоятъ изъ 243 писемъ, 507 пѣснолѣній и 45 рѣчей. Всѣ они переведены на русскій языкъ.

голову, отвелъ той пожнѣ межу“... Много можно было-бы найти подобныхъ свидѣтельствъ о земляной присягѣ и въ другихъ историческихъ памятникахъ древней Руси. Въ XVI-мъ вѣкѣ эта присяга была замѣнена хожденіемъ по спорной межѣ съ иконою Богоматери на головѣ.

Клятва надъ землею сохранилась въ народѣ и до сихъ поръ по захолустнымъ деревнямъ, лежащимъ всторонѣ отъ городовъ. „Пусть прикроетъ меня Мать-Сыра-Земля навѣки!“—произносить клянущійся, правой рукою осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, а въ лѣвой держа комъ земли. Братающіеся на жизнь и на смерть, давая обоюдныя клятвы въ неразрывной дружбѣ, иногда не только мѣняются крестами-тѣльниками, а и вручаютъ другъ другу по горсти земли. Эта послѣдняя хранится ими потомъ зашитою въ ладонку и носится на шеѣ,—чему придается особое таинственное значеніе. Старые, истово придерживающіеся дѣдовскихъ завѣтовъ, люди увѣряютъ, что, если собирать на семи утреннихъ зорькахъ по горсти земли съ семи могилъ завѣдомо добрыхъ покойниковъ,—то эта земля будетъ спасать собравшаго ее отъ всякихъ бѣдъ-напастей. Другіе знающіе всю подноготную старики даютъ совѣтъ беречь съ этой цѣлью на божницѣ, за образомъ Всѣхъ Скорбящихъ Радости, щепоть земли, взятую изъ-подъ сохи на первой весенней бороздѣ. Въ стародавніе годы находились и такіе вѣдунъ-знахари, что умѣли гадать по горсти земли, взятой изъ-подъ лѣвой ноги желающаго узнать свою судьбу. „Вынуть слѣдъ“ у человѣка считается повсемѣстно еще и теперь самымъ недобрымъ умысломъ. Нашептать, умѣючи, надъ этимъ вынутымъ слѣдомъ—значить, по старинному повѣрью, связать волю того, чей слѣдъ, и по рукамъ, и по ногамъ. Суевѣрная деревня боится этого пуще огня. „Матушка-кормилица, сыра-земля родимая!“—отчитывается она отъ такой напасти: „Укрой меня, раба Божія (имя рекъ), отъ призора лютаго, отъ всякаго лиха нечаяннаго. Защити меня отъ глаза недобраго, отъ языка злобнаго, отъ навѣта бѣсовскаго. Слово мое крѣпко, какъ желѣзо. Семью печатами оно къ тебѣ, кормилица Мать-Сыра-Земля, припечатано—на многіе дни, на долгіе годы, на всее-ли на жизнь вѣковѣчную!..“

Какъ и въ сѣдья, затерявшіяся въ позабытомъ быломъ, времена, готова принасть къ могучей земной груди народная Русь съ голосистымъ причетомъ въ-родѣ древняго:

„Гой, земля еси сырая,
Земля матерая,
Матерь намъ еси родная!
Всѣхъ еси насъ породила,

Воспоила, воскормила
 И угодьемъ надѣлила;
 Ради насъ, своихъ дѣтей,
 Зелій еси народила
 И злакъ всякой напоила“...

Мать-Сыра-Земля растить-питаетъ хлѣбъ насущный на благо народное; унимаетъ она „вѣтры полунощныя со тучами“, удерживаетъ „морозы со мятелями“, „поглощаетъ нечистыя силы въ бездны кипучія“. До скончанія вѣковъ останется она все тою-же матерью для живущаго на ней и ея народа, своимъ внукамъ - правнукамъ заповѣдывающаго одну великую нерушимую заповѣдь: о неизмѣнномъ и неуклонномъ сыновнемъ почитаніи ея.

И крѣпко держится народная Русь этой священной для нея заповѣди, глубоко запавшей въ ея стихійное сердце, открытое всему доброму и свѣтлому—несмотря на свою кажущуюся темноту. Свѣтитъ въ его потѣмкахъ Тихій Свѣтъ беззавѣтной любви и „неумытной“ правды, которыхъ не укупить ни за какія сокровища.

Чѣмъ ближе къ землѣ-кормилицѣ, чѣмъ тѣснѣе жметъ къ ея груди сынъ деревни и полей,—тѣмъ ярче расцвѣтаютъ въ его жизни эти неоцѣнимые цвѣты сердца. Благословеніе Божіе осѣняетъ незримиыми крылами трудовой подвигъ земледѣльца—по преданію, идущему изъ далѣкой дали вѣковъ къ рубежу нашихъ дней. И не отходить это благословеніе,—гласить родная старина стародавняя, — отъ вѣрныхъ завѣтамъ праведнаго труда ни на шагъ во всей ихъ жизни.

О какомъ бы сказаніи ни вспомнить, какое бы слово крылатое о кормилицѣ народа-пахаря ни услышать, на какой бы связанный съ Матерью-Сырой-Землею обычай сѣдой старины ни натолкнуться,—всѣ они могутъ служить подтвержденіемъ выраженному народомъ-сказателемъ въ яркихъ своей образности словахъ записаннаго П. В. Кирѣевскимъ ⁸⁾ стариннаго стиха духовнаго:

⁸⁾ Петръ Васильевичъ Кирѣевскій, извѣстный собиратель русскихъ простонародныхъ пѣсенъ и духовныхъ стиховъ, родился 11-го февраля 1808 года въ Москвѣ, происходилъ изъ старинной тульской дворянской семьи и приходится роднымъ братомъ Ивану Вас. Кирѣевскому, одному изъ основателей славянофильства. Образование онъ получилъ домашнее, а затѣмъ слушалъ частныя лекціи профессоровъ московскаго университета. Съ первымъ печатнымъ словомъ П. В.-чъ появился на страницахъ погодинскаго „Москвитянина“, въ 1845-мъ году. Писать онъ очень немного, но заслуги его передъ рус-

„Человѣкъ на земли живетъ—
Какъ трава растеть;
Да и умъ человѣчь—
Аки цвѣтъ цвѣтеть“...

Какъ травѣ-муравѣ не вырости безъ горсти земли, какъ не красоваться цвѣтку на камнѣ—такъ и русскому народу не крестьянствовать на бѣломъ свѣтѣ безъ родимой земли-кормилицы. Какъ безъ пахаря-хозяина и добрая земля горькая сирота,—такъ и онъ безъ земли—что безъ живой души въ своемъ богатырскомъ тѣлѣ.

скою научной литературою громады. Съ 1830-го года онъ подготовлялъ печатаніе своего собранія пѣсенъ, но этому замѣчательному труду суждено было появиться лишь только послѣ смерти своего неутомимаго собирателя, умершаго 25-го октября 1856-го года.



II.

Хлѣбъ насущный.

„Хлѣбъ—даръ Божій“, — говоритъ русскій народъ и относится съ вполне понятнымъ благоговѣніемъ къ этому спасающему его отъ голодной смерти дару, составляющему почти единственное его богатство. Немалымъ грѣхомъ считается въ народной Руси уронить на полъ и не поднять хотя-бы одну крошку хлѣба; еще большій—растоптать эту крошку ногами. Благоговѣйное чувство удваивается въ этомъ случаѣ и сознаниемъ того тяжкаго, страдагнаго труда, какимъ добываетъ народъ-пахарь каждую малую крошку, а также и воспоминаніями о тѣхъ тревогахъ-заботахъ, съ которыми неразлучно ожиданіе урожая.

Вѣковѣчна дума крестьянина о хлѣбѣ. Думами объ урожаѣ окружены всѣ наши сельскіе праздники. Въ большинствѣ простонародныхъ примѣтъ, повѣрій, обычаевъ и сказаній слышится явственный отголосокъ этихъ чуткихъ заповѣдныхъ думъ, пускающихъ ростки еще до засѣва зерна, колосящихся вмѣстѣ съ первыми выбѣгающими на свѣтъ Божій изъ сердца Матери-Сырой-Земли всходами, зацвѣтающихъ—при взглядѣ на первый выметнувшійся колосъ. Нѣтъ конца этимъ думкамъ-думушкамъ: что ни день—ростутъ онѣ, гонять сонъ отъ усталыхъ очей пахаря, приводятъ къ его жесткому изголовью тревогу за тревогою. Этими думами засѣяна вся жизнь мужика-деревеньчины—что твое поле чистое. Зоветъ народная пѣсня вернуться на бѣлый свѣтъ весну,—молить-заклинаетъ ее, чтобы пришла она—красная—„со свѣтлою радостью, съ великою милостью: съ колосомъ тяжелымъ, съ корнемъ глубокимъ, съ хлѣбами обильными“. Идетъ пахарь, а дума—впе-

реди него, дорогу хлѣборобу торить; за одной думкою другія перебѣгаютъ тореный путь, самодѣльными лаптями проложенный, трудовымъ потомъ политый. Глянетъ пахарь на ясное небо, — въ тотъ-же мигъ закопошится у него на-сердцѣ думушка: пошлетъ-ли Господь дождичка во-время. Дождь— дождю рознь: одинъ хлѣбъ растить, а другой хлѣбогноемъ прозывается. Кропить дождемъ небо, поить— тороватое—жаждущую землю-кормилицу, а у мужика—опять думка; пригрѣеть-ли его полосыньку красное солнышко въ пору-благовремяе. Набѣгутъ облака, сгустятся-зачеряѣютъ тучи, повиснутъ надъ хлѣбородной нивою, — смотреть честной деревенскій людъ, смотреть—крестится, Бога молить: чтобы не разразились тучи градомъ, не выбило-бы хлѣбушка богоданнаго на корню. На землѣ пахарь живетъ, землею кормится, съ ея дыханіемъ каждый вздохъ его сливается. Сколько безысходнаго горя горькаго слышится, напримѣръ, въ словахъ такой—относимой нѣкоторыми собирателями къ разряду „плясовыхъ“—пѣсни бобыля-бездомника, оторваннаго мачехой-жизнью отъ земли:

„Полоса-ль моя, полосынька,
Полоса-ль моя не пахана,
Не пахана, не скорожена.
Заросла-ль моя полосынька
Частымъ ельничкомъ,
Ельничкомъ, березничкомъ,
Молодымъ горькимъ осинничкомъ.“

Думаетъ-гадаетъ о хлѣбѣ-урожаѣ народная Русь и весной теплою, и знойнымъ лѣтомъ, и осенью ненастною; нѣтъ ей, кормящейся трудами рукъ своихъ, покою отъ думы и въ зимнюю пору студеную, — когда дремлетъ зябкое зерно въ закованной морозомъ землѣ, принакрытой парчой сѣвговъ серебротканною. На-роду написано мужику — и умереть съ этою-же недремлющей думою въ сердцѣ.

Въ стародавніе годы, не озаренные свѣтомъ вѣры Христовой, хлѣбъ являлся для русскаго народа, да и вообще для всѣхъ славянъ-земледѣльцевъ, даромъ обожеествлявшихся Земли и Неба. Эта могущественная чета возлагала на себя заботу о зарожденіи хлѣба насущнаго для народа-землеишца, изъ-года-въ-годъ обновляясь въ своемъ плодоносящемъ сліяніи другъ съ другомъ. Обнимаемая Землею со всѣхъ сторонъ, Небо орошаетъ ее животворнымъ дождемъ, пригрѣваетъ ее лучами солнечными: и отвѣчаетъ Мать Сыра-Земля на эти ласки всякими плодами земными. Что ни повал весна — то и но-

вое проявленіе безсмертной любви боговъ-праотцевъ представляло пылливому взору пращуровъ народа-пахаря.

Позднѣйшія времена славянскаго язычества перенесли понятіе о небѣ (Сварогѣ) на Святoviда (Свѣтовита), отождествленнаго съ первымъ, но принявшаго въ суевѣрномъ народномъ представленіи болѣе опредѣленный обликъ. По свидѣтельству лѣтописца, въ древней Арконѣ⁹⁾ существовалъ главный храмъ этого бога, куда стекались на поклоненіе паломники изъ всѣхъ земель славянскихъ. Здѣсь стоялъ идолъ Святoviда; и былъ этотъ идолъ выше роста человѣческаго, было у него четыре бородатыхъ головы, обращенныхъ въ четыре стороны свѣта бѣлаго. Въ правой рукѣ у него находился турій рогъ съ виномъ. О-богъ лежало освященное сѣдло Святovidово, у пояса висѣлъ его мечъ-кладенецъ. При храмѣ содержался посвященный богу боговъ славянскихъ бѣлый конь. Къ Святovidу обращались жрецы съ молитвами о плодородіи; по его турьему рогу было въ обычаѣ гадать объ урожаѣ. Налитое въ рогъ вино являлось олицетвореніемъ плодотворнаго дождя. Сохранились на Руси преданія и о другихъ олицетворителяхъ земнаго плодородія—о Даждьбогѣ милостивомъ да ласковомъ, о Перунѣ—объединявшемъ въ себѣ милость съ грозной силою, бога-плодоносителя—съ богомъ-громовникомъ. Позднѣ передалъ пахарь-язычникъ первое свойство повелителя громовъ небесныхъ Свѣтлояру (онъ-же — Ярло и Ярѣ-Хмѣль).

Озарились тонувшія во тьмѣ дебри языческой Руси лучезарной зарею христіанства; шли годы, изъ годовъ слагались вѣка. И вотъ—потускнѣли облики древнихъ боговъ; перенесло живучее народное суевѣріе приурочивавшіяся имъ свойства на святыхъ угодниковъ Божіихъ. Зазвучали въ крылатомъ народномъ словѣ нѣкогда чуждыя русскому сердцу, но съ теченіемъ времени сроднившіяся съ нимъ, какъ-бы приросшія къ нему, имена новыхъ, болѣе надежныхъ, заступниковъ народа-земледѣльца, отовсюду охваченнаго грозными объятіями природы: Илья-пророкъ, Никола-милостивый, Петръ и Павелъ, Власій и другія. Исчезла съ теченіемъ времени, изгладилась въ народѣ даже самая память о древнеязыческихъ, вызванныхъ изъ окружающей природы, богахъ.

Не самъ русскій народъ дошелъ до искусства пахать-засѣвать землю: научили его этому,—если вѣрить его старымъ

⁹⁾ Аркона — древнеславянскій городъ жрецовъ на островѣ Рюгенѣ на Балтійскомъ морѣ. По свидѣтельству исторіи, датскій король Вальдемаръ I взялъ крѣпость Аркону 15-го іюня 1168 года, сжегъ храмъ Святoviда вмѣстѣ съ его идоломъ и увезъ всѣ сокровища этой языческой святыни въ Данію.

сказаніямъ, — небесные покровители. „Ей, въ полѣ, полѣ, въ чистейкомъ полѣ,“ — поется, напримѣръ, въ одной подслушанной изслѣдователями-собираателями словесной старины малороссійской пѣснѣ: „Тамъ-же ми й оре золотый плужокъ, а за тимъ плужкомъ ходитъ самъ Господь; ему погоняетъ та святой Петро; Матецка Божа сѣмена носить, насѣнечко носить, пана Бога проситъ:—Зароди, Божейку, яру пшеничейку, яру пшеничейку и ярейке житце! Буде тамъ стебеvence same тростове; будутъ колосойки, якъ былинойки: будутъ копойки, якъ звѣздойки; будутъ стогойки, якъ горойки; сберутся возойки, якъ чорны хмаройки!..“

Десятки, сотни сказаній ходятъ по Святой Руси, ходятъ, клюками о сырую грудь земли опираются, походя—о божественныхъ пахаряхъ рѣчь ведутъ, цвѣтами воображенія приукрашенную. Падаютъ эти яркіе, не блекнущіе отъ дыханія времени цвѣты, осыпаются лепестки ихъ на тучную ниву народную, — русскому сердцу о стародавней старинѣ живую вѣсть подають.

Отвела старина-матушка „Домовьму“ избы-дворы крестьянскія; схоронила она отъ смерти неминучей во темнымъ-лѣсу во дремучемъ „Лѣсовика“, лѣсного хозяина; пустила, сѣдая, по лугамъ зеленымъ гулять „Лугового“; живетъ, по суевѣрному воображенію народа, до сихъ поръ въ каждой рѣкѣ — „Водяной“, со всемъ подвластнымъ ему русальнымъ народомъ. Что ни шагъ ступитъ мужикъ-простота, — то на вѣщаго духа натолкнется. Живъ для него и въ каждомъ полѣ древній „Полевикъ“ („Полевой“); величаютъ послѣдняго во многихъ мѣстахъ, кромѣ того, и „житнымъ дѣдомъ“. Идетъ пахарь полемъ, на зеленые всходы не налюбуется... „Уроди, Боже, всякаго жита по полному закромъ на весь крещонный міръ!“ — молитвенно шепчетъ онъ; а самъ озирается: не видать-ли гдѣ у межи полевого „хозяина“. Представленіе объ этомъ порожденіи „нѣжити“ родственно не только у всѣхъ славянскихъ, но и у многихъ другихъ сосѣднихъ, народовъ. Полевикъ — житный дѣдъ, — по народному повѣрью, живетъ въ полѣ только весной да лѣтомъ во время всхода, роста и созрѣванія хлѣбовъ. Съ началомъ житва наступаетъ и для него нелегкое время: приходится старому бѣгать отъ остраго серпа да прятаться въ недожатыхъ колосистыхъ волнахъ. Въ послѣднемъ дожатомъ снопѣ — послѣдній и приютъ его. Потому-то на этотъ снопъ и смотрятъ придерживающіеся старыхъ розсказней люди съ особымъ почетомъ: или наряжаютъ его да съ пѣснями несутъ въ деревню, или — благословясь — переносятъ въ жиглицу, гдѣ хранятъ до новаго сѣва, чтобы, засѣявъ вы-

трясенныя изъ него зерна, умиловити покровителя полей, давъ ему возможность возродиться въ новыхъ всходахъ. Не умиловитишь, не постараться задобрить Полевика, — не мало онъ можетъ „напроказить“ въ полѣ: и всякую истребляющую хлѣбъ гадину напустить, и—на лучшей конецъ—весь хлѣбъ перепутаеть. Задобренный-же, онъ,—говорять упрямые хранители отжившихъ свое время повѣрій,—станеть-де всячески оберегать ниву зоркимъ хозяйскимъ глазомъ.

Суевѣрна душа народа-пахаря; но, и при всемъ завѣдомомъ суевѣрїи, онъ—добрый сынъ матери-Церкви. Во всякомъ важномъ случаѣ жизни привыкъ обращаться онъ съ горячей, изъ глубины сердца идущею, молитвой къ Богу. А что-же для него можетъ быть важнѣе всего, связаннаго съ думой-заботою о хлѣбѣ. И приступаетъ онъ къ каждому своему новому труду въ полѣ не иначе, какъ съ благословенїя Божїя. Приходитъ чудодѣйница-весна, пробуждается къ новому плодородїю Мать-Сыра-Земля... И вотъ, тянутся отъ храмовъ Божїихъ въ поля по всей Руси великой молебныя ходы крестныя. „Поднимаются иконы“ народомъ и въ засуху-бездождїе, и въ ненастье хлѣбогнойное. Служатся благодарственные молебны и по окончанїи полевыхъ работъ; приносится въ церковь для освященїя всякая „новина“. Дума народа о хлѣбѣ—этомъ чудесномъ дарѣ Божиємъ—съ наибольшей яркостью выразилась въ его окрыленномъ образностию, красномъ своей мѣткостью словъ, неисчерпаемыхъ богатства котораго сохранились въ сказанїяхъ, пословицахъ, поговоркахъ и всякихъ присловьяхъ, записанныхъ пытливыми собирателями неощнимаго словеснаго богатства народнаго.

Хлѣбъ въ деревенскомъ обиходѣ—„всему голова“. Впрочемъ,—по словамъ тысячелѣтней простонародной мудрости,—онъ вездѣ хорошъ: и у насъ, и за моремъ. Хлѣбъ—предметъ первой необходимости для каждаго человѣка. Это понятїе выразилось въ цѣломъ рядѣ такихъ поговорокъ, какъ: „Только ангелы съ неба не просятъ хлѣба!“, „Хлѣбъ—батюшка, водица—матушка!“, „Богъ на стѣнѣ, хлѣбъ на столѣ!“, „Дай Богъ покой да хлѣбъ святой!“ и т. д. Любовно величаетъ русская народная пѣсня хлѣбъ пасущый, припѣваячи:

„Растворю я квашонку на доньшкѣ,
Я покрою квашонку чернымъ соболемъ,
Опяшущу квашонку яснымъ золотомъ;
Я поставлю квашонку на столбичкѣ.
Ты взойди, моя квашонка, съ краями ровна,
Съ краями ровна и полнымъ-полна!“

Въ одной свадебной пѣснѣ еще болѣе ласковыми словами ублажается коровой хлѣба: „Свѣти, свѣти, мѣсяць, нашему короваю! Проглянь, проглянь, солнце, нашему короваю! Вы, добрые люди, посмотрите, вы нашего короая отвѣдайте, вы, князь съ княгиней, покушайте!“ Другая—такъ и зовется коровайною: „Коровай катается, коровой валяется, коровой на лопату сѣлъ, коровой на ножки всталъ, коровой гряды досталъ. Ужъ нашъ-то коровой для всей семьи годенъ, для всей семьи—чужой родни: чужому батюшкѣ заѣсть, чужой матушкѣ закушать, молодой княгинѣ нашей утричкомъ прикусать; молодому-то князю нашему сыто-насыто наѣсться!“

Красно говорить охочая до крылатаго словца деревня о хлѣбѣ-батюшкѣ, послушать любо. „Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ!“—молвить народъ, всю жизнь ходящій за хлѣбомъ и около хлѣба. „Ищи—какъ хлѣба ищутъ“,—прибавляетъ онъ къ этому слову мѣткое присловье, указывая на трудность добыванія хлѣба. „Какъ хочешь зови—только хлѣбомъ корми!“—вылетаетъ изъ народныхъ устъ окрыленный голодомъ голодной нужды прибаутокъ. „И пѣсь передъ хлѣбомъ смиряется!“,—цѣпляется за него другой, еще болѣе рѣзкій по своей неумытой-неприглаженной правдивости. Но тутъ-же у мужика-хлѣбороба готово про-запасъ и третье—веселенькое—словцо. „Что намъ хлѣбъ—были-бы пироги!“, „Гдѣ хозяинъ прошелъ, тамъ и хлѣбъ уродился!“—приговариваетъ онъ.

Народъ не считаетъ деньги за главнаго двигателя жизни. „Не держи денегъ въ узлу, держи хлѣбъ въ углу!“—говоритъ его устами житейскій опытъ.—„Блѣ-бы богачъ деньги, кабы убогій хлѣбомъ не кормилъ!“—дополняетъ онъ высказанную мысль: „И бѣду можно съ хлѣбомъ сѣсть!“, „Не дорогъ виноградъ терскій, дорогъ хлѣбъ деревенскій: немного укусишь, а полонъ ротъ нажуеть!“, „Безъ хлѣба—смерть!“, „Хлѣба ни куска, такъ и въ теремѣ тоска; а хлѣба край, такъ и подъ елью рай!“, „Палата бѣла, а безъ хлѣба—бѣда!“, „Хлѣбъ на столѣ, и столѣ—престолѣ; а хлѣба ни куска, и столѣ—доска!“, „Безъ хлѣба—не крестьянинъ!“. Неприхотливъ русскій пахарь: „Какъ хлѣбъ да квасъ, такъ и все у насъ!“—похваляется онъ: „Хлѣбъ да вода—мужицкая ѣда!“, „Хлѣбъ (ржаной)—калачу (пшеничному) дѣдушка!“, „Калачъ прѣвется, а хлѣбъ—никогда!“, „Покуда есть хлѣбъ да вода—и полбѣды мужику лихая бѣда!“...

Любитъ поговорить честной деревенскій людъ; никогда онъ не прочь—острымъ словомъ перекинуться. А и мѣтко-же бываетъ объ иную пору это словцо мужицкое: скажетъ—какъ пить дать, не въ бровь, а въ самый глазъ, попадетъ!.. „Ро-

дись человекъ—и краюшка готова!“—гласить оно. „Безъ краюшки—не прожить и сѣдой старушкѣ!“, „Люди за хлѣбъ—такъ и я не спѣю!“, „Каковъ ни есть, а хлѣбъ хочеть ѣсть!“, „Уродь-уродь, а хлѣбъ въ ротъ несеть!“, „Голодной кумъ—все хлѣбъ на умъ!“—словно житомъ ниву засѣваютъ, соряютъ по-людямъ присловьями одни люди добрые. „Не я хлѣбъ ѣмъ, а хлѣбъ—меня ѣсть!“—пригорюниваются другіе. „Мужикъ на счастье засѣялъ хлѣбца, а уродилась лебеда!“—махаютъ рукой трети. Но навстрѣчу этому слову идетъ уже и новое, хотя и въ стародавнія времена сложившееся въ народной Руси: „Это что за бѣда, коли въ-ржахъ лебеда; а вотъ нѣтъ хуже бѣды—какъ ни ржи, ни лебеды!“ „Всѣмъ сытымъ быть—чистаго хлѣба не напасишь: проживемъ—не умремъ, коли и съ лебедой пожуемъ!“ „Не всѣмъ пирогъ съ начинкой, кому—и хлѣбецъ съ мянкой!“ Охотники до зелена-вина государева отъ словецъ о хлѣбѣ не прочь зачастую перейти и къ присловьямъ о „хлѣбной водицѣ“. А чѣмъ не красны хотя-бы такіе прибаутки, напримѣръ, какъ: „Нѣтъ питья лучше воды, коли перегонишь ее на хлѣбъ!“ „Хлѣбомъ мы сыты, хлѣбомъ мы и пьяны!“ „Полюби Андревну (соху), такъ и хлѣбомъ брюхо набьешь, и хлѣбнымъ пойлomъ горе зальешь!“

Среди загадокъ русскаго народа встрѣчается не мало говорящихъ о хлѣбѣ. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ, занесенныя собирателями живой старины въ неисчерпаемую сокровищницу великорусскаго языка: „Лежитъ бугоръ между горъ, пришелъ Егоръ, унесъ бугоръ (хлѣбъ въ печи)!“, „Рѣжу рѣжу—крови нѣту!“ „Что безъ кореньевъ растеть, безъ костей встаетъ?“ „Рѣжутъ меня, вяжутъ меня, бьютъ нещадно, колесуютъ, пройду огонь и воду, конецъ мой—ножь да зубы!“—говорить о себѣ хлѣбъ, питающій своего неустаннаго вѣковѣчнаго работника.

Въ русскомъ народѣ, отъ мала до велика, коренится сознание того, что Господь повелѣлъ отъ земли кормиться. Но, по тому-же народному слову, и земля не всякаго человека захочеть кормить: „Богъ не родить, и земля не дастъ; Богъ не дастъ, и земля не родить!“—говорять въ крестьянской Руси. Хотя и сложилось въ ней присловье—„Не земля родить, а небо!“, но съ гораздо большей увѣренностью повторяетъ деревенщина-посельщина такая, какъ: „Земля-мать, подаетъ кладъ!“ „Какова земля, таковъ и хлѣбъ!“ „Добрая земля—полная мошна, худая земля—пустая мошна!“ „Чего на землю не падеть, того земля не подыметъ!“ и т. д. Сельско-хозяйственный опытъ подсказалъ крестьянину слова: „Добрая земля наземь разъ путемъ приметъ, да девять лѣтъ помнитъ!“

„Не та земля дорога, гдѣ медвѣдь живетъ, а гдѣ курица скребеть!“, „На доброй землѣ сѣи яровое раньше, на худой позже!“.

Изо всѣхъ хлѣбовъ ближе, роднѣй изо всѣхъ для русскаго пахаря рожь. Зоветъ онъ „матушкой“, „кормилицею“ величаетъ, именуетъ ее своимъ „богоданнымъ богачествомъ“. Про ржаной черный хлѣбъ у него и своя пѣсенная слава сложена:

.....
 А эту пѣсню мы хлѣбу поемъ, слава!
 Хлѣбу поемъ, хлѣбу честь воздаемъ, слава!
 Старымъ людямъ на утѣшеніе, слава!
 Добрымъ молодцамъ на услышаніе, слава!“

„Матушка-рожь кормить всѣхъ сплошь, а пшеничка—по выбору!“ — говоритъ мужикъ; говоря, простота, приговариваетъ: „Красно поле рожью!“, „Не кланяюсь и богачу, коли свою рожь молочу!“, „И годъ хорошъ, коли уродилъ рожь!“ По старинной народной примѣтѣ, рожь поспѣваетъ изъ закрома въ закромъ въ такомъ порядкѣ: двѣ недѣли зелениется, двѣ недѣли колосится, двѣ недѣли отцвѣтаетъ, двѣ недѣли наливаютъ, двѣ недѣли подсыхаетъ да двѣ недѣли хозяину поклоны бьетъ, жать себя просить: „Торопись, — говоритъ, а то зерно уплыветъ!“ Она-же, матушка, ведетъ къ мужику и такую рѣчь: „Сѣи меня хоть въ золу, да въ пору!“, „Сѣи хоть въ песокъ, да въ свой часокъ!“, „Сѣять-то, сѣи, да на-небо поглядывай, дождичка у Бога моли!“ Если сѣвъ ржи придется во время полуденнаго (сѣвернаго) вѣтра, то—по примѣтѣ—рожь выйдетъ крѣпче и крупнѣе зерномъ. Тороватый на примѣты деревенскій людъ говоритъ, что, если при посѣвѣ ржи пойдетъ дождикъ мелкій, какъ бисеръ, то это Богъ объ урожаѣ вѣсть подаетъ; а если польетъ ливень, то лучше и не продолжать сѣва, а скорѣе поворачивать оглобли домой,—не то быть худымъ всходамъ. Сложился и у бѣдняковъ-бобылей свои бобыльскія слова про рожь-кормилицу. „Хороша рожь уродилась, да другимъ пригодилась!“,—говоритъ ихъ устами народная Русь: „Ходи да любуйся на сосѣднину рожь!“, „Пойду туда, гдѣ про меня рожь молотить!“ „У кого не засѣто, тому и тужить объ урожаѣ горя нѣту!“... Привыкшіе къ неурожайнымъ годамъ пахари обмолвились про свое житье бытѣе сѣрое такимъ краснымъ словцомъ: „У насъ народъ все богатѣеть: земли отъ сѣмянъ остается!“, „Не сѣи, не тужи, знай—котомку за спиной держи: Богъ подастъ, какъ по-міру нужда погонитъ!“ Объ озимой ржи ходитъ въ народѣ старая

загадка: „Загану я загадку, закину за грядку: въ годъ пуцу, а въ другой выпуцу!“

„Ржаница“ идегъ, по народному слову, „мужику на сыть“, а пшеница—„на верхосытку“. Пшеница—„ржи богатая сестрица“, она не кормить, а прикармливаетъ. „Однимъ пшеничнымъ пирогомъ мужикъ сыгъ не будетъ, коли ржаного хлѣба не добудеть!“, „Пшеничка—привередница: и кормить по выбору!“, „Пшеница—невѣста разборчивая, не ко всякому мужику въ домъ пойдетъ!“, „Въ полѣ пшеница годомъ родится, а матушка-рожь—изъ-году-въ-годъ!“...

Пѣсни о пшеницѣ—въ большинствѣ случаевъ — дѣвичьи пѣсни. Всѣ онѣ по своему содержанию сбиваются на одну и ту-же.

„Я у матушки на пшеничникахъ,
Я у батюшки на житничкахъ росла,
Что бѣла росла, красна выросла...“ и т. д.

„Красные дни—сѣй пшеницу!“—даетъ совѣтъ присмотрѣвшійся за долгіе вѣка полевой страды къ прихотямъ природы деревенскій людъ. „Сѣй пшеницу, когда зацвѣтетъ черемуха!“,—приговариваетъ совѣтчикъ: „Пшеничный сѣвъ—полдень!“, „Закрасуется нива пшеничнымъ руномъ, какъ посѣешь ведреннымъ днемъ!“... Сѣется на Руси пшеница въ средней (мало) и въ южной—больше—полосахъ; вездѣ предпочтается яровой (весенній) сѣвъ, и только въ немногихъ, не боящихся мороза-стужи, мѣстахъ высѣваютъ ее на озимь. Въ послѣднемъ случаѣ зовется пшеница „зяблюю“ и „ледяною“. Есть разныя пшеницы: русская („сѣрая“), египетская („саидка“), красная, „черноколоска-черногурка“, „бѣлотурка“, „кубанка“ и другія. Но,—говоритъ народъ: „Какъ пшеницу ни зови, а все рожь-матушка поименитѣе будетъ,—даромъ, что всего одно у нея, у кормилицы, имячко!“

Полба съ ячменемъ слывуть въ народной Руси за пшеницыну родню: „Полба—пшеницѣ меньшій сестрица, ячмень усатый—полбинъ братъ“. По слову крестьянской мудрости: „Полба изъ бѣды мужика не выручить, а только ѣсть пироги выучить!“, „Полба уродилась—полбѣды долой, ржи невпроѣдъ—бѣды и не было!“ Ячмень въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ зовется еще „житаремъ“. Это—самый сѣверный хлѣбъ, менѣе всѣхъ другихъ страшящійся лихихъ угрозъ старика Мороза со всѣми его сыновьями—Морозовичами. Примѣтливые люди торопятся сѣять ячмень въ тѣ дни, когда цвѣтетъ калина-ягода. „Ячмень на свѣжемъ навозѣ сѣй въ полнолуны!“—приговариваетъ деревенскій людъ. Когда ячмень колосит-

ся, соловей замолкаетъ, — гласить примѣта. Плохъ тотъ ячмень родится, который посѣянъ при западномъ и югозападномъ вѣтрѣ. „Пріѣлся, какъ сухой ячмень беззубой кобылѣ!“ — вылетѣла на свѣтлорусскій широкій просторъ смѣшная народная поговорка объ этомъ подспорьѣ крестьянскаго хлѣба насущнаго. „Спора ячменная каша, спорѣй того ячные (ячменные) блины!“ — говорятъ на студеномъ сѣверѣ, но говорятъ только потому, что въ тѣхъ мѣстахъ греча-дикуша совсѣмъ не родится.

„Не всѣ мужики — гречкосѣи!“ — можно услышать изъ усть словоохотливой деревни. — „Не всѣ гречкосѣи, да всѣмъ въ охоту грешневая кашка!“... Суровый, закаленный въ горнилѣ непокрытой нужды-невзгоды, крестьянскій опытъ оговариваетъ эту поговорку: „Сѣй рожь, а греча — не пѣча (не работа)!“, „Быль-бы хлѣбъ, а каша будетъ!“, „Безъ каши не помрешь, а безъ хлѣба не проживешь!“ Но охочіе до каши хлѣбоѣды не умолкаютъ. „Каша — мать наша!“ говорятъ они: „Горе наше — грешневая каша: ѣсть не хочется, покинуть не можетъ!“ (или „ѣсть не можетъ, отстать жаль!“), „Грешная каша — матушка наша, а хлѣбецъ ржаной — кормилецъ родной!“, „Сладка грешневая каша — что твоей липецъ-медь!“, „Безъ грешневой каши мужику ни въ чемъ спорины вѣтъ!“

Не всякая земля — на гречиху спора... „Не равна гречиха, не равна и земля!“ — говоритъ народное слово. „Не вѣрь гречихѣ на цвѣту, вѣрь въ — закрому!“ — приговариваетъ оно, указывая на то, что греча — самый зябкій хлѣбъ, почему и сѣется позднѣе всѣхъ другихъ. Ненадеженъ этотъ хлѣбъ: „Холь гречиху до посѣва да сохни до покоса!“. По сельской примѣтѣ: „Гречиха плоха — овсу порость!“, „Гречиху ѣсѣй, когда рожь хороша!“ (по иному разносказу: „когда трава хороша“). „Сѣй гречиху или за недѣлю до Акулинъ (смотря по мѣстности и погодѣ), или спустя недѣлю послѣ Акулинъ!“ (день св. Акулины — гречишницы — 13-е июня), — приговариваетъ умудренная хозяйственнымъ опытомъ деревня: „Не равна гречиха, не равна и земля: въ иную и возъ бросишь, да послѣ зерна не сберешь!“, „Осударыня-гречиха ходитъ боярыней, а какъ хватитъ морозу, веди на калѣчій дворъ!“

Встарину бывалъ у благочестивыхъ хозяевъ на Акулину-гречишницу кормъ нищей братіи: варилась „мірская каша“ — для всѣхъ живущихъ Христовымъ именемъ на крещеномъ міру. Благодарили убогіе гости хлѣбосольныхъ хозяевъ особымъ причетомъ. „Спасибо вамъ, хозяйинъ съ хозяйошкой, со малыши дѣтками и со всѣмъ честнымъ родомъ — на хлѣбъ, на соли, на богатой кашѣ!“ — причитали они: „Уроди, Боже, вамъ,

православнымъ, гречи безъ счету! Безъ хлѣба, да и безъ каши—ни во что и труды наши!“

Гречневая каша съ незапамятной поры стародавней слыветь за любимую ѣду русскаго народа: не гнушаются ею даже и въ богатыхъ хоромахъ, а не только въ бѣдной хатѣ. Ходитъ въ народѣ о гречихѣ старая сказка, повѣствующая о томъ, какъ впервые попала греча на Святую Русь. „За синими морями, за крутыми горами жилъ-былъ царь съ царицей“,—начинаетъ эта сказка свою пѣвучую, изукрашенную цвѣтами слова рѣчь и продолжаетъ: „На старость послалъ имъ Господь на утѣшеніе единое дѣтище, дочь красоты несказанныя... Возрадовались царь съ царицею и не знаютъ отъ радости, какое имя дать дочери, какъ ее прикликати: какое имячко ни вспомнится имъ, есть оно и въ другихъ семьяхъ—то у боярской дочери, другое у княжеской, то у посадскаго мужика въ семьѣ“... Порѣшили царь съ царицею снарядить посла, идти ему всѣхъ встрѣчныхъ-поперечныхъ опрашивать объ имени, чтобы дать его красавицѣ царевнѣ. Попалась послу старуха старая: на вопросъ посла отвѣчала сѣдая, что зовуть ее „Крупеничкою“. Не вѣритъ бояринъ, никогда не слыхивалъ онъ такого имечка; но, когда стала клясться-божиться старая, взявъ въ толкъ посланецъ царскій, что за такимъ-то неслыханнымъ именемъ и послали его на поиски. Отпустилъ онъ старуху „во Кіевъ-градъ Богу молиться, а на отпускѣ надѣлялъ золотой казной“. Вернулся посолъ къ царю съ царицею, повѣдалъ имъ обо всемъ, и нарекли они новорожденное свое дѣтище „Крупеничкою“... Выросла-повыросла царевна, надумали отецъ съ матерью замужъ ее отдавать, послали по всѣмъ царствамъ-королевствамъ искать себѣ зятя. Вдругъ—ни думано, ни гадаю—подымалась орда бесерменская. Не посчастливилось царю въ войнѣ съ ордой, положилъ онъ со всѣми князьями-боярами на кровавомъ полѣ свою голову. Полонила орда все царство, и досталась царевна во полонъ злему татарину. Три года томилась красавица въ тяжелой неволѣ; на четвертый шла-прошла старуха-старая черезъ Золоту Орду изъ Кіева,—увидѣла полоняночку, увидавъ—пожалѣла да и оборотила царскую дочь „въ гречневое зернышко“; спрятала его въ свою калиту да и пошла на Святую Русь. Идетъ старая, а царевна ей: „Спасла меня отъ работы великія, отъ неволи тяжкія; послужи еще службу послѣднюю: какъ придешь на Святую Русь, на широки поля привольныя, схорони меня въ землю!“ Просьба царевны была исполнена, но—какъ схоронила старуха гречневое зернышко,—и учало то зернышко

въ ростъ итить, и выросла изъ того зернышка греча, о семидесяти семи зернахъ. Повѣяли вѣтры со всѣхъ со четырехъ сторонъ, разнесли тѣ семьдесятъ семь зеренъ на семьдесятъ семь полей. Съ той поры,—заканчивается сказка,—на Святой Руси расплодилась греча...“

Даесть мужику подспорье и просо пшенной (бѣлоу) кашей. Но эта каша—не чета гречневой, не такъ плотно ложится. По народнымъ присловьямъ: „Пшенная кашка — ребячья!“ „Просо рѣденько, такъ и каша жиденька!“ „Просо вѣтру не боится, а морозу кланяется!“

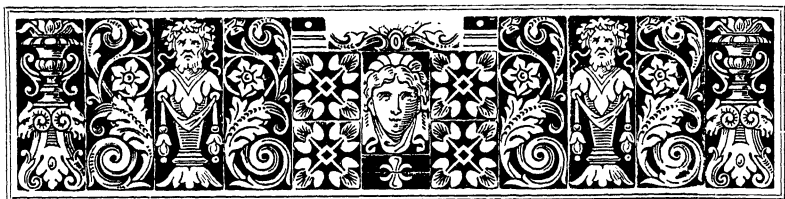
Любимая снѣдь деревенскихъ ѣдоковъ гречневая каша, но и горохъ недолго застоится передъ ними на столѣ въ чашкѣ: „Горохъ да рѣпа—мужицкому брюху крѣпа!“—говорится въ народѣ. Не мало цвѣтистыхъ присловій сказалось-сложилось объ этомъ кудреватомъ растеніи. „Кабы на горохъ не морозъ, онъ бы и тынъ переросъ!“ „Не смѣйся, горохъ, не лучше бобовъ: размокнешь, надуешься, лопнешь!“ „Нашъ горохъ никому не ворогъ!“ „Завидна дѣвка въ домѣ да горохъ въ полѣ: кто ни пройдетъ, ущипнетъ!“ „Дѣвку въ домѣ, да горохъ въ полѣ не уберечь!“ Каждое присловье въ свой цвѣтъ окрашено. Есть и такія смѣшливые, какъ: „И за моремъ горохъ не подъ печью сѣютъ!“ „Лежебокъ шиломъ горохъ хлѣбаеъ, да и то отряхиваетъ!“ „Съ твоимъ умомъ только въ горохѣ сидѣть.“ Если хотять сказать о чемъ-нибудь стародавнемъ, то выражаются такъ: „Это было тогда, когда царь Горохъ съ грибами воевалъ!“ Ходятъ по свѣтлорусскому простору и такія изреченія: „Къ тебѣ слово—что о стѣну горохъ!“ „Съ нимъ говоритъ—горохъ въ стѣну дѣптитъ!“ Старые сельскіе хозяева совѣтуютъ сѣять горохъ въ первые дни новолунія и не сѣять—при вѣтрѣ съ полуночи. Если при этомъ (сѣверномъ) вѣтрѣ сѣять, такъ, по увѣренію ихъ, будетъ горохъ рѣдокъ, при западномъ и юго-западномъ—мелокъ-червивъ.

Загадокъ о горохѣ не мало. Вотъ одна изъ болѣе живучихъ: „Малы малышки катали катышки, сквозь землю прошли—синю матку нашли; синяя, синяя да и вишневая!“... „Хороши пирожки-гороховички, да я не ѣдалъ, а отъ дѣдушки слыхалъ; а дѣдушка видалъ, какъ мужикъ на рынкѣ ѣдалъ.“—посмѣивается деревня, сидя на ржаномъ хлѣбцѣ-батюшкѣ да на холодной-ключевой водицѣ-матушкѣ. „Сѣю, сѣю бѣлъ горохъ: уродися, мой горохъ, и крупень, и бѣлъ, и самъ тридесять—старымъ бабамъ на потѣху, молодымъ ребятамъ на веселье!“—приговариваютъ тороватые краснословы.

Овесъ кормить не только лошадь, но и мужика и всю его семью: намолотить мужикъ овсеца, свезетъ на базаръ—про-

дасть, привезеть домой денегъ на подати, на расходы домашніе, на хозяйственные. „Не лошадь везеть, овесъ ѣдетъ!“, „Не гладь лошадь рукой, гладь овсомъ!“, „Съномъ лошадь требущину набиваетъ, отъ овса (у ней) рубашка (къ тѣлу) закладывается!“ — замѣчаетъ деревенская забота о лошади, — крестьянской помощницѣ. Овесъ любить, чтобы его сѣяли «хоть въ воду, да въ пору». Сѣять его умудренные годами хозяева совѣтуютъ лишь тогда, когда босая нога на пашнѣ не зябнетъ, или — когда березовый листъ станетъ распускаться (симбирская примѣта). Овесъ неприхотливъ: онъ, по народному слову, и сквозъ лапоть проростетъ. „На курганѣ на варганѣ стоитъ курочка съ серьгами“, — загадывается загадка объ овсѣ. Изъ овса готовить бабы-хозяйки лакомья снѣди — толокно да кисель овсяные, напекаютъ иногда и овсяный блиновъ (постныхъ). „Не подбивай клинъ подъ овсяный блинъ: поджарится, самъ свалится!“ — говорятъ охочіе до прибаутокъ люди: „Хорошъ овсяный кисель, ребята ѣдятъ да похваляютъ!“ „Толокно — и сладко, и споро, и спорно, и скоро: замѣси да прямо и въ ротъ понеси!“

Изстари славился народъ русскій своимъ хлѣбосољствомъ; славится онъ этимъ неотъемлемымъ качествомъ и въ наши дни: любить честныхъ гостей — и званыхъ, и незваныхъ — угощать, съ добрыми сосѣдями хлѣбъ-сољ водить. „Отъ хлѣба-соли не отказываются!“, „Хлѣбъ-сољ кушай, а добрыхъ людей слушай!“, „Безъ соли, безъ хлѣба — плохая бесѣда!“, „Хлѣбъ-сољ платежомъ красна!“, „Боронись хлѣбомъ-сољю!“, „Блинъ хлѣбъ-сољ позади, очутится впереди!“ Въ такихъ словахъ и многихъ имъ подобныхъ отражается широкая и глубокая — при всей своей простотѣ — душа пахаря-народа. Твердо памятуетъ онъ, что „хлѣбъ хлѣбу — братъ“, но знаетъ и завѣтъ дѣдовъ-прадѣдовъ, гласящій, что: „Хорошъ тотъ, кто поить да кормить, а и тотъ не худъ, кто старую хлѣбъ-сољ помнитъ“.



Ш.

Небесный міръ.

„Съ той стороны, съ-подъ восточныя, выставала туча темная, грозная; изъ той изъ тучи темныя, грозныя выпадала Книга Голубиная. Ко славному кресту животворящему, ко этой Книгѣ Голубиной соѣзжалось сорокъ царей и царевичей, собиралось сорокъ королей и королевичей, много бояръ со боярами. Изъ нихъ было пять царей наибольшихъ: былъ Исая царь, Василей царь, Володуміръ царь Володуміровичъ, былъ премудрой царь Давыдъ Евсеевичъ“... Такова заѣвка къ старшему (міровому) стиху духовному, сложившемуся въ стародавніе годы въ сердцѣ народной Руси и—въ десяткахъ разносказовъ—распѣваемому, начиная отъ студенаго архангельскаго поморья и кончая степями южнорусскими. На этомъ стихѣ зиждятся устои вѣковѣчной народной премудрости, отвѣчающей пытливому духу могучаго народа, сложившаго свой сказъ о міросозиданіи.

Упала съ неба, вышла изъ тучи, Книга Голубиная—„Божественная книга Евангельская“... Дивятся всѣ собравшіеся „ко кресту животворящему“, диву дались всѣ „сорокъ царевъ, все царевичей, сорокъ князевъ все князевичей, сорокъ поповъ, сорокъ дьяконовъ, много народу, людей мелкихъ, христіанъ православныхъ. Никто (изъ нихъ) ко книгѣ не приступится, никто къ Божьей не пришатнется“... Много-ли, мало-ли времени прошло-мишло,—въ стихѣ сказа пѣть... Но вотъ—разступились собравшіеся, „приходилъ ко книгѣ премудрой царь, перемудрой царь Давыдъ Евсеевичъ, до Божьей до книги онъ доступается, передъ нимъ книга разгибается, все Божественное писаніе объявляется“... Увидѣлъ это Воло-

думирь царь, въ которомъ не трудно узнать Владиміра Красно-Солнышко, князя стольнокиевскаго,—подступаетъ онъ къ мудрѣйшему изъ собравшихся, держитъ свою рѣчь къ нему:

„А ты гой еси, царь Давыдъ Евсеевичъ!
 Ты прочти Книгу Голубиную,
 Расскажи, сударь, намъ про бѣлый свѣтъ:
 Отчего у насъ зачался бѣлый свѣтъ,
 Отчего зачалось солнце красное,
 Отчего зачался младъ-свѣтѣль мѣсяць,
 Отчего зачалася бѣла заря,
 Отчего зачались звѣзды частыя,
 Отчего зачались вѣтры буйныя,
 Отчего зачался мѣръ-народъ Божій,
 Отчего зачались кости крѣпкія,
 Отчего взяты тѣлеса наши?“

На этихъ девяти предложенныхъ царь-Володуміромъ вопросахъ—какъ на девяти китахъ—стоятъ-держатся всѣ основы міра. Но не смутился царь Давыдъ Евсеевичъ,—на то онъ и былъ не только мудрый, а даже „перемудрый“,—не задумавшись, отвѣтилъ спрашивающему на каждое его слово вопросное. „А ты гой еси, Володумирь царь, Володумирь царь Володумировичъ!“—возговорилъ онъ: „Ино эта книга не малая, высока книга сороку сажень, на рукахъ держать—не сдержать будетъ, а письма въ книгѣ не прочесть будетъ, а читать книгу ее не кому. А сама книга распечаталась, слова Божіи прочитались. И скажу, братцы, да по памяти, я по памяти, какъ по грамотѣ. У насъ бѣлый свѣтъ взятъ отъ Господа. Солнце красное отъ лица Божія, младъ-свѣтѣль мѣсяць отъ груди его, зори бѣлыя отъ очей Божіихъ, звѣзды частыя—то отъ ризъ Его, вѣтры буйныя отъ Свята-Духа, мѣръ-народъ Божій отъ Адамія, кости крѣпкія взяты отъ каменн, тѣлеса наши отъ сырой земли“... Въ приведенномъ отвѣтѣ явственно слышится отголосокъ народнаго обожествленія видимой природы. И теперь она еще живетъ и дышетъ каждымъ проявленіемъ своего существованія, обступая призраками древнеязыческихъ—злыхъ и добрыхъ, темныхъ и свѣтлыхъ—божествъ пахаря-хлѣбороба, думающаго далеко не объ одномъ только хлѣбѣ насущномъ. А въ до-христіанскую пору—что ни шагъ, то и могущественный духъ возставалъ передъ устремленнымъ въ глубь жизни суетвѣрнымъ взоромъ отдаленнѣйшихъ пращуровъ народной Руси нашихъ дней.

Небо является теперь, въ представленіи народа, престоломъ Божіимъ, а земля—подножіемъ ногъ Его. Въ сѣдья-же времена,

затонувшія въ затуманенной безднѣ далекихъ вѣковъ, и Небо-Сварогъ, и Мать-Сыра-Земля представляли собою великихъ боговъ, съ бытіемъ которыхъ неразрывными узами было связано все существованіе міровъ небеснаго и земного, и отъ воли которыхъ зависѣли жизнь и смерть, счастье и горе человека—этой ничтожной песчинки мірозданія, возмнившей себя царемъ природы.

Небо славяно-русскихъ народныхъ сказаній о богахъ—свѣтлый прабогъ, отецъ и полновластный владыка вселенной; земля—праматерь. Въ этомъ—ихъ великая связь, отъ которой, какъ лучи—отъ солнца, расходятся во всѣ стороны свѣта бѣлаго причины всѣхъ другихъ явленій бытія и небытія. Какъ видимый всѣмъ дивный, сверкающій звѣздами шатеръ небесный охватываетъ-прикрываетъ своей ризою всѣ предѣлы земные,—такъ и древній прабогъ народа русскаго обнималъ и прикрывалъ собой все существующее въ поднебесномъ мірѣ. Свѣтила небесныя—солнце, мѣсяцъ и всѣ тьмы-темъ неисчислимой россыпи звѣздной—считались его дѣтьми, созданными имъ отъ своей плоти и крови. Солнце, согрѣвающее все живое лучами,—солнце, приобщающее темную землю къ свѣту небесному, пресвѣтлое солнце—это свѣтило свѣтиль—звалось въ языческой Руси Дажьбогомъ, сыномъ Небу-Сварогу приходилось. „И послѣ (Сварога) царствова сынъ его именованъ Солнце, его-же наричаютъ Дажьбогъ... Солнце-царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бѣ бо мужъ силенъ“...—говорится объ этомъ въ Ипатьевской ¹⁰⁾ лѣтописи. Обожествляя пресвѣтлое солнце, народъ русскій величаетъ его самыми ласковыми, самыми очестливыми именами. Оно является въ его выработанномъ тысячелѣтіями міровозрѣніи добрымъ и многомилостивымъ, праведнымъ и нелицепріятнымъ заботникомъ обо всемъ мірѣ живыхъ. Ниспосылая тепло и свѣтъ, осыпая міръ щедрыми дарами своего непостижимаго для смертныхъ могущества, оплодотворяя не только землю, но и нѣдра земныя, оно является въ то-же самое время и грознымъ судьей-карателемъ всякой темной силы-нечисти и всѣхъ ея, пресмыкающихся по землѣ, слугъ, нечестивыхъ прислѣшниковъ кривды. Можетъ солнце счастливить своими благодѣяніями, но въ его непобѣдимой власти—и обездолить засухой, неурожаемъ и моровыми повѣтріями, отъ которыхъ не отчитаться никакими причетами, которыхъ не заклясть никакими заговорами-заклятіями—кромѣ обращенныхъ изъ глубины стихійнаго серд-

¹⁰⁾ Ипатьевская лѣтопись—сводъ лѣтописныхъ списковъ, хранившійся въ костромскомъ Ипатьевскомъ (Ипатскомъ) монастырѣ. Происхожденіе этого свода относится исследователями къ концу XIV—началу XV вѣка.

на народнаго все къ нему-же—къ пресвѣтлому, всеправедному, всемогущему солнцу красному (=прекрасному).

Нѣтъ для солнца ни богатыхъ, ни бѣдныхъ,—всѣмъ одинаково разливаеъ-раздаеъ оно свои дары и кары: проходятъ передъ его свѣтлыми очами—по народному, пережившему вѣка, слову—только праведные и нечестивые. Нѣтъ для суевѣрнаго русскаго люда клятвы вѣрнѣй-страшнѣе клятвеннаго упоминанія имени этого прекраснаго свѣтила. „Красна-солнышка не взвидать!“—освѣняясь крестнымъ знаменіемъ, произносить клянущійся пахарь, и крѣпко правдою слово его. „Ото всѣхъ уйдешъ кривыми путями-дорогами, только не отъ очей солнечныхъ!“, „Никто не найдетъ кривду, а солнышко красное выведетъ и ее на свѣжую воду!“, „Человѣкъ цѣлый вѣкъ правды ищетъ, да не находитъ, а стоить выйти на небо солнышку,—только глянетъ, и правда—передъ нимъ!“—говоритъ русскій народъ.

Исслѣдователемъ возрѣній славянъ на природу—въ первомъ томѣ его замѣчательнаго труда, положительно открывшаго глаза изученію отечественнаго народовѣднія и народопониманія, записанъ любопытный простодушный сказъ о карѣ Божіей за непочтительность къ солнцу. Это было давно,—гласить онъ,— у Бога еще не было солнца на небѣ, и люди жили впотѣмкахъ. Но вотъ, когда Богъ выпустилъ изъ-за пазухи солнце, дались всѣ диву, смотрятъ на солнышко и ума не приложатъ... А пуще—бабы! Повынесли онѣ рѣшота, давай набирать свѣта, чтобы внести въ хаты да тамъ посвѣтить; хаты еще безъ оконъ строились. Поднимутъ рѣшето къ солнцу, оно будто и наберется свѣта полнымъ-полно, черезъ край льется, а только что въ хату—и нѣтъ ничего! А Божье солнышко все выше да выше подымается, ужъ припекать стало. Вздурѣли бабы, сильно притомились за работой, хоть свѣта и не добыли, а тутъ еще сверху жжетъ—и вышло такое окаянство: начали на солнце плевать. Богъ прогнѣвался и превратилъ нечестивыхъ въ камень...

Воображеніе предковъ народа-пахаря, обожествляя животворное свѣтило дня, отвело ему и особое жилище, куда оно удалялось на отдыхъ послѣ дневныхъ трудовъ. Это жилище было, однако, не на западѣ, открывающемъ солнцу объятія передъ наступленіемъ ночи—этой темной стихіи древняго Чернобога, а на востокѣ, въ волшебномъ царствѣ Бѣльбога, олицетворявшаго собою стихію свѣта-дня. Тамъ, по народному сказанію, стоялъ дивный дворецъ солнца, весь построенный изъ чистаго золота, камнями-самоцвѣтами разукрашенный. Вокругъ дворца росъ густой садъ, все—яблони съ золо-

тыми яблоками; распѣвали въ этомъ саду жарь-птицы. Посрединѣ дворца высился алмазный, покрытый пурпуромъ, престолъ, на которомъ и отдыхало красное солнышко, скрывавшееся отъ темнѣвшей земли. Каждымъ утромъ садилось оно въ свою лучезарную колесницу и выѣзжало — свѣтоносное — на бѣлыхъ, огнедышащихъ, коняхъ на свой небесный, проложенный тысячелѣтними, путь, неся міру благотворный свѣтъ и свѣтлую радость. На Ивановъ день, когда оно, достигнувъ высшей точки стоянія, поворачиваетъ съ лѣта на-зиму, выѣздъ солнца совершался съ особой торжественностью: въ колесницу впрягались не бѣлые кони, а серебряный, золотой да брилліантовый.

У словаковъ ¹¹⁾, западныхъ родичей русскаго народа, существуетъ слѣдующая сказка, изображающая въ лицахъ смѣну временъ года — борьбою двухъ враждебныхъ стихій: весенняго освободителя солнца и его зимняго похитчика, — причемъ первый представляется воплощеніемъ всего свѣтлаго-добраго, а послѣдній — прообразомъ темнаго зла. Здѣсь понятія о богѣ-солнцѣ и богѣ-громовникѣ сливались воедино, и борьба стихій проявлялась въ гулкомъ грохотѣ лѣтней грозы. Выходили, по словамъ сказки, на небесный просторъ два богатыря-соперника, бросались другъ на друга съ мечами-кладенцами... Длилась борьба, раздавался звонъ сшибавшихся другъ съ другомъ мечей, но негнулась побѣда ни на ту, ни на эту сторону. Тогда кидали враги на небесную путину свое оружіе. „Обернемся лучше колѣсами да и покатимся съ небесной горы!“ — предложилъ богатырь-весна своему вѣрогу: „Чье колесо будетъ разбито — тотъ и побѣдитъ будетъ!“ Согласился богатырь-зима... Полетѣли-покатились съ горъ-горы оба соперника колесами яркими. И вотъ — налетѣло, ударилося колесо-весна объ колесо-зиму, — налетѣло, раздробило его. Но не сдался противникъ, не сдался — изъ колеса добрымъ молодецъ перекинулся, — стоитъ, а самъ насмѣхается: „Не взяла-де твоя сила! Не раздробилъ ты меня, а только пальцы на ногахъ придавилъ!.. Обернемся-ка, братъ, лучше въ огонь-попымя, я — въ бѣлое, ты — въ красное! Чье пламя осилитъ,

11) Словаки — славянскіе обитатели сѣверной Венгрии, составлявшіе одиннадцатъ вѣковъ тому назадъ ядро Велико-Моравскаго государетва, покоренные мадьярами. Съ незапамятныхъ временъ живеть это племя въ мѣстности, ограниченной съ запада р. Моравою, съ сѣвера — Карпатами, съ юга — р. Дунаемъ, съ юго-востока — рѣками Уголь, Слана и Тиса. По общей народнои переписи въ 50-хъ годахъ XIX столѣтія, число ихъ достигало 1.630.000 человекъ, къ 90-мъ-же оно возросло до 2.200.000. Около полумилліона ихъ — лютеране, а всѣ остальные — римско-католики; до XIII-го столѣтія всѣ они были сынами Православной Церкви.

тотъ надъ другимъ и верхъ взялъ!..“ И вотъ — обернулись враги-соперники въ два пламени, и принялись они другъ друга палить, — жгутъ-палаятъ, осилить одинъ другого не могутъ... Шель-проходиль той дорогою прохожіи — старый нищій съ длинной сѣдою бородой. Взмолилось къ убогому бѣлое пламя: „Старикъ! Принеси воды, залей красное пламя! Я тебѣ грошъ дамъ!“ — „Не носи ему, принеси мнѣ, я тебѣ червонецъ подарю, — только залей ты бѣлое!“ — перебило врага красное пламя. Червонецъ — не грошу мѣдному чета: и залилъ старикъ пламя похитчика весенняго солнца... На томъ и сказкѣ — конецъ. Съ этой сказкою стоитъ въ несомнѣнной связи соблюдающійся до сихъ поръ на Руси обычай — скатыванія горящаго колеса съ горы въ ночь подъ Ивановъ день (съ 23-го на 24-е іюня).

Не мало пословиць, поговорокъ и различныхъ присловій приурочено народной молвю крылатою къ свѣтилу свѣтилъ небесныхъ, пригрѣвающему землю-кормилицу. Представляетъ его народъ, — даже и отрѣшившись отъ всякихъ призраковъ языческаго суевѣрія, — живымъ, одушевленнымъ, все живящимъ и все одушевляющимъ. Какъ и человѣкъ — ходитъ оно, садится и встаетъ; какъ и человѣкъ — оно веселится-радуется („играетъ“) и слезится-плачетъ (дождь сквозь солнце), отуманивается грусть-тоскою, закрываясь тучами. Зимой, въ морозную пору, станетъ ему не въ моготу студено, — надѣнетъ оно рукавицы да наушники, — знай себѣ идетъ путемъ-дорогою, съ „пѣсолнцами“, ложными-солнцами¹²⁾, по бокамъ... „Не пугай, зима, весна придетъ! Не страши, непогода, солнышко ведетъ вѣдрышко!“ — говоритъ народъ-краснословъ, а самъ приговариваетъ: „Взойдетъ красно-солнце — прощай, свѣтѣль-мѣсяць!“ „Взойдетъ солнышко и падъ нашими воротами, — нечего ночью грозиться!“ „Что мнѣ золото — свѣтило-бы солнышко!“ „Безъ милова не прожить, безъ солнышка — не пробыть!“ Хотя, по народному слову, солнышко и свѣтитъ-сіяетъ „на благіе и злые“, но изъ тѣхъ-же устъ вылетѣли на свѣлорусскій просторъ реченія: „На весь міръ и солнышку не угрѣтъ!“ „И красное солнышко на всѣхъ не угождаетъ!“ и т. п.

Являясь олицетвореніемъ правды-истины, солнце представляется стихійной народной душѣ обличителемъ кривды. „У того совѣсть не чиста, кто не взглянетъ прямо въ глаза солнышку!“ „Воръ на солнце не взглянетъ, а взглянулъ — такъ и глаза вытекутъ!“ „На солнышко, что на-смерть, во всѣ

¹²⁾ Ложныя солнца — явленіе солнечнаго отраженія на небѣ. Обыкновенно, ихъ бываетъ два — со свѣтлымъ сіяніемъ наверху („столбы“), или на свѣтлой раздвоенной дугѣ („уши“).

глаза недобрый человекъ не взглянетъ!“—замѣчаетъ посельщина-деревеньщина, тороватая на присловья-поговорки всякія. При какихъ только случаяхъ не вспоминается русскому человекъ красное солнышко! Если, къ примѣру сказать, начинаютъ упрекать кого-нибудь въ отсутствіи щедрости,—„Не солнышко: всѣхъ не обогрѣешь!“—отговаривается онъ: „И на солнцѣ не круглый годъ тепло живетъ!“, „И солнышко зимой не грѣетъ!“ Когда-же добрые люди подсмѣиваются надъ чьей-либо излишней осторожностью,—у того срывается въ отповѣдь: „И соколъ выше солнца не летаетъ!“ Скажите-ка краснослову, не боящемуся тягаться съ неравными ему по положенію людьми, чтобы онъ остерегался суда,—онъ, того и-гляди, отвѣтитъ, что-де: „Дальше солнца не сошлютъ!“... „Солнышка въ мѣшокъ не поймашь!“—махнетъ рукой мужикъ-простота, которому кто-нибудь станетъ давать совѣтъ приняться за неподходящее къ его крестьянскому обиходу дѣло. „Солнышко—золото, да не про насъ!“, „Солнышко съ золотомъ рядомъ садится, ловишь его—въ карманъ наложить норовишь, а все, братецъ ты мой, ни гроша въ мѣшкѣ не шевелится!“—подсмѣивается самъ надъ собою бобыль-бездомникъ, горькая головушка.

Не одинъ десятокъ связанныхъ съ солнцемъ примѣтъ, въ стародавнюю пору подмѣченныхъ зоркимъ глазомъ крестьянствующаго на Святой Руси пахаря, ходитъ у насъ въ народѣ. „Когда солнышко закатилось, новой ковриги не починай: нищета одолѣетъ!“—говоритъ выученный вѣковѣчной нуждою хозяйственный опытъ. Но это—еще не примѣта, а вѣрнѣе—тоже присловье. А вотъ и самыя настоящія примѣты, другъ дружку погоняють, одна передъ одной торопятся свою рѣчь вести, на времена года, на мѣсяца да на дни, что на подорожный костыль, опираючись. „Если на Василия теплаго (28-го февраля) солнце въ кругахъ—жди, православный людъ, большого урожая!“—гласитъ одна изъ нихъ. „На Спиридона-солноворота (12-го декабря) медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на другой бокъ“,—перебиваетъ ее другая, дополняя самоѣ-себя: „Послѣ солноворота прибудетъ дня хоть на воробьиный скокъ!“, „Отколѣ вѣтеръ на солноворотъ, отголѣ будетъ дышать до сорока мучениковъ (9-го марта)!“. Насмѣну этимъ готовы идти и третья—„Не давай денегъ, какъ зайдетъ солнце!“, и четвертая—„Какъ солнышко зайдетъ, не заводи ни съ кѣмъ спора!“... Да и не перечестъ всѣхъ, не пересказать, не переслушать. Простонародныя русскія загадки немало говорятъ о красномъ солнышкѣ. „Сито, вито, кругловито,“—гласитъ одна изъ нихъ (тульская),—„кто ни взглянетъ, всякъ за-

плачеть!“—„Не стукнетъ, не брякнетъ, ко всякому подойдетъ!“; „Что милѣе на свѣтѣ?“—спрашиваютъ о немъ новгородскіе загадчики. „Лѣтомъ грѣетъ, зимой холодитъ!“—вторятъ вологжане-землекопы и прибавляютъ къ этому: „Что всегда ходитъ, а съ мѣста не сходитъ?“ Въ Самарской губерніи гуляютъ по людямъ такія загадки: „Красно яблочко на синей тарелочкѣ катается!“ да „Что на свѣтѣ всего рѣзвѣе?“; въ Рязанской—„Что никогда не стоитъ?“; „Что скорѣе всѣхъ по землѣ ходитъ?“; „Что безъ огня горитъ?“; „Что за красная дѣвушка съ неба въ оконце глядитъ?“; въ Симбирской—„Вертится вертушечка, золотая коклюшечка; никто ее не достанетъ: ни царь, ни царица, ни красная дѣвица!“ Про солнечные лучи на архангельскомъ поморьѣ сложили такую загадку: „На улицѣ станушки, въ избѣ рукава!“; Близъ самарской луки на старой Волгѣ—„Барыня на дворѣ, рукава—въ избѣ!“; „Бѣлая кошка лѣзетъ въ окошко!“; „Изъ воротъ въ ворота лежитъ щука золота!“; въ новгородской округѣ—„Изъ окна въ окно—золото бревно („веретено“—по иному, тихвинскому, разносказу)!“; на курскомъ рубежѣ—„Сѣрое суконце тянется въ оконце!“; у псковичей—„Прѣсное молоко на поль лють, —ни ножомъ, ни зубами соскоблить нельзя!“; у ярославцевъ—„Сѣку, сѣку, не высѣку; рублю, рублю, не вырублю (или „мету, мету, не вымету!“); „Чего ни въ избѣ не запрешь, ни въ сундукъ не схоронишь?“ и т. д. О солнечномъ восходѣ отъ олончанъ, сосѣдей чуди бѣлоглазой, слывающихъ за вѣдуновъ-знахарей да за памятливыхъ сказателей, пошли по народной Руси гулять такія двѣ загадки: „Летитъ птичка-говорокъ черезъ барскій дворокъ, сама себѣ говоритъ:—Безъ огня село горитъ!“ и „Встану на горку, на маковку, увижу Миколку на заполкѣ!“

Съ представленіемъ о солнцѣ объединяется у всѣхъ народовъ понятіе о двухъ его сестрахъ—утренней зарѣ (старшей) и вечерней (младшей). У древнихъ славянъ существовала одна солнцева сестра—богиня Дѣва-Зоря, будившая поутру красно-солнышко или встрѣчавшая его передъ отправленіемъ въ путь-дорогу, а ввечеру укладывавшая его спать или провожавшая домой въ его волшебное царство, къ золотому дворцу. „Заря-зоряница, солнцева сестрица, красная дѣвица!“—величаетъ ее въ своихъ заговорахъ народная Русь, надѣляя ее чудодѣйной силою: разгонять тьму, убивать нечисть и оплодотворять сѣмена злаковъ, созданныхъ на потребу человѣческую. Такъ, еще до сихъ поръ существуетъ въ захолустныхъ уголкахъ неоглядной-необъятной родины народа-пахаря обычай выставлять на семь утреннихъ зорь

приготовленное для посѣва зерно. На зорькѣ спрыскиваютъ ключевой водою больныхъ—для излѣченія отъ тяжкихъ недуговъ. По цвѣту зорь гадаютъ не только о погодѣ, но и о судьбѣ: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ слишкомъ яркій (багряный, кровавый) цвѣтъ не предвѣщаетъ добра. Къ вечерней зарѣ обращаются въ заговорахъ на унятіе крови. „На морѣ-окіянь“,—начинается одинъ изъ нихъ, подслушанный въ разныхъ концахъ неоглядной родины русскихъ сказаній, — „сидитъ красная дѣвица, заря-зоряница, швея-мастерица. Держитъ швея иглу булатную, вдѣваетъ нитку рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя. Нитка оборвись, кровь—запекись!“. „Зарей-красавицею“ величаетъ народная Русь каждую изъ солнечныхъ сестеръ, но тутъ же сама себя оговариваетъ цвѣтистымъ—что зорька майская—присловьемъ: „Вешній цвѣтъ духовитѣй осеняго, утренняя зорька краше вечерней!“ Въ народномъ воображеніи заря является олицетвореніемъ счастья-радости. „И на нашей улицѣ будетъ праздникъ, и надъ нашей крышею займется заря!“, „Идетъ, не дожидется горюша горькая ясной зорьки, счастливыхъ деньковъ!“, „Долго-ль до зореньки,—тосковалъ соловушекъ. Блиско-ль до счастьяца,—плакала дѣвица!“—можно услышать крылатую молву деревенскую. Всю жизнь проводитъ пахарь-народъ въ трудѣ; въ потѣ лица своего онъ—по завѣту Божию—свой черствый хлѣбъ ѣстъ. Тысячелѣтнее дитя природы, кончаетъ онъ работу на вечерней зарѣ, подымается съ жесткаго ложа къ новому труду—только успѣетъ зажечь пожаромъ востокъ утрення зоря-зоряница, красная дѣвица. Одна заря его въ домъ вгонитъ, другая на поле выгонитъ. И такъ ведется у него изо-дня-въ-день, изъ-года-въ-годъ, изъ-вѣка-въ-вѣкъ. „Пыхъ пыхъ по горамъ—не спи по зарямъ!“—приговариваетъ сѣдая простонародная мудрость. „Зарю проспать—гроша (рубля“—по позднѣйшему разносказу) не достать!“—добавляетъ она: „Заря работу родитъ, работа—деньгу раститъ!“, „День денежку беретъ, заря денежку куестъ!“, „Заря и мужика золотомъ осыплетъ!“, „До утренней зари не гляди въ окно; вспыхнетъ заря—вставать пора!“.

Связано съ понятіемъ о зарѣ не мало всякихъ примѣтъ на Руси. Тому, кто хочетъ копать колодезь, умудренные долготѣтними наблюденіями добрые люди даютъ совѣтъ—выходитъ изъ хаты по утреннимъ зорькамъ до семи разъ и присматриваться зоркимъ глазомъ: гдѣ первый паръ (туманъ) ложится. „Выдь на семь зорь, увидишь семь бѣлыхъ озеръ,—на которомъ хочешь, на томъ и колодець роешь!“—гласитъ мудрое слово. Числу семь придается въ русскомъ народѣ осо-

бое таинственное значеніе. Оно вообще пользуется въ памятникахъ живой народной рѣчи большимъ почетомъ. Такъ—можно встрѣтить во многомъ-множествѣ сказаній не только семь зорь, но и семь вѣтровъ, семь холмовъ, семь русалокъ, семь небесъ, семь вѣщихъ дѣвъ, семь гремачихъ ключей, семь замковъ-печатей, семь засововъ, семь башенъ, семь переходовъ и т. д.

Объ утренней зарѣ, загорающейся надъ грудью Матери-Сырой-Земли послѣ перваго весенняго дождя, дошла до нашихъ дней такая прѣсказка, цвѣтами слова изукрашенная: „Заря-зоряница, красна-дѣвица, по-лѣсу ходила, ключи потеряла, мѣсяць видѣла, солнце скрало!“... „По зарѣ зрянской катился шаръ вертлянской, никому его ни обойти, ни объѣхать!“—говоритъ живая великорусская рѣчь про солнце. Съ древне-языческимъ почитаніемъ богини Зори имѣетъ несомнѣнную связь повсемѣстно соблюдающійся на Руси обрядъ оплакиванія зари невѣстою. Заря то-и-дѣло поминается въ обрядовыхъ свадебныхъ пѣсняхъ („Не бѣла-заря, въ окошечкѣ заря взошла, не свѣтѣль-то мѣсяць, дорожку мѣсяць просвѣтилъ...“ и мног. друг). Захолустными деревнями-селами ходитъ по-людямъ сохранившееся чуть не отъ стародавнихъ временъ язычества повѣрье о томъ, что—если обнести только-что родившагося ребенка семь разъ вокругъ бани, то будутъ бѣжать отъ него всякія бѣдѣсти. Заря-зарина („орина“—по иному разносказу),—причитается при этомъ,—заря-скорина, возми съ раба Божія, младенца (имя рекъ) зыки и рыки дневные и почные!“ Растенію зоря¹³⁾ (любистокъ, гулявица, сильный-цвѣтъ) придается суевѣрными людьми сила прѣворотнаго зелья.

Не только солнце со своими красавицами-сестрами, но и мѣсяць, и звѣзды, были обоготворяемы славяниномъ-язычникомъ. И о нихъ дошло до нашихъ дней многое-множество преданій, сказаній, повѣрій и присловій. Мѣсяць представлялся воображенію древняго народнаго суевѣрія то супругомъ солнца, то его супругою (когда именовался луною). Понятіе объ этомъ неоднократно измѣнялось, шествуя по безконечной путинѣ вѣковъ. По однимъ сказаніямъ, солнце является богиней (царицею) небесныхъ предѣловъ и—при поворотѣ съ зимы на лѣто—наряжаясь въ цвѣтной праздничный сарафанъ и кокошникъ съ камнемъ самоцвѣтнымъ, выѣз-

¹³⁾ Зоря—*ligusticum levisticum, levisticum officinale*—высокое многолѣтнее растеніе, разводимое въ садахъ, но нерѣдко встрѣчающееся и въ дикомъ состояніи. Корень зоря въ народной медицинѣ примѣняется до сихъ поръ съ самыми разнообразными назначеніями.



жаеть изъ своихъ золотыхъ палатъ навстрѣчу супругу-мѣсяцу. Пляшетъ солнышко, играетъ лучами отъ радости—въ предчувствіи желанной встрѣчи, заливаешь всю ширь и даль поднебесную золотыми волнами счастія. Съ первыми замо-розками,—молвить преданіе,—солнце разлучается со свѣтлымъ супругомъ-мѣсяцемъ вплоть до самаго возвращенія на бѣ-лый свѣтъ весны: мужъ въ одну сторону, жена—въ другую. Не подаетъ ни тотъ, ни другая о себѣ вѣсточки во всю зи-му-зимскую. Встрѣтятся Весна-Красна съ Зимой-Мораною, тутъ—и имъ первое свиданье послѣ долгой разлуки живеть. Собрателемъ сказаній русскаго народа — Сахаровымъ ¹⁴⁾ записано повѣрье о томъ, что принимаются встрѣтившіеся супруги рассказывать другъ другу о своемъ житьѣ-бытьѣ въ разлукѣ, все—безъ утайки—говорять на радостяхъ. Не диво, что эти рѣзказни, размолвкой, и на ссору наведуть. Пойдетъ такая перепалка-перебранка, что даже земля затря-стись можетъ съ перепуга. Горденекъ мѣсяць,—говорять раз-сказывающіе объ этомъ,—отъ него и ссора зачинается. Доб-рая встрѣча солнца съ мѣсяцемъ—и дни будутъ ясные, худая—на худую погоду наведеть, на туманы да на изморозь пла-кучую. Весною, при первой грозѣ, по старинному сказанію, совершается бракъ солнца съ мѣсяцемъ, каждагодно послѣ ихъ разлуки обновляясь грознымъ торжествомъ природы.

Звѣзды частыя—безчисленное потомство ясноликой обоже-ственной стародавней стариной любвеобильной-свѣтоносной четы, солнцевы да мѣсяцевы любимыя дѣтки.

„Ясне солнце—то господыня,
Ясенъ мѣсяць—то господарь,
Ясни зирки (звѣзды)—то ёго дитки...“—

поется въ южнорусской пѣснѣ-колядкѣ. Тамбовскія дѣвушки еще и теперь распѣвають старинную пѣсню о перевозчикѣ. „Первозчикъ, добрый молодець! Перевези меня на свою сторо-ну!“—молить-просить дѣвица удалого перевозчика. „Я перевезу тебя, за себя возьму!“—отвѣчаетъ онъ. „Ты спросилъ-бы меня, чьего я роду, чьего племени?“—отговаривается красавица:

¹⁴⁾ Иванъ Петровичъ Сахаровъ—одинъ изъ отцовъ современной русской этнографіи—родился въ 1807-мъ году, умеръ въ 1863-мъ. Онъ былъ сынъ туль-скаго священника, высшее образованіе получилъ въ московскомъ университетѣ на медицинскомъ факультетѣ, былъ врачомъ московской городской больницы, преподавателемъ палеографіи (исторіи письма по рукописнымъ памятникамъ) въ училищѣ правовѣдѣнія и Александровскомъ лицейѣ и членомъ географиче-скаго и археологическаго обществъ. Изъ его трудовъ самый капитальный—два тома „Сказаній русскаго народа“; затѣмъ—слѣдуютъ: „Путешествія русскихъ людей“, „Пѣсни русскаго народа“, „Русскія народныя сказки“ и друг.

„Я роду (-го) ни большого, ни малаго:
 Мила матушка—красна солнушка,
 А батюшка—свѣтѣль-мѣсяць,
 Братцы у меня—часты звѣздушки,
 А сестрицы—бѣлы зорюшки!“

„Солнце—князь, луна—княгиня“,—гласитъ народная поговорка. По этой послѣдней—луна (мѣсяць) является солнечной супругою,—съ чѣмъ совершенно сходятся языческія сказанія о свѣтозарной женѣ Дажьбога.

Творческому воображенію пахаря нашихъ дней небо представляется свѣтлымъ теремомъ Божиимъ—со звѣздами вмѣсто оконъ. Изъ этихъ оконъ смотрятъ на бѣлый свѣтъ святыя ангелы Господни. Нѣтъ счета-числа воинству небесному: сколько людей въ мірѣ—столько и ангеловъ. У каждой живой души—свой ангелъ-хранитель. Народится человѣкъ, и ангела новаго посылаетъ Богъ стеречь-беречь его отъ грѣха напраснаго-наноснаго, отъ ухищреній нечистой силы дьявольской. Прорубитъ ангелъ новое окошечко изъ Божьяго терема, сядетъ у него да и смотреть, глазъ не спускаючи съ довѣреннаго его попеченію сына земли. „Смотритъ ангелъ, а самъ каждое дѣло земное въ книгу небесную записываетъ. А людямъ-то кажется, что это всё звѣзды сверкаютъ!“—гласитъ народное слово. Умеръ человѣкъ, захлопывается ставнями окно, падаетъ и его звѣзда съ выси небесной на грудь земную. Кто увидитъ такую звѣзду да успѣетъ сказать свое пожеланіе,—сбудется, не минуется. Въ русскихъ простонародныхъ сказкахъ и солнце, и мѣсяць смотрятъ въ небесныя окна. Да и не въ однѣхъ сказкахъ, а и въ прибауткахъ разныхъ, и въ причетахъ. „Солнышко-вѣдрышко, выгляни въ окошечко! Твои дѣтки плачутъ, пить-ѣсть просятъ!“—кличутъ солнцу во время ненастья, затагивающагося не на-день, не на-два, а Богъ вѣсть—на сколько дней. „Мѣсяць ты, мѣсяць, золотые твои рожки! Выглянь въ оконце, подуй на опару!“—причитаютъ бабы-хозяйки, приготавливая блинную опару для поминокъ и становясь при этомъ непременно „супротивъ мѣсяца“. Кто часто смотритъ на звѣздную росыпь—у того, по старинной примѣтѣ, глаза будутъ зоркіе. Въ заговорахъ можно встрѣтить свидѣтельство объ этомъ. „Господи Боже, благослови принять отъ синя моря силы, отъ сырой земли—рѣзвоты, отъ частыхъ звѣздъ—зрѣнія, отъ буйна вѣтра—храбрости!“—молитъ одинъ изъ нихъ, каждымъ своимъ словомъ проникая въ суевѣрную душу охваченнаго объятіями природы съ колыбели до гробовой доски вѣрнаго ей пахаря.

Свѣтлый спутникъ земли, мѣсяцъ, слывущій по инымъ мѣстамъ народной Руси за „казачье солнышко“, обожеествлявшійся въ сѣдую старь время, и теперь еще напоминаетъ деревенскому хлѣборобу о пережиткахъ поклоненія ему. „Мѣсяцъ, мѣсяцъ молодой! Табѣ рогъ золотой, табѣ на увеличенье, а мнѣ на доброе здоровье!“—причитаютъ смоленскіа (Краснинскаго у.) крестьянки, становясь передъ „молодикомъ“—молодымъ мѣсяцемъ. Отъ рожденія молодого мѣсяца до полнолунія, по народному повѣрью, счастливые дни. А какъ пойдетъ-пойдетъ мѣсяцъ на ущербъ,—выплыветъ и всякое несчастье на бѣлый свѣтъ. Если кому посчастливится увидѣть съ правой стороны отъ себя народившійся мѣсяцъ, да спохватится увидѣвшій показать мѣсяцу хоть копѣйку мѣдную (не говоря уже о серебряной или золотой монетѣ!)—перевда у того деньгамъ не будетъ, „ничего не видя разбогатѣть!“.. Слѣва покажется,—надо поклониться мѣсяцу въ поясъ, чтобы защитилъ онъ отъ хворобы всякой раба Божія... Всякую работу совѣтуютъ добрые люди зачинать тогда, когда растеть-подрастаетъ свѣтѣль-мѣсяцъ. И скотину-животину лучше колоть въ полнолуны, по увѣренію скотоводовъ да мясниковъ, придерживающихся обычаявъ старины: ущербаетъ мѣсяцъ—и скоть худѣтъ, съ тѣла спадаетъ. На ущербѣ мѣсяца даже сѣять хлѣбъ нехорошо: зерно выйдетъ тощее. Засѣянное въ новолуны поле даетъ густой-частый хлѣбъ, созрѣвающій на диво скоро; въ полнолуны посеешь,—тихо станетъ расти хлѣбъ, да зато умолотистъ будетъ. Хочетъ хозяйка, чтобы бѣль-волокисть уродился ленъ,—сѣй его, баба, на молодой мѣсяцъ! А надо ей собрать побольше сѣмени льняного,—жди полнолуны!.. Не начинаютъ строить знающіе всякое слово и словцо люди и новой хаты на лунномъ ущербѣ, ни лѣса не рубятъ, ни печей не кладутъ; все это ждетъ своего чередѣ вплоть до новаго мѣсяца. Только тогда,—говорятъ старики,—и можно поручиться за доброе житье-бытье въ новомъ домѣ. Захочетъ молодой мужикъ выдѣлиться изъ большой семьи, свое хозяйство повести наособицу,—тоже, кто поосторожнѣе, поджидаютъ новолуныя счастливаго,—чтобы множилась „сѣбнина“ на новомъ мѣстѣ, а не шель старый достатокъ на убыль...

Противъ такого почитанія свѣтилъ ночи возставали русскіе строгіе блюстители церковныхъ уставовъ еще въ XVII вѣкѣ. Вотъ, на примѣръ, любопытный отрывокъ изъ одного такого ученія: „Мнози неразумніи чловѣци, опасливымъ своимъ разумомъ вѣрують въ небесное двизаніе, рекше во звѣзды и въ мѣсяцъ, и разчитаютъ гадаіемъ, потребныхъ ради и миролюбив-

выхъ дѣлѣ, роженіе мѣсяцу, рекше—молоду; иніе-жь усматриваютъ полнаго мѣсяца, и въ то время потребнаи своя сотворяютъ; иніи-жь изжидаютъ ветхаго мѣсяца... И мнози неразумніи человѣцы увѣряютъ себѣ тщетною прелестью, понеже бо овии дворы строятъ въ нароженіе мѣсяца; иніи же храмины созидати начинаютъ въ наполненіе мѣсяца; иніи же въ таже времена женитвы и посяганія учреждаютъ. И мнози баснословіемъ своимъ по тому-жь мѣсячному гаданію и земная сѣмена насаждаютъ и многія плоды земныя устрояютъ“...

Звѣзды, —тоже, что и мѣсяць, оказываютъ, по увѣренію умудренныхъ жизненнымъ опытомъ домохозяевъ, вліяніе на урожай. Вотъ нѣкоторые изъ пріурочиваемыхъ къ нимъ примѣты. Ясная звѣздная россыпь въ ночь подъ Рождество, — изобильнаго урожая ягодъ да грибовъ поджидаютъ дѣвки красныя. Яркіи звѣзды во всѣ святочныя ночи, — такъ и урожай хлѣбовъ будетъ добрый, и пчела — Божья работница — роиться хорошо станеть, и гречиху-дикушу сѣять можно безъ опаски передъ градомъ, и овцы ягниться примутся дружныѣ дружнаго. Яркая игра звѣздъ передъ яровымъ сѣвомъ — къ богатой яровинѣ. Во многихъ простонародныхъ поговоркахъ звѣзды зовутся небеснымъ стадомъ; а пастухомъ у нихъ — мѣсяць рогатый. „Мѣсяць, мѣсяць, серебряные твои рожки, золотыя твои ножки! Паси-береги овецъ моихъ, какъ пасешь-бережешь ярокъ небесныхъ — звѣзды частыя!“ — можно и теперь еще услышать во многихъ поволжскихъ деревняхъ передъ первымъ выгономъ овецъ на пастбище весеннее, на траву-мураву на зеленую.

Среди пословицъ и всякихъ иныхъ памятниковъ народнаго слова, собранныхъ незабвеннымъ въ лѣтописяхъ русскаго народовѣдѣнія В. П. Далемъ¹⁵⁾, встрѣчается много относя-

¹⁵⁾ Владиміръ Ивановичъ Даль — котораго можно съ полною справедливостію называть кладовщикомъ живого великорусскаго слова, былъ не русскимъ по происхожденію, но болѣе русскимъ по духу, чѣмъ многіе русскіе по крови. Онъ родился 10-го ноября 1801 года въ мѣстечкѣ Луганѣ, Славяносербскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, отъ отца-датчанина и матери — полунѣмки-полуфранцуженки. Будущій „Казакъ Луганскій“ (псевдонимъ Дали) обучался сперва въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, а затѣмъ — послѣ нѣсколькихъ лѣтъ морской службы — поступилъ на медицинскій факультетъ дерптскаго университета, но курса не окончилъ, а въ 1829-мъ году, вслѣдствіе нужды во врачахъ по случаю русско-турецкой войны, былъ зачисленъ во вторую дѣйствующую армію. Еще съ 1819 года онъ началъ собирать матеріалы по изученію русскаго народнаго языка и быта. Въ 1830-мъ году появился въ „Московскомъ Телеграфѣ“ первый печатный опытъ Вд. П. — ча, въ 1832-мъ вышла книжка его „Русскія сказки. Первый пятокъ Казака Луганскаго“, и съ этой поры онъ всецѣло отдавался литературѣ и наукѣ народовѣдѣнія. Переѣзжая изъ одного конца Россіи въ другой — изъ Москвы въ Оренбургъ, изъ Оренбурга — въ Нижній-Новгородъ и

щогося къ свѣтиламъ темной ночи... Мѣсяць, по народному представлению, не то—что солнце, согрѣвающее цѣлый міръ, растящее хлѣбъ въ полѣ и всякій плодъ земной; онъ— „свѣтитъ, да не грѣетъ, только напрасно у Бога хлѣбушко ѣсть...“ Потому-то и приговариваетъ пахарь въ лунную ночь: „Какъ мѣсяць ни свѣти, а все не солнышко!“, „Грѣло-бъ красное солнышко, а мѣсяць—какъ себѣ знаетъ!“, „Свѣтило-бы солнце, а мѣсяць—даромъ!...“

Мастеръ нашъ русскій народъ примѣнять подсказанныя ему стародавнему стариной поговорки ко всякимъ случайностямъ своей несложной, нехитрой,—но и при этомъ далеко не всѣмъ стоящимъ всторонѣ отъ нея понятной,—жизни. „Какъ молодой мѣсяць покажется да и спрячется!“—говорятъ, напримѣръ, о рѣдкомъ гостѣ хлѣбосольные хозяева. „Пропаль, какъ молодой мѣсяць!“—приговариваютъ другіе. „Свѣтиль-бы мнѣ мѣсяць, а по частымъ звѣздамъ—коломъ бью!“—добавляютъ они къ сказанному, если имъ отвѣтятъ, что у нихъ—и такъ гостей много, всѣхъ-де и не переугощать!.. „Всю ночь собака пролаяла на мѣсяць, а мѣсяць того и не знаетъ!“—не въ бровь, а прямо въ самый глазъ, попадаетъ любящимъ сплетни-пересуды присловье, подслушанное на старой Волгѣ (въ Симбирской губерніи). Черезчуръ привередливыя красавицы, слишкомъ разборчивыя невѣсты получаютъ на свою долю особый, не очень-то приходящійся имъ по нраву, прибаутокъ: „Еще какого жениха захотѣла—во лбу мѣсяць, а въ затылкѣ ясны звѣзды?“.

Простонародныя примѣты, на которыя за послѣднее время обращаютъ вниманіе и ученые погодовѣды, даютъ не мало совѣтовъ сельскимъ хозяевамъ. Когда,—гласятъ онѣ,—мѣсяць народится на-полдень (внизъ) рогами, то—если это зимнее время—будетъ до самаго ущерба его стоять тепло, а если время лѣтнее—жара. Смотрятъ у молодого мѣсяца на-полночь (вверхъ) рога,—быть зимой холоду, а лѣтомъ—вѣтрамъ. Кверху подняты рога, да нижній-то покруче,—такъ первая половина мѣсяца будетъ либо морозная (зимой); либо (лѣтомъ)

т. д., онъ обогатилъ себя неисчерпаемой сокровищницею слова. Въ 1834—1839 годахъ появились: „Были и небылицы“, упрочившія его литературную извѣстность во времена Вѣлинскаго. Въ 1846-мъ году вышло собраніе „Сочиненій Казака Луганскаго“, въ 1853-мъ „Матросскіе досуги“, въ 1861-мъ „Картины русскаго быта“ и одновременно—„Полное собраніе сочиненій В. П. Дали“, а также—первый выпускъ его бессмертнаго труда, стяжавшаго ему навѣки признательность Россіи—„Словаря живаго великорусскаго языка“. Это четырехтомное изданіе, на которое Даль затратилъ 47 лѣтъ труда, выходило до 1867 года выпусками. Въ 1862-мъ году были изданы собранія имъ „Пословицы“ (до 37.000). Умеръ великій русскій народовѣдъ 22 го сентября 1872 года въ Москвѣ, гдѣ и похороненъ на Ваганьковомъ кладбищѣ.

ей вѣтеръ покоя не дастъ. А если нижній рогъ пологій, — переносить мужикъ примѣту на вторую половину мѣсяца. Крутые мѣсяцевы рога заставляютъ ожидать вѣдра, пологіе — ненастья непогожаго. Задернуть мѣсяць тусклою дымкой, — размокропогодится на дворѣ; а если смотреть онъ во всѣ глаза на православныхъ, — и на мокромъ мѣстѣ сухо будетъ. Въ синевѣ мѣсяць — къ дождю, въ краснѣ — къ вѣтру, съ ушами — къ морозу. Если передъ новолуніемъ выдадутся невастные деньки, — „молодой мѣсяць обмывается!“ — говоритъ деревня. Въ Пермской губерніи примѣчаютъ, что, если праздникъ Крещенія Господня придется подъ полный мѣсяць, то сплошь-да-рядомъ бывають по веснѣ большія поля воды. Воронежцы запримѣтили, что — если „обглядится“ новый мѣсяць въ трое сутокъ, такъ до ущербъ вѣдро будетъ безъ перемѣны, а если съ новолуныя три дня дождемъ небо плачется — не установится красной погодѣ вплоть до самаго конца мѣсяца.

Любитъ русскій народъ загадки загадывать. „Загану-ка я загадку, перекину черезъ грядку!“ — приговариваетъ онъ, увѣренный въ томъ, что отъ загадки до разгадки — семь верстъ правды. „Синенька шубѣнка покрыла весь міръ!“ — загадываетъ онъ о небѣ. Мѣсяць представляется ему то „сивенькимъ жеребчикомъ“, глядящимъ черезъ прясло (Калужск. губ.), или „бѣлоголовой коровой“, смотрящей въ подворотню (Псковск. губ.), то медвѣдемъ, то „лысымъ мериномъ съ бѣлыми глазами“ (Симбирск. губ.). Въ симбирскихъ-же деревняхъ повторяють о немъ такую загадку: „Съ вечера сивый жеребецъ въ подворотню глядитъ, въ полночь жеребецъ черезъ кровлю бѣжитъ!“; въ самарскихъ — загадываютъ и такъ: „Маленькій, курбатенькій — всему міру свѣтъ!“; „За новымъ за дворомъ стоитъ чашка съ творогомъ!“ въ новгородскихъ — „Идетъ лѣсомъ — не треснетъ, идетъ полемъ — не плеснетъ!“ и т. д. „Надъ бабушкиной избушкой — хлѣба краюшка; хочеть ѣсть старуха, тянется-потянется, а все не достать!“ — загадываетъ народъ о мѣсяцѣ. „Кругло, а не мѣсяць; зелено, а не дубрава; съ хвостомъ, а не мышъ?“ — сыплетъ онъ вопросами, что изъ мѣшка трясеть, а о разгадкѣ спросятъ, рѣпа — скажетъ.... По старинному повѣрью, въ концѣ каждаго земного мѣсяца Богъ свой небесный мѣсяць ножомъ рѣжетъ на звѣзды. „Оттого-то все ихъ и больше на небѣ!“ — догадывается народная молвь. Ходитъ преданіе, что на лунѣ Каинъ — въ наказанье за первую пролитую на землѣ кровь — вѣки-вѣчные убиваетъ Авеля. Смотрятъ деревенскіе простецы на мѣсяць, а мысли-то у нихъ сами собою такъ и перелетаютъ къ этому преданію. Есть — говорятъ — и такой догадливый людъ, что все сбиваються на

томъ—кто именно кого убилъ: Каинъ—Авеля, или Авель—Каина. Впрочемъ, это уже относится тоже къ маловѣроятнымъ преданіямъ не только смѣтливой, но и смѣшливой, старины-матушки.

Звѣздное небо представляется глазамъ зоркаго пахаря „грамоткой“, написанной по синему бархату. „Не прочесть этой грамотки,—говоритъ онъ,—ни попамъ, ни дьягамъ, ни умнымъ мужикамъ.“ А, между тѣмъ, для послѣднихъ-то, оказывается, эта грамотка является не совсѣмъ тайной, — недаромъ они съ поразительной для оторваннаго отъ природы горожанина точностью угадываютъ по расположенію звѣздъ время ночи. Ночное звѣздное небо — такіе-же безошибочно-вѣрные часы для деревенскаго путника, что и крикливый вѣстникъ полночи пѣтухъ — на дворѣ.

Не всѣ звѣзды для русскаго хлѣбороба одинаковы. Знаетъ онъ, что „звѣзда отъ звѣзды разнствууетъ во-славѣ“, а потому и различаетъ если не всѣ, то хотя нѣкоторыя изъ жемчужинъ розсыпи звѣздной. Такъ, знаетъ онъ „Вечерницу“—первую вспыхивающую вечеромъ звѣзду, назоветъ и „Денницу“—позднѣ всѣхъ своихъ сестеръ погасающую на небѣ, только-только не встрѣчающуюся съ утреннею ранней зорькою.

На деревенской Руси, среди старожиловъ, всегда были — и теперь есть—свои самобытные звѣздочеты, знающіе не только звѣзды „блудячую“ (планету) да „хвостатую“ (комету), появляющуюся, по ихъ словамъ, не то къ войнѣ, не то къ голоду, или къ моровому повѣтрію, либо къ какому-нибудь другому народному бѣдствію, а различающіе почти всякое свѣтило въ звѣздномъ царствѣ, раскинувшемся по синему небу. Такъ, напримѣръ,—говорять они,—есть на свѣтѣ „Чигирь-звѣзда“. Это—не что иное, какъ Венера науки о звѣздахъ. Чигирь-звѣзда предсказываетъ человѣку счастье и несчастье. Въ началѣ XIX-го столѣтія ходилъ на Руси въ спискахъ слѣдующій сказъ старинныхъ звѣздочетовъ объ этой звѣздѣ: „Сія бо звѣзда едина именованъ Чигирь есть межъ всѣми звѣздами, десять мѣствъ во всякомъ мѣсяцѣ имѣетъ, а по трижды приходитъ на всякое мѣсто коегождо мѣсяца. Сіе бо есть великая мудрость. Аще кто добрѣ гораздъ и разумѣетъ мѣсячному нарожденію, той видитъ и кій кругъ вѣдаетъ сія звѣзда Чигирь. Аще вѣхати, или идти куда, или селиться,—смотри, на которую сторону та звѣзда стоитъ: аще она станетъ противу, и ты противу ея не вѣди никуды. Во дни первый, одинадцатый и двадцать первый состоитъ Чигирь на востоцѣ, и ты храминны не ставь, на дворѣ главы своей не голи. Во дни второй, дванадесятый и двадцать второй стоитъ Чигирь межъ востокомъ и

полуднемъ, и..... рожденное будетъ курча и бесплодно. Во дни третій, тринадцатый и двадцать третій стоитъ Чигирь на полдни, и ты въ тѣ дни въ полдни не купайся, въ баню не ходи: изойдешь лихомъ, или учинится переполохъ“. Большая Медвѣдница слыветъ въ народной астрономіи за „Сажарь“ (или „Стожарь“) звѣзду. По этому созвѣздію совѣтуется охотникамъ выходить смѣло на всякаго дикаго звѣря, кромѣ одного только медвѣдя. Плеяды, по народному опредѣленію — „Утиное Гнѣздо“; Поясъ Оріона — „Клчаги“, Арктической Поясъ — „Желѣзное Колесо“, Млечный Путь — „Становище“. Три звѣзды, находящіяся подлѣ Млечнаго Пути, зовутся „Дѣвичьими Зорями“. Падающія звѣзды, при видѣ которыхъ старыя богобоязненные люди причитаютъ свое „Аминь, аминь! Разсыпся!“, а молодые произносятъ завѣтныя желанія, — зовутся „Маньякомъ“.

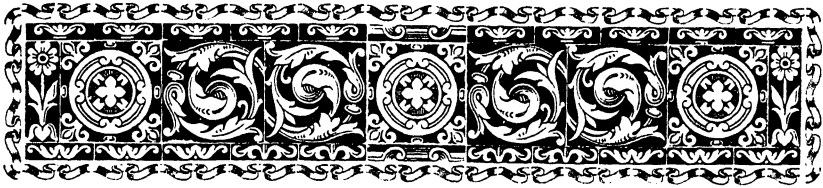
О „Дѣвичьихъ Зоряхъ“ дошло до нашихъ дней старинное сказаніе. Жили-были, — гласитъ оно, — на бѣломъ свѣтѣ три сестры („родствомъ и дородствомъ — сестра въ сестру“). Жили онѣ въ одномъ дому, безъ отца-матери: „сами правили домомъ, сами пахали, сами хлѣбъ продавали“. Проторяли къ сестрамъ дорожку свахи-сваты, да было имъ всѣмъ диво-дивное: „Придутъ къ воротамъ, ворота сами растворяются; пойдутъ къ избѣ — двери сами отойдутъ настежь; взойдутъ въ избу — въ избѣ нѣтъ ни живого, не мертваго, какъ послѣ мора. Постоять, постоять, такъ и пойдутъ ни съ чѣмъ. Выйдутъ на улицу, посмотрятъ на окна, а у оконъ сидятъ три сестры вмѣстѣ, прядутъ одну кудель“... Стали всѣ за это считать трехъ сестеръ вѣдьмами; и надумали бабы-свахи сжечь дѣвокъ со-свѣту. Чего-чего только онѣ ни придумывали, лишь-бы загубить ихъ! Поджигали даже то городьбу у нихъ, то избу: и огонь не беретъ... По знахарямъ-вѣдунамъ хаживали: и тѣ ума не приложатъ, что съ тремя сестрами сдѣлать! Увидали-подглядѣли однажды ночью зоркіе бабы глаза, что летитъ поднебесьемъ Огненный Змѣй прямо къ дому ненавистныхъ имъ трехъ сестеръ: „полеталь-полеталь, да и прочь полетѣлъ: и Змѣй ихъ не беретъ!“ Но вотъ — мало-ли, много-ли времени прошло: умерли сестры, всѣ сразу. Узнали объ этомъ свахи-бабы, пошли поглядѣть на покойницъ, — пошли, а самихъ страхъ беретъ: послали напередъ себя мужиковъ. Пошли, осѣнясь крестнымъ знаменіемъ, мужики, подошли къ городьбѣ, — „городьба разступилась на четыре стороны“, подошли къ избѣ, — „изба рассыпалась въ мелкія щепки“. Сказаніе заканчивается словами: „Туть-то мужики догадались, что тѣ три сестры были прокляты на-роду. Да и послѣ смерти имъ худое

житьё: досталось вѣкъ горѣть зорями. Вотъ ихъ уже немножко осталось: только три пятнышка“...

По дѣвичьей примѣтѣ, звѣзды падаютъ не только къ вѣтру, какъ говорятъ старые люди, а и къ дѣвичьей судьбѣ: въ какую сторону о Святкахъ звѣзда упадетъ, когда на нее смотреть загадывающая дѣвушка,—въ той сторонѣ и „суженый“ (женихъ) ея живетъ.

Не мало говорятъ о звѣздахъ и сельскія поговорки, каждая изъ которыхъ не мимо молвится. „Не считай звѣзды, а гляди подъ ноги: ничего не найдешь, такъ хоть не упадешь!“—замѣчаютъ разсѣянному человѣку—верхогляду, приговаривая: „Жить живи, да рѣшетомъ звѣздъ въ водѣ не лови!“ „Часты звѣзды, ярки звѣзды, да разсыпчаты: сладки рѣчи, звонки рѣчи, да обманчивы!“ и т. д. Простонародныя загадки говорятъ о звѣздахъ въ такихъ словахъ, какъ напимѣръ: „Разсыпался горохъ—на тысячи дорогъ!“, „Полно корыто огурцовъ намыто!“, „Вся дорожка осыпана горошкомъ!“, „Поле (небо) не мѣряно, овцы (звѣзды) не считаны, пастухъ (мѣсяцъ) рогатый!“.

Нельзя назвать особенно точными „астрономическія“ наблюденья, вѣками слагавшіяся въ народной Руси; но всё они, но каждая пословица, каждое повѣрье о небесномъ мірѣ, говорятъ о томъ, что не однимъ только хлѣбомъ насущнымъ живётъ нашъ народъ-пахарь, — хотя дума объ этомъ не легко до стающемся всякому трудящемуся человѣку дарѣ Божиёмъ и не отходить отъ хлѣбороба до гробовой доски.



IV.

Огонь и вода.

Огонь и вода—двѣ враждебныхъ другъ другу, двѣ непримиримыхъ, хотя иногда и работающихъ одна на другую, стихіи. Русскій народъ, тороватый на красную рѣчь, не прошелъ мимо нихъ со своимъ живымъ, перелетающимъ изъ-вѣка въ-вѣкъ, словомъ. Есть у него про каждую изъ этихъ стихій наособицу и вмѣстѣ о нихъ обѣихъ свой сказъ, выразившійся во многомъ-множествѣ пестрыхъ пословицъ, загадокъ, повѣрій и преданій, —несмотря на всю враждебность—зачастую объединяющихъ обѣ эти могучихъ стихіи, по волѣ умудреннаго сѣдой стариною народа-сказателя.

Огонь, въ представленіи язычника древней Руси, являлся сыномъ Неба (Сварога), —почему и величали его въ тѣ, затонувшія во мракъ вѣковъ, времена „Сварожичемъ“, воздавая ему поклоненіе: „... и огневи молятся, зовутъ его Сварожичемъ...“, —писалъ объ этомъ нѣкій Христолюбецъ. Позднѣйшее сказаніе, записанное въ „Памятникахъ отреченной литературы“ (П.445), гласитъ о томъ, что произошелъ огонь отъ очей Божіихъ. „Како огонь зачася?“ —вопрошается въ этомъ сказаніи. —„Архангелъ Михаилъ заже огонь отъ зеница Господня и снесе на землю!“ —дается отвѣтъ. Солнце принималось пращурами народа-пахаря, одухотворявшими всю видимую природу, за всевидящее око Творца. Такимъ образомъ, и по народному міровоззрѣнію, огонь является исходящимъ отъ прекраснаго свѣтила дня.

Вода, —какъ было уже сказано выше (см. гл. I), —по стародавнему слову русскаго народа, доискивающегося до начала началъ вселенскихъ, представляется кровью земли.

„Огонь нисшелъ съ небеси“,—гласить благочестивая простодушная мудрость. „Воды небесныя поятъ землю“,—продолжаетъ она, приговаривая: „Огонь да вода—супостаты!“, „Вода—всему господинъ; воды и огонь боится!“ Даетъ мудрый тысячелѣтній опытъ народа добрый совѣтъ пахарю—„держаться за землю“, „дружиться съ землей“, но при этомъ совѣтъ оговаривается: „Съ огнемъ не шути, съ водой не дружись, вѣтру не вѣрь!“, „Дружись съ землей: отъ земли вшелъ, земля кормить, въ землю пойдешь!“, „Огонь да вода—нужда да бѣда!“ „Огонь—царь, водица—царица, земля—матушка, небо—отецъ, вѣтеръ—господинъ, дождь—кормилецъ, солнце—князь, луна—княгиня“ и т. д.

По народному представлению, огонь надѣленъ необычайной силою-мочью, но вода—сильнѣе огня („земля—сильнѣе воды, человекъ—сильнѣе земли“). „Хороши въ батракахъ огонь да вода, а не дай имъ Богъ своимъ умомъ зажити!“—предостерегаетъ позднихъ потомковъ богатыря Микулы Селяниновича сѣдая старина. „Не топора бойся—огня!“—добавляетъ она: „Съ огнемъ, съ водою не поспоришь!“, „Огню да водѣ Богъ волно даль!“, „Ходить у огня—обжечься, у воды—замочить-ся!“, „Воръ воруетъ—хоть стѣны оставить, огонь придетъ—и стѣны унесетъ!“

По образному русскому выраженію, огонь—„богатырь-вое-вода“, а вода—„сама себѣ царь“. Заберетъ силу вода, такъ ее,—приговариваетъ народная Русь,—„и Бѣлый Царь не уймешь“... Отъ огня, по ея крылатому слову, вода ключомъ кипить, а водой и огонь заливаютъ. Вода—еще болѣе, чѣмъ огонь, опасная для неосторожныхъ людей стихія. „Водою мельница стоитъ, отъ воды и погибаетъ!“, „И тихая вода крутые берега подмываетъ!“,—гласятъ старинныя присловья: „Вода сама себя кроетъ, а берегъ—знай—роетъ!“, „Всегда жди лихой бѣды отъ большой воды!“ Объ этомъ-же приговариваетъ и такая поговорка, какъ: „Пришла бѣда, разлилась вода: переѣхать нельзя, а стоять не велятъ!“ Безвыходно-опасное положеніе, въ какое попадаютъ всѣ не внемлющіе опыту старыхъ, перешедшихъ поле жизни, людей, изображается на простонародномъ языкѣ выраженіемъ—„Изъ огня да въ полымя!“, или еще болѣе мѣткими: „Изъ огня да въ воду!“, „Только и ходу, что изъ воротъ да въ воду!“...

Огонь—огню рознь. Сердце памятливаго къ завѣтамъ стародавней поры народа-сказателя сохранило свои вѣщія преданія не только о небесномъ и земномъ огнѣ, но и о „живомъ“ (вытертомъ изъ дерева). Такъ и вода слыветъ, по этимъ преданіямъ, то живою, то мертвою. Небесный огонь (молнія) нис-

посылается на землю,—говоритъ народъ,—нѣспроста: имъ караетъ нераскаянныхъ грѣшниковъ правосудіе Божіе. Гасить пожаръ отъ грозы („Божій огонь“) потому-то и считается грѣхомъ. Древніе славяне, объединяя въ одну стихію небесный и земной огни, называли ихъ—подобно многимъ другимъ, ведущимъ свое родословное древо отъ одного и того-же арійскаго корня племенамъ—„водорожденными“ (сыновьями и внуками воды), ставя ихъ такимъ образомъ въ зависимое отъ нея положеніе. „Живому“ огню придается и теперь особая чудодѣйная сила. Въ стародавніе годы на Руси, какъ и у другихъ родичей-славянъ, было въ обычаѣ поддерживать на домашнемъ очагѣ неугасимое пламя, возженное отъ огня, добытаго изъ сухой сердцевины дерева. Это, по древнему вѣрованію, оберегало домъ отъ всякой бѣды и даже обезпечивало семьѣ мирную-счастливую жизнь. Въ глухихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора и до нашихъ дней еще кое-гдѣ сохранилось суевѣрно-благоговѣйное отношеніе къ такому, добываемому большаками семьи, огню.

Домашній очагъ считался встарину священнымъ. Въ огнѣ, поддерживавшемся на немъ, видѣли силу—не только дававшую человѣку тепло и пищу, но и отгонявшую отъ жилища всю нечисть, всякую болѣзнь лютую. Очагъ былъ первымъ жертвенникомъ славянина-язычника; пылающее на немъ дерево—первой жертвою повелителю огней небесныхъ, Перуну-громовнику. Вокругъ очага собирались въ былую пору совѣщанія родичей. Выселяясь съ дѣдовскаго гнѣзда, молодые члены рода непременно брали съ собою къ своему новому очагу горящія уголья со стараго. Только это, по вѣрованію раннихъ предковъ современнаго пахаря, и могло сохранить родственныя связи. Если огонь на чьемъ-нибудь очагѣ погасалъ, это сулило суевѣрному воображенію всякія бѣды и слыло предвѣстникомъ вымиранія-угасанія семьи. Даже рассыпавшіяся съ очага дрова не обѣщали ничего добраго для хозяевъ. Плюнуть на очагъ почиталось за великій грѣхъ. Если кто-нибудь заливалъ водою чужой очагъ, это было выраженіемъ непримиримой вражды—на жизнь и смерть. Зола, взятая съ домашняго очага въ праздничные дни, служила—въ рукахъ главы семьи—цѣлебнымъ средствомъ: ею пользовались отъ самыхъ разнородныхъ болѣзней. Отправляясь въ далекій путь, древній славянинъ бралъ съ собою не только горсть родной земли,—какъ это наблюдается въ наши дни,—но и щепоть золы съ домашняго очага. Передъ пылающимъ очагомъ произносились заговоры. По колебанію его пламени предсказывалась судьба и угадывался будущій урожай. Гада-

нѣ это исчезло изъ народной памяти, но еще до сихъ поръ можно услышать на Руси слова заговора въ-родѣ: „Ахти, мати бѣлая печь! Не знаешь ты себѣ ни скорби, ни болѣзни, ни щипоты, ни ломоты! Такъ и рабъ Божій (имя рекъ) не зналъ-бы ни хитки, ни притки, ни уроковъ, ни призороковъ“... Еще и теперь на малорусскомъ югѣ Россіи во многихъ деревняхъ сохранился обычай давать болящимъ выпить святой воды съ печной золою. Въ Курской губерніи, по свидѣтельству нѣсколькихъ изслѣдователей народной старины, печь замѣняетъ въ захолустныхъ уголкахъ аптеку. Передъ ея раскаленнымъ устьемъ ставятъ страдающихъ нервными болѣзнями („отъ испуга“); о край печи заставляють тереться шеей больныхъ горломъ; „отъ простуды“ больной бросаетъ въ пылающую печь найденный на берегу рѣки камень, бросаетъ—приговариваетъ: „Какъ камень на бережку у рѣки былъ сухъ, такъ бы у меня раба Божьяго (имя рекъ) ноги были сухи, не боялись ни стужи, ни морозу, ни мятелицы, и сколь онъ теперь горячъ, такъ будьте и вы, ноги, горячи!“ Чтобы предохранить новорожденнаго ребенка отъ „сглазу“, кума беретъ изъ печки уголь и, выйдя на перекрестокъ, перекидываетъ уголь черезъ себя. Въ Орловской губерніи подь защиту очага отдаютъ и домашнихъ животныхъ, прикладывая напримѣръ, къ печи только-что появившихся на свѣтъ телятъ. Еще въ сороковыхъ годахъ, во многихъ коренныхъ великорусскихъ мѣстахъ было въ обычаѣ, возвращаясь съ похоронъ, непременно дотрогиваться рукою до печи. Это должно было, по мнѣнію придерживавшихся такого обычая, предохранять отъ смерти „въ одночасье“. Знающіе „всю подноготную“ люди совѣтуютъ предохранять хлѣбныя скирды и стога сѣна отъ мышеяди не чѣмъ инымъ, какъ насыпаніемъ подь нихъ — съ четырехъ сторонъ — золы отъ сожженныхъ на домашнемъ очагѣ. клочковъ сѣна и хлѣбныхъ колосьевъ. Дотошныя бабы-хозяйки отъ порыѣдо времени выгребають изъ печи золу и посыпають ею полъ въ курятникѣ, думая, что отъ этого куры стануть нестись лучше. Огородники, благословясь, раскидываютъ („отъ черви“) золу по грядкамъ, раздѣланнымъ подь посадку каустной разсады. Есть мѣста, гдѣ принято подмѣшивать золы изъ очага въ первыя сѣмена ржи — „для оббережи отъ градобоя“.

Да и во многомъ-множествѣ иныхъ случаевъ житейскаго обихода возлагала простодушная старина надежды на помощь и покровительство своихъ благожелательныхъ-свѣтлыхъ духовъ, обитавшихъ въ домашнемъ очагѣ. Всѣ эти умиловливающіяся пламенемъ божества объединились впоследствии въ од-

номъ живѣчемъ существѣ—Домовомъ (звущемся также „хозяйномъ“ и „дѣдушкою домовитымъ“). При этомъ перевоплощеніи, вызванномъ рукою всеокрушающаго времени, яркій обликъ могущественнаго духа огня поблѣднѣлъ, растерявъ по путинѣ вѣковъ не малую долю своей силы-мощи. Даже самая память о немъ стала смутнымъ преданіемъ полузабытаго прошлаго, заслоненнаго отъ внутренняго міра современнаго пахаря туманной дымкою новыхъ наслоеній бытового суевѣрія. Пожалуй, даже не узнать въ теперешнемъ Домовомъ и отдаленнѣйшаго родича божества языческой Руси, — до того расплылись всѣ его когда-то рѣзко проступавшія черты при послѣдовательномъ многовѣковомъ видоизмѣненіи; до того размѣнялись на мелочи его стихійныя свойства и обязанности. Народъ даже выселилъ его изъ самаго очага, перенеся мѣстопробываніе стараго въ подпечекъ, — куда и обращаются въ подобающихъ случаяхъ со своими причетами-заклинаніями вѣдуны-знахари нашихъ дней.

Пытливый изслѣдователь возрѣній славянъ на природу вызвалъ изъ туманнаго мрака забвенія безхитростный образъ этого заботливаго хранителя семейнаго очага. Домовой, въ его обрисовкѣ, самое старшее и почетное лицо въ семьѣ домохозяина, къ которой и принадлежитъ по восходящей линіи, какъ праотець (дѣдъ), положившій основаніе очагу и собранному подъ единый кровъ союзу родичей. Онъ, обыкновенно, носитъ хозяйскую одежду, но всякій разъ успѣваетъ положить ее на мѣсто, какъ только она понадобится большаку семьи. Онъ видитъ всякую мелочь, неустанно хлопочетъ и заботится, чтобы все было въ порядкѣ и наготовѣ, — здѣсь подсобить работнику, тамъ поправить его промахъ. Его хозяйскому глазу пріятенъ приплодъ всякой домашней животины; онъ не долюбливаетъ излишнихъ расходовъ и сердится за нихъ. Если ему житье по душѣ придется, то онъ служитъ домочадцамъ и зорко смотритъ за всѣмъ домомъ и дворомъ. Онъ сочувствуетъ каждой семейной радости, печалуется о каждомъ семейномъ горѣ. Онъ даже предупреждаетъ почтительно относящихся къ нему семьянъ о каждой грозящей имъ откуда бы то ни было опасности.

До сихъ поръ на старой-кондовѣй Руси соблюдается еще не мало связанныхъ съ почитаніемъ домашняго очага обычайевъ свадебнаго обихода. Въ стародавніе-же годы ни одна невѣста не уходила передъ вѣнчаніемъ изъ родительскаго дома, не простившись съ его огнемъ. Прощаніе сопровождалось особыми обрядами, мало-по-малу исчезающими изъ житейскаго обихода. При этомъ пѣлись подружками невѣсты и особыя

пѣсни-„огнянки“; но и отъ нихъ не дошло до нашихъ дней почти никакого слѣда. Передъ домомъ жениха невѣсту также встрѣчалъ огонь: выбѣгалъ навстрѣчу дружка съ горящей головнею изъ женихова очага въ рукахъ. „Какъ ты берегла огонь у отца-матери, такъ береги и въ мужниномъ домѣ!“ — привѣтствовалъ онъ молодую, троекратно обѣгая вокругъ нея. Только успѣвала она вступить въ хату, какъ ее вели къ пылающему очагу и здѣсь осыпали тремя пригоршнями зерна, — въ знакъ того, что она присоединялась къ семьѣ и въ пожеланіе плодородія въ супружеской жизни. Съ этой минуты новобрачная поступала подъ покровительство свѣтлаго духа, присутствіе котораго въ домашнемъ очагѣ оберегало всю семью отъ „напрасной“ бѣды. Вечеромъ, послѣ пира-стола, молодуха снимала съ себя поясъ и бросала его на печь. Этимъ какъ-бы ввѣрялась вся брачная жизнь молодыхъ новоженовъ защитѣ домового. У сосѣдей великоросса-крестьянина, симбирскихъ чувашей, до сихъ поръ соблюдается перенятый отъ русскихъ старинный, утратившійся въ памяти народной Руси, обычай, состоящій въ томъ, что новобрачная, вступая впервые въ мужнинъ домъ, прежде всего земно кланяется печкѣ, а затѣмъ уже переходитъ къ выполнению другихъ обрядностей этого самаго торжественнаго для нея въ ея сѣреникой-будничной жизни дня.

Въ повседневномъ быту современнаго русскаго крестьянина можно насчитать многіе десятки такихъ случаевъ, въ которыхъ онъ, безсознательно приобщаясь къ суевѣрію пращуровъ, обращается къ заступничеству позабытыхъ покровителей своего домашняго очага. Просматривая изслѣдованія нашихъ народовѣдовъ, то-и-дѣло наталкиваешься на доказательства этого. Такъ, на примѣръ, въ Курской губерніи еще недавно считали необходимымъ, приводя съ базара купленную корову, накормить ее въ первый разъ на печномъ заслонѣ. Во многихъ другихъ, даже и не смежныхъ, губерніяхъ, отправляя кого-нибудь изъ домашнихъ въ путь-дорогу, и теперь еще хозяйки-большухи открываютъ заслонку и распахиваютъ избную дверь—съ тѣмъ, чтобы теплое вѣяніе очага слѣдовало за путникомъ, оберегая его на чужой сторонкѣ и непрерывно напоминая ему о родной семьѣ, заботящейся печалующейся объ отсутствующемъ. Есть мѣста, гдѣ во время первой грозы разводятъ въ печи огонь, какъ-бы призывая этимъ покровителя земного огня на-помощь противъ огня небеснаго. Это—уже несомнѣнный пережитокъ древняго умилостивительнаго безкровнаго жертвоприношенія Перуну-громовнику. Какъ на одинъ изъ соблюдающихся повсемѣстно обычаевъ бла-

гочестивой народной старины, можно указать на обыкновеніе креститься при зажиганіи въ хатѣ перваго вечерняго огня. Гасятъ огонь придерживающіеся дѣдовскихъ завѣтовъ старые люди тоже съ крестнымъ знаменіемъ. Нѣкоторые строгіе блюстители обрядовой стороны жизни принимаютъ за немалый грѣхъ погасить огонь безъ надлежащаго благоговѣнія. Разводя огонь въ печи, бѣлоруссы соблюдаютъ молчаніе и остерегаются оглядываться. Если-же не соблюсти, по ихъ словамъ, этого обычая, то не диво—если въ тотъ-же день случится въ домѣ пожаръ. Въ тверской округѣ записанъ обычай гнать отъ сосѣдей какъ можно дальше того домохозяина, у котораго загорится хата: иначе карающій его гнѣвъ Божій послѣдуетъ за нимъ, и пламя охватитъ тотъ домъ, куда онъ войдетъ, или даже къ которому подойдетъ. Черниговцы встарину обносили вокругъ пожарища не только святые иконы, но и хлѣбъ-соль. Нельзя не видѣть въ этомъ обычаѣ опять-таки упомянутаго выше пережитка. Въ волынскомъ краю бабы выносятъ въ подобномъ случаѣ накрытый чистымъ столешникомъ столъ, ставятъ на него святую воду, кладутъ обокъ съ нею хлѣбъ-соль и ходятъ съ этимъ столомъ вокругъ горящаго дома, —ходячи, сами голосомъ голосятъ:

„Ой, ты, огню пожаданный,
Изъ неба намъ зосланный!
Не расходься ты, якъ дымъ,
Бо такъ приказавъ тоби Божій Сынъ!“

Подслушанъ собирателями памятниковъ народнаго слова въ тѣхъ-же обильныхъ сказаніяхъ мѣстахъ и другой разносказъ этого причета: „Витаю тебе, гостю! Замовляю тебе, гостю! Иорданскою водою заливаю тебѣ, гостю! Пришелъ Господь въ міръ—міръ его не познавъ, а святой огонь слугою своимъ назвавъ; Господь на небо вознесся, за Господомъ и слуга святой огонь понесся!“

Суевѣрная душа обитателя глухихъ-захолустныхъ уголковъ подсказываетъ иногда ему, что въ пожарѣ бываетъ виноватъ разгнѣванный хозяевами покровитель домашняго очага. Такъ жестоко мститъ онъ, старый, только за самыя тяжкія нанесенныя ему обиды. Во избѣжаніе такой бѣды, чуть не разоряющей въ конецъ и самага хозяйственнаго крестьянина, а бѣдняка пускающей со всею семьей по-міру, соблюдается у бѣлоруссовъ особый обычай угощенія Домового, охраняющаго за это не только отъ пожара, но и ото всякой другой Божьей немилости. Въ Симбирской и сосѣднихъ съ нею поволжскихъ губерніяхъ повсюду строго соблюдается обыкно-

веніе обжигать первыя брёвна каждаго новостроящагося дома. Это, по увѣренію плотниковъ, должно предохранять отъ грознаго посѣщенія „краснаго пѣтуха“.

Въ стародавніе годы справлялся на Руси цѣлый рядъ особыхъ праздниковъ, связанныхъ съ обожествленіемъ огня и воды. Яркіе пережитки ихъ до сихъ поръ почти повсемѣстно сохранились въ обычаяхъ, пріурочивающихся къ Семику, ко Всесвятской (Ярилиной) недѣлѣ, къ Ивану-Купалѣ, къ Ильину дню и нѣкоторымъ другимъ днямъ мѣсяцеслова.

Тороватый на красное словцо да на присловье крылатое, русскій хлѣборобъ-простота сыплеть направо и налево и на всѣ стороны свѣта бѣлаго мѣткими пословицами-поговорками соберетъ огонь и водѣ, зачастую примѣняя ихъ къ опредѣленію всевозможныхъ явленій жизни. „Свѣну съ огнемъ не улежаться!“ — говоритъ онъ о неподходящихъ другъ къ другу мужѣ съ женой, — приговаривая: „Солома, съ огнемъ не дружись!“, „Мужикъ-то съ огнемъ, а жена — съ водой!“, „Не съ огнемъ къ пожару соваться!“ и т. д. Неправедно нажитую прибыль зоветъ народъ огнемъ, поясняячи при этомъ: „Набилъ чужимъ достаткомъ мошну, берегись — обожжешься!“, „Краденая денга — огонь, какъ-разъ съ ней сторишь!“, „У бѣднаго отнять — огонь въ дому держать!“. Приглядывается простодушная мудрость народная къ расточающему свое добро нехозяйственному человѣку, а сама сѣдой головою покачиваетъ, глядячи, какъ онъ не къ себѣ въ домъ, а все изъ дому, тащитъ. „Глупому сыну не въ помощь богатство“, — говоритъ она, — „у него все, какъ на огонь, горитъ, какъ по водѣ — плыветъ!“, „Моту денегъ подарить — что въ огонь кинуть, что на воду пустить!“. Такъ и зоветъ-величаетъ она расточившихъ-промотавшихъ свое добро богатство „прогорѣлыми“. „Какъ огнемъ обхватило!“ — замѣчаетъ народъ о нагрянувшей на кого-либо бѣдѣ-напасти: „Попалъ промежъ двухъ огней!“, „Огонь — не вода, охватить — не всплывешь!“ О неосмотрительныхъ, семь разъ не примѣрявъ — хватаящихся порой и не за свое дѣло, людяхъ также есть свое слово у поселницы-деревенщины, отъ поколѣнія къ поколѣнію передающей красныя рѣчи. „Дѣлать, что огонь — такъ и съ дѣломъ-то въ огонь!“, „Скоро огонь горитъ да вода бѣжитъ!“, „Не хватай картошку изъ огня — обожжешься, не пей кипятку — обваришься!“ — наставляеть она торопливый людъ. Любитъ краснословъ-пахарь побалагурить: ради краснаго словца — не щадитъ онъ порою матери-отца; но правда-истина для него всего дороже. Недаромъ сложилось о ней у его дѣдовъ-прадѣдовъ такое слово, какъ: „Правда („праведное“ — по иному разносказу) на огонь

не сгоритъ, на водѣ не потонетъ“. Въ этой поговоркѣ слышится явный отголосокъ воспоминанія о совершившихся въ старую старь на Святой Руси,—да и не только на ней, а и въ другихъ земляхъ,—„судахъ Божіихъ“ (испытаніяхъ виновныхъ и правыхъ огнемъ и водою).

„Суды Божіи“ велись на Руси съ незапамятныхъ временъ. Еще Перунъ-громовникъ, грозный повелитель огней небесныхъ и дожденосныхъ тучъ, призывался въ свидѣтели-судьи ихъ. Каратель злой нечисти, переходившей пути-дороги труду народа-пахаря, онъ являлся и бичомъ людскихъ пороковъ и преступленій. Огню и водѣ, этимъ находившимся подъ его властью стихіямъ, придавалась сила обличенія лжи. Поэтому и обращались наши отдаленнѣйшіе предки въ затруднительныхъ случаяхъ къ ихъ нелюбимому посредничеству. Какъ и у другихъ сосѣднихъ народовъ—не только славянъ, а и нѣмцевъ,—огненное испытаніе виновности и правоты подсудимыхъ производилось въ древней Руси такимъ образомъ. Обвиняемый долженъ былъ пройти голыми ногами по раскаленному желѣзу: народъ вѣрилъ, что въ случаѣ невиновности, всякій человѣкъ сдѣлаетъ это безъ вреда для себя. Судимый водою долженъ былъ или достать камень со дна котла съ кипящей водою, или войти въ рѣку въ самомъ широкомъ мѣстѣ ея и плыть къ другому берегу. Виноватаго должна была утопить, въ послѣднемъ случаѣ, сама его кривда. Зачастую бывало такъ, что обвиняемые, страшась кары небесной, сознавались въ своихъ провинностяхъ и соглашались лучше нести наказаніе отъ судей земныхъ, чѣмъ погибнуть отъ суда Божія. Впослѣдствіи, съ теченіемъ времени, испытаніе стало производиться болѣе легкимъ способомъ—бросаніемъ на воду жребіевъ, по которымъ и рѣшался судъ. Слѣды существованія „судовъ Божіихъ“ на Руси сохранились какъ въ нѣкоторыхъ памятникахъ древнерусской письменности, („Русская Правда“¹⁶⁾ и др.), такъ и въ изустномъ народномъ пѣсенномъ словѣ, занесенномъ на скрижали исторіи литературы „калитами“—народовѣдами. Въ захолустныхъ уголкахъ сѣверовосточнаго края и до сихъ поръ еще кое-гдѣ прибѣгаютъ къ подобію Божьяго суда: заставляють заподозрѣнныхъ въ кражѣ цѣловать дуло заряженнаго ружья, даютъ двоимъ тяжущимся заж-

¹⁶⁾ „Русская Правда“—историческій сборникъ, открытый историкомъ В. П. Татищевымъ въ 1738-мъ году въ спискѣ Новгородской лѣтописи, писанномъ въ концѣ XV вѣка. Издана она была въ 1767-мъ году и носитъ заглавіе: „Правда Русская, данная въ XI вѣкѣ отъ великихъ Князей Ярослава Владиміровича и сына его Ізяслава Ярославича“. Этотъ памятникъ—важнѣйшій источникъ для изученія древнерусскаго права.

женныя лучины одинаковой величины и слѣдятъ: чья сгоритъ раньше, тотъ и считается обвиненнымъ. Какихъ-нибудь шестьдесятъ-семьдесятъ лѣтъ тому назадъ были, по сосѣдству съ чувашской или мордовской округою, и такія русскія деревни, гдѣ существовалъ обычай бросать въ мельничный прудъ старыхъ бабъ, заподозрѣнныхъ въ колдовствѣ. Если брошенная начинала идти ко дну, это считалось ея оправданіемъ, и ее спѣшили спасти, а если не тонула, то признавалась за вѣдму—виновницу какой-либо „напущенной“ на деревню бѣды. „Вѣдму-колдунью вода не принимаетъ!“—можно и теперь слышать отголосокъ этого обычая въ народной крылатой молви.

Вознося правду-матушку на недосыгаемую для кривды высоту могущества, эта молвь не прочь оговорить самоё-себя поговорками въ-родѣ: „Правда-то правдой, а и про милость не забудь!“, „На правду напирай, да часомъ и помилуй!“, „Милость надъ грѣхомъ—что вода надъ огнемъ!“. Въ этихъ и имъ подобныхъ словахъ явственно сказалась неисчерпаемая доброта сердца народнаго, и сквозь закорузлую оболочку свою блестящаго чистымъ золотомъ. „Гдѣ огонь—тамъ и дымъ!“, „Не бывать дыму безъ огня!“—замѣчаютъ умудренные жизнью старые люди объ идущей про кого-нибудь худой молвь-славѣ. „Не огонь желѣзо калить, а мѣхъ!“—оговариваютъ они надѣющагося только на одну свою силу неискуснаго работника.

Трудъ упорный, потовой трудъ, всегда поведетъ въ хату достатокъ, если жить съ умомъ да о Богѣ не забывать,—думаетъ народная Русь тысячелѣтнюю думу. „Гдѣ вода была, тамъ и будетъ; куда денгá пошла, тамъ и копится!“—поучаетъ она только еще выходящихъ на поле жизни: „Ручей поить рѣчку, рѣка поить море, море—окіанъ-море; трудъ копѣйку ведетъ, копѣйка рубль бережетъ, не мѣняй бережонный рубль—дѣтей-внуковъ накормишь досыта!“. Но не всякій разъ прислушивается къ старой воркотнѣ да на усь моетъ молодежь,—отъ нея не диво услышать въ отвѣтъ и такую отповѣдь: „Пора придетъ—вода пойдетъ!“, „Что копить—не два-вѣка жить!“, „Руки будутъ—денги будутъ; всей воды не выпьешь, всей казны въ карманъ не уложишь!“. Такіе безпечные вѣтрогоны и слушать даже не станутъ умудренныхъ опытомъ стариковскихъ рѣчей, что-де: „Идти воды—не бѣда, да пришла-бы вода!“.

Любить деревня тѣхъ за ухватку, кто на бѣломъ свѣтѣ живетъ — не тужить: знай работаетъ за троихъ и хоть не въ красной одежинѣ ходить, не сладко ѣсть, да не только на судьбу не жалуется, а еще самъ надъ собой смѣхи строить,

прибаутками сердце тѣшить. „Хлѣбъ да вода—молодецкая ѣда!“, „Сытъ крупницей, пьянь—водицей!“, „Богато живемъ—съ плота воду пьемъ!“, „Хлѣбъ съ водою, да не пирогъ съ лихвою!“, „Пей ты водку, а я воду; ты покраснѣешь, а я пьянь буду!“... Да мало-ли наберется и другихъ такихъ пословицъ-поговорокъ, готовыхъ летать изъ конца въ конецъ по неоглядной родинѣ пахаря!.. До чего ни коснись, на всякое дѣло у него найдется слово, а то и цѣлый коробъ... „У князя были, да воду пили!“—ведетъ онъ разсказъ про скупыхъ хозяевъ, не торовавшихся на угощенье. „Хоть на водѣ, да на сковородѣ!“—киваетъ онъ въ сторону привычныхъ къ нескромнымъ замашкамъ, живущихъ напоказъ. „Воду толочъ—вода и будетъ!“—смѣется онъ надъ непонятливыми слушателями, которымъ надо каждое слово разъяснять-разговывать да въ ротъ класть: „Отъ воды навару не будетъ, отъ безтолочи—толку!“ „Спроси его: отчего ты глупъ?—У насъ, скажетъ, вода такая!“ Не щадитъ народъ ни друга, ни врага, не помилуется на словахъ и самогд-себя. „Миръ силенъ—какъ вода, а глупъ—что дитя!“—говоритъ онъ о сельскихъ сходкахъ, гдѣ крикуны-гальманы верхъ привыкли надо всѣми брать: „Миръ, что вода—пошумитъ да и разоидется!“, „Народъ, какъ вода на начовкахъ, переливается!“ и т. д. „Послѣ пожара да за водой!“—говорятъ въ деревнѣ о тѣхъ, кто ужъ слишкомъ заднимъ умомъ крѣпднекъ; „Бросай барышъ съ камнемъ въ воду!“—о дѣлѣ, за которое не стоитъ и братья; „Вода съ водой—не гора съ горой: сольется!“—о задумывающихся надъ однимъ и тѣмъ-же, подходящихъ другъ къ другу людямъ; „По которой рѣкѣ плыть, ту ему и воду пить!“—о подлаживаніи къ тому, съ кѣмъ ведется дѣло.

Про оборотистаго мужика, которому все неладное съ рукъ сходить, пущено гулять по народной Руси не мало такихъ крылатыхъ словецъ, какъ: „Ему и бѣда, что съ гуся—вода!“, „Онъ изъ воды сухой выйдетъ!“, „Сблудилъ-своровалъ и концы въ воду!“ „Его ремесло по водѣ пошло, по водѣ пошло—водой снесло!“ Скрытные, не любящіе многословныхъ рѣчей люди получили на свою долю такое мѣткое опредѣленіе: „Нашъ молчанъ воды въ ротъ набралъ!“ О тѣхъ, кому не слѣдъ довѣряться, вылетѣли изъ устъ народной мудрости слова: „У него правда на водѣ вилами писана!“, „Ему повѣрить—что по водѣ на камнѣ поплыть!“, „Слова съ языка—какъ вода съ гуська!“ и т. п. „Подъ лежачь камень и вода не течетъ!“—говорится о лежебокахъ, ожидающихся, что хлѣбъ къ нимъ самъ въ руки придетъ. „Быль—что камень на шеѣ, небылца—проточная водица!“, „Былое—травой ноги оплетаетъ, нѣ-

быль—прибылой водой сбѣгаетъ!“, „Чужую бѣду на водѣ разведу, а къ своей—ума не приложу!“—кончаетъ питающійся отъ щедротъ земли-кормилицы народъ-сказатель, не скупящійся на красныя да на мѣткія, не въ бровь, а въ глазъ, попадающія, рѣчи. Идетъ онъ по путинѣ вѣковъ, засѣваетъ молвью словесную ниву; всходятъ рѣчи, словами колосятся, присловьями наливаются,—чтобы снова попасть въ кошницу къ новымъ сѣятелямъ, зазвенѣть новыми, вырощенными народной былью, рѣчами. Ужъ разъ вылетѣла такая рѣчь-молвь на вольный просторъ, не попасть ей въ рѣку забвенія, не сплыть по водѣ безъ слѣда, не кануть камнемъ къ-дну—пойдетъ она гулять по Святой Руси, гулять—силы нагуливать, слово словомъ плодить...

Оставили свой слѣдъ два исконныхъ врага—огонь да вода—и въ сокровищницѣ русскихъ народныхъ загадокъ. „Что безъ огня горитъ, безъ крылъ летитъ, безъ ногъ бѣжитъ?“—спрашиваетъ загадка.—„Солнце, тучи да рѣки быстры!“—отвѣчаетъ разгадка. „Въ водѣ я родилась, огнемъ покормилась!“—подаетъ голосъ соль—сестра хлѣба насущнаго. „Я не самъ по себѣ, а сильнѣе всего и страшнѣе всего, и всѣ любятъ меня и всѣ губятъ меня!“—заявляетъ тотъ богатырь, которымъ „покормилась“ дражайшая половина хлѣба-соли. „Ни въ огнѣ не горю, ни въ водѣ не тону!“—слышится новое слово: ледъ говоритъ. Кончается день, заволакивается небо тьмою-сумракомъ, наступаетъ ночь. Смотритъ народъ, а самъ приговариваетъ: „Безсмертная овечка въ огнѣ горитъ!“ А огонь—ужъ тутъ-какъ-тутъ—въ его памяти: „Въ камнѣ спалъ, по желѣзу всталъ, по дереву пошелъ, какъ соколъ полетѣлъ!“—вспоминается пахарю крылатое слово. „Чего изъ избы не вытащишь?“—спрашиваютъ охотники до загадокъ.—„Печку!“—слѣдомъ разгадка идетъ. „Чего въ избѣ не видно?“—„Тепла“. Въ Псковской губерніи загадываютъ про печь по иному: „Стоитъ баба въ углу, а ротъ на боку!“; въ Новгородской—на свой ладъ: „По сторону бѣлецъ, по другую бѣлецъ, посрединѣ чернецъ!“; у вологжанъ—въ томъ-же родѣ: „Два бѣлыша ведутъ черныша!“; „Сидитъ барыня въ амбарѣ—не свезешь ее на парѣ!“—приговариваютъ симбирскіе загадчики. О печномъ заслонѣ летаютъ по народной Руси свои загадки. „Мать Софья день сохнетъ, а ночью издохнетъ!“ (Псковск. губ.), „Двое парятся, третій толкается; когда открывается, вся сласть подымается!“ (Самарск. губ.)—наиболѣе цвѣтистыя изъ нихъ. „Мать толста, дочь красна, сынъ храбѣрь—въ поднебесье ушелъ!“ („...слычъ кудреватъ—по поднебесью летать!“), загадываютъ про печной дымъ бабы-олон-

ки съ мужиками-олончанами. Въ Курской губерніи ходить такая-же загадка, но съ видоизмѣненнымъ концомъ: „сынъ голенасть, выгибаться гораздъ“... „Отець (огонь) еще не родился, а сынъ (дымъ) ужъ въ лѣсъ ходитъ!“—говорять псковичи, добавляя къ этому: „Зыблется, гиблется, а на землю не свалится!“, „Кумово мотовило подъ небеса уходило!“ По тѣмъ мѣстамъ, гдѣ еще есть черныя-курныя избы, загадываетъ деревенскій людъ-краснословъ про дымъ по другому: „Черна кошка, хмыль въ окошко!“ (Симбирск. губ.), „Ходитъ Хамъ по лавкѣ въ Хаминой рубашкѣ. Хамъ, иди вонъ!“ (Самарск. губ.) и т. д. „Что кверху корнемъ растеть?“—загадывается о сажѣ въ трубѣ; „Полна коробушка золотыхъ воробушковъ!“—о печной загнеткѣ (или: „Полонъ сусѣкъ красныхъ яичекъ!“); „Ниже верху, выше печи, грѣеть плечи!“—о полатахъ; „Ударю я булатомъ по бѣлокаменнымъ палатамъ, выйдетъ княгиня, сядетъ на перину!“—объ огнивѣ, кремнѣ, искрѣ и трутѣ. Про самый огонь говорятъ и такъ: „Безъ рукъ, безъ ногъ, а на гору ползеть!“, „Красный кочеть дыру точить!“, „Дрожитъ свинка, золота щетинка!“ (О горячей лучинѣ-лучинушкѣ березовой сложились загадки: „Красный пѣтушокъ по жердочкѣ бѣжитъ!“ (Рязанск. губ.), „Бѣжитъ кошка по брусочку, кладетъ кошка по кусочку!“ (Самарск. губ.), „Бѣлое ѣсть, черное роняетъ!“ (Новгородск. губ.) и т. п. Свѣча, по словамъ загадокъ, является „столбомъ“, горящимъ безъ углей; свѣтець съ зазженной лучиною представляется „старцемъ“, который стоитъ, „тюрю ѣсть и подъ себя мнетъ.“ О немъ-же говорится „Стоитъ Ермошка на одной ножкѣ, крошитъ крошонки—ни себѣ, ни жонкѣ!“.

Существуетъ на Руси сказаніе о сотвореніи земныхъ морей, озеръ и рѣкъ. Когда Богъ сотворилъ землю,—гласитъ оно,—повелѣлъ Онъ идти ливню-дождю. Полилъ дождь. Воззвалъ Творецъ къ птицамъ, далъ имъ дѣло—разносить воду во всѣ стороны свѣта бѣлаго. Налетѣли птицы—желѣзные нѣсы (олицетвореніе весеннихъ грозъ)—и стали исполнять повелѣніе Создавшего ихъ. И наполнились водою всѣ овраги, всѣ котловины, всѣ рытвины земли. „Отсюда и всѣ воды пошли“,—заканчивается сказъ. По иному разносказу, дополняется онъ еще тѣмъ, какъ одна птичка изъ всей птасты отказалась повиноваться Творцу. „Мнѣ не нужны ни озера, ни рѣки, — сказала она, — я и на камушкѣ напыюсь!“ Воспылалъ на птичку малую великимъ гнѣвомъ Господь и запретилъ ей и всему ея роду-потомству на вѣки вѣчные даже и подлетать къ рѣкамъ и другимъ вмѣстилищамъ водъ земныхъ; вышло ей позволеніе утолять жажду одной

дождевою водою. И летаетъ въ засуху эта птичка съ крикомъ — „Пить-пить!“

Въ духовномъ стихѣ о „Голубиной Книгѣ“ созданіе рѣкъ, ручьевъ и родниковъ приписывается „звѣрю-Индрику“, который, двигаясь съ мѣста на мѣсто въ подземныхъ нѣдрахъ, роетъ въ землѣ отдушину къ океанъ-морю. О немъ такъ и сказано тамъ:

„Куда звѣрь пройдетъ,
Туда ключъ кипить!“

Издrevле у русскаго народа и у всѣхъ его родичей, славянъ, находятся въ большомъ почитаніи ключи-родники, выбивающіе изъ горныхъ каменныхъ пластовъ. Возникновеніе ихъ относится къ ударамъ огненныхъ стрѣлъ Ильи-пророка (молніи), почему и слывуть они гремѣчими да святыми. Надъ такими родниками—въ обычаѣ устраивать часовни, ставить кресты. Къ нимъ въ праздники, а также во время бездождя, совершаются крестные ходы. Въ Симбирской губерніи (въ Карсунскомъ и Симбирскомъ уѣздахъ) еще недавно—двадцать-тридцать лѣтъ назадъ—богомольныя старухи-чернички шли въ засушливую вѣсну къ священнику и просили благословить „идти на гремѣчій“. Затѣмъ, онѣ подходили къ роднику и по близости отъ него принимались копать землю. Если имъ удавалось дорыться до новой водяной „жилы“, это считалось за признакъ того, что Богъ смилвался надъ хлѣборобами, и скоро пойдетъ дождь. Онѣ возвращались домой и шли по селу, сопровождаемыя дробнымъ припѣвомъ веселой, припрыгивающей точь-въ точь по воробьиному, дѣтвory:

„Дождикъ дождикъ, пуще!
Дамъ тебѣ я гущи!
Ужъ ты, дождь—дождемъ
Поливай ведромъ
На дѣдку рожь,
На бабкину полбу!“ и т. д.

Водѣ съ незапамятныхъ временъ придавалась въ народной Руси сила плодородія. Древній славянинъ-язычникъ видѣлъ въ дождѣ источникъ урожаявъ, изливаемый облачною дождевною дѣвою, вступавшею въ брачный союзъ съ богомъ-громовникомъ. Отъ дождевой воды силу плодородія народъ перенесъ и на рѣки, и на ручьи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, еще въ тридцатыхъ годахъ, соблюдался обычай молиться надъ родниками,—хотя-бы тамъ и не было поставлено ни креста, ни часовни. Встарину-же, когда русскіе похищали („умыкали“)

себѣ невѣсть, достаточно было объѣхать поѣзду трижды вокругъ озера, чтобы это считалось равносильнымъ въичанію. И теперь еще въ мѣстахъ, гдѣ древнее суевѣріе держится особенно прочно, женихъ съ невѣстой клянутся надъ колодцами въ будущей вѣрности другъ другу. Противъ такого почитанія воды возставали еще въ XII—XIII столѣтіяхъ наши церковные писатели. „И се слышахомъ,“—писалъ одинъ изъ нихъ, митрополитъ Кирилль, ¹⁷⁾—„въ предѣлахъ новгородскихъ невѣсты водятъ къ водѣ и нынѣ не велимъ тому тако быти, или то проклинать повелѣваемъ“... Но сѣдая старина держалась и держится слишкомъ крѣпко своими цѣпкими корнями за жизнь народа-пахаря, — чтобы ее можно было оторвать какими-либо запретами. Время вѣрнѣе дѣлаетъ свое разрушительно-созидательное дѣло...

Вода, какъ и огонь, всегда казалась надѣленной цѣлительной силою. „Вода очищаетъ отъ всего нечистаго, огонь пожираетъ всякую нечисть!“—говоритъ простонародная мудрость устами старыхъ людей. Отъ какихъ только болѣзней не пользуются водою деревенскія лѣчейки и въ наши дни! И въ этомъ случаѣ водѣ гремячаго ключа приписывается наибольшее значеніе. „Помогаетъ“, по словамъ знающихъ опытныхъ вѣдуновъ, и дождевая вода. Даетъ помощь и вода, натаянная изъ снѣга, особенно—собранныя въ мартѣ-мѣсяцѣ. Если берутъ для больного воду изъ проточнаго мѣста, изъ рѣчки, то никогда не зачерпнуть противъ теченія. „Матушка-вода!“—гласитъ наговорное слово:.. обмываешь ты круты берега, желты пески, бѣль-горючъ камень своей быстринной и золотой струей... Обмой-ка ты съ раба Божія (имя рекъ) всѣ хитки, всѣ притки, уроки и призоры, скорби и болѣзни, щипоты и ломоты, злу худобу; понеси-ка ихъ, матушка быстра рѣка, своей быстринной—золотой струей во чистое поле, на синее море, за топучія грязи, за зыбучія болота, за сосновый лѣсъ, за осиновый тынъ!..

Вѣщая сила, каковою надѣлила воду народная старина, заставляетъ прибѣгать къ ней съ гаданьями, и до сихъ поръ не утрачивающими смысла въ посельскомъ бытѣ. Гадающіе смотрятъ въ воду, угадывая судьбу по движенію струекъ;

17) Кирилль—митрополитъ кіево-владимірскій, бывший холмскій епископъ, избранный въ 1250-мъ году въ главы Русской Церкви послѣ разгрома Кіева татарами. Онъ учредилъ нѣсколько новыхъ епархій: ростовскую, сарскую и др. Въ 1274-мъ году имъ созданъ во Владимірѣ соборъ, на которомъ было постановлено 13 правилъ о церковныхъ дѣлахъ и объ исправленіи духовенства. Онъ скончался въ 1280-мъ году въ Переяславлѣ.

слушаютъ воду, опредѣляя предсказаніе по шуму ея; бросаютъ на воду разные предметы.

Какъ у домашняго очага живетъ Домовой, такъ и въ каждой рѣкѣ, въ каждомъ озерѣ—Водяной. О немъ создано суевѣрнымъ народнымъ воображеніемъ не мало всякихъ сказаній, по которымъ еще и теперь можно угадать отдаленное происхожденіе его отъ языческаго Дажьбога. Отъ него зависитъ, по представленію народа, „задерживать дожди“. Потому-то и воздастъ ему пахарь-хлѣборобъ всяческое почтеніе, умилоствляя его посильными дарами, величая, какъ и Домового, „дѣдушкою“. Вода—его царство, гдѣ онъ властенъ сбѣлать всё, что захочетъ. Подъ его властью не только рыбы, но и русалки (дѣвы подводныя),—не только все, что живетъ въ водѣ, но и все—что къ ней приближается. Всѣ, кому приходится жить дарами воды (рыбаки, мельники, лодочники),—должны быть съ нимъ въ мирѣ. Памятующимъ это онъ оказываетъ всякое покровительство: бережетъ пловцовъ, посылаетъ добрый уловъ, смотритъ за неводами, слѣдитъ за уровнемъ воды въ пруду и т. д. Но—„бѣда тому, кто затѣетъ съ нимъ ссору!“—предостерегаютъ старые люди молодежь, все рѣже и рѣже вспоминая про завѣты сѣдой старины.



V.

Сине море.

Хотя русскій народъ въ старину стародавнюю и не былъ прирожденнымъ обитателемъ поморья, но какъ съ самимъ моремъ, такъ и со всѣмъ заморскимъ, связано въ его тысячелѣтней памяти не мало всякихъ сказаній, повѣрій и цвѣтистыхъ ходячихъ словъ, съ незапамятныхъ временъ до сихъ поръ разгуливающихъ „отъ-моря до-моря“. Теперь, когда народная Русь не только стоитъ твердою богатырской стопою на берегахъ семи морей, но даже омывается двумя океанами,—невольюно выплываютъ передъ ея глазами изъ-за темнымъ-темной дали минувшихъ вѣковъ затуманенные современнымъ житьемъ-бытьемъ облики былыхъ повѣрій, сбереженныхъ отъ беспощадной руки всеокрушающаго времени въ свѣтлыхъ глубинахъ, чуткаго ко всему родному-завѣтному, памятливаго сердца народнаго.

Было время, когда славянинъ-язычникъ поклонялся всей обступавшей его, видимой его суевѣрнымъ глазамъ, природѣ—какъ единому, примирявшему въ себѣ и доброе, и злое начала, божеству. Шли вѣка, одинъ за другимъ утопавшіе въ неизвѣданной безднѣ славянскаго прошлаго: богъ-природа мало-по-малу разпадался на-двое— воплощаясь въ Бѣльбога (олицетвореніе свѣта и добра) и Чернобога (воплощеніе злыхъ темныхъ силъ). Но власть и этихъ могущественныхъ стихій природы была, съ теченіемъ времени, раздѣлена между происшедшимъ отъ каждой изъ нихъ потомствомъ, обожественнымъ среди преклонявшагося предъ ихъ волею народа. Сначала народилась божественная чета—Небо съ Землею, ставшіе прародителями позднѣйшихъ боговъ; а тамъ—и цѣлая

семья ихъ зажила на славянскомъ Олимпѣ. Древнеязыческая Русь передала старшинство въ этой семьѣ сыну прѣбога-неба—Перуну, давъ ему въ могучія руки и молніеносные громы небесные, и дожди облачные, и огни горючіе, и воды земныя. Загремѣла по свѣтлорусскому простору Бѣльбожичева слава великая, великая слава—нераздѣльная... Но шли-прошли еще годы-вѣка, раздѣлилъ свое царство и единый властитель земли и неба. Остались у Перуна громы да молніи, огнемъ сталъ повелѣвать Сварожичъ, вѣтрами буйными—Стрибогъ; доставались воды Морскому Царю.

Жилъ, по вѣрованію древнихъ пращуровъ пахаря нашихъ дней, обиталъ этотъ могучій богъ сначала не въ пучинѣ морской, а въ бездонной глубинѣ синяго неба, раскидывающагося безпредѣльнымъ воздушнымъ океаномъ надъ Матерью-Сырой-Землею. И самое небо казалось живому народному воображенію не чѣмъ инымъ, какъ океанъ-моремъ, въ волнахъ котораго купались и пресвѣтлое солнце, и ясныя звѣзды, омывался и свѣтѣль-мѣсяць. Мало-по-малу представленіе о небѣ-морѣ было перенесено на заслоняющія его отъ глазъ человѣческихъ волны дожденосительницъ-тучъ, отовсюду окружившихъ, по волѣ народа-сказателя, небесный островъ „Буянь“. Когда подо двинулась Русь поближе къ правскому синему морю и даже начала заглядывать за море,—сложилось въ ней понятіе о морѣ-океанѣ, на которомъ-де плаваетъ стоящая на китахъ земля. Островъ Буянь перенесся на средину этого безпредѣльнаго моря и сталъ жилищемъ солнца съ алыми сестрами—зорями, а когда миновалъ чередъ обожествленію дневного свѣтила, поселились на этомъ островѣ всякія дива-дивныя, и до сихъ поръ не покидающія его для суевѣрнаго воображенія, придерживающагося заповѣданныхъ стариною преданій. Обступаютъ-стерегутъ его вѣтры буйные. Живетъ на островѣ и змѣя „всѣмъ змѣямъ старшая“, и вѣщій воронъ—„всѣмъ чернымъ воронамъ старшій братъ“ („Живетъ воронъ—Огненнаго Змѣя клюеть!“), и птица—„всѣмъ птицамъ старшая и большая“. (съ желѣзнымъ носомъ и когтями мѣдными), и пчелиная матка—„всѣмъ маткамъ старшая“. Народное заговорное слово поселяетъ здѣсь даже Илья-пророка, принявшаго на себя и власть надъ могучими громами Перуновыми. „На морѣ на океанѣ, на островѣ на Буянь“,—гласитъ это посѣдѣвшее слово,—„гонитъ Илья-пророкъ къ колесницѣ громъ съ великимъ дождемъ“ и т. д. Простонародныя сказки то-и-дѣло мѣняютъ обитателей этого дивнаго острова. Но самъ-то онъ встаетъ изъ морскихъ волнъ попрежнему увлекающимъ воображеніе простодуш-

наго сказателя мѣстомъ всякихъ чудесъ... Морской-же Царь, порастерявъ свою власть на небесномъ морѣ, ушелъ—старый—въ морскую глубь, построилъ тамъ себѣ палаты царскія да и живетъ-поживаетъ припѣваючи, по всей своей царской вольности, окруженный веселымъ подводнымъ народомъ: дѣвами-русалками, водяными воеводами да всякими чудищами морскими—„имъ-же нѣсть числа“.

Позднѣйшія сказанія рисуютъ Морского Царя не только грознымъ властелиномъ, но и отцомъ многочисленной семьи. Только нѣтъ у нихъ съ водяной царицею—„всѣмъ русалкамъ русалкой“—ни единого сына: однѣ дочери родятся—дѣвы моря съ рыбьимъ хвостомъ. Изъ всѣхъ дочерей у сѣдого повелителя бурь морскихъ—одна дочка любимая: Марья Моревна, морская царевна. У одной только у нея нѣтъ и хвоста рыбаго. Ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать ея, царевнину, красоту,—говорятъ краснословы-сказочники, говорить, а сами ее „ненаглядною красой, золотою косою“ величаютъ. Живетъ она,—по ихъ словамъ,—въ отцовскомъ дворцѣ, сидитъ въ своемъ терему дѣвичьемъ, изъ косящата окошечка на подводное царство не напобуется. А въ сердце къ ней нѣтъ-нѣтъ да и стукнетъ грусть-тоска, а о чемъ тоска—невѣдомо, по комъ грусть—незнаемо. Выходитъ подъ такой часъ Марья Моревна—морская царевна, золотая коса, „непокрытая краса“,—выходитъ изъ терему, садится въ золотой челнокъ, выплываетъ на зыбучія волны моря синяго. Плыветъ ненаглядная красота, а сама такъ и сіяетъ, слѣпитъ лучами солнечными глаза встрѣчному-поперечному... А то—выйдетъ изъ челнока, купаться начнетъ. Не дай Богъ доброду мѣлодцу засмотрѣться на любимое дѣтище владыки царства подводнаго... Заглядится ненарокомъ,—и свѣта бѣлаго послѣ ни разу не взвидитъ: нѣтъ и человѣка такого, который бы не ослѣпъ отъ такой красоты невиданной!..

Дошла до нашихъ дней сложившаяся на Руси въ стародавнія годы сказка о томъ, какъ полюбилась Марья Моревна, морская царевна, встрѣчному добру-молодцу, молодому королевичу. Увидалъ онъ ее, залюбовался красотой несказанною, да только глазъ-то не проглядѣлъ, а и самъ пришелся красавицѣ по-сердцу. Засмотрѣлась красота на юнаго королевича, а былъ онъ молодъ, да удалъ: хваталъ ее съ челнока за бѣлыя руки, везъ въ быстроходной ладѣ по синю морю, причаль держалъ у пристани своего родного города, повель морскую царевну въ отцовскія палаты. Какъ увидалъ старый король добычу сыновнюю,—„Не бывать, сынокъ, свадьбѣ твоей! Самъ я—на старости лѣтъ,—говорить,—женюсь на Марьѣ“

Моревнѣ!“ А морская-то царевна похитрѣй была. Велѣла она добыть живой и мертвой воды; принесли королю воду черные вороны (пробразъ темныхъ тучъ)... „Отруби,—говорить,—голову сыну!“ Обезглавили молодого королевича; спрыснула его Марья Моревна живою водою: всталъ на рѣзвы ноги добрый молодець, сталъ еще удалѣй-красивѣе. Захотѣлъ помолодѣть и старый король, велѣлъ отрубить себѣ голову, а потомъ спрыснуть и его живою водою. Отрубить-то отрубили и спрыснуть—спрыснули старога грѣховодника, да только не живой, а мертвою, водою: не подняться сѣдому завистнику съ сырой земли... Тутъ ему и конецъ пришелъ. А Марья Моревна смотритъ на него, а сама приговариваетъ: „Не зарить-ся-бы тебѣ, старому, на молодое сыновнее счастьеце! Вѣковать-бы тебѣ, сѣдому, вѣкъ свой въ палатахъ бѣлокаменныхъ, во той-ли во топленой горницѣ, на той-ли на печкѣ на муравленой!“ Схоронилъ королевичъ отца, а самъ съ морской царицею—за почестень пиръ, за веселую свадебку... Былъ счастливъ онъ со своею молодой женою не три дня, не три мѣсяца, а безъ трехъ дней три-года... Къ исходу третьяго—встосковалась королевичева женушка, всплакалась; всплакавшись—королевича покинула, пошла ко синю морю, отвязала отъ крутого бережка свой золотой челнокъ, съла въ него да и была такова: уплыла въ отцовское царство подводное... Встрѣтилъ Морской Царь свое потерянное любимое дѣтище рожное,—расплся на радостяхъ; потонуло отъ той пляски много судовъ-кораблей. Былъ между ними и корабль королевичевъ, а на томъ кораблѣ—и самъ молодой Марьянъ Моревнинъ мужъ... Было, знать, на-роду ему написано: не сидѣть королемъ на сырой землѣ, а жить со своею королевною во палатахъ бѣлокаменныхъ, у того-ли Царя Морского-подводнаго...

Записанъ собесѣдателями родной старины и цѣлый рядъ другихъ сказокъ о Морскомъ Царѣ и его дочеряхъ, представлявшихъ народному воображенію не только красавицами, но и премудрыми. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ сказокъ повелитель морей именуется Поддоннымъ Царемъ, въ другихъ зовется Окянъ-Моремъ, въ иныхъ-же—Чудомъ-Юдомъ. Но во всѣхъ разносказахъ одинаковы присущія ему свойства, являющіяся смѣшеніемъ злыхъ-разрушительныхъ и добрыхъ-творческихъ началъ. Въ нѣсколькихъ сказкахъ попадаетъ въ подводное царство, по волѣ народа-сказателя, его излюбленный сказочный герой—Иванъ-царевичъ.

Бхалъ путемъ-дорогою могучій царь, изъ похода держалъ путь домой,—заводитъ рѣчь одна изъ такихъ сказокъ.—День выдал-

ся знойный: такъ и пышетъ съ небесной синевы огнемъ на бѣлый свѣтъ красно-солнышко. Ёдетъ царь, притомился отъ тяжкаго зноя, пересохло горло отъ жажды. Видитъ путникъ передъ собою озеро, — разлилось, что море безбрежное, — слѣзъ съ коня, припалъ къ водѣ, зачалъ пить воду студеную. Напился онъ, хотѣлъ съ земли привстать, на добра-коня сѣсть, — не по его хотѣнью сдѣлалось: ухватилъ его за длинную бороду Морской Царь, не пускаетъ, держитъ цѣпкой рукою. Взмолился онъ подводному владыкѣ, а тотъ ему свое слово молвить: „Обѣщай мнѣ отдать черезъ семь лѣтъ то, чего ты самъ дома не вѣдаешь!“ Поклялся великой клятвою бородастый царь, — отпустилъ его повелитель народа поддоннаго. „Смотри, — говорить, — коли не сдержишь клятвы, не быть тебѣ живу и семи дней послѣ семи лѣтъ!“ Вернулся царь домой, а тамъ — ему навстрѣчу вѣсть идетъ: подарила его царица сыномъ Иванъ-царевичемъ. Не думалъ, не гадалъ онъ, что придется отдавать на погибель желанное, прощенное-моленное, дѣтище. Ни словомъ и во снѣ не обмолвился онъ про то своей царицѣ, а самъ — что ночь темная осенняя — затуманился. Сталъ расти царевичъ, не по днямъ, а по часамъ, расти — что вешній цвѣтъ красоватися. Не успѣлъ царь оглянуться, какъ уже и седьмой годъ — на исходѣ, а царевичъ выровнялся — что въ двадцать лѣтъ. Минуль послѣдній день изъ седьмого урочнаго года, — повѣдалъ царь свое горе царицѣ. Снарядили они царевича, снарядивши — во слезахъ проводили на морской берегъ, — проводивъ, одного у синя-моря покинули. Спрятался Иванъ-царевичъ за ракиты прибережныя, видитъ: прилетѣли двѣнадцать лебедушекъ, прилетѣвши — обронули съ себя крылья-перушки, обронивши — обернулись красными дѣвицами, обернувшись — принялись плавать-купаться во синемъ морѣ... А Иванъ-то царевичъ молодешенекъ, да догадливъ, былъ: распозналъ онъ, что эти двѣнадцать бѣлыхъ лебедушекъ, двѣнадцать красныхъ дѣвушекъ — дочери Морского Царя, владыки подводнаго. Приглянулась изъ нихъ ему одна больше всѣхъ: подкрался онъ, взялъ съ берегового песка рудожелтаго ея бѣлыя крылышки лебединыя. Накупались-наплавались красавицы, вышли на-берегъ, нарядились въ свои крылья-перушки, вспорхнули бѣлыми лебедушками, улетѣли въ даль далекую. Не нашла своихъ крылышекъ одна красна-дѣвица, осталась на бережку любимая дочь Морского Царя — Василиса Премудрая... Ищетъ-поищетъ, найти не можетъ; увидѣла добра-молодца Иванъ-царевича, взмолилась она къ нему, чтобы отдать ей бѣлыя крылья лебединыя. „Отдамъ, — говорить, — только выходи замужъ за меня!“ Согласилась царевна: приглянулся

онъ и ей-самой... Пошли они въ царство подводное, а тамъ,—ведеть свою цвѣтистую рѣчь старая сказка,—какъ и на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ, свѣтитъ красно-солнышко, бѣгутъ рѣчки быстрыя, зеленѣютъ луга шелковѣе, зеленѣютъ—травой-муравой разстилаются, на лугахъ—лазоревы цвѣты цвѣтутъ, за лугами—дремлютъ лѣса дремучіе... Пришелъ Иванъ-царевичъ, разставшись со своею зазной-царевною, ко дворцу Морского Царя. Встрѣтилъ тотъ его, сталъ задавать уроки трудные: „Коли сдѣлаешь, живъ будешь! Не сдѣлаешь—голову тебѣ съ плечъ!“—говоритъ. Какъ задалъ царевичу первую задачу Морской Царь, такъ и затуманился добрый молодець: чуетъ молодецкое сердце смерть неминуемую. „Не горюй,—говоритъ ему Василиса Премудрая,—ложись-спи, къ утру все готово будетъ!“ Вздивовался Морской Царь, какъ увидѣлъ, что все къ сроку сдѣлано.—задалъ задачу урочную потруднѣй того...

Помогла царевна своему милому выполнить не одинъ, не два, а цѣлыхъ двѣнадцать, подвиговъ. „Выбирай,—говоритъ Морской Царь,—въ награду любую изъ двѣнадцати моихъ дочерей себѣ въ жены!“ Выбралъ Иванъ-царевичъ прекрасную Василису Премудрую. Пироваль-плясалъ на свадебномъ пиру весь подводный народъ, а царевичъ умыслилъ со своей молодою женой уйти на бѣлый свѣтъ. Задумано—сдѣлано... Спровѣдалъ о бѣгствѣ Морской Царь, ударился въ погоню за бѣглецами. Понесся-полетѣлъ онъ, во гнѣвъ своемъ, черной тучею, засверкалъ огнемъ молній пламеннымъ... Почуялъ Иванъ-царевичъ погоню; обернула Василиса Премудрая его рыбой-окунемъ, а сама разлилась слезами горячими—побѣжала по желтому песку, по мелкимъ камушкамъ быстро водою свѣтлой рѣчкою. „Будь-же ты рѣчкою цѣлыхъ трѣ года!“—заклялъ разгнѣванный отецъ свое дѣтище. По другому-же разносказу—такъ и не догналъ Морской Царь бѣглецовъ: вышли они изъ подводнаго царства на бѣлый свѣтъ, стали во палатахъ царскихъ у Иванъ-царевичева отца вѣкъ вѣковать, наживать малыхъ дѣтушекъ... А къ Морскому Царю такъ-таки никакой вѣсточки о томъ и не дошло, словно дочь любимая съ богоданнымъ зятемъ—оба навѣкъ изъ міра живыхъ сгинули...

Русскія простонародныя преданія вѣщаютъ изъ глубины стародавнихъ лѣтъ о томъ, что всѣ дочери Морского Царя превратились въ большія рѣчки. Потому-то съ послѣдними и связаны до сихъ поръ во многихъ мѣстахъ суевѣрныя представленія, являющіяся пережиткомъ древняго обожествленія водъ земныхъ...

Отъ простонародныхъ сказокъ ближе всего переходъ — къ русскимъ былинамъ, имѣющимъ съ первыми не мало общаго. Во многихъ изъ нихъ можно встрѣтить упоминаніе о синемъ морѣ, но наиболѣе ярко высказалось народное представленіе о немъ и о властвующихъ надъ нимъ силахъ—въ былинѣ о Садкѣ, богатомъ гостѣ новгородскомъ, передаваемой въ цѣломъ рядѣ разносказовъ. Въ собраніи К. Ѳ. Калайдовича ¹⁸⁾ („Древнія російскія стихотворенія, собранныя Киришемъ Даниловымъ“) приводится едва-ли не самый полный сказъ этой старинной сѣверно-русской быliny—подъ заглавіемъ „Садковъ корабль сталъ на морѣ“.

„Какъ по морю, морю синему,
Бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, единъ Соколь корабль—
Самого Садки, гостя богатаго...“

Такой запѣвкою начинается этотъ былинный сказъ. А разбогатѣлъ Садко, по другому разносказу, отъ щедротъ Морского Царя. Былъ онъ раньше не только не богатъ, а жилъ—чѣмъ Богъ пошлетъ; одна была у него утѣха—гусли звончаты: хаживалъ онъ съ ними на пиры званые, веселилъ хлѣбосольный народъ. Сидѣлъ однажды Садко на берегу Ильмень ¹⁹⁾-озера, на бѣлѣ-горючемъ камнѣ, сидѣлъ—на гуселькахъ яровчатыхъ поигрывалъ. Долго-ли, коротко-ли забавлялся удамой гусельникъ, вдругъ—„въ озерѣ вода всколебалася“, всплылъ поверхъ волнъ властитель подводнаго царства поддоннаго. Утѣшилъ его Садко, посулилъ старый ему „кладъ изъ Пльмень-озера: три рыбы—золоты перья...“ И слово Морского Царя не мимо молвилось; закинулъ гусельникъ въ озеро неводъ, дался въ руки обѣщанный кладъ, закупилъ на него Садко товару видимо-невидимо, сталъ онъ богатымъ гостемъ Господина Великаго Новагорода...

Плывутъ по синю морю тридцать кораблей... „А всѣ корабли что соколы летять, Соколь корабль (самого Садки) на морѣ

¹⁸⁾ Константинъ Оедоровичъ Калайдовичъ (род. въ 1792, умеръ въ 1832 г.)—историкъ, открывшій „Сборникъ Святослава 1073 г.“ и „Небеса и Шестодневъ экзарха Іоанна“. Главнѣйшіе труды его: „Русскія достопамятности“, „О языкѣ Слова о полку Игоревѣ“, „Законы в. к. Іоанна III и судебникъ Іоанна Грознаго“, „Древнія російскія стихотворенія, собранныя Киришемъ Даниловымъ“. По образованію онъ—кандидатъ московскаго университета.

¹⁹⁾ Пльмень озеро въ Новгородской губерніи, лежащее между Новгородскимъ, Старорусскимъ и Крестецкимъ уѣздами, простирающееся на 40 верстъ въ длину и до 32 въ ширину. Изъ него вытекаетъ рѣка Волховъ. Береговые ильменскіе жители сохранили въ своемъ быту множество древнерусскихъ обычаевъ и древнерусскій (новгородскій) говоръ.

стоитъ...“ — не сдвинуть и съ мѣста, словно приросъ онъ къ водѣ... „А ярыжки вы, люди наемные, а наемны люди, подначальные!“ — держать Садко къ своимъ корабельщикамъ властное слово хозяйское: „А въ мѣсто всё вы собирайтесь, а и рѣжьте жеребья вы валжены, а и всякъ-то пиши на имена, и бросайте вы ихъ на сине море!“ Сдѣлали корабельщики каждый по „валженому“ жеребью, а самъ богатый гость взялъ-бросилъ на воду „хмѣлево перо“, кинулъ — приговариваетъ: „А ярыжки, люди вы наемные! А слушай рѣчи праведныхъ; а бросимъ мы ихъ (жеребья) на сине море. Которые бы по верху плывуть, а и тѣ бы душеньки правыя; что которые-то во морѣ тонуть, а мы тѣхъ спихнемъ во сине море!..“ И вотъ — воззрились всё на кинутые въ море жеребы: „А всё жеребья по верху плывуть, кабы яры гоголи по заводямъ; единъ жеребій во морѣ тонеть, въ морѣ тонеть хмѣлево перо“... Диву-дались, вздивовались — не надивуются корабельщики, а Садко-купецъ снова держитъ рѣчь къ нимъ, чтобы сдѣлали они всё по „жеребью ветляному“: „... а и которы жеребы во морѣ тонуть, а и то душеньки правыя!..“ Сказалъ богатый гость; сдѣлали по его хотѣнью, по Садкину велѣнью корабельщики... Анъ и тутъ передъ ними — диво-дивное: „А и Садко покинулъ жеребій бѣлатной, синяго бѣлату вѣдь заморскаго, вѣсомъ-то жеребій въ десять пудъ. И всё жеребы во морѣ тонуть, единъ жеребій по верху плыветь самого Садки, гостя богатаго“... Тутъ уже не могъ не увидѣть руки судьбы и самъ хозяинъ корабельщиковъ; понялъ онъ, сердцемъ — коль не разумомъ — почувалъ: какая вина — за его душой... Вылетѣло у него изъ глубины чуткаго сердца крыленое прозорливостью вѣщее слово:

„Я, Садъ-Садко, знаю, вѣдаю,
 Бѣгаю по морю — двѣнадцать лѣтъ,
 Тому царю заморскому
 Не платилъ я дани, пошлины,
 И во то синѣ море Хвалынское
 Хлѣба съ солью не опускавалъ,
 По меня, Садку, смерть пришла“...

Велитъ богатый гость принести свою шубу соболью, подать ему звончаты гусли золотострунные да шахматницу дорогую „со золоты тавлеями, со тѣми дороги вальщаты“... Нарядился Садко, спустился по серебряной сходи на сине море, садится на золотую шахматницу... Ушли-убѣжали всё корабль, улетѣлъ и его, Садкинъ, Соколь-корабль; остался онъ одинъ на безбрежномъ морскомъ просторѣ. Понесло Садку, новго-

родскаго гостя богатаго, вдоль по морю къ берегу чужедаль-
 нему... „Выходилъ Садко на круты береги, пошелъ Садко
 подлѣ синя моря, нашель,—продолжаеть былина свой сказъ,—
 нашель онъ избу великую, а избу великую во все дерево, на-
 шель онъ двери и въ избу пошелъ“... Только-что успѣлъ
 распахнуть онъ избную дверь, а оттуда къ нему слово Мор-
 ского Царя идетъ: „А и гои еси ты, купецъ, богатой гость!
 А что душа радѣла, того Богъ мнѣ далъ, и ждалъ Садку двѣ-
 надцать лѣтъ, а нынѣ Садко головой пришелъ; поиграй, Сад-
 ко, въ гусли ты звончаты!“ Не заставилъ себя много ждать,
 не велѣлъ долго просить новгородскій гость, провелъ рукой
 по золотымъ струнамъ, и сталъ Садко „царя тѣшити“... При-
 шлась по сердцу игра гусельная, разскакался - распясакался
 Морской Царь, сталъ угощать Садку питіями хмѣльными. „И
 развалился Садко, и пьянъ онъ сталъ, и уснулъ Садко-купецъ,
 богатой гость; а во снѣ пришелъ святитель Николай къ не-
 му, говоритъ ему таковы рѣчи:—Гои еси ты, Садко-купецъ,
 богатой гость! А рви ты свои струны золоты, и бросай ты
 гусли звончаты, распясакался у тебя Царь Морской, а сине
 море веколебалося, а и быстры рѣки разливалсся, топятъ
 много бусы. корабли, топятъ души напрасныя того народу
 православнаго!“... Пробудился Садко, послушался святителя,
 порвалъ струны гусельныя, бросилъ гусли звончаты... Перес-
 талъ плясать Морской Царь, призатихло и море синее, за-
 дремали въ своемъ руслѣ и рѣки быстрыя... Ночь прошла спо-
 койно... Заиграла на небѣ зоренька утренняя, взшелъ бѣлый
 день, сталъ властитель царства подводнаго уговаривать Сад-
 ку—жениться на любой изъ тридцати дочерей царскихъ. Вспом-
 нилъ богатый гость, что Никола не только велѣлъ перестать
 играть, а и сказалъ ему, что станетъ Морской Царь угова-
 ривать взять въ жены одну изъ его дочерей, что не надо брать
 „ни хорошую, ни бѣлую, ни румяную“, а взять „дѣвушку
 поваренную, поваренную, что котора хуже всѣхъ“... Испол-
 нилъ онъ все по слову угодника Божія... „А и тутъ Царь
 Морской положилъ Садку на подкѣлѣтъ спать, и ложился онъ
 съ повобрачною; Николай во снѣ наказывалъ Садкѣ: не
 обнимай жену, не цѣлуй ее... А и тутъ Садко-купецъ, бога-
 той гость, съ молодой женой на подкѣлѣтъ спитъ, свои ручень-
 ки во сердцу прижалъ...“ Проснулся Садко, смотритъ —
 лежитъ онъ подъ своимъ роднымъ Новгородомъ, „а лѣвая но-
 га во Волхъ-рѣкѣ“... Вскочилъ богатый гость, увидѣлъ при-
 ходъ свой—церковь Николы Можайскаго, перекрестился онъ
 на святъ-Господень крестъ... Глядитъ, а—„по славной матуш-
 кѣ Волхъ-рѣкѣ бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей, единъ

корабль самого Садки, гостя богатаго... И встрѣчаетъ Садко-купецъ, богатой гость, цѣловальниковъ любимыхъ. Всѣ корабли на пристань стали, сходни метали на крутой берегъ, и вышли цѣловальники на крутъ берегъ; и тутъ Садко поклоняется:—Здравствуйте, мои цѣловальники любимые и прикащики хорошіе!—И тутъ Садко-купецъ, богатой гость, со всѣхъ кораблей въ таможеню положилъ казны своей сорокъ тысячей...“—кончается былинный сказъ. А. Н. Афанасьевъ усматриваетъ въ словахъ „а лѣвая нога во Волхъ-рѣкѣ“ то, что нелюбимую дочь Морского Царя—„поваренную дѣвушку“—звали „Волхъ (Волховъ)-рѣкою“.

„Алатырь-камень“, зачастую упоминаемый въ русскихъ простонародныхъ заговорахъ, всегда представляющійся лежащимъ „на островѣ Буянѣ, на морѣ-окіянѣ“, считается—по слову „Голубиной Книги“—за „всѣмъ камнямъ отца“. „Бѣлый латырь-камень всѣмъ камнямъ отецъ,“—гласить о немъ съдая мудрость народная,—„почему же ѿнѣ всѣмъ камнямъ отецъ?“—задаетъ она вслѣдъ за этимъ вопросъ и тутъ-же держитъ свою рѣчь отвѣтную:

„Съ-подъ камешка, съ-подъ бѣлаго латыря
Протекли рѣки, рѣки быстрыя
По всей землѣ, по всей вселеннѣ—
Всему міру на исцѣленіе,
Всему міру на пропитаніе...“

„На бѣломъ латырѣ-на камени бесѣдовалъ да опочивъ держалъ самъ Исусъ Христосъ, Царь Небесный, съ двенадцати со апостоламъ, съ двенадцати со апостоламъ, съ двенадцати со учителямъ; утвердилъ онъ вѣру на камени: потому бѣло-латырь-камень камнямъ мати!“—говорится въ другомъ разносказѣ народнаго стиха. Записано и такое слово объ этомъ чудномъ отцѣ-матери всѣхъ камней: „Среди моря синяго лежитъ латырь-камень; идутъ по-морю много корабельщиковъ, у того камня останавливаются; они берутъ много съ него снадобья, посылаютъ по всему свѣту бѣлому...“ (О цѣлебной силѣ камня „латыря“ ходитъ по народной Руси до сихъ поръ не мало и всякихъ другихъ рѣсказней...

„Подъ восточной стороной есть окіянѣ-синес-море,“—гласитъ заговорное слово: „на томъ окіянѣ на синемъ морѣ лежитъ бѣло-латырь-камень, на томъ бѣло-латырѣ-камени стоитъ святая золотая церковь, во той золотой церкви стоитъ святыи золотыи престолы, на томъ златѣи престолѣ сидитъ самъ Господь Исусъ Христосъ, Михаилъ-архангелъ, Гавриилъ-архангелъ...“

П. Н. Рыбниковым²⁰⁾ записана въ Олонецкой губерні любопытная былина о Васильѣ Буслаевичѣ,—разносказъ, не встрѣчающійся у другихъ собирателей народной старины. Тѣшится новгородскій богатырь своею могучей силою, тѣшитъ моченькой и удалую дружинишку... „Дружина моя хоробая!“—говоритъ Буслаевичъ: „Скачите черезъ бѣль-горючь-камень!“ Стали скакать Васильевы дружинники: перескочили разъ и другой перескочили, и третій... Принялся скакать и самъ Васильюшко: „разъ скочилъ и другой скочилъ, а на третій говоритъ дружинѣ хоробрыя:—я на третій разъ не передомъ, задомъ перескочу!—Скочилъ задомъ черезъ бѣль-горючь-камень, и задѣла ножка правая, и упалъ Васильюшко Буслаевичъ о жестокъ камень своима плечыя богатырскими... Расколolz онъ свою буйну голову и осталься лежать тутъ дѣ-вѣку... Въ сказочной передачѣ—Васильева смерть пришла не отъ камня-алатыря, а отъ морской пучины,—причемъ послѣдняя является живымъ существомъ... Плылъ Василій-богатырь, по словамъ старой сказки, „черезъ море къ зеленымъ дугамъ“. Плыветъ Буслаевичъ, видитъ: лежитъ „Морская Пучина—кругомъ глаза...“ Не смутился Василій, не робокъ парень былъ: зачалъ онъ вкругъ Морской Пучины похаживать, сабянѣ-сапожкомъ ее попинывать. Посмотрѣла на богатыря новгородскаго Морская Пучина—кругомъ глаза: „Не пинай меня,—говоритъ,—и самъ тутъ будешь!“ Смѣшлива была дружина Буслаевичева, зачали дружинники смѣхи водить—посмѣиваться, принялись черезъ Пучину перескакивать: всѣ перескочили... Взяло за живое и самого богатыря: прыгнулъ Василій, не перескочилъ, задѣлъ за Морскую Пучину пальцемъ правой ноги... Тутъ ему и смертный часъ пришелъ, смертный часъ, послѣдній часъ...

По сводному безошовскому разносказу стиха о „Голубиной Книгѣ“, помѣщенному во второмъ выпускѣ его „Калѣкъ перехожихъ“, народное окіянь-море представляется такимъ: „Окіянь-море морямъ мати: спредь моря, сирѣдъ Кіяни что выходитъ изъ ней церковь соборная; соборная-богомольная, самого Клима, пона Рымскаго; что во той церкви во соборныя стоитъ гробница на воздухахъ бѣла-каменна; въ той гробницѣ бѣ-

²⁰⁾ Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ—трудолюбивый русскій народовѣдъ—родился въ 1832-мъ, умеръ въ 1885-мъ году, по образованію—питомецъ московскаго университета (историко-филолог. факультета). Большинство народныхъ пѣсенъ, былинь и сказаній собраны имъ въ Черниговской и Олонецкой губерніяхъ. Отдѣльное изданіе его матеріаловъ появилось въ 1861—1867 г., а передъ тѣмъ они печатались въ „Олоонецъ-Губ. Вѣдомостяхъ“. Въ 60-хъ г.г. П. Н. Рыбниковъ состоялъ секретаремъ олонецкаго губернскаго статистическаго комитета. Одно время онъ былъ калишскимъ вице-губернаторомъ.

докаменной почиваютъ мощи попа Римскаго, слава Клементь-ева; обкинуло то море вокругъ землю всю, обошло то море околѣ всей земли; вокругъ земли, всей, подселенныя—всего свѣту бѣлаго... Но это еще не самое главное, почему окіянь-море — „всѣмъ морямъ мати“. Стихъ продолжаетъ свой сказъ: „Въ немъ окіянь во мори пупъ морской, а вси рѣки вси моря вси хъ Кіяню морю собѣгалися, вси хъ Кіяню морю приклонилися, никуда вонъ не выходили; окіянь-море зголубается,—вси моря ему поклоняются... Съ-подъ восточной со сторонушки, какъ изъ славнаго окіянь-моря, выставала изъ моря церкви соборная со двѣнадцатю со престоламы, святу Климанту ²¹⁾, папы Римскому, святу Петру ²²⁾ Александрійскому. Во той церкви во соборныя почиваютъ книги самого Христа. Въ этой церкви собиралось много князей и три тимполитора... На церкви главы мраморныя, на главахъ кресты золотые... Изъ той изъ церкви изъ соборной, изъ соборной изъ богомольной, выходила Царица Небесная. Изъ окіяна-моря она умывалася, на соборъ-церковь она Богу молилася...“ Такъ объединилъ народъ-сказатель свои повѣрья, почерпнутыя со дна моря позабытаго язычества, съ приросшимъ къ его чуткому стихійному сердцу евангельскимъ повѣствованіемъ, переродившимся въ рядъ неумирающихъ преданій, приукрашенныхъ неувыдаемыми цвѣтами пѣсеннаго слова.

Сине море, разбѣгающееся могучими валами во все стороны свѣта бѣлаго, населено въ суевѣрномъ представленіи безчисленнымъ народомъ русалокъ—водяныхъ дѣвъ, плавающихъ по волнамъ морскимъ, колеблющихся зыбь водную. Кромѣ русалокъ-красавицъ съ рыбьими хвостами, плаваютъ въ морскихъ глубинахъ, иногда всплывая и наверхъ, проклятыя отцами дочери-утопленницы. Есть тамъ, по словамъ старыхъ людей, довѣдавшихся за свою долгую жизнь до причины всехъ причинъ, и морскіе люди-фараоны („моряне“), предсказывающіе судьбы міра. Не диво для зоркаго воображенія среди

²¹⁾ Св. К л и м е н т ь, отецъ Церкви, римлянинъ по происхожденію, обращенный въ христіанство апостоломъ Петромъ, а затѣмъ бывшій сотрудникомъ апостола Павла и (съ 92 года) епископомъ римскимъ. Мученическая кончина его послѣдовала въ Херсонесѣ Таврическомъ (около 103 г.), куда онъ былъ сосланъ императоромъ Траяномъ. Мощи его перенесены въ Римъ святыми Кирилломъ и Меодіемъ.

²²⁾ Св. П е т р ь А л е к с а н д р і й с к і й—христіанскій писатель и проповѣдникъ, боровшійся съ сектою антиринитаріевъ и доказывавшій Божество Иисуса Христа. Онъ былъ епископомъ въ Александріи во время Діоклетіанова гоненія на христіанъ. Въ 306-мъ году до Р. Хр. имъ былъ созванъ въ Александріи соборъ противъ еретика Мелетія, епископа ликонопольскаго, который отказывалъ кающимся надшимъ въ принятіи ихъ въ лоно паствы Христовой. Въ 311-мъ году онъ былъ казненъ язычниками.

видимыхъ и не суевѣрному глазу рыбъ морскихъ встрѣтить и рыбъ-оборотней, лѣзущихъ въ рыбацкія сѣти на грѣхъ-бѣду неожиданную. Потому-то и принимаются старые морскіе рыбаки тянуть сѣти-невода не иначе, какъ съ крестнымъ знаменіемъ да съ молитвою. „Молитва и со дна моря подымаетъ!“ — говоритъ народная пословица; такъ какъ-же не вспомнить о ней православному люду, промышляющему трудомъ галилейскихъ рыбаковъ, возвѣстившихъ утопавшему въ темныхъ безднахъ язычестваміру благую-свѣтлую вѣсть о Распятомъ Учителѣ жизни...

Не однѣ русалки, морскіе люди да рыбы-оборотни населяютъ для суевѣрнаго люда зыбь и глубь морскую. Достаточно вернуться все къ той-же „Голубиной Книгѣ“, чтобы вспомнить какъ и о Китъ-рыбѣ, на которой „основана Мати-Сыра-Земля“, такъ и о томъ, что „Стратимъ („Страфиль“, „Естрафиль“ — по инымъ разносказамъ) птица — всѣмъ птицамъ мати.“ На вопросъ: „почему Стратимъ-птица — всѣмъ птицамъ мати?“ — слѣдуетъ обстоятельный отвѣтъ:

„Живетъ Стратимъ-птица на окіянь-морѣ,
И дѣтей кормитъ на окіянь-морѣ;
По Божьему все повелѣнію,
Стратимъ-птица вострененета, —
Окіянь-море восколѣхнется:
Потому Стратимъ-птица — всѣмъ птицамъ мати“...

Отъ птицы — „всѣмъ птицамъ мати“ — сказатели-пѣвцы переходятъ къ звѣрю — „всѣмъ звѣрямъ отцу“, который обитаетъ по близости отъ Стратимъ-птицы: „Живетъ Пндрикъ-звѣрь за окіянь-моремъ, онъ происходитъ всѣ горы бѣлокаменныя, а хвалу произноситъ самому Христу“... — гласитъ о немъ духовный стихъ.

Море является въ народномъ представленіи олицетвореніемъ всего необъятнаго, необозримаго, неисчерпаемаго: „море бѣды“, „море хлопотъ“, „море напастей“, „море радостей“, — говорится въ живой обыденной рѣчи. „Чернильное море, бумажны берега“, — приговариваютъ краснословы о приказной волокитѣ, тянущейся по цѣлымъ годамъ. Не довѣряетъ морю народная молва. „Хорошо море съ берегу!“ — замѣчаетъ она: „Тихо море, поколѣ на берегу стоишь!“, „Жди горя съ моря, бѣды — отъ воды!“, „Хвали море, на полатяхъ лежучи!“, „Кто въ морѣ не бывалъ, тотъ и горя не видалъ“ („Богу не малывался!“ — по иному разносказу), „Дальше море — меньше горя!“, „Въ морѣ глубины, а въ людяхъ правды, не извѣдаешь!“, „Не вѣрь тишинѣ морской да рѣчи людской!“, „Молва

людская—что волна морская!“ „Морскихъ топить море, а сухопутныхъ горе!“ и т. д., и т. д. Но не на одномъ синемъ морѣ бѣда живетъ, человѣка—сторожить. Потому-то и сложились въ народной Руси, ó-бокъ съ только-что приведенными, и такія крылатыя слова, какъ: „Пó-горе—не за море, не огребешься и дома!“ „Не ищи моря, и въ лужѣ утонешь!“ „Не море топить, а лужа!“ „Въ морѣ горе, а безъ него двое!“ „Отъ горя—хоть въ море!“ „Горе—что море: ни переплыть, ни выпить!“ „Пришло горе, взволновалось море: люди тонуть и насъ туда-же гонять!“... У бывалыхъ людей, сжившихся съ моремъ, сложились свои поговорки красныя объ этой могучей стихіи, приковывающей къ себѣ взоры. „Былъ и на морѣ, былъ и за моремъ!“—говорятъ они о самихъ-себѣ. „Таланный и въ морѣ свою долю сыщеть!“—приговариваютъ о счастливацахъ. „Море—рыбачье поле!“ „Съ Богомъ—хоть за-море!“ „Не море топить корабли, а вѣтры!“ „Пасть не пасть, да ужъ въ море, а что толку—въ лужу!“—пускаютъ по людямъ свое слово безпечныя не-горюй-головы: „Море дасть—что возьмешь!“ О хвастливыхъ краснобаяхъ приговариваетъ словоохотливая деревня: „Шиломъ моря не нагрѣбешь!“ „Щепкой моря не перегородишь!“ „Чашкой синя моря не вычерпаешь, ложкой не выхлебаешь!“ „Хвалилась синица сине море зажечь!“ О крѣпкихъ заднимъ умомъ людяхъ говорятъ: „Умъ за моремъ не купишь, коли своего батька не припасъ („коли дома нѣтъ!“—по разносказу, подслушанному В. И. Далемъ)!“ „Журавли за море летаютъ, а все одно—курлы!“ „Умъ за-моремъ, а смерть за-воротомъ!“ При слухахъ о дешевизнѣ въ какомъ-нибудь дальнемъ мѣстѣ зачастую оговариваются словами: „За моремъ телушка полушка, да рубль перевозу!“ „Купилъ заморскаго товару, да не донесъ до амбару!“ „Дешевы въ заморской деревнѣ орѣхи, да никто домой не принашивалъ!“ Умѣетъ слово въ-пору молвить русскій простота-мужикъ, объ иной часъ скажетъ—что рублемъ подарить. „Вѣтромъ море колышетъ, молвою—народъ!“ „По каплѣ дождь, а дождь рѣки поитъ: рѣками море стоитъ!“ „И быстрой рѣкѣ слава—до моря!“ Не долюбливаетъ народная Русь сидѣть у моря да ждать погоды, если только пришлось ей хоть разъ выйти изъ-подъ власти земли-кормилицы. „Охъ, сине море, унеси ты мое горе!“—приговариваетъ она: „Подъ лежачъ камень и вода не течетъ!“ „Кто у моря былъ, да за-море не заглядывалъ—вѣкъ тому шиломъ воду хлебать!“ Море, по народному слову, сравнивается съ матерью, сосущею своихъ дочерей: „Кая мать своихъ дочерей сосеть?“—спрашиваетъ о немъ старинная загадка, ходящая пó-людямъ до сихъ поръ. Изъ связан-

ныхъ съ понятіемъ о морѣ загадокъ особенно изобразительны: „Ни море, ни земля; корабли не плаваютъ, а ходить нельзя!“ (болото), „На морѣ на Коробанскомъ много скота тараканскаго, одинъ пастухъ королецкій!“ (звѣзды частыя со свѣтлымъ мѣсяцемъ), „Промежь двухъ морей, по мяснымъ горамъ гнутый мостикъ лежитъ.“ (коромысло съ ведрами на плечахъ).

Русская народная пѣсня не обходитъ моря молчаніемъ, не оставляетъ синяго безъ своего слова ласковаго. Величаетъ она его „морюшкомъ“, „широкимъ раздольцемъ“, то-и-дѣло возвращаясь къ нему въ своихъ волнахъ льющихся напѣвахъ. „Ахъ, и по морю, ахъ и по морю, ахъ по морю, морю синему, по синему по Хвалынскому!“ — звенитъ-разливается она въ хороводномъ кругу, величающемъ „лебедь бѣлую съ лебедятами со малыми со дѣтятами“:

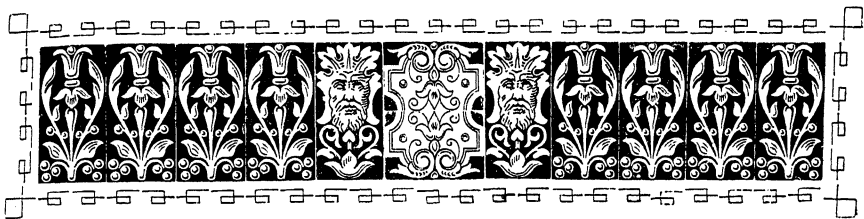
„...Плывши, лебедь встрепенулася,
Подъ ней вода всколыхнулася;
Плывши, лебедь вышла на-берегъ...
Гдѣ ни взялся, гдѣ ни взялся,
Гдѣ ни взялся младъ-ясень-соколъ,—
Ушибъ-убиль, убиль-ушибъ,
Убиль-ушибъ лебедь бѣлую:
Онъ кровь пустиль по синю морю;
Онъ пухъ пустиль, онъ пухъ пустиль,
Онъ пухъ пустиль по поднебесью,
Сориль перья по чисту полю“...

Отъ этого хватающаго за-сердце напѣва неунывающіе пѣвунны готовы перейти и къ такой смѣшливой, пляшущей словами пѣснѣ, какъ: „За моремъ синичка не пышно жила, не пышно жила, пиво варивала, солоду купила, хмѣлю займы взяла, черный дроздъ пивоваромъ былъ“... Среди свадебныхъ пѣсней, поющихъ на дѣвичникѣ красными дѣвушками—невѣстными подружками, еще не забыта въ народѣ старинная: „Поверхъ моря, поверхъ синяго, поверхъ синяго, поверхъ Хвалынскаго, налеглись туманы со морянами, не видно ни лодочки, ни молодчика“... А во сколькихъ другихъ свадебныхъ пѣсняхъ слышится упоминаніе о морѣ: „На морѣ селезень косу вьетъ, сѣрая утушка полощется...“, „По морю корабль плыветъ, а по круту бережку каретушка...“, „Какъ на синемъ на морѣ, что-ль на бѣломъ камень строила Анна душа, строила Ивановна, строила себѣ широкой дворъ“... Но всѣ эти пѣсни замираютъ безъ слѣда въ душѣ слушателя передъ такою „семейной“, по опредѣленію собирателей пѣсеннаго богатства, какъ поющая во всѣхъ уголкахъ народной Руси:

„Ужъ какъ палъ туманъ на синё море,
 А злодѣй-тоска въ ретивѣ сердце;
 Не схаживать туману со синя моря,
 Злодѣйкѣ кручинѣ съ ретива сердца“...

Отразилось море и въ разгульныхъ пѣсняхъ („Протекало синее море, слетались птицы стадами“ и др.), и въ удалыхъ („Ужъ какъ по морю, морю синему, по синему по Хвалынскому туда плыветъ соколъ корабль“... и др.), и въ солдатскихъ—помогающихъ нести русскому воину тяготы службы царской. Есть и въ казацкихъ, ведущихъ рѣчь о царѣ Иванѣ Васильевичѣ, Ермакѣ сынѣ Тимоѣевичѣ, донскомъ, гребенскомъ, яицкомъ и селенгинскомъ казачествѣ, свой сказъ о морѣ. И въ каждомъ упоминаніи объ его широкомъ раздольѣ чуетъ глубина простодушнаго вдохновенія, льющагося могучимъ разливомъ изъ народнаго сердца.

А и широко-же это сердце, какъ синее море глубокое!..



VI.

Лѣсъ и степь.

Стихийная душа русскаго народа,—какъ въ зеркалѣ отра-
зившаяся со всѣми достоинствами и недостатками въ памят-
никахъ изустнаго простонароднаго творчества, сохраненныхъ
отъ забвенія трудами пытливыхъ народовѣдовъ-собираателей,—
во всѣ времена и сроки стремилась на просторъ. Тѣсно бы-
ло ей—могучей—ютиться вѣки-вѣчные въ насиженномъ поко-
лѣніями родномъ гнѣздѣ,—хотя она и была прикована къ не-
му неразрывными цѣпями кровной любви и всегда, куда бы
ее ни закинула судьба, возвращалась къ этому „гнѣзду“,—
хотя-бы только мысленно, если нельзя надѣлѣ. Широкій раз-
махъ былъ,—какъ и теперь остается,—неизмѣнно присущъ
русской душѣ. Не вмѣстно, было ей прятаться въ норы отъ
вѣяній внѣшней жизни, отовсюду наступавшей на нее. Какъ
же ей было не рваться на просторъ, когда ее обуревала раз-
итаея по всему народному духу силушка богатыря Святого-
дра, и нашедшаго на бѣломъ свѣтѣ „тяги земной“ и „угрыз-
шаго“ въ нѣдра Матери-Сырой-Земли?.. Самобытная въ каж-
домъ своемъ проявленіи, богатырская душа пахаря и въ ис-
каніи простора оказалась не менѣе своеобразною. Желанный,
онъ являлъ ей себя и въ живыхъ стѣнахъ деревьевъ—въ лѣсу,
и на вольномъ воздухѣ безлѣсной степной равнины, волну-
ющейся, какъ море синее—ковылемъ, травой шелковою.
„Степь лѣса не хуже!“—говоритъ народная Русь, но тутъ
же новымъ крылатымъ словцомъ сама себя оговариваетъ:
„Лѣсъ степи не лучше!“ и прибавляетъ къ этимъ двумъ по-
говоркамъ другія, еще болѣе красныя: „Въ степи—просторъ,

въ лѣсу—угодьё!“ „Гдѣ угоже, тамъ и просторно!“ „Отъ простора угодьё не искать, отъ угодьё—простора!“ „На своемъ угодьё—житьё просторное!“ и т. д. Этими поговорками-присловьями поясняется сближеніе степного „простора“ съ лѣснымъ „угодьёмъ“. „Просторно вольному казаку на бѣломъ свѣтѣ жить: былъ-бы лѣсъ-батюшка да степь-матушка!“—подговаривается къ нимъ, что прісказка къ сказкѣ, реченіе, подслушанное въ жегулевскомъ Поволжья, — въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ когда то задавала свой грозный пиръ понизовая вольница, оторвавшаяся отъ земли и выливавшая горячую тоску по ней въ своихъ воровскихъ да разбойничьихъ пѣсняхъ. И теперь еще хватаютъ за-сердце, щемять ретивое своимъ „удалымъ“ напѣвомъ такія пѣсни, какъ:

„Не шуми ты, мати зеленая дубровушка!
 Не мѣшай-ка ты мнѣ, молодцу, думу думати:
 Какъ поутру мнѣ, добру-молодцу, во допросѣ быть,
 Во допросѣ быть, передъ судьей стоять,
 Ахъ, предъ судьей стоять—предъ праведнымъ,
 Передъ праведнымъ, предъ самимъ царемъ...“

Съ такими словами обращается удалой казакъ „воръ разбойничекъ“ къ охранявшей его волю вольную зеленой дубровушкѣ. „Еще станеть меня царь-государь спрашивати,“—продолжаетъ свою рѣчь удалая пѣсня: „Ты скажи, скажи, дѣтинушка, крестьянской сынъ, ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ? Еще много-ли съ тобою было товарищей? Я скажу тебѣ, надѣжа православный царь, всю правду я скажу тебѣ, всю истину: что товарищей у меня было четверо, ужъ какъ первой мой товарищъ темная ночь, а второй мой товарищъ—булатный ножъ, а какъ третій товарищъ мой—добрый конь, а четвертой мой товарищъ—тугой лукъ, что разсыльщики мои—калены стрѣлы. Что возговорить надѣжа православный царь: исполать тебѣ, дѣтинушка крестьянской сынъ! Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать; и за то тебя, дѣтинушка, пожалую среди поля хоромами высокими, что двумя-ли столбами съ перекладиной!“... Въ этой пѣснѣ разбойникъ остается все тѣмъ же „крестьянскимъ сыномъ,“ что и былъ до своего разбойничества. Слышится въ ея словахъ бѣшеніе все того-же горячаго любовью къ родной землѣ, хотя и обгареннаго кровью, сердца, звучать та-же неизмѣнная преданность царю-государю, та-же вѣра въ его „правду-праведную“.

Въ другихъ, родственныхъ съ этою, пѣсняхъ воспѣваются

„лѣса, лѣсочки, лѣса темные“, въ которыхъ были когда-то разбиты разоренные теперь „станы, станочки, станы теплые“. Одна кончается такимъ завѣтомъ зачүявшаго смертнй часть разбойника: „Вы положите меня, братцы, между трехъ дорогъ: между кievской, московской, славной муромской; въ ногахъ-то поставьте мнѣ моего коня, въ головушки поставьте животворящій крестъ, въ руку правую дайте саблю острую. И пойдеть-ли, иль поѣдетъ кто—остановится, моему кресту животворящему онъ помолится, моего коня, моего ворона, испугается, моего-то меча, меча остраго приужахнется...“ Одна пѣсня—задушевнѣе другой, несмотря на то, что пѣлись-слагались онѣ въ станѣ разбойничьемъ, вылетали на свѣтлорусскій просторъ изъ глубины опаленной грозною тоской груди, на которой тяжкимъ бременемъ лежали дѣла душегубныя. Вслушиваешься въ такую, напримѣръ, пѣсню и только диву даешься, какимъ это чудомъ могли уживаться бокъ-о-бокъ звѣриная жажда крови и истинно человѣческія чувства:

„Какъ досель, братцы, черезъ темный лѣсъ
 Не пропархиваль тутъ, братцы, младъ-бѣлой кречеть,
 Не пролетываль тутъ, братцы, ни сизой орель;
 А какъ нынче у насъ, братцы, черезъ темный лѣсъ
 Пролегла, лежитъ дороженька широкая!
 Что по той-ли по широкой по дороженькѣ
 Пробѣжалъ-ли младъ-удаль добрый молодець.
 На зарѣ-то было, братцы, на утренней,
 На восходѣ было, братцы, красна солнышка,
 На закатѣ было, братцы, свѣтла мѣсяца;
 Какъ убитъ, лежитъ удалъ добрый молодець,
 Что головушка у молодца проломана,
 Ретиво сердце у молодца прострѣлено,
 Что постелюшка подъ молодцемъ—камышъ-трава,
 Изголовьецо подъ добрымъ—часть ракитовъ кустъ.
 Одѣяличко на молодцѣ—ночка темная,
 Ночка темная, осенняя—ночка холодная“...

Воспѣвая лѣса-дубровушки, русская вольная душа не оставила безъ хвалебнаго пѣсеннаго слова и степь широкую, гдѣ приходилось ей размыкивать свою грусть-тоску. „Ужъ ты, степь моя, степь-раздольце“, —лется пѣсня, —„степь широкая, степь Моздокская! Про тебя-ли, степь, приготовилъ я три подарочка молодецкіихъ: первый даръ тебѣ—удаль смѣлая, удалъ смѣлая, неуёмная; а другой тебѣ мой подарочекъ—руки крѣпкія, богатырскія; а ужъ третій-то мой подарочекъ—

голова буйна разудалая“... и т. д. Прислушиваясь къ словамъ другой пѣсни, слышишь, какъ шумить ковыль-трава шелковая, какъ бѣгутъ по ней вѣтры буйныя,—видишь, какъ, припадая грудью къ ней, уносить добра-молодца отъ погони рѣзвоногій конь, о которомъ сложилась пословица: „Степного коня не объѣздить на кордѣ!“

„Широко ты, степь, пораскинулась,
Къ морю Черному понадвинулась“...

—невольнo подсказываетъ сердце слова народнаго пѣвца, льющіяся могучими свободными волнами изъ жаждущей вольнаго простора души.

Но не только притомомъ воровъ-разбойниковъ были русскіе лѣса и русскія степи. Сохранилась о нихъ въ народѣ и другая живучая память—объ иныхъ связанныхъ съ ними думахъ, объ иномъ склада людяхъ, объ иныхъ быляхъ родной, политической трудовымъ потомъ и некупленною кровью земли.

Русскій лѣсъ... Что можетъ быть загадочнѣе нашей сѣверной дубровы? Что болѣе подскажетъ воображенію углубляющагося въ родную, поросшую быльемъ, былъ русскому чело-вѣку? Красота лѣса безконечно разнообразна въ своемъ кажущемся однообразіи. Она вѣетъ могучимъ дыханіемъ жизни; она дышетъ ароматомъ дѣвственной свѣжести. Она зоветъ за собою подъ таинственные своды тѣнистыхъ деревьевъ. Она шепчетъ мягкимъ пошептомъ травъ, разстилаетъ подъ ноги путнику пестрые цвѣточные ковры, перекликается звонкимъ щебетомъ птицъ, аукается съ возбужденной памятью гулками голосами сѣдой старины.

Она близка сердцу русскаго чело-вѣка—эта могучая красота русскаго лѣса, укрывавшаго когда-то въ себѣ не одно звѣрьё да птаство, а и нашихъ пращуровъ-родичей отъ лютаго ворага, съ огнемъ и мечомъ врывавшагося въ родные мирному пахарю предѣлы, уводившаго въ полонъ женъ и дѣтей Русской Земли. Памятны сказанія роднаго лѣса народу-хлѣборобу и тѣмъ, что подъ лѣсною гостепріимной сѣнью находила свою „любезную мати-пустыню“ хоровившаяся отъ неумолимой буквы безопадныхъ законовъ „міра сего“, искавшая единенія съ Небомъ боговдохновенная мечта, исходившая тропами незнаемыми-неопитаемыми изъ затаенныхъ пѣдръ бездонно-глубокаго сердца народнаго.

Сѣверный дремучій лѣсъ говоритъ даже своимъ безмолвіемъ, своей неизреченною тишиной, своимъ тихими шумами. Онъ словно воскрешаетъ въ русской душѣ міросозерцаніе забытыхъ дѣдовъ-прадѣдовъ, словно подаетъ ей вѣсть о томъ,

что слѣдятъ за каждымъ ея вздохомъ изъ мрака безконечности эти переселившіеся въ область невѣдомаго пращурь. Подъ сѣнью лѣса какъ-будто пробуждается въ этой душѣ вся былая-отжитая жизнь дышавшихъ однимъ дыханіемъ съ матерью-природою предковъ—простыхъ сердцемъ людей неустаннаго потового-страднаго труда и непоколебимо-могучей силы воли. Лѣсное молчаніе исполнено шороховъ безвѣстныхъ. Оно помогаетъ хоть однимъ глазомъ заглянуть въ великую книгу природы, наглухо закрытую для всѣхъ не пытающихся припадать на грудь родной матери-земли. И вѣковѣчная печаль, и тихій свѣтъ радостей, и грозныя вспышки стародавнихъ обидъ, и тайны—несказанныя тайны,—все это слышится внемлется сердцу въ молчаніи родныхъ лѣсовъ. Пробѣгаетъ вѣтеръ по вершинамъ старыхъ богатырей, сосенъ,—скрипять-качаются могучія деревья, готовые помѣряться съ грозой-непогодю. Ратуетъ съ бурей дремучая лѣсная крѣпъ, шумитъ—многочумная, обступаетъ захожаго человѣка, перекликается съ нимъ, перебѣгаетъ ему дорогу, манитъ вѣщами голосами подъ свою широковѣтвистую сѣнь, навѣваетъ на-душу свѣтлыя думы о томъ, что онъ—этотъ человѣкъ—сынъ той-же матери-природы, взростившей на своей груди лѣсъ, зовущійся таинственнымъ садомъ Божиимъ. Лѣсъ говоритъ русскому сердцу непримѣръ больше, чѣмъ море синее, и этотъ говоръ откровеннѣе и понятнѣе для насъ—какъ все кровное родное... Не слѣдуетъ-ли искать причину этого явленія въ томъ, что русскій народъ-пахарь слишкомъ долгое время былъ отрѣзанъ отъ своихъ теперешнихъ семи морей вражьей силою, слишкомъ долго хоронился въ родныхъ лѣсахъ—со своей народной вѣрою въ поруганную пришельцами-вѣрогами государственную самобытность, ревностно оберегая ее отъ всякаго лихого глаза!...

Подъ лѣсными тиховѣйнными сводами нисходитъ на уязвленную житейской борьбою душу благодатный, неизреченный покой. Быть можетъ, это и есть то самое чувство, которое вызвало у излюбленнаго народомъ-стихопѣвцемъ—покинувшего отчій домъ и смѣнявшаго царскій тронъ на покой пустынножительства—„младаго царевича Іосафія“, умилительныя, западающія въ сокровенную глубину души, слова:

„Любезная моя мати,
Прекрасная мати-пустыня,
Пріемли меня во пустыню!
Отъ юности прелестныя,
Научи меня, мати-пустыня,
Какъ Божью волю творити!

Укрой меня, мать-пустыня,
 Отъ темныя ночи!
 Приведи меня, любезная мати,
 Во свое во небесное царство!“

„Подъ темными лѣсами, подъ ходячими облаками, подъ частыми звѣздами, подъ краснымъ солнышкомъ“,—такъ опредѣляетъ русскій народъ мѣстоположеніе своей родной земли. Отъ моря до-моря, черезъ лѣса дремучіе, черезъ степи раздольныя, черезъ горы толкучія идутъ ея рубежи, опредѣленные-проведенные неисповѣдимыми судьбами Божиими. И вотъ—на этомъ-то неоглядномъ свѣтлорусскомъ просторѣ слагались, шли отъ безбрежнаго океана стародавнихъ временъ къ положимъ берегамъ нашихъ дней, живучія родныя сказанія съ пестрой свитою—звонкоголосыхъ пословицъ, разодрѣтыхъ въ цвѣтно-платье поговорокъ, окрыленныхъ жизнью присловій. Въ глубинѣ этихъ кладезей богатства народной стихійной души таится неизсякаемый ключъ, бьющій живою водою простодушной правды, предъ которою меркнетъ искусственный свѣтъ высокоумной мудрости, пытающейся на нашихъ глазахъ переступить чуть-ли не за предѣлы безпредѣльнаго.

Крылатая народная молвь говоритъ о лѣсѣ въ самыхъ любовныхъ выраженіяхъ. Лучшимъ украшеніемъ жилого мѣста является, по ней, густая зелень деревьевъ. „Лѣсъ—къ селу крестъ,—гласитъ она,—а безлѣсье—неугоже помѣстье!“ Нѣ начемъ глаза остановить, по выраженію русскаго человѣка, тамъ, гдѣ нѣтъ „ни прута, ни лѣсинки, ни барабанной палки“. Тамъ-же, гдѣ всюду поднимаются вокругъ жилья зеленыя стѣны лѣсовъ, гдѣ все—лѣсъ да лѣсъ, „только въ небо и дыра“,—какъ-то самодовольно приговариваетъ поселянина-деревеньщина: „Быль-бы хлѣбъ да мужъ, а къ лѣсу привыкнешь!“, „Лѣса да зѣмли—какъ корову дой!“, „Выросъ лѣсъ, такъ будетъ и топорнице!“, „Возлѣ лѣса жить—голоду не видѣть!“, „Лѣсная сторона не одного волка, а и мужика, досыта накормить!“ и т. д. Недаромъ слыветъ лѣсъ въ народной Руси садомъ Божиимъ, насаженнымъ для всѣхъ и про всякаго,—большого труда стоитъ внушить живущему подлѣсомъ пахарю, что не смѣетъ онъ въ чужой дачѣ срубить ни лѣсинки. „Аль тебѣ въ лѣсу лѣсу мало?“—того-и-гляди вырвется у него въ отвѣтъ на увѣщанія дышащее раздраженіемъ слово. „Дальше въ лѣсъ, больше дровы!“ Попробуйте представить ему то, либо другое возраженіе,—сейчасъ-же начнетъ онъ сыпать словами-присловьями. „Лѣсъ по дереву

не тужить!“—скажетъ онъ въ свое оправданіе,— „Лѣсъ по лѣсу—что рубль по рублю—не плачетъ!“ „Такъ тебѣ и заплакалъ лѣсъ по топорщику!“ и т. д. Но, какъ бы ни старался подлѣсный житель доказывать свое право на „топорщице“ въ сосѣдней чащѣ,—сплошь-да-рядомъ случается, что оправдываются на немъ-самомъ сложившіяся, вѣроятно, не въ особенно давнія времена поговорки: „Подъ лѣсомъ живу, а печку соломой топлю!“, „Лѣсная сторока, на лѣсники безъ дровъ!“, „Хороши дрова у сосѣда: отъ его тепла къ намъ паръ идетъ!“

Бываетъ и такъ, что надъ подлѣсными жителями, сидящими безъ полѣна дровъ, подсмѣиваются степняки-пшеничники. „Въ лѣсу люди лѣсѣютъ!“—говорятъ они: „Гдѣ имъ по людски жить: въ лѣсу родились, подъ кустомъ крестились, вокругъ куста вѣнчались, пенькамъ молятся!“ „Хорошо люди живутъ: мягинный хлѣбушко за пазухой носятъ; а хлѣбца нѣтъ—коры невпрофѣдъ!“, „На что намъ мякина съ лебедой, когда сосна кругомъ: поскоблешь и брюхо набито!“... Не остается въ долгу передъ пшеничниками и лѣсной народъ. „Эва—диво, братцы,—отговаривается онъ,— живутъ-же люди на свѣтѣ: хлѣбомъ давятся, а пекутъ хлѣбы на коровьемъ назъмѣ (кызякѣ)!“ или: „Весело,—куда ни глянешь, глаза косятъ-разбѣгаются!“ „Степные мужики, лѣпите кызяки: зима на носу!“ „Степнякъ хитеръ, дровъ нѣтъ—у коровы тепла выпросить!“ „Что пшенишному брюху дрова, былъ-бы навозъ у хлѣва!“ „Много-ли степному селу и тепла надо: завело село быка,—и сыто, и нагрѣлось!“ и т. д.

Ко многому приплетаетъ охочій до красныхъ рѣчей русскій народъ понятія, связанные съ зеленой дубровушкою. „Обманеть—въ лѣсъ уйдетъ!“ или: „Какъ волка ни корми, все въ лѣсъ смотреть!“—говорится о ненадежномъ чловѣкѣ. „Будто на пусты лѣсы!“—приговариваютъ положительные люди о любящемъ прилгнуть-сбрыхнуть краснобаю; „Кто въ лѣсъ, кто—по дрова; кто два, кто—полтора!“—говорятъ при поднимающейся за бѣсѣдою разноголосицѣ. „Богъ и лѣсу не сравнишь!“—замѣчаетъ народная молвь, поясняя: „Въ лѣсу Богъ лѣсу не уровнять, въ народствѣ—людей!“ О попавшихъ въ совершенно невѣдомыя дотолѣ дѣла и растерявшихся принято говорить, что они бродятъ—„какъ въ темномъ лѣсу“. О бывалыхъ людяхъ сложено свое присловье—„Соколу лѣсъ не въ диво!“ Сами-же „соколы“ не прочь обмолвиться о себѣ и такимъ словцомъ, какъ: „Бѣда не по лѣсу ходить, а по людямъ!“ Когда, еще не сдѣлавъ дѣла, кто-нибудь начинаетъ судить-рядить о томъ, что должно выйдти изъ этого послѣдняго,—въ обычаѣ говорить: „Медвѣдь въ лѣсу, а шкура прода-

на (или: „... а на шкуру торгъ идетъ!“). Къ тѣмъ, кто не въ мѣру остороженъ, подходятъ свои пословицы: „Волковъ бояться—въ лѣсъ не ходитъ!“, „Пошло поле въ лѣсъ!“ и т. п. Есть люди, что на каждомъ шагу оговариваютъ себя то одной, то другою примѣтой. Не обошли они своимъ словомъ и лѣса темнаго. Такъ, по ихъ повѣрью, если идти по лѣсу да пѣть и увидѣть ворона, это значитъ—надо ждать встрѣчи съ волкомъ или (еще того не легче!) съ самимъ „лѣснымъ баринномъ“—медвѣдемъ. Если худо говорить про кого-нибудь изъ близкихъ, идучи лѣсной дорогою, да не сказать—„На сухой („... на пустой“—по иному разносказу), лѣсъ будь помянуто!“,—случится съ тѣмъ, о комъ велась рѣчь, какое-ни-на есть-лихо. О людяхъ, къ которымъ примѣнима пословица „Глупому сыну не въ помощь богатство!“, можно иногда услышать и такой прибаутокъ, какъ: „Догналь батькину полосу до самага до лѣсу!“, „Все былъ лѣсъ да лѣсъ, оглянулся—одно зальсье!“ и т. д.

Отбрасывающія во все стороны отъ себя тѣнь лѣсныя кущи вѣютъ на захожаго путника чѣмъ-то несказаннымъ. Подъ ихъ навѣсами чувствуется общеніе съ какимъ-то стоящимъ внѣ обычнаго теченія жизни міромъ. И весь тайна, весь загадка этотъ міръ для непосвященнаго въ его „святая святыхъ“ человѣка.

Должно быть, загадочность міра, отдѣленнаго отъ человѣка темными навѣсами зеленокудраго царства, и вызвала то многое-множество загадокъ, что ходятъ по свѣтлорусскому простору, ведя рѣчь обо всемъ связанномъ съ нимъ. Народъ—землепашецъ съ особой внимательностью приглядывается къ жизни лѣса,—отъ его зоркихъ глазъ не ускользаетъ ни малѣйшихъ подробностей ея: словно онъ сердцемъ чувствуетъ каждое мимолетное дыханіе творческой силы, создавшей это могучее царство, гдѣ,—что ни шагъ, то яркое проявленіе ея чудодѣйнаго духа.

Выше лѣсу, по словамъ русской загадки, солнышко красное; но этимъ-же свойствомъ надѣляется народная Русь и вѣтеръ, который—по ея слову—„выше лѣсу, тоьше волоса.“ У русскаго человѣка въ душѣ всегда сидитъ художникъ, прислушивающійся къ музыкѣ природы. Не диво поэтому, что любитъ онъ свои самодѣльные гусли-самогуды да балалайку-веселуху, брицать по струнамъ которыхъ изстари вѣковъ слылъ великимъ мастеромъ. Рѣчь о послѣдней утѣхѣ-забавѣ связана у него и съ лѣсомъ. „Въ лѣсу выросло, изъ лѣсу вынесли, на рукахъ плачетъ, а по полу скачетъ!“—говоритъ онъ о ней. Къ балалайкѣ-же относится и такая

загадка, какъ: „Въ лѣсу-то тѣпъ-тѣпъ, дома-то ляпъ-ляпъ; на колѣни возьмешь—заплачешь!“ Про гудокъ загадываютъ на тотъ-же самый ладъ: „Въ лѣсу выросъ, на стѣнѣ вывисъ, на рукахъ плачетъ; кто слушаетъ—скачетъ!“ Не сдѣлаешь, однако, ни балалайки, ни гудка, безъ топора; а и топора нѣтъ—безъ топорѣща. Вотъ и о немъ пустила словоохотливая деревня гулять по людямъ свою загадку. „Въ лѣсъ идетъ—домой глядитъ; изъ лѣсу идетъ—въ лѣсъ глядитъ!“—гласить она, вызывая передъ слушателями живую картину (мужика, идущаго съ топоромъ за поясомъ).

Что ни дерево въ лѣсу, то своя краса, своя особая жизнь, свои приуроченныя къ ней, выхваченныя изъ нея пытливымъ слухомъ народныя поговорки. Но едва-ли не болѣе всего прочаго лѣснаго народа зеленаго по-сердцу простодушному пахарю береза—эта бѣлая, кудрявая красавица.

Не смотря на крупныя задатки мечтателя, русскій мужикъ всегда остается себѣ-на-умѣ, человѣкомъ хозяйственнымъ. Зоркій взглядъ его прежде всего приглядывается къ полезности того, что встрѣчается ему на пути зрѣнія. Такъ и здѣсь. „Шель я лѣсомъ,“—загадываетъ народная Русь загадку о березѣ-березынкѣ, —„нашелъ я древо, изъ этого древа выходятъ четыре дѣла: первое дѣло—слѣпому посвѣченъе (лучина); второе дѣло—нагому потѣшенъе (вѣникъ въ банѣ на полкѣ); третье дѣло—скрипячему поможенъе (береста, деготь для телѣги); четвертое дѣло—хворому полегченъе (сокъ-березовица)“... По ярославскому разносказу: первое—„отъ темной ночи свѣтъ,“ второе—„некопаный колодецъ,“ третье—„старому здорovie,“ четвертое—„разбитому связъ;“ по самарскому: „третье дѣльце—ахъ, хорошо!“ Псковичи говорятъ про это дерево въ четырехъ словахъ: „Лѣтомъ мохнатенька, зимой сучковатенька!“ куряне немногимъ больше: „Хоть малая, хоть большая—гдѣ стоитъ, тамъ и шумить!“; казанскіе загадчики ведутъ болѣе сложную-мудреную рѣчь: „На полѣ на Арскомъ стоять столбики бѣлены, на нихъ шапочки зелены“... Народное пѣсенное слово величаетъ березу въ цѣломъ рядѣ пѣсенъ—то грустныхъ-проголосныхъ, то веселыхъ-частушекъ. И въ тѣхъ, и въ другихъ это любимое дерево великоросса является надѣленнымъ ласкательными именами. „То не бѣлая березынка къ землѣ клонится, не бумажные листочки разстилаются“...—выводитъ одна запѣвка. „Кудрявая березынка подъ окошечкомъ, а въ окошечкѣ не касаточка, не ласточка—сидитъ душа красна-дѣвица“...—сливается съ первой другая пѣсня. „Вечоръ моя березынка, вечоръ моя кудрявая, кудрявая, зеленая, ахъ мелколистная,

вечоръ моя березынька долго шумѣла, долго шумѣла—сердечушку отъ мила-другка несла вѣсточку, ахъ кудрявая!⁴... —заливается третья... „Вѣ полѣ березынька стояла, вѣ-полѣ кудрявая шумѣла. Люли-люли, стояла; люли-люли, шумѣла!⁴—звенить залихватскій переборъ четвертой. И не будетъ конца этимъ пѣснямъ, если приняться перебирать ихъ одну за другой.

На веселый Семикъ—дѣвичій праздникъ, на Троицу съ Духовымъ днемъ, слывущіе „Зелеными Святками“, поются, въ честь березки особыя пѣсни. Эти дни являются настоящимъ праздникомъ въ жизни бѣлой-кудрявой красавицы лѣсного царства. Завиваютъ красны-дѣвушки вѣнки, пускаютъ ихъ на воду, загадываютъ по нимъ о судьбѣ да о суженыхъ; носятъ березку, наряженную въ цвѣты да въ ленты, по деревнѣ; хороходы подъ березками водятъ. И всюду она красуется тогда—гдѣ на Руси есть живой человѣкъ.

Не одной березѣ-березынькѣ народное крылатое слово честь-честью воздаеть,—не обошло оно и другихъ представителей зеленокудраго царства,—какъ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ. Послѣдніе даже ближе-роднѣе угрюмому русскому сѣверу. Бродя подъ сѣною сосенъ, этихъ стройныхъ красавицъ, готовыхъ если не по дородству, то по статности, поспорить не только съ бѣлой березою, а и съ заморскими пальмами,—обмолвился о нихъ подлѣсный пахарь цѣлымъ рядомъ загадокъ. „Что цвѣтетъ безъ цвѣта?“—загадывается онъ одну,—„Эко ты дерево! И зиму, и лѣто зелено!“ „Весной цвѣту, лѣтомъ плодъ приношу, осенью не увядаю, зимой не умираю!“—поясняетъ другими загадками. „Малъ-маленекъ, сверху—рогатка!“—присматриваясь къ елкѣ, думаетъ онъ. „Стоитъ дряво, виситъ кудряво, по краямъ мохнато, въ середкѣ сладко!“—гласитъ народная молвь о кедрѣ. „Не бей меня, не ломи меня; лѣзь на меня; есть у меня!“—добавляютъ къ ней сибярики, промышляющіе собираніемъ кедровыхъ орѣховъ. Съ этими загадками—въ близкомъ родствѣ-свойствѣ сказавшіяся о простомъ орѣшникѣ: „Весь мохнатка, въ мохнаткѣ—гладко, въ гладкѣ—сладко!“ „Есть на мнѣ, есть во мнѣ, нагни меня, бери меня! Достанешь гладко, расколешь—сладко!“ и т. п.

Осина, трепещущая при одной мысли о своемъ вѣковѣчномъ позорѣ осина, заклеялена въ народной молви проклятіемъ. „Горькая осина—проклятая Юдина висѣлица!“—говоритъ деревенскій людъ, вспоминая о томъ, что это дерево избралъ предатель Свѣта Истины для своей смертной петли. „Какое проклятое дерево безъ вѣтра шумитъ?“—загадывается объ осинѣ загадка. Въ чернопольсѣи сплошь-да

рядомъ встрѣтишь ђ-богъ съ „Юдиной висѣлицей“ кудреватую липу, приманивающую пчелъ—Божьихъ работницъ—своимъ медовымъ цвѣтомъ, а лѣсопромышленника—соблазняющую лыкомъ да лутошками. Пахари-лапотники, гляючи на липу щеголиху, повторяютъ другъ за дружкой: „Шель я по дорожкѣ, нашель лисять, всѣ на липкѣ висять. У нихъ лапы гусины, а сами въ башмакахъ; я ихъ—тыкъ, а они съ липки—шмыгъ!“ (лыки), или: „На деревѣ—липъ-липъ, а на ногѣ скрипъ-скрипъ!“ (лапти), „Въ избѣ—ворономъ, а изъ избы—лебедемъ!“ „На Тугоревомъ болотѣ тугоръ тугоря убилъ; кожу снялъ—домой взять, мясо тамъ бросилъ!“ (лутошка) и т. д. О можжевелникѣ ходитъ новгородскимъ полудемъ такое крылатое слово: „Дерево—елево, три года—ягода, на четвертый годъ—въ голову кокъ!“ „Ты, рябинушка, ты кудрявая!“—поется въ симбирской пѣснѣ, подслушанной всторонѣ отъ Волги, за Свягой-рѣкой. „Красенько, кругленько, листочки продолговатеньки!“—обрисовываетъ это дерево новгородскій людъ; „Въ лѣсу на кусту—говядинка виситъ!“—говорятъ самарскіе луковники, ставропольскіе огородники. „Подъ ярусомъ-ярусомъ—зипунъ съ краснымъ гарусомъ!“—вторятъ самарской загадкѣ пензенскіе загадчики, словно соперничая съ тѣми въ красовитости рѣчи. О деревѣ вообще—обмолвился-молвить русскій народъ во многомъ-множествѣ красныхъ-цвѣтистыхъ рѣчей. „Весной веселить, лѣтомъ холодить, осенью питаетъ, зимой согрѣваетъ!“—покрываетъ всѣ эти рѣчи воронежское присловье. Листва—главную красу дереву придаетъ. Оттого-то, вѣроятно, и величаютъ листъ „Паномъ Пановичемъ“ въ русскомъ народѣ. „Панъ Панѡвичъ упалъ въ колодець“,—говоритъ деревня,—„воды не смутилъ и самъ не потонулъ!“ Чернолѣсье представляется глазамъ русскаго сказателя зимою—„съ сѣдой бородой“, лѣтомъ—„въ шубѣ“. У чернаго лѣса, по словамъ подлѣсныхъ жителей, успѣвшихъ за свой вѣкъ приглядѣться къ жизни каждой травки въ лѣсной понизи, лѣтомъ новая борода вырастаетъ, осенью старая отпадаетъ. „Всѣ паны скидали чапаны, одинъ панъ не скинулъ чапанъ!“—говоритъ охочій до загадокъ-отгадокъ сельскій людъ, разгуливая взглядомъ отъ чернолѣсья къ краснолѣсью.

„Лѣсъ—богатъ, не то что нашъ братъ!“—приговариваетъ питающаяся отъ его щедротъ, перебивающаяся съ хлѣба на воду бѣднота. „Онъ, лѣсъ-то, что купецъ пузатый: всякимъ харчомъ, всякимъ товаромъ торгуетъ!“—добавляетъ бывалый человекъ, исколесившій лѣсныя просѣки-засѣки изъ конца въ конецъ. „Въ лѣсу—и обжорный рядъ, въ лѣсу—и пушнина,

въ лѣсу тебѣ—и курятная лавочка!“—можно услышать въ сѣверныхъ губерніяхъ, гдѣ однимъ хлѣбомъ со своей „неродимой“ полосы не прокормишься, если не пойдешь въ лѣсъ по грибы, по ягоды, по краснаго звѣря, по рябца-тетерева,—часомъ съ лукошкомъ, а часомъ и съ охотничьимъ припасомъ. О грибахъ, объ ягодахъ сыпать присловьями горазды дѣвки красныя. „Стоить горка въ красной ермолкѣ; кто ни пройдетъ—всякъ поклонъ отдастъ!“—ведутъ онѣ рѣчь про землянику-ягоду. Грибъ въ народномъ представленіи является то старикомъ въ колпакъ—„на бору на юру“, то „мальчикомъ съ пальчикъ“ („бѣлъ балахонъ, шапка красенькая“). По инымъ мѣстамъ ему (мальчику) имя даютъ: „Стоить Антошка на одной ножкѣ; его ищутъ, а онъ нишкнетъ!“ „Маленькій Тимошка сквозь землю прошелъ, въ колесѣ душу пронесъ, красну шапку нашель!“... и т. д.

Есть мѣста на Святой Руси, гдѣ мужика не пахаремъ, а звѣроловомъ, да птицеловомъ, звать было-бы правильнѣе: живетъ тамъ онъ не сохой-Андреевной, а ружьемъ да силками,—кормится не полемъ, а лѣсомъ. У такого мужика и соха на свой ладъ налажена: „огнемъ пышетъ, полымемъ дышетъ“ (ружье). „Летитъ птица орель, несетъ въ зубахъ огонь; поперекъ хвоста—человѣчья („звѣриная“—по иному разносказу) смерть!“ „Летитъ воронъ, носъ окованъ, гдѣ чнетъ, руда пойдетъ!“ „Черный кочеть,—рявкнуть хочеть!“ „Сухой Мартынъ—плюетъ черезъ тынъ!“ „Летитъ птица, во рту спица, на носу—смерть!“—перебиваютъ одна другую загадки о ружьѣ. „Птичка-невеличка, полемъ катится—ничего не боится!“ „Летѣла тетера вечеромъ—не теперя, упала въ лебеду и теперъ не найду!“ „За Костей пошло гостя, не знай—Костя придетъ, а посоль пропадетъ!“—говорится о пулѣ; „Летитъ птица крылата, безъ глазъ, безъ крылъ, сама свиститъ, сама бьетъ!“—о стрѣлѣ, оружіи которое въ наши дни отходить въ область преданій вездѣ, кромѣ только развѣ ближнихъ сосѣдей крайняго сѣвера, обитателей тайги-тундры, сибирскихъ инородцевъ.

Въ стародавніе годы лѣсъ считался священнымъ мѣстомъ у всѣхъ славянскихъ народовъ. Быть можетъ, и теперь въ сокровенномъ уголкѣ души суевѣрнаго русскаго человѣка, испытывающаго благоговѣнное смущеніе при входѣ въ лѣсъ, просыпается—еле внятнымъ отголоскомъ—перезитокъ язычества пращуровъ, признававшихъ заповѣдныя лѣсныя мѣста своими храмами. Въ священныхъ роцахъ древнеязыческой Руси, надъ истоками текущихъ водъ, совершались жертвоприношенія воплощеннымъ въ природѣ богамъ. Въ этихъ ро-

щахъ, — подь страхомъ незамолимаго смертнаго грѣха, — за-
 прещалось охотиться за звѣрьемъ и птицей, не позволено
 рубить ни одного дерева. Здѣсь, подь вѣковой сѣнью дре-
 весъ, благословлялись жрецами брачные союзы. Въ особо
 отведенныхъ урочищахъ устраивались кладбища, гдѣ находили
 себѣ вѣчный покой завершившіе свой томительный жизнен-
 ный путь. Еще и до сихъ поръ въ поволжскихъ селахъ встрѣ-
 чаются заброшенныя лѣсныя кладбища, говорящія своимъ ви-
 домъ о глубокой старинѣ происхожденія. О свадьбахъ-„само-
 круткахъ“ ходитъ въ народной Руси выраженіе: „вѣнчались
 вокругъ ракитова куста“. Въ Симбирской губерніи, верстахъ
 въ шестидесяти-семидесяти отъ губернскаго города, — тамъ,
 гдѣ русскія села какъ-бы вкраплены узоромъ въ сплошныя
 чувашскія и мордовскія деревни, — еще всего лѣтъ двадцать
 назадъ, посреди полей можно было видѣть удѣлѣвшіе отъ то-
 пора-истребителя и свято охранявшіеся населеніемъ старыя
 одинокіе дубы, позабытыи на полѣ битвы богатырями пол-
 вышавшіеся надъ равниною. Это — заповѣдныя деревья, удѣ-
 лѣвшія отъ истребленныхъ священныхъ роцѣ (по-чувашски
 „кереметь“). Подь ними, время отъ времени, устраивались
 мірскія пирушки: колосся барашекъ, пѣнилась по чашкамъ
 пивнушкамъ хмѣльная брага, липось крѣпкое зелено-вино,
 играла-выговаривала самодѣльная чувашская балалайка (въ
 чувашахъ — прирожденные балалаечники), пѣлись пѣсни, переносившія ко днюмъ позабытой старины. У чувашъ²³⁾ годъ отъ
 года русьющихъ сосѣдей великоросса, и у почти совсемъ
 обрусѣвшей и слившейся съ нимъ — путемъ браковъ трудо-
 любивой мордвы²⁴⁾ эти дубы и теперь считаются священными.
 Ихъ обвѣшиваютъ жертвенными полотенцами, къ нимъ обра-

²³⁾ Чуваша — племя тюркаго происхожденія, еще задолго до татарскаго нашествія поселившееся среди поволжскихъ финновъ и до сихъ поръ сохранившееся въ Казанской, Симбирской, Оренбургской и другихъ сосѣднихъ губерніяхъ. Въ 1879-мъ году ихъ насчитывалось болѣе полумилліона человѣкъ. Въ настоящее время огромное большинство чувашъ — христіане, и только близкое сосѣдство съ татарами и миссіонерскія стремленія муллъ удерживаютъ нѣкоторую часть ихъ въ магометанствѣ. Встарину вѣдь они были язычниками и поклонялись своимъ особымъ богамъ, память о которыхъ еще настолько сильна въ этомъ народѣ, что до сихъ поръ существуютъ язычскія деревни чувашскаго языка. Языкъ чувашъ близокъ къ древнему халарскому и языку камскихъ болгаръ, имѣетъ онъ не мало общаго и со старо-тюркскимъ. Исторія этого народа не известна, хотя нѣкоторые ученые и относятъ его происхожденіе къ бургасамъ, обитавшимъ на берегахъ Оки и Волги въ IX — X вѣкахъ по Р. Х.

²⁴⁾ Мордва — восточно-финское племя, распадающееся на двѣ нѣсколько обособленныхъ народности — эраю и мокшу, и живущее въ Нижегородской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Самарской, Уфимской, Оренбургской и Саратовской губерніяхъ. Численность этого наиболѣе значительнаго изъ

щаются съ моленіями о дождѣ, передъ ними даютъ обѣты. Если-же гдѣ подъ такимъ деревомъ догадливою благочестивою рукою поставлена часовенка или водруженъ деревянный крестъ да еще бѣжить-журчить ручеекъ-студенець,—то къ такому мѣсту принято ходить на богомолье. Чуваши, несмотря на всю свою кажущуюся закорюзлость, являются ревностными христіанами и проявляютъ жажду свѣта, вывода изъ своей среды черезъ горнило симбирской центральной чувашской школы, основанной благодаря просвѣтительной дѣятельности Пльминскаго, ²³⁾ выдающихся поборниковъ православія (учителей и священниковъ), идущихъ на служеніе темному родному люду.

восточныхъ финновъ племени достигаетъ 1.000 000 человекъ. Въ настоящее время всѣ они—христіане. Страна „Mordia“ впервые упоминается у Константина Багрянороднаго. Дальнѣйшая исторія мордвы связана съ исторіей возникновенія Рязанскаго и Суздальска-Нижегородскаго княжествъ, ея ближайшихъ сосѣдей. Въ древнія времена мордовская страна занимала пространство между Волгой, Окой и Сурую и притоками Мокши; восточнѣе отодвинулась она подъ давленіемъ русскихъ, наступавшихъ на нее въ силу необходимости. Первое столкновеніе наше съ мордовою было, по свидѣтельству лѣтописей, въ 1103-мъ году, когда муромскій князь Ярославъ Святославичъ былъ разбитъ войсками мордовскими. Съ XIII-го вѣка мордва, имѣвшая своихъ князей и свои укрѣпленные города (отъ которыхъ и теперь еще находятъ въ глуши поволжскихъ лѣсовъ „городища“), начала сдаваться Руси. Нашествіе Батыя коснулось ея гораздо менѣе, хотя и отдало во власть татарскихъ мурзъ-намѣстниковъ часть ея, извѣстную подъ именемъ мокши. Эрзя-же оставалась совершенно самостоятельною и боролась противъ русскихъ, призывая „на помощь“ себѣ татаръ. Такъ, лѣтнѣтнѣ поражение, нанесенное мордовою войскамъ князя Дмитрія Ивановича московскаго въ 1377-мъ году на рѣкѣ Пьянѣ. По борьба становилась все непосильнѣе, чѣмъ ближе подвигалось время къ сверженію татарскаго ига. Во времена Грознаго еще были у мордвы свои князья (одинъ изъ нихъ, Еникей, участвовалъ въ походѣ Іоанна IV на Казань). По взятіи Казани наступилъ конецъ государственной самобытности мордовскаго племени, окончательно подпавшаго подъ власть русскихъ. Потомство властителей эрзи-мордвы (сильнѣйшаго ядра племени) еще удерживало за собою княжескіе титулы, но это было только тѣнью прошлаго величія. Въ XVII—XVIII столѣтіяхъ мордва была обращена въ христіанство, но еще долго охраняла свою древнюю религію, поклоняясь на лѣсныхъ молянкахъ своимъ—нынѣ совершенно забытымъ—богамъ. Въ настоящее время мордва—рослый, красивый и сильный народъ, какъ и въ дѣтніе годы занимающийся земледѣліемъ и пчеловодствомъ—предпочтительно передъ всѣмъ другимъ. Это—не изъ тѣхъ племенъ, которыя обречены на вымирание,—хотя судьба его—окончательно слиться съ народомъ русскимъ, къ великорусскому типу котораго онъ близокъ не только по внѣшности, но и по внутреннему складу жизни и даже по крови, —если вспомнить, изъ какихъ элементовъ сложился этотъ могучій типъ.

²⁵⁾ Николай Ивановичъ Пльминскій—выдающийся дѣятель по народному образованію, вдохновенный просвѣтитель инородцевъ Казанской, Уфимской, Оренбургской и Симбирской губерній, основавшій шкѣлую свѣтъ инородческихъ школъ и создавшій своимъ апостольскимъ отношеніемъ къ дѣлу неразрывна связи между просвѣтителями и просвѣщаемыми. Среди инородцевъ (крещеныхъ татаръ, киргизовъ, вотяковъ, черемисъ и чувашъ) онъ создалъ своей

Дубъ издавна считался на славянской землѣ священнымъ деревомъ. Лѣтописи свидѣтельствуютъ о томъ, какъ на славянскомъ Западѣ проповѣдниками христіанскаго ученія вырубались заповѣдныя рощи, — чтобы воочію показать безсиліе языческихъ боговъ передъ свѣтоноснымъ могуществомъ единаго Бога. Было это и на Святой Руси — во времена Владиміра Красна-Солнышка и ближайшихъ его преемниковъ на великокняжескомъ столѣ. Но до сихъ поръ напоминаютъ о почитаніи дубовыхъ рощъ разбросанныя по неогладному свѣтлорусскому простору рощицы-„жалъники“, превратившіяся въ мѣста отдыха утомленныхъ зноемъ путниковъ.

Дубъ является олицетвореніемъ силы-мощи и въ древности былъ посвященъ могучему Перуну. „На святомъ окіань-морѣ,“ — гласитъ заговорное народное слово, — „стоитъ сырой дубъ крковистый (кряжистый?). И рубить тотъ дубъ старь-матѣрь мужъ своимъ булатнымъ топоромъ. И какъ съ того сырова дуба щепка летитъ, такожде бы и отъ меня (имя рекъ) валился на сыру землю борець-молодецъ по всякой день, по всякой часъ!“.

Дошло до нашихъ дней славянское преданіе о дубахъ, стоявшихъ будто-бы „еще до сотворенія міра“, когда-де не было ни земли, ни неба, а разливался по всей вселенной одинъ „окіань-море“. Стояли, по словамъ преданія, посреди этого окі-

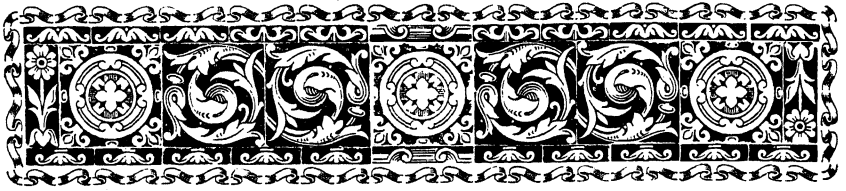
жизнью и дѣятельностью поистинѣ нерукотворный памятникъ. Онъ родился 23 апрѣля 1822 г. въ г. Пензѣ, въ семьѣ мѣстнаго священника, воспитывался въ пензенскихъ духовномъ училищѣ и семинаріи, высшее образованіе получилъ въ казанской духовной академіи (1842—1846 г. г.), по окончаніи курса которой былъ назначенъ преподавателемъ въ ней арабскаго и татарскаго языковъ. По личному почину, Н. П. Пльминскій изучилъ на мѣстѣ татарскій разговорный языкъ, для чего нѣсколько лѣтъ провелъ среди татаръ и даже обогатилъ пѣшкомъ всю казанскую инородческую округу. Въ 1851-мъ году онъ совершилъ, съ цѣлью изученія мусульманства, путешествіе въ Турцію и Малую Азію, а затѣмъ цѣлый рядъ лѣтъ посвятилъ трудамъ по переводу священныхъ и богослужебныхъ книгъ на инородческіе языки и на исправленіе прежнихъ, неточныхъ и неудобопонятныхъ, переводовъ. Съ 1858-го по 1861-й годъ онъ служилъ переводчикомъ пограничной комиссіи при оренбургскомъ генераль-губернаторѣ; въ 1861-мъ году былъ назначенъ профессоромъ турецко-татарскаго языка въ казанскій университетъ, каковымъ и состоялъ до 1872 года, не оставляя прежнихъ просвѣдательныхъ заботъ объ инородцахъ. Въ 1864-мъ году была открыта въ Казани первая крещено-татарская школа, подъ главнымъ наблюденіемъ Н. П. — ча. А къ 1896-му году число подобныхъ ей возросло въ одной Казанской губерніи до 148. Душою братства св. Гурія, основаннаго въ Казани въ 1867 г., былъ тотъ-же Пльминскій. Въ 1872-мъ году открылась казанская инородческая учительская семинарія, директоромъ которой Н. П. состоялъ до самой своей смерти, послѣдовавшей 27 декабря 1891 года. Въ память апостольскаго служенія Н. П. Пльминскаго сооружена — освященная въ 1895 г. — церковь въ с. Никифоровскѣ Мамадышскаго уѣзда, Казанской губерніи.

яна два дуба, на тѣхъ дубахъ сидѣло два голубя. Спустились эти голуби на морское дно, захватили клювами песку да камешковъ и принесли Творцу міра. Такъ-де и были созданы и земля, и небо. По другому преданію, существуетъ желѣзный („пръвопосаждень“) дубъ, на которомъ держатся вода, огонь и земля, а корень этого дуба стоитъ „на силѣ Божіей“. Ростеть-поднимается этотъ дубъ до самыхъ седьмыхъ небесъ, а коренится въ глубочайшихъ нѣдрахъ подземнаго царства.

Какъ домашній очагъ отдается народнымъ суевѣріемъ подъ защиту Домового, поля—подъ покровительство Полевика—„житнаго дѣда“, воды—Водяного, такъ и надъ темными лѣсами властвуетъ Лѣсовикъ, а въ широкой степи живетъ Степовой. О послѣднемъ все меньше да меньше преданій-сказаній остается въ народной памяти,—вѣроятно, потому, что и самому степному простору становится все тѣснѣй на бѣломъ свѣтѣ: распахиваетъ его острый плугъ, и съ каждымъ годомъ быстрѣе. „Степовой—не Домовой, въ подпечекъ не посадишь!“—говорятъ деревенскіе краснословы; „Степовому не поклонись—и степь за темень лѣсъ покажется!“, „Хорошъ хозяинъ у степи: ни сѣна не косить, ни пить-ѣсть не просить!“ Воплощеніе „степного хозяина“ русскій народъ видитъ въ крутящихся вихряхъ. Иногда онъ, по словамъ суевѣрнаго люда, „показывается“; и не къ добру такое появленіе забываемаго духа степей—родича-владителя „Стрибожихъ внуковъ“ (буйныхъ вѣтрсовъ). Вздываются, бѣгутъ по дорогамъ сивые вихри, сталкиваются другъ съ дружкой на перекресткахъ. И вотъ—изъ толпы ихъ, въ самой срединѣ-воронкѣ, поднимается и Степовой: сивый, какъ вихрь, высокій старикъ съ длинною пыльною бородою и развѣвающимся во всѣ стороны копною волосъ. Покажется, погрозитъ онъ старческою костлявою рукою и скроется. Бѣда тому путнику, который, не благословясь, выѣдетъ-выйдетъ изъ дому да въ полдень попадетъ на перекрестокъ, гдѣ крутится пыльная толчея вихрей: „Бывали случаи, что такъ и пропадали люди!“—гласитъ сѣдое народное слово. „Вѣдьмы свадьбу съ вѣдьмаками правятъ!“—приговариваетъ деревня, смотря на пляску вихрей, столбами пронсящихся со степи вдоль по улицамъ, и торпливо загоняетъ ребятишекъ по избамъ.

Обликъ „лѣснаго хозяина“ довольно неопредѣлененъ: онъ видоизмѣняется—по волѣ особенностей суевѣрія той или другой мѣстности. Окруженный своимъ лѣснымъ народомъ—лѣсными дѣвами (русалками), „лѣшачихами“ и всякой лѣсною нежитью, служащей у него—могучаго и грознаго—на побѣгушкахъ, онъ живетъ въ глухой трущобѣ, гдѣ у него стоитъ

дворецъ-хата на курьихъ ножкахъ, вокругъ да около которой виснеть по зеленымъ вѣтвямъ деревьевъ простоволосое русалье племя, приходящееся кровною родней своимъ сестрамъ—зеленорусымъ красавицамъ подводнаго царства. Разсылаеть Лѣсовикъ подвластныхъ ему лѣшихъ съ „подлѣшниками“, да съ ихъ женками-русалками, во всѣ стороны лѣса темнаго для обережи его предѣловъ да на пагубу человѣку хищнику, вторгающемуся все смѣлѣе съ каждымъ годомъ въ его владѣнья-угодья съ топоромъ и съ ружьемъ. Отгоняють они изъ-подъ ружья звѣря-птицу, „отводятъ глаза“ охотнику и лѣсорубу, сбивають съ тропы, заставляютъ „и въ трехъ соснахъ заблудиться“, заводять робкаго человѣка на такія заколдованныя тропинки, по которымъ—сколько ни иди—все къ одному и тому-же глухому мѣсту выйдешь. Свистъ и хохотъ несется по лѣсу, —перекличку ведеть лѣсная нежить. Если надо, обернется и сама она въ подорожнаго человѣка (даже въ знакомаго путнику) и начнетъ водить-кружить неосторожнаго прохожаго. А русалкамъ повѣритъ онъ да пойдетъ къ нимъ на-голосъ,—поймають, на смерть защекотятъ да и бросятъ подъ оврагъ гдѣ-нибудь. Оттого-то и старается жить съ Лѣсовикомъ и съ его лѣснымъ народомъ въ добромъ согласіи суевѣрный людъ: умиловливаетъ ихъ приносами (вѣшая полотенца по вѣтвямъ въ трущобахъ-урочищахъ), заклинаеть заговорнымъ словомъ. И тогда не только не враждуетъ съ человѣкомъ, а оказываетъ ему всякое покровительство, лѣсной хозяинъ, всякому звѣрю, каждой птицѣ, каждому гаду, ползающему у древесныхъ корней, указывающій свое мѣсто и свою пищу. „Грозень лѣсовикъ, да и добѣръ!“—говорить о немъ и его обычаяхъ народная молвь,—совѣтъ подаеть охотникамъ: оставлять ему на жертву въ чашѣ первый уловъ, а лѣсорубамъ-дровосѣкамъ строго-на-строго наказываетъ не зачинать дѣла безъ словъ „Чуръ меня!“, а бабамъ-дѣвкамъ—грибовницамъ да ягодницамъ—задаривать „добраго дѣдушку“ кускомъ хлѣба да щепотью соли, а то и лентой алою, до которыхъ старыи—большой охотникъ. Но бывають дни передъ началомъ зимы, поздней осенью—когда лучше и не показываться въ лѣсъ: хозяинъ его передъ тѣмъ, какъ залечь на зимній подневольный покой, никому не даеть пощады. Тогда отъ него ни отчураться, ни хлѣбомъ-солью не отдѣлаешься.



VII.

Царь-государь.

Понятіе о царь-государь, какъ о самодержавномъ хозяинѣ Земли Русской, выросло постепенно—одновременно съ развитіемъ народнаго самосознанія. Отъ призванныхъ „володѣти и княжити“ князей-дружинниковъ,—переживъ князей-ставленниковъ, которымъ нерѣдко приходилось слышать увѣковѣченныя лѣтописью слова: „А мы тебѣ кланяемся, княже, а по твоему не хотимъ!“,—оно выросло до представленія о великомъ князѣ— „Божьемъ слугѣ“, „стражѣ Земли Русской отъ враговъ иноплеменныхъ и внутреннихъ“. Но нужно было пройти вѣкамъ, чтобы великій, старѣйшій надъ князьями удѣловъ, князь всталъ въ глазахъ народа-пахаря на высоту царя— „государя всея Руси“, какимъ является онъ въ палатахъ Москвы Бѣлокаменной на исходѣ XVI-го столѣтія.

Но Забѣлинъ²⁶⁾, вполне справедливо замѣчаетъ, что „новый типъ политической власти выросъ на старомъ кореню“. Несмотря на разнорѣчіе именованій и разн. обиходовъ княжескаго и царскаго почитанія, народная Русь изстари вѣковъ стояла на служеніи вѣрой и правдою „батюшкѣ-государю“ и была связана со своимъ верховнымъ вождемъ неразрывными узами вѣрноподданнической любви.

²⁶⁾ Иванъ Егоровичъ Забѣлинъ—замѣчательный русскій историкъ, авторъ „Домашняго быта русскихъ царей и царицъ“, „Опытовъ изученія русскихъ древностей“, книги „Мишинъ и Пожарскій, прямые и кривые въ Смутное Время“, очерка „Большой бояринъ въ своемъ вотчинномъ хозяйствѣ“, двухъ томовъ „Исторіи русской жизни съ древнѣйшихъ временъ“ и другихъ трудовъ. Онъ родился въ 1820-мъ году въ гор. Твери, образованіе получилъ въ москов-

Къ русскому народу, болѣе чѣмъ къ какому-либо другому, примѣнимо названіе—стихія. Русская стихійная душа представляетъ собою столь самобытное и сложное явленіе, что надо быть кореннымъ русскимъ, родиться проникнутымъ до мозга костей духомъ народности человѣкомъ, чтобы составить болѣе или менѣе ясное понятіе о ней и сколько-нибудь опредѣленно разобратся въ народныхъ взглядахъ и понятіяхъ, вѣрованіяхъ, представленіяхъ и чаяніяхъ,—во всемъ живомъ внутреннемъ мірѣ многомилліонной богатырской семьи. Внѣшній обликъ этого загадочнаго на чужой взглядъ великана крѣпко-на-крѣпко связанъ со всѣмъ тѣмъ, что составляетъ его сокровенное святая-святыхъ. Слово и дѣло въ жизни этого стойкаго въ своихъ убѣжденіяхъ, неуклоннаго въ стремленіяхъ, прямого въ проявленіи чувствъ народа всегда шли рука-объ-руку. Слово-языкъ и слово-преданіе являются на Руси неисчерпаемымъ источникомъ изученія внѣшней и внутренней жизни. Богатство языка,—сильнаго своею живою образностью и неподражаемой простотою, мѣткаго въ опредѣленіяхъ и яркаго, какъ ярка русская государственная жизнь,—богатство русскаго слова не менѣе самого народа говорить о стихійности.

Твердо обоснованное, вкоренившееся въ неизвѣданныя глубины народнаго сердца, понятіе о власти, призванной стать у кормила великой и обильной Русской Земли, также не можетъ не быть отнесено къ цѣпи стихійныхъ проявленій творческаго духа русскаго народа. Какъ таковое, оно не могло не отразиться съ достаточной ясностью въ языкѣ и его драгоцѣнной сокровищницѣ—изустномъ творчествѣ, дошедшемъ до нашихъ дней черезъ безконечную путину вѣковъ вънаиболѣе живучихъ образцахъ своихъ: пѣсняхъ, сказкахъ, пословицахъ, загадкахъ и поговоркахъ. Русская простонародная мудрость отводитъ въ нихъ далеко не послѣднее мѣсто многозначительно звучащимъ въ народныхъ устахъ словамъ: „князь“, „царь“ и „государь“.

скомъ преобразженскомъ училищѣ, дальше котораго не могъ пойти по недостатку средствъ. Въ 1837-мъ году онъ поступилъ въ Оружейную Палату канцелярскимъ служителемъ второго разряда. Первою статьею его было описаніе путешествій русскихъ царей на богомолье въ Троице-Сергіевскую лавру („Моск. Губ. Вѣд.“ 1842 г.). Съ 1848-го по 1859-й годъ П. Е. Забѣлинъ служилъ въ архивѣ дворцовой канцелярии, затѣмъ перешелъ въ Императорскую археологическую комиссію, членомъ которой состоялъ до 1876 г. Въ 1879-мъ году онъ былъ избранъ въ предсѣдатели общества исторіи и древностей; 1884-й годъ ознаменовался для него избраніемъ въ члены-корреспонденты Академіи Наукъ, а 1892-й—въ почетные члены ея. Исслѣдованія П. Е. Забѣлина, главнымъ образомъ, относятся къ древнѣйшему періоду кievской эпохи и московскому періоду русской исторіи.

Съ первымъ изъ названныхъ словъ въ пѣсняхъ и былинахъ, этихъ древнѣйшихъ памятникахъ проявленія духовной жизни народа, связанъ постоянный присловъ „красно-солнышко“. При этомъ всѣ свойства прекраснѣйшаго изъ свѣтилъ переносятся и на князя, переливаясь на всѣ лады воображенія стихійнаго пѣвца-сказателя. Всюду и всегда сопутствуетъ слову князь слово „ласковый“. Взять для примѣра хотя-бы слѣдующій отрывокъ, неоднократно повторяющійся въ старинныхъ русскихъ былевыхъ пѣсняхъ:

„Во стольномъ было городѣ во Киевѣ,
У ласкова осударь-князя Владимира.
Было пиrowаніе, почетной пиръ,
Было столованіе, почетной столъ
На многи гости, бояра
И на русскіе могуціе богатыри“...

Ласковый осударь-князь этого пѣсеннаго сказанія является олицетвореніемъ того, какими всѣ вообще князья русскіе представлялись глазамъ жившаго подъ ихъ властной рукою прямодушнаго народа-пахаря.

Лѣтописный разсказъ, сохранившій княженецкую Русь отъ забвенія въ потомствѣ, согласуясь съ народомъ, напоминаетъ намъ о столь ласковыхъ рѣчахъ древнерусскихъ князей къ людямъ вѣча, какъ „Братія мои милые!“—Ярослава Мудраго ²⁷⁾, „Братья володимерцы!“—князь-Юрія ²⁸⁾, или „Братья, мужи псковичи! Кто старъ—то отецъ, кто младъ—той братъ!“ князя Довмонта ²⁹⁾ псковскаго.

²⁷⁾ Я р о с л а в ъ I-й, Владиміровичъ, сначала князь новгородскій, а затѣмъ, съ 1089 г., великій князь всея Руси. Онъ родился въ 978-мъ году (сынъ Рогнѣды), а умеръ въ 1054-мъ году. Княженіе его ознаменовано цѣлымъ рядомъ войнъ съ непокорными князьями-родичами, но болѣе того—мудрымъ управленіемъ Русью. Онъ покровительствовалъ просвѣщенію, созидаль храмы (Софійскіе—въ Новгородѣ и Киевѣ), строилъ новые города (Юрьевъ), составилъ первый сборникъ русскихъ законовъ („Русская Правда“) и, создавъ соборъ русскихъ епископовъ, учредилъ самостоятельную русскую митрополию (въ 1051 г.). Онъ былъ женатъ на дочери шведскаго короля Эрика и прижилъ съ нею восемь сыновей, которымъ и раздалъ передъ смертію княжескіе удѣлы.

²⁸⁾ Ю р і й (Георгій) В с е в о л о д о в и ч ъ, князь владимірскій и суздальскій, сынъ князя Всеволода Большое Глѣздо, родился въ 1189-мъ, умеръ въ 1225-мъ году. На великокняжескій престолъ онъ вступилъ въ 1219-мъ году. Имъ основанъ Нижній-Новгородъ. Въ его дни постигло Русь нашествіе Батыя.

²⁹⁾ Д о в м о н т ъ, въ крещеніи Тимофей,—князь псковскій (конца XIII-го вѣка), родомъ изъ князей литовскихъ. Онъ увѣковѣчилъ свое имя въ русской исторіи защитою псковскаго княжества отъ вѣнскихъ враговъ (литовцевъ, ливонскихъ рыцарей и друг.). Въ 1269-мъ году была знаменитая осада Пскова ма-

Позднѣе—слово „князь“ замѣняется въ народной рѣчи, согласно съ послѣдовательнымъ развитіемъ жизни, словами „царь“ и „государь“, сопровождаемыми тѣми-же самыми уподобленіями, что и прежде. „Государь-батюшка, надежда православный царь“, „бѣлый царь“, „красно-солнышко“, „царь—ласковый, славный, грозный, великій“,—вотъ что повторяетъ въ продолженіе многихъ вѣковъ русскій народъ о своемъ властителѣ. Слово „царь“ является въ его устахъ наиболѣе яркимъ воплощеніемъ необычной силы, необычнаго ума, необыкновенной красоты—тѣлесной и духовной.

Царь-государь, добрый-ласковый властитель народа-пахаря, рисуется въ воображеніи послѣдняго поставленнымъ надо всѣми другими царями земными. „Ты еще скажи, сударь, повѣдай намъ—который царь надъ царями царь?“ На этотъ вопросъ народной мудрости еще и теперь по свѣтлорусскому простору неоглядному разносятъ народные пѣвцы — калики-перехожеіе свой простодушный отвѣтъ, вложенный въ вѣщія уста перемудраго царя „Голубиной Книги“:

„У насъ бѣлый царь надъ царями царь,—
Онъ и вѣруетъ вѣру крещоную,
Крещоную, богомольную,
Онъ во Матерь Божью Богородицу
И во Тронцу нераздѣльную;
Онъ стоитъ за домъ Богородицы,
Ему орды всѣ преклонилися
Всѣ языцы ему покорилися...“

Царь объединенъ съ народомъ въ памяти послѣдняго, какъ Творецъ—съ мірозданіемъ. Это — одна недѣлимая стихія, самое существованіе которой неразрывно связано съ обѣими составными частями ея. Кличь народа призывалъ князя-царя-государя на Святую Русь; слово народное возвеличало его на свѣтлорусскомъ просторѣ-привольѣ; это-же самое слово говоритъ и объ его самодержавіи, никѣмъ и ничѣмъ—кромѣ Бога—не ограниченномъ. „Царь земной—подъ Царемъ Небеснымъ ходить!“—сказала народная Русь. „Никто противъ Бога, ничто противъ царя!“, „Правда Божья, судъ—царевъ!“, „Одному Богу государь отвѣтъ держить!“, „Царь—отъ Бога при-

гистромъ Ливонскаго Ордена, отбитая княземъ Довмонтомъ. Въ 1219-мъ году этотъ подвигъ его повторился; но вскорѣ любимѣйшій и справедливѣйшій изъ князей псковскихъ умеръ. Церковь православная причла его къ лику русскихъ святыхъ.

ставь!“ „Никто—какъ Богъ да государь!“—подтвердилъ народъ въ цѣломъ рядѣ пословицъ, какъ-бы сдѣлавшихся законами его общественной нравственности.

„Русской Землѣ нельзя безъ государя быти!“,—облетало всю Русь вѣщее слово истинно-русскихъ людей въ смутную годину миновавшихъ лихолѣтій и всегда находило живой откликъ въ народѣ, сказавшемъ про себя, что онъ—„душой Божій, а тѣломъ—осударевъ!“ И всякій разъ сердцемъ слышалъ самодержецъ, что откликъ шелъ къ нему изъ глубины стихійной души могучаго богатыря-народа. „Безъ Бога свѣтъ не стоитъ, безъ царя—страна не правится!“ „Безъ царя—народъ сирота, земля—вдова!“ „Свѣтитса солнышко на небѣ, а русскій царь—на землѣ!“—яснѣе складывается мысль этого миллионноголоснаго отклика. „Народъ—тѣло, царь—голова!“,—мыслить русскій человѣкъ и, видя въ царѣ олицетвореніе высшей справедливости, заносить на скрижали своей вѣковѣчной мудрости рѣзкія слова: „Гдѣ царь—тутъ и правда!“ „Гдѣ царь—тамъ гроза!“ „Близъ царя—близъ чести!“ „Близъ царя—близъ смерти!“ Второе и четвертое изрѣченія должно, несомнѣнно, отнести къ „ослушникамъ—волкамъ стада государева, царскому добру досадителямъ“—въ одно и то-же время являющимся, въ представленіи сказателя пословицъ, ослушниками, волками и досадителями народа.

„Царь—не огонь, да, ходя близъ него, опалишься!“—иносказательно обрисовываетъ простодушный краснословъ опалу. „Гнѣвъ царевъ—посоль смерти!“ „До царя дойти—голову нести (повинную)!“ „Царское осужденіе—безсудно!“; но—„Ни солнышку всѣхъ не угрѣтъ, ни царю на всѣхъ не угодить!“—смягчаетъ народъ свое понятіе о грозномъ царѣ, представляющемся ему прежде и послѣ всего царемъ ласковымъ, милостивымъ и великодушнымъ—при всей своей нелицепріятной справедливости. „Нѣтъ больше милосердія, чѣмъ въ сердцѣ царевомъ!“ „Кто Богу не грѣшнень, царю не виноватъ?“ „До милосерднаго царя и Богъ милостивъ!“ „Богъ милостивъ, а царь жалосливъ!“ „Богъ помилуетъ, царь—пожалуетъ!“ „Виноватаго Богъ проститъ, праваго—царь пожалуетъ!“—дополняется одно крылатое слово другимъ. Извѣстнѣе всѣхъ среди нихъ то-и-дѣло звучащее на Руси: „За Богомъ молитва, а за царемъ служба, не пропадаетъ!“—выраженіе, вошедшее въ плоть и кровь народа, съ малыхъ лѣтъ воспринимающаго понятіе о томъ, что „жить—царю служить“.

Какъ-же и чѣмъ служить этому прообразу всего справедливаго, всего могущественнаго, всего милостиваго?—невольно зародился вопросъ въ пытливей душі народа. „Царю правда—

лучшій слуга!“—отвѣтилъ онъ самъ себѣ и, въ строго послѣдовательной цѣпи своихъ опредѣленій, даетъ подробный перечень всѣхъ родовъ службы вѣрою и правдою. „Царь безъ слугъ—какъ безъ рукъ!“—говоритъ онъ и, умудренный многолѣтнимъ опытомъ, заявляетъ: „Холоденъ, голоденъ—царю не слуга!“. Въ этой послѣдней поговоркѣ благосостояніе страны какъ-бы связывается съ лучшей службою государю, и такимъ образомъ въ пяти словахъ разрѣшается наиважнѣйшій вопросъ внутренняго уклада государственной жизни.

Высоко, превыше всего и всѣхъ, какъ городъ на горѣ, ставя царя-вѣнценосца, народное слово окружаетъ его тыномъ приспѣшниковъ—ближнихъ людей, совѣтчиковъ, ни на пядь не отступая въ этомъ случаѣ отъ жизненной правды. Добрыхъ совѣтчиковъ, доблестныхъ слугъ истины, какими всегда славилась Святая Русь—эта родина богатырей духа,—именуетъ крылатое слово „очами“ и „ушами“ государевыми. Они, по представленію народа, какъ лучи—свѣтъ и тепло краснаго солнышка, несутъ милость царскую на благо родной земли. Но многолѣтнимъ опытомъ государственной жизни подсказываетъ народной мудрости и другіе взгляды на окруженный живымъ тыномъ „городъ на горѣ“. „Царево око видитъ далеко!“, но—„Изъ-за тына и царю не видать!“, „Царскія милости въ рѣшето съются!“, „Жалуется царь, да не жалуется царь!“, „До Бога высоко, до царя далеко!“. Русскій народъ, однако, сознаётъ свою стихійную силу, и это сознание является яркимъ лучомъ свѣта во мракѣ его угрюмыхъ взглядовъ на такихъ приспѣшниковъ, которые—„Царю застятъ, народу напастятъ“. И вотъ—изъ устъ его вырываются реченія: „Народъ думаетъ—царь вѣдаетъ!“, „Какъ весь народъ вздохнетъ—до царя дойдетъ!“...

Могучій вздохъ народа, заслоненнаго приспѣшниками, огородившими тыномъ красно-солнышко Земли Русской, вздохъ богатыря-великана, вылетающій изъ милліона грудей, звучитъ отголоскомъ во многихъ пѣсняхъ, навѣянныхъ, по словамъ баяна-пѣснотворца недавнихъ дней, „съ пожараищъ дымомъ-копотью, съ сырыхъ могилъ мятелицей“. И чуткое сердце русскаго „блага царя“ неизмѣнно отзывается голосу народнаго горя. „Ясныя очи государевы“, тѣ—по именованію народа—„очи соколиныя“, увидятъ которыя всегда слыло счастьемъ для каждаго русскаго человѣка,—видятъ силою проникновенія: кто народу и государю другъ, кто—врагъ. Они, эти зоркія очи, снимаютъ тяготы непосильныя, отводятъ отъ народа бѣду наносную. Надѣлая царя всѣмъ, въ чемъ видитъ силу и обалніе, народъ налагаетъ на него великую отвѣтственность

передъ Богомъ. „Народъ согрѣшитъ—царь умолитъ, а царь согрѣшитъ—народъ не умолитъ!“, —изрекаетъ онъ со всею своей прямою и рѣзкою, не щадя даже того, въ комъ видитъ олицетвореніе высшаго начала на землѣ.

Радость царская—радость всей Земли Русской, печаль государева—горе всего народа, грѣхъ царевъ—прегрѣшеніе всей Руси. Эти три понятія яркой полосой прошли въ словѣ-предани русскаго народа. Они-же и въ наши дни волнами всплываютъ на поверхности могучей своею самобытною народною стихію, проходя въ жизнь и духъ народа, какъ тепло солнца и влага дождя—въ корни растений. Въ волѣ царя народъ видитъ законъ, въ законахъ—ясно выраженную волю цареву, предъ которою древніе памятники изустной мудрости совѣтуютъ преклоняться съ благоговѣніемъ. Безграничное довѣріе къ проявленію этой воли, беззавѣтная преданность и безкорыстное служеніе тому, кто—въ представленіи народною творческою мысли, какъ солнышко красное лучами животворными—пригрѣваетъ Землю Русскую свѣтомъ ясныхъ очей своихъ съ высоты святорусскаго трона,—вотъ три звена, въ одну могучую стихію связующія народную душу съ сердцемъ царевымъ.

Древнія грамоты недаромъ именовали русскій народъ царелюбивымъ: онъ относитъ слово „царь“ ко всему наиболѣе величественному въ природѣ, обступающей его со всѣхъ сторонъ,—въ природѣ, съ которою онъ связанъ, какъ со своимъ надѣжею-царемъ, всею своей жизнью. Такъ, напримѣръ, огонь и вода—двѣ главныя силы могучей природы. Русскій народъ говоритъ: „царь-огонь“, „царица-водица“... Могущественнѣйшій между птицами орелъ, по народному крылатому слову—„царь-птица“, сильнѣйшій между звѣрями левъ—„царь-звѣрь“, прекраснѣйшій представитель цвѣточнаго царства розанъ—„царь-цвѣтъ“. Идетъ изъ народныхъ устъ слово и о „царь-травѣ“, и о „царь-землѣ“, и о „царь-камнѣ“. Прославленная русскими сказками всѣмъ красавицамъ красавица слыла „Царь-Дѣвицею“. Очевидно, это всеобъемлющее слово на такой недосыгаемой высотѣ высокой стоитъ въ понятіи народа-пахаря, что ярче его нѣтъ въ народномъ словарѣ никакого прѣслова. Даже лучшая пѣсня слыла на Святой Руси „пѣсней царскою умильною“. А наиболѣе долговѣчныя изъ этихъ „царскихъ“ пѣсень, былинныя сказанія, заурядъ кончались такою славою государю, какъ:

„Слава Богу на небѣ, слава!
 Государю нашему на всей землѣ, слава!
 Чтобы нашему государю не старѣться, слава!
 Его цвѣтному платью не изнашиваться, слава!
 Его добрымъ конямъ не изѣживаться, слава!
 Его вѣрнымъ слугамъ не измѣниваться, слава!
 Чтобы правда была на Руси, слава!
 Краше солнца свѣтла, слава!
 Чтобы царева золота казна, слава!
 Была вѣкъ полнымъ-полна, слава!
 Чтобы большимъ-то рѣкамъ, слава!
 Слава неслась до моря, слава!
 Малымъ рѣчкамъ до мельницы, слава!“

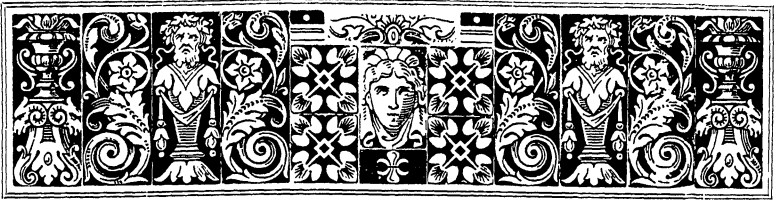
Въ стародавнія времена воспѣвались народомъ русскимъ царскія милости, славилась походы государевы, запечатлѣвались въ пѣснѣ и горе, и радость царскія по поводу того или другого событія. И всегда слышалось въ этихъ пѣсняхъ благоговѣйное отношеніе къ высокому предмету воспѣванія. Какъ трогательно-простодушно хотя-бы слѣдующее, сложившееся въ болѣе позднюю пору, пѣсенное сказаніе:

„Когда свѣтель, радошень во Москвѣ благовѣрный царь Алексѣй, царь Михайловичъ, народилъ Богъ ему сына царевича Петра Алексѣевича, перваго императора по землѣ. Всѣ-то русскіе какъ плотнички мастера, во всю ноченьку не спали, колыбель-люльку дѣлали они младому царевичу; а и нянюшки, мамушки, сѣнныя красныя дѣвушки во всю ноченьку не спали, шинкарочку вышивали по бѣлому рытому бархату онѣ краснымъ золотомъ; тюрьмы съ покаянными они всѣ распушались; а и погребы царскіе они всѣ растворялись. У царя благовѣрнаго еще пиръ и столъ на радости, а князи собирались, бояра съѣзжались и дворяне сходились, а все народъ Божій на пиру пьютъ, ѣдятъ, прохладяются,—во весельи, въ радости не видали, какъ дни прошли для младшаго царевича Петра Алексѣевича, перваго императора“...

Русскіе цари всегда являли живой и яркій примѣръ истинно-христіанскаго благочестія. Ни одно важное дѣло не принималось ими безъ испрошенія благословенія Божія. Каждая мысль вѣнценосца сливалась съ многомилліонной народною стихіей, могучими волнами подступавшею къ вѣковымъ стѣнамъ Кремля, въ сердцѣ котораго—подъ сѣнью московскихъ святынь—горѣло неугасаемой любовью сердце Земли Русской, воплощенное въ ея державномъ хозяинѣ. Общеніе съ народомъ, проявлявшееся въ царскихъ — большихъ, ма-

лыхъ и тайныхъ—выходахъ, непосредственное участие государя въ торжественныхъ, освященныхъ преданіемъ обрядахъ (см. ниже)—не только доставляли московскому люду счастье видѣть пресвѣтлый ликъ самодержца, но и служили поводомъ къ горячему проявленію нерушимаго единенія царя и народа.

Царь и народъ, народъ и царь... Проходили вѣка, одно другимъ смѣнялись поколѣнія; исчезало,—ровно съ вешней полою водой сплывало,—съ лица народной Руси все временное, преходящее, наносное. Но гдѣ бы, когда бы то ни было, произносились слова „русскій народъ“, тамъ всегда подразумѣвался и „русскій царь“; гдѣ заходила рѣчь о „русскомъ царѣ“, тамъ неизмѣнно выступалъ и вопросъ о „русскомъ народѣ“. Это, дѣйствительно, въ полномъ смыслѣ словъ, двѣ равныя части одной нераздѣльной, могучей своею многовѣковой самобытностью, стихіи.



VIII.

Январь-мѣсяць.

Съ января—„перезимье“ идетъ, морозами пугаетъ лютыми, зимнею стужей вѣсточку о веснѣ подаетъ: жива-де свѣтлая Лада-весна, не властны надъ нею темныя силы, заслоняющія животворный свѣтъ солнечный отъ Матери-Сырой-Земли,— только спитъ она до поры до времени подъ среброкованною бѣлоснѣжной парчою, притаилась въ тущобахъ непроходимыхъ. Настанетъ ея пора вешняя,— и пробудится-воспрянетъ красная, заиграетъ лучами яркими да жаркими, зажурчитъ ручьями-потоками переливными, зацвѣтетъ цвѣтиками духовитыми. Январь—не весна, а зимушка студеная; а и тотъ ей сродни: не то дѣдомъ, не то прадѣдомъ доводится.

Въ стародавней Руси звался январь-мѣсяць „прѣсинцемъ“, „сѣченемъ“—прозывался; у поляковъ слылъ онъ за „стычень“, у вендовъ³⁰⁾ былъ „новолѣтникомъ“, „первникомъ“, „зимцемъ“ и „прозимцемъ“; чехи со словаками величали его то „леднемъ“, то „груднемъ“, кроаты³¹⁾—„малибожнякомъ“. Кро-

³⁰⁾ Венды—современные лужицкие сербы, славянское племя, отовсюду окруженное нѣмцами и быстро опѣмчивающееся. Иѣкогда область ихъ простиралась отъ р. Завлы до р. Вобра, продолжалась въ сѣверномъ направленіи до широты Берлина и въ южномъ до Лужицкихъ и Рудныхъ горъ. По послѣднимъ статистическимъ вычисленіямъ, число лужицкихъ сербовъ (вендовъ) простирается до 175.000 человекъ.

³¹⁾ Кроаты (хорваты)—славянское племя, ближе всѣхъ родственное славонцамъ и составляющее вмѣстѣ со Славоніей и прежней кроатско-славонской Военной Границею владѣніе Австро-Венгріи, подступающее на югъ къ Адриатическому морю. Кроаты поселились въ этой мѣстности около 640 г. по Р. Хр. и съ 806 г. подпали подъ власть Франконіи, съ 864-го—Византіи, а съ 1075 г.

мѣ всѣхъ своихъ коренныхъ названій, именовался въ русскомъ народѣ этотъ мѣсяць и Василь-мѣсяцемъ—отъ св. Василія Великаго, памятуемаго 1-го января,—и переломомъ зимы. „Еноуарь мѣсяць, рекомый просинець“,—писали старинные русскіе книжные начотчики; а народъ приговаривалъ въ ту пору, какъ и въ наши дни: „Январь—году начало, зимѣ середка!“, „Январь два часа дня прибавить!“, „Январь на порогѣ—прибыло дня на куриный шагъ!“, „Январь трешить—ледъ на рѣкѣ впрѣсинь красить!“, „Январю-батюшкѣ—морозы, февралю—мятелица!“ и т. д. Въ первыя времена церковнаго лѣтосчисления былъ на Руси январь-мѣсяць одиннадцатымъ по счету (годъ начинался съ марта); позднѣе,—когда новолѣтіе (см. гл. XXXVI) стало справляться въ сентябрьскій Семень-день,—пошелъ онъ за пятый; XVIII-й вѣкъ засталъ его, по крутой волѣ Великаго Царя-Работника, первымъ, съ 1700 года, изъ двѣнадцати братьевъ-мѣсяцевъ.

Кончается годъ Васильевымъ вечеромъ („богатый“, „щедрый“ вечеръ, также—„Авсень“, „Овсень“, „Усень“, „Таусень“), Васильевымъ днемъ начинается. 1-е января—Новый Годъ—слыветъ въ народѣ за „Василъ-день“, а по мѣсяцеслову Православной Церкви посвящается не только чествованію св. Василія Великаго, архіепископа кесарійскаго, но и празднованію Обрѣзанія Господня. „Свинку да боровка—для Васильева вечерка!“—говоритъ деревня, приговаривая: „Въ Васильевъ день—свиную голову на столъ!“ Считается чествуемый въ этотъ день святитель покровителемъ свиноводовъ. „Не чиста животина свинья“,—можно услышать въ народѣ,—„да нѣтъ у Бога ничего нечистаго: свинку-щетинку огонь палить, а Василій-зимній освятить!“ Слыветъ починающій годъ Василій за „зимняго“—въ отличіе отъ Василія-капельника (день 7-го марта), Василія-теплаго, памятуемаго 22-го марта, и Василія Парійскаго,—на котораго (12-го апрѣля) „весна землю парить“. По народной примѣтѣ, звѣздистая ночь на Василь-день обѣщаетъ богатый урожай ягодъ. Святи-

образовавшіе самостоятельное королевство, въ 1091-мъ покоренное Венгрію. 1527-й годъ ознаменовался въ судьбахъ этого народа новою кратковременною самостоятельностью: Фердинандъ I Габсбургскій былъ провозглашенъ королемъ кроатскимъ. Въ 1592-мъ году часть кроатскаго королевства была завоевана турками, а затѣмъ—въ 1699-мъ году—Турція уступила Австріи эту часть въ числѣ другихъ земель по Карловицкому миру. Въ 1809—13 г.г. Кроатія была присоединена къ иллирійскимъ провинціямъ, уступленнымъ Наполеону I-му. Съ 1849 по 1868-й годъ она составляла, вмѣстѣ со Славоніей, береговою областью и Фіуме, самостоятельную коронную землю, въ 1868-мъ году вновь соединенную съ Венгріей, а въ 1881-мъ къ послѣдней присоединена и Словацкая пограничная область.

тель Василий Великий — не только покровитель свиноводства, но и хранитель садовъ отъ червя и ото всякой по́махи. Потому-то и принято у садоводовъ, придерживающихся дѣдовскихъ обычаевъ, встряхивать утромъ 1-го января плодовые деревья. Встряхиваютъ они яблони-груши, а сами приговариваютъ: „Какъ отряхиваю я, рабъ Божій (имя рекъ), бѣль-пушистъ снѣгъ-иней, такъ отряхнеть червя-гада всякаго по веснѣ и святой Василиі! Слово мое крѣпко. Аминь“. Хоть, по народному повѣрью, и скрадываютъ вѣдьмы мѣсяць, на Василь-вечерь, но никакими хитростями не укоротить дня темной силѣ лукавой: день ростеть, ночи Богъ росту убавляетъ — что ни сутки, всё примѣтнѣе. Приходитъ св. Василий Великий въ народную Русь на восьмой день Святкоѣ, въ самый разгаръ гаданій святочныхъ. „Загадаетъ дѣвица красная подѣ Василья, — все сбудется, а что сбудется — не минуется!“ — говорятъ въ деревнѣ, твердо вѣрящей въ силу гаданія, приурочиваемаго къ этому вѣщему дню. Многое-множество обычаевъ было связано въ народномъ воображеніи съ Васильевыми вечерами; не мало дошло ихъ и до нашихъ забывчивыхъ, недовѣрчиво относящихся ко всему старому, дней. И теперъ мѣстами, по заходустнымъ уголкамъ Руси великой, отголоскомъ стародавней обрядности — блюдутся такіе обычаи, какъ варка „Васильевой каши“, засѣваніе зерна, или хожденіе по домамъ. Васильева каша варится спозаранокъ, еще до бѣлой зорьки. Крупу беретъ большуха-баба изъ амбара за полночь; большакъ-хозяинъ приноситъ въ это-же время воды изъ колодца. И ту, и другую ставятъ на столѣ, а сами всё отходятъ поодаль. Растопится печь, приспѣетъ пора затирать кашу, семья садится вокругъ стола, стоитъ только одна большуха (старшая въ домѣ), — стоитъ, размѣшиваетъ кашу, а сама причетомъ причитаетъ: „Сѣяли, росли гречу во все лѣто, уродилась наша греча и крупна, и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царь-градъ побывать, на княжой пиръ пировать; поѣхала греча во Царь-градъ побывать со князьями, со боярами, съ честнымъ овсомъ, золотымъ ячменемъ; ждали гречу, дожидали у каменныхъ вратъ; встрѣчали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый столъ пиръ пировать; пріѣхала наша греча къ намъ гостевать“... Вслѣдъ за этимъ причетомъ хозяйка беретъ горшокъ съ кашей, всё встаютъ изъ-за стола: каша водворяется въ печи. Въ ожиданіи гостя-каши коротаютъ время за играми, за пѣснями да за прибаутками всякими. Но вотъ она и поспѣла. Вынимаетъ ее большуха изъ печки, а сама опять — съ краснымъ словцомъ своимъ: „Милости просимъ къ намъ во дворъ

со своимъ добромъ!“. Всѣ принимаютъ оглядывать горшокъ: полонъ-ли. Ходить по людямъ повѣрье, гласящее, что, „если ползетъ вонъ изъ гнѣзда Васильева каша—жди бѣды всему дому!“. Не хорошо также, коли треснетъ горшокъ: не обойтись тогда хозяйству безъ немалыхъ прорухъ! Снимутъ пѣнку, и—опять новое предвѣщаніе: краснѣ каша упрѣтеть—полная чаша всякаго счастья-талана, бѣлая—всякое лихо нежданое. Если счастливыя примѣты—сѣдятъ кашу дочиста, худыя—вмѣстѣ съ горшкомъ въ прорубь бросаютъ. Въ засѣваніи „Василь-зерна“ принимаютъ наибольшее участіе ребята малые. Жито—преимущественно яровое—разбрасывается ими по полу избы. Ребята разбрасываютъ зерна, а большуха—знай подбираетъ да приговариваетъ: „Уроди, Боже, всякаго жита по закромѣ, да по великому, а и стало-бы жита на весь міръ крещонный!“. Чѣмъ скорѣе подберетъ баба, тѣмъ будущій урожай спорѣе! Эти зерна бережно хранятся до посѣва яровины и подмѣшиваются въ сѣмена. Въ малорусскомъ краю дѣтвора на Василь-день передъ обѣднями бѣгаетъ по селу, ходитъ по-подоконью, рукавами трясетъ, зерномъ соритъ. При этомъ иногда распѣвается и присвоенная обычая, сложившаяся въ стародавніе годы, звучащая простодушной вѣрою, пѣсенка:

„Ходить Шля на Василья,
Носить тугу житяную.
Де замахне—жито росте,
Житу пшеницю всяку пашницю,
У полѣ ядро, а въ домѣ добро!“.

Въ Рязанской и Костромской губерніяхъ въ 30-хъ—40-хъ годахъ было повсемѣстно въ обычаѣ ходить на Васильевъ святъ-вечеръ по домамъ. Дѣвушки красныя да парни молодые обхаживали въ это время окна, выпрашивая пироговъ со свиною. Все выпрошенное собиралось въ лукошко и сѣдилось на веселой бесѣдѣ всѣми собиравшими, подъ пѣсни подблюдныя да игры утѣшныя. Въ смоленской округѣ и теперь еще раздаются на Василь-день умильныя, величающія святителя, словеса стиха духовнаго, передаваемого отъ поколѣнія къ поколѣнію калитъ-перехожихъ: „Изліяся благодати въ уста твои, очи, ты былъ еси пастырь добрый, Василіе святой отче, научивъ балванцы вѣровати Богу Троицы. Когда демонъ за женой въ ладію записаль, тогда святой Василій прочь бѣса отогналъ. Плачетъ-молитъ Кесарія, вѣрно проситъ Василія, чтобъ бѣса отогналъ:—Святителю Василій, отче щедротливый! Молюсь тебѣ, пастырь добрый, будь мнѣ милостивъ:

записался мужъ мой Ницыпору пекольному своею кровію!— Глаголахъ святой Василій мужу:— Человѣче, бойся Бога, согрѣшилъ еси много, отъ Отца отъ Бога отступилъ, Сына Божія похулилъ“... Этотъ—неоконченный—стихъ представляетъ искаженный пересказъ древней повѣсти о чудѣ Василя Великаго надъ Евладіемъ, совершенномъ по просьбѣ жены послѣдняго—Керасіи. Евладій превратился, въ устахъ убогихъ пѣвцовъ, во „въ ладію“, керасія-жена—въ „Кесарію“, Люциферъ—въ „Ницыпора“ и т. д. Существуютъ разносказы-перепѣвы этого стиховнаго сказанія и въ Могилевской губерніи, болѣе законченные. Вотъ заключительная часть одного изъ нихъ, могущая до извѣстной степени служить окончаніемъ приведеннаго выше: „Замкнуу святой Василій Евладію въ домъ свой, а самъ пошоу молитися ке своему Богу:— Помилуй мя, Боже отче и всего свѣту ты нашъ творче! Ты пощедрай мене и помилуй мене.—Кайся гряхомъ, человѣча, и покуты держися, Сотворителю своему со слезами молися, штобъ тебя враги не вловили и въ огонь вѣчный не вкинули: тамъ будешь горѣть! Демонъ речить Василю:— Не чини намъ пакости, іонъ самъ жа намъ записауся за своею слабостію. Тяперь ты у насъ отбираешь, въ руцы намъ яво не даваешь, мужа нашего!..—Славимъ славы прославляемъ, прочь демоновъ отгоняемъ. Записано забѣгаетъ, вокругъ церкви оступаетъ, въ окно письмо ѣнь бросаетъ, на Кесарію наричаютъ, Евладію проклинають, слугу своего.—Согрѣшиу я (говорить Евладій), отче, предъ тобою, ты змилиуся надо мною, не вдостойнъ быти слугою. Сотворителю мой, избавителю мой!..“

За Васильевымъ—„Селиверстовъ день“ (память св. Сильвестра, папы римскаго). По старинному повѣрью, записанному въ симбирскомъ Заволжѣ: „Святой Селиверствъ гонить лихоманокъ-сестеръ за семьдесятъ семь верствъ“. Не только на землѣ зимой студено-морозно,—гласить народная молвь,—но и подъ землею: выгоняетъ морозъ лихихъ сестеръ изъ самага ада. Бредутъ онѣ, отъ села къ селу, — въ избу на даровое тепло просятъ, нищими-убогими прикидываются: двѣнадцать сестеръ—лихорадка, лихоманка, трясуха (трясавица), гнетуха (огневица), кумоха, китюха, желтуха, блѣднуха, ломовая, маяльница, знобуха, трепуха, и всѣ двѣнадцать—„сестры Иродовы“. Заберется лихоманка въ избу, „найдетъ виноватаго“ и—давай издѣваться надъ нимъ: на смерть затрясетъ-зазнобитъ. Бываетъ, что стоитъ такое лихо за дверью (и тощее оно,—по словамъ бабушекъ-старушекъ, досужихъ повѣдушекъ,—и слѣпое, и безрукое),—стоитъ, поджидаетъ: кто-то выйдетъ повиноватѣе. Только и оберечься мож-

но отъ такихъ гостеекъ незваныхъ-непрощеныхъ, что „четверговой солью“, либо золой изъ семи печей да „землянымъ углемъ изъ-подъ чернобыльника“. Есть всѣ эти снадобья зазнамыя у ворожеекъ-бабокъ, умѣютъ онѣ „смыть“ ими лихоманокъ съ дверной притолоки. Зовутъ радѣльныя-заботливыя о семьѣ хозяйки свѣдущихъ старушекъ о Селиверстовѣ днѣ съ поклонами да съ посулами: только избавь-де отъ напасти! Стараются вѣдуньи, и все-то съ молитвою ко святому гонителю сестеръ Иродовыхъ.

Минуть „Селиверсты“, за ними—по тореному слѣду „Гордей“ идутъ въ народную Русь. Къ этому дню безъ гвоздей прибилъ, безъ клею приклеилъ охочій на красную мольв летучую народъ-пахарь цѣлую стаю своихъ словъ крылатыхъ, въ родѣ: „Гордымъ быть—глупымъ слыть!“, „Гордымъ Богъ противится, а смиреннымъ благодать даетъ!“, „Въ убогой гордости дьяволу утѣха!“, „На Гордей-богатеѣ и бѣдный чортъ въ аду кипучую смолу возить!“, „Во всякой гордости чорту радости!“, „Сатана гордился—съ неба свалился! Фараонъ гордился—въ морѣ утопился! А мы гордимся—куда годимся?“, „Смирение—паче гордости!“ и т. п. Кромѣ мученика Гордея—на 3-е января приходится память пророка Малахиі. По памятуемому знающими всякое слово повѣрью, „въ Малаховъ день можно отчитать каженника“ (каженникъ—испорченный, припадочный). Благочестивая старина совѣтуетъ молиться за этихъ несчастныхъ святому пророку—„нести Малахиі молебное челобитье“; суевѣрные люди предпочитаютъ звать къ себѣ для этого дѣла знахарей. Какъ и чѣмъ можетъ исцѣлить вѣдунъ-знахарь „порченаго“,—деревня не знаетъ. „На то онъ и знахарь, чтобъ его никто не понялъ!“—говоритъ она, но всё еще вѣрять въ силу его заклинавій. „Знахари-то говорить—какъ городъ хородятъ!“—приговариваетъ добродушный мужикъ-простота.

„Ѳеклистовъ день“—4-е число, память преподобнаго Ѳеоклиста—славится наиболѣе причудливыми гаданіями святочными. „Святой Ѳеклисть гадать рѣчиствъ“,—пріурочена къ этому дню поговорка: „красно гадаеть—никто по самую смерть не разгадаеть!“ Деревенское суевѣріе совѣтуетъ—„на Ѳеклиста зашивать въ ладамку чертополохъ-траву“ и посить ее на шеѣ, у креста—для огражденія отъ всякой „притки-порчи“. „Кто хочеть быть цѣль въ дорогѣ“,—тотъ тоже запасается этимъ травянымъ зеліемъ. За Ѳеклистовымъ днемъ—крещенскій сочельникъ, за нимъ—„Водокреци“-Богоявленіе; и о томъ, и о другомъ—свой особый сказъ (см. гл. IX). Въ седьмой съ восьмымъ дни января-просинца—„отдалье Святокъ“, веселыя

головушки послѣ праздниковъ опохмѣль держать: 7-го вѣдь тоже праздникъ—соборъ св. Іоанна Крестителя, а недаромъ живеть пословица— „Кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ!“ 8-го января— „Василисы зимнія“, „Емельяны-перезимники“ (память Емельяна преподобнаго и Василисы—мученицы). Кого треплетъ неотвязная застарѣлая лихорадка, того, по словамъ народныхъ лѣчеевъ, можно вылѣчить въ этотъ день травой— „лихоманникомъ“ (она же соколій-перелеть, толстушка, ископытъ, козакъ, семигодникъ, уразная, лиходѣй, Петровъ-крестъ, сердечная); въ Вятской губерніи такъ и зовутъ эту траву „Василисой“. Туляки-дулеѣды примѣчали встарину, что, если „на Амельяна подуетъ (вѣтеръ) съ Кіева“, то „быть лѣту грозному“. По многимъ мѣстамъ велся еще въ недавніе годы обычай угощать на Емельяна-Василису кума съ кумой: это, по примѣтѣ, приносить здоровье крестникамъ. Если на Павла Обнорскаго (10-го января) на стоги со скирдами падеть бѣль-пушистъ иней—быть, говоритъ деревня, лѣту сырому да мокрому. За этимъ днемъ—два Ѳеодосія помнятъ Православной Церковью: преподобный Ѳеодосій Великій да Ѳеодосій Антиохійскій. „Ѳеодосѣвы морозы—худосѣи: яровымъ сѣвъ поздній будетъ!“, „Ѳеодосѣво тепло—на раннюю весну пошло!“—говорятъ не лаящіе въ карманъ за словомъ сельскіе говоруны, до всякой примѣты дознавшіеся. 12-го января—Татьянинъ день: „Татьяна-крещенская“, по народному слову. „На Татьяну проглянетъ солнышко рано—къ раннему прилету птицъ“. Пройдутъ за Татьянами слѣдомъ двое сутокъ, а тамъ—и январю переломъ: день св. Павла Ѳивейскаго (15-е число). Звѣздная ночь съ этого дня на слѣдующій—къ урожаю льна. 16-го января—Ненилинъ день, (память мученицы Леониллы); а эта святая такъ и слыветъ „леносѣйкою“.

На шестнадцатый день января-мѣсяца, кромѣ памяти св. Леониллы, приходится церковный праздникъ поклоненія веригамъ апостола Петра, слывущій въ народной Руси за „Петра-полукорма“. Къ этому времени студеному выходить, по наблюденіямъ сельско-хозяйственнаго опыта, половина зимняго корма для скота. Съ давнихъ поръ почти повсемѣстно соблюдается обычай осматривать на Петра-полукорма запасы сѣна и соломы. Если осталось больше половины, то примѣта позволяетъ ждать на лѣто обильныхъ кормовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ принято прикидывать на глазъ 16-го января не только корма, но и жито въ амбарахъ. Излишекъ запаса—также сулить домовитому мужику доброе-хорошее. Богобоязненные люди привыкли заказывать въ этотъ день молебны апостола Петру: это, по ихъ словамъ, обезпечиваетъ урожайный годъ.

Петръ полукормъ считается въ иныхъ мѣстахъ захоластной Руси однимъ изъ покровителей скота, — хотя и не такимъ могучимъ, какъ Егорій (Юрій) съ Власіемъ.

Кормъ для домашней животины, составляющей все богатство крестьянина-землепашца, великое дѣло: о немъ — не меньшая забота у мужика, чѣмъ о хлѣбѣ насущномъ для семьи. Длинный рядъ не лишенныхъ живой образности присловій, сложившихся въ народѣ, служитъ явнымъ свидѣтельствомъ этого. „Либо корму жалѣть, либо — лошадь!“ — гласитъ съдая простонародная мудрость: „Безъ хлѣбнаго корму лошадь на кнутѣ ѣдетъ!“, — добавляетъ она и продолжаетъ: „Не торопи ѣдой, торопи кормомъ!“, „Кормна лошадь — добра, богатъ мужикъ — умень!“; „Умѣешь ѣздить, умѣй и кормить!“; „Лошадь бѣжить, корова молокомъ поить, овечка шерсть бабѣ дарить, а всѣ думаютъ: спаси Богъ того, кто насъ кормитъ!“, „Есть у лошади кормъ, будетъ и у мужика въ полѣ хлѣбъ!“, „Бѣда велика, когда у мужика подводитъ съ голодухи бока, а нѣтъ больше бѣды, когда и хозяинъ голоденъ, и у скотины безкормица!“, „Накорми лошадку — самъ спасибо ей скажешь: сытъ будешь!“, „Кого кормишь, возлѣ того и самъ, ничего нѣ видя, прикармливаешься!“.

О Петрѣ-полукормѣ вспоминаетъ деревня не только въ его святъ-день. Еще въ началѣ ноября, отбирая ленъ на продажу, приговариваютъ мужики: „Коди есть (во льну) метла да костра, то будетъ хлѣба до Петра, а синець и звонецъ доведутъ хлѣбу конецъ!“ Глубокій знатокъ родной словесной старины, И. П. Сахаровъ, такъ объясняетъ это присловье народное (псковское). „Метла“ (метлина) и „костра“ (кострика) — какъ предметы малоцѣнные въ льняной торговлѣ — не сулятъ льноводу завиднаго прибытка: на вырученныя за такой ленъ деньги можно прикупить въ нехлѣбородный годъ хлѣба такъ немного, что его достанетъ семьѣ только до половины января (до Петра-полукорма). Известно, что псковской мужикъ и въ урожайные-то годы сытъ не хлѣбомъ, а льномъ. Если-же и ленъ уродится синій (синець), а не „бѣль-волоконистъ“, какъ поется въ пѣснѣ, да еще и „звонецъ“ (издающій особый звукъ при трепаніи), — то останется только за котомку взяться да идти по-міру: такой ленъ ничего не обѣщаетъ кромѣ худого торго да безхлѣбницы.

За Петромъ-полукормомъ — „Антоны-перезимніе“: день предподобнаго Антонія Великаго. Къ этому святому прибѣгаетъ деревеньщина-посельщина съ молитвою противъ „Антонова огня“, а также и отъ рожжи-болѣсти. У пинчуковъ — обитателей Пинскаго поболѣтья — записанъ любопытный стихъ духов-

ный, обращенный къ этому угоднику Божию. „О, свенты Антони“, — начинается онъ, — „чыны свою волю, яко можешь!“ Затѣмъ, слѣдуетъ отвѣтъ св. Антонія: „Могъ бы я чынити, да не моя воля, Господа Бога!... Ой ишли казаки своявольнички, загнали въ пальцы смоловы спицы, кусонки помяли, ноженьки повяли. Якъ заснувъ я смачно, то всѣмъ людямъ значно. Остроги копайте и мене шукайте, уложите мене въ новую трунку, да везите мене на чужу сторунку, да поставте мене въ церкви на пристолку: то будутъ до мене люди прыбывати, мушу я имъ ратунку давати, и въ щастю и въ нещастю, всякому тrefунку, мушу я имъ каждому давати ратунку, хоть я нехорошы, хоть я неудалы, абы я лежу у небеснуй хвалы...“ Стихъ этотъ, въ немалой степени испорченный польскими наслоеніями, всетаки сохранилъ нѣкоторую долю простонародной свѣжести.

Антоніевъ день смѣняется „Аѳанасіемъ-ломоносомъ“: 18-го января—память св. Аѳанасія и Кирилла, архіеп. александрійскаго. „Идетъ Аѳанасій-ломоносъ — береги, мужикъ, свой носъ!“ — встрѣчаетъ деревня смѣшливымъ прибауткомъ этотъ примѣтный день. „Аѳанасьевскіе морозы шутокъ шутить не любятъ!“ — приговариваютъ охочіе, краснословы особливо изъ отправляющихся объ эту пору обозомъ въ путь-дорожку не близкую. „На Аѳанасія пуще всего носъ береги — не увидишь, какъ отломится!“ — смѣются бабы, на ребятишекъ глядячи; а тѣмъ и горя мало: знай — вдоль по улицѣ бѣгаютъ, игры заводятъ... Гораздо страшнѣе аѳанасьевскіе морозы для вѣдъмъ: не любить ихъ сестра этого времени, знаетъ, что это за грозный день. На Аѳанасья-ломоноса знахари вѣдъмъ со Святой Руси гонятъ, — гласитъ народное сказанье. Недаромъ говорятъ, что „умѣючи, и вѣдъму бьютъ!“ Житья нѣтъ тамъ, куда повадится летать вѣдъма, — вотъ и приходится кланяться знающему человѣку, просить помочи въ горѣ, выволить изъ бѣды. Всего охотнѣе берутся за это дѣло знахари въ аѳанасьевскіе морозы: во время нихъ, по преданію, „летаютъ вѣдъмы на шабашъ и тамъ теряютъ память отъ излишняго веселія“. Приглашенный на изгнаніе вѣдъмы знахарь ночью приходитъ къ зовущему, — свѣдомы объ сего приходѣ только большакъ-хозяинъ съ хозяйкою: безъ соблюденія этого условія ничего не выйдетъ, по увѣренію знахарей. Въ полночь приступаетъ вѣщій гость къ выполненію обряда: начинается заговаривать трубы, — такъ-какъ вѣдъмы влетаютъ въ жилье только этой дорогою. Подъ „князекъ“ забиваетъ онъ клинья, разсыпаетъ по „загнеткѣ“ заранѣе собранную изъ семи печей золу и послѣ этого отправляется къ деревен-

ской околицѣ. Здѣсь онъ тоже сыплеть золу, приговаривая невнятные слова никѣмъ не записаннаго заговора. Рассказываютъ, что вѣдьма, желая нанести кому-нибудь вредъ, влетаетъ въ трубу; но, какъ только будетъ труба заговорена, то весь домъ и дворъ уже свободны отъ ея проказъ. Знакомые съ преданіями суевѣрной старины люди знаютъ въ точности и путь, избираемый вѣдьмами въ ихъ полетахъ на шабашъ и съ шабаша. Прежде всего летятъ онѣ на-полдень—къ Лысой горѣ, а оттуда тянутъ ихъ на закатъ. Западную изгородь сельскую и заговариваютъ знахари, призванные изгонять вѣдьмъ. Подлетитъ вѣдьма, только-что вылетѣвшая изъ заговоренной трубы,—сунется къ изгороди, и тутъ ей свободаго ходу нѣтъ: или бросится лихая за тридевять земель отъ села, или разобьетъ себѣ голову,—если только ступить голой ногою на рассыпанную золу семипечную. Одариваютъ знахаря всякимъ добромъ за его мудреную работу.

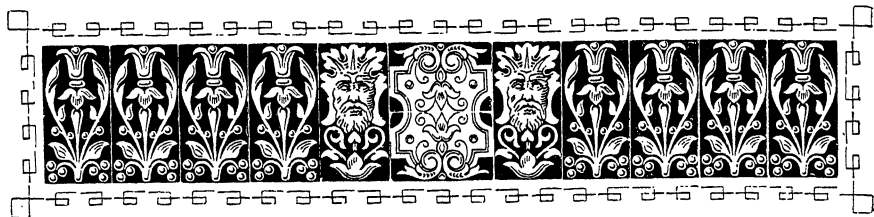
Черезъ сутки послѣ Аѳанасія-ломоноса зорко приглядываются къ погодѣ сельскіе поговорѣды: если 20-го января, на Макарія Египетскаго, поднимется мятель, то слѣдуетъ ждать ея и во всю масляную недѣлю. „Помело метлой на Масляницу, прѣдетъ осударыня Масляница со мятелицей-сестрицею!“—говорятъ они. Ясный, солнечный, Макарьевъ день предвѣщаетъ раннее наступленіе весны. Максимъ-исповѣдникъ (21-е число), ничего не говоря о судьбахъ погоды, переноситъ въ-щее народное воображеніе на вѣковѣчную думу пахаря—на урожай: взойдетъ, затуманившись, свѣтѣль-мѣсяцъ, изъ-за облачка глянетъ на святорусскую ширь безпредѣльную,—доброе будетъ жито въ полномъ закрому; а если не проплыветъ этимъ утромъ ни тѣни облачной по небу,—и въ амбарѣхъ будетъ пусто по осени.

Есть аѳанасьевскіе морозы; знаетъ народъ русскій и тимоеевскіе. „Это не диво, что Аѳанасій-ломоносъ морозитъ носъ, а ты подожди Тимоѳея-полузимника (22-е января, день апостола Тимоѳея): пожди тимоеевскихъ морозцевъ!“—говорятъ въ деревнѣ. Придетъ „полузимникъ“, разрубающій студеную зиму пополамъ: „Каковъ на дворѣ морозъ-отъ! Слышь, тимоеевской!“—приговариваютъ мужики, похлопывая рукавицами: „Вотъ они и пришли—полузимники-то!“

Въ январѣ подѣдаются до половины не только корма у скотины, а и хлѣбъ у мужика: не одни „Петры-полукормы“ приходятъ въ народную Русь, но и „Аксиньи-полухлѣбницы“ (24-е января, день преподобной Ксеніи). Особливо памятенъ этотъ день тому хозяину, у котораго, по поговоркѣ, „хлѣбодовъ полна изба, а работниковъ самъ-одинъ“. Примѣта,

провѣренная многовѣковымъ опытомъ, приводитъ пахаря-хлѣбороба къ тому заключенію, что — „коли до Аксиньи-полухлѣницы жита хватить, то до новыхъ новинъ станетъ (останется) половина, а до корма (подножнаго)—треть“.

Съ послѣдней недѣлею января-мѣсяца (25—31-я числа) не связано въ современной деревнѣ особыхъ примѣтъ и обычаевъ, Исключеніемъ является только двадцать-восьмой, Ефремовъ день, который посвящался встарину „униманію домового“. Для выполненія этого, и теперь еще кое-гдѣ памятнаго, обряда приглашались такіе-же знахари-вѣдуны, какъ на Аѳанасіа-ломоноса. И летѣли вѣщими птицами ихъ причеты заговорные навстрѣчу новому мѣсяцу—февралю-бокогрѣю.



IX.

Крещенскія сказанія.

Шумятъ веселья Святки,—отъ самаго дня Рождества Христова до праздника Крещенія Господня играми да плясками, да пѣснями на свѣтлорусскомъ просторѣ привольномъ потѣшаются, вѣщими гаданіями честному люду православному тайныя велѣнія судебъ открываютъ. Гудятъ пиры-бесѣдушки затѣйныя, зеленѣмъ-виномъ поливаются, плещутъ пивомъ, брагою, медами ставлеными. Что ни день на Святкахъ—то свои повѣрья, что ни часъ—новый сказъ, корнями живучими приросшій къ сердцу народному. Гуляетъ—„святѣшничаетъ“ любящая „веселіе“ матушка-Русь; положено дѣдами, прадѣдами заповѣдано гулять-веселиться широкой русской душѣ по всему святочному обычаю. И словно воскресаетъ на эти дни, сбрасываетъ съ тысячелѣтнихъ плечъ саванъ вѣкового забвенія старина стародавняя. День Крещенія Господня (Богоявленіе) Святки кончаетъ, надъ праздничными гулянками крестъ ставитъ, до широкой-разгульной Масляницы съ многошумнымъ весельемъ прощается.

Канунъ Крещенья, какъ и рождественскій, слыветъ сочельникомъ и тоже—день—день постный, по уставу Православной Церкви; но одновременно это—главный день святочныхъ гаданій. Проводитъ его русскій народъ не только въ постѣ да молитвѣ, но и въ сыновнемъ общеніи съ неумирающими пережитками изычески-суевѣрнаго былого-минувшаго. Вѣрный христіанскому преданію, держитъ онъ строгій постъ, не принимая никакой пищи вплоть до вечерни, несетъ домой изъ храма Божія освященную богоявленскую воду и считаетъ ее цѣлебною ото всякихъ болѣстей; памятуя вѣковые обычаи пред-

ковъ, отдаеть онъ—о-бокъ съ этимъ—щедрую дань и своему суевѣрью.

Вечеръ подь Крещенье, подавая вѣсть о близящемся концѣ Святокъ, заставляетъ красныхъ дѣвушекъ вспоминать обо всѣхъ знакомыхъ деревенскому люду гаданьяхъ. Звончѣй-голосистѣ поются на бесѣдахъ и пѣсни святочныя—подблюдныя. Затѣйливѣй, сами-собою, становятся и святочныя игры обрядовыя. А старикамъ со старухами, которымъ уже много лѣтъ назадъ надоскучило и пѣть-играть, и рядиться-святошничать,—своя забота объ эту пору. Первѣе всего—ставять они мѣломъ на всѣхъ дверяхъ, на всѣхъ оконныхъ рамахъ знаки креста, чтобы оградить свое жильѣ отъ посѣщенія бѣсовскаго. Ходить-гуляетъ въ этотъ вечеръ нечистая сила, всякимъ оборотнемъ прикидывается, въ избу попасть норовитъ на пагубу святошничавшему народу православному. И одна защита противъ нея,—гласить народное слово,—святой крестъ Господень, передъ которымъ распадается во прахъ все могущество лукаваго. Не начертай въ крещенскій сочельникъ креста у себя на дверяхъ, позабуди объ этомъ строго соблюдаемомъ на Руси,—не только въ деревенской глуши, но и въ большихъ городахъ,—обычай: быть худу, жди бѣды!—по увѣренію строгихъ блюстителей прадѣдовскихъ преданій.

Лютуетъ подь Крещенье—больше всей другой нечисти подонной—Огненный Змѣй. И наособицу противъ него-то и ограждается теперь русскій мужикъ-простота. Полетитъ чудище надъ деревней, гдѣ ни глянетъ—повсюду кресты блѣютъ, и останется ему только разсыпаться огненнымъ дождемъ надъ снѣгами глубокими, одѣвающими Мать-Сыру-Землю. Тульское повѣрье въ яркихъ чертахъ выдвигаетъ изъ мглы забываемаго въ городахъ суевѣрія обликъ этого дѣтища народнаго воображенія. „Извѣстно всѣмъ и каждому на Руси, что такое за диво Огненный Змѣй. Всѣ знаютъ, зачѣмъ онъ и куда летаетъ“,—начинаетъ краснорѣчивый сказатель свою рѣчь о немъ. „Огненный Змѣй—не свой братъ; у него нѣтъ пощады: вѣрная смерть отъ одного удара. Да и чего ждать отъ нечистой силы! Казалось-бы, что ему незачѣмъ летать къ краснымъ дѣвицамъ; но поселяне знаютъ, за чѣмъ онъ летаетъ, и говорятъ, что, если Огненный Змѣй полюбитъ дѣвицу, то ея зазноба неисцѣлима вовѣкъ. Такой зазнобы ни отчитать, ни заговорить, ни отпсать никто не беретъ. Всякой видитъ, какъ Огненный Змѣй летаетъ по воздуху и и горитъ огнемъ неугасимымъ, а не всякой знаетъ, что онъ, какъ скоро спустится въ трубу, то очутится въ избѣ молодцомъ несказанной красоты. Не любя, полюбишь, не хвала,

похвалишь,—говорят старушки, когда завидитъ дѣвица такого молодца. Умѣетъ оморочить онъ, злодѣй, душу красной дѣвицы привѣтами; усладить онъ, губитель, рѣчью лебединою молоду молодицу; заиграетъ онъ, безжалостный, ретивымъ сердцемъ дѣвичьимъ; затомитъ онъ, ненасытный, ненаглядную въ горючихъ объятяхъ, растопитъ онъ, варваръ, уста алые на меду на сахаръ. Отъ его поцѣлуевъ горитъ красна дѣвица румяной зарей; отъ его привѣтовъ цвѣтетъ красна дѣвица краснымъ солнышкомъ. Безъ Змѣя красна дѣвица сидитъ во тоскѣ, во кручинѣ; безъ него она не глядитъ на Божій свѣтъ; безъ него она сушитъ себя“. Цѣлый рядъ другихъ сказовъ объ этомъ чудищѣ можно отыскать въ памятникахъ народнаго слова (см. гл. „Змѣй-Горыныч“). Кромѣ начертаній креста, совѣтуютъ знающіе всю подноготную вѣдуны деревенскіе, насыпать на печную загнетку собраннаго въ крещенскій вечеръ снѣгу. Послѣдній и вообще занимаетъ почетное мѣсто въ народныхъ крещенскихъ повѣрьяхъ и обычаяхъ. Собираютъ его старики въ крещенскій сочельникъ за околицею, въ полѣ, — приносятъ домой, сыпятъ въ колодець. Это дѣлается для того, чтобы вода была въ колодцѣ всегда въ изобиліи и никогда не загнивала, бы. По деревенскому повѣрью, — у тѣхъ, кто не позабудетъ этого сдѣлать, хоть все лѣто не будь капли дождя, а колодець будетъ полнымъ-полнехонекъ. Берегутъ натаившую изъ крещенскаго снѣга воду и въ кувшинахъ—на случай болѣзни: эта вода, — гласитъ народное слово, — исцѣляетъ онѣмѣніе въ ногахъ, головокруженіе и судороги. Старухи думаютъ, кромѣ того, что—если sprыснуть снѣговою крещенскою водою холстину, то это такъ выбѣлитъ ее, какъ не сдѣлаютъ ни солнце, ни зола. Совѣтуютъ подбавлять крещенскаго снѣгу и въ кормъ лошадямъ, — чтобы не такъ зябки были; даютъ и курамъ, — чтобы занашивались пораньше. Умываются снѣговой водою поутру въ день Крещенія красныя дѣвушки, — чтобы безъ бѣлила бѣлыми быть, безъ румяна—румяными. Примѣчаютъ по крещенскому снѣгу и о погодѣ, и объ урожаѣ. „Снѣгу подъ Крещенье надуетъ—хлѣба прибудеть!“ — ведетъ рѣчь народная мудрость. „Много снѣгу—не мало и хлѣба!“ — приговариваетъ она! „Привалитъ снѣгу вплотъ къ заборамъ—плохое лѣто! Есть промезекъ—урожайное!“, „На какомъ амбарѣ плотнѣ снѣгъ—цѣлѣ въ томъ и багюшка-хлѣбъ!“

По старинной примѣтѣ сельско-хозяйственнаго опыта, если вечеромъ подъ Крещенье яркимъ свѣтомъ блеститъ на небѣ звѣздная розсыпь алмазная, — хорошо въ этомъ году овцы будутъ ягниться: „Ярки крещенскія звѣзды породятъ бѣлыя ярки („ярка“—овечка)!“ Если замететь на Крещенье мятель, —

будетъ снѣгомъ снѣжить чуть не до самой Святой. „Коли въ Крещенье собаки много лають, — будетъ вдоволь всякаго звѣря и дичи!“, — замѣчаютъ охотники. Коли на воду (на іордань) пойдуть въ туманъ, хлѣба будетъ невпрождъ много!“ — говорятъ примѣтливые погодовѣды: „Снѣгъ хлопьями — кѣ урожаю, ясно — кѣ недороду!“, „Коли прорубь на іордани полна воды — разливъ великъ будетъ!“, „Въ крещенскій полдень синія облака — кѣ урожайному году!“, „На крещенье день теплый — хлѣбъ будетъ темный!“.

Крещенскіе морозы слывутъ самыми жестокими, и недаромъ: зима собирается объ эту пору со всѣми силами. Но, несмотря на стужу, съ древнихъ временъ живетъ въ народѣ обычай купаться въ крещенской проруби-іордани. Купаются и тѣ, кто святошничаль-рядился о Святкахъ, — чтобы очиститься отъ грѣховной скверны въ освященной водѣ; купаются и просто — „для здоровья“. Последнее, однако, далеко таки не всегда оправдывается на дѣлѣ.

„Крещенье — Богоявленье“, — говоритъ народъ и повторяетъ преданіе, идущее отъ дней старины глубокой, связанное съ этими словами. По народной молвѣ, изстари вѣковъ свершается въ этотъ день чудо-чудное, диво-дивное: отверзается надъ іорданью небеса и сходитъ съ нихъ въ воду Истинный Христосъ. Не всѣмъ дано видѣть это, а только — самымъ благочестивымъ людямъ. Но, если помолится грѣшникъ святому небу въ это время, то сбудутся и его желанія. Есть повѣрье, что, если поставить подъ образами чашу съ водою да „съ вѣрою“ посмотрѣть на нее, — то вода, сама-собою, всколыхнется въ крещенскій полдень: осѣнить и освятить ее крещающийся Сынъ Божій. Сльветъ Крещенье во многихъ мѣстахъ и за праздникъ — „Водокреши“. „Отъ Оспожинокъ — до Водокрешей!“, — держать иногда ряду. „Отъ Водокрешей — до Евдокей живетъ семь недѣль съ половиной“. Красное словцо народное, встрѣчая крещенскую стужу, оговариваетъ ее словами: „Трещи не трещи, а минутъ и Водокреши (т.-е. тепло-то все таки возьметъ свою силу)!“ Не забываетъ народъ, что — если пошелъ январь-мѣсяцъ, то и за перезимье переваливаетъ уже время-то, а перезимье, по его крылатому слову, о веснѣ вѣсть подаеть.

Среди пѣсенныхъ сказаній, составляющихъ богоданное богатство убогихъ пѣвцовъ — каликъ-перехожихъ, есть нѣсколько приуроченныхъ къ празднику Крещенія Господня. Нѣкоторыя изъ нихъ передаютъ почти совершенно точно содержаніе евангельской повѣсти о Богоявленіи; другія являются

восторженнымъ славословіемъ Христу; третьи отступаютъ въ окруженную таинственностью область подсказанныхъ пытливымъ выраженіемъ сказочныхъ вымысловъ.

„На Иордань всѣхъ Спаситель
Днесъ прииде Искупитель.
Плещеть пророкъ руками:
Веселитесь, Господь съ вами!
Отець свыше возглашаетъ,
Рожденнаго возвѣщаетъ:
— Сей есть сынъ мой возлюбленный,
Во человѣка облеченный!“

Такою цвѣтистой запѣвкой начинался одно изъ нихъ. „Духъ-же свыше, аки птица низлетаетъ голубица, Отцу быти Сына равна изъясляетъ и преславна“,—продолжается оно, переходя отъ созвучія къ созвучію:—„Тварь бѣдная, веселися, яко къ тебѣ Спасъ явился. О, Адаме, простри очи, миновались темны ночи. Печали намъ вси престали, а радости быть начали. Слава Богу!—да воскликнемъ и къ Всещедрому приникнемъ. Кто сей стоитъ надъ водами? Восплещите вси руками: Христось Спасъ нашъ и Владыка прииде спасти человѣка.—Іоанне, чѣдъ стоиши и пришедшаго не крестиши? Почто дѣло продолжаешь, Христа Спаса не крещаетъ?—Боюсь азъ и трепещу,—хоть весель и плещу,—огню, сѣно, прикоснутись!—Съ чего тебѣ ужаснутись? Не бойся, рабъ, и крести Мя, Владыку, прослави Мя!—Христось тако возвѣщаетъ, Іоанна утѣшаетъ. Мы же къ Спасу крѣпкимъ гласомъ всѣ воскликнемъ днешнимъ часомъ: Слава Тебѣ, Искупитель, щедрый буди намъ Спаситель!“

Другое сказаніе простодушно повѣствуетъ о томъ, какъ „ходила Госпожа Пречистая землею и свѣтомъ“, а на рукахъ носила „своего Сына Христа Исуса“. Встрѣчаетъ Богоматерь на пути-дорогѣ „Крестителя-Ивана“,—встрѣтила и обращается къ нему со словами: „Ну-ка, Иванъ, кумъ мой, пойдемъ мы на воду Ердана, окрестимъ Христа, моего Сына!“ Согласился Иванъ-Креститель и „пришли на воду Ердана. Сталъ Иванъ своего крестника крестити: отъ страха у него выпала книга“. Спрашиваетъ—и „пытаетъ“ его Госпожа Пречистая о причинѣ страха. „Обезумѣлъ Ерданъ, вода студена, не хочеть вода приниматьъ въ себя; а весь лѣсъ на траву попадалъ: а взгляни-ка, кума, надъ собою: пачетверо небо словно разломилось!“ На эти слова Ивана-Крестителя держитъ отвѣтное слово Богоматерь: „А не бойся, Иванъ, кумъ мой, вода ума не теряла, вода, кумъ мой, забрала себѣсилу,

ибо отъ Христа она освятится; а лѣсъ—онъ Христу поклонился; а небо—оно не сломилось, ангелы небо растворили—поглядѣть имъ, какъ Христа мы крестимъ“... Послушалъ Креститель, „крестилъ святой Иванъ своего Иисуса-крестника: Иванъ Христа, а Христось—Ивана“. Вслѣдъ за этими трогательно-простодушными словами идетъ заключеніе, въ которомъ невольно чувствуется позднѣйшій разносказъ: „Оттолѣ крещенія настали: все по милости великаго Бога,—да будетъ Онъ намъ всегда въ помощь!“

Родственно съ только-что приведеннымъ сказаніемъ и слѣдующее—несравненно болѣе цвѣтистое по своему пѣсенному-картинному складу, чѣмъ оба предыдущія:

„Развивался святой лѣсъ зеленый:
 А то не святой лѣсъ былъ зеленый,
 Но была то свята церковь Софья,
 Поютъ въ ней ангелы шестокрылы;
 Пришла къ нимъ Марія, Святая Дѣва,
 На рукахъ держитъ Христа Бога истинна.
 Говорятъ ей ангелы шестокрылы:
 „Ради Бога, Марія Святая Дѣва!
 Ты поди въ тотъ садъ зеленый,
 Нарви Ты Божьяго Древа,
 Поди потомъ къ Крестителю-Ивану,
 Передъ нимъ Ты поклонися,
 Поцѣлуй Ты черную землю
 И тогда ему говори Ты:
 — Будь Мнѣ кумомъ ты, Иванъ-Креститель,
 Окрести ты Христа Бога истинна!“
 Ясное небо растворилось,
 Черная земля затряслася,
 Какъ крестили Христа Бога истинна“...

Съ праздникомъ Крещенія Господня связано въ народной Руси не мало повѣрій, относящихся къ судьбѣ человека,)
 Такъ, напримѣръ, если кто-нибудь крещенъ въ этотъ отвер-
 зающій небеса надъ землею день,—то, по слову народной
 мудрости, быть ему счастливейшимъ человекомъ на всю
 жизнь. Добрымъ преданаменованіемъ считается также, если
 устроится въ этотъ день рукобитье свадебное: въ мирѣ да
 въ согласіи пройдетъ жизнь новобрачной четы. Въ нѣкото-
 рыхъ мѣстностяхъ выходятъ вечеромъ въ Крещенье дѣвуш-
 ки окликать суженыхъ. Если попадется навстрѣчу имъ мо-
 лодой парень—быть добру, старикъ—надо ждать худа. Да и
 не перечестъ всѣхъ повѣрій, обступающихъ изукрашеннымъ

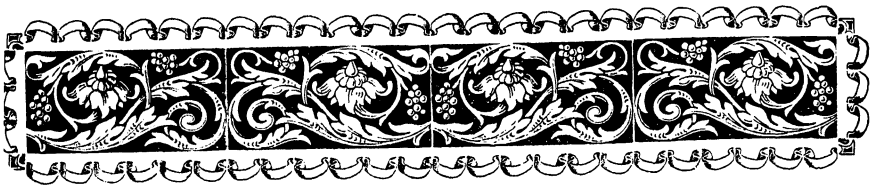
частвокомъ обычаевъ великій праздникъ Божій. Живуче яркое слово-преданіе богатыря-пахаря, не вымирають и простодушныя повѣрья его.

Еще въ концѣ первой половины XVII столѣтія писалъ царь Алексѣй Михайловичъ въ своей грамотѣ государевой шуйскому воеводѣ вообще о святочныхъ, а о крещенскихъ наособицу, пирахъ-игрищахъ: „... вѣдомо намъ учинилося, что на Москвѣ, напередъ сего въ Кремлѣ, и въ Китаѣ, и въ Бѣломѣ, и въ Земляномъ городѣ, и за городомъ, и по переулкамъ, и въ черныхъ, и въ ямскихъ слободахъ по улицамъ и по переулкамъ, въ навечери Рождества Христова кликали многіе люди Каледу и Усень, а въ навечери Богоявленія Господня кликали Плугу; да въ Москвѣ жъ чинится безчинство: многіе люди поють бѣсовскія сквернословныя пѣсни... ..да на Рождество Христово и до Богоявленьева дня собираются на игрища сборища бѣсовскія.....игрецы-скоморохи съ домбрами и съ дудами, и съ медвѣди ходять, и дару Божию хлѣбу поругаются, всяко животно скотское, и звѣрино, и птичье пекутъ. И мы указали о томъ учинить на Москвѣ и въ городѣхъ, и въ уѣздѣхъ заказъ крѣпкой, чтобы нынѣ и впредь никакіе люди по улицамъ и по переулкамъ, и на дворѣхъ въ навечери Рождества Христова и Богоявленья Каледѣ и Плугъ и Усеней не кликали и пѣсней бѣсовскихъ не пѣли.... А которые люди нынѣ и впредь учнутъ Каледу и Плуги, и Усени, и пѣть скверныя пѣсни, и тѣмъ людямъ за такія супротивныя неистовства быти отъ насъ въ великой опалѣ и въ жестокомъ наказаньѣ. И велѣно тотъ нашъ указъ сказывать всякимъ людямъ всѣмъ вслухъ, и бирючемъ велѣно кликати по многіе дни“... Съ той поры минули долгіе годы, исчезло изъ памяти народной понятіе о „супротивныхъ закону христіанскому“ Каледѣ, Плугѣ и Усени; но ставшія мертвымъ звукомъ имена ихъ попрежнему слышатся въ пѣсняхъ любящаго веселіе, сердцемъ приверженнаго къ стародавней старинѣ народа Эти имена, когда-то вызывавшія недовольство церковныхъ властей, видѣвшихъ въ нихъ пережитокъ язычества, въ настоящее время только придають цвѣтистость пѣсенному слову.

День Богоявленія ознаменовывался въ старой Москвѣ праздничнымъ царскимъ выходомъ, не имѣвшимъ себѣ подобнаго по торжественности. Со всей Руси былъ къ этому дню съѣздить боярь и всякаго чина именитыхъ людей въ Бѣлокаменную: и былъ этотъ съѣздъ ради царскаго лицезрѣнія, изъ охоты полюбоваться рѣдкимъ великолѣпіемъ торжества.

Чинъ крещенскаго освященія воды совершался патріархомъ

на Москва-рѣкѣ. Собиралось вокругъ „Иордани“ до четырех-сотъ тысячъ народа. Царь-государь шествовалъ въ большомъ нарядѣ царскомъ сначала въ Успенскій соборъ, а оттуда — на освященіе воды, среди стоявшаго стѣной ратнаго строя стрѣльцовъ, поддерживаемый столбниками изъ ближнихъ людей, оберегаемый „отъ утѣсненія нижнихъ чиновъ“ стрѣleckими полковниками въ бархатныхъ и обьяринныхъ фезезяхъ и турецкихъ кафтанахъ. Гости, приказные, иныхъ чиновъ люди и многое множество народа окружали шествіе вѣнценоснаго богомольца. Самое дѣйство освященія воды совершалось, за малыми исключеніями, такъ-же, какъ и въ наши дни. Но главнымъ отличіемъ являлась обступавшая его картина — съ патриархомъ и царемъ во главѣ. Возвращался крестный ходъ по прежнему чину. Царь-государь, отслушавъ въ Успенскомъ соборѣ отпускную молитву, шелъ въ свои палаты царскія. А на Москвѣ — „по улицамъ, по переулкамъ и во дворѣхъ“ — начиналось послѣднее празднованіе Святокъ. Люди почтенные принимались за пиры-бесѣды, молодежь — за пѣсни-игры утѣшныя, а гуляки, памятующіе предпочтительно передъ всѣмъ инымъ присловье „Чару пити — здраву быти!“ — за любимое Русью „веселіе“.



Х.

Февраль-бокогрѣй.

Кончается студеный мѣсяць январь-просинець, день Никиты-новгородскаго февралю-„бокогрѣю-сѣченю“ челомъ бьетъ. А тому—починь кладуть на свѣтлорусскомъ неоглядномъ просторѣ Трифоны-перезимники (1-е число) да святъ-великъ праздничекъ Срѣтеніе Господне (2-е февраля)—огороженный въ народной памяти причудливымъ, въ стародавніе годы поставленнымъ вокругъ жизни, тыномъ своеобразныхъ, къ одному ему приуроченныхъ, повѣрій, сказаній и обычаевъ.

Во дни сѣдой старины звался февраль, по свидѣтельству харатейнаго Вологодскаго евангельскаго списка „сѣченемъ“; западная народная Русь, по свидѣтельству Полоцкаго списка Евангелія прозывала его въ ту пору „снѣженемъ“; у малороссовъ и поляковъ слылъ онъ за „лютаго“. Сосѣди-родичи русскаго пахаря величали этотъ мѣсяць—каждый на свой особый ладъ: иллирійскіе славяне³²⁾—„вельячею“, кроаты—„свѣченемъ“, венды—„свѣчникомъ“, „сѣчаномъ“, и „друнникомъ“ (вторымъ), сербы—„свѣчковнимъ“, чехи со словаками—„уноромъ“. Въ наши дни деревеньщина-посельщина бережетъ про него свое прозвище: „бокогрѣй—широкія дороги“. По народнымъ присловьямъ, подслушанному въ разныхъ концахъ родины народа-сказателя: „Февраль три часа дня прибавить!“, „Февраль воду подпустить (мартъ—подберетъ)“! Въ февралѣ (о Срѣтенѣ) зима съ весной встрѣтится впервой!“,

³²⁾ Иллирійскіе славяне—позднѣйшіе обитатели древней Иллирии, находившейся къ западу отъ Фессалии и Македоніи и къ востоку отъ Италіи и Реціи вплоть до рѣки Истра къ сѣверу. Современные албанцы и далматинцы ведутъ свое происхождение отъ нихъ.

„Февраль солнце на лѣто поворотить!“, „Февраль (Власевъ день, 11-е число) сшибетъ рогъ зимѣ!“ и т. д. „Вьюги, мятели подъ февраль полетѣли!“—говорять въ народѣ при послѣднихъ январьскихъ замѣтахъ,—приговаривая при первой оттепели бокогрѣй-мѣсяца: „Въ февраль отъ воробья стѣна мокра!“ Но и февраль февралю не ровѣнь, какъ и годъ— году: въ високосные годы, когда въ немъ 29 дней („Касьяны—именинники“), это—самый тяжелый мѣсяцъ, пожалуй даже тяжелѣ май-мѣсяца.

Второй по современному мѣсяцеслову, февраль-мѣсяцъ приходилъ въ древнюю Русь двѣнадцатымъ—послѣднимъ (во времена, когда годъ считался съ марта), а затѣмъ—съ той поры, какъ положено было властями духовными и свѣтскими починать новолѣтіе съ сентябрьскаго Симеона-лѣтопроводца, былъ шестымъ—вплоть до 1700 года.

Придетъ февраль, разсѣчетъ, по старинной поговоркѣ, зиму пополамъ, а самъ— „медвѣдю въ берлогѣ боко согрѣетъ“, да и не одному медвѣдю (пчелиному воеводѣ), а „и коровѣ, и коню, и сѣдому старику“. Студены срѣтенскіе морозы, обступающіе первый предвесенній праздникъ, но помнятъ народная Русь, что живутъ на бѣломъ свѣтѣ не только они, а и оттепели, чтó тоже срѣтенскими, какъ и морозы,—прозываются. „Чтó срѣтенскій морозъ“,—говоритъ деревня: „пришелъ батюшка-февраль, такъ и мужикъ зиму переросъ!“ По крылатому народному слову: „На Срѣтенье зима весну встрѣчаетъ, заморозитъ красную хочеть, а сама—лиходѣйка—со своего хотѣнья только потѣеть!“ Но еще даетъ себя знать и матушка-зима, особливо если она—годомъ, какъ поется въ пѣснѣ, — „холодна больно была“: 4-го февраля—на вторые сутки послѣ Срѣтенія Господня—проходитъ по бѣлымъ снѣгамъ пушистымъ Николай-Студить (преподобный Николай Студійскій); а онъ хоть и не такъ жестокъ, какъ св. Феодоръ-Студить (память—11-го ноября), но всетаки съ достаточной силою честной-людей деревенскій знобить, а у голытьбы бобылей прямо-таки кровь замораживаетъ, если тѣ—подъ недобрый часъ—въ неурочное время запозднятся въ дорогѣ. Выходитъ мужикъ въ этотъ день изъ хаты, рукавицами хлопываетъ, хлопываячи—приговариваетъ: „А и кусается еще морозъ-отъ; знать, зима засилье беретъ!“

На пятые февральскіе сутки падаетъ память святой мученицы Агаѣи: „поминальницей“ зоветъ ее народная Русь, поминающая въ этотъ-день отошедшихъ въ иной міръ отцовъ-праотцевъ, дѣдовъ-прадѣдовъ.

Въ нѣкоторыхъ поволжскихъ губерніяхъ (между прочимъ, въ Нижегородской) существовало, повѣрье, приуроченное къ

этому дню и въ то-же самое время связанное отчасти съ праздникомъ Срѣтенія Господня. Въ этотъ день, по словамъ старожиловъ, пробѣгаетъ по селамъ „Коровья Смерть“, встрѣтившаяся съ Весной-Красною и почуявшая оттепель, которой она, лиходѣйка, ждетъ—не дожидется, замороженная зимней голодовкою. Это существо является въ народномъ воображеніи въ видѣ безобразной старухи, у которой—въ-добавокъ ко всей ея уродливости—„руки съ граблями“. По старинному повѣрью, она никогда сама въ село не приходитъ, а непременно завозится кѣмъ-либо изъ заѣзжихъ, или пробѣзжихъ, людей. Совершенное осенью „опахиванье“ деревни отгоняетъ это чудище отъ огражденнаго выполненьемъ упомянутой обрядности мѣста; и старуха бѣгаетъ всю зиму по лѣснымъ дебрямъ, скитается по болотамъ да по оврагамъ. Но это продолжается только до той поры, покада февраль не обогрѣетъ солнышкомъ животинѣ бока. Тогда-то лиходѣйка и подбирается къ селамъ, высматриваетъ: нѣтъ ли гдѣ-нибудь отпертаго хлѣва. Но хозяйки повсемѣстно строго слѣдятъ за этимъ, и чудищу не удаются его замыслы. Наиболѣе дальновидные и наиболѣе крѣпко придерживающіеся предписаній суевѣрной старины люди убираютъ къ 5-му февраля свои хлѣвы старыми лаптями, обильно смоченными дегтемъ: отъ такого хлѣва, по существующему повѣрью, Коровья Смерть бѣжитъ безъ оглядки.—не выносить такого гостинца она, не по носу ей дегтярный духъ.

Весеннее опаживаніе жилищъ мѣстъ, совершающееся ради дбережи отъ этой лихой нежити пододонной, приурочивается простонароднымъ суевѣрїемъ къ 11-му февраля—Власьеву дню (см. гл. XII). Въ этотъ-же самый день суевѣрїю деревенскаго люда предстоитъ еще другая, и тоже—не малая, забота: защитить хату отъ вторженія „летающей нечистой силы“, имѣющей, по словамъ свѣдущихъ въ этомъ дѣлѣ людей, обыкновеніе забираться къ православнымъ какъ-разъ черезъ трое сутокъ послѣ Срѣтеньева дня. Вечеромъ 5-го февраля печныя трубы наглухо-накрѣпко закрываются вьюшками и даже, для большей надежности, замазываются тонкимъ слоемъ глины и окуриваются чертополохомъ. Нечисть вылетаетъ, по народному повѣрью, въ это время изъ преисподней въ видѣ птицъ и „заглядываетъ въ трубы“: тамъ, гдѣ не позаботятся оградить себя отъ вторженія этихъ незваныхъ гостей, злые духи поселяются до тѣхъ поръ, пока ихъ не выкурятъ съ помощью звахаря. До появленія-же въ хатѣ этого послѣдняго съ его заговорами и причетами, они всегда успѣютъ надѣлать всевозможныхъ хлопотъ неосмотрительнымъ хозяйкамъ. „Бываетъ,—говорятъ въ деревнѣ,—что весь домъ

вверхъ дномъ перевернуть, все перебыють, переломають,—хозяева хоть бѣги вонь! Достаётся не только хозяевамъ, но и сосѣдямъ и даже случайнымъ прохожимъ, замѣшкавшимся возлѣ такого неблагополучнаго дома. Потому-то даже и не особенно крѣпко придерживающіеся старинныхъ обычаевъ стараются не позабыть объ этомъ, въ виду приписываемой ему важности въ домашнемъ быту. „Черные да лукавые—не то, что мыши: съ ними потруднѣе сладить!“—говорятъ знахари, пользующіеся удобнымъ случаемъ получить съ довѣрчиваго суетвѣрія большее вознагражденіе за свой „трудъ“.

6-е февраля—Вуколовъ день. По инымъ уголкамъ Руси великой (между прочимъ, въ заходустяхъ костромской стороны) прозывается этотъ день „Жуколами“. Последнимъ словомъ одни зовутъ телятъ, появляющихся на свѣтъ въ февраль-бокогрѣ; другіе-же—телящихся въ этомъ мѣсяцѣ коровъ. „Придутъ Вуколы, перетелятся всѣ жуколы“ повторяютъ иногда старинную поговорку, подсказанную крестьянину-скотоводу многолѣтнимъ опытомъ, съ замѣчательной точностью опредѣляющимъ для всякой домашней животины время приплода. На старой Смоленщинѣ и въ воронежскомъ краю совѣтуютъ молиться святому Вуколу для огражденія отъ „вукуть“ („вовкулаковъ“, перевертышей, перекидышей, оборотней). Старые люди говаривали, что даже одно поминовеніе имени его при встрѣчѣ съ оборотнемъ заставляетъ того совершенно обезсилѣть. А недаромъ завѣщала помнить сѣдая народная мудрость, что-де „неспроста и неспуста слово молвится и до вѣку не сломится“.

За Вуколомъ—день преподобныхъ Парфентія и Луки эладскаго. Въ этотъ день принято на среднемъ Поволжьѣ печь пироги съ лукомъ, о чемъ твердо помнятъ ребята малые—большіе лакомки. Старушки-богомолки напекутъ пирожковъ-луковниковъ да и раздають ихъ нищей братіи—„на счастье“. Существуетъ повѣрье, гласящее, что такая милостыя, поданная съ вѣрой да съ молитвою, сторицею вернется въ руки подавшему ее. „Счастье—одноглазое“,—говорять въ народѣ,—„оно не видитъ, кому дается!“ (Объ одноглазомъ счастьѣ записана С. В. Максимовымъ ³³⁾ любопытная притча. „Не въ которомъ

³³⁾ Сергѣй Васильевичъ Максимовъ—извѣстный современный писатель, изслѣдователь народнаго быта—родился въ 1831-мъ году въ посадѣ Парфентьевѣ, Кологривскаго уѣзда Костромской губерніи, въ семьѣ уѣзднаго почтмейстера, и первоначальное образованіе получилъ въ мѣстномъ посадскомъ училищѣ. Впоследствии онъ былъ въ костромской гимназій, московскомъ университетѣ и въ с. петербургской медико-хирургической академіи. Литературная дѣятельность его началась въ 1853-мъ году въ журналѣ „Библиотека для чтенія.“ Въ 1855-мъ году

царствѣ, а можетъ быть и въ самомъ нашемъ государствѣ“, — говоритъ истолкователь крылатыхъ словъ, вторя мезенскому старику-раскольнику, — „жила-была женщина и прижила роженое дѣтище. Окрестила его, помолилась Богу и крѣпкимъ запретомъ зачуралась, — довольно-таки съ нея одного: вышелъ паренекъ такой гладкій, какъ наливное яблочко, и такой ласковый, какъ телятко, и такой разумный, какъ самый мудрѣйшій въ селѣ человекъ. Полюбила его мать пуще себя: и цѣловала-миловала его день и ночь, жалѣла его всѣмъ сердцемъ и не отходила отъ него на малую пяденочку. Когда ужъ подросло это дѣтище, стала она выпускать его въ чистомъ полѣ порѣзвиться и въ лѣсу погулять. Въ иное время то дѣтище домой не вернулось, — надо искать: видимо дѣло — пропало. — Не медвѣдь-ли изломалъ, не укралъ-ли лѣшій?..“ Затѣмъ, рассказикъ возвращается къ матери потеряшагося ребенка. „А та женщина называлась Счастьемъ.“ — ведетъ онъ свою приукрашенную цвѣтами народнаго слова рѣчь, — „и сотворена была, какъ быть живому человекъ: все на своемъ мѣстѣ, и все по людскому. Только въ двухъ мѣстахъ была видимая поруха: спина не сгибалась, и былъ у ней одинъ глазъ, да и тотъ сидѣлъ на самой макушкѣ головы, на темени, — кверху видитъ, а руками хватаетъ зря и что подъ самые персты попадается наудачу...“ Обрисовавъ въ такихъ яркихъ чертахъ „Счастье одноглазое“, сказатель продолжаетъ свою подсказанную вдумчивой жизнью повѣсть: „Съ таковой-то силою пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее дѣтище. Заблудилось-ли оно и съ голоду померло, или на волковъ набѣжало и тѣ его сожрали, а можетъ и потонуло, либо иное что съ нимъ прилучилось, — не звать того дѣла Счастью; отгадывать ему Богъ разума не даль — ищи само, какъ ты себя знаешь. Искать же мудрено и не сподручно: видѣть не можно,

онъ предпринялъ, въ цѣляхъ изученія народнаго быта, экскурсію „въ народъ“ и прошелъ глѣшкомъ Владимирскую, Нижегородскую и Вятскую губерніи, результатомъ чего явился цѣлый рядъ рассказовъ, сначала помѣщенныхъ въ различныхъ журналахъ, а затѣмъ вошедшихъ въ книгу „Лѣсная глушь“, изданную въ 1871-мъ году. Послѣ пѣшеходнаго странствованія по названнымъ выше губерніямъ, С. В. Максимову пришлось принять участіе въ организованной морскимъ вѣдомствомъ по мысли Великаго Князя Константина Николаевича, экспедиціи на русскій сѣверъ. Онъ посѣтилъ побережье Бѣлаго моря и Ледовитаго океана и написалъ замѣчательную книгу „Годъ на сѣверѣ“, выдержавшую до пяти изданій (съ 1859 по 1896-й г.) Въ 1871 г. вышла его книга „Сибирь и каторга“, въ 1877-мъ — послѣ поѣздки по порученію Географическаго общества въ сѣверо-западный край — книга „Бродячая Русь Христа-ради“. Кромѣ множества другихъ этнографическихъ и беллетристическихъ работъ, ему принадлежатъ книги: „На Востокъ, поѣздка на Амуръ“, „Рассказы изъ исторіи старообрядцевъ“, „Крылатыя слова“ и „Куль хлѣба и его похождения“.

развѣ по голосу признавать... Такъ опять-же всѣ ребячьи голоса—на одно. Однако идетъ себѣ дальше: (и, можетъ, она прислушивается, можетъ ищетъ по запаху (бываетъ такъ-то у звѣря)—я не знаю) Въ одной толпѣ потолкается, другую обойдетъ мимо, третью околеситъ, на четвертой—глядь-поглядь—остановилась. Да какъ схватить одного такого-то, не совсѣмъ ладнаго, да пожалуй и самаго ледячаго, праховаго, сплошь и рядомъ что ни на есть обхватить самаго глупаго, который и денегъ-то считать не умѣетъ. Значить, нашла мать: оно самое и есть ея любимое и потерянное дѣтище "... Анъ—на дѣлѣ оказывается совсѣмъ не такъ-то легко найти даже и Счастью свою дорогую пропажу, недаромъ оно—одноглазое. „Схватитъ. Счастье его (перваго попавшагося подъ-руку)“, — повѣствуетъ притча,— „и начнетъ вздывать, чтобы посмотреть въ лицо: оно-ли доподлинно? Вздымаетъ полегонечку, нѣжненько таково, все выше, да выше, не торопится. Вздыметъ выше головы, взглянетъ съ темени однимъ своимъ глазомъ да и броситъ изъ рукъ, не жалѣючи, прямо ъ-земь: иный изживаетъ, иной зашибается и помираетъ. Нѣтъ, не оно! И опять идетъ искать, и опять хватается зря перваго встрѣчнаго, какой вздумается, опять вздымаетъ его къ небесамъ и опять бросаетъ ъ-земь. И все по землѣ ходить, и все то самое ищетъ. Дѣтище-то совсѣмъ сгибло со свѣта, да материнское сердце не хочетъ тому дѣлу вѣрить. (Да и какъ смочь ухитриться и наладиться?) Вотъ все такъ и ходитъ, и хватается, и вздымаетъ, и бросаетъ, и ужъ сколько оно это самое дѣлаетъ, — счету нѣтъ, а и поискамы—и конца краю не видать: знать, до самаго свѣтопреставленія такъ-то будетъ!..“ Притча кончается словами простонародной мудрости: „Счастье—что трястье: на кого захочетъ, на того и нападетъ!“

Счастье „со-частье“ (доля, пай), по объясненію составителя „Толковаго словаря живого великорусскаго языка“. (Объ этомъ ходящемъ по бѣлу-свѣту призракъ летаетъ изъ конца въ конецъ народной Руси не мало окрыленныхъ острымъ умомъ простодушнаго мудреца-пахаря словецъ.) „Всякому—свое счастье, въ чужое не зайдешь!“—говоритъ народъ русскій и приговариваетъ: „У другаго такое счастье, что на мосту съ чашкой!“ (про нищаго), „Кому счастье, кому счастье-ице, кому счастьешко, а кому и одно ненастьяице!“ и т. д. Но, по присловьямъ того-же умудреннаго темными-туманными вѣками „ненастьяица“ пахаря: „Счастье—въ насъ самихъ, а не вокругъ да около!“, „Домашнее счастье—совѣтъ да любовь!“, „Лады въ семьѣ—больше и счастья не найти, хоть весь свѣтъ обойти“. Земледѣльческій опытъ говоритъ устами крестья-

нина въ поговоркѣ: „На счастье („на-авось“—по другому разносказу) и мужикъ хлѣбъ съеть!“. Но мужикъ-простота и не задумывается надолго надъ сокрушающимъ многотрудныя ученныя головы вопросомъ о счастьѣ. „Дастъ Богъ здоровья, дастъ и счастья!“—замѣчаетъ онъ: его, мужицкое, счастье въ трудѣ. Да и счастье—счастью рознь: „Счастье—мать, счастье—мачиха, счастье бѣшенный волкъ!“ Есть, однако, и въ деревенскомъ-посельскомъ быту люди, которые все готовы сваливать на счастье да на несчастье. Такихъ людей—не оберешься вездѣ! „Со счастьемъ на кладъ набредешь“,—оговариваются они,—„безъ счастья и гриба не найдешь!“, „Не_родись ни умень, ни красивъ—родись счастливъ!“, „Счастливому и промежъ пальцевъ вязнеть!“ Миръ Божій для нихъ—что темный лѣсъ дремучій; если на слово повѣрить имъ, утверждающимъ, что счастье—„дороже ума“, то въ жизни только и можно брести отъ колыбели до могилы что ощупью. Менѣе надѣющіеся на слѣпое—или одноглазое—счастье, болѣе полагающіеся на свой разумъ да на работу посильную люди могутъ всегда напомнить имъ о такихъ слагавшихся долгими вѣками пословицахъ, какъ, на примѣръ: „Счастье—что вешнее ведро (ненадежно)!“, „Нынѣ про счастье только въ сказкахъ и слышать!“, „Счастье—что палка—о двухъ концахъ!“, „Счастье со счастьемъ сойдется, и то безъ ума не разшинѣтся!“, „Счастье съ несчастьемъ повстрѣчается—ничего не останется!“ и т. д. Мѣткое слово сказалось—молвится въ народѣ про счастье, да не только мѣткое, а и подъ корень подрѣзывающее всякое пустословіе. „Первое счастье—коли стыда въ глазахъ нѣтъ!“—обмолвился простодушный стихійный мудрецъ объ ищущихъ „легкаго“ счастья.—„Счастье велико, да ума мало!“,—сказалъ онъ о ротозѣяхъ-верхоглядахъ. „Дураку—вездѣ счастье!“, „У недоумка счастье—ослиное!“, „Глупый будетъ счастья ждать, а умный Бога объ работѣ молить!“—и теперь продолжаютъ перелетать реченія стародавней старины народной изъ однихъ устъ въ другія.)

Восьмой февральскій день—память святыхъ великомученика **Θеодора Стратилата** и пророка **Захаріи-серповидца**. Последнему съ особымъ прилежаніемъ молятся бабы—вѣковѣчныя жницы. Въ старые годы было даже во многихъ мѣстахъ въ обычаѣ доставать на Захарьевъ день заткнутые въ переборку сѣней серпы и кропить ихъ крещенскою святою водою съ божницы. Вѣроятно, есть еще и сейчасъ такіе захолустные уголки, гдѣ не всѣми позабыто это благочестивое повѣрье далекихъ дней, нашептанное народу-пахарю тревогою за будущій урожай, съ которымъ связана вся его трудовая жизнь.

„Не обережешь во-время кривого серпа—не нажнешь въ полѣ и снопа!“—говорять въ народѣ. „Сутуль, горбатъ („маленькій, горбатенькій“—по иному разносказу)—все поле обскакалъ!“—приговариваетъ о серпѣ русская простонародная загадка. „Была молода, не только хлѣбъ жевала, а и по сотнѣ сноповъ въ день жинала!“—вспоминаютъ порою, гляючи на серпы, отработавшія свою бабью долю старухи старья. „Одной рукой жни, другою—сѣй!“—думается старикамъ: „Пашешь—плачешь, жнешь—скачешь!“ „Сѣй хлѣбъ, не спи: будешь жать, не станешь дремать!“ Но есть и такіе, что жнутъ, гдѣ не сѣяли, собираютъ—гдѣ не разсыпали. „Живетъ не жнетъ, а хлѣбъ жуетъ да еще дегьги считаетъ!“—обмолвилось про ихъ родныхъ братцевъ крылатое словцо народное. О лежебокахъ—иная рѣчь: „Люди жать, а мы—подъ межою отдыхать!“ „Сѣмена съѣдимъ, такъ не жать и спины не ломать!“ „Чисто мои жницы жнутъ—какъ изъ печки подадутъ!“ Первые два реченія можно отнести, однако, и не къ однѣмъ только жнущимъ за столомъ жнищамъ: въ нихъ слышатся и голоса нужды-невзгоды, заставляющей обливающагося трудовымъ потомъ мужика иногда и у хлѣба сидѣть безъ хлѣба.

За „серповидцами“—Захарами идутъ по народной Руси „Никифоры-Панкраты“—память мученика Никифора и священномученика Панкрата, 9-е февраля. „Не всякъ Панкратъ хлѣбомъ богатъ!“—молвить деревня. „Нашъ Панкратъ лаптями богатъ!“—можно, и не подслушивая, услышать въ другой. „Хороши Панкратьевы лапти, да и тѣ—никифорцы!“—въ ладь приговариваютъ охочіе до краснаго словца калужане съ туляками („никифорцы“—высокіе лапти, безъ оборъ). „Калужанинъ поужинаетъ, а тулякъ ляжетъ такъ!“ „Тулякъ—стальная душа, блоху на цѣпъ приковалъ!“ „Калужане—затѣйники, козла въ соложономъ тѣстѣ утопили!“—гласить о нихъ-самихъ мѣтящая не въ бровь, а въ самый глазъ, народная молвь, никогда мимо не молвящаяся.

За Прохоровымъ днемъ, 10-мъ февраля,—Власьевъ, съ его цвѣтистыми присловьями да живучими обычаями и сказаніями, идущими изъ далекой дали языческаго былого, отъ Велеса—„скотьяго бога“. Вылетѣло изъ народныхъ устъ свое словцо и о памятуемомъ въ десятый день бокогрѣй-мѣсяца святомъ: „На Прохора и зимушка-зима заохаетъ!“ „До Прохора старуха охала—„Охъ студено!“—пришелъ Прохоръ да Власъ:—никакъ скоро весна у насъ!“ „Пролетъ Власій масла на до-рогу—зимѣ убирать ноги пора за Прохорами слѣдомъ!“.

Отдастъ деревеньщина-посельщина свою дань старинѣ, опашетъ отъ Коровѣй Смерти, простится со власьевскими

морозами, звѣздную „окличку“ (см. гл. XII) справить, а тамъ — всего сутки до дня святого Ѳеодора-Тирона ³⁴⁾ запечатлѣннаго въ народной памяти сложившимися-сказавшимися про него стиховными сказами, подслушанными собирателями словесныхъ сокровищъ по разнымъ сторонамъ свѣтлорусскаго простора неогляднаго. „Іерусалима вышняго гражданинъ“, — величаютъ великомученика убогіе пѣвцы — калики-перехожіе: „до града долнаго Ѳеодоръ святъ приходитъ, да отъ лести сохранить христіанъ. Седмицы первыя постныхъ дней, сътъ сплете Іуліанъ козней: съ кровію жертвъ капищахъ брашна смѣси въ торжищахъ лукавый. Извѣсти Ѳеодоръ кознь сію въ градѣ сущу архіерею, брашна не покупати, но коливо въ снѣдь дати всѣмъ вѣрнымъ. Чудеси іерархъ удивися. — Имя рекъ, яви, ми явлейся!“ — вопрошаетъ онъ. — „Азь есмь Христовъ мученикъ, посланный вамъ помощникъ Ѳеодоръ!“ — держитъ отвѣтъ іерарху угодникъ Божій, „гражданинъ Іерусалима вышняго“. Приведа эти слова, стихопѣвецъ переходитъ къ восхваленію не только самого святого, но и мѣста земнаго его подвига: „Обитель, торжествуй, Хопово, въ тебѣ за имя Христово тѣлесная храмина Ѳеодора-Тирона страдаваша! Роде весь христіанскій, воспой во памяти днесъ мученической: спасай насъ зла совѣта, отъ всякаго навѣта, о святе!“ Этотъ духовный стихъ записанъ въ Сербіи, но до сихъ поръ поется и во многихъ мѣстахъ народной Руси. Въ Оренбургской, Уфимской, Рязанской, Московской и Смоленской губерніяхъ распѣваются-сказываются свои сказанія стиховныя, посвященные св. Ѳеодору-Тирону (Тирянину), сказанія — болѣе замѣчательныя, какъ по своему любопытному содержанію, такъ и по живой образности языка.

Собирателями духовныхъ народныхъ стиховъ записаны шесть старинныхъ сказаній о подвигахъ св. Ѳеодора-Тирона. Всѣ они служатъ дополненіемъ одно другому. Въ одномъ изъ нихъ этотъ — по прихоти пѣснопѣвца-народа — преобразившійся въ богатыря — угодникъ Божій именуется „Тиряниномъ“, другое зо-

³⁴⁾ Св. Ѳеодоръ-Тиронъ — великомученикъ (воинъ), пострадавшій при императорѣ Максиміанѣ за вѣру во Христа, 17 февраля 306 года въ городѣ Амасіи. Въ субботу первой седмицы Великаго Поста воспоминаетъ Православная Церковь о чудѣ, совершенномъ этимъ угодникомъ Божиимъ во дни Юліана Отступника. Задумавъ подвергнуть христіанъ осмѣянію черни, послѣдній приказалъ (въ 362-мъ году) антиохійскому епарху тайно осквернить семь дней всѣ припасы, продаваемые на торгу, кровью идольскихъ жертвъ. Св. Ѳеодоръ, явившись во снѣ архіепископу Евдоксію, открылъ ему этотъ тайный замыселъ и повелѣлъ созвать всѣхъ вѣрующихъ во Христа поутру въ чистый понедѣльникъ и запретить имъ покупать въ теченіе недѣли пищевые припасы на торгу, а питаться всѣ семь дней вареною пшеницей съ медомъ (коливо).

веть его „Тириномъ“, третье—„Тыриновымъ“, въ четвертомъ онъ является „Хведоромъ Тырянномъ“ и т. д. Наибольшей полнотою и связностью отличается среди другихъ разносказовъ своихъ сказаніе, подслушанное-перехваченное изъ народныхъ устъ однимъ изъ собирателей памятниковъ народнаго слова въ деревнѣ Саларевой, Московской губерніи.

Передъ слушателями этого сказанія возстаютъ три ярко обрисованныхъ облика сѣдой старины: царь Констинкинъ Самойловичъ (Костянтинъ Сауйловичъ—по иному разносказу), Ѳедоръ Тирянинъ—„младъ человекъ“, царское „чадо милое“, и матушка этого чада—„Ѳедориса-и-Микитишна“. Все сказаніе съ перваго до послѣдняго стиха выдержано въ народномъ духѣ. „Молился царь Констинкинъ Самойловичъ у честной святой заутрени“, начинается свою размѣренную рѣчь безымянный пѣснотворецъ-сказатель. Въ рязанскомъ (Раненбургскаго уѣзда) разносказѣ начало опредѣленнѣе этого: „Во той земли во турецкія, во святомъ градѣ въ Ерусалимовѣ, жилъ себѣ нѣкій царь Костянтинъ Сауйловичъ, Молился у честныя заутрени, ходитъ ѣнъ къ церкви соборныя, къ заутрени раннія, служилъ молебны часныя, становилъ свѣчи поставныя, молился за домъ Пресвятыя Богородицы“...—гласить онъ. „Отъ того царя іудейскаго, всеа силы жидовскія“,—продолжаетъ саларевскій разносказъ,—„прилетала каденá стрѣла, на стрѣлѣ было подписано:—Царь Констинкинъ Самойловичъ! Отдай градъ ты охотою; не отдашь градъ охотою, мы возмемъ градъ мы неволю!“. Прочиталъ грозную надпись, не смутился духомъ богомольный царь: вышелъ онъ, по словамъ сказанія, „на крыльцо на паратное“, воскликнулъ („онъ скричалъ“) громкимъ голосомъ: „Вы люди, мои могучіе, всѣ гости почетныя! Кто постоитъ за городъ Ерусалимъ и за всю вѣру за крещоную, за мать Божью Богородицу?“ Не отозвался ни одинъ могучій человекъ, ни одинъ почетный гость на царевъ кличъ: „А старый прячется за малаго, а малаго и давно не видать“. Несмотря на это, не остался призывъ „постоять за городъ Ерусалимъ“ гласомъ вопіющаго въ пустынь: „выходила выступала его чада милая, и младъ человекъ и Ѳедоръ Тирянинъ, всего отъ роду двѣнадцать лѣтъ“. Вышелъ отрокъ, къ стыду могучихъ людей—почетныхъ гостей, и держалъ рѣчь къ отцу-государю: „Родимой ты мой батюшка, царь Констинкинъ Самойловичъ! Ужь и дай мнѣ благословенье, ужь и дай мнѣ коня добраго, ужь и дай мнѣ збрую булатную: поѣду противъ царя іудейскаго, противъ силы жидовскія!“ Изумился царь, изумившись—говорить сыну: „Ой, чада мое милое, младъ человекъ и Ѳедоръ Тирянинъ!

Ты на войнахъ ты не бывывалъ, на бойномъ конѣ ты не сиживалъ, кровавыхъ ранъ не принималъ. Не умѣешь, чадо мое, на конѣ сидѣть, не умѣешь копьемъ шурь метать (шурмовать, штурмовать)! На кого ты, чадо, надѣнешься, на кого и начашься?" Отвѣтъ Ѳедора Тиринина выдаетъ въ немъ духъ истиннаго сына русскаго народа, сложившаго про него свой пѣсенный сказъ: „Ты, родимой мой батюшка“,—говорить отрокъ, — „царь Константинъ Самойловичъ! Я надѣюся и начеюся на силу я на небесную, на Мать Божью Богородицу!“ (По другому разносказу дополняется этотъ отвѣтъ словами: „... на всю силу небесную, на книгу Ивангеля, на ваше великое благославленьеца...“). Рязанцы,—хотя и идетъ про нихъ молва, что они-де „мѣшкомъ солнышко ловили“, что они-де „блинами острогъ конопатили“,—и по наши дни остаются записными стихопѣвцами-сказателями. Продолжаютъ они это сказаніе кличемъ царя-отца: „Возговорить царь Костянтинъ Сауѣловичъ:—Князье бояре, люди почестные! Выводите добра коня неѣзжана, выносите сбрую ратную, копье булатное, книгу Ивангеля!“ Въ московскомъ-же (саларевскомъ) разносказѣ эти слова пропускаются, а ведется рѣчь прямо о томъ, что сдѣлалъ послѣ своего отвѣта „младъ-человѣкъ“ Ѳедоръ Тирининъ „Онъ беретъ коня неѣзжалаго“,—говорится тамъ,—„онъ беретъ книгу, крестъ и Евангеля. онъ поѣхалъ чистымъ полемъ, возвивается яко соколъ по поднебесью, онъ бился-рубился три дня и три ночи, съ добра коня не слѣзаячи и хлѣба не скушаячи, и воды не спиваячи: побилъ царя іудейскаго, покорилъ онъ силу жидовскую“... Тутъ случилось дѣло нежданное-негаданное: „Топить кровь жидовская, добру коню по гриву, а добру молодцу по шелковъ поясъ“... Но и это не могло причинить лиха царскому чаду милому: „онъ воткнулъ копье во сыру землю, онъ раскрылъ книгу Евангеля, во зрыданіяхъ слова не вымолвить, во слезахъ слова не обозреть“... Но вотъ—вылетѣло изъ устъ его слово слезное: „Разступися, Мать-Сыра-Земля, на четыре на стороны, прожирай кровь іудейскую. не давай намъ потопнути во крови во жидовскія!“ Совершилось чудо: „по его (Ѳедора) умоленію, по святому упрошенію, разступилась Мать-Сыра-Земля на четыре на стороны, прожрала кровь іудейскую“... И вотъ, — продолжаетъ сказаніе, — „онъ поѣхалъ младъ-человѣкъ Ѳедоръ Тирининъ ко двору государеву. Увидаль его батюшка изъ палатъ изъ бѣлыхъ каменныхъ: — Вонъ мое ѣдетъ дитятко, вонъ ѣдетъ мое милое! Онъ ни пьянъ, ни хмѣленъ, да сидитъ-качается, подъ нимъ конь-атъ спотыкается; либъ убитый, подстрѣлянный!“ Сокрушается царь батюшка, но и его сокруше-

нiю—недалекъ добрый конецъ: „Подъѣзжаетъ младъ человекъ Ѳедоръ Тирининъ ко двору онъ государеву, стрѣчаетъ его батюшка, а беретъ его батюшка за руки за бѣлыя, за персины позлаченныя, а сажаетъ его батюшка за столы за дубовыя, скатерти за бранныя, а сваво коня добраго привязаль ко столбу точеному, ко кольцу позлаченному; онъ пьетъ и ѣсть, прохлаждается“... Посадивъ побѣдителя-покорителя „силы жидовскiя“ за столы за дубовыя, сказатель-пѣснопѣвецъ ведетъ слушателей „ко столбу ко точеному“, гдѣ стоитъ боевой конь двѣнадцатилѣтняго богатыря-отрока. „Его (Ѳедора) родимая матушка, его милуючи и добра коня жалѣючи, отвязала отъ кольца позлаченнаго, повела на синѣ-море — поить, обмыть кровь юдейскую и всею кровью жидовскую“...—продолжаетъ сказанiе свою цвѣтистую, краснымъ словомъ щедро приукрашенную, рѣчь: „А гдѣ ни взялся змѣй огненный, двѣнадцати-крылыхъ-хоботовъ, онъ прожраль коня добраго, полонилъ его (Ѳедора) матушку и унесъ его матушку во пещеры во змiяныя, ко двѣнадцати змѣенышовъ“... Изъ этого видно, что сказанiе какъ-будто начинаетъ переходить въ сказку. „А гдѣ нѣ взялись два ангела Божiихъ, рекли человѣческимъ да и голосомъ:—А младъ человекъ, Ѳедоръ Тирининъ! Ты пьешь и ѣшь, прохлаждаешься, надъ собой бѣды ты нѣ знаешь: твою родимую матушку полонилъ змѣй огненный, пожраль тваво коня добраго!— Вѣсть, принесенная ангелами Божiими, поразила отрока-богатыря своей неожиданностью, какъ громъ небесный въ ясный день бѣлый. „Онъ что ѣлъ, что во рту было, осталось; что въ рукахъ было, положилося“, - ведетъ свою стиховную рѣчь народное сказанiе: „онъ сталъ собиратися, плакаючи и рыдаючи, свою збрую собираючи; онъ поѣхаль далечими, да во тѣ горы во вертецкiя, во тѣ пещеры гранадерскiя“... Последнее слово—явное свидѣтельство постепеннаго искаженiя памятниковъ словесной старины. „Подходилъ младъ человекъ Ѳедоръ Тирининъ ко синему ко моречку: не пройти Ѳедору, не проѣхать да и Тиринину“... Но не упаль духомъ, что ничасъ - могутнѣющимъ, младъ человекъ. Какъ и послѣ побоища жидовскаго, „онъ воткнуль копьѣ во сыру землю, раскрыль книгу Евангеля. По его умоленiю, по святому упрошенiю, гдѣ ни взялась Титъ-рыба („Кетръ-рыба“— въ уфимскомъ и оренбургскомъ разносказахъ, „рыба Китъ“— по звенигородскому и рязанскому), а ложилась поперегъ синяго моря, возвѣщаетъ человѣчьимъ голосомъ:—Младъ человекъ, Ѳедоръ да Тирининъ! А иди по мнѣ, яко по сырой землѣ!“ Вялять словамъ Титъ-рыбы царскiй сынъ, идетъ—копьемъ упирается, переходитъ море синее. „Подошедши онъ къ пеще-

рамъ змінимъ, а сосуть его матушку двѣнадцати-и-змѣнышовъ за ея груди бѣлыя. Онъ побилъ-порубилъ всѣхъ двѣнадцать змѣнышовъ, онъ бралъ свою матушку, сажаетъ свою матушку на головку и на темячко, а пошли вовать ко синему морю: подходит младъ чловѣкъ къ синему морю, переходитъ онъ по Тить-рыбъ, яко по сырой землѣ“. Но еще не пришло время успокоиться послѣ перенесенныхъ тревогъ, не послѣдними въ молодой жизни были совершенные подвиги богатырскіе у Ѳедора Тиринина—чада милаго царя Констанкина Самойловича. „Увидала его матушка, Ѳедориса-и-Микитишна“,—гласитъ пѣсенный сказъ,—„а летитъ змѣй огненный, и летитъ онъ—возвивается“. Ужась охватилъ сердце богатырской матери сердобольной-чадолюбивой: „А чадо мое милое“,—восклицаетъ она, „мы таперь съ тобой погибли, мы таперь не воскреснули: что летитъ змѣй огненный, двѣнадцати-крылыхъ-хоботовъ!“ Но не утрашился двѣнадцати-крылаго змѣя Ѳедоръ Тирининъ: „онъ натягаетъ тугой лукъ, онъ пушаетъ въ змѣя огненнаго, отпоролъ сердце со печеньями. Потопляетъ кровь змѣиная, и доброму молодцу по бѣлу грудь...“ Здѣсь сказатель-стихопѣвецъ, по исконному обычаю стародавнихъ былинъ-сказокъ, вдается въ повтореніе. И на этотъ разъ снова сталъ молить-просить Мать-Сыру-Землю о помощи царскій сынъ: воткнулъ онъ копье въ землю, раскрылъ „книгу Евангеля“ и воскликнулъ: „О, Господи да Спасъ милосливый! Разступися. Мать-Сыра-Земля, на четыре на стороны, прожри кровь зміную, не давай намъ погибнути во крови во змінныя!“ По-прежнему вняла Мать-Сыра-Земля его (Ѳедора) слезной мольбѣ: все совершилось—какъ по писаному. Избѣгнувъ бѣды-напасти, пошелъ Ѳедоръ Тирининъ путемъ-дорогою, понесъ свою матушку родимую. Идетъ-несетъ, а самъ слово держитъ къ ней: „А родимая моя матушка! Стоитъ-ли мое хожденіе противъ тваво и рожденія? Стоитъ-ли мое раченіе паче тваво хожденія?“ (Въ звенигородскомъ разносказѣ этотъ вопросъ-выкликъ отнесенъ въ самый конецъ сказанія.) Отвѣчаетъ умиленная подвигами любящаго сына „Ѳедориса-и-Микитишна“: „О, младъ чловѣкъ да Ѳедоръ, да Тирининъ! Стоитъ и перестоити!“ Сказаніе близится къ заключительной части своей. „Онъ (Ѳедоръ) подходитъ ко дворцу государеву“,—гласитъ оно: „Увидѣлъ его батюшка изъ палатъ изъ бѣлыхъ каменныхъ, онъ выходитъ царь Констанкинъ Самойловичъ на крыльцо на паратное, закричалъ царь Констанкинъ Самойловичъ своимъ громкимъ голосомъ...“ А вотъ и его слова царскія: „Вы, гости мои могучіе, всѣ люди вы и почетные! Вы пойдите во Божью церковь, звоните вы въ колокола благовѣстные, вы служите вы молеб-

ны мѣстные („подымайте иконы мѣстныя, служите молебны честныя“—по инымъ разносказамъ), вонъ идетъ мое дитятко, вонъ идетъ мое милое, онъ несетъ свою матушку на головкѣ и на темечкѣ!“ За этими провиннутыми горячею вѣрою въ Бога и неугасимую любовью къ сыну словами слѣдуетъ отвѣтная рѣчь послѣдняго, являющаяся заключительнымъ звеномъ стиховнои цѣпи сказанія: „О, родимый ты мой батюшка, царь Констанкинъ Самойловичъ! Не звоните въ колкола благовѣстные, не служите вы молебны мѣстные („Не подымайте иконы мѣстныя, не служите молебны честныя!“): поимѣйте вы, православныя, первую недѣлю Великаго Поста. Кто поимѣетъ первую недѣлю Великаго Поста, того имя будетъ написано у самого Господа во животныхъ книгахъ!“ („Кто поимѣетъ отца и мать свою мою недѣлю первую на первой недѣлѣ Поста Великаго, тотъ избавленъ будетъ муки превѣчныя, наследникъ къ небесному царствію!“—по записанному П. И. Якушкинымъ разносказу.) Саларевскій-московскій сказъ кончается словами, собственно говоря, не имѣющими непосредственной связи съ предшествующими: „И славенъ, и прославился, и велико имя Господне его!“ Въ этихъ словахъ явственно слышится позднѣйшее книжное наслоеніе. Гораздо жизнениѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ ближе къ простодушному народному первоисточнику славословящей конецъ гжатскаго-смоленскаго разносказа:

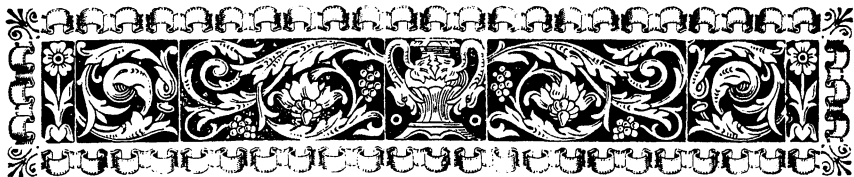
„Поемъ славу Θεодору,
Его слава вовѣкъ не минуется
И во вѣки вѣковъ, помилуй насъ!“

Запечатлѣнная народной памятью столь яркимъ отраженіемъ въ пѣсенныхъ сказаніяхъ слава св. Θεодора-Тирона близка сердцу народа-пахаря, перенесшаго на этого угодника Божія многія черты излюбленныхъ богатырей своей родной земли-кормилицы.

Вторая половина февраля-бокогрѣя не такъ богата сказаніями-повѣртіями столько-же суевѣрной, сколько—словоохотливой, посельщины-деревенщины. Послѣ Θεодорова дня только и останавливается примѣтливый взглядъ народа-сказателя, что на „Тимоѣяхъ-весновѣяхъ“ (21-мъ февраля) да на „Прокопъ-дорогорушитель“ (27-мъ днѣ мѣсяца). „Февральскіе Тимоѣи—весновѣи: какъ ни мети мятелица—все весной повѣваетъ!“, „Прокопъ зимній (память—22-го ноября) дорогу прокопаетъ Прокопъ-перезимній дорогу рушить!“—говоритъ деревенскій людъ. Въ обычные годы кончается февральскую пору слывущій „капельникомъ“ св. Василий Исповѣдникъ (28-е число), а

въ тяжелые (високосные) исполняютъ его обязанности развеселые для всѣхъ „комаринскихъ мужиковъ“ народной Руси Касьяны-имянинники—29-е число, день преподобнаго Кассіана Римлянина.

Уйдетъ февраль,—конецъ и необлыжной зимѣ: дальше уже не зима, а позимье („пролѣтье“—въ иныхъ мѣстахъ). „Позимній мѣсяць мартъ — февралю-богогрѣю младшій братъ-Евдокеинъ-плющихинъ (1-го марта) крестникъ!“—приговариваютъ чуткіе къ голосамъ старины сельскіе краснословы, провожаячи проложившіе Веснѣ-Краснѣй широкія дороги февральскіе дни перезимніе.



XI.

Срѣтенье.

Срѣтенскіе морозы зачастую еще даютъ деревенскому люду довольно ощутительно знать о томъ, что зима не хочетъ сдаваться веснѣ. Но недаромъ слыветъ Срѣтеніе (2-е февраля) у посельщины-деревеньщины за послѣднюю встрѣчу зимы съ весною—въ ихъ вѣковѣчной неравной борьбѣ. Въ этотъ день, по народной примѣтѣ, зима даетъ отчаянный бой выѣзжающей на солнечную стезю молодой веснѣ: послѣ Срѣтенья бѣжитъ старая на-утекъ, торопится, избѣгая встрѣтиться даже со взглядомъ свѣтлыхъ-пламенныхъ очей своей забирающей все большую и большую силу соперницы,—чуется она, лиходѣйка, что теперь не на ея заваленную начинающими осѣдать снѣговыми сугробами улицу праздникъ идетъ!

„Пришелъ мѣсяць:бокогрѣй,
Земно-матушку не грѣл.—
Вокъ коровѣ обогрѣл,
И коровѣ, и коноу,
И сѣдому старику
Морозу Морозычу...
Ты, Морозко, не серчай,
Изъ деревни убѣгай—
Что за тридевять земель,
Да за тридесять морей!
Тамъ твое хозяйство
Ждетъ тебя—заброшено,
Вѣлымъ снѣгомъ запырошено.

За ледяными печатями,
За семью желѣзными замками
Да за семью засовами!“—

поется въ старинной простонародной пѣснѣ, и теперь еще кое-гдѣ распѣваемой шумливой деревенскою дѣтвoroй въ первые февральскіе дни.

Съ кануномъ праздника Срѣтенія Господня связано въ памяти русскаго простолюдина повѣрье, ведущее свое начало изстари вѣковъ и до сихъ поръ сохранившееся во многихъ мѣстностяхъ. Въ этотъ день встарину совершалось въ деревняхъ,—а мѣстами старый обычай и до сихъ поръ соблюдается,—заклинаніе мышей, которыя къ этому времени, истощивъ всѣ свои скудные запасы, подбираются подъ скирды и начинаютъ безпощадно, безданно-безпошлинно, пользоваться чужимъ добромъ—кормиться на крестьянскій счетъ. Заклинаніе трусливыхъ, но опасныхъ болѣе иного храбрца, исконныхъ враговъ пахаря-хлѣбороба сопровождается особой, освященною многовѣковой давностью обрядностью. Призывается свѣдущій старикъ-знахарь, какіе не перевелись до послѣднихъ дней въ деревняхъ. Сначала угощаютъ его честь-честью, по заведенному отцами-дѣдами, а затѣмъ приступаютъ къ огражденію скирдъ и стоговъ отъ „мышеяди“. Знахарь вынимаетъ изъ середины заклинаемаго по снопу (или по клоку, если дѣло идетъ о сѣнѣ) со всѣхъ четырехъ сторонъ, „съ четырехъ вѣтровъ“, бережно складываетъ все это въ кучу—съ особыми нашептываніями—и несетъ въ избу къ пригласившему его домохозяину. Здѣсь принесенное помѣщается въ чисто-на-чисто выметенную, жарко натопленную передъ тѣмъ, печь и разжигается накаленною дѣ-красна кочергою. Остающаяся послѣ сожженныхъ сноповъ, или клочковъ сѣна, зола тщательно выгребается и переносится на гумно, гдѣ и высыпается въ тѣ мѣста, откуда были вынуты снопы. Домохозяинъ съ женою сопровождаютъ знахаря на гумно съ хлѣбомъ-солью и новымъ холщевымъ полотенцемъ, которыя и поступаютъ по выполненію обряда въ собственность совершающаго его. А знахарь, высыпавъ золу въ надлежащія мѣста, причитаетъ: „Какъ желѣзо на водѣ тонетъ, такъ и вамъ, гадамъ, сгинуть въ преисподнюю, въ смолу кипучую, въ адъ кромѣшный. Не жить вамъ на бѣломъ свѣтѣ, не видать вамъ травы муровой, не топтать вамъ росы медяной, не ѣсть вамъ бѣлоярой пшеницы, не таскать вамъ золотого ячменя, не грызть вамъ полнотѣлой ржи, не точить вамъ пахнучаго сѣна. Заклинаю васъ, мышей, моимъ крѣпкимъ словомъ на вѣки вѣковъ. Слово мое ничѣмъ же порушится!“ Вслѣдъ за произнесеніемъ приведеннаго за-

говора, имѣющаго, по словамъ суевѣрныхъ стариковъ, устрашающую и даже губительную для мышей силу, знахаря снова угощаютъ въ хатѣ, чѣмъ Богъ послалъ, и затѣмъ прощаются съ нимъ, прося не обезсудить „на угощеньи и на отдареньи“.

Старые, свѣдущіе въ примѣтахъ, люди увѣряютъ, что, если съ вечера въ канунъ Срѣтенья небо будетъ усѣяно звѣздами, то и зима еще не скоро „зачнетъ плакать“, и что весна зацвѣтетъ на Руси позднѣе обыкновеннаго. Но большинство примѣтъ о погодѣ связано съ самымъ Срѣтеньевымъ днемъ. Въ „Народномъ дневникѣ“ Сахарова говорится, напримѣръ, что въ Тульской губерніи, послѣ срѣтенскихъ морозовъ, не совѣтуютъ выѣзжать въ дальнюю дорогу на саняхъ, не довѣрять зимѣ. Оттепель, случающаяся на Срѣтеневъ день, служить по мѣстному повѣрью, предвѣстницею „худой и гнилой весны“. Костромичи-крестьяне не вполнѣ соглашаются съ туляками относительно вліянія срѣтенской оттепели на предстоящую весну: они говорятъ, что, если на Срѣтеневъ день „отъ воробья стѣна мокра“,—будетъ только ранняя весна. Рязанцы, увѣряющіе, что „всегда на Срѣтенье зима съ лѣтомъ встрѣчается“, наблюдая идущій на этотъ праздникъ снѣгъ, замѣчаютъ коротко, но довольно опредѣленно: „На Срѣтенье снѣжокъ пригонитъ на весну дожжокъ!“ (т.-е.—весна будетъ мокрая). Если же въ этотъ день мететъ снѣжная зăметь, они прибавляютъ къ только-что приведенному другое присловье: „Коли на Срѣтенье мятель дорогу перейметъ, то корма подберетъ.“ (т.-е. осень-де будетъ поздняя, и корма для животины не хватитъ).

Въ Каширскомъ уѣздѣ, въ тридцатыхъ-сороковыхъ годахъ XIX-го столѣтія, во многихъ деревенскихъ уголкахъ повторялся слѣдующій любопытный рассказъ, подтверждавшій, по словамъ рассказчиковъ, основательность повѣрья о томъ, что на Срѣтенье не слѣдуетъ ѣздить въ дальній путь. „Жиль-былъ когда-то“,—рассказывали словоохотливые каширцы,—„старикъ съ семьєю сытно и богато. Было у него всего много, и во всемъ ему была спорина. Наградилъ его Господь дѣтками умными и талантливыми. Чего самъ старикъ не додумаетъ, то дѣтки домыслятъ, а чего дѣтки не сдумаютъ, то отецъ научитъ. Поженилъ старикъ всѣхъ дѣтей въ одинъ день, а, поженивши, задумалъ напоить, накормить всѣхъ сватовъ и сватей, а кормъ для нихъ порядилъ на широкой Масляницѣ. Вотъ и вздумалъ старикъ на промыселъ съѣздить вдаль за рыбою, заработать копѣйку и гостей удолить. Старикъ все собирался, ждалъ пути и дороги; глядь-поглядь—и Срѣтенье на дворѣ, а тамъ и Масляница на носу.

И собрался старикъ всей семьей, опричь бабъ и ребятъ, а на поѣздъ снарядилъ семь подводъ. Какъ почувли бабы про нарядъ за рыбою, такъ и не вѣсть что вышло. И повоюють, и поплачуть бабы вокругъ мужей, — не тутъ-то было! Задумали бабы свои хитрости: и сны-то имъ недобрые снились, и тоска-то на нихъ не къ добру напала, и домовой-то ихъ къ худу давилъ. Извѣстно—бабье дѣло: не споръ съ ними! Нѣтъ-таки, старикъ не слушаетъ бабъ. — Поѣду-таки, поѣду за рыбою, накормлю объ Масляницѣ сватовъ и сватей.—говорить онъ имъ. Вѣдь не что сдѣлаешь съ мужикомъ: упрямя живеть и отродясь не слушаетъ! Какъ на бѣду, на самое Срѣтенье началась оттепель. Взыли бабы пуще прежняго отъ лихой примѣты:—Погляди-къ, родимой, на дворъ! Какая стала оттепель! Вѣдь морозы-то минули; подуло съ весны! Не бывать добру, не видать мужей!—голосятъ бабы. Старикъ всетаки думаетъ: поѣду, да поѣду! Вотъ и поѣхалъ старикъ за рыбою на семи подводкахъ, а на тѣхъ подводкахъ посажалъ сыновей, да и самъ сѣлъ. Ждутъ бабы своихъ мужей недѣлю, а объ нихъ и слуху нѣтъ; ждутъ и другую, никто вѣсти не кажетъ. Вотъ и пестрая недѣля наступила, а родимыхъ все нѣтъ! Подошли и заговѣны, а съ ними и слухи пошли: вотъ тамъ-то мужикъ утонулъ; а тамъ-то двухъ мужиковъ замертво нашли... Воютъ бабы пуще прежняго. Кому Масляница, а бабамъ Великій Постъ! И прослышали бабы о бѣдѣ: на Волгѣ-де ихъ мужья подломались съ подводами. Никто-то не спасся... Разсказъ кончался не менѣ своеобразнымъ выводомъ: „Вѣстимо дѣло, у того и бѣда на носу виситъ, кто примѣтъ не чититъ да не слушаетъ старыхъ людей!“

Въ Срѣтенье, на склонѣ дня, незадолго до сумерекъ деревенская дѣтвора, съ отзывчивымъ любопытствомъ прислушивающаяся къ повѣрьямъ старыхъ людей и къ связаннымъ съ ними обычаямъ, собирается гдѣ-нибудь на пригоркѣ, за околицей, и начинаетъ заклинать солнышко, чтобы оно выглянуло „изъ-за горъ-горы“ и показало этимъ, что зима, дѣйствительно, встрѣтилась съ весной. Въ средневоложскихъ губерніяхъ нѣсколькими собирателями изустныхъ памятниковъ народнаго пѣснотворчества записана слѣдующая, приуроченная къ этому обычаю, вѣющая духомъ старыхъ сказокъ, дѣтская пѣсенка:

„Солнышко-вѣдрышко,
Выгляни, красное,
Изъ-за горъ-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!“

Видѣло-ль ты, ведрышко,
 Красную весну?
 Встрѣтило-ли, красное,
 Ты свою сестру?
 Видѣло-ли, солнышко,
 Старую ягу,
 Бабу-ли ягу—
 Вѣдму зиму?
 Какъ она, лютая,
 Отъ весны ушла,
 Отъ красной бѣгла,
 Въ мѣшкѣ стужу несла,
 Холодъ на землю трясла,
 Сама оступилась,
 Подъ гору покатилась,
 Встрѣтила весну—
 Солнцеву сестру“...

Если заклиняемое „солнышко-ведрышко“, и въ самомъ дѣлѣ, выглянетъ передъ закатомъ „изъ-за горъ-горы“, то веселая гурьба ребятъ приносить въ деревню вѣсть объ этомъ, равнозначущую примѣтѣ, что прошли послѣдніе морозы. Если же красное не обрадуетъ заклинявшей-восхвалявшей его дѣтвора, — это предвѣщаетъ сильныя „власьевскіе“ (11-го февраля) морозы.

Срѣтенская оттепель напоминаетъ заботливому деревенскому домохозяину о томъ, что время начинать починку лѣтней сбруи, — какъ ѣздовой, такъ и рабочей-пахотной. Для этой работы существуетъ даже особый день, отмѣченный въ изустномъ народномъ дневникѣ прозвищемъ „Починки“ (3-е февраля). Въ этотъ день, поднявшись до бѣлой зари, многіе большаки идутъ въ сараи и конюшни — осматривать своихъ лошадей: не напроказилъ-ли чего съ ними Домовой. Существуетъ во многихъ мѣстностяхъ повѣрье, что — если почему-либо „хозяинъ домовитый“ недоволенъ, то онъ можетъ въ ночь со Срѣтенья на Починки „заѣздить коня“. Въ предотвращеніе такой напасти, еще съ вечера совѣтуютъ суевѣрные старожилы привязывать лошадямъ кнутъ и онучи на шею. Тогда, по словамъ ихъ, Домовой не посмѣетъ тронуть лошади, потому что будетъ думать, что на ней сидитъ хозяинъ. Чтобы „задобрить Домового“, еще за нѣскольکو дней до этой опасной ночи хозяйки выставляютъ послѣ ужина на загнетокъ горшокъ каши, обкладывая его горячими угольями. По увѣренію ихъ, умилостивляемый покровитель домашняго очага вы-

лѣзаетъ въ полночь изъ-подъ печки и ужинаетъ. Встарину для усмиренія Домового призывали къ этому времени знахаря-вѣдуна, который — до пѣвнїя послѣднихъ пѣтуховъ — рѣзалъ на дворѣ кочета и, выпустивъ кровь на вѣникъ, обметалъ имъ всѣ углы въ хатѣ и на дворѣ. Послѣ этого можно было не бояться Домового. Если же его ни смиритъ, ни умилоstitивить, то, говоритъ народъ, — „изъ добраго онъ обернется въ лихого“. А тогда бѣда: „все во дворѣ и въ избѣ пойдетъ на ѣзвотъ, спорина пропадаетъ, скотъ худѣетъ и чахнетъ, люди болѣстямъ поддаются“ и т. д. Въ Тульской губерніи, въ старые годы, въ день „Починокъ“ варилось особое кушанье „саломата“, которою и угощалась вся семья по возвращеніи большака съ осмотра сараевъ и конюшенъ. Тамъ и до сихъ поръ уцѣлѣла еще напоминающая про этотъ обычай старая поговорка: „Пріѣхала саломата на дворъ, разчинай починки!“

Встрѣтить деревня Срѣтеньевъ день, справить „Починки“, заплатить дань обычаямъ пращуровъ, связаннымъ съ залетающею въ трубы нечистью (см. гл. X), а тамъ и до Власьева дня — рукою подать. А съ этимъ послѣднимъ связано у русскаго народа столько разнородныхъ, только ему присущихъ, повѣрій и обычаевъ, что — если о нихъ вести сказъ, то — наособицу.



ХП.

ВЛАСЬЕВЪ ДЕНЬ.

Одиннадцатый день февраль-мѣсяца, посвященный Православной Церковью чествованію памлти св. мученика Власія ³⁵⁾ окруженъ въ суевѣрномъ представленіи народа причудливой изгородью обрядовъ, обычаевъ и повѣрій, сложившихся въ незапамятные годы и изукрасившихся къ настоящему времени узорчатой пестрядью послѣдовательныхъ вѣковыхъ наслоеній. Съ этимъ днемъ связана у народа память о древнемъ Велесѣ (Волосѣ)— „скотьемъ богѣ“, слившаяся съ именемъ воспоминаемаго святаго, совпадающимъ съ прозвищемъ языческаго божества, которому поклонялись отдаленнѣйшіе предки дышавшаго однимъ дыханіемъ съ природою русскаго пахаря.

По свидѣтельству лѣтописцевъ и бытописателей народной жизни, Велесъ-Волосъ былъ почитаемъ на Руси дольше всѣхъ другихъ языческихъ божествъ, въ особенности—на сѣверѣ. Въ Ростовѣ идолъ его не былъ поверженъ до ХП-го вѣка, хотя задолго еще до этого ему не воздавалось уже никакихъ, подобающихъ богу, почестей. Ростовское идолище было сокрушено по увѣщанію св. Авраамія Ростовскаго. Въ Кіевѣ же, одновременно съ крещеніемъ св. Владиміра Красна-Солнышка и его дружины, было, по ска-

³⁵⁾ Священномученикъ Власій — епископъ севастійскій, родомъ изъ армянскаго города Севастіи, подвизавшійся во времена гоненій Діоклетіана и Лицинія. Гоненія заставили его укрыться въ горахъ Аргоса, гдѣ онъ былъ настигнутъ своими преслѣдователями и обезглавленъ за нежеланіе отречься отъ Христа и поклониться языческимъ богамъ (въ 312-мъ г.). Покровителемъ животныхъ св. Власій считается потому, что—по преданію—благословлялъ и исцѣлялъ звѣрей, приходившихъ къ его пустынному убѣжищу.

занію „Макарьевской Великой Минеи рукописной“, совершенно сокрушеніе идоловъ Перуна и Велеса („Волоса, его же именовану скотья бога, повелѣ въ Почайну-рѣку врещи“). Ростовскіе поклонники Велеса обоготворяли въ честь его камень, напоминавшій своимъ видомъ быка съ человѣческимъ ликомъ. Св. Авраамій, сокрушивъ идола, воздвигъ на мѣстѣ его храмъ во имя св. Власія. Въ Авраамьевскомъ монастырѣ, въ числѣ мѣстно-чтимыхъ святынь, хранился еще въ 30—40-хъ годахъ XIX столѣтія шестиконечный крестъ, въ рукахъ съ которымъ святитель повергъ идола на-земь. Надпись на немъ гласила: „Сей крестъ, во градѣ Ростовѣ въ Аврааміевѣ монастырѣ св. Іоанномъ Богословомъ данъ преподобному Авраамію побѣдiti идола Велеса“. Въ Переяславль-Залѣсскомъ такой-же, какъ и въ Ростовѣ, идоль-камень существовалъ, — не вызывая собою, впрочемъ, даже и воспоминаній о древнемъ божествѣ, — вплоть до царствованія Василя Ивановича Шуйскаго. Въ Новгородѣ долго была особая Волосова улица, на которой, по преданію, стоялъ встарину идоль Велеса.

Древнеславянскія сказанія о богахъ, называя Велеса пастыремъ небесныхъ стадъ, отождествляютъ его съ мѣсяцемъ (небесныя стада — звѣздная розсыпь). Загадка „Поле не мѣряно, овцы не считаны, пастухъ рогатый“ относится непосредственно къ этому отождествленію. Сходя на землю, по вѣрованію нашихъ пращуровъ, Велесъ принималъ видъ быка, хотя бывали случаи, когда онъ, по старинному преданію, странствовалъ между вѣровавшими въ него людьми и въ человѣческомъ образѣ. Богопочитаніе Велеса являлось въ древней Руси однимъ изъ наиболѣе важныхъ въ языческомъ обиходѣ: именемъ бога-покровителя стадъ клялись наравнѣ съ громовержцемъ-Перуномъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ государственные договоры и лѣтописныя сказанія. Какъ богъ-пастырь, Велесъ считался и покровителемъ пѣснотворчества. Въ „Словѣ о полку Игоревѣ“³⁶⁾ баянъ такъ и называется „Велесовымъ внукомъ“. Такимъ образомъ, ему на славянскомъ Олимпѣ приписывались нѣкоторыя свойства Аполлона древней Греціи и нѣкоторыя — Пана, своеобразно объединенныя въ нѣчто цѣльное. Изъ блаженной страны небесныхъ равнинъ, омываемыхъ водами облачнаго моря-окіяна, Велесъ наблюдалъ недреманнымъ окомъ за земными пастбищами, охраняя стада, пасущіяся на

³⁶⁾ „Слово о полку Игоревѣ“ — единственный литературный поэтический памятникъ XII-го столѣтія. Безвѣстный авторъ „Слова“ воспѣваетъ неудачный походъ Игоря Святославича, князя сѣверскаго, на половцевъ (1188 г.). Этотъ памятникъ найденъ въ концѣ XVIII-го вѣка графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ и впервые изданъ имъ въ 1800-мъ году.

послѣднихъ, ото всякой бѣды - напасти и вызывая этимъ благоговѣйное отношеніе къ себѣ со стороны скотоводовъ, особенно охотно приносившихъ ему жертвы.

Совпаденіе имени христіанскаго святаго съ языческимъ богомъ дало прямой поводъ къ слянію ихъ обоихъ воедино. Отцы новорожденной русской Церкви не противились этому, видя въ томъ даже нѣкоторый залогъ скорѣйшаго преданія боговъ языческихъ забвенію. Такимъ образомъ, къ св. Власію перешло покровительство стадъ. До сихъ поръ на Руси повсемѣстно молятъ св. угодника, — не только въ день, посвященный его памяти, но и во всякое иное время, — о защитѣ ихъ. Существуютъ даже иконы, на которыхъ онъ изображенъ окруженнымъ коровами и овцами — подобно тому, какъ святые Флоръ и Лавръ пишутся съ лошадьми подлѣ себя. Въ коровникахъ и въ хлѣвахъ нерѣдко можно встрѣтить въ деревенской глуши иконы св. Власія. На крестныхъ ходахъ во время скотскихъ падежей впереди всѣхъ другихъ особо чтимыхъ святыхъ поднимается богоносцами икона этого угодника Божія.

11-го февраля повсемѣстно служатся власьевскіе молебны, — причемъ во многихъ селахъ сохранился обычай пригонять рогатый скоть къ церковной оградѣ ко времени служенія этихъ молебновъ, чтобы его можно было окропить святой водою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приносятъ въ церковь на Власьевъ день свѣжее коровье масло и ставятъ въ новой посудинѣ подъ икону чествуемаго святаго. Это масло въ Вологодской, Новгородской и другихъ сосѣднихъ губерніяхъ такъ и завется „воложнымъ“, „волоснымъ“ или „власьевымъ“. Оно поступаетъ въ пользу церкви и причта. Отсюда ведется поговорка: „У Власія — и борода въ маслѣ“. Послѣ окропленія святой водою, скоть гонятъ по дворамъ, причемъ старухи, идя за своими коровами, причитаютъ: „Святой Власій! Будь счастливъ на гладкихъ телушекъ, на толстыхъ бычковахъ! Чтобы со двора шли — играли, а съ поля шли — скакали!“

Встарину по всему богатому пастбищамъ заселью, — а теперь только въ захолустной глуши, — на Власьевъ день устраивались по селамъ скотскіе торги-базары. Суевѣрное воображеніе подсказывало какъ продавцамъ, такъ и покупателямъ, что — подлѣ защитой умиаостивленнаго молебствіями покровителя стадъ — всего выгоднѣе совершать куплю-продажу скота. „Власій — не обманеть, отъ всякой прорухи упасть!“ — говаривали торгаши, умасливая покупателя, прижимистаго на добытую потовымъ трудомъ деньгу. При сдѣлкахъ глялись-божились на Власьевомъ торгу непременно именемъ

этого святого, и такая клятва почиталась за самую крѣпкую,—немного выискивалось людей, которые рѣшились-бы покривить душою, поклявшись такъ въ этотъ день. Разгнѣванный клятвопреступникомъ покровитель, по народному вѣрованію, отступаетъ отъ него навсегда, предоставляя всякимъ лихимъ силамъ опутывать того всевозможными навожденіями.

Во многихъ мѣстностяхъ, еще на памяти старожилонъ, въ день св. Власія, рано поутру (до обѣдни), совершался обрядъ опахиванія деревни—въ огражденіе отъ Коровьей Смерти. Иногда это, впрочемъ, производилось поздней осенью; но въ большинствѣ случаевъ обрядъ приурочивался къ 11-му февраля. Съ самаго Срѣтенья бродить, по народному повѣрью, это страшное для скотовода чудище по задворкамъ. Пятаго февраля оно осмѣливается даже заглядывать во дворы, и бѣда тѣмъ дворамъ, гдѣ найдется въ эту пору незапертый хлѣвъ, да гдѣ съ осени не „опахана“ деревня Власьевъ день—и такъ грозенъ для чудища болѣе всего на свѣтѣ; но еще грознѣе онъ, если въ этотъ день соберется деревня, по старому обычаю, „унять лихость коровью“! Это униманіе производилось по особому, соблюдавшемуся съ незапамятныхъ временъ обряду. Наканунъ съ вечера начинала обѣгать всѣ подоконья старая старуха „повѣщалка“, созывавшая бабъ на заранѣе условленное дѣло. Собиравшіяся идти за нею, въ знакъ согласія, умывали руки, вытирая ихъ принесеннымъ повѣщалкой полотенцемъ. Мужики—отъ мала до велика—должны были во время совершенія обряда сидѣть по избамъ („не выходить ради бѣды великой“). Наступалъ заветный часъ—полночь. Баба-повѣщалка въ надѣтой поверхъ шубы рубахѣ выходила къ околицѣ и била-колотила въ сковороду. На шумъ собирались одна за другою готовые уже къ этому женщины—съ ухватами, кочергами, помелами косами, серпами, а тои просто съ увѣсистыми дубинами въ рукахъ. Скотина давно вся была заперта крѣпко-накрѣпко по хлѣвамъ, собаки—на привязи. Къ околицѣ притаскивалась соха, въ которую и запрягали повѣщалку. Зажигались пучки лучины, и начиналось шествіе вокругъ деревни. Последняя троекратно опахивалась „межеводной бороздою“. Для устрашенія чудища, способнаго, по словамъ свѣдущихъ въ подобныхъ дѣлахъ людей, проглатывать коровъ цѣлыми десятками сразу, въ это время производился страшный шумъ: кто—чѣмъ и во что гораздъ,—причемъ произносились различныя заклинанія и пѣлись особыя, приуроченныя къ случаю, пѣсни. Вотъ одна изъ нихъ: „Отъ окянъ-моря глубокаго, отъ луко-

морья зеленого выходили дванадесять дѣвъ. Шли путемъ, дорогой немалою, ко крутымъ горамъ высокімъ, ко тремъ старцамъ старымъ. Молились, печаловались, просили въ упрость дванадесять дѣвъ:— Ой, вы, старцы старые! Ставьте столы бѣлодубовые, стелите скатерти бранья, точите ножи булатные, зажигайте котлы кипучіе, колите рубите намертво всякъ животь поднебесной!— И клали великъ обѣтъ дванадесять дѣвъ: про животь, про смерть, про весь родъ человѣчъ. Въ ту пору старцы старые ставятъ столы бѣлодубовые, стелятъ скатерти бранья, колятъ-рубятъ намертво всякъ животь поднебесной. На крутой горѣ высокой кипятъ котлы кипучіе, во тѣхъ котлахъ кипучіихъ горитъ огнемъ негасимымъ всякъ животь поднебесной. Вокругъ котловъ кипучіихъ стоятъ старцы старые, поютъ старцы старые про животь, про смерть, про весь родъ человѣчъ. Кладутъ старцы старые на животь обѣтъ великъ, сулятъ старцы старые всему міру животы долгіе; какъ на ту-ли злую смерть кладутъ старцы старые проклятыице великое. Сулятъ старцы старые вѣковѣчну жизнь по весь родъ человѣчъ...“ Допѣвъ эту пѣсню и совершивъ все, предписанное пережившимъ вѣка обрядовымъ обычаемъ, всѣ расходились по дворамъ, съ крѣпкой надеждою на то, что страшное для скотоводовъ чудище не осмѣлится переступить за межеводную борозду.

Въ первомъ томѣ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“ помѣщена, въ качествѣ грознаго заклѣтія на Коровью Смерть, другая, болѣе близко подходящая къ этому случаю, пѣсня, которая сохранилась и до сихъ поръ повсюду, гдѣ даже никогда уже и не вспоминаютъ про обрядъ опахиванья, въ то время какъ приведенное выше пѣсенное заклинаніе давно успѣло отойти въ область преданій забытаго прошлаго.

„Смерть, ты Коровья Смерть!
 Выходи изъ нашего села,
 Изъ закутья, изъ двора!
 Въ нашемъ селѣ
 Ходитъ Власій святой
 Со ладономъ, со свѣчой,
 Со горячей золой,
 Мы тебя огнемъ сождемъ,
 Кочергой загребемъ,
 Помеломъ заметемъ,
 И подмеломъ забьемъ!
 Не ходи въ наше село,
 Чуръ нашихъ коровушекъ,

Чуръ нашихъ буренушекъ,
 Рыжихъ, лысыхъ,
 Бѣловымьихъ,
 Криворогихъ,
 Оdnороги-ихъ!⁴

Если при совершении опахиванья попадалось навстрѣчу какое-нибудь животное (собака, или другое), то на него накидывались всею толпою, гнались за нимъ и старались убить. Повѣрье гласило, что это попало само чудище, обернувшееся въ животное, чтобы пробраться за деревенскую околицу. Въ старинныхъ сказаніяхъ ведется рѣчь о томъ даже, что совершавшія обрядъ не давали пощады и встрѣчному человѣку; но это не подтверждается лѣтописными данными, такъ что вѣрнѣе всего можетъ быть отнесено къ досужимъ измышлениямъ старины, которая сама окрестила сказку прозвищемъ „складки“, противопоставивъ ей „пѣсню-быль“.

Есть въ верхневолжскихъ и сосѣднихъ съ ними губерніяхъ деревни, гдѣ утромъ на Власьевъ день, съ особыми, къ сожалѣнію—не записанными, причетами завиваютъ изъ соломы „закруту“ („Власію, или—Волоткѣ, на бородку“), смазываютъ ее скоромнымъ масломъ и вѣшаютъ въ коровникъ или въ овечьемъ хлѣвѣ. Этотъ обычай ведется—соблюдается съ давнихъ поръ, и начало его слѣдуетъ искать все въ тѣхъ-же вѣрваніяхъ, окружавшихъ нѣкогда память Велеса—скотьяго бога, которымъ клялись воины Олега ³⁷⁾ на царьградскомъ договорѣ о дружбѣ съ греками—послѣ того какъ воинственный князь прибилъ свой щитъ „на вратахъ Цареграда“.

Власьевскіе морозы считаются на деревенской Руси послѣдними (одни изъ семи крутыхъ утренниковъ). Наблюдающіе

³⁷⁾ О легъ—второй князь русскій, наслѣдовавшій Рюрику (въ 879-мъ г.) въ качествѣ старшаго въ родѣ и опекуна надъ малолѣтнимъ сыномъ его, Игоремъ. Новгородскіе предѣлы показали тѣсны ему—и онъ, съ сильной дружиною изъ варяговъ, новгородцевъ, мери, веси и кривичей, двинулся въ походъ на другія славянскія земли: прежде всего занялъ Смоленскъ, за нимъ—Любечъ (городъ сѣверянъ) и Кіевъ, гдѣ въ то время были свои князья Аскольдъ и Диръ. Въ Кіевѣ онъ и остался княжить. Въ 883-мъ году были покорены имъ древяне, за ними—сѣверяне, радимичи, поляне и другія племена. 20 лѣтъ велись эти походы, прославившіе смѣлаго воителя. Наконецъ, во главѣ несмѣтныхъ дружинъ изъ всѣхъ покоренныхъ народовъ (по словамъ лѣтописи—до 80.000 чел. на 2000 ладьяхъ) онъ пошелъ на грековъ (въ 907-мъ г.) и осадилъ Константинополь. Осада кончилась торжествомъ русскаго князя: императоры византийскіе Левъ и Александръ приняли всѣ условія, поставленныя ему Олеговыми послами, и князь съ богатыми дарами и договоромъ вернулся въ свой Кіевъ. Современники прозвали его Вѣщимъ, очевидно приписывая его счастливые походы волхвованію. Это прозвище удержалось за нимъ и въ потомствѣ. Умеръ Олегъ въ 912-мъ году; ему наслѣдовалъ Игорь.

за переѣнами погоды примѣтливые люди говорятъ: „Власьевскіе утренники подойдутъ — держи ухо востро!“, нерѣдко прибавляя къ этому: „Объ ину пору морозъ обожжетъ на Власья до слезъ!“ Въ изустномъ народномъ дневникѣ, хранителями котораго являются эти годовѣды, существуетъ прямое указаніе на то, что „три утренника до Власія да три послѣ Власія, а седьмой на день Власія“. Святой покровитель стадъ мѣстами такъ и зовется „Власій — сшиби рогъ съ зимы“.

Крестьянская дѣтвора помнитъ о Власьевѣ днѣ по сдобнымъ молочнымъ пышкамъ, которыя пекутся въ этотъ „коровій праздникъ“ въ память покровителя стадъ. Хорошая да заботливая, охочая до гостей хозяйшка напечетъ пышекъ всегда столько, что хватить не только всѣхъ ребятъ досыта накормить-налакомить, а и нищую братію на паперти одѣлить, чтобы та молила угодника Божія, „святого пастыря“, о защитѣ двора подающей „власьеву милостыню“ ото всякой напасти. Одну пышку берегутъ на божницѣ до новаго Власьева дня, такъ какъ это является, по словамъ старыхъ людей, лѣкарствомъ отъ скотской болѣсти: стоитъ-де только покрошить ея въ мѣсиво, да, съ молитвою ко Власію, дать больной животинѣ — все какъ рукой сниметъ! „Не нами заведено, не нами и кончится!“ — говоритъ деревня объ этомъ повѣрьи: — „Старые люди Богу лучше насъ вѣрили, а и тѣ намъ заповѣдали — блюсти Власьеву пышку на всякую бѣду, на всякій, упаси, Господи, случай!“

Сшибетъ Власій рогъ зимѣ, обожжетъ Власьевъ утренникъ зазѣвавшагося мужика до слезъ. А тамъ — и „окличка“ на дворѣ стоитъ, пора окликать звѣзды. Мало, гдѣ уцѣлѣлъ этотъ обычай, а тоже велся онъ на Руси съ пращуровыхъ дней. „Окликали звѣзды“ или на другой день послѣ Власія, или черезъ трое сутокъ (15-го февраля). Дѣлалось это „для плодородія овецъ“. Вечеру, по приглашенію овцевода, выходилъ пастухъ-овчаръ за околицу; клали они оба по три низкихъ поклона на всѣ четыре стороны свѣта бѣлаго. Пастухъ, истово помолившись святому Власію — „пастырю стадъ небесныхъ и защитнику земныхъ“, становился на разбросанную у околицы овечью шерсть и произносилъ особую „окличку“. Вотъ сохранившаяся у собирателей старины стародавней запись ея: „Засвѣтись, звѣзда ясная, по-подъ небесью на радость міру крещеному! Загорись огнемъ негасимымъ на утѣху православнымъ! Ты заглянь, звѣзда ясная, на дворъ къ рабу (имя рекъ). Ты освяти, звѣзда ясная, огнемъ негасимымъ бѣлоярыхъ овецъ у раба (имя рекъ). Какъ по-подъ небесью звѣздамъ нѣсть числа, такъ у раба (имя рекъ) уродилось бы

овецъ болѣй того!“ Вслѣдъ за этимъ, хозяинъ, приглашавшій пастуха на окличку, велъ его въ избу, угощаль чѣмъ Богъ послалъ, подносили вина, надѣляль—чѣмъ ни на есть, чтобы тому не съ пустыми руками за порогъ уйти.

Въ Рязанской, Тульской, Орловской и Владимірской губерніяхъ блюлся встарину по селамъ обычай - выставяль на три утреннихъ зорьки послѣ Власьева дня всякія сѣмена на морозъ, а потомъ подмѣшивать имъ въ мѣру при будущемъ посѣвѣ. Это называлось „дѣлать сѣменное“ и дѣлалось—въ надеждѣ на обильный урожай. Такимъ образомъ, покровительству св. Власія до нѣкоторой степени поручался не только скотъ домашній, а и будущій его кормъ. Радѣльныя-заботливыя хозяйки, заканчивая ко Власьеву дню пряжу льна и кудели, отбирали лучшей изъ всей пряжи мотокъ и выставяли его на первую послѣ Власія утреннюю зорьку на морозъ. Отъ этого,—гласитъ преданіе, вся пряжа дѣлается ровнѣе, бѣлѣе, тоньше и добротнѣе. „Позорнишь пряжу послѣ Власія,—будешь съ деньгами на Масляну!“—говорится въ старой поговоркѣ деревенской (т. е. выгодно продашь прядево): „Власій уйдетъ, масло на дорогу прольетъ“... А широкая Масляница—не заставитъ себя долго ждать послѣ Власьева дня, если не вздумается ей—веселой затѣйницѣ—самой объ иной годъ опередить его.



ХІІІ.

Честная госпожа Масляница.

Самымъ веселымъ, или —вѣрнѣе—разгульнымъ, народнымъ праздникомъ съ незапамятныхъ поръ на Руси слыла Масляница, совпадающая съ такъ называемой „сырною недѣлею“ (или „мясопустомъ“) православнаго мѣсяцеслова. Сама природа къ этому времени принимается ликовать, какъ-бы предчувствуя приближеніе Весны-Красной и скорую гибель Мораны-зимы, внесшей въ ея свѣтлое царство оцѣпенѣніе смерти. Солнышко начинаетъ пригрѣвать въ полуденную пору совсѣмъ по-весеннему: и оно словно тѣшится-играетъ, заставляя плакать бѣлые снѣга слезами горючими, а зябкій—хотя и привычный къ морозу—людь деревенскій радоваться, да чувствовать госпожу Масляницу—широкую, веселую да затѣйливую.

И въ наши дни еще говорятъ въ народѣ вмѣсто „широкоживешь“—„масляно ѣшь“, а о веселой да привольной жизни отзываются: „не житье, а Масляница“...—„Что выше неба, что шире Масляницы?“, „О масляной—недѣлю пируешь, семь опохмѣляешься!“, „Пили на Масляницѣ, съ похмѣлья ломало на Радоницу!“. Вотъ какими многозначительными поговорками-прибаутками еще и теперь величаетъ деревенская-посельская Русь честную госпожу Масляницу—семикову племянницу, тридцати братьевъ сестрицу, сорока бабушекъ внучку, трехматерину дочку. Она до сихъ поръ остается однимъ изъ любимѣйшихъ праздниковъ русскаго народа, удалому размаху котораго открывается такой просторъ въ живучихъ обрядахъ и обычаяхъ старины стародавней, связанныхъ съ этою, предшествующей строгому воздержанію, безпутной—„соромной“, по словамъ старыхъ людей, недѣлею.

Не такъ смотрятъ на эту веселуху-забавницу дѣвушки красныя съ парнями молодыми. Не видятъ ни тѣ, ни другіе въ ней ровно никакого „сѳрома“.

„Наша Масляница годовая,
Наша Масляница годовая,
Она гостійка дорогая,
Она гостійка дорогая!
Она пѣшою не ходить!
Она пѣшою на ходить,—
Всѣ на кѳняхъ разѣвзжаить,
Всѣ на кѳняхъ разѣвзжаить.
Кони-коники вороные,
Слуги, слуги всѣ молодые...
Здравствуй, Масляница!
Здравствуй, Масляница!“

Такими пѣснями встрѣчаетъ-величаетъ широкую Масляницу надѣющаяся еще успѣть попоститься на своемъ вѣку беззаботная молодежь.

Масляница приходится какъ-разъ на ту пору зимы, когда побѣда животворящихъ силъ природы надъ смертоносной мощью мрака и холода становится все ощутительнѣе: стоятъ оттепели, съ крышъ льетъ капѣль, день подростаетъ все замѣтнѣе. Во мракѣ вѣковъ этотъ праздникъ и возникъ въ видѣ тризны по умершей зимѣ-стужѣ и радостныхъ игрищъ въ ознаменованіе воскресенія свѣта-тепла весенняго. Убѣгало наводившее страхъ на все живое и жаждущее жизни чудище Морана, и бѣгство его было равносильно смерти вплоть до новой зимы. Появлялось, словно возрождалось къ новой жизни, свѣтлое божество весенняго плодородія земли—веселая красавица Лада. И шла красавица, озаряя Русь своимъ разгульнымъ весельемъ, шла-ѣхала на поиски дремавшаго гдѣ-нибудь въ глубокихъ свѣгахъ, усыпленнаго-зачарованнаго Мораною, своего возлюбленнаго, Леля (божество, связанное благотворной для земли дѣятельностью съ мѣсяцемъ маемъ). Богатое воображеніе народа окружало красавицу Ладу многочисленными веселыми, добрыми и разгульными спутниками полубожественнаго, полусмертнаго происхожденія, а злую Морану—духами тьмы, холода и всякаго лиха. Шли за вѣками вѣка, оставлявшіе языческія сказанія о богахъ въ затуманенной новой жизнью дали; и мало-по-малу красавица-богиня, вѣстница весны и любви, Лада превращалась въ Масляницу, объединившую въ себѣ нѣсколько потерявшее уже первоначальную окраску понятіе о ней и ея спутникахъ. Заклятой врагъ ея, Морана,

также растеряла по многовѣковой путинѣ свою свиту; но сама она осталась до послѣдняго времени во всей своей неприкосновенности.

Языческая тризна по ненавистой зимѣ-Моранѣ была, вмѣстѣ съ тѣмъ, на Руси и тризною по всѣмъ „прежде почившимъ“ Масляная недѣля связана и теперь, до нѣкоторой степени, съ поминовениемъ по родителямъ,—что особенно ярко выражается въ обычаѣ печь въ это время блины, являющіеся необходимой принадлежностью поминокъ. „Первая оттепель—вздохнули родители!“—говаривалъ народъ и приготавлился ко встрѣчѣ виновницы облегченія ихъ участи, все той-же Лады (Масляницы). Съ приготовлениемъ блиновъ на Масляницѣ соединены въ народной Руси до сихъ поръ не изгладившіяся изъ памяти повѣрья. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ первый испеченый масляничный блинъ кладутъ на слуховое оконце— „для родителей“. Старыя старухи даже такъ и приговариваютъ, соблюдая обычай: „Честные наши родители! Вотъ—для вашей душки блинокъ!“ Но еще до этого самая опара блинная затѣвается съ выполнениемъ особыхъ завѣтовъ суетврной старины. „Мѣсяць, ты мѣсяць,—причитаютъ съ вечера домовитыя хозяйки-стряпухи, золотые свои рожки! Выглянь въ окошко, подуй на опару!“ Кто не забудетъ сказать это, у того,—говорятъ на деревнѣ,—и блины выйдутъ рыхлые да бѣлые: не блины, а объѣденье! Приготовление первой опары держится стряпухою въ тайнѣ отъ домашнихъ: не то—всю недѣлю не будетъ ей давать покоя тоска-докука.

Въ старые годы встрѣча Масляницы совершалась весьма торжественно. Начинали-починали ее ребята. Съ первымъ проблескомъ зорьки высыпали они толпою строить снѣжныя горы. Краснѣе всѣхъ изъ нихъ говорившій еще заранѣе учивалъ со словъ старой бабки „причетъ къ широкой боярынь“:—„Душа-ль ты моя Масляница, перепелиныя косточки, бумажное твое тѣльце, сахарныя твои уста, сладкая твоя рѣчь! Приѣзжай къ намъ въ гости на широкъ дворъ на горахъ покататься, въ блинахъ повалиться, сердцемъ потѣшаться. Ужь ты-ль, моя Масляница, касаточка, ласточка, ты же моя перепелочка! Приѣзжай въ тесовой домъ душой потѣшиться, умомъ повеселиться, рѣчью насладиться!.. Выѣзжала честная Масляница, широкая боярыня, на семидесяти семи саняхъ козырныхъ, въ широкой лодочкѣ во великъ городъ пировать, душой потѣшиться, умомъ повеселиться, рѣчью насладиться. Какъ навстрѣчу Масляницѣ выѣзжалъ честной Семикъ на салазочкахъ, въ однѣхъ портяночкахъ, безъ лапотокъ. Приѣзжала честная Масляница къ Семику, широкая боярыня, во

дворь. Ей-то Семикъ бьетъ челомъ, — бьетъ челомъ, кланяется, зоветь во тесовой теремъ, за дубовый столъ, къ зелену вину!..“ Къ концу причета горы были готовы, а кстати—дома и блины начинали плясать въ горшкѣ съ опарою, просясь на сковороды, а тамъ—и къ православнымъ въ ротъ. „Пріѣхала Масляница, пріѣхала!“—кричали ребята, разбѣгаясь по домамъ. Бѣль блиновъ вволю людъ честной. А потомъ—съ пѣснями, съ пляскою—носили и возили по улицамъ дерево, причудливо изукрашенное бубенцами, колокольчиками да яркими лоскутьями. Послѣ этого возили „Масляницу“, почему-то изъ красавицы-богини превратившуюся въ наряженнаго бабою мужика, увѣшаннаго березовыми вѣвниками и съ балалайкой въ рукѣ. Снаряжался цѣлый поѣздъ. Впереди него мчались расписныя сани (а въ иныхъ мѣстахъ—лодка на полозьяхъ), запряженные „гусемъ“ въ 10—20 лошадей: на каждой лошади сидѣло по вершнику съ метлой въ рукахъ. Мужикъ-Масляница, кромѣ балалайки, держалъ время отъ времени штофъ съ „государевымъ виномъ“, помимо него иногда прикладываясь и къ бочонку съ пивомъ, стоявшему подлѣ о-бокъ съ „блиннымъ коробомъ“. За первыми санями слѣдовала вереница другихъ, переполненныхъ нарядными парнями, дѣвками и ребятами. Стоявшій въ воздухѣ перезвонъ бубенцовъ-погремушекъ смѣшивался съ задорнымъ треньканьемъ балалаекъ и пѣснями. Изъ всѣхъ домовъ высыпалъ народъ, бѣжавшій слѣдомъ за веселымъ поѣздомъ. Переднія сани назывались „кораблемъ“,—почему въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ изукрашивались воткнутыми метлами съ привязанными къ нимъ полотенцами, долженствовавшими изображать мачты съ парусами. „Встрѣча“ происходила въ понедѣльникъ. Вторникъ звался „заигрышами“, и въ этотъ день начинали собираться масляничныя игрища, не знавшія, что называется, ни ладу, ни удержу. Улицы оживлялись толпами бродячихъ скомороховъ, въ изобиліи чествуемыхъ за свою потѣху веселую блинами масляными со всякимъ припекомъ, съ пивомъ да съ брагой. Недаромъ сложилось присловье старое: „Масляница-блинница—скоморошья радѣльница!“ За скоморошьею потѣхою выходила протореной дорожкой на деревенскую Русь и утѣха гуслирная—во образѣ и теперь коегдѣ пѣшешествующихъ старцевъ-гуслировъ, сказателей и пѣсноладцевъ. Устраивались-становились повсюду качели („дѣвичья потѣха“), воздвигались „снѣжные городки“. Эти городки олицетворяли собою укромный пріютъ чудища-зимы и въ субботу на масляной недѣлѣ разбивались, для чего играющіе раздѣлялись на двѣ партіи—осаждаемыхъ и осаждающихъ—и вели войну, кончавшуюся разгромомъ „городка“.

Вмѣсто осады послѣдняго, иногда устраивался—въ глуши и до сихъ поръ не вышедшій изъ-обычая—кулачный бой, составившій съ незапамятныхъ дней одну изъ любимыхъ потѣхъ русскаго народа, создавшаго даже былиннаго воплотителя этой удали—Василья Буслаева. Шли „стѣнка—на стѣнку“, доставляя этимъ не мало удовольствія зрителямъ, а самимъ-себѣ причиняя иногда и совсѣмъ невеселыя послѣдствія—въ родѣ переломленныхъ реберъ и выбитыхъ зубовъ. Но все это какъ-то сходило („что съ гуся—вода“) на веселой недѣль, —словно залѣчивалось, подъ звонкія пѣсни, усиленнымъ блинояденіемъ и пивопійствомъ.

Наставала масляная середѣ. Въ этотъ день людъ честной, послѣ разудалыхъ „заигрышей“, начиналъ во всю лакомиться масляничными яствами; оттого-то и звалась эта середѣ „лакомкою“. Въ четвергъ повсемѣстно — „запивались блины“, шель самый широкій разгуль, —откуда и название этого дня: „разгуляй-четвертокъ“, или „широкій четвергъ“. Пятница слыла, да и теперъ слыветъ, подъ именемъ „тециныхъ вечорокъ“; въ этотъ день полагается зятьямъ навѣщать тецъ; суббота зовется „золовкиными посидѣлками“ (невѣстки приглашаютъ къ себѣ золовокъ). Оба эти дня посвящены въ народѣ хожденію по роднѣ. Воскресенье, послѣдній день масляницы, носитъ нѣсколько именъ: „проводы“, „прощанье“, „цѣловникъ“ и „прощонный день“; на него, между прочимъ, въ обычаѣ ѣздить отдаривать кума съ кумой.

Проходилъ „прощонный день“—послѣ него и „честная госпожа“ уходила, уносила съ лица Земли Русской до будущаго года и свои перепелиныя косточки, и свое бумажное тѣльце, и сахарныя уста,—съ рѣчами сладкими-медовыми. Русая коса, красная краса, со всей ея повадкой повадливою, оставалась только въ воспоминаніи, не выходявшемъ изъ головы, однако, у иныхъ весельчаковъ,—какъ видно изъ крылатыхъ присловій простодушной народной мудрости,—вплоть до самой Радоницы. Широкая боярыня давала себя знать предкамъ современнаго русскаго пахаря-деревеньщины! „Масляница объѣдуха, денегъ приберуха“, —говаривали они, добавляя въ часть широкаго размаха веселости: „Хоть себя заложить, да Масляну проводить!“ Зазорно хлѣббосольной русскою душѣ слышать молвь сосѣдей о томъ, „что была-де у двора Масляна, да въ избу не взошла“.

„Мы Масляницу сострѣчали, мы Масляницу сострѣчали, люли-люли, сострѣчали, гоголѣкъ, гоголечикъ!“ — разливается еще и въ наши дни величающая трехматерину дочку старая пѣсня: „На горушки не бывали, сырромъ гору набивали. На-

ши горюшки катливы, наши дѣвушки игривы, молодушки веселыя; стары бабушки воркотливы: ены на печки сидятъ, на насъ воркотятъ. Вы, бабушки, не ворчите! Дайте Масляницу намъ прогулять, съ ребятами поиграть, съ ребятами, со холостыми, со холостыми не женатыми, люли-люли, не женатыми, — гоголекъ, гоголѣчикъ!“

Цѣлую недѣлю пѣла-плясала, ѣла-пила, другъ по дружкѣ въ гости хаживала крещоная матушка-Русь, съ горъ каталась, въ блинахъ валялась, въ маслѣ купалась. Но „не все коту масляница“: на восьмой день наступали проводы. На этихъ-последнихъ сожигалась зима-Морана. За околицы деревень и селъ, за городскія заставы вывозили-выносили безобразное чучело чудища и, возложивъ на соломенный костеръ, сожигали подъ пѣсни молодежи, устраивавшей на мѣстѣ казни поминальную игрушку. Пиво хмѣльное, вино пьяное лились здѣсь въ изобиліи, словно олицетворяя собою всеоживляющій, опьяняющій нѣдра земныя, дождь. Были мѣстности, гдѣ сожигалось не чучело, а расписанное изображеніями „темной силы“ колесо; въ иныхъ—ставили при пути-дорогѣ шесты съ навязанными на нихъ пучками соломы и поджигали. Предавалась пламени и ледяная гора, заваленная хворостомъ и соломою. Справивъ всѣ эти, предписанные суевѣрной стариною, обряды, народъ расходился по домамъ. Здѣсь начиналось „прощанье“, повсюду уцѣлѣвшее и до настоящаго времени. Просили прощенья и обоюдно прощали родные, знакомые и всѣ первые встрѣчные. Такимъ образомъ масляничный разгулъ завершался обрядомъ чисто христіанскаго свойства, хотя начало его также коренится въ сокровенныхъ тайникахъ древнеславянскаго язычества. Обрядъ этотъ общеизвѣстенъ и съ XVII-го столѣтія измѣнился очень мало. „Прощонный день“ соединялъ въ себѣ еще и поминки по родителямъ. Празднованіе Масляницы („семиковой племянницы“), ведущей за собою Великій Постъ, не ограничивалось встарину, однако, только этимъ. Къ разгульному веселью присоединялись, шли рука объ-руку съ нимъ, и дѣла милосердія. Такъ, напримѣръ, устраивалось о Масляницѣ кормленіе нищихъ и убогихъ.

Триста лѣтъ тому назадъ въ палатахъ государевыхъ эта, христіанская, сторона праздника выражалась ярче, чѣмъ гдѣ-бы то ни было на старой Руси. Въ воскресенье, предшествующее масляной недѣлѣ, послѣ заутрени, на площади Успенскаго собора совершалось торжественное дѣйство Страшнаго Суда“. Воздвигались два „мѣста“—государево и патриаршее; противъ послѣдняго ставился „рундукъ“—помость, обшитый краснымъ сукномъ. На помость помѣщался образъ

Страшнаго Суда Господня, большой аналой—съ „паволокою“ подь икону Божіей Матери и подь Евангеліе. Ставился столъ для освященія воды. Слѣдовалъ выходъ государя въ Успенскій соборъ; отсюда царь съ патриархомъ шествовали „на дѣйство“ съ крестнымъ ходомъ, при звонѣ всѣхъ сорока-сороковъ. На зрѣлище стекались многія тысячи народа московскаго. Предъ выходомъ на него царь-государь, рано поутру, совершалъ другой выходъ (малый): обходилъ тюрьмы, колодничьи приказы и божедомныя убѣжища (богадѣлни),—всюду жалуя своей милостью несчастныхъ и обездоленныхъ. Съ половины Масляницы зачинались въ царскихъ покояхъ „прощонные дни“: государь объѣзжалъ не только городскіе, но и подгородніе, монастыри, „прощался“ съ братіей, поминалъ родителей и жаловалъ своихъ богомольцевъ отъ всего усердія. Въ пятницу государь „прощался“ съ царицею: въ воскресеніе днемъ „предъ свѣтлыя очи“ его являлись прощаться патриархъ со всѣмъ чиномъ духовнымъ, бояре и служилые люди, а ввечеру совершалось шествіе государево къ патриарху, гдѣ—послѣ торжественнаго обряда—пились „прощальныя чаши“. Первый день Великаго Поста у „царя всея Руси“ начинался съ милостей: ему обстоятельно докладывалось о колодникахъ, „которые въ какихъ дѣлахъ сидятъ много лѣтъ“. А на Руси въ этотъ день затихали послѣдніе отголоски широкаго русскаго народнаго праздника, въ глухую пору язычества бывшаго недѣлей, посвященною красавицѣ Ладѣ, любѣ-завнобушкѣ кудряваго Лѣля...

И теперь еще справляетъ „нѣмецкую масляницу“ русскій людъ, вдоволь не успѣвающій нагуляться за недѣлю. Такъ говорятъ въ народѣ объ опохмѣляющихся въ чистый понедѣльникъ гулякахъ. „Широка рѣка Масляна: затопила и Великій Постъ!“ — добавляют порою при этомъ, словно въ оправданіе запаздывающимъ весельчакамъ, дождающимъ въ первый постный день оставшійся „поганый кусокъ“ и „полощущимъ ротъ“ недопитымъ виномъ. О такихъ людяхъ сложился въ народѣ цѣлый рядъ различныхъ поговорокъ. Вотъ нѣсколько, наиболѣе мѣткихъ, изъ нихъ: „Звалъ позывалъ честной Семикъ широкую Масляницу къ себѣ погулять!“, „Бойтся Масляна горькой рѣдки да пареной рѣпы!“ „Продлись, наша Масляна, до Воскреснаго дня!“ Но и справившіе „прощанье-восресеніе“ по всѣмъ завѣтамъ христоробивыхъ праотцевъ ѣдятъ въ это время блины—постные, съ коноплянымъ, либо съ подсолнечнымъ, масломъ. Это называется—справлять „тужилку по честной госпожѣ Масляницѣ“.

Народныя примѣты—устаами старыхъ, знающихъ, людей—

гласять, что, если въ воскресенье передъ масляной недѣлею будетъ ненастье, то надо лѣтомъ ждать большого урожая грибовъ. „Какой день на Масляницу красный—ясный да теплый, въ тотъ сѣй (по веснѣ) и пшеницу!“ Это совѣтуетъ деревенскій сельскохозяйственный опытъ, не измѣняющій своимъ обязанностямъ годовѣда и во время безшабашнаго разгула широкой, веселой, семь дней потѣшающейся на Руси Масляницы, заставляющей иныхъ, молодыхъ, мужиковъ забывать о поговоркѣ— „Пируй-гуляй, баба, на Масляну, а про постъ вспоминай.“ Но,—словно наперекоръ послѣднему при словью умудренныхъ жизненнымъ опытомъ людей—повторяетъ народная Русь относящійся къ честной гостьѣ Масляницѣ сложившійся на (малорусской-полтавской) окраинѣ приходящійся по сердцу всѣмъ нетерпѣливо ожидающимъ „поднесенъ ева дня“ гулякамъ припѣвъ:

„Ой, Масляна, Масляна!
 ♪ Яка ты чудна!..
 Якъ бы въ тобѣ сѣмъ недѣль,
 А въ посту одна!“...

Курская, провожающая развеселую недѣлю, молодѣжь деревенская въ свой чередъ вторитъ этому залихватскому припѣву своимъ, не менѣе выразительнымъ:

„А Масляна, Масляна—полизуха!
 Полизала блинцы да стопцы,—
 ♪ На тарельцы.
 А мы свою Масляну провожали,
 Тяжко-важно по ней воздыхали.
 А Масляна, Масляна, воротися,
 До самого Велика-Дня протянися!“

Скоморохи-потѣшники, игрецы-гусельщики, „веселые гулящие люди“, съ которыми браталась-пировала старину о Масляницѣ народная Русь,—явленіе далеко немаловажное въ жизни нашего народа. Эти прямые преемники древнегреческихъ и римскихъ „гистрионовъ“ и „мимовъ“ являются старѣйшими представителями русской народной словесности, народнаго лицедейства и народной музыки и съ XI вѣка до второй половины XVII столѣтія не сходятъ со страницъ лѣтописей и другихъ памятниковъ духовной и свѣтской письменности. И раньше этого времени на Руси были „скоморохи, люди вѣжливые“;

да о томъ не сохранилось никакихъ слѣдовъ-памятниковъ. Изъ Византіи, вмѣстѣ съ начатками христіанства, къ намъ перешло немало и тамошнихъ обычаевъ, а въ числѣ ихъ и нѣкоторыя особенности скоморошества. Само-же оно не могло быть перенесеннымъ на Русь съ чуждой духу русскаго народа почвы: это—явленіе, вполне самостоятельное.

Лѣтописи и старинныя поученія, дошедшія до нашихъ временъ, величаютъ скомороховъ „глумцами“, „кощунниками“, „сквернословыми“, „москолутами погаными“, „срамцами безбожными“ и тому подобными громкими кличками, а былины, пѣсни и другіе памятники народнаго творчества относятъ къ нимъ названія „людей вѣжливыхъ и очестливыхъ“, „веселыхъ молодцовъ“, „пѣвуновъ умильныхъ“ и „загусельщиковъ утѣшныхъ“. Лѣтописцы и поучители порицаютъ „игры бѣсовскія, плясбу, гудьбу, пѣсни, сопѣли, смѣхотвореніе, глумленіе и гусли,“ говоря, чтобы всѣ благочестивые люди „отметались тѣхъ пировъ“, чтобы не вѣдались со скоморохами, не присутствовали даже при нихъ на бесѣдахъ, потому-что все это „бѣсовъ радуеть“ и „ангеловъ отженяетъ“, все это—„смерднѣй грѣхъ“. А народъ—по былинамъ—зываетъ „прохожаго скоморошину“, сажаетъ за столъ, угощаетъ всѣмъ, что есть въ печи, и заслушивается его скоморошества, не видя въ его игрѣ гусельной, въ его пѣсняхъ голосистыхъ, въ его сказаніяхъ умильныхъ ничего „богомерзкаго“ и „бѣсовскаго“, а словно даже находя въ этомъ удовлетвореніе своимъ высшимъ потребностямъ—запросамъ своего пытливаго, мятущагося духа, утѣшеніе и потѣху. Наши древніе „письменные люди“ слишкомъ рабски подражали въ своихъ писаніяхъ византійскимъ церковнымъ поученіямъ, совершенно забывая при этомъ, что въ Византіи скоморошество было связано съ извѣстнымъ языческимъ богопочитаніемъ, а потому и преслѣдовалось властями церковными,—а у насъ было однимъ изъ яркихъ проблесковъ народнаго самосознанія, было связано съ лучшими проявленіями его духовной жизни и никогда изъ „потѣхи веселой“ не переходило въ кощунство. Въ то время, когда изъ-подъ пера лѣтописцевъ лились потоки проклятій на головы „веселыхъ гудцовъ-молодцовъ“, они представляли собою истинныхъ служителей искусства: въ древнѣйшемъ образѣ своемъ скоморохи—только „гусельщики“, пѣвцы-баяны, послѣдователи того самаго соловья-Бояна, вѣщага пѣснотворца, о которомъ говорится въ „Словѣ о полку Игоревѣ“. Съ легкой руки нашихъ древнихъ письменныхъ и книжныхъ людей, и народъ, соприкасавшійся съ этими книжниками, сталъ смѣшивать гусяра-пѣвуна-потѣшника съ „гуляющими людьми“ и даже „со-

ромниками“, хотя и не проявлялъ этого такъ рѣзко, какъ составители поученій. Народныя былины, лѣтописи, поученія, остатки древней стѣнной живописи, наконецъ—старинныя лубочныя картинки,—вотъ откуда можно почерпать тѣ или другія свѣдѣнія о скоморохахъ.

Изъ старины стародавней выступаетъ яркій величавый образъ пѣснотворца временъ минувшихъ и рядомъ съ нимъ—обликъ скомороха захожаго, предпочитающаго „веселую игру“ „нѣжной“, „умильной“ и „великой“ игрѣ своего собрата по искусству. Первобытныя гусли (отъ слова гудѣть)—своимъ видомъ напоминаютъ плашмя положенную арфу. „Гусли-самогуды“ сами, по словамъ народа, гудятъ, сами пляшутъ и пѣсни играютъ на колѣняхъ дотошнаго гусяра, перебирающаго (сидя) пальцами, или подергивающаго „бѣлою рукой“, звончатыя струны (льняныя или волосяныя), натянутыя на хитро сдѣланный изъ явороваго дерева (гусли яровчатыя) „голосный ящикъ“ (доску). Пѣсня шла здѣсь въ первую голову, самыя гусли—только подыгрывали ей. Были, кромѣ пѣвуновъ, и „игрецы-плясуны“. Древнерусскіе „скомрахи, плясцы, гудцы, сквернословцы“ (въ устахъ письменныхъ людей) пользовались почетомъ даже при княжескомъ дворѣ. Время отъ времени посылались „люди государевы“ набирать по Руси веселыхъ людей „на княженецкій дворъ“. Веселые люди (впослѣдствіи выродившіеся при дворѣ въ шутовъ и „дураковъ“) должны были пѣть передъ княземъ и всячески утѣшать его на пирахъ и на бѣсѣдахъ. Кромѣ завязатыхъ скомороховъ, веселостью снискивавшихъ себѣ пропитаніе, видывалъ княжескій дворъ и любителей искусства, богатыхъ гостей и богатырей (Садко, Добрыня, Ставръ Годиновичъ, Соловей Будимировичъ и друг.), по своей доброй волѣ проявлявшихъ дарованіе передъ лицомъ князя, — что опять-таки впослѣдствіи выродилось, должно быть, въ князей и бояръ-шутовъ. Кромѣ пировъ, участвовали скоморохи и гусельники въ свадебныхъ поѣздахъ, что отчасти сохранилось и теперь въ деревенской глуши, особенно въ Малой и Бѣлой Руси.

Желанный гость каждаго пира, имѣвшій свое особое мѣсто и у великокняжескаго стола,—скоморохъ-гусярь къ XVIII-му столѣтію все болѣе и болѣе начинаетъ вытѣсняться изъ палатъ „хорами мусикійскихъ орудій“, „варганами“, духовой и „ударной“ музыкою иноземной и переходитъ исключительно уже на площадь, въ народную, толпу утрачивая при этомъ свой величавый характеръ и дѣлаясь иногда—въ угоду кормящей его толпѣ—„глумцомъ“, „глумотворцемъ“ и „перемѣшникомъ“. Гусяры—слагатели былинъ, распѣвавшіе ста-

рымъ складомъ „пѣсни умильныя“, „пѣсни царскія“, наигрышавшіе „игры нѣжныя“, доставлявшіе „утѣхи великія“, уступаютъ главное мѣсто создателямъ „веселой игры“, ранѣе шедшимъ нераздѣльно съ ними. И эти послѣдніе, подлаживаясь подъ низменные вкусы черной толпы, дѣлались иногда—и не только въ глазахъ строгихъ книжниковъ—„блзниками, срамниками и сквернодѣями“.

Древній-скоморохъ повѣствовалъ о мѣстахъ далекихъ, начиналъ свою „игру-пѣсню“ изъ-за синя моря, переплетая повѣствованіе розсказнями о своихъ походехъ (наигрыши, напѣвочки, тонцы), „сказалъ по мысленному древу“, возносился подъ облака, мчался черезъ доли и горы, воспѣвалъ и Илью, и Соловья-разбойника, и „премудрость Соломонову“, и „глухоморье зеленое“, перепархивая отъ старины стародавней къ веселымъ прибауткамъ и шуточкамъ, иногда и несовсѣмъ поучительнаго склада. Съ конца XVI, а особенно въ срединѣ XVII вѣка—по свидѣтельству Адама Олеарія³⁸⁾ и другихъ современниковъ—скоморохъ отдѣляется отъ гусельника и водить его за собою только для подыгрыванія или подпѣванья, самъ немало теряя въ глазахъ любителей древняго пѣснотворчества. „Скоморохъ голодъ на дудкѣ настроить, да житія своего не установитъ!“,—гласитъ народная поговорка, и вотъ плясуны, пѣвцы, потѣшники-скоморохи бредутъ по всему русскому раздолью, изъ города въ городъ, отъ села къ селу,—на улицѣ, на площадяхъ и поляхъ (А. С. Фаминцынъ³⁹⁾ увеселяютъ народъ въ праздничное время. То въ-разбродъ, парами или—по старинѣ—и въ одиночку, то цѣлыми ватагами, даютъ они свои представленія подъ игру сѣдобородыхъ гусельниковъ, вздыхающихъ на своихъ говорящихъ струнахъ о вымирающей „великой по-

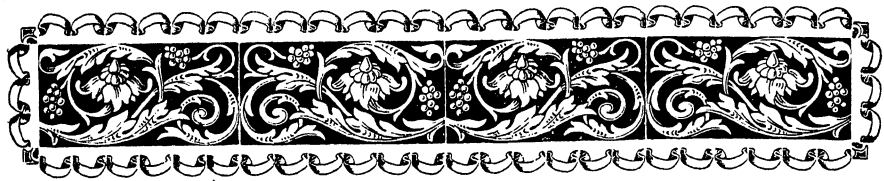
³⁸⁾ Адамъ Олеарій—нѣмецкій ученый, въ качествѣ секретаря голштинскаго посольства посѣтившій въ 1636-мъ году Москву, затѣмъ проѣхавшій въ Персію, а на обратномъ пути—снова въ Москву (въ 1639 г.), и описавшій свое путешествіе въ Московію и Персію. Книга его, изданная въ 1647 г. въ Шлезвигѣ, является замѣчательнымъ историческимъ памятникомъ. Олеарій родился въ 1599-мъ году въ Саксоніи, по происхожденію—сынъ бѣднаго портного, воспитывался въ лейпцигскомъ университетѣ. Во время Тридцатилѣтней войны онъ покинулъ Лейпцигъ и поступилъ на службу къ шлезвигъ-голштинскому герцогу Фридриху III. Послѣ своихъ путешествій онъ поселился въ Гошторпъ, занявъ должность придворнаго библиотекаря. Умеръ Олеарій въ 1671-мъ году.

³⁹⁾ Александръ Сергѣевичъ Фаминцынъ, извѣстный музыкальный теоретикъ и композиторъ, родился въ Калугѣ въ 1841-мъ году, по образованію—естественникъ, съ 1865 по 1872 г. состоялъ преподавателемъ с.-петербургской консерваторіи, а затѣмъ былъ секретаремъ императорскаго русскаго музыкальнаго общества. Какъ композиторъ, онъ извѣстенъ операми „Сарданапалъ“ и „Урлѣль Акоста“. Но наибольшую извѣстность приобрѣли ему изслѣдованія: „Боже-ства древнихъ славянъ“, „Гусли“ и—въ особенности—„Скоморохи на Руси“.

тѣхъ умильной“. Появляется новый родъ скомороховъ—скоморохи-кукольники, обвязывающіеся крашеной и устраивающіе у себя надъ головой нѣчто въ родѣ кукольнаго балагана. „Игры, глаголемыя куклы“, прибавляются къ длинному списку преступленій противъ вѣры и нравственности въ глазахъ строптивыхъ книжниковъ. А, между тѣмъ, „игры“ эти сначала были совсѣмъ невинными проявленіями народнаго остроумія, веселыми-безобидными шутками; затѣмъ стало примѣшиваться къ этому общественное содержаніе, а потомъ уже и „соромныя дѣйства“, такъ поразившія заѣзжаго „нѣмца“ Олеарія. Скоморохи-кукольники, въ сопровожденіи гусельщика, были предметомъ общаго удивленія и восторга и на шумной московской площади, и на улицѣ захудалаго посада-пригорода, и подъ сѣнью гостепримной боярской хоромины, и подъ навѣсомъ старыхъ вѣтелъ въ деревенскомъ хороводѣ. Вездѣ за ними ходили толпы народа, щедро одѣлявшаго потѣшниковъ—чѣмъ попало: и мелкой мѣдью, и всѣмъ кто чѣмъ богатъ, и даже крѣпкимъ русскимъ словомъ.

О гусельникахъ-кукольникахъ (по старой памяти, они все еще прозывались-величались гусельниками) можно составить довольно вѣрное понятіе по представленіямъ современнаго „Петрушки“, почти цѣликомъ сохранившаго нѣкоторыя особенности старинной „кукольной игры“. Обстановка—вся разница. Въ Москвѣ—на Дѣвичьемъ Полѣ и въ Сокольникахъ (весною), въ Петербургѣ—недавно на Царицыномъ Лугу, а теперь—на Семеновскомъ плацу и по всему простору Земли Русской (по ярмаркамъ) и теперь еще можно видѣть не только эти остатки старинной потѣхи, но и народныхъ скомороховъ—въ лицѣ „балаганныхъ дѣдовъ-стариковъ“, на Украинѣ—гусяровъ-кобзарей (къ сожалѣнію, явленіе исчезающее), а на крайнемъ сѣверѣ, да кое-гдѣ по Волгѣ, и пѣвуновъ-сказителей, оставившихъ гусли и, безо всякаго подыгрыша, голосомъ ведущихъ пересказы былинъ стародавнихъ. И все это, несмотря на то, что, начиная съ XVII-го столѣтія, противъ „веселыхъ людей“ возставали, заодно съ книжными людьми, и духовенство, и свѣтскія власти, запрещавшія не только „скоморошество“, но даже издававшія строгіе наказы объ „изничтоженіи“ всей струнной музыки на Руси, дѣлавшія гусельниковъ-потѣшниковъ отверженцами общества. Нужно оговориться, однако, что на такія строгія мѣры противъ „веселыхъ молодцовъ“ власти были вызваны тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бродячія ватаги скомороховъ превращались въ шайки грабителей, не хуже разбойниковъ—опустошавшія мирныя деревеньки. Эти исключительныя явленія давали по-

водъ къ незаслуженнымъ карамъ за скоморошество и „веселіе“ вообще. Но живучъ духъ русскаго народа, живучи—его остроуміе, его природная склонность къ пѣснотворчеству, „великому“ и „малому“, „умильному и „веселому“, его любовь къ искусству. Прошли столѣтія, преслѣдованіе „веселія“ давно—въ области преданій, на Руси процвѣтаетъ театръ, окрѣпла и развилась музыка, широко расправило свои могучія крылья искусство-художество, а и теперь еще гудятъ кое-гдѣ гусли-самогуды, и теперь еще справляется народная потѣха веселая.



XIV.

Мартъ-позимье.

„Сшибеть рогъ зимъ“ Власій—пастырь стадъ небесныхъ, покровитель земныхъ; подоспѣтъ ему на подмогу Василиѣ-капельникъ (28-е февраля), а тамъ—на-смѣну февралю-боко-грѣю и мартъ-мѣсяцъ изъ-за горъ-горы—изъ-за чужедаль-ныхъ странъ, съ теплаго моря-окіяна—на свѣтлорусское раз-долье широкое выйдеть, красна-солнышка лучами честному люду улыбнется. Мартъ—„по-зимній“ мѣсяцъ, съ него на Руси „пролѣтъ“—весна зачинается.

Мартъ—прозвище не русское, занесенное встарину къ на-роду русскому отъ византийцевъ. Въ годы пращуровъ звал-ся этотъ мѣсяцъ на Руси „сухимъ“ и „березозоломъ“; пер-вый день его именовался „новичкомъ“, потому-что съ него—до начала XV-го вѣка, когда при великомъ князѣ Василиѣ Ди-митріевичѣ ⁴⁰⁾, новолѣтіе—было перенесено на сентябрь, велся счетъ новому году, а самый мѣсяцъ стоялъ въ ряду другихъ первымъ.

Первое марта, день, посвященный, по православному мѣсяце-слову, памяти св. Евдокіи, въ простонародномъ изустномъ дневникѣ слыветъ за „Евдокею-плюнциху“. Спѣговые сугробы

⁴⁰⁾ Василиѣ II-й Димитріевичъ, сынъ кн. Димитрія Ивановича Дон-ского, великій князь всея Руси, родился въ 1371-мъ, вступилъ на престолъ въ 1389-мъ году. До самой кончины своей, послѣдовавшей въ 1425-мъ году, онъ велъ борьбу съ удѣльными князьями русскими. При немъ былъ цѣлый рядъ мелкихъ походовъ татаръ на Русь, одинъ изъ которыхъ связанъ съ осадю Москвы (въ 1408 г.) Василиѣ II-й былъ женатъ на Софіи, дочери литовскаго князя Витовта.

къ этому времени подтаиваютъ и, осѣдая, во многихъ мѣстахъ распадаются на „плюшки“-дѣлянки. „Авдотья-плющика снѣгъ плющить!“ — говорятъ въ народѣ, справляющемъ въ день „Евдокеи — подмочи порогъ“ первую встрѣчу весны. „Евдокея красна — и весна красна!“ „Евдокея весну сряжаетъ!“ — продолжаютъ свой причетъ объ этомъ днѣ народныя примѣты. — „Откуда на Евдокеи вѣтромъ повѣть, оттуль онъ подуетъ весной и лѣтомъ. Коли Евдокея съ дождемъ, то быть лѣту мокрому. На Евдокеи погожо — все лѣто пригожо!“... Первое марта — первая оттепели весеннія; съ первыхъ оттепелей деревенская дѣтвора первая „веснянки“-пѣсни запѣваетъ. Но случается, — и нерѣдко, — что и „мартъ морозомъ на носъ садится“, что „и на Евдокею морозъ прилучится“. Потому то и приговариваютъ передъ первымъ марта деревенскіе примѣтливые люди: „Тепло свѣтитъ солнышко, да Авдотьею поглядываетъ — либо снѣгъ, либо дождь. Евдокея умоется — и насъ обмоетъ. На Евдокеи снѣгъ — будетъ урожай, теплый вѣтеръ — мокрое лѣто, вѣтеръ со полуночи — холодное лѣто!“. Народное погодовѣдѣніе занесло въ свой неписанный дневникъ, что иногда „Евдокея въ-стоячъ собаку снѣгомъ заносить“, даромъ что она, плющика, „снѣгъ настомъ плющить“. Сельскохозяйственный деревенскій опытъ говоритъ, что, если на Евдокею холодно — скотъ придется кормить двѣ лишніе недѣли (по веснѣ). А если „у Евдокеи вода“, то — „у Егорья теплаго (23-го апрѣля) трава“; „Коли курочка въ Евдокеи напьется (снѣговой талой воды), то и овечка на Егорья (травы) наѣстся!“ „Ни въ мартѣ воды — ни въ апрѣлѣ травы!“.

Съ перваго марта — первые весенніе вихри крутятся, вѣтеръ начинаетъ свистать, отчего Евдокею-плющику и прозвали въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ — „свистуней“. Но какъ ни крутись вихри-бураны, какъ ни соря мартъ на землю снѣгомъ, а весна, подбирающаяся къ свѣтлорусскому приволью, свое дѣло твердо знаетъ: не обмануть ея, красной, никакимъ затѣямъ лукавымъ отживающей свои послѣдніе девки зимы. Проведеть плющика по снѣгу свои плюшки, — начнутъ по деревнямъ (въ иныхъ губерніяхъ съ 1-го марта, а въ иныхъ — нѣсколько поздне) „кликать весну“. Молодежь посельская сходится на пригорки за околицею, а дѣтвора взлѣзаетъ на амбары и сарай; и тѣ, и другіе кликали встарину, а мѣстами и въ наши дни кличутъ:

„Весна-красна!
 Что ты намъ принесла?
 Теплое солнышко...
 Весна-красна!

Что ты намъ привнесешь?

Красное лѣтечко...“ и т. д.

А теплое солнышко—сплошь-да-рядомъ пригрѣваетъ, подъ эту пѣсенку, совсѣмъ по-весеннему,—словно и впрямь собирается уже вести красное лѣтечко съ травой-муравой шелковою, со цвѣтами пестрыми духовитыми, съ ягодами сладкими да со страдой-работою, со жнитвомъ, съ покосомъ „Съ Евдокей“—снѣгъ, по старинному повѣрью, приобрѣтаетъ особую, цѣлительную, силу; старухи-знахарки собираютъ его въ облюбованныхъ мѣстахъ по пригоркамъ, обогрѣтымъ солнышкомъ до проталинъ, и даютъ послѣ, изъ тщательно сохраняемыхъ ото всякаго лихого глаза кувшиновъ, болящему сельскому люду,—на пользованіе противъ самыхъ разнообразныхъ недуговъ-болѣстей.

Мартъ-мѣсяцъ считался нѣкогда на деревенской Руси поканчивающимъ сроки зимнимъ наймамъ батраковъ и въ то-же время починающимъ весенніе договоры. Встарину такъ и договаривались: „Съ Евдокей—по Егорья“, „Съ Евдокей до Петрова дня“ и т. д. Кое-гдѣ такой обычай сохранился и до сихъ поръ, хотя въ большинствѣ случаевъ эти сроки переносятся теперь на 23-е апрѣля—къ „запасающему коровъ“ Егорью-вешнему.

Подмочить, по народному присловью, Евдокея порогъ у хаты,—подарить чѣмъ когда захочетъ—либо снѣгомъ, либо дождемъ... Не успѣетъ народъ православный и оглянуться, не хватить времени старымъ людямъ примѣтливымъ обсудить всѣ свои примѣты,—какъ Герасимъ-грачевникъ (4-е марта) на Русь первыхъ вешнихъ птицъ, грачей, съ теплыхъ странъ впереди себя пригонитъ. Коли грачи прямо на старыя гнѣзда летятъ,—весна, по примѣтѣ, будетъ дружная: полая вода сбѣжитъ вся разомъ. Въ этотъ день бѣгаютъ деревенскіе малые ребята къ рощѣ, занятой прошлогодними грачиными гнѣздами—„грачей слѣдить“.

Но,—говорятъ въ народѣ, — „Герасимъ-грачевникъ не одного грача на Русь ведетъ, а и со Святой Руси кикимору гонитъ“. Въ этотъ день, по старинному повѣрью, только и можно устрашать этого врага рода человѣческаго. „Кикиморы“—нѣчто въ-родѣ древне-греческихъ фурій; это—духи, витающіе въ воздушныхъ пространствахъ, кующіе свои ковы на людъ крещонный и наслаждающіеся своей мстительностью за былыя, невѣдомыя міру, обиды. Если кикимора облюбуетъ чей-нибудь дворъ,—бѣда грозитъ хозяевамъ неминуемая,—гласитъ суевѣріе,—если не озаботятся они на Герасимовъ день поклониться объ изгнаніи непрощенной гостью

знахарю. Изгнаніе совершается съ особыми заговорами,—причемъ хозяева, перебираясь наканунѣ обряда къ сосѣдямъ, оставляютъ въ распоряженіе знахаря свою хату. Онъ обметаетъ всѣ углы, выгребааетъ золу изъ подпечка, „домовничааетъ“ въ избѣ до самаго вечера,—послѣ чего и объявляетъ, что нечистая сила ушла во-свои на вѣки вѣковѣчныя. Этотъ старинный обычай уцѣлѣлъ въ народномъ обиходѣ только въ самой захолустной глуши деревенской.

И. П. Сахаровымъ записано любопытное сказаніе объ изгоняемыхъ на Герасима-грачевника кикиморахъ. Оно довольно обстоятельно повѣствуетъ объ этой нечисти лукавой. По его словамъ, живетъ нечистая сила на бѣломъ свѣтѣ — сама по себѣ: „ни съ кѣмъ-то она, проклятая, не родится; нѣтъ у ней ни родимаго брата, ни родимой сестры, нѣтъ у ней ни родимаго отца, ни родимой матери, нѣтъ у ней ни двора, ни кола, а перебивается, бездомовая, гдѣ день, гдѣ ночь“... Единственной радостью у нея является все губить да крушить, на зло идти, міромъ мутить. Есть между этою силой нечистою „молодцы молодые зазорливые“, прикидывающіеся то человѣкомъ, то змѣемъ. „По-подъ небесью летятъ они, молодые молодцы по-змѣиному, по избѣ-то ходятъ они по-человѣчью“... Бываетъ, что соблазняютъ они своей „несказанной красотой“ красныхъ дѣвушекъ. „И отъ той-ли силы нечистыя зараждается у дѣвицы дѣтище“, — продолжаетъ сказаніе. — „Проклинаютъ отецъ съ матерью его еще до рожденія, клянутъ бранятъ клятвой великою: не жить ему на бѣломъ свѣтѣ, не быть ему въ урость человѣка, горѣтъ бы ему вѣкъ въ смолѣ кипучей, въ огнѣ неугасимомъ“... Съ этого заклатья „дѣтище пропадаетъ изъ утробы матери“. Уносить его нечистая сила за тридевять земель въ тридешатое царство, гдѣ оно нарекается „кикиморой“ и начинается жить „у кудесника въ каменныхъ горахъ“, расти въ холѣ-нѣгѣ на бѣду роду человѣческому. Къ семи годамъ—выростааетъ заклатое дѣтище, научается всѣмъ премудростямъ, волшебству всякому. „Тонешенька, чернешенька та кикимора, а голова-то у ней малымъ-малешенька, съ наперсточекъ, а туловища не спознать съ соломиной“. Но, несмотря на все свое убожество, видитъ она далеко по-подъ небесью, скорѣй того бѣгаетъ по сырой землѣ, не старѣется цѣлый вѣкъ“. И все-то ей, кикиморѣ, знаемо да вѣдомо. Выбѣгаетъ она въ урочные годы на бѣлый свѣтъ, на пагубу люду крещеному. И вотъ—„входитъ кикимора во избу, никѣмъ не знаючи, поселяется она за печку, никѣмъ не вѣдаючи; стучить-гремитъ отъ утра до вечера, со вечера

до полуночи свистить и шипить по угламъ, со полуночи до бѣла свѣта прядеть кудель конопельную, сучить пряжу пеньковую... Дѣло кончается тѣмъ, что забравшаяся — незвано и непрошено — въ хату гостейка выживаетъ изъ теплаго, насиженаго-належаннаго, жилья всѣхъ хозяевъ своими причудами: „ничто-то ей, кикиморѣ, не по сердцу, а и та печь не на мѣстѣ, а и тотъ столъ не въ томъ углу, а и та скамья не по стѣнѣ“. И принимается она все швырять-бросать, перестанавливать. „А и послѣ того, — заканчивается сказаніе, — она, лукавая, мутитъ міромъ крещенымъ: идетъ-ли прохожіи по улицѣ, а и тутъ она ему камень подъ ноги; ѣдетъ-ли посадскій на торгъ торговать, а и тутъ она ему камень въ голову. Съ той бѣды великія пустѣютъ дома посадскіе, заростають дворы травой-муравой“... Только свѣдомый во всякихъ кудесахъ знахарь, — да и тотъ всего одинъ день въ году, на Герасима-грачевника, — и можетъ избавить хозяевъ дома отъ такого поста безданнаго-безпошлиннаго. Старые люди советуютъ молодымъ — не жалѣть на этотъ случай никакихъ посуловъ-даровъ для знахаря вѣдуна, умѣющаго по-своему раздѣлываться со всякимъ навожденіемъ. Не худо, впрочемъ, по ихъ словамъ, служить, кромѣ того, и молебны памятуемому въ этотъ день святому угоднику Божию.

За „Грачевникомъ“ на Русь — „Сороки“ (9-е марта) идутъ. 9
Сорокъ мучениковъ, воспоминаемыхъ въ этотъ день Православною Церковью, по простонародному присловью, торятъ путь-дорогу сорока утренникамъ (морозамъ) изъ которыхъ — каждый все легче да мягче другого. По примѣтѣ, если всѣ сорокъ утренниковъ пройдутъ подъ-рядъ, быть всему лѣту теплому, да ведряному, для уборки всякаго полевого жита сподручному.

Въ этотъ день прилетаетъ вторая птица весенняя — жаворонки, а, по старинному крылатому слову, не только они, а сорокъ птицъ прилетаютъ, сорокъ пичугъ на Русь пробираются. „Сколько проталинокъ — столько и жаворонковъ!“ — приговариваютъ деревенскіе поговорѣды завязтые, для которыхъ обступающая ихъ отовсюду природа является открытою, хотя и никѣмъ не писанной, книгою.

Въ ознаменованіе прилета звонкоголосыхъ пѣвцовъ полей, пекутся издавна въ этотъ день въ каждой семьѣ, памятующей обычай старины, по сорока жаворонковъ изъ тѣста („сороки святые — колобаны золотые“). На девятый день марта-мѣсяца — вторая встрѣча весны. Въ этотъ день, по народному дневнику, зима кончается, весна начинается, день съ ночью-мѣряется-равняется (равноденствіе). Съ этого дня отсчитываютъ

деревенскіе мужики-„гречкосѣи“ сорокъ морозовъ-утренниковъ и, благословясь, засѣвають гречу дикую, не опасаясь за всходы. Деревенская дѣтвора съ нетерпѣніемъ ждетъ прихода „Сороковъ“: для нея это—день, лакомый еще болѣе, чѣмъ Власевъ, съ его пышками. Помнятся ребятамъ сдобные, да обмазанные еще вдобавокъ медомъ (или патокой сладкою), жаворонки; памятны и затѣйливыя игры, приуроченныя съ незапамятныхъ поръ къ этому дню, знаменующему собою приближеніе весны. Весела дѣтвора на „Сороки“, что вешній жаворонокъ, оглашающій чернѣющія ранними проталинами поля, готовая сбросить съ себя зимніе покровы, первой пѣсней побѣды тепла надъ стужею.

„Ты запой, запой, жаворончекъ,
Ты запой свою пѣсню, пѣсню звонкую!
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая,
Пташка-ль малая, голосистая,
Про теѣ-ли про теплую сторонушку,
Что про тѣ-ли про земли про заморскія,
Заморскія земли чужедальныя,
Гдѣ заря со зоренькой сходится,
Гдѣ краснѣ солнышко не закатается,
Гдѣ тепла вовѣкъ не отбавится!
Ты запой-ка—запой, жаворончекъ,
Жаворончекъ ты весенній гость,
Про житье-бытье про нездѣшнее!“...

Такъ величаютъ пташку, несущую съ собою тепло, красныя дѣвушки словами старинной пѣсни, которую еще и посейчасъ можно услышать въ средневожскихъ губерніяхъ, тамъ, гдѣ за старину деревня крѣпче, чѣмъ по другимъ—подгороднымъ—мѣстамъ, держится.

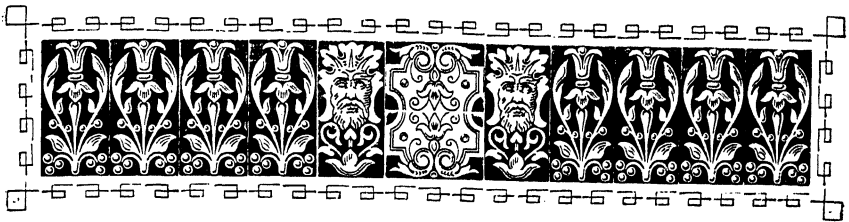
Съ 12-мъ марта (днемъ Григорія, папы римскаго) связана въ народѣ примѣта о туманѣ. „Если утромъ туманъ Григорью дорогу заститъ“,—говорить деревенскій людъ,—„быть большому урожаю на коноплю да на ленъ бѣлый, на волокнистый“. Въ этотъ день—въ обычаѣ разбрасывать по двору горсть-другую коноплянаго да льнянаго сѣмени: на кормъ птицамъ. Опытные хозяева особенно зорко присматриваютъ на Григорьевъ вечеръ за лошадьми: есть повѣрье, что, коли,—не дай Богъ,—забудутся коню объ эту пору, то все дѣло быть ему „не въ своей силѣ“.

За Григорьевъ-римскимъ—„Алексѣй съ горъ вода“ на пять сутки (17-го марта) идетъ: „Алексѣй—человѣкъ Божій, съ горъ вода, съ холмовъ потоки“. Съ этого дня ничто уже

не можетъ, по народной примѣтѣ, остановить, или задержать, могучій наступательный ходъ весны-красной.

Бѣгутъ съ горъ вешнія воды, шумятъ онѣ, разбѣгаются по ложбинамъ ручьями быстрыми, поятъ ручьи поля, снѣгомъ крытыя; все больше да больше проталинъ становится—куда ни кинешь взглядъ. И солнышко жарче грѣетъ, и жаворонки, умильные Божьи пташки, заливаются—что ни день—все голосистѣе,—такъ и разсыпаютъ серебро своихъ трелей надъ нивами земными съ высоты полей небесныхъ. „Дарья—грязная пролубница“ обломаетъ 19-го марта бережки у прорубей; посинѣетъ ледъ, начнетъ его пучить-вздымать: вотъ-вотъ, того и-гляди, тронется!

Конецъ подходитъ позимнему мартъ-мѣсяцу, — Благовѣщенье, великій праздникъ (25-е марта), на дворъ глядитъ, чтобы завершить своимъ приходомъ послѣднее звено пестрой цѣпи предвесеннихъ народныхъ праздниковъ—большихъ и малыхъ—и начать собою вешніе. У Благовѣщенья—свои вѣсти-примѣты, свои особыя повѣрья, свои исконные обычаи стародавніе.



XV.

Алексѣй—человѣкъ Божій.

Перезимній январь-прѣсинець первую вѣсточку о веснѣ своею лютой стужею подаетъ, февраль-бокогрѣй путь-дорогу красной кажетъ, а позимній мѣсяць мартъ ее на Святую Русь изъ-за синя моря, изъ-за Хвалынскаго, ведетъ. Чуть только успѣтъ Авдотья-плющица снѣгъ заплющить, какъ на дворѣ уже и Герасимы-грачевники стоятъ. Налетятъ крикливые грачи, на старое гнѣздовѣе осѣсть не осадутъ еще, какъ „Сороки“ жаворонка—птицу пѣвчую—на свѣтлорусскій просторъ принесутъ. Глядь-поглядъ, а ужъ сугробы снѣжные къ землѣ приплюснулись, зачернѣли повсюду проталины, теплыми вѣтрами съ полуднѣмъ потянуло; залился въ поднебесной высотѣ первый пѣвецъ весны—жаворонокъ.

Отъ „Сороковъ“—рукой подать и до дня св. Алексѣя, чело- 17
вѣка Божія⁴¹⁾, 17-го марта, съ приходомъ котораго наступаетъ весна-красна, а зимѣ остается только подбирать затразнившіяся поля своей бѣлоснѣжной шубы да бѣжать—да-

⁴¹⁾ Св. Алексѣй—сынъ знатнаго римлянина, жившій во времена папы Пипокентія I-го (402—416 гг.) и удалившійся изъ родительскаго дома въ пустыню, возвратившійся изъ нея послѣ долгодѣтнаго подвижничества, но не узанный родителями и дожившій свой вѣкъ въ бѣдности, въ общемъ пренебреженіи. Передъ самой кончиною онъ открылъ свое имя и былъ похороненъ на Авеинтискомъ холмѣ въ Римѣ. Могила св. Алексѣя была открыта въ 1216-мъ году, и надъ нею воздвигнутъ храмъ его имени. Житіе его послужило темою для цѣлага ряда легендъ въ средневѣковой поэзіи, дошедшихъ и до русскаго народа. На католическомъ западѣ онъ считается покровителемъ особаго монашескаго ордена—алексѣйцевъ.

вай, Богъ, ноги!—въ горы толкучія, въ лѣсныя трущобы непроходимыя да въ овраги глубокіе, чтобы тамъ, вдаль отъ взора людского, изойти слезами горячими, припавъ на грудь Матери-Сырой-Земли. Только и дышется ей, старой, полегче по морозцамъ-утренникамъ, да и тѣмъ ужъ не вѣкъ на Руси вѣковать: скачуть утреннички по ельничку, прискакиваютъ по березничку, пробѣгаютъ „по сыримъ берегамъ—по веретайкамъ“, заставляютъ вспоминать мужика-простоту о томъ, что,—какъ поется въ старинной пѣснѣ:

„Зимушка—зима
Холодна больно была,
Зима выюжливая
Да мятелистая...“

Да и эта память коротка. Ударить поутру на Аггея (9-го марта) морозко, а въ полдни съ крыши закаплетъ. На Алексѣя, челоуѣка Божія, не только уже съ крышъ, а и съ горъ, побѣгутъ потоки. Такъ и слыветъ этотъ семнадцатый день марта-позимника за „Алексѣя—съ горъ вода“; нѣтъ ему въ народѣ иного имени-прозвища. „Придетъ Алексѣй, челоуѣкъ Божій,—побѣжитъ съ горъ вода!“ „Алексѣй—изъ каждаго сугроба кувшинъ пролей!“ „На Алексѣя—съ горъ вода, а рыба со стану (съ зимней лѣжки)!“, „Алексѣй, челоуѣкъ Божій, зиму-зимскую на нѣтъ сводитъ!“—говорить-приговариваетъ народная Русь.

Въ южной полосѣ матушки-Россіи начинаютъ съ этого заветнаго дня свои весеннія хлопоты-заботы о пчелѣ, Божьей работницѣ: „На Алексѣя-теплаго, доставай ульи изъ мшеника!“—подаетъ совѣтъ тамошній сельскохозяйственный опытъ. „Покинь на Алексѣя-позимняго сани, ладь-готовь телѣгу!“—откликается на его умудренное житейскимъ обиходомъ слово-срединная, кондовая, Русь великая: „Придетъ Алексѣй, челоуѣкъ Божій,—брось сани на повѣты!“ „На Алексѣя—выверни оглобли изъ саней!“—приговариваетъ она. По старинной примѣтѣ деревенской—„Каковы ручьи на Алексѣя, таковы и поймы (по веснѣ)!“—Если дружно побѣжитъ на Алексѣя, челоуѣка Божія, съ горъ снѣговая талая вода, то, по словамъ старыхъ, выдавшихъ всякіе виды, людей,—должно ожидать хорошаго покоса. А пойдутъ въ этотъ день сочигься порознь еле-замѣтные ручейки изъ сугробовъ, не заплачуть слѣгѣ разомъ,—быть плохимъ кормѣмъ: станетъ животина на Алексѣя, челоуѣка Божія, Богу жалобиться.

Въ давніе годы забавлялись на Москвѣ Бѣлокаменной, да и по многимъ другимъ городамъ русскимъ, на Алексѣя-теп-

лаго гусиными боями. Съ Алексѣевскимъ спускомъ бойцовыхъ гусаковъ могъ поспорить развѣ только осенній день Никиты-гусятника (15-е сентября), до сихъ поръ пріурочиваемый памятующими обычай дѣдовъ-прадѣдовъ къ гусиной потѣхѣ.

Въ великомъ почитаніи былъ всегда, и понынѣ остается, въ народной Руси святой Алексѣй, человекъ Божій. Недаромъ и поется ему въ духовныхъ стихахъ каликъ-перехожихъ такая пѣсенная хвала-слава:

„Лико его пишутъ на иконы,
Житѣе Олексіево во книгахъ.
Кто Олексія воспоминаеть,
На всякъ день его, свѣта, на молитвахъ,
Тотъ сбавленъ будетъ вѣчныя муки,
Доставленъ въ небесное царство.
Ему уже слава и нынѣ
Во вѣки вѣковъ аминь“...

Многое-множество преданій, изукрашенныхъ цвѣтами краснаго слова народнаго, сохранили объ этомъ святомъ памятливые сказатели. Поетъ-сказываетъ ихъ народная Русь и теперь по многимъ мѣстамъ—старымъ людямъ на утѣшеніе, молодымъ людямъ на поученіе. Цѣлый рядъ такихъ сказаній занесенъ на страницы печатныхъ сокровищницъ словесной старины. Въ позабывшей, по словамъ поговорки, о своихъ боярахъ Смоленщинѣ, у владимірцевъ-клюковниковъ-гудошниковъ, у олончанъ—добрыхъ молодецвъ, о которыхъ прошла молва: „Наши молодцы не бьются; не дерутся, а кто больше съѣсть, тотъ и молодець!“⁴²⁾, близъ полтавскаго Гадяча и даже за рубежомъ—въ старой Сербіи—подслушаны эти сказанія. А малоли осталось не подслушанныхъ, до нашихъ дней ходящихъ отъ села къ селу—на память своихъ простодушныхъ хранителей-сказателей, что на костыль подорожный, опираючись? Ходитъ народное, вѣками слагающееся слово да пѣходя и таетъ-теряется въ темномъ лѣсу житейской сутолоки; вымираетъ вѣщее слово-преданіе вмѣстѣ со старожилами, воспринимавшими его изъ однихъ устъ съ тѣмъ, чтобы передавать въ другія, изъ которыхъ и долетало оно до чуткаго слуха Сахаровыхъ, Безсоновыхъ, Кирѣевскихъ, Рыбниковыхъ, Якушкиныхъ, Садовниковыхъ⁴²⁾ и всѣхъ другихъ родственныхъ имъ по духу народолобцевъ-собрателей.

⁴²⁾ Дмитрій Николаевичъ Садовниковъ—талантливый поэтъ и собиратель памятниковъ русскаго простонароднаго творчества—происходилъ изъ потомственныхъ дворянъ, родился въ гор. Симбирскѣ 25 апрѣля 1847 г., умеръ въ Петербургѣ 19-го декабря 1883 года, гдѣ и похороненъ на кладбищѣ

Кроткій юноша Алексѣй, возложившій на неокрѣпшія рамена свое тяжкое, и не вѣсѣмъ богатырямъ оказывавшееся подъ силу, бремя смиренія, пришелся по-сердцу славному своимъ терпѣніемъ народу-пахарю. Сынъ римскаго патриція, проведеншій жизнь въ странничествѣ, отрекшійся отъ богатства и всѣхъ соблазновъ міра сего, отвѣтилъ своимъ святымъ подвигомъ взыскующей града вышняго пытливой душѣ русскаго человѣка. Любвеобильная, жаждущая познанія истины и, несмотря на всю свою мятущуюся размашистость, алчущая сліянія со Свѣтомъ Тихимъ, она—эта стихійная душа—какъ-бы слышала въ повѣствованіи о житіи святого угодника Божія отвѣтъ на свои завѣтнѣйшіе вопросы. И вотъ—откликъ на пробудившіяся въ душѣ народной Руси голоса—заввучали изъ устъ излюбленныхъ ею убогихъ пѣвцовъ-сказателей свои, русскіе, пѣсенные сказы о перенесенномъ греческою Церковью въ сердце нашего народа римскомъ великомъ подвижникѣ. И сталъ св. Алексѣй, человѣкъ Божій, воспѣваемый каліками-перехожими, роднымъ и близкимъ народной Руси, умиленно вглядывающей въ его прекрасный обликъ, осіянный проникновенной святостью дѣйственной вѣры въ Распятаго Спасителя міра. Наши простонародныя сказанія о немъ основаны на общеизвѣстномъ житіи подвижника, но этотъ послѣдній является въ нихъ словно возродившимся на русской черноземной почвѣ. Ему приданы многія, чисто славянскія, черты, да и самый сказъ вѣетъ на чуткаго слушателя родной стариною.

Въ смоленскому, записанномъ въ Краснинскомъ уѣздѣ, сказаніи—наиболѣе полномъ изъ сохранившихся—дѣйствіе происходитъ „въ преславномъ пре-градѣ пре-в-ов-Реміѣ“ („во Римѣ“, „во Рымѣ“—по другимъ разносказамъ). „При томъ было царь-Ановрїи“ („При царѣ было при Оноріѣ“),—продолжаютъ затерявшіеся-затонувшіе въ волнахъ моря народнаго сказатели-пѣснотворцы: „Якъ жиу себѣ славенъ Алхуміенъ („великій Ефимьянъ“) князь со своею со млодою княгинєю

Новодѣвичьяго монастыря. По образованію онъ—питомецъ симбирской классической гимназіи; вся его жизнь прошла въ писательскихъ трудахъ и въ изученіи народнаго быта. Стихи его печатались, съ 1868 года, во многихъ (до 40) журналахъ и газетахъ и хотя до сихъ поръ не были изданы отдѣльнымъ сборникомъ, но обратили вниманіе читателей своей красотою и самобытностью. Лучшіе изъ нихъ—волжскія пѣсни и сказанія („Легенды и пѣсни о Стенькѣ Разинѣ“, „Усолка“, „Богатырь-дѣвка“, „Попутный вѣтеръ“ и друг.). Изъ сочиненій Д. Н. Садовникова въ прозѣ изданы отдѣльною книгою разсказы о заселеніи Сибири—„Русскіе землепроходцы.“ Собранныя имъ на Волгѣ произведенія простонароднаго творчества напечатаны въ его книгахъ „Загадки русскаго народа“ и „Сказки и преданія самарскаго края“.

Катериною („супруга его Аглаида“), со своею со молодою обрушною. Съ отроду у нихъ чадовъ не бѣвало“... Бездѣтность, считавшаяся позоромъ у избраннаго народа Божія, слыла несчастіемъ почти у всѣхъ другихъ. И вотъ, Алхуміенъ (Ефимьянъ) князь, видя въ этомъ несчастіи кару Божію, обращается къ Творцу-Промыслителю съ мольбою. Онъ,— по словамъ сказанія,— „до Божіихъ церквей доступаетъ и молебны предъ Богомъ закупляетъ, поставныя свѣчи ставляетъ, земные уклады откладаетъ, іонъ и молится Богу со трудами, съ горячими съ слезами“... Далѣе приводятся и самыя слова этой молитвы:

„О, Боже, Боже, Царь небесный,
Создателю, Спасъ милостивый!
Создай намъ, Господь Богъ, отрожденца,
Отрожденца намъ, чада хоть едина,
При младости лѣтъ на утѣшенье,
При старости лѣтъ на сбереженье,
При послѣднемъ концѣ на споминъ души!“

Слезное моленіе князя дошло до Престола Всевышняго Князя князей земныхъ: „Услышау Господь Богъ его моленье и ссылаетъ Господь святыу ангелы:—солетите со неба, святые ангелы, къ тому ко граду къ Авремію!“ Небесные посланцы возвѣщаютъ богомольному князю волю Пославшаго: „Славенъ великъ Алхуміенъ князь! Полно тебѣ Богу молиться, пора въ свой домъ подъявиться, въ свои новы бѣлы палаты. Сыми со съ княгини остреченье!“ Затѣмъ, идетъ своимъ чередомъ повѣствованіе: „Съ того слова („Со съ-треченья“) княгиня забременѣла, забременѣла княгиня святымъ духомъ, въ скоромъ времени забременѣла, легкія поноши спносила, спносила поноши сорокъ недѣль, въ скоромъ времени породила, породила княгиня себѣ сына“... Радость смѣнила собою долготнее горе богобоязненной княжеской четы. „Славенъ великій Алхуміенъ князь іонъ тому чаду возрадовауся“,— продолжаетъ сказаніе,— „священниковъ въ домъ свой призываетъ и младенцу имя нарицаетъ... („Пошолъ великъ Алхуміенъ князь князей-боярій зазывать, дьяковъ-поповъ ѣтъ собирати, ваянгельску книгу подымати, младенцу имя нарицати“— по другому разносказу)... Нарекъ ему имячко святое—Лексѣюшко Божій человекъ“... Дѣтскіе годы святого подвижника были отмѣчены перстомъ Божіимъ: „Лексѣюшко, Божій человекъ, не по годахъ росъ, а по часахъ, не по часахъ росъ, а по минутахъ“,— вноситъ повѣствователь-народъ нѣчто сказочное въ свою повѣсть, придавая богатырскія чер-

ты излюбленному святому. „Что семнадцать лѣтъ нарождается, Лексѣюшка семь лѣтъ зровнауся, отдаеть его батюшка въ школу, государыня матушка въ науку, великой грамотѣ научатся, разныхъ языковъ заниматься, всякихъ Господнихъ молитвовъ“... И—здѣсь, на школьной скамѣ, совершается надъ отрокомъ чудо-чудное: „Никто Лексѣюшки не научаетъ, самъ Лексѣюшка больше знаетъ, онъ и старыя книги прочитаетъ, и перомъ-рукой-черниломъ чисто пишетъ“... Поняли („дозвались“) родители св. Алексѣя, что умудрилъ самъ Небесный Учитель ихъ богоданное, прошеное-моленое, дѣтище. И вотъ—„его сударь-батюшка, государыня его родная матушка выручаютъ, вынимають Лексѣюшку сы школы, хочють Лексѣюшку обручити. Не хочеть Лексѣюшка сильно жениться, горячими слезами отливаетъ“... Плачь-мольба его невольнo вызывають передъ мысленнымъ взоромъ слушателей сказанія обстановку русскихъ пѣсень-былинъ. „Судырь-же мой, рѣднѣй батюшка, государыня моя, родная матушка! Не невольте меня сильно жениться, пустите вѣчно Богу молиться, при младости лѣтъ потрудиться, со великими со трудами, со горячими со слезами!“ Но княжеская чета, дождавшаяся утѣшенія всей своей жизни—чада милаго, не склоняется на сыновнія мольбы: хочеться ей видѣть и внуковъ. Сказано—сдѣлано. „Брали княгиню изъ Ирусалима („избрали по всему Рыму“—по иному разносказу), повели Лексѣюшку въ Божью церковь, поставили ихъ на притворѣ, по правую руку на крылечкѣ, на томъ шелковомъ полотеницѣ, передъ чудными (чудотворными) образами, передъ царскими воротами, передъ золотыми крестами, подъ тѣми вѣнцами золотыми. Золотыя колечки помѣняли, единъ они крестъ цѣловали, единому Богу присягали повѣкъ дружка дружку возлюбяти, повѣкъ дружка дружку ни кидати“... Отъ вѣнца—по русскому обычаю, примѣненному здѣсь—и за свадебный браный столъ, на веселый, на почестень пиръ: „повели Лексѣюшку у отчевскій домъ, у своемъ бѣлой новой каменной полаты. Посадили Лексѣюшку за тесовъ столъ, за тые столы, за скатерти шелковыя, за тья за блюда золотыя, за тые за напитки за розныя. Лексѣюшка напитоковъ не спиваетъ, горячими слезами отливаетъ, едину думушку думаетъ“. Какая неотступная думушка не даетъ князьему сыну ни пить, ни ѣсть, ни на бѣлый свѣтъ ясными очами глядѣть, смоленское сказаніе не договариваетъ, непосредственно вслѣдъ за этимъ переходя къ дальнѣйшимъ событіямъ. Въ другихъ-же разносказахъ все это объяснено. „Очень Алексѣй скученъ-грустенъ“,—сказывается въ нихъ: „Какъ возговорить батюшка Ефимьянь-князь:—Ой

же ты чадо мое возлюбленное! Что-же ты не весело поступаешь? Аль тебѣ княгиня не побычью? Аль твоя обрученна не по нраву?— Отцу Алексѣй, Божій человекъ, отвѣтилъ:— „Великій ты князь Офимьянинъ! Княгиня ты матушка, родная! На что-жъ вы принуждали меня жениться? Княгиня моя мнѣ побычью, обрученна моя мнѣ по нраву. На что принуждали мя жениться, не пустили Богу помолиться, со младости лѣтъ Богу потрудиться?“ „Повели,—гласить далѣе прежнее сказаніе, Лексѣюшку до ложницы, до тые ложницы тесовыя, до тья перины пуховыя, на тое крутое узголовье, подъ тое одѣяло шелковое. Лексѣюшка, Божій человекъ, въ скоромъ время спать ложися. Во второмъ часу было ночи, уставалъ Лексѣюшка со ложницы и молодую княгиню пробуждаетъ:—Княгиня, лежишь? Спишь-ли, не спишь, очнися, отъ большого сна воспроснися! Не будемъ мы съ тобой спать ложиться, пусти же меня Богу помолиться, при младости лѣтъ потрудиться!“ За этими словами княжича слѣдуетъ такая бесѣда новобрачныхъ. „Женихъ мой, женихъ обручонный, Лексѣюшка, Божій человекъ!“—обращается молодая княгинюшка: „Что ты рано на подвиги поступаешь, съ кимъ мене младу покидаешь, кому на дозоръ оставляешь?“ Въ отвѣтъ на это причитаніе слезное держитъ св. Алексѣй такую рѣчь: „Княгиня молодая обрушная! Ня бойся никого больше Бога, а надѣйся на Бога на святого! Покидаю я тебя съ отцомъ съ матерью, на тебѣ отъ меня шелковъ поясъ, со правой руки золотъ перстень! Когда шелковъ поясъ разоткется, а съ руки золотъ перстень разойдется, тогда мы съ тобою переставимся, въ одномъ гробницѣ спокладемся, одною пеленою пеленимся, одною доскою накрывимся, однимъ проводомъ проводимся!“ Послѣ этихъ прощальныхъ словъ снялъ съ себя княжій сынъ „цвѣтное платье“, надѣлъ платье „старецкое“, вышелъ изъ „бѣлой полаты новой каменной“, держитъ путь къ синему морю, „къ синему морю—къ лукоморью“. Другіе сказатели заставляютъ Алексѣя, человека Божія, выйти изъ палаты-хоромъ въ златотканной ризѣ, кѣторою онъ, затѣмъ, и обмѣнивается съ нищимъ на его одежду нищенскую. „Вѣжитъ къ Лексѣюшку кораблишка“... По одному разносказу, княжичъ-подвижникъ садится на него и, подхваченный вѣтрами буйными, отплываетъ отъ родныхъ береговъ. По другому (смоленскому)—онъ не сѣлъ на корабль, а пошелъ по морю, какъ по суху, „къ тому къ граду Русалиму, къ той святой церкви, ко собору“ (Другіе сказатели видятъ его приплывшимъ то „во Одесь-градъ“,—приближая такимъ образомъ мѣсто его земного подвига ко Святой Руси,—то „ко городу Индѣю“.).

Здѣсь долгіе годы проводить онъ въ смиренномъ подвигѣ: съ нищими стоять на паперти, питаюсь милостынею, раздѣляя ее между всей нищей братією, прикрываясь убогой влаسانیцею. „Немножечко ень тамъ трудиуся“,—гласить сказаніе,—„много лѣтъ Богу молиуся“ (по инымъ разносказамъ—семнадцать лѣтъ). Дошли молитвы человѣка Божія до Богоматери. „Лексѣюшка, Божій человѣчекъ! Полно тебѣ Богу молиться!“—сказала Пречистая: „Пора у свой домъ (тебѣ) подѣвиться, у свое бѣлый новый каменны полаты! Ужъ тебя батюшка не узнаеть, и государыня-матушка не узнаеть, ни млодая обрушная княгиня!“ А къ этому времени, и вправду, сталъ княжій сынъ неузнаваемъ: „красота въ лицѣ его потребишася, очи его погубишася, а зрѣнье помрачишася, сталъ Алексѣй какъ убогій“... Вялъ подвижникъ словамъ Приснодѣвы, помолился Богу, пошелъ къ синему морю, снова завидѣлъ корабль, сѣлъ на него: „откулъ взялися буйныя вѣтры, повесли Лексѣюшку по путинѣ, черезъ синее море-лукоморье, къ этому кы граду Авремію, къ тый святой церкви кы собору, кы своему батюшку кы родному“... Очутился человѣкъ Божій снова на родной сторонкѣ. Здѣсь-то и начинается труднѣйшая часть его богоугоднаго подвига.

Очутившись въ родномъ городѣ, человѣкъ Божій не пошелъ въ отцовскія палаты бѣлокаменные. Нѣтъ, смиренно встаетъ онъ на соборной паперти—о-бокъ съ нищими-убогими. Кончается Божественная служба, выходятъ православныя, одѣляютъ нищую братію. Подаютъ они милостыню и князьему сыну. Принимаетъ тотъ подааніе, раздаеть другимъ бѣднякамъ-горемыкамъ. Послѣ всѣхъ богомольцевъ выходитъ изъ собора и отецъ св. Алексѣя—Алхуміень-князь; идетъ онъ, златомъ-серебромъ одѣляетъ нищую братію. „Нищіе-убогіе, калѣки!“—говорить онъ: „Принимайте мое злато-серебро, поминайте моего сына Алексѣя! Або вы его поминайте, або вы его поздравляйте: самъ я не знаю объ своемъ чадо, на которомъ онъ свѣтъ пробываетъ, какія онъ муки принимаетъ!“ Заслышавъ эти слова, не принялъ человѣкъ Божій отцовскаго серебра-золота,—поклонился онъ отцу низенько, такую рѣчь повель: „Судыръ же, мой родной батюшка, славенъ великій Алхуміень-князь! Не надо мнѣ твое злато-серебро; выстройте кельню богадѣльню, не ради мово прошенья, а ради твоего сына Алексѣя!“ Изумился князь, изумясь—прослезился: „Нищій, убогій, калѣка!“—воскликнулъ онъ сквозь слезы: „Почему ты знаешь мово сына?“ Слушатель сказанія ожидаетъ, что вотъ сейчасъ бросится сынъ въ отцовскія объятія; но подвижникъ смиренно отвѣчаетъ: „Славенъ великій Алхуміень-князь! На

томъ я твою сына знаю, у единой мы школы съ нимъ бывали, единой мы грамотки научались, за единымъ мы столикомъ бывали, со одинаго блюдишка кушали, со одинаго чернила перомъ писали, на единой ложницѣ спочивали!“ Въ другомъ разсказѣ отвѣтъ св. Алексѣя, человѣка Божія, — гораздо полнѣе и опредѣленнѣе этого:

„Батюшко, славенъ Ефимьянъ-князь!
 Мнѣ какъ твоего сына не знати,
 Алексѣя, Божьяго, свѣтъ, человѣка!
 Въ единой мы палаткѣ съ нимъ пребывали,
 Единую хлѣбъ-соль мы съ нимъ вкушали,
 Единую одежду мы съ нимъ носили,
 Единую мы съ нимъ чару поила распивали,
 Мы вмѣстѣ съ нимъ грамотъ учились,
 Въ единой мы съ нимъ пустынѣ трудились!“



Не узналъ Алхуміенъ-князь — и послѣ такого отвѣта — своего богоданнаго сына, не узнавъ — слугамъ-рабамъ, приказываетъ: „Выстройте кельню-богадѣльню по правой рукѣ гликыльничка, на моихъ частенькихъ переходахъ, а для этого нищаго калѣки!“ Сказавъ это, зоветъ онъ идти за собою и самого „нищаго-калѣку: „(Ой ты еси, нищій-убогій, ты старецъ, калѣка-переходецъ! Когда ты про моего сына знаешь, Алексѣя, Божьяго, свѣтъ, человѣка, гряди-же ты, убогій, вслѣдъ за мною: велю я напоить тебя, накормити и Христа ради келью построю!“...

Слѣдуя за дальнѣйшими словами сказанія, слушатель видитъ св. Алексѣя, человѣка Божія, вступающимъ въ его новое жилище. Но слуги-рабы княжескіе не только не исполнили въ точности приказанія своего господина, назвавшаго ихъ „наивѣрнѣйшими“, но сдѣлали все на иной ладъ. Келья оказалась построенною не „по правой рукѣ гликыльничка“, не на „частенькихъ (княжскихъ) переходахъ“, а „по лѣвой рукѣ, на смердици“. Врагъ рода христіанскаго, диаволь, „возненавидѣвалъ“ и, по словамъ сказанія, захотѣлъ „погубить терпѣніе“ смиреннаго подвижника. И вселилъ онъ въ сердца рабовъ отца его злобу лютую противъ „нищаго-калѣки“. Явственно слышится эта злоба въ ихъ обращенномъ къ нему восклицаніи: „Нищій-убогій, калѣка! Ступай въ новую кельню-богадѣльню!“ Но не поборошь и диавольской ненависти великой души человѣка Божія: „Алексѣюшка у кельню вступаетъ, Господни молитвы сотворяетъ, земные поклоны спокладаетъ“. А, между тѣмъ, Алхуміенъ-князь, оказавшій невѣдомому пришельцу свое покровительство ради одного имени безъ вѣсти пропавшаго сы-

на, не только не забываетъ о бѣднякѣ, но даже посылаетъ въ „новую кельню“ яства-питія со своего стола княжескаго. Но и тутъ не дремлетъ ненависть-злоба дѣвольская: „слуги-то его кушанья не доносятъ, сами они тое кушанье подаютъ; помоями блюда наливаютъ да въ новую кельню приношаютъ“. Все выносить угодникъ Божій со смиреніемъ, принимаетъ безропотно всякое поношеніе отъ рабовъ отца своего. Въ радость для него—каждое новое лишеніе. Ни на что не приноситъ онъ жалобы князю. Прославляетъ онъ Отца Небеснаго, молится за княжескихъ слугъ, восплававшихъ къ нему ненавистью. Такъ шли годы за годами, а человекъ Божій продолжалъ нести непримѣрный подвигъ. Открылъ своему святому угоднику Господь день и часъ его кончины. Приобщился подвижникъ Святыхъ Таинъ, спросилъ у слугъ бумаги и чернилъ и „списау .Лексѣюшка, якъ родиуся, списау .Лексѣюшка—якъ обручиуся, списавъ—якъ и вѣрно Богу молнуса, списавъ—якъ батюшка подъявиуся“...

Кончина великаго въ своемъ смиреніи кроткаго человека Божія сопровождалась дивными знаменіями: сами-собою зазвонили колокола церковные, сами-собою распахнулись царскія двери во храмахъ, сами-собою развернулись священныя книги, задымились кадила благоуханныя, затеплились предъ иконами свѣчи поставныя. Узнали объ этихъ знаменіяхъ духовныя власти; пошла по городу молвь великая: „Або хто святой народиуся, або хто святой явиуся, або гдѣ хто святой переставиуся?“ Ходили священники по всему городу, искали—нигдѣ не нашли „преставленнаго и святыхъ мощей проявленныхъ“. По одному разносказу—собрался сонмъ властей духовныхъ въ соборную церковь, собравшись—всю ночь молился, просилъ Господа открыть, что это за знаменія творятся. Внялъ Господь молитвамъ рабовъ Своихъ: услышали они нѣкій голосъ. „Явился гласъ имъ Святаго Духа: —Божьяго человека тѣло исходитъ! Ищите вы въ домъ въ Ефимьяновомъ!“ Донесли объ этомъ царю, и вотъ—царь съ патріархомъ „свѣчи и кадила принимали“, пошли по указанію Божьему. А отголосокъ городской молвы давно уже дошолъ и до бѣлокаменныхъ палатъ Алхуміена-князя. Изумился онъ, изумившись—вспомнилъ про „кельню-богадѣльню“ (къ этому времени уже забытую имъ), гдѣ призывался нищій-убогій: ужь не онъ-ли это преставился,—вспало на мысль князю.

Дальнѣйшій пересказъ событій гораздо полнѣе ведется во владимірскомъ спискѣ сказанія; очевидно, у смоленскихъ сказателей память значительно ослабѣла къ концу повѣсти, пред-

ставляющейся въ ихъ передачѣ съ этихъ поръ несравненно болѣе темной по смыслу и нѣсколько запутанной по изложенію. „Восходили (царь съ патріархомъ и „со всѣмъ съ просвѣщеннымъ соборомъ“) въ домъ къ князю Ефимьяну; нашли они забыдающую келью“. Представившаяся взорамъ картина не обманула ожиданія вошедшихъ: „труждающій въ кельѣ переставился, въ руцѣхъ онъ держитъ рукописаніе. Царь ко мощамъ доступался, святымъ мощамъ царь поклонился“. Поклонившись, обратился онъ къ усопшему подвижнику съ возгласомъ: „Свѣтъ, вы, святые отцы-мощи! Отдайте свое рукописаніе. явите мнѣ свое похождение, а я есмь царь всему міру!“ Но, несмотря на это, не разжалась охладѣвшая-закостенѣвшая рука почившаго человѣка Божія, „царю рукописьмо не далось“. Тогда приступилъ къ святому угоднику патріархъ. Преклонилъ святитель колѣна предъ почившимъ нищимъ-убогимъ, молитъ отдать ему рукопись: „Вы, свѣтъ, святые мощи, святые мощи проявленныя! Отверзайте святую намъ ручку, распротай свое рукописаніе! Яви чудеса всему міру! Какъ бы намъ васъ, свѣтовъ, знати, по имени бы васъ изрекати!“ На этотъ разъ — „далось рукописьмо“. Благоговѣнно принялъ патріархъ бумагу изъ руки почившаго подвижника, — принявъ, читать сталъ. Оказалось, къ необычному изумленію всѣхъ предстоявшихъ, а къ наибольшему — отца-князя, что призрѣвавшійся въ кельѣ нищій-убогій былъ не кто иной, какъ богоданный сынъ княжескій. „Порожденіе онъ князя Ефимьяна (Алхуміѣна — по смоленскому разносказу), имя ему Алексѣемъ, и матеръ его Аглаида. Повелѣлъ имъ его Господь спознати, возлюбленнаго своего чаду, Алексѣя Божьяго, свѣтъ, человѣка; сподобилъ его имъ Господь въ домѣ видѣти“... Подошелъ къ подвижнику Ефимьянъ-князь, „святое лицо его воскрываетъ, просіяла красота его (Алексѣя, человѣка Божія) яко отъ ангела“. Умилился князь; умилившись — возглашаетъ: „Увы мнѣ, сладчайшій мой чадо, Алексѣй, Божій, свѣтъ, человѣче! Какое ты терпѣлъ терпѣніе! Отъ рабъ своихъ ты укореніе! До вѣку мнѣ даль скорбей мученіе! Горе мнѣ оскорбленному! Плачу я, вижу смерть твою! Чего ты мнѣ тогда не явился? Зачѣмъ ты пришелъ въ градъ — не сказался? Построилъ я бы келью не такую, еще бы не въ этакое мѣстѣ: въ своемъ въ княжескомъ подворьѣ, возлѣ бы своей каменной палаты и возлѣ бы коморы жены твоей! Поилъ бы, кормилъ бы я тебя своимъ бы кусомъ! Не даль бы рабамъ тебя на поруганье!“ Когда причиталъ такими словами князь-отецъ предъ почившимъ сыномъ, провѣдала обо всемъ случившемся мать-княгиня, — пришла она, стала просить-молить, что-

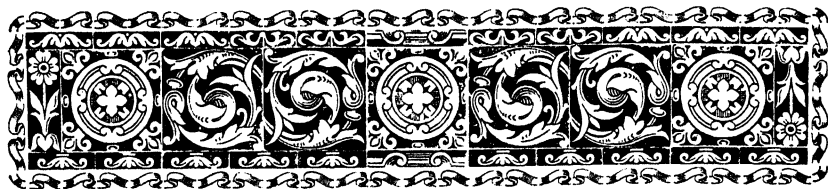
бы пропустили ее въ келью: „Дайте мнѣ мѣсто, человѣцы! Дайте, православные христіанцы, видѣти сладчайшаго своего чаду!“ Протолкнулась сквозь толпу умиленнаго народа княгиня, дошла до тѣла почившаго, дошедши—возопила громкимъ голосомъ: „Увы мнѣ, сладчайшій мой чадо, Алексѣю, Божій, свѣтъ, человѣче! Не любя пустынная твоя келья! Что-же мнѣ тогда ты не явился? Зачѣмъ пришелъ въ градъ—не сказался? Чаще бы я въ келью приходжала, сама бы я келью топила, призирала! Поила бы, кормила тебя своимъ кусомъ!“ Только-что успѣла промолвить это княгиня-мать, какъ вбѣгаетъ въ келью „обручная княгиня“—жена Алексѣя, человѣка Божія, бѣжитъ—сама плачетъ: „Свѣтъ ты мой, женихъ обрученный, святой ты мой князь возлюбленный, Алексѣю, Божій человѣче! Для чего ты живъ былъ—не сказался? Потай бы я въ келью приходжала, мы вмѣстѣ бы съ тобой Богу молились, промежду насъ былъ-бы Святой Духъ!“ Въ это время царь съ патріархомъ подняли святыя мощи, положили въ гробницу, „понесли ихъ погребати“. Въ смоленскомъ разносказѣ приводится опущенная во всѣхъ другихъ подробность. „Не успѣла княгиня (жена св. Алексѣя) проглаголеть“, —говорится тамъ,—„ее шоуковъ поясъ разоткауся, сы правды руки перстень разышоуся: тогда въ гробницѣ сположились, одной пеленой пеленились, одной доской накрывались, однимъ проводомъ провожались“... Такимъ образомъ, исполнилось предсказаніе человѣка Божія, высказанное имъ при потайномъ прощаніи съ новобрачною. Далѣе—опять все въ сказаніи идетъ своимъ чередомъ, не расходясь по разносказамъ ни одной подробностью.

Погребеніе смиреннаго подвижника длилось трое сутокъ. „Несли ихъ (мощи) три дня и три noci: нельзя ихъ приносить въ Божью церковь; много народу собиралось; провождали его князья и бояре, многіе православные христіане со ярыми со свѣчами“.. Стеченіе народа было такъ велико, что, какъ ни пытался князь-отецъ пройти къ сыновнему гробу, не могъ. Чтобы раздвинуть толпу и очистить себѣ дорогу, велѣлъ Ефимьянъ-Алхуміенъ своимъ рабамъ-слугамъ сыпать пригоршнями злато серебро во всѣ стороны. Но и это не помогло: никто не бросался за златомъ-серебромъ, всѣ тѣснились къ тѣлу человѣка Божія: „бѣгутъ къ Алексѣю на прощанье“... И вотъ, явилъ—„дивный во святыхъ Своихъ“—Господь, для прославленія угодника, чудо великое: „слѣпымъ давалъ Богъ прозрѣніе, глухимъ давалъ Богъ прослышанье, безумнымъ давалъ Богъ разумъ, болящимъ, скорбящимъ, исцѣленіе, всему міру было поможеніе“.

Сказаніе о полюбившемся народной Руси, прирощемъ къ ея сердцу, святомъ угодникѣ кончается словами:

„Объявилъ Алексѣй святую свою славу
Во всю святорусскую землю;
Онъ былъ Богу, свѣтъ, угодень,
Всеми міру онъ добротень“...

Въ этомъ заключеніи высказалось глубокое умиленіе стихійной души народа-пахаря передъ родственнымъ ему по духу великимъ подвигомъ смиренія, возложеннымъ на рамена кроткимъ человѣкомъ Божіимъ.



XVI.

Сказъ о Благовѣщеніи.

Со днемъ Благовѣщенія Пресвятой Богородицѣ, празднуемымъ 25-го марта, связано у русскаго народа не мало любопытныхъ для изслѣдователя народной жизни повѣрій и обычаевъ, уходящихъ своими цѣпкими корнями въ сѣдую глубь былыхъ вѣковъ. Многія изъ этихъ суевѣрныхъ памятковъ старины возникли еще въ языческія времена и перенесены на христіанскій праздникъ совершенно случайно, въ силу преемственности. Такъ, напримѣръ, нѣкоторыя отличительныя черты древнеязыческихъ Живы, Лады, Фрей, Дѣвы-Зори, Гольды и другихъ тождественныхъ съ ними по существу богинь слились съ христіанскими понятіями о Богоматери, Покровительницѣ труждающихся и обремененныхъ, привившимися къ восприимчивой народной душѣ. Сообразно съ этимъ, Пресвятая Дѣва Марія является въ представленіи народнаго пѣснотворчества, то дарующею землѣ свѣтъ блага дня и красную весну—со всѣми чудодѣйными красотами послѣдней, то повелительницею весеннихъ громовъ—съ животворящей силою ихъ, то подательницею урожаяевъ, засѣвающею поля дождемъ и сѣменами всякихъ злаковъ—плодоносящаго и цѣлебнаго былія. Она, по словамъ народныхъ сказаній, выводитъ—какъ древняя Дѣва-Зоря—на небо поутру ясное солнышко, изгоняя съ предѣловъ земныхъ темь ночную. Она же даетъ силу-мочь волшебную и веснѣ. Языческое сказаніе о „Плакунѣ-травѣ“, славящейся, въ устахъ деревенскихъ вѣдуновъ, цѣлебной силою, съ теченіемъ времени всецѣло приросло къ народному представленію о пресвѣтломъ обликѣ Богоматери. Въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ это рѣдкое „травяное быліе“ такъ и зовется „Богородициными слезками“. Перемудрый нарѣ „Голубиной Книги“ въ такихъ, между прочимъ, знаменательныхъ словахъ говорить объ этой принимаемой то за одно, то за другое растеніе—травѣ:

„Плакунъ-трава—всѣмъ травамъ мати:
 Когда жидовья Христа распяли,
 Святую кровь его пролили,
 Мать Пречистая Богородица
 По Иисусу Христу сильно плакала,
 По своемъ Сыну по возлюбленномъ,
 Ронила слезы пречистыя
 На матушку на сырую землю;
 Отъ тѣхъ отъ слезъ, отъ пречистыхъ,
 Зарождалася Плакунъ-трава.
 Потому Плакунъ-трава—травамъ мати“...

Благовѣщенъевъ день — послѣдній позимній - предвесенній праздникъ—свято чтится въ народѣ, подготовляющемся къ нему своеобразными обычаями. Такъ, прежде всего слѣдуетъ вспомнить о „двѣнадцати пятницахъ“, упоминаемыхъ и въ языческомъ почитаніи богини Фрей. Эти „пятницы“ стоятъ въ изустномъ дневникѣ русскаго простолюдина передъ наибольшими праздниками, особо чтимыми въ народѣ. Изъ нихъ—„первая великая пятница“,—какъ гласитъ народный стихъ духовный, записанный въ Симбирской губерніи,—приходится „на первой недѣлѣ Поста Великаго; въ ту великую пятницу убилъ братъ брата, Каинъ Авеля, убилъ его каменіемъ; кто эту пятницу станетъ поститься постомъ и молитвою, отъ напраснаго убійства сохраненъ будетъ и помилованъ отъ Бога“. Вторая великая пятница—„супротивъ Благовѣщенья Бога нашего: въ ту великую пятницу воплотился самъ Иисусъ Христосъ Святымъ Духомъ въ Мать Пресвятую Богородицу; кто эту станетъ пятницу поститься постомъ и молитвою, отъ внутренней скорби сохраненъ будетъ и помилованъ отъ Господа“. Въ другихъ разносказахъ, подслушанныхъ народными бытописателями въ иныхъ мѣстностяхъ, эта „благовѣщенская“, пятница („супротивъ Гавріилы Благувѣстителя“) охраняетъ справляющаго ее, по завѣту старыхъ людей, чловѣка „отъ скудности, отъ бѣдности, отъ найвеликаго недостатку“, а также—„отъ плотской похоти и дьявольскаго искушенія“. Въ одномъ сказаніи прямо говорится, что исполняющій относительно нея благочестивый обычай предковъ „увидитъ имя свое написано у Господа нашего Иисуса Христа на престолѣ въ животныхъ

книгахъ“. Наособицу читя „благовѣщенская пятница“ у раскольниковъ, относящихся къ чествованію ея со слѣпымъ суевѣріемъ. Она является, въ ихъ воображеніи, совершенно особымъ, одушевленнымъ и вдохновлѣннымъ чудотворной силою, существомъ (св. Пятницею). Она— „гнѣвается на непразднующихъ и съ великимъ на оныхъ угроженіемъ наступаетъ“, по словамъ начетчиковъ. На нее не положено ни прятать бабамъ, ни топоромъ работать мужикамъ. „Кто не чтитъ благовѣщенскую (благую) пятницу—у того всякое дѣло будетъ пятиться!“—говорится и вообще въ народѣ. Красные круги возлѣ солнца, замѣчаемые въ этотъ день, по мнѣнію деревенскихъ годовѣдцовъ, несутъ благую для народа-пахаря вѣсть о предстоящемъ богатомъ урожаѣ.

Въ канунъ Благовѣщеньева дня (въ среду), суевѣрная деревня готовится ко встрѣчѣ великаго праздника тѣмъ, что сожигаетъ старья, слежавшіяся за зиму, соломенные постели, окуриваетъ дымомъ зимнюю одѣжину, а мѣстами—и весь домашній скарбъ свой, думая этимъ отогнать всякую нечисть, порожденную темными силами зимы-Мораны. Въ это время суевѣрный народный опытъ совѣтуетъ сжигать бѣлье болящихъ людей—для защиты отъ „лихова сглаза“ и отъ „всяческаго чарованія“.

Вечеромъ въ канунъ Благовѣщеньева дня крестьяне-туляки—(завзятые огородники)—ходятъ въ погреба и подвалы, гдѣ скрытно ото всѣхъ чужихъ, кладутъ на землю капустный кочанъ—первый, снятый по осени съ огорода. Существуетъ повѣрье, что, если, возвращаясь отъ благовѣщенской обѣдни, повнимательнѣе осмотрѣть этотъ кочанъ, то („на счастливаго“) можно найти въ немъ сѣмена. Если въ-перемишку съ этими послѣдними засѣять разсаду, то для выросшей изъ нея капусты не будетъ страшенъ никакой утренникъ-морозъ—ни весенній, ни осенній. Подъ Благовѣщенье въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, преимущественно—въ южныхъ губерніяхъ, перебираются молодожоны изъ теплой избы въ холодную клѣть-горницу—„на лѣтнее положеніе“, оставляя въ хатѣ старыхъ стариковъ да малыхъ ребятъ. А старухамъ къ этому времени новая забота приспѣваетъ—пережигать соль въ печи. Свѣдущіе во всякихъ повѣрьяхъ люди говорятъ, что—если этой, „благовѣщенской“, солью, какъ и „страстной-четверговой“, умѣючи пользоваться болящихъ-неможныхъ, то всякій недугъ какъ рукой сниметъ. Мало того: посыпать этой солью тѣсто ржаное, спечь колобашки да крошить ихъ потомъ, по малости, въ мѣсиво недомогающему скоту,—такъ и то помощъ немалая будетъ отъ этого. Все это хорошо знаютъ въ деревенской

глуши, отъ отцовъ-дѣдовъ хранять въ памяти, дѣтямъ-внучатамъ изъ устъ въ уста передають. И ходитъ сѣдое повѣрье по свѣтлорусскому простору, селами-деревнями, подъ окошками стучится, незвано-непрощено пороги хатъ обиваетъ пѣходя, костюлами своими подпираясь, до честныхъ людей приближчися. И всюду, гдѣ людъ православный крѣпко-цѣпко за землю держится, — почеть стародавнему повѣрью.

Переступаетъ черезъ порогъ времянь 25-е марта — день, встрѣчающій свою зорькой-зоряницею Весну-Красну; а народъ честной уже готовъ привѣтить его честь-честью, по праздничному, въ чистотѣ всякой, по стародавнему обиходу древнерусскому.

„На Благовѣщенье и воронъ гнѣзда не завиваетъ!“, — гласитъ сѣдая старина. А ужъ если воронъ-птица чтить-празднуетъ этотъ день, то человѣку подобаетъ и подавно! Изстари заведено на Руси ничего не работать въ этотъ весенній праздникъ, да не только не работать, а и съ огнемъ не засиживаться. „Кто не чтитъ Благовѣщенья, съ огнемъ за работой сидитъ, — убьетъ у того въ это лѣто молоньей близкаго-родного!“ — говорятъ на посельской Руси. — „Завѣтъ на Благовѣщенье гнѣздо птица — ослабнуть у нея крылья: ни летать, ни порхать ей, вѣкъ свой ходить по землѣ. То и человѣкъ: не будетъ ему, безбожному, ни въ чемъ спорины, что и птицѣ — безъ крыльевъ!“

Придерживающіеся старины люди совѣтуютъ печь мѣрскія, изъ общей муки благовѣщенскія просфоры и нести ихъ для освященія къ обѣднѣ („вынимать за здравіе“). Принеся домой такую просфору, кладутъ ее сначала подъ божницу, а послѣ — въ закромъ съ овсомъ, оставляя въ послѣднемъ до перваго ярового зѣсѣва. Сѣя яровѣну, сѣятель беретъ съ собой просфору изъ закрома и носитъ во все время посѣва привязанною къ сѣялѣ. Соблюденіемъ этого обычая думаютъ оградить нивы ото всякаго „полевого гнуса“ (вредныхъ для хлѣбовъ насѣкомыхъ) и вообще заручиться благой надеждою на урожай. Если у кого въ хатѣ есть образъ „праздника“, то ставятъ его на Благовѣщеневъ день въ кадку съ яровымъ зерномъ, предназначающимся для посѣва, истово-богомольно приговаривая при этомъ:

„Мать Божья!)
Гавріиль-Архангелъ!
Благовѣстите,
Благоводите,
Насъ урожаемъ благословите:
Овсомъ да рожью,

Ячменемъ, пшеницей
И всякаго жита сторицей!“

Въ малорусскихъ губерніяхъ можно еще и теперь услышать въ народѣ сказаніе о томъ, какъ Богоматерь засѣваетъ всѣ нивы земныя съ небесной высоты. Гавріиль-архангелъ водить, по словамъ этого сказанія, соху съ запряженнымъ въ нее бѣлымъ конемъ, а Мать Пресвятая Богородица разбрасываетъ изъ золотой кошницы всякое жито пригоршнями, а въ то-же самое время „устаи безмолвными, сердцемъ глаголящимъ“ молить Господа Силь о ниспосланіи благословенія на будущій урожай.

Народныя поговорки-присловья утверждаютъ, дополняя одна другое, что: „До Благовѣщенья зимнимъ путемъ либо недѣлю не доѣдешь, либо недѣлю переѣдешь!“, „Какое Благовѣщенье—таково и Свѣтло-Христово-Воскресенье!“, „На Благовѣщенье дождь—уродится рожь: густа да колосиста, да умолотиста!“, „На Благовѣщенье солнышко съ утра до вечера—объ яровыхъ тужить нечего: благая вѣсть—будеть чего поѣсть!“ и т. д. Но примѣты идутъ въ своихъ вѣщихъ предсказаніяхъ и нѣсколько дальше: онѣ говорятъ, что, если на Благовѣщенье день красный, то весь годъ будетъ пожарный. Благовѣщенскій дождикъ, кромѣ изобилія ржи, предвѣщаетъ и грибное лѣто. Для рыболововъ онъ сулитъ спорый ходъ красной рыбы. Благовѣщенскій утренникъ—тоже сулитъ какое-либо благополучіе въ хозяйствѣ.

На богатой всякими преданіями старой Смоленщинѣ, о Благовѣщеньи, „весну гукать“. Во всякомъ домѣ пекутся поутру пироги. Послѣ обѣда парни и дѣвки берутъ каждый по куску, выбираютъ гдѣ-нибудь на припѣкѣ мѣстечко, большею частью у бани—на кострикѣ или на бревнахъ, обращаются къ востоку, или на-полдень, (парни снимаютъ шапки) и молятся Богу; потомъ кто-нибудь запѣваетъ: „Благослови, Боже, намъ весну гукати!“—и всѣ собравшіеся на „гуканье“ подхватываютъ голосистымъ звонкимъ хоромъ:

„Ай лели-лели, гукати!
Весна красная, теплое лѣтечко!
Ай лели-лели, теплое лѣтечко!
Малымъ дѣточкамъ вынеси весна, по яичечку!
Ай лели...“

Послѣ этой—затягивающейся на довольно продолжительное время—пѣсни всѣ садятся въ кружокъ: пьютъ пиво, а то и водку, ѣдятъ пироги и начинаютъ пѣть новыя, круговыя, пѣсни.

Вотъ, напримѣръ, одна изъ такихъ пѣсень, поющая, что называется, въ самую первую голову:

„Ужь ты, ластовка, ты косатая,
Ай лели-лели, ты косатая!
Ты возьми ключи, лети на небо.
Ай лели-лели, лети на небо!
Ты запри зиму, отомкни лѣто.
Ай лели...“

Эту пѣсню смѣняетъ вторая—не менѣе краснорѣчиво горящая сердцу молодыхъ пѣвцовъ затѣйливыхъ:

„Вирь, вирь, колодезь студень!..
А што въ тебѣ воды нѣтъ?
Ай лели...
Кони воду выпили,
Выпили, выпили, выпили.
Копытомъ землю выбили,
Выбили...
Што въ тебѣ, Иванушка, жены нѣтъ?
Жены нѣтъ...
Была-бы голова, будетъ и жена
И жена, и...“

За второй идетъ, звонкой трелью соловьиной-голосистою разливается, третья:

„Какъ у нашей у Машечки вышить рукавочъ...
Богъ ей далъ, царь жулувалъ.
А Ваничка сполубилъ, свое личко украсилъ,
Взялъ душу-игрушу...“ и т. д.

При пѣніи послѣдней пѣсни, по словамъ одного изъ мѣстныхъ собирателей словесной народной старины, парень выбираетъ дѣвушку и цѣлуется съ ней. Пѣсня эта поется столько разъ, сколько соберется на „гуканье“ парней и дѣвушекъ. Чуть не до поздней ночи веселятся дѣвки съ ребятами на святъ-Благовѣщеневъ день...

Съ незапамятныхъ поръ ведется на Руси добрый обычай—выпускать о Благовѣщеньи птицъ изъ клѣтокъ на вольную волю. Онъ соблюдается повсемѣстно: и по селамъ, и въ городахъ. Этимъ празднуется приходъ весенняго тепла, побѣдившаго зимнюю стужу студѣную, а одновременно какъ-бы приносится безкровная жертва матери-природѣ. Въ городахъ къ этому дню нарочно ловятъ бѣдные люди птичекъ и

приносятъ на рынокъ цѣлыми сотнями, выпуская ихъ за деньги, охотно даваемыя купцами и всякимъ прохожимъ людомъ, вспоминающимъ, при видѣ чирикающихъ пернатыхъ плѣвнищъ, о завѣщанномъ стариною обычаѣ. Впрочемъ, птицеловы и сами напоминаютъ всѣмъ объ этомъ своими возгласами въ-родѣ: „Дайте выкупъ за птичекъ,—пташки Богу помолятся!“ У деревенской дѣтвора есть цѣлый рядъ особыхъ пѣсенокъ—„веснянокъ“, приуроченныхъ къ благовѣщенскому выпусканію птичекъ на волю. Вотъ одна изъ нихъ, записанная въ симбирскомъ Поволжьѣ:

„Синички-сестрички,
Тетки-чечотки,
Краснозобые снѣгирюшки,
Щеглята-молодцы,
Воры-воробы!
Вы по волѣ полетайте,
Вы на вольной поживите,
Къ намъ весну скорѣй ведите!
За насъ Божью Мать молитесь!
Синички-сестрички“... и т. д.

До вечерней зари тѣшатся на улицѣ ребята малые—старымъ старикамъ на утѣшеніе. А все кругомъ такъ и дышетъ желанной близостью весны; благой вѣстью о ней такъ и разливается разымчивый теплый воздухъ,—словно и онъ вырвался на волю изъ леденящихъ оковъ зимней стужи.

Три вѣка тому назадъ, на Москвѣ, въ палатахъ государевыхъ справлялся-праздновался Благовѣщеневъ день по особому торжественному обиходу-обряду. Въ канунъ великаго праздника изволилъ выходить государь ко всенощному бдѣнію, а въ самый день его—къ обѣднѣ, въ Верховый Благовѣщенскій соборъ. За всенощною совершался патриархомъ особый „чинъ хлѣболомленія“. Этотъ чинъ состоялъ въ томъ, что, благословивъ „благодарные хлѣбы и вино“, патриархъ раздроблялъ первые и подносилъ цѣлый хлѣбъ съ чашею вина государю; затѣмъ—остальное раздавалось боярамъ, дѣтиямъ боярскимъ, служилымъ людямъ и всему предстоявшему во храмѣ народу. Въ царицены палаты посылались патриархомъ особые ломти („укруги“) хлѣба и кубки съ виномъ; то-же—и всему семейству государеву. Это патриаршее порученіе исполняли который-нибудь изъ ближайшихъ бояръ со стольниками—по нарочитому указу. На самое Благовѣщеніе вѣнценосный богомолецъ, въ большомъ нарядѣ царскомъ, окруженный сонмомъ бояръ въ золотыхъ ферезяхъ, стоялъ обѣдню; а затѣмъ воз-

вращался въ палаты свои. Здѣсь, „въ покоевыхъ хоромахъ“ (въ „Комнатѣ“ и „Передней“), происходило, по его государеву изволенію, кормленіе нищей братіи, собиравшейся кромѣ того на Аптекарскомъ дворѣ—подъ надзоромъ дьяка Тайнаго Приказа. Кромѣ рыбныхъ и мучныхъ яствъ, нищимъ раздавались—отъ щедротъ царскихъ—деньги. Убогіе гости расходились съ благовѣщенской трапезы по стогнамъ Бѣлокаменной, повсюду разнося благу вѣсть о благочестіи и щедротахъ государевыхъ.



XVII.

Апрѣль—пролѣтній мѣсяць.

Мартъ позимье кончаетъ,—апрѣлю, пролѣтнему мѣсяцу, путь-дорожку кажетъ. Апрѣль весну починаетъ необлыжную; въ апрѣлѣ, по народному слову, земля прѣтеъ. Недаромъ молвится, что „апрѣль всѣхъ напоить“, что „мартъ—пивомъ, апрѣль—водою славится“. Идетъ весна къ апрѣлю еще съ самага Алексѣя—человѣка Божія, идетъ да зиму со-свѣту бѣлаго сживаетъ! А какъ перешагнетъ она—красная краса—черезъ порогъ позимняго мартъ-мѣсяца, да поравняется съ Марьями Египетскими (1-мъ апрѣля),—такъ и зимѣ, сѣдой лиходѣйкѣ, карачунъ пришелъ! Оттого-то и слыветъ въ народѣ св. преподобная Марія Египетская за „Марью-зажги-снѣга“ да за „Марью-заиграй-овражки“. Но русскій мужикъ простъ-простъ, а самъ всетаки не вѣритъ ни первой ласточкѣ, ни первому апрѣля. „Апрѣль сипить да дуеъ, бабѣ тепло сулить, а мужикъ глядитъ: что-то еще будетъ!“—говорить посельщина-деревеньщина. „Апрѣль обманетъ—подъ май подведетъ!“—приговариваетъ она, памятуючи, что май—самый тяжелый въ году мѣсяць. Но есть и болѣе довѣрчивый народъ на Руси: „Дождались полой водицы, ай да батюшка апрѣль!“—не нарадуется, не натѣшится онъ, по заваленкамъ сидючи да на апрѣльскомъ солнопекѣ пригрѣваючись. Что такому легковѣрному мужику-рубахѣ до воркотни стариковъ, семь разъ мѣряющихъ да одинъ отрѣзающихъ,—пусть ихъ тамъ твердятъ-повторяютъ свои поговорки, въ-родѣ: „Не ломай печи, еще апрѣль на дворѣ!“, или—„Ни въ мартѣ воды, ни въ апрѣлѣ травы!“ Играютъ полой водою овражки, горять-таютъ снѣга,—стало быть, весна на дворѣ, стало—при-

шла она „съ милостью, съ великою радостью“, съ надеждами на будущій урожай, — думаетъ надбьющійся на весну людъ. Не привыкать ему къ „пустымъ щамъ“, съ которыми приходитъ на свѣтлорусскій великій просторъ первый день пролѣтнаго мѣсяца.

Въ стародавнiе годы звался на Великой Руси апрѣль-мѣсяцъ „пролѣтникомъ“, на Малой Руси слылъ онъ — какъ и у поляковъ — за „квѣтенъ“ („цвѣтенемъ“ прозывался также и май по другимъ славянскимъ мѣстамъ); чехи со своими сородичами-сосѣдами, словаками, величали апрѣль „дубенемъ“, сербы — „налѣтнимъ“, кроаты — „джюдзрвчакомъ“ (отъ Юрьева дня); у иллирійцевъ звался онъ „травянымъ“. Древняя Русь встрѣчала апрѣль вторымъ въ году изъ двѣнадцати братьевъ-мѣсяцевъ; затѣмъ, при сентябрьскомъ новолѣтiи, сталъ онъ приходиться восьмымъ по счету, а съ 1700 года пришлось ему быть четвертымъ. На этомъ-самомъ мѣствѣ остается онъ и до нашихъ дней.

Апрѣльскій Марьяинъ день (1-е число) повсемѣстно, а не на одной только Руси, слыветъ днемъ всяческаго обмана: походя, съ шутками да прибаутками, лжетъ объ эту пору чуть-ли не весь мiръ, населенный живыми людьми. И ведется этотъ привившійся къ жизни обычай съ незапамятныхъ лѣтъ. „Перваго апрѣля не солгать, такъ когда-же и время для этого потомъ выберешь!“ „На Марью-заиграй-овражки и глупая баба умнаго мужика на пустыхъ щахъ проведетъ и выведетъ!“ „Вратъ-то, братъ, ври, да оглядывайся: нынче не первое апрѣля!“ — говорятъ въ народѣ. „Не обманетъ и Марья Тита, что завтра молотить позовутъ, — по гумнамъ на Поликарпа (2-го апрѣля) одно воронѣ каркаетъ!“ „Ворона каркала-каркала да Поликарповъ день мужику и накаркала!“ — приговариваютъ подсмѣивающіеся надъ своими недохватками-недостачами деревенскіе краснословы. По старинной примѣтѣ, если съ Марьи на Поликарповъ день разольется полая вода, надо ждать большихъ травъ да покоса ранняго по веснѣ. Наблюденія старожиловъ-погодовѣдовъ совѣтуютъ хозяевамъ придерживаться въ своихъ расчетахъ этой примѣты: оправдывается она, по ихъ словамъ, на дѣлѣ сплошь-да-рядомъ.

Съ третьимъ днемъ апрѣля, пролѣтнаго мѣсяца, связана въ народной Руси примѣта промышляющаго рыбнымъ ловомъ трудового люда. „Не пройдетъ на Никиту-исповѣдника ледъ — весь весенній ловъ на нѣтъ сойдетъ!“ — замѣчаютъ они. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, — преимущественно по рыбнымъ сѣвернымъ рѣкамъ, — приурочиваютъ къ этому дню рыбаки угощенье „дѣдушки-Водяного“. Минуть сутки, смотрить де-

ревня, а на дворъ ужъ „пришелъ Ѡедуль (5-е апрѣля, день памяти мученика Ѡеодула), теплый вѣтеръ подулъ!“ Домовитыя бабы-хозяйки твердо памятуя, что „на Ѡеодула растворяютъ оконницу“, и до этого дня ни за что не выставляютъ въ избѣ рамы. „Раньше Ѡеодула окна настѣжь—весеннему теплу дорогу застишь!“, „До Ѡеодула дуетъ сиверокъ (холодный сѣверный вѣтеръ), съ Ѡеодула теплыню тянетъ!“—говорятъ онѣ. Повѣрье деревенское заставляетъ и циркуновъ-сверчковъ прилетать на огороды вмѣстѣ съ первыми весенними теплыми вѣтрами. „Пришелъ Ѡедуль, теплый вѣтеръ подулъ, окна отворила—избу безъ дровъ натопишь; сверчокъ—цокъ-цокъ, съ огорода подь шестокъ!“—гласитъ объ этомъ волжскій прибауткокъ. „Съ Ѡеодулова дня и стряпать бабѣ веселѣе: сверчокъ подь шесткомъ ей пѣсню поетъ!“—вторитъ ему другой, подслушанный въ тѣхъ-же мѣстахъ великорусскаго краснаго говора.

Со слѣдующимъ днемъ посвященнымъ, памяти преподобнаго Евтихія и мученика Іереміи, объединяются у дотошныхъ сельскихъ годоводѣдовъ двѣ сговорившіяся одна съ другой примѣты: „На Евтихія день тихій—къ урожаю раннихъ яровыхъ!“—говоритъ одна мужику-хлѣборобу; „Ерема-пролѣтній ярится, вѣтромъ грозится,—хоть не сѣй рано яровины, сѣмянъ не соберешь!“—утверждаетъ другая. „На Акулину (7-го апрѣля) дождь—хороша будетъ калина, коли плоха яровина!“—приговариваютъ пересмѣшники, охочіе до всякаго мѣткаго словца.

8-е апрѣля—Родивоновъ день (память апостола Иродіона). Туляки, посадившіе—по ихъ-же, тульскому, старинному сказу—блоху на цѣпь, рассказываютъ, что въ этотъ день встрѣчается солнце красное съ яснымъ мѣсяцемъ. Встрѣча—встрѣчь рознь: бываетъ и къ добру, и къ худу! Свѣтель Родивоновъ день—добрая встрѣча, пасмурень-туманень—худая. Въ первомъ случаѣ ждуть туляки хорошаго лѣта, въ послѣднемъ—недобраго. По народной поговоркѣ, ходящей и не вокругъ одной Тулы, а и по многимъ другимъ мѣстамъ: „Горденекъ ясный мѣсяць, и красному солнышку не уступить: задорень рогатый пастухъ—все звѣздное стадо перессорить!“

Черезъ сутки послѣ Родивонова дня съ его повѣрьями встрѣчаются новыя—терентьевскія (10-го апрѣля—память мученика Терентія): зорко слѣдятъ старики поутру за восходомъ солнечнымъ,—если взойдетъ красное въ туманной дымкѣ—быть хлѣбородному году, а если выкатится изъ-за горъ-горы что на ладони—придется перепахивать озимое поле да засѣвать яровойиной. За Терентьями—Антипы идутъ къ народу-пахарю; зовутся они „водополами“. Къ этому дню приурочивается во всей средней полосѣ Россіи ожиданіе вскрытія рѣкъ,

разлива полою воды. Если запоздаетъ вода выйти изъ береговъ—нельзя. говорятъ старики со старухами, ручаться за хорошій урожай. „Антипы—водополы, подставляй полы: жита сыпать некуда будетъ!“ „Антипъ безъ воды—закрома безъ зерна!“ „По Антиповой водѣ о хлѣбушкѣ гадай!“—говорятъ въ посельской Руси, питающейся отъ щедротъ земли-кормилицы.

„Антипъ воду льетъ на поймы, Василий землѣ пару поддаетъ!“—переходитъ простонародная мудрость къ слѣдующему апрѣльскому дню, посвященному памяти св. Василия-исповѣдника, епископа Парійскаго. „На Василя Парейскаго весна землю парить!“ „Запарилъ землю Василий—выверни оглобли, закинь сани на повѣть!“ „На Василя и земля запарится, какъ старуха въ банѣ!“—приговариваетъ деревня. По примѣтѣ охотниковъ, въ этотъ день вылѣзаетъ медвѣдь—лѣсной воевода—изъ своей берлоги, вылѣзаетъ—въ кусты идетъ. „Заяць, заяць, выскочи изъ куста, дай мѣсто Михайлѣ Иванычу Таптыгину!“—можно по лѣснымъ мѣстамъ услышать отъ деревенской дѣтвора поговорку.

Успѣютъ перешагнуть черезъ порогъ всего однѣ сутки, а у охотника—новая примѣта: 14-го (въ Мартыновъ день) переселяются лисички-сестрички изъ старыхъ норъ въ новыя. Нападаетъ послѣ этого, по увѣренію старыхъ стрѣльцовъ-ловцовъ, на лису куриная слѣпота: три дня, три ночи не видитъ хитрый звѣрь ни темноты, ни свѣта Божьяго, — сидитъ на новомъ гнѣздовищѣ да дремлетъ, покуда ему ворона не станетъ клевать головы. На это повѣрье краснобаевъ-охотниковъ, обыкновенно, отзываются словами: „Не любо не слушай, а вратъ не мѣшай!“ Недаромъ славятся охотники тѣмъ, что не только птицу-звѣря бьютъ, а и всякія небылицы плетутъ,— такъ почему же измѣнять имъ своему излюбленному обычаю для весенняго-пролѣтнаго Мартынова дня...

Мартыновъ день зовется во многихъ мѣстностяхъ „вороньимъ праздникомъ“. По старинному преданію, на него каждый старый воронъ отпускаетъ своихъ годовалыхъ воронятъ на отдѣльное гнѣздо—„на особое житье“. Воронъ—птица вѣщая, и не только вѣщая, а и зловѣщая. Живетъ воронъ-птица, по народному повѣрью, до трехсотъ лѣтъ. Простодушная мудрость, выразившаяся въ пословицахъ, присловьяхъ и другихъ крылатыхъ словахъ, относится къ нему далеко не доброжелательно. „Всякому-бъ ворону каркать на свою голову!“—говорятъ старые люди, свѣдомые во всякомъ добрѣ и худѣ. „Старый воронъ мимо не каркнетъ!“—добавляютъ они. Народное суевѣріе замѣчаетъ, что на церкви воронъ каркаетъ къ покойнику на селѣ, на избѣ—къ покойнику во дворѣ. Даже, если

пролетитъ черезъ какой дворъ эта черная зловѣщая птица,— не быть тамъ добру. Въ глазахъ народа, населившаго окружающую природу живыми призраками своего суевѣрнаго воображенія, воронъ является олицетвореніемъ всего недобраго-злого. „Налетѣли черны вороны!“—говорятъ про обуявшія человѣка бѣды-напасти. „Ты не воронъ! Что каркаешь—бѣду накликаешь?“—приговариваютъ порою въ народѣ. „Воронъ—ворону глазъ не выклюетъ!“—замѣчаютъ о дружной-согласной жизни злыхъ людей.

Сродни ворону зловѣщему ворона, да не того разбора эта птица. Если она и каркаетъ, то вся бѣда отъ этого, по народному представленію, не пойдетъ дальше ненастной погоды. „Воронъ каркаетъ къ несчастью, ворона—къ ненастью!“—говорятъ на Руси. „Воронъ—волшебникъ, ворона—карга!“—отзывается объ этой птицѣ вороньяго рода народное слово. Воронъ въ переносномъ смыслѣ слова зовутъ каждаго нерасторопнаго человѣка. Это—тоже, что рохля, разиня, зѣвака. „Проворонить“—значитъ: прозѣвать, пропустить мимо рукъ. „Ну, началъ нашъ Иванъ воронъ считать!“—говорятъ о недальновидныхъ людяхъ; „Мѣтилъ въ ворону, а попалъ въ корову!“—приговариваютъ о нихъ-же. Какъ относится народная Русь къ свойствамъ вороны, видно, напримѣръ, изъ такихъ поговорокъ, какъ: „Пугана ворона и куста боится!“ „Ворона—совѣ не оборона!“ „Воронѣ соголомъ не бывать!“ „Наряди ворону въ павлиньи перья, все каргой останется!“ „Ворона прямо летаетъ, да все безъ толку!“ „Гдѣ воронѣ ни летать, а все навозъ клевать!“ „Одна ворона и за море летала, а все той-же каргой вернулась!“ „Не живать воронѣ въ высокихъ хоромлахъ!“ „На что воронѣ большіе разговоры, знаетъ она одно свое кра!“ и т. д. О воронахъ у деревенскихъ, умудренныхъ опытомъ, поговѣдѣвъ существуетъ рядъ особыхъ примѣтъ. Если каркаетъ воронья стая лѣтомъ—быть дождю, зимой—морозу. Играть примутся на-лету вороны-карги—жди вѣдра. Вѣдуны-знахари предсказываютъ по „воронограю“ (крику вороновъ и воронѣ) не только погоду, но даже и судьбу человѣческую.

Пересѣкаетъ святъ-Пудовъ день (15-е число, память св. апостола Пуда) пополамъ апрѣль мѣсяць. Съ этимъ днемъ связаны немалыя заботы у пчеловодовъ. Опытъ давнихъ лѣтъ совѣтуетъ имъ осматривать амшеники, прислушиваться: начала-ли гудѣть пчела—Божья работница—въ ульяхъ. На югъ въ обычаѣ выставять въ это время пчель изъ зимнихъ помѣщеній на вольный воздухъ. „На день святого Пуда вынимай пчель изъ-подъ спуда!“—говорить объ этомъ мѣстное народное слово.

За святымъ Пудомъ идетъ-торопится на свѣтлорусскій просторъ „Ирина-разрой-берега“ (16-е апрѣля). Въ Московской и Ярославской губерніяхъ существуетъ у огородниковъ обычай—засѣвать въ этотъ день въ особыхъ ящикахъ-срубкахъ капустную рассаду. На сѣверѣ-же это приурочиваютъ къ 5-му мая, ко дню „Ирины-разсадницы“,—когда по другимъ, болѣе мягкимъ погодою, мѣстамъ уже высаживаютъ рассаду на грядки. Сибирскіе старожилы издавна привыкли ждать къ апрѣльскому Ирину дню полнаго вскрытія Иртышъ-рѣки.

17-го апрѣля, на вешній день Зосимы, соловецкаго чудотворца, поются по сельскимъ храмамъ Божиимъ молебны соловецкимъ угодникамъ Зосимъ и Савватию (см. главу „Пчела—Божья работница“): пчеляки собираются выставлять пчелъ, принимаясь за это дѣло не иначе какъ съ благословенія святыхъ покровителей „Божьей птахи“, составляющей все богатство пчеловода. За Зосимою чествуется, по православному мѣсяцеслову, память святого Ивана Новаго. Въ этотъ день положено у огородниковъ засѣвать морковь со свеклою,—что и дѣлается съ соблюденіемъ особыхъ обычаевъ. Сѣмена смачиваются въ родниковой водѣ рано поутру. Сѣдая старина завѣщала опускать при этомъ въ родникъ мѣдныя деньги, чѣмъ предполагается обезпечить хорошій урожай овощей. По другому повѣрью, предпочитается смачивать сѣмена въ обыкновенной рѣчной водѣ на трехъ утреннихъ зорькахъ. И то, и другое повѣрья совѣтуютъ огородникамъ—при выполнении этого—соблюдать величайшую предосторожность: никто изъ постороннихъ не долженъ видѣть, что дѣлаютъ сѣятели. „Чужой глазъ—что лихой ворогъ—завистливъ“,—гласитъ сѣдая простонародная мудрость,—„а зависть—что твоя ржавчина: весь урожай поѣдомъ съѣсть!“

Девятнадцатый апрѣльскій день приводятъ на Святую Русь преподобные Трифонъ съ Никифоромъ. Помолясь имъ передъ божницею, хаживали встарину домовитыя бабы-хозяйки съ концомъ „обѣтнаго“ холста въ поле. Здѣсь—каждая на своей загоной межѣ—останавливались онѣ, истово били земные поклоны во всѣ стороны свѣта бѣлаго и затѣмъ, обратясь лицомъ къ восходу солнечному, выкликали: „Матушка-весна, вотъ тебѣ новая новинка!“ Послѣ этого принесенный холстъ разстилался на межникѣ, причемъ тутъ-же клался кусокъ пирога. По старинному повѣрью, весна брала себѣ это приношеніе и, въ благодарность, отдавала чествовавшихъ ее богатымъ урожаемъ льна-конопли—на новые холсты.

Ударять бабы челомъ веснѣ, поклонятся, бывало, ей холстиною, а на другой день (20-го апрѣля) происходило—по за-

вѣту старины стародавней—„окликаніе родителей“. Мало-помалу выводится теперь этотъ глубоко трогательный обычай, но еще въ 30-хъ—40-хъ годахъ онъ соблюдался почти повсемѣстно въ памятующей дѣдовскіе завѣты деревенской глуши. Чуть загоралась утренняя зорька, шли всѣ бабы пожилыя да старухи старыя на кладбище—каждая на могилу своихъ родственниковъ—и начинали причитать-вопить истошнымъ голосомъ.

У Сахарова, въ собранныхъ имъ драгоценныхъ памятникахъ родной старины, сохранились два причитанія. „Родненькіе наши батюшки!“—начинается одно изъ нихъ: „Не надсажайте своего сердца ретиваго, не рудите своего лица бѣлаго, не смежите очей горючей слезой! Али вамъ, родненькимъ, не стало хлѣба-соли, не достало цвѣтна платья? Али вамъ, родненькимъ, встосковалось по отцу съ матерьей, по милымъ дѣтушкамъ, по ласковымъ невѣтушкамъ? И вы, наши родненькіе, встаньте-пробудитесь, поглядите на насъ, на своихъ дѣтушекъ, какъ мы горе мычемъ на семъ бѣломъ свѣтѣ. Безъ васъ-то, наши родненькіе, опустѣлъ высокъ теремъ, заглохъ широко дворъ; безъ васъ-то, родимые, не цвѣтно цвѣтутъ въ широкомъ полѣ цвѣты лазоревы, не красно растутъ дубы въ дубровушкахъ. Ужъ вы, наши родненькіе, выгляньте на насъ, сиротъ, изъ своихъ домковъ, да потѣшите словомъ ласковымъ!“ Плакали-надрывались тонкіе женскіе голоса, плакало-обливалось кровью сердце каждой изъ причитавшихъ. И не диво, что слышало это рыдающее сердце откликавшіяся изъ могилы голоса своихъ „родненькихъ“,—а если даже и не слышало, то чуютъ—чуяло.

Другое, записанное собирателемъ „Сказаній русскаго народа“, причитаніе еще болѣе трогательно. „Родимые наши батюшки и матушки“,—разносилось оно по нивѣ смерти, припадаючи къ могилушкамъ: „Чѣмъ-то мы васъ, родимыхъ, прогнѣвали, что нѣтъ отъ васъ ни привѣту, ни радости, ни тоя прилуки родительской? Ужъ ты, солнце, солнце ясное! Ты взойди, взойди, со полуночи, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не во тьмѣ сидѣть, не съ бѣдой горевать, не съ тоской вѣковати! Ужъ ты, мѣсяцъ, мѣсяцъ ясный! Ты взойди, взойди со вечера, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не крушить во тьмѣ своего сердца ретиваго, не скорбѣть во тьмѣ по свѣту бѣлому, не проливать во тьмѣ горючихъ слезъ по милымъ дѣтушкамъ! Ужъ ты, вѣтеръ, вѣтеръ буйный! Ты возвѣй, возвѣй со полуночи, ты принеси вѣсть радостну нашимъ покойничкамъ, что по нихъ-ли всѣ дѣтушки изныли во кручинушкѣ, что по нихъ-ли всѣ невѣс-

тушки съ гореваница надсадились...“ Замирали щемящія душу слова, и—какъ-бы въ отвѣтъ на нихъ—лило на сырую грудь земли золотыя волны животворныхъ лучей солнце ясное, обвѣвалъ могилушки теплый весенній вѣтеръ. Добрая мать-природа словно вторила простому и любвеобильному, какъ сама она, человѣческому сердцу.

На другія сутки послѣ окликанія родителей, въ день св. мученика Прокула, въ старые годы было по многимъ мѣстамъ въ обычаѣ проклинать нечистую силу, заковывающую тепло въ ледяныя оковы и опутывающую свѣтъ солнечный тьмою-сумракомъ. Проклятiе выкликали старухи, выходя за деревенскую околицу и становясь лицомъ къ западу. Существовалъ особый обрядъ этого проклятiя, подробности котораго такъ и затерялись-затонули, исчезнувъ на вѣки вѣчныя, въ волнахъ бездоннаго моря народнаго. Преданiе, переходившее изъ устъ въ уста, гласило, что соблюденiемъ этого обычая ограждался деревенскiй-посельскiй людъ на всю весну и на цѣлое лѣто отъ всякихъ ухищренiй злой нечисти, а наособицу охранялся этимъ крестьянскiй скотъ на подножномъ весеннемъ корму. 22-го апрѣля, когда—въ числѣ другихъ угодниковъ—чествуется память святаго апостола Луки, сельскохозяйственный опытъ совѣтуетъ высаживать на грядки лукъ. „Кто ѣсть лукъ, того Богъ избавить отъ вѣчныхъ мукъ!“—говорятъ при этомъ старыя люди. „Лукъ помогаетъ отъ семи недуговъ!“—приговариваютъ они. По народному, отзывающемуся стародавнимъ происхожденiемъ, присловью. „Лукъ—татаринъ: какъ снѣгъ сошелъ, такъ и онъ тутъ!“ Здѣсь, вѣроятно, память подсказываетъ народу-краснослову о весеннихъ набѣгахъ на русскiя порубежныя мѣста крымскихъ и ногайскихъ татаръ, дѣйствительно появлявшихся со стороны степи чуть не каждый годъ вмѣстѣ съ первой травою. Отъ этихъ хищническихъ набѣговъ и оберегали родную землю запорожскiе конные караулы, ставившіеся по всему русскому рубежу.

За днемъ св. апостола Луки—день, посвященный памяти великомученика Георгiя-Побѣдоносца (23-е апрѣля)—„Егорiй (Юрiй-теплый) весеннiй“—идеть на Святую Русь православную. Какъ и о зимнемъ Юрьевѣ днѣ („холодномъ“, приходящемся на 26-е ноября), ходитъ о немъ, что на подорожный посохъ—опираясь на память старыхъ людей, многое-множество сказанiй, повѣрій и поговорокъ, неразрывными узами связанныхъ съ бытомъ русскаго пахаря (см. главы XXI и XLIX). Придетъ Егорiй съ тепломъ, выгонитъ въ поле коровъ, отбудетъ свой чередъ на Руси; а за нимъ слѣдомъ, по крылатому слову народному, „Савва (Стратилать) на Савву (Пе-

черскаго) глядитъ—тяжелому май-мѣсяцу послѣднее жито изъ закрома выгребать велить“. Завзятые деревенскіе краснобай, за словомъ въ карманъ не лазящіе, сыплютъ въ этотъ день направо и налево поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „Про нашего Савву распустили славу, не пьеть-де, не ѣсть, а зерномъ мышей кормить!“, „Богать Савва, знай—по-міру ходитъ да подъ окнами славить!“, „Всего у меня вдоволь, чего хочешь—того и просишь!—А дай-ка, братъ, хлѣбца! Ну, хлѣбъ-то давно весь вышелъ, поди—возьми у Савки въ лавкѣ!“ и т. д. Съ днемъ, посвященнымъ Православною Церковью памяти св. апостола и евангелиста Марка (25-мъ апрѣля), связана особая сельскохозяйственная примѣта. Если въ этотъ день утромъ, на восходѣ солнечномъ, летятъ птичьи стаи на конопляники, то слѣдуетъ, по увѣренію опытныхъ хозяевъ, ожидать завиднаго урожая конопли. Увидавъ эту добрую примѣту, встарину, обыкновенно, разсыпали по задворкамъ нѣсколько горстей коноплянаго сѣмени—на угощеніе залетной птицѣ. Было въ обычаѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ходить въ этотъ день ловить тенетами чижей. Въ Тулѣ, придерживающейся и до сихъ поръ многихъ забытыхъ по другимъ городамъ обычаевъ, еще въ сороковыхъ годахъ хаживали на эту охоту-забаву чуть-ли не всѣ старики, располагавшіе свободнымъ временемъ.

28-е апрѣля (память св. апостоловъ Іасона и Сосипатра)—день, страшный для бѣлыхъ березонегъ: во многихъ мѣстахъ принято въ это время пробуравливать ихъ до самой сердцевины и нацѣживать въ кувшины бѣгущій изъ нихъ сладковатый на вкусъ, расположенный къ быстрому броженію весенній сокъ—„березовицу“. Не мало гибнетъ кудрявыхъ красавицъ лѣснаго царства изъ-за легкой добычи этого напитка, до котораго лакомъ деревенскій людъ. „Березовицы на грошъ, а лѣсу на рубль изведешь!“—замѣчаетъ объ этомъ слово сѣдовласой народной мудрости. „Пьяную березовицу навеселяютъ хмѣлемъ!“—словно отвѣчаетъ ей легкомысленная молодежь. Деревенскія лѣкарки-знахарки собираютъ березовый сокъ и не для лакомства-питья, а на пользу болящему люду. Болѣе всего онѣ пользуютъ этимъ весеннимъ снадобьемъ страждущихъ-маящихся неотвязной лихорадкою. Но передъ этимъ необходимо, по увѣренію ихъ, или выкупать больного въ дождевой водѣ, или—еще того лучше—натереть мартовскимъ (собраннымъ въ позимнемъ мѣсяцѣ) снѣгомъ, если гдѣ-нибудь счумѣли его сберечь-сохранить. Солнечный день 28-го апрѣля служитъ вѣрнымъ предзнаменованіемъ того, что „сестры-лихоманки отпустятъ болящаго“. Если-же въ этотъ день

идеть либо снѣгъ, либо дождикъ, или развѣситъ надъ землею свои сѣрые полога мгlistый туманъ, то свѣдущіе въ „лѣчобѣ“ люди не совѣтуютъ пользоваться больного по только-что указанному способу знахарокъ. Послѣднія-же, въ такомъ неблагопріятномъ для ихъ работы случаѣ, находятъ себѣ другое дѣло. Берутъ онѣ „обѣтныя ладанки“, выходятъ съ ними на перекрестное распутиѣ дорогъ и ждутъ-поджидаютъ тамъ: не повѣетъ-ли попутный теплый вѣтеръ со полудня. Этотъ вѣтеръ, въ ихъ представленіи, тоже является цѣлебнымъ. Какъ только начинается тянуть южнымъ вѣтеркомъ, выставляютъ онѣ ему навстрѣчу свои ладанки и особыми нашептами загоняютъ въ нихъ вѣтеръ, чтобы послѣ—положивъ ладанку на одержимаго болѣзстью—излѣчить его этимъ ниспосланнымъ изъ-за теплыхъ морей снадобьемъ.

29-е апрѣля—день девяти мучениковъ—считался въ старыя годы тоже днемъ цѣлений. „Девять святыхъ мучениковъ, Θεогнидъ, Руфъ, Антипатръ, Θεостихъ, Артемъ, Магнъ, Θεодотъ, Θавмасій и Филимонъ,“—причитали-нашептывали вѣдуны-книгочеи надъ болящимъ: „исцѣлите раба Божія (имя рекъ) отъ девяти недуговъ, отъ девяти напастей: чтобы его не ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слѣпило, съ ногъ не валило и въ Мать-Сырую-Землю не сводило. Слово мое крѣпко—крѣпче желѣза! Ржа ѣсть желѣзо, а мое слово и ржа не ѣсть. Заперто мое слово на семьдесятъ семь замковъ, замки запечатаны, ключи въ окіянь-море брошены, Кить-рыбой проглочены. Аминь.“ Этотъ заговоръ, произнесенный въ урочное время, оказывалъ, по мнѣнію суевѣрныхъ людей, неминуемое облегченіе больному; но только,—добавляли они,—и сказать-то наговорное слово надо неспроста, а „умѣючи“...

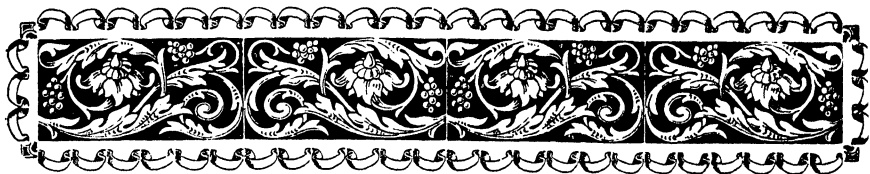
Послѣдній день апрѣля—пролѣтнаго мѣсяца—отмѣченъ въ народной Руси наособицу. Если вечеромъ съ ~~этого~~ дня на 1-е мая вспыхнетъ глубъ небесная алмазной розсыпью звѣздной, да потянетъ на Святую Русь полуденнымъ-теплымъ вѣтромъ, то—по примѣтѣ подмосковной—должно ожидать не только богатаго грѣзами и тепломъ лѣта, но и хорошаго урожая. Въ другихъ мѣстахъ—между прочимъ, въ Рязанской губерніи—ведется обычай наблюдать въ этотъ день поутру за восходомъ солнечнымъ. Взойдетъ солнышко изъ-за горъ-горы на чистомъ, безоблачномъ небѣ,—быть и всему лѣту ведренному; выглянетъ красное на бѣлый свѣтъ сквозь облака—зальютъ лѣто-лѣтенское дожди-снѣгогиди. Существуетъ въ Тульской губерніи повѣрье, что 30-го апрѣля нельзя выѣзжать въ путь-дорогу, не умывшись водою, натаенной изъ мартовскаго снѣга, ко-

торому, какъ видно, и не въ одномъ только этомъ случаѣ дается цѣлебная сила. Начинаютъ бродить по чужой сторонѣ,—гласить это повѣрье,—всякія лихія весеннія болѣсти; не обережешься отъ нихъ мартовскимъ снѣгомъ, такъ изведутъ тебя въ конецъ! Сидятъ онѣ всю зиму-зимскую въ снѣговыхъ горахъ; вмѣстѣ съ первою вешней оттепелью положено имъ выходить на-люди. Пригрѣваетъ назябшуюся въ зимніе холода землю красно-солнышко; таетъ-горитъ бѣль-пушистый снѣгъ; а онѣ—проклятое племя—разбѣгаются во всѣ стороны міра Божьяго: гдѣ завидятъ подходячаго чело-вѣка—сейчасъ и шастъ къ нему! Одна всего и есть обережъ отъ нихъ—мартовскій снѣгъ: боятся лихія болѣсти его, какъ соль—воды, какъ воскъ—огня... Канунъ тяжелаго май-мѣсяца съ давнихъ поръ слыветъ-живетъ въ народной Руси днемъ послѣднихъ весеннихъ свадебъ. „Въ маѣ жениться—вѣкъ свой маяться!“ Всѣмъ это вѣдомо, всѣми добрыми людьми знаемо! Встарину считалось даже за тяжкую обиду свататься въ маѣ, а еще зазорнѣе—справлять въ этомъ неурочномъ мѣсяцѣ раньше налаженную-сговоренную свадьбу. Держатся и посейчасъ этого стараго обычая по многимъ мѣстамъ.

Въ народномъ „Мѣсяцесловѣ“, распѣваемомъ каликами-перехожими, питающимися Христовымъ именемъ да пѣснями-стихами духовными, воспѣтъ каждый день апрѣль-мѣсяца. „Всю землю цвѣты апрѣль одѣваетъ, весь соборъ людскій въ радость призываетъ, листвіемъ древо зеленымъ вѣнчаетъ,“ —начинается этотъ стихъ. Затѣмъ, поименно перечисляются всѣ памятуемые въ мѣсяцѣ святые—въ сопровожденіи краткаго хвалебнаго слова о каждомъ. Восхваленіе сонма чествуемыхъ въ апрѣлѣ угодниковъ Божіихъ, заканчивается особой хвалою послѣдному святому мѣсяца—св. Іакову, сыну Зеведееву:

„Въ тридесятый день славно восхваляемъ,
И къ солнцу-мѣсяцу свѣтло просвѣтляемъ,
Благодатю присно весь сіяетъ,
Церковный вѣнецъ, звѣзда солнечная,
Съ дванадцати свыше явленная,
Ему же есть честь отъ Бога вѣчная!“ :

Осѣненная благословляющей десницею апостола Христова переступаетъ народная Русь за порогъ пролѣтнаго апрѣль-мѣсяца, выходя навстрѣчу зеленому „травню-цвѣтеню“—со всѣмъ его весельемъ въ природѣ, со всей его трудовой ма-ной для кормящихся отъ щедротъ земли.



ХVIII.

Страстная недѣля.

Великіе дни страданій Спасителя, воспоминаемые, по уставу Православной Церкви, исключительно-торжественными и продолжительными Богослуженіями, на деревенской Руси отмѣчены особыми повѣрьями и обычаями. Съ каждымъ днемъ Страстной, — или, какъ обыкновенно говорятъ въ народѣ, „Страшнѣй“, — недѣли связана своя, только къ нему одному относящаяся, примѣта. Простоватъ русскій мужикъ, — что и говорить, — да примѣтливъ какъ никто, — недаромъ за „краснобая-острослова“ на міру слыветъ съ незапамятныхъ временъ стародавнихъ. Да не только примѣтливъ онъ, а и памятливъ: каждый старинный обычай неписанный помнитъ-перенимаетъ отъ дѣдовъ-прадѣдовъ.

Съ понедѣльника на Страстной недѣлѣ начинается вся Русь крещеная мыться-чиститься, ко встрѣчѣ Свѣтлаго Праздника сряжаться-готовиться. „Страшной понедѣльникъ на дворъ идетъ— всю дорогу вербой мететь!“, „Съ Великаго понедѣльника до Великаго Дня (Пасхи) цѣлая недѣля, по горло бабамъ дѣла!“, — говоритъ деревня, только что встрѣтившая съ вербами (ваями) въ рукахъ Вербное Воскресенье, съ которымъ удѣтворы связана память о словахъ: „Верба хлѣстъ— бей дослезь!“ Вторникъ является днемъ, въ который, по старому обычаю, положено дѣлать „соченое молоко“. Для этого рано поутру, еще до разсвѣта, сметаютъ по закромамъ конопляное и льняное сѣмя, перемѣшиваютъ, толкутъ въ ступахъ и разводятъ водою. Для охраны домашней животины ото всякихъ болѣстей хорошо, по совѣту знающихъ людей, поить ее такимъ „молокомъ“, — причемъ и это лѣчение должно производиться

также, какъ и приготовленіе лѣкарственного снадобья-пойла, да ранней зорькѣ. Кромѣ этого условія, лѣкарки совѣтуютъ не показывать „соченаго молока“ мужикамъ. „Это-де бабѣ дѣло, а коли попадешься съ нимъ на глаза мужику—никакого толку не будетъ отъ лѣченья!“ По этому молоку старые люди распознаютъ еще, будетъ-ли прокъ изъ скота: не пьетъ животное его—быть худу, стало-быть, какимъ-нибудь злымъ человѣкомъ на неѣ порча напущена,—и на неѣ, и на весь приплодъ даже! Въ Страшную среду принято, изъ предосторожности на всякій случай, обливать водою всю скотину на дворѣ,—да не простой водою, а натаенной изъ снѣга, собраннаго по оврагамъ и посоленнаго прошлогодней «четверговою» солью. Эта вода предохраняетъ дворъ отъ всякаго „напуска“ на цѣлый годъ.

Въ Великій четвергъ—новая забота старикамъ со старухами, соблюдающимъ старину: пережигать соль въ печи. Соль и вообще-то, по народному повѣрью, является, цѣлебною, а четверговая—наособицу: ее тщательно сохраняютъ въ божницѣ, за иконами. Въ Пошехонскомъ уѣздѣ, Ярославской губерніи, существуетъ обычай въ Великій четвергъ поутру кормить пѣтуховъ на печной заслонкѣ,—чтобы отгоняли чужихъ пѣтуховъ отъ корма,—а въ курятникъ выносить золу и посыпать ею полъ, чтобы куры хорошенько неслись. По нѣкоторымъ пошехонскимъ деревнямъ ходятъ въ этотъ день дѣвки съ бабами окачиваться водою подъ куриной насѣстью (для здоровья). Въ полночь на этотъ завѣтный день,—говоритъ преданіе,—„воронъ заботливый отецъ, купаетъ дѣтей своихъ“. Стародавнее повѣрье совѣтуетъ прорубать на рѣчкѣ (гдѣ еще не сбѣжитъ до той поры вешняя-полая вода) прорубь для вороньей купальни. Это, если вѣрить старинѣ на-слово, должно приносить счастье. А кромѣ того, и воронъ—вѣщая птица—начинаетъ, въ благодарность за каозанную ему помощь, оберегать ниву и дворъ прорубившаго прорубь отъ хищника-звѣря, отъ всякой хищной птицы.

Встарину, въ эту полночь, „послѣ первыхъ пѣтуховъ“, выходили на рѣку парни съ дѣвушками красными и торопливо зачерпывали изъ проруби воды, „покуда воронъ не обмакнулъ крыла“. Въ это время приходитъ на землю, по сказаніямъ русскаго народа, весна красная и приноситъ вмѣстѣ съ собою „красную красоту“ и здоровье. „Воронъ—завистникъ, не давай ему заpastись здоровьемъ прежде тебя!“ — подаетъ совѣтъ суевѣрная деревня. Еще въ тридцатыхъ годахъ XIX-го столѣтія въ Костромской губерніи въ Страстной четвергъ собились поутру дѣвушки на берегу рѣчки и—если вода вскры-

лась—входили въ воду по-поясъ, становились въ тѣсный кружокъ и начинали, держась за руки, заклинять весну, громко распѣваячи:

„Весна, весна красная!
Приди, весна, съ милостью,
Со тою-ли милостью,
Съ великою радостью—
Со тою-ли радостью,
Съ великою благостью!..
Весна, весна красная!..“

Тамъ-же, гдѣ ледъ еще не вскрылся и стоялъ, —дѣвушки встрѣчали весну у проруби, умывались изъ нея и съ веселыми, столь не подходившими къ Страстной недѣлѣ, пѣснями о веснѣ возвращались по домамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, —напримѣръ, въ Солигаличскомъ уѣздѣ Костромской губ., —встрѣчавшія весну-красавицу три раза погружались въ прорубь или въ освобожденную ото льда воду и катались „на восточную и западную стороны“ по землѣ; затѣмъ шли домой и влѣзали по угламъ избы на крышу, гдѣ пѣли до полудня, несмотря на воркотню стариковъ, по заведенному обычаю—благочестиво пережигавшихъ соль въ это-самое время.

Въ Великій четвергъ совѣтують старые люди подстригать въ первый разъ волосы годовалому ребенку („до году—грѣхъ!“). Красны-дѣвушки подрѣзаютъ въ этотъ день кончики своихъ косъ,—чтобы росли онѣ длиннѣе да гуще.

Всюду въ обычаѣ—приходить домой отъ четверговой все-нощной съ горящими свѣчами. Крестьяне, еще и теперь, выжигаютъ принесенною „отъ двѣнадцати Евангелій“ свѣчою кресты на дверяхъ и потолкахъ, думая отогнать этимъ злую-нечистую силу отъ своего крова. Если такую свѣчу зажечь въ грозу, то можно не бояться громовыхъ ударовъ: всѣ они отгремятъ, не причинивъ богобоязненному дому никакого вреда. Зачастую деревенскія лѣкарки-знахарки зажигаютъ „страстную“ свѣчу и даютъ ее въ руки трудно-больнымъ, а также и мучающимся родильницамъ. Такова ея цѣлебная сила, по словамъ умудренныхъ опытомъ людей. Съ этого дня—изъ опасенія „засорить глаза лежащему во гробѣ Христу“—не принято мести хаты вплоть до Свѣтлаго Праздника.

Завзятые поговорѣды народной Руси примѣтили, что—если на Великій четвергъ холодно, то и вся весна не будетъ особенно жаловать тепломъ; если на Великій четвергъ дождь идетъ, то надо ожидать мокрой весны. „Какова погода въ

Страшной четвергъ, таково и Вознесенье!⁴³⁾—закрывается цѣпь связанныхъ съ этимъ днемъ примѣтъ.

Въ „Стоглавъ“⁴³⁾ записано преданіе о томъ, что въ Великій четвергъ встарину палили утромъ солому и кликали при этомъ мертвыхъ. Обычай этотъ былъ признанъ книжными людьми за „прелесть эллинскую и еретическую“. „Мнози же отъ человѣкъ“,—говорится о подобномъ этому обычаѣ въ другомъ памятникѣ старинной русской письменности,—„святые творять по злоумію своему. Въ святой Великій четвертокъ повѣдаютъ мертвымъ мяса и млека и яйца, и мыльница (баня) топятъ и на печь льютъ и пепелъ посреде сыплютъ слѣда ради и глаголютъ: „мыйся“, и чехлы вѣшаютъ, и убрусы и велятъ се терти. Бѣси же смѣются злоумію ихъ и, влѣзши, мыются и въ пепелъ томъ яко и куры слѣдъ свой показываютъ на пепелѣ на прельщеніе имъ и трутся чехлы и убрусы тѣми. И приходятъ топившіи мовницы и глядають на пепелъ слѣда и егда видятъ на пепелѣ слѣдъ и глаголютъ: приходили къ намъ навья (покойники) мыться. Егда то слышатъ бѣси и смѣются имъ“...

Страстная пятница—одна изъ особо чтимыхъ въ народѣ пятницъ, хотя и меньше Благовѣщенской и „десятой“. Въ Великую субботу, передъ сумерками, заклинаются утренники-морозы,—просятъ ихъ не губить яровыхъ хлѣбовъ, льна - конопля. А тамъ—наступаетъ и Святая, „великоденская“, „славная“ и „красная“ недѣля, на которую умильными голосами выводятъ, у церковныхъ папертей сидючи, свой стихъ воскресный сохранившіеся исчезающимъ пережиткомъ пѣсенной народной старины калики-перехожіе:

„Се нынѣ радость,
Духовная сладость,
Веселятся небеса,
И радуется земля
Вкупѣ съ человѣки,
Съ безплотными лики.
Взыграй днесь, Адаме,
И радуйся, Евва...“

⁴³⁾ „Стоглавъ“—сборникъ, представляющій сводъ мѣстныхъ и постановленій созданнаго царемъ Іоанномъ IV-мъ Собора московскаго (изъ представителей духовенства). Соборъ этотъ (1551 г.) имѣлъ своей задачей разсмотрѣніе и исправленіе безпорядковъ, вкравшихся въ жизнь и дѣятельность русскаго духовенства. Въ сборникѣ—сто главъ, откуда и самое названіе его. Содержаніемъ ихъ служатъ не только церковные, но и чисто свѣтскіе, вопросы. Царь, созывая соборъ, имѣлъ въ виду и послѣдніе.

У Безсонова записано, между прочимъ, въ цѣломъ рядѣ разносказовъ сказаніе „Свитокъ Іерусалимскій“—о томъ, какъ „изъ седьмого неба выпадѣше камень“, какъ къ этому камню съѣзжались цари и патріархи, священники и всякіе православные люди, „служили надъ камнемъ три дни и три нощи“, и онъ распался на двѣ половины, обнаруживъ сокрытый въ немъ „Іерусалимскій свитокъ“. Этотъ свитокъ гласитъ о Страстной недѣлѣ слѣдующее (отъ имени Іисуса Христа): „Чады вы Мои! Поймѣйте вы Мою Страшную недѣлю: какъ Я, Господи, воскорбилъ Своею душою, отъ смертнаго часу до Христова Воскресенія, такожды и вы попуститесь вѣрою и любовью, кротостямъ и смиреніемъ, своими благими дѣлами; а вы жда попуститесь хоть и малую часть, отъ Великаго Четверга до Христова Воскресенія, лишитесь хмѣльнаго питія, скверности изо устъ избраннаго слова, не бранитесь: Мать Пресвятая Богородица на престоли встрепенулася, уста кровію запекаются. Аще которыя человекъ на Великую Пятницу хмѣльнаго требуетъ, не подобаеъ тому человеку въ тотъ день ни пить, ни ѣсть, ни ко кресту итти, ни къ Евангелію, ни устами своими Дары принять, хотя-жъ яво конецъ идетъ“... Въ приведенномъ отрывкѣ „Свитка“ высказался суровый взглядъ простодушнаго народа-стихослагателя на отношеніе его къ требованіямъ церковнаго устава, предписывающаго полное воздержаніе на эти дни строжайшаго поста и смиреннаго во всѣхъ грѣхахъ и прегрѣшеніяхъ своихъ покаянія.

Въ сѣдые годы язычества на Руси Страстная недѣля посвящалась богу громовъ небесныхъ. Перуна чествовали на неѣ разжигавшимися по холмамъ кострами. Этимъ-последнимъ какъ-бы высказывалось желаніе помочь жизнедѣятельной творческой силѣ воскресавшей весны. Небесный костеръ—солнце—начинало въ эти дни играть-плясать на небѣ, радуясь побѣдѣ надъ темными силами зимы. Отогрѣтая его знойными взглядами, Мать-Сыра-Земля все глубже и свободнѣе вздыхала послѣ ледяныхъ оковъ почти полугодового плѣна. Всѣ это не проходило безъ слѣда и для духовнаго міросозерцанія простолюдина-язычника, ревниво подмѣчавшаго каждый вздохъ обступавшей его отовсюду, одушевляемой его творческимъ воображеніемъ, природы.

На Страстной недѣлѣ совершалось въ стародавніе годы огражденіе полей отъ злыхъ духовъ. Слѣды древняго обычая-обряда уцѣлѣли до сихъ поръ среди вотяковъ и черемисовъ, отгоняющихъ въ это время отъ своихъ дворовъ „шайтана“. По заслуживающимъ всякаго довѣрія разсказамъ очевидцевъ,

въ черемисскихъ и вотяцкихъ деревняхъ парни и дѣвки съ зажженными лучинами въ рукахъ (а нѣкоторыя—съ метлами и кнутами), сѣвъ верхомъ на лошадей, съ дигимъ крикомъ начинаютъ скакать по улицѣ изъ одного конца въ другой. Поднимается невообразимый шумъ. Изгоняющіе шайтана стучать палками въ ворота дворовъ, колотятъ объ углы избъ, хлѣбовъ и конюшенъ. Потомъ всѣ мчатся въ поле—къ яровымъ посѣвамъ, гдѣ ставятъ двѣ палки и строятъ вокругъ нихъ тѣсную изгородь. Это служитъ знакомъ того, что шайтанъ отогнанъ отъ поля и устрашенъ настолько, что едва-ли уже осмѣлится показаться возлѣ него „на людяхъ“.

Приблизительно въ то-же время происходитъ въ деревняхъ, стоящихъ на рыбныхъ рѣкахъ, угощеніе Водяного, сидящаго въ каждой рѣкѣ на безсмѣнномъ воеводствѣ. Для угощенія „дѣдушки“ покупается цѣлой рыболовной артелью на общій счетъ старая, отслужившая всѣ свои службы кляча,—покупается „безъ торгу“, за первую спрошенную цѣну. Это дѣлается для того, чтобы доказать, что для угощенія такой важной особы—не жаль ничего. Трое сутокъ орткамливаютъ обреченную на подарокъ Водяному лошадь конопляными жемьями и хлѣбомъ. Затѣмъ, въ послѣдній вечеръ намазываютъ ей голову соленымъ медомъ и убираютъ гриву мелкими красными ленточками. Передъ самымъ „угощеніемъ“ спутываютъ лошади ноги веревками и навязываютъ ей на шею жерновъ. Наступаетъ часъ всевозможныхъ заклинаній—полночь. Лошадь ведутъ къ рѣкѣ. Если послѣдняя освободится къ этому времени ото льда, то садятся на лодки и тащутъ за собой лошадь на средину рѣки; если-же ледъ еще лежитъ, проубаюютъ прорубь и сталкиваютъ въ нее „подарокъ дѣдушкѣ“. Большое несчастье, —говорится въ „народномъ дневникѣ“, —если рѣчной воевода не жалуетъ угощенія (т.-е. лошадь долго не товетъ). Водяной всю зиму лежитъ на рѣчномъ днѣ и спитъ глубокимъ сномъ. Къ веснѣ онъ—изрядно наголодавшийся за зимнюю спячку — просыпается, начинаетъ ломать ледъ и до-смерти мучить рыбу: на-зло рыболовамъ. Вотъ потому-то они и стараются умилостивить угощеніемъ гнѣвливаго рѣчного воеводу. Послѣ этого онъ дѣлается покладистѣй-сговорчивѣе и самъ начинаетъ стеречь рыбу, переманивать „на княжескій хлѣбъ“ крупныхъ рыбъ изъ другихъ рѣкъ, спасаетъ рыбаковъ на водахъ во время бурь и распутываетъ имъ невода. А не надумай кормящійся у рѣки людъ расположить въ свою пользу старика, —такъ бѣды всякой не оберется отъ такой оплошности! Три дня, три ночи поджидаетъ рѣчной воевода угощенія: нѣтъ-нѣтъ да и выгля-

нетъ изъ своихъ подводныхъ хоромъ—не ѣдутъ-ли рыболовы съ завѣтнымъ „приносомъ“... Все угрюмый, все недовольнѣе дѣлается старый. Если-же на четвертыя сутки не приведутъ рыбаки обреченную въ гостинецъ лошадь, то Водиною начинаетъ душить всю рыбу въ рѣкѣ, а затѣмъ—покидаетъ предѣлы мѣстности, гдѣ такъ непочтительно отнеслись къ его исконнымъ правамъ на подарокъ. А не услышитъ онъ и въ новой своей усадьбѣ на Страстной недѣлѣ словъ: „Вотъ тебѣ, дѣдушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью!“,—то и тамъ долго не уживется: и тамъ,—по словамъ старыхъ рыбаковъ, выдавшихъ на своемъ многоопытномъ вѣку всякіе виды,—„вся рыба вверхъ брюхомъ станетъ плавать“.

Седмицѣ Страстей Христовыхъ предшествовалъ встарину на Москвѣ Бѣлокаменной торжественный обрядъ „шествія на ослиаѣ“, знаменовавшій воспоминаніе о евангельскомъ событіи—Входѣ Господнемъ во Іерусалимъ. День, посвященный празднованію этого великаго событія, какъ и въ настоящее время, носилъ на Руси названіе Вербнаго Воскресенья. Начало свѣдѣній о совершеніи названнаго обряда должно отнести къ XVI-му столѣтію, времени—когда, подъ властной рукою царей, только-что начала слагаться въ стройный укладъ самобытная жизнь московской Руси. Умилительное для русскаго сердца и поразительное для иноземныхъ гостей зрѣлище представлялъ этотъ крестный ходъ во главѣ съ патріархомъ, возсѣдавшимъ на „осляти“ (конѣ въ бѣломъ суконномъ уборѣ), ведомомъ рукою вѣнценоснаго богомольца—царя-государя всея Руси, возлагавшаго на рамена свои—вмѣстѣ съ бармами—истинно-христіанскій подвигъ смиренія. Лѣтописныя сказанія современниковъ оставили намъ яркую картину того, какъ совершался въ XVII-мъ вѣкѣ этотъ безпримѣрно торжественный благочестивый обрядъ стародавнихъ дней, отмѣненный въ 1700-мъ году—одновременно съ упраздненіемъ на Святой Руси патріаршества.

Ранымъ-рано начиналъ стекаться въ Вербное Воскресенье къ стѣнамъ Кремля златоглаваго царелюбивый и богобоязненный московскій людъ: всякому хотѣлось протѣсниться поближе къ Успенскому собору, дабы удостоиться „пресвѣтлаго царскаго лицезрѣнія“. Отстоявъ у себя на Верху (въ своихъ палатахъ) раннюю обѣдню, шелъ царь-государь въ этотъ храмъ Божій—въ своемъ праздничномъ выходномъ нарядѣ. Держав-

наго хозяина Земли Русской окружалъ многочисленный сонмъ бояръ; шли о-богъ съ ними окольнічіе и прочіе чины. Изъ соборныхъ дверей, спустя малое время, показывались хоругви, кресты, рипиды и иконы; шли между ними, по-двое и по-трое въ рядъ, чернецы, діаконы и священники. Слѣдомъ за соборными иконами выступали успенскій съ благовѣщенскимъ протопопы, а за ними—пѣвчіе, поддьяки, ключари и, наконецъ, патріархъ въ маломъ облаченіи. О-бокъ съ владыкою-святителемъ шли діаконы, неся—справа отъ него Святое Евангеліе, слѣва—„на мисѣ крестъ золотой, жемчужный, большой да малое Евангеліе“. Вся священнослужительствующая Москва шла въ патріаршемъ крестномъ ходу,—да не только Москва, а и духовенство иныхъ городовъ русскихъ. Шествіе царя-государя было не менѣе блестяще. Открывалось оно нижними чинами, за которыми выступали дьяки, дворяне, стряпчіе, стольники, ближніе и думные люди и окольнічіе. За послѣдними шествовалъ самъ вѣнценосный богомолець. Замыкали ходъ бояре въ богатыхъ шубахъ и высокихъ горлатныхъ шапкахъ, ближайшіе изъ ближнихъ людей, гости, приказные, иныхъ чиновъ люди и народъ. Весь путь—съ обоихъ боковъ—оберегали полковники стрѣлцкіе въ бархатныхъ и обьяринныхъ фerezеяхъ и въ турскихъ кафтанахъ. Возлѣ нихъ—также по обѣ стороны—шли стрѣльцы стремянаго полку, „въ одинъ человѣкъ“: сотня съ золочеными пищалими да полусотня съ батожками и прутьями. За стѣною стрѣльцовъ были разставлены пестрыя кадки съ пучками вербы, предназначавшейся для раздачи народу московскому. Оба шествія останавливались предъ Покровскимъ соборомъ—„лицомъ къ восходу солнечному“. Царь со святителемъ вступали со Входа-Іерусалимскій придѣлъ, въ сопровожденіи высшихъ чиновъ государевыхъ и духовенства. По обѣ стороны Лобнаго Мѣста становилась вся остальная свита государева со стольниками во главѣ. Въ соборномъ придѣлѣ, между тѣмъ, начиналось молебствіе. Во время него облачался патріархъ; государь-же возлагалъ на себя большой нарядъ царскій еще на паперти. Во храмъ Божій вступалъ царь въ „платнѣ“ изъ золотной ткани, отороченномъ жемчужнымъ узорочьемъ, усыпаннымъ камнемъ самоцвѣтнымъ. Надъ челомъ самодержца свергаль драгоцѣнной осыпью—алмазами, изумрудами да яхонтами—вѣнецъ царскій, соболемъ опушенный. Рамена государевы были покрыты бармами, именуемыми „дядимую“; на груди сіялъ Крестъ Животворящаго Древа. Царскій посохъ смѣнялся на златокованный жезлъ, изукрашенный богато, камнями осыпанный. Лобное Мѣсто къ этому

времени устилалось-убиралось бархатами да сукнами, да камкою. На возвышавшемся на немъ налоѣ, укрытомъ пеленою впрáзелень, возлагалось Святое Евангеліе, окружавшееся иконами. Путь отсюда къ Спасскимъ воротамъ кремлевскимъ ограждался обитыми краснымъ сукномъ надолбами-рѣшетками. Вся Кремлевская площадь представлялась моремъ головъ и пестрѣла войскомъ „стрѣлецкаго и солдатскаго строю“ и народомъ московскимъ.

Взоры всѣхъ собравшихся на площади были устремлены на Лобное Мѣсто, неподалеку отъ котораго стоялъ долженствовавшій изображать „осля“ конь, окруженный пятью дьяками въ золотныхъ кафтанахъ подъ началомъ патріаршаго боярина. По близости помѣщалась на обитой краснымъ сукномъ и огороженной пестро расписанной рѣшеткою колесницѣ праздничная нарядная „верба“.

Еѣ представляло большое дерево, изукрашенное искусно сдѣланной зеленью, расцвѣченное бархатными и шелковыми цвѣтами и увѣшанное яблоками, грушами, изюмомъ, финиками, винными ягодами, цареградскими стручками-рожками орѣхами. Во время шествія, подъ нею стояли въ бѣлыхъ одеждахъ мальчики—„пѣвчіе поддѣяки меньшихъ станицъ“ изъ патріаршаго хора, которые пѣли „стихеры цвѣтоносію“. Выходили царь со святителемъ изъ Покровскаго собора; благословлялъ патріархъ возвратиться всѣмъ крестамъ и образамъ въ святую святыхъ московскихъ—соборъ Успенія Богоматери. После раздачи пальмовыхъ вѣтвей и вербовыхъ лозъ государю, духовнымъ и свѣтскимъ властямъ, а затѣмъ—одной вербы младшимъ государевымъ чинамъ и народу,—приступали и къ самому дѣйству. Начиналось оно тѣмъ, что архидіаконъ, ставъ лицомъ къ закату солнечному, читалъ подобающія празднику страницы Евангелія. Въ то время, какъ онъ произносилъ слова—„И посла два отъ ученикъ“, соборный протопопъ подходилъ съ ключаремъ къ патріарху подъ благословеніе: вмѣсто двухъ учениковъ Христа „по осля идти“. Въ XI-й книгѣ „Древней Россійской Вивліюэики“ Н. И. Новикова ⁴⁴⁾ такъ раз-

⁴⁴⁾ Николай Ивановичъ Новиковъ—знаменитый поборникъ русскаго просвѣщенія, всю жизнь свою положившій на писательскіе и издательскіе труды. Онъ родился 25 апрѣля 1744 года въ с. Авдотьино, Бронницкаго уѣзда Московской губ., въ помѣщичьей семьѣ, воспитаніе получилъ въ московской университетской гимназій, затѣмъ служилъ въ Измайловскомъ полку и въ комиссіи депутатовъ, но съ 1768 года оставилъ службу и посвятить себя излюбленному дѣлу, прежде всего занявшись изданіемъ журнала „Трутенъ“ (1769—1770 г. г.). Въ 1772-мъ году Н. И.-чъ выступилъ съ новымъ журналомъ—„Живописецъ“, лучшимъ изъ періодическихъ изданій XVIII-го вѣка, а вслѣдъ за его прекращеніемъ (въ 1773 г.) съ журналомъ „Кошелекъ“. Въ это-же время онъ предпри-

сказывается объ этомъ: „...Принявъ благословеніе, пойдуть по осля ко уготованному мѣсту, идеже привязана, и, пришедь, отрѣшаютъ е; причеъ бояринъ патріаршіи глаголетъ: что отрѣшаете осля сіе? И ученицы глаголютъ: Господь требуетъ. И поведуть ученицы въ обѣ стороны подѣ устца, и приведутъ къ патріарху къ Лобному Мѣсту, а патріарши дѣяки за ослятемъ несутъ сукна, красное да зеленое, и коверъ“...

Затѣмъ, патріархъ благословлялъ царя-государя и — съ Евангеліемъ въ одной и крестомъ въ другой рукѣ — садился на подведеннаго къ нему „осля“, одѣтаго краснымъ сукномъ съ головы, зеленымъ позади. Начиналось шествіе, открывавшееся, по обычному чину, дѣяками, дворянами, стряпчими и стольниками, за которыми везли на описанной выше колесницѣ вербу. — „Осанна Сыну Давидову! Благословенъ грядый во имя Господне!“ — раздавалось изъ-подъ ея вѣтвей и звенѣло, переливаясь тонкими голосами, умильное пѣніе малыхъ пѣвчихъ патріаршаго хора. Слѣдомъ шли чины духовные, неся иконы; за духовенствомъ — ближніе люди государевы, думные дѣяки съ окольными — всѣ съ ваями-верба-

нялъ изданіе „Древней Россійской Вивлюеики“ („Собраніе разныхъ древнихъ сочиненій, яко то: Россійскія посольства въ другія государства, рѣдкія грамоты, описанія свадебныхъ обрядовъ и другихъ историческихъ и географическихъ достопамятностей, и многія сочиненія древнихъ Россійскихъ стихотворцевъ“), выходившей ежемѣсячно въ 1773—1775 годахъ. За нею послѣдовали: „Древняя Рос. Идрографія“, „Повѣствователь древностей Россійскихъ“, „Скпская исторія“ и т. д. Кромѣ этихъ трудовъ и множества изданныхъ книгъ другихъ авторовъ, Н. П. Новикову принадлежатъ: „Опытъ историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ“ и журналы „Утренній Свѣтъ“, „Московское Изданіе“, „С.-Петербургскія Ученыя Вѣдомости“, „Покоящійся Трудолюбецъ“ и „Вечерняя Заря“. Всѣ они сослужили немалую службу русскому обществу. Въ 1779-мъ году Новиковъ взялъ въ аренду московскую университетскую типографію и изданіе „Московскихъ Вѣдомостей“ и, переѣхавъ въ Москву, проявилъ необычайную энергію въ издательской дѣятельности и въ то-же время духъ неутомимаго организатора. Здѣсь онъ основалъ „Дружеское ученое общество“ и „Типографическую компанію“, учредилъ первую бібліотеку для чтенія, открылъ книжный магазинъ и вообще повелъ дѣло на самыхъ широкихъ началахъ. Число изданій Новикова достигаетъ 450 названій. Увлеченіе массовыми идеями вызвало въ высшихъ сферахъ неудовольствіе на знаменитаго русскаго просвѣтителя: онъ не только долженъ былъ мало-по-малу прервать свою дѣятельность, но даже попалъ подѣ судъ и былъ — по проносамъ своихъ недоброжелателей — заключенъ въ Шлиссельбургскую крѣость (по совершенно неосновательному обвиненію въ противуправительственной пропагандѣ). Послѣ 4-хъ-лѣтняго заключенія, Новиковъ былъ освобожденъ — при вступленіи на престолъ Павла I, но продолжать своего просвѣтительнаго труда уже не могъ — будучи совершенно обезсиленъ и душою, и тѣломъ — и доживалъ свой вѣкъ въ деревенскомъ затиши, въ с. Авдотыишѣ, — гдѣ и скончался 31 іюля 1818 года. Труды его не пропали даромъ: они создали этому подвижнику русскаго просвѣщенія нерукотворный памятникъ.

ми въ рукахъ. Наконецъ, шествовалъ, поддерживаемый двумя столъниками, государь, ведшій „осля“ за поводъ. Въмѣстѣ съ вѣнценоснымъ хозяиномъ Земли Русской держали поводъ еще четверо: первостепенный бояринъ, государевъ да патриаршій дьякъ и патриаршій-же конюшій старецъ. Предъ государемъ несли его царскій жезлъ златокованный, его, государеву, вербу, государеву свѣчу и царскій платъ. О-бокъ выступалъ сонмъ боярѣ, окольниковъ и думныхъ дворянъ съ вербами въ рукахъ. Святитель осѣнялъ народъ крестомъ во все время шествія. За патриархомъ слѣдовало духовенство въ богатѣйшемъ праздничномъ облаченіи. Медленно-медленно подвигалось шествіе на осляти отъ Лобнаго Мѣста чрезъ Спасскія ворота—къ собору Успенскому. Весь путь государевъ и патриаршій устилали стрѣлецкія дѣти краснымъ да зеленымъ сукномъ; по сукну другіе мальчики раскладывали однорядки цвѣтныя, пестрѣвшіяся всѣми цвѣтами радуги.

Какъ только шествіе вступало въ Спасскія (святыя) ворота, надъ Кремлемъ раздавался съ Ивана Великаго гулкій благовѣстъ, подхватываемый кремлевскими храмами, а затѣмъ — расплывавшійся по всѣмъ сорока-сорокамъ церквей московскихъ. Плавными, стройными волнами гудѣлъ-разливался надъ Бѣлокаменною могучій мѣдный звонъ, усугубляя торжественность шествія. Затихали голоса колоколенъ только въ ту минуту, когда государь со святителемъ входили подъ свѣтъ Успенскаго собора. Здѣсь соборный протодьяконъ дочитывалъ евангельскую повѣсть о великомъ празднуемомъ Православною Церковью событіи, патриархъ принималъ изъ царскихъ рукъ вербу-ваю и, благословивъ государя, цѣловалъ его въ правую руку. Царь возвращалъ цѣлованіе и шествовалъ къ себѣ во дворецъ, гдѣ—въ одной изъ церквей на Верху—совершалась въ это время Божественная литургія. Дѣйство заканчивалось. Патриархъ служилъ литургію въ Успенскомъ соборѣ, а затѣмъ шелъ къ поставленной у южныхъ дверей храма колесницѣ съ нарядной вербою, молитвословилъ предъ нею и благословлялъ „праздничное древо“. Соборные ключари, между тѣмъ, отрубали большой изукрашенный вѣтви отъ вербы и несли его въ алтарь, гдѣ обрѣзывали вѣтви, чтобы послѣ отправить ихъ на серебряныхъ блюдахъ въ государевы покои. Часть вѣтвей раздавалась духовенству и боярамъ. Стрѣльцы и народъ получали остатки „древа“ со всѣми украшениями и привѣсками.

Во дворецъ государевъ подавались въ этотъ день особья, нарочито изукрашенныя, вербы: для самого царя-государя, для царицы, царевичей и царевенъ. Эти вербы были роскош-

но убраны, и становились на маленькія санки, обитыя червчатымъ атласомъ съ галуномъ золотнымъ. Бумажные листья, бархатные и шелковые цвѣты, разные плоды, ягоды, овощи и пряники въ пестромъ изобиліи вѣшались на нихъ. У патріарха, въ его Крестовой палатѣ, были на Вербное Воскресенье праздничные столы для многочисленнаго духовенства всяческаго чина, а также для особо приглашавшихся бояръ, окольныхчихъ, думнаго дьяка, ведшаго „осля“, головъ и полуголовъ стрѣлецкихъ, принимавшихъ участіе въ шествіи, и другихъ чиновъ. Столы завершались государевой да патріаршею заздравными чашами. Святитель одаривалъ бояръ и дьяка, лицедѣйствовавшихъ на шествіи и, благословивъ ихъ святыми иконами, отпускалъ съ миромъ. Полное звено яствъ и питій, бывшихъ за столами, посылалось еще съ самаго начала къ государю и всему семейству царскому: несли ихъ владычные стольники въ сопровожденіи патріаршаго боярина и разряднаго дьяка. Принималъ царь присланные „стола“, жаловалъ патріаршаго боярина двумя подачами отъ этихъ „столовъ“ съ кубками; получалъ изъ рукъ царскихъ и разрядный дьякъ одну подачу и „достаканъ романей“.

А у папертей многихъ храмовъ Божіихъ на Москвѣ раздавался въ это время протяжный, проникавшій до чуткаго сердца благочестивыхъ слушателей напѣвъ странниковъ—каликъ-перехожихъ, слѣпцовъ убогихъ, и до напихъ дней разносящихъ по народной Руси свои невѣдомо когда и гдѣ сложившіяся живучія пѣсенныя сказанія:

„Радуйся зѣло, дщи Сіоня:
Се Царь твой, възсѣдый на коня...

.....
Во Иерусалимъ входящу,
На жребяти сѣдящу—
„Осанна,
Осанна, въ вышнихъ!“; дѣти вопіють,
Младенцы сладчайше глаголють....

.....
Благословенъ сый грядый,
Въ Ерусалимъ пришедый
Спасти міръ!
Ризы постилаху,
Пути украшаху,
Во градъ срѣтаху,
Радостію пояху:
„Осанна!“

Такъ благоговѣнно готовилась старая Москва встрѣтить великую седмицу страданій вошедшаго въ Іерусалимъ Спасителя міра, Царя царей и Владыки владыкъ земныхъ.

Эта седмица ознаменовывалась въ Бѣлокаменной богомольными выходами государя, посѣщавшаго, по доброму завѣту предковъ, „узилица“—тюрмы и богадѣлни. Всюду, гдѣ онъ ни былъ, щедрой рукою раздавалась царская милостыня, освобождались преступники, сидѣвшіе „за малыя вины“, одѣлялись деньгами неимущіе, выплачивались даже долги бѣдняковъ. Среда Страстной недѣли была днемъ „прощенія“, на которое выходилъ вѣнценосный богомолецъ въ Успенскій соборъ. Въ полночь со среды на четвергъ происходилъ тайный выходъ государя „для милостивой раздачи“.

Вотъ, на примѣръ, въ какихъ простодушныхъ чертахъ обрисовываетъ, по свидѣтельству Забѣлина, современникъ царя Алексѣя Михайловича одинъ изъ такихъ выходовъ: „Въ 1669 году марта въ 22 числѣ на Страстной недѣлѣ, въ среду, въ 6 часу ночи (въ первомъ пополуночи) великій государь изволилъ идти къ митрополитамъ къ Павлу Сарскому и Подонскому, къ Паисію Гаскому, къ Θεодосію Сербскому да въ Чудовъ монастырь, и жаловалъ своимъ государевымъ жалованьемъ изъ своихъ государевыхъ рукъ милостыню: митрополитамъ по сту рублевъ, чудовскому архимандриту Іоакиму 10 рублевъ. А, у митрополитовъ и въ Чудовомъ монастырѣ бывъ, изволилъ великій государь идти на Земской дворъ и въ больницу къ разслабленному, что на дворѣ у священника Никиты, и на Англинскій и на Тюремный дворы и жаловалъ своимъ государевымъ жалованьемъ-милостынею жъ изъ своихъ государскихъ рукъ, а роздано“... Далѣе подробно перечисляется все „розданное“ несчастнымъ, заключеннымъ и убогимъ въ этотъ день.

Въ Великую-страстную пятницу царь посѣщалъ также колодниковъ, въ субботу утромъ—нѣкоторые монастыри кремлевскіе и всегда заходилъ въ этотъ послѣдній день Страстей Христовыхъ „проститься у гробовъ“ въ Архангельскій соборъ. Послѣ обѣдни и, въ субботу приносили столъники государевы во дворецъ изъ собора освященные „укруги“ и „вина фряжскія“. Полунощница въ навечеріи Свѣтлаго Дня слушалась царемъ-государемъ въ Престольной Комнатѣ въ его палатахъ покоевыхъ.



XIX.

Свѣтло-Христово-Воскресеніе.

За Страстной недѣлею идетъ на свѣтлорусскій просторъ Святая; зовется она также и „Свѣтлою“, „Славною“, „Великою“, „Радостною“, „Красною“ и „Великоденскою“, — слыветъ и за одинъ „Великъ-День“. Есть мѣста—напримѣръ, въ Черниговской губерніи, гдѣ называютъ ее „Гремячкою“. Съ этой недѣлею связано въ народной Руси не мало идущихъ къ нашимъ днямъ изъ неизвѣданныхъ глубинъ сѣдой старины обычаевъ, сказаній, повѣрій и поговорокъ, — частью занесенныхъ въ печатныя сокровищницы, частью-же до сихъ поръ скитающихся безъ призора, безъ пристанища по свѣту бѣлому, по людямъ добрымъ, памятующимъ завѣщанное дѣдами-прадѣдами.

„Пресвѣтлое воскресеніе праведнаго солнца—Христа“ объединяется въ народномъ воображеніи съ весеннимъ возрожденіемъ природы, какъ-бы принимающей участіе въ радостномъ празднованіи величайшаго изъ евангельскихъ событій, знаменующаго свѣтлую побѣду надъ тьмою смерти. Съ этимъ связанъ старинный обычай зажигать передъ церквями и по холмамъ костры во время Свѣтлой заутрени; въ Бѣлоруссіи идутъ къ ней даже съ зажженными лучинами. Почти повсемѣстно въ деревняхъ на Святую ночь жгутъ по площадямъ смоляныя бочки; уголья отъ нихъ потомъ собираютъ и, отнеся домой, берегутъ вмѣстѣ со свѣчами, съ которыми стояли заутреню. Нѣкоторые кладутъ эти уголья подъ застрѣхи крышъ, будучи увѣрены, что предохраняютъ свой дворъ отъ грозы. До сихъ поръ, въ деревняхъ, по старому обычаю, послѣ пѣнія „Христосъ воскресъ“ стрѣляютъ холостыми заря-

дами изъ ружей, торжествуя этимъ побѣду надъ нечистой силою и тьмой. Зачерпнутой въ родникѣ въ пасхальную ночь водѣ народное повѣрье приписываетъ особенную силу. Суевѣрные люди окропляютъ ею свои дома и амбары, видя въ этомъ залогъ счастья и довольства. Этотъ обычай теперь мало-по-малу забывается; но есть села, гдѣ въ Святую ночь красныя дѣвушки спѣшатъ за водою къ ручьямъ и рѣкамъ. Молча стараются онѣ наполнить ведра и—также молча—донести ихъ домой. Если будетъ произнесено при этомъ хоть одно слово, то вода эта, по словамъ старыхъ людей, теряетъ свою силу.

Существуетъ старинное повѣрье о томъ, что — если въ Свѣтлую заутреню стать въ уголкѣ церкви, держать въ лѣвой рукѣ серебряную монету и на первое привѣтствіе священника—„Христось воскресе!“, вмѣсто „Воистину воскресе!“, отвѣтить словами: „антмозъ маго“, то отъ этихъ словъ монета получить чудодѣйную силу, которая можетъ возвратитъ ее хозяину даже изъ воды, изъ огня. Брошенная въ чужія деньги, монета эта не только возвратится къ хозяину, но и приведетъ съ собою всѣ другія, между которыми находилась. Этотъ „антмозъ“ соотвѣтствуетъ неразмѣнному червонцу, который знаменуетъ неизсякаемое богатство солнечнаго свѣта, каждое утро вновь возрождающееся на востокѣ; онъ напоминаетъ собою и молнію, которая въ весеннюю пору воскресаетъ и цвѣтетъ во мракѣ ночеподобныхъ тучъ.

Дошло до нашихъ забывчивыхъ дней старинное преданье гласящее, что красное солнышко, всплывая изъ-загоръ-горы надъ обновленной воскресеніемъ Христа землею, радостно играетъ-пляшетъ своими лучами. Эта слава-молва о „солнечныхъ заигрышахъ“ распространена повсемѣстно во всѣхъ уголкахъ славянскаго міра, нѣкогда жившаго одною духовной жизнью съ народомъ русскимъ. Въ великорусскихъ губерніяхъ ранымъ-рано на первый день Свѣтлаго Праздника выходитъ деревенскій людъ на пригорки, ребята-же малые влѣзаютъ на крыши—смотрѣть-любоваться игрою солнышка красного. Взойдетъ-заиграетъ оно на безоблачномъ небѣ, — быть, по примѣтѣ старыхъ людей, красному лѣту, богатому урожаю и счастливымъ свадьбамъ. Деревенская дѣтвора, при первомъ появленіи свѣтила свѣтилъ земныхъ, принимается прыгать, припѣвая: „Солнышко-ведрышко, выгляни въ окошечко! Солнышко, покажись, красное, снарядись! Ъдутъ господа-бояре къ тебѣ въ гости во дворъ, на пиры пировать, во столы столовать!“ Старухи въ это время умываются съ золота, серебра и красного яйца, думая отъ того и помо-

лодѣть, и разбогатѣть; старики-же расчесываютъ волосы, приговаривая: „Сколько въ головѣ волосковъ, столько и вну-чать!“ Есть и такіе между ними, что въ первый день Свѣтлой седмицы стараются поужинать и лечь спать до заката солнечнаго, думая, что, если не сдѣлать этого, то нападетъ „куриная слѣпота“. Молодежь—парни да дѣвушки красныя—ладятъ свое: чуть заиграетъ веселое солнышко, у нихъ—первая пѣсня—„веснянка“ готова, а за нею слѣдомъ пошелъ и первый хороводъ.

Съ перваго-же дня Свѣтла-Христово-Воскресенія отверзаются, по вѣрованію народа, врата райскія и остаются отворенными до послѣдняго дня. Счастливъ тотъ, кто умретъ о Пасхѣ, тому—прямая дорога въ селенія праведныхъ. Потому-то престарѣлые благочестивые люди, которымъ не жалко разстаться съ земной жизнью, и молятъ Бога, чтобы привелось имъ покинуть этотъ бранный міръ во дни Святой недѣли, а еще лучше—въ Свѣтлую заутреню. Кто умираетъ на Свѣтло-Христово-Воскресеніе, того, по старинному обычаю, хоронятъ съ краснымъ яйцомъ въ правой рукѣ. „Умеръ на Пасху—и яичко въ руку!“—напоминаетъ объ этомъ народная поговорка. Въ древней Руси существовало преданіе о томъ, что, когда возсталъ отъ мертвыхъ Спаситель міра, солнце не заходило цѣлыхъ восемь сутокъ: первые два дня оно стояло на востокъ,—тамъ, гдѣ ему полагается быть при восходѣ, слѣдующіе три дня—на полуднѣ, остальные два на вечерѣ, на восьмой зашло. Это преданіе повторялось на Руси всѣми въ XVI—XVII столѣтіяхъ, вызывая противъ себя возраженія церковныхъ проповѣдниковъ. Народная Русь, отъ млада до велика вѣрящая въ то, что отверзаются на Святой райскія двери, прибавляетъ къ этому—устами искушенныхъ въ книжномъ писаніи людей,—что прекращаются-утихаютъ на эти дни и адскія муки. Это основано на „Хожденіи апостола Павла по мукамъ“. По другому-же распространенному въ народѣ сказанію („Хожденіе Богородицы по мукамъ“), покой грѣшникамъ дается на томъ свѣтѣ съ Великаго (Страстнаго) Четверга до самой Троицы.

Съ перваго дня Свѣтлой недѣли, по старинному, въ большинствѣ мѣстностей уже забытому, преданію, Христось, въ сопровожденіи Своихъ апостоловъ, ходитъ по землѣ вплоть до Вознесенія. Одѣты небесные странники въ нищенское рублище, а потому,—гласитъ народный сказъ,—и не-въ-домекъ никому: кто они. Ходятъ они, испытуютъ людское милосердіе, награждаютъ великими и богатыми милостями добрыхъ и караютъ злыхъ людей.

Въ бѣлорусскихъ деревняхъ принято ходить на Свѣтло-Христово-Воскресеніе по дворамъ съ особыми „великоденскими“ пѣснями. Ходятъ, обыкновенно, ночью—цѣлыми толпами; ходящіе слывуть за „волочебниковъ“, а запѣвало ихъ зовется „починальщикомъ“. Въ своихъ пѣсняхъ, по свидѣтельству И. М. Снегирева⁴⁵⁾ и А. Н. Афанасьева, они прославляютъ Воскресшаго Христа, Богоматерь и святыхъ Юрія и Николу, что коровъ и коней запасаютъ, Илью-пророка, зажинающаго колосистую рожь. Все это они сопровождаютъ припѣвомъ „Христокъ воскресе!“ Въ Минской и смежныхъ съ нею губерніяхъ пляшутъ на этихъ первыхъ весеннихъ игрищахъ особыя пляски—„метелицу“ и „завѣйницу“.

На старой Смоленщинѣ всю Свѣтлую недѣлю молодые парни ходятъ по деревнямъ и у каждаго дома подъ окномъ поютъ такъ называемый „куралесь“, за что всякій хозяинъ, которому они пропоютъ, величаючи его по имени,—подастъ имъ сала, яицъ, пирога и денегъ. Вотъ, напримѣръ, одна изъ этихъ „куралесныхъ“ пѣсенъ смоленскихъ волочебниковъ:

„Ай шли, прошли волочебники.

Христокъ воскресъ, Сыне Божій!

Аны шли, пройшли, волочилися.

Христокъ воскресъ, Сыне Божій!

Волочилися, намочилися.

Христокъ воскресъ...

Аны пыталися до того двора, до Иванова.

Христокъ воскресъ...

Ти дома, дома самъ панъ Иванъ?

Христокъ Воскресеъ...

Онъ не дома, а поѣхалъ во столенъ городъ.

Христокъ Воскресеъ...

Соболева шапка головушку ломить.

Христокъ Воскресеъ...

Кожаный поясъ середину ломить.

Христокъ Воскресеъ...

Кунья шубка по пятамъ бьется.

⁴⁵⁾ Иванъ Михайловичъ Снегиревъ—извѣстный русскій народовѣдъ и знатокъ русскихъ древностей, бывший профессоромъ московскаго университета. Онъ родился въ 1793-мъ, скончался въ 1868-мъ году. Кромѣ другихъ произведеній (болѣе мелкихъ) ему принадлежатъ: „Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды“ (I, II, III и IV выпуски, М.), „Памятники московской древности“, „Русскіе въ своихъ пословицахъ“, „Русскія народныя пословицы“, „Памятники древнихъ художниковъ“ Заключенія, выводимыя имъ изъ тѣхъ или другихъ обычаевъ, не всегда правильны; но свѣдѣнія, которыми онъ обогащаетъ науку о русскомъ народѣ, до сихъ поръ не утратили своей цѣнности.

Христось Воскресь...
 Вы дарите насъ, не морите насъ!
 Христось Воскресь...
 Пару яиць на яминку.
 Христось Воскресь...
 Кусокъ сала на подмазочку.
 Христось Воскресь...
 Конецъ пирога на закусочку.
 Христось Воскресь, Сыне Божій.“

Въ нѣкоторыхъ-же домахъ, гдѣ есть молодыя дѣвушки за-невѣстившіяся, волочобниковъ просятъ спѣть еще „Паву“:

„Пава рано летала;
 Раньше того дѣвица встала,
 Да перья собирала,
 Въ вѣночекъ ввивала,
 На головку надѣвала,
 Сукните молодца,
 Подайте колось!“

За „Паву“ платятъ волочобникамъ отдѣльно: кто гривенникъ, кто двугривенный. Все, что ни подадутъ, берутъ пѣвунны-волочобники, и ни въ одной хатѣ не откажутъ имъ въ подаваніи, а послѣднюю пѣсню дѣвушки считаютъ чуть не за молитву о хорошемъ женихѣ и потому особенно щедро вознаграждаютъ пѣвуновъ.

Есть мѣстности, гдѣ ходятъ въ поведѣльникъ Святой недѣли на кладбища—христосоваться со своими покойничками; по большей-же части этотъ обычай соблюдается послѣ Пасхи, на Радоницу. Со вторникомъ связано въ народѣ имя „купалица“. Встарину существовалъ обычай обливать въ этотъ день холодной водою тѣхъ, кто проспалъ заутреню. Густинская ⁴⁶⁾ лѣтопись рассказывала объ этомъ обычаѣ—какъ о пережиткѣ древняго язычества, связывая его съ обоготвореніемъ Матери-Сырой-Земли.

Со Свѣтлой среды начинаются по нѣкоторымъ мѣстамъ весенніе хороводы, продолжающіеся до Троицына дня—каждый вечеръ. Разные бываютъ хороводы, на-особицу и зовутся они: великоденскими, радоницкими, никольскими, троицкими,

⁴⁶⁾ Густинская лѣтопись—велаь въ Густинскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ, Прилудкаго у. Полтавской губ., основанномъ въ 1600-мъ году на землѣ князей Вишневецкихъ и пользовавшемся вниманіемъ московскихъ царей. Въ 1675-мъ году здѣсь былъ посвященъ во іеромонахи св. Димитрій Ростовскій. Въ 1799-мъ году монастырь былъ закрытъ, но въ 1843-мъ возобновленъ.

всесвятскими, петровскими, пятницкими, ивановскими, успенскими, семеновскими, капустинскими и покровскими. Свѣтлый праздникъ начинается—открываетъ хороводное веселье, окровомъ—кончается оно.

Въ Святую пятницу, именуемую „прошеньемъ“, а также „прошенымъ днемъ“, въ обычаѣ звать тестю съ тещею зятя и его родныхъ „на молодое пиво“, которое зовется также и „моленнымъ“. Въ Костромской губерніи варятъ его въ-складчину, дѣлятъ между сосѣдами и пьютъ, приговаривая: „Пиво—не диво и медъ не хвала, а всему голова, что любовь дорога!“

Пасхальная суббота слыветъ въ народѣ „хороводницею“; въ этотъ день—самый разгаръ молодого веселья въ поселщицкѣ-деревенщинѣ. Въ Черниговской губерніи къ этому дню приурочивается обычай изгнанія или „провожанія“ русалокъ, по другимъ уголкамъ народной Руси или вовсе позабытый къ настоящему времени, или справляющійся на Всесвятской, слѣдующей за Духовымъ днемъ, недѣлѣ. Въ воскресенье со Свѣтлой седмицы на Ѳомину—проводы Пасхи. Въ этотъ день, по старинному обычаю, придерживающіеся дѣдовскихъ завѣтовъ люди собираютъ всѣ оставшіяся отъ праздничныхъ свѣдѣй кости и, благословясь, несутъ на поле, гдѣ и зарываютъ ихъ. Это должно охранять посѣвы отъ градобитія. Другимъ-же суевѣріе подсказываетъ беречь эти кости въ хатѣ и бросать ихъ въ топящуюся печку во время лѣтнихъ грозъ.

Но не только дань своему суевѣрію отдаетъ въ свѣтлые пасхальные дни народная Русь: крѣпка она своею простодушной вѣрою во Христа,—свято чтятъ въ ней всѣ обряды христіанскаго благочестія. Освятить деревенскій людъ во храмѣ Божіемъ въ Свѣтлую заутреню свои пасхальные яства, похристосуется со священникомъ, своими близкими и всѣми, кто бы ему ни встрѣтился, разговѣтся краснымъ яичкомъ и всѣмъ, что Богъ пошлетъ. Но до тѣхъ поръ не начнутъ въ деревнѣ праздничнаго пированья-веселья, покуда не обойдетъ cadaго двора церковный причтъ со крестомъ и святой водою и не пропоетъ передъ каждой божницею радостныхъ пасхальныхъ пѣснопѣній. А потомъ во всю Святую Недѣлю ходятъ, разнося благостную вѣсть о Воскресеніи Христовомъ, въ каждомъ приходѣ отъ деревни къ деревнѣ, богоносцы съ крестами, хоругвями и образами. Всю Свѣтлую недѣлю льется по всей Свѣтлой Руси радостный пасхальный звонъ: не молкнетъ съ утра до ночи ни одна колоколяня,—каждая словно старается перезвонить другую. Находится многое-множество охотниковъ „потрудиться для Бога“ у колоколовъ,—а ужъ отъ дѣтвора отбою нѣтъ: всякому хочется хоть одинъ разъ

да потрезвонить въ эти Свѣтлые дни. И гудятъ-перекликаются колокольни. Съ утра до поздняго вечера разносится по свѣтлорусскому простору, порою и нестройное, но изъ глубины души льющееся, пѣніе: слышать его и поле чистое, и начинающій пробуждаться отъ зимняго сна лѣсъ, и только-что сбросившая со своихъ плечъ ледяныя оковы рѣка. Одни богоносцы-пѣвцы смѣняютъ другихъ. „Ходить подѣ-Богомъ“ на Святой считается въ народѣ за благочестивый подвигъ. Приступаютъ къ нему только съ благословенія священника: не всѣмъ и разрѣшается это дѣло, а только тѣмъ, кто не виновенъ ни въ какихъ тяжкихъ, вызывающихъ наложеніе особаго покаянія, грѣхахъ. Богоносцы поднимая иконы, одѣваются, во все чистое и даютъ зарокъ не пить при этомъ вина, что особенно трудно выполнимо при повсемѣстно извѣстномъ хлѣбосольствѣ русскаго народа. Не выдержавшій и поддавшійся на угощеніе, не можетъ уже оставаться богоносцемъ, а долженъ передать свою обязанность другому, — на что не приходится долго искать охотниковъ. По преданію, переходящему изъ уста въ уста по селамъ-деревнямъ, проносившему цѣлую недѣлю иконы-кресты, вмѣняется это за седьмую часть дороги въ Іерусалимъ: „Семь Свѣтлыхъ седмицъ подѣ-Богомъ походить — въ Ерусалимъ-градъ не ходитъ!“ — говорятъ благочестивые люди.

Богоносцевъ ожидаютъ въ каждой хатѣ съ нетерпѣніемъ. Еще наканунѣ прихода ихъ въ деревню вездѣ уже приготовлены ведра и кадки со всякимъ житомъ. Въ нихъ ставятъ жданные гости принесенную ими святыню, освящая этимъ будущій урожай. Освященное зерно берегается для посѣва и высѣвается прежде всякаго другого. За не малый грѣхъ почитается въ народѣ какимъ-либо способомъ осквернить и просто даже разсыпать зря это зерно-жито, но еще болѣе тяжкимъ — не принять богоносцевъ. Благодать Божія, по вѣрованію деревенскаго богомольнаго люда, навсегда удаляется изъ такого дома. Для крестьянской дѣтвора приходъ богоносцевъ въ деревню является цѣлымъ событіемъ. Еще загодя выбѣгаютъ ребята за околицу и дожидаются: какъ только покажутся кресты и хоругви, одинъ изъ нихъ, по выпавшему жребію, бѣжитъ оповѣщать деревню о приближеніи „Божьихъ гостей“, а всѣ остальные стремглавъ несутся навстрѣчу идущимъ, чтобы, присоединясь къ нимъ, принять этимъ участіе въ богоугодномъ подвигѣ старшихъ. Во многихъ мѣстахъ приглашаютъ богоносцевъ въ поле, гдѣ они — всѣмъ „міромъ“ — съ пѣніемъ обходятъ озимые всходы. Въ какой деревнѣ придется заночевать богоносцамъ, для той считается

это особенно счастливымъ предзнаменованіемъ, охраняющимъ ее отъ пожара на болѣе или менѣе продолжительное время. Потому-то вездѣ и просятъ ихъ объ этомъ. Но не всегда соглашаются они, потому что священникомъ, отпускающимъ съ ними святыя иконы, дается строгій наказъ лучше ночевать въ полѣ, чѣмъ въ такой деревнѣ, гдѣ въ это время идетъ пьяный праздничный разгулъ. Среди-же богоносцевъ найдутся всякій разъ нѣсколько извѣстныхъ во всей округѣ своею благочестивой жизнью людей, для которыхъ слово отца духовнаго является непреложнымъ закономъ.

Къ богоносцамъ иногда присоединяются убогіе слѣпцы—калики-перехожіе, разносящіе изъ конца въ конецъ Святой Руси свои пѣсенные сказы. И во всякое другое время радушно встрѣчаетъ этихъ птицъ Божіихъ народъ-пахарь, всегда они—желанные гости деревенской глуши. А на Свѣтло-Христово-Воскресеніе радуется—не нарадуется имъ поселщина-деревеньщина, умиляющаяся при одномъ ихъ видѣ. Идутъ они за богоносцами; споютъ тѣ одинъ ирмосъ,—только успѣютъ кончить, а ужъ „слѣпенькіе“ (какъ зоветъ каликъ сердобольный сельскій людъ) затягиваютъ свой сказъ. „Велія радость въ мірѣ явися“,—начинается одинъ изъ этихъ сказовъ: „Христось бо воскресе, смерть же умертвися, сущи во гробѣхъ животь воспріяша, егда возлеже жизнь во гробѣ наша. Смертніи Христомъ всѣ мы оживлѣни, на путь небесный благо наставлѣни. Мы должны бѣхомъ: Христось заплатилъ есть, егда за родъ нашъ кровь Свою пролилъ есть. Неясыть птенцы своя оживляетъ, егда свою кровь на нихъ изливаетъ: Христось подобнѣ, за насъ умерщвленныхъ, кровь источилъ есть отъ ранъ Си спасенныхъ. Тако ожихомъ: вредъ нашъ исцѣлися, плоть Христа Бога егда подъявися. Врачество дивное Дивный содѣваетъ: врачъ, да мы живемъ, за ны умираетъ. Умерлъ бо: но днесъ отъ гроба воскресе и насъ съ Собою изъ ада вознесе. Въ томъ долженствуемъ Христа величати, преподобными гласы Его прославляти. Воспойте убо и вы пѣснь Христови, и пѣніи вѣчно будите готовы: здѣ долголѣтно, та же и во вѣки, въ небесной странѣ съ ангельскими лики“... Въ другомъ, записанномъ въ иной русской сторонкѣ сказѣ калики-пѣвцы, воспѣвая свою радостную пѣснь, возвѣщаютъ, между прочимъ, о томъ, что „простилъ Богъ грѣхи наши зліи, измылъ Своею кровью вси наши выи, смертію загладилъ, смерть нашу убивый, потребивъ клятву и ада плѣннивый. А въ томъ плѣнѣ далъ свободу, радость вѣчну далъ роду, роду правовѣрну, радость райску мирну“. Затѣмъ, преисполняясь „радости райской“, они восклицаютъ:

„Прочь же, вси скорби и горьки печали,
 Прочь отыдите въ безвѣстные краи;
 Уже бо темные облаки прогнаны,
 Прощель страхъ-трепетъ и плачь нечаянный;
 Се же вѣдро, дни веселы,
 И свѣтъ во тьмѣ пришелъ велій,
 Соннаго освѣтили, мѣръ обвеселили
 Се солнце красно—
 Христось воскресъ славно!“..

Третій сказъ о „Воскресеніи“,—также весь посвященный „духовной сладости“, которой „веселятся небеса и радуется земля“,—взываетъ устами своихъ сказателей-пѣвцовъ къ праотцамъ человѣчества. „Зыграй днесь, Адаме, и радуйся, Евва“,—гласитъ онъ: „со пророки ликоствуйте, съ патриархи торжествуйте, восходите въ радость, приимите младость. Днесь Христось отъ гроба, яко отъ чертога, воскресаетъ въ радость вѣрнымъ, въ посрамленіе невѣрнымъ, намъ же, праволубцемъ, даетъ животъ вѣчный. Днесь адъ въздыхаетъ, дяволь рыдаетъ: погубилось его царство, надъ душами тиранство; крѣпко онъ, аки левъ, рыкаетъ, души испущаетъ. Мы же восклицаемъ, славу возсылаемъ изъ гроба Воскресшему, насъ изъ тьмы изведшему въ радость въ неприступную и свѣтъ невечерній“... Отъ праотцевъ и патриарховъ сказъ переходитъ къ царю-псалмопѣвцу: „Зыграй днесь, Давыде, ликуй со пророки, бѣя въ гусли—радуйся! Съ веселиемъ красуйся, воспой велегласно, съ кимвалы согласно!“.. Отъ библейскихъ именъ слушатель стиховнаго сказанія переносится къ не вкусившимъ еще отъ чаши смерти людямъ, которыхъ—всѣхъ безъ изъятія—приглашаютъ пѣвцы ликовать: „Днесь всемірная радость источаетъ сладость, собираетъ вся языки, цари, князи и владыки, старцы со младенцы и весь возрастъ вкупѣ. Дѣвы и вдовицы со отроковицы, съ свѣщами притецйте, яко цвѣтъ—дѣвство держите, Христу поклонитесь, красно веселитесь!“..

На Червоной Руси распѣвается въ Свѣтлые Христовы дни такая пѣснь:

„Зъ-за тамъ-той горы зъ-за высокои
 Выходитъ намъ тамъ золотой крестъ.
 Славенъ си, славенъ си нашъ милый Боже,
 На высокости въ Своей славности славенъ си!
 И пидь тимъ крестомъ Самъ милый Господь:
 На Іому сорочка та джунджовая (жемчужная),

Та джунджовая, кервавая.
 Ой, ишло дивче въ Дунай по воду,
 Тай воно видѣло, та же Руській Богъ,
 Та же Руській Богъ изъ мертвыхъ уставъ“...

Деревенская молодежь, вмѣстѣ съ малыми ребятами, заводитъ на Святой недѣлѣ свои игры - забавы. Скрипятъ день-деньской качели у околицы: качаются парни съ дѣвчатами, качается и дѣтвора шумливая. Посреди улицы, на лужайкахъ, катанье яицъ идетъ, въ которомъ принимаютъ участіе и старый, и малый.

— „Дорого яичко ко Христову дню!“—говоритъ народная пословица, относящаяся ко всякой услугѣ. Но къ Пасхѣ оно и въ самомъ дѣлѣ дорого: безъ него не разговлится даже; ни одинъ нищій безъ краснаго яичка не похристосуешься,— безъ него и праздникъ—не въ праздникъ выйдеть! Первое яйцо, полученное въ Христовъ день, по народному повѣрью, никогда не должно портиться, если оба похристосовавшіеся привѣтствовали другъ-друга пасхальнымъ привѣтствіемъ отъ чистаго сердца. Поэтому многіе хранятъ его на божницѣ въ теченіе цѣлаго года—до новой Пасхи. Катаютъ яйца только на Святой. Хотя не только тогда можно услышать въ деревнѣ крылатое словцо объ этомъ прообразѣ Воскресенія Христа, но о ту пору какъ-то невольно чаще вылетаетъ оно изъ устъ пахаря. „Даль дураку яичко—что покатилъ, то и разбилъ!“—говорятъ тогда о неловкомъ увальнѣ-человѣкѣ. „Нашъ Ѡадей каравай хлѣба съ однимъ яйцомъ съѣсть!“—приговариваетъ деревня про накидывающихся на розговѣнь прожорливыхъ ѣдоковъ. „Дай ему яичко, да еще и облупленное!“—подсмѣиваются надъ любопытными не въ мѣру. „Хоть черненька курица, да на бѣлыхъ яичкахъ сидитъ!“—замѣчаютъ краснослова въ суровыхъ на видъ людяхъ съ добрымъ сердцемъ. „Онъ по яйцамъ пройдетъ, ни одного не раздавитъ!“—оговариваютъ они черезчуръ осторожныхъ. „Не умѣлъ играть яйцомъ, играй желвакомъ!“—киваютъ послѣдніе въ сторону слишкомъ беспечныхъ. „Курочка бычка родила, поросеночекъ яичко снесъ!“—говорятъ при видѣ замирающаго красная.

Деревенское повѣрье совѣтуетъ на Пасху каждое утро оглаживать лошадей яйцомъ, оглаживаючи—приговаривать: „Будь гладка, какъ яичко!“ Это должно приносить коню здоровье и спорость въ работѣ. „Не огладишь лошадку крашнымъ яйцомъ, и кормъ ей въ пользу не пойдетъ!“—говорятъ старые примѣтливые люди. По примѣтѣ, если рано заносятся куры да крупныя яйца несутъ, то и ранніе овсы выдутъ лучше

позднихъ. Простонородное суевѣріе велитъ бабамъ-хозяйкамъ беречь первое яйцо отъ черной курицы: оно, по слову старины, спасаетъ скотъ въ полѣ отъ волка. Суевѣрные хозяева взвѣшиваютъ первое снесенное во дворѣ яйцо, думая по вѣсу его судить-рядить о будущемъ урожаѣ. Первое яйцо, полученное при христосованьи, берегутъ умудренные жизнью люди: если, по ихъ словамъ, перекинуть его во время пожара черезъ заборъ, то огонь погаснетъ. Народныя загадки оговариваются объ яйцѣ въ такихъ словахъ: „Въ одномъ калиничкѣ два тѣстечка!“ „Сквозь стѣнки бычка испеку!“ „Въ одной квашнѣ два притвора!“ „Бочечка безъ обручика, въ ней пиво да вино не смѣшаются!“ „Полна бочка вина—ни клепокъ, ни дна!“ „Катится бочка—на ней ни сучочка!“ „Царево вино, царицыно вино—въ одной стекляницѣ не смѣшаются!“ „Подъ ледкомъ-ледкомъ стоитъ чашечка съ медкомъ!“ и т. д.

Похристосуется-разговѣтается, помолится и во храмѣ Божиѣмъ, и у себя въ хатѣ деревенскій людъ, приметъ и причтъ церковный, и богоносцевъ съ иконами, вдосталь наслушается краснаго пасхальнаго звона,—встрѣтитъ праздничекъ Христовъ честь-честью, по праздничному—по веселому. Свѣтло, радостно у него на душѣ, свѣтло-радостно и кругомъ—куда ни глянетъ. И какъ-то легче дышется ему, и какъ-то звончѣе поются пѣсни-веснянки, и какъ-то вольнѣе слетаютъ съ языка красныя рѣчи крылатыя.

А навстрѣчу Свѣтлому Празднику меньшая сестра Святой недѣли—Радоницкая-Өомина—идетъ въ народную Русь, со своими цвѣтистыми сказаньями, со своими особыми повѣрьями, со своими самобытными обычаями.

И теперь Пасха Христова является поистинѣ Свѣтлымъ Праздникомъ русскаго народа, а встарину на Москвѣ Бѣлокаменной справлялся этотъ „праздниковъ праздникъ“ съ еще большей торжественностью. Стародавніе обычаи и завѣщанные Святой Руси дѣдами-прадѣдами обряды, сопровождавшіе великій день Воскресенія Христова, къ настоящему времени частью совершенно изгладились изъ памяти, частью замѣнились другими. Въ Москвѣ-же, два вѣка тому назадъ бывшей средоточіемъ всей русской жизни, выполненіе пасхальной обрядовой стороны давало полный просторъ живому проявленію народнаго духа. Въ священнхъ стѣнахъ москов-

скаго Кремля въ XVI—XVII столѣтіяхъ ко днямъ Свѣтлой седмицы воочію проявлялась вся его самобытность, величавая въ своей патріархальной простотѣ. Царь и народъ, народъ и царь сливались здѣсь въ красномъ ликованіи, какъ двѣ могучихъ волны единой недѣлимой стихіи.

Кончалась недѣля Страстей Христовыхъ, проводимая въ строгомъ постѣ и непрестанныхъ молитвахъ, вызывающая въ душѣ каждаго христіанина неизгладимое впечатлѣніе крестныхъ страданій Сына Божія. Какъ начинали, такъ и завершали ее, цари московскіе подвигами христіанскаго смиренія, не только готовясь сами достойнымъ образомъ встрѣтить святую-радостную вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Пострадавшаго за грѣхи людей, но доставляя возможность этого даже и недостойнѣйшимъ изъ своихъ подданныхъ—преступникамъ, заключеннымъ въ тюрьмы за самыя тяжкія вины. Ночью съ пятницы на субботу, тайнымъ образомъ, въ сопровожденіи немногихъ ближнихъ людей, обходилъ царь-государь заключенныхъ, неся къ нимъ не только щедрую милостыню, но и милость. И не было никому во время тайныхъ выходовъ государевыхъ отказа въ просимомъ, лишь-бы это не противорѣчило христіанскому добротолубію. Яркимъ проявленіемъ милосердія устлали наши древніе вѣщеносцы путь Воскресшему Царю царей земныхъ на Святую Русь, памятуя великія слова Божественнаго Икупителя: „Милости хочу, а не жертвы!“

Въ субботу, въ навечеріи Свѣтлаго Дня, служилась въ покоевыхъ палатахъ царскихъ, въ государевой Комнатѣ, что въ Теремномъ дворцѣ, святая полунощница. Благоговѣнно слушалъ ее державный хозяинъ всея Руси. Кончалась служба, начинался трогательный обрядъ „царскаго лицезрѣнія“. Къ выполненію этого обряда передъ Свѣтлой заутренею въ покои государевы собирались бояре, окольничіе, думные и ближніе люди, всѣ служилые и дворовые чины. Одни изъ нихъ (вышіе по своему положенію) сходились въ Передней, другіе—становились въ сѣняхъ, третьи—на Золотомъ крыльцѣ. Всѣ были въ богатѣйшихъ кафтанахъ золотныхъ. У кого-же не было ихъ (низшіе по чину люди), тѣ ожидали выхода государева на Постельномъ и Красномъ крыльцахъ. По зову царскаго стольника, стоявшаго „на крюку“ у дверей, входили въ государеву Комнату, по два человѣка, бояре-сановники: „видѣть его великаго государя пресвѣтлыя очи“,—входили, ударяли челомъ и шли по своимъ мѣстамъ. Принявъ ближнихъ людей, выходилъ царь въ Переднюю, гдѣ происходило то-же самое, что и въ Комнатѣ, съ той только разницею, что сановитыхъ бояръ замѣняли дворяне, дьяки другой сте-

пени и стрѣлецкіе головы. Царь-государь былъ въ станомъ шелковомъ кафтанѣ, надѣтомъ поверхъ зипуна. Послѣ челобитья бояръ и другихъ людей московскихъ, удостоившихся „лицезрѣнія“, царь принималъ отъ спальниковъ свой выходной нарядъ—„опапень, ожерелье стоячее, шапку горлатную и посохъ индѣйской черна дерева“—и шествовалъ къ Свѣтлой заутренѣ въ Успенскій соборъ. Блестящій сонмъ бояръ, окольниковъ, стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ и дьяковъ окружалъ вѣщеноснаго богомольца, шедшаго навстрѣчу Воскресавшему Царю царей. Встрѣчавшіе выходъ царскій въ сѣняхъ и на крыльцахъ, ударивъ челомъ государю, присоединялись къ шествію и шли—впереди всѣхъ—по трое въ рядъ. Передъ Успенскимъ соборомъ, у западныхъ дверей его, „въ рѣшеткахъ, нарочито для того устроенныхъ“, становились они по обѣ стороны и пропускали государя съ его свитою царской, во храмъ Божій,—гдѣ, сотворивъ начало и приложившись ко святымъ мощамъ и къ ризѣ Господней, становился царь близъ патріарха,—а затѣмъ переходили къ сѣвернымъ дверямъ, гдѣ стоять было имъ положено до „царскаго пришествія въ соборъ со крестами“. Тѣмъ временемъ замирала вся переполненная православнымъ людомъ московскимъ Кремлевская площадь, замирала и вся Москва въ трепетномъ ожиданіи могучаго мѣднаго голоса Ивана Великаго. На второй ударъ колокола-великана откликалась вся Бѣлокаменная радостнымъ краснымъ звономъ, разнося вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Христовомъ. Совершался крестный ходъ вокругъ Успенскаго собора; самъ царь-государь не ходилъ со крестами, а выходилъ въ западныя двери и тамъ ожидалъ богоносцевъ. вмѣстѣ съ торжественнымъ ликующимъ пѣніемъ „Христосъ воскрес!“ возвращался онъ подъ своды древней святыни московской. Входили туда и всѣ, кто былъ въ золотныхъ кафтанахъ. Отъ тѣсноты оберегали соборъ стрѣлецкіе подполковники.

Пѣлись хвалитныя стихиры пасхальныя, прикладывался царь всея Руси къ образамъ и начиналъ христосоваться—„творить цѣлованіе во уста“ съ благословлявшимъ его святымъ крестомъ владыкою-патріархомъ, митрополитами, архіепископами и епископами; все-же остальное духовенство „жаловалось къ рукѣ“. Слѣдомъ за духовнымъ чиномъ, шло христосованье свѣтскаго. Начиналось оно съ патріарха, къ которому подходили всѣ, цѣловали его руку и одѣялись красными пасхальными яйцами—по три, по два и по одному. Государь былъ уже въ это время на своемъ „мѣстѣ“ царскомъ, у южныхъ дверей собора, и ожидалъ продолженія вы-

полнявшагося обряда. По заранѣ составленному и утвержденному списку, подходили бояре и всѣ молившіеся въ соборѣ ближніе люди государевы къ его царскому высокому мѣсту и творили цѣлованіе руки царевой. „Христосъ воскресе!“—привѣтствовали они государя—„Воистину воскресе!“—отзывались имъ уста Солнышка Земли Русской“. Христосуясь, раздавалъ царь всѣмъ яйца—гусиные, куриные и деревянные-точеные. При раздачѣ ихъ находился особый „приносчикъ“—стольникъ изъ ближнихъ людей—и десятеро „жильцовъ-подносчиковъ“. Яйца, приготовлявшіяся заблаговременно токарями, иконописцами и травщиками Оружейной Палаты, а также иноками Троице-Сергіева монастыря, были красныя, богато и искусно изукрашенныя по золоту яркой росписью въ узоръ, или „цвѣтными травами, а въ травахъ птицы и звѣри и люди“. Подносчики держали ихъ о-бокъ съ государемъ—въ деревянныхъ, обитыхъ серебряною золоченой басмою и бархатомъ, блюдахъ. На Руси въ тѣ времена придавалось пасхальному красному яйцу особое таинственное значеніе; тѣмъ съ большимъ благоговѣніемъ принималъ его въ Свѣтлую заутреню благочестивые предки наши изъ рукъ государевыхъ. „Яйце примѣнно ко всей твари“,—гласить древнее рукописное толкованіе, приписывавшееся встарину св. Іоанну Дамаскину, —„скорлупа—аки небо, плева—аки облацы, бѣлогъ—аки воды, желтокъ—аки земля, а сырость посреди яйца—аки въ мірѣ грѣхъ. Господь нашъ Иисусъ Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, всю тварь обнови Своею кровію, якоже яйцо украси; а сырость грѣховную иссуши, якоже яйцо исусти“. Кончалось христосованіе. Святитель московскій возглашалъ-читалъ, въ царскихъ вратахъ, пасхальное слово св. Іоанна Златоуста. Внималъ ему съ благоговѣніемъ подходившій слушать поученіе царь. „Много лѣтъ ти, владыко!“—смиренно произносилъ онъ при окончаніи слова. Отходила заутреня, и шествовалъ государь со всѣми окружавшими его боярами и ближними людьми въ Архангельскій соборъ. Здѣсь онъ поклонялся чудотворнымъ иконамъ и святымъ мощамъ, а затѣмъ, слѣдуя завѣту-обычаю предковъ, „христосовался съ родителями“ предъ ихъ гробницами. Изъ Архангельскаго шелъ царь въ Благовѣщенскій соборъ, гдѣ, поклонившись мѣстнымъ святынямъ, „цѣловался во уста“ съ престопопомъ—царскимъ духовникомъ—и жаловалъ его яйцами, а ключарей допускалъ къ цѣлованію своей руки. Иногда слѣдомъ за Благовѣщенскимъ соборомъ, а порою на второй день Свѣтлой седмицы, посѣщалъ онъ Вознесенскій и Чудовъ монастыри и Троицкое подворье. Весь чинъ, окружавшій го-

сударя въ Успенскомъ соборѣ, слѣдовалъ за нимъ, въ прежнемъ порядкѣ, на всемъ этомъ пути.

Наконецъ, возвращался государь къ себѣ „на Верхъ“ (во дворецъ) и въ Столовой палатѣ жаловалъ къ рукѣ и яйцами пасхальными всѣхъ, кто изъ бояръ и ближнихъ людей оставался тамъ для „береженья“ царскаго семейства и дворца во время выхода государева. Сюда-же сходились и тѣ сановники, которые, по преклонности лѣтъ или по болѣзни, не могли стоять Свѣтлую утреню въ соборѣ, а также и постельничій, стряпчій съ ключомъ, царицыны стольники и дьяки мастерскихъ государевыхъ палатъ. Изъ Столовой шелъ государь въ Золотую палату, куда приходили въ это время славить Христа патріархъ-владыка и иныя власти духовныя. Со всѣми ними изволилъ выходить къ царицѣ царь-государь, окруженный боярами. Принимала гостей царица въ своей Золотой палатѣ, гдѣ сидѣла среди мамъ, дворовыхъ и пріѣзжихъ боярынь. Христосовались съ царицею царь, патріархъ и всѣ—кто были съ ними. Всѣ власти духовныя благословляли царицу святыми иконами и цѣловали у нея руку. Къ ранней обѣднѣ, по описанію изслѣдователя домашняго быта русскихъ царей шелъ государь вмѣстѣ со всѣмъ государевымъ семействомъ въ которую-либо изъ своихъ дворцовыхъ церквей, къ поздней—въ Успенскій соборъ, куда выходилъ въ большомъ царскомъ нарядѣ, ведомый подъ руки двумя ближними боярами, въ сопровожденіи всей свиты. Отъ поздней обѣдни возвращался царь въ царицыны покои, гдѣ жаловалъ къ рукѣ и одѣлялъ крашеными яйцами всѣхъ ея ближнихъ людей, мамъ, верховыхъ боярынь, крайчихъ, казначей и постельницъ. Затѣмъ, изволилъ христосоваться государь со своими дворовыми людьми—комнатными („стоявшими у крюка“), „наплечными мастерами“ (портными), шатерными мастерами, иконниками, мовными, постельными, столовыми, истопниками и сторожами, не исключая ни одного—даже самаго низшаго положеніемъ—двороваго. Разговѣвшись, шелъ онъ принести радостную вѣсть о Свѣтломъ-Христовомъ-Воскресеніи тѣмъ, кто не могъ внимать ей въ соборахъ и церквахъ: въ городскія тюрьмы, больницы и убогіе дома (богадѣльни). „Христось воскресъ и для васъ!“—произносилъ царь, входя въ эти пріюты скорбей и печалей, и одаривалъ заключенныхъ и больныхъ отъ щедротъ своихъ пасхальными яйцами красными, деньгами и разными новыми вещами обиходными въ ихъ быту. Присылалась заранѣе сюда отъ государя и праздничная розговѣнь. Объ этомъ благочестивомъ обычаѣ сохранились подлинныя записи, съ точ-

ностью передающія, какъ совершался и чѣмъ сопровождался этотъ богомольный выходъ государя въ день Свѣтлаго Праздника. „1664 году 10-го апрѣля“,—говорится въ придворныхъ запискахъ того времени,—„государь пожаловаль на Англинскомъ Дворѣ плѣннымъ полякамъ, нѣмцамъ и черкасамъ, а также и колодникамъ, всего 426 человекамъ, каждому: чекмень, рубашку и порты и потомъ приказаль накормить ихъ; ѣствъ имъ давали лутчимъ по части жаркой, да имъ же и достальнымъ всѣмъ по части вареной, по части ветчины, а каша изъ крупъ грешневыхъ и пироги съ яйцами или мясомъ, что пристойнѣе; да на человека же купить по хлѣбу да по калачу двуденежному. А питья: вина лутчимъ по три чарки, а достальнымъ по двѣ; меду лутчимъ по двѣ кружки, а достальнымъ по кружкѣ“. Изъ этого простаго перечисленія всего пожалованнаго отъ щедротъ государевыхъ заключеннымъ иновѣрцамъ и колодникамъ, сидѣвшимъ „за тяжкія вины“, достаточно видно, съ какой заботливостью относился самодержецъ московскій ко всѣмъ нуждамъ посѣщаемыхъ имъ несчастныхъ въ Свѣтлый Праздникъ, приобщая ихъ ко всеобщему народному ликованію на Святой Руси, охватывавшему всѣхъ отъ мала до велика, отъ богатыхъ палатъ до бѣдной хижины. Это повторялось неукоснительно изъ года въ годъ. Въ первый день Пасхи красной раздавалась, отъ царскаго имени, щедрая милостыня нищимъ на всѣхъ площадяхъ московскихъ. Иногда устраивались даже столы для нищей братіи въ Золотой царицыной палатѣ, гдѣ одѣляли бѣдняковъ верховыя набольшія боярыни крашеными яйцами и деньгами. Подавалось убогимъ гостямъ на этомъ кормленіи не мало яствъ праздничныхъ—„курей индѣйскихъ, утокъ жареныхъ, пироговъ, перепечей“. Шло столованье, подходило къ концу,—выходили царь съ царицею изъ внутреннихъ покоевъ. Слышалъ убогій людъ изъ государевыхъ устъ вѣсть о Воскресеніи Христовомъ и откликался на нее со слезами умиленія своимъ „Во-истину“. А надъ Москвой Бѣлокаменною, подъ златоглавымъ Кремлемъ и теремами золототерехими плылъ-разливался въ это время красный перезвонъ со всѣхъ сорока-сороковъ.

Въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича неоднократно открывались о Святой Пасхѣ,—преимущественно на третій или четвертый день праздника,—двери Переднихъ сѣней государевыхъ не только для бояръ и сановныхъ людей разнаго чина, но и для простаго люда московскаго—торгашей, посадскихъ, мастеровъ всякаго цеха, людей дворовыхъ и крестьянъ. Собирался рано поутру отовсюда народъ къ палатамъ цар-

скимъ. Наряжался каждый простолюдинъ во все, что есть праздничное-цвѣтное. Сколько возможно оказывалось пропустить, столько и пускали въ Переднія сѣни, а остальному народу приказъ былъ отъ стольника—ждать у Краснаго крыльца. Принималъ царь людей московскихъ, всѣхъ къ рукѣ жаловалъ, сидя на своемъ царскомъ мѣстѣ, каждому изъ своихъ рукъ давалъ яйцо красное, монастырской росписью изукрашенное. Раздавалъ царь на пасхальной седмицѣ до 37.000 яицъ. Хранили осчастливленные свѣтлымъ его, великаго государя, лицезрѣніемъ москвичи царскій подарокъ праздничный послѣ во всю свою жизнь, да и дѣтямъ завѣщали память объ этомъ. Не только однихъ попавшихъ въ Переднія сѣни осчастливливалъ Тишайшій изъ русскихъ царей, а выходилъ послѣ этого на Красное крыльцо и тамъ являлъ свой пресвѣтлый ликъ народу, привѣтствуя его возгласомъ: „Христосъ воскресе!“ Тишина стояла при выходѣ государевомъ на площади Кремлевской: всякому хотѣлось услышать своими ушами благостныя слова изъ устъ помазанника Божія. А какъ вымолвить царь эти слова, вся площадь, переполненная людемъ московскимъ, откликалась громогласнымъ: „Во-истину воскресе!“ И долго, долго еще переливался по ней волнами могучими этотъ откликъ многихъ тысячъ восторженныхъ голосовъ.

Во время всей Пасхи шли въ палатахъ царскихъ приемы „великоденскихъ даровъ и приносовъ“. Начиналось это, обыкновенно, со второго дня. Приемы происходили въ Золотой палатѣ, въ присутствіи всего „чина государева“. Первымъ являлся святитель московскій, благословлявшій государя образомъ и золотымъ крестомъ; за патріархомъ приносили его дары: кубки, бархаты золотные и беззолотные, атласъ, камку, три сорока соболей и сто золотыхъ. Отъ царя шелъ владыка съ приносами къ царицѣ, царевичамъ и царевнамъ. Митрополиты и архіепископы подносили (или присылали со своими стряпчими) государю и каждому изъ его семейства „великоденскій мѣхъ меду“ и „великоденское яйцо“, благословляя при этомъ иконою въ серебряномъ окладѣ. Келарь Троице-Сергіевской лавры подносилъ царю образъ „Видѣніе великаго чудотворца Сергія“, пять „братинъ корельчатыхъ“, ложку „рѣпчатую“, хлѣбъ и мѣхъ меду. Образа и мѣхи съ медомъ подносились архимандритами, строителями и игумнами монастырей: Чудова, Ново-спасскаго, Симонова, Андронникова, Саввинскаго, Кирилло-Бѣлозерскаго, Іосифа Волоколамскаго, Соловецкаго и Никольскаго-на-Угрѣши. Вслѣдъ за духовенствомъ принималъ царь-государь съ великоденскими дарами именитаго человѣка

Строгонова, являвшася представителемъ цѣлаго края; за нимъ — гостей московскихъ, новгородскихъ, казанскихъ, астраханскихъ, сибирскихъ, нижегородскихъ и ярославскихъ; наконецъ — гостиной и суконной сотень торговыхъ людей. Царь Ѳедоръ Алексѣевичъ принималъ въ теченіе Свѣтлой седмицы послѣ обѣдни каждый день людей разнаго званія, всѣхъ допуская къ рукѣ и жалуя крашеными яйцами. Въ понедѣльникъ принимались столъники, стряпчіе и дворовые московскіе, во вторникъ — жильцы (дворяне иногородные), въ среду — дѣти боярскіе, аптекарскаго приказа доктора, аптекари и лѣкаря, въ четвергъ — подъячіе, въ пятницу — дворовые люди и подъячіе дворцовые, суббота была днемъ „разныхъ чиновъ людей“. Ни одинъ человекъ изъ „служившихъ на дворѣ“ не оставался безъ царскаго лицезрѣнія въ эти дни. Въ день торговыхъ людей христосовались съ государемъ, кромѣ купцовъ-гостей, „сотскіе и старосты гостиной и суконной сотни, конюшенныхъ и черныхъ слободъ“, выборные чернослободцы и торговые иноземцы. Въ день дворовыхъ людей были принимаемы художники и ремесленники Оружейной Палаты — съ ихъ „подносными дѣлами“, заготовившимися заранѣе по назначенію. Въ обычаѣ было у царей русскихъ посѣщать во дни Свѣтлаго Праздника не только московскіе, но и подмосковные, монастыри. Крашенныя яйца возилъ за государемъ прикащикъ-столъникъ съ десятю жильцами-подносчиками. Царица съ царевичами и царевнами „ходила“ въ это время по московскимъ соборамъ и женскимъ монастырямъ, вездѣ христосуясь съ духовенствомъ и властями. Слѣдомъ за нею повсюду ѣздили боярыни. Царица спрашивала всѣхъ игуменій „о спасеньѣ“, боярынь — „о здоровьѣ“, что — по свидѣтельству описателя домашняго быта русскихъ царицъ — являлось признакомъ величайшаго къ нимъ благоволенія.

Бояре, слѣдуя благому примѣру царя-государя, раздавали на Свѣтлый Праздникъ щедрую милостыню, а также посылали „розговѣнь“ въ тюрьмы, больницы и богадѣльни. Именитое купечество не отставало въ этомъ отъ нихъ. Всѣ благочестивые русскіе люди старались, по мѣрѣ силъ и возможности, слѣдовать правилу пасхальнаго поученія: „Своя домашняя безъ печали сотвори, нищая и бѣдная помилуй!“ По стогнамъ Москвы, да и всѣхъ другихъ городовъ русскихъ, неумолкаемо разносился во всю Святую седмицу красный звонъ. Звонили и настоящіе звонари, и всѣ желавшіе „потрудиться для души“ люди — старые и малые; нѣкоторые, особенно изъ слѣпцовъ-убогихъ, достигали въ этомъ трудѣ высокой степени искусства, заставляя изумляться слушателей. Для многихъ явственно

слышались въ этомъ звонѣ воочію воплощавшіяся въ дѣлахъ благотворенія и милосердія слова древняго проповѣдника: „Духовно торжествуемъ, страннолюбимъ цвѣтуще, любовію озарившеся, нагія одѣвающе, нищія и бѣдная съ собою въ подобно время накормяще и обидимыя избавляюще“... По свидѣтельству иноземцевъ, оставившихъ описанія о своемъ „путешествіи въ Московію“, здѣсь исчезало въ эти свѣтлые дни всякое различіе въ положеніи: обмѣнивались христіанскимъ поцѣлуемъ рабы съ боярами, мужчины съ незнакомыми женщинами и дѣвушками, друзья и враги.

Такъ встрѣчала старая московская Русь радостные дни Свѣтла-Христова-Воскресенія.



XX.

Радоница—Красная Горка.

Отойдетъ, выйдетъ за изукрашенную причудливой рѣзбою всяческихъ преданій дверь вѣковѣчнаго чертога Великой, Малой, Бѣлой и Червоной Руси славная-красная Святая недѣля, слывающая въ нашемъ народѣ за одинъ Великъ-День, — слѣдомъ за нею, у порога стоитъ ея меньшая сестра—Томина, „Радоницкая“. Съ этой седмицею отъ дѣдовъ-прадѣдовъ идутъ въ народъ свои особые обычаи, свои родныя повѣрья, свои вѣщія слова крылатыя, перелетающія за горы высокія, черезъ моря глубокія, шириною безбрежныя, отдѣляющія наши дни отъ сѣдой были повитыхъ мракомъ вѣковъ. На этой недѣлѣ людъ крещоный „съ покойничками христосуется“, разноситъ по могилкамъ радостную вѣсть о Свѣтломъ Христовомъ Воскресеніи, побѣдившемъ собою темную силу смерти:

„Воспоимъ вси пѣснь радостно нынѣ:
Христось бо воскресе отъ гробныя скрини,
Возсталъ отъ мертвыхъ Богъ, живый отъ вѣка,
Оживиль мертва въ мірѣ человѣка.
Нынѣ убо вси ликуемъ,
Духомъ-тѣломъ торжествуемъ,
Во длани плещимо,
Другъ друга простимо“...—

поютъ въ эти дни калики-перехожіе, отъ одного погоста къ другому идучи.

Всплachtetся радостными слезами весенними Мать-Сыра-Земля, проснетъ все спящее въ ея любвеобильномъ сердцѣ, вздохнуть свободнѣе и могильные жильцы: возвеселитъ ихъ, возра-

дуетъ память живыхъ, справляющихъ въ седмицу по Пасхѣ радостныя весеннія поминки, возвѣщающихъ имъ „ангельскую днесь радость и человѣческую сладость“.

Радуется лежащій въ нѣдрахъ земныхъ православный людъ, но еще радостнѣй-свѣтлѣе на сердцѣ у поминающей его родѣнки. Пасха красная — у всѣхъ на душѣ въ эти дни, когда и солнышко весеннія игры играетъ на небесныхъ поляхъ, пригрѣваячи нивы земныя-поднебесныя, выгоная всходы хлѣбовъ зеленые, когда по селамъ-деревнямъ звенятъ заливные-молодежь голоса хороводные. Дождавшаяся Красной Горки молодежь еще веселѣе красна-солнышка играетъ, затѣвая хороводы по краснымъ пригоркамъ-холмамъ, „заплетая плетень“ („Заплетися, плетень, заплетися! Ты завейся, труба золотая! Завернися, камка кружчатая!“ и т. д.), да „сѣя просо“ въ честь стараго „Дида-Лада“, да величая „Дона сына-Ивановича“...

Эти дни съ давнихъ поръ слывуть свадебными, брачную радость несущими любящимся молодымъ сердцамъ. Послѣднія свадьбы передъ началомъ страдной поры май-мѣсяцемъ — играютъ во время нихъ. „Сочтемся весной на бревнахъ — на Красной веселой Горкѣ,“ — гласитъ народный прибаутокъ: „сочтемся-посчитаемся, золотымъ вѣнцомъ повѣнчаемся“. Потому-то и ждутъ этихъ дней заневѣстившіяся дѣвушки красныя съ неменьшимъ нетерпѣніемъ, чѣмъ Свѣтлаго Праздника. Въ эти-же дни принято на Руси, по старинѣ стародавней, одаривать „богоданную“ родню зятьямъ да невѣсткамъ. Въ первый день Ѳоминой-Радоницкой недѣли разносится отъ одного села къ другому пѣсня, напоминающая объ этомъ-послѣднемъ обычаѣ:

„Подойду, подойду,
 Подъ Царь-городъ подойду,
 Вышибу, вышибу,
 Копьемъ стѣну вышибу!
 Выкачу, выкачу,
 Съ казной бочку выкачу!
 Подарю, подарю
 Люту свекру-батюшкѣ!
 Будь добрѣ, будь добрѣ—
 Какъ ролимый батюшка!
 Подойду, подойду,
 Подъ Царь-городъ подойду!
 Вышибу, вышибу,
 Копьемъ стѣну вышибу!
 Вынесу, вынесу,
 Лисью шубу вынесу!

Подарю подарю,
 Люту-свекровь-матушку!
 Будь добра, будь добра,
 Какъ родима матушка!..“

По объясненію И. М. Снегирева, сложилась-спѣлась эта пѣсня, вѣроятно, еще въ XI—XII столѣтіяхъ когда свѣжа была въ сердцѣ народной Руси стародавняя, поросшая быльемъ, память о славныхъ походахъ русскихъ князей подъ Царьградъ.

„Красной Горкою“, собственно, зовется Өомино воскресенье, первый день этой недѣли весеннихъ поминокъ, недѣли предстрадныхъ свадебъ. Наименованіе этого дня ведетъ свое начало отъ сѣдой древности. Горы—колыбель человѣчества, родина и обитель боговъ и естественные предѣлы ихъ владѣній—на зарѣ народной жизни у всѣхъ славянъ почитались священными и являлись, поэтому, мѣстомъ совершенія большинства богослужебныхъ обрядовъ и связанныхъ съ ними обычаевъ. Красный—прекрасный, веселый, радостный, молодой. Отсюда и названіе перваго праздника воскресшей весны—„Красная Горка“. Въ отдаленнѣйшіе годы древнерусскаго язычества въ этотъ день возжигались по холмамъ священные костры—огни въ честь Дажьбога. Вокругъ этихъ огней совершались жертвоприношенія и мольбища. Здѣсь-же вершился судъ—„полюдые“. У русскаго народа не было никакихъ капищъ; ихъ замѣняли лѣсныя поляны да „красныя горы“, на которыхъ—на мѣстѣ повергнутыхъ идоловъ—воздвигнуты были церкви при благочестивыхъ князьяхъ-христіанахъ, отходившихъ изъ этого міра во святой схимѣ. Въ Өоминъ понедѣльникъ, знавшійся „Радоницею“, на этихъ горахъ устраивались пиршественныя тризны въ честь умершихъ предковъ. Во вторникъ („Навій день“ или „усопшія Радаваницы“) продолжалось то-же самое. И теперь этотъ день проводится на Руси по кладбищамъ за панихидами да поминками. Въ малорусскихъ селахъ оба эти дня слывуть „могилками“, „гробками“ и „проводами“. Среда считалась въ языческую старину днемъ браковъ, благословлявшихся жрецами на красныхъ горкахъ. Въ четвергъ и пятницу по древнерусскимъ весямъ происходило „хождение вьюнитства“, обычай уцѣлѣвшій и до сихъ поръ въ деревенской глуши подъ именемъ „вьюнца“. Въ субботу на Өоминой—самые развеселые хороводы, самыя голосистыя веснянки.

Въ первый день Өоминой недѣли совершалось, —а мѣстами и въ наши дни совершается,—заклинаніе весны. Оно начиналось съ восходомъ солнечнымъ. Мѣстомъ дѣйствія являлась всё та-же красная горка. При первомъ проблескѣ свѣтила

свѣтилъ собравшаяся на холмѣ молодежь, съ выбранной «хороводницею» во главѣ, приступала къ выполнению завѣщаннаго стариной обряда. Хороводница, благословясь, выходила на средину круга и произносила заклинаніе, сохранившееся во всей своей первобытной чистотѣ на сѣверо-восточной Руси: «Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное ведрышко! Изъ-за горъ-горы выкатайся, на свѣтель-міръ воздвуйся, по травѣ-муравѣ, по цвѣтикамъ по лазоревымъ, подснежникамъ лучами-очами пробѣгай, сердце дѣвичье лаской согрѣвай, добрымъ-молодцамъ въ душу загляни, духъ изъ души вынь, въ ключъ живой воды закинь. Отъ этого ключа ключи въ рукахъ у красной дѣвицы, зорьки-заряницы. Зоренька-ясынька гуляла, ключи потеряла. Я, дѣвушка (имя рекъ), путемъ-дорожкой шла-прошла, золотъ ключъ нашла. Кого хочу—того люблю, кого сама знаю—тому и душу замыкаю. Замыкаю я имъ, тѣмъ золотымъ ключомъ, добраго молодца (имя рекъ) на многіе годы, на долгія весны, на вѣки вѣченскіе заклятемъ тайнымъ нерушимымъ. Аминь!». Всѣ присутствующіе при заклинаніи повторяли каждое слово за хороводницею, вставляя полюбившіяся каждому имена. Затѣмъ, заклинавшая солнышко дѣвушка, положивъ на-земь посрединѣ круга красное яйцо и круглый хлѣбецъ, затыгивала пѣсню-веснянку.

„Весна-красна!
 На чемъ пришла,
 На чемъ пріѣхала?
 На сошечкѣ,
 На бороночкѣ!“ и т. д.

Весь хороводъ подхватывалъ. Эту пѣсню смѣняла другая; ту—третья. Послѣ пѣсенъ принимались за угощенье, начиналась веселая пирушка.

Въ этотъ-же день еще и теперь по городамъ,—начиная съ Москвы Бѣлокаменной, исконной хранительницы всевозможныхъ преданій и обычаевъ русской старины и кончая самыми захолустными,— устраиаются праздничныя прогулки заневѣстившихся дѣвушекъ. Женихи, въ свой чередъ, выходятъ на смотрины, совершающіяся на весеннемъ вольномъ воздухѣ, подъ зеленѣющими навѣсами распускающихся деревьевъ. Бываетъ и такъ, что на мѣстѣ «зеленыхъ смотрины» происходитъ и самое рукобитье. Мѣстами существуетъ обычай (напримѣръ, въ Костромской губерніи), позволяющій парнямъ, въ честь Матери-Сырой-Земли обливать водой приглянувшихся имъ дѣвушекъ. Кто обольетъ которую, тотъ за нее и долженъ свататься,—гласить обычное, нигдѣ, кромѣ памяти на-

родной не записанное, право. Кто не сдѣласть этого, тотъ считается лихимъ обидчикомъ, похитителемъ чести дѣвичей. Въ Густинской лѣтописи, такъ рассказывалось о подобии этого обычая: „Отъ сихъ единому нѣкому богу на жертву людей топяху, ему же и донинѣ по нѣкоихъ странахъ безумныя память творять: собравшеся юни, играюще, вметають челоувѣка въ воду, и бываетъ иногда дѣйствомъ тыхъ боговъ, си есть бѣсовъ, разбиваются и умирають, или утопають; по иныхъ же странахъ не вкидають въ воду, но токмо водою поливають, но одинако тому же бѣсу жертву сотворяють“.

Во многихъ селахъ и деревняхъ на Ёмино воскресенье ввечеру въ обычаѣ сходитья молодежи за околицей и водить тамъ, на задворкахъ, хороходныя игрища, величая Весну-Красну. При этомъ наиболѣе удалые изъ парней влѣзають на деревья и прыгають съ нихъ на-земь, перескакивають съ-разбѣга черезъ плетни; а другіе ходять вокругъ сѣнныхъ стоговъ, или соломенныхъ ометовъ, и поють:

„Какъ изъ улицы идетъ молодець,
Изъ другой идетъ красна-дѣвица,
Поблизехоньку сходилися,
Понизехонько поклонилися.
Да что возговоритъ доброй молодець:
— Ты здорово-ль живешь, красна-дѣвица?
— Я здорова живу, милъ-сердечной другъ;
Каково ты жилъ безъ меня одинъ?“ и т. д.

Эта пѣсня имѣеть то-же самое значеніе для деревенской брачущейся молодежи, какъ и только-что описанное обливаніе водою.

А въ то время, какъ по краснымъ горкамъ за деревенскими околицами происходитъ все это, на погостахъ-кладбищахъ отводится мѣсто совсѣмъ иному. Тамъ начинается съ этого дня „радованье“ покойниковъ. Туда, подъ сѣнь безымянныхъ крестовъ, сходятся потерявшія дѣтей матери, вдовы и сироты—плакать-причитать о своихъ дорогихъ, обездолившихъ ихъ на этомъ свѣтѣ, покойникахъ. По могилкамъ разставляются оставшіяся отъ пасхальныхъ столованій снѣди-питія, раскладываются крашенныя яйца. Съ этого дня чуть-ли не во всю недѣлю, съ утра бѣлаго до темной ноченьки, кишмя кишатъ кладбища народомъ, угощающимся въ честь-память своихъ покойничковъ.

На слѣдующій за Красной Горкою день—заправская Радоница („Радованецъ, Радавица“ и т. д.)—та самая, которую поминаеть народное слово въ поговоркѣ: „Пили на

Масляницѣ, съ похмѣлья ломало на Радоницѣ!“ или въ пѣснѣ: „Зять-ли про тещу пиво варилъ, пива наварилъ, да къ Масляницѣ; звалъ-ли тещу ко Радоницѣ, а теща пришла наканунѣ Рождества“...) Въ этотъ „родительскій понедѣльникъ“ (а мѣстами—во вторникъ) ходятъ поливать могилы медомъ сыченымъ да виномъ зеленымъ - хмѣльнымъ: „угощаютъ родительскія душеньки“. Въ бѣлорусскихъ деревняхъ существуетъ обыкновеніе обѣдать на Радоницу—на могилахъ; но только при этомъ строго соблюдается, чтобы кушанья были „нечетныя и сухія“, иначе—быть бѣдѣ неминучей. „Святые родзицели, ходзице къ намъ хлѣба-соли кушаць!“—приглашаютъ покойниковъ обѣдающихъ, предварительно похристовавшись съ ними. Въ заключеніе поминальной трапезы, на которой, по увѣренію старыхъ богомольныхъ людей, присутствуютъ и загробные гости, большаѣ семьи провозглашаетъ: „Мои родзицели, выбачайте, не дзивицесь, чѣмъ хата богата, тѣмъ и рада!“ и считаетъ свой долгъ по отношенію къ предкамъ свято выполненнымъ. Нищѣ, окружающіе трапезующихъ, одѣляются остатками пищи и деньгами—чѣмъ Богъ послалъ на ихъ убогую долю. Если на радоницкихъ поминкахъ встрѣчаются помолвленныя женихъ съ невѣстой, то они должны земно кланяться—каждый у могилы своихъ богоданныхъ сродниковъ и просить благословенія ихъ „на любовь да на совѣтъ, да на племя-родъ“!

Поминовеніе родителей, продолжающееся и въ слѣдующіе дни недѣли, совершается не только на кладбищахъ, но и дома, въ хатахъ. Въ теченіе всей Өоминой седмицы/многія приверженныя къ доброй старинѣ) хозяйки оставляютъ на ночь на столѣ кушанья—въ полной увѣренности, что „покойнички, наголодавшіеся за зиму“, заглядываютъ объ эту пору въ свои прежнія жилища—повидаться со сродниками, памятующими о нихъ. „Не угости честь-честью покойнаго родителя о Радоницѣ—самого на томъ свѣтѣ никто не помянетъ, не угостить, не порадуетъ!“—говорятъ въ деревнѣ.

Во вторникъ на Өоминой недѣлѣ деревенская дѣтвора „окликаетъ“ первый весенній дождь. Съ самаго утра слѣдятъ всѣ: не покажется-ли на небѣ туча. Опытные поговорѣды утверждаютъ, что не бываетъ такого радоницкаго вторника въ который не кануло-бы хотя одной капельки дождя. При первомъ затемнившемъ высь поднебесную облачкѣ ребята принимаются выкрикивать свою окличку, нѣкогда произносившуюся и взрослыми дѣтьми посельской-попольной Руси: „Дождикъ, дождикъ! Снаряжайся на показъ. Дождикъ, пропусти, мы поѣдемъ во кусты, во Казань побывать, въ Астра-

хань погулять. Поливай, дождь, на бабину рожь, на дѣдову пшеницу, на дѣвкинъ ленъ поливай ведромъ. Дождь, дождь, припусти, посильнѣй, поскорѣй, насъ, ребятъ, обогрѣй!“ Если, внявъ увѣщательнымъ окликамъ дѣтвора, небо и впрямь брызнетъ на землю весеннимъ дождемъ, то всѣ окликающіе, наперебой, кидаются умываться струями „небесной водицы“,—что, по словамъ знающихъ людей, должно приносить счастье. Когда-же, въ рѣдкіе годы, въ этотъ день ударитъ первый весенній громъ, то стародавній опытъ совѣтуетъ молодымъ женщинамъ и дѣвушкамъ—при блескѣ первыхъ молній—умываться дождемъ черезъ серебряныя, а еще лучше черезъ золотыя, кольца. Этимъ сохраняется красота и молодость, столь дорогія въ глазахъ ихъ почитателей.)

„И на Радоницу Вьюнецъ и всяко въ нихъ ъснованіе“,—гласитъ, между прочимъ, 25-й вопросъ „Стоглава“, въ укоръ и порицаніе народному суевѣрію. („Вьюнецъ“, или „вьюнишникъ“, справляется въ деревенской глуши и до нашихъ дней на Ооминой недѣлѣ. Этотъ стародавній обрядъ, только въ останкахъ уцѣлѣвшій отъ всеокрушающей длани безпощаднаго времени, состоитъ въ хожденіи подъ окнами съ особыми („вьюницкими“) пѣснями въ честь новобрачныхъ, повѣнчавшихся на Красной Горкѣ. Толпа веселой молодежи, собравшись въ условленномъ мѣстѣ, двигается изъ конца въ конецъ селенія и начинается „искать вьюнца и вьюницу“ (молодыхъ), стучась подъ каждымъ окномъ—съ особымъ припѣвомъ-причетомъ: „Вьюнъ-вьюница, отдай наши яицы!“ Гдѣ нѣтъ молодожововъ, тамъ отъ непрощенныхъ гостей отдѣлываются тѣмъ, что, подавая нѣсколько яиць, христосуются съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ. Гдѣ-же Красная Горка, дѣйствительно, повѣнчала молодую пару,—тамъ этимъ не откупиться: „вьюнишники“ станутъ пѣть передъ такимъ домомъ до тѣхъ поръ, покуда виновники торжества не выйдутъ къ нимъ сами и не вынесутъ всякаго угощенія: пива, меда, пряниковъ и даже денегъ. Послѣ того старшой изъ пѣвунновъ-весельчаковъ затягиваетъ благодарственную пѣсню:

„Еще здравствуй, молодой,
Съ молодой своей женой!
Спасибо тебѣ, хозяинъ,
Со твоей младой-младешенькой
Хозяюшкою счастливою—
На жалованьи,
На здравствованьи!“

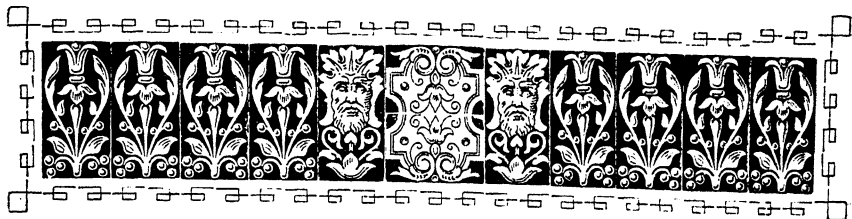
Хоръ молодыхъ голосовъ послѣ cadaго стиха подпѣваетъ

„Вьюнецъ-молодецъ, молодая!“—чѣмъ и кончается чествованіе новобрачныхъ до другого осѣненного новымъ счастіемъ дома, гдѣ повторяется то-же самое.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ о Ёминой недѣлѣ, въ субботу, происходитъ изгнаніе смерти. Для совершенія этого, ведущаго свой корень изтари вѣковъ, обряда сходятся въ полночь со всего села старыя и молодыя женщины и, вооружившись метлами, кочергами, ухватами и всякою домашней утварью, гоняются по огородамъ за невидимымъ призракомъ древне-языческой славяно-германской Мораны и выкликиваютъ ей проклятiя. Чѣмъ дольше и ревностнѣе устрашать гонимый призракъ, тѣмъ—по мнѣнію суевѣрной деревни—надѣжнѣе избавиться ото всякой повальной болѣзни—„пóмахи“, на предстоящее лѣто всему селу.

Въ древнія времена соблюдался на Руси, а также и въ Литвѣ, обычай—обѣгати въ Ёмину субботу кладбища съ ножами въ рукахъ и съ возгласами: „Бѣгите, бѣгите, злые духи!“ Этимъ думали облегчить загробныя страданія покойниковъ, уходившихъ изъ этого міра въ страну, гдѣ царствовала злая нечисть.

Въ наши дни все страшное-злое отходитъ отъ народныхъ повѣрій и обычаевъ,—въ нихъ болѣе живучи веселье веселое да радость пѣвучая. А что уцѣлѣло изъ грозныхъ повѣрій старины, такъ и то потеряло свой первобытный обликъ, превратившись въ осѣненный тлетворнымъ духомъ забвенія пережитокъ былой сознательной жизни. Такъ—и радоницкія повѣрья, объединявшія въ себѣ не только радостное, но и грозное. Современная простонародная Радоница является только радостнымъ весеннимъ общеніемъ съ покойниками, только веселымъ свадебнымъ временемъ, только порою воскресающихъ пѣсень, плясокъ да хороводовъ. Недаромъ, въ народѣ живеть поговорка о томъ, что „Веселы пѣсни о Масляницѣ, а веселѣй того—о Радоницѣ“. Другое изреченіе гласитъ, что: „Веселая Масляница—безпросыпная горе-пьяница, а гульливая Радоница—свѣтлой радости прiятельница“. Третье крылатое слово добавляетъ, словно поясняя оба первыхъ, что „Масляныя пьяныя пѣсни о голодный Великъ-Постъ разбиваются, колокольнымъ постнымъ звономъ глушатся, а радоницкія-вьюнишныя по краснымъ горкамъ раздаются, съ семицкими-дѣвичьими перекликаются.“ Этимъ пѣснямъ, по старинному повѣрью, радуются не только живые, а и мертвые...



XXI.

Егорій-вешній.

„На Руси — два Егорья“, — говоритъ народъ: „одинъ холодный, другой — голодный!“ Егорій (Юрій) — тоже, что и Георгій⁴⁷⁾. Память этого, во всемъ славянскомъ мірѣ усердно чтимаго, угодника Божія (Побѣдоносца), празднуется Православною Церковью дважды въ году: весною, 23-го апрѣля, и зимою, 26-го ноября. О зимнемъ Егорь-Юриѣ („холодномъ“) и о наиболее замѣчательныхъ изъ связанныхъ съ нимъ сказаній, повѣрій и обычаевъ говорится ниже, въ особомъ очеркѣ. „Голодный“ же Егорій ведетъ къ народной Русь свой, къ нему одному приуроченный, сказъ, богатый краснымъ словомъ, изукрашенный цвѣтистымъ узорочьемъ воображенія, освященный вѣками хожденія отъ села къ селу, вѣками преемственной передачи изъ устъ въ уста.

Для русской — любовно относящейся къ стародавнимъ обычаямъ — деревни святъ-Егорьевъ день замѣняетъ зане-

⁴⁷⁾ Св. великомученикъ Георгій-Побѣдоносець — родомъ изъ Каппадокіи, происходилъ изъ знатнаго рода и былъ военачальникомъ. Діоклетіаново гоненіе на послѣдователей Христа заставило его презрѣть всѣ преимущества своего высокаго положенія и заявить себя христіаниномъ. Мученическая кончина св. Георгія послѣдовала въ Никомидіи въ 303-мъ году (онъ былъ обезглавленъ послѣ 8-дневныхъ истязаній). На Руси этотъ святой пользуется великимъ почитаніемъ. Съ первыхъ временъ христіанства имя его повторялось въ великокняжеской семьѣ, воздвигались храмы въ честь Св. Георгія, нарекались его именемъ города и монастыри. Съ ярославовыхъ временъ встрѣчается на русскихъ печатяхъ и монетахъ изображеніе его, впоследствии вошедшее въ составъ русскаго государственнаго герба. Св. Георгій — покровитель русскаго воинства Георгіевскій крестъ, жалуемый за выдающуюся храбрость, считается самымъ почетнымъ военнымъ знакомъ отличія.

сенное къ намъ изъ-за чужеземнаго рубежа первомайское празднованіе встрѣчи весны-красавицы. „Пришелъ Егорій—и веснѣ не уйти!“; „Юрій на порогъ—весну приволокъ!“; „Не бывать веснѣ на Святой Руси безъ Егорья!“; „Чего-чего боится зима, а теплаго Егорья—больше всего!“; „Апрѣль—пролѣтній мѣсяцъ—Егорьемъ красенъ!“—можно услышать во многихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора. Говоритъ таковы слова пахарь-хлѣборобъ, а самъ—на крылатую молвь дѣдовъ-прадѣдовъ памятный—приговариваетъ: „Егорій-вешній и касатку не обманетъ!“ (на 23-е апрѣля, по примѣтѣ, изъ-году-въ-годъ падаетъ начало прилета касатокъ-ласточекъ), „Егорій Храбрый—зимѣ ворогъ лютый!“; „Заегорить (перейдетъ за день св. Георгія-Побѣдоносца) весна, такъ и зябкій мужикъ—шубу съ плечъ долой!“; „Не вѣрила бабка веснѣ, а пришелъ батюшка Егорій,—и ее, старую, въ потъ бросило!“; „Алексѣй—человѣкъ Божій—съ горь воду сгонитъ (17-е марта пройдетъ), Оедуль (5-е апрѣля) тепла надуетъ, Василій Парейскій (2-е апрѣля) землю запаритъ, святой Пудъ (15-е апрѣля) вынетъ пчелу изъ-подъ спуда, а мужикъ—все веснѣ не вѣритъ,—пускай, говоритъ, земля прѣветъ, а я погожу полушубокъ снимать: придетъ Егорій—самъ, батюшка, съ плечъ сыметь!“ и т. д.

Вотъ и выходитъ долгожданнѣй-желанный гость народа-пахаря на торную путь-дорожку народнаго житья-бытья; встрѣчаетъ его, свѣтъ-Егорья Храбраго, побѣдителя зимы и всякой силы темной, русскій мужикъ-простота, бьетъ челомъ ему, привѣтствуетъ его своими присловьями живучими, а самъ—себѣ на умъ, знай приглядывайся ко всему, что вокругъ да около него творится. Придетъ Егорьевъ день—самъ стародавнія примѣты придерживающемуся ихъ честному люду напомнить. А не мало этихъ примѣтъ дошло до нашихъ дней изъ далекой дали родной старины, убереглось отъ забвенія въ сердцѣ народномъ, а частью—и подслушано-записано пытливыми кладоискателями живого слова. Недаромъ слово крылатое молвится: „У старой бабки—на все свои догадки: смотреть-примѣчаетъ—ничего не прогадаетъ; примѣтъ немног, а хоть отбавляй—такъ на возу не увезешь!“

Если выдастся двадцать-третій день апрѣля-пролѣтнаго теплый да ясный—быть, по стародавней примѣтѣ, девятому дню май-мѣсяца съ зеленой понизью: „Егорій съ тепломъ—Никола съ кормомъ!“—говоритъ примѣтливая мудрость народная, пережившая десятки кормившихся отъ щедротъ Матери-Сырой-Земли поколѣній. „Егорій съ водой (съ росой), Никола съ травой!“—прибавляетъ она къ этому, продолжая: „Его-

рій съ лѣтомъ—Никола съ кормомъ!“, „Егорій съ ношей (съ кузовомъ)—Никола съ возомъ!“, „Егорій-вешній везеть корму въ торокахъ, а Никола—возомъ!“, „На Юрья роса—не надо конямъ овса!“

Сельскохозяйственный опытъ, не гнушающійся простонародными примѣтами, совѣтуетъ съ весенняго Егорьева-Юрьева дня „запасать“ (выгонять на пастьбу) коровъ, оставляя коней ждать этого привольнаго корма до Николы. Но у суевѣрныхъ людей, болѣе чутко прислушивающихся къ голосамъ сѣдой старины, и этотъ день, заставляющій мужика сбросить съ плечъ полушубокъ, отмѣченъ наособицу въ конскомъ обиходѣ: на него примѣшиваютъ въ кормъ лошадямъ кусочки крестовъ изъ ржаного тѣста, испеченныхъ на четвертой—Крестопоклонной, Средокрестной—недѣлѣ Великаго Поста. Это должно, по ихъ словамъ, охранять коня-пахаря отъ голоднаго хищника-волка на весеннемъ подножномъ корму.

Св. Георгій, воспринявшій на себя, по волѣ суевѣрнаго воображенія, нѣкоторыя черты Перуна-громовника, является въ народѣ хоробримъ богатыремъ, побѣждающимъ чудовищъ-драконовъ, залегающихъ дороги прямоѣзжія, освобождающимъ отъ стада змѣйнаго (по инымъ разносказамъ—звѣринаго) нивы-поля деревенскія. Онъ-же, Побѣдоносець, по народнымъ сказаніямъ, искореняетъ на бѣломъ свѣтѣ басурманское нечестіе, утверждаетъ-насаждаетъ на Святой Руси вѣру православленную, совершая при этомъ не мало чудесныхъ, непосильныхъ и самымъ могучимъ богатырямъ, подвиговъ. Но, о-бокъ съ подобными сказаніями, ходитъ среди простодушныхъ потомковъ богатыря-пахаря, Микулы-свѣтъ-Селяниновича, и многое-множество другихъ, сказавшихся-сложившихся въ ихъ нехитромъ быту, отовсюду окруженномъ неумирающей жизнью природы. И эти сказанья-повѣрья еще болѣе живучи, еще болѣе близки стихійному сердцу народному. Въ нихъ представляется Егорій уже не храбрымъ витяземъ, а добрымъ-заботливымъ хозяиномъ полей и луговъ. Онъ—починающій весну покровитель мужика-хлѣбороба—„отмыкаетъ землю“, „выпускаетъ на бѣлый свѣтъ росу“, „выгоняетъ изъ-подъ спуда земного траву зеленую“, „даетъ силу-мочь всходамъ“. Въ одномъ бѣлорусскомъ сказѣ-причетѣ такъ и говорится объ этомъ: „Святый Юрья, божій пасолъ, до Бога пашовъ, а узавъ ключи золотые, атамкнувъ землю сырусенькую, пусьдивъ росу цяплюсенькую на Бѣлую Русь и на увесь свѣтъ“... Въ другомъ, записанномъ во второмъ томѣ аанасьевскихъ „Поэтическихъ возрѣвнй славянъ на природу“, эти чудодѣйные золотые ключи считаются какъ-бы собственностью самого Юрія-Егорья;

у котораго пѣсня просить ихъ для апостола Петра, исполняющаго въ этомъ случаѣ завѣтныя обязанности покровителя полей-луговъ:

„А, Юрю, мой Юрю!
 Подай Петру ключи
 Землю одомкнуци,
 Траву выпустици,
 Статокъ (скотину) накормици!“

Это сказанье-повѣрье привилось къ жизни всѣхъ народовъ, въ жилахъ которыхъ течетъ кровь, родственная народной Руси. Такъ, на примѣръ, сербы—съ чехами заодно—передаютъ св. Юрію въ полное распоряженіе и травы, и цвѣты, и злаки земные; у болгаръ обходить онѣ дозоромъ полевые межи, осматривая нивы, доглядывая: каково-то растеть хлѣбъ. Малороссы—въ одинъ голосъ съ Червоной Русью—приговариваютъ: „Святій Юрій по полю ходитъ, хлѣбъ-жито родитъ“... и т. д.

„Запасаетъ“ народъ коровъ да овецъ съ Егорья-вешняго, выгоняютъ пастухи наголодавшуюся за зиму-зимскую животину крестьянскую на зеленѣющіе свѣжей травкою привольные луга; но все это дѣлается нѣ-спроста, а съ оглядкою. Старые люди строго-на-строго наказываютъ дѣтямъ-внучатамъ блюсти поддерживающіе укладъ крестьянской жизни, сжившіеся съ ней, вѣковѣчные обычаи. Выгонять скоть на первую пастьбу—„на Юрьеву росу“—совѣтуютъ они не иначе, какъ освященной вербою, хранящеюся въ коровникѣ съ Вербнаго Воскресенія. „Егорій ты нашъ Храбрый“,—выкликаютъ при этомъ старухи-большухи,—„ты спаси („паси“—по иному разносказу) нашу скотинку, въ полѣ и за полемъ, въ лѣсу и за лѣсомъ, отъ волка хищнаго, отъ медвѣдя лютаго, отъ звѣря лукаваго!“ Выгонъ происходитъ непременно на утренней алой зорькѣ, ранымъ-ранехонько, когда еще дымятся луга бѣлодымной росю. Последняя, по увѣренію знающихъ людей, даетъ коровамъ богатый удой и дѣлаетъ ихъ на-диво тучными-здоровыми. Это живучее повѣрье является запоздалымъ пережиткомъ сѣдой языческой старины, когда народное суевѣрье видѣло надъ собою оплодотворителя земли—громовержца Перуна, выгонявшаго стада дожденосныхъ коровъ (тучи) на небесные луга. Роса представлялась суевѣрному воображенію русскаго-язычника пролитымъ за ночь на землю молокомъ этихъ коровъ; потому-то ей и приписываются теперь столь чудесныя свойства. Въ нѣкоторыхъ уголкахъ славянскаго міра (на онѣмеченномъ сѣверѣ) до сихъ поръ въ обычаѣ привязы-

вать къ хвосту первой въ стадѣ коровы зеленую вѣтку: сметая съ травы ночную росу, она какъ-бы обезпечиваетъ избылиный удой всѣмъ другимъ идущимъ вслѣдъ за нею коровамъ. Благочестивые люди совѣтуютъ окроплять впервые выгоняемое на весеннюю пастбу стадо святой водою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на выгонѣ, за околицею, служатся въ этотъ вешній день молебны о благополучномъ для скота пастбищѣ „съ Юрья—до Васильева дня“. По народному крылатому слову: „Юрій да Власть—всему сѣрому мужицкому богатству глазъ!“

Старинный обычай, до сихъ поръ памятуемый во многихъ южно-русскихъ мѣстахъ, заставляетъ сельчанъ окачивать водою пастуха передъ первымъ его выходомъ на весеннее Юрьево-пастбище. Выгнать пастухъ съ подпасками стадо, а тамъ—на первомъ привалѣ—готово для нихъ угощеніе, снаряженное вскладчину „всѣмъ міромъ“. Несутъ туда бабы дѣвки „мірскую яичницу“, не забываютъ онѣ и о чемъ-нибудь хмѣльномъ—промочить горло на вольномъ воздухѣ Пьютъ, ѣдятъ пастухи, а сами хлѣбосольный міръ похваляютъ да святого Юрія-Егорья заклинаютъ: чтобы оберегалъ онъ, Храбрый, новое пастбище ото всякаго лиха, а животину крестьянскую отъ лютой „помахи“ (мора), ото всякой напасти нечаянной. А напастей не мало можетъ, въ недобрый часъ, обрушиться на стадо. Звѣрьё хищное,—отъ того хоть дублемъ, либо ружьемъ, обережешь скотинушку. Да и то сказать—не ото всякаго звѣря и ружье спасетъ: „У волка въ зубахъ—что Егорій далъ!“—говоритъ народное слово. Ужь если что обрекъ онъ, свѣтъ-Юрій, на сѣденіе звѣрю,—не уберечь того ничѣмъ. (Но есть на свѣтѣ и другое лихо. Сказываютъ знающіе всю подноготную люди, что въ ночь съ Лукова (22-го апрѣля) на Егорьевъ день, выходятъ на луга вѣдмы, устилаютъ онѣ, проклятуція, траву бѣлой-тонкой холстиною; какъ намочнутъ холсты, напитаются, бѣлые, росую,—такъ и сдѣлаются они пагубными для коровъ: заберется вѣдма въ коровникъ да накроетъ такимъ холстомъ скотинку-животинку—тутъ къ ней всякая злая болѣсть и привяжется-прилипнетъ. Да и не одни пастухи, а и бабы-хозяйки, отчитываютъ отъ „вѣдмина призора“ своихъ коровъ. И во всѣхъ этихъ отчитываньяхъ слышится имя все того-же св. Юрія-Егорья, побѣдителя темной силы подъодонной. На литовской сторонѣ ходитъ въ народѣ старое повѣрье о томъ, что вѣдмы любятъ „выдаивать“ коровъ и ухищряются для этого на всѣ свои семьдесятъ семь лукавыхъ увертокъ. Въ канунъ Егорья-вешняго бродятъ вѣдмы по крестьянскимъ дворамъ, отворяютъ

ворота, срѣзываютъ съ нихъ стружки и варятъ ихъ въ подойникахъ. Это, по суевѣрному представленію деревни, отнимаетъ у сосѣдскихъ коровъ молоко. Отъ такого ухищренія нечистой силы только и можно оберечь свой дворъ тѣмъ, что съ молитвою ко святому побѣдителю темной силы, осмотрѣть въ канунъ Юрьева дня ворота и, —если что окажется неладное, — замазать оставленные вѣдьмами нарѣзки набранною у воротной притолоки грязью. Замѣчательно, что подобныя повѣрья о вѣдьмахъ распространены не только въ славянскихъ земляхъ, но и по всей сосѣдней съ ними нѣмецинѣ. Богобоязненные старики совѣтуютъ оберегать молитвой да наговоромъ отъ вѣдьмъ на Егорія-вешняго не только луга, дворы, но и рѣчки съ колодцами, —чтобы онѣ не могли напустить своего злого лиха на скотскій водопой.

Бережетъ святой Егорій крестьянскую животину отъ всякаго злого лиха; потому-то и слыветъ онъ за наибольшаго надо всѣми пастухами на неоглядной Руси. „Хоть всѣ глаза прогляди, а безъ Егорья не усмотришь за стадомъ!“ — гласитъ пастушье присловье. И крѣпка вѣрою въ защиту Побѣдоносца посельщина-деревеньщина, выгоняющая свои стада на весеннюю пастьбу. Что высокою стѣной глинобитною — огораживается она отъ всякой бѣды-напасти подсказанными съдой стариною заговорами да заклинаніями, обращенными къ нему. „Поклонисья святому Юрію, онъ отъ всего обережетъ животину!“ — говоритъ сельскій людъ и прибѣгаетъ къ этому приводящему весну на свѣтлорусскій просторъ угоднику Божію и за тѣмъ, чтобы стаду въ-прокъ корма шли подножные, и за тѣмъ, чтобы паслось оно, рогатое, по добру по здорову, чтобы не разбѣгалось во всѣ стороны, чтобы не дѣлало по травъ на чужихъ поляхъ. Многое-множество заговоровъ, обращенныхъ къ Юрью-Егорью, ходитъ до нашихъ дней въ народѣ. „Встрѣтилъ нашъ скотъ — милой животъ — святой великомученикъ Егорій на бѣломъ конѣ; въ рученькахъ у него Егорья-свѣта, щитъ огненный. Бьетъ онъ — побиваетъ всѣхъ колдуновъ и колдуницъ, воровъ и ворицъ, волковъ и волчицъ!“ — причитаютъ придерживающіеся стародавней мудрости примѣтливые домохозяева, встрѣчая возвращающіяся съ первой весенней пастьбы стада.

Егорій-Юрій, однако, слыветъ въ народной Руси не только покровителемъ стадъ, но и хозяиномъ волковъ и другихъ хищныхъ звѣрей. По преданію, онъ передъ своимъ вешнимъ днемъ садится на бѣлаго добра-коня и обтѣзжаетъ всѣ лѣса, собираючи отовсюду звѣрье дикое да отдавая ему свои хозяйскіе наказы нерушимые. Каждому звѣрю идетъ отъ него

свой приказъ—наособицу: чѣмъ зубастому кормиться, гдѣ промышлять добычу. „Обреченная скотинка — не животинка!“—говорить по этому случаю сельскій людъ, говоритъ—приговариваетъ: „Ловить волкъ свою роковую овечку!“ „Безъ Юрьева наказу и сѣрый (волкъ) сытъ не будетъ!“ „На что волкъ сѣръ, а и тотъ по закону живетъ: что Егорій скажетъ, на томъ все и порѣшится!“ „Святой Егорій держитъ волка впроголодь, а то-бы—хоть и скота не води!“ Въ среднемъ Поволжѣ, по захолустнымъ деревнямъ, еще недавно было въ обычаѣ—передъ выгономъ стада на первое пастбище выходить вечеромъ въ луга и выкликать: „Волкъ, волкъ, скажи, какую животинку облюбуетъ, на какую отъ Егорья наказъ тебѣ вышелъ?“ Послѣ этого выкликашіе, преимущественно—старѣйшіе въ семьѣ, шли домой, въ темнотѣ заходили въ овчарню и схватывали первую попавшуюся подъ-руки овцу. Она обрекалась на жертву звѣрю; ее рѣзали, отрубленные голову и ноги бросали въ полѣ, а остальное мясо жарили-варили для самихъ-себя и для угощенья пастуховъ.

О св. Егоріѣ, какъ волчьемъ хозяинѣ, ходитъ по народной Руси не мало разнообразныхъ сказовъ-преданій. Въ одномъ, наиболѣе любопытномъ изъ нихъ, ведется рѣчь о томъ, какъ шель черезъ лѣсъ нѣкій, не почитавшій Бога и угодниковъ Божіихъ, злой пастухъ; шель онъ къ роднику — напиться водицы. Идетъ пастухъ и видитъ: стоитъ старый коренастый да вѣтвистый дубъ, а вся понизъ вокругъ него прибита къ землѣ, вся утолчена. „Дай-ка“,—говоритъ пастухъ,—„дай-ка я посмотрю, что тутъ дѣлается!“ Влѣзъ пастухъ на дубъ, видитъ—ѣдетъ на бѣломъ конѣ святой Егорій, а вслѣдъ за нимъ цѣлая стая волковъ бѣжитъ. Ни живъ, ни мертвъ сидитъ пастухъ на дубу, шелохнуть вѣточку боится. А Егорій подѣхалъ къ утолченному мѣсту, остановился подъ дубомъ и началъ отдавать свои наказы волгамъ: разсылаетъ ихъ, сѣрыхъ, во всѣ стороны свѣта бѣлаго, говоритъ—кому чѣмъ питаться весной красною, знойнымъ лѣтечкомъ, вплоть до ненастной осени. Шло время, всѣхъ волковъ разослалъ, всѣхъ надѣлилъ краюшками хлѣба заботливый волчій хозяинъ; вдругъ (видитъ пастухъ) тащится изъ лѣсной заросли старый-престарый хромой волкъ. „А мнѣ-то что-жь?“—спрашиваетъ волкъ.—„А тебѣ,—говоритъ св. Егорій,—вонъ на дубу сидитъ!“ Сказалъ да и уѣхалъ на своемъ конѣ. А волкъ сѣлъ подъ дубомъ,—сидитъ, а самъ кверху—на пастуха—смотритъ да зубами щелкаетъ. Сидитъ волкъ день, сидитъ сѣрый другой день,—все ждетъ, что слѣзетъ пастухъ,—ждетъ-пождетъ,

а тотъ не слѣзаетъ, не хочетъ волку въ зубы попасть. Пустился на хитрость сѣрый: взялъ—схоронился за кусты. Посидѣлъ-посидѣлъ пастухъ на дубу, пронялъ бѣднягу голодь; оглядѣлся онъ по сторонамъ—нигдѣ не видать волка: слѣзъ и—бѣжать со всѣхъ ногъ. А волкъ—тутъ какъ тутъ: выскочилъ изъ своей засады, кинулся на пастуха, —тому на этомъ мѣстѣ и смерть пришла...

Малорусскій сказъ какъ-бы дополняетъ это сказаніе. Жили-были двое братьевъ на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ,—ведется повѣсть,—жили-были: одинъ богатый, другой—голь-нищета, бѣдный. Однажды „злилъ бидный братъ на дуба ночуваты, колы такъ о пивночи бачыты: якыйсь чоловикъ гоныты сылу звира, а позаду другой чоловикъ иде на вози. То булы лисунъ (лѣшій) и св. Юрій. Отъ прыгнавъ лисунъ звира, да якъ-разъ—пидъ того дуба, дѣ сидивъ чоловикъ; а св. Юрій почавъ раздѣляты окрайцы хлиба, що булы на вози“. Роздаль-раздѣлилъ св. Егорій привезенный хлѣбъ своему волчьему стаду, смотреть—одна краюшка осталась лишняя. Отдаль ее угодникъ Божій бѣдняку, отдавъ—говоритъ: „Се тоби Господь давъ счастья! Зъ цѣго окрайчика ты вже певне, що разживешся!“ Пршло много-ли, мало-ли времени,—исполнились слова святого Юрія, разжился бѣднякъ: „окрайця того ниякъ не можна збысты; що ни поидять, а назавтра винъ и стане такимъ, якъ бувъ: усе приростае!“... Видитъ это богатый братъ—видитъ, и взяла его зависть лютая. „Дай,—думаетъ,—и я все это сдѣлаю!“... Пошелъ онъ къ тому дубу, влѣзъ на верхушку зеленую. И снова пошло все—какъ по писаному: опять началъ одѣлять св. Юрій краюшками хлѣба свое волчье стадо. Да только конецъ не на ту стать вышелъ: не хватило у волчьяго хозяина одному волку краюшки, дальи наказъ угодникъ Божій—съѣсть богача завидущаго, вмѣсто краюшки... Зависть лютая и здѣсь, какъ въ первомъ приведенномъ сказаніи, была наказана, и голодный волкъ нашель свою волчью сыть.

Пахарь-народъ, поручая заботамъ св. Георгія-Побѣдоносца свои стада, обращается къ его крѣпкому заступничеству—и приступая къ весеннимъ земледѣльческимъ работамъ. Съ Егорья-вешняго запахиваетъ и лѣнивая соха. Такъ и слыветъ, напримѣръ, въ нижегородской округѣ двадцать третій день апрѣля—пролѣтняго мѣсяца—за „Егорья-лѣнтиву-соху“. По всей народной Руси служатся-поются въ Егорьевъ день молебны на пашняхъ, а гдѣ и не служатся—такъ возносится къ небу простодушная молитва посельщины-деревеньщины, молитва о святомъ заступничествѣ Егорья-Юрія. „Онъ

начинаетъ работу, къ его (зимнему) дню работа у мужика и приканчивается.

Въ Тульской губерніи еще совсѣмъ недавно существовалъ обычай—валяться раннимъ утромъ въ день Егорія-вешняго по росѣ на полевыхъ межникахъ. Кто по Юрьевой росѣ покажется, будетъ,—гласить повѣрье,—„силень и здоровъ, что Юрьева роса“. Наберется, бывало, деревня силы-здоровья отъ Юрьевой росы, а на утро—за яровой сѣвъ. А и чудесныя-же свойства у этой росы: ею до сихъ поръ пользуются знахарки—вѣщія бабки—„отъ сглаза, отъ семи недуговъ“. Эта-же роса, по орловскому повѣрью, просамъ на пользу идетъ: „На Егорья роса—будутъ добрыя проса!“

Есть на Святой Руси мѣстности, куда приводитъ Егорій-вешній и свои особыя игрища, являющіяся отголоскомъ старины. Таковъ, напримѣръ, обычай „вожденія Юрья“, состоящій въ томъ, что всей деревнею выбираютъ красны-дѣвушки молодого красиваго парня, обвѣшиваютъ его зелеными вѣнками и кладутъ ему („Зеленому Егору“) на голову большой круглый пирогъ, убранный цвѣтами. Толпою идетъ деревенская молодежь въ поле, оглашая воздухъ припѣвами, обращенными къ св. Юрію. Трижды обходятъ красныя дѣвушки съ молодыми парнями засѣянные поля. Потомъ разводится на перекресткѣ межниковъ небольшой костеръ—въ видѣ кольца, посреди котораго кладется на землю принесенный пирогъ („моленникъ“). Всѣ пришедшіе садятся съ пѣснями вокругъ костра, начинается дѣлежъ пирога: каждому должно непременно достаться хоть по малому кусочку. Кому изъ дѣвушекъ достанется въ пришедшемся на ея долю кускѣ больше всѣхъ начинки—та выйдетъ по осени замужъ. Доѣвъ пирогъ, молодежь возвращается по своимъ дворамъ, приплясывая да припѣваячи:

„Мы вокругъ поля ходили,
Мы Егора-свѣтъ водили,
Мы Егорья кликали“... и т. д.

На Егорья-вешняго въ бѣлорусскихъ и малорусскихъ селахъ закапываютъ на полевыхъ межникахъ оставшіяся отъ „свяченой“ пасхальной снѣди кости поросятъ и барашковъ. Закапыванье это производится съ особыми причетами, вызывающими все къ тому-же Егорью. Это, по старинному, завѣщанному современной деревнѣ дѣдами-прадѣдами, повѣрью, должно оберегать посѣвы „отъ градобоя и бурелома“.

Подъ Юрьевъ день старыя, свѣдущія въ преданіяхъ суетвѣрной старины, люди строго-на-строго заказываютъ моло-

дымъ что-либо работать изъ шерсти. „Кто беретъ подь Юрья шерсть въ руки, у того волки овецъ перерѣжутъ!“—приговариваютъ они. Объясненія этого повѣрья не найти ни у одного изъ собирателей-ислѣдователей памятниковъ старины: оно безслѣдно затонуло въ волнахъ забвенія. Несомнѣнную связь съ этимъ повѣрьемъ имѣетъ другое, относящееся къ Срѣтенью: въ какой день придется Срѣтенье, въ тотъ день во весь годъ нельзя сновать основъ, чтобы не встрѣтиться въ недобрый часъ съ волкомъ. Есть повѣрье, подобное этому, и у болгаръ. Они во время зимняго солнворота не работаютъ никакой шерстяной одежды: кто въ такой одежинѣ выйдетъ весною въ поле на работу—того неминуемо разорвутъ волки.

У западныхъ славянъ, между прочимъ—на Моравѣ, встрѣчу весны приурочиваютъ къ весеннему Егорьеву дню. „Зима, зима („Смертная недѣля!“—по иному разносказу),“—выкликаетъ въ этотъ день сельская молодежь: „Куда ключи дѣвала?—Я отдала ихъ Вербному Воскресенью!—Вербное Воскресенье, куда ты ключи дѣвала?—Отдало зеленому (чистому) четвергу!—Зеленый четвергъ, куда ты ключи дѣвалъ?—Я отдалъ ихъ святому Юрію, Юрій вставалъ, отмыкалъ землю, чтобы росла трава, трава зеленая!“ Въ Сербіи, Босніи, Герцеговинѣ, а также и въ Болгаріи, въ каждомъ семействѣ колютъ на Юрьевъ день бѣлаго барашка, какъ-бы принося его въ жертву св. Георгію-Побѣдоносцу. Обреченной жертвѣ связываютъ ноги, на голову надѣваютъ цвѣточный вѣнокъ, завязываютъ глаза, ротъ мажутъ медомъ, а къ рогамъ прикрѣпляютъ зажженные восковыя свѣчи. Когда всѣ эти приготовления сдѣланы, большакъ семьи громко читаетъ тропарь св. Георгію, кадитъ ладномъ и затѣмъ, занося ножъ надъ барашкомъ, возглашаетъ: „Св. Герги! На ти ягне!“ и рѣжетъ. Кровь барашка собирается въ чистый сосудъ и дается, какъ цѣлебное средство, одержимымъ разными болѣзнями, а мясо жарится и съѣдается всею семьей; кости осторожно собираются и зарываются въ землю. Въ прикарпатской окрѣгѣ на Егорья-вешняго пекутся изъ здобнаго тѣста пироги въ видѣ барашковъ, въ Литвѣ—повсюду при входѣ въ церкви продаются въ этотъ день восковыя изображенія коровъ, овецъ и лошадей. У чеховъ существуетъ старинное повѣрье, гласящее, что, если у кого-нибудь есть дубинка, которою убита змѣя на весенній Юрьевъ день, тотъ смѣло можетъ идти въ самую горячую кровопролитную сѣчу: онъ дѣлается неуязвимымъ ни для пули, ни для сабли. Записано любопытное болгарское преданіе о бабѣ, обернувшейся въ первую на свѣтъ змѣю. Въ старое время,—гласить

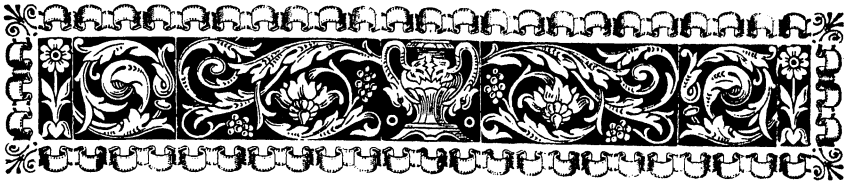
оно,—одна злая баба взяла грязную пелену и накрыла ею мѣсяць, а мѣсяць-то ходилъ въ тѣ времена чуть не по самой землѣ. Но, чуть накрыла его баба, поднялся онъ въ высь поднебесную и проклялъ злую-нечестивую. Отъ мѣсяцева проклятiя и обернулась она въ змѣю, а отъ этой змѣи и произошелъ весь змѣиный родъ на землѣ. Много больше народила-бы первая баба-змѣя змѣенышей, да заступился за людей святой Георгій и убилъ змѣиную прародительницу. Многое-множество другихъ сказаній ходитъ по славянскому міру о святомъ Побѣдоносцѣ, и всѣ-то они, эти сказанія, доходятъ отголосками до народной Руси. Во всѣхъ нихъ встаетъ онъ богатыремъ-чудотворцемъ, вѣрнымъ-надѣжнымъ заступникомъ бѣднаго трудового люда.

„По колѣна ноги (у него) въ чистомъ сѣребрѣ,
По локоть руки въ красномъ золотѣ,
Голова у Егорья вся жемчужная,
Во лбу-то солнце, въ тылу-то мѣсяць,
По косицамъ звѣзды переходя“...

Деревенскіе погодовѣды накопили въ своей памяти немало всякихъ примѣтъ, относящихся къ весеннему Егорьеву дню. Если въ этотъ день будетъ кропить небо дождемъ грудь земли-кормилицы, то,—говоритъ народъ,—это сулитъ „скоту легкой годъ“ (по бѣлорусской примѣтѣ—частыя гречи). Если пойдетъ „на Юрья“ крупа, будетъ богатый урожай гречи-дикуши. Если ударить на Егорьевъ день легкой морозецъ-утренникъ,—уродятся добрые проса и овсы („На Егорья морозъ—будетъ просо и овесъ!“). Цѣлые вѣка приглядывался народъ къ обступающимъ его явленіямъ природы,—потому-то нѣспроста обронилъ онъ и слѣдующее присловье: „Коли на Юрья березовый листь въ полушку—къ Успенью клади хлѣбъ въ гладушку!“ Ранніе овсы опытные хозяева совѣтуютъ сѣять „съ Егорья“, ранніе горохи—досѣвать къ 23-му апрѣля (Нижегородск. губ.). Если егорьевское утро яснымъ-яснехонько, то урожайнѣе выдутъ ранніе посѣвы; яснѣе утра егорьевскій вечеръ—поздніе переспорятъ. „Сѣи разсаду до Егорья“,—говорятъ завзятые огородники,—„будетъ капусты доволѣ!“ Если закукуетъ вѣщунья—бездомница-кукушка „до Егорья“,—это, по народной примѣтѣ, не къ добру: надо тогда ждать либо недорода хлѣбовъ, либо скотину станетъ валомъ-валить.

Деревенскихъ поговорокъ, приуроченныхъ къ Егорьеву вешнему дню,—не оберешься: одна другую переговариваетъ... „Сѣна доставетъ у дурня до Юрья, у разумнаго—до Николы!“, „Юрій богатъ пирогомъ, а рука—батономъ!“, „Богатый сытъ

и въ голодный Юрьевъ день!“ „Будь здоровъ—какъ Юрьева гора!“ „Выпилъ-бы нищій на Егорья вина косушку, да нѣтъ ни полушки: пошелъ по росу!“ „Егорьевы пироги—дороги: дороже ихъ нѣтъ, когда хлѣбъ въ закрому мыши доѣли!“ „Егорилъ дѣдъ, егорилъ, да ни одной копѣйки не выгорилъ!“ „Объегорили старика маклаки: выгодно хлѣбъ продалъ, а сталь считать—дыра въ горсти, все утекло!“ и т. д. Да всѣхъ и не переговорить,—такъ много летаетъ ихъ по народной Руси вслѣдъ за сказаніями-преданьями егорьевскими. „Стоить Егорій въ полу-угорѣѣ, шатромъ накрылся, копьемъ подперся!“ (гумно)—заключаются всѣ онѣ словами единственной русской загадки, связанной съ этимъ близкимъ народному сердцу именемъ.



XXII.

Май-мѣсяць.

Отопрѣветъ въ тридцать апрѣльскихъ - пролѣтнихъ дней намерзшая за студеную зиму-зимскую Мать - Сыра-Земля; проснется людъ крещонный поутру послѣ тридцатой ночи этого мѣсяца, а на дворѣ-то уже новый—„травень-цвѣтень“ мѣсяць стоитъ, что маемъ, по примѣру земли греческой, на Святой Руси прозывается. Если наканунѣ восходило-всплывало на ясный небесный просторъ изъ-за горъ-горы красное солнышко, то быть, по народной примѣтѣ, не только веснѣ, а и всему лѣту—яснымъ да ведренымъ.

Бываетъ, что начнетъ апрѣль распаривать, теплыню припекая, старыя косточки примѣтливыхъ людей, а май возьметъ да и завернетъ холодами. Отсюда и поговорки: „Ай-ай, мѣсяць май! Коню сѣна дай, а самъ на-печь полъзай!“, „Май обманеть, въ лѣсъ уйдеть!“ и друг. Да и то сказать—и безъ холодовъ май-мѣсяць мужика-хлѣбороба смаить: не холоденъ, такъ голоденъ. Къ этой порѣ весенней подъѣдается хлѣбъ, да и скоту безкормица настаеть,—одно спасенье, если да зазеленѣетъ во-время по лугамъ, по выгонамъ трава-мурава. А то недаромъ дошла до нашихъ дней путемъ-дорогою изъ старины стародавней пословица: „Нашъ пономарь понадѣялся на май, да и сталъ безъ коровъ!“. Что и говорить, веселый мѣсяць май, а тяжелый для пахаря. Хотя и повторяютъ деревенскіе краснословы, что „Майская трава и голоднаго кормить!“ („Апрѣль съ водою—май съ травою!“); хоть и замѣчаютъ поговорѣды завятые, что: „Май холодный—годъ хлѣбородный!“, „Мартъ сухой да мокрый май—будетъ каша и коровай!“, „Коли въ маѣ дождь—будетъ и рожь!“ и т. д.; но

они-же сами гуторять и: „Захотѣлъ ты въ маѣ добра!“ „Захотѣлъ ты въ маѣ у мужика перепутя (хлѣбомъ-солью на перепуты подкрѣпиться)!“ „Живи, веселись, да каково-то будетъ въ маѣ!“ Да и не только для однихъ деревенскихъ хлѣбоѣдовъ тяжеленекъ мѣсяць май: съ чего-нибудь, откуда ни на есть да взялись привившіяся къ нашему суевѣрію крылатыя слова: „Въ маѣ родиться—вѣкъ маяться!“ „Женишься въ маѣ—спокаешься, всю жизнь промаешься!“ „Радъ-бы жениться, да май не велить!..“ Въ старые годы всѣ сватовства приканчивались съ послѣднимъ днемъ апрѣля.

„Соловей-птица малà-малà, а и та знаетъ, когда май“,— гласитъ простонародная мѹдрость:— „мужику-ли не знать, что въ майскіе дни ему на вѣку положено!“ А положено на соловьиный мѣсяць для сельщины-деревеньщины не мало всякихъ завѣтовъ многоопытной старины, семь разъ примѣривавшей и одинъ—отрѣзывавшей во всякомъ нешуточномъ дѣлѣ. Цѣлая стѣна обычаяевъ, примѣтъ и повѣрій обступаетъ родную имъ Русь въ его зеленые-расцвѣтающіе дни. Слыветъ особо важнымъ, изо всѣхъ выдѣляется въ городахъ первое мая—„гулений“ день; а въ деревенской глуши—чуть-ли что ни шагъ ступишь въ этомъ причудливомъ мѣсяцѣ, то и на важную примѣту его натолкнешься.

Первомайскій весенній праздникъ—чужестранный гость на хлѣбосольной Руси: занесли его къ намъ Петровскія времена,—сперва въ Нѣмецкую Слободу⁴⁷⁾ на Москвѣ Бѣлокаменной, гдѣ и строились въ этотъ день „нѣмецкіе столы“ и разбивались „нѣмецкіе станы“, а потомъ поприглядѣлись къ нему горожане да и переняли пришедшуюся имъ по душѣ весеннюю гулянку веселую. Стала она сперва школьнымъ праздникомъ, а потомъ и „народно-городскимъ“, для мѣщанъ да посадскихъ, да купцовъ—торговаго люда. Въ настоящее время и въ деревняхъ веселится-гуляетъ молодежь, на свой, русскій, ладъ справляя нѣмецкое „первое мая“—на весеннемъ зеленѣющемъ привольѣ-раздольцѣ. А въ эту-самую пору домовитые хозяева, прислушивающіеся къ крылатой молвѣ, вспоминаютъ и спѣшатъ выполнить на дѣлѣ мудрыя совѣты

⁴⁷⁾ Нѣмецкая Слобода—заяузское предмѣстье Москвы, отведенное для жительства иноземцевъ, которые всѣ у насъ слыли въ старые годы за „нѣмцевъ“. По большей части это были кушцы и ремесленники. Лѣкаря были также изъ иноземцевъ. Съ XVII-го столѣтія, со времени Алексѣя Михайловича, число иностранцевъ въ Москвѣ значительно возросло, а съ воцареніемъ Петра Великаго мы видимъ „нѣмцевъ“ уже и на русской государственной службѣ. Въ Нѣмецкой Слободѣ были у иноземцевъ и свои церкви, гдѣ они совершенно свободно отправляли всѣ свои духовныя нужды.

старины: „Съ Еремѣя-запрягальника (1-го мая) запрягай коня въ соху, выѣзжай въ поле, подымай сѣтево (лукошко съ сѣменами)!“, „На первую майскую росу (утреннюю) бросай первую горсть яровины на полосу!“ Благочестивая старина со-вѣтуетъ молиться въ этотъ день святому пророку Іереміи: „Овесъ сѣя, проси Еремѣя!“ Съ молитвой, обращенною къ нему, и выходили въ старые годы хлѣбопашцы, бросивъ три горсти сѣмянъ, отвѣшивали три поклона на всѣ стороны, кромѣ полунощной-сѣверной, а потомъ шли, благословясь, отъ боро-зды къ бороздѣ по всему засѣваемому загону. „Вѣдро на Ере-мѣевъ день—хороша хлѣбная уборка, ненастье—всю зиму бу-дешь его помнить да маяться!“—говорятъ примѣтливые люди.

Народная мудрость увѣщаетъ сѣять хлѣбъ осмотритель-но, по старинѣ. А встарину сѣяли только въ теплую по-году, да и то не очертя голову. Кладъ сѣятель обѣ руки на-земь, замѣчалъ: тепла-ли земля; и, только увѣрившись въ этомъ, начиналъ ронить зерно, не опасаясь, что заморозки-утренники поздними слезами лиходѣйки-зимы, укрывающейся въ глубинахъ подземныхъ, поморозятъ всходы еще въ зародышѣ. „Сѣй недѣлю послѣ Егорья да другую послѣ Ере-мѣя!“—ведутъ свою рѣчь примѣты:—„Раннее яровое сѣй, ког-да вода сольетъ, а позднее—когда цвѣтъ калины будетъ въ кругу!“, „Яровой хлѣбъ сѣй съ одышкой да съ поглядкой!“, „Рожь говоритъ: сѣй меня въ золу, да въ пору; а овесъ: топчи меня въ грязь, а я буду князь, хоть въ воду—да въ пору!“ „Лягушка квачетъ, овесъ изъ-подъ земли скачетъ!“.

Второе мая—соловиный день; съ него въ средней поло-сѣ Россіи соловьи запѣваютъ, а встарину ловцы-соловьятники выходили въ лѣсъ на выгодную ловлю пѣвцовъ сада Божьяго,—ходили-бродили цѣлый мѣсяцъ по тропамъ-ходамъ за-знаемымъ, подманивали въ сѣти, залавливали вольныхъ за-летныхъ пташекъ, дорого цѣнящихся и о сію пору любителями пѣвчей утѣхи, а затѣмъ—съ добычею направлялись въ Москву, начинали продажу. „Запоетъ соловей на другой день послѣ Еремѣя-запрягальника, будешь съ хлѣбцемъ!“, „По соловьямъ—и погода!“, „Поютъ соловьи передъ Маврой (наканунѣ 3-го мая)—и весна зацвѣтетъ дружно!“.

Пятаго мая—„Арины-разсадницы“: съ этого дня пора выса-живать на огородныя грядки капустную рассаду. Еще накану-нѣ, вечеромъ „на Палагею“ (4-го мая), опытыя огородницы справляютъ завѣщанный на этотъ случай старыми людьми обычай: выносятъ на огороды надтреснутый горшокъ, кладутъ въ него выдернутую по-близости крапиву (съ корнемъ) и ста-вятъ горшокъ вверхъ дномъ на самую средину средней гряды.

Это дѣлается въ огражденіе огорода отъ нападеній вражьей, „завидушей“, силы, чтобы ѣла она—проклятая—одну крапиву жигучую, чтобы не прикасалась ни къ чему взрощенному трудомъ праведнымъ. Высаживая разсаду, свѣдущіе люди причитають: „Разсадушка-разсада, не будь голеняста, а будь пузаста; не будь пустая, а будь тугая; не будь красна, а будь вкусна; не будь стара, а будь молода; не будь мала, а будь велика!“. Деревенская молва говорить, что этотъ причетъ не мимо молвится,—помогаетъ. Шестого мая деревенскій людъ принимается сѣять горохъ: „Денись—горошникъ!“, „На Дениса—сѣять бѣль горохъ не лѣнися!“ Любители красныхъ при словій сѣють, а сами, вторя старинѣ приговаривають: „Сѣю, сѣю бѣль-горохъ; уродися, мой горохъ, и крупень, и бѣль, и самъ тридесять, старымъ бабамъ на потѣху, молодымъ ребятамъ на веселье!“ Огородники слѣдятъ на Денисовъ день за росой: „Большая роса—огурцамъ большой родъ“. Среди нихъ потому-то и слыветъ „горошникъ-Денись“ за „Денисаросѣнника“. Восьмого мая (на Арсентьевъ день)—засѣвъ пшеницы: въ степныхъ губерніяхъ. Встарину на Арсентья-пшенишника пекли добрые люди пшеничные пироги, угощая ими не только званыхъ-прошенныхъ гостей, но и каждаго прохожаго человѣка, твердо памятуя, что „прохожій—человѣкъ Божій“. Для этого старики выходили съ пирогами даже на перекрестки дорогъ за околицу и поджидали странниковъ. „Быть худу,—говаривали,—если вернешься съ обѣтнымъ пирогомъ назадъ домой, а еще хуже—коли съѣсть его самимъ: не найдется ни странника, ни калѣки перехожаго,---скорми этотъ пирогъ птицамъ!“ И. П. Сахаровымъ записаны слова, въ былые годы повторявшіяся не встрѣтившими прохожихъ людей хозяевами въ этотъ день: „Прогнѣвилъ я Господа-Создателя при старости лѣтъ; не послалъ мнѣ добраго человѣка раздѣлить хлѣбъ трудовой; не въ угоду Его святой милости было накормить мнѣ горемышняго, при истомѣ усладить мнѣ стараго старика въ безвременьицѣ. А и какъ-то будетъ мнѣ на міръ Божій глядѣть, на добрыхъ людей смотрѣть! А и какъ-то мнѣ будетъ за хлѣбъ приниматься!..“ Въ наше время едва ли встрѣтятся на посельской Руси такіе обычаи, но о томъ, что св. Арсеній—„пшенишникъ“, деревня до сихъ поръ еще не успѣла запомнить.

Девятое мая—„Вешній Никола“, на-особицу отмѣченный въ изустномъ простонародномъ мѣсяцесловѣ день, богатый всякимъ краснымъ словомъ, всякимъ обрядомъ-обычаемъ, какъ майская цвѣтень—цвѣтами духовитыми. „Раннюю пшеницу сѣй на Арсентія, среднюю съ Николина дня, позднюю—на Пахомія

(15-го числа)!“. „Съ Николы-вешняго сади картофель!“, „Велика милость Божья, коли на вешняго Николу дождикъ поидеть!“, — гласить сельскохозяйственный опытъ. У русскаго народа—два Николы: Никола-вешній—съ тепломъ, да Никола-зимній—съ морозомъ. „Никола-зимній (6-го декабря) лошадей на дворъ загонить, весенній—откормить (на травѣ)!“, „Два Николы: теплый да холодный, сытый да голодный!“, „Съ Николы (вешняго) крѣпись, хоть разорвись, съ Николы (зимняго) живи—не тужи!“, „Не хвались на Юрьевъ день посьвомъ, а хвались на Николинъ травой!“, „Пришель-бы Никола, а тепло будетъ!“. Такими примѣтами окружаетъ народъ день своего любимаго святого.

На Николу-вешняго—первое „ночное“, первый выѣздъ парней и ребятъ-подростковъ на ночную пастбу лошадей. Егорій коровъ „запасаеть“. Никола—коней. „Вешній Никола подножный кормъ лошадямъ несетъ!“—говорять въ народѣ. Повсюду въ деревняхъ блюдется обычай справлять въ этотъ день ночной ребячій праздникъ. Въ лугахъ, на выгонахъ и на заброшенномъ подъ парь полѣ разжигаются костры; поблизости пасутся „спутанныя“ лошади, у огня сидятъ кружкомъ молодые пастухи, ѣдятъ пироги, пекутъ картофель въ золѣ, игры заводятъ, въ-перегонки бѣгаютъ, цѣлую ночь вплоть до бѣлой зорьки не смыкаютъ глазъ: „Николу празднуютъ“.

А въ великомъ почетѣ на Руси св. угодникъ Божій Николай Чудотворецъ ⁴⁸⁾, слышущій за „Николу-Милосливаго“, покровителя морей и полей, за крѣпкую защиту мужика-хлѣбороба, за грозу всякой нечисти, угѣсняющей и безъ того тѣсную жизнь пахаря. Этотъ добрый, но строгій, старецъ, по прихотливой волѣ слагателей всякихъ былей-небылей, воспріялъ на себя многія черты могучаго былиннаго богатыря Миколы-свѣта-Селяниновича. Онъ примиряетъ враждующихъ, свя-

⁴⁸⁾ Св. Николай Чудотворецъ—архиепископъ мирликійскій—находится въ великомъ почитаніи у всѣхъ христіанъ вселенной. Благоговѣнно относятся къ его имени даже мусульмане и нѣкоторые язычники (на Руси). Онъ подвизался во славу Божію въ IV-мъ вѣкѣ по Р. Хр., родился въ гор. Патарѣ (въ древней Ликии), основанномъ дорійскими греками, посвятившими его богу Аполлону,—чудеснымъ образомъ былъ избранъ въ мирликійскіе епископы, безстрашно исповѣдывалъ при Діоклетіанѣ-гонителѣ Христова ученіе, былъ участникомъ перваго вселенскаго собора, созваннаго для обличенія ереси Арія. Многочисленные чудеса, совершенныя имъ во время земнаго служенія Богу, увѣковѣчили его память. Кончина его послѣдовала въ 343-мъ году въ гор. Мирахъ. Отсюда въ 1087 мѣ году итальянскіе купцы перевезли мощи св. Николая въ г. Бари (въ Апуліи), гдѣ онъ и пребываютъ до сихъ поръ, привлекая тысячи паломниковъ. Память св. Николая чествуется 6-го декабря, день перенесенія мощей (9-го мая) чтится пасообицу.

зуеть союзы вѣковѣчныя. „Како возможемъ достойно хвалити, пѣснями духовными тя ублажити, дивна и чюдна отца Николая, святого славнаго архіерея. Архіереомъ отецъ и начальникъ, намъ же ты добрый наставникъ, вси бо тобою спастися желаемъ“...—поется въ одномъ старинномъ духовномъ стихѣ. Много другихъ пѣсенныхъ сказаній о Николаѣ Чудотворцѣ сохранилось въ народной памяти.

„А кто, кто Николая любить,
А кто, кто Николаю служить,—
Тому святой Николае
На всякій часъ помогае.

Николае!

А кто, кто къ нему прибѣгаетъ,
А кто, кто въ помощь призываетъ,—
Тому святой Николае
Всегда помогаай.

Николае!

А кто, кто живетъ въ его дворѣ,—
Николай на земли и въ мори
Не дасть ему пропасти,
Изметъ его отъ напасти.

Николае!

Пастырю словеснаго стада,
Изми мя пекелнаго ада,
А мы будемъ прославляти,
Имя твое величати.

Николае!“

Такъ распѣвають на весенній Николинъ день калики-перехожіе, сидючи по церковнымъ папертямъ,—по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ сохранились еще эти разносители невѣдомо кѣмъ слагавшихся въ давнія времена „стиховъ“, убогіе люди Божіи, собирающіе себѣ на пропитаніе своимъ пѣніемъ, доходящимъ до самаго сердца простодушныхъ слушателей, одѣляющихъ пѣвцовъ копѣйкой мѣдною, трудовымъ потомъ политую. „Микола“ является (по другому стиху) „святителемъ, морямъ проходятелемъ, землямъ исповѣдникомъ“. Онъ, за свои подвиги, почитаемъ не на одной только православной Руси:

„А знаютъ Миколу
Невѣрныя орды.
А ставятъ Миколы
Свѣчи воску яры,
Кануны медвяны.

А ему, свѣту, слава,
 Слава-держава,
 Во всю его землю,
 Во всю подселенну“...

Слушаетъ честной людъ пѣвцовъ, прославляющихъ его покровителя и заступника предъ Господомъ, — умиляется, ведетъ иной разъ старцевъ убогихъ въ свои хаты. „Хоть на вешняго, голоднаго, Николу не до разносолу, а все угостить надо странника Божьяго, что, какъ птаха небесная, идетъ-поеть!“ — говоритъ гостепріимная деревня, если найдется у ней чѣмъ ни на есть угостить объ эту, подобравшую всѣ кормы, пору. „Не накорми о Николинъ день голоднаго — самъ наголодаешься!“ — подсказываетъ умилившемуся люду крылатое слово. — „Съ хлѣба на квась да на воду о вешнемъ Николѣ пребиваются, на зимняго заниколять — три дня опохмѣляются!“.

Но и зимой, и весною, и во всякое время готова повторять за каликами-перехожими вся богомольная посельщина умиленные слова ихъ духовнаго стиха, посвященнаго великому Божьему угоднику и чудотворцу: „Муроточивыхъ струй обильныя рѣки туне точить во вся вѣки нынѣ человекѣ, мѣръ весь чудесами чудно удивляяй. Ликійскій же островъ свѣтло просвѣтляяй, благовоннымъ каплетъ цѣлебъ альвастромъ, росить всѣмъ желаннымъ чистымъ благодарствомъ: днесъ сему приносимъ должно того дару, великій намъ есть, Мурру же и Бару, архіерей, ибо словомъ пасеть люди, Николае честный, отъ насъ слово буди сему приносимо, вмѣсто мѣра драга, мирны гласы въ пѣсняхъ; похвала преблага. Вѣрныхъ соборъ черпаемъ мѣро изліянно; краевѣстны вся суть, что ему есть данно; мѣры благодатны туне каплющи черплемъ, невидимо присно текущи. Многи содѣваемъ за даръ пѣній гласы, сему есть достойно пѣти во вся часы. Дарствомъ дарованно пѣніе мысленно, словесъ воздаями со гласомъ чувственно. Слоги соплетая, незлобну жертву приими, молимъ, главу миртомъ всю обвиту, отче Николае муроточивѣйшій, отцемъ верхъ пречестный, пастырю свѣтлѣйшій, славо всея церкви, чудесы свѣтѣца, мѣромъ же сугубымъ во весь мѣръ тучаща, тучная пучина Мурянскому граду, честна Ликійскому острову во правду, главо пресвященная, росы исполнена, капли мѣру сладость миромъ утучненна, мѣро знаменно перстнемъ Духа златымъ, намъ еси подобно въ фіалѣ пресвятымъ. Избранно отъ темъ родъ имя побѣднѣйше, чудесъ безчисленныхъ изъясительнѣйше! Многихъ неповинныхъ отъ смерти избави, Бога во всемъ мѣрѣ и вездѣ прослави, данно ти есть всѣхъ насъ

отъ бѣдъ заступати, отче святителю, и отъ золь спасати: святыи чудотворче и преблаженнѣйшій, непрестанно буди всѣмъ въ помощь скорѣйшій!“... Въ витѣватыхъ словахъ этого стиха вылилось все благоговѣнное отношеніе народа-стихослагателя къ своему великому заступнику.

За Николюю—Симонъ Зилотъ, 10-е мая. „Кто досѣваетъ пшеницу на Зилота—выдетъ какъ золото!“—говоритъ стародавнее вѣщее слово: „Мокро на Мокея (11-го мая)—жди лѣта еще мокрѣ!“ . На Епифана (12-го), „утро въ красномъ кафтанѣ“ (т. е. ясная утренняя заря)—къ пожарному лѣту. Тринадцатаго числа—„Лукерьи-комарницы“: въ этотъ день, по примѣтѣ, вмѣстѣ съ теплымъ вѣтромъ налетаютъ комары съ мошкаррой. Есть повѣрье, что „комариный народъ“ улетаетъ по осени,—уносится на крыльяхъ осенняго вѣтра, — на теплыя моря, гдѣ и зимуетъ зиму, чтобы, расплодившись, вернуться въ маѣ-мѣсяцѣ на Русь. На слѣдующій, Сидоровъ, день, когда прекращается, по народнымъ наблюденіямъ, до самой осени холодные вѣтры, прилетаютъ на старыя гнѣзда послѣднія перелетныя птицы изъ-за синихъ морей, съ теплыхъ заморскихъ водъ—стрижи быстрокрылые. „Пойдутъ Сидоры, отойдутъ свѣры, и ты, стрижь, домой летишь!“—приговариваютъ деревенскіе поговорѣды-краснословы: „Придетъ Ѳедотъ (18-е мая)—послѣдній дубовый листокъ развернетъ!“ . Если лѣниво распускаются листья на дубахъ, народъ не ожидаетъ хорошаго урожая яровыхъ ранняго сѣва. „Сѣи овесъ, когда дубъ развернется въ заячье ухо!“ - говорятъ въ Тульской губерніи. „На дубу листъ въ пятакъ, быть яровому такъ!“ .—идетъ повсемѣстная народная молва:—„Коли на Ѳедота на дубу макушка съ опушкой, будешь мѣрять овесъ кадушкой!“ . Съ этого дня принимается земля „за свой родъ“,—можно услышать въ народѣ.

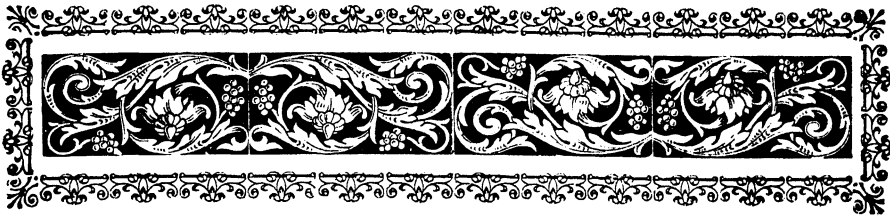
„На Филиппа да на Ѳалалея—досѣвай огурцы скорѣ!“ . Старинная примѣта совѣтуетъ огородникамъ дѣлать посадку огурцовъ скрытно ото всѣхъ сосѣдей и даже домашнихъ, не принимающихъ непосредственнаго участія въ работѣ. Особенно должно скрывать отъ любопытнаго глаза первую засаженную гряду, а тѣмъ болѣе—первый выросшій на ней огурецъ. Этотъ-послѣдній скрываютъ-закапываютъ въ потаенномъ мѣстѣ на огородѣ, какъ-бы принося жертву покровителямъ огородовъ — святымъ Филиппу и Ѳалалею, память которыхъ чествуется 20-го мая. Если будетъ много желтыхъ, до поры до времени поблекшихъ, огуречныхъ плетей,—это приписывается тому, что чей-нибудь лихой-недоброжелательный глазъ подсмотрѣлъ „на росту“ первый огурецъ. 21-е

число—Еленинъ день, напоминающій деревнѣ, что пора сѣять льны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этотъ день такъ и зовется: „длинные льны — Еленины косы“. На сѣвъ льна встарину было въ обычаѣ не выѣзжать безъ выполненія особой обрядности. Старухи собирали въ канунъ Еленина дня по парѣ яицъ съ каждой бабы, пекли ихъ „всѣмъ бабыимъ міромъ“—въ одной облюбованной для этого печи и, затѣмъ, раскладывали, не безъ вѣдома сѣятелей, въ мѣшки съ сѣменами; но мужики не должны были проговариваться о своемъ „знатѣ“,—молча собирались и выѣзжали они, благословясь, на вспаханную подо льны полосу, гдѣ прежде всего и принимались за завтракъ, а потомъ уже—за посѣвъ. Скорлупки яицъ должны были привозиться домой; тамъ старухи толкли ихъ и подбавляли понемножку въ кормъ курамъ: чтобы неслись лучше. „Лень съ ярью не ладить“, а потому деревенскій опытъ не совѣтуетъ сѣять на льнищахъ ничего иного. „На Терапонта (25-го мая)—первыя худыя росы“, вредныя для пасущейся животины, для древесной листвы и для малыхъ ребятъ. „Напала на мѣдную росу!“—говорятъ о заболѣвшей въ этотъ день скотинѣ: „Отъ Терапонтовой росы и трава ржавѣетъ“. Въ этотъ день совѣтуютъ „глядѣть рябину“: много цвѣту—будутъ и овсы хороши; малое цвѣтенье—жди худа, не будетъ съ овсами толка, хоть сызнава пересѣвай! „Знать рябину на цвѣту, что идетъ къ мату!“ 26-го мая—„на Карпа“ хорошо „коропы“ (рыба карпъ) ловятся. Опытные, приглядѣвшіеся ко всякому ходу рыбы, ловцы и стараются не пропустить этого дня.

„На Тедору (27-го мая) не выноси изъ избы сору!“—говоритъ пережившая многіе вѣка простодушная народная мудрость. Внимая ей, благосмысленныя деревенскія хозяйки не метутъ избы, чтобы не быть худа. Если на слѣдующія сутки, на Евтихія, день тихій,—ждетъ пахарь хорошаго урожая. 29-е число—„Тедосьи-колосяницы“: рожь принимается выметывать колось. „На Тедосью“ хорошо, по примѣтѣ, прикармливать, скотину хлѣбомъ печенымъ: плодливѣе будетъ, хозяевамъ на прибыль да на радость!

За Тедосьями—Исакій слѣдомъ идетъ на свѣтлорусскій просторъ широкій, во всѣ стороны свѣта бѣлаго разбѣжавшійся: на его день выползаетъ изъ норъ всякій гадъ. Старые люди предостерегаютъ молодежь, чтобы съ опаской да съ оглядкой ходить по лѣсу да по лугу. „Идутъ поѣдомъ въ этотъ день змѣи ползучія на свадьбы змѣиныхъ,“—гласитъ старинное сказаніе:—„укусить челоуѣка гадина, не заговорить никакому колдуну-знахарю“. Съ этого, змѣинаго, дня садятъ бобы, пе-

редь посадкой вымачивая ихъ въ „озимой“ водѣ, натаянной изъ мартовскаго снѣга, собраннаго заранѣе по лѣснымъ оврагамъ. „Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на всѣ доли на старыхъ и малыхъ, на весь мѣръ крещонный!“—приговариваютъ огородники, сажая ихъ. А черезъ плетень уже новый мѣсяць—іюнь—„розанцвѣтъ“ глядитъ: конецъ приходитъ веселому, да тяжелому, май-мѣсяцу. Близится вѣщій „праздникъ кукушекъ“ съ его дышащими пережиткомъ древнеславянскаго язычества сказаніями. А тамъ—рукой подать и до „Ярилы“, разгульнаго чествованія назрѣвающихъ силъ природы, берущей верхъ надо всѣмъ ратоборствующимъ съ нею. Не за дальними горами и тѣ дни, когда изъ конца въ конецъ деревенской Руси зазвѣнятъ купальскія пѣсни.



XXIII.

Вознесеньевъ день.

Вознесеньевъ день—последній весенній праздникъ на Святой Руси. Дошла Весна-Красна до Вознесеньева дня, послушала въ последній разъ, какъ „Христось Воскресъ“ поють,—туть ей и конецъ пришелъ!—говорять въ народѣ. „Весна о Вознесеньи на небо возносится—на отдыхъ въ рай пресвѣтлый просится!“—можно услышать въ поволжскихъ деревняхъ.)

„Не вѣкъ дѣвкѣ невѣститься: начто весна—красна, а и та на Вознесенье Христова за лѣто замужь выходить!“ „И рада бы весна на Руси вѣковать вѣковушкой, а придетъ Вознесеньевъ день—прокукуетъ кукушкой, соловьемъ залететь, къ лѣту за пазуху уберется!“ „Цвѣсти веснѣ—до Вознесенья!“ „До Вознесенья Христова весна пѣть-плясать готова!“ „Придетъ Вознесеньевъ день, сбросить съ плечъ Весна-Красна лѣнь, лѣтомъ обернется-прикинется—за работу въ полѣ примется!“—гонятся одно за другимъ стародавнія слова крылатая, долетѣвшія къ намъ изъ-за дали былого-минувшаго. А весна, и впрямь, съ этого праздника Господня уступаетъ на политой трудовымъ потомъ безчисленныхъ поколѣній русскаго пахаря землѣ мѣсто лѣту знойному-жаркому, съ его работами страдными да сухотами-заботами, — по народной поговоркѣ: „потомъ умывается, честному Семигу кланяется, на Троицу-Богородицу изъ-подъ бѣлой ручки глядитъ“.

Со Свѣтлаго Праздника, съ Велика-Дня, по старинному преданію,—о которомъ уже велась рѣчь выше (см. гл. XIX),—отверзаются двери райскія, разрѣшаются узы адскія: вплоть до самаго Вознесенія Господня могутъ грѣшники, пребывающіе въ кромѣшномъ аду, видѣться съ праведниками, обитаю-

щими подъ сѣнью райскихъ кушей. „Съ Пасхи до Вознесенья — всему міру свидѣнье,“ — подтверждаетъ народная молвь: „всему міру свидѣнье, — и дѣдамъ, и внукамъ, и раю, и мукамъ!“

Сорокъ дней, — говоритъ народъ, — ходитъ Спасъ по землѣ: съ Воскресенья до Вознесенья. Потому-то, — добавляется въ поясненіе, — и земля такъ ярко зеленѣетъ, такими благовоціями райскими благоухаетъ въ это время. „Къ Вознесеньеву дню всѣ цвѣты весенніе зацвѣтають — Христа-Батюшку въ небесные сады потаенной молитвою провожаютъ“.

Въ канунъ Вознесенья Господня, по старинной примѣтѣ, и соловьи громче-звончѣ поють, чѣмъ во все остальное время. Знають, словно, и они, что это — послѣдняя ночь пребыванія воскресшаго Христа-Спаса на міру православномъ.

По инымъ мѣстностямъ она такъ и слыветъ въ народѣ за „соловьиною“. Грѣшно, по словамъ даже завзятыхъ ловцовъ-соловьятниковъ, соловья — птицу пѣвчую — въ это время подстерегать-ловить. Кто поймаетъ — ни въ чемъ тому цѣлый годъ спорины не будетъ, вплоть до новаго Вознесеньева дня, когда вознесутся на небо съ Господомъ силъ небесныхъ всѣ обиды земныя. Цвѣты духовитые на Вознесенье благоухаютъ — по словамъ деревенскихъ, примѣтливыхъ къ жизни природы людей — самыми пахучими ароматами. Вся земля крещеная насыщается въ святой день прощанія съ Возносящимся Свѣтомъ Правды райскими благоуханіями несказанными-нездѣшными, — словно съ отверзающихся полей небесныхъ струится въ это время на оплодотворенную майскими дождями грудь земную всякое благораствореніе. Утромъ на Вознесенье плачетъ Мать-Сыра-Земля росой обильною по удаляющемуся съ нея гостѣ-Христѣ. Эта, „вознесенская“, роса надѣляется, по словамъ севѣрной деревни, цѣлебною силою великою. Потому-то и собирають ее опытные лѣгарки-знахарки съ цвѣтовъ на лугахъ поемныхъ. „Если знать такое слово завѣтное да пошептать его надъ вознесенской росой, да выпить болящему дать, — всякое лихо какъ рукой сыметь!“ — гласитъ знающая всякія слова престо народная мудрость.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, въ средней полосѣ Руси великой, на Вознесенье — „водятъ колосокъ“ по деревнямъ, по селамъ. Этотъ старинный обрядъ-обычай мало-по-малу уже начинаетъ исчезать изъ крестьянскаго обихода, заслоняясь другими, болѣе новаго происхожденія. Встарину-же о немъ знали почти повсемѣстно — не по наслышкѣ одной, какъ теперѣ. „Колосовожденіе“, какъ свидѣлствуютъ наши бытовѣды, совершалось по особому порядку, невѣдомо кѣмъ установлен-

ному въ незапамятныя времена, затерявшіяся въ глухихъ дѣбряхъ былого древнеславянскаго язычества, когда, быть можетъ, знали еще наши отдаленнѣйшіе предки-пращурь и Дажьбога, и Бѣльбога, а не то что сыновей ихъ—Велеса и Перуна. Ранымъ-рано поутру собиралася-снаряжалася деревенская молодежь—дѣвки, бабы-молодки и парни съ новожонами; вмѣстѣ съ восходомъ солнечнымъ шли всѣ, ухватившись по-двое за руки, къ околицѣ. Здѣсь всѣ становились въ два ряда, лицомъ къ лицу, и опять-таки брали другъ-друга за руки. Получался живой мостъ, вытягивавшійся въ узкую ленту, пестрѣвшую всѣми цвѣтами праздничныхъ нарядовъ. По этому мосту соединенныхъ рукъ пускали идти маленькую дѣвочку съ вѣнкомъ на головѣ, всю убранную лентами разноцвѣтными да перевязями цвѣточными. Пройдетъ по рукамъ одной пары дѣвочка,—забѣгаетъ живое звено моста впередъ и опять становится въ очередь. Такъ и доходило все шестіе до самаго озимого поля. Дѣвушки красныя во все это время припѣвали, голосомъ выводили:

—„Лада, Лада!
Ой, Лада!
Ой, Лада!“

Дойдя до загоновъ, спускали маленькую „Ладу“ на-земь. Она должна была сорвать пучокъ зеленой ржи, готовящейся къ этому времени выметывать колось. Съ сорваннымъ пучкомъ дѣвочка бѣжала назадъ—къ околицѣ; всѣ, сбившись въ кучу, не догоняя бѣглянки, слѣдовали за ней по пятамъ и пѣли-голосили стройнымъ хоромъ:

„Пошелъ колось на ниву,
Пошелъ на зеленую!
Пошелъ колось на ниву,
На рожь, на пшеницу!
Ой, Лада!

Уродися на-лѣто,
Уродися, рожь, густа,
Густа-колосиста,
Умолотистая!

Ой, Лада!
Ходить колось по селу,
Ходить отъ двора къ двору,
Со дѣвицею,
Со красавицею!
Ой, Лада!“

Пройдя съ пѣснею всю деревню, толпа расходилась, обрывая съ дѣвочки всѣ ленты и цвѣты—на память о прошедшей веснѣ. Разбрасываемые по дорогѣ ржаные стебли подбирались молодыми парнями. Кому попадетъ съ выметнувшимся колосомъ—тотъ не минуетъ своей „судьбы“, женится въ осенній мясоѣдъ,—гласило подтверждавшееся житейскимъ опытомъ повѣрье.

Во многихъ мѣстахъ на деревенской-посельской Руси и теперь еще приходится слышать въ народѣ сказаніе о томъ, что во время обѣдни на Вознесеньевъ день разверзается твердь небесная надъ каждой церковью. Благочестивымъ людямъ, доживающимъ послѣдній годъ жизни, дано отъ Бога даже видѣть, какъ изъ разверзшихся небесъ опускается къ главному церковному яблоку лѣстница („та самая, которую видѣлъ во снѣ Іаковъ“). Сходятъ по ней ангелы и архангелы и всѣ силы небесныя, становятся въ два ряда по бокамъ лѣстницы и ожидаютъ Христа. Какъ ударятъ въ колоколь къ „Достойно“, такъ и поднимается-возносится Спасъ-Батюшка съ грѣшной, обновленной Его Пресвѣтлымъ Воскресеніемъ земли. Немногимъ, по словамъ преданія, дано видѣть всѣ эти чудеса, но есть и такіе люди на свѣтѣ. „Не будетъ провидцевъ-праведниковъ—не стоять и свѣту бѣлому!“—утверждаетъ народное вѣщее слово.

Въ честь праздника Вознесенія пекутся по инымъ мѣстамъ „лѣсенки“ изъ ржаного тѣста. Лакомы до нихъ ребята малые, но пекутъ ихъ бабы не на одну ребячью утѣху. Есть повѣрье, что, если вынести такія лѣсенки на ниву-полосу да поставить по одной на каждомъ углу загѣна,—такъ и рожь пойдетъ расти быстрѣе и выростетъ выше роста человѣческаго. Только, по убѣжденію старыхъ людей, надо все это дѣлать съ молитвой тайною да съ опаскою отъ глаза лихого, съ оглядкой отъ человѣка недобраго-завидушаго; а то не выйдетъ никакого толку. Во многихъ мѣстахъ существуетъ обычай ходить на Вознесенье въ-гости по роднымъ и знакомымъ. Это встарину называлось „ходить на перепутье“, причемъ гости приносили хозяйевамъ въ подарокъ лѣсенки, испеченныя изъ пшеничнаго тѣста на меду и съ сахарнымъ узорочьемъ. На старой Москвѣ было въ этотъ день веселое гулянье весеннее—по площадямъ, вокругъ церквей.

Съ праздникомъ Вознесенія Господня связаю у пѣснотворца-народа древнее сказаніе о каликахъ-перехожихъ. Это сказаніе (стихъ духовный) до сихъ поръ поется на деревенской Руси. Вотъ наиболѣе полный сказъ его, занесенный въ сокровищницу русскаго пѣсеннаго слова:

„Послѣ Свѣтлаго Христова Воскресенья, на шестой было на недѣлѣ, въ четвергъ, у насъ живеть празднигъ Вознесенья: возносилъ Христось Богъ на небеса со ангелами и со архангелами, съ херувимами и серафимами, со всею силою со небесною. Расплачется нищя братія, расплакались бѣдныя-убогіе, слѣпые и хромые:—Ужь Ты, истинный Христось, Царь небесный! Вознесешь Ты, Царь, на небеса со ангелами и со архангелами, съ херувимами и серафимами, со всею силою со небесною,—на кого-то Ты насъ оставляешь, на кого-то Ты насъ покидаешь? Ино кто насъ поить-кормить будетъ? Одѣвати станеть, обувати, отъ темныя ночи охраняти? За что намъ Мать Божию величати и Тебя, Христа Бога, прославляти?—Проглаголетъ имъ Христось Царь небесный:—Не плачьте вы, нищя братія! Оставлю Я вамъ гору золотую, пропущу я вамъ рѣку медвяную, Я даю вамъ сады-винограды, оставляю вамъ яблони кудрявы, Я даю вить вамъ манну небесну. Умѣйте горою владати, промежду себя раздѣляти: будете вы сыты да пьяны, будете обуты и одѣты, будете тепломъ да обогрѣны и отъ темныя ночи приукрыты!—Тутъ возговоритъ Иванъ да Богословець:—Гой еси, охъ, Господи, Ты Владыко! Позволь со Христомъ да слово молвить, не возьми мое слово въ досаду! Не оставливай горы золотыя, не давай Ты рѣки медвяныя. Не оставливай садовъ-виноградовъ, не оставливай яблонь кудрявыхъ, не давай имъ и манны небесной! Горы-то имъ буде не раздѣлити, съ рѣкой-то имъ буде не совладати, винограду-то имъ буде не ошшипати, манны-то имъ буде не пожрати! Зазнають гору князи и бояра, зазнають гору пастыри и власти, зазнають гору торговые гости,—наѣдутъ къ нимъ сильныя люди и найдутъ къ нимъ немилостивыя власти, не дадутъ имъ этой горой владати, отымутъ у нихъ купцы и бояра, вельможи, люди пребогатые, отоймутъ у нихъ гору золотую, отоймутъ у нихъ рѣку да медовую, отоймутъ у ихъ сады да съ виноградомъ, отоймутъ у ихъ манну небесну: по себѣ они гору раздѣлятъ, по князьямъ золотую разверстають, да нищую братью не допустятъ: много тутъ будетъ убійства, тутъ много будетъ кровопролитства, промежду собой уголовствя; да нечѣмъ будетъ нищимъ питатися, да нечѣмъ имъ будетъ приодѣтися и отъ темныя ночи приукрытися; помрутъ нищія голодною смертюю и позябнутъ холодною зимою! Дай-ко ты, Христось, Царь небесный, дай-ко се имъ слово да Христовое: пойдутъ нищіе по міру ходити, Тебя будутъ поминати, Тебя будутъ величати, Твое имя святое возносити. А православныя стануть милостыню подавати! Ино кто есть вѣрный христіанинъ, онъ ихъ приобу-

еть и пріодѣнетъ,—Ты даруй ему нетлѣнную ризу; а кто ихъ хлѣбомъ-солью напитаеть, даруй тому райскую пищу; кто ихъ отъ темной ночи оборонить, даруй въ рай тому мѣсто; кто имъ путь-дорогу указываетъ, незаперты въ рай тому двери! Будутъ они сыты да и пьяны, будутъ и обуты, и одѣты, они будутъ теплою да обогрѣны и отъ темныя ночи пріукрыты!— Тутъ проглаголетъ Христосъ да Царь небесный:—Исполать тебѣ, Иванъ да Богословецъ! Ты умѣлъ со Христомъ да слово молвить, ты умѣлъ вить съ Иисусомъ рѣчь говорити, ты умѣлъ слово сказати, умѣлъ слово разсудити, умѣлъ вить ты по нишшихъ потужити! За твои умѣльныя за рѣчи, за твои за рѣчи дорогія, за твои за сладкія словеса дарую уста тебѣ золотыя, въ году тебѣ празднички частые! Отнынѣ да до вѣку!“

Со Свѣтлаго Велика-Дня Христова до Вознесенья тяжкій грѣхъ отказать нищему-убогому, человѣку странному-захожему въ посильной милостынѣ; да и во всякое время,—говорить народъ,—грѣшно не подѣлиться съ просящимъ во имя Христова, если есть чѣмъ подѣлиться, если есть на столѣ хоть коровай хлѣба, а въ закромахъ хоть осьмина жита! Знаютъ, твердо памятуютъ объ этой вѣрѣ народа-хлѣбороба калики-перехожіе, питающіеся святымъ именемъ Христовымъ да пѣсною духовной-божественною.

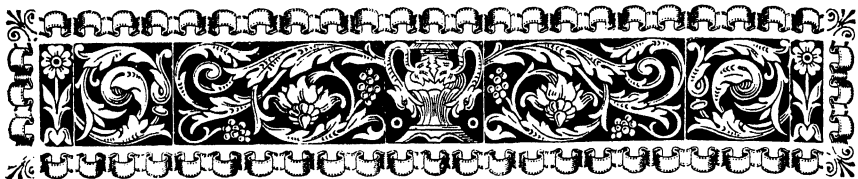
„Веселятся небеса,
И радуется земля
Вкупѣ съ человѣки,
Всегда и во вѣки,
Всѣ ангели, архангели,
Небесныя силы,
Апостоли, пророцы
Съ мученики святыми,
Съ преподобными со всѣми,
Угодники Господни!“—

воспѣваютъ убогіе люди Божіи, сидючи у церковныхъ папертей въ день Вознесенія Господня съ чашками въ рукахъ. Нѣтъ-нѣтъ да и перепадетъ имъ съ молитвой да со знаменіемъ крестнымъ опущенная добротная копѣйка мѣдная, труднымъ крестьянскимъ потомъ политая.

„Вознесися на небеса, Боже!
Милость Твою кто изрещи може?
Уста Твоихъ вѣрныхъ
О безсмертныхъ
Не могутъ вѣщати.

О чудеси, на небеси и въ мори!
 Славы Твояе полна земля, горы,
 Холмы торжествуютъ,
 Ликоствуютъ,
 Зрятъ Господню славу.
 Масличная гора веселится,
 Егда Господь въ небо возносится“...

Благоговѣнно прислушивается православный людъ къ загадочнымъ для него словамъ стиха духовнаго. А пѣвцы продолжаютъ голосами, плачущими плачемъ умилительнымъ: „... престоль херувимовъ, серафимовъ Ему готовится. Гласъ пресвятый отъ усть Его снидетъ, извѣствуя: — Утѣшитель придетъ, Онъ бо нашествіемъ и дѣйствіемъ истинны научить. Сія рекши, къ небеси шествуетъ, миръ, тишину всѣмъ вѣрнымъ даруетъ, что возлюбленна, учреждена кровію Своею. Подаждь, Боже, тишину навѣки, по вся концы спасай человѣки, во вѣки вѣчную радость и во сладость созданное навѣки!“... Внимаютъ умиляющіеся слушатели, и, несмотря на всю свою премудрость, доходитъ до сердца народа-пахаря „божественное слово“, глубоко западаетъ въ него, сливаясь съ идущими изъ старины стародавней сказаніями, повѣрьями да обычаями-обрядами. Даетъ ему оставившій Свое имя святое нищей-убогой братіи на прокормленіе Вознесшійся на небо Господь-Христосъ память на всякое слово крылатое-вѣщее, на всякую молвь премудрую, на всякій напѣвъ-сказъ.



XXIV.

Троица—Зеленая Святки.

Троицынъ день съ незапамятныхъ временъ является однимъ изъ любимѣйшихъ праздниковъ русскаго народа. Съ нимъ связано и до сихъ поръ много народныхъ обычаевъ и обрядовъ, справляемыхъ помимо церковнаго торжества. Въ стародавнюю пору, когда еще свѣжа была на Руси память языческаго прошлаго, съ Троицкою, или „Семицкою“, недѣлею было связано столько самобытныхъ проявленій народнаго суевѣрія—какъ ни съ однимъ изъ другихъ праздниковъ, кромѣ Святокъ. Эта недѣля, посвященная богинѣ весны, побѣдившей демоновъ зимы, издавна чествовалась шумными общенародными игрищами. Конецъ мая и начало юня, — на которые приходится-падаетъ Троицынъ день,—особенно подходили къ чествованію весенняго возрожденія земли, покрывавшейся къ этому времени наиболѣе пышной растительностью, еще не успѣвшю утратить своей обаятельной свѣжести. Языческій мѣсяцесловъ нашихъ втдаленныхъ предковъ, совпавшій въ этомъ случаѣ съ христіанскими праздниками, далъ поводъ къ объединенію ихъ съ собою. Мало-по-малу древнее почитаніе богини весны—свѣтлокудрой Лады—было забыто, а сопровождавшіе его обычаи слились съ новыми обрядами, создавъ вокругъ перваго лѣтняго праздника необычайно яркую обстановку. Съ теченіемъ времени языческій духъ этой-последней растворился въ мировоззрѣніи просвѣтленной стремленіемъ къ горнимъ оершинамъ добра новой вѣры славянъ; но пережившіе многовѣковое прошлое стародавніе обычаи и теперь все еще показываютъ, насколько прочны кровныя связи народа-пахаря

съ окружавшей бытъ его пращуровъ и доселѣ отовсюду обступающей его жизнь природою.

„Семицкая“—седьмая по Пасхѣ—недѣля, заканчивающаяся Троицынымъ днемъ, еще и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напримѣръ, въ Рыбинскомъ уѣздѣ Ярославской губ.) носить названіе „Зеленыхъ Святковъ“. Въ старыя же годы она величалась этимъ прозвищемъ повсюду въ народной Руси, именовавшей ее также „русальной“, „зеленою“, „клевальною“, „задушными поминками“, „разгарою“ и другими подходящими именами,—каждое изъ которыхъ находитъ свое объясненіе въ пережиткахъ славяно-русскаго язычества. По простонародному прибаутку—„Честная Масляница въ гости Семикъ звала“... и, —добавляютъ красноречивыя деревенскія,— „Честь ей за то и хвала!“ Семикъ, это собственно—четвергъ на послѣдней недѣлѣ предъ Пятидесятницею. Въ этотъ четвергъ, посвященный древнимъ язычникомъ-славяниномъ верховному богу Перуну-громовнику, совершались главнѣйшія приготовленія къ празднованію Троицына дня. Съ нимъ связано столько своеобразныхъ обычаевъ, что даже старинная народная, уцѣлѣвшая до сихъ поръ въ Костромской губ., пѣсня величаетъ его такими словами очелствивыми:

„Какъ у насъ въ году три праздника:

Первы й праздничекъ—Семикъ честной“...

И этотъ „Семикъ честной“, несмотря на разрушительное вліяніе времени, безпощадно истребляющаго все старѣющее, празднуется до нашихъ дней на всемъ пространствѣ, гдѣ только русскій человѣкъ стоитъ лицомъ къ лицу съ природою, не огражденною отъ него тѣсными стѣнами душныхъ каменныхъ городовъ. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія даже и „каменная Москва“ представляла изъ себя въ этотъ день то-же самое, что можно увидѣть теперь только въ деревнѣ. По описанію Снегирева, тогда вездѣ раздавались по Бѣлокаменной разгульныя семицкія пѣсни, по улицамъ носили изукрашенную пестрыми лоскутками и яркими лентами березку веселыя толпы народа въ вѣнкахъ изъ лѣсныхъ цвѣтовъ и изъ кудрявыхъ вѣтвей. Въ окрестныхъ рощахъ въ это время московскія дѣвушки „завивали“—связывали вѣтвями—молодыя березки и проходили подъ ихъ зелеными сводами съ поцѣлуями и особо приуроченною къ этому яркому весеннему обычаю пѣснею:

„Покумимся, кума, покумимся!

Намъ съ тобою не браниться—дружиться!“

Все было такъ-же, какъ въ захоластной глуши, гдѣ этотъ четвергъ и теперъ является желаннымъ гостемъ непритязательной сельской молодежи, по преданію—выплачивающей весеннюю дань памятнымъ пережиткамъ прошлаго. Въ Тульской губерніи семицкая березка до сихъ поръ даже и не называется иначе, какъ „кумою“, а слово „кумиться“ еще въ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ только и означало—цѣловаться при прохожденіи подъ этою-самою березкою.

„Благослови, Троица,
Богородица,
Намъ въ лѣсъ пойти,
Вѣнокъ сплести!
Ай, Дидь! Ай Ладо!..“—

—поютъ тамъ, и теперъ, а также во Владимірской, Рязанской и Калужской губерніяхъ,—собираючись въ зеленыя рощи березовыя для „празднованія честному Семику“.

Семикъ—преимущественно (а въ иныхъ мѣстностяхъ исключительно) дѣвичій праздникъ. Въ Поволжьѣ, верхнемъ и среднемъ, повсюду къ этому дню идетъ въ деревняхъ дѣвчья складчина: собираются яйца, пекутся лепешки, закупаются лакомства. Дѣвушки, цѣлыми деревнями, отправляются въ рощу, на берегъ рѣчки—завивать березки, „играть пѣсни“ и пировать. На березки вѣшаются вѣнки, по которымъ красныя загадываютъ о своей судьбѣ, бросая ихъ на-воду въ самый Троицынъ день. Вслѣдъ за пирушкою—начинаютъ водить хороводы, которые прекращаются съ Троицы до Успенья. Семицкіе хороводы сопровождаются особыми обрядами, посвященными „березкѣ-березонькѣ“, которой воздаются особыя почести—вѣроятно, какъ живому олицетворенію древней богини весны. Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ въ Воронежской губерніи приносили на семицкія пирушки куклу изъ соломы, разукрашенную березовыми вѣтками,—въ чемъ, несомнѣнно, былъ слышенъ явный отголосокъ стародавняго язычества. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Семикъ обвиваютъ лентами какую-нибудь особенно кудреватую березку, растущую на берегу рѣчки, и поютъ ей старинную пѣсню: „Береза моя, березонька, береза моя бѣлая, береза моя кудрявая!..“ и т. д. Въ Вологодской губерніи Семикъ болѣе извѣстенъ подъ именемъ „Поляны“. Это является слѣдствіемъ того, что всѣ приуроченные къ нему обычаи справляются на полянкахъ.

Семицкіе обычаи были свойственны не однимъ славянамъ. Еще у древнихъ грековъ и римлянъ существовали особыя весеннія празднества, посвященные цвѣтамъ и деревьямъ. У гер-

манцевъ былъ такъ называемый „праздникъ вѣнковъ“, въ которомъ еще болѣе общаго съ нашимъ Семикомъ. По сравнительнымъ даннымъ языческаго богословія, Семикъ является прообразомъ союза неба съ землею.

Зелень и цвѣты и теперь составляютъ отличительные признаки празднованія Троицына дня; повсюду на Руси церкви и дома украшаются въ этотъ день вѣтками березокъ—какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ. Встарину-же этому обычаю придавалось особое значеніе, связывавшее два міра—языческій съ христіанскимъ. Игрища, устраивавшіяся въ честь языческихъ божествъ, въ Польшѣ существовали даже и по истеченіи пяти вѣковъ съ принятія христіанства; по словамъ польскаго историка Длугоша ⁵⁰⁾ они назывались „Стадомъ“. Въ Литвѣ они существовали еще дольше. На Бѣлой Руси—до сихъ поръ немало общаго съ древне-польско-литовскимъ въ народныхъ обычаяхъ вообще и связанныхъ съ празднованіемъ Троицына дня наособицу.

Существуетъ повѣрье, что славянскія нимфы и наяды—русалки, живущія въ омутахъ рѣкъ, въ эту недѣлю выходятъ изъ воды. Наканунѣ Троицына дня, по малорусскому повѣрью, убѣгаютъ онѣ въ поля и заводятъ свои ночныя игры.—„Бухъ! Бухъ! Соломенный духъ!“—будто-бы кричатъ онѣ:—„Мене мати породила, некрещену положила!“ Русалки, по народному представленію—тоскующія души младенцевъ, родившихся мертвыми, или умершихъ некрещеными. Онѣ, начиная съ „Зеленыхъ Святковъ“ до Петрова дня, живутъ въ лѣсахъ, ауканьемъ и смѣхомъ зазывая къ себѣ путниковъ, которыхъ защекочиваютъ до смерти. На зеленой русальной недѣлѣ въ Малороссіи никто не купается—изъ опасенія попасть къ нимъ въ руки; Семикъ слыветъ здѣсь „великимъ днемъ русалокъ“. Предохранительнымъ средствомъ отъ русалочьихъ чаръ счи-

⁵⁰⁾ Длугошъ—извѣстный польскій историкъ, жившій въ XV-мъ вѣкѣ. Онъ родился въ 1415-мъ году, по образованію—питомецъ краковскаго университета; по окончаніи курса (діалектики и философіи), былъ секретаремъ оржевскаго епископа—будучи при этомъ посвященъ въ санъ каноника. Съ 1448 года началась его дипломатическая карьера, приблизившая его къ королевскому двору. Съ 1467 года на Длугоша былъ возложенъ трудъ обученія королевскихъ дѣтей. Передъ смертью онъ былъ избранъ въ архіепископы, но смерть опередила посвященіе его въ этотъ санъ: онъ умеръ въ 1480-мъ году. Во все время своей дипломатической и педагогической дѣятельности онъ ревностно трудился надъ историческими памятниками родины. Изъ трудовъ его—самый капитальный „Historia Polonica“, доведенная „отъ баснословныхъ временъ“ до третьей четверти XVI-го столѣтія. Вся исторія польскаго народа изслѣдуется Длугошемъ—какъ предметъ прославленія Польши и урокъ служенія государства Церкви и ея задачамъ.

тается полынь и трава „заря“. Въ Черниговской губерніи существовалъ до послѣдняго времени обычай „русалочьихъ проводъ“, когда рѣчныхъ чаровницъ изгоняли—цѣлой деревнею—парни и дѣвушки. Въ Спасскомъ уѣздѣ Рязанской губ. слѣдующее за Троицынымъ днемъ воскресенье слыветъ „русальнымъ заговѣньемъ“; вслѣдъ за проводами русалокъ прекращаются здѣсь до слѣдующей весны игры въ „горѣлки“ и „уточку“.

Встарину противъ повѣрья о русалкахъ и соединенныхъ съ нимъ народныхъ игрищъ и гаданій особенно возставали проповѣдники, обличавшіе народъ въ языческомъ суевѣрїи. Въ противовѣсъ народному празднованію разгульнаго Семика было установлено совершать въ этотъ четвергъ поминовение убогихъ, похороненныхъ въ такъ называемыхъ „убогихъ домахъ“ и „скудельницахъ“. Но не затемнилось въ народномъ обиходѣ веселое празднество: смѣхъ и пѣсни быстро смѣняли слезы и рыданія въ тотъ-же самый день.

Изъ стародавнихъ обычаевъ, связанныхъ съ этимъ праздникомъ, далеко не всѣ дошли до рубежа нашихъ дней. Многое исчезло, даже не будучи занесено на страницы народо-вѣдческихъ изслѣдованій. Въ Енисейской губ. (Минусинск. окр.) крестьянки, выбравъ на Семикъ кудрявую березку и срубивъ ее, наряжаютъ въ свое лучшее платье и ставятъ въ плѣтъ до Троицы, а затѣмъ—съ пѣснями—уносятъ ее къ рѣкѣ. Въ Казанской губ. (Чистопольск. у.) наканунѣ Троицы совершается игрище въ честь языческаго бога Ярилы. Въ Пензенской и Симбирской губерніяхъ на слѣдующій за Троицынымъ день дѣвушки, одѣвшись въ худшіе-затрапезные сарафаны, сходятся и, назвавъ одну изъ подругъ „Костромою“, кладутъ ее на доску и несутъ купать-хоронить къ рѣкѣ. Затѣмъ, сами купаются и возвращаются домой, гдѣ переодеваются во все праздничное и водятъ хороводы до глубокой ночи. Въ Орловской губ. въ Троицынъ день „молятъ коровай“, испеченный изъ муки, принесенной всѣми дѣвушками деревни въ-складчину: идутъ съ этимъ короваемъ въ рощу и поютъ надъ нимъ. Въ Псковской губ. во многихъ селахъ обметаютъ могилы пучками цвѣтовъ, принесенныхъ изъ церкви отъ троицкой обѣдни. Это называется—„глаза у родителей прочищать“. Во многихъ мѣстностяхъ на Руси въ старые годы въ этотъ праздникъ происходили смотрины невѣсть. Дѣвушки собирались на лугу и, сойдясь въ кругъ, медленно двигались съ пѣснями. Вокругъ стояли женихи и „высматривали“ невѣсть. Въ Калужской губерніи существовалъ, —а въ Орловской съ Тверской и теперь соблюдается,—обычай „кре-

щенія кукушекъ“, состоявшій въ томъ, что на семицкое гулянье въ роцѣ избранные гуляющими „кумъ“ и „кума“ надѣвали крестъ на пойманную заранѣ кукушку, или на траву, носящую ея имя („кукушкины слезы“, „кукушечій перелетъ“ и др.), клали ихъ на разостланный платокъ, садились около него и цѣловались подь звуки пріуроченной къ этому семицкой пѣсни:

„Ты, кукушка ряба,
Ты кому-же кума?“ и т. д.

Многіе изъ описанныхъ обычаевъ уже исчезли, иные—видоизмѣнились до неузнаваемости; но есть и не мало такихъ, что еще доживаютъ свой вѣкъ съ тѣмъ-самымъ обликомъ, съ какимъ были созданы народнымъ воображеніемъ въ стародавніе дни.

Троицынъ день во времена московскихъ царей всея Руси, сопровождался особой торжественностью въ царскомъ обиходѣ. Царь-государь въ этотъ великій праздникъ „являлся народу“. Царскій выходъ былъ обставленъ по особому уставу. Шелъ государь въ нарядѣ царскомъ: на немъ было „царское платно“ (порфира), царскій „становой кафтанъ“, корона, бармы, наперстный крестъ и перевязь; въ рукѣ—царскій жезль; на ногахъ—башмаки, низанные жемчугомъ и каменьями. Вѣнценоснаго богомольца поддерживали подь руки двое стольниковъ. Ихъ окружала блестящая свита изъ бояръ, разодѣтыхъ въ золотыя ферязи. Во время слѣдованія царя къ обѣднѣ свита царская шла рядомъ: люди меньшихъ чиновъ—впереди, а бояре и окольные—сзади государя. Постельничій со стряпчими несъ „стряпню“: полотенце, стулъ „со зголовьемъ“, подножье, „солношникъ“—отъ дождя и солнца и все прочее, что требовалось по обиходу.

Во всемъ блескѣ царскаго облаченія входилъ государь въ Успенскій соборъ—въ сопровожденіи бояръ и всѣхъ людей ближнихъ. Впереди всего шествія, стольники несли на ковръ пукъ цвѣтовъ („вѣникъ“) и „листъ“ (древесный, безъ стельковъ). Царскій выходъ возвѣщался гулкимъ звономъ съ Ивана Великаго „во всѣ колокола съ реутомъ“; звонъ прекращался, когда государь вступалъ на свое царское мѣсто. На ступеняхъ этого „мѣста“, обитаго атласомъ краснаго цвѣта съ золотымъ галуномъ, ближніе стольники поддерживали государя. Торжественно шла обѣдня. По окончаніи ея, передъ троицкою вечернею, подходили къ царю соборные ключари съ подобающимъ метаніемъ поклоновъ и подносили ему на ковръ древесный листъ, присланный патриархомъ. Смѣшавъ

его съ „государевымъ листомъ“ и разными травами и цвѣтами, они застилали имъ все царское мѣсто и окропляли его розовою водою. Взятымъ отъ государя листомъ они шли устилать мѣста патриаршее и прочихъ властей духовныхъ. Остатокъ—раздавался боярамъ и другимъ богомольцамъ, по всему храму. Государь преклонялъ колѣна и—какъ говорилось въ то время—„лежалъ на листу“, благоговѣнно внимая словамъ молитвы. Когда кончалась Божественная служба, онъ выходилъ изъ собора прежнимъ торжественнымъ выходомъ, „являлся народу“, привѣтствовавшему его радостными кликами, и—въ предшествіи одного изъ ближнихъ стольниковъ, несшаго „вѣникъ“ государевъ, возвращался во свои палаты царскія. Колокольный звонъ не смолкалъ во все время его слѣдованія отъ собора до дворца.

На Троицкой зеленой недѣлѣ царевны съ боярышнями увеселялись во дворцѣ играми-хороводами, подъ наблюдениемъ если не свѣтлыхъ очей самой государыни-царицы, то зоркаго взгляда верховыхъ боярынь и мамушекъ. Для игръ и хороводовъ—какъ въ царицыныхъ, такъ и въ царевниныхъ, хоромахъ были отведены особыя обширныя сѣни. Здѣсь находились и приставленныя къ царевнамъ „дурки-шутихи“, бахарь, домрачеи и загусельники со скоморохами, всѣ—кто долженъ былъ доставлять „потѣху“ и „затѣи веселыя“. Царевенъ увеселяли сѣнныя дѣвушки, „игрицы“, которыми—вѣроятно—„игрались“ тѣ-же самыя пѣсни семицкія, что раздавались въ это время подъ березками надъ водою по всей Руси, справлявшей свои стародавнія игрища во славу „Семика честнаго“ и Троицы—Зеленыхъ Святыхъ.



XXV.

Духовъ день.

Рѣчисть русскій народъ-пахарь, торовать на всякое слово красное. Многое-множество такихъ словъ сдѣлалось „крылатыми“,—не то что изъ года въ годъ, а изъ вѣка въ вѣкъ, перелетающими вмѣстѣ съ сопутствующими имъ обычаями, повѣрьями и примѣтами. Не обойденъ народнымъ краснымъ словомъ и „Духовъ день“,—какъ именуется въ народѣ слѣдующій за праздникомъ Троицы-Пятидесятницы понедѣльникъ. „До Свята-Духа не снимай кожуха!“—говоритъ деревенская Русь. Выдаются мѣстами, дѣйствительно, такія непогожія вѣсны, что только къ этому времени и перестаетъ знобить мужика холодомъ; особенно близко относится приведенное при словѣ къ русскому сѣверу, гдѣ зима-Морана долго еще даетъ о себѣ знать, несмотря на теплыя ласки Лады-весны, которая даже и отъ угрюмыхъ обитателей сѣвернаго-студенаго поморья не скрываетъ своей красной красы.

Только послѣ этого праздника и можно позабыть о морозахъ-утренникахъ вплоть до самой осени—на всемъ неоглядномъ просторѣ Земли Русской. „Съ Духова дня не съ одного неба, а даже изъ-подъ земли, тепло идетъ!“—замѣчаетъ посельщина-деревеньщина:—„Не вѣрь теплу до Духова дня!“, „Придетъ Святъ-Духовъ день,—будетъ на дворѣ, какъ на печкѣ!“, „И сиверокъ холоденъ до Духова дня!“, „Зябка дѣвица-разсада, а и та проситъ у Бога холодку послѣ Духова дня!“, „Святъ-Духъ весь бѣлый свѣтъ согрѣетъ!“, „Доживи до Троицы-Духова-дня, а тепло будетъ!“—приговариваетъ дождавшійся лѣта православный честной людъ, во многихъ мѣстностяхъ съ этого праздника, по обычаю старины, начинаю-

щій выбираться на лѣтній ночлегъ изъ душной избы въ болѣе прохладныя сѣни-клѣти.

Троица—повсемѣстный праздникъ цвѣтовъ и березокъ. На Духовъ день послѣднія остаются красоваться какъ возлѣ хатъ, такъ и въ хатахъ; цвѣты-же, вмѣстѣ съ травой устилавшіе полъ церковный во время троицой Божественной службы, подбираются богомольцами, приносятся домой и тщательно сберегаются подъ божницею: совѣтують опытные хозяева пользоваться ими—въ перемѣшку съ другимъ кормомъ—большую домашнюю животину (коровъ—въ особенности). Набожныя старухи сушатъ и толкутъ въ ступѣ принесенныя отъ дѣховской обѣдни цвѣты и бережно хранятъ порошокъ на случай болѣзни кого-нибудь въ семьѣ. Достаточно, по ихъ словамъ, во-время окурить больного благовоннымъ дымомъ этого порошка изъ „священнаго цвѣта“, чтобы недугъ пошелъ на поправку. Этимъ-же дымомъ „духомъ“ знающіе „всякое слово и всякое зелье“ люди берутся изгонять бѣсовъ изъ одержимыхъ ими („порченныхъ“, „кликушъ“).

Въ народѣ съ давнихъ поръ ходитъ сказаніе о томъ, что Духова дня, „какъ огня“, страшится бродящая по землѣ нечисть. По старинному преданію, повторяющемуся и теперь во многихъ мѣстахъ средняго Поволжья, на этотъ праздникъ—во время Божественной службы—сходить съ неба священный огонь, испепеляющій всѣхъ злыхъ духовъ, попадающихъ ему. „И бѣгутъ бѣси огня-духа“,—повѣствуетъ сѣдое народное слово,—„и мещуть ся злые духи въ бездны подземныя. И въ безднѣ безднѣ настагаетъ ихъ сила силъ земныхъ. Слышитъ вопль бѣсовскій въ сей день Господень заря утренняя, и полдень внемлетъ ему, и вечеръ—свѣте-тихій,—также до полунощи... Погибаютъ огнемъ негасимымъ бѣси, ихъ же тьма темъ... И не токмо силу бѣсовскую, разить огонь небесный всяку душу грѣшную, посягающую на Духа Свята дерзновеніемъ отъ лукавствія“...

Встарину на Духовъ день устраивались по селамъ и даже городамъ особыя, къ этому празднику нарочито приуроченныя, игрища. Еще въ 30-хъ годахъ ХІХ-го столѣтія соблюдался этотъ обычай въ Чухломскомъ уѣздѣ Костромской губерніи. Для сбора участниковъ игрища, наканунѣ вечеромъ, заранѣе избранной „большухой“ разсылались дѣвчата-послы по всѣмъ краснымъ дѣвицамъ, звали-позывали ихъ съ матерями и всѣми родственницами собраться послѣ обѣда на Духовъ день въ заранѣе опредѣленное мѣсто близъ села. Въ урочный часъ сходились гостейки, званыя прошенныя, становились въ кружокъ и запѣвали пѣсни, на это игрище положонныя. Кромѣ большу-

хи, выбирались все́мъ скопомъ двѣ дѣвушки, которыхъ обступали хороводомъ. Онѣ стояли посрединѣ, по окончаніи одной игры отдавали все́мъ поклоны и снова становились въ кругокъ, а на ихъ мѣсто выбирались двѣ другихъ. Очередь при выборѣ соблюдалась по старшинству лѣтъ: младшая пара не должна была выбираться раньше старшей. Пѣсни „игрались“ до вечера; передъ стадами (возвращеніемъ скота съ пастбища) все́ расходились по дворамъ, чтобы ночью снова сойтись на томъ-же мѣстѣ для новыхъ игръ-пѣсень хороводныхъ, продолжавшихся до самой полуночи. Все́ эти пѣсни звучать отголоскомъ свадебныхъ. Вотъ, напримѣръ, одна изъ нихъ, которую и теперь еще можно слышать во многихъ уголкахъ деревенской Руси:

„Ужь ты, улица, улица,
 Ужь ты, улица широкая!
 Трава-мурава шелкъовая!
 Изукрашена улица
 Все гудками, все скрипницами,
 Молодцами да молодницами,
 Душами красными дѣвицами.
 Не велика птичка-пташечка
 Сине море перелѣтывала,
 Садилася птичка-пташечка
 Среди моря на камышекъ:
 Слышитъ, слышитъ птичка-пташечка:
 Поеть, пляшетъ красна дѣвушка,
 Идучи она за младаго замужъ:
 Ужь ты, младъ мужъ, взвеселитель мой,
 Взвеселилъ мою головушку,
 Всею дѣвичью красоту!“

Конецъ этой пѣсни иногда измѣняется и поется такъ: „...слышитъ, слышитъ птичка-пташечка: плачетъ; плачетъ красна дѣвица, идучи она за стараго замужъ:—Ахъ ты старъ мужъ, погубитель мой! Погубилъ мою головушку, всю дѣвичью красоту!“

Въ бѣлорусскихъ мѣстахъ дѣвушки и теперь еще „завиваютъ березки“ на Духовъ день, приготовляя столько вѣнковъ, сколько у каждой завивающей—близкихъ-дорогихъ людей на Божьемъ свѣтѣ: для родимыхъ отца съ матерью, для братьевъ съ сестрами, для милыхъ-любезныхъ сердцу дѣвичьему разгарчивому. По этимъ вѣнкамъ загадывается о судьбѣ. „Русалочки-земляночки, на дубъ лѣзли, кору грызли, свалилися, забилися...“—поютъ при этомъ гаданіи. Въ бѣ-

лорусской-же округъ мѣняются ввечеру съ Духова на слѣдующій день заливѣстившіяся красавицы „перстеньками съ зеленымъ глазкомъ“—въ знакъ добраго подружества на вѣки вѣчные.

Есть села-деревни, гдѣ сохранилось старинное преданье о томъ, что передъ солнечнымъ на Духовъ день восходомъ Мать-Сыра-Земля открываетъ всѣ свои тайны. Этого не забываютъ кладоискатели и—какъ въ иныхъ мѣстахъ въ ночь подъ Ивана-Купалу (съ 23-го на 24-е юня)—ходятъ „слушатьклады“, помолясь передъ тѣмъ Святому Духу, припадая ухомъ ко груди земной. И открываются имъ „вся несказанная“ нѣдръ земныхъ и подземныхъ, но это только въ томъ случаѣ, если кладоискатель ведетъ богобоязненную-праведную жизнь. Съ первыми лучами солнца краснаго умолкаетъ вѣщая рѣчь земли, могущая сразу навсегда обогатить человѣка. Въ малорусскихъ деревняхъ-селахъ наблюдается любопытное явленіе: Троицынъ день слыветъ тамъ за „Духовъ“, въ понедѣльникъ-же справляется запаздывающее празднованіе „Троицы — Зеленыхъ Святокъ“.

Слѣпые-убогіе—калики-перехожіе поютъ на Духовъ день слѣдующее пѣсенное сказаніе („На сошествіе“), крайне любопытное въ устахъ его невѣдомыхъ слагателей, затерявшихъ въ бездонныхъ глубинахъ народной Руси:—„Во градѣ въ Ерусалимѣ, въ Давыдовомъ домѣ, тамо предъявился предивное чудо: гдѣ обитаетъ Пречистая Дѣва съ ученики Господни, со апостолы Христовы, бысть шумъ презѣльный, носиму духу бурну, идеже сѣдѣше апостолы съ Царицей Небесной Владычицей Богородицей. Тамъ проистекаетъ рѣка медоточна; источникъ духовный радость днесь исполни Троицы нераздѣльной благодатию наполни, молитвами Богородицы всѣхъ наполни странъ сего свѣта. Слышите, со апостолы приидите, въ домъ Христовъ-Давыдовъ съ любовію видите: приидите, приимите Духа Пресвятаго, Истинна Пророка, Утѣшителя Господня. Онъ совершаетъ тайны несказанны, въ Божіей церкви судьбы неизрѣченны, въ ней судятся племена, всякихъ родовъ лица; облацы раздѣляше; языцы всѣмъ да яше, ловцовъ умудряше, уста имъ отворяше, глаголомъ апостольскимъ всѣхъ удивляше. Во всякое время съ ними Духъ Святъ пребываше, въ сердцахъ почиваше, въ глазахъ цвѣтомъ цвѣташе; на всякомъ мѣстѣ въ нихъ всегда сіяше, рыбаками огненная словеса испущаше; разными языками святыми рекоша, всѣхъ евреевъ ужасаша, врагомъ страшное объявляша. Спасъ Избавитель и Духъ Утѣшитель, Отецъ безначальный, Творецъ Богъ и Сынъ едиnorodный, Боже-

ствомъ симъ равный, и Духъ сопрестольный, существомъ купно полный, Святыи Боже, отъ премудрости Твоей Творче, Святыи Крѣпкій-Сильный, во всѣхъ языцѣхъ дивный. Святыи Безсмертный Царю... Всегда азъ благодарю. Прими отъ насъ, рабовъ Твоихъ, пѣніе днесъ сію хвалу, поюще Тебѣ на вѣки, преклоняемъ свою главу. Свѣтъ пресвѣтлый нынѣ въ Ерусалимской силѣ, духомъ покрываше, шумъ бурный являше, въ Божій градъ Давыдовъ вѣрныхъ призываше, въ святой домъ духовной всѣхъ собираше, очами небесными премудро дозираше, въ жители небесные праведныхъ собираше, а грѣшныхъ на земли непокаянны оставляше, токмо Своею милостію всѣхъ покрываше...“

Восхваленіе Творца-Бога продолжается еще въ длинномъ рядѣ подобныхъ приведеннымъ пѣсенныхъ словъ, а затѣмъ стихъ переходитъ къ самимъ поющимъ-восхваляющимъ: „А мы, многогрѣшны, рабы недостойны, взыдемъ на гору съ апостолы Христовы, на истинный путь правый, отъ Отца посланныи. Посмотримъ очами умными въ зеркала небесна, вникнемъ въ свою утробу: анъ мы живемъ тѣсно, все въ насъ закрыто, будущая безвѣстна; рѣдко засвѣчаема въ сердцахъ своихъ свѣчи мѣстны; всегда погашаютъ прелести временны здѣшны: прокрикъ почтимся услышать небесный-Божьими судьбами исцѣлимъ души многогрѣшны; слышавъ Божье слово, оставимъ сласти здѣшны. Туужде дадимъ славу, поклонивше главу, тихо и умильно послѣ ангельскія пѣсни, всегда и на вѣки съ вѣрными человекъи. Чтимъ и величаемъ Небесную Царицу, со всѣми небесными силами ублажаемъ. Дабы всѣхъ святыхъ молитвами насъ Богъ не оставилъ, къ вѣчному покою благополучно переправилъ, и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, аминь!“

Кромѣ, приведеннаго, еще въ нѣсколькихъ другихъ стихахъ воспѣваютъ простодушные пѣвцы этотъ праздникъ, величая его „источникомъ радости духовной“ и призывая боголюбивыхъ слушателей приобщиться къ нимъ:

„Тайно воспещемъ, духомъ веселяща,
Словесны мысли духовно плодяща,
Яко руками, движуще устами:
Духъ Святыи съ нами!

.....
Всегда благословимъ всѣмъ владущаго
Царя и Бога, во всѣхъ могущаго.
Присно, въ единомъ Божествѣ всесильномъ
Со Отцемъ и Сыномъ!..“

Въ этотъ праздникъ Божій встрѣчаетъ посельская Русь своихъ убогихъ гостей—съ ихъ умилительнымъ пѣніемъ—наособицу привѣтливо. Духовный стихъ, болѣе чѣмъ когда бы то ни было, подходитъ къ настроенію во всемъ полагающихся на Бога и Его защиту крѣпкую потомковъ древняго пращура современныхъ русскихъ хлѣборобовъ—Микулы-свѣта-Селяниновича.

Духовъ день начинается собою на богатой преданіями отцовъ-дѣдовъ Землѣ Русской „Всесвятскую“ недѣлю, запечатлѣнную въ суевѣрной памяти народной своеобразными обрядами-обычаями, связанными съ празднествомъ-гульбищемъ въ честь древне-языческаго Ярилы.



XXVI.

Юнь-розанцвѣтъ.

Въ древнерусскомъ быту слыль юнь за мѣсяць „изокъ“ и въ то-же время „розанцвѣтомъ“ прозывался. Сосѣди и единоплеменники нашихъ предковъ звали его каждый наособицу: поляки—„червцомъ“, чехи со словаками—„червенемъ“, иллирійцы—„липанемъ“, кроаты—„иванчакомъ“ и „влинснемъ“, сербы—„смазникомъ“ и „розовымъ“, венды—„шестникомъ“, „прашникомъ“ и „кресникомъ“. Сначала выходилъ этотъ мѣсяць четвертымъ изъ двѣнадцати въ году; потомъ сталъ считаться за десятый; съ 1700-же года, по изволенію-указу Великаго Петра, началъ быть, какъ и въ наши дни, шестымъ.

Юнь—конецъ пролѣтя, начало лѣта. „Мѣсяць юнь, ау!“—приговариваютъ о немъ по многимъ мѣстамъ народной Руси, гдѣ почти вездѣ къ этому времени всѣ закрома въ амбарахъ пустымъ-пусты. „Юнь, въ закромъ вѣтромъ дунь! Поищи: вѣтъ-ли гдѣ жита по угламъ забито! Собери съ полу соринки—сдѣлаемъ по хлѣбцѣ поминки!“—подсмѣивается надъ подводимымъ съ голоду мужицкимъ брюхомъ прибауткъ посельскій, добавляющій для большей ясности, что: „Съ юньскаго хлѣба не великъ прокъ: весь разносолъ—мякина, лебеда да горькая бѣда!“ Не мало и всякихъ другихъ словечекъ крылатыхъ отъ деревни къ деревнѣ, отъ села къ селу по свѣтлорусскому простору полѣтываетъ, перекликается голосами заливыными, что струны гусельныя, звонкими. „Пришелъ юнь-розанцвѣтъ, отбою отъ работы нѣтъ!“—говорятъ въ народѣ.—„Богатъ юнь-мѣсяць, а и то послѣ дѣдушки-апрѣля крошки подбираеть!“ „Поводить юнь на работу—отобьетъ

до пѣсень охоту!“ „Что май, что іюнь—оба впроголодь!“ „Отецъ съ сыномъ, май съ іюнемъ, ходять подь окнами, Христа-ради побираются!“ „Въ іюнѣ вѣсть нечего, да жить весело: цвѣты цвѣтуть, соловьи поють!“ „Іюнь—скопидомъ, урожай мужигу копить!“ „Іюньскія зори хлѣба зорять, скорѣе дозрѣвать имъ велятъ“.

Въ пословицахъ-примѣтахъ старыхъ людей памятливыхъ дошелъ до нашихъ дней отъ старины глубокой никѣмъ—кромѣ природы, обступающей бытъ русскаго народа-пахаря,—не слагавшійся „мѣсяцесловъ“, вѣдомый каждому деревенскому старожилу.

„Мученикъ Устинъ (вспоминаемый Церковью 1-го іюня)—между маемъ и іюнь-мѣсяцемъ тытъ!“,—можно услышалъ среди посельщины-деревеньщины. Въ этотъ день запрещаетъ народное слово городьбу городить: „На Устина не городи тына!“ Примѣтливые люди сулятъ пожаръ тому домохозяину, который ослушается ихъ опасливаго совѣта. Въ этотъ-же день судятъ-загадываютъ по солнечному восходу объ урожаѣ, для чего выходятъ до зорьки въ поле и приглядываются къ солнечнымъ заигрышамъ: взойдетъ красно-солнышко на чистомъ небѣ—быть доброму наливу ржи. А бродятъ тучи по небесному всполью въ это утро—бабамъ на радость: лень-конопель уродится на-диво! Отъ Устина—два дня до Митрофана (4-го іюня). „Въ канунъ Митрофана—не ложись спать рано!“—предостерегаетъ суевѣрная деревня: въ навечеріе этого дня есть надъ чѣмъ понаблюдать тому, кто озабоченъ предстоящимъ вызрѣваніемъ политыхъ трудовымъ потомъ хлѣбовъ. Деревенскій опытъ совѣтуетъ подь Митрофана „заглядывать, откуда вѣтеръ дуетъ“. Во многихъ мѣстностяхъ Владимірской, Ярославской, Тверской, Тульской и другихъ сосѣднихъ губерній до сихъ поръ держится старинная примѣта объ этомъ. Тянетъ вѣтеръ съ полуднѣнъ—яровому хорошій ростъ!“,—говорятъ тамъ. „Дуетъ съ гнилого угла (сѣверо-западъ)—жди ненастья!“ Вѣтеръ „съ восхода“ (восточный)—къ повѣтрію (повальнымъ болѣзнямъ). „Сиверокъ (сѣверовосточный вѣтеръ)—ржи дождями заливаешь“. Встарину даже существовалъ рѣдко гдѣ не запаматованный теперь обычай „молить вѣтеръ подь Митрофана“. Старыя старухи сходились для этого за околицею ввечеру, послѣ заката солнечнаго, и—по данному старѣйшею изъ нихъ знаку—принимались выкликать по-вѣтру, размахивая при этомъ руками, слѣдующее заклинаніе: „Вѣтеръ-Вѣтрило! Изъ семерыхъ братьевъ Вѣтровичей старшой братъ! Ты не дуй-ка, не плюй дождемъ со гнилого угла, не гони трясавиць-огневиць изъ нѣруси на Русь! Ты

не сули, не шли-ка, Вѣтеръ-Вѣтрило, лютую болѣсть-помаху на православный народъ! Ты подуй-ка, изъ семерыхъ братьевъ старшой, тепломъ теплымъ, ты пролей-ка, Вѣтеръ-Вѣтрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле—на луга дожди теплые, къ порѣ да ко времячку! Ты сослужи-ка, буйный, службу да всему царству христіанскому—мужикамъ-пахарямъ на радость, малымъ ребятамъ на утѣху, старикамъ со старухами на прокормленіе, а тебѣ, буйному, надъ семерыми братьями наибольшему-старшому, на славу!⁴ Это заклинаніе, по словамъ свѣдущихъ людей, имѣло непреодолимую силу надъ вѣтрами и заставляло ихъ помогать честному люду крестьянскому, со страхомъ и трепетомъ прислушивавшемуся да приглядывавшемуся въ это переходное-тревожное время къ каждой переменѣ погоды, влияющей на ростъ хлѣбовъ.

„На Дороея (5-го іюня)—утро вечера мудренѣе!“ Въ этотъ день примѣчаютъ теченіе вѣтровъ поутру, руководясь тѣми же указаніями вѣкового сельскохозяйственного опыта, какъ и подъ Митрофана, патріарха константинопольскаго. „Придетъ Ларивонъ (преп. Иларіонъ, воспоминаемый 6-го іюня)—дурную траву изъ поля вонъ: подтыкай, дѣвки-бабы, хоботье, начинай въ яровомъ полоть!“ 7-го іюня—св. Ѳеодотъ: „тепло ведетъ—въ рожь золото леть“, на дождь наводитъ—къ тощему наливу. „За Ѳеодотомъ—Ѳеодоръ-Стратилать (8-е іюня), угрозами богатъ“. Первая угроза этого дня, по словамъ годовѣдовъ, гроза. Гремить поутру въ этотъ день раскатистый громъ—не къ добру: съ сѣномъ не уберется мужикъ во время, дождикъ-„сѣногной“ все погноить, если не поспѣшить съ уборкой, не бросить всю остальную работу. Прислушиваются мужики въ этотъ день ко грому, а бабы—постарше, подомовитѣе да попримѣтливѣе—за росами слѣдятъ, въ оба глаза глядятъ. Стратилатовы росы—вѣщія: большія—къ хорошимъ льнамъ да къ богатой коноплѣ. Но еще болѣе зорко, чѣмъ мужики-косари съ бабами, приглядываются къ этому дню землекопы-колодезники, вологжане да пермскіе выходцы.⁷ Это—ихъ завѣтный день. До сихъ поръ, платя щедрую дань суевѣрной старинѣ, соблюдаютъ они „положное“. А положено въ неписанномъ уставѣ невѣдомыхъ уставщиковъ на этотъ день не малое. Еще наканунѣ ввечеру должны приниматься они за выполненіе завѣщаннаго былыми вѣками обычая. „Съ Ѳеодора-Стратилата колодцы рой!“—гласить старина вѣщими устами знающихъ людей: „Будетъ вода въ нихъ и чиста, и пьяна, и отъ всякаго лихова глаза на пользу!“ Подъ Ѳеодоровъ день—на Ѳеодотовъ вечеръ ставятъ колодезники на тѣ мѣста, гдѣ поутру думаютъ землю копать—воду добывать

хотять, „наговоренныя“, по особому порядку-обряду изуственному, сковороды и оставляють ихъ до утра. Передъ солнечнымъ восходомъ идуть они и, съ первымъ проблескомъ краснаго солнца, снимають сковороды, чтобы загадывать по нимъ объ успѣхъ предстоящей работы: отпотѣеть, покроется выступившею каплями водою сковорода, — „многоводная жила“ на этомъ мѣстѣ; рой, благословясь, хватить пойла не то что внукамъ, а и дѣткамъ ихъ правнуковъ! Мало поту земного на сковородѣ, — мало и воды. Сухая сковорода, — впору уходить съ этого мѣста: хоть годъ въ землѣ копайся, до жилы не доберешься! А не дай Богъ — замочить наговоренную сковороду сверху дождемъ: все время, до новаго лѣта, спорины не будетъ. Крѣпко придерживается вологжанинъ-колодезникъ этой примѣты. На словахъ-то онъ — какъ на маслѣ, по старинному присловью, но и „на дѣлѣ — какъ въ Вологдѣ: свое знаетъ!“

За Ѳедоромъ-Стратилатомъ — Кирилль (9-е іюня) въ ряду стоить, на солнечному припекѣ, по красному слову народному, грѣтся. „На Кирилу — отдаеть земля солнышку всю свою силу!“ — говоритъ деревня: „Съ Кирилина дня молись солнышку-ведрышку“, — добавляетъ она: „что солнышко дастъ, то у мужика въ амбарѣ!“ На Тимоѳея (10-го іюня) — „знаменія“, просторъ суевѣрному воображенію народному. По преданію, въ этотъ день ходять-бродять по землѣ всякіе призраки, „блзнящіе глазъ человѣческой“. Старые люди видять, въ эту необычайную пору, то несмѣтныя стада мышей, пасущіяся по гумнамъ — къ голодному году, то волчьи ватаги въ поляхъ — къ скотскому падежу, то стаи черна-воронья, летящія — тучатучей — изъ-за лѣсу на деревню — къ повальному мору людей. А то, по увѣренію стариковъ, бываетъ и такъ, что, если прислушаться-припасть ухомъ къ землѣ, слышно, какъ Мать-Сыра-Земля стономъ-стонеть (къ пожару), людъ честной жалѣючи. Иному, наособицу зоркому, человѣку представиться можетъ объ эту пору и такое видѣніе, что какъ-будто по озимому полю огонь перебѣгаетъ, на яровое дымомъ тянетъ. Это — къ бездождію: выгорять хлѣба, свернетъ зерно, скосить придется всю ниву на солому. Тимоѳеевскія знаменія — грозой-грозять. Счастливо то село, гдѣ ни одному человѣку ничего не привидится въ этотъ тяжелый день! Варооломей съ Варнавою (11-го ~~мѣсяца~~ ^{іюня}) ничего не сулятъ, ничѣмъ не грозять народу православному: что Богъ дастъ, то и будетъ; какъ проведетъ человѣкъ посвященный имъ день (во грѣхъ, или по праведному), то ему и станется, независимо отъ какихъ-либо особыхъ примѣтъ.

12-е іюня престонародный мѣсяцесловъ зоветь днемъ „Пет-

ра-капустника"; на него высаживается на огороды послѣдняя, запоздалая, расада. Съ этого—самаго длиннаго зѣ-лѣто—дня, по народному слову, солнце укорачиваетъ ходъ, мѣсяць—на прибыль идетъ, солнце поворачивается на зиму, а лѣто—на жары. На-утро—„Акулины-гречишницы“ (13-е іюня). По примѣтамъ: „сбѣй гречиху или за недѣлю до Акулинь (смотря по мѣстности и погодѣ), или спустя недѣлю послѣ Акулинь“. Ни одинъ другой хлѣбъ не требуетъ такой осторожности при посѣвѣ (см. гл. II).

За „Акулиной-гречишницей“ слѣдомъ „Елисей-гречкосѣй“ на Землю Русскую выходитъ (14-го іюня). „Придетъ пророкъ Амосъ (15-е іюня)—пойдетъ въ ростъ и овесъ“. 16-го іюня, на Тихоновъ день, начинаютъ затихать пѣвчія птицы; одинъ соловейко голосистый еще не сдаетъ голоса,—пѣть ему всю соловьиною мочь до Петрова дня. На Тихона живутъ во многихъ селахъ „толоки“—пѣмочи, торопятся всѣ унавозить поля подъ паръ. Вечеру этимъ днемъ молодежь „въ назмы играетъ“: хороводы водить. Пройдутъ еще сутки, а тамъ—и „Ѳедуль (18-е іюня) на дворъ заглянулъ: пора серпы зубрить, къ жнитвамъ готовится зѣгода“. Съ 19-го числа (день мученика Зосимы) пчелы начинаютъ медѣ запасать, соты заливать. На Меѳодія „перепелятника“ (20-го іюня)—всякому охотнику до перепелиной ловли большая забота: примѣчать—носятся-ли тенетникъ-паутина надъ ржанымъ полемъ, толкется-ли кучами мошкарѣ надъ хлѣбами. Все это—примѣты того, что много перепеловъ лѣтомъ будетъ. Въ этотъ день стараются перепелятники изловить непременно хоть одного перепела: это—залогъ вѣрной удачи на все лѣто. Если кому выпадетъ счастье поймать бѣлаго „князь-перепела“, то онъ навсегда обезпеченъ ловлею: перепела-де сами такъ и летятъ къ тому, чуть въ руки прямо не валятся. Встарину завзятые охотники цѣлыми недѣлями искали такого счастья. „За Меѳодіемъ-перепелятникомъ Ульянъ (21-е іюня) Ульяну (22-е) кличетъ“. 23-е число—„Аграфены-Купальницы“, „лютые коренья“. Этотъ и слѣдующій („Ивана Купалы“) дни окружены въ народномъ представленіи тѣсными рядами повѣрій, обычаевъ и обрядовъ, вызывающихъ въ памяти народа древнеязыческія „купальскія“ празднества (см. гл. XXVIII).

„На Тифинскую“ (26-го іюня, въ день явленія Тихвинскія иконы Пресвятыя Богородицы)—земляника заспѣваетъ, красныхъ дѣвокъ въ лѣсъ по-ягоды зоветъ. Если на Самсоновъ день дождь, быть всему лѣту мокрому—по народной примѣтѣ—вплоть до бабьяго лѣта (до самаго сентября). Если-же на Самсона ведро—семь недѣль ведро стоять будетъ. Въ Сибири,

по словамъ старожиловъ, въ сороковыхъ годахъ XIX-го столѣтїя почти повсемѣстно соблюдался стародавній деревенскій обычай приводить въ этотъ день („на Николу обыденнаго“) лошадей къ церкви, служить молебны о благополучїи ихъ и кропить водою. „Герману (28-е іюня) до Петрова-дня—черезъ порогъ шагнуть, рукой подать!“

Конецъ Петровка, рѣзговѣнье Петрова поста на Руси стоить, по всѣмъ деревнямъ лягъ-звонъ идетъ: косы отгачиваютъ, къ косьбѣ снаряжаются. „Строй косы къ Петрову дню, такъ будешь мужикъ!“, „Съ Петрова дни зеленый покосъ!“, „Не хвались, баба, что зеленъ лукъ, а смотри: каковъ Петровъ день!“—гласятъ старинныя поговорки. А іюнь-мѣсяць уже готовится передать свое мѣсто на родной землѣ іюлю-„сѣнозорнику“, — „макушка лѣта черезъ прясла глядитъ“. 30-го іюня—„двѣнадцать апостоловъ весну кличуть, вернуться просятъ“; да поздно, простилась умывающаяся трудовымъ потомъ деревня съ красною давно уже — „до новыхъ сороковъ (9-го марта), до новыхъ жаворонковъ“.

„Весна-красна,
Ты когда, весна, прошла?
Ты когда, весна, проѣхала?
На кого, весна, вспокинула
Своихъ дѣтушекъ,
Малолѣтушекъ?“

Льетса-звенить на послѣдней „окличкѣ“ весны заунывная, смѣнившая „веснянки“, пѣсня поминающихъ весну дѣвушекъ, собирающихся—на солнечномъ закатѣ въ канунъ 1-го іюля—на берегу рѣки. „Поминки“ сопровождаются пирушкою: пьетса брага, сооружается „мірская яичница“, водятся послѣдніе весенніе хороводы.

Въ старые годы въ этотъ прощальный іюньскій вечеръ „хоронили весну“. Ее изображала соломенная кукла, наряженная въ красный сарафанъ и кокошникъ съ цвѣтами. Куклу носили на рукахъ по селу, съ пѣснями, а потомъ бросали въ рѣку, послѣ чего и начиналась пирушка-тризна, посвященная послѣднимъ проводамъ отжившей свой короткій, „воробьиный“, вѣкъ Весны-Красной. „Помянулі весну—прощай, розанцвѣтъ!“—говорятъ на посельской-попольной Руси.



XXVII.

Ярило.

Сопутствующая Троицъ—Духову дню, первая по Пятидесятницъ, седмица, именуемая Всесвятскою („Всѣхъ Святыхъ“), совпадаетъ въ народной Руси съ живучею-неумирающей памятью о стародавнихъ игрищахъ-гульбищахъ въ честь древне-языческихъ Костромы и Ярилы. Последнее имя тождественно съ Яровитомъ, Яръ-Хмѣлемъ, Свѣтлояромъ и другими божествами, чествовавшимися въ качествѣ покровителей земного плодородія—во всѣхъ его многообразныхъ проявленіяхъ, начиная съ растительнаго міра и кончая человекомъ. Эту, предшествующую Петрову посту, недѣлю во многихъ мѣстахъ зовутъ „Русалочьимъ заговѣнемъ“ и во время нея развиваютъ кудрявые семицкіе-троицкіе вѣнки.

О гульбищѣ-игрищѣ „Костромѣ“ меньше всего знаютъ костромичи-великороссы. Оно занесено въ народную Русь отъ мери ⁵¹⁾ и справляется въ настоящее время только въ самой захолустной глуши Пензенской и Симбирской губерній, да въ Муромскомъ уѣздѣ Владимірской. А. Н. Аванасьевъ отождествляетъ названіе этого игрища съ тѣмъ, что изображавшая въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ „Кострому“ кукла дѣлалась изъ соломы, всякихъ сорныхъ травъ и кудельной костриги (отбросовъ), и приводитъ названія растущихъ во ржи травъ—„костра“, „кострѣцъ“, „костера“ и т. д. Колючія и цѣпкія (сорныя) травы встарину представлялись какъ-бы подобіями

⁵¹⁾ Мери—древнее финское племя, платившее дань варягамъ. Область поселенія этого, слившася со славянами, племени захватывала все среднее Поволжье, съ одной стороны по сосѣдству съ кривичами и вятичами, а съ другой—съ мешчерою, мурою и пермью.

молній громовержца-Перуна, многія черты облика котораго были перенесены на Ярѣ-Хмѣля и слились съ нимъ нераздѣльно. Въ тридцатыхъ годахъ XIX-го столѣтія это происходило такъ. Созывались со всей деревни, собирались въ заранѣе облюбованное мѣсто красныя дѣвушки, шли въ простомъ—не-праздничномъ нарядѣ, становились въ кружокъ на лугу. Одной изъ красавиць доставался жребій—изображать собою „Кострому“. Становилась она съ потупленною-повинной головою, подходили къ ней всѣ другія дѣвушки, поклонъ за поклономъ ей отвѣшивали, брали-кляли ее на широкую доску бѣлодубовую, относили ее, съ припѣвами голосистыми, на берегъ рѣки. Здѣсь принимались будить притворяющуюся спящею „Кострому“, поднимали ее за руки; затѣмъ—начинали купаться, обливая водой другъ-другу; которая-нибудь изъ дѣвушекъ оставалась при этомъ на берегу, держала лубяное лукошко и била въ него кулакомъ, какъ въ барабанъ. Съ купанья всѣ отправлялись, въ прежнемъ порядкѣ, въ деревню; тамъ, дома, переодѣвались въ цвѣтнѣ платье—красенъ-праздничный нарядъ, выходили на улицу и водили хороводы.

Въ Муромскомъ уѣздѣ „Кострому“ изображала не выбранная дѣвушка, а кукла, обмотанная разноцвѣтнымъ тряпьемъ. На игрище выходили не только однѣ красны-дѣвицы, но и парни молодые.

Одѣвали-наряжали „Кострому“ подъ особыя, приуроченныя къ этому, пѣсни. „Кострома, моя Костромушка, моя бѣлая лебедушка! У моей-ли Костромы много золота, казны. У костромскаго купца была дочка хороша, то Костромушка была, Костромушка, Кострома, лебедушка-лебедь!“ — запѣвается, напимѣръ, одна изъ нихъ, наиболѣе отвѣчающая своему назначенію. „У Костромы-то родства—Кострома полна была; у Костромина отца было всемеро. Кострома-то разгулялась, Кострома-то расхвалилась. Какъ Костроминь-то отецъ сталъ гостей собирать, гостей собирать, большой пиръ затѣвать; Кострома пошла плясать, а чужіе-то притаптывать: Кострома, Кострома, то Костромушка была!..“ —продолжается пѣсня, чѣмъ дальше—тѣмъ становясь все веселѣй-звончѣе: „Я къ тебѣ, кума, незваная пришла; я-ли тебя, Костромушка, за рученьку возьму, виномъ съ макомъ напою, въ хороводъ тебя введу. Стала Кострома поворачиваться, съ вина-маку покачиваться; вдоль по улицѣ пошла, на подворьице шла, на подворье костромское, на купецкое. Кострома-ли, Кострома, то Костромушка была...“ Къ концу подходитъ пѣсня—съ-развальцемъ: „Костромушка расплясалась, Костромушка разы-

гралась, вина съ макомъ нализалась. Вдругъ Костромка повалилась: Костромушка умерла. Костромушка, Кострома!..* Последняя часть пѣсни говоритъ прямо о томъ, что совершается передъ пѣвухами голосистыми:

„Къ Костромѣ стали сходитьсь,
Костромушку убирать
И во гробъ полагать.
Какъ родные-то стали тужить:
По Костромушкѣ выплакивати:
—Была Кострома весела,
Была Кострома хороша!
Костромушка, Кострома,
Наша бѣлая лебѣдушка!“

Допѣвъ пѣсню, брали одѣтую куклу—„Кострому“ на руки и съ новыми припѣвами несли на рѣку, гдѣ участники гульбища разбивались на двѣ стороны. Одна сторона становилась о-бокъ съ куклою, и всѣ ей молодцы и молодницы кланялись Костромѣ въ-поясъ. Въ это время другіе внезапно кидались на нихъ и старались похитить куклу. Завязывалась борьба, въ которой побѣдителями являлись нападающіе; они повергали Кострому наземь, топтали ея ногами, срывали съ нея лохмотья и—подъ громкій раскатистый смѣхъ и дикіе выкрики—бросали ее въ воду. Побѣжденные должны были оплакивать отнятую у нихъ куклу и жалобно причитать, закрывая лицо руками:

„Умерь, умерь Кострубынька,
Умерь-померь голубынька!
Утонула-померла
Кострома, Кострома...“ и т. д.

Вслѣдъ за этимъ и побѣжденные, и побѣдители сходились вмѣстѣ и общей гурьбою шли—съ веселыми пѣснями—къ деревнѣ, гдѣ до глубокой ночи плясали въ честь утопленницы-Костромы, поминаючи ее пѣснями въ-родѣ:

„Кострома, Кострома,
Ты нарядная была,
Развеселая была,
Ты гульливая была“...

Нѣкоторые народовѣды видятъ въ потопленіи-похоронахъ Костромы тѣнь того отдаленнаго былого, когда киевляне-язычники бѣжали по теченію Днѣпра-Словутича вслѣдъ за

уплывавшимъ-тонувшимъ дубовымъ идоломъ Перуна—съ кличемъ—„Выдыбай, боже!“ Это сопоставленіе имѣетъ свое непреложное основаніе.

„Празднованіе Костромъ“ начинается все болѣе и болѣе отходить въ кругъ забытыхъ преданій славяно-русскаго язычества. Но Ярилу—чествуютъ еще и теперь во многихъ мѣстахъ на неоглядно-широкомъ просторѣ народной Руси,—хотя и не съ тою уже яркоцвѣтной пестрядью обрядностей, какъ въ старые годы далекіе. Ярилинъ праздникъ, переходящій, смотря по мѣстности, со дня на день по всей Всесвятской недѣлѣ, но въ большинствѣ случаевъ приурочивающійся къ ея послѣднему дню—заговѣнью на Петровъ постъ (воскресенью), сопровождается торжками-ярмарками, кулачными боями („стѣнка на стѣнку“, деревня—на деревню), попойками и разгульными игрищами. Тверская, Костромская, Владимірская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская, Симбирская (наприм., село Карлинское Сенгилеевскаго у. и друг.) и Воронежская губерніи помнятъ Ярилинъ разгулъ веселый и въ наши дни. Но ярче всего воспоминаніе о немъ—въ бѣлорусскихъ селахъ-деревняхъ.

Ярило—сродни древне-греческому Эроту и въ то-же время не чуждъ Вакху и Аресу (а также и Фрейру древнихъ германцевъ). И всѣ они имѣютъ не мало общаго со всеславянскимъ Перуномъ. Веселый-разгульный богъ страсти-удали представляется народному воображенію молодымъ красавцемъ—красоты неописанной; въ бѣлой епанчѣ сидитъ онъ посадкой молодецкою на своемъ бѣломъ конѣ; на русыхъ кудряхъ у него возложенъ вѣнокъ цвѣточный, въ лѣвой рукѣ у него горсть ржанныхъ колосьевъ; ноги у Ярилы—босыя. Развѣзжаетъ онъ по полямъ-нивамъ, рожь растить—народу православному на радость на веселую. Онъ—представитель силы могучей, удали богатырской, веселья молодецкаго, страсти молодой-разгарчивой. Все, что передаетъ животворящему лѣту весна,—все это воплощается въ немъ по прихотливой волѣ суевѣрнаго народнаго воображенія. Взглянетъ Ярило на встрѣчнаго—тотъ безъ пива пьянъ, безъ хмѣлю хмѣленъ; встрѣтится взоромъ Ярѣ-Хмѣль съ дѣвицей-красавицею,—мигомъ ту въ жаръ бросить: такъ бы на шею кому и кинулась... А вокругъ него, по всему его пути, по дорогѣ Ярилоной, цвѣты зацвѣтають-цвѣтутъ, что ни шагъ, что ни пядь—все духовитѣй, все ярче-цвѣтистѣе.

„Видно“,—говорилъ въ XVIII-мъ вѣкѣ о своей паствѣ свя-

титель Тихонъ I-й воронежскій ⁵²⁾, — „что древній иѣкакій былъ идолъ, прозываемый именемъ Ярило, который въ сихъ странахъ за бога почитаемъ былъ, пока еще не было христіанскаго благочестія. А иные праздники сей, какъ я отъ здѣшнихъ старыхъ людей слышу, называютъ игрищемъ, которое издавна началось и годъ отъ году умножается, такъ что люди ожидаютъ его, какъ годового торжества. Но, когда онъ приспѣетъ, то убираются празднующіе въ лучшее платье. Начинается онъ въ среду или въ пятокъ по сошествіи Св. Духа и умножается черезъ слѣдующіе дни, а въ понедѣльникъ первый поста сего (Петрова) оканчивается“...

А въ это время въ Воронежѣ разодѣтыя толпы празднаго народа сходились на городскую площадь. Здѣсь рѣшалось съ общаго согласу: кому ходить въ этомъ году за Ярилу. Выбраннаго замѣстителя веселаго бога стародавней посельской Руси наряжали въ пестрый кафтанъ, обвѣшивали лентами и цвѣточными перевязями, прикрѣпляли къ рукавамъ и поламъ бубенчики-колокольчики, голову накрывали разукрашеннымъ колпакомъ бумажнымъ съ пѣтушиными перьями, а въ руку давали деревянную колотушку—олицетвореніе громовой палицы. Подъ стукъ, крикъ и громъ шествовалъ „Ярило“ по площади, пѣлъ, приплясывалъ, увеселяя и безъ того веселую, предававшуюся хмѣльному разгулу, толпу. Длился разгулъ до глубокой ночи, переходя иногда въ разнузданное игрище, вызывавшее со стороны богобоязненныхъ домовитыхъ людей-семьянъ не лишеныя справедливости нареканія.

По другимъ мѣстамъ (въ Малороссіи) „хоронили Ярилу“. Для этого вляли особо приготовленную куклу, долженствовавшую изображать веселаго Ярѣ-Хмѣля, въ гробѣ-колоду и носили по улицамъ съ причетами заунывными. Бабы подходили ко гробу и „плакали голосомъ“. Мужики поднимали куклу, трясли ее и, какъ-будто стараясь разбудить, приговаривали: „Баба не бреше, вона знае, що їй солодче меду!“ Бабы продолжали голосить навзрыдъ. Наконецъ, гробъ закапывали въ землю и принимались справлять по похороненномъ веселую тризну разгульную,—словно съ той цѣлью, чтобы поскорѣе забыть о причиненномъ смертью веселаго Ярѣ-Хмѣля горѣ-гореваньицѣ. Быть можетъ, объ одной изъ подобныхъ

⁵²⁾ Тихонъ I-й—епископъ, названный такъ въ отличіе отъ II-го (Задонскаго), соименнаго съ нимъ воронежскаго архипастыря, причтеннаго Православною Церковью къ лику святыхъ. Онъ оставилъ по себѣ память неутомимой борьбою противъ народныхъ суевѣрій, оскорблявшихъ своимъ существованіемъ христіанское достоинство.

тризнь писалъ въ XVI-мъ вѣкѣ игумень Памфилъ ⁵³⁾ въ своемъ псковскомъ посланіи: „...и тогда во святую ту ночь мало не весь градъ взматется и възбѣсится. Стучать бубны и гласъ сопѣлій и гудуть струны, женамъ же и дѣвамъ плесканіе и плясаніе, и главамъ ихъ наживаніе, ушамъ ихъ непріязненъ кличь и вопль, всескверненныя пѣсни, бѣсовская угодія свершахуся, и хребтомъ ихъ вихляніе, и ногамъ ихъ скаканіе и топтаніе; ту же есть мужемъ же и отрокомъ великое прельщеніе и паденіе, но яко на женское и дѣвическое шатаніе блудно имъ възрѣніе, такоже и женамъ мужатымъ беззаконное оскверненіе и дѣвамъ растлѣніе“... Все это не могло не оскорблять христіанскаго нравственнаго чувства прежде всего потому, что совершалось во дни, на которые, по уставу церковному; возлагалось приготовленіе къ посту, соединенное съ молитвами къ Собору Всѣхъ Святыхъ.

Упоминаемая въ Несторовой лѣтописи „игрища межю селы“, на которыхъ радимичи ⁵⁴⁾, вятичи ⁵⁵⁾, сѣверяне ⁵⁶⁾ и древляне ⁵⁷⁾ „умыкаху жены собѣ“, по времени и обстановкѣ, какъ нельзя болѣе совпадали съ тѣми-же гульбищами въ честь веселаго Ярилы.

Стародавній, освященный вѣками обычай, многіе и многіе годы спустя послѣ исчезновенія изъ памяти народнои первобытнаго брака-умыканія, заставлялъ матерей еще не такъ давно (въ концѣ XVIII-го столѣтія) посылать дѣвушекъ „не-

⁵³⁾ Памфилъ—игумень Спасо-Елиазарова монастыря, жившій въ XV-XVI вѣкѣ. Изъ его проповѣдническихъ трудовъ особой извѣстностью пользуется „Посланіе псковскому намѣстнику“ (1505 г.).

⁵⁴⁾ Радимичи—древнее племя славяно-русскаго корня, обитавшее по бассейну р. Сожи (притокъ Днѣпра). Они явились главнымъ ядромъ бѣлорусской народности и до сихъ поръ не утратили въ лицѣ послѣдней своихъ характерныхъ особенностей.

⁵⁵⁾ Вятичи—славянское, болѣе всего родственное ляхамъ (полякамъ), племя, нѣкогда населявшее Калужскую, Тульскую, Орловскую, Московскую и Смоленскую губерніи. Названіе они получили отъ вождя Вятко, выведшаго свой народъ съ Запада на берега Оки. Впослѣдствіи земля вятичей вошла въ составъ Черниговскаго княжества. Въ татарское нашествіе она была совершенно разорена. Имя вятчѣй, слившихся съ русскими, навсегда исчезло изъ лѣтописей въ XIII-мъ вѣкѣ.

⁵⁶⁾ Сѣверяне—славянское племя, обитавшее по берегамъ рѣкъ Десны и Сулы и еще на зарѣ нашей государственной жизни вошедшее въ великорусскую семью. Главный городъ сѣверянъ—Любечъ.

⁵⁷⁾ Древляне—славяно-русскіе насельники бассейна Припяти, Случи и Тетерева. Они обитали въ лѣсахъ, откуда и получили свое названіе. Еще въ X-мъ вѣкѣ существовали у нихъ свои мелкіе владѣтельные князьки. Какъ только земля древлянская вошла въ составъ Кіевского княжества, такъ и самое имя этого племени исчезло, затерявшись въ народной Руси.

вѣститься на яринныя игрища. На послѣднихъ допускалось самое свободное обращеніе молодежи обоего пола между собою. Въ память этого еще и теперь въ началѣ Всесвятской недѣли происходитъ мѣстами „смотрѣніе невѣсть“, для чего послѣднія сходятся въ зеленой рощѣ и проводятъ цѣлый день въ играхъ да пѣсняхъ; а парни ходятъ — высматриваютъ каждый пару себѣ по-сердцу. При этомъ, впрочемъ, все сопровождается полной благопристойностью. Собраннымися затѣвается игра „въ горѣлки“. Высмотрѣвшіе себѣ невѣсть становятся попарно съ приглашенными имъ дѣвками въ длинный рядъ; одинъ изъ нихъ, которому выпадетъ жребій „горѣть“, выступаетъ впередъ всѣхъ и выкликаетъ: „Горю, горю, пень!“ — „Чего ты горишь?“ — спрашиваетъ его какая-нибудь дѣвица-красавица. — „Красной дѣвицы хочу!“ — „Какой?“ — „Тебя, молодой!“ Послѣ этого одна пара бросается въ разныя стороны, стараясь снова схватиться руками, а „горѣвшій“ пытается поймать дѣвушку прежде, чѣмъ она успеетъ сбѣжаться со стоявшимъ съ нею раньше парнемъ. Если „горящій“ поймаетъ дѣвушку, то становится съ ней въ пару, а оставшійся одинокимъ „горить“ вмѣсто него; а не удастся поймать, — онъ продолжаетъ гоняться за другими парами.

На Всесвятской (Ярильной) недѣлѣ, по суевѣрному пред-
ставленію народа, особенно неотражимую силу имѣютъ всевоз-
можныя любовныя заговоры — на присуху, на газнобу да
на разгару. „На морѣ на Кіянѣ“, — гласитъ одинъ, подобный
заговоръ, — „стояла гробница, въ той гробницѣ лежала дѣви-
ца, раба Божія (имя рекъ)! Встань-пробудись, въ цвѣтное
платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай свое серд-
це ретиво по рабѣ Божіемъ (имя рекъ) и дайся по немъ въ
тоску и печаль!“ Въ другомъ заговорѣ развивается болѣе ши-
роко та-же основная мысль: — „Встану я, рабѣ Божій, и вый-
ду въ чистое поле. Навстрѣчу мнѣ Огонь и Полямя и буенъ
Вѣтеръ. Встану и поклонюсь имъ низешенько и скажу
такъ: гой еси, Огонь и Полямя! Не палите зеленыхъ луговъ
а ты, буенъ Вѣтеръ, не раздувай Полямя, а сослужите служ-
бу вѣрную, великую: выньте изъ меня тоску тоскучую и су-
хоту плакучую, понесите ее черезъ боры — не потеряйте, че-
резъ пороги — не уроните, черезъ море и рѣки — не утопите,
а вложите ее въ рабу Божію (имя рекъ) — въ бѣлую грудь,
въ ретивое сердце, и въ легкія и въ печень, чтобъ она обо
мнѣ, рабѣ Божіемъ, тосковала и горевала денну и ночну и
полночну, въ сладкихъ ѣствахъ бы не заѣдала, въ меду, пи-
вѣ и винѣ не заливала.“ Третій заговоръ заканчивается
еще болѣе опредѣленной картиною: „...какъ всякій человекъ

не можетъ жить безъ хлѣба, безъ соли, безъ питья, безъ вѣжи, такъ бы не можно жить рабѣ Божіей безъ меня, раба; сколь тошно рыбѣ жить на сухомъ берегу безъ воды студеныя, и сколь тошно младенцу безъ матери, а матери безъ дитяти, столь бы тошно было и ей—рабѣ Божіей (имя рекъ)—безъ меня, раба“...

Лихіе люди, умышляющіе злобу на своего ближняго, „вынимають слѣдъ“ у него въ эти дни, и, по преданію, это является особенно дѣйствительнымъ средствомъ. Чтобы избавиться отъ такого чарованія, многіе—по свидѣтельству Н. П. Костомарова—⁵⁸⁾ служатъ молебны съ водосвятиемъ и кропятъ „свяченой“ водою въ день Всесвятскаго заговѣнья все, что ихъ окружаетъ.

Есть мѣстности, гдѣ Ярилинъ праздникъ начинается тѣмъ, что дѣвушки—цѣлымъ хоромомъ—выбираютъ изъ себя одну, наряжаютъ ее всю въ цвѣты и сажаютъ на бѣлаго коня. Всѣ участницы игрища одѣты въ праздничные наряды, съ вѣнками изъ полевыхъ цвѣтовъ на головахъ. На Бѣлой Руси поютъ при этомъ пѣсню о богѣ-Ярилѣ и его радостномъ-веселомъ хожденіи по свѣту бѣлому:

⁵⁸⁾ Николай Ивановичъ Костомаровъ—русскій историкъ; родился 4-го мая 1817 года въ слободѣ Юрасовкѣ, Острогожскаго у. Воронежской губ., въ помѣщичьей семьѣ. Отецъ его былъ женатъ на крѣпостной крестьянкѣ и былъ убитъ за жестокость своимъ крѣпостными. Н. П-чъ воспитывался въ воронежскомъ частномъ пансіонѣ, а затѣмъ въ воронежской гимназій, по окончаніи курса которой (въ 1833 г.) поступилъ въ харьковскій университетъ (на историко-филологическій факультетъ). Съ 1835 года онъ—будучи студентомъ—ревностно предавался изученію сторіи. По окончаніи университетскаго курса онъ нѣкоторое время провелъ на военной службѣ. Въ 1837-мъ году, выйдя изъ полка, Н. П-чъ—предпринялъ изученіе мѣстнаго, народнаго быта, являвшееся по его убѣжденію—необходимымъ для историка. Изучивъ малороссійскій языкъ, онъ совершилъ цѣлый рядъ экскурсій по краю южно-русскихъ историческихъ преданій. Въ 1838-мъ году онъ выступилъ въ печати—съ малорусскими произведеніями подъ псевдонимомъ Іереміи Галки, подъ которымъ выпустилъ въ 1839—41 г. двѣ драмы и нѣсколько сборниковъ стихотвореній. Въ 1842-мъ году вышла изъ печати первая историческая работа его—„О значеніи уніи въ Западной Россіи“. Эта книга, однако, была изъята изъ обращенія вслѣдствіе слишкомъ страстнаго отношенія автора къ нѣкоторымъ обоюдострымъ вопросамъ. Въ 1843-мъ году Н. П-чъ представилъ диссертацию „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи“, за которую и получилъ степень магистра. Нѣкоторое время онъ былъ учителемъ въ ровненской и кievской гимназійхъ, въ 1846-мъ году избранъ преподавателемъ русской исторіи въ кievскій университетъ, гдѣ былъ только годъ съ небольшимъ, потому-что былъ вынужденъ переѣхать въ Саратовъ. Здѣсь онъ усердно работалъ надъ монографіей о Богданѣ Хмѣльницкомъ и началъ новый трудъ—о внутреннемъ бытѣ московскаго государства. Послѣ поѣздки за границу, въ 1856—57 г., онъ (въ Саратовѣ-же) написалъ „Бунтъ Стѣнки Разина“. Въ

„А гдѣжь іонъ нагою —
Тамъ жито капою,
А гдѣжь іонъ ни зыре —
Тамъ коблѣ зацвѣцѣ!..“

И были дни, по словамъ все знающихъ, всякій сказъ помнящихъ старыхъ людей, когда передъ искриющимся вешней цвѣтенью взоромъ Ярилы—бога плодотворенія земного—все цвѣло-колосилось.

Всесвятскія народныя гулянья во многихъ мѣстностяхъ справляются по кладбищенскимъ погостамъ. Проводы Ярилы—одновременно и проводы весны. Въ степныхъ губерніяхъ по селамъ происходитъ на Всесвятское заговѣнье развиваніе вѣнковъ. Деревенская молодежь—женщины, дѣвушки, парни и ребятишки—гурьбой идетъ на рѣку, или на родникъ, со своими завитыми передъ Троицею березовыми вѣнками. Водятся хоробы; затѣмъ—вѣнки бросаются въ воду. Парни достаютъ вѣнки приглянувшихся имъ дѣвушекъ; тѣ отдариваютъ ихъ поцѣлуями. Каждый получившій такой поцѣлуй считается „кумомъ“ поцѣловавшей женщины, а для дѣвушки—„краснымъ молодцемъ“. Всѣ поютъ и пляшутъ въ вѣнкахъ на головѣ, потомъ—возвращаютъ вѣнки, кому каковой слѣдуетъ. Женщины немедленно развиваютъ свои, дѣвушки—несутъ домой, гдѣ хранить ихъ до будущей „радости“—свадьбы. Въ Симбирской и Костромской губерніяхъ на Всесвятское заговѣнье еще со-всѣмъ недавно возили по деревенскимъ улицамъ въ телегѣ, запряженной гусемъ-парою лошадей, чучело Ярилы,—причемъ куклу держала на колѣняхъ старуха старая. Вечеромъ „Ярилу“ топили въ рѣкѣ.

1859-мъ году открылись его историческія лекціи въ с-петербургскомъ университетѣ, въ которыхъ выразилась вся самобытность этого замѣчательнаго русскаго историка. Лекціи его пользовались громаднымъ успѣхомъ. Въ это время появился рядъ его очерковъ въ „Современникѣ“, „Русскомъ Словѣ“, а также въ малорусскомъ журналѣ „Основа“. Въ 1862-мъ году Н. И. Костомаровъ вышелъ изъ состава профессоровъ с-петербургскаго университета. Одинъ за другимъ печатались новые историческіе труды его: „Сѣверно-русскія народоправства“, „Смутное время московскаго государства“, „Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой“, „Объ историческомъ значеніи русскаго гѣсеннаго народнаго творчества“. Въ 1872-мъ году онъ началъ свою „Русскую исторію въ жизнеописаніяхъ главнѣйшихъ ея дѣятелей“. Послѣднія работы его помѣщены въ „Вѣстникѣ Европы“ (между прочимъ—романъ-хроника „Кудеяръ“). Работая надъ новыми историческими изслѣдованіями, онъ умеръ 7-го апрѣля 1875 года. Здоровье его было подорвано долгой болѣзнью. Могила Н. И. Костомарова находится на петербургскомъ Волковомъ кладбищѣ.

Въ ярославскомъ Пошехоньи воскресенъ „Всѣхъ Святыхъ“ зовется „крапивнымъ заговѣньемъ“. Въ этотъ день парни и дѣвушки красныя, собирающіяся на гулянку, жгутъ другъ-другу крапивою. Этотъ обычай является пережиткомъ древнихъ „русальихъ проводовъ“, первоначально приурочивавшихся къ купальскимъ играмъ, а затѣмъ перенесенныхъ на Всесвятское воскресенъ.

Почти повсемѣстно сохранился древній обычай—ходить на Всесвятской недѣлѣ—въ-гости къ покойникамъ, на могилки. Здѣсь всѣ угощаются, оставляя чѣмъ угоститься и лежащимъ въ землѣ сырой. Нищая братія собираетъ въ эти семь дней обильную дань отъ щедротъ православныхъ. Мѣстами угощаютъ не однихъ покойниковъ, но и домовыхъ: уходя изъ дому, оставляютъ столъ накрытымъ и уставленнымъ различными кушаньями и напитками. Великое счастье ожидаетъ, по народному повѣрью, того домохозяина, который вернувшись домой, найдетъ все приѣданнымъ и выпитымъ.

„На Всесвятской недѣлѣ—всякій кусокъ святъ!“—говорятъ въ народѣ.—„Невѣстится невѣста, а будетъ-ли толкъ—Всѣ-Святые скажутъ!“, „Святая недѣля—красная, Всесвятская—пестрая!“, „Всѣ Святые съ однимъ богатыремъ—Ярилой борятся, совладать не смогутъ!“, „Ярило яровыя яритъ!“, „На Ярилу торгъ, на торгу—толкъ. Толкъ-то есть, да истолканъ весь!“—приговариваетъ деревня относительно этого времени, не считая возможнымъ обойти его молчаніемъ. „Ярило Купалу кличетъ!“—продолжаетъ сыпать прибаутками краснословъ-народъ:—„Отъ Ярилы до Аграфень-купальницъ рукой подать!“, „На Ярилу пьетъ баба, на Купалу опохмѣляется“.

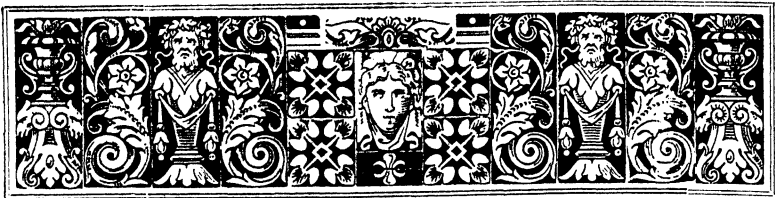
Отойдетъ Всесвятская недѣля—со всѣми ея примѣтами, повѣрьями и обычаями. На дворѣ Петровки стоятъ, Петровъ постъ идетъ.

Есть до сихъ поръ мѣстности, гдѣ—какъ, на примѣръ, въ Рязанской губерніи—наканунѣ заговѣнья на Петровъ постъ нѣсколько дѣвушекъ изображаютъ изъ себя русалокъ, ходя ночью по улицамъ въ однѣхъ рубашкахъ, съ распущенными волосами. Часовъ въ двѣнадцать ночи молодежь вооружается палками, косами, вѣнчиками и бросается на такихъ дѣвушекъ съ крикомъ: „Гони русалокъ!“. Когда „русалкамъ“ удается убѣжать на землю сосѣдней деревни, преслѣдованію—конецъ, и всѣ возвращаются домой, приговаривая: „Ну, теперь прогнали русалокъ!“

Не успѣтъ оглянуться трудящійся съ зорьки до зорьки деревенскій людъ, какъ слышитъ-послышитъ: навстрѣчу Ярилу купальскія игры-пѣсни спѣвать:

„Ой, Вербо вербо, вербица,—
 Чась тоби, вербице, розвѣця!
 Ой, ище ни чась, ни пора,
 Ощезь моя дивчина молода!
 Та нехай до лита, до Ивана,
 Шобъ моя дивчина погуляла!
 Та нехай до лита, до Петра,
 Шобъ моя дивчина подросла!“...

А слова этой пѣсни еще сливаются съ причетомъ всесвятскаго заговора: „...навстрѣчу мнѣ семь братьевъ, семь Вѣтровъ буйныхъ. Откуда вы, семь братьевъ, семь Вѣтровъ буйныхъ, идете? Куда пошли? — Пошли мы въ чистыя поля, въ широкія раздолья сушить травы скошенныя, дѣса порубленныя, земли вспаханныя! — Подите вы, семь Вѣтровъ буйныхъ, соберите тоски тоскучія со вдовъ, съ сиротъ, со малыхъ ребятъ—со всего свѣта бѣлаго, понесите къ красной дѣвицѣ въ ретивое сердце: просѣките булатнымъ топоромъ ретивое ея сердце, посадите въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, въ ея кровь горячую“...



XXVIII.

Иванъ-Купала.

Послѣ Семика и нераздѣльно связаннаго съ нимъ Троицына дня, главнымъ лѣтнимъ праздникомъ, у насъ въ народѣ является Иваговъ день, называемый въ просторѣчьи „Иваномъ-Купалою“, или прямо „Купалою“ безъ всякаго добавленія къ этому имени. Словами старинной, поющейя и теперь въ Костромской и нѣкоторыхъ другихъ сосѣднихъ губерніяхъ, пѣсни такъ опредѣляется значеніе этого праздника:

„Какъ у насъ въ году три праздника:
Первый праздничекъ—Семикъ честной,
Другой праздникъ—Троицынъ день,
А третій праздникъ—Купальница“.

Этотъ третій праздникъ справляется въ народной Руси два дня—23-го и 24-го іюня, во время лѣтняго солнцестоянія, когда прекрасное свѣтло дня, по достиженіи высшаго проявленія своихъ творческихъ силъ, дѣлаетъ первый поворотъ на зиму. Совпадая съ днемъ св. Агриппины и съ праздникомъ Рождества св. Іоанна Предтечи, Крестителя Господня, ведущія свое начало съ тѣряющихся въ язычествѣ временъ, купальскія празднества объединяютъ этихъ двухъ святыхъ христіанской церкви. „Купало“ и „Купальница“, это—древніе Перунъ и богиня Заря. По сохранившемуся до нашихъ дней болгарскому повѣрью, солнце (Перунъ) сбивается въ эти дни съ пути-дороги, и ясноокая дѣва Заря является на помощь свѣтлому богу. Она не только ведетъ бога-боговъ по небесной стезѣ, но и каждое утро умываетъ его росою съ напоенныхъ лѣтними бла-

гоуханіями луговъ, пестрѣющихъ къ этому времени всѣми цвѣтами.

Приуроченныя къ именамъ христіанскихъ святыхъ, эти древнія празднества, являющіяся до сихъ поръ однимъ изъ наиболѣе яркихъ пережитковъ стародавней старины, нѣкогда были общи языческому богословію большинства европейскихъ народовъ. Они были извѣстны даже въ древней Индіи и Персіи, гдѣ приблизительно въ то-же самое время и съ тѣми-же обрядами справлялось празднованіе богу огня. У древнихъ грековъ (елевзинскія ⁵⁹) таинства) и римлянъ (праздникъ Весты и Цереры), въ древней Германіи („Sungithe“, „Sonnenwende“ и, позднѣе, „Johannisfeuern“), въ Англіи („Midsummersnat“), у бретонцевъ ⁶⁰, датчанъ, финновъ, — вездѣ встрѣчается нѣчто подобное. Въ славянскомъ мірѣ, у всѣхъ безъ исключенія народностей, до сихъ поръ купальскія празднества не вполне утратили свое первоначальное значеніе, несмотря на многолѣтнюю давность христіанства. Изъ области народной вѣры они перешли въ кругъ простонародныхъ суевѣрій, изъ обрядовъ — въ обычаи, въ большинствѣ случаевъ служащіе забавою для сельской молодежи, совершенно безсознательно воскрешающей на своихъ игрищахъ потусторонніе образы, безвозвратно канувшіе въ рѣку забвенія. Старину, когда еще свѣжа была въ народѣ память языческаго прошлаго, славяно-русская Церковь вела упорную борьбу съ этими обычаями и играми. Въ настоящее-же время только въ трудахъ, оставленныхъ пытливыми изслѣдователями старины въ наслѣдіе будущему бытописателю человѣчества, и можно найти болѣе или менѣе ясное представленіе о какой-

⁵⁹) Елевзинскія таинства — древнегреческія празднества, ежегодно справлявшіяся въ гор. Елевзисѣ (въ Аттікѣ, на сѣверѣ отъ Саламина), именуемомъ теперь Левзиною. Эти празднества состояли изъ ряда мистическихъ представленій и были учреждены съ цѣлью распространенія въ народныхъ массахъ самыхъ возвышенныхъ религиозныхъ кончатій. Имъ придавалось столь важное значеніе, что на тѣхъ девять дней, когда совершались они, прекращались даже всѣ судебныя дѣла.

⁶⁰) Бретонцы — жители Бретани (сѣверо-западнаго полуострова Франкіи). Сураван, сравнительно, природа этой гористой страны отразилась на самомъ характерѣ ея обитателей, — гордыхъ и въ то-же время меланхолично-суевѣрныхъ, но смѣлыхъ, мореходовъ и рыбаковъ. Во времена Юлія Цезаря Бретань входила въ составъ Арморики; въ IV-мъ вѣкѣ она совершенно освободилась отъ римскаго владычества и встала во главѣ мелкихъ армориканскихъ республикъ, превратившихся сперва въ монархіи, а затѣмъ подчинившихся Франкскому королю Хлодвигу (въ 497 г. н. Р. X.). Франки уступили здѣсь господство нормандскимъ герцогамъ; въ 1298-мъ году образовалось особое Бретонское герцогство, слившееся съ Франціей лишь въ 1532-мъ году.

нибудь опредѣленной связи современныхъ простонародныхъ повѣрій съ былой вѣрою.

Въ „Стоглавѣ“ разсказывается о купальскихъ празднествахъ,—что во время нихъ „нѣщцы, пожаръ запаливъ, предскакаху по древнему нѣкоему обычаю“; что „противъ праздника Рождества Великаго Іоанна Предтечи и въ нощи на самый праздникъ, и въ весь день и до нощи мужи и жены и дѣти въ домѣхъ и по улицамъ и ходя и по водамъ, глумы творять всякими играми и всякими скомрашества и пѣсни сатанинскими и плясками, гуслями и иными многими видами и скаредными образованіи. И егда нощь мимо ходитъ, тогда отходятъ къ рощѣ съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсни, омываются водою“. Приблизительно въ это-же время лѣтописецъ псковскаго Памфилова монастыря, описывая эти празднества „во градѣхъ и въ селѣхъ“, находилъ возможнымъ сказать, что „въ годину ту сатана красуется, яко же сущи древнии идолослужителие бѣсовскій праздникъ сей празднуютъ“. Столѣтіе спустя, одинъ русскій церковный писатель (XVII-го вѣка) называетъ купальскіе огни и перескакиваніе черезъ нихъ „обычаемъ поганымъ въ честь идоловъ“. Но чѣмъ позднѣе, тѣмъ все менѣе и менѣе враждебно относилась и русская письменность къ этому отголоску прошлаго. Въ настоящее время, когда въ нѣдрахъ народа утратилось всякое представленіе о его прежнемъ язычествѣ, никому не мѣшаетъ уже и цвѣстистая пестрядь все болѣе и болѣе сливающихся съ обыденнымъ обиходомъ жизни народныхъ обычаевъ, еле сочащимися ручейками вытекающихъ изъ обмелѣвшаго моря славянскихъ преданій.

Купальскіе обычаи наиболѣе сохранились въ Малороссіи, въ бѣлорусскомъ Полѣсьи, на Волыни и по сосѣдству съ финнами—въ сѣверно-русскихъ губерніяхъ. День Аграфены-купальницы (23-е іюня) посвящается здѣсь собиранію травъ имѣющихъ—по народной лѣкарской наукѣ—цѣлебную силу. Изъ собираемыхъ въ канунъ Купалы травяныхъ зелій пользуются особеннымъ уваженіемъ „купаленка“ (желтоголовъ) и цвѣтокъ „Иванъ-да-Марья“. Съ послѣднимъ связано стародавнее преданіе о купавшихся въ дождевыхъ потокахъ Перунѣ-громовникѣ и богинѣ Зарѣ, звучащее громкимъ откликомъ въ бѣлорусской купальской пѣснѣ:

„Иванъ да Марья
На горѣ купался;
Гдѣ Иванъ купався—
Берегъ колыхався,

Гдѣзъ Марья купалась—
Трава расцилалась“...

Кромѣ цѣлебныхъ травъ, въ ночь подъ Ивана-Купалу народное суевѣріе совѣтуетъ искать и такіе „лютые корни“ и „злыя былія“, какъ „любистокъ-трава“, „перелеть-трава“, „разрывъ-трава“. Передъ силою послѣдней не можетъ, по его словамъ, уцѣлѣть ни одинъ замокъ, какъ бы онъ ни былъ крѣпокъ (см. главу „Злыя и добрыя травы“).

Въ XVI и XVII столѣтіяхъ собиратели травъ преслѣдовались наряду съ закореѣльцами преступниками. „Егда приходитъ великій праздникъ, день Рождества Предтечева“,—писалъ упомянутый выше лѣтописецъ,—„исходятъ мужіе и жены чаровницы по лугамъ и по болотамъ и въ пустыни и въ дубравы, ищущи смертныя травы и привѣтrotchрева, отъ травнаго зеля на пагубу человѣкомъ и скотомъ; ту же и дивія коренія копають на потвореніе мужемъ своимъ. Сія вся творятъ дѣйствомъ діаволими, съ приговоры сатанинскими“. Въ „Разрядныхъ книгахъ“⁶¹⁾ находятся записи о цѣломъ рядѣ старинныхъ судебныхъ волокитъ о такихъ травовѣдахъ. Достаточно было найти у кого-нибудь невѣдомый корень, или пучокъ неизвѣстной травы, чтобы этому было придано значеніе злого умысла. Пойманныхъ наканунѣ Иванова дня „вѣдуновъ“ пытали, били батогами, чтобы „не повадно было бы носить и собирать травы и коренія“.

Цвѣтъ папоротника—„златоогненный цвѣтъ“ русскихъ сказокъ, съ которымъ связаны повѣрья о кладахъ, зарытыхъ въ лѣсныхъ дебряхъ—до сихъ поръ продолжаетъ привлекать къ себѣ вниманіе „знающихъ травы и всякое слово“ людей изъ народа. Ходитъ молва въ послѣднемъ и теперь, что папоротникъ цвѣтетъ только въ Иванову ночь,—точнѣе въ самую полночь подъ Ивановъ день. Немногимъ удастся, по отголоску этой молвы стародавней, найти и сорвать дивный „жарь-цвѣтъ“, окруженный зоркой стражею изъ всякой лѣсной нечисти, забирающей ко времени его цвѣтенія самую крѣпкую силу надъ суевѣрнымъ людомъ. Это не то, что ку-

⁶¹⁾ Разрядныя книги—официальный журналъ, существовавшій для записей русскихъ служилыхъ людей и всякихъ государственныхъ счетныхъ дѣлъ. Веденіе этихъ книгъ начато въ 1471-мъ и закончено въ 1682-мъ году, когда сожженіемъ ихъ было уничтожено вносившее раздоръ и смуту между боярами мѣстничество. Впервые часть разрядныхъ книгъ (1632-1655 г. г.) была напечатана въ 1769-мъ году въ Москвѣ, подъ заглавіемъ „Последняя дворцовыя записки“: слѣдомъ за нею появились въ печати и другія, послужившія богатымъ историческимъ матеріаломъ.

паленка (*trollius europaeus*), медвѣжье ушко (*verbascum*), или богатенка (*erigeron asce*), которыя тоже собирають въ эту ночь и втыкають въ стѣны дома—на имя каждаго изъ семьи, замѣчая, что, если чей цвѣтокъ скорѣе завянетъ, тому—или умереть въ этотъ годъ, или захворать. Тѣхъ—сколько хочешь можно найти въ лѣсу.

Послѣ Иванова дня—первый покосъ. День вѣдьмъ, оборотней, колдуновъ и проказъ всякой нежити, начиная съ домовыхъ и кончая русалками,—этотъ праздникъ является, по вѣрной народной примѣтѣ, также и днемъ полной зрѣлости полевыхъ и лѣсныхъ травъ, расцвѣтающихъ къ этому времени во всей красѣ. Недаромъ и пчела, въ записанной Далемъ пословицѣ, говоритъ мужику: „Корми меня до Ивана, сдѣлаю изъ тебя пана!“ „До Ивана просите, дѣтки, дождя у Бога“,—говоритъ нашъ крестьянинъ,—„а послѣ Ивана я и самъ упрошу!“ „Коли до Ивана просо въ ложку, будетъ и въ ложкѣ!“ и т. д. Все растущее на землѣ—къ Иванову дню „въ полномъ соку“. Потому-то и самый сборъ лѣчебныхъ и всякихъ иныхъ травъ приуроченъ къ этой порѣ.

Въ древности въ честь бога-огня, бога-солнца, бога-грома зажигались во время лѣтняго солнцеворота праздничные огни. Въ купальскихъ празднествахъ, даже и по дошедшимъ до насъ пережиткамъ ихъ, и теперь самымъ яркимъ по окраскѣ обычаемъ является нѣкогда осуждавшееся наравнѣ съ идолослуженіемъ „возженіе купальскихъ костровъ“. И въ наши дни у всѣхъ славянъ, а равно и у сосѣднихъ съ ними иноплеменныхъ народовъ, въ ночь подъ Ивана-Купалу загораются по полямъ, берегамъ рѣкъ и холмамъ праздничные огни. У карпато-россовъ, какъ нѣкогда у древнихъ германцевъ, для зажженія купальскаго костра пользуются „живымъ огнемъ“, добываемымъ путемъ тренія дерева о дерево. При первой вспышкѣ пламени, собравшаяся толпа молодежи откликается огню веселыми купальскими пѣснями. Дѣвушки, разодѣтыя во все яркое и пестрое и убранныя цвѣтами, и парни, схватившись попарно за руки, перепрыгивають черезъ пламя, связывая съ удачею или неудачею прыжка судьбу своей супружеской жизни. По словамъ нѣкоторыхъ суевѣрныхъ старожиловъ Украйны, прыганье черезъ купальскіе костры избавляетъ отъ сорока злыхъ недуговъ,—между прочимъ, отъ безплодія. Въ настоящее время въ малорусскихъ селахъ эти костры замѣняются кучами жгучей травы—крапивы. Въ польскихъ деревняхъ, смежныхъ съ карпато-русскими, матери сжигаютъ на купальскихъ кострахъ снятыя съ больныхъ дѣтей рубашки, чтобы вмѣстѣ

съ ними сгорѣла и болѣзнь. У чеховъ, литовцевъ и въ нѣкоторыхъ малорусскихъ мѣстностяхъ принято перегонять стада черезъ огни, разложенные въ полѣ на Иванову ночь. Этимъ предполагается охранить скотъ отъ всякой заразы. Въ Сербіи пастухи обходятъ со свернутыми изъ бересты свѣточами скотные дворы—съ тою-же цѣлью. Словаки и чехи разбрасываютъ головешки съ Иванова костра по полямъ и огородамъ — „отъ червей“. У насъ, въ белорусской округѣ, крестьянки вбиваютъ у околицы въ землю большой колъ, обложенный соломой и кострикою отъ кудели, „въ ночь на Ивана“ зажигаютъ его и, подбрасывая въ огонь березовыя вѣтки, припѣваютъ-приговариваютъ слова, относящіяся къ урожаю льна.

Въ нѣкоторыхъ великорусскихъ мѣстностяхъ — на примѣръ, въ Нерехтскомъ уѣздѣ, Костромской губ., — еще наканунѣ Аграфены-купальницы, деревенскія дѣвушки собираются на бесѣду и толкутъ ячмень въ ступѣ, сопровождая эту несложную работу пѣснями. Утромъ, на Аграфену, изъ этого ячменя варится—въ-складчину—обѣтная каша, съѣдаемая вечеромъ, когда всѣ участвовавшія въ пирушкѣ бѣгутъ на рѣку—въ первый разъ купаться, чтобы затѣмъ, умывшись вечерней росой, идти на „купальскіе огни“. Въ другихъ мѣстахъ, передъ зажиганіемъ костровъ, дѣвушки парятся въ банѣ свѣжими вѣнками, связанными вмѣстѣ съ душистыми лѣсными травами. Общее купанье съ пѣснями сохранилось далеко не по всей Руси, но вода (омовеніе) и огонь (очищеніе) до сихъ поръ всюду неразрывно связаны въ купальскихъ празднествахъ какъ и въ стародавніе годы.

Костры, зажигавшіеся когда-то въ честь Перуна-громовника, могутъ служить яркимъ олицетвореніемъ торжества лѣтняго солнца, вмѣстѣ съ дождемъ оплодотворяющаго землю. Въ честь ясноокой и свѣтлокудрой богини весны—Лады—приносилась встарину жертва—бѣлый пѣтухъ. Въ настоящее-же время, на купальскихъ пирушкахъ въ Полѣсьи и на Волини непременно ѣдятъ бѣлаго пѣтуха. Въ Малороссіи еще въ концѣ шестидесятыхъ и началѣ семидесятыхъ годовъ наблюдался на Ивановъ день любопытный обычай, имѣющій связь съ чествованіемъ Лады. Деревенская молодежь наряжала соломенную куклу, убирала ее „пахтами“, „монистами“ и цвѣточными вѣнками и приносила на мѣсто купальскаго игрища. Здѣсь стояла уже срубленная въ сосѣднемъ лѣсу верба или „тополя“, обвѣшенныя лентами. Дерево называлось „мареною“ (Морана—богиня смерти); подъ него ставилась принесенная кукла, а возлѣ нея—столъ съ яствами и питіями, въ-складчину припасенными для праздника. Зажигался ко-

стерь; через огонь начинали прыгать попарно, держа въ рукахъ „Ладу“. На разсвѣтъ и эту-последнюю, и дерево-марену топили въ рѣкѣ, срывая съ нихъ всѣ наряды-уборы.

„Ходыли дивочки
Коло Мариночки,
Коло мово Купала.
Купався Иванъ,
Та въ воду упавъ.
Купала на Иванѣ!“

Пѣлась, повторялась безчисленное количество разъ эта старинная пѣсня, приуроченная къ описанному обычаю еще давними пращурами игравшихъ ее „дивочекъ“ и „парубковъ“. Нѣчто въ-родѣ этого обычая сохранилось въ Богеміи, гдѣ—при первой вспышкѣ костра—парни бросаются къ разубранной цвѣтами елкѣ и срываютъ съ нея вѣнки. Въ Полѣсьи, гдѣ—дольше всѣхъ уживается непокорная суевѣрная память былого, „Ладу“ изображаетъ самая красивая дѣвушка въ деревнѣ. Ее съ ногъ до головы опутываютъ вѣнками и перевязями изъ цвѣтовъ и ведутъ въ лѣсъ. „Дзѣвко-Купало“, не имѣющая на себѣ никакого наряда, „кромѣ вырощеннаго матерью-природою, раздаеть, съ завязанными глазами, подругамъ вѣнки въ кругу веселаго хоровода. Кому какой вѣнокъ достанется—такова и судьба того...

Въ стародавніе годы въ купальскія игрища входили совершаемыя и теперь по инымъ мѣстамъ на Всесвятское заговѣнье проводы русалокъ. Русалки, по древнему вѣрованію славянъ, души умершихъ. Весною,—гласить сѣдая старина,—оживаютъ онѣ и бродятъ по землѣ. Воды слыши у славянъ-язычниковъ ближайшимъ путемъ-дорогою въ подземныя нѣдра. Русалки („мавки“), живущія, по народному повѣрью, въ рѣкахъ и озерахъ, съ наступленіемъ весеннихъ праздниковъ вылѣзаютъ изъ воды и виснутъ по деревьямъ. Придетъ на свѣтлорусскій просторъ Иванъ-Купала, и—нѣтъ имъ болѣе мѣста на землѣ. Уходитъ приспѣваетъ пора имъ всѣмъ опять въ свое подводное царство.

„Русалочки-земляночки
На дубъ лѣзли,
Кору грызли,
Свалилися, забилися.“—

— поется въ одной отзывающейся стародавней стариною, дошедшей до нашихъ дней, купальской пѣснѣ.

Нѣкоторые изслѣдователи видятъ въ „Купалѣ“ олицетворе-

не совершенно особаго древне-языческаго божества нашихъ предковъ, а не того-же бога-громовника—Перуна, являшагося на землю въ знойные лѣтніе дни въ образѣ щедраго и милостиваго путника, осчастливливавшаго всѣхъ попадавшихся на пути. Но суть дѣла не въ этомъ, а въ самыхъ обычаяхъ, въ которыхъ проявляется этотъ яркій образъ народнаго воображенія, сохраняющій на себѣ отпечатокъ древности.

„Купався Иванъ,
Та въ воду упавъ...
Купала на Ивана“.

Въ этихъ словахъ пѣсни очевидна связь пѣсенной „выдумки“ съ вѣрвымъ дѣйствительности сказаніемъ о тѣхъ временахъ, когда на Руси—поверженные во прахъ первыми лучами христіанства—идолы-боги были сброшены со своихъ холмовъ въ воду иплыли внизъ по теченію, добываемые шестами и баграми, для вящаго позора своего безсилія передъ всемогущимъ Свѣтомъ истинной вѣры.

Судя по новѣйшимъ изслѣдованіямъ крестьянскаго быта, купальскія празднества постепенно вымираютъ въ великорусскихъ губерніяхъ. Мѣстами отголосокъ ихъ сохранился только въ однихъ словахъ пѣсенъ, которымъ не придается особеннаго значенія. О какомъ-либо зажиганіи Ивановыхъ огней—здѣсь никто и не помнитъ. По старой памяти, водятъ еще только поздніе хороводы, до самой „бѣлой зари“ въ Иванову ночь. Старики, тоже успѣвшіе забыть о шумныхъ празднованіяхъ Купалы и Купальницы, поминаютъ виновника этихъ празднествъ только въ своихъ примѣтахъ, что — „сильная роса на Ивана-Купалу—къ урожаю огурцовъ“, или: „на Иванову ночь звѣздно—много грибовъ“ и т. п.

Въ окрестностяхъ Петербурга довольно шумно справляютъ „Ивана-Купалу“ мѣстные нѣмцы-колонисты. Ихъ „Куллербергъ“, сопровождающійся зажиганіемъ костровъ и пирушками, носитъ на себѣ тотъ-же отпечатокъ языческой старины, какъ и сохранившіяся въ глуши бѣлорусскаго Полѣсья и въ нашихъ малороссійскихъ губерніяхъ купальскія празднества.

О Петровѣ днѣ.

Послѣдній юнѣскій праздникъ посвященъ чествованію святой памяти апостоловъ Христовыхъ—Петра ⁶²⁾ и Павла ⁶³⁾. Онъ слыветъ въ народѣ за „Петровъ день“, и въ этомъ названіи сливается въ народномъ представленіи память обоихъ чествуемыхъ святыхъ. Есть мѣстности, гдѣ этотъ предпоследній день юнѣ-розанцвѣта зовется — „Петры-рыболовы“.

Апостоль Петръ—одинъ изъ наиболѣе чтимыхъ на Руси святыхъ угодниковъ Божіихъ. Имя его зачастую встрѣчается въ простонародныхъ сказаніяхъ, вплетается въ пестроцвѣтную вязь пословиць-поговорокъ, раздается и изъ вѣщихъ устъ

⁶²⁾ Св. Петръ—апостоль и ближайшій ученикъ Христа, родомъ изъ Галилеи, бывшій рыбарь. Въ 50-мъ году по Р. Хр. онъ присутствовалъ на апостольскомъ соборѣ въ Иерусалимѣ, въ 69-мъ былъ расятъ въ Римѣ. Ему принадлежать два окружныхъ соборныхъ посланія, въ которыхъ онъ поучалъ новорожденную Церковь Христову обрядовой сторонѣ христіанскаго благочестія. Апокрифическая литература приписываетъ, кромѣ того, ему еще „Евангеліе“ и „Откровеніе“; первое—во П-мъ вѣкѣ—даже было принято въ Богослуженіи.

⁶³⁾ Св. Павелъ—первоначально именовавшійся Савломъ, сначала гонитель, а затѣмъ ревностный апостоль, Христа, величайшій христіанскій проповѣдникъ въ I-мъ вѣкѣ. Онъ былъ сыномъ богатыхъ іудеевъ, строгихъ ревнителей фарисейства, получилъ образованіе въ знаменитой школѣ Гамалиила. Послѣ чудеснаго обращенія его ко Христу (Дѣян. Апост.: IX, XX, XXVI.) и до самой мученической кончины своей въ Римѣ (во времена Нерона, въ одинъ день съ апостоломъ Петромъ) не смолкало его вдохновенное слово о Распятѣ Сынѣ Божіемъ, раздаваясь отъ сердца Азіи до Рима и отсюда до береговъ Атлантическаго океана—Испаніи и Британіи, куда заходилъ онъ въ своихъ миссіонерскихъ трудахъ. Перу его принадлежать 14 посланій апостольскихъ, въ которыхъ онъ училъ о внутреннемъ (духовномъ) строеніи вѣры Христовой.

боголюбивыхъ каликъ-перехожихъ, хранителей-сказателей духовныхъ народныхъ стиховъ. На „ключаря-апостола“, которому, по стародавнему преданію, переданъ Господомъ Силь ключъ отъ Царства Небеснаго, перешли, по прихоти суевѣрнаго воображенія, многія черты древнеславянскаго Перуна—громовника, низводителя дождей, растителя злаковъ и творца урожаявъ. Онъ считается однимъ изъ самыхъ надежныхъ—посль „Никола-Милосливаго“—покровителей засѣянныхъ хлѣбомъ („даромъ Божиимъ“) полей. Въ одномъ изъ „Памятниковъ отреченной русской литературы“ рассказываетъ, на примѣръ, что шелъ апостоль Петръ путемъ-дорогою. Притомился-усталъ, проголодался святой путникъ. Пришлось проходить ему мимо нивы. И увидѣли пресвѣтлыя очи его чело-вѣка, пашущаго на волахъ; и обратился къ нему апостоль, „и просиша хлѣба“. Вскинулъ глазами на просившаго пахарь-оратающко, остановилъ воловъ и побѣждалъ за хлѣбомъ къ своему селеню. Умилился душою святой путникъ и „безъ него взоравше ниву и насѣявше, и приде съ хлѣбы и обрѣте пшеницу зрѣлу“.

По народному сказанію, въ концѣ красной весны и началѣ лѣта знойнаго—въ грозобую пору—идеть на небесахъ постройка „чертога ново-райскаго“. Топоры (молніи) сами—безъ плотниковъ—рубятъ сѣны зданія нерукотворнаго, ударяя по тучамъ, громоздящимся каменными горами толкучими; разступается подъ огненными топорами „облаченъ-горючъ камень“, отверзаются окна-двери рубленыя. „Зъ-за той ми горы, зъ-за высокой, слышны ми тонойкій голось, тонойкій голось, топоры дзвенять, топоры дзвенять, каменя тешуть, каменя тешуть, церковь мурують, церковь мурують, во трои двери, во трои двери—во три облаки“,—поется въ старинной червоно-русской пѣснѣ:

„У іедныхъ дверехъ иде самъ Господь,
У другихъ дверехъ Матенка Божя,
У третихъ дверехъ святой Петро.
Передъ милымъ Богомъ органы граюгъ,
Передъ святымъ Петромъ свѣчи горѣють,
Передъ Матенковъ Божовъ ружа проквитать,
А зъ той ружи (розы) пташокъ выникать:
Не іе то пташокъ, самъ милый Господь“...

„Милый Господь“ олицетворяетъ въ этой пѣснѣ нашихъ прикарпатскихъ братьевъ—солнце. Пречистая Дѣва заступаетъ здѣсь мѣсто древнеязыческой Лады, Петръ-апостоль поставленъ взамѣнь громовника-Перуна. Горящія свѣчи—

молніи; гудящіе органы—громовые раскаты; расцвѣтающая роза—утренняя зорька ясная, изъ золотоогненного цвѣта которой и вылетаетъ на безпредѣльный небесный просторъ жарь-птица—солнце.

Въ другомъ пѣсенномъ сказаніи св. Петръ является спутникомъ Господа, шествующаго за золотымъ плугомъ „въ полѣ, полѣ, въ чистейкомъ полѣ.“ Ходить за Богомъ пахарей ключарь-апостоль, походя—конею погоняетъ. А „Матенка Божья“ о-бокъ съ ними поспѣшаетъ, сѣмена носить, сѣмена носить, своего Сына просить:

„Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
Яру пшеничейку и ярейке житце!
Буде тамъ стебевце саме тростове,
Будуть колосойки—якъ былинойки,
Будуть копойки—якъ звѣздойки,
Будуть стогойки—якъ горойки,
Зберутся возойки—якъ чорны хмаройки!“

Въ Сербіи и въ настоящее время въ деревенской глуши представляютъ апостола Петра развѣзжающимъ на золоторогомъ оленѣ по небесному полю надъ колосающимися земными нивами. Съ этимъ повѣрьемъ находится въ непосредственной родственной связи занесенное въ снегиревскую лѣтопись русскихъ простонародныхъ праздниковъ древнее преданіе, гласящее о томъ, что на „мірской“ Петровъ праздникъ-пиръ, устраивавшійся деревенскимъ людомъ за Тотьмой, на рѣкѣ Вагѣ, выбѣгалъ изъ лѣсной дремучей пущи олень, посылавшійся „праздновавшимъ Петру“ мірянамъ въ даръ отъ „апостола-праздника.“ Оленя, останавливавшагося передъ заранѣе приготовленными для его варки котлами, убивали-свѣжевали, на части разнимали, варили въ котлахъ—на угощенье люду честному. Но это, по, словамъ преданія, продолжалось только до той поры, покуда жилъ народъ праведночестно, по завѣту отцовъ-дѣдовъ-прадѣдовъ. А потомъ—пошелъ по людямъ развратъ-грѣхъ, ложь опутала міръ-народъ сѣтями-тенетами, и пересталъ апостоль Петръ высылать свое праздничное угощенье даже и чествовавшимъ его святой день людамъ... Пришлось имъ понапрасну ждать поджидать посылы и если колотъ быка круторогаго, такъ изъ своего стада. Такъ сначала и велось; шли-проходили годы, за другими годами вослѣдъ уплывали; а тамъ и совсѣмъ перестала деревеньщина-посельщина „справлять Петровщину“ всѣмъ міромъ,—началъ каждый у себя во дому праздновать наособицу.

Красно-солнышко играетъ, по народному слову крылатому и на Петровъ день—какъ на Свѣтло-Христово-Воскресенье. Ходить во многихъ мѣстахъ, поутру—ранымъ-ранехонько, „караулить солнце“ заиграваяся далеко за-полночь въ хоро-водахъ деревенская молодежь—дѣвки да парни, да ребята малые. Всплываетъ изъ-за горъ-горы пресвѣтлый ликъ свѣтила небеснаго и—многіе увѣряють—принимается играть, разными цвѣтами переливать лучи свои горячіе: то краснымъ, то впрѣсинь-вирѣголубь, а то и впрѣзелень. Радуются собравшіеся караульщики веселые, съ пѣснями по дворамъ-домамъ расходятся, Ладу вспоминають, Петровъ день величаютъ. Этими пѣснями почиваются „гулянки-Петровки“, петровскіе хоро-вды, вплоть до перваго Спаса идущіе, въ страдную пору молодому народу отдыхъ, и безъ того короткій, укорачивающіе.

На Петровъ день и до сихъ поръ гуляетъ-отдыхаетъ сельскій рабочій, отъ трудового поту не просыхающій, людъ. Встарину бывывали „обѣтныя угощенья“, принимали приносы петровскіе зятямъ тещи, на угощеніе напрашивались: кумовья крестниковъ спровѣдывали, съ пирогами со пшеничными прихаживали; сватья другъ друга угощали, „отводные стѣны“ правили. Дѣвушки красныя съ парнями на качеляхъ и теперь, что и въ старопрежнюю пору, утѣшаются на Петра-Павла съ самыхъ послѣ-обѣденъ до глубокой ночи. Такъ и говорятъ въ народѣ: „Какъ ни сторонись, дѣвка, а на петровскихъ качеляхъ съ паренькомъ покачаешься!“ Петровы качели—дѣвичье веселье! „На Петровъ день качались, къ Покрову свадьбу-радость справили!“ и т. д. На этотъ обычай ополчались составители „Стоглава“, говоря, что: „о праздницѣ св. верховныхъ апостолъ Петра и Павла своею свѣтію діаволъ запинаятъ чрезъ колыски и качели; на вихъ же бо колыщущесея, приключается енезапу упустити на землю, убиватися и злѣ, безъ покаянія, душу свою испущати“...

Олеарій—посланецъ голштинскій, оставишій описаніе своего пугешествія въ Московію XVI-го столѣтія, распростра-няется о петровскомъ гуляньѣ въ слѣдующихъ словахъ: „У всѣхъ русскихъ и москвитянъ отправляется около сего праздни-ка странное игрище. Хотя они строго и безвыходно дер-жатъ женъ своихъ въ домахъ, такъ что весьма рѣдко пуска-ють ихъ въ церковь или въ-гости; но въ нѣкоторые празд-ники позволяютъ женамъ и дочерямъ своимъ ходить на пріят-ные дуга: тамъ онѣ качаются на круглыхъ качеляхъ, по-ють особенныя пѣсни и, схватясь одна съ другою руками, водятъ круги, или пляшутъ съ рукоплесканіемъ и притопы-ваніемъ ногами“...

Были встарину мѣстности, гдѣ сходилъ честной людъ въ Петровъ день на три ключа-родника умываться „петровѣй водичею“ и угощаться при этомъ случаѣ всякими питіями хмѣльными. Это питіе - умыванье сопровождалось пѣснями, плясками и всякими играми веселыми. Въ Кашинѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ, долго сохранявшихъ старинные обычаи, заведено было устраивать нѣкоторое подобіе святочного ряженья. Игрище собиралось на берегу ручья, гдѣ въ древнія времена стоялъ идолъ какого-то (вѣрнѣе всего—Ярилы) языческаго бога. Собравшіеся парни гуляли посреди дѣвушекъ, закрывъ себѣ лица платками. Дѣвушки должны были угадывать парней; угадавшей предвѣщалось въ скоромъ времени сыграть свою свадьбу.

Съ XVI-го столѣтія вошло въ обычай заводить по богатымъ селамъ петровскіе торги. А еще гораздо раньше велось въ Петровъ день „ставиться на судъ по зазывнымъ граматамъ“. Былъ этотъ праздникъ срокомъ не только судовъ, но и взносовъ дани-пошлины. „Тянули“ объ эту урочную пору свою Петровскую дань съ люда православнаго и попы. Въ деревенскомъ захолустѣ и теперь еще развѣзжаютъ поповскія телѣги, собирающія положоное, вѣками установленное подаваніе.

Народныя слова крылатыя плетутъ свой пестрый узоръ о Петровѣ днѣ. На него—второй, поздній, покось, по замѣчанію сельскохозяйственнаго опыта, сложившагося въ южной-полуденной подосѣ матушки Руси. „Съ Петрова дня—красное лѣто, зеленый покось!“,—гласитъ опытъ русака-сѣверянина. „Женское лѣто—до Петра, съ Петрова дни—страдная пора!“—приговариваетъ краснословъ-народъ, сыплящій, какъ изъ полнаго короба, всякимъ прибауткомъ—то смѣшливымъ, то раздумчивымъ: „Далеко кулику до Петрова дня!“, „Худое пороса и въ Петровки зябнетъ; дворянская кровь и въ Петровъ день день мерзнетъ!“, „Въ Петровъ день барашка въ лобъ (можно разговѣться)!“, „Съ Петрова дня зарница хлѣбъ зарить!“, „Петро-Павелъ—жару прибавилъ!“, „Утѣшили бабу петровскіе жары голодухой!“, „Петровка—голодовка, Спасовка—лакомка!“ и т. д.

По примѣтѣ знающихъ всякое крылатое вѣщее слово старыхъ людей, надо къ Петрову дню наладить косы и серпы: съ Петрова дня—позниа, покось. „Коли дождь на Петра—сѣнокось мокрый!“, „На Петровъ день дождь—сѣно какъ хвощъ (жесткое, на кормъ не очень спорое), зато—урожай не худой; два дождя—хорошій, три дождя—богатый!“, „Если просо на Петровъ день въ ложку—будетъ и на ложку!“—приговариваетъ деревенская Русь.

Рыболовство—апостольскій трудъ, по словамъ православнаго люда, свѣдущаго въ Священномъ Писаніи. Потому-то всея рыболовы и считаютъ апостола Петра за своего покровителя и наособицу передъ всеми другими праздниками чтятъ его память. Къ Петрову дню пріурочивается большая часть сдѣлокъ, заключаемыхъ между ловцами и рыбопромышленниками, раздающими ловцамъ свои воды мелкими участками—отдѣльно на каждую рыболовную пору, съ обязательствомъ ставить рыбу на исады, или на ватаги, по извѣстномъ цѣнамъ. Петровымъ днемъ заканчивается весенняя, начинается лѣтняя, пора рыболовная. Въ этотъ день завершаются расчеты по весеннему лову и заключаются новыя сдѣлки на лѣто. На Петра-Павла устанавливается новая плата за воды (съ лодки, или съ сѣти) и производится расцѣнка живорыбнаго товара, который ловцы обязаны сдать.

Ловецкій праздникъ въ рыбныхъ мѣстахъ начинается, по благочестивому обычаю старины, крестнымъ ходомъ на рыболовныя угодья,—куда съѣзжаются ловцы со всехъ ближнихъ становъ и ватагъ. Послѣ молебна промышленники предлагаютъ своимъ гостямъ Сугощеніе, а потомъ начинаютъ пить „могарычи“ по новымъ сдѣлкамъ.

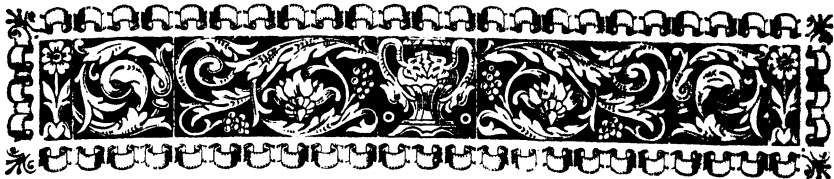
Какъ ни паритъ послѣ Петрова дня, какъ ни томить лѣтній зной трудящихся, обливающихся въ поляхъ да въ лугахъ потомъ обильнымъ пахаря, косца и жницу,—а недаромъ идетъ къ нашимъ днямъ изъ далекой дали въковъ народное слово: „Прошли Петровки—опало (съ деревьевъ) по листу, пройдетъ Илья (20-е юдя)—опасеть и два!“. Замолкаетъ къ Петрову дню все птаство пѣвучее: соловей—и тотъ поетъ только до этой завѣтной поры. „На Петровъ день и кукушка подавится ватрушкой!“—говорятъ бабы-хозяйки, напекая изъ оскребышевъ муки,—у кого она къ этому времени дотянется,—ватрушекъ творожныхъ съ яйцами—ребятамъ со стариками на утѣху. По инымъ мѣстамъ ходятъ дѣвушки красныя въ лѣсъ на Петровъ день—„крестить кукушку“. Когда упадетъ 29-й іюньскій день на постную пятницу съ середой-постительницей,—говоритъ красное народное слово, что „мясоѣдъ съ постомъ побратался“.

Среди народныхъ стиховъ духовныхъ встрѣчается слѣдующій пѣсенный сказъ, поющійся убогими пѣвцами и въ наши дни: „Во пустынь пустыщикъ спасался, не владѣлъ ни руками, ни ногами. Во сняхъ ему Пятница явилась, крестомъ его оградила, свѣщой его, свѣта, освѣтила“...—начинается онъ. Далѣе „Пятница“ уговариваетъ „пустыщика“ встать-пойти „по народу—по христіанамъ“ на проповѣдническій по-

двигъ, а затѣмъ—осѣненный дуновеніемъ таинственнаго стихъ переходитъ въ болѣе опредѣленный сказъ:

\ „Ты вставай, Петръ и Павелъ,
 Ты бери ключи золотые,
 Отмыкайте райскія двери,
 Запускайте живыхъ и мертвыхъ!
 Только трехъ душей не запускайте:
 Три души тяжко согрѣшили:—
 Первая душа въ утробѣ младенца затушила;
 Вторая душа тяжко согрѣшила—
 Отца-матерь..... бранила;
 Третія душа тяжко согрѣшила—
 Изъ хлѣба-соли спорину вымала.
 Первой душѣ нѣтъ прощенья,
 Во святомъ раю не бывати,
 Самого въ очи Христа не видати;
 Второй душѣ нѣтъ прощенья,
 Во святомъ раю не бывати,
 Самого въ очи Христа не видати!
 Третьей душѣ нѣтъ прощенья,
 Во святомъ раю не бывати,
 Самого въ очи Христа не видати!“...

Воспѣвають впрѣдолозь калики-перехожіе эту пѣснь стиховную, а на Русь іюльская страдная пора черезъ прясла глядитъ. Остается іюлю — лѣтней макушкѣ—всего черезъ одинъ іюньскій денекъ перешагнуть.



XXX.

Юль—макушка лѣта.

Юль-мѣсяць—пора грозовая; потому-то и величали его не только „сѣнозорникомъ“, но и „грозникомъ“, отдаленные предки русскаго народа-пахаря. По сосѣдству, у поляковъ, слытъ онъ за „липецъ“—отъ обильнаго цвѣтенія липы въ этомъ краю. У другихъ нашихъ сородичей именовался онъ „червенцемъ“ и „сѣченемъ“ (у чеховъ и словаковъ), „серпаномъ“ и „седникомъ“ (у вендовъ), „шарпаномъ“ (у иллирійскихъ славянъ) и т. д. На стародавнюю Русь приходилъ грозникъ-сѣнозорникъ пятымъ въ году, а потомъ—позднѣе—одиннадцатымъ; съ 1700-го года было повелѣно-указано ему жить на свѣтлорусскомъ народномъ просторѣ послѣ шести другихъ старшихъ братьевъ-мѣсяцевъ. Краснословъ-народъ,—что ни день, что ни часъ, припадающій къ Матери-Сырой-Землѣ,—прибавляетъ къ его именамъ еще три другихъ: „страдникъ“, „макушка лѣта“ да „мѣсяць-прибериха“.

Придетъ мѣсяць-прибериха, все приберетъ; но—по словамъ народа—„Въ юлѣ на дворѣ пусто, да на полѣ густо!“, „Не топоръ мужика кормить, а юльская работа!“. Отъ работы въ этомъ страдномъ мѣсяцѣ и впрямь—отбою нѣтъ: „Сбилъ сѣнозорникъ-юль у мужика спѣсъ, некогда на полати лѣзть!“, „Плясала-бы баба, да макушка лѣта настала!“, „Всѣмъ лѣто пригожѣ, да макушкѣ тяжело!“—приговариваетъ тороватая на мѣткое словцо поселская Русь, умывающаяся потомъ въ полѣ, на страдномъ жнитвѣ. „Макушка лѣта устали не знаютъ!“, „Въ юлѣ хоть раздѣнся, а все легче не будетъ!“, „Знать, мужикъ—доможилъ, что на сѣнозорникъ не спитъ!“—замѣчаетъ она о своемъ юльскомъ недосутѣ, но эти старо-

давнія замѣчанія приходятъ трудовому деревенскому люду въ голову только въ тѣ благодатные годы, когда не подводитъ брюха съ голоду, да и въ полѣ впрямь „густо“, а не—„колосъ отъ колосу—не слышать человѣчьяго голосу“, какъ случается объ иную пору лихолѣтнюю, грозящую въ июль-грознаикъ грозною бѣдой неминучею всѣмъ кормящимся на землѣ отъ щедротъ земли

Справитъ деревня, придерживающаяся переживающихъ вѣка обычаевъ поминки по веснѣ (30-го іюня), слѣдомъ за ними приходится ей „лѣтнія Кузьминки“ встрѣчать. 1-е іюля—день, посвященный Церковью памяти святыхъ мучениковъ Космы и Даміана. „Косма-Даміанъ, свѣтла похвала римскому граду тѣхъ даровала“,—поетъ народная Русь въ духовномъ стихѣ каликъ-перехожихъ и продолжаетъ, переходя къ болѣе опредѣленному взгляду на починающихъ этотъ мѣсяць святыхъ безсребренниковъ:

„Іюль добритя,
Свѣтло красится,
Сихъ заря возсіяла...“

Въ этотъ день сельскохозяйственный опытъ совѣтуетъ огородникамъ—въ средней полосѣ Россіи—начинать полоть огородовъ; съ этого-же времени повсемѣстно можно вырывать корневые овощи изъ грядъ на продажу. Въ деревняхъ Тульской и смежныхъ съ нею губерній съ лѣтнихъ Кузьминокъ выходятъ на покосъ. По степной округѣ знающіе дѣло люди принимаются съ 1-го іюля искать-собирать травы, идущія на краску.

Черезъ день послѣ лѣтнихъ Кузьминокъ—„Мокей съ Демидомъ въ полѣ стоятъ, къ Марѣѣ (4-му іюля) навстрѣчу вышли“. Къ этому времени озимые хлѣба должны быть въ полномъ наливѣ. „На Марѣѣ озими въ наливахъ дошли, батюшка-овесъ до половины уросъ; овесъ въ кафтанѣ, а на гречѣ—и рубахи нѣтъ“. За Марѣинымъ примѣтливимъ днемъ Аванасьевъ приходитъ на Святую Русь. „Аванасьевъ день—мѣсяцевъ праздникъ“: на него ввечеру смотритъ сельскій людъ, какъ ясенъ-мѣсяць заигрыши свои въ поляхъ небесныхъ ладить. Удаётся мѣсяцева игра—къ хорошему урожаю, къ ладной уборкѣ хлѣба. Есть такіе дальнозоркіе люди, что завѣряютъ-клянутся, будто примѣчали, какъ предсказывающій хлѣбородную пору мѣсяць—при восходѣ своемъ—перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто, играючи семью цвѣтами, съ цвѣта на-цвѣтъ переливаясь. „Въ шестой день (іюля) Сисой лицомъ свѣтлѣветъ, въ седьмой день Θома, ягъ

снѣгъ, бѣлѣть“,—по выраженію южнорусскаго простонароднаго мѣсяцеслова, записаннаго Безсоповымъ. Если къ 8-му іюля—къ „лѣтнимъ Прокопамъ“—примется поспѣвать черника-ягода, то надо, благословясь, и о житвѣ думать: время-пора. Дошло отголоскомъ сѣдой старины до нашихъ дней и такое преданіе, что въ этотъ день „является сама собою камаха, краска червецъ“. Встарину говаривали въ народѣ, что „камаха“ заносится вѣтрами въ наши поля съ теплыхъ странъ, свивается въ клубокъ и первому счастливцу, который ей коснется, подгатывается подъ ноги. Кто будетъ такимъ счастливцемъ въ этотъ день,—быть во всемъ у того полному благополучію круглый годъ. „Тому камаха въ руки дается, кому на роду написано!“—гласить умудренное жизнью вѣщее слово старыхъ людей. „За Прокопами—Панкратіи“—9-й день страднаго-грозоваго мѣсяца. Сутки спустя—премудрыя княгини Ольги, Ольгинъ день.

12-го іюля чествуется память св. мученика Прокла: „Проклы—большія росы“. Къ этому дню слѣдуетъ, по старинной примѣтѣ, досушивать запоздалое сѣно „грядушками“: проклова роса—сѣногнойная. Но это не единственное ея свойство: вредная въ сельскохозяйственномъ обиходѣ, она, по наблюденіямъ старыхъ лѣчеекъ-знахарокъ, пользительна „для очнаго врачеванія“: отгоняется ею, изводится „очной призоръ“. Совѣтуютъ сберегать эту цѣлебную росу на случай напуска-сглаза: съ пришептомъ-заговоромъ особымъ, поминаючи Прокла-мученика, проклинаятъ знахари нечистую злую силу, отгоняя отъ опрыскиваемыхъ росной влагою всякое лихое навожденіе дьявольское. Вслѣдъ за „Проклами“—„Степанъ-Савваитъ ржицѣ-матушкѣ къ землѣ клониться велить“ (13-го іюля); 14-го—„Акила славный благопобѣдникъ, Кирикъ и Улита—двоица свята“. Объ Улитѣ іюльской и присловье особое въ давнія времена сложилось въ народной Руси: „Улита ѣдетъ, да когда-то будетъ!“... Переломъ іюль-мѣсяца (15-е число)—„Владиміръ, Красное-Солнышко“. На этотъ день, посвященный воспѣтому въ цѣломъ рядѣ народныхъ былинъ (кіевскихъ), святому равноапостольному князю, просвѣтившему древнеязыческую Русь немеркнувшимъ свѣтомъ вѣры Христовой, и солнышко—по народному слову—краснѣе свѣтитъ, чѣмъ во всякую иную пору.

За днемъ Владиміра—Красна-Солнышка—Финогѣевы зажинки: „и Афиногенъ со десятии учениками, мучениками и Соборы Святыми, якоже звѣзды въ небѣ твердильный міръ просвѣщаютъ“... „Зажинки“ (зажинокъ) на стародавней Руси были однимъ изъ важнѣйшихъ земледѣльческихъ праздниковъ. Во

времена древнерусскаго язычества этотъ праздникъ былъ посвященъ милостивому Дажьбогу; нѣсколько позднѣе праздновали его Волосу-Велесу. Всѣ эти празднованія шли обокъ съ особыми пирушками-мольбищами, сопровождаясь разнообразными заклинаніями, успѣвшими къ нашимъ днямъ затонуть въ бездонныхъ глубинахъ былого-минувшаго. Въ первой половинѣ XIX-го столѣтія зажинки, не сохраняя въ себѣ сколько-нибудь замѣтныхъ языческихъ слѣдовъ, были днемъ, объединявшимъ земледѣльческіе обряды доброй родни старинны съ благоговѣйнымъ отношеніемъ крестьянина къ Матери-Земли, въ которыхъ—все его богатство, вся надежда за непрестанный тяжелый трудъ. У многихъ изслѣдователей стародавняго русскаго быта рассказано, какъ проводился на Руси этотъ день. Доспѣвала-вызрѣвала въ поляхъ къ этой порѣ страдника-мѣсяца рожь-матушка, уставала битъ поклоны низкіе землѣ-кормилицѣ и пшеница бѣлоярая, да и усатый ячмень мѣстами зачиналъ грозить неспѣшливому пахарю-жнецу: „Торопись, не то начну зерно ронить!“ Выходили поутру на Финогѣвъ день зажинчики съ зажинщицами на свои загоны; зацвѣтала-пестрилась нива мужицкими рубахами да платками бабьими; перезванивали серпы отточеные-зубрѣные; пѣсни заживныя перекликались отъ межи до межи, съ поля на поле перелѣтывали. На каждомъ загонѣ шла впереди всѣхъ прочихъ жнецовъ сама хозяйка, мужняя жена, съ хлѣбомъ-солью да со свѣчой „громнитною“-срѣтенской. Первый сжатый снопъ—„зажиночный“—звался „снопомъ-имянинникомъ“ и ставился особъ отъ другихъ; ввечеру брала его зажинщица-баба, шла съ нимъ впереди своихъ домашнихъ, вносила въ избу, клала три земныхъ поклона передъ „святомъ“ (иконами) и ставила имянинника въ красный уголь хаты, передъ божницею. Стоялъ этотъ снопъ до самаго конца жнитва—до „Спожинокъ-дожинокъ“, потомъ обмолачивался наособицу отъ другого хлѣба; весь умолотъ его собирался въ чистую посудину и относился во храмъ Божій, гдѣ его святили, чтобы примѣшивать свячоное зерно къ сѣменамъ при засѣвѣ озимого поля. Солома снопа-имянинника сберегалась для домашней животины—на лихой случай: прикармливали ею больной рогатый скотъ. Въ стародавнюю пору во многихъ мѣстностяхъ зажиночный снопъ переносился, по простествіи семи дней, отъ краснаго угла—божницы—въ овинъ гдѣ и стоялъ вплоть до первой молотбы новаго хлѣба. Примѣтливые люди говаривали, что соблюденіемъ этого обычая обезпечивался добрый умолотъ новины. Во многихъ малорусскихъ селахъ еще не такъ давно передъ зажиномъ подни-

мались народомъ-громадою мѣстныхъ иконы, и служился въ полѣ молебень св. Афиногену мученику, причемъ первый зажинь дѣлался у каждаго загона священникомъ. Къ настоящему времени этотъ благочестивый обычай соблюдается все меньше и меньше, уступая свое мѣсто обыденной трудовой жизни, заслоняющей своими стѣнами тускнѣющія годъ-отъ-года яркоцвѣтныя преданія дѣдовъ-прадѣдовъ. По народной примѣтѣ, каковъ будетъ зажинь—таковы и дожинки. „Придетъ Финогѣй съ тепломъ да со свѣтомъ, уберешься загода со жнитвами!“—говорить деревня, приговариваючи: „Финогѣй съ дождемъ—копногной, хлѣбъ въ снопѣ проростеть!“ „На Финогѣя молись солнышку, проси Бога объ вѣдрышкѣ!“ „Финогѣевъ день къ Ильѣ-пророку навстрѣчу идетъ, жнитва солнышкомъ блюдетъ!“ „Первый колосокъ—Финогѣевъ, послѣдній—Ильѣ на бороду!“

За Финогѣемъ—„Марины“ (17-е іюля): „Марина съ Лазаремъ ладить зорямъ пазори“. Слѣдомъ за ними—Емельяновъ день, за тѣмъ—„Мокриды“,—такъ зовется въ посельской Руси день, посвященный памяти преподобной Макрины. По этому дню загадываетъ примѣтливый деревенскій людъ о будущей осени. „Смотри осень по Мокридамъ!“—говорить окрыленное мудростью народное слово: „Вѣдро на Мокриды—осень сухая!“, „На Мокриды дождь—осень мокрая!“. Потому-то и присматривается хлѣборобъ-мужикъ къ этому дню съ такой опаскою: „Прошли-бы Мокриды, а то будешь съ хлѣбомъ!“, „Коли на полѣ Мокриды, и ты свое дѣло смекай!“

20 го іюля—святъ-Ильинъ день, съ которыми связано много-множество до сихъ поръ не умирающихъ обычаевъ, повѣрій, сказаній и живучихъ красныхъ словъ.

„Пророкъ Ілія,
Яко молнія,
Горѣ творить восходы,
На колесницѣ огненнѣй сѣдять,
Четверокояними конями ѣздить,
Неизрѣченная зреть“...

Такими словами отмѣчаетъ этотъ день мѣсяцесловъ убогихъ пѣвцовъ — каликъ-перехожихъ. Длинный сказывается сказъ у русскаго народа пахаря объ „Ильинщинѣ“ (см. гл. XXXI).

Минуютъ сутки послѣ Ильи-пророка (день св. Симеона Христа ради юродиваго), а тамъ и Марьянъ день—22-е іюля: „Коли на Марью большія росы,—будутъ льны сѣры и косы“. По деревенской примѣтѣ—Марьяна роса укорачиваетъ льняной ростъ. 23-е іюля—Трофимовъ день, канунъ Бориса-Глѣ-

ба. Объ этомъ—послѣднемъ приговариваютъ на деревенской Руси: „На Глѣба на Бориса за хлѣбъ не берися!“ (Кіевская, Черниговская, Полтавская губ.), „Борисъ-Глѣбъ—дозрѣваетъ хлѣбъ“ (Рязанская губ.) и т. д. Въ бѣлорусскихъ мѣстахъ слыветъ этотъ день за „Паликопа“: по словамъ памятливыхъ старыхъ людей, у непочитающихъ обычаевъ благочестивыхъ загорались въ этотъ день копны на только-что сжатомъ полѣ. Бываютъ въ этотъ день во многихъ мѣстахъ сильныя грозы. На святыхъ мучениковъ-братьевъ народное суевѣріе перенесло нѣкоторыя черты всеобъемлющаго Перуна-громовника, чуть-ли не всецѣло приуроченныя ко св. Ильѣ пророку. Такъ, оно представляетъ ихъ пашущими небесную ниву выкованнымъ ими-самими плугомъ, запряженныхъ крылатымъ Огненнымъ Змѣемъ.

Въ с. Репьевкѣ, Сызранскаго уѣзда Симбирской губ., записано П. В. Кирѣевскимъ любопытное пѣсенное сказаніе, распѣвавшееся слѣпцами убогими. „Съ восточнаго словеснаго, съ держанія Кеива града“,—начинается оно, — „великій Владиміръ князь владѣлъ онъ всею Россією. Имѣлъ себѣ онъ трехъ сыновъ: старѣйшаго Свѣта-Полка, а меньшихъ Бориса-свѣта и Глѣба. Великій Владиміръ князь раздѣлилъ Россію всю сыновьямъ своимъ на три части: старѣйшему Свѣту-Полку великій славенъ Черниговъ-градъ, благовѣрнымъ Борису-свѣту и Глѣбу великій Воспревышь-градъ (Вышеградъ). Великій славенъ Владиміръ князь, раздѣля Россію сыновьямъ своимъ, пожилъ въ домѣ, преставился. Сотворили ему честное погребеніе. Послѣ его чада разыдутся по своимъ по градамъ: старѣйшій Свѣтъ-Полкій въ Черниговъ градъ, а благовѣрныя князья Борисъ и Глѣбъ въ Воспревышь-градъ“. До сихъ поръ пѣвецъ-народъ остается здѣсь безпристрастнымъ сказателемъ-лѣтописцемъ. Со слѣдующихъ стиховъ онъ впадаетъ въ нѣкоторую страстность. „О, злой-ненавистный, врагъ немилостивый, возлюбилъ много мѣста, захотѣлъ владѣть всею Россією!“—воскликаетъ онъ, подразумѣвая подъ злымъ-ненавистнымъ Святополка Окаяннаго (Свѣта-полка)⁶⁴ и продолжаетъ

⁶⁴ Святополкъ I-й, старшій сынъ Владиміра Святого, родился въ 970-мъ году, получилъ отъ отца въ 1013-мъ году въ удѣлъ Туровское княжество и женился одновременно съ этимъ на дочери польскаго короля Болеслава. Онъ устроилъ-было заговоръ противъ отца, но былъ изобличенъ въ этомъ и лишенъ удѣла. Лишь незадолго до кончины своей св. Владиміръ простилъ его и посадилъ въ Вышгородѣ. Когда отецъ умеръ (въ 1015-мъ году), Святополкъ, по праву старшинства, захватилъ престолъ великокняжескій и прежде всего рѣшилъ убить своихъ братьевъ (Бориса, Глѣба и Святослава), могшихъ стать его соперниками. Братоубійство совершилось. Узнавъ объ этомъ, оставшійся въ

свое повѣствованіе, почти ни на шагъ не отступая отъ строгой жизненной правды: „на своихъ братьевъ прогнѣвился, опалился, яко Каинъ на Авеля, какъ бы побѣдiti Бориса и Глѣба; злоумышленіе на нихъ помышляетъ, на совѣтъ братьевъ призываетъ, во пиръ честный пировати, отца своего князя помянути. Посланниковъ злой посылаетъ, съ посланниками листъ напишетъ въ тоѣ-же въ посланную въ палату. Благовѣрные Борисъ и Глѣбъ со радостью листъ принимаютъ, предъ матерью стоя прочитали“... Князья-братья просятъ у матери благословенія „ѣхать въ Черниговъ-градъ къ старѣйшему брату“; мать-княгиня отговариваетъ, подозрѣвая, что тотъ замышляетъ что-то злое-недоброе, но князья-братья не послушали ея слезнаго увѣщанія — не ѣхать: „Осѣдлали своихъ добрыхъ коней, сѣдючи, радуючи, поѣдучи во Черниговъ-градъ, къ старѣйшему брату Полку“. И вотъ,—продолжаетъ стихъ народный: — „пребудуть святыя среди пути-дороги, о, злой ненавистный, врагъ немилостивый, встрѣчалъ ихъ злой среди пути-дороги. Онъ косо на своихъ братьевъ взираетъ, злыми зубами воскрешаетъ, злыми словами намекаетъ, гнѣвъ съ яростію смѣшаючи, какъ бы побѣдiti Бориса и Глѣба. Еще Господь силены (иней) спустилъ на всѣ благовонныя цвѣты. Увидѣли печаль сію, скоро съ добрыхъ коней солѣзали, главы клонять ко матушкѣ ко сырой землѣ. Просили старѣйшаго брата Полка...“ Далѣе слѣдуетъ трогательная, дышащая тончайшимъ благовоніемъ кротости, просьба святыхъ Бориса и Глѣба, обращенная ими къ „злomu-ненавистному, врагу немилостивому“:

„О, братецъ мой старѣйшій, Свѣтъ-Полкій!
 Развѣ ты хочешь нами владѣти,
 Или великою всею Россіею?
 Поими насъ, братъ, въ домъ своемъ
 Рабочими, вѣрными слугами;
 Не вѣмы мы никакого порока.
 Чтобы въ твоемъ домѣ зло мы сотворили;
 Не сотвори, братъ, печали матери,
 Коя насъ съ тобою породила;

живыхъ братъ—Ярославъ, сидѣвшій княземъ въ Новгородѣ, пошелъ войною на убійцу, захватившаго отцовскую власть. Близъ Любеча Святополкъ былъ разбитъ и бѣжалъ въ Польшу, откуда вернулся съ помощью отъ тестя и снова (въ 1017-мъ г.) овладѣлъ Кіевомъ. Затѣмъ, онъ былъ опять разбитъ, снова бѣжалъ и привелъ на Ярослава печенѣговъ, потерпѣлъ неудачу и—послѣ скитанья въ богемскихъ лѣсахъ—умеръ, оставивъ въ народной памяти и лѣтописяхъ имя Окаяннаго.

Не покори, братецъ, о Христѣ
 Сродниковъ нашихъ;
 Не срѣжь класы неспѣлые,
 Не повреди ты винограда незрѣлаго;
 Не отрыгнуть винограда сего
 Коренья отъ сырыхъ земли;
 Не обидь насъ, братецъ, во младыхъ лѣтахъ!...“

Но „злой-ненавистный“ не тронулся мольбою братьевъ: „врагъ немилостивый прошенія не слушаетъ, на поклоны не взираетъ, а моленія злой не воспріемлетъ, злоумышленіе на нихъ помышляетъ. Помысливши, злой научился, какъ есть злой врагъ накачнулся, какъ побѣдiti Бориса и Глѣба. Бориса злой копьемъ сбрюшилъ и Глѣба ножомъ заколошилъ!“... Злое-черное дѣло совершилось. И отъ тьмы его,—гласить сказаніе: „мѣсяць и солнышко померкли, не было солнечнаго освѣщенія три дня и три ночи. Повелѣлъ Святъ-Полкъ между двухъ колодъ ихъ погрузити. Ихъ святыя мощи три года въ плоти лежащи, ничѣмъ тѣла неповредивши, ни звѣри, ни птицы ихъ не поѣли, не солнечныхъ лучей попеченіемъ. А онъ, ненавистный, врагъ немилостивый, сѣдуючи, радуючи на добрые кони, поѣдучи въ великій славенъ Воспревышь-градъ“... Здѣсь, послѣ этихъ словъ, пѣснотворецъ-народъ беретъ верхъ надъ правдивымъ лѣтописцемъ, и стихъ уже значительно расходится съ лѣтописнымъ рассказомъ о дальнѣйшей судьбѣ Святополка-братоубійцы: „Не потерпѣлъ ему Господи Владыка“,—поется далѣе: „сослалъ Господь съ небесъ грозныхъ ангеловъ. Ангелы, обрѣзавши о Христѣ нѣзи, вознесли злого къ верху, да свергнули до аду, предъ нимъ земля потрясется, и морская волна вся всколыбалась. Всповѣдали російскіе держатели, великіе князи, сѣзжались, брали мощи да понесли во славенъ великій Воспревышь-градъ. Состроили-воздвигнули святую соборную, каменную церковь во имена Бориса и Глѣба. Явилъ Господь свою милость: было отъ мощей прощеніе, слѣпымъ давалъ Господи прозрѣніе, глухимъ давалъ Господи слышаніе, скорбящимъ-болящимъ исцѣленіе, всему міру давалъ Господи вспоможеніе, спасалась вся Россія отъ варварскаго нашествія. Имъ же слава отъ нынѣ до вѣка вѣковъ, аминь“... Это сказаніе стиховное, съ болѣе или менѣе значительными разнопѣвами, было записано и другими собирателями русской пѣсенной старины въ разныхъ уголкахъ Святой Руси великой (въ Смоленской, Московской и друг. губ.). Повсюду помнятъ народъ православный о своихъ князьяхъ-мученикахъ. Память ихъ чествуется Цер-

ю, кромѣ 24-го іюля, еще весною—2-го мая, въ самый разгаръ пашни „Борись и Глѣбъ сѣютъ хлѣбъ!“—говорять тогда на деревенской Руси.

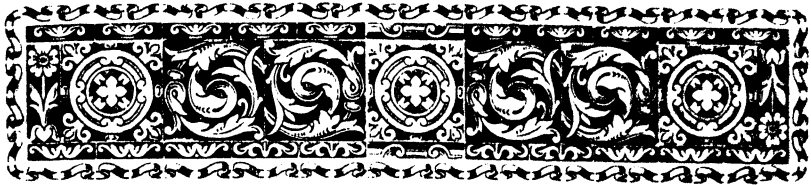
25-го іюля, по мѣсяцеслову безсоновскихъ памятливыхъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ:

„Святая Анна и Евпракія,
Алимпіада игуменія,
Въ лѣцотѣ,
Райской красотѣ,
Пріемлють услажденія“...

По старинной примѣтѣ, если ночь съ этого на слѣдующій день будетъ свѣжая-холодная, то и зимѣ быть ранней да студеной. „Припасаетъ на день святой Анны зима холодная утренники!“—гласитъ народная молвь примѣтливая. Съ 27-го іюля-сѣнозорника (день св. Николая Кочаннаго), по словамъ огородниковъ, капуста кочни копить, на щи пахарю запасаетъ къ зимѣ. Воспоминаемому въ этотъ же день великомученику Пантелеймону служатъ знахарки-лѣчейки молебны, какъ цѣлителю всякихъ болѣстей, чтобы онъ наставилъ разумъ ихъ на доброе-успѣшное врачеваніе. Въ иныхъ мѣстностяхъ собираютъ „на Пантелея-цѣлителя“ добрыя травы, идущія на пользу болящему люду. „На Прохора да на Пармена (28-го іюля) не затѣвай никакой мѣны!“—предостерегаетъ вѣщее народное слово. 29-го іюля—„Калиники“ (св. мучен. Калиника и др.). Въ сѣверномъ-полуночномъ углу свѣтлорусскаго простора съ этого дня зачинаются утренники-морозцы. Боятся ихъ мужикъ-сѣверянинъ пуще огня: убиваютъ хлѣбъ на корню. „Пронеси, Господи, Калиники морокомъ (сырымъ туманомъ)!“—можно услышать въ архангельскихъ деревняхъ. Въ средней полосѣ Россіи, напримѣръ—отъ туляковъ-землепашцевъ, ходитъ по народу другая поговорка-примѣта объ этомъ днѣ: „Коли на Калиники туманы, припасай косы про овесъ съ ячменемъ!“—приговариваютъ тамъ.

Предслѣдній день іюля-мѣсяца насобицу отмѣченъ народнымъ суевѣріемъ. Прежде всего это—день „Иванъ-воина“, святого мученика, открывающаго молящимся ему всѣ потайныя кражи. Въ большомъ почетѣ 30-го іюля вороженъ съ ворожейками: сходятся къ нимъ со всей округи съ просьбою о молитвѣ чествуемому въ этотъ день святому. Существуетъ не мало заговоровъ, обращаемыхъ знахарями-вѣдунами къ нему объ эту пору. Кромѣ Иванъ-воина воспоминается въ тотъ день св. апостоль Сила; о немъ старыя люди повторяютъ старыя рѣчи: „Святой Сила подбавитъ мужику силы!“

„Дожить-бы бабѣ до Силина дня, — и съ яровыми управи какъ засилья прибавится!“ „На Силу-святителя и безсилья богатыремъ живеть!“ и т. д. Про этотъ день записано повѣрье о томъ, что на него „обмирають вѣдьмы.“ По народной повѣр-ви, происходитъ это отъ того, что онѣ опиваются молокомъ. Старухи - доможилки завѣряють, что вѣдьмы умѣють задушить коровъ до смерти. Но онѣ-же и повторяють, что, если обомретъ вѣдьма, такъ ея ничѣмъ не пробудить. Есть только одно средство: „Жги скорѣй пяты соломой, все дѣло пойдетъ на ладъ!“ А умираетъ вѣдьма, — говорятъ въ народѣ, — если не прибѣгнуть къ этому завѣщанному стариной средству, — страшнѣе страшнаго: „подъ ней и земля трясется, и въ полѣ звѣри воють, и отъ воронъ на дворѣ отбою нѣтъ, и скотъ нейдетъ на дворъ. и въ избѣ все стоитъ не на мѣстѣ“. А, если пожечь обмирающей вѣдьмѣ горящей соломой пятки, — то не только пройдутъ все эти страхи мимо, но и сама она никогда не захочетъ на молоко взглянуть, а не то чтобы корову задоить. Съ Евдокимовымъ днемъ (31-е іюля) конецъ приходитъ грознику-страднику, макушкѣ лѣта. На Евдокима — Успенское заговѣнье, канунъ Перваго Спаса — Происхожденъ-ева дня“ московской Руси.



XXXI.

Илья-пророкъ.

Двадцатое іюля—день св. Иліи-пророка—съ незапамятныхъ поръ справляется на Руси, съ особыми, вѣками устоявшимися, обрядностями, непосредственно связанными съ бытомъ народа-пахаря, все благосостояніе котораго зависитъ отъ земли-кормилицы. Этотъ день отмѣченъ въ народной памяти цѣлымъ рядомъ разнообразныхъ примѣтъ, пословицъ, поговорокъ, заклятій и сказаній, отражающихся—какъ въ зеркалѣ—въ народныхъ обычаяхъ, свято соблюдаемыхъ по завѣту предковъ.

Въ представленіи народной Руси съ Ильей-пророкомъ слились многія черты древне-языческаго Перуна—повелителя громовъ, утолявшаго лѣтнюю жажду земли живительными дождями, таившими въ себѣ зачатки ея плодородія. Это-послѣднее, несомнѣнно, являлось въ старину одною изъ главныхъ побудительныхъ причинъ почитанія посвященнаго празднованію его памяти дня—среди народа, только-что начинавшаго разставаться съ обожествленіемъ стихій природы, отовсюду обступавшей его жизнь. Впослѣдствіи, когда утратилась въ народѣ и самая память о быломъ язычествѣ, ветхозавѣтное сказаніе о земной жизни св. пророка только укрѣпило вѣковые связи между нимъ и его почитателями на Руси. Сказочныя же черты, приуроченныя къ его грозному облику, уцѣлѣли во всей своей суровой красотѣ.

Св. пророкъ Илія ⁶⁵⁾ до сихъ поръ остается въ народѣ

65) Св. Илія—ветхозавѣтный пророкъ, происшедшій изъ іудейскаго города Фесвы, жилъ во времена царя Ахава, водворявшаго въ Іудеѣ поклоненіе языческимъ (финикійскимъ) богамъ Ваалу и Астартѣ—по наущенію жены своей, фи-

хозяиномъ громовъ, развѣзжающимъ по тверди небесной на своей, запряженной крылатыми конями, колесницѣ. Онъ по-прежнему—поражаетъ огненными стрѣлами-молніями злыхъ демоновъ и всякую нечисть. Какъ и въ былыя времена, льетъ онъ на землю дождевые потоки. Подъ его покровительство отданы Богомъ земныя нивы, орошаемая потомъ трудового люда. Такъ говорятъ о немъ не только въ русскомъ народѣ, но и у всѣхъ славянъ, нѣкогда поклонявшихся богу-громовнику. Въ гулкихъ раскатахъ грома слышится славянину то грохотъ колесъ огненной колесницы пророка, то стукъ копытъ его четырехъ коней, по быстротѣ могущихъ сравниться развѣ съ однимъ вѣтромъ. „Быстрѣ коней Ильи—только вѣтеръ!“—говоритъ болгарская пословица, повторяющаяся и въ нашихъ старинныхъ пѣсняхъ, описывающихъ этихъ коней самыми яркими красками. Русскія простонародныя сказки, поселяющія св. Илію на „островѣ Буянѣ“, отводятъ ему важное мѣсто среди стихійныхъ существъ, влияющихъ на жизнь трудовую-человѣческую. На этомъ островѣ, лежащемъ въ неизвѣданныхъ предѣлахъ „моря-окіяна“, какъ извѣстно изъ дошедшихъ до насъ заговоровъ, сосредоточены всѣ громы-молніи небесные, вся сила бурь-вѣтровъ, всѣ чудовища „набольшія, старшія“. Но, кромѣ нихъ, здѣсь-же возсѣдаютъ „и двѣ Зоря и пророкъ Илія“. Послѣдній привлекаетъ къ себѣ взоры всѣхъ трудящихся на землѣ около земли. Его молятъ не только о ниспосланіи дождей („Илья Мокрый“), но и о прекращеніи ливней („Илья Сухой“). Къ нему обращаются съ мольбами объ охранѣ отъ ружейныхъ ранъ, объ удачѣ на охотѣ, объ излѣченіи сибирской язвы ⁶⁶⁾ и даже,—какъ ни мало вяжется это съ представленіемъ объ его грозномъ величіи,—о счастья въ любви. Множество всевозможныхъ заговоровъ и заклятій связано съ его грознымъ и, по-видимому, всемогущимъ, по мнѣнію народа, именемъ. „Встану

никіянки Іезавели. Повѣствованіе о жизни и дѣятельности пророка Иліи находится въ III-й и IV-й Книгахъ Царствъ. Его чтятъ не только евреи и христіане, но даже и магометане.

⁶⁶⁾ Сибирская язва—заразительная болѣзнь, вызываемая присутствіемъ въ организмѣ особыхъ бактерий. Эпизоотически свирѣпствуетъ она среди лошадей и крупнаго рогатаго скота, распространяясь на болѣе мелкихъ домашнихъ животныхъ и—въ исключительныхъ случаяхъ—даже на человѣка. Въ Россію эта болѣзнь проникла изъ Монголіи черезъ Сибирь (Забайкалье), почему и получила у насъ такое названіе. Человѣку она передается посредствомъ ужаленія насѣкомыми, соприкасавшимися съ зараженными ею животными. Сначала она проявляется въ видѣ карбункула (*pustula maligna*) и тогда легко поддается излѣченію—выжиганіемъ раскаленною платиной. Будучи запущена, язва производитъ общее зараженіе, быстро ведущее къ смерти.

я, рабъ Божій“,—говорится, на примѣръ, въ одномъ изъ этихъ заговоровъ,—„пойду подь восточную сторону, къ морю-окіану... На томъ окіанъ-морѣ стоитъ Божій островъ, на томъ островѣ лежитъ бѣль-горючъ камень-алатырь, а на камени святыи пророкъ Илья съ небесными ангелами. Молюся тебѣ, святыи пророче, пошли тридцать ангеловъ въ златокованномъ платьѣ, съ луки и стрѣлы, да отбиваютъ и отстрѣливаютъ отъ раба уроки и призоры и притки, щипоты и ломоты, и вѣтроносное язво“...

Могущество св. Илии-пророка, имѣющаго, по народному вѣрованію, власть даже надъ ангелами, грозою гремитъ надъ всѣми темными силами, существующими на соблазнъ и на пагубу крещеному міру православному. Своими огненными, а то и каменными, стрѣлами онъ поражаетъ духовъ тьмы; во время грозы укрываются они въ змѣй и другихъ гадовъ, но небесныя стрѣлы и тамъ находятъ ихъ и убиваютъ на радость добрымъ людямъ, чествующимъ пророка Божія. Но горе тѣмъ отъ его грознаго гнѣва, кто не чтитъ его, кто—внимая своей злобѣ—плодитъ только злую гордыню на нивѣ жизни. Въ одной изъ старинныхъ сказокъ „громовникъ Илья“ говоритъ „Огняной Маріи“ (Пресвятой Дѣвѣ), плачущей надъ грѣхами человѣчества: „Станемъ молить истиннаго Бога—пусть дастъ намъ ключи отъ неба, и затворимъ седьмъ небесъ, наложимъ печать на облака, да не падетъ изъ нихъ ни шумящій дождь, ни тихая роса три года, и да не родится ни вино, ни пшеница“... И—„ключи“ эти, по словамъ другихъ памятниковъ народнаго творчества, „дались ему въ руки отъ истиннаго Бога“. Онъ—волѣнъ и въ дождѣ, и въ бездождіи. По желанію своему, можетъ онъ выбивать градомъ поля грѣшниковъ, можетъ поражать на-смерть злыхъ людей. Но въ то-же время онъ заботится о нивахъ добрыхъ пахарей, помнящихъ Бога: побиваетъ стрѣлами всякую тлю земную, всякій „гнусъ“, поѣдающій жито. „Если-бы не побиваль ихъ Илья-пророкъ, то земля не родила-бы хлѣба“,—говорятъ въ народѣ.

Каждое 20-е іюля ждуть на Руси дождя и грома—какъ въ день, посвященный повелѣвающему ими пророку. Вѣдро на Ильинъ день предвѣщаетъ пожары. Ильинскимъ дождемъ умываются для предохраненія отъ всякихъ „вражьихъ чаръ“, соединенныхъ съ болѣзнями. Въ день св. пророка никто не долженъ, по вѣрованію народа, работать въ полѣ: ни жать, ни косить, ни убирать сѣна—изъ опасенія того, чтобы Илья-громовникъ не спалилъ во гнѣвѣ уродившееся жито и сѣно. Упорныхъ ослушниковъ, никогда не почитающихъ праздника

его, пророкъ убиваетъ громомъ. Этому вѣрить твердо вся деревенская Русь, съ незапамятной поры и до нашихъ дней „празднуя Ильѣ“.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ лѣтъ тридцать назадъ еще соблюдался старинный обычай собираться въ этотъ день цѣлымъ приходомъ къ церкви и сгонять туда рогатый скотъ. Священника просили окропить „животину“ святой водою. Послѣ обѣдни выбиралось и покупалось всѣмъ міромъ одно животное, за которое уплачивались хозяину собранныя „съ каждой души“ деньги. Это животное потомъ закалывалось, мясо его варили въ общемъ котлѣ и раздѣляли присутствующимъ на торжествѣ за деньги, которыя обращались въ пользу церкви. Малу-по-малу этотъ обычай исчезъ, хотя въ Вологодской губерніи его можно было, по сосѣдству съ зырянскими, совсѣмъ еще недавно наблюдать во всѣхъ подробностяхъ. Въ Калужской губерніи въ настоящее время пригоняютъ на Ильинъ день къ церкви молодыхъ барашковъ. Въ этотъ праздникъ во многихъ мѣстностяхъ поютъ молебны надъ чашками съ зерномъ—„для плодородія“.

„Святой Илья зажинаетъ!“ — говорятъ въ народѣ и передъ началомъ жатвы связываютъ снопомъ на корню колосья, посвящая ихъ покровителю урожая—словами: „Ильѣ-про року—на бородку“. Въ Курской, Воронежской, Архангельской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ это дѣлается передъ окончаніемъ жатвы. Къ оставленному въ полѣ „кусту хлѣба“ всѣ относятся съ благоговѣніемъ, похожимъ на страхъ. „Кто дотронется до закрута—того скорчитъ!“ — говорятъ старики, хранители обычаевъ и обрядовъ, и приводятъ для убѣжденія легкомысленной сельской молодежи безчисленные примѣры въ подтвержденіе своихъ словъ, звучащихъ отголоскомъ старины.

Съ Ильинимъ днемъ кончаются, по народному слову, лѣтніе красные дни. „Илья лѣто кончаетъ, жито зажинаетъ; первый снопъ — первый осенній праздникъ!“ — говоритъ поселщина-деревеньщина и продолжаетъ, торопая на красныя слова: „На Илью до обѣда—лѣто, послѣ обѣда—осень!“ . Народная мудрость, проявляющаяся въ пословицахъ, идетъ дальше. Она гласитъ: „До Ильина дня сѣно сметать — пудъ меду въ него накласть, послѣ Ильина — пудъ навозу!“ . По старинному изреченію: „До Ильи попъ дожда не умолитъ; послѣ Ильи—баба фартукомъ нагонитъ; до Ильина дня и подъ кустомъ сушить, а послѣ Ильина дня и на кусту не сохнетъ!“ . А между тѣмъ — какъ-разъ въ это время и ждетъ народъ вѣдра для уборки хлѣбовъ, потому что, по

его словамъ: „До Ильи дождь—въ закромъ, послѣ Ильи—изъ закрома!“. Потому-то, между прочимъ, и читается наособицу у насъ на Руси день пророка, „держащаго и низводящаго дождь“.

На Ильинъ день не работаютъ въ полѣ, но къ этому празднику готовятся именно работами. „Къ Ильину дню заборанивай парь! До Ильи хоть зубомъ подери! Къ Ильину дню хоть кнудомъ прихлыстни, да заборони! До Ильи—хоть кнудомъ захлыщи!“ Въ этихъ поговоркахъ слышится голосъ деревенскаго опыта, выработаннаго вѣками земледѣльческаго труда, а потому и почти никогда не ошибающагося въ своихъ примѣгахъ. Единственная работа, допускаемая въ праздникъ св. Ильи-пророка, это—первое подрѣзываніе сотовъ на пчельникѣ. Въ этотъ-же день пчеловоды перегоняютъ послѣдніе рои пчелъ и подчищаютъ ульи. Пчелка—Божья работница, „Божа пташка“—по словамъ малороссовъ. Ея работа на церковь, Богу на свѣчку — охраняетъ ее отъ гнѣва разящаго громами пророка. По вѣрованію пчеловодовъ, Илья-громовникъ не ударитъ громомъ въ улей, хотя-бы укрылся за нимъ нечистый духъ.

На Ильинъ день не выгоняютъ и скотъ въ поле на пастбище. Народъ убѣжденъ непоколебимо, что въ этотъ праздникъ открываются волчьи норы, и „весь звѣрь бродитъ на свободѣ“... Кромѣ того, существуетъ опасеніе, что разгнѣванный пророкъ можетъ поразить и выгнанную въ поле „животину“, и пастуха.

Къ концу іюля вода въ рѣкѣ становится холоднѣе. Это связывается, въ представленіи народа, съ чествуемымъ праздникомъ „дождащаго и гремящаго“ пророка. И вотъ—до Ильи мужикъ купается, а съ Ильи—съ рѣкой прощается!“ По народной молвѣ — съ Ильина дня работнику двѣ угоды: ночь длинна, да вода холодна!“ Дни становятся все короче („Петръ и Павелъ къ ночи часъ прибавилъ, Илья-пророкъ—два приволокъ!“), а работы—прибываетъ да прибываетъ въ поляхъ. Есть о чемъ помолиться народу въ Ильинъ день передъ послѣднею лѣтней страдою,—хотя въ болѣе южныхъ губерніяхъ, гдѣ хлѣба созрѣваютъ раньше, „Илья пророкъ—копны считаетъ“, а кое-гдѣ есть уже за столомъ и „новая новина на Ильинъ день“. Жнитво ярового, сновозовъ, сѣвъ озимыхъ, молотба, — на все надо не мало времени. И бѣда, если этому помѣшаютъ дожди.—если не умолитъ народъ грознаго Илью, беспощаднаго въ своемъ праведномъ гнѣвѣ.

Послѣднія лѣтнія, переходящія и на осень, грозы гремятъ все грознѣе. Отъ удара огненныхъ стрѣлъ Ильи-пророка изъ

каменныхъ горъ выбѣгаютъ, по народному вѣрованію, родники и быстрыя рѣчки, не замерзающія даже въ студеную зимнюю пору. Имъ приписывается чудодѣйная сила-мочь; ихъ называютъ не только „гремичими“, но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже и „святыми“. Нерѣдко надъ ними ставятъ кресты и часовни съ иконами св. Ильи-пророка и Божіей Матери, къ которымъ впослѣдствіи совершаются торжественные крестные ходы—каждое 20-е іюля, а въ другое время—при молебствіяхъ во дни бездождія. Благочестивые старики старательно углубляютъ истоки такихъ родниковъ, забираючи прочнымъ срубомъ и всячески оберегая отъ засоренія. Находимыя по близости отъ этихъ родниковъ „громовыя стрѣлки“ считаются цѣлебными отъ разныхъ болѣзней. Этими стрѣлками, по народному повѣрью, св. Илья-пророкъ „побивалъ нечистую силу“ въ свой святой день.

По словамъ деревни, трудящейся весь свой вѣкъ у земли-кормилицы: „Ильинская соломка—деревенская перинка!“, „Знать осень на Ильинъ день по снопамъ!“, „То и веселье ильинскимъ ребятамъ, что новый хлѣбъ!“ „У мужика та обнова на Ильинъ день, что новинкой сытъ!“ „Знать бабу по наряду, что на Ильинъ день съ пирогомъ!“... Да и не перечесть, не пересказать всѣхъ ильинскихъ реченій народныхъ, такъ много вылетѣло ихъ изъ устъ народа-пахаря.

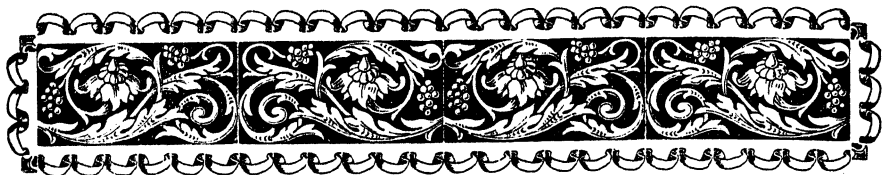
Во многихъ старинныхъ пѣсняхъ св. пророкъ-Илія сливается съ личностью сказочнаго Ильи-Муромца, одного изъ любимыхъ сыновъ русскаго былиннаго пѣснотворчества. Подвиги этого богатыря Земли Русской,—связанные также съ памятью о преподобномъ Іліи Муромскомъ почивающемъ въ Киево-Печерской лаврѣ,—приписываются Ильѣ-пророку. Во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ, по преданію, конь Ильи-Муромца выбивалъ копытомъ родники, поставлены часовни во имя св. Іліи. Въ свою очередь, въ другихъ губерніяхъ даже громовые раскаты объясняются „поѣздкою богатыря Муромца на шести коняхъ по небу“.

Народный „Стихъ о Страшномъ Судѣ“ придаетъ пророку, держащему въ своихъ могучихъ рукахъ громы и дожди, струящіяся на грудь Матери-Сырой-Земли, значеніе одного изъ исполнителей воли Господа, разгнѣваннаго всеобщей растлѣнностью созданнаго Имъ міра. Вотъ какъ повѣствуетъ объ этомъ сказаніе, вышедшее изъ устъ пѣснотворца-народа:

„Какъ сойдетъ съ неба Илья-пророкъ,—
Загорится матушка сыра-земля,
Съ востока загорится до запада,

Съ полудѣнь загорится да до ночи.
 И выгорять горы съ раздольями,
 И выгорять лѣсы темные.
 И сошлетъ Господи потопіе,
 И вымоетъ матушку сыру-землю,
 Аки харатью бѣлюю,
 Аки скорлупу яичную,
 Аки дѣвицу непорочную...“

Всюду, гдѣ встрѣчается имя грознаго пророка въ дошедшихъ до нашихъ дней отъ стародавней старины памятникахъ русскаго народнаго творчества, — вездѣ онъ является въ вѣнцѣ своего праведнаго гнѣва на нечестивыхъ грѣшниковъ и съ отеческими заботами о благочестивыхъ и добрыхъ. Съ какимъ обликомъ жилъ онъ въ представленіи отдаленнѣйшихъ предковъ русскаго престолоюдина, такимъ остается и теперъ у насъ въ народѣ.



XXXII.

Августъ-собериха.

Кромѣ особыхъ, нарочитымъ узорочьемъ приукрашенныхъ, цвѣтистыхъ сказовъ о трехъ Спасяхъ (См. гл. XXXIII—XXXV): медовомъ—первомъ, второмъ—яблочномъ и третьемъ—Спожинкахъ, умудренная многовѣковымъ опытомъ народная Русь сохранила—частію въ изустной передачѣ, отчасти-же и въ письменной кошицѣ своихъ бытовѣдovъ—не мало различныхъ преданій, повѣрій, примѣтъ и крайне любопытныхъ обычаевъ, относящихся къ тому-же, обогащенному народной молвью, августу-мѣсяцу.

Стоитъ мѣсяць августъ межевымъ столбомъ на грани лѣта и осени, приходя на свѣтлорусское раздолье привольное послѣ семи старшихъ братьевъ-мѣсяцевъ (до XV-го вѣка приходилъ онъ на Русь шестымъ, затѣмъ—до 1700 года шелъ за двѣнадцатымъ). „Зѣревомъ“—мѣсяцемъ и „зорничникомъ“ называли его отдаленные предки русскаго пахаря, „серпенемъ“ величали малороссы, поляки да чехи со словаками; у сербовъ слыль онъ за „прашникъ“ и „женчъ“, у кроатовъ—за „кимовець“ и „великомешнякъ“; „коловоцемъ“ прозывали его иллирійскіе славяне. „Августъ-густарь, густовѣдъ-мѣсяць“,—говорить русскій мужикъ-простота въ нѣкоторыхъ великороссійскихъ губерніяхъ, своеобразно объясняя словопроисхождение его имени и не подозрѣвая даже, что было это-последнее дано предѣосеннему мѣсяцу въ честь прославленнаго современниками древне-римскаго императора Августа ⁶⁷⁾.

⁶⁷⁾ Августъ (Кай Юлій Цезарь Октавіанъ)—первый римскій императоръ, сынъ Кая Октавія и Атій—младшей сестры Юлія Цезаря; онъ родился 23 сентября въ 63 г. до Р. Хр., былъ (въ 45 г.) усыновленъ Юліемъ Цезаремъ и—по

Хоть и появляется въ этомъ мѣсяцѣ во многихъ мѣстахъ на Руси „хлѣбець-новина“, но работы у деревенскаго хлѣбороба хоть отбавляй. „Мужику въ августѣ три заботы“, — замѣчаетъ народное крылатое слово, — „три заботы: и косить, и пахать, и сѣять!“ „Августъ — каторга, да послѣ будетъ мятовка (раздолье, обиліе пищи): мужицкое горло — суконное бердо, все мнетъ!“ Сиверкой-холодкомъ потягиваетъ на августъ съ идущаго ему навстрѣчу сентябрьскаго „бабьяго лѣта“, но — по народной примѣтѣ: „Въ августѣ вода холодить, да серпы грѣютъ!“ „Августъ-батюшка работой-заботой мужика крушитъ, да послѣ тѣшитъ!“

Августъ не іюль; его не „приберихой“, а — наоборотъ — „соберихой“ да „припасихой“ — мѣсяцемъ въ поселскомъ быту зовутъ. „Что соберетъ мужикъ въ августѣ — тѣмъ и зиму-зимскую сытъ будетъ!“ — гласитъ старое присловье, вылетѣвшее на широкій свѣтлорусскій просторъ изъ устъ деревенскаго люда. „Овсы да льны въ августѣ смотри!“ „Августъ — лено-рость, припасаетъ бабѣ льняной холстъ!“ — можно услышать въ любой поволжской деревнѣ. „Въ августѣ и жнетъ баба, и мнетъ баба, а все на льны оглядывается!“ — приговариваютъ дотѣшные краснословы: „Бываетъ, что и жато, и мято, да ничего не добыто!“ Отъ рѣчистыхъ людей пошли и другія поговорки обо льнахъ да о бабьей заботѣ: „Не домнешь мялкой (снарядъ, которымъ мнутъ ленъ и конопель, очищая волокно) — такъ не возьмешь и прялкой!“ „Не домнешь — такъ за прялкой вспомнѣшь!“ „Безъ черевъ собачка, да — вякъ, вякъ; безъ зубовъ тетка Матрена, да кости гложетъ!“

Хоть и „густоѣдомъ“ зовется августъ-мѣсяць, а половина

его завѣщанію — наслѣдовалъ его богатства и возымѣлъ тогда-же (въ 44 г) намѣ- реніе стать преемникомъ и его власти. Но это удалось не скоро. Борьба республиканской, свергшей Цезаря, партіи съ партіей Антонія, мстившей за смерть диктатора, кончилась побѣдою послѣдней, но побѣда не явилась обезпеченіемъ мира. Борьба не угасала. Она вызвала войну противъ Антонія, побѣдителемъ котораго явился Кай Октавіанъ, заключившій послѣ того триумвиратъ съ нимъ и его другомъ, Лепидомъ, и разбившій республиканское войско. Новое столкнове- ніе съ Антоніемъ, новый союзъ и снова — разрывъ. Въ 31-мъ году Октавіанъ, послѣ ряда войнъ и побѣдъ, оказался единственнымъ властителемъ Римскаго государства, въ 29-мъ — народъ и сенатъ чествовали его триумфомъ, къ 27-му онъ освободился ото всѣхъ соперниковъ и притворно сложилъ власть диктатора, въ благодарность за что и получилъ имя Августа (angustus — священный), сохранивъ его впоследствии въ видѣ императорскаго титула. Цѣлый рядъ новыхъ побѣдоносныхъ войнъ, во всѣ стороны раздвинувшихъ предѣлы Рима, прибрѣлъ ему любовь народа и сосредоточилъ въ его рукахъ полное владычество надъ государствомъ. Форма правленія Августа и явилась тою, съ ка- кой связано понятіе о монархической власти. При немъ Римъ достигъ высокой степени могущества и благосостоянія. Время его и теперь слыветъ за „золотой вѣкъ Августа“.

его подъ постомъ ходить. Но „Успенскій постъ—мужика досыта кормить!“ Пospѣваетъ къ этому времени не только хлѣбъ, но и всякая овощь: гдѣ позаботятся бабы огородъ во-время засадить, тамъ—и огурцы, и рѣдька, и свекла, и рѣпа, не говоря уже о лукѣ,—все поможетъ „поститься—не голодая, работать—не уставая“. „Не до жиру, быть-бы живу!“—говорятъ въ народѣ, прибавляя къ этому: „Отъ Перваго отъ Спаса накопить и мужикъ запаса!“, „Въ августѣ баба хребетъ въ полѣ гнетъ, да житье-то ей медь: дни короче—дольше ночи, ломота въ спинѣ—да разносолъ на столѣ!“

Первый Спасъ медя заламываетъ; онъ, по народному при словью, и бабы грѣхи замаливаетъ: „На Спаса въ ердани купаться—незамоленые грѣхи простятся“. Потому-то блѣдной тѣнью сѣдой старины и дошло отъ царей московскихъ до нашего забывчиваго безвременья „происхожденское купанье“, до сихъ поръ совершающееся въ глухой пошехонской округѣ Ярославской губерніи и въ нѣкоторыхъ другихъ памятливыхъ уголкахъ деревенской Руси послѣ крестнаго хода на воду въ день Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня (1-го августа). Встарину на этотъ праздникъ погружались въ освященныя воды рѣки и мужчины, и женщины, и старые, и малые—одновременно, въ одномъ и томъ-же мѣстѣ; теперь,—тамъ, гдѣ сохранился этотъ обычай,—женщины и дѣвушки входятъ въ рѣку поодаль, наособицу; въ другихъ-же мѣстахъ купаютъ въ этотъ день только лошадей.

Во второй августовскій день Православная Церковь воспоминаетъ „перенесеніе мощей Стефана святаго“ и „Василія юрода (блаженнаго) дивна московскаго“. Умалчивая о послѣднемъ, переходяще каліки—пѣвцы убогіе—распѣваютъ о Стефанѣ-Первомученикѣ свой особый стихъ-сказь. Въ Краснинскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи записанъ слѣдующій, хотя и затемненный-затуманенный явнымъ наслоеніемъ книжнаго склада, но и теперь не вполне лишенный свѣтлой народной окраски, разнопѣвъ этого невѣдомо когда и кѣмъ сложеннаго духовнаго стиха: „Прославляемъ сего вѣры. Фарисеи, лицемѣры, начатки ему стяжаху, противъ мудрости стати не можаху, фарисеи и саддукеи зрять на него сидяще; видѣвъ Стефанъ лице Божье, какъ ангела свѣтца; ложныя тамо свидѣтельства поставивше на соборище, воспріемше восхитоша, и ведоша на сонмище. На високомъ мѣстѣ святой Стефанъ стояше; много крупнымъ камнемъ на Стефанія меташа; къ небу лицомъ нарекашеса, сердцемъ распалашеса:—Се Богъ, виждь, небо твердо, то мы вамъ повѣдаемъ.—Отъ Аврама даждь намъ крестъ!—сей подробномъ глагола-

ше; колесовыя дякона ризы стеляху, горькимъ зеліемъ и каменьемъ Стефана побіяху. — Покуда вы, іудеи, одиѣ вы слѣпо ходите? Богъ явился и воплотился, вы же его не видите? — Приведоша Стефана къ ложному свидѣтельству; простре Стефанъ рущѣ свои, небо ему отверзашеса; узрѣвъ Стефанъ Господа Іисуса, одесную сѣдѣща: — Боже, Боже, прими духъ мой, въ рущѣ свои, Царю Христе, на вѣки вѣковъ!»

За днемъ Стефана-Первомученика стоятъ въ неписанномъ простонародномъ изустномъ мѣсяцесловѣ „Антоны-вихреви“ (3-е августа, день св. Антонія Римлянина, чудотворца новгородскаго), „Семь Отроковъ—сѣногнои“ съ „Евдокеями-огурешницами“ (4-е августа). „Семь Отроковъ“ (Діонисій, Іоаннъ, Антонинъ, Максимилианъ и другіе три) — по народной примѣтѣ — „семь дождей несутъ“; „Евдокея-огурешница“, заставляющая собирать огурцы, въ то-же самое время напоминаетъ бабамъ съ ребятами и о поспѣвшей въ зѣлѣсьи малинѣ-ягодѣ („Авдотьи-малиновки“). Пятое августа, — „Евстигнѣевъ день“, когда, по завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ, заклинала русская деревня Мать - Сыру - Землю ото всякаго лиха, ото всякой оскверняющей ее нечисти, — канунъ Спаса - Преображенья (Второго Спаса).

„Преображенія день свѣтло совершаемъ,
Христа славу си явлша пѣснми величаемъ!“ —

— гласитъ изъ народныхъ устъ стихъ духовный, приглашая православный людъ къ достойному чествованію великаго праздника Господня.

Второй Спасъ (6-е августа), по народному слову, „яблочкомъ разговляется“. Слѣдомъ за этимъ, отмѣченнымъ особыми примѣтами, днемъ — „Пимена-Марины, не ищи въ лѣсу малины: дѣвки лѣсъ пройдутъ, дочиста оберуть!“ Восьмого августа „Мироны-вѣтрогоны, пыль по дорогѣ гонять, по красномъ лѣтѣ стонуть“. За „Миронами“ — „апостола Матей божественный, иже въ мѣсто падшаго Іуды причтенный“. Десятый день августа — „соберихи-зорничника“ — Лаврентьевъ день: на него воспоминаются, по православному мѣсяцеслову, два Лаврентія — св. архидіаконъ-мученикъ да блаженный калужскій.

Объ одиннадцатомъ августа въ Рязанской губерніи записано И. П. Сахаровымъ любопытное преданіе, идущее отъ временъ татарщины. Въ этотъ день, по словамъ старыхъ рязанцевъ, въ селахъ-деревняхъ, что стоятъ по берегамъ рѣкъ Вожи и Быстрицы, на такъ называемыхъ „перекольскихъ могилкахъ“, воочию совершается чудо-чудное. Слышенъ бываетъ на болотѣ свистъ, доносится съ болотины пѣсня: „а и кто свистигъ, а и

кто поетъ—никто не вѣдаетъ“. Происходить диво-дивное. Выбѣгаетъ изъ болота на „могилки“ бѣлая лошадь,—выбѣжить, всѣ могилки обѣгаетъ, къ рѣчамъ Матери-Сырой Земли прислушивается, земь копытомъ бьетъ-раскапываетъ, надъ зарытыми въ ея нѣдрахъ покойничками плачетъ. „Зачѣмъ она бѣгаетъ, что слушаетъ, о чемъ плачетъ, никто не знаетъ, не вѣдаетъ“. Погасаетъ вечеръ, тѣмень ночная опускается на грудь земную; появляются надъ могилками огоньки блудящія, съ могилокъ на болотину перебѣгаютъ. „Какъ загорать они, такъ видно каждую могилку, а какъ засвѣтять, то видно, что и на днѣ болота лежитъ, да ужъ такъ видно—что въ избѣ лавка!..“ Выскивались смѣльчаги, пытливымъ умомъ-разумомъ надѣленные, —выскивались, пытались подгараулить-поймать дивнаго коня бѣлаго; находились и охотники—изловчиться-уловить огонекъ съ могилки, дознаться-довѣдаться: чей свистъ раздастся, что за пѣсня звенить-разливается по затишью вечернему: Не тутъ-то было! Коня бѣлаго и вѣтеръ не догонитъ, не то что человекъ: если и можно подобрать этому незнаемому-невѣдомому коню какое прѣзвище, такъ развѣ одно—„Догони-вѣтеръ“. Но конь въ руки не дается; а отъ свисту да отъ „пѣснѣ“—только оглохнешь, коли дознаваться станешь—кто да что; за огнемъ пойдешь—въ трясины заведетъ, въ трясины-болотину, въ топъ невылазную. Ходитъ по вожскимъ да по быстрицкимъ деревнямъ старый сказъ, ходитъ—что клюкою, старой памятью людей, въ старинѣ свѣдущихъ, подпирается. И ведетъ этотъ рязанскій сказъ, староскладную рѣчь, не сказку, не пѣсню, а былъ-побывальщину. Было въ давнія времена на перекольскихъ могилахъ за трое сутокъ до Успенія Пресвятой Богородицы, четверо сутокъ спустя послѣ Спаса-Преображенія, кровавое побоище. Бились не на животъ, а на смерть, сражались русскіе христіанскіе князья со злымъ басурманиномъ, съ татарами. Длилась битва, лилась кровь—съ обѣихъ сторонъ. И вотъ, начали ломить-одолѣвать басурманскія рати силу русскую. Но, откуда ни возмись („какъ ни отсюда, ни оттуда“) —взялся, выѣхалъ на бѣломъ конѣ богатырь облика нездѣшняго, невѣдомаго вида незнаемаго, а за богатыремъ—сотни-рати богатырскія. Началь-почалъ бить-колоть богатырь зло татаровье—„направо и налево и добилъ ихъ чуть не всѣхъ“. И добилъ-бы всѣхъ, да „тутъ подоспѣлъ окаянный Батый“, —подоспѣлъ, богатыря наземь свалилъ-убилъ, а коня загналъ въ болотину. Съ той стародавней поры, по словамъ вѣщаго преданія, „бѣлый конь ищетъ своего богатыря, а его сотня удалая поетъ и свищетъ, авось—откликнется удалый богатырь“...

(Остается три дня до Успенія: Никитинъ, Максимовъ да Михеевъ. На Михея (14-го августа) дуютъ вѣтры-тиховѣи — къ ведреной осени; Михей съ бурей — къ ненастному сентябрю, — гласятъ деревенскія примѣты. Михеевъ день Успенскій постъ кончается, осеннему мясоѣду навстрѣчу идетъ, съ бабымъ лѣтомъ бурей-вѣтромъ перекликается.

Успеніе Пресвятой Богородицы — великій праздникъ, изукрашенный въ народномъ представленіи цѣлымъ рядомъ особыхъ повѣрій, примѣтъ и сказаній (см. гл. XXXIV).

„Большая Пречистая“, — какъ зовется въ народной Руси этотъ день, — „августъ-мѣсяцъ на два полѣ-на рубить“: дѣлитъ пополамъ. За Успеньемъ—16-е августа, Третій Спасъ— „Спожинки“.

Съ успенскаго заговѣнья вплоть до „Ивана-Постнаго“ (29-го августа, дня усѣкновенія честнаго главы св. Іоанна Крестителя) идетъ пора „м о л о д о г о бабьяго лѣта“, время осеннихъ хороводовъ. „Кому работа, а нашимъ бабамъ и въ августѣ — праздникъ!“ — замѣчаетъ деревня по этому поводу, кивая усталую головушкой побѣдною на бабью беззаботность веселую, никакимъ потовымъ-„страднымъ“ трудомъ никогда не крушимуую.

Спожинки пройдутъ, черезъ день — вслѣдъ за ними — „Досѣвки“: 18-е августа, память святыхъ Флора и Лавра. Начнутся вечернія бабьи „засидки“. Памятуеть трудовой людъ старое присловье о томъ, что „съ Фролова дня засиживаютъ ретивые, а съ Семена (1-го сентября) лѣнливые“, — памятуя, не хочеть попасть въ разрядъ послѣднихъ. Въ Симбирской губерніи, да и въ нѣкоторыхъ другихъ, на Флора и Лавра — лошадиный праздникъ. Въ этотъ день крестьяне прикармливаютъ лошадей съ утренней зорьки свѣжимъ сѣномъ да овсомъ, убираютъ заплетаютъ имъ гривы пестрыми олснутками. Въ обѣдню гонять коней къ церковной оградѣ, — скачутъ во всю прыть верхами на нихъ ребята малые, пыль столбомъ вьется вдоль по улицѣ. Отойдетъ обѣдня, отпоютъ попы молебень чествуемымъ святымъ покровителямъ коней, — выходятъ за ограду кропить приведенныхъ лошадей „свячоной“ водою. Это, по увѣренію благочестивыхъ людей, держащихся старинныхъ преданій, охраняеть коней ото всякаго лиха. „Умолилъ Фрола-Лавра — жди лошадямъ добра!“ — катится по дорогамъ прямоѣзжимъ, перекачивается и путями окольными-проселочныки, изъ конца въ конецъ всей великой Руси вѣщая молвь — крылатое слово народное: „Фролъ-Лавѣръ до рабочей лошади добѣръ!“ Конеторговцы-табуничики твердо помнятъ старинный наказъ-обычай — „до Фрола-Лавра не выжигать молодымъ конямъ тавра (клейма)“.

„На Оеклу (19-го августа) дергай свеклу!“—примѣчаютъ огородники: „на то она, матушка, и прозывается свекольницею!“ Въ степныхъ мѣстахъ слѣдятъ въ этотъ день за тѣмъ, съ какой стороны вѣтеръ дуетъ. „Если съ полудня на Оеклу тянетъ—пошли овсы на-спѣхъ, съ теплыхъ морей подулъ вѣтеръ на овесъ-долгоростъ!“ Въ старой Москвѣ гулялъ честной людъ православный въ этотъ день подъ Донскимъ монастыремъ; гуляки,—о которыхъ сложились въ народѣ прибаутки—„Живеть въ Тулѣ да ѣсть дули!“, „Бей челомъ на Тулѣ—ищи на Москвѣ!“,—ходили на предосенней Оеклиной гулянкѣ веселыми ногами „у Никола за валомъ“.

20-ое августа—святъ-Самойлинъ день (память св. пророка Самуила): „Самойло-пророкъ самъ Бога о мужикѣ молитъ“. За нимъ слѣдомъ—апостолу Оаддею честь. „Кто Оаддей—тотъ своимъ счастьемъ (въ этотъ день) владѣй!“—приговариваютъ рѣчистые краснословы-бѣхари: „Баба Василиса, со льнами торопися—готовься къ потрепушкамъ да къ супрядкамъ!“ 22-е августа, въ глазахъ деревенскаго суевѣрія, является днемъ, въ который слѣдуетъ на гумнахъ, находящихся невдалекѣ отъ лѣса, оберегать снопы отъ потѣхи Лѣсовика. „Отъ этой нѣжити не оберечься—такъ пропадешь!“—гуторитъ народъ. Гдѣ только ихъ нѣтъ? „Быль-бы лѣсъ—будетъ и лѣшій!“ Не будь Лѣшему ворогомъ Домовой—не было-бы съ нимъ сладу: не сидится лѣсному хозяину на одномъ мѣстѣ. Слыветъ онъ нѣмымъ, да голосистъ на-диво: не даромъ, — по расскажемъ знавшихся съ нимъ людей—поетъ безъ словъ, бьетъ въ ладоши, свищетъ, аукаетъ, хохочетъ, плачетъ, филиномъ-птицей гукаетъ. Попадется ему навстрѣчу мужикъ-простота,—обойдетъ его Лѣсовикъ, собьетъ съ дороги, заведетъ въ трущобу непроходимую, если тотъ не догадается вывернуть на себѣ рубаху на-изнанку. Остроголовый („голова клиномъ“), мохнатый, съ зачесанными налѣво волосами, безъ бровей и безъ рѣсницъ, надѣвъ сѣрый кафтанъ, застегнутый на правую сторону, подкрадывается онъ по лѣсной опушкѣ къ гуменикамъ и начинаетъ развязывать и раскидывать снопы: все перекидаетъ съ одного гумна на другое, никто и не разберется послѣ,—если не принять надлежащихъ, особо на этотъ случай полагающихся, предохранительныхъ мѣръ. Въ сахаровскомъ „Народномъ дневникѣ“ рассказывается, что встарину въ Тульской губерніи выходили старики на караулъ къ гуменной загороди. Снаряжаясь въ ночное стоянье, надѣвали они тулупъ, выворачивая его шерстью наверхъ; голову устрашители лѣснаго хозяина обматывали полотенцемъ; вмѣсто обыкновеннаго подога-посоха бралась въ руки кочер-

га. Передъ тѣмъ, какъ пачать береженье гумна, знающіе люди, съ молитвою ко св. Северьяну, памятуемому въ этотъ день, очерчивали кочергою кругъ и посрединѣ сѣлись на-земь. Это, по народному слову, заставляло Лѣсовика чуть не за версту обходить стороной оберегаемое мѣсто.

23-е и 24-е августа—„Евтихѣевы дни“. Церковь Православная чествуетъ въ эти дни двухъ Евтихіевъ—преподобнаго да священномученика. Посельщина-деревеньщина примѣчаетъ, что, если объ эту пору доспѣетъ ягода-брусника, то и со жнитвомъ овса надо торопиться. На 23-е августа, кромѣ Евтихія, падаетъ, между прочимъ, память святого Луппа-мученика. „На-Луппа льны лупятся!“—гласитъ народная молвь. По примѣтѣ сельскохозяйственнаго опыта, ленъ двѣ недѣли цвѣтеть, четыре недѣли спѣетъ, а на седьмую—сѣмя летитъ. „Хорошо,—замѣчаетъ деревня,—коли Евтихій будетъ тихій, а то не удержишь льняное сѣмя на корню: все до чиста вы-лупится!“ Въ Сибири съ Луппова дня начинаются во многихъ мѣстахъ первые заморозки—„лупенскіе“, за которыми идутъ вслѣдъ и другіе: покровскіе, катерининскіе да михайловскіе. За шесть сутокъ до конца августа—„соберихи“ приходитъ на Русь Титовъ день. „Святой Титъ послѣдній грибъ раститъ!“—говорятъ въ среднемъ Поволжьѣ. „Грибы грибами, а молотѣба—за плечами!“—приговариваютъ въ Симбирской губерніи, напоминая, къ слову, объ извѣстномъ прибауткѣ: „Титъ, Титъ! Иди молотить!—Зубы болятъ!—Титъ, Титъ, иди кисель ѣсть!—А гдѣ моя большая ложка?..“ Съ Титова на Натальинъ (26-е августа) день варятъ ввечеру бабы овсяный кисель. День Адриана и Наталіи зовется „овсяницами“; съ этой поры начинаютъ дружно косить въ поляхъ овсы: „Ондрейнъ съ Натальей овсы закашиваютъ“. Въ старые годы въ этотъ день ввечеру носили мужики снопъ овсяный (связанный изъ перваго скошеннаго овса) на барскій дворъ. Приѣтомъ пѣлись въ-прѣголосъ особыя пѣсни. Теперь этого обычая нигдѣ не соблюдаютъ, но—по старой памяти—кое-гдѣ еще ставится на особицу, въ полѣ первый снопъ захватывается съ поля въ избу, гдѣ и помѣщается на сутки въ „большой кутъ“, подъ образа. Возвратившись съ работы изъ поля, хозяйка поспѣшно собираетъ ужинъ, приготовленный заранѣе. Садятся за столъ православные и начинаютъ угощаться толокномъ, замѣшеннымъ на кисломъ молокѣ („дежень“), да овсянымъ киселемъ или блинами. „Ондрейнъ толокно мѣсилъ, Наталья блины пекла!“—приговариваетъ хозяйка.—„Спасибо за сладкій дежень, за сытые блины!“—вставая изъ-за стола, обращаются къ ней угощавшіеся:—„А нѣтъ-ли еще грешновой

кашки?“ — „Грешневая не выросла, не хотите ли березовой!“ — отвѣчаетъ она смѣшливымъ ребятамъ-подросткамъ, убирая со стола. Съ этого дня толокно долго не уходитъ изъ домашняго обихода запасливыхъ хозяевъ. „Въ овсяной покосъ—толокномъ паужинай!“ — говорятъ они, на красныя словца не скупаяся: „Скорое кушанье толокно — замѣси да и въ ротъ понеси!“; Хвалился пестъ, что толокно ѣсть!“; „Толокномъ Волги не замѣсишь!“; „Поѣлъ пестъ толокна, да не хвалить: нынче толокно, завтра толокно, все одно — прискучить и оно!“; „Было-бы толоконецъ, а толоконички-то всегда найдутся!“ и т. д.

27-го августа — „Двое Пименовъ съ Анфисой объ-руку стоять, къ Саввѣ-скирднику навстрѣчу вышли!“ На Савву-скирдника (28-го августа) зачинаютъ-починаютъ по степнымъ мѣстамъ убирать послѣдній сжатый хлѣбъ въ скирды. Поставить скирды для мужика-хлѣбороба — дѣло привычное, не трудное. „У хорошаго хозяина — копна со скирдой спорить, а у лежебока — скирдѣшка съ копѣнку!“; но — „Въ хорошіе люди попасть — не скидерку скласть!“; „Псковичъ — Савва (псковскій чудотворецъ) скирды справить, на умъ направить!“ Обычай класть скирды въ каждой мѣстности — свой, наособицу. 29-го августа — „Иванъ-Постный“, — день, посвященный Православной Церковью воспоминанію объ усѣкновеніи честныя главы св. Іоанна, Крестителя Господня.

За Иваномъ-Постнымъ — Александръ Невскій. Объ этомъ благовѣрномъ князѣ, русскомъ святомъ, ходитъ по православної Руси не мало сказаній народныхъ. Въ одномъ изъ нихъ, записанномъ въ Орловской губерніи, повѣствуется о побѣдахъ св. Александра Невскаго ⁶⁸⁾. Пѣснотворецъ-стихо-

⁶⁸⁾ Вел. кн. Александръ Ярославовичъ, прозванный — за свои побѣды надъ шведами на берегахъ Невы — Невскимъ и сопричтенный Православной Церковью къ лику ея святыхъ, былъ вторымъ сыномъ вел. князя Ярослава Всеволодовича. Онъ родился 30 мая 1220 года, занималъ престолъ великокняжескій (Владимірскій) съ 1252 года. До вступленія на столъ Мономаховъ, онъ былъ княземъ Новгородскимъ. На его долю выпалъ подвигъ охранять родную Русь отъ воинственныхъ набѣговъ шведовъ, ливонскихъ и мѣпевъ и литовцевъ въ то самое время, когда остальная Русь стонала подъ напоромъ татарскаго нашествія. 5-е апрѣля 1242 года — день самой славной битвы кн. Александра: знаменитаго „Ледоваго побоища“, нанесшаго тяжкій уронъ сѣверо-западнымъ врагамъ народа русскаго. Послѣ смерти отца (въ 1246 г.) онъ проявилъ въ отношеніяхъ къ татарскимъ ханамъ политическую мудрость. Послѣднимъ дѣломъ св. Александра Невскаго было выхлопотанное имъ освобожденіе русскаго народа отъ повинности выставять для татарскихъ полчищъ военные отряды. Кончина благовѣрнаго князя, стяжавшаго себѣ память заступника Земли Русской, послѣдовала 14-го ноября 1263 г. Онъ скончался на пути изъ Золотой Орды — въ Городцѣ Воложскомъ — и былъ погребенъ во Владимірѣ. Мощи св.

сказатель погрѣшилъ въ этомъ пѣсенномъ сказѣ, и не мало, противъ строгой, запечатлѣнной въ лѣтописяхъ, правды, но остался вполне вѣренъ исконному русскому духу.

„Ужь давно то христіанская вѣра во Россіюшку взошла, какъ и весь-то народъ русскій покрестился во нее, покрестился, возмолился Богу Вышнему“, — начинается этотъ сказъ. Далѣе приводятся слова, которыми русскій народъ-сказатель „возмолился“:

„Ты создай намъ, Боже,
Житье мирное, любовное;
Отжени ты отъ насъ
Враговъ палубныхъ;
Ты посѣй на нашу Русь
Счастье многое!“

Повѣствованіе продолжается со спокойствіемъ лѣтописи: „И слышалъ Богъ молитвы своихъ новыхъ христіанъ: надѣлялъ онъ ихъ счастьемъ многимъ своимъ. Но забылся народъ русскій, въ счастья живя: онъ сталъ Бога забывать, а себѣ-то гибель заготовлять. И наслалъ Богъ на нихъ казни лютыя, казни лютыя, смертоносныя: онъ наслалъ-то на Святую Русь нечестивыхъ людей, нечестивыхъ людей - татаръ крымскіихъ“... Война всегда казалась мирному народу-пахарю „смертоносной казнью“, хотя въ лихія години и поднимался онъ весь отъ мала до велика на защиту родины. „... и двинулось погано племя отъ сѣвера на югъ“, — ведетъ свою повѣсть безвѣстный сказатель: „какъ сжигали-разбивали грады многіе, пустошили-полонили земли русскія. Добрались-то они до святаго мѣста, до славнаго Великаго Новгорода“... Эти слова указываютъ на сѣверное—новгородское—происхожденіе приводимаго сказанія. „Но въ этомъ-то градѣ жилъ христіанскій народъ: онъ молилъ и просилъ о защитѣ Бога Вышняго. И вышелъ на враговъ славный новгородскій князь, новгородскій князь Александръ Невскій. Онъ разбилъ и прогналъ нечестивыхъ татаръ; „возвратившись съ войны, онъ во иноки пошелъ, онъ за святость своей жизни угодникомъ Бога сталъ“... За этимъ, особенно погрѣшающимъ лѣтописной правдѣ, мѣстомъ сказанія слѣдуетъ моленіе, съ которымъ, по слову сказателя, „притекають грѣшніи народы“ ко св. Александру Невскому: „Ты, угодникъ Божій, благовѣрный Александръ! Умоляй за насъ Бога Вышняго, отгоняй отъ насъ враговъ пагубныхъ!“

Александра Невскаго открылись въ 1380-мъ году. Въ 1724-мъ году, по волѣ Императора Петра I-го, они были перенесены въ Петербургъ, гдѣ до сихъ поръ почитаютъ въ Троицкой церкви Александро-Невской лавры.

И мы тебя прославляемъ: слава тебѣ, благовѣрный Александръ, отнынѣ и до вѣка!“ На томъ сказъ и заканчивается.

За Александровымъ—Купріяновъ день (31-е августа). Собираютъ на этотъ день журавли свое первое вѣче на болотинѣ, въ лѣсной чащѣ: уговоръ держать—какимъ путемъ дорогою на теплыя воды летѣть. Купріяновъ день—канунъ сентября. А „батюшка-сентябрь не любитъ баловать“: вѣтры-„сиверы“ со полуночи дуютъ.

Первый Спасъ.

Первое августа—день, на который приходится церковный праздник Происхожденія Честныхъ Древъ Креста Господня, слыветь у насъ подъ именемъ „Перваго Спаса“. Это—одинъ изъ послѣднихъ лѣтнихъ—предосеннихъ праздниковъ народной Руси, изстари вѣковъ привыкшей начинать съ этого дня, благословясь, первый посѣвъ озимого хлѣба. „Первый Спасъ—первый сѣвъ!“—гласить изъ темной глубины старинныхъ пословицъ простонародная мудрость: „До Петрова дни взорать, до Ильина—заборонить, на Спасъ—засѣвать!“ и продолжаетъ въ томъ же родѣ: „Спасъ—всему часъ!“, „Спасовъ день покажетъ, чья лошадка обскачетъ (т. е. —кто во время, и даже раньше другихъ сосѣдей, уберется въ полѣ)!“. Приведенныя пословицы, приуроченныя къ Первому Спасу, ясно показываютъ, что этотъ день должно считать однимъ изъ такъ называемыхъ земледѣльческихъ праздниковъ. Эти праздники съ древнѣйшихъ временъ справлялись всѣми народами, „сидѣвшими на землѣ“—по образному выраженію русскихъ лѣтописцевъ. Такъ, еще у евреевъ—въ ветхозавѣтную пору ихъ жизни—существовалъ „праздникъ жить первородныхъ и седмицъ“; у древнихъ египтянъ, грековъ и римлянъ были установлены свои подобныя празднества; древніе германцы и нѣкоторые другіе народы совершали особые торжественные обряды—какъ по обончаніи жатвы, такъ и при началѣ сѣва. Нечего уже говорить о племенахъ славянскихъ, едва-ли не тѣмъ же всѣхъ связанныхъ въ своемъ быту съ матерью-землею: у нихъ праздники эти не отжили своего времени и до сихъ поръ. Августъ-мѣсяцъ встарину весь былъ посвященъ бо-

гамъ полей: Дажьдбогу и Велесу—у русскихъ, Святovidу—у балтійскихъ славянъ. Этимъ милостивымъ божествамъ и приносилась, всегда приблизительно на Первый Спасъ, благодарственная жертва: испеченный на первомъ выломанномъ изъ лучшаго улья меду громадный хлѣбъ-пряникъ изъ первой ржаной муки новаго урожая.

Русскій народъ издавна былъ не только хлѣбопашцемъ, но и пчеловодомъ. Первый Спасъ у него не только „первый сѣвъ“, но „Спасъ медовый“. Въ этотъ день до сихъ поръ сельская-попольная Русь ломаетъ первый медъ на пчельникахъ. „На Первый Спасъ и нищій медку попробуетъ!“—говоритъ пословица, и молвится она не мимо. Утро перваго августа начинается у пчеловода на пасѣкѣ. Онъ старательно осматриваетъ, осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, всѣ свои ульи, выбирая среди нихъ самый богатый по медовому запасу. Облюбовавъ улей, онъ „выламываетъ“ изъ него соты и, отложивъ часть ихъ въ новую, не бывшую въ употребленіи, деревянную посудину, несетъ въ церковь. Послѣ обѣдни священникъ выходитъ къ паперти—благословляетъ „новую новину“ отъ вешнихъ и лѣтнихъ трудовъ пчелы, „Божьей работницы“, и начинаетъ святить принесенные соты. Дьячокъ собираетъ въ заранѣе приготовленные корытца „попову долю“. Часть освященнаго меда раздѣляется тутъ-же нищей братіи, поздравляющей пчеловодовъ съ Первымъ Спасомъ—медовымъ. А затѣмъ большая половина этого праздника проходитъ у заботливаго хозяина возлѣ пчелъ: до вечерней зари идетъ по пчельникамъ горячая работа. Вечеромъ обступаетъ каждый пчельникъ толпа ребятъ и подростковъ съ чашечками, а то и просто съ сорванными по близости широкими лопухами репейника, въ рукахъ. Это—охотники до сластей, пришедшіе получить отъ особенно тороватыхъ въ этотъ день пчеловодовъ свою „ребячью долю“. Цѣлый годъ ждетъ деревенская дѣтвора Перваго Спаса,—знаетъ, что не обнесутъ ея, не обдѣлятъ въ этотъ медовый праздникъ ни на одномъ пчельникѣ. Недаромъ говорится: „Спасовка—лакомка“. Медодомъ щедрой рукою накладываетъ ребятамъ ихъ „долю“ изъ особаго корытца, куда соскребались имъ изъ выламываемыхъ ульевъ обломки сотовъ. А разлакомившіеся ребята причитаютъ—ведутъ голосомъ:

„Дай, Господи, хозяину многія лѣта,
Многія лѣта—долгіе годы!

А и долго ему жить—Спаса не гнѣвить,
Спаса не гнѣвить, Божьихъ пчелъ водить,

Божьихъ пчель водить, ярый воскъ топить —
 Богу на свѣчку, хозяину на прибыль,
 Дому на приращеніе,
 Малымъ дѣтушкамъ на утѣшеніе.
 Дай, Господи, хозяину отца-мать кормить,
 Отца-мать кормить, малыхъ дѣтушекъ растить,
 Уму-разуму учить!
 Дай, Господи, хозяину со своей хозяйшкой
 Сладко ѣсть, сладко пить,
 А и того слаще на бѣломъ свѣтѣ жить!
 Дай, Господи, хозяину многія лѣта!“

На слѣдующій день послѣ Перваго Спаса пчеловодъ начинаетъ заботиться объ ограбленной имъ пчелѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ этихъ поръ всѣ цвѣты становятся бѣднѣе „взяткомъ“, такъ что приходится изрѣдка подставлять къ ульямъ въ корытцахъ „сыту“ (медовую жижу, сильно разбавленную водою) на прокормъ Божьей работницѣ. †

Съ Петрова дня до Перваго Спаса кипить въ поляхъ страдная бабья работа, не кончающаяся даже и съ наступленіемъ августа. Но ни въ какое другое время не водится столько хороводовъ, не поется такъ много пѣсень, какъ въ эту рабочую пору: вечерами—чуть не до утренней зорьки—вся молодая деревня поетъ-заливается.

Русская народная пѣсня... Въ ней—могучей, раздольно-глубокой—болѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было, развертывается духовная сила народа-пахаря—стихийная сила: мощный подъемъ духа, широкій размахъ замысла, неудержимое стремленіе къ свободному проявленію жизни сердца... Пѣсня—сердце народа. Въ біеніи этого сердца слышится все, что веселитъ-радуетъ, что гнететь-томитъ народную душу. Въ пѣснѣ народа—и торжественный кликъ его счастья, и заунывный стонъ его вѣковѣчнаго горя. Честь и слава собирателямъ этого неоцѣнимаго богатства народнаго, поклонъ имъ до сырой земли! Заслуга ихъ передъ родиной тѣмъ безмѣрнѣе, что намъ приходится стоять чуть не на могилѣ то величественныхъ, то веселящихъ душу, то щемящихъ сердце пѣсень, вымирающихъ смолкающихъ день-ото-дня все больше и больше—въ своемъ отступленіи передъ побѣдоноснымъ шествіемъ въ народную Русь заводскихъ-фабричныхъ „частушекъ“, лишенныхъ не только всякой красоты но—порою—и простой осмысленности. Не такъ страшенъ этотъ бессмысленный врагъ, когда грамотность можетъ возвратитъ народу его „сердце“—пѣсню—въ ея первобытной, нелекаженной чуждыми наслоеніями, красотѣ.

Послѣ Перваго Спаса не слышно уже ни одной пѣсни; съ самаго начала Успенскаго поста и до осеннихъ покровскихъ свадебъ, особенно обильныхъ въ хлѣбородные веселые годы, молчать всѣ деревенскіе пѣвцы голосистые.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Первый Спасъ устраиваются такъ называемыя „сиротскія и вдови пѣмочи“. Работа пѣмочью—работа за угощеніе. Грѣхъ работать во всякій праздникъ, по убѣжденію народа, но не въ тотъ день, который сама старина стародавняя окрестила именемъ „перваго сѣва“. Тѣмъ болѣе не считается грѣхомъ праздничная работа—„вдовья пѣмочь“, на которую сходятся по большей части послѣ обѣдни, до обѣда. „На вдовій дворъ хоть щепку кинь!“—гласить завѣтъ старыхъ, стоявшихъ ближе къ Богу, людей, связывавшихъ съ этимъ изреченіемъ другое: „Съ міру по ниткѣ—голому рубаха!“ Съ сиротъ и вдовъ многого не спроситъ помогающій людъ за работу на Первый Спасъ; бываетъ даже и такъ, что не только поможетъ имъ „міръ“, а и самъ нанесетъ въ избу всякихъ припасовъ. „Не нами уставлено—не нами и кончится!“—замѣчаетъ деревенская Русь объ этомъ, вызванномъ сердобольностью, обычаѣ и на распѣвъ приговариваетъ:

„Ты—за себя,
Мы—за тебя,
А Христовъ Спасъ—
За всѣхъ насъ!“

Съ Перваго Спаса начинаютъ собирать макъ. Потому-то въ иныхъ мѣстностяхъ и называютъ этотъ праздникъ „Маковеями“. Съ этого-же дня народный сельскохозяйственный дневникъ, записанный рукою природы въ памяти старожилъ, совѣтуетъ бабамъ защипывать горохъ, а мужикамъ—готовить гумна. Деревня твердо помнитъ, что ей нужно дѣлать съ перваго дня августа: „Отцвѣтаютъ розы—падаютъ росы!“—говоритъ она.—„Съ Перваго Спаса и роса хороша!“, „Защипывай горохъ!“ „Готовь гумна!“ „Паши подозимъ, сѣй озимь!“, „Заламывай соты!“ и т. д. Въ этотъ-же день изстари ведется въ народѣ святить новые колодцы. „Царица-водица—царь-огню сестрица!“—величаетъ воду простодушный богатырь-пахарь и относится въ ней едва-ли съ меньшимъ чувствомъ уваженія, чѣмъ къ дару Божию хлѣбу. Умышленно засорить чужой, а тѣмъ болѣе общественный, колодець считается немалымъ грѣхомъ.

Блѣднѣютъ къ этой порѣ лѣсные и полевые цвѣты, отцвѣтать принимаются. Пчела мало-по-малу перестаетъ добывать

свой медовой „взятѣкъ“. Зато, къ Первому Спасу, на соблазнъ деревенской дѣтвора, все еще алѣеть въ лѣсу малина. „Первый Спасъ: Авдотьи малиновки, доспѣваетъ малина!“ — говорятъ въ деревнѣ. Съ Ильина дня до этого праздника вода въ рѣкѣ успѣваетъ настолько похолодѣть, что на него въ послѣдній разъ лошадей купаютъ. И крестьянинъ твердо увѣренъ въ томъ, что, если послѣ этого дня выкупать лошадь, то она не переживетъ предстоящей зимней стужи: „кровь застынетъ“.

Любимая птица русскаго простонародья—домовитая ласточка, по старинной примѣтѣ, наканунѣ этого дня въ послѣдній разъ облетаетъ деревню. Съ Перваго Спаса у ней забота: объ отлѣтѣ „за сине-море, на теплыя воды“. И хотя это на дѣлѣ далеко не всегда подтверждается, но почти всюду можно услышать въ народѣ повѣрье, что ласточки отлетаютъ „въ три раза, въ три Спаса“ (1-го, 6-го и 16-го августа). Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, послѣ обѣдни на Первый Спасъ, даже сбѣгается за околицу деревенская дѣтвора—„просить касатокъ“. Затѣваются веселыя игры на луговинѣ, во время которыхъ нѣсколько сторожевыхъ зорко слѣдятъ: не пролетитъ ли изъ деревни ласточка. За первую-же случайно вылетѣвшей на сборище щebetуньей—ребята всей гурьбою бросаются и бѣгутъ съ припѣвами въ родѣ слѣдующаго, записаннаго въ с. Ртищевой Каменкѣ Симбирскаго уѣзда:

„Ласточка-касатка!
 А гдѣ жъ твоя matka?
 Гдѣ твои братцы,
 Гдѣ твои дѣтки,
 Гдѣ жъ твои сестрицы?
 Испей Спасовой водицы!
 Улетать—не отлетай,
 До Спожинокъ доживай!“

И, обрадованная повстрѣчавшеюся летуньей, дѣтвора возвращается въ деревню—увѣренная, что ласточка-касатка и впрямь послушается уговорѣвъ, не покинетъ деревни до самыхъ „Спожинокъ“ („Госпожинокъ“ „Дожинокъ“), т. е. до Третьяго Спаса, когда во всѣхъ поляхъ дожинается самый послѣдній снопь. „Ласточка весну начинаетъ—осень накликаетъ!“ по старинной народной поговоркѣ.

Первый день послѣдняго лѣтняго мѣсяца въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ отмѣчается „проводами лѣта“, устраиваемыми всѣми дѣвушками и парнями молодыми, также за околицею, на „выгонѣ“, или въ лугахъ, за рѣчкою (послѣднее—чаще). Ве-

селяя толпа молодёжи, съ пѣснями, несутъ наряженную въ сарафанъ и кокошникъ куклу, сдѣланную изъ новой соломы, и топить ее въ рѣчкѣ, или, разрывая на клочки, пускаетъ ихъ по-вѣтру. Впрочемъ, проводы лѣта въ большинствѣ мѣстностей приурочиваются къ болѣе позднему времени—къ „бабьему лѣту“, приходящемуся на первую половину сентября, и только въ очень немногихъ совершаются на Первый Спасъ медовый.

День перваго августа вызываетъ въ пытливой памяти любителей и знатоковъ родной старины стародавней яркую, обвѣянную умиленнымъ чувствомъ могучаго народа, картину. Не въ памятникахъ простонароднаго творчества не въ изустныхъ сказахъ-бывальщинахъ, хранимыхъ внуками-правнуками пѣснотворцевъ-сказателей, дошло до нашихъ дней представленіе объ этой картинѣ, оживляющей воскрешающей красную страницу самобытнаго житья-бытья давнихъ дѣдовъ-прадѣдовъ; дошло оно въ лѣтописномъ словѣ—вѣрномъ непогрѣшимой жизненной правдѣ. Былъ-прозывался Первый Спасъ на Святой Руси, во времена царей московскихъ, и „Происхожденъевымъ днемъ“: какъ и теперь—праздновался на него праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня, начинающій собою двухнедѣльный Успенскій постъ. Видывала Москва Бѣлокаменная два-три вѣка тому назадъ „зрѣлище лѣпое“, привлекавшее къ себѣ всѣхъ насельниковъ первопрестольнаго города, отъ мала до велика.

Богомольные царскіе выходы съ древнѣйшихъ временъ являлись одною изъ самоважнѣйшихъ сторонъ обихода государева на Святой Руси. Каждый большой праздникъ ознаменовывался ими. И давалась этимъ желанная для царелюбиваго народа возможность лицезрѣнія государева. Гости-послы иноземные, оставившіе въ наслѣдіе нашимъ днямъ описаніе своихъ „путешествій въ Московію“, свидѣтельствуя о томъ, что являлъ себя „даръ государь всеа Русіи“ въ несказанномъ великолѣпіи. Это свидѣтельство подтверждается и всѣми русскими лѣтописными памятниками, говоря такимъ образомъ о нелицепріятіи заѣзжихъ чужеземцевъ, „въ книжномъ описаніи зѣло искусившихся“. Сохранилась точная роспись: на какой праздникъ, въ какомъ нарядѣ и съ какою свитой „выходить“ вѣнценосному богомольцу. На одни, главнѣйшіе, полагался особый „большой нарядъ царскій“—платно-порфира, шапка-корона царская, бармы-діадимы, наперстный крестъ съ перевязью, жезлъ—вмѣсто посоха. На другіе—„малый“: съ посохомъ, вмѣсто жезла, и безъ бармъ; на третьи

— „выѣздной“, еще менѣе блистательный. Но всегда выходъ,—кромѣ „тайныхъ“, когда царь шелъ въ „смирной“ одеждѣ, — былъ великолѣпный и возносилъ передъ глазами народа санъ царскій на высоту недосыгаемую.

Въ праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня совершался въ Москвѣ особый крестный ходъ на воду. Принималъ въ этомъ ходѣ непосредственное участіе и царь-государь. Въ канунъ Спасова заговѣнья, вечеромъ 31-го іюля, съ Евдокимова дня на Первый Спась, изволилъ онъ совершать выѣздъ въ Симоновъ монастырь; ошастлививъ его своимъ посѣщеніемъ—слушалъ вечерню, а поутру 1-го августа стоялъ заутреню. Здѣсь, напротивъ монастыря, на Москва-рѣкѣ устраивалась „іордань“—какъ и въ день Богоявленія. Возводилась надъ водою сѣнь на четырехъ столбахъ изукрашенныхъ—съ „гзызомъ“ (карнизомъ) въ роспись красками и златомъ-серебромъ, увѣнчанная золоченымъ крестомъ. По угламъ іордани изображались святые евангелисты, извнутри нея—апостолы Господни и другіе святители. А кромѣ этого убиралось все возведенное сооруженіе цвѣтами, птицами, листьями—впрозолоть, впрозелень, впросинь и впрокрасъ, на всю цвѣтную пестрядь. Подлѣ іордани устраивались два „мѣста“—государево (въ видѣ круглаго храма пятиглаваго) и патриаршее. Царское мѣсто утверждалось на пяти точеныхъ столбцахъ позолоченныхъ и было росписано травами, рѣзбою приукрашено да слюдяными круглыми рамами защищено; одна рама—въ два затвора—за дверь была; стояло царское мѣсто на пяти золоченыхъ яблокахъ и задергивалось извнутри вокругъ тафтяной завѣсью. Огораживались царское съ патриаршимъ мѣста раззолоченой рѣшеткою; весь помостъ вокругъ нихъ застилался алымъ сукномъ. Въ положенное время, подъ звонъ колокольный съ сорока-сороковъ московскихъ, изволилъ шествовать царь-государь, въ предшествіи хода крестнаго, съ боярами по бокамъ, въ сопровожденіи прочихъ людей служилыхъ—стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ, дьяковъ, „солдатскаго строю генераловъ“, стрѣлцкихъ полковниковъ, всей прочей свиты въ золотныхъ кафтанахъ и приказныхъ людей нижнихъ чиновъ. Все пространство по Москва-рѣкѣ пестрѣло полками стрѣлцкими и солдатскими,—въ ратномъ строю, въ цвѣтномъ платьѣ и со знаменами, съ барабанами, подъ оружіемъ. Видимо-невидимо, несмѣтныя тысячи люда московскаго огаймляли все это. Государь выходилъ на воду, становился съ патриархомъ на свои мѣста посреди сонма духовнаго и служилыхъ чиновъ московскихъ. Одновременно начиналось

торжественное освященіе воды. Власти духовныя приближались къ вѣнценосному богомольцу и къ патріарху, въ очередь подходили, „по степенямъ“, по двое въ рядъ, — подобдя, били поклоны уставленные. Всѣ, начиная съ царя-государя, получали изъ патріаршихъ рукъ зажженныя свѣчи.

Дѣйство Происхожденія начиналось погруженіемъ Животворящаго Креста. По прочтеніи молитвъ, по положенію, царь — съ ближними боярами ó-бокъ — сходилъ въ іорданъ. Былъ государь на этомъ выходѣ въ обычномъ ѣздовомъ платьѣ; но — передъ погруженіемъ въ воду — возлагалъ на себя святыя кресты съ нетлѣнными мощами. А возлагались на царя-государя въ Происхожденьевъ день, при этомъ, по словамъ разрядныхъ записей, слѣдующія святыни: „Крестъ золотъ, Петра чудотворца, на немъ образъ Спасовъ рѣзной стоящей, посторонь образа Пречистыя Богородицы да Іоанна Богослова, позади Архангелъ Михаилъ. Въ головѣ камень яхонтъ червчатъ. Сорочка бархатъ червчатъ же. Крестъ и около креста низано большимъ жемчугомъ. Крестъ золотъ сканной, въ серединѣ Распятіе Господне наложено финифтью, посторонь четыре святыхъ рѣзныхъ наложено финифтью, назади мученикъ Евсегней, посторонь святыя; во главѣ изумрудъ, да около креста 28 жемчужковъ, а въ срединѣ креста 12 жемчужковъ да 8 камушковъ въ гнѣздахъ. Крестъ золотъ; во главѣ образъ Спаса Нерукотвореннаго, въ серединѣ Распятіе Господне чеканное да два яхонта да двѣ лалы. Около креста и главы обнизано жемчугомъ, кафимскимъ въ одно зерно. Назади подпись, мощи святыхъ; у головы въ закрѣпкѣ два зерна жемчужныхъ, сорочка бархатъ коришной цвѣтъ. Крестъ и слова низано жемчугомъ“.

Дѣйство Происхожденія совершалось и не только подъ Симоновымъ московскимъ монастыремъ. По-временамъ переносилось совершеніе его въ нѣкоторыя подмосковныя села — вотчины государевы: то въ Коломенское на Москва-рѣкѣ, то на Яузѣ — въ Преображенское. И отовсюду спѣшилъ православный людъ московскій въ эти мѣста на желанное лицезрѣніе государево, гонимый туда стремленіемъ — увидѣвъ „свѣтлоясныя очи царскія“, приобщиться къ свидѣтелямъ благочестиваго погруженія отягченнаго святынями самодержца во іорданъ, по обычаю предковъ, благовѣрныхъ исполнителей преданія святоотческаго, византійской христіанскою стариной завѣщаннаго, привившагося ко гнѣзду Святой Руси съ давнихъ временъ. Строго-на-строго запрещалось — отъ приказныхъ — подавать на этомъ дѣйствѣ державному совершителю его какія-либо жалобныя челобитныя: должно было не-

усыпно блюсти служилому люду святъ - покой государевъ. Но, если кому-нибудь выпадало счастье привлечь на себя свѣтлый взоръ зоркихъ очей царевыхъ да поднять надъ головою грамату съ челобитьемъ своимъ, — попадало челобитье, помимо всѣхъ приказовъ, въ руки самому царю на правый судъ прозорливый, на милость неизреченную. И не было тогда отказа челобитчику ни въ чемъ праведномъ справедливымъ. Когда царь-государь изволилъ выходить изъ воды и, сложивъ съ себя святыни, окруженный ближними боярами, переоблокался въ сухое платно, слюдяныя окна царскаго мѣста задерживались алымъ сукномъ. Затѣмъ, царь являлъ себя народу, прикладывался ко кресту, принималъ патріаршее благословеніе. Духовенство кропило въ это время освященною, „іорданскою“, водою войска и знамена. Когда шествіе — съ царемъ и патріархомъ во главѣ — двигалось отъ мѣста совершенія дѣйства, многіе присутствующіе изъ людей православныхъ тѣснились къ іордани, гдѣ особо приставленныя пристава разливали желающимъ святую воду въ посудины чистыя. Во дворецъ государевъ и на царицыну половину отправлялись двѣ стопы серебряныхъ съ этой водою.

Подъ гулкій звонъ колоколовъ со всѣхъ церковныхъ раскатовъ — возвращался вѣнценосный богомолецъ въ свои палаты, исполнивъ завѣщанное благочестивыми предками, доставивъ этимъ лишній случай своего лицезрѣнія всей Бѣлокаменной, свято хранившей преданія отцовъ и дѣдовъ. А подъ Симоновымъ монастыремъ собиралось народное гулянье чинное, безъ глумотворства всякаго, безъ пѣсни — утѣхи народной. Памятовалъ людъ честной, что за Первымъ Спасомъ — Происхожденьевымъ днемъ — Успенскій постъ идетъ. Провожали дѣтній мясоѣдъ на происхожденскомъ гуляньѣ не виномъ-зеленымъ, не пьяною брагой хмельною, а медами сотовыми, квасами стоялыми да сладкой-спѣлою малиной-ягодою.



XXXIV.

Спасъ-Преображенъе.

Преображеніе Господне, празднуемое въ шестой день августа-мѣсяца, именуется на Руси „Вторымъ Спасомъ“. Народъ называетъ этотъ праздникъ также „Спасъ-Преображенъемъ“, добавляя къ нему еще прозвище „Спаса-яблочнаго“, потому что къ этому времени поспѣваютъ сладкія-румяныя яблоки садовыя. Деревенская Русь до сихъ поръ считаетъ грѣхомъ ѣсть до Второго Спаса какіе-нибудь плоды. Вторая половина присловья „Петровка—голодовка, Спасовка—лакомка“ относится и къ этому Спасу въ тойже мѣрѣ, какъ и къ первому—„медовому“.

Въ старые годы родился на Руси и въ нѣкоторыхъ живущихъ прадѣдовскимъ бытомъ деревенскихъ уголкахъ сохранился до послѣднихъ дней добрый обычай, вызвавшій собою на свѣтъ изъ устъ народа изреченіе: „На Второй Спасъ и нищій яблочкомъ разговѣтся!“. Въ старую старь всѣ русскіе садоводы „принашивали въ храмы плоды для освященія“, и эти плоды изъ рукъ священника раздавались всѣмъ прихожанамъ. Всѣ бѣдняки надѣлялись въ этотъ день яблоками — отъ щедротъ имѣющихъ собственные сады; больные получали яблочную розговѣнь у себя на дому. Кто не исполнялъ этого установленнаго вѣковымъ преданіемъ обычая, тотъ считался за человѣка „недостойнаго общенія“. Старые люди, особенно крѣпко придерживающіеся всего завѣщаннаго народу былыми умудренными опытомъ поколѣніями, говаривали о такихъ не радѣющихъ о сердобольной старинѣ хозяевахъ-садоводахъ: „А не дай-то, Боже, съ ними дѣла имѣть! Забылъ онъ стараго и сираго, не

удѣлили имъ отъ своего богатства малаго добра, не при- зрѣли своимъ добромъ хвораго и бѣднаго! Обычай освя- щенія яблокъ въ день Преображенія Господня сохранил- ся на Руси повсемѣстно. До сихъ поръ—и въ городахъ, и въ селахъ—всюду можно видѣть у поздней обѣдни на этотъ праздникъ прихожанъ съ принесенными для освященія ябло- ками. „Спасовымъ яблочкомъ“ послѣ обѣдни разговляются въ семьѣ каждаго садовода, почитающаго завѣты предковъ. Мо- лодежь держится, при этомъ, обычая загадывать о своей судь- бѣ: желаніе, задуманное въ ту минуту, когда проглатывает- ся первый кусочекъ Спасова яблочка, должно—по старин- ному повѣрью—непремѣнно исполниться. Въ деревняхъ красныя дѣвушки приговариваютъ, разговляясь на Второй Спасъ яб- локами: „Что загадано—то надумано! Что надумано—то сбуди- тся! Что сбудется—не минуется!“ И все-то, все у нихъ на умѣ думки-думушки о суженыхъ-ряженыхъ...

Со Второго Спаса начинаютъ по садамъ снимать яблоки. Еще за нѣсколько дней зоркимъ хозяйскимъ глазомъ осматрива- ется весь яблочный урожай. Благочестивые люди въ урожай- ные годы приглашаютъ отъ обѣдни церковный причтъ—по- молиться въ саду. Поднимается икона Преображенія Господ- ня, благоговѣнно носится хозяевами-садоводами; подъ зеле- ною, чуть начинающею желтѣть, сѣнью деревьевъ служитъ благодарственный молебенъ. Затѣмъ, приступаютъ къ спѣш- ной работѣ, несмотря на то, что день—праздничный. „Время не ждетъ“,—говоритъ хозяйственная забота,—всему—свой часъ!“ И впрямь опасно сидѣть деревнѣ, сложа руки, на Спасъ-Преображенье, — надо помнить, что къ этому празд- нику не только яблоки, но и яровые хлѣба, доспѣваютъ. Не за горами — и ненастные дни осенніе. „Послѣ Второ- го Спаса дождь—хлѣбогной!“—какъ же не спѣшить съ убор- кою хлѣбовъ крестьянину? Торопится онъ со съемкою яблокъ еще и потому, что недаромъ говорится: „Во-время убрать— во-время продать“.

Наканунъ Спасъ-Преображенья въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ происходитъ въ деревняхъ заклинаніе сжатыхъ полей, или точнѣе—„заклинаніе жнивы“. Это дѣлается для того, чтобы нечистая сила не поселилась на жнивѣ, и не выжила съ пажитей скотъ, осеннимъ пастбищемъ котораго будутъ пустыю- щія послѣ сноповѣза поля. Рано поутру, вмѣстѣ съ бѣлою зорькой, выходятъ на поля знающіе всякое словцо старые лю- ди и приговариваютъ, обращаясь лицомъ къ востоку: „Мать- Сыра-Земля! Уйми ты всяку гадину нечистую отъ приворота, оборота и лихого дѣла!“ По произношеніи этихъ словъ, обе-

регающихъ, по мнѣнію знахарей, поля отъ козней темной силы, заклинатели поливаютъ землю коноплянымъ масломъ изъ принесенной стеклянной посуды. Это является несомнѣннымъ пережиткомъ старинной языческой умиловительной жертвы. Затѣмъ, они оборачиваются къ западу и произносятъ: „Мать-Сыра-Земля! Поглоти ты нечистую силу въ бездны кипучія, въ смолу горючую!“ Снова возливается масло на доно земное, и снова раздаются слова заклинанія, обращенныя на этотъ разъ къ югу: „Мать-Сыра-Земля! Утоли ты всѣ вѣтры полуденныя со ненастью, уйми пески сыпучіе со мятелью!“ Эти слова сопровождаются новымъ возліаніемъ, послѣ чего — обратившись къ сѣверу — заклинатели изрекаютъ заключительную часть своеобразной полуязыческой молитвы: „Мать-Сыра Земля! Уйми ты вѣтры полуночныя со тучами, содержи морозы со мятелями!“ Стклянка съ масломъ, вслѣдъ за этими словами, бросается со всего размаха на землю и разбивается. Существуетъ повѣрье, что сила этого заклинанья — произносимаго (не въ полномъ видѣ) и при первомъ выгонѣ скота на подножный кормъ весенній, — дѣйствительна всего только на одинъ годъ, и должно повторять его каждое лѣто наканунѣ Второго Спаса. Этотъ суевѣрный обычай выводится, однако, даже въ самыхъ глухихъ уголкахъ деревенской Руси; недалеко то время, когда онъ останется только на однѣхъ страницахъ изслѣдованій, посвященныхъ старинному быту русскаго народа.

Всѣ дни, начиная отъ Перваго Спаса — до Спасъ-Преображенья, запечатлѣны въ народномъ представленіи особыми примѣтами. Такъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ еще сохранился исчезающій, подобно приведенному заклинанію, обычай поить 2-го августа лошадей „черезъ серебро“. Это сопровождается соблюденіемъ слѣдующихъ условій. Лошадей, въ послѣдній разъ выкупанныхъ на Первый Спасъ, приводятъ на другое утро къ колодезю, бросаютъ въ него серебряный пяточокъ, зачерпываютъ воды, опускаютъ въ бадью другой, „завѣтный“, пяточокъ и поятъ коня пахаря. Исполненіемъ этого обычая думаютъ умиловить Домового, продолжающаго послѣ этого по доброму — по хорошему хозяйить въ дому. Напоенныя въ этотъ день черезъ серебро лошади — „добрѣютъ и не боятся лихого глаза“. Монета, опускаемая въ бадью, должна, скрытно ото всѣхъ домашнихъ и тѣмъ болѣе — постороннихъ, храниться въ конюшнѣ подъ тѣми яслями, изъ которыхъ вѣсть сѣно напоенная по только-что описанному обряду лошадь. При соблюденіи этого условія дворъ, по народному повѣрью, ограждается, отъ конскаго падежа.

Если 3-го августа дуетъ вѣтеръ съ южной стороны и кружатся по дорогѣ пыльные вихри, то многовѣковой опытъ суевѣрнаго люда ожидаетъ въ идущую за наступающей осенью зиму большихъ снѣговъ. Было время, когда — лѣтъ сорокъ тому назадъ — въ этотъ день выходили на перекрестки „допрашивать вихорь о зимѣ“. Этотъ допросъ былъ обставленъ чисто-языческими обрядностями. Допрашивавшій долженъ былъ захватить съ собой ножъ и пѣтуха. Какъ только начинала виться на перекресткѣ пыльная воронка, гадатель вонзалъ ножъ въ середину ея, держа въ это время кричавшаго пѣтуха за голову. Затѣмъ, производился самый допросъ „летучаго духа полуденнаго“. По преданію, вихрь отвѣчалъ на задаваемые ему вопросы. Все предсказанное имъ сбывалось съ замѣчательной точностью, — какъ продолжастъ утверждать и теперь русское простонародное суевѣріе, не осмѣливающееся, впрочемъ, болѣе и бесѣдовать съ глазу-на-глазъ съ „духомъ полуденнымъ“.

„Со Спась-Преображенья — погода преобразается!“ — говорятъ въ деревнѣ и повторяютъ старую, подходящую къ этому случаю, поговорку: „Пришелъ Второй Спасъ — бери рукавицы про запасъ!“ И, впрямь, если все еще дышать лѣтомъ краснымъ августовскіе ясные дни, то изукрашенныя яркою звѣздной росыпью темнымъ-темныя ночи — послѣ 6-го августа — повѣвають осеннимъ холодкомъ, воочию показывающимъ, что, — какъ говоритъ народъ; — „Дѣло-то идетъ къ Покрову, а не къ Петрову (дню)“.

Вечеромъ на Спась-Преображенъ въ Новгородской и сосѣднихъ уѣздахъ другихъ губерній въ старые годы собирався хороводъ молодежи, направлявшейся за околицу — въ поле. Здѣсь на пригоркѣ, съ котораго видно на далекое пространство всю окружающую мѣстность, молодежь дѣлала остановку и принималась слѣдить за близкимъ къ закату солнцемъ; коротая время въ веселой-шумливой бесѣдѣ. Какъ только солнышко красное начнетъ, бывало, опускаться за черту разстилающагося кругозора, собравшіеся прекращали смѣхъ-говоръ, и хороводъ степенно запѣвалъ:

„Солнышко, солнышко, подожди!
 Приѣхали господа-бояре
 Изъ Велика-де Новгорода,
 На Спасовъ день пировать.
 Ужъ и выѣла, господа-бояре,
 Вы, бояре старые, новгородскіе!
 Стройте пиръ большой“

Для всего міра крещонаго,
 Для всей братіи названной!
 Строили господа-бояре пиръ,
 Строили бояре новгородскіе
 Про весь крещонный міръ.
 Вы сходитесь, люди добрые,
 На великъ!званный пиръ;
 Есть про васъ медъ, вино,
 Есть про васъ яства сахарная.
 А и вамъ, крещонный міръ,
 Вьемъ челомъ и кланяемся!“

Это „провожавшая солнце“ пѣсня хотя и повѣствовала о „большомъ пирѣ“, но и сама звучала чѣмъ-то не особенно идущимъ къ веселью, связанному съ вполне опредѣленнымъ понятіемъ о русскихъ пирахъ.

Настроеніе пѣснотворца-народа, дышащаго однимъ дыханіемъ съ природою и ея стихіями, на Спасъ-Преображенъе, словно провожаетъ красно-солнышко не только на закатъ, но и на зимній покой. А въ его знойныхъ лучахъ ощущается какъ-разъ въ эти дни уборки хлѣбовъ съ поля такая настоящая нужда для всей посельщины-деревеньщины, пашущей, засѣвающей и поливающей своимъ трудовымъ потомъ родныя нивы. До „Спожинокъ“—еще болѣе недѣли. Потому-то и обращается народъ въ своей пѣснѣ къ согрѣвающему землю и нѣдра земли прекрасному, щедрому на дары, свѣтилу съ мольбою: „Солнышко, солнышко, подожди!“.

Спожинки.

На переломѣ августа (15-го числа), въ день Успенія Пресвятой Богородицы, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ слѣдующій за нимъ день перенесенія образа Спаса Нерукотвореннаго, народъ русскій справляетъ третій и послѣдній изъ своихъ предосеннихъ земледѣльческихъ праздниковъ—„Спожинки“, именуемый иначе Успеневымъ днемъ, а также слывущій и за „Третій Спасъ“. До Успенья полагается, по установившемуся въ незапамятные годы обычаю, успѣть дожать послѣдній снопокъ въ озимомъ полѣ. Потому-то, по объясненію однихъ знатоковъ простонародной старины, и называется этотъ день „Спожинками-дожинками“; другіе же народовѣды ведутъ его названіе отъ „Госпожи“, т.-е. „Владычицы“ (Богородицы), и величаютъ его инымъ, подслушаннымъ въ другихъ мѣстностяхъ, именемъ—„Госпожинки“.

„Спожинать“—кончать жатву, дожинать хлѣбъ. „У насъ уже спожили!“, „И у насъ спожинаютъ (дожинаютъ послѣдки)!“—говорятъ въ народѣ, встрѣчаясь на Успеніе Пресвятой Богородицы. Въ этотъ день, кончается двухнедѣльный Успенскій постъ, во время котораго деревня, живущая „на землѣ“, должна „успѣть“ въ полѣ. Къ Успеневу дню „поспѣваетъ все слѣтье“, послѣ него начинаются „осенины“, и дѣло не на шутку идетъ къ зимѣ. Время съ 15-го по 29-е августа слыветъ подъ названіемъ „молодого бабьяго лѣта“ (настоящее—начинается съ 1-го сентября). По стародавнему народному изреченію—„Съ Успенья солнце засыпается!“, а потому и говоритъ деревенскій опытъ, что „До Успенья пахать—лишнюю копу нажать!“, и добавляетъ при этомъ: „Озимь

сѣй за три дня до Успенья да три дня послѣ Успенья!“ Народная примѣта, предостерегающая пахаря отъ запаздываній съ полевыми работами, только въ рѣдкихъ случаяхъ не оправдывается и на дѣлѣ.

„Хорошо, если — Спасъ на полотнѣ (праздникъ Нерукотвореннаго Образа Иисуса Христа), а хлѣбушко — на гумнѣ!“—говорять на деревенской Руси. Спозинки—„последній снопок дожинають“ и у самыхъ неторопливыхъ хозяевъ. А у хорошихъ хлѣборобовъ,—если у нихъ самихъ засилье не беретъ,—устраивается въ этотъ день веселый сноповозъ—„дружной помочью“, за посильное-хлѣбосольное угощеніе по праздничному.

Ө. М. Истоминымъ⁶⁹⁾ въ 1893-мъ году, въ Костромской губерніи (с. Холкино, Новоуспенской волости, Ветлужскаго уѣзда), записана довольно любопытная въ бытовомъ отношеніи „помочанская“ пѣсня, помѣщенная въ изданномъ на Высочайше дарованныя средства сборникѣ „Пѣсни русскаго народа, собранныя въ губерніяхъ Вологодской, Вятской и Костромской“:

„Ты хозяинъ нашъ, ты хозяинъ,
 Всему дому господинъ!
 Навариль, сударь, хозяинъ,
 Пива пья-пьянова про насъ!
 Накуриль, сударь, хозяинъ,
 Зеленова, братцы, вина!
 Намъ не дорого, хозяинъ,
 Твое пиво и вино!
 Дорога, сударь да хозяинъ,
 Пирь-бесѣда съ гостями!
 Во бесѣдушкѣ, хозяинъ,
 Люди добрые сидятъ,
 Басни ба-бають, разсуждаютъ,
 Рѣчь хорошу говорятъ“...

Въ такихъ трогательныхъ словахъ величаютъ гости-помочане, праздничные работнички, своего „хозяина“, честь-

⁶⁹⁾ Федоръ Михайловичъ. Истоминъ, современный изслѣдователь быта русскаго народа и собиратель пѣсенъ, родился въ гор. Архангельскѣ въ 1856-мъ году. По образованію онъ—питомецъ с-петербургскаго университета (историко-филологич. факульт.) Съ 1883 года онъ былъ секретаремъ этнографическаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества и участвовалъ въ нѣсколькихъ этнографическихъ экспедиціяхъ. Въ настоящее время онъ состоитъ секретаремъ Пѣсенной Комиссіи, учрежденной на средства, пожертвованныя Государемъ Императоромъ—по почину покойнаго Государственнаго Контролера, выдающагося знатока русскаго народнаго слова, Т. И. Филиппова.

честью, по заведенному дѣдами-прадѣдами обычаю, угощаю-
щаго ихъ за помочь-работу.

На Спожинки, — тамъ, гдѣ къ этому времени заканчива-
ется жатва, — по деревнямъ устраиваютъ „мірскую складчину“,
варятъ „братское пиво“ и пекутъ праздничные пироги изъ
новой муки. На пирушки созываются всѣ родные и добрые
сосѣди — „пировать Успенщину“. Въ урожайные годы въ
этотъ день колютъ купленного на мірскія деньги барана. Вста-
рину въ этотъ день крестьяне собирались гурьбою на бояр-
скій дворъ, гдѣ и праздновалось окончаніе жатвы, сопровожда-
ясь особыми, пріуроченными къ тому, обрядами. Жницы
обходили всѣ дожатые поля и собирали оставшіеся не-
срѣзанными колосья. Изъ послѣднихъ свивался вѣнокъ,
переплетавшійся полевыми цвѣтами. Этотъ вѣнокъ надѣвали
на голову молодой красивой дѣвушкѣ и затѣмъ всѣ шли, съ
пѣснями, къ господской усадьбѣ. По дорогѣ толпа увеличи-
валась встрѣчными крестьянами. Впереди всѣхъ шель маль-
чикъ съ послѣднимъ сжатымъ снопомъ въ рукахъ. На крыль-
цо хоромъ выходилъ бояринъ съ боярынею и съ боярышнями
и приглашалъ жницъ во дворъ, принимая вѣнокъ и снопъ,
которые послѣ этого и ставились въ покояхъ подъ божницею.
Угостившись на боярскомъ дворѣ, толпа расходилась по до-
мамъ. На старой Смоленщинѣ до сихъ поръ замѣтны пере-
житки этого обычая. На Успенье красныя дѣвушки рядятъ
тамъ „дожиночный“ снопъ въ сарафанъ, придѣлываютъ къ не-
му изъ палокъ подобіе рукъ и надѣваютъ на него бѣлую
вичку, а затѣмъ и несутъ „имянинника“ въ помѣщичью усадь-
бу, гдѣ и напрашиваются пѣснями на угощеніе, во все про-
долженіе котораго снопъ-имянинникъ стоитъ на столѣ. Въ
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и въ наши дни существуетъ обы-
чай обвязывать послѣдними колосьями серпы и класть ихъ —
на Третій Спасъ — подъ иконами. Среди бѣлоруссовъ справ-
ляется въ этотъ день такъ называемая „Талака“ (тоже, что
и „Спожинки“). Этимъ именемъ называютъ дѣвушку, выбран-
ную для перенесенія праздничнаго снопа въ деревню. „Тала-
ку“ убираютъ цвѣтами: на голову ей накидывается большой
бѣлый платокъ, поверхъ котораго надѣвается вѣнокъ изъ ко-
лосьевъ. Веселая толпа жницъ идетъ по улицѣ съ пѣснями..

„Добры вечеръ, Талака,
Да возьми-жь адъ насъ, вазьми-но
Житный ты снопокъ;
Да надзѣнь-же, надзѣнь-но
Зъ красками прыгожь вѣнокъ!“ —

—голосять всѣ идущіе. Встарину навстрѣчу имъ выбѣгаль кто-нибудь изъ работниковъ съ барскаго двора—съ приглашеніемъ отъ господъ зайти во дворъ. Здѣсь встрѣчали гостей хлѣбомъ-солью и принимали отъ нихъ дожиночный снопъ. Гостямъ предлагалось угощеніе: „Талаку“ сажали въ почетный „красный“ уголь подъ образа. Пирушка кончалась тѣмъ, что чествуемая всѣми дѣвица-красавица снимала съ себя вѣнокъ и отдавала его хозяину—съ пожеланіемъ, чтобы у того народилось „жытца, жытца сто коробовъ“... Нѣчто напоминающее указанный обычай можно было наблюдать въ этотъ день не только во многихъ другихъ губерніяхъ, но и въ зарубежныхъ славянскихъ земляхъ.

Во многихъ мѣстностяхъ, дожинаючи послѣдній снопъ наканунѣ Успеньева дня, замаявшіяся-уморившіяся на лѣтней страдѣ жницы катаются по жнивью, голоса-приговаривая:

„Жнивка, жнивка!
Отдай мою силку:
На пестъ, на колотило,
На молотило,
На кривое веретено!“

Этимъ надѣются онѣ набраться новой силы для дальнѣйшихъ—осеннихъ и зимнихъ—бабьихъ работъ. На возвращающихся съ „дожинокъ“ бабъ и дѣвушекъ поджидающіе ихъ у деревенской околицы молодые парни выливаютъ ведра воды. Иногда при этомъ поется какая-нибудь подобающая случаю пѣсня—въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей:

„Пошелъ колосъ на ниву,
На бѣлую пшеницу.
Уродися на лѣто,
Рожь съ овсомъ,
Со дикушей,
Со пшеницею:
Изъ колосу—осьмина,
Изъ зерна—коврига,
Изъ полузерна—пирогъ.
Родися, родися,
Рожь съ овсомъ!“

По народной примѣтѣ, соблюденіемъ этого стариннаго, завѣщаннаго отцами-дѣдами, обычая обезпечиваются плодотворные дожди на будущій весну и лѣто.

Послѣ обѣдни на Успенье, въ селахъ поднимаются образа. Крестный ходъ направляется къ полю. Здѣсь, на широ-

кой межѣ, поется благодарственный молебенъ Божіей Матери, Госпожѣ полевыхъ злаковъ. Если нѣтъ во время этого молебна ни вѣтра, ни дождя, то предполагается, что вся осень будетъ ведренная и тихая, — что совсѣмъ не лишнее для „до-сѣвокъ“, сноповоза и молотѣбы — сыромолотомъ. „Хорошо, когда Спасъ на полотнѣ (16-е августа), а хлѣбушко — на гужнѣ!“ — гласить старая деревенская поговорка.

На „Большую Пречистую“ — въ праздникъ Успенія Пресвятой Богородицы — посельская-деревенская Русь привыкла святить новый хлѣбъ. Это происходитъ за обѣдней, когда каждый добрый хозяинъ прикосить съ собою въ церковь свѣже-испеченный коровай новаго хлѣба. До возвращенія съ нимъ изъ церкви, дома никто не ѣстъ ни крохи: всѣ дожидаются „свячагого куска“. Разговляются на этотъ день прежде всего хлѣбомъ. Остатокъ коровая тщательно завертывается въ чистую холстину и кладется подъ образа. Кусочками его „пользуютъ“ болящихъ, твердо вѣря въ цѣлебную силу этого „Божьяго благословенія“. Считается большимъ грѣхомъ уронить хотябы малую крошку отъ такого коровая на полъ, а тѣмъ болѣе — растоптать ее ногами.

На сѣверѣ принято подавать за праздничный столъ на Успеньевъ день „дѣженъ“ (толокно). Бабы ѣдятъ его, похваляютъ и ведутъ бесѣду о прошедшемъ жнитвѣ. Дѣвушки поютъ въ Успеньевъ вечеръ, за толокномъ-дѣженемъ, приличные случаю пѣсни. А старые старики прикидываютъ-подсчитываютъ („по суслонамъ“) собранный урожай. Дѣтвора до поздней ночи шумитъ въ этотъ день у завашенокъ, проводя время за веселыми играми, перемежающимися звонкими, дробными припѣвами. Заливаются-звенять, по всей деревнѣ разносятся молодые голоса:

„Дождали, дожили,
Оспожинки встрѣтили,
Коровая вѣчали,
Толокна процвѣдали,
Гостей угостили,
Богу помолили!
Хлѣбушко, расти!
Времячко, лети, лети—
До новой весны,
До новаго лѣта,
До новаго хлѣба!..“

Съ Успеньева рѣзговнѣя начинаются по деревнямъ осеннія „посидѣлки“, „засидки“, „бесѣды“. Время не ждетъ: до

Покрова только-только успѣть молодежи досидѣться до свадебъ. Принято не засылать и сватовъ раньше какъ черезъ двѣ недѣли послѣ Спожинокъ. А извѣстно изстари, что „первый свать—другимъ дорогу кажетъ“. Потому-то и начинаютъ деревенскія красавицы засматривать себѣ жениховъ послѣ Успенья. „Съ Успенщины не успѣешь присмотрѣть—зиму тебѣ въ дѣвкахъ просидѣть!“—увѣщаетъ красную дѣвушку народная мудрость устами старой пословицы, взявшей изъ крестьянскаго быта, тѣсно связаннаго съ полевыми работами и твердо памятующаго, что: „На бѣломъ Божьемъ свѣтѣ всему—свой часъ“.

На Третій Спасъ соблюдается до сихъ поръ сохранившееся обыкновеніе загадывать о посѣвѣ. Изъ „дожиначнаго снопа“,—о которомъ велась рѣчь выше,—берутся три колоса. Вылущенныя изъ нихъ зерна, изъ cadaго наособицу,—зарываются въ землю на примѣченномъ укромномъ мѣстѣ. Если раньше и лучше всѣхъ взойдутъ зерна перваго колоса—значить, лучший урожай дастъ въ будущемъ году ранній сѣвъ; если зерна втораго—средній, третьяго—поздній. Въ Тульской губерніи передъ Спожинками старые люди ходятъ на воду и наблюдаютъ за теченіемъ. Если рѣки, озера и болота не волнуется вѣтромъ, и лодки стоятъ спокойно, то примѣта говорить, что осень будетъ тихая и зима пройдетъ безъ мятелей.

Отъ Спожинокъ, дожинающихъ послѣдній снопъ, рукой, что называется, подать и до „Досѣвокъ“. Какъ уже упоминалось выше, народный опытъ отводитъ на окончаніе озимаго сѣва всего три дня послѣ Успенья. Къ восемнадцатому августовскому дню хорошій хозяинъ долженъ бросить послѣднюю горсть жита въ землю. О запоздавшихъ лѣнивцахъ, оправдывающихся своимъ недосугомъ, въ народѣ говорятъ: „До Фролова дня (18-го августа) сѣютъ ретивые, послѣ Фролова—лѣнвые!“ и „Кто сѣетъ рожь на Фроловъ день, у того родятся одни Фролки.“

Калики-перехожіе разносятъ по Святой Руси переходящія изъ устъ въ уста старинныя пѣсни, былины и „стихи“. Этыхъ убогихъ странниковъ кормить ихъ пѣніе—на усладу люду православному. Много стиховъ поютъ бѣдные носители народнаго пѣснотворчества, мало-по-малу исчезающіе съ лица родной земли подъ шумъ и гулъ иныхъ—новыхъ, имѣющихъ мало общаго съ творчествомъ,—пѣсенъ. Недалеки тѣ дни, когда отъ этихъ „птицъ Божіихъ“ останется въ народѣ только одно преданіе о ихъ странствіяхъ. Есть нѣсколько народныхъ стиховъ духовныхъ, про Успеніе, записанныхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Святой Руси.

Одинъ изъ этихъ „сказовъ“ начинается слѣдующимъ пѣсеннымъ воззваніемъ къ Богоматери:

„Госпоже Дѣво Царице,
 Маріе Богородице!
 Поемъ Тя, хвалимъ Тя велегласно,
 Въ пѣсняхъ красно,
 Чудесь море пресвятое,
 Въ Гепсиманской веси сокрытое!“

Затѣмъ, послѣ приведенной вступительной запѣвки, безвѣстный стихослагатель, переходитъ къ повѣствовательной сторонѣ стиха. „Ты, Гепсимани, столица“, — съ простодушнымъ умиленіемъ поетъ онъ, — „въ тебѣ устнула Царица. Была весь малая зѣло красна, а днесь благодарно: се Дѣвица, голубица, се Мати, всѣхъ царей Царица. Когда Ты, Дѣво, устнула, ликъ апостольскій вжаснула, ангеловъ множество пѣснь спѣвали, гдѣ вимали душу чисту Иисусъ Христу, отъ земли къ небеси провождали. Тогда апостоли не были, облакомъ съ конецъ слѣтили, спѣшились на погребѣ, не медлячи, голосачи, на погребѣ той Дѣвы Святой, Маріи устнувшей, Дѣвы Пречистой. Ѡма въ Индіи провождаль время, на погребѣ Дѣвы спознился, а потомъ, приспѣвши, зѣло рыдалъ и припадалъ къ гробу лицомъ, жалилъ сердцемъ, что Дѣвы устнувшей не оглядалъ. Аеоній (языческій жрецъ-волшебствитель) одръ хотѣлъ струтити, волшебствомъ умѣлъ ходити, никтоже бо не видѣ отъ земна рода. Но воевода съ мечемъ (архангелъ) власно предста вжасно, — Аеоній безъ рукъ является; народъ многъ тогда здвигнуса, ликъ апостольскій вжаснуса, Аеоній Царицу всѣхъ прославлялъ и повѣдалъ, что Дѣвица голубица, се Мати всѣхъ царей и Царица“... Повѣствованіе обрывается, и стихопѣвецъ снова преображается во вдохновеннаго молитвенника, взывая:

„И мы Тя, Дѣво, взираемъ,
 Лица зрѣнія желаемъ,
 Дажь и намъ Тя, Панно, оглядати,
 Божія Мати,
 Непремѣнно, благоговѣнно,
 Сподоби въ небеси царствовать!“

Стихъ заканчивается, какъ и начался, благоговѣннымъ прославленіемъ Богоматери: „Ты есть царская одежда, во скорбехъ нашихъ надежда, Ты — скиптро царская, Ты — корона, оборона, сохранятьи, свободдати, отъ враговъ покрый насъ, О, Божія Мати!..“ Наименованіе Пресвятой Дѣвы

„Панною“ (въ предзаключительной молитвенной части) явно свидѣтельствуется о западно-русскомъ происхожденіи приведеннаго народнаго стиха духовнаго.

Другой стиховный сказъ начинается такой запѣвкой:

„Апостоли съ конца свѣта
Собравшася вси для совѣта.
О, Дѣвице, Твое Успеніе,
Пріими наше хваленіе
И подаждь намъ радованіе!
Отець свыше призираеть,
Сынъ Матери рудъ даваетъ...“

Этотъ довольно неуклюжій „стихъ“ можно и теперь еще слышать въ сельской глуши у церковныхъ папертей въ день Успенія Пресвятой Богородицы. Послѣ обѣдни калики-перехожіе идутъ своимъ путемъ-дорогою, останавливаясь подъ окнами справляющихъ „Спожинки“ семьянь. Умилительно звучить въ ихъ устахъ полународная, полукнижная, своеобразно размѣренная, стихотворная рѣчь:

„Раю небесный, отворися,
Марію пріяти потщися,
Въ красно-свѣтлыя своя вселя двѣрѣ,
Юже радостно срѣтають Силь соборы,
Яко невѣсту
Божію чисту...
.....
О, Маріе, красота дѣвства!“

Этотъ торжественный напѣвъ странниковъ такъ подходитъ къ праздничному настроенію пахарей, справляющихъ благополучное окончаніе одного изъ главнѣйшихъ своихъ земледѣльческихъ трудовъ.



XXXVI.

Иванъ-Постный.

На двадцать девятый день августа-мѣсяца („густаря-собери́хи“) выпадаетъ чествованіе памяти усѣкновенія честнаго главы Іоанна Предтечи, Крестителя Господня. Въ народной Руси съ этимъ днемъ, слывающимъ за „Ивана - Постаго“, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прозывающимся „Иваномъ-Полѣткомъ“ (полѣтнимъ) связаны любопытные обычаи, поговорки, повѣрья и сказанія, ведущіяся съ незапамятныхъ дней старины стародавней, богатой не одними могучими богатырями, оберегавшими рубежъ Земли Русской отъ вора-нахвалящины, но и мѣткимъ, до самаго „нутра“ всякой вещи проникающимъ, словомъ краснымъ.

„Нужда и въ Великъ-День (на Свѣтло - Христово-Воскресенье) постится!“ — говорятъ въ народъ: „Попоститься да и воду спуститься!“... Но блюдетъ держащаяся святоотческихъ преданій попольная - посельская Русь каждый день постный, положенный по уставу церковному. „Постъ — къ душеспасенью мость!“ — убѣдительно заявляетъ она предъ слухомъ маловѣрныхъ, повторяющихъ, кивая съ укоризненнымъ взглядомъ на постниковъ, старыя поговорки: „Постное ѣдимъ, да скоромное суесловье отрыгаемъ!“, „Постъ не мость, — можно и объѣхать!“, „Всѣ посты блюдемъ - постимся, а никуда не годимся!“ и т. д. „Успенскій постъ Спожинками разрѣшается!“ — гласитъ съдое народное слово. Чуть-только успеютъ пройти съ успенскихъ розговѣвъ двѣ недѣли — четырнадцать сутокъ, какъ осенній мясоѣдъ переламывается уже днемъ строгаго поста — нерушимаго, по исконному вѣковому обычаю крѣпко державшихся за вѣковые устои старины, благо-

честивыхъ-богомольныхъ дѣдовъ-прадѣдовъ: „Иваномъ-Постнымъ“.

Самое обиходное имя на Руси — Иванъ. На деревнѣ „Ивановъ — что грибовъ поганныхъ!“ — говоритъ народъ. — „Дядя Иванъ — и людямъ, и намъ!“... „Шестьдесятъ два Ивана святыми живутъ“, — подводитъ онъ счетъ одноименнымъ угодникамъ Божиимъ, не расходясь ни на пядь съ точнымъ указаніемъ святцевъ, и начинаетъ перечислять: „Иванъ-Богословъ“, „Иванъ - Златоустъ“, „Иванъ - Постный“, „Иванъ - Купала“, „Иванъ-Воинъ“, заканчивающій Святки и начинающій свадьбы „Иванъ-Бражникъ“ (7-го января), „Иванъ-Долгій“ (8-го мая) и т. д. „Поститель-Иванъ“, — какъ говорится въ деревенскомъ быту, — „дѣлится мясоѣдъ пополамъ“, хотя это выраженіе, напоминающее о „Филипповкахъ“ (Рождественскомъ постѣ), и погрѣшаетъ въ немалой степени противъ истины: до Филиппова заговѣнья (14-го ноября) еще цѣлыхъ два съ половиною мѣсяца — засѣвающій поля дождями, окутанный туманомъ сентябрь - листопадъ - грудень, октябрь - назимникъ да двѣ сыплящихся снѣгомъ недѣли ноября-„листогноя-студенаго“. Не длиненъ постъ „Иванъ - Постный“, всего въ двадцать четыре часа онъ обходитъ весь свѣтлорусскій просторъ, а памятуеть о немъ и обо всѣхъ приуроченныхъ къ нему благочестивыхъ обычаяхъ вѣрный боголюбивой старинѣ народъ русскій не менѣе, чѣмъ объ Успенщинѣ - Госпожинкахъ, или Филипповкахъ. — „Иванъ-Постный обыденкой живетъ, да всеѣ матушку - Русь на посту держитъ!“ — можно и теперь еще услышать въ среднемъ Поволжьѣ, въ этой кондовой-коренной Велико-Руси, старую молвь народную. „Поститель - Иванъ — постъ внукамъ и намъ!“, „Иванъ-Постный не великъ, а передъ нимъ и Филипповъ постъ — куликъ!“, „Кто на Ивана, Крестителя Господня, скѣромъ жретъ — тотъ въ рай не попадетъ!“ — добавляетъ она, приговаривая: „На Постнаго Ивана вся скоромъ мертвымъ узломъ затянута (запрещена)“, „Не соблюдеши Иванъ-постъ, прищемиши въ аду хвостъ!“, „Кто Ивану - Крестителю не постить — за того и самъ наибольшій попъ грѣховъ не умолитъ!“

На Ивана-Постнаго не ѣсть деревенская Русь, по преданію, ничего круглаго. Памятуя, что въ этотъ, на-особицу стоящій въ православномъ мѣсяцесловѣ, день чувствуется праведная - страдальческая кончина Предтечи - Господня, не только не вкушаетъ честной людъ православный ничего круглаго, но даже и шей не варить, такъ какъ капустный кочанъ напоминаетъ ему своимъ видомъ отсѣченную голову. На Предтечу не рубятъ капусты, не срѣзываютъ мака, не

копають картофеля, не рвутъ яблокъ и даже не берутъ въ руки ни косаря, ни топора, ни заступа, чтобы не оскорбить этимъ поступкомъ священной памяти пріявшаго отъ меча мученическую кончину великаго пророка Божія, принесшаго грѣшному міру благовѣстѣ о грядущемъ на его спасеніе Христѣ—Свѣтѣ Тихомъ, Учителѣ Благомъ.

„Постъ—въ рай мостъ!“—по мудрому изреченію во всякой старинѣ свѣдомыхъ старыхъ людей, хотя изъ ихъ-же умудренныхъ опытомъ усть, вѣщей птицею вылетѣли на Русь слова: „Послушаніе паче поста и молитвы!“, или „Послушаніе—корень смиренія!“. Говоря о постахъ и о связанномъ съ ними въ его представленіи „послушаніи - смиреніи“, народъ выводитъ заключеніе, что—„Кто всѣ посты постится, за того всѣ четыре Евангелиста!“, но тутъ-же спѣшитъ прибавить: „А кто и на Ивана-Постнаго скороми не ѣсть — тому самъ Истинный Христосъ помога!“ Этимъ изреченіемъ придается дню 29-го августа особое значеніе, ставящее память Крестителя Господня на высоту, недосыгаемую взору грѣшниковъ, нарушающихъ постановленія отцовъ Церкви и не соблюдающихъ святоотческихъ преданій.

Съ Ивана - Постнаго осень считается на деревенской Руси вступившею во всѣ свои неотъемлемыя права. „Иванъ-Постный — осени отецъ крестный!“ — говорятъ въ народѣ: „Съ Постнаго - Ивана не выходитъ въ поле мужикъ безъ кафтанна!“ , „Иванъ-Предтеча гонитъ птицу за море далече!“ , „Иванъ-Поститель пришелъ, лѣто красное увель!“ . Съ „Иванъ-поста“ мужикъ осень встрѣчаетъ, баба свое — бабѣ — лѣто начинается. Бабѣ,—по деревенской поговоркѣ примѣтливой— „съ Ивана-Постнаго послѣднее стлище на льны“. „Если журавли съ Ивана-Крестителя на Кіевъ (на югъ) пошли-потянули—будетъ короткая осень, придетъ неожиданно-негаданно ранняя зима.

За двое сутокъ до сентябрьскаго Семена - дня (память святого Симеона - Лѣтопроводца) идетъ Иванъ-Постный — полѣтовщикъ. Въ старые-прежніе годы подводились къ этому дню всѣ счета по наймамъ на Москвѣ Бѣлокаменной и во многихъ другихъ городахъ русскихъ. Высчитывалась къ Иванъ-посту всякая полѣтняя плата, собирались полѣтнія дани, сбивался оброкъ съ каждаго тягла, „полѣтнымъ граматамъ“ (договорамъ) конецъ приходилъ. Если поднимались цѣны на рабочія руки, то можно было услышать среди трудового люда слова: „Нынѣшній Иванъ-Постный—добрыя полѣтки!“ . Когда - же плата начинала падать, то рабочій народъ сокрушенно повторялъ, призадумываясь надъ предстоящей

зимою: „Прошлое слѣтье—невпримѣръ скромнѣе, полѣтокъ того-гляди весь мужичій годъ на Великъ - Постъ сведеть!“ и т. п. Съ деньгой-копѣйкою трудовой, лѣтнимъ страднымъ потомъ заработанною, русскій хлѣборобъ, — не только чужому горбу работникъ, но и вольный пахарь, — встарину становился къ полѣтному дню, Иванъ - Постному. Смѣтливый глазъ купца-торгаша, деньгорода разсчетливаго, не могъ не запримѣтить этого, — почему и устраивались 29 - го августа ярмарки - однодневки, „ивановскіе торги“, по многимъ городамъ и пригородамъ, по селамъ-весеямъ святиорусскимъ. Ведся торгъ не только всякою обиходной снѣдью-рухлядью, но и различными приманчивыми товарами гостинными, про которые сложились къ этому случаю поговорки: „На Иванъ-Постнаго въ карманѣ скромная копѣйка шевелится!“, „На Ивановъ торгъ и мужикъ идетъ, и баба зарится!“, „Красно лѣто работой, а Иванъ-Полѣтокъ—красными товарами да бабьими приглядами!“ Пережиткомъ старины доживаютъ свой вѣкъ и въ наши дни обычные въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (преимущественно—поволжскихъ) ивановскія ярмарки. Но на нихъ, по большей части, идетъ торгъ предметами домашняго крестьянскаго обихода да лошадьми, да огурцами („въ засоль“), да медомъ съ вощиною, да щепнымъ и скобянымъ товаромъ. И нѣтъ на этихъ постныхъ торгахъ ни особаго разгула веселаго, ни угарнаго похмѣлья шумливаго, какъ это всегда бываетъ объ ярмарочную пору, когда, заодно съ карманомъ, развязывается у мужика-простоты и языкъ—на крѣпкое словцо тороватый, распоясывается и душа широкая, удержу себѣ не знающая, съ каждой чаркою зелена-вина шире дорогу своей волѣ-удали прокладывающая. „Пей, купецъ, на Иванъ-торгу квасъ да воду, закусывай пирогами ни съ чѣмъ!“—говоритъ краснословъ-народъ по этому случаю, —говоря, приговариваетъ: „Никто съ поста не умираетъ!“; „Съ поста не мрутъ, съ обжорства дѣхнутъ!“; „Кто пьетъ-зашибается не въ пору—распухнетъ съ гору!“; „На Постника-Ивана не пригубь больше одного стакана!“ Мелкаго краснаго товара, къ слову молвить, —и теперь попрежнему не искать-стать на постномъ ивановскомъ торгу, —гдѣ они ведутся въ день усѣкновенія честнаго главы Іоанна Предтечи, Крестителя Господня. Ситцы, плись, миткаль, платки —на каждомъ сельскомъ базарѣ—тутъ какъ тутъ, а съ ними—и ребячья радость: всякіе заѣдки-гостинцы, пряники, орѣхи, маковники. Ходятъ, какъ и въ старую старь, между наскоро сколоченными торговыми ларями-палатками крикливые квасники, тороватые пирожники, калачники-саечники;

продавцы щедро сдабриваемыхъ постнымъ масломъ гречушниковъ, сбитеньщики и вся другая шевелящая мужицкую торговую копѣйку братія, оживляющая торгъ своими разноголосыми выкриками. Играють-шумяť мѣстами и балаганы, несмотря на то, что Ивановъ торгъ—постный: гдѣ-же и зашибить грошъ скоромохамъ-потѣшникамъ („тоже пить-ѣсть умѣють!“), какъ не на скопищѣ звенящаго копѣйкой, нетребовательнаго на вкусъ, не скупащагося на смѣхъ, деревенскаго люда... „Смѣхъ—не грѣхъ“,—говорить русскій народъ—простодумъ: „а коли и грѣхъ—такъ меньшей изо всѣхъ!“, „Смѣхомъ слезу не перешибить, такъ весь свой вѣкъ во кручинѣ прожить, счастья-радости во-вѣкъ не нажить!“

„На Ивана-Постнаго—хоть и постъ, да разносоль!“—оговаривается убравшаяся съ полевыми работами деревня черноземной-хлѣбородной полосы. И впрямь, есть чѣмъ угостить—даже строго придерживающемуся завѣтовъ старины—хлѣбосольному домохозяину гостей званыхъ-прошенихъ въ этотъ постный полѣтній праздникъ, приходящійся во многихъ селахъ престольнымъ-храмовымъ днемъ. Въмѣсто запретнаго круглаго пирога—загибаетъ въ этотъ день „праздничная“ хозяйка долгій. Начинка найдется знатная: грибы-грузди, грибы-масленики, грибы-рыжики, которыхъ передъ этимъ временемъ и въ лѣсу, и въ залѣси хоть лопатой собирай да граблями огребай. Кромѣ грибовъ,—идущихъ на похлебку, и на закусъ-заѣдку, — всякой ягоды въ пироги можно завернуть: и костяники, и голубики, и черники, и брусники, и смородины. Въ огородѣ—свекла съ морковью, рѣдька-ломтиха найдутся хозяйкѣ на подмогу, гостямъ на угощенье. Овсяный кисель,—не говоря уже объ ягодномъ,—тоже мимо стола не проносится, хоть-бы и въ праздникъ: особливо, если къ нему сусла-пива да сыты медовой поставить. Знають деревенскія хозяйки, что и „кулагой“ (пареное соложеное тѣсто съ калиною,—мѣстами зовется „саламатою“)—тоже не побрезгаютъ гости. „Кулажка—не бражка!“—приговариваютъ онѣ, подавая эту лакомую стряпню съ погребя послѣ сытнаго постнаго обѣда,—„упарена-уквашена, да не хмѣльна, ѣшь въ волю!“ Ждутъ—не дождутся кулаги малые ребята: всѣ вѣдь они—кулажники-сластѣны зазнамые. Съумѣеть деревня и постный праздникъ справить по заведенному, честь-честью,—въ грязь лицомъ не ударить въ тѣ годы, когда Богъ мужика урожаемъ благословить за труды праведные. „Не до праздника, не до гостей, когда не только въ церкви, а и на гумнахъ—Иванъ-Постный!“—оговаривается старая молвь крылатая. „Не бойся того поста, когда въ закромахъ нѣтъ пуста! Страшенъ—

мясоѣдъ, когда въ амбарѣ жита нѣтъ!“ „Въ годъ хлѣбородный—постъ не голодный!“ „Господь хлѣбца уродитъ—и съ поста брюхо не подводитъ!“—повторяетъ деревня, въ потѣ лица, по слову Господню, вкушающая хлѣбъ свой,—для которой каждый урожайный годъ составлялъ истинное благословеніе Божіе даже и въ тѣ далекія, затемненные язычествомъ, времена, когда русскій пахарь-народъ молился не Троицѣ единосущной и нераздѣльной, а Перуну, Велесу, Дажьдбогу и всѣмъ другимъ обожествленнымъ силамъ всемогущей матери-природы.

Въ старыя времена, до двадцатыхъ годовъ XIX-го столѣтія,—соблюдался въ народной, богатой обычаями, Руси слѣдующій праздничный обрядъ торжественный, приурочивавшійся непосредственно ко дню 29-го августа. Собиралась—по нарочитому зову—молодежь со всего села къ околицѣ. Приносилась туда—заранѣе къмъ-нибудь изъ старыхъ людей накануне приготовленная—глиняная, одѣтая въ холщевый саванъ, кукла: безъ малаго въ ростъ человѣческой. Особенностью этой куклы было то, что она дѣлалась безъ головы. Эту безголовую куклу поднимали двѣ молодыхъ дѣвушки и бережно, въ благоговѣйномъ молчаніи, несли на рукахъ впереди толпы къ рѣкѣ, гдѣ на самомъ крутомъ берегу, останавливались и клали свою ношу наземь. Вся толпа начинала причитать надъ куклою, какъ надъ дорогимъ и близкимъ ей покойникомъ. Причиталось—особыми причетами, не сохранившимися, къ сожалѣнію, ни въ записяхъ нашихъ бытовѣдовъ, ни даже въ памяти народной. По прошествіи нѣкотораго времени, оплаканнаго глинянаго покойника поднимали на руки двое молодыхъ парней и—при воплѣ толпы—съ рѣзкою бросали въ воду. Этотъ обезглавленный человѣкъ въ саванѣ олицетворялъ—въ глазахъ совершителей описаннаго обряда—св. Іоанна Крестителя, нераздѣльно сливавшагося въ суевѣрномъ народномъ воображеніи съ побѣжденнымъ темными силами краснымъ лѣтомъ.

У покойнаго Вс. В. Крестовскаго ⁷⁰⁾ въ его извѣстныхъ

⁷⁰⁾ Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій—талантливый романистъ, авторъ „Петербургскихъ трущобъ“, „Дѣдовъ“, „Панургова стада“ многихъ другихъ выдающихся произведеній—родился въ с. Малая Березайка Таращанскаго уѣзда Кіевской губ., 11-го февраля 1840 года. По образованію онъ—питомецъ петербургской 1-й гимназій и петербургскаго университета, но курса въ послѣднемъ не окончилъ. Литературная дѣятельность его началась стихотвореніями,—въ числѣ которыхъ было не мало прекрасныхъ (напримѣръ, навѣянные русскими народными мотивами, а также написанныя на испанскіе сюжеты). Нѣсколько его пѣсенъ прошли даже въ народъ и распѣваются по деревнямъ, какъ свои („Ванька-ключникъ“, „Полоса-ль ты моя, полоса...“).

очеркахъ „Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствующей арміи въ 1877—1878 годахъ“, есть, между прочимъ, краткое упоминаніе о справляющемся въ Болгаріи праздникѣ „Пинеруда“ (красная бабочка). Этотъ народный болгарскій праздникъ совпадаетъ по времени и нѣкоторымъ частностямъ съ нашимъ Иванъ-Купалою (24-мъ іюня). По свидѣтельству названнаго писателя, въ этотъ день молодыя сельскія дѣвушки наряжаются въ листья болотныхъ травъ и выходятъ въ поле искать мотыльковъ, распѣвая при томъ особую обрядовую пѣсню, а къ вечеру дѣлаютъ изъ глины куклу безъ головы и кидаютъ ее въ рѣку, въ воспоминаніе обезглавленія Іоанна Крестителя. Связь этого, соблюдаемаго и теперь, обычая съ нашимъ—исчезнувшимъ безъ слѣда подъ всеокрушающей рукою сѣдого Времени—несомнѣнна и можетъ служить явнымъ доказательствомъ того, что и балканскимъ славянамъ сродни самобытный духъ русскаго народа, явственнымъ образомъ засвидѣтельствовавшаго о братской любви къ нимъ своей кровью, пролитой за освобожденіе болгарскихъ и сербскихъ братьевъ, устлавшаго костями своихъ доблестныхъ воиновъ кровавый путь къ Стамбулу.

На Ивана-Постнаго въ Тульской губерніи наблюдаютъ за полетомъ птицъ. Если журавли летятъ отъ Тулы на Кіевъ, то, по примѣтамъ, вскорѣ послѣ Семена-дня наступятъ холода. „Лебедь летитъ къ снѣгу“, —говоритъ тулякъ-погодовѣдъ, — „а гусь къ дождю!“, „Лебедь несетъ на носу снѣгъ!“, „Ласточка весну начинаетъ, соловей лѣто кончаетъ!“, „Сколько разъ бухало (филинъ) будетъ бухать, по столько кадей хлѣба будешь молотить съ овина!“, „Чай, примѣчай—куда чайки летятъ!“ Длинный рядъ тульскихъ примѣтъ-поговорокъ о птицахъ заканчивается остроумнымъ замѣчаніемъ: „Пѣтухъ не человекъ, а свое все скажетъ и бабъ научить!“

Извѣстность ему составилъ печатавшійся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1864—1867 г. г. романъ „Петербургскія трущобы“. Въ концѣ 60-хъ годовъ В. В-чъ поступилъ въ военную службу, которой и обязалъ появленіемъ своихъ „Походныхъ очерковъ“ и „Очерковъ кавалерійской жизни“. Во время русско-турецкой войны 1877—78 г. г. онъ, въ качествѣ официального корреспондента „Правительственнаго Вѣстника“, присутствовалъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Корреспонденціи его составили книгу „Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствующей арміи“. Съ 1882-мъ года онъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій при туркестанскомъ генералъ-губернаторѣ М. Г. Черняевѣ, затѣмъ—перешелъ въ пограничную стражу. Въ 1892-мъ году, въ чинѣ полковника, Вс. В. Крестовскій былъ назначенъ редакторомъ „Варшавскаго Дневника“, на каковомъ посту и умеръ въ 1895-мъ году. Могила его находится въ Петербургѣ, на одномъ изъ кладбищъ Александро-Невской Лавры. Полное, восьмитомное, собраніе его сочиненій издано Товариществомъ Общественной Пользы въ 1898—99 годахъ.

Иванъ-Постный—послѣдній предъосенній праздникъ—былъ въ старые годы на Руси „полѣтнимъ“ не только потому, что окончательно завершалъ собою лѣтніе красные дни, открывая широкую дорогу торную ненастной осени,—но и оттого, что являлся послѣднимъ, заключительнымъ, праздникомъ цѣлаго года. Черезъ двое сутокъ послѣ этого дня (1-го сентября), починая новый годъ, шелъ день Новолѣтія.



XXXVII.

Сентябрь-листопадъ.

Св. Симеонъ-Стопникъ (Лѣтопроводецъ), въ прежнія времена приносившій на Русь день Новолѣтія, починаетъ въ настоящее время своимъ приходомъ послѣднюю, сентябрьскую, треть года. Первый мѣсяць этой трети—сентябрь-листопадъ („вресень“—у малороссовъ, „грудень“—у словаковъ, „рю-янь“—у кроатовъ) дышетъ осенней свѣжестью, мороситъ мелкимъ дождемъ ненастнымъ, завываетъ-реветъ осенними бурями (отчего и слылъ нѣкогда въ народной Руси „ревуномъ“),—оправдывая этимъ старинныя поговорки: „Батюшка-сентябрь не любитъ баловать!“, „Въ сентябрѣ держись крѣпче за кафтанъ!“, „Считай, баба, осень съ сентябрю по шапкамъ да по лаптямъ!“, „Въ сентябрѣ и листь на деревѣ не держится!“ Начинается сентябрь-мѣсяць бабьимъ лѣтомъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ продолжающимся недѣлю (съ 1-го по „Аспосовъ день“—8-е число), по другимъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора захватывающимъ и цѣлыхъ двѣ седмицы—съ „Семена-дня“ вплоть до Воздвиженья, 14-го числа. „Хвалилися бабы да бабьимъ лѣтомъ на Семень-день, а того бабы не вѣдали, что на дворѣ сентябрь!“—подсмѣваются въ ненастные дни сентябрю-листопада деревенскіе краснословы надъ падкими до праздничанья бабами, но и сами не забываютъ, что у мужика, по народному присловью, „въ сентябрѣ-осенникѣ только тѣ и праздники, что однѣ новыя новины“.

Сентябрь—конецъ полевыхъ работъ: остается во время него въ полѣ развѣ одну „зябь зябѣть“ (запахивать землю подъ парь, на-весну), да жнивье выжигать, стадами утолоченное. О послѣднемъ и вспоминаетъ деревня въ поговоркѣ: „Въ

сентябрь—огонь и въ полѣ, и въ избѣ“. Къ 1-му числу сентября—последній досѣвъ ржи для самаго неторопливаго хозяина-пахаря. „Семень-день—сѣвалка съ плечь!“—говорятъ въ народѣ, убѣжденномъ, что позже этого срока, установленнаго многоопытными и богобоязненными дѣдами-прадѣдами, и сѣять грѣшно. „Семень-день—и сѣмена долой!“, „На Семень-день до обѣда сѣй-паши, а послѣ обѣда на пахаря валькомъ маши!“—приговариваетъ посельскій людъ, провожающій объ эту пору лѣто, встрѣчающій осень, торопкимъ шагомъ идущую на поля, орошаемая не однимъ дождемъ-росой, а и трудовымъ потомъ многомилліонно-головаго правнука богатыря-пахаря Микулы-свѣтъ-Селяниновича. Въ сентябрь, въ каждый ведренный день, гудитъ токъ на гуменникѣ отъ цѣповъ: спѣшная молотба—„сыромолоть“ идетъ. „Сиверко, да сытно!“—замѣчаетъ народъ о сентябрѣ въ урожайные, благословенные Богомъ, годы: „Холоденекъ сентябрь-батюшка, да кормить гораздъ!“ По мѣткому выраженію русскаго пахаря, „выросшаго на морозѣ“, его, мужика,—„не шуба грѣетъ, а цѣп-молотило“. У него, по пословицѣ, „покуда цѣпъ въ рукахъ, потуда и хлѣбъ въ зубахъ“; плохъ тотъ молотильщикъ, о которомъ сложилось въ народѣ крылатое словцо—„Не столько намолотилъ, сколько цѣпомъ голову наколотилъ!“ Во время осенней молотбы нерѣдко, среди деревенскаго люда, можно и теперь еще услышать старыя загадки объ орудии, добывающемъ изъ колосьевъ хлѣборобу-пахарю даръ Божій. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ, идущія отъ самой глубокой старины стародавней, являющіяся въ то-же время любопытными образцами народнаго звукоподражанія: „Потату-потаты, токату-такаты, а яички ворохомъ несутся!“, „Пришла кувахта, просить мутавта. На что тебѣ мутавта? Гоголя бить, младожа кормить!“, „Бились кругомъ, перебились кругомъ, въ клѣтъ пошли—перевѣшались!“, „Вверхъ турлы, внизъ турлы—по тѣмъ турламъ пройти нельзя!“ (цѣпы).

Въ сентябрь, по примѣтъ, „всякое сѣмя изъ колоса на-земь плыветъ“: плохо тому хозяину, на свой горбъ худому работнику, у котораго какое-нибудь зерно застоится на корню послѣ Семена-дня не только въ полѣ, но и на огородѣ. „Не время въ полѣ жать, когда бабамъ по заполью впору льны стлать!“—говоритъ сельскохозяйственный опытъ, провѣренный годами да годами,—говоря, приговариваетъ: „Лень стели къ бабьему лѣту, а подымай къ Казанской!“ (осенняя Казанская—22-го октября), „Бабье лѣто—бабій праздникъ, бабьи работы!“, „Кто о бабьемъ лѣтѣ жать-косить пойдетъ, того не то что мужики, а и бабы засмѣютъ!“ По старинному

повѣрью, къ 1-му сентября послѣднія запоздавшія къ отелут за сине море ласточки спать на зиму въ озера ложатся,—откуда въ весеннее водополье, при первомъ взломѣ льда, всѣ разомъ въ поднебесную высь поднимаются. Чортъ въ эту пору воробьевъ-домосѣдовъ, остающихся на Руси забнуть зиму-зимскую, мѣряетъ четвериками: „сколько выпустить на волю изъ-подъ гребла, столько и разлетится по своимъ по застрехамъ, а всѣмъ остальнымъ—туть и смертушка!“ Семень-день—осеннее новоселье. „Счастлиное новоселье—сухая осень, коли на Семена сухо!“—говорятъ старыя, памятующіе всякую примѣту люди. Начинаются съ этой поры бабы супрядки, посидѣлки да бесѣды. „Первыя засидки—новый огонь въ избѣ“. Встарину добывался изъ суха-дерева этотъ первый осенній огонь „засидочный“ бережно хранился отъ вечера до утра, отъ утра—до вечера въпродолженіе всей осени и зимы, до самой весны, задувающей вечерніе огни по деревнямъ. Въ иныхъ глухихъ мѣстахъ Руси великой передъ первыми осенними засидками и теперь еще съ тлѣющею головней въ поле („на постать“) ходятъ,—окуриваютъ ниву въ предохраненіе отъ всякаго попущенія, „отъ лиха, притки и призора“. Но и этотъ обычай доживаетъ свои послѣдніе-остатніе дни. Много и другихъ повѣрій, примѣтъ-обычаевъ связано въ народной памяти съ Семеномъ-днемъ (см. гл. XXXVIII).

2-го сентября—„Ѳедота и Руфины, не выгоняй со двора поутру скотину: выгонишь—бѣду нагонишь!“ Потому-то придерживающіяся дѣдовскихъ повѣрій хозяйки и не выпускаютъ въ этотъ день на пастьбу вплоть до полудня ни коровъ, ни овецъ. Слѣдомъ за этимъ примѣтливымъ днемъ—Доминъ, на который съ утра до ночи прибираютъ бабы всякую рухлядь въ домъ, припасая себѣ этимъ благополучіе и спорину во всемъ на цѣлую осень. За св. Домною—Вавила-священномученикъ по народной Руси идетъ. „На Вавилу вилы празднуютъ—впустѣ лежатъ!“—говорятъ въ народѣ. Но въ этотъ же день—другой, большой (во многихъ селахъ храмовой-престольный) народный праздникъ: „Неопалимая Купина“, въ честь соименной съ нимъ иконы Божіей Матери. Поются въ этотъ день по деревенскимъ церквямъ молебны—общіе и заказные, отъ усердія прихожанъ, вѣрующихъ, что этими молебнами ограждаются не только ихъ хаты и гумна отъ огня-пожара, но и сами они вмѣстѣ со всей „скотинкой-животинкой“—отъ огня-молоньи. Помогаетъ, по народному повѣрью, икона этого праздника и во время самаго пожара: если, съ вѣрою, поднимать ее къ пылающему зданію, то она отъ сосѣднихъ построекъ огонь отводитъ. Во многихъ мѣстахъ

ностахъ 4-го сентябрю совершаются, съ той-же вѣрою, крестные ходы вокругъ сель-деревень. „Огню не вѣрь“, — говоритъ сѣдая народная мудрость, — „отъ него только одна матушка Купина Неопалимая спасаетъ!“, „Огню Богъ волю далъ!“, „Не топора бойся, а огня!“, „Солома да дерево съ огнемъ не дружатся!“, „Не съ огнемъ соваться къ пожару!“, „Огонь—не вода, пожитки не всплываютъ!“. Не отъ одного пожара молятъ въ народной Руси Купину Неопалимую: идетъ къ ней молитва пахаря и отъ огневицы болѣсти, и отъ антонова-огня, и отъ огневика-летучаго (сыпь). „Огонь-огонь, возьми свой огникъ!“—причитаютъ въ послѣднемъ случаѣ, высѣкая огнивомъ надъ болящимъ искры изъ кремня: „Матушка Богородица, Купина Неопалимая, глубина необозримая! На болѣсть лютую призри, смертью не опали! Сиротъ не обездоль, утиши-уйми злую боль—на вѣковѣчные вѣки!“

5-е сентябрю—день, посвященный памяти пророка Захаріи и праведной Елисаветы, родителей Крестителя Господня—считается счастливымъ для предсказаній. Памятуя объ этомъ, многіе суевѣрные люди посѣщаютъ на него вѣдуновъ и знахарокъ, принося имъ разныя новины деревенскія—одинъ отъ достатка своего, другіе—отъ своей бѣды лихой. Черезъ сутки послѣ этого дня—„Луковъ день“ (память преп. Луки). На него идетъ во многихъ мѣстахъ торгъ „рѣпчатымъ“ лукомъ—плетеницами. „Кто ѣстъ лукъ, того Богъ избавитъ вѣчныхъ мукъ!“—гласитъ одно изъ сложившихся среди лукооторговцевъ изреченій. „Лукъ—отъ семи недугъ!“,—вторитъ ему другое. За нимъ слѣдуетъ цѣлый рядъ въ такомъ родѣ: „Лукъ съ чеснокомъ родные братья!“, „Лукъ да баня все правятъ!“, „Въ нашемъ краю—словно въ раю: луку да рябины не пріѣшь!“ и т. п. Ходятъ въ народной Руси и такія пріуроченныя къ луку поговорки, о которыхъ не всегда любятъ торгашни вспоминать, — какъ напримѣръ: „Лукомъ торговать—луковымъ плетнемъ (мочаломъ) и подпоясываться (т.-е. бѣдно жить)!“, „Людской Семень, какъ лукъ зелѣнь, а нашъ Семень—въ грязи завалень!“. Существуетъ повѣрье, что, если испечь хоть одну луковицу раньше чѣмъ лукъ будетъ собранъ съ огорода, то весь онъ посохнетъ. Потому-то зорко и сторожатъ огородники-лукари свои грядки отъ всякаго злонамѣреннаго человѣка, могущаго причинить такое лихо. Загадки загадываютъ о лукѣ такими словами: „Сидитъ тупка въ семи юбкахъ; кто ни глянетъ, всякъ заплачетъ!“, „Пришла панья въ красномъ сарафанѣ; какъ стали раздѣвать—давай плакать и рыдать!“, „Сидитъ дѣдъ, многимъ платьемъ одѣтъ; кто его раздѣваетъ—отъ радости слезы проливаетъ!“, „Стоитъ попь

низокъ, на немъ сто ризокъ; кто ни взглянетъ, всякъ заплачетъ!“, „Что безъ боли и печали приводитъ въ слезы?“ „Мѣхъ на мѣху, солдатъ наверху!“ и т. д. Любители лука отзываются о немъ съ умиленіемъ: „Голо, голо, а луковку во щи надо!“, „Вотъ тебѣ луковка попова, облуплена-готова; знай, почитай, а умру—поминай!“ „Кому луковка облуплена, а намъ тукманка не куплена!“ Больше всѣхъ считаются лакомыми на лукъ боровичане-новгородскіе, — „луковниками“ такъ и слывутъ они въ народной Руси. „Луку! Зеленаго луку!...“ — насмѣшливо кличутъ вослѣдъ и навстрѣчу имъ на чужой сторонѣ.

За Луковымъ—Аспосовъ день, праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, именуемый таже и „Малой Пречистою“ („Большая Пречистая“—праздникъ Успенія). На него встрѣчаетъ народъ съ особыми обычаями „матушку-осенину“. Въ старые годы въ этотъ день сходилась къ новобрачнымъ родня богоданная и кровная, созывавшаяся „навѣстить молодыхъ, посмотрѣть на ихъ житье-бытье, поучить уму-разуму“. Угощались честныя гости званые праздничнымъ обѣдомъ, показывалось имъ—сытымъ-пьянымъ—все молодое хозяйство: рухлядь всякая во дому, жито въ закрому, упряжь въ сараяхъ. Все это сопровождалось поднесеніемъ пива, — причѣмъ иные краснословы приговаривали: „Аспосовъ день—поднесеніевъ день. Лей, лей, кубышка! Поливай, кубышка! Пейте, гости, пейте—хозяйскаго добришка не жалѣйте!“

За Малой Пречистою, въ девятый день сентября листопада, —чувствуется Православною Церковью память святыхъ Богоотецъ Іоакима и Анны. Въ этотъ, не запечатлѣнный особыми повѣрьями и обычаями въ изустномъ простонародномъ дневникѣ, но твердо памятуемый убогими пѣвцами—каликанами-перехожими, день въ посельской глуши еще и теперь можно услышать умиленное воспѣваніе стариннаго стиха духовнаго о „Христовыхъ Праотцахъ“. Стихъ этотъ начинается цвѣтистой запѣвкой: „Живоноснѣйшій садъ, одушевленный градъ, градъ богосозданный, его-же украси Господь и возвыси, чтемъ ликъ богозванный, соборъ Богоотецъ и святыхъ Праотецъ. Богопреблаженный, пѣснями и хвалами, сердцемъ и устами, первѣе рожденныхъ“. Затѣмъ, —вслѣдъ за этимъ двѣнадцатистишнымъ вступленіемъ, идетъ длинный перечень именъ, съ приуроченными къ каждому изъ нихъ величаніями: „Перваго Адама, отъ Бога созданна, Того-же руками праматере Еву, жизнь рѣченну, перву съ дочерьми и сынами. Авеля претверды по смерти побѣды кровію гласяща; Сива же преумна и благоразумна, письмены свѣтца; мужа благосерды Еноса надежды

и со небопарнымъ (воспарившимъ-вознесшимся на небо) великимъ Енохомъ, Ноемъ патриархомъ, всѣхъ насъ отцемъ славнымъ. Сима срамочестна, Авета пречестна, съ тѣми іерари—Мелхиседекъ славный, Авраамъ преславный чтется патриарха. Чтеть и Исаака вѣрныхъ душа всяка, съ Наумомъ богодиднымъ, съ Іаковомъ бодрымъ, Іовомъ предобрымъ, долготерпѣливымъ, дванадесяточентъ лигъ благоукрашенъ патриархъ святѣйшихъ сѣмя Авраамско, священіе царско, богочтеннѣйшихъ. Іосифъ Прекрасный, въ премудрости ясный, соніамъ провидецъ; Ааронъ священный и богоспасенный Моисей Боговидецъ; и Оръ добронравный, Веселенль славный...“ Въ заключительномъ звенѣ этой цѣпи именъ поминаются: „Зоровавель драгій, Іосифъ преблагій, Іоакимъ, Анна, Сарра и Ревекка, Маріамъ, Девора, съ тѣми и Сусана“. Въ безвѣстномъ, слившемся со стихійной народною творческой волною, слагателѣ этого стиха, несмотря на значительныя неточности, замѣчаемія въ послѣднемъ, виденъ человекъ, свѣдомый въ книжномъ дѣлѣ, но и въ то-же самое время еще не вполне оторвавшійся отъ плодородной почвы народнаго міросозерцанія.

На 10-е сентября падаетъ память св. Петра и Павла, епископовъ никейскихъ. День этотъ слыветъ въ народѣ „осенимъ Петро-Павломъ“. Старое поволжское ходячее слово замѣчаетъ по этому поводу: „На Руси два Петро-Павла—большой да малый, лѣтній (29-го іюня) да осенній“. И,—подобно тому какъ, по уставу старыхъ людей, блюдущихъ завѣты отцовъ, разрѣшается съ Петровадня ѣсть клубнику, землянику и другую ягоду,—съ осенняго Петро-Павла можно рвать рябину, дѣлающуюся съ этой поры менѣе горькою, чѣмъ прежде. „Осенній Петро-Павель—рябинникъ!“—гласитъ крылатое слово народное, приговариваючи: „Выйдемъ на долинку, сядемъ подъ рябину—хорошо цвѣтеть!“, „Подъ ярусомъ-ярусомъ виситъ зипунъ съ краснымъ гарусомъ!“ (загадка о рябинѣ), „Не твоему, черна-галка, носу красную рябинушку клевать!“ и т. д. Собирая и вывѣшивая пучками подъ крышу ягоду-рябину („чтобы прозябла-проявля, сахару набрала“), деревенскій людъ всегда оставляетъ на каждомъ рябинномъ кусту часть ягодъ—на птичій зимній прокормъ: „дрозду-рябиннику, снѣгирамъ-краснозобамъ и всякой другой птичьей сестра-братѣ“. Въ этомъ высказывается трогательная любовь простого человека къ матери-природѣ. „За Федориными вечорками“ (11-мъ сентября) идетъ Корнильевъ день (12-го—память священномученика Корнилія-сотника). На него выдергиваетъ-выбираетъ деревня послѣдніе (кромѣ рѣпы) корневые овощи, на-

чиная съ картофеля, кончая хрѣномъ. „Корнильевъ день на дворѣ—всякъ корешокъ въ своей порѣ!“—говорить народъ, прибавляя къ этой примѣтѣ: „Съ Корнилья корень въ землѣ не растеть, а зябнетъ!“, „Корнилій святой—изъ земли корневище долой!“ и т. под. По распространенному въ подмосковной деревенской округѣ повѣрью, начиная съ этого дня, змѣи и всякіе гады перебираются изъ полей въ трущобы лѣсныхъ, гдѣ и уходятъ въ землю—до весенняго пригрѣва. Этотъ день—канунъ „постнаго праздника“ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня (14-го сентября). Воздвиженье—третья встрѣча осени (первая—на Семень-день, вторая на Малую Пречистую), „первыя зазимки“. Объ этомъ днѣ и связанныхъ съ нимъ повѣрьяхъ-примѣтахъ и обычаяхъ ходитъ въ народной Руси расцвѣченный красными-крылатыми словами длинный сказъ, стоящій наособицу ото всѣхъ другихъ. Бабьему лѣту—конецъ. „Со Вздвиженья осень къ зимѣ все быстрѣе движется!“—замѣчаютъ деревенскіе годововѣды, но сами-же и добавляють къ этому: „Воздвиженскіе зазимки еще не бѣда,—что-то скажетъ Покровь-батюшко (1-е октября)!“ Въ этотъ праздникъ по многимъ мѣстамъ рубятъ капусту—съ пѣсянями да съ угощеньемъ. „Здвиженье капустницы!“—говорять о немъ въ народѣ.

Слѣдомъ за Воздвиженьемъ-праздникомъ—день Никиты осенняго. Осенній Никита (вешній—3-го апрѣля) зовется въ посельскомъ быту „гусепролетомъ, гусятникомъ, „рѣпорѣзомъ“. Ломающій сентябрь пополамъ Никитинъ день въ просторѣчьи слыветъ „гусарями“. „Пришли Никиты-гусари, гусей смотри!“—подаеть свой совѣтъ хозяйственный опытъ:—„До Никиты-гусятника гусь жиру нагуливаетъ, послѣ Никиты прогуливаетъ!“ 15-е сентября—праздникъ гусятниковъ. Въ старыя годы на него соблюдалось не мало любопытныхъ, въ пережиткѣ уцѣлѣвшихъ и до нашихъ дней, обычаевъ. Съ незапамятныхъ поръ держали на Руси гусей, не только для хозяйства (на убой), но и „для охоты“. Гусиная охота была издавна одною изъ любимѣйшихъ забавъ на Москвѣ Бѣлокаменной, да и по другимъ исконно-русскимъ мѣстамъ. (Гусак-бойцы откармливались совершенно особо ото всѣхъ другихъ гусей и—наметавшіеся въ своемъ боевомъ дѣлѣ—цѣнили на большія деньги, составляя похвальбу-гордость хозяина-охотника. Твердо памятовали русскіе люди, что „дѣлу—время, потѣхѣ—часъ“. Никита-гусятникъ былъ для многихъ часомъ потѣхи. Обхаживали въ этотъ день любители гусиного боя другъ-друга. Собиравшіеся въ обходъ запасались мѣшочкомъ съ пшеницею. При входѣ, стучали они въ двер-

ную притолоку, особымъ причетомъ очестливымъ вызывая хозяина показать „охоту“. Хозяинъ приглашалъ гостей дорогихъ на загородъ, гдѣ жила-оберегалась у него „гусиная свора“. Сопровождая гостей, онъ не забывалъ угостить ихъ доброю чаркой вина изъ предусмотрительно захваченной сулей. Пили гости, разсыпали гусямъ пшеницу. Желая выказать особо-дружеское расположеніе къ кому-либо изъ гостей, хозяинъ дарилъ ему гуся. Получившій подарокъ долженъ былъ отдарить его тѣмъ-же. Подаренный гусь передавался изъ полу въ полу при троекратномъ цѣлованьи и увѣреніяхъ въ ненарушимой дружбѣ. Цѣлый день ходили гусятники-охотники изъ дому въ домъ. Вечеромъ всѣ гурьбой шли—званными гостями—на пирушку къ самому богатому и тороватому изъ своей братіи, заранѣе предвкушая ничѣмъ для нихъ незамѣнимое удовольствіе гусянаго боя. Въ такомъ домѣ стояла на столѣ круговая чаша съ зеленымъ-виномъ или медомъ сыченымъ. Каждый гость, входя, пригубливалъ эту чашу и клалъ на столъ калачъ—„гусямъ на новоселье“. Когда собирались всѣ званые-прошеные, хозяинъ вносилъ въ горницу пару убранныхъ красными лентами лучшихъ гусей-бойцовъ изъ своей охоты. Гусей этихъ обрызгивали медомъ, пили надъ ихъ головами медъ и зелено-вино. Во время боя бились объ заклады,—причемъ бывало и такъ, что разгоряченные споромъ охотники вступали чуть не въ рукопашную, совершенно забывая о мирной-праздничной цѣли своего веселаго прихода.

Во времена барщины было въ обычаѣ на осеняго Никиту подносить боярамъ отъ каждой вотчины гуся съ гусынею. Дѣлали это выборные старики. Подносимая гусыня накрывалась краснымъ платкомъ; гусь подносился со льняной плетенкою на шеѣ. Барская семья встрѣчала челобитчиковъ въ сѣняхъ и приказывала угостить ихъ виномъ. Этотъ обычай соблюдался еще въ 40-хъ—50-хъ годахъ. По народному повѣрью, гусей стережетъ, ото всякаго лиха оберегаетъ, Водяной. Памятуя объ этомъ, еще въ недавнія времена считали гусехозяева необходимымъ „задобрить дѣдушку“ въ ночь подъ Никитинъ день. Для этого носили на рѣку нарочно откармливавшася „жертвеннаго“ гуся, отрубали здѣсь ему—съ особымъ причетомъ—голову и, обезглавленнаго, бросали въ воду, упрашивая рѣчного хозяина принять подарокъ, не гнѣваться и не оставлять гусей береженьемъ на будущее время. Голова жертвеннаго гуся относилась на птичный дворъ, изъ опасенія, чтобы Домовой, ведущій всему счетъ „по головамъ“, не провѣдалъ о сдѣланномъ Водяному подаркѣ и не

прогнѣвался-бы, въ свой чередъ, на это. Съ Никиты-осенняго начинаютъ бить гусей на продажу. По селамъ-деревнямъ принимаются объ эту пору ѣздить барышники-торгаши — приглядываться къ гусямъ, прицѣниваться. — „Все-гусь: были-бы перья! Чайка-гусь и ворона-гусь!“ — приговариваютъ они, сбивая цѣны одинъ передъ другимъ. „Гусей перебьемъ—всѣ дыры (въ хозяйствѣ) позаткнемъ!“ — думается въ это время продавцамъ; а случается порою и такъ, что мужикъ, довѣрившійся неутѣшительнымъ вѣстямъ красная-торгаша, по пословицѣ — „За курочку гуська отдасть (продешевить)“. „Однимъ гусемъ поля не вытопчешь!“, — оправдываетъ онъ свою торопливую довѣрчивость, — „Птицѣ теленка не высидѣть!“ и т. д. На Никитинъ день примѣчаютъ по гусямъ о предстоящей погодѣ. „Спросили бы гуся: не забнутъ-ли ноги?“ — говоритъ деревня, увѣряя, что гусь лапу поджимаетъ — къ стужѣ, стоитъ на одной ногѣ — къ морозу, положится въ водѣ — къ теплу, носъ подъ крыло прячетъ — къ ранней зимѣ. Дикіе гуси съ 15-го сентября свой гусепролетъ начинаютъ: высоко летятъ — къ дружному да высокому половодью вешнему, низко — къ малой весенней водѣ.

Гусятникъ-Никита слыветъ въ народѣ и „рѣпорѣзомъ“: съ него принимаются рѣпу дергать въ полѣ. „Ужъ видать мужика по рѣпѣ, что подошли рѣпорѣзы!“ — говорится въ деревенскомъ быту: „Не дремли, баба, на рѣпорѣзовъ день!“, „Горохъ да рѣпа — завидное дѣло: кто идетъ, всякъ урветъ!“ и т. д. О рѣпѣ есть не мало загадокъ. Вотъ нѣсколько наиболѣе мѣткихъ изъ нихъ: „Въ землю крошки — изъ земли лепешки!“, „Сама клубочкомъ, а хвостъ полъ себя!“, „Сверху зелено, посередкѣ толсто, подъ конецъ тонко!“, „Кругла, да не дѣвка; съ хвостомъ, да не мышъ!“, „Шибу-брошу шибкомъ — выростетъ-повыростетъ дубкомъ!“. Черезъ день послѣ Никита-гусятника-рѣпорѣза — „всесвѣтныя бабы именины“ — 17-е сентября, день памяти святыхъ мученицъ Вѣры, Надежды, Любви и матери ихъ Софіи. Народное слово отмѣтило эти имена въ прибауткахъ: „Бабушка Надѣжа, на чужое-то надѣйся, да свое паси!“, „Надѣйся, Надежда, на добро, а жди — худа!“, „Люба парню дѣвка Любаша — къ вѣнцу, а не люба — къ отцу!“, „Хоть и Любовь, да не люба!“, „И Вѣрѣ не повѣрю, коли самъ не увижу!“, „Нѣтъ вѣрнѣе Вѣры, когда спитъ!“, „Не одна Софья по тебѣ сохнетъ, да все еще не высохла!“

18-го сентября — Ирнинъ день. „Три Арины въ году живутъ!“ — говоритъ народъ: „Арина — разрой-берега (16-го апрѣля), Арина-разсадница (5-го мая) да Арина-журавлиница“

летъ (осенняя)“. Въ день памяти послѣдней—по старинной примѣтѣ—„отсталой журавль за теплое море тянетъ“. Если летать на Ирину журавли, то на Покровъ надо ждать перваго мороза; а если не видно ихъ въ этотъ день, раньше-Артемьева дня (20-го октября) не ударить ни одному морозу. Во многихъ деревняхъ Тульской и другихъ смежныхъ губерній посылаютъ ребятъ за околицу—слѣдить журавлей. Завидѣвъ стаю, дѣтвора принимается выкликать: „Колесомъ дорога, колесомъ дорога!“ Этотъ выкликъ, по словамъ старухъ, можетъ заставить журавлей вернуться на болотину и тѣмъ задержать приближеніе заставляющей вспомнить о шубѣ да о печкѣ—зимней стужи. „За Ариною—Трофимъ“,—гласитъ изустный простонародный дневникъ, прибавляя къ этому: „На Трофима не проходить счастье мимо: куда Трофимъ—туда и оно за нимъ“! Потому-то и стараются заневѣстившіяся дѣвушки красныя пристальнѣе обыкновеннаго приглядываться къ полюбившимся имъ парнямъ—на Трофимовыхъ вечоркахъ. 19-го сентября, кромѣ св. мученика Трофима, вспоминается Церковью еще святой Зосима, соловецкій пустынный, одинъ изъ покровителей пчелы-работницы (второй ея покровитель, св. Савватій, чествуется 27-го сентября). Съ молитвою къ этому угоднику Божію принимаются пчеловоды за уборку въ омшеники ульевъ въ сѣверной и средней полосѣ Россіи; въ южныхъ губерніяхъ оставляютъ ульи обдуваться вѣтеркомъ на пчельникѣ до свята-Савватіева дня.

20-го сентября—„Астафьевы вѣтры“, день св. великомученика Евстафія Плакиды. Безъ малаго по всей Руси великой наблюдаютъ въ этотъ день за теченіемъ вѣтровъ, стараясь по нему предугадать погоду. „На Астафья примѣчай вѣтеръ“,—подаетъ свой голосъ народная мудрость: „сѣверный—къ стужѣ, южный—къ теплу, западный—къ мокротѣ, восточный—къ вѣдру!“. На Онегѣ—„Въ Астафьевъ день шеловникъ (юго-западный вѣтеръ)—разбойникъ (производитъ бури)!“ О вѣтрѣ ходитъ по народной Руси многое-множество поговорокъ, сказовъ, повѣрій и загадокъ. Не сосчитать сразу и названій-именъ, данныхъ ему народомъ! Но и по немногимъ примѣрамъ, почерпнутымъ въ неисчерпаемомъ кладѣзѣ могучаго слова народнаго, возможно понять, какъ смотритъ народъ на эту стихію природы. „Выше вѣтра головы не носи!“—говорятъ, напримѣръ, заносчивому-спѣсивому человѣку: „Противъ вѣтра не надуешься! Ведрами вѣтра не смѣряешь! За вѣтромъ въ полѣ не угоняешься!“... „Спроси у вѣтра совѣта: не будетъ-ли отвѣта!“—замѣчаютъ довѣрчивому верхогляду. „Кто вѣтромъ служить, тому дымомъ платять!“—опредѣляютъ

человѣка, не пріобрѣтшаго довѣрія. — „Не вѣрь вѣтру въ морѣ, коню въ полѣ, а женѣ въ волѣ!“, „На вѣтеръ надѣяться—безъ помолу быть!“, „Вѣтеръ буйный взбѣсится—и съ бобылей бѣдной хаты крышу сорветъ!“. Вслѣдъ за Астафьевыми вѣтрами— „Кондратъ съ Ипатомъ помогаютъ богатѣть богатымъ“. 22-е число—день пророка Іоны и Петра-мытаря. Въ этотъ осенній день въ народѣ считается за грѣхъ ѣсть рыбу, — вѣроятно, въ воспоминаніе о пребываніи пророка, чествуемаго Церковью, во чревѣ китовомъ („чудо-юдо-рыба-китъ“). О лошадяхъ, страдающихъ „мытомъ“ (слизетечение — въ-родѣ сапа), служатъ крестьяне молебны св. Петру-мытарю. Черезъ сутки— „Ѳеклы-заревницы“ (24-е сентября). Съ этой поры день убываетъ-убѣгаетъ уже не куриными шагами, а лошадиными; ночи становятся темнымъ-темнѣшеньки, зори—все багрянѣе. Встарину съ Ѳеклина дня начинались у бояръ „замолотки“, топились первые овины, — причемъ вокругъ нихъ собирались молотильщики и, при заревѣ зажженныхъ костровъ, проводили ночь въ пѣняхъ. На замолоткахъ угощали молотильщиковъ кашей съ масломъ, — угощали, приговаривали: „Хозяину хлѣба ворошокъ, а молотильщикамъ каши горшокъ!“ Послѣ молотѣбы, закончивъ свой „урокъ“, шель рабочій людъ на боярскій дворъ, гдѣ подносилась ему („Пей—сколько выпьется!“) брага пѣнная.

„Если выпадетъ первый снѣгъ на Сергіевъ (25-го сентября) день, установится зима—на Михайловъ (8-го ноября)!“ — говорятъ въ народѣ и далеко не всегда ошибаются. По примѣтѣ, первый снѣгъ выпадаетъ за сорокъ дней до настоящей зимы. Отъ Сергіева дня снѣгъ, по словамъ наблюдательныхъ людей, выпадаетъ въ продолженіе „четырехъ семинъ (недѣль)“. Св. Сергій, Радонежскій чудотворецъ, пользуется большимъ почитаніемъ въ народной Руси, — молитва, обращенная къ нему, исцѣляетъ „отъ сорока недуговъ“.

Сентябрь успѣваетъ къ этому времени отряхнуть послѣднюю зеленую, раззолотившуюся, красу съ деревьевъ. Остается всего пять дней до назимнаго мѣсяца октября, богатаго свадьбами-пирами деревенскими, не любящаго „ни колеса, ни полоза“. Со стороны октября на отходящій къ покою сентябрь листопадъ „черезъ прясла глядитъ“ Покровъ—первый зимній праздникъ („зазимье веселое“), нерѣдко покрывающій грудь земную снѣгами бѣлыми-пушистыми.



XXXVIII.

Новолѣтіе.

Первый день сентября - мѣсяца, на который приходится празднованіе памяти св. Симеона-Столпника, съ XV-го по XVIII-й вѣкъ считался у насъ на Руси, по примѣру Александрійской церкви, днемъ „Новолѣтія“: съ этого дня начинался новый годъ. 1-го сентября 1699 года Петръ Великій въ послѣдній разъ „торжествовалъ, по древнему обычаю своихъ предковъ, начало новаго лѣта и на большой Ивановской площади, сидя на престолѣ въ царской одеждѣ, принималъ отъ патріарха благословеніе, а отъ народа привѣтствіе, и самъ поздравлялъ его съ новымъ годомъ, который въ 1700 г. онъ уже праздновалъ 1-го января“. Въ до-петровскія-же времена цари московскіе и всея Руси справляли сентябрьское Новолѣтіе, заодно съ народомъ русскимъ. День св. Симеона, заканчивавшій старое и начинавшій новое лѣто (годъ), а потому и называвшійся днемъ Симеона-Лѣтопроводца, являлся однимъ изъ торжественныхъ дней общенія царя съ народомъ, во множествѣ стекавшимся не только съ всей Москвы Бѣлокаменной, но даже изъ всѣхъ ближайшихъ пригородовъ, — „лицезрѣтъ пресвѣтлыя царскія очи“ въ стѣны Кремля златоглаваго. Здѣсь изъ-года-въ-годъ совершалось, по нерушимому завѣту старины, лѣтопровожденіе или „дѣйство многолѣтняго здоровья“.

Богомольные царскіе выходы, приближавшіе священную особу царя къ народу и придававшіе особый блескъ церковнымъ „дѣйствамъ“, ознаменовывавшимъ собою главнѣйшіе годовые праздники, поражали иностранцевъ не только своимъ великолѣпьемъ, но и самобытностью.

Дѣйство Новолѣтія начиналось раскатомъ выстрѣла вѣс-
товой пушки въ Кремль. Это происходило ровно въ полночь.
Выстрѣломъ возвѣщался жителямъ Бѣлокаменной, а за ними
и всей Руси Православной, мигъ наступленія новаго года.
Вслѣдъ за нимъ начиналъ гудѣть большой колоколь
съ колокольні Ивана Великаго. Кремлевскія ворота распа-
хивались, и „всенародное множество“ наполняло Кремль, что-
бы встрѣтить Новолѣтіе вмѣстѣ съ государемъ. Царь выхо-
дилъ изъ своихъ палатъ въ четвертомъ часу дня (десятомъ
утра, по нашему счету). Въ Успенскомъ соборѣ соверша-
лась въ это время патриаршая утренняя служба. „Государевъ
богомолецъ“ выходилъ, предшествуемый образами и сонмомъ
духовенства въ западныя двери. На дворѣ церковномъ, пе-
редъ вратами, совершалось „патриаршее молитвословіе“, вслѣдъ
за которымъ царь благоговѣйно подходилъ къ Евангелію и
осѣнялся благословеніемъ патриарха. Затѣмъ, сопровождае-
мое звономъ „во всѣ колокола съ реутомъ“, шествіе слѣ-
довало на Ивановскую площадь, между Архангельскимъ и
Благовѣщенскимъ соборами. Здѣсь, противъ Краснаго Крыль-
ца, посреди площади, воздвигался обширный помостъ, вы-
стланный богатыми коврами и огороженный расписною рѣ-
шоткою. По описанію Забѣлина, съ восточной стороны это-
го помоста ставились три наоя съ иконою св. Симеона-
Лѣтопроводца—на одномъ изъ нихъ. Возжигались свѣчи въ
серебряныхъ предналойныхъ подсвѣчникахъ. Ставился осо-
бый „столецъ“ для освященія воды. Съ западной стороны
 устраиались два „мѣста“: государево, обитое червчатымъ
бархатомъ и серебряною объярью (парчою), и патриаршее—
крытое ковромъ персидскимъ. Государево мѣсто было подоб-
но трону: вызолочено, расписано красками и имѣло видъ
пятиглаваго храма съ одною большой главой посрединѣ и
четырьмя малыми—по угламъ; на главахъ, сдѣланныхъ изъ
прозрачной слюды, рѣяли двуглавые золоченые орлы. Подъ
колокольный звонъ государь вступалъ на свое мѣсто че-
резъ створчатыя слюдяныя двери. Звонъ умолкалъ. Бли-
жайшіе стольники поддерживали подъ руки государя, при-
кладываясь на ступеняхъ своего мѣста къ иконамъ. Па-
триархъ, осѣняя царя крестомъ, вопрошалъ его „о его цар-
скомъ здоровьи“. Духовенство размѣщалось въ это время по
обѣ стороны мѣстъ государя и патриарха; ближніе люди цар-
скіе становились, по чину, по правую сторону государя и
за его мѣстомъ. Вся площадь, „по предварительной росписи“,
заполнялась еще до выхода государева служилыми людьми
въ золотныхъ и другихъ праздничныхъ кафтанахъ. На на-

перти Архангельскаго собора стояли иноземные послы, прїѣзжіе иностранцы, а также посланцы изъ отдаленныхъ русскихъ областей. Ратный строй стрѣльцовъ, со знаменами, ружьями и въ цвѣтномъ платьѣ, завершалъ величественную картину, окаймленную живой рамою несмѣтной народной толпы. Начиналось молебствіе съ водоосвященіемъ. Митрополиты, архіепископы, епископы, а за ними и все иное присутствовавшее духовенство, по-двое подходили и били поклоны передъ царемъ и патріархомъ—наособицу. Осѣнивъ государя крестомъ по окончаніи молебнаго пѣнія, патріархъ „здравствовалъ ему рѣчью“, заканчивавшеюся возгласомъ: „Здравствуй, царь-государь, нынѣшній годъ и впредь идущія многія лѣта въ родъ и во вѣки!“ („Древн. Росс. Вивлюеика“, X). Государь, въ отвѣтъ на пространныю рѣчь патріарха, кратко благодарилъ своего богомольца. Затѣмъ, государя и патріарха поздравляли по-очереди духовныя власти, бояре и всѣ сановные люди, кланяясь „большимъ обычаемъ“, т. е. почти до земли. Государь отвѣчалъ на поздравленіе духовенства наклоненіемъ головы, а боярамъ—поздравленіемъ. Послѣ этого, государя поздравляли съ новымъ лѣтомъ всѣ стрѣлецкіе полки; а за ними—весь народъ, бывшій въ Кремлѣ, „многолѣтствовавшій“ царю, ударяя челомъ въ землю, какъ одинъ человекъ. Отвѣтивъ народу поклономъ, приложившись ко кресту и принявъ патріаршее благословеніе, государь шествовалъ въ Благовѣщенскій соборъ къ поздней обѣднѣ, а оттуда—въ свои палаты царскія. Дѣйство новолѣтія заканчивалось. Изъ казны государевой раздавалась въ этотъ день обильная милостыня нищимъ и убогимъ, чтобы всѣ они „молили о многолѣтнемъ здравіи государя царя“. Новое „лѣто“ вступало въ свои права—при облетавшемъ столицу всенародномъ возгласѣ: „Здравствуй, здоровъ будь, на многія лѣта, надежа государь!“

Въ правовомъ отношеніи день новаго года имѣлъ встарину не малое значеніе для народной жизни. Онъ—вмѣстѣ съ Рождествомъ Христовымъ и Троицынымъ днемъ—былъ срокомъ, когда должно было прїѣзжать въ Москву „ставиться на судъ предъ государемъ и его боярами“. Кто изъ судившихся не являлся къ „началу индикта“ на срочный судъ, тотъ считался виновнымъ, и его противнику выдавалась „правая грамота“. Мѣстомъ суда на Семень-день назначался Приказъ Большаго Дворца. Государю представлялись на усмотрѣніе тѣ особо важныя дѣла, которыхъ не могли разрѣшить намѣстники, приказчики городовые и волостели. Судъ царевъ считался равнымъ Божьему. Въ приговорахъ уличеннымъ въ

преступленіяхъ такъ прямо и объявлялось: „Пойманы вместе Богомъ и Государемъ Великимъ“. Въ день Новолѣтія ставились обвиняемые на судъ и предъ патриархомъ. По уложенію царя Василя Ивановича Шуйскаго (1607 г.), было установлено относительно крестьянъ-перебѣжчиковъ, что, „если не подадутъ челобитья по 1-ое сентября о крестьянахъ, то, послѣ того срока, написать ихъ въ книги за тѣмъ, за кѣмъ они нынѣ живутъ“. Этотъ-же день, по установившемуся съ давнихъ временъ и вошедшему въ силу закона обычаю, являлся срокомъ уплаты оброковъ, даней и пошлинъ. Имъ начинались и заканчивались условные договоры между поселянами и торговыми людьми. Съ него сдавались во временное пользованіе земли, рыбныя ловли и всякія другія угодыя.

Въ стародавніе годы соблюдались въ Семеновъ день на Руси обычаи— „постриги“ и „сажаніе на коня“, о которыхъ сохранились лѣтописныя свидѣтельства съ XII-го вѣка. Постриги совершались надъ сыномъ-первенцемъ въ каждомъ благочестивомъ русскомъ семействѣ, начиная съ великокняжескаго. Обрядъ постриговъ дѣтей великокняжескихъ происходилъ въ церкви и совершался епископомъ; у бояръ и простолюдиновъ это дѣлалось дома, въ присутствіи ближайшей родни, рукою крестнаго отца. Выстриженные на темени младенца волосы передавались матери, зашивавшей ихъ въ ладанку. Кумъ и кума выводили крестника на дворъ, гдѣ отецъ дожидался ихъ съ обѣзженнымъ конемъ, на котораго и сажалъ своего первенца. Кумъ водилъ коня подъ-узды, а отецъ придерживалъ сына рукою. У крыльца отецъ снималъ ребенка съ коня и передавалъ его куму, въ свою очередь вручавшему крестника кумѣ— „изъ полы въ полу“, съ поклонами. Кума вела младенца къ его матери и привѣтствовала послѣднюю ласковымъ словомъ. Въ горницѣ подносились куму и кумѣ подарки, а они отдаривали крестника. За торжественнымъ обѣдомъ кумъ съ кумою разламывали на крестниковой головѣ пирогъ съ пожеланіями „новопостриженному“ всякихъ удачъ въ жизни. Эти обычаи давно уже исчезли изъ обихода русской народной жизни; дольше всего сохранялись они у казаковъ и старообрядцевъ.

Съ первымъ днемъ сентября-мѣсяца связано, однако, и въ настоящее время у русскаго народа не мало обычаевъ, примѣтъ и повѣрій, ведущихъ свое начало изъ болѣе или менѣе отдаленнаго прошлаго. Вся недѣля съ 1-го по 8-е число слыветъ на Руси „Семенскою“. Она-же зовется и „бабымъ лѣтомъ“,—хотя это-послѣднее по большей части продолжается, по мѣстному, неписаному мѣсяцеслову, и до половины мѣсяца.

Со дня нашего стариннаго Новолѣтія начинаются, по народной примѣтѣ; первые холода, готовые перейти если еще не въ морозы, то въ заморозки. Еще за нѣсколько дней (а именно 29-го августа) начинаютъ загадывать въ деревнѣ о холодахъ— по отлету птицъ да по паутинѣ, носящейся въ воздухѣ. „Батюшка сентябрь не любитъ баловать“,—гласитъ народное слово,—„въ сентябрѣ держись крѣпче за кафтань!“. Деревенскій опытъ посмѣивается надъ наступившимъ бабьимъ лѣтомъ, приговаривая: „Какъ ни хвались, баба, бабьимъ лѣтомъ, а все глядитъ осеніна-матушка на дворѣ сентябрь— въ сентябрѣ одна ягода, да и та горькая рябина!“ Но въ то-же самое время этотъ умудренный жизнью опытъ зорко примѣчаетъ примѣты перваго дня осмѣиваемаго имъ „лѣта“. Этотъ день оказываетъ вліяніе на всю послѣдующую осень: если на него ясно, то и вся осень будетъ ведреная; если луга въ этотъ день опутаны тенетникомъ, если гуси гуляютъ стадами, если скворцы не летятъ,—то и вся осень будетъ сподручною для деревенскихъ работъ, т.-е. ясною. А работъ въ деревнѣ и къ этому времени не мало: ждуть онѣ мужика-хлѣбороба и въ огородѣ, и на гумнѣ, и вокругъ двора. Съ Семена-дня бабамъ всякихъ заботъ чуть-ли не больше, чѣмъ мужику-домохозяину. Съ этого времени принимается деревня мять и трепать пеньку, мыть выбранный ленъ и разстилать его по лугамъ. Въ этотъ-же день, вечеромъ, „затыкаютъ красна“, т.-е. начинаютъ ткать холстъ, затѣваютъ „супрядки“—салятся за прядки и веретена.

Первое сентября—день „запашекъ“ (опахиванія) полей— для огражденія ихъ ото всякихъ напастей со стороны вѣчно враждующей съ народомъ-пахаремъ темной нечистой силы. Въ этотъ-же день во многихъ мѣстностяхъ въ обычаѣ—перевѣриваться въ новые дома и справлять новоселье. Варится брага, пекутся пироги; на пирушку зазываются хозяевами новаго дома тестъ съ тещею, сваты, дяди и кумовья. Гости присылаютъ и приносятъ на новоселье хлѣбъ-соль и подарки—каждый по своему состоянію, кромѣ кума и кумы, которые непременно должны принести полотенце и мыло. Пирушка затягивается; только позднимъ вечеромъ начинаются проводы гостей. Но еще до всего этого, до прихода послѣднихъ, совершается завѣщанный предками-пращурами обрядъ: перейти въ новое жильѣ не рѣшается ни одинъ крестьянинъ, не пригласивъ на новоселье стараго хозяина, дѣдушку-Домового. Въ покидаемой хатѣ въ послѣдній разъ топится печь. Старая бабка, остающаяся на прежнемъ пепелищѣ одна, выгребаетъ изъ печки всѣ угли въ печурку. Въ полдень по-

спѣшно собираетъ она въ припасенный заранѣе горшокъ всё непогасшіе до того времени угли, накрываетъ посудину скатертью и, обращаясь къ заднему углу избы, говоритъ: „Милости просимъ, дѣдушка, къ намъ на новое жильё!“ Затѣмъ, уходитъ бабка на новый дворъ, гдѣ у распахнутыхъ настежъ воротъ ее ожидаютъ хозяева съ хлѣбомъ-солью. Подойдя къ воротамъ, старуха стучится въ верёку и спрашиваетъ: „Рады-ли хозяева гостямъ?“ — „Милости просимъ, дѣдушка, къ намъ на новое мѣсто!“ — съ поклонами отвѣчаютъ ей ожидающіе. Старуха идетъ въ новую избу, въ сопровожденіи несущихъ хлѣбъ-соль хозяевъ, и ставитъ горшокъ съ углями на столъ; взявъ скатерть, она трясетъ ею по всѣмъ угламъ и высыпаетъ угли въ печурку. Послѣ этого только и возможно, по мнѣнію суевѣрныхъ крестьянъ, ѣсть хлѣбъ-соль въ новомъ домѣ. Горшокъ, въ которомъ перенесенъ сюда „Домовой“, разбивается и зарывается подъ передній уголъ новаго дома.

Деревенская молодежь не отстаётъ отъ стариковъ въ суевѣрныхъ обычаяхъ, — почти всегда, впрочемъ, обращая ихъ въ игру-забаву. Такъ, на Семень-день, совпадающій съ древнимъ праздникомъ въ честь Бѣлбога, крестьянскія дѣвушки хоронятъ мухъ и таракановъ, покровителемъ которыхъ, между прочимъ, считался и названный славянскій богъ. Для этого дѣлаются гробки изъ свеклы, рѣпы или моркови, въ которые и кладутся погребаемыя насѣкомыя, а затѣмъ зарываются въ землю. При этомъ поется не мало пѣсень, ничего общаго ни съ „богомъ мухъ“, ни съ какими погребальными обычаями не имѣющихъ. Погребальщицы, разряженные въ свои лучшіе наряды, играютъ пѣсни; а парни, тайкомъ собирающіеся поглядѣть на дѣвичью забаву, высматриваютъ себѣ подходящихъ невѣсть. Послѣ похоронъ, дѣвушки идутъ вмѣстѣ съ выбѣгающими къ нимъ изъ своей засады парнями пить брагу, и вслѣдъ затѣмъ деревня оглашается протяжною хоровой пѣснею:

„Ай, на горѣ мы пиво варили;
Ладо мое, Ладо, пиво варили!
Мы съ этого пива всё вокругъ соберемся;
Ладо мое, Ладо, всё вокругъ соберемся!...“

Семень-день съ давнихъ поръ чествуется не только работниками, но и охотниками. Встарину въ этотъ день выѣзжали бояре охотиться за зайцами. Это можно наблюдать и до сихъ поръ на Руси. Существуетъ повѣрье, что „отъ семенинскаго выѣзда лошади смѣлѣютъ, собаки добрѣютъ и не болѣютъ“.

и что также и „первая затравка наводитъ зимою большія добычи.“

Въ новгородской - валдайской округѣ записано любопытное повѣрье объ угорь-рыбѣ. На утренней ранней зорькѣ выметывается она въ Семень-день изъ воды на берегъ и ходитъ-перескакиваетъ по лугамъ на три версты, по росѣ. Смываетъ-сбрасываетъ съ себя она всѣ свои лихія болѣсти— на пагубу человѣку. Потому-то и не совѣтуютъ знающіе люди выходить до спада росы въ этотъ день на берегъ рѣки. Угорь слыветъ на деревенской Руси запрещенной рыбою. Можно его ѣсть, — говорятъ свѣдущіе старики, — только тогда, когда „семь городовъ напередъ обойдешь—никакой яствы не найдешь“, да и тогда запрещается вкушать голову и хвостъ угря. Народное суевѣріе принимаетъ его за „водяного змѣя, хитраго и злобнаго“, поясняя при этомъ, что за великія прегрѣшенія этому змѣю положень запретъ на жало: „не жалить ему вѣки вѣчные ни человѣка, ни звѣря.“ Знахари заставляютъ угря быть вѣщимъ помощникомъ ихъ гаданій: они кладутъ его на горячіе уголья и, по направлеію его прыжковъ, стараются обозначить мѣсто, гдѣ укрыта похитчиками какая-либо пропавшая вещь. При этомъ они заклинаютъ его именемъ св. Марѣы, матери Симеона-Столпника, память которой чествуется Православной Церковью въ одинъ день съ ея преподобнымъ сыномъ.

XXXIX.

Воздвиженъе.

Приближается къ концу первая половина сентября-листопада, — съ послѣднимъ днемъ второй недѣли его приходитъ на Святую Русь праздникъ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня, установленный Церковью въ воспоминаніе обрѣтенія св. царицею Еленою Креста, на которомъ былъ распятъ Спаситель міра—Сынъ Божій. Воздвиженіе—заключительный день бабьяго лѣта, третья (и остатняя) встрѣча осени. Съ его приходомъ послѣдняя вступаетъ въ свои неотъемлемыя права, заставляя сельскаго жителя все чаще и чаще призадумываться о глядящей къ нему во дворъ лиходѣйкѣ-зимѣ—съ ея морозами, буранами и зачастую приходящей вмѣстѣ съ ними безкормицей-безхлѣбницей, являющеюся грознымъ бичомъ пахаря-хлѣбороба; живущаго добротными щедротами земли. „На дворѣ Воздвиженъе, послѣдняя копна съ поля движется, послѣдній возъ на гумно торопится!“—говоритъ деревня, любящая и цѣнящая всякое слово красное.—„На Воздвиженъе шуба за кафтаномъ тянется!“, „На Воздвиженъе зипунъ съ шубой здвинется!“, „Вздвиженъе кафтанъ сыметь, шубу надѣнетъ!“, „Вздвиженъе—послѣдній возъ сдвинулся съ поля, а птица—въ отлетъ!“, „На Вздвиженъе ни змѣя и никакой гадъ по землѣ сырой не движется!“ и т. д.

Третья встрѣча осени—„первые зазимки“. Но еще не пускаютъ они въ мѣру зябкаго мужика, знающаго, что настоящую вѣсть о зимѣ можетъ принести только Покровъ-батюшка. Только первый снѣгъ, раньше 1-го октября почти нигдѣ на Руси не выпадающій, и кладеть починъ необлыжной ступи-

жѣ. Покровъ—зазимье: на него—„до обѣда осень, а послѣ обѣда—зимушка-зима“, по народной поговоркѣ, совпадающей съ ильинскою, гласящей, что „на Илью до обѣда лѣто, а послѣ обѣда—осень“. По старинной примѣтѣ: „Воздвиженье осень зимѣ навстрѣчу двигаетъ!“, а зима, въ свой чередъ, на этотъ праздникъ „со бѣла гнѣзда сымается, къ русскому мужику въ гости собирается,—семь-ка (говорить) я, зима-зимская, на Святой Руси погощу, сѣраго мужика навѣщу, хлебальныхъ пироговъ поѣмъ, пива поотвѣдаю, свадьбы сыгראю-отпраздную!“... Воздвиженіе—постный праздникъ. „Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него—пятница-середа, постная ѣда!“—говорять въ народѣ. „Кто не поститъ Воздвиженью—Кресту Христову,—на того семь грѣховъ воздвигнутся!“—замѣчаютъ о строгости однодневнаго поста воздвиженскаго благочестивые блюстители церковныхъ уставовъ: „Кто скороми на Воздвиженевъ день чурается,—тому семь грѣховъ прощается!“, „У кого на столѣ убоина о Воздвиженьи,—тотъ всѣ свои молитвы убиваетъ, а новой не знаетъ—не вѣдаетъ, нечѣмъ ему Бога помолить!“

На Воздвиженіе въ старые годы по многимъ мѣстамъ воздвигалъ православный людъ обыденки-часовни да церкви малыя—по обѣщанію (въ честь праздника). Это считалось особенно угоднымъ Богу. Еще и до сихъ поръ ставятъ въ этотъ день по деревенской Руси придорожные кресты обѣтныя, въ благодарность за избавленіе отъ зла-напасти, морового повѣтрія, лихого попущенія. Въ обычаѣ воздвигать-поднимать обѣ эту пору и кресты на новостроящихся храмахъ. Есть мѣстности, гдѣ ежегодно совершаются на этотъ праздникъ крестные ходы вокругъ селъ-деревень,—что, по народному представленію, ограждаетъ ото всякаго лиха на круглый годъ. Подымаютъ иконы богобоязненные люди на Воздвиженевъ день и для обхода полей, съ молитвою о будущемъ урожаѣ. Молятся „празднику“ и о болящихъ-страждущихъ, чтобы Господь воздвигъ ихъ съ одра болѣзни. „Съ вѣрою помолитесь праведному человѣку на Вадвиженевъ день, такъ Животворящій Крестъ и со смертнаго ложа подыметъ!“—говорять въ народѣ, твердо памятуящемъ дѣдовскій завѣтъ о томъ, что „правда сильна вѣрою, а вѣра—правдою“, и что одна безъ другой мертвы на просвѣщаемой свѣтомъ Христовымъ темной землѣ.

По старинному простонародному сказанію, еще недавно повторявшемуся въ среднемъ Поволжьѣ, на Воздвиженіе происходитъ битва-бой между „честью“ и „нечестью“. Поднимаются въ этотъ день,—гласить сказаніе,—воздвигаются одна на

другую двѣ силы: правда и кривда, „свято“ и „нѣсвято“... И зачинаеть осиливать навожденіе отъ лукаваго, и починаеть колебаться все стоящее за вѣру правую и правду вѣрную. Дрожитъ колыхнется, сотрясается Мать-Сыра-Земля... Но вотъ воздвигается изъ нѣдръ ея Свягъ-Господень Крестъ; вся вселенная сіяеть, какъ солнце, отъ его нетлѣнныхъ-негаснущихъ лучей. И таеть, какъ воскъ—отъ огня, все злое-нечистое, все сильное кривою міра—предъ этимъ лучезарнымъ Крестомъ. Побѣждаетъ все праведное, все чистое... „И такъ до скончанія вѣка вѣковъ“,—гласить заключительное слово поволжскаго сказа, свидѣтельствующаго о непоколебимой вѣрѣ народа въ торжество правды, несмотря на обуревающее міръ зло, ходящее по свѣту бѣлому, о божь съ черной бѣдой-незгодою, все затмевающей туманящею.

Въ другомъ сказаніи, приуроченномъ ко дню Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня, повѣствуется о самомъ событіи, связанномъ съ этимъ праздникомъ. „Пьетъ вино Константинъ-царь“,—начинается сказаніе,—„въ красномъ городѣ Царѣ-градѣ, во своемъ дворѣ Господнемъ; съ нимъ пьютъ Божьи апостолы, святой Петръ и апостолъ Павелъ. И бесѣдуетъ Константинъ-царь:—О, верховны Божьи апостолы! Гдѣ-то нынѣ наши кресты честны, у коего честнаго царя они?...“ Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе расходится съ книжной правдою повѣствованіе народное. „Верховны Божьи апостолы“ говорятъ, что „кресты честны“ находятся въ еврейской землѣ „у проклята царя Евреина“. Они совѣтуютъ царю Константину пойти на еврейскую землю, „поплѣнить“ ее и „ухватить царя Евреина“ и выпытать у него о мѣстѣ, гдѣ сокрыта великая христіанская святыня. Но сейчасъ-же оговариваются совѣтчики, что „тверда вѣра жидовина: помреть онъ скорѣе на мукахъ, честныхъ крестовъ не укажетъ“. Лучше, по ихъ словамъ, послать „жестокихъ глашатаыхъ“ въ еврейскую землю и взять отъ еврейской царицы ребенка. „Ты наложи два живыхъ огня, царь,“—говорятъ они,—„метни чадо межъ огня два жива, пусть пищитъ оно, будто змія люта: а всякая мать милостива и до своего чада жалостива,—царица кресты укажетъ!“ И вотъ—царь Константинъ, внявъ совѣту, „на четыре страны письма пишеть и собралъ все войско христіанско...“ Игнѣна вся еврейская земля, царь Евреинъ—въ рукахъ побѣдителя и, несмотря на всѣ пытки, несмотря даже на мученическую смерть-кончину, не выдалъ завѣтнаго мѣста—„честныхъ крестовъ указать не хочеть!“ Посланы, по увѣщанію „верховныхъ Божьихъ апостоловъ“, и „жестокіе глашатаи“. Все сдѣлано по указанному, какъ

по писаному. Увидѣвъ своего ребенка положеннымъ межъ двумя „живыми огнями“, еврейская царица „приступаетъ, слезы проливаетъ, цѣлуетъ царя и въ полу, и въ руку“, обѣщая указать желанное мѣсто. Послѣ нѣкотораго новаго колебанія, она, наконецъ, когда ея дитя было отодвинуто отъ огней, говоритъ царю Константину: „Видишь-ли, царь, Одюбаръ (Фаворъ) гору? Двинь ты войско, иди ты подъ гору и раскопай Одюбаръ-гору: найдете вы твердый камень, разбейте вы твердый камень, посыпятся многи кресты златы, евреи кресты тѣ сковали, на подобіе будто кресты ваши, да не узнаются кресты ваши!“ Царь сдѣлалъ все по этому указанію. Принесли ему „многи кресты златы“. Взялъ царь Константинъ и ударилъ ихъ о камень: „переломились на двое, на трое...“ Принесли ему другіе кресты, — замахнулся царь, ударилъ о камень, предъ нимъ разлетѣлся камень. Эти кресты были тѣ самые „кресты честны“, о которыхъ говорили „верховны Божьи апостолы“—совѣтчики царскіе.

„Какъ увидѣлъ то Константинъ-царь,
Тогда царь возсталъ на ноги
И крестъ честной поцѣловалъ онъ,
И цѣлуетъ все войско христьянско.
Когда царь кресты такъ избавилъ,
Двинулъ войско, ушелъ онъ во дворъ свой.
Пока живъ былъ Константинъ-царь,
Честны кресты на земли сіяли,
Сіяли крещеному христьянскому народу.
Когда-же преминулъ Константинъ-царь
И честная царица Елена,
Тогда честные кресты воскресли,
Воскресли на небеса въ высъ
И теперь сіяютъ на томъ свѣтѣ,
Словно солнце на свѣтѣ здѣшнемъ“...

Такъ заканчивается сказаніе, стоящее ближе къ сказочно-му складу, нежели къ былевой пѣснѣ, оправдывая стародавнее присловье: „Сказка—складка, пѣсня—быль“.

Въ другомъ сказаніи, родственномъ по содержанію съ этимъ, мѣсто еврейской царицы занимаетъ „жидовка-вдовица“, а „верховные Божьи апостолы“ совершенно отсутствуютъ, а царю Константину самому „вспало на умъ“ все совершаемое. Начинается это сказаніе такой картиною: „Три темныя мглы опустились, опустились во Стамболъ градъ, и стояли ровно три години: ни солнце въ ту пору не грѣло, ни вѣтеръ тогда не повѣялъ, ни роса тогда не заросила, никакая жена не

родила, никакая овца не ягнилась, сотворился тогда гладь великій, стары люди золою питались, молодые травкою паслись, глупы дѣти песокъ поѣдали"... Это время, по сказанію, предшествовало мысли, вспавшей на умъ царю Константину. „Зачудился тогда Константинъ-царь“,—гласить сказаніе, — „чтой-то будетъ за велико чудо? Спусти мало, царю на умъ вспало. И бесѣдуетъ онъ кралю Мурать-бегу:—Ты гои еси, ты Мурать-бегъ краль! Поди-ка ты на Ситницу рѣку къ краю, есть тамъ жидовка вдовица, та имѣеть одного дитя-младенца: ой ты жидовка вдовица! Скажи-ка мнѣ, гдѣ-то тутъ кресты Христовы? А не скажешь, жидовка вдовица, возьму у тебя твоего дитя-младенца, между двухъ огней буду его жарить!... Отвѣчала жидовка-вдовица:—Клянуся я Богомъ, Мурать-бегъ краль! Въ работницы здѣсь нанята я, поливать мнѣ велику навозную кучу: растеть ночью здѣсь трава смерделика, растеть ночью, я полю на утро; денно-нощно сижу себѣ здѣсь я!.. Сказали ему царю Константину. Царь пустилъ тогда молодцовъ триста, видѣть—что тамъ за чудо велико? Не была то, не была трава смерделика: только былъ то Христовъ василекъ. И тогда стали молодцовъ триста, отрыли велику навозную кучу: была она, куча, очень маленька, въ глубину была она триста сажень, въ ширину была она полтораста... И нашли они кресты Христовы"... Когда найдены-отрыты были „кресты Христовы“,—тогда, во мгновение ока измѣнилась вся картина:

„Тогда солнце огрѣвать насъ стало,
Тогда вѣтеръ снова началъ вѣять,
Роса мелкая тогда заросила,
Мужскихъ дѣтей жены породили,
Овцы яры тогда объягнлись,
Сотворилася велика дешевизна,
И нивы-то пшеницу родили,
Урожай тогда вышелъ полонъ.
Кто слышали, всѣ-бъ веселы были!...“

Дума пахаря-народа о хлѣбѣ насущномъ сказалась здѣсь едвали не ярче, чѣмъ въ какихъ-бы то ни было другихъ памятнигахъ его пѣснотворчества. Эту думу спородила власть земли-кормилицы надъ его стихійной душою, порождавшей не только однихъ пахарей, но и богатѣрей.

Праздникъ Воздвиженья слыветъ „капустницами“. „Смейай, баба, про капусту: Вздвигенье пришло!“—говорять на посельской Руси: „Вздвигенье—капустница, капусту рубить пора!“, „То и рубить капусту, что со Вздвигенья!“, „У доб-

раго мужика на Воздвиженъевъ день и пироги съ капустой!“ „И плохая баба о Воздвиженьи—капустница!“ „На Воздвиженье—чей-чей праздничекъ, а у капусты поболѣ всѣхъ!“ „На Воздвиженье первая барыня—капуста!“ и т. д. Капуста, и всегда пользующаяся большимъ почетомъ въ простонародномъ обиходѣ, у всѣхъ на языкѣ въ Воздвиженъевъ день. „Щи да каша—пища наша!“ „—говоритъ деревенскій людъ, а самъ приговариваетъ: „Безъ хлѣба мужикъ сытымъ не будетъ, безъ капусты—щи не живутъ!“ „Хлѣбъ да капуста лихого не попустятъ!“ „Капуста не пуста, сама летитъ въ уста!“ „Капуста—лучше пуста!...“ О незапасливыхъ хозяевахъ замѣчаютъ: „Пошелъ-бы къ сосѣду по капусту, да на дворъ не поустятъ!“ „Помяни рѣпу, чтобы дали капусты!“ „Поѣзжай въ Крымъ по капусту!“ „Ни шить, ни кроить, а весь въ рубцахъ!“ „Безъ счету одежекъ—всѣ безъ застежекъ!“ „Маленькій попокъ, сорокъ ризокъ оболочкъ!“ „Шароватый, кудреватый, на макушкѣ плѣшь, на здоровье съѣшь!“—ведутъ свою иносказательную рѣчь загадки о капустѣ. Старинное повѣрье совѣтуетъ выбирать капустныя сѣмена изъ кочней если не на Воздвиженье, то на Благовѣщенье. „Ни воздвиженской, ни благовѣщенской капусты морозъ не бьетъ!“—гласитъ оно, изъ устъ памятливыхъ ко всякой примѣтѣ старыхъ людей, умудренныхъ опытомъ. Они-же добавляютъ къ этому, что, при засѣвѣ капусты, надо пересыпать сѣмена изъ руки въ руку,—иначе, вмѣсто капусты, уродится брюква. Капусты, по ихъ-же словамъ, въ четвергъ не садятъ: „посадишь—всю черви поточатъ!“

Воздвиженье начинается рядъ осеннихъ веселыхъ вечеринокъ, справляющихся и слывущихъ подъ именемъ „капустницъ“ не только въ деревняхъ, но и въ городахъ (у мѣщанъ). Встарину въ этотъ день красныя дѣвушки, принарядясь въ цвѣтно-праздничное платье, хаживали изъ дома въ домъ—рубить капусту. Это дѣлалось съ веселыми пѣснями; гостямъ подносилось сусло-пиво, ставились сладкіе меды, подавались угощенья-заѣдки разныя (смотря по достатку хозяевъ). Молодежь-женихи высматривали себѣ въ это время невѣсты—„капустницъ“. Ввечеру, когда капуста была уже срублена, всюду шло веселье, нерѣдко приводившее къ свадьбамъ, игравшимся о Покровѣ-днѣ. „Капустенскія вечорки“ длились двѣ недѣли, заканчиваясь вмѣстѣ съ сентябремъ-мѣсяцемъ. Ихъ ожидала молодежь, какъ веселаго праздника, въ-родѣ Масляницы. Не мало пѣсень, особаго склада и лада, приурочивалось къ этому времени, своихъ—„капустенскихъ“, хотя не считалось зазорнымъ пѣть на „вечоркахъ“ и всякія другія, лишь-бы складны были да веселы.

Воздвиженскіе капустники и въ наши дни—повсемѣстный на деревенской Руси дѣвичій праздникъ: ждутъ его по осени, не дождутся красныя. Знаютъ онѣ, что ввечеру сойдутся на капустную бесѣду-пирушку холостые деревенскіе парни—себѣ невѣсть приглядывать. Всѣ заневѣстившіяся дѣвушки принаряжаются на эту бесѣду въ лучшіе наряды, чтобы не ударить въ грязь своею красою дѣвичьей: у каждой изъ нихъ есть среди ожидаемыхъ гостей свои присмотрѣнные заранѣе, приглянувшіеся загодя парни. Существуетъ повѣрье, что, если—собираясь на воздвиженскій капустникъ, дѣвушка прочитаетъ семь разъ особаго рода заклятіе, то приглянувшемуся ей молодцу приглянется и ея красота. „Крѣпко мое слово, какъ желѣзо! Воздвигни, батюшка Воздвиженъевъ день, въ сердцѣ добра молодца (имя рекъ) любовь ко мнѣ дѣвицѣ красной (имя рекъ), чтобы этой любви не было конца-вѣку, чтобы она въ огнѣ не горѣла, въ водѣ не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крѣпко мое слово, какъ желѣзо!“—приговариваютъ дѣвицы красныя, собираючись, какъ на веселыя смотрины, на капустникъ воздвиженскій.



XL.

Пчела—Божья работница.

Дни съ 19-го по 27-е сентября слывуть во многихъ мѣстахъ Святой Руси „пчиной девятиною“. На одной грани этого девятидневя стоитъ въ народной памяти свѣтлый обликъ преподобнаго основателя Соловецкой обители, св. пустынника Зосимы, чествуемаго Православной Церковью, кромѣ того, и весною—17-го апрѣля,—а на другомъ рубежѣ красуется его преподобный сподвижникъ Савватій. Оба названныхъ святыхъ Русской Земли считаются въ народѣ пчелохранителями-пчеловодами. Благоговѣйное воспоминаніе о нихъ слилось въ народномъ представленіи въ одинъ нераздѣльный образъ „Зосимы-Саватія“, вотъ уже нѣсколько вѣговъ привлекающій на студеное Бѣлое море въ основанный преподобными монастырь-„пчельникъ“ несмѣтныя тысячи богомольцевъ. Нашъ пахарь-народъ былъ пчеловодомъ съ древнѣйшихъ временъ своего существованія. Но русское пчеловодство сосредоточивалось раньше только въ юго-западномъ углу свѣлорусскаго пространства, откуда медъ и воскъ шли Днѣпромъ даже и за-море еще въ ту стародавнюю пору, когда пчела-работница ютилась въ бортахъ-дуплахъ и была въ дикомъ состояніи (до XIV вѣка). Встарину выплачивались медомъ-воскомъ даже всякія дани, подати и налоги, — наравнѣ съ пушшиной и хлѣбнымъ зерномъ. Меда ставленные-сыченые еще до Красна-Солнышка — князя-Владиміра были любимымъ охмѣляющимъ напиткомъ любящей „веселіе“ Руси; въ приготовленіи ихъ наши отдаленнѣйшіе предки достигли высокой степени совершенства и не знали себѣ соперниковъ въ разноязычной семьѣ другихъ народовъ. Со времени просвѣщенія Руси Тихимъ Свѣтомъ

правой вѣры Христовой пчела, доставляющая не только пьяный-сладкій медъ, но и воскъ— „Богу на свѣчку“, стала слыть „Божьей угодницею“, продолжая обитать-плодиться все еще въ своихъ лѣсныхъ бортихъ.

Святые Зосима и Савватій,⁷¹⁾ въ средніе годы XV-го столѣтія) подвизавшіеся во славу Божию на дальнемъ сѣверѣ, первые— по преданію—научили русскій народъ болѣе или менѣе правильному пчелиному хозяйству, не только устроивъ на Руси пасѣки-пчельники, но даже занеся „пчелу“ на обвѣянный бурями пустынный островъ, покоящійся въ студеныхъ волнахъ Бѣлаго моря, на многія сотни верстъ южнѣе береговъ котораго никто до той поры и слыхомъ не слыхомъ о пчеловодствѣ. „Божественный пчельникъ“, основанный почившимъ угодникомъ Божиимъ, неустанно продолжаетъ съ тѣхъ поръ, разрастаясь и укрѣпляясь, возносить изъ волнъ Бѣлаго моря студенаго немолчную хвалу Живоначальной Троицѣ.

„Святая двоица—Зосима-Савватій“—въ великомъ почитаніи не только на сѣверномъ поморьѣ, но и по всей народной Руси, отъ-моря до-моря. Всюду,—не только, гдѣ стоитъ хоть одинъ пчелиный улей, но гдѣ теплится передъ божницею хотя одна свѣча „воска яраго“,—повсемѣстно благоговѣно поминаются родныя Русской Землѣ имена святыхъ угодниковъ Божіихъ, покровителей пчелы, оберегающихъ—кромѣ того—своею крѣпкой защитою и всѣхъ плавающихъ по сѣвернымъ водамъ, омывающимъ мѣсто ихъ земного подвижничества о Христвѣ. Почти на каждомъ пчельникѣ можно найти икону соловецкихъ подвижниковъ. Ни одинъ пчеловодъ не начнетъ никакого важнаго дѣла въ своемъ пчелиномъ хозяйствѣ безъ обращенной къ нимъ молитвы. Благочестивая старина совѣтуетъ служить дважды въ году на пчельникахъ молебны Зосимѣ-Савватію: по веснѣ, когда ульи выносятся изъ омшени-

71) Св. Зосима, по словамъ житія его, былъ родомъ изъ вотчины Господина Великаго Новагорода; онъ увидѣлъ свѣтъ бѣлый въ селеніи Толвуѣ, на берегу Онежскаго озера. Сначала подвизался онъ на Сумскомъ поморьѣ, гдѣ и встрѣтился съ инокомъ Германомъ повѣдавшимъ ему о жившемъ на Соловкахъ пустынникѣ Савватіѣ, который предъ своей кончиною († въ 1435 году на рѣкѣ Выгѣ, въ деревнѣ Сорокѣ) переселился съ моря на материкъ. Преподобный, плѣняясь рассказомъ инока о соловецкомъ пустынножительствѣ, „возревновать о Господѣ“ и (въ 1436 году) удалился вмѣстѣ съ Германомъ на освященный подвижничествомъ своего предшественника островъ. Сюда, къ тѣсной келіи пустынножителей, слава о которыхъ не замедлила распространиться по всему поморью, начали стекаться жаждущіе душеспасительнаго труда ученики. Былъ сооруженъ деревянный храмъ Божій, возникъ убогій монастырь. Игуменомъ послѣдняго былъ избранъ св. Зосима. Въ 1465-мъ году въ новую обитель перенесены были честныя мощи перваго соловецкаго подвижника. Кончина преподобнаго Зосимы послѣдовала въ томъ-же году.

ка на вольный воздухъ, и осенью—въ одинъ изъ дней пчелиной девятины, заставляющей убирать пчелу на зимній покой, въ теплый уютъ. „Милостивый Спасъ всяку душу спасаетъ, Зосима-Савватій пчелу бережетъ!“ — говорятъ пчеловоды: „Безъ Бога—ни до порога, а безъ Зосимы-Савватія—ни до улья!“, „Что у пчелы въ соту—то Зосима-Савватій далъ!“, Пчела—Божья угодница, а и та Зосимъ-Савватю свой молебень поеть!“, „Зосима-Савватій вмѣстѣ съ пчелой Богу свѣчку лѣпить, Пресвятой Троицѣ домъ строить!“, „Зосима-Савватій цвѣты пчелѣ растить, въ цвѣтъ меду наливаєтъ!“ Въ такихъ и тому подобныхъ словахъ опредѣляетъ народъ значеніе соловецкой двоицы для пчеловода, —приговаривая: „Ты медъ-то ломать ломай, да объ Зосимъ-Савватіѣ вспоминай!“, „Безъ Савватія-Зосимы—рой пролетитъ мимо (пчельника)!“, „Рой роится—Зосима-Савватій веселится!“ и т. д. Прибѣгая подъ щитъ заступничества соловецкихъ покровителей пчелинаго хозяйства, водящій пчелу пахарь твердо помнитъ въщее слово умудренныхъ опытомъ предковъ, гласящее, что святая двоица—Зосима-Савватій—помогаетъ только благочестивымъ, блюдущимъ отеческіе завѣты, людямъ. „Злому-неправедному лучше и не водить пчелы!“ — говорятъ въ посельской Руси, считающей пчеловодство дѣломъ угоднымъ Богу, но одновременно съ этимъ не совѣтующей приступать къ нему съ загрязненной грѣхомъ душою. „У праведнаго—рой за роємъ роится, у грѣшнаго послѣдняя пчела переводится!“ „Къ доброй душѣ и чужая пчела роємъ прививается!“, „Подходи къ пчелѣ съ кроткими словами, береги пчелу добрыми дѣлами!“, „Пчела на злого хозяина Богу жалуется!“, „Добраго человекѣка и пчела не жалитъ!“, „Вору-грабителю—и отъ пчелы въ соту одна горькая хлѣбина!“ — можно услышать отъ любого пчеляка-пасѣчника.

Божья угодница-работница—пчела—еще въ глубокой древности, во времена, повитыя мгlistымъ туманомъ язычества, слыла надѣленнымъ нездѣшней силою насѣкомымъ. Въ старинныхъ русскихъ сказкахъ звѣздная розсыпь является „золотымъ роємъ пчелъ“. Эти небесныя пчелы ниспосылаютъ на ширь-даль поднебесную медовыя росы, собираемыя изъ цвѣтовъ ихъ земными сестрами, лѣпящими соты. Съ этимъ преданіемъ совпадаетъ древнегреческое сказаніе о небесныхъ пчелахъ, приносившихъ медъ малюткѣ-Зевесу.

Пчелиная мудрость всегда считалась неподлежащей никакому сомнѣнію. „На что хитра гадъ-змѣя подколодная, а пчелка, Божья пташка, и ее перемудритъ!“ — говорятъ на Руси. По крылатому народному слову—„Отъ пчелы ничто ни на

земль, ни подь землею не укроется: все она слышитъ, все-то видитъ, обо всемъ Богу говоритъ!“, „Одной пчелъ Богъ съ роду науку открылъ!“, „Пчела—ни дѣвка, ни вдова, ни мужняя жена: дѣтей водить, людей питаетъ, дары Богу приносить!“, „Нечему пчелу учить, сама всякаго мужика научить!“, „Для пчелы всякъ урокъ легокъ!“, „Родилась пчела— всю науку поняла!“, „Мала-малâ пчелка, а побольше великаго знаетъ!“

Пчела настолько святá въ Божьемъ мирѣ, среди созданныхъ Творцомъ существъ, что даже самый грозный Илья пророкъ не можетъ ударить громомъ-молоньей въ пчелиный улей, хотя-бы за нимъ укрывался нечистый духъ. Ужаленный пчелою человекъ считается въ народѣ погрѣшившимъ противъ Духа-Свята въ этотъ день. Приблудный, залетѣвшій на чужой дворъ, привившійся къ чужому дому рой сулитъ его хозяину счастье. Если-же такой рой залетитъ въ подполье, — это считается еще болѣе счастливымъ признакомъ: кто не станетъ всячески оберегать такое „счастье“, падеть на голову тому, какъ свѣтъ, бѣда неминуемая. Убить пчелу—грѣхъ на шею навязать; украсть колоду съ пчелами— святотатство. По старинному преданію, пчелы потому стали „предъ Богомъ святы“, что въ то время, когда на Голгоѣ совершалось искупленіе племени-рода человѣческаго, онѣ прилетали цѣлымъ роемъ къ распятому на крестѣ Сыну Божию и, выпивая кровавый потъ, проступавшій на Божественномъ челѣ, облегчали страданія Спасителя. Потому-то, по словамъ народной мудрости, „безъ пчелы (безъ восковыхъ свѣчъ) и обѣдню попъ не служить“. По словамъ другого народнаго сказа, пчелы жалили руки бичевавшимъ Христа. Третье сказаніе рисуетъ ихъ разносящими „по всему бѣлому свѣту христьянскому“ первую вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Христовомъ.

Въ Поволжьѣ дѣтъ двадцать тому назадъ еще ходило съ пчельника на пчельникъ изустное повѣствованіе о томъ, какъ Богъ Саваоѣ передалъ пчелъ подь защиту святыхъ Зосимы и Саватія. Долго жили пчелы, Божьи угодницы, — гласила народная молвь, — долго жили, не было у нихъ среди святыхъ Божіихъ своего покровителя. И нападала отъ этого на мудрое пчелиное царство всякая нечисть, мѣшая пчеламъ дѣлать Божье дѣло. Собрались однажды на совѣтъ семьдесятъ семь царицъ семидесяти семи богатѣйшихъ городовъ пчелиныхъ. „У всякаго скота, у всякой животины, есть свои святые у подножія престола Господня“, — сказала на этомъ совѣтѣ мудрѣйшая изъ всѣхъ семидесяти семи царицъ, — „одна

пчела живетъ-трудится на землѣ безъ святой защиты на небесахъ!“ Порѣшили семьдесятъ семь царицъ семидесяти семи городовъ пчелиныхъ полетѣть на небеса къ престолу Господню. Полетѣли и взмолились ко Всевышнему. Дошла до слуха Божія жалоба-мольба семидесяти семи царицъ, просившихъ о святомъ покровителѣ для своего пчелинаго народа, трудящагося-подвигающагося во славу Господа Силь. Внималъ Богъ Саваоѣ царственнымъ челобитчицамъ, внималъ и сокрушался: некому было отдать подъ защиту пчелу—Божью угодницу. Услышалъ грозень Илья-пророкъ объ этомъ и напомнилъ Господу о новопреставленныхъ святыхъ угодникахъ Его—преподобныхъ Зосимѣ и Савватіѣ, соловецкихъ подвижникахъ. И возсіялъ ликъ Господа Силь радостію великою: нашлись среди святыхъ на лонѣ Его, не одинъ, а двое покровителей-оберегателей Божьей работницы на Русской Землѣ. Воспѣли хвалу Богу Саваоѣ семидесятью семью голосами семьдесятъ семь царицъ семидесяти городовъ царства пчелинаго и полетѣли разносить по міру, по свѣту бѣлому радостный благовѣсть о святой двоицѣ соловецкой—Зосимѣ-Савватіѣ. „Съ той поры и взяла на свои рамена заботу-тяготу о пчелѣ святая двоица!“—договариваетъ сказаніе.

Въ простонародныхъ пословицахъ и поговоркахъ отводится значительное мѣсто оберегаемой Зосимою - Савватіемъ Божьей работницѣ-угодницѣ. „Работающъ, какъ пчела!“,—говоритъ народъ о неустанно трудящемся скопидомѣ. „И на себя, и на людей, и на Бога трудится!“—отзываются въ народѣ о жадномъ на работу человѣкѣ. „Ни пчелы безъ жала, ни розы безъ шиповъ!“—приговариваетъ деревеньщина-посельщина: „Не на себя пчела работаетъ, на-Бога!“ „Скупые—ровно пчелы: медъ собираютъ, а сами умираютъ!“ „Лихихъ пчелъ подкуръ нейметъ, лихихъ глазъ стыдъ не беретъ!“ Относительно осторожной мудрости пчелиной земѣчаютъ пчеловоды-краснословы: „И пчелка летитъ на красный цвѣтокъ!“, или: „На всякій цвѣтокъ пчела садится, да не всякаго поноску беретъ!“

Загадки рускаго народа говорятъ о пчелѣ въ такихъ иносказательныхъ словахъ: «Сидитъ дѣвица въ темной темницѣ, вяжетъ узоръ—ни петель, ни узловъ!“, „Сидятъ дѣвушки во горенкахъ, нижутъ бисеромъ на ниточки!“, „Во темной темницѣ красны дѣвицы, безъ нитки, безъ спицы, вяжутъ вязеницы!“, „Въ темницѣ дѣвица бранину собираетъ, узоръ вышиваетъ,—ни иглы, ни шелку!“, „Точемъ скатерти бранья, ставимъ яства сахарныя—людямъ на потребу, Богу въ угоду!“, „Въ тѣсной избушкѣ ткуть холсты старушки!“, „Ле-

тить птица крутоносенькая, несетъ тафту рудожелтенькую, еще та тафта ко Христу годна!“, „Ни солдатка, ни вдова, ни замужняя жена: много дѣтокъ уродила, Богу угодила!“, „Летѣла птаха мимо Божьяго страха: ахъ, мое дѣло на огнѣ сгорѣло!“, „Летитъ птичка-гоголекъ черезъ Божій теремокъ, сама себѣ говоритъ: моя сила горитъ!“ Въ Самарской губерніи записаны Д. Н. Садовниковымъ и такія загадки о пчелѣ, какъ: „Маленькая собачка не лаеетъ, не баеетъ, а больно кусаетъ!“, „Полонъ хлѣвецъ кургузыхъ овецъ!“, „Лежитъ кучка поросятъ, кто ни тронетъ—голосятъ!“

Медъ-самотекъ, медъ сотовой и медъ-липецъ—любимое лакомство русскаго простолюдина; медъ питейный-стоялый—любимый напитокъ. „Я самъ тамъ былъ“,—говорятъ въ народѣ о возбуждающемъ зависть пирѣ,—„медъ пилъ, по усамъ текло—въ ротъ не попало: на душѣ пьяно и сытно стало!“, „И мы видали, какъ бояре медъ ѣдали!“, „Есть медокъ, да засѣченъ въ ледокъ!“ „Съ медомъ и долото проглотить: одинъ съ медомъ и лапотъ съѣлъ!“—говоритъ любящая красное словцо деревня: „Воеводою быть—безъ меду не жить!“, „Будь лишь медъ—много мухъ нальнетъ!“, „Лакомъ гость до меду, да пить ему воду!“, „Покой пьетъ воду, а безпокой—медъ!“, „Терпи горе: пей медъ!“, „Отвага медъ пьетъ и кандалы третъ!“, „Либо медъ пить, либо биту быть!“ и т. д. „Твоимъ-бы медомъ да намъ по губамъ!“—говорятъ бахвалящемуся пустослову, прибавляя-приговаривая: „Твоими-бы устами да медъ пить!“, „Съ тобой говорить, что меду напитокъ!“ Тому, кто, согласно съ пословицей, на посулъ—какъ на стулъ, говорятъ: „Коли медъ—такъ и ложку!“, „У тебя одна рука въ меду, а другая—въ патокъ!“, „Кинуло въ потъ: голова что медъ, а языкъ—хоть выжми!“, „Радъ госпожѣ—что меду на ножъ!“, „Не летитъ пчела отъ меду, а летитъ отъ дыму!“

Народное пѣсенное слово приписываетъ Божьей работницѣ и такія заботы, какъ „замыканіе“ и „отмыканіе“ временъ года. Вотъ, напримѣръ, пѣсенка, записанная П. В. Шейномъ⁷²⁾ въ Дорогобужскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи:

⁷²⁾ Павелъ Васильевичъ Шейнъ—неутомимый собиратель народныхъ пѣсень, всю долготѣнную жизнь посвятившій этому дѣлу. Онъ родился въ гор. Могилевѣ-на-Днѣпрѣ въ 1826-мъ году, по образованію—питомецъ могилевской классической гимназіи и московскаго университета (по историко-филологическому факультету). Возложивъ на себя тяжкій крестъ учителя, этотъ еврей по происхожденію и лютеранинъ по вѣроисповѣданію отдалъ всего себя на служеніе русскому народу. Бѣднякъ, не имѣвшій гроша за душой, полукалъка (онъ съ дѣтства ходилъ на костыляхъ)—П. В.—чѣ пѣшкомъ обошелъ цѣлыя области, собирая цвѣты пѣсеннаго богатства народнаго (Симбирскую, Калужскую, Мо-

„Ты, пчелонька,
 Пчелка ярая!
 Ты вылети за море,
 Ты вынеси ключики,
 Ключики золотые,
 Ты замкни зимыньку,
 Зимыньку студеную!
 Отомкни лѣтечко,
 Лѣтечко теплое,
 Лѣтечко теплое.
 Лѣто хлѣбородное!“

По пословицѣ—„Гдѣ цвѣтокъ, тамъ и медокъ!“, „Подлѣ пчелки въ медокъ, а подлѣ жучка—въ навозъ!“, жильѣ Божьей работницы—улей—должно содержаться пчеловодомъ въ чистотѣ; въ противномъ случаѣ все его населеніе перемретъ. Едва-ли найдется какое-нибудь другое живое существо, которое такъ страдало-бы отъ неопрятности, какъ пчела. Потому-то, приступая къ медосбору, пчеляки-пасѣчники прежде всего чисто-на-чисто вымываютъ руки и переодѣваются въ чистую одежду. Всякій соръ-мусоръ тщательно отметається отъ ульевъ—по той-же самой причинѣ. Объ ульѣ, пчелиной домовинѣ, существуетъ цѣлый рядъ мѣткихъ загадокъ—въ-родѣ: „Пѣвунъ-пѣвецъ нашелъ хлѣвецъ, въ немъ—пять тысячъ овецъ!“, „Стоитъ изба безугольна, живутъ люди безумны!“, „Въ крутомъ буеракѣ—лютыя собаки!“... Пересаживая рой въ новый улей, пчеловоды, держащіеся обычаямъ дѣдовской старины, опрыскиваютъ его святою крещенской водою, нарочно сохраняемой ими для этого случая, и приговариваютъ: „Святые преподобные Зосима-Савватій, Матушка Пре-

сковскую, Тверскую, Тульскую и др. губерніи). Первые собранныя имъ пѣсни вошли въ „Великорусскій Сборникъ“ Боянскаго. Въ 60-хъ годахъ П. В. Шейнъ, будучи учителемъ витебской гимназіи, семь лѣтъ изучалъ сѣверо-западный край Россіи. Въ началѣ 70-хъ годовъ Географическимъ Обществомъ изданы его „Бѣлорусскія народныя пѣсни“. Затѣмъ, Академія Наукъ выпустила, три книги его „Матеріаловъ для изученія быта и языка населенія сѣверо-западнаго края“. Цѣлый рядъ экскурсій совершилъ былъ П. В. чѣмъ для пополненія собранныхъ имъ словесныхъ богатствъ. Въ послѣдніе годы жизни онъ жилъ въ Петербургѣ, работалъ надъ академическимъ изданіемъ каши-талнаго труда „Великорусскъ въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ, сказкахъ и легендахъ“. Два первыхъ тома этого труда вышли въ свѣтъ, выходъ остальныхъ прервала смерть безкорыстнаго труженика. П. В. Шейнъ скончался 14-го августа 1900 года въ Ригѣ, гдѣ и похороненъ. Последнюю печатную работою его былъ очеркъ, посвященный вопросу о томъ что дала русская народная поэзія Пушкину. Этотъ очеркъ помѣщенъ въ юньской книгѣ журнала Г. Г. Ясинскаго „Ежемѣсячныя Сочиненія“ за 1900-й годъ.

святая Богородица, храните эту домовину, какъ звѣнцу ова, отъ мора, отъ хлада, ото всякаго гада!" Это, по старинному повѣрью, способно предохранить пчелиный домъ отъ наносной бѣды. Восковая свѣча, принесенная изъ церкви отъ утрени въ Страстной четвергъ, бережется пчеловодами за божницей ко времени выставленія ульевъ изъ омшеника на пчельникъ: поставленная посреди послѣдняго въ этотъ день (преимущественно—17-го апрѣля), она обезпечиваетъ на осень обильный медосборъ, оберегая въ то-же самое время пчельникъ отъ всякаго „сглазу“ лихого человѣка завистливаго. Старые пчеловоды совѣтуютъ всѣмъ заводящимъ новое пчелиное хозяйство, обнося пчельникъ плетнемъ-изгородью, натывать на колья лошадиные черепа. Это дѣлалось еще во дни старины глубокой, когда была свѣжа въ народѣ память о жертвоприношеніяхъ Дажьбогу, считавшемуся покровителемъ всякаго хозяйства и подателемъ благополучія. Теперь, когда утратилось въ народной Руси непосредственное воспоминаіе о временахъ языческаго обожествленія природы, этотъ пережитокъ стародавняго быта сохранился только въ самыхъ захолустныхъ уголкахъ деревенской Руси и соблюдается безо всякаго отношенія къ своему первоисточнику. Одно только и могутъ сказать пчеловоды въ объясненіе упомянутаго обычая, что-де „такъ дѣлали наши дѣды, такъ и нашимъ отцамъ заповѣдали, а они были добрые люди и всякаго добра у нихъ было вдосталь, непримѣръ больше нашего!"

Съ повѣрьями, преданіями и поговорками, относящимися къ пчелѣ, связаны также и многія изъ приуроченныхъ народной мудростью къ лѣсному пчелиному воеводѣ—медвѣдю, самое названіе котораго происходитъ, по объясненію однихъ знатоковъ русскаго языка, отъ словъ „медъ“ и „ѣсть“ (медоѣдъ), а, по мнѣнію другихъ, отъ—„медъ“ и „вѣдать“. Пчела медвѣдю медомъ дань платить!"—гласитъ старинное изреченіе, сложившееся, несомнѣнно, еще во времена бортового лѣснаго пчеловодства на Руси. „Медвѣдю пчелы пиво въ борти варять!"—прибавляетъ другое, идущее отъ тѣхъ-же дней стародавнихъ. Охотникъ до меда медвѣдь,—лавливали его по медвѣжьимъ мѣстамъ на эту лакомую приманку. „Силень медвѣдь, да не умень—самъ преть на рожонъ!"—говорятъ медвѣжатники, приговаривая: „Не даль Богъ медвѣдю волчьей смѣлости, а волку медвѣжьей силы!", но въ то-же время сами-себя оговариваютъ: „Счастливъ медвѣдь, что не попался стрѣлку; счастливъ и стрѣлокъ, что не попался медвѣдю!", „Не продавай шкуры—не убивъ медвѣдя!", „Медвѣдь

умывается, да человекъ его пугается!“

Старые пчеляки слывутъ въ деревенскомъ захолустьи за вѣдуновъ-знахарей. „Пчела и человекъ умудряетъ!“—по народному повѣрью: „Человекъ отъ пчелы всякой премудрости поучается!“, „Мала пчела, а человекъ большому уму-разуму научить!“ Памятуя приведенныя слова, народъ относится къ водящимъ пчель людямъ съ большимъ уваженіемъ, прислушивается къ ихъ рѣчамъ, спрашиваетъ у нихъ много совѣта въ затруднительныхъ дѣлахъ, обращается къ нимъ за разрѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ. Приглаживаясь къ цвѣтущимъ травамъ, излюбленнымъ пчелою, ухаживающіе за Божьей работницею научаются отъ самой природы распознавать вредныя и полезныя растенія,—собираютъ и сушатъ послѣднія, нерѣдко принимая на себя обязанности врачей-лѣчеекъ. Все это невольно способствуетъ ихъ знахарской славѣ и привлекаетъ къ пчельникамъ страждущихъ всякими болѣзнями людей.

Въ рукописномъ сборникѣ бѣлорусскихъ заговоровъ, записанныхъ въ началѣ XIX-го столѣтія, подается совѣтъ—при основаніи новаго пчельника ставить чистую посудину съ водою, („отмерить три девять ложикъ воды“) на томъ мѣстѣ, гдѣ задумано водить пчель. Если на другой день утромъ прибудетъ воды въ посудинѣ, это считается хорошимъ знакомъ, а—не дай Богъ!—убудетъ,—нѣтъ примѣты хуже для будущаго пчелинаго хозяйства. Въ Страстной четвергъ совѣтуется тайнымъ образомъ принести камень и закопать его въ землю посреди новой пасѣки, приговаривая: „Такъ, какъ тотъ камень твердъ, такъ бы отвердетъ лживому человеку или женщине, которае помисль злой мыслить на мою пасику, во веки вековъ, аминь“. Когда станетъ роиться первый рой пчелиный по приходѣ весны, суевѣрные люди становятся передъ нимъ на колѣни и, доставъ изъ-подъ лѣвой ноги, а также изъ-подъ улья, по щепоти земли, бросаютъ на рой съ такимъ причетомъ: „Какъ Мать-Сыра-Земля не йграетъ и не шумитъ нез горами, нез далами, не с лугами, не с темными лесами, (такъ чтобы) не играли и не шумели въ моей пасики пчели—са въсей своей силой, ни въ лисахъ, ни въ добровахъ, не въ чыстая поля, не въ инъныя пасиви отъ меня пастыря не оубегать и не утекать, отныня и до века и до скончений жыжни моей, аминь!“ По иному списку, заговоръ этотъ читается такъ: „Какъ сия вода не истекаитъ и не измаляица, такъ бы мое пчоли не изълитали и знемалялись, изъ моихъ ульевъ изъ зо въсей моей пасики. Какъ гора зъ горой не изъходица, такъ бы мое пчоли не

изходились с чужими пчалами и не излитали на яту, на меду, и на пасеку, именемъ Господа нашего Иисуса Христа и действиемъ святаво Зосима и святаво Савостия, аминь.“ Къ царицѣ народа пчелинаго обращается заговорное слово пчеловода - бѣлорусса съ такимъ величаніемъ-моленіемъ: — „Пчалица-царыца, ты мая птаха. Радъ бы я тебе водить, радъ тебе плодить во всей засики и пасики, пчелиная мати Фаленея, Ульяна и Соломония и Анѣна. Какъ в древе кореня много въ земле, такъ была (бы) пчелиная матъ в засеку со всей своей силой пчиной. Какъ хмель около древа обвиваица, такъ бы вилися мое пчолы въ моей пасики, действиемъ святаво Зосима и Савостия салавецкаго чудотворцовъ, аминь.“

На многихъ пчельникахъ есть ручейки и колодцы-роднички, выкопанные рукою пчеловодовъ. Въ обычаѣ ставить надъ этими источниками часовенки съ образомъ святой соловецкой двоицы—Зосимы-Савватія. Вода изъ осѣнненнаго такой часовенкою родника считается цѣлебною отъ многихъ болѣзней, — между прочимъ, отъ изнурительной лихорадки. Возлѣ часовенки ставятся по веснѣ небольшія долбленныя корытца съ разведеннымъ водою медомъ („сытою“) для подкармливанія наголодавшихся за-зиму пчелъ во время малаго еще цвѣтенія цвѣтовъ. Привившійся къ часовенкѣ рой съ чужого пчельника считается освященнымъ свыше и оберегается съ особымъ тщаніемъ ото всякой случайности. Къ улью съ такимъ роємъ, отмѣченному краснымъ крестомъ, подносятъ въ роевнѣ — при пересадкѣ — каждый новый рой, какъ-бы на поклоненіе. При этомъ неизмѣнно-неукоснительно поминаются святыя имена покровителей трудолюбиваго крылатаго народа, насадившихъ пчелиное хозяйство на студеной сѣверной окраинѣ Руси великой.



XL.

Октябрь-назимникъ.

Слылъ въ стародавнiе годы октябрь-„назимникъ“ восьмымъ мѣсяцемъ; съ XV-го по XVIII-ый вѣкъ звали его вторымъ, а потомъ повелѣлъ царь-государь Петръ Великiй быть ему („грязнику“) на Руси десятымъ. Послѣ девяти братьевъ-мѣсяцевъ приходитъ онъ съ той поры на свѣтлорусское приволье и до нашихъ дней, приводя съ собою Покровъ-праздникъ — зазимье веселое свадебное, со пирами-столами да со бесѣдами. Живутъ, по народному сказанiю, двѣнадцать братьевъ-мѣсяцевъ на стекляной горѣ небесной; сидятъ мѣсяцы вокругъ солнца костра. То горитъ-пылаетъ — и небо, и землю грѣетъ — этотъ костеръ (въ вѣшнiе и лѣтнiе дни), то ичуть теплится-дымитъ: осенью да зимой. Поочередно берутъ братья-мѣсяцы въ свои руки царственный жезлъ — небомъ-землею правятъ. Весеннiе мѣсяцы — румяные добры-молодцы, „въюноши прекрасные-цвѣтушiе“; лѣтнiе — русобородые богатыри, въ плечахъ — косая сажень; осеннiе — начинающiе старѣть-драхлѣть; зимнiе — сѣдовласые согбенные старцы.

Въ старой словацкой сказкѣ, имѣющей много родственнаго съ нашими простонародными сказанiями, это преставленiе о братьяхъ-мѣсяцахъ облечено въ такiе краснорѣчивые образы. Жила-была, — говорится въ этой сказкѣ, — на Божьемъ бѣломъ свѣтѣ одна мать. Было у ней двѣ дочери: родная да падчерица. Первую она любила, вторую ненавидѣла, но была эта-последняя („Марушка“) непримѣръ краше первой („Голены“), да только и знать не знала о своей красотѣ. Заставляла ее мачиха справлять всю работу по двору и по дому: мести-мыть полъ, варить-жарить, ткать, шить, коровъ доить.

А любимая дочка только наряды свои и знала. Терпѣливо выносила Марушка-красавица и брань, и побой; но мачиха съ сестрою становились все злѣе, видя, что та—что ни день—расцвѣтала все краше. И надумала мачиха: „Придутъ парни свататься, увидятъ Марушку и не возьмутъ моей дочки! Дай-ка изведу я ее!“ Стала она мучить голодомъ бѣдняжку: нѣтъ, не изводится! Была зима студеная, и вотъ—захотѣлось Голень, матушкиной любимицѣ, фіалокъ-цвѣтовъ. Сказала она о своемъ желаніи матери. Возрадовалась злая, —пойдетъ-де ненавистная въ лѣсъ за цвѣтами да и замерзнетъ! Вытолкали онѣ вдвоемъ Марушку за дверь, строго-на-строго наказали ей: или принести фіалокъ, или совсѣмъ домой не возвращаться. Заплакала красавица, пошла въ лѣсъ. Долго-ли, коротко-ли шла она, бродила снѣгами сугробами,—шла, Бога о смерти молила. И дошла она до высокой горы. На горѣ пылалъ яркій костеръ. Поднялась изящная дѣвушка—погрѣться къ костру и увидѣла вокругъ огня двѣнадцать человѣкъ. Сидѣли всѣ они на двѣнадцати камняхъ: трое были стары, трое—пожилые, трое—помоложе, а еще трое—и совсѣмъ юные. Сидѣли двѣнадцать человѣкъ на двѣнадцати камняхъ, сидѣли—молчали, на огонь глядѣли. И были эти двѣнадцать человѣкъ двѣнадцать мѣсяцевъ. Съдой мѣсяць—Ледень-январь—сидѣлъ выше всѣхъ, на первомъ почетномъ мѣстѣ; держалъ старый въ рукѣ жезлъ. „Добрые люди“,—поклонилась незнакомцамъ дѣвушка: „позвольте мнѣ обогрѣться у огня“. Старый Ледень позволилъ Марушкѣ подойти къ огню, а самъ спрашиваетъ: „Какъ ты, дѣвица, зашла сюда? Чего, красная, ищешь?“ Повѣдала ему бѣдняжка о своемъ горѣ, о мачихѣ лихой, о фіалкахъ, за которыми послали ее, пригрозивъ ей смертию, если не принесетъ сестрѣ цвѣтовъ. Посмотрѣлъ, покачалъ съдой головою Ледень-мѣсяць, поднялся съ камня, подошелъ къ самому юному мѣсяцу, передалъ Марту свой жезлъ, посадилъ братца на свое первое мѣсто. Взмахнулъ жезломъ Мартъ надъ костромъ: запылалъ огонь сильнѣе, начали таять снѣга-сугробы, разбухли-покраснѣли на деревьяхъ почки, зазеленѣла на проталинкахъ трава, побѣжали ручьи звонкіе, зацвѣли цвѣты лазоревы. Пришла въ лѣсъ Весна-Красна, принесла молодая и фіалки душистыя. Стала рвать цвѣты Марушка, набрала чуть не снопъ цѣлый, поклонилась братьямъ-мѣсяцамъ, побѣжала домой къ мачихѣ. Удивилась мачиха, а и больше того удивилась сестра Марушкина. Стали онѣ допытываться, гдѣ это она зимой могла нарвать цвѣтовъ. „Набрала на горѣ въ лѣсу, подъ кустами!“—отвѣчала дѣвушка. Подумали-подивовались злые,

прогнали ее въ лѣсъ за земляникой. Опять пришла бѣдная къ братьямъ-мѣсяцамъ, еще ниже поклонилась имъ. Выслушавъ ее слезную просьбу Ледень, промолвилъ: „Братецъ Юнь, сядь на первое мѣсто!“ Въ одно мгновеніе наступило лѣто: и пташки запѣли, и цвѣты зацвѣли, и деревья зашумѣли. Не успѣла оглянуться красавица, какъ вся трава зеленая заалѣла спѣлыми ягодами,—словно кто обагрилъ ее кровью. Принесла Марушка домой ягодъ, смотреть, а вокругъ нея—опять зима. Стали изумленные мачиха съ сестрой лакомиться, а сами надумали новую задачу: послали-выгнали красавицу за яблоками румяными. Опять пошла она снѣгами-сугробами къ знакомой горѣ, снова взмолилась къ старому Леденю. Сълзъ, по его слову, братъ Сентябрь на первое мѣсто, махнулъ жезломъ, и—передъ глазами Марушки совершилось новое чудо: стаялъ снѣгъ, отзеленѣла весна, отцвѣло лѣто, раззолотилась листва осеннимъ золотомъ, увидѣла дѣвушка яблоню—всю увѣшанную яблоками. Потрясла она дерево, упали два яблока румяныя, и велѣлъ Сентябрь идти домой скорѣе. „Гдѣ ты сорвала яблоки?“ — встрѣтила ее мачиха.—„На высокой горѣ; тамъ еще много осталось!“ Принялись бранить бѣдняжку злая: зачѣмъ не нарвала больше; заплакала Марушка, ушла, забила въ свой уголъ. Съѣла Голеня яблоки, вкуснѣе вкуснаго показали они ей; надѣла она шубу да и пошла въ лѣсъ, къ высокой горѣ за яблоками: все оборвать собирается. Ходила-ходила, шла-шла она, дошла до высокой горы, подошла къ костру—стала руки у огня грѣть. „Чего ищешь, красная дѣвица?“ — спросилъ ее съдой Ледень. „А ты что за спросъ, старый дурень!“ — крикнула на его слова она: „Зачѣмъ тебѣ знать!“ И пошла злая въ глубь-чащу лѣсную. Нахмурилъ густыя брови Ледень, поднялъ жезлъ: сталъ огонь горѣть слабѣй да слабѣе, повалилъ снѣгъ, засвистали-забушевали вѣтры буйные, заковалъ на своей кузницѣ морозъ. Ждетъ-пождетъ мать дочки-любимицы: нѣтъ ея да нѣтъ. „Вѣрно, разлакомилась дѣвка яблоками, жаль уйти... Пойду-ка я, посмотрю сама!“ Надѣла старуха шубу, пошла въ лѣсъ... А время шло къ ночи. Убралась Марушка по хозяйству, стала ждать-поджидать возвращенія своихъ мучительницъ, да такъ и не дождалась: обѣ онѣ замерзли въ лѣсу въ эту ночь... На томъ и кончается сказка.

На Бѣлой Руси, ревниво охраняющей отъ тяжелой руки безпощаднаго времени свои преданія-повѣрья, рассказываетъ, что вслѣдъ за олицетворяющей лѣто „Цѣцею“—дородной красавицею, убранной въ наряды яркіе, въ вѣнкѣ изъ колосевъ, съ яблоками-грушами въ рукахъ—приходитъ на зем-

лю трехглазый „Жицень“ (осень)—плюгавый мужиченко съ всклокоченной бородою, съ косматою головою. Ходить Жицень по полямъ да по огородамъ, оглядываетъ мужицкое хозяйство: все-ли снято-убрано, все-ли сдѣлано во время. Гдѣ запримѣтитъ Жицень дѣлянку недожатую, сорветъ колосья, свяжетъ въ одинъ снопъ да и снесетъ на загонъ къ тому хозяину, у котораго все убрано въ полѣ до-чиста. Гдѣ подберетъ онъ колосья—тамъ жди неурожая; куда перенесетъ снопъ свой—тамъ уродится хлѣбъ сторицею. Бродитъ Жицень по свѣту бѣлому до своей поры,—поджидаетъ онъ стараго „Зю-зю“ (зиму). А Зюзя не заставитъ себя долго ждать; чуть Покровъ на дворъ—и онъ вмѣстѣ съ нимъ на порогъ стоитъ, бѣлую бороду охорашиваетъ-оглаживаетъ. Приходитъ Зюзя на Русь босый, а въ бѣлой шубѣ да съ желѣзной булавою въ рукѣ, идетъ—по подоконью стучить, про зимнюю стужу вѣсть подаетъ люду деревенскому. А и дохнѣтъ старый, такъ все кругомъ задрожитъ отъ стужи; а и стукнетъ Зюзя—такъ бревна въ избахъ отъ морозу затрещать.

По другимъ сказамъ, прѣзжаетъ зима на пѣвгой кобылѣ; слѣзаетъ съ коня, встаетъ на ноги, куетъ сѣдые морозы; стелетъ старая по рѣкамъ-озерамъ ледяные мосты, сыплетъ „изъ правѣва рукава“ снѣгъ, а изъ лѣваго—иней. Слѣдомъ за нею бѣгутъ мятели-вьюги, бѣгутъ—надъ мужикомъ-деревеньщиной потѣшаются, бабамъ въ уши дуютъ—затапливать печи велеть пожарче.

Древнерусская письменность давала слѣдующее цвѣтистое опредѣленіе временамъ года: „Весна наречется, яко дѣва украшена красотою и добротою, сіяюще чудно и преславиѣ, яко дивитися всѣмъ зрящимъ доброты ея, любима бо и сладка всѣмъ... Лѣто-же нарицается мужъ тихъ, богатъ и красенъ, питая многи человекѣ и смотря о своемъ дому, и любя дѣло прилежно; и безъ лѣности возстая заутра до вечера и дѣлая безъ покоя... Осень подобна женѣ уже старѣ и богатѣ, и многочаднѣ, овогда дряхлюючи и сѣтующи, овогда-же радующиися и веселящиися, рекше иногда печальна отъ скудости плодъ земныхъ и глада человекомъ, а иногда весела души, рекше ведрена и обильна плодомъ всѣмъ, и тиха-безмятежна. Зима-же подобна женѣ-мачихѣ злой и нестройной и нежалостливой, ярѣ и немилостивѣ; егда мигуетъ, но и тогда казнить; егда добра, но и тогда знобитъ, подобно трясавицѣ, и гладомъ морить, и мучитъ грѣхъ ради нашихъ“...

„Зимѣ и лѣту союза нѣту!“ — говоритъ народъ-краснословъ, приговаривая: „Лѣтомъ—страдныя работушки, зимой—зимушка студеная!“, „Мужикъ—лѣто за привычку, зима—во-

ку за обычай!“, „Тетереву зима—одна ночь!“, „Помни это: зима—не лѣто!“, „Лѣто собираетъ, зима поѣдаетъ!“, „Что лѣтомъ уродится, зимѣ пригодится!“, „У зимы—поповское брюхо!“, „Придется сидѣть на печи сватьѣ, какъ застанетъ зима въ лѣтнемъ платьѣ!“ и т. д. „Въ водѣ черти, въ землѣ черви, въ Крыму татары, въ Москвѣ бояры, въ лѣсу сучки, въ городѣ крючки: лѣзь къ лошади въ пузо, тамъ оконце вставишь да зимовать станешь!“—замѣчаетъ народное слово о незапасшемся на зиму мужикѣ-лежебокѣ, горе-хозяинѣ.— „Всѣмъ бы октябрь-назимникъ взялъ, да мужику хода нѣтъ!“, „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаптями, и изба съ дровами, а все спорины мало!“

По старому простонародному присловью: „Покровъ—не лѣто, Срѣтенье—не зима“. Но,—замѣчаетъ деревенскій опытъ,—„съ Покрова зима начинается, съ Матрены (7-го ноября) устанавливается: съ зимнихъ Матренъ зима встаетъ на ноги, налетаютъ морозы“. Съ праздникомъ Покрова Пресвятой Богородицы начинаютъ по деревнямъ свадьбы за свадьбами играть-пировать; отъ нихъ и слыветъ весь октябрь за мѣсяць-„свадебникъ“.

3-го и 6-го октября—„два Дениса“ (св. мучен. Діонисія); на нихъ совѣтуютъ старые люди беречься отъ „сглаза“, приговаривая: „Пришли назимнѣ Денисы—лихого глаза берегись!“ 4-е октября—Ерофеевъ день: „Какъ ни ярись, мужикъ Ерофей“,—говорятъ въ народѣ, —„а съ Ерофея и зима шубу надѣваетъ!“. „На Ерофеевъ день одинъ ерофеичъ (зелено-вино, травникъ) кровь грѣетъ!“, „Ерофеичъ—часомъ дружокъ, а часомъ—вражокъ!“... „Пьешь вино?“—подсмѣивается подслушанный В. И. Далемъ деревенскій людъ надъ приверженцами чарочки.—„Эва!“—„А ерофеичъ?“—„Толкуй еще! Миѣ ничто выпочемъ, былъ бы ерофеичъ съ калачомъ!“

Къ этому дню приурочено въ посельской Руси повѣрье о лѣшихъ. „На Ерофея лѣшій сквозь землю проваливается!“—гласитъ суевѣрная молвь. Разстается лѣсной хозяинъ со своимъ зеленымъ, успѣвшимъ уронить на-земь почти всю листву, царствомъ,—ломаетъ съ досады злой деревья встрѣчныя, къ землѣ бурей гнетъ всю молодую поросль, изъ корня дубы вырываетъ. Звѣрье лѣсное прячется отъ него по норамъ-логовамъ; ни одна птица не вылетаетъ навстрѣчу. Ни одинъ памятующій старинныя преданія мужикъ не поѣдетъ на Ерофеевъ день въ лѣсъ, хотя-бы въ этомъ была крайняя нужда. У Сахарова, въ его „Народномъ дневникѣ“, записанъ любопытный сказъ о томъ, какъ одинъ „удалой мужикъ“ подсматривалъ за проказами лѣшаго въ этотъ роко-

вой день. Жилъ когда-то, — начинается этотъ сказъ, — въ деревнѣ мужикъ, не въ нашей, а тамъ, въ чужой, собой не мудрый, но за то такой проворный, что всегда и вездѣ поспѣлъ первый. Поведуть-ли хороводы, онъ — первый впереди; хоронять-ли кого — онъ и гробъ примѣряетъ, и на гору стащить; просватаютъ-ли кого, онъ поселится отъ рукобитья до самой свадьбы — и поетъ, и пляшетъ, обнови закупаетъ и бабъ наряжаетъ. Отродясь своей избы не ставилъ, городьбы не городилъ, а живаль въ чужой избѣ, какъ у себя во дворѣ. Хлѣбаль молоко отъ чужихъ коровъ, ѣдаль хлѣбъ изо всѣхъ печей, выѣзжалъ на базаръ на барскихъ коняхъ, накупаль гостинцевъ для всѣхъ деревень. Въ деньгахъ счету не зналъ, — у кого нѣтъ избы, онъ дастъ денегъ на избу, у кого нѣтъ лошадки, онъ дастъ денегъ на пару коней. Одного только не знали православные: откуда къ нему деньги валяются... Разное толковали объ этомъ: одни завѣряли, что нашель удалой мужикъ кладъ, другіе — что продалъ душу нечистому, третьи еще не вѣсть что плели. Была у этого мужика — „ума палата“. Все-то онъ зналъ-вѣдаль, не зналъ одного: какъ лѣшій сквозъ землю проваливается. Задумаль онъ подглядѣть за лѣснымъ хозяиномъ, „задумаль да и былъ таковъ.“ Пошелъ удалой мужикъ въ лѣсъ, повстрѣчалъ лѣшаго, — поклонился ему, началъ спрашивать его о томъ, о другомъ. „А есть-ли у тебя, — говорить, — изба-хата да жена-баба?“ — Повесть лѣшій удалого къ своей хатѣ. Шли, шли и пришли прямо къ озеру. Усмѣхнулся мужикъ: „Не красна-же, — говорить, — твоя изба!“ А лѣшій — объ-землю, земля-то и разступилась... „Съ тѣхъ поръ, — гласить сказаніе, — удалой сталъ дуракъ дуракомъ: ни слова сказать, ни умомъ пригадать!“

За роковымъ для лѣсной нежити Ерофеевымъ днемъ — память св. мученицы Харитины (5-е октября). Съ этого дня „затыкаютъ“ домовитыя бабы-хозяйки первыя „кросна“: начинаютъ ткать первый холстъ. Такъ и говорятъ въ деревнѣ: „Пришли Харитины — первыя холстины! Баба смегать-смегай, да за кросна (станокъ) садись, холсты затыкай!“ Надъ ткачихами не прочь подсмѣяться народъ: „Стара тетка Харитина, пора ей подъ холстину (т.е. умирать)!“ — зубоскалятъ краснословы: „Даетъ мужикъ торгашу холстъ: толстъ! Прожили бабы вѣкъ — ни за холстинный мѣхъ!“ „Бабѣ тканье черезъ нитку проклято: отъ холоду не грѣетъ, отъ дождя не упасетъ!“ Можно услышать въ посельской Руси и такія поговорки о томъ-же, какъ, на примѣръ: „Баба ткеть-точеть, а одинъ Богъ ей рубашку даетъ!“, „Пряла баба, ткала — весь домъ одѣвала; пришла смерть — покрыться покойни-

цѣ нечѣмъ!“, „И прядемъ и ткемъ, а всё—нагишомъ!“ Эти послѣднія слова, очевидно, подсказаны народной мудрости горькимъ опытомъ бѣдности-нужды беспросвѣтной.

За Харитиной—„вѣковѣчной ткачихою“—„вторые Денисы назимніе“. Одновременно со св. Діонисіемъ воспоминается 6-го октября Православной Церковью и апостольскій Ѳома. Въ народной памяти этотъ—усомнившійся въ воскресеніи Христовомъ—святый является прообразомъ недовѣрчиваго, склоннаго къ сомнѣніямъ, человѣка. „Ѳома невѣрный!“—говорится о такой склонности. О простоватомъ вахлакѣ, а также и о ледящемъ заморышѣ, замѣчаютъ въ народѣ: „На безлюдьи и Ѳома—дворянинъ!“ Богача, смотрящаго завистливыми глазами на чужую удачу, называютъ: „Ѳома—большая крома“. Плутватыя люди слывуть „Ѳомками“. Этимъ-же именемъ окрестилъ народъ небольшой ломъ, которымъ воры взламываютъ замки. „Ѳомка на долото рыбу удить!“—подсмѣивается деревня надъ оборотистымъ, старающимся грошъ на пятаки размѣнять, прасоломъ.

По народной примѣтѣ: „Съ Трифона-Палагеи (8-го октября)—все холоднѣе!“ „Трифонъ шубу чинить, Палагея рукавички шьетъ барановыя“. Предъ зимней стужею охотники до краснаго словца любятъ въ бесѣдахъ сыпать направо и налево поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „Шуба овечья, да душа и у мужика человѣчья!“, „Любо не любо, а и на волкѣ—своя шуба!“, „Бараній тулупъ съ мужикомъ братается, соболья шубка—кусаются!“, „По шубѣ узнавай звѣря, а не человѣка!“, „Пришла зимушка-зима: шуба на стужу, деньги—на нужу!“, „Зимой безъ шубы не стыдно, да холодно; а въ шубѣ и безъ хлѣба тепло, да голодно!“, „Шуба на сынѣ отцова, да разумъ—свой!“, „Изъ похвалъ шубы не сошьешь!“, „Шубу бей—теплѣе, бей жену—милѣ!“... Ходятъ по селамъ-деревнямъ безъ дороги, летаютъ безъ крыльевъ въ народѣ и побаски-присловья о рукавицахъ, грѣющихъ въ студеную пору мозолистыя мужицкія руки. „И солнышко въ рукавицахъ“,—говорятъ примѣтливые люди, смотря на „пасолнца“ обозначивающіяся по бокамъ дневнаго свѣтила—въ морозу. „Рукавицъ ищеть, а онѣ—за поясомъ!“—отзываются о ротозѣѣ-мужикѣ. „Заткни ротъ рукавицей!“—останавливаютъ враля-болтуна. „Дѣло готово, хоть въ рукавички обуи!“—приговариваютъ на радостяхъ, при удачѣ. Есть и такія, чисто бытовыя, пословицы: „Жена не рукавица—съ руки не сымеши!“, „Правдѣ глотку не заткнешь рукавицей!“, „Худая совѣсть въ рукавицахъ гуляетъ!“, „На тяжеломъ возу и рукавица потянетъ!“, „Привычка—не рукавичка, не повѣ-

сишь на спичку!“, „Въ рукавицу вѣтра не наловишь!“. Рукавицѣ въ народномъ быту придается даже таинственное значеніе. Если, напримѣръ, питающій зло на своей черной душѣ знахарь (лихой человекъ) бросить рукавицу поперекъ дороги свадебному поѣзду—это, по суевѣрному представленію деревни, поведетъ къ худу. „Знахарь и маленькой рукавичкой большой поѣздъ испортитъ!“—говорятъ старые люди, совѣтуя молодымъ новобрачнымъ отчитываться отъ такой бѣды-напасти слѣдующимъ заговоромъ „отъ колдуна и злодѣевъ“: „Станемъ мы, рабъ Божій (имя рекъ) и раба Божія (имя рекъ), повѣнчаемся у престола Господня, пойдемъ, благословясь-перекрестясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на восточную сторону во чистое поле, въ этомъ-ли чистомъ полѣ стоитъ гора, на той горѣ стоитъ церковь Божія, зайдемъ мы въ эту церковь Божию. Стоять въ ней три престола; на лѣвомъ сидитъ Иванъ Креститель, на среднемъ Самъ Истинный Спасъ, на правомъ престолѣ Святая Дѣва Марія. Подойдемъ мы—рабы Божіе—къ нимъ поближе, поклонимся пониже: Спасъ-Спаситель, Пресвятая Мати Божья Богородица, Иванъ Креститель! Пособите намъ—рабамъ Божиимъ (имена рекъ)—избавиться отъ всякаго врага-сопостата, отъ нечистыя силы, отъ лукаваго духа, отъ колдуна, отъ еретика, отъ проходящаго, мимоидущаго, путь-дорогу пересѣкающаго. Семьдесятъ семь апостоловъ, семьдесятъ семь святителей! Избавьте насъ—рабовъ Божіихъ—ото всякихъ на насъ злыхъ людей! Слова наши не камень и не кирпичъ, а слова наши крѣпки-дѣпки, крѣпче камня и булата. Ключъ во рту, а замокъ—на небѣ. Аминь!“... Только этотъ заговоръ и можетъ оградить новоженое отъ напущеннаго знахаремъ лиха, если тотъ самъ не „сниметъ порчи“—по ихъ просьбѣ.

Святые мученики Евлампій съ Евлампіей („Лампѣи“—по простонародному говору) проходятъ по Святой Руси на десятыя октябрьскія сутки. Въ этотъ день совѣтуютъ деревенскіе погодовѣды вечеромъ — смотрѣть на мѣсяцъ: куда онъ глядитъ. По словамъ этихъ дотошныхъ людей:—если золотые мѣсяцевы рога на-полночь—быть скорой зимѣ, „ляжетъ снѣгъ—по-суху“; если же на-полдень мѣсяцевы рога смотреть—жди не скорой зимы, а грязи да слякоти: „Октябрь-грязникъ до самой Казанской (22-го числа) снѣгомъ не умоется, въ бѣлоснѣжный кафтанъ не нарядится“. 12-го октября наблюдаютъ появленіе звѣздъ съ полудня и со полуночи, что также имѣетъ особую примѣту, свое значеніе для погоды и будущаго урожая.

14-го октября — св. Параскевы; если память этой святой

приходится въ пятницу, то она зовется „Параскевой-Пятницею“. Если въ этотъ день грязь на дорогахъ, то до установленія настоящей зимы остается, по старинной примѣтѣ, еще цѣлыхъ четыре недѣли. 17-го числа (день св. пророка Осии) „колесо прощается съ осью (до весны разстанутся)“. Ъдетъ мужикъ въ этотъ день на телѣгѣ, а самъ прислушивается: какъ колеса на осяхъ поскрипываютъ: И съ этимъ связана у него своя примѣта о хлѣбѣ насущномъ—объ урожаѣ. Пройдетъ четверо сутокъ—„осенняя (зимняя) Казанская“ на дворѣ.

„Коли на Казанскую (22-го октября, въ день празднованія Казанской иконѣ Божіей Матери), небо заплачетъ дождемъ, то и зима слѣдомъ за нимъ пойдетъ!“,— гласитъ народный опытъ. „На Казанскую люди вдаль не ѣздятъ: выѣдешь на колесахъ, а пріѣхать въ-пору на полозьяхъ!“, „Ранняя зима и о Казанской на санкахъ катается!“ — приговариваютъ поговорки деревенскія, воспоминаемая объ эту пору. 26-е октября св. Дмитрія Солунскаго за собою ведетъ: Дмитріевъ день—съ его особыми примѣтами, повѣрьями и преданіями, идущими изъ глубины давнихъ лѣтъ. За трое сутокъ до скончанія октября—„назимника“ стоятъ въ изустномъ народномъ мѣсяцесловѣ—„Ненилы-льняницы“. Въ этотъ день (28-го) встарину бывали въ Костромской и Тульской Руси „льняныя смотрины“: выходили бабы и дѣвки на улицы, выносили на-показъ вытрепанный ленъ („опышки“). На слѣдующія сутки память св. Анастасіи-рымляныни, овечьей заступницы („Настасей-овчарницы“, „Овчарь“): послѣдняя стрижка овецъ по степнымъ-южнымъ мѣстамъ. Въ этотъ день „овець грабятъ—пастуховъ кормятъ“: пекутся для пастушьяго угощенья пироги съ морковью да съ капустой, а у иныхъ тороватыхъ хозяевъ-овцеводовъ и пиво варится. „Голой овцы не стригутъ!“—говорятъ на деревенской Руси,—говоря, приговариваютъ: „Овечку стригутъ, а другая того-жъ себѣ жди-поджидай!“ „Овца не помнитъ отца, а сѣно ей съ ума нейдетъ!“ „Въ чужомъ хлѣву овецъ не считай, а своихъ береги!“ „Волкъ—молодецъ на овецъ!“ „Волкъ и больной овецъ не корыстѣ!“ „Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а за то—что овцу съѣлъ.“ „Безъ пастуха и овцы—не стадо!“ „Иной разъ пастухи шаятъ, а на волка—помолвка!“ „Пастухи—за чужбы, а волки—за овецъ!“ „Дешево волкъ въ пастухи нанимается, да мѣръ съ нимъ намается!“ „Худо, когда волкъ въ пастухахъ живеть, лиса—въ птичникахъ, а свинья въ огородинцахъ!“

Тридцатое число, предпослѣдній октябрьскій день (память св.

мучениковъ Зиновія и Зиновіи) слыветь въ народѣ за праздникъ „зинець“ (синичекъ). По преданію, эти зимнія гостейки русской деревни слетаются на облюбованное мѣсто цѣлыми стаями и веселятся, оглашая воздухъ своимъ пересвистомъ. „Не величка—птичка-синичка, а и та свой праздникъ помнить!“—говорятъ объ этомъ; „За моремъ синичка не пышно жила, не пышно жила, (и то) пиво варивала!“, „Немного зинька вѣстпѣть, а весело живетъ!“, „И за зиньку-синичку, птичью се-стричку, свои святыя Богу молятся!“ Въ этотъ-же день—рыбачій праздникъ въ Сибири („Юровая“): пьютъ на „юру“ иртышскіе рыбаки—веселѣ, гуляютъ передъ отправленіемъ на промысла за красной рыбою. Въ другихъ мѣстностяхъ 30-е октября—праздникъ охотниковъ, старающихся убить на него (если пороша выпадетъ) хоть зайца, считая полную неудачу дурной примѣтою для всей охотничьей поры. Недоброе судить имъ, однако, и встрѣтиться съ волкомъ въ этотъ, богатый повѣрьями, день октября—„назимника“.



XLII.

Покровъ-вазимье.

Первое октября, день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, является въ народномъ представленіи межевымъ столбомъ между осенью и зимою. „До Покрова—осень, за Покровомъ—зима идетъ!“—говорять на Руси: „Покровъ—первое зимье; Покровъ землю покроетъ—гдѣ листомъ, а гдѣ и снѣжкомъ“.

Преставляя грань между ненастнымъ и студѣнымъ временами года, первый назимный праздникъ знаменуетъ собою въ глазахъ хозяйственной деревни срокъ работъ и наймовъ. Съ незапамятныхъ поръ вошло въ обычай договариваться „отъ Покрова“ и „до Покрова“. И это имѣетъ свои твердыя основанія, коренящіяся въ самомъ быту народа-пахаря. Къ этому времени заканчиваются всѣ работы въ полѣ и на гумнѣ, всѣ заботы о хлѣбѣ,—выясняются всѣ виды на предстоящую долгую зиму, хотя народъ и оговаривается,—какъ уже упоминалось выше,—что: „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаптями, и изба съ дровами, а все спорины мало!“.

Съ Покрова начинаютъ играть по деревнямъ свадьбы. „Охъ, ты, батюшка октябрь“,—крехтитъ мужикъ, предчувствуя грозящія ему новые сѣдающіе всё добытое мужицкимъ горбомъ во время лѣтней страды зимніе расходы,—„только и добра въ тебѣ, что пивомъ взять!“ Не такимъ привѣтомъ встрѣчаютъ наступленіе октября заневѣстившіяся дѣвушки красныя. Для нихъ первое число этого заставляющаго мужика „жить съ оглядкой“ мѣсяца—завѣтный день, котораго онѣ ждуть не дождутся въ продолженіе цѣлаго года.

„Батюшка, Покровъ, покрой ты Мать-Сыру-Землю и меня,

молоду!“ — причитають онѣ, выходя поутру на крыльцо: „Бѣль снѣгъ землю покрываетъ: не меня-ль, молоду, замужь сваряжаетъ? Батюшка-Покровъ, покрой землю снѣжкомъ, а меня женишкомъ!“ Въ другихъ мѣстахъ это причитаніе нѣсколько видоизмѣняется, — вмѣсто „батюшки-Покрова“ заклиняется „Мать-Покровъ“.

Въ бѣлорусскомъ краю дѣвушки ставятъ въ этотъ день у обѣдни свѣчи предъ праздничною иконою Божіей Матери—со словами „Святой Покровъ! Покрывъ землю и воду, покрой и меня молѣду!“ Снѣгъ, запорошившій землю въ этотъ праздникъ, предвѣщаетъ, по народной примѣтѣ, много свадебъ и въ то-же время дружную зиму. Если во время покрывающей землю снѣгомъ пороши происходитъ на Покровъ вѣнчаніе, то молодыхъ новоженовъ ожидаетъ, по словамъ опытныхъ старыхъ людей, счастье. „Не покрывъ дѣвкѣ голову Покровъ“, — говорятъ въ деревнѣ, — „не покроетъ и Рождество!“ „Ты, Покровъ-Богородица, покрой меня дѣвушку пеленой своей—идти на чужую сторону!“ — причитаетъ заскукавшая въ дѣвчествѣ красавица и продолжаетъ: „Введеніе мать-Богородица, введи меня на чужую сторонушку! Срѣтеніе Мать-Богородица, встрѣть меня на чужой сторонушкѣ!“

Кроетъ бѣлыми снѣгами пушистыми землю Покровъ-батюшка, а по глухимъ захолустьямъ неоглядной Руси раздается у церковныхъ папертей чинный напѣвъ убогихъ носителей пѣсенной старины—каликъ-перехожихъ. Поютъ-сказываютъ они стиховную хвалу празднику: „Радуѣся, людіе, нынѣ возыграйте, органы играйте, Мать Цареву днесъ возвеличайте! Днесъ Тоя торжество достойно праздновати, духовно играти, съ небесными вои Матерь величати. Се есть Мати и Дѣва чистая по рождеству, чиста и въ рождествѣ и предъ рождествомъ бысть въ чистомъ естествѣ“.

Въ другомъ народномъ стихѣ духовномъ, приуроченномъ къ 1-му октября, повѣствуется о томъ, какъ „подошли враги къ царству Грецкому, угрожаютъ ему войной-гибелью“. Слагатель пѣсеннаго сказанія ведетъ свою рѣчь не отъ одной богатой воображеніемъ выдумки, но и отъ писанія книжнаго. Взмолилися—всплакалися „обложенные“ врагами христіане, пришли въ Божій храмъ, „плачуть-молятся, просятъ помощи“. Молитва дошла до Матери Божіей, сошла Она съ небесной высоты:

„Слава райская храмъ исполнила,
Богородицѣ служатъ ангелы,
И пророки, и апостолы...“

Собравшіеся во храмъ молящіеся-плачущіе, обращаясь къ Заступницѣ рода человѣческаго, восклицаютъ: „Что же Ты, Божій гость, голубица Ты, Всепречистая, Благодатная! Ты скажи, зачѣмъ прилетѣла къ намъ? Аль ужъ свѣтлый рай отъ грѣховъ нашихъ сталъ нерадошень, и пришла Ты къ намъ, принесла намъ казнь отъ Создателя?...“. На этотъ трогательно-простодушный вопросъ обложенныхъ врагами христіанъ царства Грецкаго Царица Небесная держитъ, по словамъ сказанія, такую отвѣтную рѣчь:

„Мнѣ и свѣтлый рай сталъ нерадошень,
Небо ясное помрачилось;
Ко Мнѣ ангелы каждый часъ несутъ
Слезы горькія христіанскія.
Сомутилась Я, запечалилась!
Теперь къ вамъ пришла въ утѣшеніе,
Помолить за васъ съ вами Господа“...

И Пречистая взмолилась „ко Своему Сыну ко Распятому“ за собравшихся во храмъ людей:—„Сыне Мой, Иисусе Мой! Услыши Ты насъ съ высоты небесъ, защити и насъ, грѣшныхъ людей!“ Стихъ кончается тѣмъ, что Богородица покрываетъ Своимъ „святымъ омофоромъ“ скорбныя души христіанъ царства Грецкаго и тѣмъ спасаетъ ихъ отъ враговъ.

Народное воображеніе отождествляетъ покровъ Пресвятой Богородицы со сказочной „нетлѣнною пеленой Дѣвы-Солнца“, олицетворяющею собой утреннюю и вечернюю зарю. Эта пелена, покрывающая всѣхъ безпріютныхъ и лишенныхъ крова, прядется, по словамъ одухотворяющаго природу пѣснотворца-сказочника изъ золотыхъ и серебряныхъ нитей, спускающихся съ неба: „На морѣ на окіянь“,—повѣствуетъ въ одномъ изъ своихъ старинныхъ заговоровъ народъ, — „сидитъ красная дѣвица, швея-мастерица, держитъ иглу булатную, вдѣваетъ нитку золотую рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя. На морѣ-окіянь, на островѣ на Буянѣ лежитъ бѣль-горючъ камень; на семь камнѣ стоитъ столъ престольной, на семь столѣ сидитъ красна дѣвица. Не дѣвица сіе есть, а Мать Пресвятая Богородица; шьетъ она, вышиваетъ золотой иглою“... и т. д. По другимъ разносказамъ, розоперстая богиня Зоря тянетъ рудожелтую нитку и своею золотой иглою вышиваетъ по небу розовую пелену. Народъ обращается къ ней со слѣдующимъ молитвеннымъ заклинаніемъ: „Зорька-зоряница, красная дѣвица, Мать Пресвятая Богородица! покрой мои скорби и болѣзни твоей фатою! Покрой ты ме-

ня покровомъ Своимъ отъ силы вражьей! Твоя фата крѣпка, какъ горячъ камень-алатырь!“. Богиня Зоря претворяется, подь непосредственно-христіанскимъ вліаніемъ, въ чистый обликъ Пресвятой Дѣвы Маріи.

Праздникъ, установленный въ царствованіе византійскаго императора Льва ⁷³⁾, въ память чудеснаго явленія Богоматери, распростершей надъ Царьградомъ Свой покровъ—какъ небесную защиту города отъ осадившихъ его сарацинъ, принялъ у новообращенныхъ христіанъ—славянъ своеобразную окраску. Изъ цѣлаго ряда вызванныхъ этимъ праздникомъ въ представленіи славянина преданій особенно знаменательно въ своей наивной простотѣ слѣдующее. Въ стародавніе годы,—говоритъ народъ,—Богородица странствовала по землѣ. Случилось Ей зайти въ одну деревню, гдѣ жили забывшіе о Богѣ и обо всякомъ милосердіи люди. Стала проситься Матерь Божія на ночлегъ,—нигдѣ Ея не пустили, вездѣ услышала Она одинъ отвѣтъ: „Мы не пускаемъ странниковъ!“ Услышавъ жестокосердныя слова проѣзжавшій въ это время по небесной стезѣ надъ деревнею св. Ильѣ-пророкъ,—не могъ снести онъ такой обиды, причиненной Дѣвѣ Маріи, и на отказавшихъ Божественной Страницѣ въ ночлегъ низринулись съ неба грома-молніи, полетѣли огненные и каменные стрѣлы, посыпался градъ величиною съ человѣческую голову, полилъ ливень-дождь, грозившій затопить всю деревню. Всплакались испуганные нечестивые люди, и пожалѣла ихъ Богородица. Развернула Она покровъ и накрыла имъ деревню, чѣмъ и спасла Своихъ обидчиковъ отъ поголовнаго истребленія. Дошла благодать неизреченная до сердца грѣшниковъ, и растопился давно не таявшій ледъ ихъ жестокости: сдѣлались всѣ они съ той поры добрыми и гостепріимными.

Въ Вологодской губерніи, а также и въ нѣкоторыхъ иныхъ мѣстахъ, къ Покрову-дню ткутъ крестьянскія дѣвушки, за-

73) Левъ III-й Исавріанинъ—императоръ византійскій, происходившій изъ малоазійской области Исаврии, царствовалъ съ 717-го по 741-й годъ. Сначала онъ былъ правителемъ области въ Малой Азій, затѣмъ, по воцареніи Θεодосія III-го, отказался признать его императоромъ, поднялъ возстаніе и захватилъ въ свои руки престолъ. Онъ оставилъ по себѣ память въ исторіи, какъ защитникъ Византіи отъ арабовъ (сарацинъ): Въ самомъ началѣ его царствованія столица имперіи подвергалась осадѣ враговъ, длившейся около года и кончившейся послѣднимъ отступленіемъ арабскаго флота. Цѣлымъ рядомъ другихъ побѣдъ надъ арабами, а въ особенности—въ 740-мъ году, остановилъ онъ Омайядовъ въ ихъ наступленіи на Византійскую имперію. Изъ внутренней политической дѣятельности Льва III-го удѣлѣтъ отъ забвенія его замѣчательный „земледѣльческій уставъ“. Какъ приверженецъ иконоборства, онъ сыгралъ печальную роль въ исторіи Церкви.

думывающіяся о женихахъ, такъ называемую „обыденную пелену“. Собравшись вмѣстѣ, онѣ съ особыми, приличными этому случаю, пѣснями теребятъ ленъ, прядутъ и ткутъ его, стараясь непременно окончить всю работу въ одинъ день, обыденкой. Приготовленную такимъ образомъ пелену (холстину) передъ обѣдней на Покровъ несутъ къ иконѣ Покрова Пресвятой Богородицы. Шопотомъ причитаютъ онѣ при этомъ: „Матушка Богородица! Покрой меня поскорѣя, пошли женишка поумиѣя! Покрой ты, батюшка-Покровъ Христовъ, мою побѣдную голову жемчужнымъ кокошникомъ, золотымъ назатыльникомъ!“.

Такимъ образомъ, въ понятіи деревенской молодежи, всѣ впечатлѣнія этого праздника объединяются съ представленіемъ о свадьбѣ. Деревенскія свадьбы, съ ихъ самобытной обстановкою, сохранившей въ себѣ яркіе пережитки старины, являются живымъ олицетвореніемъ народной мечты, непосредственно сливающейся съ самой жизнью нашего крестьянина. На этомъ праздникѣ трудовой жизни пахаря—раздолье не только пиву хмѣльному съ виномъ зеленымъ, но и еще болѣе того пѣснямъ,—разливаются онѣ изъ конца въ конецъ деревни свободными широкими волнами. Въ этихъ пѣсняхъ—вся обрядность деревенской свадьбы, въ нихъ—вся скорбная повѣсть жизни русской женщины-работницы, „отдаваемой на чужую сторонушку дальнюю за чужого добраго молодца, за чужанина“,—въ нихъ всѣ ея скромныя недолгія радости. Вся деревня провожаетъ, „пропѣваетъ и пропиваетъ“ свою дѣвушку, которой посчастливится, съ Божьей помощью, „на Покровъ покрыть побѣдную голову“.

Какъ ни гадаеть, какъ ни думаетъ дѣвица красная о замужествѣ, какъ ни вымаливаетъ себѣ жениха-суженаго, а все-таки страшно ей покидать домъ родительскій, гдѣ и отецъ-батюшка „жалѣлъ“ ее, и матушка родимая „берегла пуще глаза“. Потому-то и просить со слезами она въ поющей на свадебномъ веселомъ сговорѣ, пѣснѣ:

„Ты, родимый мой батюшка,
Ты, пой, напой гостей до-пьяна,
Чтобы гости-то позапили,
Меня, младу-младешеньку, позабыли!
Ты, родимый, милый братъ,
Поди-тко на широкій дворъ,
Осѣдай коня ворона,
Поѣзжай во темный лѣсъ,
Сруби бѣлую березыньку,
Завали путь-дороженьку,

Чтобъ нельзя было проѣхать!
 Ты, родная моя матушка,
 Ты дари, моя матушка,
 Ты дари гостей по-ряду!
 Не дари только двухъ гостей,
 Что перваго гостя не дари
 Друженьку-разлученьку,
 А другаго гостя не дари,
 По правую который сидитъ по рученьку!
 Подаренъ добрый молодецъ
 Моей буйною головушкой!"

Но чѣмъ ближе время идетъ къ свадьбѣ, тѣмъ все болѣе и болѣе свыкается сговоренная-„пропитая“ дѣвушка со своимъ замужествомъ. И хотя, по словамъ другой пѣсни, „скоры ноженьки“ — при одной мысли о разставаньи съ дѣвической беззаботностью — „подламываются, бѣлыя рученьки опускаются, ретиво сердечушко пугается“, но оно, это самое „ретиво сердечушко разгарчивое“, само уже „ко тому-ли ко чужанину добру молодцу приклоняется“, собирается оно вслѣдъ за послѣдними пташками перелетными отлетать изъ теплаго гнѣзда родимаго, годами насижennaго.

Собираются съ Покрова на отлетъ, однако, не только однѣ дѣвушки красныя: на Покровъ улетаютъ, по старой примѣтѣ, и послѣдніе журавли. Если раньше улетятъ—„быть холодной зимѣ“, — говоритъ деревня, зорко приглядывающаяся къ жизни окружающей ее природы. „Коли бѣлка въ Покровъ чиста (вылиняла) — зима будетъ хороша!“ — можно услышать въ Пермской и другихъ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ.

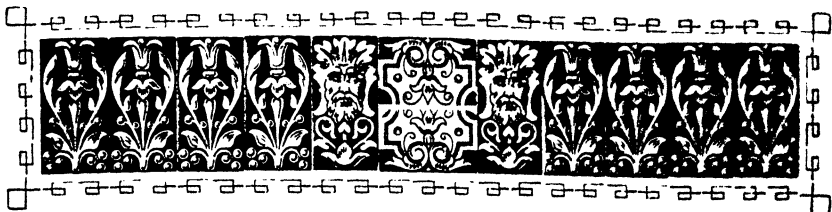
Къ Покрову заботится каждый хорошій домохозяинъ, убравшійся съ хлѣбомъ, „ухитить“ свою хату: проконопатить углы, привалить заваленки. „Захвати тепла до Покрова: не ухитишь до Покрова—изба будетъ не такова!“ Всему есть пора, всему—свое время: „Батюшка, Покровъ не натопить хату безъ дровъ“.

Наканунъ Покрова молодыя деревенскія женщины сжигаютъ въ овинѣ свои старыя соломенные постели. Этимъ, по суевѣрному обычаю, охраняются молодухи отъ „призора недобраго глаза“. Старухи сжигаютъ въ это-же самое время изношенные за лѣто лапти, думая исполненіемъ этого „прибавить себѣ ходу на зиму“. Ребятишекъ обливаютъ передъ Покровомъ водою сквозь рѣшето, на порогъ хаты. Это дѣлается, по старинной примѣтѣ, въ предохраненіе отъ зимней простуды.

Съ Покрова, — говорятъ въ народѣ, — перестаютъ бродить и

колобродить по лѣсамъ лѣсные хозяева, лѣшіе. При разставаньи со своею полною волею, они ломають не мало деревьевъ, вырываютъ съ корнями кусты, разгоняють звѣрьё по порамъ, а затѣмъ и сами проваливаются сквозь землю до самой весны зеленой, растопляющей своимъ тепломъ снѣга льды. Въ канунъ Покрова цѣлый день воють они, стараясь перекричать вѣтеръ; и ни мужикъ, и ни баба, ни ребята малые не подойдутъ въ этотъ день къ лѣсу—изъ боязни, чтобы лѣсной хозяинъ не натѣшилъ надъ ними напоследокъ. „Лѣшій—не свой братъ, переломаетъ косточки не хуже медвѣдя!“—говорять въ суевѣрной деревнѣ, не расстающейся до сихъ поръ со своими отжившими время повѣрьями, обычаями и поговорками.

Съ покровскихъ вечеровъ народъ начинаетъ загадывать о зимнихъ работахъ. „Зазимье—за собой засидки ведеть, засидки—заработки. Зимой не поработаешь, весна тебѣ, лежебоку, брюхо съ голоду подведеть!“—говорять на сѣверѣ, не привыкшемъ къ тому, чтобы своего хлѣба хватало отъ одной новины до другой.



XLIII.

Свадьба—судьба.

Назимній {мѣсяць октябрь недаромъ слыветъ и „свадеб-
никомъ“: едвали въ какое-нибудь другое время если не иг-
рается въ народной Руси столько свадебъ, такъ налаживает-
ся столько сговоровъ, какъ съ Покрова до Кузьминожь (1-го
ноября). „Батюшка Покровъ, кроешь ты (снѣгомъ) землю
и воду, покрой и меня молѣду!“; „Матушка Пятница Праско-
воя, пошли женишга поскорѣя!“—еще загодя приговариваютъ
заневѣстившіяся дѣвушки красныя, дожидаячись этихъ за-
вѣтныхъ свадебныхъ дней. Придетъ Покровъ, и загремятъ-
завенятъ по деревенскимъ дорогамъ бубенчики-погремки ве-
селыхъ поѣздовъ, раздадутся по избамъ свадебныя пѣсни—то
хватаящія своей грустью за душу, то веселящія русское
сердце залихватской удалью.

„Уже что я сижу, думаю, уже что я сижу гадаю ужъ своимъ
я глупымъ разумомъ“,—голосить, словно причитаеть, не-
вѣста, незадолго передъ тѣмъ только и думавшая-гадавшая о
своемъ женихъ-суженомъ:

„У меня-ли горе вѣчутко,
У меня, молодой, горя круты горы,
Уже [слезъ-то—рѣки быстрыя,
Всѣ поля горемъ насыяны,
Всѣ сады горемъ изнасажены:
Не дали-то мнѣ горькой,
Не дали-то мнѣ горемышной
Во дѣвушкахъ васидѣтся,
Со годамъ соверстатся,

Съ умомъ съ разумомъ собратиси,
Лицо бѣло понаполнити,
Русу косыньку повырастить,
Алу ленточку донѣсити!

И ко своему „кормильцу-грозну-батюшкѣ“, и къ „радѣльщицѣ-государынѣ-матушкѣ“, и къ „подруженькамъ-голубушкамъ“, и къ „братцу милому съ молодой женой невѣстушкой“, и къ тетушкамъ - дядюшкамъ обращается „горемышная“, на чужу-дальню сторону выдаваемая-„пропиваемая“ красна дѣвица, въ пѣсняхъ „рѣнить слезы горючія“, проситъ-молитъ по-временить со свадьбою. Все дѣлается честь-честью, по дѣдовской старинѣ, по заведенному обычаю. Въ отвѣтъ-отповѣдь растужившейся - расплакавшейся просватанной дѣвицѣ поютъ ея подружки, поютъ — жениха удалого добра-молодца выхваляючи, сулятъ ей за нимъ радостное житье-бытье. У него (жениха-свѣта), на его-ли на родной сторонушкѣ, по ихъ увѣреніямъ:

„Берега-то садовые,
А вода-то медовая:
Свекоръ—что батюшка,
А свекровушка—что матушка,
Деверья—что братички,
А золовушки—что сестрицы...“

Но, несмотря даже на то, что—по словамъ пѣсни—у жениха-то и „кудри, кудри русыя, на кудряхъ, кудряхъ шляпа черная, шляпа черная съ позументами“, невѣста продолжаетъ пѣть-голосить, плакать-причитать, выполняя обычай—завѣтъ, сѣдой старины, считающей свадьбу „судомъ Божиимъ“ и „судьбою“, приговаривающей въ своихъ поговоркахъ, что: „Суженаго и конемъ не объѣдешь!“, „Гдѣ суженое—тамъ и ряженое!“, „Что судьба дастъ, съ кѣмъ жить приведетъ—съ тѣмъ и вѣкъ вѣковать!“, „Всякая невѣста своему жениху невѣстится!“, „Смерть да жена—Богомъ суждена.“ и т. д.

„Встану я рабъ Божій, благословясь; пойду—перекрестясь во чистое поле“,—говорится въ одномъ изъ русскихъ простонародныхъ заговоровъ на свадьбы, — „стану на западъ хребтомъ, на востокъ лицомъ, позрю-посмотрю на ясное небо: со ясна неба летитъ огненная стрѣла; той стрѣлѣ помолюсь покорюсь, спрошу ее: куда полетѣла, огненна стрѣла?—Во темные лѣса, въ зыбучія болота, въ сырое коренья! Охъ ты, огненна стрѣла! Воротись, полетай—куда я тебя пошлю: есть на Святой Руси красна дѣвица (имя рекъ)... Полетай

ей въ ретивое сердце, въ черную печень, въ горячую кровь, въ становую жилу, во сахарны уста, въ ясныя очи, въ черныя брови, чтобы она тосковала-горевала весь день—при солнцѣ, на утренней зарѣ, при младомъ мѣсяцѣ, на вѣтрѣ-холодѣ, на прибылыхъ дняхъ и на убылыхъ дняхъ отнынѣ и до вѣка!— Это уцѣлѣвшее до сихъ поръ въ народной памяти зачатіе, невольно напоминаетъ объ одной изъ старинныхъ русскихъ сказокъ, въ которой царь даетъ своимъ сыновьямъ, посылаемымъ на поиски за невѣстами, такой приказъ: „Сдѣлайте себѣ по самострѣлу и пустите по каленой стрѣлѣ: чья стрѣла куда упадетъ—съ того двора и невѣсту бери!“

Вѣрный завѣтамъ пращуровъ, рускій пахарь-народъ смотритъ на заключеніе брака глазами суевѣрныхъ предковъ, въ жилахъ которыхъ текла кровь отдаленнѣйшихъ поколѣній, соединявшихся неразрывными-вѣковѣчными узами передъ идолами Свѣтлояра, Свѣтовита, Дажьбога и другихъ покровителей плодородія. „Придетъ судьба—и руки свяжетъ!“, „Что сужено—то связано!“, „Связала судьба по рукамъ—не развязать дѣ до вѣку!“—говорятъ на Руси.

По словамъ простонародной мудрости—„Женитьба есть, разженидбы нѣтъ“. Осмотрительность при выборѣ жены—первое дѣло. „Жениться—не лапотъ надѣтъ!“, „Жениться—переродиться!“, „Женишься разъ, а плачешься вѣкъ!“, „Идучи на войну—молись; идучи въ море—молись вдвое; хочешь жениться—молись втрое!“, „Жениться недолго, да Богъ накажетъ—долго жить прикажетъ!“—замѣчаетъ народъ по этому поводу. Смѣшливые краснословы приговариваютъ о женитьбѣ и такія, подслушанныя В. И. Далемъ, слова-рѣчи, какъ: „Здравствуй женившисъ, да не съ кѣмъ жить!“, „Женится медвѣдъ на коровѣ, какъ на лягушкѣ!“, „Не страшно жениться—страшно къ попу приступиться: женись—плати, кресты—плати, умирай—плати! Ужъ бы за одинъ разъ: померъ да и заплатилъ!“, „Питеръ женится, Москва замужъ идетъ!“, „Женится Иванъ Великой на Сухаревой башнѣ, въ приданое беретъ четыре калашни!“, „Не кайся рано встани, а рано женившисъ!“, „Женьба—не гоньба, поспѣешь!“, „Постой, холостой, дай подумать женатому!“

Хоть и сваты-свахи ладятъ свадьбы на Руси, да улаживаютъ-то ихъ, по непреклонному разумѣнію деревенскаго люда, только сама судьба. „Много сватается, да одному достанется!“—говоритъ онъ, прибавляя къ этому крылатому слову цѣлую стаю другихъ, въ-родѣ: „Сватались къ дѣвушкѣ тридцать съ однимъ, а быть—за однимъ!“ Но одновременно съ этимъ готова повторять деревня и такія, изреченія, какъ:

„Не выбирай, женихъ, невѣсты, выбери сваху!“ „Сваха и чужіе грѣхи на душу принимаетъ!“, „Подружки плетутъ косу на часокъ, а сваха—навѣкъ!“. Но на долю этой устроительницы свадебъ достается не мало и отъ народнаго смѣхословія, рисующаго ее въ такихъ краскахъ: „На сватенькиныхъ рѣчахъ—какъ на саняхъ,—хоть садись да катись!“, „Сваха видѣла, какъ батрагъ телѣнка родилъ!“, „Сваха на свадьбу спѣшила, рубаху на мутовкѣ сушила, повойникъ на порогѣ катала!“, „И добрый свать—собакъ братъ!“, „За чужую душу сваха со сватомъ божатся, а про свою запомнили!“.

[Хотя, по народному слову, „невѣста—не жена, можно и разневѣститься!“] но ей—„вездѣ почетъ“, потому что: [„Много невѣсть разбирать—женатому вѣкъ не бывать!“, „Вездѣ много невѣсть, да до вѣнца!“] „Невѣста—не невѣстка, съ ней не заспоришь!“ „Всякая невѣста ждетъ своего мѣста!“, „Невѣстѣ нѣтъ чести—женихъ безъ ума!“, [Женихъ съ невѣстой—что князь со княгиней!“. Старина, ко всякой примѣтѣ внимательная, на всякую честь очестливая, такъ и завѣщала народной Руси величать новобрачную чету княземъ да княгинею. Да и свадьбу зовутъ въ иныхъ мѣстахъ, по ея завѣту, „княжьимъ пиромъ“, „княженецкими столами“.]

Въ одномъ изъ безчисленныхъ присказовъ-причетовъ верхняго Поволжья, приуроченныхъ къ свадебному веселому пирю, такъ говорится объ этомъ:

„Цвѣтки разцвѣтали,
Поднебесныя пташки распѣвали,
Новобрачнаго князя увеселяли:
Ѣдетъ-де нашъ новобрачный князь
По свою новобрачну княгинюшку,
Сужену взять,
Ряжену взять—
По Божьему велѣнью,
По царскому уложению!“...

(„Вѣнчаютъ въ одночасье, а повѣнчаны—на все горе, на все счастье!“—говорятъ въ народѣ: „Гдѣ вѣнчаютъ—тамъ и жизнь кончаютъ!“) „Худой попъ повѣнчалъ—хорошему не развѣнчать!“ (Въ этихъ словахъ сказанъ взглядъ народа на ненарушимую святость брачнаго союза, заключаемаго на вѣки вѣчные) освящаемаго у Престола Божія.

(Самое слово „дѣва“ означаетъ—въ точномъ переводѣ отца языковъ, санскритскаго—свѣтлая, чистая, блистающая и уже въ позднѣйшемъ смыслѣ—непорочная. Въ народной Руси изстари вѣковъ сопровождалось это слово присловомъ

„красная“, что непосредственно сближало его значеніе съ первоисточникомъ. Въ древнерусскомъ быту заря-зоряница (красная дѣвица) чествовалась подь именемъ Дѣвы Зори, или просто Дивы. Послѣднее, вслѣдъ за просвѣщеніемъ потомковъ Микулы Селяниновича, свѣтомъ вѣры Христовой, объединилось съ почитаніемъ Пресвятой Дѣвы Маріи, на образъ которой простодушное суевѣріе пахарей перенесло многія черты, наложенныя вѣками язычества на дѣвственный обликъ богини Дивы во всѣхъ проявленіяхъ ея существа (отъ ясной зари до Царь-Дѣвицы простонародныхъ сказокъ).

Древнерусская Лада, обожествлявшаяся также у литовцевъ и другихъ родственныхъ племенъ, считалась покровительницей браковъ, любви, красоты и—вмѣстѣ съ Лелемъ (Свѣтлоярмъ)—земного плодородія. По нѣкоторымъ изслѣдованіямъ, въ ея лицѣ воплощался весенній пригрѣвъ солнечныхъ лучей. Литовская пѣсня прямо называетъ солнце именемъ этой свѣтлокудрой веселой богини: „Пасу, пасу, мои овечки; тебѣ, волкъ, не боюсь“,—поется въ ней,—„богъ съ солнечными кудрями тебя не допуститъ. Лада, Лада—солнце!“ Старинное преданіе, занесенное въ „Синописисъ“⁷⁴⁾, гласитъ, что: „готовяшіеся къ браку, помощію его (бога-Лада) мнѣше себѣ добро веселіе и любезно житіе стяжати... Ладу поюще: Ладо, Ладо! и того идола ветхую прелесть дѣвольскую на брачныхъ веселіяхъ, руками плещуще и о столѣ біюще, воспѣвають“. Въ Густинской лѣтописи это—превратившееся изъ Лады въ Лада—божество называется богомъ женитьбы, веселія, утѣшенія и всякаго благополучія. Лѣтописецъ свидѣтельствуешь, что этому богу „жертвы приношаху хотящій женитса, дабы его помощію бракъ добрый и любовный былъ“.

Съ поклоненіемъ-молитвою брачующихся Солнцу-свѣту во всѣхъ его обликахъ связано было въ древнерусскомъ и обще-славянскомъ быту чествованіе огня. Въ послѣдній день дѣвчества невеста плакала-причитала передъ пылающимъ очагомъ. Подруги голосили, вторя ей печальными пѣснями. Впервые входя въ домъ новобрачнаго мужа, она прежде всего подводилась къ разожженному очагу,—причемъ всѣ окружающіе встрѣчали ее припѣвомъ: „Ой, Лада, Лада!“ Въ народной Руси и въ наши дни начинающая налаживать свадь-

⁷⁴⁾ Синописисъ—съ греческаго, общій обзоръ. „Кіевскій синописисъ“, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь,—первый печатный сводъ историческихъ свѣдѣній о русскомъ народѣ, изданный въ Кіевѣ въ 1674 г., составленный Иннокентіемъ Гизелемъ по хроникѣ игумена Михайловскаго монастыря Θεодосія Сафоновича. Въ теченіе XVIII-го вѣка онъ выдержалъ болѣе 20 изданій. Какъ предположеніе, онъ вошелъ въ лѣтопись св. Димитрія Ростовскаго.

бу сваха подходитъ къ печи и грѣетъ руки у нарочно разведеннаго огня. Это служить, по суевѣрному представленію народа, вѣрнымъ залогомъ благополучнаго исхода сватовства. Самое слово — свадьбу „ладить“ какъ-бы является производнымъ отъ имени этой богини языческой Руси. Складъ да ладъ семейной жизни молодоженовъ приписывался встарину непосредственно ей — свѣтлокудрой.

„Дѣвичья краса—до замужества!“ — говоритъ крылатое народное слово. „Всѣ дѣвушки красны, всѣ хороши, а отколь берутся злыя жены?“ — оговариваетъ оно красныхъ дѣвушекъ, но сейчасъ-же добавляетъ къ этимъ своимъ рѣчамъ смѣшливымъ: „Про дѣвку не молви (худа)!“ „Дѣвушка не травка, обо всякой своя славка!“ „Смиренье—дѣвичье ожерелье!“ „Чего дѣвушка не знаетъ, то ее и красить!“ Въ связи съ послѣднимъ многозначительнымъ изреченіемъ живутъ въ народѣ и такія, какъ: „Держи дѣвку въ тѣснотѣ, а деньги въ темнотѣ!“ „Не уберечь дерева въ лѣсу, а дѣвки въ людяхъ!“ „Сиди, дѣвица, за тремя порогами!“ „Въ клѣткахъ звонко поютъ птицы, въ теремахъ добрую славу наживаютъ дѣвицы!“ „Вѣрь хлѣбу въ закрому, а дѣвушкѣ красной въ терему!“ Отъ этихъ простонародныхъ рѣчей вѣетъ суровыми мыслями древнерусскаго бытового уклада, нашедшаго свое яркое отраженіе въ „Домостроѣ“.

По слову народной мудрости—„Дѣвкою полна улица, а женой-бабою—печь!“ „Дѣвичья забота—гулянка, а у бабы-хозяйки—пироги въ печи, да дѣти на печи!“ „И хорошая невѣста худой женой живетъ!“ Къ послѣднему краснословы зачастую приговариваютъ: „Молода жена годами, да стара норовомъ!“ „Добрая жена домъ сбережетъ, плохая—рукавомъ растрясетъ!“ „Злая жена сведетъ мужа съ ума!“ „Желѣзо уваришь, а злой жены не уговоришь!“ „Не вѣрь коню въ полѣ, а женѣ въ волѣ!“ „Не всякая жена мужу правду сказываетъ!“ „Худо мужу тому, у кого жена большая во дому!“ „Изъ лѣсу выживаетъ змѣя, изъ дому—жена!“ „Силень хмѣль, сильнѣе хмѣля сонъ, сильнѣе сна—злая жена!“ „Худая женка—крапива!“ „Дважды жена мила бываетъ—какъ въ избу введутъ да какъ вонъ понесутъ!“ „Отъ пожара, отъ потопа, отъ злой жены, Боже, сохрани!“

Если не совсѣмъ лестнаго миѣнія нашъ народъ-пахарь о дѣвичьемъ умѣ-разумѣ („Дѣвичья память да дѣвичій стыдъ—до порога!“ „Дѣвичьи думы измѣнчивы!“ „Не вѣрь курамъ, воронамъ, а еще больше—дѣвкамъ дворовымъ!“ и т. п.),—то баба-жена является въ памятникахъ его словесной мудро-

сти еще менѣе разумной-разсудительной. „У бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ!“, — говорятъ въ народѣ, но, какъ-бы въ противовѣсъ этому, добавляють-приговаривають: „Баба съ печи летить—семьдесятъ семь думъ передумаетъ!“ Умъ-разумъ замѣняется въ этомъ случаѣ хитростью лукавою. Но „Бабы умы разоряють дома!“, „Пусти бабу въ рай, а она и корову за собой ведетъ!“, „Лукавой бабы въ ступъ не утолчешь!“, „Гдѣ чортъ не сладить—туда бабу пошлетъ!“ Но, и при всей бабьей лукавости-хитрости, не прочь прикрикнуть на жену мужикъ-скопидомъ, берегущій миръ-ладъ въ своей семьѣ: „Знай, баба, свое кривое веретено!“ Народная мудрость твердо бабій нравъ-обычай помнитъ. „Привѣхала баба изъ города,—гласить она,—привезла вѣстей съ три короба!“, „Баба бредитъ, да кто ей повѣритъ!“, „Женскихъ прихотей не перечтешь, на причуды не напасешься!“, „Баба плачетъ—свой нравъ тѣшитъ!“, „Бабью немочь догадки дѣчатъ!“, „Скачетъ баба и задомъ и передомъ, а дѣло идетъ своимъ чередомъ!“ (тождественно съ этимъ присловье—„Сердилась баба на торгу, а торгъ про то и не вѣдалъ!“), „Дѣдъ погибаетъ, а бабѣ—смѣхъ!“ и т. д. Но, несмотря на то, что, по народному представлению, „Курица не птица, баба не человекъ!“, деревенскій людъ повторяетъ и теперь старыя рѣчи дѣдовъ-прадѣдовъ, въ родѣ: „Мужъ безъ жены пуще малыхъ дѣтокъ сирота!“, „Жену съ мужемъ судить некому кромѣ Бога!“, „У мужа съ женой—все пополамъ!“, „Съ бабой-хозяйкой и горе-бѣда пополамъ!“, „Безъ жены у мужа и домъ—сирота!“ „Вдовецъ—дѣткамъ не отецъ, а самъ горюнь-сиротинка!“, „Мужикъ-вдовецъ—безъ огня кузнецъ!“, „Вдовье дѣло горькое, а вдовцово—хоть въ омутъ головой!“

Не сладко и женѣ-бабѣ овдовѣть. „Съ мужемъ нужа, а безъ мужа — и того хуже!“ — говоритъ объ этомъ народное присловье. „Вдовой-сиротой—хоть волкомъ вой!“ — приговариваетъ другое; „Плохой мужъ въ могилу, а добрая баба—по-миру!“ — вторить ему третье. Худо и тогда, когда семейная жизнь превратится въ такую, къ которой можно приложить слова: „Мужъ отъ жены на пядень, а жена отъ мужа—на сажень!“ Подобное житье — „и домъ-хату рушить, и человекъ въ могилу кладеть“. Разладъ-раздоръ, иногда разгоняющій мужа съ женой въ разныя стороны, заставилъ народъ обмолвиться словами: „Безъ мужа жена—хуже вдовы!“, „Жена безъ мужа—всего хуже!“. Согласное житье, на которое и со стороны смотрѣть весело, запечатлѣлось въ народной памяти такими поговорками, какъ, на примѣръ: „Гдѣ мужъ—тамъ и жена, ку-

да мужикъ—туда и баба!“, „Мужа съ женой не разлить и водой!“, „Мужъ да жена—одна сатана!“, „Мужъ вьетъ изъ жены гужъ, жена изъ мужа шьетъ на себя рубашки!“, „Мужъ женѣ—милѣй родной матушки, жена мужу ближе отца-батюшки!“, „Мужъ съ женой—что мука съ водой: сболтаешь, да не разболтать!“, „Муженекъ хоть всего съ кулачокъ, да за мужниной головой не сижу сиротой!“, „За мужнюю спину схоронюсь—самой смерти не боюсь!“

Мужъ, по исконному взгляду народа, неизмѣнно долженъ главенствовать въ семейномъ быту. Только при соблюденіи этого условія будетъ въ семьѣ все идти по доброму, по хорошему, — если, упаси Богъ, не присосется къ дому какая-нибудь наносная бѣда лихая. „Не скоть въ скоть коза, не звѣрь въ звѣряхъ ежъ, не рыба въ ракахъ ракъ, не птица въ птицахъ нетопырь, не мужъ въ мужахъ—къмъ жена владѣть!“—гласить строгій приговоръ народной мудрости, создававшейся многовѣковымъ опытомъ жизни. „Бабъ волю дать—не унять!“, „Кто бабъ надъ собой волю даетъ—себя обкрадываетъ!“, „Въ дому женина воля—тяжкая мужнина доля: удавиться легче!“, „Отъ своевольной бабы—за тридцать земель сбѣжишь!“, „Хуже бабы тотъ, къмъ жена верховодитъ!“, „Возьметъ баба волю, такъ и умный мужъ въ дуракахъ находится вволю!“, „Дура-баба и умнаго мужа дурѣе себя сдѣлаетъ, коли на немъ ѣздить, его кнутомъ погонять зачнетъ!“, „Отъ своевольной жены—Господь упаси и друга, и недруга, и лихого татарина!“.

(Не перечестъ, не пересказать всѣхъ поговорокъ-поговорокъ, мелкими пташками (легающихъ по свѣтлорусскому простору народному—богъ-о-богъ со свадьбами да съ семейной жизнью). То-же самое можно сказать и про русскіе свадебные обряды-обычаи: что городъ, то норовъ, что деревня—то обычай. Не всѣ они пошли съ древнихъ временъ, но всѣ—въ большей или меньшей степени связаны съ бытомъ и былымъ народа-пахаря, отовсюду окруженнаго жизнью родной его души природы. Зачастую и въ самоновѣйшихъ наслоеніяхъ на обрядовую старину слышится-чуется отголосокъ незапамятныхъ дней. Прошлое также оставило свой замѣтный слѣдъ на этихъ обычаяхъ, отразилось въ ихъ сущности, высказывается во внѣшней обстановкѣ. Едва-ли будетъ большою ошибкою сказать, что и современная крестьянская свадьба представляетъ собою трогательную страницу жизненной лѣтописи, переходящую изъ вѣка въ вѣкъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію. Особенно ярко выражена это сторона въ свадебныхъ пѣсняхъ. Въ лучшихъ образцахъ этихъ памятниковъ своего

изустнаго творчества баянь-народъ достигаетъ замѣчательной художественности, не поддающейся никакому подражанію. Каждая подобная пѣсня является въ то-же время и сказаніемъ, былою минушаго. Многія сотни, если не тысячи, свадебныхъ пѣсенъ звенятъ-разливаются по раздолью Святой Руси. А сколько ихъ, можетъ быть, затерялось въ прошломъ, безслѣдно для собирателей пѣсеннаго народнаго богатства, погибло, умерло вмѣстѣ съ пѣвцами - сказателями, замѣнилось новыми—блѣдными, хилыми, ничего не говорящими ни пытли-вому уму изслѣдователя, ни чуткому сердцу простого слуша-теля. Только на олонечно-вологодскомъ сѣверѣ да на архангельскомъ поморьи, да на верхнемъ и среднемъ Поволжьѣ—этой „кондовой“, по замѣчанію Мельникова-Печерскаго ⁷⁵⁾, Руси—и сохранилась во всей своей красотѣ несказанной русская пѣсня-быль народная. И темные лѣса, и зеленые луга, и черныя грязи, и быстрыя рѣки, и облака ходячія, и звѣзды частыя, и красно солнышко, и свѣтѣль-мѣсяць,—все воз-стаетъ предъ слушателями этихъ вылетѣвшихъ изъ глубины

⁷⁵⁾ Павелъ Ивановичъ Мельниковъ — бытописатель-беллетристъ, болѣе извѣстный подъ своимъ псевдонимомъ „Андрей Печерскій“, родился 22 октября 1819 года въ Нижнемъ-Новгородѣ. Образование будущій авторъ знаменитой эпопеи раскольничьяго Поволжья получилъ въ мѣстной гимназій и казанскомъ уни-верситетѣ (на словесномъ факультетѣ). Сначала, по окончаніи курса, онъ былъ учителемъ въ пермской и нижегородской гимназіяхъ, затѣмъ занялъ мѣсто чинов-ника особыхъ порученій при нижегородскомъ губернаторѣ и сталъ редакторомъ мѣстныхъ „Губернскихъ Вѣдомостей“. По службѣ онъ очень близко ознакомился съ бытомъ своихъ героевъ; его дѣятельность по расколу обратила на себя вниманіе правительства. Имъ былъ составленъ тѣлый рядъ официальныхъ отчетовъ и записокъ по этому вопросу, въ которыхъ онъ стоялъ за допущеніе широкой терпимости къ расколу, на дѣлѣ будучи вынуждаемъ долгомъ службы проявлять суровую строгость. Первымъ литературнымъ произведеніемъ П. И.—ча были „Дорожныя замѣтки“, помѣщенные въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1839 г.; затѣмъ въ „Литературной Газетѣ“ появился рядъ его статей по исторіи и этнографіи. Послѣ многолѣтняго перерыва, были напечатаны въ 1857—58 г. г. его „Старые годы,“ „Медвѣжій уголь“ и „Бабушкины рассказы“ (въ „Русск. Вѣстн.“ и „Современникѣ“), впервые обнаружившіе въ авторѣ крупный худо-жественный талантъ. Эти рассказы появились въ 1875-мъ году отдѣльнымъ изданіемъ подъ заголовкомъ „Рассказы Андрея Печерскаго“. Въ 1859-мъ году, переведенный по службѣ въ Петербургъ, П. И. Мельниковъ сталъ издавать га-зету „Русскій Дневникъ“, просуществовавшую всего около полугода. Въ 1862-мъ году вышли его „Письма о расколѣ“, въ слѣдующемъ—брошюра для народа „О русской правдѣ и польской кривдѣ“; въ 1866-мъ году, пробывъ передъ тѣмъ три года завѣдующимъ внутреннимъ отдѣломъ въ газетѣ „Сѣверная Почта“, впоследствии преобразившейся въ „Правительственный Вѣстникъ“, онъ пере-ѣхалъ въ Москву, гдѣ—продолжая службу—съ небывалымъ дотоле одушевле-ніемъ отдался литературѣ, сотрудничая исключительно въ „Московск. Вѣдом.“ и „Русскомъ Вѣстникѣ“. Здѣсь появились его „Историческіе очерки поповщи-ны“, „Княжна Тараканова“, „Очерки мордвы“, „Счисленіе раскольниковъ“,

народной души пѣсенъ: лебединыя крылья размахиваются, бѣлются во чистомъ полѣ шатры полотняныя, расцвѣтають-цвѣтутъ цвѣтики лазоревые, открывается мысленному взору широкій просторъ, воскресаетъ бывшее-стародавнее... Порою звучитъ веселой, широкою, что русская душа, удалью пѣсня; порою плачетъ она, горючими слезами заливается. И ту, и другую услышишь на деревенской свадьбѣ—тамъ, гдѣ еще не въ конецъ стерла рука времени живую память о родной старинѣ.

„Уже всѣ-то гости съѣхались, одного-то гостя нѣтъ какъ нѣтъ, родимова моего батюшки,—зачинается одна изъ много-множества такихъ, не избѣденныхъ молью новыхъ наслоений, пѣсенъ—богатыхъ и красотою образцовъ, и ясной глубиною содержанія:

„Не свѣтла-то ночь безъ мѣсяца,
Не красенъ день безъ солнышка,
Не весела свадьба безъ батюшки,
Безъ батюшки, безъ кормилца“...

Это поетъ послѣ веселаго сговора невѣста-сирота, обращающаяся къ своему брату: „Ты вступи-ка, мой милый братъ, вмѣсто батюшки родимова! Ты поди-тко на широкой дворъ, обѣдай-ко ворона коня, поѣзжай-ко къ Божьей церкви! Ты взойди-тко на колоколенку, ты ударь-ко въ звонкой колоколъ, ты пусти-тко звонъ по сырой землѣ!“... Дальнѣйшія слова пѣсни такъ и хватаютъ за-сердце:

„Разступися, Мать-Сыра-Земля,
На четыре на сторонюшки!
Ты раскройся, гробова доска,
Распахнися, бѣль-тонкой саванъ,
Ты воскинь-ко, родной батюшко,
Ты своимъ-то очамъ яснымъ
На меня-то ли на горькую.
Подожми-тко, родной батюшко,

„Тайныя секты“, „Изъ прошлаго“, „Бѣлые голуби“ и, наконецъ, шедевры его творчества — „Въ лѣсахъ“ и „На горахъ“, — романы-очерки, которыми онъ всталъ въ ряды первоклассныхъ художниковъ слова. Блестящее дарованіе автора этихъ замѣчательныхъ произведеній, явившихся цѣлымъ откровеніемъ для русскаго общества, выказалось въ нихъ во всей своей неукладывающейся ни въ какія рамки шаблона самобытности. Имъ онъ занялъ навсегда совершенно особое мѣсто въ исторіи нашей словесности. Последніе десять лѣтъ жизни знаменитый писатель, къ сожалѣнію—до сихъ поръ еще многими неосцѣненный по достоинству, провелъ въ деревнѣ подъ Нижнимъ. Скончался онъ въ Пижи.-Новгородѣ 1-го февраля 1883 года. Собраніе сочиненій его разошлось тремя изданіями.

Ты подь правую подь рученьку,
Ты скажи мнѣ, другъ мой, батюшко,
Все е правду ту великую!“.

Такую пѣсню могъ сложить только великій народъ, изъ стихійной души котораго бьетъ неизсякаемый ключъ пѣснотворчества. Столь яркую картину горькой доли могъ нарисовать только истинный художникъ могучаго, и въ своей простотѣ, слова.

Скорбно поеть-причитаетъ передь свадьбою невѣста-сирота, знающая, что за нее некому будетъ заступиться передь новой роднею богоданной, что не къ кому будетъ придти-попечаловаться при неладномъ житьѣ съ мужемъ и его кровными. Но немногимъ жизнерадостнѣе смотритъ на эту жизнь и самъ народъ, обмолвившійся такими присловьями, какъ: „Свекорь—гроза, а свекровь выѣстъ невѣсткѣ глаза!“, „Свекровь на печи—что собака на цѣпи!“, „Любь—что свекровинь кулакъ!“, „Отъ свекровушкиной ласки слезами захлебнешься!“, „Лютая свекровь красоту съ лица повыгонитъ, тѣло бѣлое высушитъ!“, „Отъ свекровыхъ глазъ не скоро укроешься, а отъ свекровинныхъ одна смерть упасеть!“ Для каждаго знакомаго съ домашнимъ бытомъ русскаго крестьянина въ этихъ поговоркахъ явственно слышится тотъ-же голосъ самѣй жизни, который звучитъ въ записанной П. В. Шейномъ тверской пѣснѣ, начинающейся запѣвкою:

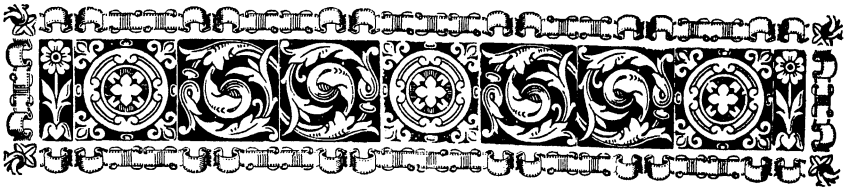
„Спится мнѣ, младешенькой, дремлется,
Клонить мою головушку на подушечку;
Свекорь-батюшка по сѣнничкамъ похаживаетъ,
Сердитый по новымъ погуливаетъ“...

— „Стучить-гремятъ, стучить-гремятъ, снохѣ спать не даетъ“...—подхватываетъ хоръ: „Встань, встань, встань ты, сонливая: Встань, встань, встань ты, дремливая! Сонливая, дремливая, неурядливая!“ И опять льется-переливается безнадежно тоскливое: „Спится мнѣ, младешенькой, дремлется, клонитъ мою головушку на подушечку. Свекровь-матушка по сѣнничкамъ похаживаетъ, сердитая по новымъ погуливаетъ“... И она, эта „лихая свекровушка“, подобно своему муженьку—„грозному свекру“, обращается къ молодой невѣсткѣ со словами, въ которыхъ обзываетъ ее сонливою, дремливою, неурядливою. Но вотъ картина, встающая передь слушателемъ, расцвѣчается новыми красками: „Спится мнѣ, младешенькой, дремлется, клонить мою головушку на поду-

щечку; миль-любезный по сѣнничкамъ похаживаетъ, легохонько, тихохонько поговариваетъ "... Прямо въ сердце просятся слова „миль-любезнаго“:

„Спи, спи, спи ты, моя умница,
Сли, спи, спи ты, разумница!
Загонена, забронена, рано выдана“...

Сколько въ нихъ слышится вѣжнаго чувства; сколько той „жалости“, которую народъ русскій объединяетъ съ любовью!..



XLIV.

Послѣдніе назимніе праздники.

Веселый да сытый октябрь-свадебникъ валкимъ шагомъ къ концу подходитъ, послѣдніе назимніе праздники на деревенскую-посельскую Русь ведетъ—„Казанскую“ (22-е число, день празднованія Казанской иконѣ Пресвятыя Богородицы) да Дмитріевъ день (память св. Дмитрія Солунскаго⁷⁶)—26-е октября). Послѣдніе обожженные морозомъ листья съ деревъ облетаютъ къ этому времени, остатнія черны грязи осеннія подсыхаютъ, промерзаючи; зима въ бѣлой шубѣ идетъ, не первымъ, а третьимъ — не то четвертымъ, снѣгомъ поросить, путь ноябрю студеному коврами застилаетъ пушистыми.

„До Казанской—не зима, съ Казанской—не осень!“—гласитъ простонародная мудрость. „Что за осень, коли гусь на ледь выходитъ!“—продолжаетъ она свою красную рѣчь: „Осень говоритъ: озолочу! А зима—какъ я захочу! Осень говоритъ: я поля въ сарафанъ наряжу! А зима—подъ холстину положу, весна придетъ, покажетъ!“ „Осень прикажетъ, а весна—свое скажетъ!“ „Считай, баба, дыплять по осени, а мужикъ—мѣряй хлѣбъ по веснѣ!“ „Осенней озими въ закромя не положишь!“ „Осень-то—матка: кисель да блины!

⁷⁶) Св. Дмитрій Солунскій—великомученикъ, пострадавшій въ царствованіе императора Діоклетіана. По происхожденію этотъ угодникъ Божій—славянинъ; до своего мученическаго подвига былъ онъ воинъ и правителемъ гор. Солуни. На Руси и у сосѣднихъ славянскихъ народовъ имя его какъ неизмѣннаго заступника славянъ съ первыхъ временъ принятія христіанства оружено благоговѣйнымъ почитаніемъ. Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ хранится древняя икона св. Дмитрія, принесенная (въ 1197 г.) съ родины великомученика великимъ княземъ Всеволодомъ Юрьевичемъ во Владимиръ.

А весна—мачиха: сиди да гляди!“ „На Казанскую и у воробья—пиво, а по веснѣ и у мужика хлѣба вдоволь—дивное диво!“ „До Казанской и у вороны—копна, а зима придетъ—все съ гумна прибереть!“ „Не будь осенью торовать, будешь къ веснѣ хлѣбомъ богатъ!“ „Осенью и нелюбаго гостя всякой снѣдью подчуютъ не наподчуются, а къ концу зимы и любой куска хлѣба напросится!“

Съ 22-го октября ждетъ деревенскій людъ со дня на день прихода лютой стужи. „Матушка Казанская необлыжную зиму ведетъ, морозцамъ дорожку кажетъ!“—говорять краснослобы, говорятъ-приговариваютъ: „Что Казанская покажетъ—то и зима скажетъ!“ „Бываетъ, что на Казанскую съ утра дождь дождитъ, а ввечеру сугробами снѣгъ лежитъ!“ „Выѣзжаешь о Казанской на колесахъ, а полозья въ телѣгу клади!“ „И зимѣ до Казанской устанавливаться заказано!“ „Со Казанской у насъ—тепло морозу не указъ!“ и т. д.

Съ этой поры, по примѣтамъ деревенскихъ годовѣдовъ, зимніе морозы силу берутъ, все крѣпче да крѣпче за землю держаться начинаютъ. „О Казанской морозъ не великъ, да стоять не велитъ!“—молвить о нихъ простонародное слово: „Казанскіе морозы желѣзо не рвутъ, птицу налету не бьютъ, а за носъ бабу хватаютъ, мужика за уши пощипываютъ!“ „Идетъ на дворъ морозъ, а въ карманѣ денежки таютъ!“ „Съ назимней Казанской скачетъ морозко по ельничкамъ, по березничкамъ, по сырымъ берегамъ, по веретейкамъ!“ „Не великъ морозъ, да краснѣетъ носъ!“ „Сказывали бабы, что и на Казанскую въ стары годы мужикъ на печи замерзъ!“ „Съ Казанской—морозъ подорожнымъ-одежнымъ кланяться велитъ, а къ безодежнымъ самъ въ гости ходить не лѣнится!“ „Съ Казанской не льнутъ къ тычинкѣ морозобитной хмѣлинкѣ!“

Близится-надвигается зимняя пора студеная; можетъ,—какъ давно запримѣтилъ ко всему въ окружающей мужика природѣ зоркимъ глазомъ присмотрѣвшійся деревенскій опытъ,—и въ одну ночь зима установится, до весеннихъ оттепелей налечь на грудь земли-кормилицы. По примѣтѣ, когда большой урожай—тогда и „зима строгая“. Знаетъ, помнить мужикъ-деревеньщина, что „только одному волку-сиромахѣ зима—за обычай“,—заботливо запасается всякій добрый хозяинъ тепломъ на зиму: завалины вокругъ избы заваливаетъ, щели конопатитъ, о дровахъ подумываетъ. Если—по одному старинному прибаутку—„Батюшка Покровъ не натопитъ хату безъ дровъ“, то—по другому—„Матушка Казанска спроситъ хворосту вязанку“. Истребленіе лѣсовъ, повлекшее за собою издожаніе топлива, подсказываетъ деревнѣ такія, проникнутыя

смѣшливой грустью, поговорки, какъ напрімѣръ: „Мало-ли у насъ дровъ—гдѣ печь, тамъ и жечь!“; „Лѣсомъ шелъ—дровъ не видѣлъ!“; „Нашъ Емеля-дурачокъ и на печкѣ по дрова съѣздитъ!“; „Ни дровъ, ни лучины—живи безъ кручины, пляши да смѣйся—на-кулачкахъ грѣйся!“; „Дровъ нѣтъ—полати пригрѣютъ!“; „Не тужи, голова, будутъ и дрова—нужда придетъ, изъ насъ щепки щепать начнетъ!“

Съ давнихъ поръ въ обычаѣ у насъ на Руси заканчивать къ назимней Казанской всѣ строительныя работы; плотники, каменщики, штукатуры, землекопы,—всѣ къ этому времени сдаютъ по подрядамъ работу, берутъ расчетъ у хозяевъ-подрядчиковъ—въ деревню ко дворамъ снаряжаются. „На Казанску у хозяевъ и пузатая мошна худѣетъ, а у работника—тощая толстѣетъ!“—говоритъ поговорка, приуроченная къ этому обычаю. „И радъ-бы хозяинъ поприжать батрака, да Казанска—на дворѣ, она — Матушка — всей рядѣ голова!“; „Не обсчитывай, рядчикъ, подряженаго: Казанска молчитъ, да все видитъ, все Богу скажетъ!“; „Потерпи, батракъ, и у тебя на дворѣ Казанска будетъ!“—вторятъ ей другія, выношенные въ сердцѣ народной жизни.

Служать 22-го октября по церквамъ молебень за молебномъ—все заказные, потовою батрачьей копѣйкою оплаченные: собирается домой приканчивающій свой промыселъ пришлый людъ, благословляется во храмъ Божиимъ въ путь-дорогу. „Безъ Бога—не до порога!“; „Выйдешь, не благословясь,—добра не жди!“; „Помолится батюшка-попъ, сохранить и Господь-Богъ!“—гласитъ старина стародавняя устами памятующихъ ея завѣты, держащихся за нее людей. Существуетъ и у наемщиковъ-подрядчиковъ обычай служить молебны на Казанскую—благодарственную дань приносить Богу за благополучный исходъ работы. „Въ комъ есть Богъ—у того есть и стыдъ!“; „Обидящимъ Богъ судія!“; „Даетъ Богъ и цыгану!“; „У Бога—милости много!“; „Отъ Бога отказаться—къ сатанѣ въ работники назваться!“; „У Бога-свѣта съ начала свѣта все приспѣто!“; „Утромъ—Богъ и вечеромъ—Богъ, съ Богомъ началъ, съ Богомъ и конецъ верши!“—говоритъ честной православный людъ, твердо уповающій на Бога да на свою Небесную Заступницу предъ Его грозной правдою.

Многіе уходящіе съ весны до поздней осени изъ своихъ деревень въ отхожія промыслы крестьяне спѣшатъ воротиться къ назимней Казанской домой. На-радостяхъ варятся по деревнямъ пива къ этому урочному дню, веселится-гуляетъ сбросившій съ плечъ тяготу подневольнаго наемнаго труда выносливый рабочій людъ. Звенитъ веселымъ перезвономъ, гуль-

ливой вольною разливается безшабашная-разгульная пѣсня отдыхающихъ работниковъ.

По многимъ мѣстамъ 22-го октября—мѣстные храмовые („престольные“) праздники, справляемые всѣмъ приходомъ, по завѣту отцовъ-дѣдовъ. „Одинъ день престоль справляли, на другой опохмѣль держали, на третій— снова здорово!..“—подсмѣивается деревня надъ неумѣренными любителями веселого-похмѣльнаго праздничанья. „Сегодня—праздничали, завтра—праздничать станемъ, послѣ завтра—зубы на полку!“, „То и не праздникъ, какъ никто не обопьется!“—приговариваютъ степенные люди.

Смѣтливъ торговый человекъ, знаетъ—когда у кого деньга шевелится въ карманѣ, на вольную волю просится: наѣзжаютъ на Казанскую торгоши въ праздничующія села, раскидываютъ кибитки съ товарами, палатки ставятъ, бабъ-мужиковъ въ соблазнъ вводятъ, на расходъ наводятъ... Веселый-праздничный человекъ—и то, чего не надо, купить: торгошъ уговорить съумѣеть, твердо помнить онъ свое правило—„Не обманешь, не продашь!“ Знаетъ онъ, проныра, какими прибаутками заставить разгулявашаго мужика подороже дать. „Не по купцу товаръ,“—скажетъ,—„купило-то видно, притупило!“ Не мало найдется у него въ запасѣ и другихъ подходящихъ красныхъ словечекъ, въ-родѣ: „Купилъ бы село, да въ карманѣ голо! Завель-бы вотчину, да купило скорчило! Купильце, что тонкое шильце—какъ-разъ ему носокъ отломишь!“ и т. д.

Среди пѣсень, распѣваемыхъ объ эту пору по деревенской Руси—свадебныхъ и всякихъ иныхъ, можно въ глуши, сохраняющей дольше другихъ мѣсть память о старинѣ, услышать и теперь стародавнее пѣсенное сказаніе о взятіи Казанскаго царства. Пѣсенники-сказатели неизмѣнно приурочиваютъ его ко дню Казанской. „Среди было Казанскаго царства что стояли бѣлокаменны палаты, а изъ спальни бѣлокаменной палаты ото сна тутъ царица пробуждалася, царица Елена Симеону царю она сонъ рассказывала...“—начинается эта простодушно-наивная пѣсня, не мало, впрочемъ, погрѣшающая передъ правдою былого. Далѣе слѣдуетъ самый рассказъ обо снѣ царицы: „А и ты встань, Симеонъ царь, пробудися! Что ночесъ мнѣ царицѣ мало спалося, въ сновидѣнницѣ много видѣлося; какъ отъ сильнаго Московскаго царства кабы сизой орлице вострепенулся, кабы грозная туча подымалась, что на наше вѣдь царство наплывала!“... Сонъ, по пѣснѣ, оказывается вѣщимъ. Въ то самое время, когда царица рассказывала его царю,—„изъ того-ли изъ сильнаго

Московскаго царства подымался великій князь московскій а Иванъ, сударь, Васильевичъ, прозритель, съ тѣми-ли пѣхотными полками, что со старыми славными казаками. Подходили они подкопью подъ Булатъ-рѣку, подходили подъ другую подъ рѣку подъ Казанку, съ чернымъ порохомъ бочки закатали, а и подъ гору ихъ становили, подводили подъ Казанское царство; воску яраго свѣчу становили, а другую вѣдь на полѣ-лагерьѣ: еще на полѣ та свѣча сгорѣла, а въ землѣ-то идетъ свѣча тишѣя. Воспалился тутъ великій князь московскій, князь Иванъ, сударь, Васильевичъ, прозритель, и зачалъ канонеровъ тутъ казнити. Что началась отъ канонеровъ измѣна, что большой за меньшаго хоронился, отъ меньшаго ему, князю, отвѣта нѣту; еще тутъ-ли молодой канонеръ выступался:— „Ты, великій, сударь, князь московскій! Не вели ты насъ, канонеровъ, казнити: что на вѣтрѣ свѣча горитъ скорѣя, а въ землѣ-со свѣча идетъ тишѣя!“ Призадумался князь московскій, онъ и сталъ тѣ-то рѣчи размышляти собою, еще какъ бы это дѣло оттянути. Они тѣ-то рѣчи говорили, догорѣла въ землѣ свѣча воску яраго до тоя-то бочки съ чернымъ порохомъ,—принималися бочки съ чернымъ порохомъ, подымало высокую гору, расбросало бѣлокаменны палаты. И бѣжалъ тутъ великій князь московскій на тое-ли высокую гору, гдѣ стояли царскія палаты. Что царица Елена догадалась, она сыпала соли на ковригу, она съ радостью московскаго князя встрѣчала, а того-ли Ивана, сударь, Васильевича прозрителя; и за то онъ царицу пожаловалъ и привелъ въ крещеную вѣру, въ монастырь царицу постригли. А за гордость царя Симеона, что не встрѣтилъ великаго князя онъ, и вынялъ ясны очи косицами; онъ и взялъ съ него царскую корону и снялъ царскую порфиру. Онъ царской костью въ руки принялъ“... Пѣсня кончается совершенно неожиданнымъ, довольно далекимъ отъ лѣтописной правды, четверостишемъ:

„И въ то время князь воцарился
И насѣлъ въ Московское царство,
Что тогда-де Москва основалася;
И съ тѣхъ поръ великая слава!“...

Очевидно, первообразъ этого сказанія, нашептаннаго народу памятью былого, съ теченіемъ времени подвергся постороннимъ наслоеніямъ и слился съ ними, утративъ свою первоначальную точность и ясность.

26-е октября—день памяти святого великомученика Дмитрія Солунскаго, Дмитріевъ день. Съ этимъ назимнимъ праздни-

комъ соединено въ народномъ представленіи воспоминаніе о приснопамятной Куликовской битвѣ и поминаваніе павшихъ во время нея на полѣ брани. „Дмитровская суббота“ установлена въ церковно-православномъ обиходѣ, по почину преподобнаго Сергія, Радонежскаго чудотворца, великимъ княземъ Дмитріемъ Донскимъ ⁷⁷). Царь Иванъ Васильевичъ Грозный подтвердилъ особымъ указомъ святоотческое постановление и „повелѣлъ пѣть панихиды и служить обѣдни по всѣмъ церквамъ и общую милостыню давать, и кормы ставить“ въ этотъ день.

Дмитріевъ день, празднуемый не только въ честь св. Дмитрія Солунскаго, но и въ память великаго князя Дмитрія Донскаго—слыветъ по многимъ мѣстамъ народной Руси за „дѣдову родительскую“. Эта послѣдняя начинается съ 26-го дня октября-назимника и кончается черезъ семь сутокъ. „На дѣдовой недѣлѣ и родители вздохнуть!“—говорятъ въ народѣ, твердо памятуящемъ о томъ, что жизнь не кончается здѣсь—на землѣ, а въ таинствѣ смерти переходитъ въ безконечность.

„Живы родители—почитай, а умерли—поминай!“, „Не вѣкъ жить, а вѣкъ поминать!“, „Покойника не поминай лихомъ, а добромъ—какъ хочешь!“, „Знай своихъ, поминай—нашихъ!“, „Знай нашихъ, поминай—своихъ!“, „Кто чаще поминаетъ, тотъ меньше согрѣшаетъ!“, „Застанешь—пиво пьешь, не застанешь—пивцомъ помянешъ!“, „Какова была Маланья—таково ей и поминанье!“, „Добромъ поминай, зло забывай!“, „Земля навозъ помнить, а человекъ—кто его кормить!“. Такими и многимъ-множествомъ другихъ ходячихъ словъ свидѣтельствуетъ народъ о томъ, какъ онъ помнитъ и чѣмъ поминаетъ отошедшихъ въ иной міръ.

„Какъ родители жили, такъ и намъ велѣли!“—можно услы-

⁷⁷) Димитрій Іоанновичъ Донской—великій князь, сынъ вел. кн. Іоанна II-го Іоанновича—родился въ 1350-мъ г., остался по смерти отца (†1359 г.) малолѣтнимъ, вступилъ на престолъ, послѣ продолжительныхъ смуть, въ 1362-мъ году. Во внутренней политикѣ онъ явился усмирителемъ мятежныхъ удѣльныхъ князей которыхъ началъ приводить подъ свою власть, а по отношенію къ татарамъ проявилъ самостоятельность, показавшую имъ, что поработенію Руси пришелъ конецъ. Послѣ цѣлаго ряда мелкихъ побѣдъ надъ татарами, онъ нанесъ имъ 8-го сентября 1380 года, между рѣками Непрядвой и Дономъ, на Куликовомъ полѣ, полное пораженіе,—причемъ погибъ даже бѣжавшій со своими разбитыми полчищами ханъ Мамай. Хотя въ 1381-мъ г. наслѣдовавшій Мамаю Тохтамышъ и взялъ приступомъ Москву, но духъ народа уже воскресъ—послѣ почти двухвѣкового омертвенія, и заря самостоятельной государственной жизни, занявшаяся на Куликовской битвѣ, уже не погасала надъ Русью. Кончина вел. кн. Дмитрія, прозваннаго за свою побѣду надъ татарами Донскимъ, послѣдовала въ 1389-мъ году.

шать всюду по свѣтлорусскому раздолью привольному мудрое слово народное. „Родители родили—себя поминать дѣтокъ благословили!“—прибавляютъ охочіе до поговорокъ старыя люди: „Русскій человекъ безъ родни не живетъ!“, „Мужикъ своей роднею крѣпокъ!“, „Бѣдная родня краше чужого богатства!“, „И велико поле, да не родимое!“, „Родительское благословеньице—лучшее имѣньице!“, „Помянешь родителей—на сердцѣ легче станетъ!“, „Тотъ круглый сирота—у кого и помянуть некого!“

Дмитровская родительская является одною изъ наиболѣе почитаемыхъ въ народѣ. Православною Церковью установлено семь вселенскихъ панихидъ. Первая изъ нихъ приходится на вечеръ пятницы предъ Филипповымъ постомъ, вторая падаетъ на субботній день предъ Рождествомъ Христовымъ, третья справляется въ мясопустную недѣлю, четвертая—15-го марта, пятая—въ субботу предъ Духовымъ днемъ, шестая—въ субботу, предшествующую Петрову дню, седьмая—въ субботу предъ Успеніемъ Пресвятой Богородицы. Но, — какъ справедливо замѣчаетъ И. М. Снегиревъ, — главнѣйшія народныя поминки совершаются въ другіе дни, а именно: на Радоницу, въ Троицкую субботу и въ Дмитріевъ день. Послѣднія поминки совпадаютъ съ германскимъ праздникомъ „Всѣхъ святыхъ“.

Изобильная всякой снѣдью назимняя пора не мало способствуетъ тому, чтобы эта „родительская“ справлялась, что называется, честь-честью. Приготавливается къ ней деревеньщина-посельщина, словно къ какому великому празднику: пива варить, меда сытить, пироги печеть, кисели заготавливаетъ разные—поминальщикамъ да причту церковному на угощеніе, усопшимъ родителямъ-сродственникамъ на воспоминъ души. „Не всегда поповымъ ребятамъ Дмитріева суббота!“—приговариваетъ деревня, вспоминая объ этомъ поминальномъ разносолѣ богатомъ.

Еще „Кормчая Книга“⁷⁸⁾ ставила строгій запретъ на поминальныя пиршества, но до сихъ поръ въ повсемѣстномъ обычаѣ въ народной Руси устраивать попойки-угощенья на могилкахъ въ особо установленные для этого дни. До нашего времени соблюдается старинное обыкновение сходиться въ поло-

⁷⁸⁾ Кормчая Книга—сборникъ церковныхъ правилъ и относящихся непосредственно къ Церкви государственныхъ узаконеній, принятый русской церковною іерархіей отъ Византіи и подвергавшійся у насъ цѣлому ряду дополненій, исправленій и измѣненій сообразно съ особенностями русскаго быта. Въ послѣдній разъ она напечатана была въ 1816-мъ году. Съ 1839-го года ее замѣнила „Книга правилъ“, изданная Св. Синодомъ.

женный срокъ на кладбища и воздавать честь-помянь покойникамъ. До сихъ поръ,—хотя-бы на Дмитриевъ-день,—всюду можно услышать по деревенскимъ погостамъ жалобные причеты, надъ могилами всюду можно увидѣть поминальщиковъ, порою превыше всякой мѣры совершающихъ возліаніе въ честь дорогихъ и близкихъ имъ усопшихъ, почивающихъ въ ковѣчнымъ сномъ въ любовныхъ объятіяхъ Матери-Сырой-Земли.

Русскій пахарь-народъ зачастую, начиная за здравіе, сводитъ на упокой,—но бываетъ (и нерѣдко), что наоборотъ—начавъ поминаньемъ сводитъ на ликованье-здравствованье. Къ Дмитриеву дню съ полной справедливостью можно отнести послѣднее. Въ этотъ праздникъ мертвыхъ можно наблюдать въ народной Руси „радованіе“ живыхъ. Это обстоятельство вытекаетъ непосредственно изъ вѣрованій народа въ то, что тамъ—за гробомъ—радуются всѣ обремененные, недугующіе, страждущіе въ здѣшней земной жизни, всѣ опечаленные судьбою, всѣ обездоленные въ этомъ брennomъ, переходящемъ мірѣ.

Къ Дмитриеву дню остается еще отъ назимней Казанской пиво недопитое, доливаютъ, довариваютъ его, не жалѣючи ни хмѣля, ни солода, бабы-хозяйки, привычныя пивоварки. Поминай живыхъ добромъ, а покойничковъ зеленымъ виномъ! — гласитъ старинное изреченье. „Зелено-вино—пиву родной братъ!“ — поясняетъ другое. „Безъ пива, да безъ вина—и не поминки!“ — договариваетъ третье, приходящееся сродни имъ-обоимъ. „Пей, не жалѣй—поминай веселѣй!“ (Кого чѣмъ, а русскаго мужика только и помянуть что пивомъ да блинами!“), „Провожай со слезами, поминай въ радости!“ „Съ веселыми поминальщиками и покойничкамъ веселѣ!“ „Тяжела земля, а какъ обольешь ее пивцомъ да винцомъ—все полегчаетъ!“ — сыплеть красными словцами тороватая молвь народная.

Всѣ новобрачные, успѣвшіе повѣнчаться въ октябрѣ-свадебникѣ, считаютъ непремѣннымъ долгомъ навѣстити о Дмитриевѣ днѣ могилки своихъ родныхъ. При этомъ самой новобрачною пекутся особые поминальные пироги, которые, по старому завѣту сѣдой старины, оставляются на могилкахъ—въ даръ покоящимся въ нихъ. Нищая братія, твердо памятующая всѣ поминальные дни, подбираетъ эти дары и поминаетъ добрымъ словомъ какъ щедрыхъ поминальщиковъ, такъ и тѣхъ—ради кого пеклись доставшіяся голодному брюху сытныя снѣдки. Хотя и оговариваетъ русскій народъ охотниковъ до даровыхъ поминальныхъ снѣдѣй поговорками, въ родѣ — „Отдай нищимъ, а самому нѣ-съ-чѣмъ!“; „Суму нищаго не

наполнишь!“ „Всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!“—но онъ же замѣчаетъ—въ памятникахъ своей вѣковой мудрости, что: „Нищій—человѣкъ Божій!“ „Нищему подать—лишній грѣхъ съ души снять!“ „Подашь нищему—Господь вернетъ сторицею!“ „Накормишь голоднаго—въ раю сытъ будешь!“ „Молитву нищаго скорѣ Богъ услышитъ!“ и т. п.

„Дмитріевъ день покойнички на Русь ведутъ“,—говорятъ въ народѣ, — „покойнички ведутъ, живыхъ блюдутъ“. „Живой, о живомъ думай, да про мертвыхъ не забывай!“—гласитъ народная мудрость устами хранителей своихъ стародавнихъ словесныхъ завѣтовъ. (Потому-то Дмитріева суббота и зовется „поповской работою“: приходится не мало панихидъ отслужить на могилкахъ честнымъ отцамъ, не мало блиновъ-пироговъ собрать, не малой деньгою разживиться... Любить угостить и всегда русскій мужикъ-деревеньщина своихъ „батюшекъ“,—какъ же ему обнести ихъ угощеньемъ въ святъ-Дмитріевъ день, когда, по пословицѣ—„и воробей подъ кустомъ пиво варить“.

Къ этому поминальному празднику приурочиваются народнымъ опытомъ и свои особыя—ему одному присущія, съ нимъ однимъ связанныя—примѣты. „Если Дмитріевъ день будетъ погоду, то и Пасха будетъ теплая!“—говорятъ въ Тульской губерніи. „Дмитріевъ день—перевоза не ждетъ!“—гуторятъ въ симбирскихъ деревняхъ. („Дмитрій на снѣгу—весна поздняя!“—примѣчаютъ рызаныцы, не переча приведеннымъ словамъ своихъ сородичей.)

У каликъ-перехожихъ, убогихъ пѣвцовъ, смиренномудрыхъ хранителей древле-пѣсеннаго богатства народного, отмѣченъ святъ-Дмитріевъ день наособицу въ цѣломъ рядѣ любопытныхъ стиховъ-сказаній.

Въ Пермской и Новгородской губерніяхъ подслушанъ пытливыми собирателями пѣсенной старины любопытный стихъ о св. Дмитріѣ Солунскомъ,—стихъ, очевидно сложившійся во времена, когда еще свѣжа была въ народной Руси память о Дмитріѣ Донскомъ—великомъ князѣ, богатырскій обликъ котораго слился здѣсь съ его святымъ. „Сопущались съ небесъ два ангела да два архангела ко Дмитрію Солунскому свѣту чудотворцу“,—запѣвается-зачинается этотъ стихъ. „Гой еси, нашъ батюшка, Дмитрій Солунскій чудотворецъ!“—возглашаютъ ангелы-архангелы, обращаясь къ святому великомученику: „И хочуть твой градъ весь повызорить и всѣхъ людей твоихъ повыгубить, и Божіи дома на дымъ пустить!“... Отвѣчаетъ небеснымъ вѣстникамъ „свѣтъ-чудотворецъ“: „И не дамъ свой городъ я повызорить, и не дамъ своихъ людей

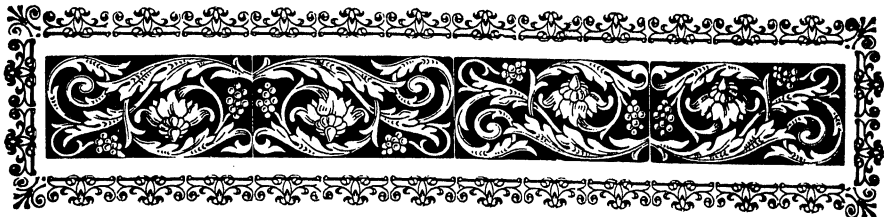
всѣхъ повыгубить, и Божіи церкви на дымъ пустить!“ Но,— продолжаетъ сказаніе: „отколь взялся Мамай невѣрный, безбожный, невѣрный, нечестивый, и принималъ онъ силы множество. Увидаль Дмитрій Солунскій свѣтъ чудотворецъ: имаеть онъ себѣ дорогого коня, покидаеть онъ ковры сорочинскіе, беретъ онъ копье булатное, выѣзжаетъ къ Мамаю невѣрному, нечестивому: по ордѣ-то онъ гуляетъ, и сколько онъ копьемъ колетъ, а вдвое-втрое конемъ топчетъ. И пригубилъ онъ силушки множество—три тьмы, три тьмы и четыре тысячи.“... По словамъ сказанія, нечестивый Мамай „немного барышу получилъ“, всего только—„двухъ русскихъ сестеръ въ полонъ залучилъ, увозилъ онъ къ себѣ да во палатушки“. Здѣсь обращаетъ онъ къ нимъ со слѣдующей рѣчью: „Ой, вы, гой еси, двѣ русскія сестры полоняночки! Вы скажите мнѣ про могучаго богатыря: какой есть у васъ могучій богатырь, сколько онъ у меня силушки погубилъ, выпишите мнѣ и вырисуйте мнѣ на коврѣ на шелковомъ!“ И вотъ, — продолжаетъ стихъ, — „онѣ пишутъ и рисуютъ съ утра до вечера, съ вечера да до полуночи; со полуночи горько плачяся, Богу помолилися, на коверъ онѣ спать ложилися:—Ужъ ты, ой еси, батюшко, Дмитрій Солунскій, свѣтъ чудотворецъ нашъ! И не прогнѣвайся на насъ на грѣшнихъ здѣсь, и не изъ волюшки пишемъ, изъ-подъ неволюшки!“ Заснули „сестры-полоняночки“, а въ это время:

„... поднималася вьюга-пáдорога,
Подымала со палатъ верхи,
Выносило-то двухъ русскихъ сестеръ,
Двухъ сестеръ да полоняночекъ,
И уносило ко Дмитрію Солунскому,
Свѣту чудотворцу да во Божію церкву.
Попутру онѣ да пробудилися,
Димитрію Солунскому да помолилися...“

П. В. Кирѣвскимъ записано въ селѣ Репьевкѣ Сызранскаго уѣзда, Симбирской губерніи, другое, болѣе пространное пѣсенное сказаніе, родственное съ этимъ по содержанию, но отличающееся совершенно самобытными подробностями. Все оно носитъ на себѣ чисто-русскій отпечатокъ. „Съ перваго вѣку-начала Христова не бывало на Салымъ-градѣ никакой бѣды ни погибели. Идетъ насланіе Божіе па Салымъ-градѣ, идетъ невѣрный Мамай-царь, свѣчетъ онъ и рубить, и во плѣнъ емлетъ, просвѣщенныя соборныя церкви онъ раззоряетъ...“—говорится въ началѣ этого сказанія: „У насъ было во градѣ во Салымѣ во святой соборной во Божьей

во церкви, припочиваль святыи Димитрій чудотворецъ. Сосылалъ Господь со небесъ двухъ ангеловъ Господнихъ, два ангела Христова ликъ ликовали святому Димитрію Салымскому чудотворцу, рекутъ два ангела Христова Димитрію Салымскому чудотворцу:—О, святыи Димитрій Салымскій чудотворецъ! Повелѣлъ тебя Владыко на небеса взяти, хочеть тебя Владыко исцѣлити и воскресити, а Салымъ-градъ разорити и побѣдити: идетъ насланіе великое на Салымъ-градъ, идетъ невѣрный Мамай-царь...“ Св. Димитрій, въ отвѣтъ ангеламъ, говоритъ, что „не быти Салыму-граду взяту, а быти Мамаевой силѣ побиту...“ Вслѣдъ за этимъ появляется въ повѣствованіи новое дѣйствующее лицо—старецъ Онуфрій. Стоялъ онъ на молитвѣ, и было ему видѣніе, видѣлъ онъ св. Димитрія, съ ангелами, услышалъ онъ ихъ рѣчи,—пошелъ старецъ о нихъ „по Салыму-граду объявляти“: „Вы гой еси, князя-бояре, воеводы и митрія-приполиты, цопы-священники и игумны и всѣ православные христіане! Не сдавайте вы Салыма-града и не покидайте: не быти нашему Салыму-граду взяту, а быти Мамайской силѣ побиту!“... И вотъ,—продолжаетъ безымянный сказатель-пѣснотворецъ,—„у насъ во градѣ, во Салымѣ, поутру было ранымъ-ранехонько, не высылка изъ Салыму-граду учинилася: единъ человекъ изъ-за престола возставаеть, пресвѣтлую онъ ризу облакаетъ, единъ онъ на бѣла осла садится, единъ изъ Салыму-граду выѣзжаетъ, единъ невѣрную силу побѣждаетъ, сѣчетъ онъ и рубить, и за рубежъ гонить: побѣдилъ онъ три тмы и три тысячи невѣромой силы, да и смѣту нѣтъ; отогналъ онъ невѣрнаго царя Мамайа во его страну въ порубежную“... Царь Мамай захватилъ,—какъ и въ первомъ стихѣ,—двухъ сестеръ-полоняночекъ; увезъ ихъ онъ въ свою землю,—привезъ—выспрашиваетъ о невѣдомомъ богатырѣ. „Это не князь, не бояринъ и не воевода, это—нашъ святой отче Димитрій Салымскій чудотворецъ!“—держатъ ему отвѣтъ полонянки. Приказываетъ имъ „злодѣй, невѣрный царь Мамай“ вышити ликъ чудотворца на коврѣ: „коню моему на прикрасу, мнѣ царю на потѣху, предайте лицо его святое на поруганье!“ Тѣ отказываются. Мамай „опалился“; вынимаетъ онъ, злодѣй, „саблю мурзавецкую“, хочеть сестрамъ голову съ плечъ снести. Убоялись бѣдныя полонянки, соглашаются; согласясь, за работу принимаются: „святое лицо на коврѣ вышивали, на небеса позирали, горючія слезы проливали, молились онѣ Спасу, Пречистой Богородицѣ и святому Димитрію Салымскому чудотворцу“... Утомились работою полонянки; утомясь—„пріуснули“. Въ это время—„по Божьему все повелѣ-

нью и по Димитрія святому моленю возставали сильные вѣтры, подымали коверъ со двумя дѣвицами, подносили ихъ ко граду ко Солуну, ко святой соборной Божьей церкви, ко празднику Христову, ко святому Димитрію Солунскому чудотворцу: положило ихъ святымъ духомъ за престоломъ“. Пришелъ поутру пономарь въ церковь, увидалъ спящихъ на коверѣ сестеръ, побѣжалъ къ священнику—съ вѣстью о случившемся. „Попъ-священникъ отъ сна возставаетъ, животочною водой лице свое умываетъ, на ходу онъ одежду надѣваетъ, грядетъ онъ скоро во святую соборную церковь, до Господняго престола доступаетъ, животворящій крестъ съ престола принимаетъ“,—начинаетъ сестеръ-дѣвицъ будить, святою водой кропить. Просыпаются бѣдныя полонянки,—думаютъ, что будить ихъ „злодѣй-собака, невѣрный царь Мамай“, говорятъ, отвѣтъ держать, что-де исполнили его царскій наказъ-урокъ: вышили на коверѣ ликъ св. Димитрія чудотворца. Прослезился священникъ, гляючи на русскихъ дѣвицъ-полоняночекъ, сказалъ имъ, что онъ не Мамай-царь, а „священникъ, отецъ духовный“,—спрашиваетъ ихъ: какъ онѣ очутились въ алтарѣ за престоломъ. „Батюшка, священникъ, отецъ духовный!“—отвѣчаютъ ему сестры: „Мы сами про то не вѣдаемъ..... Звать, по Божьему повелѣнію, по Димитрія святаго моленю, сама намъ Божія церква отмыкалась, и сами намъ двери отверзались, сами намъ за престоломъ свѣчи зажигались!“ Велѣлъ тогда священникъ ударить во всѣ колокола, возвѣститъ городу о совершившемся чудѣ. И—„услышали по всему городу, по Солуну, князья-бояре, воеводы и митрии-приполиты, попы-священники, игумны и всѣ православные христіяне; собирались они въ соборную Божию церковь, подымали они иконы мѣстныя, служили они молебны честныя, молились они Спасу, Пречистой Богородицѣ и святому Димитрію Солунскому чудотворцу“... Этимъ и заканчивается сказаніе.



XLV.

Ноябрь-мѣсяць.

За назимникомъ—зима; за октябремъ-свадебникомъ—ноябрь-мѣсяць, по свѣтлорусскому простору идетъ, крѣпкими снѣговыми сугробами села-деревни огораживаетъ, буранами-мятелями заносить всѣ пути-дороги торѣныя. Идетъ ноябрь, мужика-деревеньщину знобитъ, землю замораживаетъ, рѣки-озера въ ледяныя цѣпи заковываетъ. „Холоденекъ батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодилъ!“—говорятъ въ народѣ: „Ноябрь—сентябревъ внукъ, октябревъ сынъ, зимѣ родный батюшка!“... „Въ ноябрѣ—чѣмъ-чѣмъ, а стужею всѣхъ богачей одѣлать можно, да еще и на всю нищую братію останется!“ „Ноябрьскими заморозками декабрьскій морозъ торовать!“ „Кто въ ноябрѣ не зябнетъ, тому и въ крещенскую стужу не замерзнуть!“ „Тепло старику и въ ноябрѣ—на горячей печкѣ!“—приговариваетъ любящій красное слово, памятующій старинныя присловья честной людъ православный.

Имя ноября, какъ и всѣхъ другихъ его братьевъ-мѣсяцевъ, занесено на Русь изъ Царь-града, озарившаго темноту народную свѣтомъ Христовой вѣры. Звался онъ въ старыя, до-Владиміровы, годы въ русскомъ народѣ—„груднемъ“, листономъ студенымъ прозывался. Славянскіе сосѣди древнихъ пращуровъ народа-пахаря величали эту зимнюю пору—каждый на свой ладъ: у чеховъ со словаками былъ онъ „листопадомъ“, у иллирійцевъ—„студенемъ“, у сербовъ—„млошнымъ“ и „подзимнымъ“, у вендовъ—„гнильцемъ“ и „еднаистникомъ“, у кроатовъ—„вшешвечакомъ“. Одиннадцатый по счету теперь, слылъ онъ въ старопрежнемъ русскомъ церковномъ укла-

дѣ за девятый; съ XV-го по XVIII-й вѣкъ приходилъ, по изволенію властей-укладчиковъ, третьимъ въ году; съ 1700 года всталъ на свое настоящее мѣсто, на которомъ стоитъ онъ и во всѣхъ остальныхъ ближнихъ и дальнихъ царствахъ-государствахъ.

Починъ ноябрю-мѣсяцу кладеть „зимній Кузьма-Демьянъ“, день, посвященный Православной Церковью памяти святыхъ безсребренниковъ Косьмы и Даміана. Величается-зывается этотъ день (1-е ноября) въ народной Руси больше всего „Кузьминками“. Кузьминки—первый зимній деревенскій праздникъ. Въ изустномъ простонародномъ мѣсяцесловѣ, переходящемъ по наслѣдству отъ старыхъ къ малымъ, отведено этому празднику свое почетное мѣсто, окруженное причудливо изукрашеннымъ тыномъ-частоколомъ всякихъ сказаній, повѣрій и обычаевъ, связанныхъ и съ первыми, и съ послѣдними.

Святые Косьма и Даміанъ ⁷⁹⁾ въ воображеніи русской деревни являются слившимися въ одинъ нераздѣльный обликъ „Божьяго кузнеца—Кузьмы-Демьяна“. На этотъ, близкій суевѣрному народному сердцу, обликъ перенесены нѣкоторыя черты, присваивавшіяся встарину всемогущему богу - громовнику—Перуну, златоусому Бѣлбожичу, представленіе о которомъ расплылось по многому-множеству иныхъ, живущихъ въ народной Руси, образовъ. Въ одномъ изъ старинныхъ русскихъ сказаній Кузьма-Демьянъ, кующій сохи, бороны и плуги на потребу народу православному, въ потѣ лица добывающему хлѣбъ свой, вступаетъ въ борьбу съ „великимъ змѣемъ“. Трудился кузнецъ Божій въ своей кузницѣ и слышалъ онъ, —гласить это сказаніе, —летить змѣй (диаволь). Заперся онъ, да не спасутъ отъ змѣя великаго никакіе затворы: подлетѣлъ змѣй, опустился-упалъ на-земь, возговорилъ зычнымъ голосомъ человѣческимъ, —просить, лукавый, отворить двери. Не отомкнулъ Божій кузнецъ затворовъ, и началъ онъ лизать языкомъ своимъ дверь желѣзную. Но, какъ только пролизалъ змѣй дверь, ухватилъ его Кузьма-Демьянъ за языкъ желѣзными клещами. Взмолился „великой змѣй“ Божьему кузнецу — отпустить просить, да не туть-то было! Запретъ его тотъ въ только-что выкованный

⁷⁹⁾ Святые Косьма и Даміанъ—христіанскіе мученики, братья, подвизавшіеся во второй половинѣ III-го вѣка, близъ Рима. Оба они были врачами и прославлены за свое безкорыстіе именемъ безсребренниковъ. Вѣнецъ мученическій получили они отъ руки врача-язычника, позавидовавшаго имъ за милость, оказанную выздоровѣвшимъ по ихъ молитвѣ императоромъ Каринномъ (въ 284-мъ г.).

плугъ и поѣхалъ по степямъ, по пустошамъ, — пропахалъ на немъ, змѣѣ, всю землю отъ моря и до моря. Умаялся лукавый, взмолился онъ ко святому — просить испить воды изъ Днѣпра-рѣки; не внемлетъ змѣю кузнецъ-пахарь — знай гонить-погоняетъ его цѣпью желѣзною. И только у Чернаго моря подпустилъ Кузьма-Демьянъ великаго змѣя къ водѣ: припало къ ней чудовище, пило-пило, подъ-моря выпило, напившись — лопнуло. А борозды, проведенныя плугомъ Божьяго кузнеца, пахавшаго на нечистой силѣ, и до сихъ поръ виднѣются по Приднѣпровью, слывуть онѣ въ окрестномъ народѣ „Валами Змѣиными“.

Древнеязыческій Перунъ, по словамъ пытливыхъ изслѣдователей русской народной старины, также представлялся воображенію нашихъ пращуровъ побѣждающимъ крылатыхъ огненныхъ змѣевъ, запрягающимъ ихъ въ плугъ и бороздящимъ небесныя поля вплоть до земли. Онъ — или убивалъ ихъ своею молніеносной палицею, или они сами опивались морской воды и, лопнувъ, проливали ее на землю, являясь олицетвореніемъ зимнихъ тучъ, разорванныхъ первымъ весеннимъ дождемъ. Въ другомъ сказаніи Кузьма-Демьянъ убиваетъ наповаль своимъ богатырскимъ молотомъ змѣиху, „всѣмъ змѣямъ мать“, раззѣвавшую пасть отъ сырой земли до синяго неба бездоннаго. Это народное слово прямо вытекаетъ изъ преданія о Перунѣ-громовержцѣ, раззѣвающимъ своимъ молотомъ (молніей) грозовую тучу. Можно отыскать связь его и съ индійскимъ сказаніемъ о громадной змѣѣ-Вритрѣ, пораженной на-смерть палицею Индры. Есть сказанія, утверждающія, что Кузьма-Демьянъ — кузнецъ Божій — не только куетъ сохи, бороны и плуги, — но даже научилъ людей земледѣльческому труду, за что и окруженъ особымъ почетомъ въ памяти народной. Въ малороссійскихъ сказаніяхъ этотъ подвигъ приписывается то самому Творцу міра, то Его Божественному Сыну. По однимъ — „въ поли, поли плужокъ ходить, за тимъ плужкомъ Господь; Матерь Божа исти носить“; по другимъ — Христа-пахаря сопровождають апостоль Петръ и Кузьма-Демьянъ.

По наблюденіямъ деревенскихъ погодовѣдовъ, пытливыми глазами присматривающихся къ жизни окружающей ихъ природы, со дня святыхъ Космы и Даміана заковывается зима и земли, и воды: „Кузьма-Демьянъ — съ гвоздемъ, мосты гвоздитъ“. На подмогу Кузьмѣ-Демьяну прилетаютъ съ желѣзныхъ горъ морозы.

„Не велика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю Святую Русь въ ней ледяныя цѣпи куются!“ — говоритъ народъ: „За-

куеть Кузьма-Демьянъ, до весны красной не расковать!“
 „Изъ кузьмодемьяновой кузницы морозъ съ горна идетъ!“
 „Не заковать рѣку зимѣ безъ Кузьмы-Демьяна!“ и т. п. Краснословы охочіе приговариваютъ при этомъ свои поговорки и о простыхъ кузнецахъ. Эти-послѣдніе слывятся въ поселской - деревенской крылатой молвѣ пьяницами. „Портной воръ, сапожникъ—буянъ, кузнецъ—пьяница горькая!“—гласить она, прибавляя къ этому: „Умудряетъ Богъ слѣпца, а чортъ кузнеца!“ „Для того кузнецъ и клещи куеть, чтобы рукъ не ожечь!“ „Не куеть желѣза молотъ, куеть—кузнецовъ голодь!“ „Кузнецу, что козлу—ведѣ огородъ!“ „У кузнеца—что стукнуль, то гривна!“ „У кузнеца—рука легка, была-бы шея крѣпка!“ „Кому Богъ ума не далъ, тому и кузнецъ не прикуеть!“ „Захотѣлъ отъ кузнеца угольевъ: либо пропиль, либо самому надо!“ „Не ищи у калашника дрожжей, у кузнеца лишникъ угольевъ, у сапожника сапогъ на ногахъ!“ „Кузнецъ Кузьма—безталанная голова!“ „Есть кузнецы, что по чужимъ сундукамъ куютъ (воры)!“

Святой кузнецъ Божій не только плуги да землю-воды куеть, а и свадьбы, недоигранныя въ октябрѣ - назимнигѣ, доковываетъ. Потому-то и воздается ему въ старинномъ народномъ свадебномъ стихѣ честь-честью:

„Тамъ шель Кузьма-Демьянъ
 На честной пиръ, на свадебку:
 Ты, святой-ли, Кузьма Демьяновичъ!
 Да ты скуй-ли-ка намъ свадебку,
 Ту-ли свадебку—неразрывную,
 Не на день ты скуй, не ва недѣлюшку,
 Не на май-мѣсяцъ, ни на три года,
 А на вѣки вѣковѣчныя,
 На все на жизнь неразстанную!“

Кузьминки—„курьи именины“, дѣвичій праздникъ. Собираются-готовятся къ этому дню дѣвицы красныя загодя, припасаютъ припасы всякіе на пиръ-бесѣду веселую. Зорко слѣдятъ передъ Кузьминками за своими куриными насѣстами да за птичнымъ хозяйствомъ домовитые люди, у которыхъ дворъ—что чаша полная. Съ давнихъ поръ во многихъ мѣстахъ ведется припасаться къ этой пирушкѣ дѣвичьей воровскимъ обычаемъ: ходятъ дѣвки да парни ночью, воруютъ по дворамъ курь, гусей, утокъ. И какъ ужъ ни оберегай хозяйскій глазъ свое добро, а ухитрится молодѣжь добыть себѣ на Кузьминки и курятинки, и гусятинки! Кѣмъ, когда и почему это заведено,—невѣдомо; а только всѣми отъ отцовъ-дѣдовъ знаемо, что изстари ведется.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приносятъ на Кузьмодемьяновъ день къ обѣднѣ бабы съ собою къ церкви куръ. „Курица—имянинница, и ей Кузьмѣ-Демьяну помолиться надо!“—можно услышать въ деревенской глуши объясняющія этотъ обычай слова: „Батюшка Кузьма-Демьянъ—куриный Богъ!“ Въ старые годы было въ обычаѣ приносить 1-го ноября куръ на боярскій дворъ. Съ челобитьемъ приносили ихъ крестьянки своей боярынь — „на красное житье“. Боярыня отдаривала за подарокъ лентами—„на убрусникъ“. Этихъ, челобитныхъ, куръ считалось за грѣхъ убивать - рѣзать: отдавались онѣ подь особое покровительство чествовавшихся въ этотъ день святыхъ. Даже яйца, которые онѣ несли, слыли болѣе здоровыми для пищи, чѣмъ другія—отъ простыхъ, не „челобитныхъ“, куръ.

Ко дню Кузьмы-Демьяна благочестивая старина завѣщала выполнять такъ называемыя „обѣтныя“ работы. Этимъ по ея словамъ, обезпечивается что обѣтъ будетъ угоденъ Богу. Встарину многія боярыни продавали на Кузьминки сработанное ихъ руками рукодѣлье, а деньги, вырученныя отъ продажи, раздавали нищимъ - убогимъ, — какъ - бы слѣдую святому подвигу святыхъ безсребренниковъ.

Въ „Народномъ дневникѣ“ записанъ любопытный обычай, къ настоящему времени совершенно уже успѣвшій исчезнуть съ лица Земли Русской. Въ день Кузьмы-Демьяна, по этому свидѣтельству, въ селеніяхъ Мышкинскаго уѣзда, Ярославской губерніи, поселяне убивали кочета въ овинѣ. Старшій въ домѣ выбиралъ кочета и самъ отрубалъ ему голову топоромъ. Ноги кочетиныя бросали на избу—для того, чтобы водились куры, а самого кочета варили и за обѣдомъ съѣдали всюю семьей. Этотъ обычай вывелся, но всюду и теперь справляетъ посельщина-деревеньщина веселыя Кузьминки; рѣдко гдѣ не пьютъ 1-го ноября и „козмодемьянскаго пива“.

2-го ноября—„Акундинъ разжигаетъ овинъ, Питасій—солнце гасить“. Всюду, гдѣ уродилось хлѣба вдоволь, въ этотъ день дымятся овины, молотьба по гумнамъ впервые готовится на зимнемъ ледяномъ току. Пройдутъ за молотьбою двое ноябрьскихъ сутокъ; за ними—день св. Галактіона мученика. О святомъ Галактіонѣ ходитъ въ народной Руси любопытное сказаніе. „У Галактіона мученика, святаго православнаго родителя были злые ѡллины невѣрные“,—начинается это выдержанное съ начала до конца въ строгомъ повѣствовательномъ складѣ сказаніе и продолжается: „Выбираютъ они (родители) Галактіону обручницу юную, что тое-ли свѣтъ-Епистимію, дѣ-

ву красную. Галактіонъ святой волѣ родителей не преслушалъ, обручается онъ съ Епистиміею кольцомъ желѣзнымъ, по тому-ли по обычаю злу эллинску поганому. Ужь и сидить-то Галактіонъ съ Епистиміей, своей обручницей, говоритъ онъ съ нею рѣчи кроткія, привѣтныя, не творитъ лишъ ей обычнаго цѣлованія. Какъ возговоритъ Галактіону родный его батюшка:—Охъ ты, сыну, ты мой сыну, чадо милое! Ты скажи мнѣ все правду, не утаючи: чѣмъ младая обручница тебя опечалила? Не творишь почто ты ей обычнаго цѣлованія? На вопросъ отца держитъ („гласомъ краткимъ“) свою отвѣдъ сыновнюю святой Галактіонъ: „Господинъ ты мой великій, родный батюшка! Во всемъ я тебѣ, господину, послушный сынъ, что ты хочешь, мнѣ своему сыну приказывай и ни въ чемъ я твоей отчей волѣ не противляюсь: лишъ единого отъ меня, родный батюшка, не спрашивай: Епистимія, обручница моя юная, дѣва красная, никакимъ она меня тяжкимъ словомъ не опечалила, и любя она мнѣ, моя обручница Епистимія, и по ней я всѣмъ сердцемъ болю-сокрушаюся, да и къ ней я, дѣвъ красной, душой распаляюся; не могу-жь я ей творити обычнаго цѣлованія: христіанинъ бо азъ есмь, она-же эллинка поганая и скверна мнѣ будетъ, доколь не очистится баней водною, баней чистою, святымъ крещеніемъ, и скверна мнѣ и мерзка мнѣ будетъ, доколь не одѣнется въ ризу чистую, въ ризу свѣтлую, въ ризу нетлѣнія; и дотожь скверна будетъ, доколь не причислится къ стаду кроткому, къ стаду избранному, къ стаду христіанскому!“ Вслѣдъ за этимъ отвѣтомъ святаго сказаніе переходитъ къ словамъ обрученной невѣсты его—Епистиміи. „О, женихъ мой возлюбленный, ты печаль души моей!“ — обращается она къ Галактіону, уведя его въ свою горницу. Голосъ ея слагатель стиха называетъ „гласомъ кроткимъ, сладостнымъ“. — „О тебѣ бо единомъ все мое сокрушеніе!“—продолжаетъ она: „О тебѣ бо единомъ—все мое помышленіе! Жестоко слово Христосъ эллиномъ поганымъ, тяжело слышати будетъ мимъ родителямъ, страшусь страхомъ я ихъ ярости поганскія: совершенная же любви изгоняетъ страхъ. И скажу я тебѣ, возлюбленный, не боясь — скажу: аще хочешь, и я буду христіанкою православною!“ Слыша эти слова своей возлюбленной, „беретъ святой Галактіонъ воду чистую и креститъ онъ въ той водѣ Епистимію, дѣву красную. Какъ узнали то да увидали злые эллины, предають они святую двоицу судилищу поганскому, осуждаетъ ихъ игемонъ скверный на мученіе смертное. Идетъ святая двоица на смерть, радуясь“... Сказаніе кончается словами св. Галактіона, обращенными

къ его спутницѣ: „Возлюбленная моя супружница Епистимія! За Христа мы умремъ и со Христомъ будемъ царствовать, и подастъ Христосъ за нашу вѣру и страданіе: аще просить рабъ моимъ именемъ да раба возлюбитъ его любовью огнепальною, то и будетъ тому рабу по прошенію“. Этими-последними словами объясняется народное повѣрье о томъ, что желающіе приворожить чье-либо сердце къ себѣ должны молиться о томъ Галактіону-мученику.

Вслѣдъ за Галактіоновымъ днемъ—„Павлы - исповѣдники, Варлаамы-хутынскіе“ (6-е ноября), съ памятью о которыхъ связана въ народѣ примѣта о будущемъ урожаѣ: „Если ледъ на рѣкѣ (къ этому дню) становится горами, то и хлѣба будутъ горы, а гладко—такъ и хлѣба будетъ гладко“. Такъ и слывуть эти святые за „ледоставовъ“. „Мученикъ Ѳедотъ (7-го ноября) ледъ на ледъ ведетъ“,—говорять деревенскіе погодовѣды. О 8-мъ ноября—Михайловомъ днѣ—свой особый сказъ въ народѣ. Изъ устъ убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ, разносящихъ изъ конца въ конецъ Руси великой народное пѣсенное слово, въ этотъ день льется волною слѣдующій стихъ: „Единого славы Царя невещественна заря благолична, лицъ ангельскихъ, пренебесныхъ, просвѣщаетъ всѣхъ насъ земныхъ разумична. Ею-же осіявшеся, причастницы симъ явльшеся, тѣмъ ублажимъ, гласы благодарственныя съ мыслями чувственная днесъ умножимъ. Михаила воеводу и христіанскому роду спасителя; съ Рафаиломъ Гавріила и свѣтлая Уріила хранителя, небесныхъ силъ, начальниковъ, душамъ нашимъ помощниковъ непрестанныхъ, престоловъ Божественнѣйшихъ, херувимовъ пресвятѣйшихъ, небославныхъ, серафимовъ свѣтло-взятыхъ, огненныхъ, шестокрылатыхъ, правителей, Церкви всея соборныя и вѣры непорочныя защитителей. Первую троицу образну, богоносну, безсобоазну, пречестнѣйшу, тріехъ священствъ углезарныхъ, гласомъ святымъ благодарнымъ всесвѣтлѣйшу. Господствія священная почтемъ приукрашенная багромъ свѣтлымъ Силь славныхъ вооруженныхъ, твердымъ словомъ ублаженныхъ, небоцвѣтныхъ, владычественнѣйшихъ Властей, изыятыхъ всѣхъ долнихъ страстей. Втору троицу, слова полныхъ хвалителей, духоносныхъ служителей Богу-Отцу.. Началь святыхъ богомудрыхъ, архангеловъ всѣхъ премудрыхъ поя ясно почтемъ со благодаренми, купно и славословенми богогласно, ангеловъ сонмъ безчисленныхъ, ликъ святѣй богочестенный возносяще, десятичисленные лики, полки зелны, превелики, вѣнцевъ вѣчныхъ, небесныхъ силъ блаженнѣйшихъ и Троице слугъ пресвѣтлѣйшихъ, безконечныхъ...“

9-е ноября—Матренинъ день. „Съ зимней Матрены зима

встаетъ на ноги!“—говорятъ въ народной Руси. Иней въ этотъ день, по деревенской примѣтѣ, къ холодамъ; туманъ—къ теплой погодѣ, во время которой не страшны никакіе морозы, налетающіе съ желѣзныхъ горъ на свѣтлорусскій просторъ великій. За зимней Матреною слѣдомъ—день апостоловъ Родіона и Ераста. „Придетъ Родивонъ (10-е ноября)—возьметъ зима мужика въ полонъ!“—замѣчаютъ старше погодовѣды; „Со святаго Ераста—жди ледяного наста!“—прибавляютъ другіе. „Нашъ Ерастъ на все гораздъ“,—подхватываетъ смѣшливый людъ, —„и на холодъ, и на голодъ, и на бездорожную метелицу!“ 11-го ноября — Ѳедоръ Студитъ: „придетъ—все остудитъ!“, „Ѳедоровы вѣтры—голоднымъ волкомъ воютъ!“, „Со Студита стужа—что ни день лютой-хуже!“, „Ѳедоръ—не Ѳедора: знобитъ безъ разбора!“, „Ѳедоръ Студитъ—на дворъ студитъ, въ окошко стучитъ!“, „На дворъ Студитъ, да въ избѣ тепло, коли хозяйка хороша!“, „На печкѣ да около горячихъ щей и на Студитовъ день не застудишься!“, „Жирныя щи застудятся, коли во-время не съешь, студѣный квасъ нагрѣтся—коли не во-время выпьешь!“, „Не плачь, что ночь студена—на то она и Студитова: ободняетъ, такъ и обогрѣтъ; а не обогрѣло—такъ вѣдь не къ Семику дѣло!“, „Ѳедоры Студиты къ Филипповкамъ, посту Рождественскому, студеную дорожку торятъ!“—приговариваютъ гораздые на прибаутки деревенскіе краснословы.

За Студитовой стужей—два Ивана: Милосливый (12-го), да Златоустъ (13-го ноября). Подъ Москвою записанъ не лишній своеобразной красоты духовный стихъ народный о святомъ Іоаннѣ Златоустѣ, начинающійся слѣдующими превыспренними словами:

„Златокванную трубу
 Восхвалимъ днесъ,
 Свирѣль пастырскую,
 Низложившаго пѣсни мусикійскія,
 Органъ чудный Духа Святаго,
 Іоанна Златоустаго“...

Предпоследнія двѣ строки приведеннаго отрывка, вѣроятно, исправлены какимъ-нибудь досужимъ книгочеемъ, отъ Божественнаго Писанія умудреннымъ; дальнѣйшія—свидѣтельствуютъ о южнорусскомъ происхожденіи всего стиха: — „Днесъ позлащенная труба цвѣтетъ“,—продолжается пѣсенный сказъ, —„яко финикъ ласковый горлицы ждетъ; воинъ на полѣ станицы. Іоанна Златоустаго, архіерея цареградскаго. Вѣчной славы царь, слово превѣчное со ангельскимъ чиномъ

Тебѣ взываетъ укуханнымъ Сыномъ: — Прииде, чадо укуханне, въ чертогъ свѣтель днесь, Іоанне!—Ангели чюдятся, зряще Іоанна въ ризы оболченна, митра на главѣ херувимомъ дана, крестъ побѣды, пастыремъ слава, руци его на змievѣ главѣ. Цѣвнице духовна, а труба золотая, гора Елеонская, тимпанъ золотый, церковь Сіонская! Когда вострубить Господь трубою, не забуди стати со мною!“

14-го ноября—день св. апостола Филиппа, заговѣнье на Филипповки. Если иней изукрасить на Филиппово заговѣнье серебряной бахромою всѣ деревья;—ждетъ деревенскій людъ богатаго урожая овса на будущій годъ; воронѣ черное кармакъ—къ оттепели. Въ этотъ день доигрываютъ по деревнямъ послѣднія свадьбы веселыя. „Кто не повѣнчался до Филипповокъ—молись Богу да жди новаго мясоѣда!“—говорять въ народѣ: „Постъ—свадьбамъ не потатчикъ, пива не наварить, на пиръ-бесѣду не позоветъ!“

Какъ только мученики Гурій, Самонъ и Авива, слывущіе въ народѣ зубными цѣлителями, памятуемые Православной Церковью 15-го числа, разрубятъ ноябрь студеныи пополамъ,—такъ уже не растаятъ вплоть до весенняго половодья выпавшему снѣгу. Морозы—желѣзные нѣсы—беруть съ этой поры такую силу-мочь, что даже вся нечисть лихая убѣгаетъ съ земли въ свои преисподняя, гдѣ и скрывается до самыхъ Святокъ. На Святки хотъ и холодненько, да ужъ очень привольно тогда имъ хороводы свои водить, люду честному—до зелена вина охочему, на всякій соблазнъ падкому—глаза отводить!..

Если на апостола Матѣея (16-го ноября) вѣтры вѣютъ буйныя,—то, говорятъ въ народѣ, бытъ вьюгамъ-метелицамъ на Святой Руси до самаго Николы-зимняго (6-го декабря)—на бѣду-невзгду плохо одѣтому дорожному человѣку: бываетъ, что и померзаетъ много народа въ снѣжную заметь. Пройдетъ трое сутокъ съ Матѣева дня,—„Проклы“ (20-го ноября) въ народную Русь идутъ, свои особыя повѣрья-обычай несуть. Въ стародавнюю пору проклинали въ этотъ день знающіе люди, вѣдуны дотошныя, скрывавшюся въ подземныхъ нѣдрахъ нежить лукавую,—чтобы не выходила она изъ своихъ норъ какъ можно дольше, чтобы какъ можно меньше мутила жизнь человѣческую. Существовали особыя заговоры на этотъ случай, которые хотъ и не запесены собирателями стариннаго слова въ ихъ лѣтописи, но еще, несомнѣнно, и до сихъ поръ хранятся подъ спудомъ народнаго сердца.

Двадцать первый день „листогноя студенаго“ посвященъ

великому празднику Введенія Пресвятой Богородицы во храмъ. Своеобразныя повѣрья, связанные въ народной памяти съ этимъ праздникомъ описаны въ особомъ очеркѣ „Введенье“ (см. гл. XLVIII).

22-е ноября—Прокопьевъ день. „Пришелъ Прокопъ—разрыть сугробъ!“—говорятъ въ народѣ. „Святой Прокопій дороги прокапываетъ“, „Съ Прокопьева дня—хорошій санный путь: сани сами катятся по гладкой дорожкѣ, сами сани лошадакѣ прыти прибавляютъ!“, „Гдѣ прокопалъ Прокопъ—тамъ и мужику и зимній путь!“ Въ обычаѣ—съ этого дня зимнія вежи ставить, дорогу обозначать; мѣстами вешать дорогу снопами вымолоченной ржи, по другимъ мѣстамъ—сосенками да елочками. Старые благочестивые люди совѣтуютъ не приниматься за это дѣло безъ молитвы къ святому „прокапывателю дорогъ“. Вешить дорогу считается богоугоднымъ дѣломъ, такъ какъ цѣль его—указаніе пути идущему и ѣдущему люду, въ ночное время и въ снѣжную вьюгу, когда легко можно сбиться съ дороги. Обыкновенно, эта нетрудная работа производится „всѣмъ міромъ“; не прочь мужички и угоститься, по окончаніи ея, на мірской счетъ. Черезъ сутки послѣ „Прокоповъ“—день, посвященный Православной Церковью памяти св. великомученицы Екатерины. „Катерининъ день пришелъ, катанье привелъ; катайся, у кого лошада да сани есть—на саяхъ, а нѣтъ ни саней, ни лошадки—садись на ледянку, съ горы катись!“—приговариваетъ объ этомъ днѣ народное крылатое слово: „Прокопъ дорожку прокопаетъ, а Катерина укатаетъ!“, „Съ Катеринъ зима деревню доймаетъ не мытьемъ, такъ катаньемъ: не голодомъ, такъ холодомъ!“ Съ этого дня начинается для мужика зимній извозъ: тянутся въ города изъ деревенской глуши хлѣбородной обозы съ господскимъ хлѣбомъ.

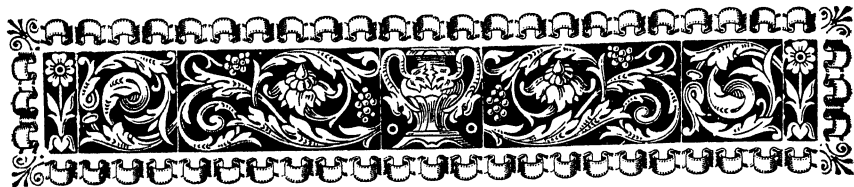
Въ Пермской губерніи, въ тридцатыхъ годахъ XIX-го столѣтія, по многимъ селамъ чествовали прокапывателя занесенныхъ дорогъ, св. Прокопія, особымъ празднествомъ, сопровождавшимся пирушкою „всего міра на мірской счетъ“. Въ этотъ день закалывался „последній (до весны) барашекъ“, и его съѣдали сообща всей деревнею. Соблюдался этотъ обычай, несомнѣнно, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ.

За Катерининимъ—Климентьевъ день. „Съ Климентья зима клинь клиномъ вышибаетъ, слезу и у мужика морозомъ изъ глазъ гонить!“—говорятъ въ народѣ. 26-го ноября—„Юрій-холодный“—зимній Егорій.

27-го ноября—„Знаменіе“ (отъ иконы Божіей Матери, въ Новгородѣ), церковный праздникъ, приходящійся престоль-

нымъ - храмовымъ во многихъ селахъ, а потому и чествуемый въ посельской-деревенской Руси наособицу. Съ этимъ праздникомъ связано у стариковъ ожиданіе всякихъ знаменій: болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, внимательно приглядываются-прислушиваются они ко всему—и въ жизни, и въ природѣ—въ этотъ день; всему придается ими тогда какое-нибудь особое значеніе. И тучи небесныя, и звѣзды частыя, и вѣтры буйныя, и всё голоса природы говорятъ для нихъ своимъ вѣщимъ языкомъ, предвѣщающимъ и доброе, и худое, и лихое, и желанное. 29-го ноября—Парамоновъ день, съ которымъ связаны у деревенскаго простолюдина примѣты о декабрьской погодѣ: „Если на Парамона утро красное—быть и всему декабрю яснымъ: коли Парамонъ со снѣгомъ—жди мятелей вплоть до Николина дня!“, „Багряная заря съ Парамонова дня на Андреевъ (30-е число)—будутъ сильныя вѣтра“. На этотъ-же день приходится память преподобнаго Агакія синайскаго, который слыветъ въ народной Руси цѣлителемъ всякихъ болѣстей.

Въ занесенномъ въ безсоновскій сборникъ пѣсенномъ „Мѣсяцесловѣ“ каликъ-перехожихъ воспѣваются въ послѣдовательномъ порядкѣ всё святые, памятуемые въ ноябрѣ, и всё праздники ноябрьскіе. „Мѣсяцъ Ноемврій весь святыхъ множествомъ днесъ свѣтло приукрашенъ“,—гласитъ запѣвка. Начинаютъ рядъ воспѣваемыхъ святыхъ „Косма съ Даміаномъ“, орошающіе, по народному слову—вѣрныхъ своихъ врачеваніемъ. Заключительныя слова посвящены св. Андрею Первозванному, котораго безвѣстный слагатель этого стиха духовнаго величаетъ „русской церкви камнемъ“...



XLVI.

Михайловъ день.

8-е ноября, день Михаила архангела, слыветъ въ народѣ за первый шагъ необлыжной зимы. Этотъ праздникъ въ большей части матушки-Руси бываетъ „съ мостомъ“ (т.-е. съ покрытыми льдомъ рѣками). „Съ Михайлова дня зима стоитъ, земля мерзнетъ!“—говоритъ старинное изреченіе, вылетѣвшее изъ устъ народныхъ:—„Со дня Михаила-архангела зима куеъ морозы“. Это оправдывается на дѣлѣ, впрочемъ, только въ позднзимье, потому-что сплошь да-рядомъ бываетъ, что еще октябрь-назимникъ заковываетъ воды текучія въ ледяныя цѣпи. Покроетъ „Покровъ-батюшка“ землю снѣжной пеленою, полежитъ первая пороша, растаетъ; зачернѣютъ осеннія грязи, а тамъ—снова снѣги бѣлые пушистые въ поляхъ забѣлѣются. Ранняя зима всегда—„на Казанскую (22-го октября) на санкахъ ѣздить“. Осенняя родительская—Дмитріева суббота (26-е октября) „на Святую Русь идетъ—перевоза не ждетъ“,—говоритъ народный опытъ зорко—въ теченіе многихъ вѣковъ—присматривавшійся къ законамъ природы родимаго сѣвера. А если „отдохнуть на Дѣдовой (Дмитріевской) недѣлѣ родители“, т.-е. если будетъ о ту пору оттепель,—то слѣдовательно и „всей зимушкѣ-зимѣ быть съ мокрыми теплинами“, по пережившей вѣка народной примѣтѣ.

За „льняницами“—28-мъ октября, когда по деревнямъ начинаютъ мять льны—бредетъ „овчарь“—день зимней стрижки овецъ, а тамъ—за „юровою“ (30-мъ числомъ, праздникомъ рыбаковъ, отправляющихся на ловлю красной рыбы) и ноябрь-грудень наляжетъ грудью на лоно земное.

„Кузьма да Демьянъ съ гвоздемъ“—(1-е ноября)—стоятъ. Справятъ бабы по старинѣ, веселыя „Кузьминки“, вспомнятъ „курьи имянины“, хлебнутъ мужики „козьмодемьянскаго пива“, для честныхъ гостей навареннаго,—встрѣтятъ зимніе морозы честь-честью. А у стариковъ со старухами—забота приспѣла: „Дворового“ къ Михайлову дню ублажить-задобрить. Онъ хотя и младшимъ братомъ „Домовому“ приходится, а всетаки не слѣдъ крестьянину ссориться съ нимъ, если онъ хочетъ, чтобы не только въ дому у него, но и вокругъ двора все было по доброму, по хорошему въ предстоящую зиму. „Не ублажи Дворового до Михайлова дня—уйдетъ онъ со двора, а на свое мѣсто пришлетъ Лихого!“—можно и теперь еще слышать въ деревенской глуши. Не всякій сзумѣетъ, какъ слѣдуетъ, и задобрить „хозяинова брательника“.

Еще не такъ давно въ Симбирской, а вѣроятно и въ нѣкоторыхъ другихъ смежныхъ губерніяхъ средняго Поволжья, этотъ старинный обрядъ совершался по слѣдующему порядку. Старая бабка выносила рано поутру, до бѣлой зорьки, хлѣбную чашку съ пивнымъ сусломъ въ поднавѣсъ и ставила ее на повѣтъ. Затѣмъ, передъ полуднемъ, большакъ въ домѣ садился на лошадь и начиналъ ѣздить на ней взадъ и впередъ по двору. въ то время какъ старуха, стоя на крыльцѣ избы, махала во всѣ стороны помеломъ, приговаривая: „Батюшка Дворовой! Не уходи! Не раззори дворъ, животину не погуби! Лихому пути-дороги не кажи!“ Послѣ этого помело обмакивалось въ дегтярницу, и гдѣ-нибудь во дворѣ проводилась дегтемъ по стѣнѣ полоса. Это, по объясненію ублажавшихъ Дворового, означало „отмѣчать на лысинѣ у дѣдки зазубрину“. Завидѣвъ эту зазубрину, „Лихой“ чуть не за версту обходить дворъ домохозяина, строго блюдушаго обряды старины стародавней. Мало-по-малу этотъ обычай уходитъ изъ деревенскаго обихода даже и въ самыхъ отдаленныхъ отъ вѣянія городской и фабричной жизни мѣстностяхъ. Очень можетъ быть, что въ настоящее время онъ уже успѣлъ сдѣлаться исключительнымъ достояніемъ пылкой памяти однихъ завязатыхъ народовѣдовъ.

По свѣдимъ слѣдамъ этого обычая исчезаетъ и другой, который старыми людьми положено было справлять между Кузьминками и Михайловымъ днемъ,—„курьи имянины“. По свидѣтельству бытописателей нашей деревни, этимъ именинамъ, проводившимся въ пирушкахъ, предшествовало связанное съ чисто-языческимъ суевѣріемъ принесеніе пѣтуха въ жертву „Лихому“. Это жертвоприношеніе происходило, обыкновенно, на гумнѣ, въ овинѣ, чтобы ворогу крестьянской

худобы не было и повода приблизиться ко двору. Выбирался для этого самый худой, самый старый кочетъ, отъ котораго—„ни утѣхи курамъ, ни корысти хозяйству“. Большакъ (старшій въ домѣ) отрубалъ ему голову заржавленнымъ, иззубрившимся топоромъ и бросалъ ее всторону. Ребята, присутствовавшіе при этомъ, подхватывали ее и начинали, бѣгая по гумну, подкидывать съ припѣвомъ:

„Вотъ тебѣ, Лихой!
 Чуръ тебѣ, Лихой!
 Ты сердиться—не сердись,
 Дворовому поклонись,
 Домовому помолись,
 Пѣтушинымъ гребнемъ подавись!
 Вотъ тебѣ, Лихой!
 Чуръ тебѣ, Лихой!
 Ты по гумнамъ не ходи,
 Въ огородѣ не сиди,
 Ко двору не подходи,
 Въ нашу хату не гляди!
 Къ рѣчкѣ-рѣченькѣ бѣги,
 Прямо въ прорубь угоди!
 Не кузнецъ рѣку куетъ,—
 Михайлархангелъ
 Со Козьмодемьяномъ,
 Со ангелами“...

Михайлъ-архангелъ считается въ народѣ не менѣе грознымъ для всякой нечисти-нежити, чѣмъ Илья-пророкъ. По народному представленію, самъ Богъ-Савооѣ положилъ ему быть грозою для темныхъ силъ безплотныхъ. Когда Господь воспылалъ гнѣвомъ на Сатанаила и его присныхъ, изъ ангеловъ превратившихся въ „аггеловъ“, Онъ повелѣлъ Михайлу-архангелу свергнуть ихъ съ небесъ въ преисподняя земли, что и было исполнено въ точности. Заонежское сѣверное преданіе повѣствуетъ, что „сверзилъ Михайла-архангелъ съ небеси сатанино воинство, и попадало оно на землю въ разныя мѣста, и пошли съ той поры на землѣ водные, лѣшіе и домовые“. Въ одномъ изъ памятниковъ русской отреченной письменности („Свитокъ божественныхъ книгъ“), послѣ картиннаго описанія сотворенія міра, разсказывается, что, создавъ „море Тиверіадское безбрежное“, Господь „сниде на море по воздуху и видѣ на морѣ гоголя плавающа, а той есть рекомый сатана—заплелся въ тинѣ морской“... „И сказалъ,—продолжаетъ невѣдомый повѣствователь,—Господь Сатана-

илу, аки не вѣдая его: ты кто еси за человекъ? И рече ему сатана: Азъ есмь богъ.—А Мене како нареши? Отвѣчавъ же сатана: Ты Богъ богомъ и Господь господемъ... И рече Господь Сатанаилу: понырни въ море и вынеси Мнѣ песку и камень. И взявъ Господь песку и камень и разсыя песокъ по морю, глаголя: буди земля толста и пространна!... Затѣмъ, взявъ Онъ камень, „преломилъ надвое, и изъ одной половины отъ ударовъ Божьяго жезла вылетѣли духи чистые, изъ другой-же половины набилъ сатана безчисленную силу бѣсовскую“... И возгордился Сатанаиль предъ Богомъ богомъ и Господомъ господемъ. И низвергъ его со всей ратью бѣсовскою „въ бездны бездонныя“ Михаилъ-архангелъ, впервые со дня существованія міра прогремѣвшій громами небесными, переданными впоследствии въ распоряженіе молніеноснаго пророка Іліи. И обратился дьяволъ въ ту „змію злаковидную, огневидную, власяновидную, дубовсходную, врановидную, змію слѣпую, триглавую, уядающую жены, ехидну морскую“, о которой говоритъ народъ въ своихъ переходящихъ изъ устъ въ уста заклинаніяхъ, ограждающихъ его суевѣріе стѣной крѣпкою отъ злыхъ ухищреній „бѣса полуденнаго и полуночнаго“.

А. Н. Аванасевъ приводитъ, слѣдующій хлѣбопытный разговоръ, обращенный непосредственно къ побѣдителю Сатанаила: „Пойду я рабъ (имя рекъ) изъ избы дверьми-воротами; навстрѣчу мнѣ Михаилъ-архангелъ со святыми своими съ ангелами и апостолами. И возмолюсь я Михаилу - архангелу: Михаилъ-архангелъ! Заслони ты мене желѣзною дверью и запири тридевятью замками-ключами. И глаголетъ мнѣ, рабу Божію, Михаилъ-архангелъ: заслону я тебя, раба Божія, желѣзною дверью и замкну тридевятью замками-ключами, и дамъ ключи звѣздамъ... Возьмите ключи, отнесите на небеса!... Замыкаюся я, рабъ Божій, девяноста позолоченными ключами, отъ колдуна, отъ колдуницы, отъ волхвовъ и отъ волхвицъ“... и т. д. И народъ, произносящій—устами своихъ „знающихъ слово“ людей—это заклинаніе, неуклонно вѣритъ, что Михаилъ-архангелъ сойдетъ съ небесъ и замкнетъ—могущественный посланецъ Божій—„всеё вражью силу темную пакрѣпко и твердо“.

Грозному побѣдителю „дьявола со дьяволами“ народное воображеніе приписываетъ даже участіе въ міросозданіи. „Како огонь зачаса?“—спрашивается въ одномъ изъ памятниковъ народной отреченной письменности. „Архангелъ Михаилъ возжегъ его отъ зеницы Божіей“,—слѣдуетъ отвѣтъ. Затѣмъ, кромѣ борьбы съ „силами бѣсовскими“, на него

возложено перевозить души праведныхъ черезъ огненную рѣку, отдѣляющую, по свидѣтельству народныхъ духовныхъ стиховъ, земную проходящую жизнь отъ загробной—вѣковѣчной:

„Протекала тутъ рѣчка, да рѣчка огненная,
 Отъ востока да и до запада,
 Отъ запада и до сивера;
 По той-ли по рѣки, да по огненной,
 Ъздитъ Михаило-арханьдель-свѣтъ,
 Перевозитъ онъ души, души праведныхъ.
 Праведныя души, души радуются,
 Пѣснь эту поютъ херавиньскую,
 Гласы тѣ гласять серафиньскіе...“—

поютъ калики-перехожіе въ „Стихъ о Страшномъ Судѣ“, о перевозимыхъ съ береговъ земли „ко пресвѣтлому раю, ко пресвѣтлому раю, да ко пресолнышнему, къ самому ко Господу, ко Христу, Царю Небесному“...

Такимъ образомъ, охранитель праведниковъ на землѣ отъ сатанинскаго навожденія является въ народномъ представленіи и проводникомъ ихъ душъ въ селенія райскія. Въ послѣдніе дни существованія брэннаго міра, на Страшномъ Судѣ Божіемъ, послѣ того, какъ „потопіе“ омоетъ „матушку сыру землю“ отъ ея грѣховъ, „сойдетъ Михаиль-архангелъ батюшко, вострубитъ въ трубоньку зѣлоту, и пойдутъ гласы по всей земли, разбудятъ мертвыхъ и вызовутъ ихъ изъ гробовъ“...

Въ стародавніе годы старопрежніе, по народному повѣрью, принималъ со смертнаго одра души усопшихъ архангелъ Гавріиль. Но вотъ однажды послалъ его Господь по душу къ бѣдняку захудалому, у котораго одно богатство было—семеро по лавкамъ, малъ-мала меньше. Пожалѣлъ осиротить семью посланецъ Божій,—вернулся къ престолу Всевышняго. „Какъ уморить его, Господи!“—воскликнулъ онъ, по словамъ народнаго сказанія:—„Вѣдь у него малыя дѣтки! Они, несчастныя, погибнуть отъ голода.“ Воспылалъ гнѣвомъ Господь, взялъ у Гавріила мечъ и вручилъ его Михаилу-архангелу. Но и тотъ не могъ поразить мечомъ бѣдняка,— и его разжалобили горькія слезы рыдавшихъ возлѣ смертнаго одра. „Жалко мнѣ поразить этого человѣка!“—возвалъ онъ къ Вседержителю. И завязалъ Господь ему уши, чтобъ не могъ онъ слышать плача людскаго; и сошелъ архангелъ на землю, и принялъ въ свои руки душу человѣческую. И сталъ Михаилъ-архангелъ съ того дня на стражѣ смерти. И ведетъ онъ съ

той поры нескончаемую битву съ духами преисподней, обступящими ложе смертное. Потому-то русскій простолюдинъ и обороняется отъ темныхъ силъ, и при жизни, святымъ именемъ грознаго для нечистыхъ слугъ сатанинскихъ Михаила-архангела.

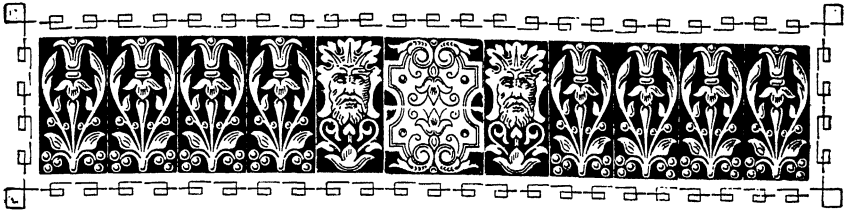
Съ этимъ именемъ связано въ народномъ представленіи не мало повѣрій, вращающихся вокругъ ежедневной жизни крестьянина. И не только у насъ на Руси, но и во всемъ зарубежномъ славянствѣ, сохраняющемъ съ нами свои кровныя и духовныя связи, съ давнихъ временъ Михайловъ день отмѣчался среди народныхъ праздниковъ особымъ чествованіемъ грознаго, и въ то-же самое время милостиваго, архангела Божія. Въ Сербіи, Черногоріи, у далматинцевъ, иллирійцевъ, на Карпатской Руси, въ Герцеговинѣ, Босніи, Болгаріи и другихъ странахъ, родныхъ намъ по крови и духу народному—всюду этотъ праздникъ ознаменовывался съ незапамятныхъ поръ родственными другъ-другу обрядами, въ которыхъ сливалось языческое суевѣріе съ христіанской вѣрою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Болгаріи, еще лѣтъ сорокъ тому назадъ, Михаилу-архангелу приносилась въ его святъ-день жертва, агнецъ. Къ рогамъ послѣдняго прилѣплялись зажженные восковыя свѣчи, его окуривали ладаномъ и рѣзали надъ новымъ сосудомъ такъ, чтобы ни кровинки не пролилось на землю. Этою жертвенной кровью помазывали дѣтей, поминая имя побѣдителя духовъ тьмы. Зажаривъ мясо, агнца съѣдали съ молитвою, а кости благоговѣйно зарывали въ землю.

Михайловъ день встарину являлся въ нѣкоторыхъ славянскихъ земляхъ обычнымъ срокомъ работъ и наймовъ. Позднѣе—это перешло къ зимнему Юрьеву дню и къ Покрову-зазимью, какъ и у насъ на Руси.

Имя Михаила-архангела пользуется большимъ почетомъ среди простолюдиновъ въ Даніи, Исландіи, на Скандинавскомъ полуостровѣ и въ бывшихъ нѣкогда славянскими, а къ настоящему времени совершенно онѣмеченныхъ, германскихъ земляхъ.

Михайль-архангелъ, по словамъ нѣмецкихъ народныхъ сказаній, „держитъ связаннаго сатану въ цѣлѣ“, и лютому врагу рода человѣческаго остается только одно—гремѣть своими цѣпями, но сбросить ихъ онъ не въ силахъ. На Михайловъ день деревенскіе кузнецы въ Германіи, при окончаніи работы, тоекратно бьютъ молотомъ по наковальнѣ: этимъ думаютъ укрѣпить наложенныя архангелами на сатану желѣзныя цѣпи. У чеховъ и сербовъ соблюдается повсемѣстно тотъ-же самый обычай.

По русскому народному повѣрью, до сихъ поръ повторяющемуся въ сѣверныхъ губерніяхъ, Михайль-архангелъ налагаетъ на діавола цѣпи, скованныя „кузнецами“—Косьмою и Даміаномъ. Въ день, посвященный Церковью ихъ памяти, зима зачинаетъ сковывать землю и воды; „Михайло моститъ мосты“ (а иногда и „расковываетъ“ оттепелью). На другія-же сутки послѣ Михайлова дня, „зима встаетъ на ноги“, и морозы отлетаютъ „отъ желѣзныхъ горъ“, подъ которыми разумѣются окованныя стужею тучи.



XLVII.

Мать-пустыня.

Русскій пахарь-народъ—хозяинъ-скопидомъ; къ этому причили его долгіе вѣка труда, связаннаго со всякимъ проявленіемъ жизни, сопровождающаго съ первыхъ осмысленныхъ лѣтъ существованія до могилы каждаго изъ сыновъ его. Но въ сокровенномъ уголкѣ души русскаго скопидома таится мечтательность — качество, присущее стихійной народной душѣ, по самой ея природѣ. Непрестанная, „довлѣющія днѣви“, заботы о кускѣ насущнаго хлѣба и непрерывная упорная борьба съ многообразными невздами, обступающими трудовую путину человѣка, кормящагося щедротами хотя и любвеобильной, но скупой на ласки, матери-земли, заглушаютъ въ пахарѣ мечтателя. Но нѣтъ-нѣтъ да и раздастся-замолкнетъ предъ послѣднимъ вся крикливо толпа злободневныхъ заботъ—на-диво, на недоумѣніе всѣмъ вѣрнымъ, неизмѣннымъ слугамъ разсудка, совѣтующаго крѣпко-на-крѣпко „держаться земли“—въ томъ разсчетѣ, что „трава (за каковую принимаются въ этомъ случаѣ мечтанія) обманетъ“. Заслушается внутреннихъ голосовъ сынъ деревни и полей, поддастся Богъ вѣдаетъ откуда и почему зародившейся въ его сердцѣ „мечтѣ“, начнетъ тосковать—тоскою, совсѣмъ не свойственной крестьянскому обиходу, и до той поры не успокоится, покуда не найдетъ болѣе или менѣе полнаго удовлетворенія пытливымъ запросамъ смятеннаго духа. Не мало такихъ мечтателей, отбившихся отъ потовыхъ-страдныхъ, прирожденныхъ хлѣборобу, заботъ и стремящихся отъ земнаго къ небесному, сбивается съ проторенной вѣками тропы, ведущей къ свѣту Истины, и уходитъ въ туманныя деб-

ри раскола—въ смутной надеждѣ увидѣть грядущій разсвѣтъ. Изъ ихъ среды появляются и проповѣдники „новой вѣры“—вожди блуждающаго въ потемкахъ сектантства. Но много „взыскающихъ града небеснаго“ на землѣ остаются вѣрными и священнымъ завѣтамъ Православія, находя въ боговдохновенной глубинѣ его ясныя—какъ бѣлый день—отвѣты на всѣ смутные вопросы своего отуманеннаго и въ то-же самое время просвѣтляемаго „мечтою“ духа. Такими мечтателями свѣтла духовная жизнь народа-пахаря, несмотря на все обступающее и связующее ее съ прошлымъ-стародавнимъ суевѣріе. Ими жива народная Русь—въ смыслѣ творческаго проявленія смутно бродящихъ въ ней могучихъ духовныхъ силъ.

Пытливый духъ русскаго народа, ищущій себѣ удовлетворенія внѣ охватывающей его трудовой обиходъ—(пригибающей къ землѣ—) жизни, недаромъ съ давнихъ временъ задается вопросами о мірозданіи. Осматривается онъ вокругъ себя, приглядывается-прислушивается ко всему, а неугомонная мысль ставитъ вопросъ за вопросомъ: „Отъ чего у насъ зачался бѣлый вольный свѣтъ? Отъ чего у насъ солнце красное. Отъ чего у насъ младъ-свѣтѣль мѣсяць? Отъ чего у насъ звѣзды частыя? Отъ чего у насъ ночи темныя? Отъ чего у насъ зори утренни? Отъ чего у насъ вѣтры буйныя? Отъ чего у насъ дробень дождѣкъ?“ И не только такими вопросами тревожить „мечта“ этотъ мятущійся по землѣ и порывающійся къ небу богатырски-могучій духъ,—на-ряду съ ними зарождаются въ немъ, вылетаютъ на широкой свѣтло-русскій просторъ и такіе, какъ:

„Отъ чего у насъ умъ-разумъ?
Отъ чего наши помыслы?“

Живеть-трудится, въ потѣ лица ѣсть хлѣбъ насущный русскій пахарь-мечтатель, отдыхая за своей мечтою.—приглядывается къ жизни. И все-то представляется сокровеннымъ для его пытливаго духа,—все, что ни остановитъ на себѣ его мысленный взоръ, парящій на трепетныхъ крылахъ неясныхъ, но все сильнѣй и сильнѣе обуревающихъ его, бессознательныхъ исканій. То-и-дѣло проходятъ передъ нимъ сны на-яву. И не одна, а двѣ жизни, видятся въ этихъ снахъ: двѣ жизни, стоящихъ одна противъ другой—какъ два непримиримыхъ врага, какъ два лютыхъ звѣря, привидѣвшіеся во снѣ Володуміру князю Володуміровичу „Голубиной Книги“, — два звѣря: одинъ—„съ той страны со восточной, а другой со страны съ полуденной“, — сбѣгавшіеся-бывшіеся, одолѣть одинъ

одного хотѣвшіе. Народная мечта вложила въ уста Давыда Евсеевича разгадку этого сна, являющуюся воплощеніемъ-олицетвореніемъ возвышеннаго взгляда народа-пахаря на свѣтъ и тьму и на грядущее торжество перваго надъ послѣднею. Эта разгадка въ то-же самое время является и отраженіемъ взгляда, какимъ смотритъ народная Русь на обступающую ее дѣйствительность. „Не два звѣря собиралися, не два лютые собѣгалися“,—гласитъ она: „это кривда съ правдою сохотидися, промежду собой бились, дралися; кривда правду одолѣть хочеть; правда кривду переспорила. Правда пошла на небеса, къ самому Христу Царю Небесному; а кривда пошла вся у насъ по всей землѣ, по всей землѣ по свѣтъ-русской, по всему народу христіанскому“... И вотъ,—продолжаетъ народъ-сказатель устами „перемудраго“ царя: „отъ кривды земля всколебалася; отъ того народъ весь возмущается, отъ кривды сталъ народъ неправильный, неправильный сталъ, злопамятный: они другъ друга обмануть хотять, другъ друга поѣсть хотять. Кто будетъ кривдой жить, тотъ отчаянный отъ Господа; та душа не наслѣдуетъ себѣ царства небеснаго, а кто будетъ правдой жить, тотъ причаянный ко Господу, та душа и наслѣдуетъ себѣ царство небесное!“...)

Общеніе съ матерью-природой, неизмѣнно поддерживающееся у нашего крестьянствующаго народа, не могло не заронить въ его стихійное сердце (сыновней) любви къ ней. И пытливый духъ русскаго мечтателя привыкъ искать отвѣта на свои вѣковѣчные вопросы прежде всего въ ней и въ сліяніи съ ея вѣщимъ дыханіемъ. Какъ русскіе языческіе жрецы обращались къ стихіямъ природы во всѣхъ смущавшихъ ихъ разумъ обстоятельствахъ,—вопрошали волны рѣчныя, вслушивались въ шопотъ лѣса и шелестъ травъ, вглядывались въ пламя костровъ на землѣ и въ мерцаніе звѣздъ на небѣ,—такъ внимали голосамъ несказаннымъ съ шорохами безвѣстными и наши древніе пустынножители, отрясавшіе прахъ земныхъ заботъ и удалявшіеся отъ соблазновъ міра сего и удостоивавшіеся Божественнаго откровенія.) Ихъ примѣру слѣдуютъ и современные народные мечтатели, сердцу которыхъ любезна прекрасная мать-пустыня, открывающая имъ тайны бытія человѣческаго, загадочнаго-таинственнаго и не только для однихъ простодушныхъ дѣтей Матери-Сырой-Земли, трудящихся на ея груди по завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ, но и для многотумныхъ мудрецовъ, постигшихъ всю глубину современной учености. Уединенное самоуглубленіе окрыляетъ прозорливостью и смущенную своей безпомощностью, чуткую къ голосамъ природы, душу простеца-мечтателя, сына-

внука-правнука отцовъ-дѣдовъ-прадѣдовъ, всю многотрудную жизнь свою проведенныхъ за сохою на родимой полосѣ.

У насъ прекрасной мать-пустынею всегда являлись для взыскующихъ града небеснаго дремучіе лѣса, открывавшіе пытливому духу свои широкія объятія. Въ ихъ зеленыхъ стѣнахъ развертывалась передъ мысленнымъ взоромъ отшельниковъ необъятная книга природы, представлявшаяся въ тоже самое время и книгою судебъ міра. Изъ лѣсныхъ „пустыней“ въ глухія времена татарщины распространялся по Святой Руси немеркнущій свѣтъ вѣры Христовой; въ нихъ находили тихій пріютъ великіе подвижники Русской Церкви, на именахъ которыхъ—какъ на незаблемыхъ устояхъ—зидается ея слава. Большинство древнихъ монастырей русскихъ возникло изъ лѣсныхъ скитовъ—„пустынекъ“, въ первобытномъ своемъ видѣ представлявшихъ собою одну уединенную келью сооруженную благочестивою рукою „Божьяго трудника“, возгорѣвшагося подражаніемъ отцамъ Церкви, оставившаго домъ свой и всѣхъ близкихъ своихъ и пошедшаго на подвигъ во имя Распятаго Учителя учителей земныхъ.

Подвижническіе въ своемъ родѣ труды неутомимыхъ собирателей памятниковъ русскаго престопаго изустнаго творчества сохранили отъ забвенія цѣлый рядъ ибсенныхъ-стиховныхъ сказаній, посвященныхъ воспѣванію неизреченныхъ, по словамъ сказателей, красотъ матери-пустыни и возвеличенію подвиговъ—труждавшихъ въ ней ради исканія Бога-Истины. Изъ этихъ сказаній въ первую голову идетъ особая цѣпь духовныхъ стиховъ, на свой ладъ спѣвшихся, на свою стать сложившихся въ словесности другихъ, зарубажныхъ, народовъ, про индійскаго царевича Іосафа⁸⁰⁾. Этотъ-послѣдній—въ своемъ обрусѣвшемъ видѣ—является прообразомъ русскихъ пустынножителей, наособицу любезныхъ вдумчивому мысленному взору искусившагося въ книжномъ начотчествѣ пахаря-мечтателя. Подобно св. Алексію—человѣку Божію—онъ, этотъ промѣнявшій престолъ на тишину пу-

⁸⁰⁾ Св. Іосафъ—индійскій царевичъ, сынъ царя Авенира (Абиспера), жившаго въ III—IV вѣкахъ по Р. Хр. Онъ былъ обращенъ въ христіанство пустынноикомъ Варлаамомъ, ввелъ—по преданію—Христову вѣру въ свой страну, удалился вмѣстѣ со своимъ учителемъ отъ „міра сего“ и кончилъ жизнь 25-лѣтнимъ подвижничествомъ. Память его празднуется 19-го ноября. Житіе святыхъ Іосафа и Варлаама дало содержаніе для цѣлаго ряда средневѣковыхъ повѣстей-новеллъ, въ первоисточникѣ своемъ перешедшихъ въ Европу изъ Египта. Первый церковнославянскій переводъ повѣсти о Варлаамѣ и Іосафѣ появился у насъ не позднѣе XII-го вѣка—изъ Византии. Надъ изслѣдованіемъ этого памятника древней литературы трудились многіе русскіе ученые: Веселовскій, Пыпинъ, Кириичниковъ и другіе.

стыни царевичъ, приросъ къ пытливому русскому духу, предающемуся мечтѣ, востосковавшей на землѣ по небесномъ. Сказъ стиховный о немъ поется-сказывается во многомъ-множествѣ разносказовъ-разнопѣвовъ по всѣмъ уголкамъ неоглядной родины народа сказателя—что можетъ служить лучшимъ свидѣтельствомъ долговѣчности этого сказа, проникающаго въ сокровенныя глубины открытаго вѣянію правды сердца народнаго.

Въ одномъ изъ не свободныхъ отъ примѣсей книжности разносказовъ, записанномъ въ Нило-Сорской пустыни, ведется рѣчь о томъ, какъ пришелъ въ царскій домъ нѣкій старецъ-пустынникъ, именующійся—при дальнѣйшемъ развитіи повѣствованія—Варлаамомъ,—какъ принесъ онъ съ собою „прекрасный камень драгій“. Обращается къ нему молодой Іоасафъ-царевичъ съ просьбою показать этотъ камень: „Я увижу и спознаю цѣну его!“—говоритъ онъ. Держить пустынникъ отвѣтное слово царевичу: „Удобѣе можешь солнце взять рукою, а сего не можешь оцѣнить во вся вѣки безъ конца! Когда ты возможешь небеса измѣрить, всѣ моря и рѣки въ горсти вмѣстить,—и все противъ того—нѣтъ ничего!“ Не удовлетворился такимъ отвѣтомъ любознательный Іоасафъ:—„О, купецъ премудрый!“—воскликаетъ онъ: „Скажи мнѣ всю тайну: какъ на свѣтъ явился, гдѣ нынѣ пребываетъ тотъ (камень)?“ И вотъ—изъ устъ старческихъ вылетѣлъ онъ болѣе ясному слову о „прекрасномъ-предлюбезномъ“ камнѣ:—„Пречистая Дѣва родила сей Камень, положенъ во яслехъ, прежде всѣхъ явился пастухамъ. Онъ нынѣ пребываетъ выше звѣздъ небесныхъ: солнце со звѣздами, а земля съ морями непрестанно славятъ (Его) Отца!“ Сердцемъ, если не разумомъ, понялъ царевичъ, что это за дивный камень, постигъ онъ все блаженство обладанія сокровищемъ вѣры истинной и слезно сталъ просить Варлаама взять его съ собою въ пустыню. Ушелъ старецъ, не исполнивъ царевичевой просьбы; и востосковалась взалкавшая слиянія со Христомъ душа Іоасафова: „Не хочу я пребывать безъ старца; оставлю я царство, иду во пустыню, взыщу Варлаама, и я буду свѣтозарень отъ него!“—И ничто уже не могло удержать царевича отъ выполненія грядущаго подвига: „Молю тебе, Боже!“—возговорилъ онъ:—„Пресладкій Исусе! Дажь ми получить съ Варлаамомъ жити всегда!..“ На этомъ и кончается разносказъ стиха, служащій какъ-бы вступленіемъ къ другимъ, поющимъ-повѣствующимъ о самомъ подвигѣ царевича.

По другому, записанному П. В. Кирѣевскимъ въ Орловской

губерніи, разносказу—Іоасафъ является „сыномъ царя Давида“, народившимся въ тѣ времена-годы, когда „цари царства покидали, уходили Богу молиться“. Въ олонецкой округѣ подслушана-найдена П. Н. Рыбниковымъ побывальщина, именуемая подвижника дѣтищемъ „невѣрнаго царя Ѳевдула въ землѣ Идольской“. Во всѣхъ-же остальныхъ извѣстныхъ спискахъ стиха-сказанія слушатели читатели впервые видятъ царевича стоящимъ прямо передъ пустынею, плачущимъ о грѣхахъ и—въ неутолимой ничѣмъ, кромѣ желаннаго подвижничества, жаждѣ подвига—умоляющимъ ее принять его подъ свой тихій кровъ и укрыть „отъ юности прелестныя“. Плачъ-моленіе Іоасафа—наиболѣе яркое по силѣ изобразительности мѣсто сказанія, во всѣхъ его разносказахъ—какъ въ самыхъ многословныхъ, такъ и въ краткихъ. Имъ-то—этимъ плачемъ—индійскій царевичъ больше всего и пришелся по душѣ русскому пахарю-мечтателю, по самой природѣ своей расположенному къ подвижничеству, приуроченному къ любовному общенію съ матерью-природою.

Олонецкій разносказъ, поселяющій Іоасафа-царевича въ землѣ Идольской, видитъ его въ самые юные годы, но уже воспріявшимъ ученіе Христово. „Не ходитъ Асафъ-царевичъ по гуляньямъ“,—гласитъ онъ: „не бываетъ онъ на бесѣдахъ, а сидитъ себѣ въ особой горницѣ затворникомъ“. Не по душѣ отцу царевичеву, царю Ѳевдулу, такой нравъ-обычай сыновній: „Что-же ты, сынъ мой любезный, Асафъ Ѳевдуловичъ, сидишь не весель, не радощенъ?“, попрекаетъ онъ царевича:—„Какъ повѣровалъ ты вѣру не нашу, повѣровалъ вѣру христіанскую, не выходишь изъ особой горницы. Пошелъ-бы хотя на гулянье!“ Не захотѣлъ сынъ Ѳевдула-царя прогнѣвить отца, соглашается на гулянье пойти. А тотъ—этимъ временемъ отдалъ приказъ, чтобы ни одинъ старъ-человѣкъ не смѣлъ выходить цѣлый день на улицу. „Ступай (говорить), сынъ любезный; забавляйся—сколько душѣ угодно!“—„Не все, батюшка, забавиться: надобно и о смертномъ часѣ подумать!“—возражаетъ Асафъ-царевичъ: „Вѣдь когда-нибудь постарѣемъ и помремъ“. Усмѣхнулся отецъ: „Если будешь, сынъ мой любезный, вѣровать вѣру нашу, не постарѣешь и не помрешь!“—сказываетъ. Вышелъ Асафъ-царевичъ на гулянье, открылась передъ его глазами самая веселая картина: на улицахъ—дородные молодцы, крапныя дѣвицы, молодяя молодицы, поютъ, пляшутъ, забавляются; выкачены сороковые бочки вина („веселія Руси“), накрыты столы на цѣлый городъ: пей, ѣшь,—что хочешь! Ни на что, ни на кого не смотритъ возжаждавшій инога веселія

юноша,—идеть онъ за городъ. И вотъ—попался ему на глаза старъ-человѣкъ, „такой ветхій, что и поле пахать не можетъ“. Остановился царевичъ, посмотрѣлъ на встрѣтившагося, говорить—на него гляючи: „Батюшка сказалъ мнѣ, что въ его царствѣ не старѣютъ и не умираютъ, а вотъ какой есть старъ-человѣкъ!“—„Ой, дитятко! Какъ въ лѣта войдешь, хуже меня будешь; да и помереть надо, дитятко!“—отвѣчалъ ему, словно сговорившійся съ нимъ-самимъ, встрѣчный старецъ. „Съ того слова прошелъ Асафъ-царевичъ во пустыню,“—ведетъ свою рѣчь старое сказанье.

Существуетъ такой, одиноко стоящій въ многоголосомъ кругу другихъ, разносказъ-разнопѣвъ (записанный въ Можайскомъ уѣздѣ Московской губерніи), въ которомъ къ „прекрасной пустынь“ приходитъ не царевичъ, а царь. „Царь со царства соѣзжаетъ“,—начинается это сказанье, —„царя слуги провожаютъ, ужъ и царь рабовъ ворочаетъ:—Воротитесь, мои слуги, вѣрные други! А я пойду жить въ пустыню—Богу молиться и потрудиться!“ Далѣе все идетъ сообразно съ общеизвѣстнымъ повѣствованіемъ о царевичѣ-Іоасафѣ, но только въ болѣе краткой передачѣ смѣняющихся одно другимъ событій.

Наибольшей полнотою и связностью отличается стихъ, подслушанный въ Рязанской губерніи. Недостаетъ въ немъ только вступительныхъ словъ, имѣющихся во множествѣ другихъ списковъ (подмосковномъ, орловскомъ, тульскомъ, симбирскомъ и проч.),—словъ, относящихся къ мѣсту дѣйствія: „Во дальней во долинь тамъ стояла мать прекрасная пустыня...“, или: „Во долинь возстояла...“ и т. д. Но это упущеніе нисколько не мѣшаетъ рязанскому сказанію запечатлѣваться цѣльною и яркой картиною, пополняемой возбужденнымъ воображеніемъ слушателя, благодаря непосредственной красотѣ повѣствованія, возсозданнаго простодушными сказателями на чисто русскій народный складъ-ладъ.

„Расплачется младый юноша, сынъ (царскій) Асафѣй царевичъ, передъ матерью пустынею стоя“,—заводятъ-запѣваютъ убогіе пѣвцы калики-перехожіе свой безхитростный сказъ-стихъ и переходятъ къ царевичеву „плачу“, поражающему современнаго читателя-слушателя своею проникновенной красотой. „Ты, мать моя пустыня, прекрасная, лѣсовая!“—льется-разливается онъ, западая въ глубину чуткой души:—„Ты пусти мене, мати, къ тебѣ Богу помолиться, со премногими грѣхами, съ многозорными дѣлами! Восприми мене, пустыня, яко мать своего чада, на бѣлыя руки! Научи мене, пустыня, волю Божию творити! Избави мене, пус-

тыня, огня—вѣчныя муки! Возведи мене, пустыня, въ небесное царство! А я буду въ тебѣ жити, на тебе работати, Божью волю творити, земляны поклоны справляти... Прими мене, пустыня, любезная моя мати, отъ юности прелестныя, отъ своего вольнаго царства, отъ своей бѣлокаменной палаты, отъ своей казны золотыя! Прекрасная ты пустыня, любезная мати!“ Въ другомъ, нѣскольکو отзывающемся примѣсью книжности, но все-же въ достаточной степени обвѣяномъ духомъ народности, разнопѣвъ царевичъ молить пустыню принять его „въ тихость свою безмолвную, въ палату лѣса вольную.“ Умиляясь въ каждомъ словомъ все болѣе, онъ восклицаетъ: „Любимая моя мати! Всегда тебе хочу знати, усты и сердцемъ цѣлуючи, въ день и въ нощи милуючи!..“ Выслушала мати-пустыня, одухотворенная сказателями, являющимися плотью отъ плоти, костью отъ кости народной Руси,—отвѣчаетъ она „архангельскимъ гласомъ“ на плачь царевичевъ:—„А ты, младый юношъ, Асафей царевичъ. А и гдѣ-жъ тебѣ въ мене жити и на мене работати, Божью волю творити, земляны поклоны сполнати?“ Не вѣритъ она въ возможность разстаться съ благами бытія земнаго и промѣнять все царское великолѣпіе на одну ея „тишину безмолвную, лѣсовольную“. Не скрываетъ она отъ „младаго юноша“ и того, что ожидаетъ его въ ея зеленыхъ куцахъ. „Въ мене, въ матери-пустынь“,—говоритъ она: „жити тебѣ будетъ моркотно (тяжко), ѣсть (будешь) гнилую колоду, пить болотную воду, носить черную ризу. Въ менѣ, во пустынь, всякія нужды восприняти, терпя потерпѣти, трудомъ потрудитись, постомъ попоститись. Въ менѣ, во пустынь, негдѣ разгулятись, не съ кѣмъ слова молвить!“ Не устранился воспылавшій желаніемъ подвижничества царевичъ: отозвался радостью въ его юномъ сердцѣ архангельскій гласъ пустыни. „А расплачится младый юношъ“,—продолжается сказъ: „расплачится Асафей царевичъ, передъ матерью-пустынею стоя:— Не страшай мене, мати, ты великими страстями! Я могу въ тебѣ жити, на тебе работати, земляны поклоны справляти, Божью волю творити! Мнѣ гнилая колода паче сытнаго хлѣба; мнѣ болотная вода паче сладкова мѣду („гнилая колода слаще царскаго яства, то мнѣ райская пища; болотная водича—лучше царскаго пойла, то мнѣ тихія прохлады“—по иному разносказу); а мнѣ черная риза паче свѣтлаго платья!“ Въ этихъ словахъ отразилось умиленное стихійное сердце народа-сказателя, говорящее устами индійскаго царевича, любезнаго своимъ подвигомъ русскому духу, взыскующему тихаго града небеснаго на суетной землѣ. На отвѣтъ „млада-

го юноша⁴—новая отповѣдь печалующейся, на его юность гляючи, матери-пустыни: „Охъ ты, младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ! Да жаль тебѣ будетъ отца съ матерью покинуть! Да жаль тебѣ будетъ своихъ вороныхъ коней! Да жаль тебѣ будетъ вѣрныя слуги! Да жаль тебѣ будетъ своего золота и серебра! Да жаль тебѣ будетъ всего своего прохладу! Да жаль тебѣ будетъ свои сладкіе напитки; да жаль тебѣ будетъ свои бѣлы каменны палаты!“ Но и это не могло поколебать рѣшенія, принятаго царевичемъ. Снова плачетъ онъ, передъ матерью-пустынею стоя: „Не страшай мене, мати, ты великими страстями! Да не жаль-то мнѣ будетъ отца съ матерью покинуть; да не жаль-то мнѣ будетъ своихъ вороныхъ коней; я на вороныхъ коней не могу на ихъ зрѣти: словно лютые звѣри! Да не жаль-то мнѣ будетъ свои вѣрныя слуги; я на вѣрныя слуги не могу на ихъ зрѣти, словно лютые змѣи! Да не жаль-то мнѣ будетъ своего золота и серебра, я на золото и серебро не могу на него зрѣти—на сыпучіе черви! Да не жаль-то мнѣ будетъ всего своего прохладу, свои сладкіе напитки; да не жаль-то мнѣ будетъ свои бѣлокаменны палаты!“ Отрекся царевичъ ото всѣхъ благъ, связанныхъ съ мірской жизнью,—все ему опостылѣло, нѣтъ ничего завѣтнаго—на чемъ могъ-бы остановиться съ сожалѣніемъ его мысленный взоръ—тамъ, за гранью прекрасной, манящей его тоσκующее о подвигѣ сердце, пустыни. Но она, ставшая для него „любезной матерью“, все еще не теряетъ надежды отговорить его отъ прощанія съ міромъ утѣхъ и наслажденій, словно созданныхъ для его—царевичевой—красоты:—„А ты еси младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ!“—снова возглашаетъ она архангельскимъ голосомъ: „Придетъ теплое лѣто, разольются усѣ рѣки по мхамъ, по болотамъ, одѣнется всякое древо: ты съ мене, пустыни, выйдешь, мене, матерью, покинешь!“ („Придетъ мать весна красна, лужья-болоты разольются, древа листьями одѣнутся и запоютъ птицы райски архангельскими голосами, а ты изъ пустыни вонъ изыдешь, меня, мать прекрасную, покинешь!“—по иному разносказу.) Но съ еще большей ревностью къ пустынножительству держитъ свое отвѣтное слово на это предвѣщаніе царевичъ-юноша: „Не страшай мене, мати, ты великими страстями!“—повторяетъ онъ, заливаясь слезами радости отъ предвкушаемаго блаженнаго слиянія съ пустынею:—„Придетъ теплое лѣто, разольются усѣ рѣки, по мхамъ по болотамъ, одѣнется увякае древо,—отрощу я свой волосъ по могучія плечи, отпущу свою бороду по бѣлыя груди. Я не дамъ своимъ очамъ отъ себе далече зрѣти; я не дамъ своимъ ушамъ отъ себе далече слу-

шать!“ Но и на это есть еще возраженіе у жалбующей юнаго подвижника матери-пустыни:—„А ты есь младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ!“—воскликаетъ она, теряя послѣднюю надежду отговорить царевича:—„А въ менѣ, во пустыни, разгуляться тебѣ негдѣ; а въ менѣ во пустыни, забавлять тебе некому; а въ менѣ во пустыни, утѣшать тебе некому!“ Последнимъ рыданіемъ мятущагося духа отвѣчаетъ „младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ, передъ матерью-пустынею стоя“. И отъ перваго до послѣдняго слова дышетъ яркимъ радостнымъ чувствомъ этотъ полный проникновеннаго одушевленія отвѣтъ:

„Не страдай мене, мати,
Ты великими страстями,
А пусти мене, мати,
Да въ лѣсъ во дремучій!
Разгуляюсь я, младъ юношъ,
Сынъ Асафей царевичъ,
Во зеленой дубровѣ;
Есть частыя дерева,
Со мной будутъ думати думу;
На древахъ есть мелкое листье,
Со мной стануть говорити;
Лютые звѣри стануть
Мене забавляти!
Прилетятъ райскія птицы—
Со мной распѣвати,
Мене спотѣшати,
Христа Бога прославляти,
Какъ Христось Богъ на небесахъ,
Херувимы, серафимы,
Со небесною силой!“

На это хвалебное слово отшельническому житію нечего было возразить матери-пустыни. Тронулась до сокровенной глубины своего любвеобильнаго сердца,—„Ты есь младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ!“—возговорила она, раскрывая передъ нимъ свои любовныя объятія:—„Даруетъ тебе Господь съ небесъ златымъ вѣнцемъ, тебе матерью-пустыней!“ Стихъ,—какъ и въ большинствѣ другихъ разносказовъ,—кончается славой-хвалою сказателей-стихопѣвцевъ юному подвижнику-пустыннику: „Уси ангелы хвалятъ, архангелы величаютъ, херувимы, серафимы, вся небесная сила, и во вѣки вѣговъ, аминь!“ („И все святые праведные Асафю царевичу вздивовались, ево-ли младому царскому смыс-

ду. Ему поетъ слава и во вѣки вѣковъ, аминь!“—по другому, лучшему послѣ приведеннаго, разносказу.)

Кромѣ „плача“ царевича Іоасафа, именуемаго во всякомъ разносказѣ стиха о немъ—на свой, нѣсколько измѣненный, ладъ, сохранились, благодаря тѣмъ-же неутомимымъ собирателямъ народной словесной старины нѣсколько списковъ его „похвалы“ пустынь и его „молитвы въ пустынь“,— по преданію, найденныхъ въ рукѣ почившаго подвижника. Вотъ, на примѣръ, симбирскій разнопѣвъ первой: „О, прекрасная пустыня! И самъ Господь пустыню похваляетъ; отцы во пустынь ся скитають, и ангели отцамъ помогаютъ, апостоли святыхъ отецъ ублажаютъ, пророцы святые прославляютъ. Отцы во пустыни ся скитають и быліемъ ся питають, изъ горъ воды испиваютъ. Птицы прилетаютъ, на кудрявыя вѣтки посаждаютъ, отцевъ въ пустыни утѣшаючи, вѣчно умирающихъ... О, прекрасная пустыня!“ Въ другомъ—ярославскомъ—разнопѣвѣ пустыня именуется „любезною дружиною“ (подругою) царевича-пустынника. „Тебѣ, Христось, подражаю. Нищъ и убогъ хошу быти, да съ Тобою могу жити!“—взываетъ къ Распятому Сыну Божію пылающее неугасимой ревностью къ подвигу сердце, изливающее радость своего подвижничества въ молитвахъ, рождающихся подъ тихій шелестъ дубравы.

Въ одной старинной рукописи дошла до нашихъ дней „Быль о царевичѣ Іоасафѣ“, несомнѣнно имѣющая прямую связь съ простонародными сказаніями, посвященными восхваленію-возвеличенію жажды подвиговъ. „Приидите, вѣрніе людіе, внушите, дивная имамъ рещи, умилно судите. Велію любовь явлю Бога всевелика, како предивнѣ възиска, спасти челоувѣка, челоувѣка не проста, отъ царя рождена, Іоасафа, лицомъ вельми удобрена“...—гласитъ вступленіе въ эту „Быль“, во многомъ сходную съ разносказомъ стиха народнаго о царѣ Оевдулѣ и землѣ Идольской. Отецъ царевича именуется здѣсь Авениромъ Индійскимъ. Было ему предсказано, что сынъ его „Христа любитель будетъ“. Чтобы удержалъ Іоасафа въ вѣрѣ отцовъ своихъ, окружилъ онъ царевича приверженными къ идолослуженію рабами, запретилъ не только упоминать при немъ о Христѣ, но даже и допускать предъ его очи какое-либо печальное зрѣлище. Жилъ царскій сынъ, не знаючи ничего кромѣ веселья, и считалъ утопающимъ въ счастіи цѣлый міръ. Но совершенно случайно попался однажды ему навстрѣчу прокаженный слѣпецъ; изумленный и встревоженный царевичъ спросилъ любимаго „пестуна“—спутника, — что это за несчастное существо,—и тотъ открылъ своему господину всю

правду-истину. Съ этой поры смутилось сердце Іоасафово, обуяла печаль его юную душу, возгорѣлось въ его груди желаніе покинуть домъ отчій, разстаться со всѣмъ наполняющимъ его довольствомъ. И послалъ Господь пустытника Варлаама въ царскія палаты—наставить царевича въ вѣрѣ истинной. Проникъ во дворецъ святой старецъ подѣ видомъ купца, продающаго драгоцѣнные камни, и выполнилъ вѣрѣ правое и отца своего Авенира, по смерти котораго наслѣдовалъ ему на престолѣ. „Но не долго во славѣ изволилъ быть, яко послѣдующій гласъ хоцетъ явити“... ведетъ свою рѣчь повѣствователь, продолжая:—„коль дивна Божія сила благодати, можетъ и каменные сердца угнетати! А идѣже мягкую ниву обрѣтаетъ, ту и сѣмя слова плоды на сто умножаетъ. Іоасафа нива сердца мягка бѣше, яко дождь благодати егда воспріяше, сѣмя славы Божія бысть умножено, по всей странѣ индѣйской уплодотворенно. Ибо, царь бывъ, кумиры вездѣ сокрушаше, христіаны отъ пустынь во грады собраше, епископу повелѣ народы крестити, и самъ слову Божию прилежа учить“... Проведши въ такомъ трудѣ во славу Христа „четырехдесятиищу дней“ послѣ кончины отцовской, передаетъ Іоасафъ царскій скипетръ одному изъ друзей своихъ, Варахию: завѣщалъ ему хранить вѣру и правду, а самъ облекся въ убогія одежды и возложилъ на свои рамена—вмѣсто царской багряницы—бремя подвижничества. Ушелъ онъ въ пустыню къ старцу Варлааму, заронившему въ его сердце плодотворное сѣмя вѣры Христовой: „яко единъ отъ нищихъ самохотно бѣше; не возьмъ раба и друга, въ пустыню идяше, честнаго Варлаама въ вертепахъ искаше, съ нимъ въ молитвахъ и постѣхъ выну пребываше“... На этомъ и кончается „Быль“, дѣйствительно болѣе близкая содержаніемъ къ преданію, общему для всѣхъ европейскихъ народовъ, заимствовавшихъ его отчасти изъ индѣйскихъ сказаній о Буддѣ (Сакіа-Муни), отчасти изъ повѣствованій о подвигахъ угодниковъ Божіихъ—святыхъ Восточной Церкви.

Мать-пустыня, прославленная стиховными сказаніями про Іоасафа-царевича, является предметомъ воспѣванія-величанія въ русскихъ раскольничьихъ пѣсняхъ, многія изъ которыхъ отражаютъ въ себѣ народную старину. Вотъ, напри-
мѣръ, пѣсенный сказъ нѣтовцевъ⁸¹⁾. „Какъ шелъ старецъ по

⁸¹⁾ „Нѣтовщина“ („Спасово согласіе“) — одинъ изъ самыхъ закоренѣлыхъ раскольничьихъ толковъ безноповщины. Нѣтовцы отрицаютъ всѣ церковныя установленія и проповѣдуютъ, что со времени патріарха Никона („никоновскихъ новшествъ“) вся благодать таинствъ Христовыхъ взята на небо, а на землѣ на-

дорожкѣ, черноризецъ по широкой...“ — запѣвается этотъ сказъ пѣсенный: „Идучи, онъ слезно плачетъ, во слезахъ пути не видитъ, во рыданьяхъ слова не молвить“. Назстрѣчу ему идетъ не простой путникъ, дорожный человекъ, а — „Самъ Христось Царь Небесный“. И возговорилъ Онъ старцу, — продолжается сказъ: „Ой ты, гой еси, старецъ-черноризецъ, ты о чемъ, старецъ, слезно плачешь? О чемъ, черноризецъ, воздыхаешь?“ На слова Христовы держитъ отвѣтъ старецъ: „Охъ ты, гой еси, Христось, Царь Небесный! Какъ мнѣ, Господи, не плакать? Потерялъ я златую книгу, потопилъ я ключъ церковный въ морѣ!“ Обѣщаетъ утѣшающій плачущаго Царь Небесный найти-вернуть ему и ту, и другой, — посылаетъ его спасать душу въ пустыню. Услышавъ такой завѣтъ Сына Божія, восклицаетъ умиленный старецъ-черноризецъ: „Охъ ты, гой еси, батюшка Христось, Царь Небесный! Ты поставь-ка мнѣ въ пустынѣ келью, гдѣ бы люди не ходили, одиѣ-бы пташки пролетали, меня-бы, старца, потѣшали, ото сна-бы пробуждали; ото сна-бъ я пробудился, на правило становился!..“ Вслѣдъ за этими, до извѣстной степени совпадающими со стихомъ объ Іоасафѣ-царевичѣ, словами, идетъ заповѣдъ Христа, повелѣвающаго — въ чисто-раскольничьемъ духѣ — „своимъ православнымъ христіанамъ“ бѣжать изъ городовъ-сель отъ народившагося антихриста, напоминающаго своимъ обрисованнымъ въ пѣснѣ обликомъ представленіе самосожигателей о патріархѣ Никонѣ: „Не сдавайтесь вы, Мои свѣты, тому змію седмиглаву, вы бѣгите въ горы, вертепы, вы поставьте тамъ костры большіе, положите въ нихъ сѣры горючей, свои тѣlesa вы сожгите! Пострадайте вы, Мои свѣты, за Мою вѣру Христову: Я за то вамъ, мои свѣты, отворю райскія свѣтлицы и введу васъ во Царство Небесно и Самъ буду съ вами жить вѣковѣчно!“ Конецъ сказа воскрешаетъ передъ своими слушателями память объ одной изъ самыхъ прискорбныхъ страницъ лѣтописи былыхъ заблужденій мятущагося народнаго духа — заблужденій, по счастью, безвозвратно отошедшихъ въ область, если не забытыхъ, то обреченныхъ забвенію, преданій.

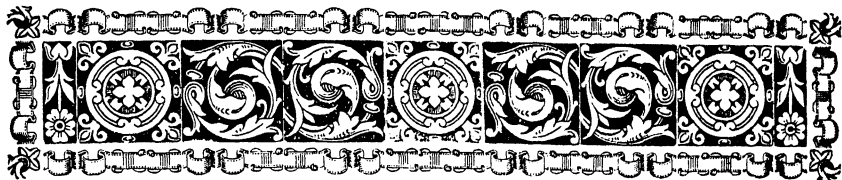
Не въ такихъ темныхъ преданіяхъ ищетъ себѣ исхода мечта, свѣтлѣющая въ общеніи съ природою, проникнутой для чуткихъ сердець дуновеніемъ откровеній Божественныхъ, — природою, олицетворенной въ умиленномъ представленіи о

ступило царство антихриста. Многие позаимствовали нѣтовцы въ своемъ вѣроученіи отъ самосожигателей, изувѣрствомъ, переходившимъ всѣ границы, оставившихъ по себѣ тяжелую память въ исторіи XVIII-го столѣтія.

прекрасной матери-пустыни, образъ которой запечатлѣлся въ пылливомъ сердцѣ народной Руси, восклицающей подъ тяжкимъ бременемъ обступающихъ ея трудную-страдную жизнь повседневныхъ житейскихъ заботъ:

„Охъ ты, матушка-пустыня,
 Распрекрасная раиня!
 Еще кто-бъ тебя поставилъ
 Среди темнаго лѣса,
 Во зеленой, во дубравѣ,—
 Не слыхать-бы въ тебѣ было
 Прелестнаго-злого міра...“

Для этого, воздыхающаго такъ глубоко, стихійнаго сердца ближе всякихъ самосожигателей-черноризцевъ кроткій обликъ царевича, пошедшаго по стопамъ подвижниковъ Христовыхъ. (Чѣмъ-то роднымъ отзывается въ русской душѣ его смиренная мольба: „Любимая моя мати, прекрасная пустыня! Ты прими мене, пустыня, яко мати свое чадо; научи мене, пустыня, волю Божию творити!“) Сколько покорности этой волѣ, сколько свѣтлой вѣры въ ея непреложность слышится въ этихъ словахъ, вылившихся изъ глубины души пахаря-мечтателя, взыскающаго на землѣ града небеснаго...



XLVIII.

Введеніе.

21-е ноября, день праздника Введенія во храм Пресвятой Богородицы, отмѣчено въ народномъ мѣсяцесловѣ цѣлымъ рядомъ особыхъ повѣрій и связанныхъ съ ними обычаевъ, зародившихся въ лонѣ матери-природы, отовсюду охватывающей повседневную жизнь крестьянина-земледѣльца.

Сохранился цѣлый рядъ простонародныхъ пѣсенныхъ сказаній, являющихся въ то-же самое время и хвалебными величаниями впервые вступившей во храмъ Господень Пресвятой Дѣвѣ. „Ты во церковь приведеса, архіереомъ воздадеса и отъ ангель предпочтеса“, — начинается одно изъ нихъ. За этимъ началомъ „запѣвою“ слѣдуетъ повторяющійся и въ самомъ концѣ стиха припѣвъ: „Приведутся дѣвы, ближняя Ея, во слѣдъ Ея во Святая Святыхъ!“ Сказаніе, прерванное этимъ четверостишіемъ, продолжается: „Захарія сливокствуеть, пророчески извѣствуеть, веселяся торжествуетъ. Руцѣ старецъ простираеть, Царицею называетъ, сладкими гласы воспѣваетъ. Днесъ подьметъ старецъ Дѣву, да возведетъ Евву, да разрушитъ клятву древню. Евва, нынѣ веселися: се Дѣвая днесъ явися, на престолѣ спосадися. Духъ Святый осѣняетъ, а Дѣвая принимаетъ, трилѣтна всѣмъ ся являетъ. Прилетаютъ херувими, окружають серафими, поють гласы три-святыми. Ангель пицу принашаетъ, а Дѣвая принимаетъ, кверху руцѣ простираеть“... Другой, воспѣвающій этотъ праздникъ, стихъ начинается словами о горахъ Сіонскихъ, на которыхъ Богъ „завѣтъ положилъ, свыше намъ съ небесъ свѣтъ Божій открылъ, струями словесъ сердце наполни“. Въ третьемъ — приглашаются торжествовать „патріарси“, „всеи

дѣвы“ — бодрствовать и „диковать со пророки“. Въ четвертомъ — веселится праматерь-Ева. И во всѣхъ нихъ явственно слышится благоговѣйное чувство народа-пѣснотворца, воздающаго честь-хвалу Богоматери.

Переходъ отъ Михайлова ко Введеневу дню имѣеть, по старинной народной примѣтѣ, весьма важное значеніе для всей первой половины зимы. Если „Зимняя Матрена“ придетъ на землю въ такой силѣ, что, дѣйствительно, поможетъ зимѣ „встать на ноги“, а Ѳеодоръ-Студитъ, точно сговорившись съ нею, все застудитъ, то санному пути въ тотъ годъ не растаять до весенней распутицы. Когда же 10-го ноября, въ канунъ дня, посвященнаго чествованію памяти св. Ѳеодора, повиснетъ на древесныхъ вѣтвяхъ пушистая бахрома инея (въ предзнаменованіе теплой погоды), да если на слѣдующія за Студитовымъ днемъ сутки будетъ порошить снѣжная пороша, то — стоять разводящимъ дороги оттепелямъ-мокринамъ вплоть до самаго Введенья.

Въ этотъ-же день въ деревнѣ ждуть новой переменны погоды: опытъ старыхъ, зоркихъ памятью людей говорить о томъ — на-двое. Бываетъ, что на Введеневъ день проѣзжаетъ по горамъ и доламъ „на пѣгой кобылѣ“, красавица-Зима, одѣтая въ бѣлоснѣжную душегрѣйку, и дышетъ на все встрѣчное такимъ леденящимъ дыханіемъ, что даже вся нечисть, — о которой добрые люди боятся вспоминать на ночь, — а если и обмолвится кто о ней ненарокомъ, то въ ту-же минуту оговариваетъ свою ошибку словами „не къ ночи будь помянуть“, — даже всѣ смущающіе суевѣрную душу пахаря духи тьмы торопятся укрыться по добру — по здорову куда-нибудь подальше да поглубже отъ краснощекой русской красавицы, замораживающей своими поцѣлуями кровь въ жилахъ. Тогда говорятъ въ народѣ: „Введенье пришло — зиму на Русь завело!“, „Введенскіе уставщики, братья Морозы Морозовичи, рукавицы на мужика надѣли, стужу установили, зиму на умъ наставили!“, или: „Наложило на воду Введенье толстое леденье!“ и т. п.

Но случается, что погода пойдетъ объ эту пору совсѣмъ на иную статью. Приходилось русскому деревенскому люду видѣть, что „Введенье ломаетъ леденье“, — почему и пошла гулять, рука-объ-руку съ только-что приведенными выше старинными поговорками, и молвь о томъ, что „Введенскіе морозы не ставятъ зимы на рѣзвыя ноги“. Это, не согласующееся съ установившимся мнѣніемъ деревни о прочности работы вѣковѣчныхъ кузнецовъ Кузьмы - Демьяна, изреченіе стоитъ о-бокъ съ тѣмъ, въ незапамятныя времена

впервые выпущеннымъ изъ усть народного опыта замѣчаніемъ, что введенскія оттепели надолго портятъ-бороздятъ бѣлую камчатную скатерть зимняго пути и совершенно противорѣчатъ распѣваемой мѣстами и теперь ребячьей пѣсенкѣ, лѣтъ двадцать тому назадъ подслушанной въ Симбирской губерніи (въ Ново-Никулинской волости Симбирскаго уѣзда):

„Введенье пришло,
Зиму въ хату завело,
Въ сани коней запрягло,
Въ путь-дорожку вывело,
Ледъ на рѣчкѣ вымело,
Съ берегомъ связало,
Къ землѣ приковало,
Снѣгъ заледенило,
Малыхъ ребятъ,
Красныхъ дѣвчатъ
На салазки усадило,
На ледянкѣ съ горы покатило“...

Встарину праздникъ Введеніе во храмъ Пресвятой Богородицы былъ днемъ перваго зимняго торга. Бѣлокаменная Москва начинала съ этого дня расторговываться санными, свозившимися въ нее къ тому времени изъ промышлявшихъ щепнымъ и лубянымъ промыслами слободъ и посадовъ, цѣлыми грудями-горами складывавшимися на Лубянской площади, — укрѣпившей, вѣроятно, отъ этого и свое имя за собою. Между лубяными и санными рядами расхаживали калачники, пирожники, сбитеньщики, приглашавшіе покупателей и продавцовъ — „не ввести въ зазоръ“ ихъ и „провѣдать стряпни домостряпанной, не заморской, не басурманской, не нѣмецкой“ и т. д. Сами торговцы Лубянскаго торга, славившіеся своимъ мастерствомъ на красное слово, нѣтъ-нѣтъ да и выкрикивали заходившему въ ряды люду московскому прибаутки, въ-родѣ:

„Вотъ санки-самокаты,
Разукрашены—богаты,
Разукрашены-раззолочены,
Сафьяномъ оторочены!
Введеньевъ торгъ у двора,
Санкамъ ѣхать поря!
Сани сами катать,
Сами ѣхать хотять!
Ѣхать хотять сами
Къ доброму молодцу во дворъ“.

Къ доброму купцу,
Къ хозяину тороватому,
Ко тому-ли вожеватому!..“

И сани, особенно ходко шедшіе съ рукъ у продавцовъ въ этотъ день, пестрѣли-рябили въ глазахъ у покупателей своею яркой росписью. Первое мѣсто по цѣнѣ и хитрому узорчю занимали въ красовавшихся грудахъ зимняго товара галицкіе сани, раскрашенные не только красками, но и позолотою. Къ вечеру, если не вся, то добрая треть Первопрестольной, каталась на новыхъ саняхъ.

Со Введеньева дня встарину, — а мѣстами и въ настоящее время, — начинались не только зимніе торги, но и зимнія гулянки-катанья. „Дѣлу время, потѣхъ — часть!“ — говорить и въ наши дни русскій человекъ, чередующій свои работы и заботы съ отдыхомъ. Къ первому санному гуляню старинные люди относились, какъ къ особому торжеству. Наиболѣе строго соблюдались обступавшіе его обычаи въ семьѣ, гдѣ были къ этому времени молодожены-новобрачные. Въ такой домъ собирались — званые-прошеные — всѣ родные, всѣ свойственники, приглашались, по обычаю, „смотреть, какъ поѣдетъ молодой князь со своею княгинюшкой“. Выѣзду послѣднихъ предшествовало небольшое столованье, прерывавшееся „на полустолѣ“, чтобы закончиться послѣ возвращенія поѣзда новобрачныхъ во дворъ. Отправлявшіеся на гулянье молодые должны были переступать порогъ своей хоромны не иначе, какъ по вывороченной шерстью вверхъ шубѣ. Этимъ, — по словамъ свѣдущихъ, знающихъ всякій обычай, людей — молодая чета предохранялась ото всякой неожиданной бѣды-напасти, могшей, въ противномъ случаѣ, перейти ей дорогу на улицѣ. Свекоръ со свекровью, провожая невѣстку на первое санное катанье съ мужемъ молодымъ, упрашивали-умаливали всѣхъ остальныхъ поѣзжанъ-провожатыхъ убережъ „княгинюшку“ ото всякой бѣды встрѣчной и поперечной, а пуще всего — „отъ глаза лихого“:

┌ „Ой, вы, гости, гости званые,
Званые-прошдые!
Ой, вы, братья-сватья,
Ой, вы милые!
Выводите вы нашу невѣстущку,
На то-ли на крыльцо тесовое,
Выводите нашу свѣтъ-княгинюшку
Бѣдою лебѣдушкой...“

Берегите-стерегите её:
 Не упало-бы изъ крылышекъ,
 Ни одного перышка,
 Не сглазиль-бы ее, лебедушку,
 Названную нашу доченьку,
 Ни лихой удалецъ,
 Ни прохожій молодець,
 Ни старая старуха—баба злющая.“)

Сани молодыхъ, наособицу изукрашенные коврами, по-
 достями и рѣзбой-росписью, выводились со двора первыми.
 Слѣдомъ за ними тянулся длинный поѣздъ, если менѣе бога-
 тый, то не менѣе пестрый, снаряженный хозяевами для зва-
 ныхъ гостей. Молодые ѣхали въ своихъ раззолоченныхъ и
 разукрашенныхъ „съ выводами“ саняхъ „княжескихъ“, ѣхали
 и знай—отвѣшивали поклонны по сторонамъ: они впервые по-
 казывали себя и свое молодое счастье народу честному, со-
 сѣдямъ ближнимъ и дальнимъ. За поѣздомъ бѣжали ребята
 съ веселыми криками; на поѣзжанъ любовался отовсюду, со
 всѣхъ крылецъ, людъ православный, охочій и теперь погля-
 дѣть на всякое подобное зрѣлище. И не было отъ этого гля-
 дѣнья никому никакого зазора: одни показывали себя, дру-
 гие—смотрѣли.

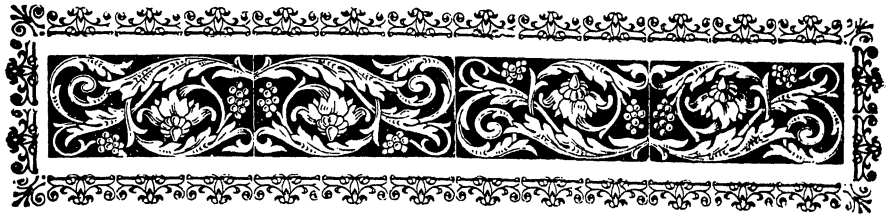
Въ слѣдовавшемъ за молодыми поѣздъ раздавались веселыя
 пѣсни, прерывавшіяся иногда и не менѣе веселыми здрави-
 цами, относившимися „ко князю со княгинюшкой“: гостямъ
 ставились въ сани и судей съ романеями, и жбаны съ медами
 крѣпкими, чтобы ихъ „не заморозили Морозы Морозовичи
 введенскіе“... Если гулялъ на саняхъ „князь“ изъ боярской
 семьи, то молодые сидѣли на медвѣжьей шкурѣ, а посторонъ
 ихъ саней бѣжали шуты-скороходы, походя забавлявшіе мо-
 лодыхъ своимъ скоромышимъ обычаемъ.

По возвращеніи поѣзда съ гулянья, показавшую себя на-
 роду невѣстку встрѣчали на крыльцѣ поджидавшіе свекоръ
 со свекровью, принимавшіе ее изъ рукъ молодого за руки и
 потомъ низко кланявшіеся поѣзжанамъ за то, что они „убе-
 регли бѣлую лебедушку, ихъ доченьку богоданную ото вся-
 каго глаза, ото всякой притки, ото всякой напасти“. За-
 тѣмъ, повторялся опять переходъ черезъ шубу сдан-
 ныхъ съ рукъ на руки молодыхъ, и они вводились въ
 покои,—гдѣ и продолжалось прерванное на полустолѣ веселое
 столованье.

Въ настоящую пору этотъ любопытный обычай, во всей
 своей полнотѣ, не сохранился нигдѣ; но живыя тѣни его и

до сихъ поръ бродятъ еще по неоглядному раздолью Земли Русской. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выѣздъ на самое гулянье съ теченіемъ времени перенесся на 22-е (Прокопьевъ день), а затѣмъ и на 24-е число, на Катерининъ день.

„Введенье идетъ, за собой Прокопа ведетъ“, — гласить старинная поговорка: — „Прокопъ по снѣгу ступаетъ, дороги ко-
паетъ. Катерина на саняхъ катитъ къ холодному Юрью (26-му ноября) въ гости“.



XLIX.

Юрій-Холодный.

26-го ноября чествуется Православной Церковью память освящения перваго на Руси храма во имя святого Георгія-Побѣдоносца (въ Кіевѣ, на Златыхъ Вратахъ). Въ народѣ этотъ церковный праздникъ съ незапамятныхъ временъ слыветъ подъ именемъ „Юрія-холоднаго“ („Зимняго Егорія“) — въ отличіе отъ „теплаго“ — весенняго, празднуемаго 23-го апрѣля.

Св. Георгій (Юрій, Егорій)-Побѣдоносецъ занимаетъ, по народному представленію, одно изъ первыхъ мѣстъ среди чтимыхъ святыхъ. И это замѣчается не только у русскихъ, но и вообще у всѣхъ славянъ и даже сосѣднихъ съ ними народовъ, относящихся къ нему съ особымъ благоговѣніемъ и окружающихъ память о немъ самыми разнообразными сказаніями. На него' перенесены народнымъ воображеніемъ многія выразительныя черты верховныхъ божествъ древне-славянскаго языческаго Олимпа. Свѣтозарный обликъ этого воина Христова встаетъ передъ духовными очами народа въ видѣ облеченнаго въ златокованныя латы всадника на бѣломъ конѣ, поражающаго своимъ копьемъ огнедышаго дракона. Грозѣтъ „воинъ воинства небеснаго“ для ратей силы темной, — не менѣе (если даже не болѣе) Ильи-пророка и Михаила-архангела. Но для трудящагося въ потѣ лица люда православнаго, для мирныхъ пахарей и пастырей, онъ является неизмѣннымъ покровителемъ и крѣпкой защитою.

Русское народное пѣснотворчество удѣлило въ своихъ, занесенныхъ въ изустную память народа, скрижальхъ немало мѣста прославленію подвиговъ этого святого. „Сказаніе о Егоріѣ Храбромъ“, записанное П. В. Кирѣевскимъ, называ-

еть его сыномъ „тоя-ли премудрыя Софія“, придавая этимъ самому рожденію его таинственное значеніе и надѣляя его съ самой минуты появленія на бѣлый свѣтъ наслѣдственной мудростью, побѣждающей въ образѣ его даже и премудрость змѣиную, направленную къ совершенію всяческаго зла. Будучи стихійно-послѣдовательнымъ даже въ своихъ ошибкахъ, народъ называетъ сестрами „желаннаго дѣтища“ Мудрости— Вѣру, Надежду и Любовь,—и дѣлаетъ это не случайно, а такъ-же для того, чтобы породнить ихъ съ обликомъ Егорія Храбраго. Послѣднему онъ, между прочимъ, приписываетъ искорененіе темени басурманства и утверженіе православія „на свѣтлой Руси“.

„Какъ и сталь онъ, Егорій Храброй,
Въ матеръ возрастъ приходити,
Умъ-разумъ спознавати,
И учаль онъ во тѣ поры
Думу крѣпкую оповѣдати
Своей родимой матушкѣ,
А и ей-ли, премудрой Софіи:
Сонзволь, родимая матушка,
Осударыня премудрая Софія,
Ѣхать мнѣ ко землѣ свѣтлорусской,
Утверждать вѣры христіанскія“...

Такъ повѣствуетъ сказаніе, отправляющее св. Георгія на подвигъ. И ѣдетъ онъ—„отъ востока до запада“. По его слову, разступаются передъ нимъ „лѣса темныя, дремучіе“ и разбѣгаются по всей Руси; по его велѣнію, „горы высокія, холмы толкучіе“, заграждающіе путь-дорогу нетереную, даютъ ему проходъ и тоже разсыпаются-раскидываются вдоль и поперекъ земли свѣтлорусской. „Моря глубокія, рѣки широкія“, „звѣри могучіе, рогатыя“,—все повинуется Побѣдоносцу. „И онъ, Егорій Храброй, заповѣдуетъ звѣрямъ:—А и есть про васъ на съдомое во поляхъ трава муравчата; а и есть про васъ на пойлицо во рѣкахъ вода студѣная“... Назъжакетъ онъ, на своемъ пути, „на то стадо, на змѣиное, на то стадо на лютое,—хочетъ онъ, Егорій, туда проѣхати“. Стадо змѣй не только не даетъ ему хода-пропуска, а совѣтуетъ воротиться вспять и унять своего „козя ретиваго“. Но Храброй не внимлетъ совѣту змѣиному, вынимаетъ онъ саблю острую: „...ровно три дня и три ночи рубить, колеть стадо змѣиное; а на третій день ко вечеру посякъ, порубилъ стадо лютое“... Сказаніе кончается тѣмъ, что Егорій Храброй, побѣдившій „стадо змѣиное“, назъжакетъ „на ту

землю свѣтлорусскую, на тѣ поля, рѣки широкія, на тѣ высоки терема златоверхіе“... Здѣсь не пропускають его уже „красны дѣвицы“, обращающіяся къ славному богатырю съ таковой рѣчью:

„А и тебя-ли мы, Егорій, дожидаючись,
Тридцать три года не вступаючи
Съ висока терема златоверхаго,
А и тебя-ли мы, Храбраго, дожидаючись,
Держимъ на роду великъ обѣтъ:
Отдать землю свѣтлорусскую,
Принять отъ тебя вѣру крещоную!“

И онъ „пріимаетъ ту землю свѣтлорусскую подъ свой великъ покровъ“, съ этой поры до нашихъ дней, по убѣжденію народной вѣры, не забывая о ней въ своихъ неуспѣшныхъ заботахъ.

Другой сказъ о Георгіѣ-Побѣдоносцѣ, вылившійся изъ устъ пѣснотворца-народа, запечатлѣнъ памятью послѣдняго въ стихѣ каликъ-перехожихъ объ этомъ святомъ. По свидѣтельству названнаго памятника слова народнаго, онъ родился не обыкновеннымъ человѣкомъ, а „породила его матушка: по колѣна ноги въ чистомъ сѣребрѣ, по локоть руки въ красномъ золотѣ, голова у Егорья вся жемчужная, по всемъ Егоріѣ часты звѣзды“... и т. д. Здѣсь сказатель-народъ болѣе близко къ признанному Церковью житію святого Георгія-Побѣдоносца, претерпѣвшаго страшныя мученія при царѣ Діоклетіанѣ⁸²⁾. „Царище-Демьянище“, — поють калики-перехожіе, — „посадилъ (послѣ длиннаго ряда истязаній) Егорья въ глубокъ погребъ, закрывалъ досками желѣзными, забивалъ-закладывалъ гвоздями лужонными, запиралъ замками нѣмецкими, насыпалъ песками рудожелтыми“, чтобы „не видать Егорью свѣта бѣлаго, не зрѣть солнца краснаго, не слышать звона колокольнаго“... Сидитъ Егорій въ своемъ заточеніи „ровно тридцать лѣтъ, тридцать лѣтъ и три года“, но пришелъ конецъ и силъ царица-Демьяница, рычащаго по звѣриному,

⁸²⁾ Діоклетіанъ—Императоръ римскій, царствовавшій съ 284-го по 305 г. по Р. Х. Онъ происходилъ изъ вольноотпущенниковъ и изъ простаго солдата возвысился до званія намѣстника, а потомъ—по внезапной смерти императора Кара (въ персидскомъ походѣ)—былъ провозглашенъ императоромъ, какъ любимѣйшій вождь. Царствование его, прославленное мудрою внѣшней и внутреннею политикой, ведшей къ возрожденію Римской имперіи, было омрачено жестокими гоненіями на христіанъ. Въ 305-мъ году онъ сложилъ съ себя власть и послѣднія восемь лѣтъ жизни провелъ въ сельскомъ уединеніи, отказываясь ото всякой попытки вернуться на престолъ и свергнуть воцарившихся Севера и Максимиана, —несмотря на всѣ просьбы приверженцевъ. Онъ умеръ въ 313-мъ году.

шипящаго по змѣиному: „выходиль Егорій, по Божьему изволенію, изъ погреба глубокаго, узрѣль свѣту бѣлаго, одѣвается въ збрую ратную, беретъ копьѣ востробулатное“... Выходиль Егорій во чисто поле, вскрикнулъ Егорій громкимъ голосомъ: „Ой ты, гой еси, бѣлой рѣзвой конь! Ты бѣги ко мнѣ яснымъ соколомъ!“ И начались для претерпѣвшаго всѣ муки, всѣ истязанія война воинства небеснаго его славные подвиги богатырскіе. Объ этихъ подвигахъ передается въ стихѣ калигѣ-перехожихъ почти то-же самое, что и въ первомъ сказаніи (хотя и другими словами), но только, вмѣсто „стада змѣинаго лютаго“, повстрѣчался Храброму одинъ „змѣй огненный“ (драконъ), котораго и сразилъ непобѣдимый Побѣдоносецъ. Въ заключеніе—добирается Егорій до „палаты бѣлокаменныхъ царица-Демьянища“, и „натянулъ онъ свой тугой лукъ, и пустилъ стрѣлу въ царица-Демьянища“. Мучитель-басурманинъ былъ убитъ, а Егорій поѣхалъ дальше по свѣтлой Руси, „насаждая вѣру христіанскую, искореняя басурманскую“.

Въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи было записано Рыбниковымъ любопытное простонародное сказаніе объ Егоріѣ Храбромъ, повторявшееся—разносказами—и у другихъ собирателей памятниковъ народной словесности. „Быль Содомъ городъ, быль Коморъ городъ, третье было царство Арапинское“,—начинается это сказаніе: „Содомъ городъ сквозь землю сталъ, а Коморъ городъ огнемъ прожгало. Что на то-ли царство Арапинское встала змѣя лютая пещерская, во въ каждыя суточки стала съѣдать по головуцу. Народу во градѣ мало становилось: собирались мужички на единъ мѣсто, стали мужички жеребье кидать; выпало жеребье самому царю—завтра надо ѣхать на сине-море ко лютому змѣю на съѣденіе“... Запечалился царь, закручинился. Идетъ онъ домой во дворецъ, навстрѣчу ему попадаетъ молодая княгиня-жена,—спрашиваетъ его—о чемъ печаль. „Какъ-же мнѣ, царю, не кручиниться, какъ-же мнѣ, царю, не печалиться!“—отвѣчаетъ царь: „Завтра надо ѣхать на сине море, къ лютому змѣю на поѣденіе!“ Задумалась княгиня молодая, но думала не долго: „Не печалься, не кручинься, царь, есть у насъ дочка-свѣтъ немилая, Софья да Агафьевна! Мы пошлемъ ее завтра на сине-море, къ лютому змѣю на поѣденіе!“ Возрадовался опечаленный царь—„возвеселился“, посылаетъ молодую жену обманывать дочку, уговаривать. Пошла княгиня, голосъ подаетъ: „Выставай-ка, дѣвица, поутру ранешенько, умывайся, дѣвица, бѣлешенько, снаряжайся, дѣвица, хорошошенько: завтра будутъ сватовья сватать за жениха одной вѣры съ тобой!“

Софья-царевна, дочь немилая, встала ранешенько, умылась бѣлешенько, но „снарядилась дѣвица въ черны платыца, въ черны платыца опальныя, помолилась дѣвица Микола да Троицы, Пресвятой Богородицы, облилася дѣвица горючимъ слезамъ, выходила дѣвица на крутой крылецъ, посмотрѣла дѣвица на бѣлой дворецъ: на бѣломъ дворѣ стоитъ лошадь черная, лошадь черная, карета темная, извощикекъ стоитъ опальный, онъ опальный да самъ кручинный“... Сѣла въ карету немилая дочь царская, поѣхала на сине море. Попадаетъ ей навстрѣчу Егорій Храбрый, попадаетъ—рѣчь къ ней держитъ: „Выходи, дѣвица изъ темной кареты, поищи, дѣвица, въ моей буйной головы!“ Засинѣлось море, заколыхались волны, поднялась изъ воднъ змѣя лютая,—„подымается, сама похвастаетъ:—Будетъ, будетъ мнѣ теперь чѣмъ посытися, какъ первую головъицу дѣвичецкую, а другую головъицу молодецкую, третью головъицу лошадиную!“ Спитъ въ это время крѣпкимъ сномъ Егорій Храбрый; будитъ его—разбудить не можетъ, „расплакалася дѣвица горючимъ слезамъ, раскапались дѣвицы горючи слезы на Егорья-свѣтъ Храбраго на бѣло лицо. Тутъ Егорью-свѣтъ стало холодно, онъ свѣтъ да разбудился“... Проснувшись, возговорилъ онъ такы слова: „Утишися, змѣя лютая пещерская, тише тихія скотинины; отруши, дѣвица, свой шелковъ поясъ, подай мнѣ Егорью - свѣтъ Храброму!“ Сдѣлала царевна по слову его,—„взялъ Егорій, перевязалъ змѣю лютую, змѣю лютую на шелковъ поясъ, подалъ Софѣя Агафѣевнѣ:—Ты веди, Софѣя Агафѣевна, змѣю лютую на свой градъ Арапинскій, ко своему батюшкѣ Агафинъ-царю и скажи своему батюшкѣ: ежели вѣру будешь вѣровать христіанскую, ежели будешь соорояти Божьи церкви, ужъ какъ первую церкву Микола да Троицы, Пресвятой Богородицы, а другую церкву Егорью-свѣту Храброму, то я подвюю змѣю лютую въ жалъзу глухую; а ежели не будешь соорояти Божьи церкви и вѣру вѣровать христіанскую, я спущу змѣю лютую на твой градъ Арапинскій, не оставитъ тебѣ единъ души на сѣмена!“ Въ другихъ сказаніяхъ мѣсто немилый дочери Софьюшки занимаетъ—наоборотъ—„чадо милое“ Лизавета Прекрасная—(„Алисафушка“).

Съ Егоріемъ Храбрымъ у славянъ вообще, а у русскихъ наособицу, связано много различныхъ повѣрій и вытекающихъ изъ ихъ нѣдръ обычаевъ. Но громадное большинство послѣднихъ относится къ весеннему („теплому“) Юрьеву дню. Юрій-же „холодный“ знаменуется въ народной памяти болѣе въ связи съ былой жизнью родины русскаго пахаря.

Этотъ народный праздникъ былъ освященъ вѣками, какъ день, когда крестьяне имѣли право переходить отъ одного помѣщика подъ властную руку другого. Объ этомъ, обыкновенно, заявлялось на Михайловъ день, — чтобы для помѣщика не былъ неожиданнымъ переходъ. „Судебникъ“⁸³⁾ опредѣлялъ срокъ послѣдняго болѣе пространно: „за недѣлю до Юрьева дня и недѣлю по Юрьевѣ дни холодномъ“. Въ „Стоглавѣ“ уложеніе объ этомъ читалось такъ: „А въ которыхъ старыхъ слободахъ дворы опустѣють, и о тѣхъ дворы называти сельскихъ людей пашенныхъ и непашенныхъ по старинѣ, какъ прежде сего было. А отказывати тѣхъ людей о сроцѣ Юрьевѣ дни осенемъ, по цареву указу и по старинѣ. А изъ слободъ митрополичьихъ, изъ архіепископскихъ и епископскихъ и монастырскихъ, которые христіане похотятъ идти во градъ на посадъ, или въ села жити, и тѣмъ людямъ идти волно о сроцѣ Юрьевѣ дни съ отказомъ по Нашему Царскому указу“.

Переходъ крестьянъ, согласно съ приведеннымъ уложеніемъ, совершался на томъ условіи, что они, поселяясь на помѣщичьей землѣ, обязывались безрекословно исполнять всѣ приказанія помѣщика, нести на себѣ тягло всѣхъ обычныхъ повинностей, вносить въ условленные сроки всѣ подати — „по положенію“. Отходя отъ помѣщика, они должны были разсчитаться оброками полностью „за пожилое“, — причѣмъ помѣщикъ не могъ требовать ничего лишняго, какъ не имѣлъ права и удерживать не желавшихъ оставаться въ его вотчинѣ. Сдѣлки совершались при „дослухахъ“ (свидѣтеляхъ) съ обѣихъ договаривавшихся сторонъ. „Уговоръ лучше денегъ!“ — говоритъ народъ: — „Ряда городá держить!“ Такъ было и въ этомъ случаѣ. Царское уложеніе ограждало, при этомъ, своимъ словомъ властнымъ и смерда, и боярина. Крестьянинъ, снявшійся съ земли помѣщичьей „тайнымъ уходомъ“, подвергался строгой карѣ законовъ; равно и помѣщикъ, не соблюдавшій, во всей полнотѣ, освященной царскою волей „старинны“, наказывался пенею. „Крѣпки ряды Юрьевымъ днемъ!“ — гласило стародавнее народное слово и продолжало: „Мужикъ болить и сохнетъ по Юрьевъ дню!“ — „На чью долю потянетъ поле, то скажетъ холодный Юрій!“ „Мужикъ — не тумакъ, знаетъ, когда живетъ на бѣломъ свѣтѣ зимній Юрьевъ дню“.

⁸³⁾ Судебникъ — сводъ законовъ, составленный, по волѣ Іоанна III-го, дьякомъ Владиміромъ Гусевымъ въ 1497-мъ году и примѣнявшійся на Руси до 1550 года, когда былъ замѣненъ новымъ — составленнымъ Іоанномъ IV-мъ Грознымъ.

Любилъ всегда, какъ неизмѣнно любить и теперь, подсмѣяться надъ самимъ-собою, русскій простолюдинъ. Послѣ того, какъ было отмѣнено право перехода крестьянъ отъ одного помѣщика къ другому—повелѣніемъ царя Бориса Ѳеодоровича Годунова, а затѣмъ указомъ (отъ 9-го марта 1607 года) царь Василій Ивановичъ Шуйскій окончательно укрѣпилъ крестьянскія души за ихъ владѣльцами,—пошла ходить по народной Руси поговорка: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ Эта поговорка повела за собой другую: „Сряжалась баба на Юрьевъ день погулять съ барскаго двора, да дороги не нашла!“ Русскій мужикъ за словомъ въ карманъ не полѣзеть, — выпустилъ онъ вслѣдъ за вторымъ и третье крылатое слово по поводу отмѣны Юрьева дня съ его вольготами: „Верстался мужикъ по Юрьевъ день радѣть о барскомъ добрѣ, а и сейчасъ засвѣлъ, что бирюкъ, въ норѣ“. Да всѣхъ поговорокъ объ этомъ и не перечестъ! Слово народное—крѣпче олова: вылетѣло вѣкъ тому назадъ, а и до сихъ поръ не пропадаетъ въ памяти,—хотя всѣ давно уже успѣли въ народѣ не только забыть объ „уложеніи“, связанномъ съ Юріемъ-холоднымъ, но даже и сами помѣщики утратили, по мановенію руки Царя-Освободителя, всѣ свои права на закрѣпощеніе крестьянина.

До нашихъ дней не успѣло исчезнуть съ лица народной Руси слово о томъ, что „Юрій холодный оброкъ собираетъ“. Еще совсѣмъ недавно повторялись, при случаѣ, смѣшливими людьми и такія поговорки, какъ: „Судила Маланья на Юрьевъ день, на комъ справлять протори!“, или: „Позывалъ дьякъ мужика судиться на Юрья - зимяго, а мужикъ и былъ таковъ!“. Отошли въ область исчезнувшихъ преданій и „юрьевскіе оброки“, о которыхъ опредѣленно все постановлено было въ „Писцовыхъ книгахъ“⁸⁴⁾, а еще и до сихъ поръ мѣстами на посельской Руси служатся на Юрія-холоднаго молебны о благополучномъ пути,—словно и теперь собираются православные переселяться въ этотъ день изъ одной вотчины въ другую. Такъ крѣпка въ русскомъ народѣ привязанность къ отжившей свой вѣкъ старинѣ.

„Егорьевское окликанье“, справляющееся по веснѣ, въ нѣ-

⁸⁴⁾ Писцовыя книги—русскіе правительственные документы XVI—XVII вѣковъ, служившіе основаніемъ для податнаго обложенія. Первая народная перепись была произведена на Руси въ XIII-мъ вѣкѣ татарами для сбора дани. Затѣмъ, ее производили княжескіе служилые люди. Первая всеобщая перепись (письмо) произведена въ 1538—1547 годы. Она-то и послужила матеріаломъ для первыхъ „Писцовыхъ книгъ“.

которых мѣстностяхъ повторяется и на Юрія-холоднаго. Такъ, и теперь еще можно слышать въ захолустныхъ деревняхъ въ этотъ день пѣсню:

„Мы вокругъ поля ходили,
Егорья окликали,
Юрья величали:
Егорій ты нашъ Храброй,
Ты паси нашу скотинку
Въ полѣ и за лѣсомъ,
Подъ свѣтлымъ подъ мѣсяцемъ,
Подъ краснымъ солнышкомъ—
Отъ волка отъ хищнаго,
Отъ звѣря лукаваго,
Отъ медвѣдя лютаго!“

По народной примѣтѣ, съ Юрія-холоднаго начинаютъ подходить къ сельскимъ задворкамъ волчьи стаи за добычею. „Что у волка въ зубахъ, то Егорій далъ!“,—говоритъ деревенскій людъ, утѣшаясь приэтомъ другой поговоркою: „На Руси два Егорья—холодный да голодный, а все тутъ Божья благодать!“ Народъ крѣпко вѣритъ, что, если молиться святому Георгію-Побѣдоносцу, то онъ никогда не допуститъ звѣря „зарѣзать животину“.

Съ зимняго Юрьева дня,—замѣчено старыми людьми,—засыпаютъ въ своихъ берлогахъ медвѣди. Въ стародавнюю пору существовало мѣстами даже и повѣрье о томъ, что будто-бы нѣкоторые, особенно разсчетливые, люди—изъ-за своей скупости—ложились 26-го ноября въ гробъ-домовину и засыпали по-медвѣжьему вплоть до самаго вешняго Юрія теплаго. Впрочемъ, это всецѣло относится къ области сказокъ.

Послѣ Юрія-холоднаго деревенскіе старожилы, проводивъ закатъ солнечный, выходятъ на дворъ къ колодцамъ и „слушаютъ воду“. Если она не шелохнется, это—по ихъ мнѣнію—предвѣщаетъ теплую зиму. Если-же изъ колодца раздаются какіе-нибудь звуки,—значить, надо ждать сильныхъ морозовъ и лютыхъ вьюгъ.



Л.

Декабрь-мѣсяць.

Догорить-померкнетъ алая зорька вечерняя на Андреевъ день—и ноябрю, листогнуо студеному, конецъ. Проснется на утро красное солнышко, смотреть: двѣнадцатый, послѣдній, мѣсяць стоитъ на дворѣ, декабремъ слыветъ, „студенемъ“ прозывается. У сородичей русскаго пахаря есть для этого мѣсяца и другія имена: „грудзень“—у поляковъ, „просинець“—у чеховъ со словаками, „волчій“—у сербовъ, „великобожничякъ“—у кроатовъ. „Декабрь годъ кончается—зиму починаетъ!“, „Годъ декабремъ кончается, а зима начинается!“, „Торовать декабрь-мѣсяць, что и говорить: старое горе кончается, новому году новымъ счастьемъ дорожку стелеть!“,—говорить крылатое слово народа-простодума объ этомъ богатомъ стужею мѣсяцѣ, говорить-приговариваетъ: „Горя у декабря полная котомка—бери, не жалко, а счастьемъ старикъ силенъ на посулъ: одна его сила—много праздниковъ да морозы засилье берутъ!“

Первый день декабря-студеня—память святого пророка Наума, что, по старинному присловью, народъ наумить, „Пророкъ Наумъ наставитъ на умъ!“,—гласить объ этомъ угодникѣ Божіемъ народная мудрость: „Помолись пророку Науму—онъ, батюшка, и худой разумъ на умъ наведетъ!“, „Какъ ни наумъ, а все старика Наума не перенаумишь!“, „Нашъ Наумъ—себѣ на умъ: слушать слушаетъ, а знай—щи хлебаеть!“, „Недоумка-дурака хоть Наумомъ назови—все умнѣй не станетъ!“,—замѣчаютъ деревенскіе краснословы, которымъ за словомъ въ карманъ не ходить, когда оно у нихъ съ языка само походя просится.

Въ стародавніе годы,—а мѣстами это соблюдается еще и теперь,—съ Наумова дня было въ обычаѣ начинать обученіе дѣтей грамотѣ. Къ 1-му декабря стоваривались чадолюбивые родители съ приходскимъ дьячкомъ, или инымъ умудреннымъ въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ. Приходилъ на Святую Русь пророкъ Наумъ, — раньше раняго будили ребятъ-малышей. „Просыпайтесь ранехонько, умывайтесь бѣлехонько, въ Божью церковь собирайтесь, за азбуку принимайтесь! Богу помолитесь—до всего дойдете: святой Наумъ наставитъ на умъ!“—приговаривалось всегда при этомъ. Всѣмъ семействомъ шли къ обѣднѣ, — Богу молились, пророку Божьему молебень служили, неуклонно-непреложно вѣруя, что этимъ молебномъ испрашивается Божье благословеніе на принимающихся за трудное, не для всѣхъ постижимое, дѣло науки. Въ „Народномъ дневникѣ“ оказано должное вниманіе этому обычаю. Учителя, по свидѣтельству собирателя сказаній русскаго народа, встрѣчали въ назначенное время „съ почетомъ и ласковымъ словомъ, сажали въ передній уголъ съ поклонами“, воздавая подобающую дань преклоненія предъ его мудростью и отвѣтственностью принятаго имъ на себя дѣла, считавшагося наособицу угоднымъ Богу. Отецъ подводилъ сына къ учителю, передавалъ изъ рукъ въ руки, просилъ „научить уму разуму“, а за лѣность—„учащать побоями“. Обычай требовалъ, чтобы мать стояла въ это время въ нѣкоторомъ отдаленіи и заливалась слезами горючими. „Иначе—худая молва пронеслась-бы въ околоткѣ!“ Будущій ученикъ отдавалъ своему, грозному для него, учителю три земныхъ поклона, каждый изъ которыхъ сопровождался ударомъ плетки, заранѣе положенной передъ наставникомъ предусмотрительными родителями. Нѣтъ словъ,—удары были не особенно сильные. Послѣ этого приближалась родимая матушка посвящавшагося въ науку отрока, сажала сына за столъ, подавала ему узорчатую косяную указку. Учитель принималъ еще болѣе прежняго строго-внушительный видъ и развертывалъ свой букварь. Начиналось велемудрое ученіе: „азъ-земля-ерь-азъ“. Умилявшаяся мать снова принималась плакать,—на этотъ разъ еще сильнѣе прежняго,—и просила-молила „не морить сына за грамотой“. Первый урокъ, и впрямь, былъ не утомителенъ: онъ не шель дальше первой буквы русской азбуки — заканчивался „азомъ“. Затѣмъ, букварь бережно завертывался въ холстину и укладывался умудреннымъ въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ на божницу, за святыхъ иконы. Успокоившаяся мать принималась угощать гостя всѣмъ, что есть въ печи --- чѣмъ Богъ послалъ. Послѣ угоще-

нія подавали учителю коровай хлѣба-ситнаго и полотенце—первый отъ хозяина, послѣднее—отъ хозяйки. Иной разъ завязывался въ узелокъ полотенца и пятакъ-другой—отъ усердія родимой матушки будущаго мудреца. Затѣмъ, съ поклономъ провожали учителя до воротъ,—чѣмъ обычай, заведенный, жившими по „Домострою“, предками, и завершался.

Пророкъ Наумъ другого пророка Божія на Русь ведетъ: помануется Православной Церковью 2-го декабря святой Авакумъ (въ просторѣчьи—„Абакумъ“). Въ Абакумовъ день „понаумленнаго“ наканунѣ мальчика снаряжали къ учителю. Съ букваремъ и указкой въ рукахъ шелъ ученикъ; о-бокъ съ нимъ—болѣзная матушка сердобольная несла горшокъ гречневой каши, зарумяненной на-славу, не жалѣючи промасленной. Не возбранялось также приносить учителю что-нибудь и подобнѣе каши—курицу, а то и гуся.

3-е декабря—день святого Іоанна-молчальника, въ который даже и самыя словоохотливыя старушки даютъ молодежи добрыя совѣты въ-родѣ того, чтобы „не болтать языкомъ—что овца хвостомъ“, „не говорить вздору—не выносить изъ избы сору“ и т. п. Въ этотъ-же день повторяются на Руси старыя изреченія: „Слово серебро, молчаніе—золото!“, „Слово не воробей, вылетитъ—не поймашь!“, „Отъ одного слова, да навѣкъ ссора!“, „Бритва скребетъ, слово—рѣжетъ!“ Не малое, а великое значеніе придаетъ русскій народъ живому слову, которымъ онъ такъ богатъ. „Человѣку дано слово, скоту—нѣмота!“—говоритъ онъ, подъ корень подрѣзывая этимъ сопоставленіемъ любезныя сердцу благочестивыхъ старушекъ Божіихъ приведенныя выше поговорки: „Что слово, то и дѣло!“, „Слово—законъ, словцо—олово!“, „И кладъ со словомъ кладутъ: кому дастся, а кому—нѣтъ!“, „Не давъ слова крѣпись, а далъ—держись!“, „Скажу слово, берегись—обожгу!“, „Слово пуще стрѣлы разить!“, „Твое бы слово, да Богу въ уши!“ Величаетъ народъ слово и на иной ладь,—зоветъ его „краснымъ“, да не только словомъ, а и „словечушкомъ“: „Ласково словечушко—что вешній день!“—приговариваетъ онъ, прибавляя къ этому: „То и человѣкъ хорошъ, коли онъ кому—слово, кому—словцо, а кому и словечушко!“, „Не бойся той собаки, которая лаетъ, бойся той—что молчитъ!“ По народному убѣжденію—„Злое слово вѣдуномъ по свѣту ходитъ, а доброе словцо—красной дѣвицей!“, „Отъ злого слова не станется!“, „Ласково словечко не трудно, да споро!“, „Хорошая молва дѣло раститъ; жаль, что добрая-то дома лежкой-лежитъ, а худая далече бѣжитъ!“ Воздавая почесть живому слову, народная Русь, однако, порою не-прочь и оговорить

слишкомъ щедрыхъ на него краснобаевъ. „Ты ему слово, а онъ тебѣ десять!“ „На словахъ-то онъ скоръ, да на дѣлѣ не споръ!“ „Слово слову розъ: словомъ Богъ миръ создалъ, словомъ Иуда предалъ Господа!“ „На словахъ—такъ-и-сякъ, а на дѣлѣ—никакъ!“ „Его слова на водѣ вилами писаны!“ „Твое слово дешево, ты на словахъ какъ на саняхъ, на словахъ—что на гусляхъ, а на дѣлѣ—какъ на копылѣ!“ „У него слово слово родить, третье само бѣжить, слово за-словомъ, а коснись до дѣла: стой, не туда заѣхали!“—говорится въ народной Руси.

За Абакумами—Варвары великомученицы (4-е декабря). „Варвара мосты мостить (на югѣ)-домашиваетъ (на сѣверѣ)!“ „На Варвару зима дорогу доварвариваетъ!“ „Все тепло да тепло, погоди—придетъ Варвара: заварварятъ и морозцы!“ „Трещить Варюха—береги носъ да ухо!“—можно услышать въ народѣ объ эту пору студеную. Имя этой домашивающей, по народному представленію, зимніе ледяные мосты святой тѣсно связано съ памятуемыми въ слѣдующіе дни (5-го декабря) преподобнымъ Саввою и (6-го) Николаемъ-Чудотворцемъ. По записаннымъ В. И. Далемъ поговоркамъ— „Варвара мостить, Савва стелеть, Никола гвоздитъ!“ „Варвара заварить, Савва засалить, Никола закуетъ!“ Даже о праздничномъ гуляньѣ говоритъ сельщина-деревенщина, связывая эти три имени: „Лучше не саввить и не варварить, а понигодить!“ „Просаввились мужики, проварварились, послѣдній грошъ проникнули!“ и т. п. Деревенскіе погодовѣды примѣчаютъ, что „къ Варварамъ“ день становится какъ-будто подлиннѣе: „Варвара ночи урвала“,—говорятъ они,—„ночи урвала—дня притачала!“

Слагатели русскихъ народныхъ стиховъ духовныхъ посвятили великомученицѣ Варварѣ цѣлый рядъ своихъ пѣсенныхъ сказаній. Въ разныхъ мѣстахъ—разные и стихи поютъ. Въ одномъ именуется она „красной невѣстой небесна чертога“, въ другомъ—„красною дѣвой“, которую „кровь (пролитая за Христа) украшаетъ“; третій, подслушанный въ Симбирской губерніи, заканчивается возгласомъ: „Царствуй, дѣвице, со Христомъ вовѣки, Варваро прекрасная!“; по словамъ четвертаго (Смоленской губ., Краснинскаго уѣзда) она—„законъ благодати“; пятый стихъ—совершенно иного склада. Вотъ начальныя строки его, съ достаточной степени свидѣтельствующія о его народномъ—не книжномъ—происхожденіи:

„Свѣтъ-рай за рѣкой
И ангелы за быстрой;

Рай-свѣтъ перевѣсилъ
 На нашу сторонку:
 Какъ на нашей на сторонкѣ
 Съ неба благодать“...

Наибольшую цѣнность должно придать, однако, не этой простодушной пѣснѣ, а сказанію чисто повѣствовательному. Въ немъ пересказывается все житіе великомученицы, украшенное цвѣтами простонародной рѣчи цвѣтистой. „Во времена Максиміана царя, безбожнаго эллинскаго цесаря, славень-богачъ былъ родомъ эллинъ, въ Иліополѣ, звался Діоскоромъ. Родилась ему дочка единая, Варвара именемъ мученица. Красотою она весьма пригожа, ровныя ей нѣту подъ небомъ...“—начинается сказаніе. Выстроилъ,—говорится въ немъ далѣе,—эллинъ Діоскоръ своей дочери высокой теремъ и посадилъ ее въ немъ, окруживъ дѣвушками-прислужницами. „Глядитъ она на небо и землю“,—повѣствуетъ безвѣстный сказатель,—и загорается у ней въ душѣ мысль о томъ: кто сотворилъ все видимое? Дѣвушки-прислужницы пытаются объяснить ей, что міръ создали боги. „То не истина“,—отвѣчаетъ имъ святая Варвара, „ибо тѣ боги рукою сотворены, потому что они бездушные истуканы. Какъ бы могли они все то учинить? Я никогда не могу тому увѣровать!“ Время шло... Пришла пора думать о свадьбѣ. „Выбирай дочка, кого хочешь, мужемъ—кого, дочка, душа твоя любить!“ Дочь—и смотрѣть ни на кого не хочетъ. Отецъ разрѣшаетъ ей гулять по городу—чтобы „видѣть, гдѣ межъ себя молодежь водится.“ Принялась Варвара гулять, начала водиться съ христіанскими дѣвушками и стала она все болѣе и болѣе питать склонность къ христіанству. Строили мастера у ея отца баню,—строили, „два окна продѣлывали“. Уговаривала Варвара продѣлать, вмѣсто двухъ, три окна. Отказывались сначала мастера—изъ боязни Діоскора, но всетаки сдались на просьбы. Возвращается однажды эллинъ домой, пошелъ на постройку—видитъ три окна. На вопросъ о нихъ дочь отвѣчаетъ ему: „Три окна во образѣ Троицы, Отца, Сына и Лице Духа Святаго“. Выхватилъ саблю „Діоскоръ проклятый“—хочетъ убить Варвару. Стала она бѣгать передъ отцомъ, а онъ—гоняться за ней. Но молитва ея была услышана: „какъ добѣжала она къ той горѣ каменной, гора передъ нею сама отворилась“. Сталъ искать ее Діоскоръ, найти не можетъ. Обратился онъ къ пастухамъ, пасшимъ овецъ по склону горы. Указалъ ему одинъ изъ нихъ „перстомъ на горы“. Пошелъ онъ по указанному пути, нашелъ свою дочь—Варвару, и „за власы

схватилъ онъ ее“, воротился въ городъ, — „за власы влекеть онъ ее, бьетъ ее нещадно палицей, предалъ ее игемону Маркіану: научи мнѣ сію окаянную, отвори ея отъ Назарейской вѣры и мучь ее, какъ знаешь горше!“ Началь Маркіанъ „прельщать ее рѣчами“... — „Жаль, дѣва, дивной красоты твоей, что предаешь мукѣ тѣло свое и позоришь твоего родителя; того ты, несчастная, и желаешь, ибо ты вѣру нашу попрала и боговъ нашихъ посрамила!“ Въ отвѣтъ на эти рѣчи великомученица Варвара говоритъ, что она хочетъ пострадать за Христа. Эти слова распалили гнѣвомъ игемона, отдалъ онъ ее „не милостивымъ мучителямъ“. Били-терзали ее воловьими жилами, бросили чуть не замертво въ глубокую темницу. Настала полночь. Совершилось великое чудо: засіяла свѣтомъ небеснымъ темница, сошелъ въ нее Христосъ. Перевязалъ Онъ кровавыя раны Своей исповѣдницѣ, — „до зари она прекрасно исцѣлѣла“. Когда поутру привели ее къ Маркіану, онъ, увидѣвъ ее здоровою, сказалъ: „видишь боговъ нашихъ святую силу! Какъ они тебя прекрасно исцѣлили, свою милость тебѣ показали!“ Держить отвѣтъ ему страдалица: „Не отъ боговъ твоихъ ложныхъ пришло мнѣ сіе исцѣленіе, но то Христово драгое промысленіе. Боги ваши и глухи, и нѣмы!“ Обуялъ гнѣвъ дѣвольскій игемона, приказываетъ Маркіанъ повѣситъ ее на деревѣ. Начались новыя, тягчайшія, муки для святой Варвары: „гребнями ее по тѣлу драли и свѣчами ребра ей палили, и молотомъ бьютъ по головѣ ее, — дай богатыря, кто бы то стерпѣлъ!“ Но великомученица, ободряемая вѣрою въ Бога, терпитъ безропотно. Стояла неподалеку отъ нея „жена нѣкая, Юліана звана“, умилилась зрѣлищемъ до слезъ: „Дай мнѣ, Боже, да могу стерпѣти, съ Варварою придти къ тебѣ Богу!“ И принялась она хулить игемона нечестиваго, и предали ее на муки вмѣстѣ съ „невѣстой Христовой“. Видя, что не сильны надъ святой вѣрою никакія муки, повелѣлъ игемонъ повести мученицъ за городъ и отрубить имъ головы. Отецъ Варвары-великомученицы, Діоскоръ, взялъ съ собою саблю острую и, не зная границъ лютой жестокости, отсѣкъ дочери „честную главу“. Стихъ кончается карою Божіей, постигнутою нечестивыхъ мучителей: „Діоскору да и Маркіану казнь дана имъ отъ Бога: Маркіанъ шель съ горы, ударила его молнія съ высоты: Діоскоръ сидѣлъ въ дому, громы его съ неба поразили. Слава Богу и Богородицѣ и Варварѣ, Божьей мученицѣ!“...

Пройдетъ святой Савва-освященный, „просалитъ морозомъ землю“; за Саввою — Никола-зимній, со всѣмъ веселымъ

„николинемъ“ этого любимаго простонароднаго праздника. О приуроченныхъ народной памятью къ этому дню своеобразныхъ, изъ глубокой старины идущихъ, обычаяхъ—свой сказъ наособицу, какъ и о цѣломъ звенѣ повѣрій, обступающихъ день св. Спиридона („Спиридонъ-солнворотъ“)—12-е декабря.

Какъ прошла „красная пивомъ да пирогами“ Никольщина, повернули Спиридоны солнце на лѣто, а зиму на морозъ, минулъ Евстратіевъ день (13-е декабря), смотритъ деревня, а до перелома-половины декабря всего однѣ сутки остались („Каллиники“ — 14-е декабря). 16-го декабря—Аггеевъ день. „Пророкъ Аггей иней сѣетъ“—по народной примѣтѣ. Примѣчаютъ годовѣды завязтые, что—если на Аггея инея много, будутъ и Святки съ мягкой погодушкою. Морозъ на Аггея—стоять ему до самаго Крещенья. Въ семнадцатый день заканчивающаго годъ мѣсяца—память пророка Даниила и святыхъ отроковъ Ананіи, Азаріи и Мисаила. Съдая старина чувствовала въ московской и новгородской Руси эту память зрѣлищемъ „Пещнаго дѣйства“ (см. въ концѣ главы).

Далекимъ отголоскомъ этого - послѣдняго яляется торжественное разжиганіе за околицей костра въ ночь съ 17-го на 18-е декабря, сохранившееся въ иныхъ мѣстностяхъ сѣверныхъ губерній. Собирается вокругъ такого костра деревенская молодежь и, когда огонь разгорится особенно сильно,—въ него бросаютъ трехъ слѣпленныхъ изъ снѣга куколъ. Тающимъ снѣгомъ заливаютъ костеръ, и всѣ расходятся по домамъ. По примѣтѣ — если скоро загаснетъ подъ снѣговыми куклами пламя, то Святки будутъ богаты ясными-вѣдреными днями, ко всякой гулянкѣ сподручными; если-же долго будетъ тлѣть-дымиться костеръ, то надо ждать бурановъ-мятелицъ да жестокихъ морозовъ нестерпимыхъ, — такихъ, что даже и птица налету станетъ мерзнуть.

19-го декабря, кромѣ другихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, чувствуется, по православному мѣсяцеслову, память преподобнаго Ильи Муромскаго, мощи котораго почиваютъ подъ спудомъ въ Киево-Печерской лаврѣ. Въ народной—крестьянской Руси имя этого святого нераздѣльно сливается съ именемъ сказочнаго богатыря Ильи-Муромца, подвиги котораго, воспѣтые въ былинахъ, не могутъ изгладиться въ памяти народа-пахаря, нивы-поля чьи охранялъ - берегъ „матерой казакъ“ — среди братьевъ-богатырей старшой-наибольшій — ото всякой наносной бѣды-незгоды, отъ врага лютаго, враняхвальщика. Этотъ богатырь (Илья-Муромецъ, сынъ Ивановичь), просидѣвшій сиднемъ тридцать лѣтъ и три года „близъ славнаго города Мурома, въ томъ-ли селѣ Карачаровѣ“;

является олицетвореніемъ несокрушимой силы богатырской дружины, могучимъ охранителемъ стольна-города Кіева отъ „поганой орды“, налетавшей на Русь православную. Онъ, по свидѣтельству стародавнихъ былинъ, съ честью-славою несетъ на своихъ могутныхъ плечахъ немалую службу родинѣ, обороняя рубежъ великокняжескій. Онъ, одинъ онъ, остается „надѣжей“ ласковаго князя Владиміра — Красна-Солнышка, когда всѣ другіе богатыри поразойдутся-поразѣдуются во всѣ четыре стороны свѣта облаго—искать, съ кѣмъ помѣяться своей мочью-силой богатырскою. Съ большимъ вниманіемъ останавливаются былинныя сказанія на Ильѣ, неоднократно возвращаясь къ нему, чтобы лишній разъ—при подходящемъ случаѣ—вызвать воспоминаніе объ его мощномъ обликѣ. Да и не однѣ былины, а и сказки съ пѣснями, честь-честью воздаютъ матерому казаку, славой своею пережившему всю семью богатырей древнекіевскихъ, вплоть до нашихъ дней дающему изобильную пищу воображенію народа-пѣснотворца.

Яснѣе всего представляется онъ въ три поры своего богатырскаго вѣка: въ былинахъ о каликахъ-перехожихъ, зашедшихъ въ Карачарово и „поднявшихъ“ будущаго богатыря съ мѣста его тридцатитрехлѣтняго сидѣнья; затѣмъ—въ былинахъ о первой поѣздкѣ его въ Кіевъ, стольный градъ, и, наконецъ, въ былинѣ о Калинѣ-царѣ. Изъ многочисленныхъ разносказовъ этихъ былинъ встаетъ во весь ростъ предъ слушателями-читателями излюбленный народной памятью славный-могучій богатырь.

Первый по старшинству лѣтъ въ гридницѣ богатырской, первый и по силѣ между составляющими семью-дружину Володимерову, добродушный, хотя и не дающій спуска ничьей обидѣ-похвалябѣ, Илья-Муромецъ всегда и вездѣ—на первой очереди въ устахъ хранителей былинъ старины стародавней. Первая богатырская поѣздка его подробно описывается въ посвященной ей отдѣльной былинѣ. Ѣдетъ, — гласитъ она, — старый (ни въ одной былинѣ онъ не зовется молодымъ), — Ѣдетъ старый ко стольному городу той дорогой прямоѣзжею, которую залегла вражья сила ровно тридцать лѣтъ, — Ѣдетъ черезъ тѣ лѣса брянскіе, черезъ черныя грязи смоленскія, гдѣ поставилъ заставы крѣпкія Соловей-разбойникъ, не пропускающій мимо себя безданно-безпошлинно ни коннаго, ни пѣшаго. Во лѣсахъ темныхъ, во брянскихъ, навѣзжалъ Илья на самого Соловья-разбойника, тридцать лѣтъ хозяйваго, по своему воровскому изволенію, на Святой Руси. Не страшится Илья ни его шипа змѣинаго, ни рева туринаго—пускаетъ богатырь стрѣлу разбойнику во правый глазъ,

привязываетъ Соловья къ сѣдельной лукѣ, проѣзжаетъ заставы крѣпкія. Не соблазняетъ матерого казака стараго золотая казна, не трогаютъ его богатырскаго сердца слезныя мольбы жены разбойничьей,—стегаютъ онъ коня по крутымъ бедрамъ, везетъ неслыханную, неожиданную-негаданную, добычу въ Кіевъ—стольный градъ. На пиру у свѣтлаго князя Владиміра выпиваетъ незванный гость Илья за единый духъ „чару зелена вина въ полтора ведра“, повѣствуетъ о своемъ первомъ подвигѣ, поимкѣ вора-разбойника, залегшаго дороги прямоѣзжія. Но этотъ, изумившій всю богатырскую дружину, подвигъ теряетъ немалую долю своего значенія при дальнѣйшемъ ознакомленіи съ судьбою матерого казака, расчищавшаго пути-дороги русскому народу православному.

„Подымался злой Калинъ-царь, злой Калинъ, царь Калиновичъ, изъ орды, золотой земли, ко стольному городу со своею силой поганую“... Поднялся и всталъ на Днѣпрѣ, въ семи верстахъ отъ города. „А сбиралось съ нимъ силы на сто верстъ, а отъ пару было отъ конинаго, а и мѣсяцъ, солнце померкнуло!“ Шлетъ Калинъ-царь ярлыки свои: „Владиміръ-де, князь стольнокіевскій! А наскорѣ сдай ты намъ Кіевъ-градъ безъ бою, безъ драки великія!“ Кабы не Илья,—быть-бы „великому сорому“ на всю Святую Русь; сдалъ-бы князь Кіевъ силѣ татарской... Вызволилъ богатырь князя изъ бѣды, уложилъ на-земь чуть не всю орду... „Схватилъ Илья татарина за ноги, который ѣздилъ въ Кіевъ-градъ, и зачалъ татаринѣмъ помахивать: куда-ли махнетъ, тутъ и улицы лежатъ, куда отмахнетъ—съ переулками“... Побѣжали пришельцы лютые, незванные гости поганые,—побѣжали, кричатъ зычнымъ голосомъ: „Не дай Богъ намъ бывать ко Кіеву, не дай Богъ видѣть русскихъ людей! Неужто въ Кіевѣ всѣ таковы?!“. Сослужилъ богатырь Илья добрую службу Красному-Солнышку—князю Владиміру...

Выходящій изъ предѣловъ возможнаго, яркій образъ богатыря—насадителя порядковъ въ странѣ и оборонителя стольнаго города сливается во многихъ былевыхъ пересказахъ съ образомъ мудраго совѣтчика великокняжескаго, не останавливающагося ни передъ какими затруднительными обстоятельствами, не знающаго своей силѣ преграды ни въ чемъ. Но князь стольнокіевскій далеко не всегда держитъ въ чести стараго богатыря: не только силой грузенъ Илья-Муромецъ, крестянской сынъ,—богатырь онъ и смѣлою правдой-маткою... Не по сердцу, подъ иной часъ, князьямъ правда мужицкая, сѣрая, „неумытная“. Попадаетъ за нее и Муромецъ Илья, вмѣсто милостей княжескихъ, въ погреба—подъ затворы желѣзные...

Но и это не умаляет его правдолюбия... Не мириться вовѣкъ ему, правому, съ кривдой-лестью, змѣей подколодною, изъ-за синяго моря далекаго заползающей и въ рубленыя палаты-хоромы ко Красному Солнышку Русской Земли, Руси древне-киевской. Могучій богатырь, онъ не имѣетъ себѣ равнаго въ этомъ отношеніи во всей семьѣ-дружинѣ хороброй. Потому-то такъ крѣпко и помнитъ о немъ деревенская сермяжная Русь.

За св. Ильею Муромскимъ Игнатій-Богоносецъ идетъ, двадцатый день декабря-мѣсяца ведетъ на широкой свѣтлорусской просторъ. На Игнатія во многихъ мѣстахъ Руси великой поднимаютъ иконы и, съ молебнымъ пѣніемъ, носятъ вокругъ села. Это, по вѣрованію народа, охраняетъ всю худобу-рухлядь мужицкую на зиму ото всякой напасти. На вторыя сутки послѣ Богоносца (22-го декабря)—память святой Анастасіи-узрѣшительницы. Молитва къ этой великомученицѣ,—гласитъ простонародная мудрость, — способствуетъ благополучному разрѣшенію отъ бремени. Потому-то и служится въ этотъ день столько молебновъ по церквамъ. 23-го декабря—день св. Ѳеодула. „Пришелъ Ѳеодуль, вѣтеръ подулъ — къ урожаю!“—говоритъ подсказанная долгимъ сельскохозяйственнымъ опытомъ деревенская примѣта. Пройдутъ „зимніе Ѳеодулы“, -- приведутъ сочельникъ, канунъ великаго праздника, Рождества Христова. „Пришла Коляда наканунѣ Рождества“, — заколываютъ подъ окнами ребята малые, а, словно вторя имъ, раздается наутро изъ устъ старцевъ убогихъ и древле-божественный стихъ духовный, посвященный всей жизни Христа, починающійся умильными словами:

„Иисусе прекрасный,
Чистоты цвѣтъ ясный!
Повѣдай намъ,
Господь Богъ Самъ:
Откуда родился,
На земли явился,
Возможно-ли знати,
Разумъ подати!...“

За Рождествомъ идутъ Святки, веселье ведутъ разгульное, несутъ забавы, повѣрья да преданія всякія. О Святкахъ—свой особый сказъ.

Въ „Мѣсяцесловѣ“ калікъ-перехожихъ есть свое пѣсенное слово и о декабрь-мѣсяцѣ. „Молимъ васъ, святіи вси, къ намъ нынѣ приспѣти, егда хотимъ отъ души пѣнными васъ воспѣти“, —начинается этотъ стихъ, немедленно переходящій къ

славословію памятуемыхъ въ декабрьскіе дни святыхъ угодниковъ Божиихъ: „Тя, пророче Науме, вѣрно призываемъ, съ Оввагумомъ чуднымъ усты восхваляемъ. И освященный Савво, отче богоносный, великій Николае, дивный чудотворче, съ Амвросіемъ словесну жертву вамъ приносимъ, съ Потапіемъ блаженнымъ и помощи просимъ: въ бѣдахъ намъ и напастехъ присно помогайте и отъ всякихъ печалей, молимъ, избавляйте. Бога прамати Анно, зачешимъ тя плодомъ моли за ны къ Богу съ неплоднымъ отродомъ. Ергогене, Евграфе, Мино страстотерпцы, Даниле съ Лукою, на столпахъ страдальцы, Спиридоне, Киприномъ чудотворецъ славный, Евстратіе съ Орестомъ, ликъ пятострадальный, Өирсе и Филимоне, мученицы честниі, Елефферіе, Павле, жители небесниі, Аггее, Даниле, славни пророцы, со Ананіемъ въ печи бывши отроцы, съ дружиною всею и Севастіане, Христа о насъ молити. Вонифатіе славне, Игнатіе, сомленный львовыми зубами, Уліано, пребуди, мученице, съ нами. Петре, Анастасіе, узы разрѣшите грѣховъ нашихъ и страстей, съ Десятію въ Критѣ. Евгеніе, страданице, облегчи недуги. Рождся Христе отъ Дѣвы, расторгни вся вѣгуги. Дѣво, твоимъ Соборомъ, Іосифе честный, Стефане, возсіайте свѣтъ свыше небесный. Двѣ тмѣ Никомидійскихъ со многими младенцы, Троицѣ святѣй молити о насъ страстотерпцы. Маркелле, Анисіе, Зотиче, царствуйте, Меланіе, и намъ всѣмъ жизнь ходатайствуйте!“

Святками декабрь кончается; ими-же начинается и первый мѣсяцъ новаго года. Слыветъ начало января „перезимьемъ“.

На католическомъ Западѣ, гдѣ Богослуженіе совершалось и совершается на непонятномъ для народа латинскомъ языкѣ, духовныя представленія становились необходимой потребностью въ цѣляхъ насажденія понятій о правилахъ вѣры и за-поминанія событій Ветхаго и Новаго Завѣта. Православіе-же, родное по языку каждому исповѣдающему его народу, не нуждалось въ такой наглядности своей проповѣди, почему и церковное лицедѣйство не получило у него такого права гражданства, какъ въ вѣдрахъ католической церкви. Но, тѣмъ не менѣе, отголосокъ средневѣковыхъ „мистерій“ слышится и въ лѣтописяхъ нашего богослужебнаго обихода XV—XVII столѣтій. Русскія церковныя, правда, очень немногочисленныя, „дѣйства“ — прямое порожденіе западно-католическихъ мистерій, превращавшихъ храмъ въ мѣсто зрѣлищъ. Сохранились свѣдѣнія только о четырехъ дѣйствахъ древнерусской Церкви: это — „Пещное дѣйство“, „Дѣйство Страшнаго Суда“,

„Шествіе на осляти“ и „Дѣйство омовенія ногъ“, сохранившееся въ нѣкоторыхъ своихъ частностяхъ и до нашего времени. Первое совершалось въ послѣднее воскресенье предъ Рождествомъ Христовымъ; второе—въ недѣлю мясопустную, т. е. въ воскресенье предъ Масляницею; третье—въ недѣлю Вайи, въ Вербное Воскресенье; четвертое—въ четвергъ на Страстной седмицѣ. Этихъ четырехъ дѣйствъ, по справедливому замѣчанію А. Н. Веселовскаго⁸⁵⁾, было слишкомъ недостаточно для зарожденія драмы въ самой церкви, и еслибы позднее заимствованіе школьной мистеріи не вызвало къ недолговѣчной жизни духовный русскій театръ, то и самое существованіе его было-бы у насъ немыслимо.

„Пещное дѣйство“, давно уже исчезнувшее безъ слѣда изъ нашей церковной обрядности, представляло собою самый любопытный образецъ древнерусскаго церковнаго зрѣлища. Своеобразный чинъ этого дѣйства занесенъ на страницы „Древней Россійской Вивлюэки“ Н. И. Новикова; нѣкоторыя особенности его сохранены въ запискахъ нѣсколькихъ иностранныхъ путешественниковъ. Утратившись въ народной памяти, оно не могло сдѣлаться достояніемъ изустнаго преданія, а потому всецѣло перешло въ область письменности. Несомнѣнно совершавшееся и въ другихъ большихъ городахъ, оно происходило въ Москвѣ, Вологдѣ и Новгородѣ, причемъ въ послѣднемъ сохранялось дольше всѣхъ другихъ городовъ и совершалось съ наибольшей торжественностью. Памятникомъ новгородскаго чина этого „дѣйства“ хранится въ императорской академіи художествъ, перевезенная, по свидѣтельству Н. П. Костомарова, въ концѣ 50-хъ годовъ XIX-аго столѣтія „Новгородская халдейская пещь“ („Очеркъ домашн. жизни и нрав. великорусск. народа“). О началѣ возникновенія этого стародавняго благочестиваго обряда нашей Церкви не встрѣчается указаній ни у одного изъ пытливыхъ изслѣдователей

⁸⁵⁾ Алексѣй Николаевичъ Веселовскій—наѣтннй историкъ литературы, братъ автора Славянскихъ сказаній о Соломонѣ и Китоврасѣ, „Исторія романа и повѣсти“, „Разысканія въ области русскихъ духовныхъ стиховъ“ и другихъ изслѣдованій, родился въ Москвѣ въ 1843-мъ году, а образованіе получилъ на филологическомъ факультетѣ московскаго университета. Первый печатный трудъ его („Музыка у славянъ“) помѣщенъ въ „Русск. Вѣстникѣ“ 1866 г. Черезъ четыре года появилась книга его „Старинный театръ въ Европѣ“. Онъ принималъ дѣятельное участіе въ „Вѣсткѣ“, С.-Петербур. Вѣдом., „Недѣль“, „Вѣстн. Европы“, „Русск. Вѣдомост.“ и друг. изданіяхъ. Имъ написаны замѣчательныя этюды о Свифтѣ, Мольерѣ, Бомарше и значащемъ вліяніи въ русской литературѣ. Очерки о Мольерѣ доставили ему (въ 1879 г.) дипломъ почетнаго доктора московскаго университета и открыли путь къ профессорской дѣятельности.

русской старины,—равно какъ нѣтъ и разъясненій причины предпочтенія, оказаннаго изображавшемуся въ немъ въ лицахъ ветхозавѣтному событію передъ всѣми другими, наиболѣе чувствуемыми Церковью и народомъ.

Еще за нѣсколько дней до послѣдняго воскресенія предъ Рождествомъ Христовымъ начинались приготовленія къ этому торжественному зрѣлищу. Въ соборѣ разбирали паникадило надъ амвономъ и готовили для установки на мѣстѣ послѣдняго „пещь“. Это былъ полукруглый поставецъ безъ крышки, съ боковымъ входомъ на подмосткѣ. Разрисованныя соотвѣтствующими изображеніями, стѣны „пещи“ были раздѣлены на части двѣнадцатю столбиками, „зѣло искусно“ украшенными позолоченной рѣзью. По крайней мѣрѣ, такую представляетъ „халдейская пещь“, хранившаяся до конца пятидесятихъ годовъ XIX-го столѣтія во главѣ Софійскаго новгородскаго собора. Въ субботу послѣ обѣдни, по распоряженію соборнаго ключаря, пономари убирали амвонъ и устанавливали пещь. Возлѣ послѣдней ставилось нѣсколько желѣзныхъ „шандаловъ“ съ витыми восковыми свѣчами. Благословеніе къ вечернѣ въ этотъ день звучало особой торжественностью и продолжалось не менѣе часа. Начиналась вечерня. Въ переполненный народомъ соборъ входили три отрока, одѣтые въ парчевые стихари съ вѣнцами, или—какъ это было въ Вологдѣ — съ обшитыми заячьимъ мѣхомъ и позолоченными шапками на головахъ. Это были пѣвчіе или монастырскіе служки, которымъ предназначалось изображать въ лицахъ Атанію, Азарію и Мисаила—отроковъ, „ввергнутыхъ въ пещь Вавилонскую“. За ними появлялись: „отроческій учитель“ и „халдеи“. Послѣдніе, по свидѣтельству Олеарія, были въ длинныхъ хламидахъ изъ краснаго сукна, съ деревянными раскрашенными шляпами на головахъ. Ихъ длинныя бороды были намазаны медомъ, въ рукахъ у нихъ были бѣлыя „убруссы“ (полотенца), которыми и связывались руки отрокамъ передъ тѣмъ, какъ ввергать ихъ въ пещь. Кромѣ убрусовъ, халдеи держали еще особаго устройства трубы съ вложенною въ нихъ травою и съ огнемъ. „Учитель отроческій“ присутствовалъ для того, чтобы наблюдать за правильнымъ ходомъ дѣйства. Въ храмъ вступалъ митрополитъ; впереди шли „отроки“ съ зажженными свѣчами. Справа и слѣва сопутствовали святителю „халдеи“. Отроки, черезъ сѣверныя врата, входили въ алтарь одновременно съ владыкой; халдеи—оставались въ трапезѣ. За вечерней первые пѣли вмѣстѣ съ подьяками, вторые—безмолвствовали. За шесть часовъ до разсвѣта, по установившемуся годами обычаю, начиналось самое дѣйство. Мит-

рополить шествовалъ къ заутренѣ въ томъ-же самомъ порядкѣ, какъ и къ вечернѣ — сопутствуемый отроками и халдеями. Заутреня служилась съ особой торжественностью. Когда кончалась седьмая пѣснь канона, посвященная воспоминанію о трехъ отрокахъ, ввергнутыхъ въ печь Вавилонскую, запѣвался особый канонъ въ честь Ананіи, Азаріи и Мисаила, всѣ ирмосы котораго примѣнялись къ повѣствованію пророка Даніила. При исполненіи седьмой пѣсни этого канона, учитель отроческой выступалъ впередъ, творилъ троекратные поклоны предъ иконами и, обратившись къ митрополиту, возглашалъ: „Благослови, владыко, отроковъ на уреченное мѣсто ставити!“ Владыка благословлялъ его со словами: „Благословенъ Господь Богъ нашъ, изволивый тако!“ И тогда испрашивавшій благословіе подходилъ къ отрокамъ, перевязывалъ полотенцами и „предавалъ“ ихъ стоявшимъ въ ожиданіи своей очереди начинать дѣйство халдеямъ. Послѣдніе, взявшись за концы изображавшихъ оковы „убрусовъ“, шли—одинъ впереди, другой позади отроковъ, которые держались другъ за друга руками. Передъ обставленной горящими свѣчами „пещью“ (число подсвѣчниковъ, окружавшихъ послѣднюю, доходило до пятидесяти), одинъ изъ халдеевъ произносилъ, указывая пальмовой вѣткою на печь: — „Дѣти царевы! Видите-ли печь сію, очень горящу и весьма расплаляему?“ Другой халдей заканчивалъ обращеніе товарища словами: „Сія печь уготована вамъ на мученіе!“ Тогда отрокъ, изображавшій собою Ананію, отвѣчалъ: „Видимъ мы печь сію и не ужасаемся ея; есть бо Богъ нашъ на небесахъ, Ему мы служимъ,—Той силенъ изъяти насъ отъ печи сія!“ Отрокъ Азарія добавлялъ: „И отъ рукъ вашихъ избавить насъ!“ Мисаиль заканчивалъ отвѣтъ словами: „И сія печь будетъ не намъ на мученіе, а вамъ на обличеніе“. Вслѣдъ за этимъ отвѣтомъ, соборный протодіаконъ ставъ въ царскихъ вратахъ, зажигалъ „свѣчи отроческой“ и отроки пѣли: „И потщимся на помози!“ Они приготовлялись къ предстоящимъ мученіямъ. Протодіаконъ передавалъ свѣчи митрополиту, который и вручалъ ихъ подступающимъ къ нему отрокамъ, благословляя ихъ на муки. Учитель отроческой, еще передъ полученіемъ ими благословія святительскаго, развязывалъ ихъ. Въ это время происходилъ обмѣнъ словъ между халдеями, звучавшій—въ противовѣсъ умиленію, проникающему рѣчи страдальцевъ-отроковъ—грубой рѣвкостью. Этими какъ-бы нарочно подчеркивалась разница между первыми и послѣдними. „Товарищъ!“—произносилъ одинъ изъ мучителей—Чтово?—отзывался другой. — „Это дѣти царевы?“—Царе-

вы. — „Нашего царя не слушаютъ?“ — Не слушаютъ! — „И золотому тѣльцу не поклоняются?“ — Не поклоняются. — „И мы вкинемъ ихъ въ печь?“ — И начнемъ ихъ жечь!... — Затѣмъ халдеи, взявъ Ананію подъ руки, „ввергали“ его въ печь, обращаясь къ Азаріи со слѣдующими словами: „А ты, Азарія, чего сталъ? И тебѣ у насъ то-же будетъ!“ Когда всѣ три отрока были, введены на приготовленное имъ для мученія мѣсто, къ „пещи“ подходилъ очередной „звонецъ-пономарь“ съ сосудомъ, наполненнымъ углями, и ставилъ его подъ нее. Послѣ этого раздавался возгласъ протодіакона: „Благословенъ Господи Боже отецъ нашихъ! Хвально и прославлено Имя Твое во вѣки!“ Этотъ возгласъ повторялся отроками; а ихъ мучители, размахивая вѣтвями, какъ-бы раздували огонь. Протодіаконъ читалъ пѣснь: „Правы пути Твои, судьбы истинны сотворилъ еси!“ Раздавалось пѣніе дьяковъ. На слова протодіакона: „И распалышеся пламень подъ пещію“... — соборъ оглашалъ отвѣтъ отроковъ: „яже обрѣсте о пещи халдейстей“. Въ это время ключарь собора принималъ отъ святителя благословеніе — „ангела спущати въ печь“. Діаконы принимали отъ халдеевъ трубы съ огнемъ. Протодіаконъ восклицалъ: „Ангель же Господень купно со Азаріиною чадію въ печь“ и т. д. При произнесеніи стиха „яко духъ хладенъ и шумящъ“ — появлялся ангелъ, держа свитокъ и съ шумомъ спускаясь въ средину пещи. Халдеи, при его появленіи, падали ницъ, и діаконы опаляли имъ бороды свѣчами. Халдеи начинали снова свой разговоръ: „Товарищъ!“ — Чего? — „Видишь-ли?“ — Вижу! — „Было три, а стало четыре.“ — Грозенъ и страшенъ зѣло, образомъ уподобися Сыну Божию! и т. д. Въ это время отроки припадали къ ангелу, держась за его крылья руками. Ангелъ поднимался (на веревкахъ) вмѣстѣ съ ними и бросалъ ихъ (также, конечно, опуская на веревкахъ) сверху. Протодіаконъ читалъ пѣснь отроковъ, они пѣли ее, дьяки вторили имъ на обоихъ клиросахъ поочередно. Халдеи, со вновь зажженными свѣчами, стояли „поникнувъ главою“. При пѣніи: „Благословите тріе отроцы“, ангелъ спускался, съ громомъ и шумомъ, въ печь; халдеи падали наземъ отъ страха. Ангелъ снова поднимался; мучители подходили къ пещи и, отворявъ двери ея, безъ шапокъ на головахъ, произносили: „Ананія! Гряди вонъ изъ пещи! Чего сталъ? Поворачивайся!... Неиметь васъ огонь, ни солома, ни смола, ни сѣра. Мы чаяли — васъ сожгли, а мы сами сгорѣли!...“ Послѣ минутнаго молчанія, они выводили отроковъ, одного велѣдъ за другимъ. Надѣвъ на себя упавшія на полъ, при первомъ появленіи грознаго для нихъ ангела, деревянныя шапки, — они, взявъ въ

руки свои трубы съ огнемъ, становились справа и слѣва спасенныхъ ангеломъ отроковъ. Въ соборѣ раздавалось громоподобное многолѣтіе „царю-государю и всѣмъ властемъ предержавшимъ“. За этимъ многолѣтіемъ продолжалась, по обычному порядку прерванная дѣйствомъ заутреня. Послѣ пѣнія „Слава въ Вышнихъ Богу“, соборный протопопъ входилъ вмѣстѣ съ отроками въ пещь и читалъ тамъ Евангеліе. Затѣмъ, пещь убирала и ставили амвонъ на прежнее мѣсто. Пещное дѣйство кончалось—до слѣдующаго года. На присутствовавшихъ въ соборѣ при совершеніи дѣйства, послѣднее производило каждый разъ неотразимое впечатлѣніе, хотя все это и выполнялось съ самой первобытною наивной грубостью простодушной старины.

Въ XVII-мъ столѣтіи церковный обрядъ „Пещнаго дѣйства“ слился въ понятіи простолюдиновъ съ обычаемъ святочнаго ряженья. „Халдеи“ расхаживали по городу вмѣстѣ съ ряжеными—„на посрамленіе врага рода человѣческаго“. Вмѣстѣ съ ряжеными они, по рассказамъ очевидца—Олеарія, надѣвъ безобразныя „личины“, ходили изъ дома домъ, кривлялись на улицахъ и площадяхъ, привлекая къ себѣ вниманіе своими красными хламидами и деревянными шапками. Они ежегодно получали разрѣшеніе отъ митрополита (а въ Москвѣ—отъ патріарха) въ теченіе всѣхъ Святыхъ „бѣгать по улицамъ съ потѣшными огнями“, поджигать бороды зазѣвавшимся мужикамъ и всячески потѣшаться. Въ день Крещенія Господня „іордань“ являлась для нихъ „колодеземъ очищенія отъ всякія скверны бѣсовской“: въ ледяной проруби они купались вмѣстѣ съ ряжеными, скоморохами и всякими другими „блуднями“.

Веселыя Святки давали встарину широкой просторъ всякому „глумотворству“. „Комидійное дѣло“, зарождавшееся въ тѣ времена на Руси при помощи завзятыхъ „глумцовъ“—скомороховъ, конечно, не имѣло ничего общаго по содержанию и обстановкѣ съ совершавшимся по священному преданіемъ чину дѣйствомъ. Это, вырожденное грубоватымъ народнымъ смѣхословіемъ, произведеніе народной веселости имѣло пристанище только на улицѣ, въ толпѣ разгуливающагося люда. Переходя за границы пристойности, наши первые русскіе „комедианты“ вызывали на себя всевозможныя нареканія со стороны духовенства. При царѣ Михаилѣ Феодоровичѣ на скоморошество было воздвигнуто настоящее гоненіе.

Но при сынѣ Михаила Феодоровича суждено было веселому дѣйству—только на другой, никого не вводившей къ

соблазнъ основѣ—проникнуть даже въ самыя палаты царскія, „предъ свѣтлыя очи государевы“. Народился русскій (правда, съ нѣмецкими лицедѣями) театр; началась лѣтопись русской сцены. Подъ вліяніемъ Матвѣева⁸⁶⁾ и другихъ передовыхъ русскихъ людей того времени, стоявшаго на рубежѣ перерожденія стародавняго уклада, царь Алексѣй Михайловичъ мало-по-малу шель навстрѣчу европейской жизни. Въ 1675-мъ году въ палатахъ государевыхъ появился новоприбывшій въ Москву нѣмецкій оркестръ Готфрида Іоганна Грегори. Заслуживъ „зѣло искусной игрою“ одобреніе царя, нѣмчинъ признался боярину Матвѣеву, что онъ пріѣхалъ на Русь—съ цѣлью открыть театральныя представленія, и, что всѣ его товарищи—не только „игрецы“, но и „комидійнаго дѣла мастера“. Не прошло и мѣсяца по прибытіи Грегори въ Москву, какъ, съ разрѣшенія государя, во дворцѣ села Преображенскаго давалось первое на Руси представленіе: „Комедія, какъ Алаферна царица царю голову отсѣкла“. За нею шли: „Комедія объ Артаксерксѣ и Аманѣ“, „Мистерія о Товіи и сынѣ его“ и друг. Перваго сентября 1677 года, предъ „синклитомъ царевымъ“, была разыграна въ „комидійской хороминѣ“ комедія Симеона Полоцкаго⁸⁷⁾—„О Навуходносорѣ-царѣ, о тѣлѣ златѣ и о трехъ отрокахъ, въ печи сожженныхъ“. Какъ видно и по самому заголовку ея, это было не что иное, какъ обработанное въ болѣе стройномъ видѣ древнерусское „Пещное дѣйство“. Ветхозавѣтный разсказъ сохраненъ здѣсь съ большей близостью къ правдѣ былого. „Комедія“ открывается выхсдомъ Навуходносора.

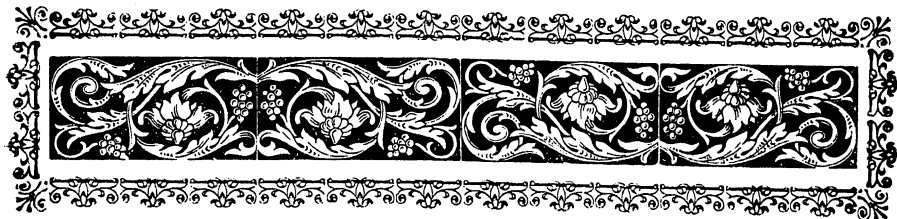
⁸⁶⁾ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ—бояринъ, знаменитый дѣятель московской Руси. Онъ родился въ 1625-мъ, умеръ въ 1682-мъ году. Въ молодости онъ участвовалъ въ цѣломъ рядѣ войнъ. Сближеніе съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, взявшимъ—послѣ смерти первой супруги своей—въ жены воспитаницу Матвѣева, Паталію Кирилловну (впослѣдствіи мать императора Петра Великаго), сослужило не малую службу русскому народу. Въ лицѣ Матвѣева на Русской Землѣ появился другъ иностранцевъ, проложившій въ дѣбряхъ допетровской косности первую тропу европейскому просвѣщенію. Смерть цари Алексѣя Михайловича отстранила Матвѣева отъ двора государева: онъ, по проискамъ своихъ недруговъ, былъ сосланъ въ Пустозерскъ, откуда вернулся лишь послѣ кончины цари Θεодора Алексѣевича (въ 1682 г.), снова удостоился почестей, но всего на нѣсколько дней, такъ какъ палъ одною изъ первыхъ жертвъ стрѣльцкаго бунта, поднятаго по наущенію приверженцевъ старины, враждебной всякимъ „новшествамъ“.

⁸⁷⁾ Симеонъ Полоцкій—русскій духовный писатель XVII-го вѣка. Онъ родился въ 1629-мъ году въ гор. Полоцкѣ, учился въ кіево-могилевской коллегіи, по окончаніи курса который принялъ монашескій санъ съ именемъ Симеона (мірское имя его неизвѣстно) и сталъ „дидакаломъ“ (учителемъ-воспитателемъ) въ полоцкой братской школѣ. Въ 1664-мъ году онъ переселился въ Москву, по приглашенію царя Алексѣя Михайловича, и занялся обученіемъ

Онъ отдаетъ повелѣнiе воздвигнуть ему драгоцѣнную статую и поклоняться ей. Слуги гордаго царя, отдернувъ завѣсу, показываютъ ему его „образъ“ и раскаленную печь. Всѣ преклоняются предъ статуей. Трехъ отроковъ еврейскихъ, не исполняющихъ повелѣнiя, бросаютъ въ пламя шесть воиновъ. Пораженный невредимостью отроковъ, Навуходоносоръ возвѣщаетъ страдальцамъ свою милость, „хвалить Единого Бога“ и отдаетъ новый приказъ: „Аще кто дерзнетъ Бога хулити, убиенъ буди, а домъ расхитити повелѣваемъ!“ Грубая шереховатость дѣйства въ „комедiи“ значительно сглажена ея сочинителемъ.

Со времени сооруженiя „комидiйной хоромины“ въ Москвѣ, мало-по-малу начали исчезать изъ храмовъ „дѣйства“. Отгосокъ западно-европейскихъ „мистерiй“ нашель себѣ мѣсто въ стѣнахъ учрежденнаго благочестивымъ царемъ перваго русскаго театра, всецѣло посвященнаго въ эту пору своего существованiя событiямъ Священнаго Писанiя.

молодыхъ подъячихъ Тайнаго Приказа—въ Спасскомъ монастырѣ (за Иконнымъ рядомъ). Одновременно съ этимъ онъ занялся сочинительствомъ. Въ 1667-мъ году была издана царемъ его книга „Жезлъ правленiя на правительство мысленнаго стада православно-россiйскiя церкви“, и онъ былъ назначенъ воспитателемъ царскихъ дѣтей. Вскорѣ затѣмъ появились его сочиненiя: „Вертоградъ Многодвѣтный“ (сборникъ стихотворенiй), „Житiе и учене Христа“, „Книга краткихъ вопросовъ и отвѣтовъ“ и „Взнецъ вѣры католическiя“. Проповѣди, произносившiяся имъ съ церковной кафедры, собраны и изданы послѣ его смерти („Обѣдъ, душевный“ и „Вечери душевная“). Въ 1680-мъ году были изданы передоженный Полоцкимъ въ стихи „Псалтирь“ и стихотворный-же сборникъ „Рномологiонъ“. Кромѣ того, имъ написаны комедiи: „О Навуходоносорѣ царѣ“ и „О Блудномъ Сынѣ“, пользовавшiяся успѣхомъ въ поворожденномъ русскомъ театрѣ. Дѣятельность С. Полоцкаго—какъ писателя, проповѣдника и педагога—оказала большое влiянiе на современное ему, находившееся въ младенческомъ состоянiи, русское общество. Умеръ онъ въ 1680-мъ году и похороненъ въ Заиконоспасскомъ монастырѣ.



III.

Зимній Никола.

„Зима—за морозы, а мужикъ—за праздники!“, „Какъ ни зноби морозъ, а праздничекъ веселый теплѣ печки пригрѣетъ!“—говорять на посельской-попальной Руси. Декабрьское звено праздниковъ, связанныхъ въ народной памяти съ различными повѣрьями, обычаями и сказаніями, начинается шестого декабря зимнимъ Николинымъ днемъ („Зимнимъ Николою“). Хоть, — какъ уже говорилось выше, — великомученица Варвара, по представленію народной Руси, „мосты домашиваетъ“, а за нею святой Савва „гвозди востритъ“, да „рѣвки салить“, — а всетаки, — добавляетъ деревня, — „Хвали зиму послѣ Николіна дня!“ Но одновременно съ этимъ можно услышать въ народѣ и другія поговорки-примѣты, въ-родѣ такихъ, какъ: „Коли на Михайловъ день зима закуетъ, то на Николу раскуетъ!“, „Коли зима до Николіна дня слѣдъ заметаеть, дорогѣ не стоять!“ и т. д.

Зимній Никола ведетъ съ собою никольскіе морозы—дождаючись которыхъ, говоритъ деревенскій людъ въ позднезимье: „Подошелъ-бы Никола, а ужъ зима на санкахъ прѣдетъ за нимъ!“ — „Привезли зиму на санкахъ до Николы, — вотъ тебѣ и жданная оттепель!“ — проносится молвъ по народу въ ранній зимы, когда чуть-ли не съ самаго Покрова не скидаетъ былоспѣжной шубы съ могучихъ плечъ своихъ земля-кормилица. Богатъ народъ русскій силой-мочью богатырскою, но не бѣдише онъ и кудреватой рѣчью крылатою: что ни шагъ у него, то свое цвѣтистое словцо наособицу. И нѣтъ конца, нѣтъ смерти-забвенья этимъ словамъ: изстари вѣковъ зародятся—до скончанія вѣка живутъ! Не беретъ ихъ, что

называется, ни холодомъ, ни голодомъ, ни какимъ бы то ни было другимъ попущенъемъ.

Св. Николая-чудотворца зоветь людъ православный великимъ угодникомъ Божиимъ и обращается къ его защитѣ и заступничеству во всякой бѣдѣ-напасти, крѣпко вѣруя въ неборимую силу его святой молитвы передъ Господомъ. Но наиболѣе всего прибѣгаетъ русскій народъ подъ покровъ „Николы“, путешествуя на водахъ. „Съ Николой-угодникомъ“ связано имя покровителя морей и рѣкъ. На него съ теченіемъ времени перенеслось стародавнее представленіе древняго славянина-язычника о Морскомъ Царѣ. Чудеса, совершенныя имъ, по словамъ житія его, на морѣ, дали народу поводъ къ объединенію ихъ съ чудодѣйными свойствами древне-языческаго божества, повелѣвавшего морскими пучинами. По вѣрованію, внушаемому ученіемъ Православной Церкви, молитвами св. Николая усмиряются волненія моря, по его свѣтозарному слову—затихаютъ грозныя водяныя бури.

Въ старинной новгородской былинѣ о „Садкѣ богатомъ гостѣ, и Царѣ Морскомъ“ упоминается объ этомъ свойствѣ великаго угодника Божія. Разыгрался на гусляхъ Садко, въ подводномъ дворцѣ владыки поддоннаго сидючи; расплясался подъ его игру гусельную Царь Морской, и поднялась на морѣ буря великая,—что ни часть, то грознѣе. Но вмѣшался тутъ Николай-Угодникъ: „Гой еси ты, Садко-купецъ, богатый гость!“—обращается онъ, явившись во снѣ, къ гусляру подневольному:

„А рви ты свои гусли звончаты;
 Расплясался у тебя Царь Морской,
 А сине море всколебалось,
 А и быстры рѣки разливались,
 Тонятъ много бусы (лодки), корабли,
 Тонятъ души напрасныя...“

Послушался Садко, „изорвалъ онъ струны золотыя и бросаетъ гусли звончаты, пересталъ Царь Морской скакать и плясать: утихло море синее, утихли рѣки быстрыя“.

Николѣ-угоднику дана Міродержцемъ, по народному предположенію, власть надо всеми темными силами, скрывающимися въ безднѣ подводной отъ силы вѣры во Христа Спасителя и святыхъ Юго. Въ преданіяхъ балканскихъ славянъ (сербовъ, болгаръ и др.), передается, что, по окончаніи мірозданія, при дѣлежѣ вселенной между силами небесными, Богъ-Саватоевъ передалъ св. Николаю-чудотворцу—въ его полчюю власть—„всѣ воды и броды“.

У насъ, на Руси, съ незапамятныхъ поръ, слыветъ Никола въ народѣ „морскимъ“ и „мокрымъ“. Последнее прозвище укрѣпилось за нимъ и не только потому, что его молитва спасаетъ плавающихъ по водамъ, но и оттого еще, что онъ держитъ въ своей властной рукѣ и воды подземныя. Влага, выступающая изъ-подъ земли и спасающая поля отъ засухи, поднимаясь въ видѣ испареній и снова падая нагрудь земную дождемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ признается даромъ св. Николая чествующему его народу-землепаицу. Потому-то и оставляется во многихъ селахъ на сжатой, нивѣ горсть колосьевъ „на бороду святому Николѣ“ — обычай, въ большинствѣ случаевъ связанный съ почитаніемъ Ильи-пророка.

Шестого декабря, по преданію, Никола - угодникъ спускается съ небесныхъ полей на оснѣжонную землю и шествуетъ по лицу Земли Русской, обходя ее—обыденкой— изъ конца въ конецъ. И убѣгаютъ отъ него, еще загодя, всѣ духи тьмы, какъ огня - молніи Ильи-пророка, боящіеся суроваго взгляда очей св. Николая.

Существуетъ и до сихъ поръ еще бродитъ въ народѣ, обокъ съ каликами-перехожими и памятливыми „сказителями“ старыхъ былей и небылицъ, любопытный сказъ о состязаньи Николы-угодника съ Ильею - громовникомъ. Въ давнія времена, — повѣствуетъ перенесшій этотъ сказъ изъ устъ народа на печатныя страницы своихъ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“ А. Н. Аванасьевъ, — жилъ-былъ мужикъ, Николинъ день всегда почиталъ, а въ Ильинъ нѣтъ-нѣтъ, да и работать станеть; Николь-угоднику и молебенъ отслужить, и свѣчу поставить, а про Илью-пророка и думать забылъ. Вотъ разъ какъ-то идетъ Илья-пророкъ съ Николою полемъ этого-самаго мужика, идутъ они да смотрять—на нивѣ зеленя стоятъ такія славныя, что душа не нарадуется. „Вотъ будетъ урожай, такъ урожай!“—говоритъ Никола.—„А вотъ посмотримъ!“—отвѣчаетъ Илья: „Какъ спалю я молніей, какъ выбью градомъ все поле, такъ будетъ мужикъ правду знать да Ильинъ день почитать!“ Поспорили и разошлись въ разныя стороны. Никола-угодникъ сейчасъ къ мужику: „Продай,—говоритъ, скорѣе ильинскому пону весь хлѣбъ на корню; не то ничего не останется, все градомъ повыбьетъ!“... Мужикъ послушался. Прошло ни много, ни мало времени: собралась-понадвинулась грозная туча, страшнымъ градомъ и ливнемъ разразилась она надъ нивою мужика, весь хлѣбъ—какъ ножомъ срубала. На другой день идутъ мимо Илья съ Николою, и говоритъ Илья: „Посмотри каковò разорилъ я мужиково поле!“ А Ни-

кола - угодникъ — въ отвѣтъ ему, что хлѣбъ - де мужикомъ давно на корню проданъ. „Постой-же, — я опять поправлю ниву, будетъ она вдвое лучше прежняго!“ Никола опять къ мужику и заставилъ его выкупить побитое поле. Межь тѣмъ, откуда что взялось — стала мужикова нива поправляться: отъ старыхъ пошли новые, свѣжіе побѣги. Дождевыя тучи то-идѣло несутся надъ полемъ и поятъ землю: чудный уродился хлѣбъ — высокій да густой, сорной травы совсѣмъ не видать, а колосья налился полный-полный, такъ и гнется къ землѣ. Пригрѣло солнышко, и созрѣла рожь — словно золотая стоитъ въ полѣ. Много нажалъ мужикъ сноповъ, много наклакъ копенъ, ужъ собрался возить да въ скирды складывать. На ту пору идетъ Илья съ Николою; узнаетъ Илья, что поле мужикомъ выкуплено, и говоритъ: „Постой-же отыму я у хлѣба спорость! Сколько-бы ни поклакъ мужикъ сноповъ, больше четверика заразъ не вымолотить!“ — Никола-угодникъ идетъ къ мужику и совѣтуетъ ему, во время молотбы, больше какъ по одному снопу не класть на токъ. Сталъ мужикъ молотить, что ни снопь, то и четверикъ зерна; всѣ закрома, всѣ клѣтѣ засыпалъ рожью, и все еще много остается; пришлось строить новые амбары...“

Св. Николай-чудотворецъ представляется воображенію народа то въ образѣ „добраго дѣда“ (Никола Милосливый), то въ видѣ суроваго старца; то обликъ его проходитъ богатырской поступью, напоминающею „походочку“ Микуды Селяниновича, сына Матери-Сырой-Земли. Ему приписывается не только власть надъ морями, не только защита хлѣбородныхъ полей, но и многое другое.

„Кому на комъ жениться, тотъ въ того и родится!“ — говоритъ старинная русская пословица. „Всякая невѣста — своему жениху невѣстится!“ — дополняетъ ея смыслъ другая, равнозначащая съ цѣлымъ рядомъ ей подобныхъ въ родѣ: „Суженаго конемъ не объѣдешь!“ , или „Сужено ряжено — не объѣдешь въ кузовѣ“ и т. д. И вотъ, вѣрующій въ заступничество Николы-Милосливаго деревенскій людъ надѣляется его силою „связывать судьбу суженыхъ“. Отсюда-то и проистекаетъ соблюдающійся людьми, твердо памятующими старину, обычай служить послѣ свадебнаго сговора молебствіе Николѣ-угоднику о благополучіи брачующихся. „Смерть да жена — Богомъ суждена!“ — по убѣжденію народной мудрости. „Судьба придетъ, по рукамъ свяжетъ“. И простодушнѣе, рѣшающійся на такой важный шагъ жизни, прежде всего вспоминаетъ о своемъ могучемъ заступникѣ.

Вмѣстѣ съ Ильей-пророкомъ и Михаиломъ-архангеломъ, приписываетъ народъ св. Николаю-чудотворцу участие въ перевозѣ душъ христіанскихъ черезъ рѣки огненныя, отдѣляющія предѣлы земные отъ міра загробнаго. Среди благоуханнаго рая, подъ густымъ навѣсомъ „племенитаго лавра“, спустившаго во всѣ стороны свѣта бѣлаго свои вѣтви золотыя съ листьями серебряными, „на святомъ ложѣ“, усыпанномъ пестрыми цвѣтами духовитыми, лежитъ-почиваетъ „святой отецъ Никола“. Приходитъ къ нему,—говоритъ сказаніе,—Илья-громовый. „Вставай, Никола, пойдемъ въ лѣсъ, построимъ корабли и давай перевозить души съ того свѣта на этотъ!“ Это преданіе повторяется съ одинаковой точностью у всѣхъ славянскихъ народовъ,—что является явнымъ доказательствомъ нерушимой духовной связи даже у разъединенныхъ судьбами единокровныхъ братьевъ.

Удѣливъ св. Николаю-чудотворцу обширное мѣсто въ области своихъ чудесныхъ сказаній, окруживъ его имя вереницею обычаевъ и повѣрій и разсыпавъ вокругъ него яркую россыпь пословицъ, поговорокъ и всякихъ реченій, народъ не забылъ о немъ и въ своихъ заговорахъ. Вотъ одинъ изъ послѣднихъ (самый немногословный): „Завяжи, Господи, колдуну и колдуньѣ, вѣдуну и вѣдуньѣ уста и языкъ на раба Божія (имя рекъ) зла не мыслити. Михайло-архангелъ, Гавриилъ-архангелъ, Никола-милостивъ! Снизите съ небесъ и снесите ключи и замкните колдуну и колдуньѣ, вѣдуну и вѣдуньѣ и упырю накрѣпко и твердо. И сойдетъ Никола-милостивъ, и снесетъ желѣза и поставитъ отъ земли до небесъ, и запретъ тремя ключами позолоченными, и тѣ ключи бросить въ окіанъ-море; въ окіанъ-морѣ лежитъ камень алатырь: тебѣ - бы, камню, не отложаться, а вамъ ключамъ не выплывать по мое слово!“..

„У того-ли, у Николы можайскаго,
Тѣ мужики новгородскіе соходилися,
На братчину, на Никольщину,
Начинають пить канунъ, пиво ячныя“...

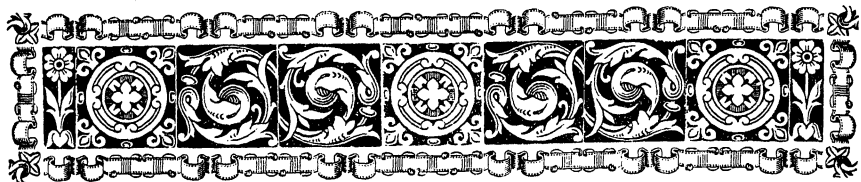
Такъ пѣлось въ старинной пѣснѣ, залесенной Киршею Даниловымъ въ его „Древнія русскія стихотворенія“. „Никольщина-братчина“ справляется и въ настоящее время, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, преимущественно въ сѣверныхъ губерніяхъ. Это—„обѣтный“ праздникъ, готовясь ко встрѣчѣ котораго, варятъ всюю деревней, на общій счетъ, пиво, разливваемое до послѣдней капли въ одинъ день (кромѣ „Николы зимняго“ это блюдется и въ нѣкоторые другіе праздники). Встарину на

Николу приносили „мужики новгородскіе“ къ обѣднѣ въ церковь жареныхъ пѣтуховъ, баранину и короваи хлѣба. Часть этого отдавалась причту церковному за молебень, а остальное—шло на угощеніе съѣзжавшихся и сходящихся на братчину. „На братчину ѣздить незваны!“; „Братчина судить, ватага—рядить!“—говорять въ народѣ.—„На Никольщину и друга зови, и ворога зови, оба друзья будутъ!“—добавляетъ онъ въ другомъ изреченіи, намекая на то, что за однимъ столомъ съ братающимся людомъ сидитъ и Ярѣ-Хмѣль, общій примиритель. „Николить“—праздновать Никольщину—является въ то-же самое время равнозначимымъ словамъ: пить, гулять, пьянствовать „Наши заниколили“, — говорятъ въ народной Руси, любовно относящейся къ своему „веселію“, но тутъ-же слѣдомъ приговариваютъ: „Что наковаль, то и прониколить!“, „Дониколится до сумы“... Крылатое слово народное рисуетъ яркую картину деревенскаго веселья, связаннаго съ зимней Никольщиною. Вся эта картина составлена изъ поговорокъ, въ-родѣ: „Веселилась Маланья на Николитиъ день, что мірскую бражку пьетъ, а того Маланья не вѣдасть, что за похмѣлье мужиковъ бьютъ!“, „Звали бабы Никольскихъ ребятъ брагу варить, а того бабы не вѣдали, что ребята только брагу пьютъ!“, „На Никольщину ѣдутъ мужики съ поглядкой, а послѣ Никольщины валяются подъ лавкой!“, „Знать мужика, что Никольщину справлялъ, коли на головѣ шапка не держится!“... Въ такихъ поговоркахъ народъ самъ подсмѣивается надъ своимъ обычаемъ; но онъ-же все-таки не такъ-то ужъ строго порицаетъ этотъ-послѣдній, если и теперь повторяетъ старыя слова: „Никольщина красна пивомъ да пирогами!“, „Для кума Никольщина бражку варить, для кумы пироги печеть!“, „Городская Никольщина на санкахъ по улицѣ бѣжить, а деревенская въ избѣ сидитъ да бражку пьетъ!“, „Гореваль мужикъ по Никольщину, зачѣмъ она не цѣлый вѣкъ живетъ!“

Сохранились въ памятникахъ народнаго изустнаго творчества и другія изреченія, обнаруживающія подкладку, измѣняющую значеніе для изученія лѣтописей быта русской деревни: „Никольщина не ходитъ съ поклономъ на барскій дворъ!“, „Позывала Никольщина барщину въ гости пировать, а того Никольщина и не вѣдала, что на барщину царемъ отъ Бога навѣкъ заказъ положенъ!“ и т. д.

Зимній Никола, однако, запечатлѣвается въ памяти русскаго крестьянина не только всѣмъ приведеннымъ выше. День, посвященный Церковью памяти святаго угодника Бога, вѣдающаго „всѣ воды и всѣ броды“, былъ встарину (а

мѣстами остается и до сихъ поръ) днемъ перваго хлѣбнаго
торга. „Цѣны на хлѣбъ строить Никольской торгъ!“ „Николь-
ской обозъ для боярской казны дороже золота!“, „У добраго
мужика и на Никольщину торгъ стоить!“...Длинная цѣпь по-
добныхъ этимъ, подсказаннымъ многовѣковымъ хозяйствен-
нымъ опытомъ, поговорокъ замыкается наиболѣе точною изъ
нихъ: „Никольской торгъ всему указъ“.



ЛП.

Спиридонъ-солноворотъ.

Двѣнадцатое декабря, день, посвященный Православною Церковью памяти святого Спиридона, въ неписанномъ народномъ дневникѣ является отмѣченнымъ совершенно особыми примѣтами-повѣрьями, присвоенными исключительно ему. Это—день, когда, по старинному преданію приближающагося къ дѣйствительности—„солнце поворачиваетъ на лѣто, а зима—на морозъ“.

Поэтому-то всегда непременно къ имени воспоминаемаго въ этотъ день святого и присоединяются прозвища: „солноворотъ“, „солнцеворотъ“, „поворотъ“ и т. п. „На Спиридона-солноворота медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на другой бокъ!“—говоритъ деревенскій людъ.—„Послѣ солноворота хоть на воробьиный скокъ да прибудеть дня!“—добавляетъ онъ къ этимъ словамъ, выводя такое заключеніе изъ своихъ непосредственныхъ наблюденій надъ обстунною его бытъ природою.

Эти-же самыя наблюденія заставляютъ его повторять кажде 12-е іюня, въ день „Петра-капустника-поворота“ (св. Петра Афонскаго) примѣты: „Съ Петра—солнце на зиму, а лѣто на жары!“, „Солнце съ Петра-капустника укорачиваетъ ходъ, а мѣсяць идетъ на прибыль!“. 24-го іюня, на Ивановъ день, совершается, —говорятъ въ народѣ, —первый торжественный выѣздъ солнца въ далекій зимній путь: дни съ этой поры начинаютъ уменьшаться, а ночи—прибывать все замѣтнѣе.

По одному старинному сказанію—солнце, выѣзжая съ зимняго на лѣтній путь, не знаетъ разстилающейся передъ его

огненными взорами новой дороги. Дѣва-Зоря (богиня) ведетъ его по небу, каждымъ утромъ умываетъ его росой до тѣхъ поръ, пока она выступаетъ на земной растительности. Другое сказаніе говоритъ, что съ лѣта на зиму поворачиваетъ „колесо солнца краснаго“ богъ-громовникъ — Перунъ, отождествленный впоследствии съ грознымъ Ильею-пророкомъ, объединившимъ въ себѣ, по народному представленію, главнѣйшія особенности языческихъ божествъ древнеславянскаго Олимпа.

По словамъ этого сказанія, призванный повернуть солнцево колесо и освѣжить удушливый лѣтній воздухъ, Перунъ совершаетъ этотъ подвигъ во мракѣ ночи. На темномъ небѣ, по его волѣ, загораются-расцвѣтають яркіе огненные цвѣты молній. Тучи и рѣки озаряются блескомъ „грозоваго пламени“; дубравы бьютъ челомъ Матери-Сырой-Землѣ, потрясаемая грозной бурей. Громовыя стрѣлы разбиваютъ облачныя горы открывая затаенное въ ихъ подземныхъ скриняхъ золото солнечныхъ лучей. Все это неизмѣнно сопровождается цѣлымъ вихремъ буйныхъ плясокъ, игръ и пѣсенъ злыхъ духовъ.

Выѣхавшее въ зимній путь солнце, что ни день, теряетъ свою плодотворную силу, оживляющую нѣдра земныя. Блещетъ зеленый нарядъ природы, замолкають одна за другою пѣвчія птицы, зрѣеть и снимается съ полей хлѣбъ, засѣваются новыя озимыя поля, собирается въ отлетъ и покидаетъ Русь перелетное птаство, засыпають на зимнюю пору мухи, свертываются клубками и также засыпають змѣи. И вотъ-матушка-зима появляется на землѣ во всей суровой красѣ своей, со выюгами-заметями, ледяными мостами, сугробами сыпучими, морозами трескучими. Злыя силы, затемняющія силу свѣта солнечнаго, забирають на землѣ все въ свою власть, заставляющую даже и неособенно зябкаго человѣка прятаться-хорониться въ хату отъ стужи и согрѣваться искусственнымъ тепломъ. Непривѣтливимъ-затуманеннымъ взоромъ смотреть на землю небо, все рѣже и рѣже освѣщаемое солнечными лучами, какъ-будто и само красное солнышко собирается въ эти покоренные зимой студеною угрюмые дни если не умереть, то заснуть тяжелымъ, полнымъ зловѣщихъ сновиднѣй томительнымъ сномъ.

Наступаетъ, однако, и конецъ росту силы-власти вороговъ свѣта и тепла, — приходитъ на землю Спиридонъ-солнвороть. И словно возрождается свѣтило свѣтиль небесныхъ. По древнему, не отжившему и до сихъ поръ своего вѣка на Руси повѣрью, рядится красное солнышко въ праздничный сара-

фань свой, убираетъ волосы серебряные золотымъ кокошникомъ и садится на свою телѣгу, запряженную лихой тройкою—конями серебрянымъ, золотымъ и алмазнымъ—и поворачиваетъ ихъ на лѣтнюю дорогу. Чѣмъ ретивѣе погоняетъ оно своихъ коней, тѣмъ трусливѣе поджимаютъ хвосты демоны мрака, чувствуя, что приспѣваетъ конецъ ихъ своевольничанью на Святой Руси.

Солнце, круто поворачивая съ зимы на лѣто, словно возрождается къ новой жизни съ новой силою,—хотя и говоритъ народъ, что со Спиридона-солнворота до Новаго года день прибавляется всего только „на куриный шагъ“, или даже и того менѣе—„на гусиную лапу“. Радуюсь побѣдѣ источника свѣта надъ силами тьмы, наши отдаленные предки разжигали по горамъ и пригоркамъ костры. Даже и теперь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сохранился въ деревенской глуши обычай чествовать первый поворотъ солнца зажиганіемъ костровъ въ ночь на 12-е декабря,—хотя, обыкновенно, справляютъ этотъ пережившій вѣка обычай старины въ другое время: въ ночь подъ Рождество, подъ Новый годъ, или въ крещенскій сочельникъ.

Весь декабрь-мѣсяцъ считался встарину мѣсяцемъ благотворнаго возжиганія солнца всемогущимъ Перуномъ-громовникомъ на радость всему жаждущему тепла и свѣта на землѣ. Въ малорусскихъ и бѣлорусскихъ мѣстностяхъ, гдѣ долѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было на Руси, сохранялись древніе народные обычаи, еще не такъ давно—въ честь предстоящаго торжества солнца—варилось къ Спиридонову дню пиво, и затѣмъ, начиная съ этого числа, откладывалось ежедневно по одному полѣну дровъ. Наканунѣ Рождества Христова,—когда набиралось двѣнадцать отложенныхъ полѣнъ,—ими, съ благоговѣйной молитвою, затапливалась печь на святой вечеръ.

Въ XVI—XVII столѣтіяхъ на Москвѣ Бѣлокаменной поворотъ солнца ознаменовывался наособицу и въ царскихъ палатахъ. По свидѣтельству бытописателей старины, въ день св. Спиридона представалъ изъ-года-въ-годъ „предъ свѣтлыя очи государевы“ звонарный староста московскаго Успенскаго собора, смиренно билъ царю челомъ и докладывалъ про то, что „отселѣ возвратъ солнцу съ зимы на лѣто, день прибываетъ, а ночь умалается“. Царь-государь жаловалъ старосту за его радостную для всей Земли Русской вѣсть деньгами (выдавалось, обыкновенно, двадцать четыре серебряныхъ рубля). На лѣтній солнворотъ (12-го іюня) тотъ-же самый докладчикъ приносилъ въ царскія палаты вѣсть, что „отселѣ возвратъ солнцу съ лѣта на зиму, день умалается, а ночь прибываетъ“.

За эту прискорбную вѣсть его немедленно запырали, по указу цареву, на цѣлыя сутки въ темную палатку на Ивановской колокольнѣ.

Въ настоящее время большинство обычаевъ и повѣрій, связанныхъ съ поворотомъ солнца, относится къ лѣтнему времени, когда они переходятъ въ непосредственную связь съ суевѣрными представленіями народа, обступающими ночь подъ Ивана Купалу, и съ купальскими празднествами вообще.

Со Спиридонова двя зима, по крылатому слову старыхъ людей, ходитъ въ медвѣжьей шкурѣ, стучится по крышамъ и будитъ по ночамъ бабъ-хозяекъ—топить печи. Къ этому добавляется повѣрье о томъ, что, „если зима ходитъ въ этотъ день по полю, то за ней вереницами идутъ мятели и просятъ себѣ дѣла“. Если на поворотѣ солнца заглянетъ она въ лѣсъ, то непременно осыплетъ деревья инеемъ; „по рѣкѣ идетъ“,— говорятъ о ней въ народѣ,— „подъ слѣдомъ своимъ куеть воду на три аршина“.

Народныя примѣты гласятъ, что съ какой стороны подуетъ на Спиридона вѣтеръ, съ той и будетъ дуть онъ „до сорока мучениковъ“ (до весенняго равноденствія). Онъ-же увѣряютъ и современнаго русскаго простолюдина-землепашца въ томъ, что, „если (въ этотъ день) цѣна упадетъ на хлѣбъ, то онъ будетъ дешевъ“. Бабы-хозяйки, заботливо оберегающія свой птичникъ, прикармливаютъ куръ гречихой на Спиридона „изъ правдѣа рукова, чтобы раньше неслись“. Садовники, отряхивая заваленныя снѣговой заметью яблони, приговариваютъ: „Спиридоновъ день, подымайся вверхъ!“ Это дѣлается съ той цѣлью, чтобы предохранить плодовые деревья отъ пагубнаго для урожая нападенія прожорливыхъ червей по веснѣ.

Въ деревенской глуши въ день св. Спиридона выбѣгаетъ за околицу веселая дѣтвора—малъ-мала-меньше—и начинаетъ ублажать солнышко поскорѣе повернуться.

„Солнышко, повернись!

Красное, разожгись!

Красно-солнышко, въ дорогу выѣзжай,

Зимній холодъ забывай!..“

Такъ приговариваютъ-поютъ ребята за околицею. Если выдѣтся ведро, то отсюда они, всей гурьбою, отправляются на гору и начинаютъ катать съ нея колесо (прообразъ солнца), которое, наконецъ, сжигаютъ, подъ веселые крики, надъ прорубью на рѣкѣ. И тутъ находятся у нихъ особые припѣвы, подсказанные имъ памятливими ко всякой старинѣ дѣдами и бабками.

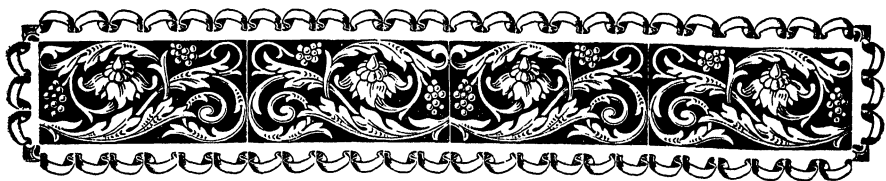
„Покатилось колесо съ Новагорода,
 Со Новагорода и до Кіева,
 Со Кеива ко Черну-мору,
 Къ Черноморью ко широкому,
 Къ широкому-ли, глубокому,
 Колесо, гори-катись
 Со весной красной вернись!..“—

припѣваетъ веселая дѣтвора, чуящая, что скоро опять будетъ и на ея улицѣ праздникъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напримѣръ, въ Ртицево-Каменской волости Симбирскаго уѣзда) эта не лишенная своеобразной красоты ребячья пѣсенка замѣняется другою:

„Спиридонъ-свѣтъ-поворотъ
 Стоитъ прямо у воротъ,
 Колесо въ рукѣ несетъ,
 Красно солнышко зоветъ,
 Ко святой Руси ведетъ...
 Разгорайся, солнце красно
 Ты на свѣтъ не погасло!“

И если—какъ-бы въ отвѣтъ непосѣдливой дѣтвора—играеть-пляшетъ своими лучами въ Спиридоновъ день солнышко,—то,—говорить примѣтливый деревенскій людъ,—быть яснымъ днямъ на веселыхъ Святкахъ. А если съ этого дня вплоть до 16-го декабря будетъ висѣть на вѣтвяхъ древесныхъ иней, то Святки придутъ на Русь не только ясными, но и теплыми, —хотя со Спиридона-солнворота и поворачиваетъ зима — „на морозъ“...



ЛШ.

Рождество Христово.

Отъ Спиридона-солнворота до самаго рождественскаго сочельника (24-го декабря) готовится не только посельская-попольная, но и погородная, Русь ко встрѣчѣ великаго праздника. Канунъ Рождества Христова долженъ застать людѣ православный уже вполне готовымъ къ воспріятію благостной вѣсти о рожденіи Спаса-Христа, несущаго на темную землю свѣтлое благоволеніе. Твердо помнитъ простой русскій человѣкъ притчу, гласящую о томъ, что не слѣдъ приходить на пиръ въ печальной одеждѣ. Потому-то и спѣшитъ онъ, потому-то и старается всѣми силами сбросить со своихъ плечъ черную тяготу потовыхъ заботъ и, запасшись всѣмъ, что Богъ дастъ къ празднику, ждетъ—съ благоговѣйной тишиною въ душѣ—явленія на небѣ первой звѣзды вечерней, вѣруя, что это загорается та-самая звѣзда, которая около двухъ тысячелѣтій тому назадъ возвѣстила волхвамъ о рожденіи Сына Божія въ Вилеємѣ Іудейскомъ. Цѣлый день постятся—непринимая никакой пищи въ рождественскій сочельникъ („до звѣзды“) благочестивые люди, помнящіе о преданіяхъ отцовъ и дѣдовъ, — чтобы, по завѣщанному тѣмъ уставу-обычаю, встрѣтить грядущаго въ міръ Спасителя міра.

Наступаетъ вечеръ; тьма ложится наземь, покрываетъ своими тяжкими тѣнями снѣга бѣлые-пушистые. И вотъ, вспыхиваетъ на востокѣ яркимъ трепетнымъ свѣтомъ вилеємская звѣзда... На нее устремлены взоры всей православной Руси, всѣхъ единовѣрныхъ русскому пахарю народовъ, какъ близкихъ ему по крови, такъ и далекихъ. „Христось рождается!“ — раздается радостное пѣснопѣніе по всѣмъ храмамъ Божиимъ

и плыветъ вмѣстѣ со звономъ колокольнымъ отъ многолюдныхъ городовъ и селъ черезъ доли и горы, по полямъ и дорогамъ, по всему неоглядному простору свѣтлорусскому.

Вечеромъ, въ канунъ Рождества Христова, неизмѣнно придерживающіеся старыхъ благочестивыхъ обычаевъ люди русскіе не нарушаютъ поста: по уставу церковному разрѣшается вкушать въ это время только „сочиво“ (взваръ рисовый, или ячменный—съ медомъ, или ягодный и плодовой) съ хлѣбомъ пшеничнымъ, „олады“ медовые да пироги постные. Розговѣнье—утромъ, послѣ ранней обѣдни; а до утра все еще стоять на Руси Филипповки, идущіе съ 15-го ноября вплоть до веселыхъ-радостныхъ Святковъ. А живутъ Святки отъ Рождества до Крещенья (съ 25-го декабря по 6-е января). „Постъ—пости, праздникъ—празднуй!“—говорятъ въ народѣ, подобно тому, какъ говорятъ и „дѣлу—время, потѣхъ—часъ!“ Отъ Филипповокъ—рукой подать до Святковъ: „Сочельникъ—къ Святкамъ съ Филипповокъ мостъ!“, „По сочельникову мосту ѣдетъ Коляда изъ Новагорода!“—повторяетъ сельщина-деревенщина, вспоминая объ этомъ времени, и добавляетъ: „Уродилась Коляда наканунѣ Рождества, на Коляду прибыло дню на куриную ступню“... и т. д.

„Коляда“ („коледа“)—слово загадочное, неоднократно ставившее въ тупикъ изслѣдователей нашего народнаго быта и приводившее ихъ къ самымъ противорѣчивымъ заключеніямъ. Не только бытописатели, но и самъ народъ, приурочиваетъ къ этому слову различныя понятія. Такъ, на сѣверѣ называютъ колядою рождественскій сочельникъ, колядованіемъ—обрядъ хожденія по домамъ на Рождество съ поздравленіями и пѣснями, со звѣздой. Въ Новгородской губерніи за коляду слывуть подарки, получаемые при этомъ хожденіи. Въ южныхъ и юго-западныхъ полосахъ зовутъ этимъ именемъ самый праздникъ Рождества и даже всѣ Святки. „Колядовать“ на бѣлорусскомъ нарѣчій означаетъ—Христа славить. Если же этимъ словомъ обмолвится смоленскій мужикъ, то оно имѣетъ въ его устахъ иное значеніе—побираться, просить милостыню,—утрачивая такимъ образомъ даже свой настоящій смыслъ.

Встарину „колядовали“ наканунѣ Рождества по всей Руси. Теперь же этотъ обычай сохранился во всей полнотѣ только въ Малороссіи да среди бѣлоруссовъ. Онъ состоитъ въ томъ, что молодежь деревенская, парни и дѣвушки,—отстоявъ всенощную, или заутреню, идутъ веселой гурьбою по подь-оконью, останавливаясь особенно долго тамъ, гдѣ горитъ огонь. Торватые хозяева одѣляютъ колядующихъ „кольцами“

колбасы, оладьями, орѣхами или деньгами. Въ Киевской и Волынской губерніяхъ половина собранныхъ денегъ еще недавно отдавалась на церковь; въ другихъ-же мѣстахъ всегда всѣ деньги шли на устраиваемую на Святкахъ пирушку. Пѣсни „колядки“, которыми величаютъ Новорожденного Христа въ Малороссіи, отличаются большимъ разнообразіемъ и зачастую свидѣтельствуютъ о глубокой древности своего происхожденія. Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, поется о томъ, какъ „Божья Мати въ полозѣ лежитъ, Сыночка родить; Сына вродила въ морѣ скупала...“ Другая гласитъ совсѣмъ обь иномъ:

„На сивомъ морѣ
 Каравель на воды,
 Въ томъ кораблейку
 Трое воротцы;
 Въ першихъ воротейкахъ
 Мѣсячокъ свѣтитчи,
 Въ другихъ воротейкахъ
 Сонечко сходить,
 Въ третьихъ воротейкахъ
 Самъ Господь ходитъ,—
 Ключи прималя,
 Рай вотмика“...

Въ тѣхъ изъ чисто-великорусскихъ губерній, гдѣ сохранился обычай колядованія,—онъ стадеъ исключительнымъ достояніемъ дѣтвора деревенской, съ увлеченіемъ выполняющей его за старшихъ. И теперь еще можно видѣть въ ночь передъ Рождествомъ кое-гдѣ толпы ребятъ, одинъ изъ которыхъ несетъ на палкѣ зажженный фонарь въ видѣ звѣзды, а всѣ другіе бѣгутъ за нимъ на каждый дворъ, куда только ихъ пускаютъ хозяева.

„Коляда, коляда!
 Пришла коляда
 Наканунѣ Рождества;
 Мы ходили, мы искали
 Коляду святую
 По всѣмъ дворамъ,
 По проулочкамъ.
 Нашли коляду
 У Петрова двора;
 Петровъ-то дворъ—железной тынь,
 Среди двора три терема стоять:

Во первомъ терему—свѣтѣль-мѣсяцъ .
 Въ другомъ терему—красно солнце,
 А въ третьемъ терему—часты звѣзды...“

„Колядка“ продолжается прославленіемъ хозяина, которому дается прозвище „свѣтѣль-мѣсяцъ“, хозяйка является въ устахъ колядующихъ „краснымъ солнцемъ“, дѣти ихъ—„частыми звѣздами“, и, наконецъ, дѣтвора возглашаетъ въ заключеніе пѣсни:

„Здравствуй, хозяинъ съ хозяйшкой,
 На долгіе вѣки, на многая лѣта!“

Иногда этотъ конецъ замѣняется болѣе выразительнымъ—въ-родѣ: „Хозяинъ въ дому—какъ Адамъ на раю; хозяйка въ дому—что алады на меду; малы дѣтушки—что виноградье красно-зеленое...“ А затѣмъ—„звѣздоносецъ“ кланяется и уже не пѣсней, а обыкновенной рѣчью, поздравляетъ хозяевъ съ наступившимъ праздникомъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ припѣвомъ къ „колядкамъ“ служатъ слова „Виноградье красно-зеленъе мое!“, или „Таусинь, таусинь („Ай, овсень!“)!“ Въ пѣсенномъ собраніи П. В. Шейна есть слѣдующая своеобразная колядная пѣсня, записанная въ Псковской губерніи:

„Ходили, гуляли колядовщики,
 Сочили-искали боярскаго двора:
 Нашъ боярскій дворъ на семи верстахъ,
 На семидесяти столбахъ.
 Какъ поѣхалъ государь на Судимую гору—
 Судь судить по сто рублей,
 Ряды рядить по тысячи.
 Какъ ѣдетъ государь со Судимой со горы,
 Везетъ своей женѣ кунью шубу,
 Своимъ сыновьямъ по добру ковию,
 Своимъ невѣстускамъ по кокошничку,
 Своимъ дочушкамъ по ленточки,
 Своимъ служенькамъ по сапоженькамъ.
 Подарите, не знобите колядовщиковъ:
 Наша колядка ни мала, ни велика,
 Ни въ рубль, ни въ полтину,
 Ни въ четыре алтына.
 Подарите, не знобите колядовщиковъ!
 Либо изъ печи пирогомъ,
 Либо изъ клѣти осьмакомъ,
 Либо кружечка пивца,

Либо чарочка винца.
Хозяинъ—ясенъ мѣсяцъ,
Хозяюшка—красно солнышко въ дому!“...

Подобіе обычая „колядованья“ уцѣлѣло на Руси повсемѣстно—какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ, не исключая столицъ; но тамъ не слышно уже этихъ наивныхъ въ своей неподкрашенной простотѣ пѣсенокъ-колядокъ. Они замѣнились тѣмъ-же самымъ „славленіемъ“, съ которымъ ходитъ на первый день праздника церковный причтъ по домамъ.

Въ Малороссіи наиболѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, сохранились обычаи, которыми ознаменовывалась въ древней Руси встрѣча Рождества Христова. Тамъ и въ настоящее время „святой вечеръ“ (какъ называютъ канунъ великаго праздника) проводится точно такъ-же, какъ проводился многіе годы тому назадъ.

При первомъ блескѣ вилелемской звѣзды вносится старѣйшимъ въ домѣ связка сѣна въ хату и стелется въ красномъ—переднемъ—углу на лавкѣ; эту-последнюю накрываютъ, поверхъ сѣна, чистой скатертью; а затѣмъ ставятъ на нее подъ божницею необмолоченный снопъ ржи или пшеницы. По бокамъ снопа помѣщается кутя—каша изъ ячменя, или рису, съ изюмомъ и взваръ изъ сушеныхъ грушъ, сливъ и другихъ плодовъ. И каша, и взваръ покрываются кнышами (пшеничными хлѣбами). Начинается ужинъ—„вечера“. У образовъ теплится зажженная хозяиномъ лампада, вокругъ стола, усыпаннаго сѣномъ и накрытаго бѣлымъ столешникомъ, садятся всѣ домашніе. Подаются галушки, вареники жаркое и—послѣ всего—каша-кутя и взваръ. За вечерю гадаютъ объ урожаѣ. Для этого вытаскиваютъ изъ-подъ столешника стебельки сѣна, по длинѣ которыхъ и судятъ о будущемъ ростѣ хлѣбѣвъ. Выдергиваютъ такъ-же изъ снопа, стоящаго подъ божницею, соломенки: если выдернется съ полнымъ колосомъ—ждать надо урожая, съ тощимъ—недорода. Когда всѣ повечеряютъ и хозяйка начнетъ убирать со стола, опять начинается гаданье,—на этотъ разъ по осыпавшимся сѣменамъ травъ: если осыпется больше черныхъ—хороша будетъ гречиха-дикуша, а больше желтыхъ и красныхъ—можно рассчитывать на овсы, на просо да на пшеницу. Снопъ остается въ красномъ углу до самаго Новаго Года. Со „святого“ вечера вплоть до 1-го января не выметаетъ ни одна хозяйка въ Малороссіи соръ изъ хаты,—чтобы затѣмъ весь его, собранный въ кучу, сжечь на дворѣ. Этимъ охраняется, по народному повѣрью, урожай сада и огорода.

отъ гусениць, червей и другихъ враговъ плодоносящей растительности.

По старинному преданію, наканунѣ Рождества, въ самую полночь отверзаются небесныя врата, и съ высотъ заоблачныхъ сходитъ на землю Сынъ Божій. „Пресвѣтлый рай“ во время этого торжественнаго явленія открываетъ взорамъ праведныхъ людей всѣ свои сокровища неоцѣнимыя, всѣ свои тайны неизъяснимыя. Всѣ воды въ райскихъ рѣкахъ оживаютъ и приходятъ въ движеніе; источники претворяются въ вино и надѣляются на эту великую ночь чудодѣйной цѣлебной силой; въ райскихъ садахъ на деревьяхъ распускаются цвѣты и наливаются золотыя яблоки. Изъ райскихъ предѣловъ обитающее въ нихъ Солнце разсылаетъ на одѣтую снѣжной целеною землю свои дары щедрые-богатые. Если кто о чемъ будетъ молиться въ полночь, о чемъ просить станетъ,—все исполнется-сбудется, какъ по писанному,—говорить народъ.

У сербовъ и лужичанъ существуетъ обычай—выходить рождественской полночью въ поле, на перекрестокъ дорогъ и смотрѣть на небо. По словамъ стариковъ, передъ взорами угодныхъ Богу людей открываются небесныя красоты неизреченныя. И видятъ они, какъ изъ райскихъ садовъ зоря-зоряница выводитъ солнце красное,—какъ она, ясная, усыпаетъ путь его золотомъ и розами. И видятъ они, какъ обьютъ въ муравчатыхъ берегахъ ключи воды живой, какъ расцвѣтаютъ цвѣты духовитые, какъ золотятся-наливаются плоды сочныя на деревьяхъ серебряныхъ съ листочками бумажными... Много еще видятъ достойные видѣній люди, да все меньше такихъ становится на землѣ, затемненной грѣхами нераскаянными. А какъ ни смотри на небо грѣшная душа—ничего кромѣ синева небесной да звѣздъ,—и то если онѣ не укрыты темнымъ пологомъ тучъ,—не высмотрѣть ей и въ эту ночь открovenій.

У юго-западныхъ славянскихъ народовъ, тамъ, гдѣ бытъ ихъ еще не измѣнилъ единокровной съ народомъ русскимъ старинъ (наприм., у тѣхъ-же сербовъ, а также у далматинцевъ, кроатовъ и нѣкоторыхъ другихъ) канунъ Рождества Христова, называющійся въ честь пробуждающагося и възжающаго на лѣтнюю дорогу солнца, „бднимъ днемъ“ (отъ слова будити, бдѣти и т. д.), проводится и бдними, и богатыми людьми одинаково, по установленному предками обряду-обычаю. Утромъ вырубаются въ ближнемъ лѣсу толстая дубовая колода, и привозится на дворъ. Какъ только начнетъ смеркаться, домохозяинъ-большакъ вноситъ ее въ хату

и, входя, привѣтствуетъ всѣхъ домашнихъ пожеланіемъ провести счастливо „бадній день“. Колоду обмазываютъ медомъ, посыпаютъ хлѣбными зернами, затѣмъ кладутъ въ печь на уголья. Когда колода („баднякъ“) разгорится, семья собирается близь очага за накрытымъ праздничнымъ столомъ и начинаетъ разговляться. По улицамъ въ это время горятъ смоляные костры, молодёжь у околицы палить изъ ружей. Въ каждой семьѣ ждуть гостей на вечерю. Первый гость зовется „положайникомъ“, и съ появленіемъ его въ хатъ связываются потомъ всѣ бѣды и радости, случающіяся въ году съ семьею. Твердо будучи убѣждены въ непреложности этого повѣрья, хозяева стараются приглашать на рождественскую вечерю къ себѣ только тѣхъ людей, которые могутъ, по видимому, принести счастье.

Входя въ хату, положайникъ беретъ изъ кадки, стоящей въ сѣняхъ у двери, горсть зеренъ и, бросая ихъ къ хозяйкамъ, произноситъ: „Христось ся роди!“ Большакъ-хозяинъ отвѣчаетъ: „Ва истину роди!“ и приглашаетъ положайника сѣсть на почетное мѣсто, остававшееся до тѣхъ поръ не занятымъ. Но гость медлитъ отозваться на приглашеніе: онъ идетъ къ очагу и начинаетъ бить кочергою по горящей дубовой колодѣ такъ, что искры летятъ изъ нея во всѣ стороны; бьетъ, а самъ приговариваетъ пожеланіе, чтобы сколько вылетитъ искръ, столько уродилось-бы копенъ жита, сколько искръ—столько-бы и приплода на скотномъ дворѣ, сколько искръ—столько-бы мѣръ овощей на огородѣ и т. д. Затѣмъ, всѣ присутствующіе берутъ въ руки по зажженной восковой свѣчѣ, молятся на иконы и цѣлуютъ другъ друга со словами: „Миръ Божій! Христось ся роди, ва истину роди, покланяемо се-Христу и Христову рождеству!“ Послѣ этого свѣчи передаются хозяину, который ставитъ ихъ въ чашку, наполненную зернами, а немного времени спустя гаситъ ихъ, опуская зажженными концами въ зерна. Всѣ принимаются за ѣду.

На рождественской трапезѣ необходимыми кушаньями являются здѣсь медъ и „чесница“ (прѣсный пшеничный хлѣбъ съ запеченной въ немъ монетою). Большакъ-хозяинъ разламываетъ чесницу и раздѣляетъ между трапезующими; кому достанется кусокъ съ монетою,—того ожидаетъ счастье. Баднякъ-колода, по мнѣнію старыхъ свѣдущихъ людей, надѣляется свыше цѣлебною силою. Уголья и зола, остающіеся послѣ него въ очагѣ, считаются лѣкарствомъ противъ болѣзней рогатаго скота и лошадей; если дымомъ его тлѣющей головни окурить на пасѣгѣ улья, то это помогаетъ дружному роеню пчель и т. д. Зернами, разбросанными по полу во время

встрѣчи гостя-положайника, хорошо кормить куръ, чтобы тѣ лучше неслись; солому, которою устлана на „бѣднѣй день“ полъ хаты, выносятъ на ниву и разбрасываютъ по ней, думая, что отъ этого будетъ лучшей урожай по веснѣ. Во многихъ мѣстностяхъ огонь „бѣдняка“ поддерживается не только въ канунъ великаго праздника, но и во всѣ Святки—вплоть до Новаго Года.

Стародавняя старина, уцѣлѣвшая до сихъ поръ отъ всеограждающей руки беспощаднаго времени, никогда не проявляется въ народномъ быту такъ ярко, какъ во дни, окружающіе великій праздникъ Рождества Христова.

„Какъ и нонче у насъ святые вечера пришли,
[Святые вечера, Святки-игрища.

Ой, Святки мои, святые вечера!

[Ой, Дидь! Ой, Лада моя!

Ой, Дидь! Ой, Лада моя!..“

— запѣваются первыя пѣсни святочные, начинаются игрища затѣйныя. На Святки—просторъ-приволье широкому размаху живучей родной старины. Это—время, для котораго словно и создавало богатое народное воображеніе пестроцвѣтную вязь повѣрій, гаданій, игръ и обычаевъ. „Русская Русь“, заслоненная суровымъ обиходомъ трудовой жизни простолюдина, словно просыпается отъ своей дремы и смѣлой поступью идетъ въ святочные дни и вечера по всему свѣтлорусскому раздолью. Она нашептываетъ народу-пахарю о забытыхъ преданіяхъ былого-минувшаго, вызываетъ его на потѣху утѣшливую, пробуждаетъ въ стихійной душѣ миллионноголоваго правнука Микулы Селяниновича память обо всемъ, чѣмъ было живо богатырское веселье пращуровъ современныхъ землепашцевъ, крѣпко держащихся за землю-кормилицу.

Празднованіе Рождества Христова въ царскихъ палатахъ XVI—XVII вѣка начиналось еще наканунѣ, рано утромъ. Царь дѣлалъ тайный выходъ. Благочестивые государи московскіе и „всеа Руссіи“ любили ознаменовывать всѣ великіе праздники дѣлами благотворенія. Такъ было и въ этомъ случаѣ. Въ сочельникъ, когда вся Москва—и первый богачъ, и послѣдній бѣднякъ—готовилась, каждый по своему достатку, къ празднику,—голь-нищета московская переполняла, еще до утренняго свѣта, всѣ площади, въ надеждѣ, что царь не захочетъ, чтобы кто-нибудь изъ его людей и людшекъ оста-

вался голоднымъ въ предстоящіе великіе дни. О тайномъ выходѣ знали всѣ, кому о томъ знать надлежало. Неожиданно совершенное впервые—превратилось въ обычай; послѣдній—въ освященный годами обрядъ царскаго обихода. Если не самъ государь, то кто-либо изъ ближнихъ бояръ его долженъ былъ исполнять положенное. Но только болѣзнь и могла заставить прибѣгнуть къ замѣнѣ царя приспѣшникомъ, удостоивавшимся представлять собою священную особу государя. Обыкновенно-же этотъ выходъ совершался самимъ царемъ.

Раннимъ утромъ, сопровождаемый малымъ отрядомъ стрѣльцовъ и нѣсколькими подъячими такъ называемаго Тайнаго Приказа, вѣнценосный богомолець выходилъ изъ палатъ. Онъ былъ облеченъ въ „смирныя“ одежды простого боярина и въ то-же время былъ „смирень духомъ“. Шествіе направлялось къ тюрьмамъ и богадѣльнямъ. Въ первыхъ растворялись къ царскому посѣщенію казематы „сидѣльцевъ за малыя вины“ и полоняниковъ; во вторыхъ—ждали „свѣтлаго лицезрѣнія государева“ увѣчные, разслабленные, убогіе. По улицамъ и площадямъ, облежавшимъ путь, по которому надлежало шествовать участникамъ тайнаго выхода, тѣснился бѣдный людъ, жаждавшій получить милостыню изъ рукъ государевыхъ. Одновременно съ этимъ, по всѣмъ стогнамъ Бѣлокаменной, стрѣлцкіе полковники и пользующіеся довѣріемъ царевымъ подъячіе раздавали „отъ щедротъ государевыхъ“ нищимъ, калѣкамъ и сирымъ праздничное подаваніе. Земскій Дворъ, Лобное Мѣсто и Красная Площадь собирали вокругъ себя особенно много бѣдности, памятовавшей слова указа государева; о томъ, чтобы ни одинъ бѣдный человекъ на Москвѣ не оставался въ этотъ день безъ царской милостыни.

За четыре часа до разсвѣта самодержецъ выходилъ на благочестивый подвигъ. Темень зимней ночи чернымъ пологомъ лежала надъ одѣтою снѣгами Москвой. Впереди государя несли фонарь, о-бокъ слѣдовали подъячіе Тайнаго Приказа, поодаль—стрѣльцы. Встрѣчные на пути одѣлялись деньгами. Прежде всѣхъ „узилицъ“ обыкновенно посѣщался Большой тюремный дворъ. Богомольный гость заключенныхъ обходилъ каждую избу, выслушивая жалобы колодниковъ—однихъ освобождая по своему царскому милостивому изволенію и скорому суду, другимъ облегчая узы, третьимъ выдавая по рублю и по полтинѣ на праздникъ. Всѣмъ „сидѣльцамъ тюремнымъ“, по приказанію государя, назначался на великіе дни праздничный харчъ. Съ Большого тюремнаго двора государь шествовалъ на „Аглинской“. На этомъ дворѣ

милость царева изливалась на полоняниковъ. Шествуя отсюда, въ Бѣломъ и Китай-городѣ государь одѣлялъ изъ своихъ рукъ всякаго встрѣчнаго бѣдняка. Возвратившись съ описаннаго выхода въ палаты, царь шелъ въ покои на отдыхъ. Отдохнувъ и переодѣвшись, онъ выходилъ въ Столовую избу или Золотую палату, или-же въ какую-либо изъ дворцовыхъ („комнатныхъ“) церквей. Царскіе часы въиценокосный богомолецъ слушалъ—огражденный сонмомъ бояръ, думныхъ дьяковъ и ближнихъ чиновъ.

Въ навечеріи великаго праздника—царь, въ бѣлой, шелкомъ крытой, шубѣ, отороченной кованымъ золоченымъ кружевомъ и золотой нашивкою, шелъ въ Успенскій соборъ, гдѣ стоялъ за вечернею и слушалъ дѣйство многолѣтія, „кликанное“ архидіакономъ. Послѣ этого, патриархъ, по описанію Забѣлина, „со властью и со всѣмъ соборомъ здравствовала государю“... Произносилось „титло“. Государь обмѣнивался поздравленіями съ патриархомъ и всѣми присутствовавшими; затѣмъ, принявъ патриаршее благословеніе, шествовалъ въ палаты.

Въ сумерки, при трепетномъ мерцаніи первой вечерней звѣзды, являлось во дворецъ „славить Христа“ соборное духовенство съ хорами государевыхъ пѣвчихъ; къ послѣднимъ иногда присоединялись „станицы“ патриаршихъ, митрополичьихъ и другихъ пѣвческихъ хоровъ. Славельщики входили въ Столовую избу, или въ Переднюю палату. Государь принималъ гостей по уставу—по обычаю, жалюя ихъ бѣлымъ и краснымъ медомъ, который золотыми и серебряными ковшами обносили особые подносчики. Кромѣ царскаго угощенія, хриославы получали и „славленое“ (отъ 8 алтынъ съ 2-мя деньгами до 12 рублей, смотря по положенію того, отъ кого былъ хоръ). Русскіе цари очень любили церковное пѣніе, а потому жаловали „воспѣвакъ“, обладавшихъ выдающимся искусствомъ въ немъ, и наособицу.

Наставалъ самый праздникъ Рождества Христова. Царь шелъ къ заутренѣ въ Золотую палату. Въ 10-омъ часу утра расплывался надъ Москвою первый гулкій ударъ краснаго благовѣста къ обѣднѣ, подхватываемый колокольными сорока-сороковъ московскихъ. Въ это время государь былъ уже въ Столовой палатѣ, убранной „большимъ нарядомъ“. Онъ сидѣлъ на своемъ царскомъ мѣстѣ, рядомъ съ которымъ стояло патриаршее кресло. Бояре и думные дьяки сидѣли по лавкамъ, застланнымъ „бархатами“; другіе ближніе люди, младшихъ разрядовъ, стояли поодаль. По прошествіи нѣкотораго времени, въ палату вступалъ патриархъ, пред-

шествуемый соборными ключарями съ крестомъ и со святой водою. Святителя сопровождалъ сонмъ митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ, архимандритовъ и игуменовъ. Государь вставалъ навстрѣчу архипастырю, шедшему славить Христа. Послѣ пѣнія положенныхъ, по уставу церковному, молитвъ, „стихеръ“ и многолѣтія, патріархъ поздравлялъ царственнаго хозяина Земли Русской и, по приглашенію его, садился рядомъ съ нимъ. Затѣмъ, немного спустя, благословивъ государя, іерархъ Православной Церкви, со всѣми духовными властями, шелъ въ царицны покон, въ государынину Золотую палату. Послѣ царицы, патріархъ посѣщалъ всѣхъ членовъ царскаго семейства.

Государь, между тѣмъ, собирался къ обѣднѣ въ Успенскій соборъ. Выходъ въ соборъ совершался по Красному крыльцу, въ предшествіи и сопровожденіи бояръ. Государь былъ одѣтъ въ царское платно (порфиру), становой кафтанъ и корону; на груди его были возложены царскія бармы; въ рукѣ онъ держалъ царскій жезлъ. Подъ руки держали царственнаго богомольца двое стольниковъ въ золотыхъ праздничныхъ ферязяхъ. Люди меньшаго чина начинали шествіе, большаго чина вельможи слѣдовали за царемъ.

Отслушавъ литургію, государь въ одномъ изъ придѣловъ собора перемѣнялъ царское платно на „походное“ и возвращался во дворець. Тамъ въ это время приготовлялся уже праздничный столъ—на патріарха, властей и бояръ. Но, вѣрный своему благочестивому обычаю, самодержецъ московскій не садился за столъ, не узнавъ, что все исполнено по его изволенію.

А „изволилъ“ государь приказывать еще съ утра: „строить столы“ для бѣдныхъ и сирыхъ. Въ Передней палатѣ, или въ однѣхъ изъ теплыхъ сѣней государевыхъ, къ этому времени были уже другіе гости: собиралось-скликалось по Москвѣ до ста и болѣе нищихъ и убогихъ. Столы уставлялись пирогами и перепечами, ставились жбаны квасу и меда сыченаго. По данному ближнимъ бояриномъ знаку, присѣнники впускали царскихъ гостей, занимавшихъ мѣста за столами. Входили подносчики и одѣляли всѣхъ обѣдавшихъ—отъ имени царскаго—калачами и деньгами (по полтинѣ). Слѣдомъ за ними, палатою проходилъ ближній бояринъ, изображавшій собою замѣстителя государева, и всѣхъ „опрашивалъ о довольствѣ“. И только послѣ того, какъ этотъ бояринъ приносилъ царю вѣсть, что его убогіе гости сыты, пожалованы „жалованьемъ“ и отпущены со словомъ милосивымъ,—садился государь въ Столовой палатѣ за столы,

„браные на патриарха и властей“. Иногда, въ то-же самое время, столы для убогихъ и сирыхъ „строились“ и въ царицыныхъ покояхъ, въ ея Золотой палатѣ, гдѣ также раздавалось бѣднякамъ щедрой рукою царское жалованье. Утромъ, предъ обѣденою, къ царицѣ съѣзжались старшія боярыни, вмѣстѣ съ которыми она и слушала славленіе патриарха.

Встрѣтивъ праздникъ дѣлами благотворенія обойденнымъ судьбою несчастнымъ и принявъ „здравствованіе“ духовныхъ и свѣтскихъ властей и ближнихъ людей своихъ, государь отдавалъ себя семьѣ. На другой день онъ слушалъ утреню и обѣдню въ одной изъ своихъ комнатныхъ церквей, послѣ чего принималъ пріѣзжихъ изъ другихъ городовъ хриославовъ „духовнаго и свѣтскаго чина“. Къ царицѣ въ это-же время собирались, по „нарочитому зву“, пріѣзжія боярыни. Родственницы государя и государыни оставались въ царицыныхъ палатахъ — къ „столу“; всѣ-же другія гости уѣзжали, такъ какъ имъ, по уставу, не предоставлялось права обѣдать за царскими столами.

На третій день великаго праздника государь „шелъ санями“ на богомолье въ одинъ изъ наиболѣе чтимыхъ, прославленныхъ своими святынями московскихъ монастырей. На раззолоченныхъ, испещренныхъ хитрымъ узорчьемъ саняхъ, по сторонамъ царскаго мѣста, крѣпятаго персидскими коврами, стояли два ближнихъ боярина и два стольника. За государевыми санями ѣхала царская свита: бояре, окольничіе, дѣти боярскіе. Поѣздъ оберегался ото всякаго лиха отрядомъ стрѣльцовъ во сто челоувѣкъ. Несмѣтныя толпы народа окружали царскій путь, бѣжали и скакали на коняхъ за поѣзжанами, привѣтствуя „батюшку-царя“ радостными кликами. Посѣтивъ московскія святыни, на обратномъ пути съ богомолья, государь заѣзжалъ поклониться праху родителей и возвращался въ свои палаты.

Вечеръ этого дня царь, въ кругу своей семьи, проводилъ въ особой Потѣшной палатѣ. Въ ней—гусельники, домрачеи, скрипачники, органисты и цымбальники услаждали слухъ государя. Скоморохи съ карлами и карлицами забавляли царское семейство пѣснями, плясками и всякими другими „дѣйствами“. Представали здѣсь иногда передъ царскими взорами и „заморскіе искусники комедійнаго дѣла“. Съ этого вечера въ царицыныхъ покояхъ и въ теремахъ царевенъ начиналось время святочныхъ забавъ.

„Ужь я золото хороню, хороню,
Чисто сѣребро хороню, хороню,
Я у батюшки въ терему, въ терему,
Я у матушки въ высокѣмъ, въ высокѣмъ...“—

—звенѣла, переливалась переливами голосистыми старинная „подблюдная“ пѣсня, и въ наши дни общая всѣмъ святочнымъ игрищамъ-бесѣдамъ:

„Паль, паль перстень
Въ калину, въ малину,
Въ черную смородину...
Гадай-гадай, дѣвица,
Отгадывай, красная,
Черезъ поле идучи,
Русу косу плетучи,
Шелкомъ первиваючи,
Злагомъ персыпаючи“...

А на Москвѣ бѣлокаменной и по всей Землѣ Русской веселія рождественскія Святки были уже въ полномъ разгарѣ.



LIV.

Звѣри и птицы.

Разношерстное-разновидное царство звѣрей, какъ и разноперое-разноголосое царство птицъ, населяющихъ обступаящія челоуѣка поля, луга, лѣса и горы, не только не обойдено живучимъ словомъ народной Руси, но отразилось въ его прозрачной глубинѣ со всѣми своими особенностями. И сказы-преданія, и пѣсни, и пословицы, и загадки, и поговорки, и присловья запечатлѣли въ себѣ оба эти царства во всемъ ихъ пестромъ многообразіи. То величаво-спокойную рѣчь ведетъ о нихъ народъ-сказатель, то окружаетъ ихъ дымкой таинственнаго-нездѣшняго, то пылаетъ на нихъ гнѣвомъ, то обвѣваетъ ихъ кроткой ласкою воспоминанія. Мѣшая дѣло съ бездѣльемъ, отъ страха-ужаса переходя къ веселой шуткѣ, онъ обрисовываетъ весь этотъ міръ, близкій богатырскому духу пахаря, живущаго, какъ жили и его давніе пращуръ, заодно съ матерью-природою, дышащаго однимъ дыханіемъ съ нею.

Зерцало престонародной мудрости—„Книга Голубиная“—устаи царя Давыда Евсеевича называетъ „Индрика-звѣря“ главою и владыкой звѣринаго царства. „Такъ и Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати“,—гласитъ „перемудрое“ слово и продолжаетъ, надѣляя этого диковиннаго звѣря самыми чудесными свойствами:

„Почему тотъ звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати?
Что живетъ тотъ звѣрь во святой горы,
Онъ и пьетъ, и ѣстъ изъ святой горы,
И онъ ходитъ звѣрь по поднебесью,

Когда Индрикъ-звѣрь разыграется,
 Вся вселенная всколыбается:
 Потому Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрямъ мати!“

Въ этомъ сказочномъ звѣрѣ легко, по самому его наименованію, узнать единорога, представлявшагося и въ не особенно стародавніе годы загадочнымъ существомъ, съ которымъ связывалась въ суевѣрномъ воображеніи мысль о сверхъестественной силѣ и мудрости. Еще въ XVII-мъ столѣтіи рогъ этой „матери всѣмъ звѣрямъ“ приписывались цѣлебныя свойства, и увѣренность въ этомъ была настолько велика, что даже царь Алексѣй Михайловичъ, по свидѣтельству дворцовыхъ книгъ (1655 г.), соглашался за три такихъ рога заплатить десять тысячъ рублей соболями и мягкой рухлядью. Свѣдущіе въ цѣленіи болѣзней русскіе люди того времени были убѣждены, что рогъ единорога не только можетъ оказывать помощь въ различныхъ болѣзняхъ, но и даетъ владѣющему имъ человѣку увѣренность въ цвѣтущемъ здоровьи на всю жизнь долготѣнюю. „Длиною этотъ рогъ до шести пядей и свѣтелъ, какъ свѣтло“,—повѣствуютъ о немъ письменные люди, современники Тишайшаго царя.

Надъ птичьимъ царствомъ ставить сѣдая народная мудрость не менѣе удивительную Страфиль („Естрафиль“, „Страхиль“ и „Стратимъ“—по инымъ разносказамъ) птицу“. „Страфиль-птица всѣмъ птицамъ мати“,—гласитъ она,—„что живетъ та птица на синемъ мори, она пьетъ и ѣстъ на синемъ мори; когда эта птица вострепѣнется, все синее море всколебается. Потопляетъ море корабли гостиные, съ товарами драгоценными, и топить гостей, гостей торговыхихъ, побиваетъ судна, судна поморскія: потому Страфиль-птица птицамъ мати“...Что это за птица Страфиль—остается для нашихъ дней загадкою, потому что, хотя она и напоминаетъ страуса по имени-прозвищу, да тотъ, какъ извѣстно, никогда не жывалъ „на синемъ мори“.

Пословицы, поговорки и всевозможныя присловья-прибаутки о звѣрѣ съ птаствомъ пошли въ народную Русь больше всего съ лѣсныхъ мѣстъ, наособицу богатыхъ звѣро-да-птицеловами. Облетая на крыльяхъ живучаго слова свѣтлорусскій просторъ, переходя изъ однихъ словоохотливыхъ усть въ другія, овѣ видоизмѣнялись, сообразно съ бытомъ-обиходомъ той или другой округи, по которой пролегла имъ путь-дороженька, никакими рогатками-заставами не перегороженная, нигѣмъ—никому не заказанная. Мѣстныя наслоенія придавали вольному словесному богатству пестроцвѣтную

окраску, изъ-за которой порою не такъ-то легко и угадать-распознать, гдѣ родина того или иного реченія,—олончанинъ-ли „или тулякъ, или—чего добраго!—обитатель Костромы („не-добрѣй стороны“) оговорился-обмолвился имъ впервые.

„Звѣрье прыскучее (порскучее?)—Божье стадо!“—гласить народная молвь крылатая, договариваючи къ этому: „Пастухъ всѣмъ звѣрямъ—Егорій!“, „Что у звѣря („у волка“—въ частности) въ зубахъ, то Егорій далъ!“, „Безъ Егорья и звѣрю съ голоду пропасть!“, „Хранить Господь и дикаго звѣря!“, „У Бога—всякаго корму много; всѣхъ Господь надѣлилъ—кого хлѣбцемъ, кого хлѣбушкой,—не за что ему и звѣря лѣсного обдѣлять: не хлѣбомъ, такъ травой накормить, травы кто не ѣсть—другимъ звѣремъ-птицей!“ и т. д. Немного словъ на языкъ у русскаго народа про все звѣриное царство огуломъ, но множество—про каждаго звѣря наособицу, начиная царь-звѣремъ (львомъ), малую мышкою-норушкой кончая. „Знаютъ и звѣря по шерсти; какъ человѣку человѣка по обличью не распознать!“, „По когтямъ да по зубамъ звѣрей знать, а человѣка—по глазамъ видать!“,—говорить онъ,—„Звѣрь звѣрю—человѣкъ; человѣкъ человѣку—звѣрь!“—приговариваетъ.

Ко птицамъ-птахамъ куда привѣтливѣе народное слово, чѣмъ ко звѣрю, —знать, ему, крылатому, летающія созданія Божіи больше по сердцу, чѣмъ бѣгающія-порскающія. Зоветь краснословъ-народъ птицъ—Божьими, небесными, вольными; порою онъ завидуетъ имъ, поневолѣ на одномъ мѣстѣ сидючи. „Эхъ, крылья-бы, крылья мнѣ! Птицей взвился-бы, полетѣлъ!“—говоритъ его востосковавшееся по чемъ (или по по комъ)-либо сердце: „Не птахъ—не полетишь!“, „Снесите, вольныя птицы, поклонъ на родимую сторонку!“, „Дайте крылья, крылья мнѣ перелетныя!“, „Молодость—пташка вольная, старость—ракомъ пятится, черепахой ползетъ!“, „Безъ крыльевъ и птица—комъ; безъ воли и радость—не въ радость, на свободѣ и горе—вполгоря!“ и т. д. „Что ему дѣлается: ни сѣть, ни жнетъ, какъ Божья птаха живетъ!“—говорятъ деревенскіе краснословы про безпечныхъ людей, примѣняя къ нимъ евангельскія слова—„Возрите на птицы небесныя“... „Птица ни сѣетъ, ни жнетъ, а сыта живетъ!“—добавляютъ другіе къ этому. Но, по народному-же слову, и птица—птица рознь: „У всякой пташки—свои замашки!“, „Всяка птица своимъ голосомъ („свои пѣсни“—по иному разпосказу) поетъ!“, „Птицу знать по перьямъ, сокола—по полету!“ Задумываясь надъ счастьемъ, посельщина-деревеньщина приговариваетъ: „Счастье—вольная пташка; гдѣ захотѣла, тамъ

и съла!“ По крылатому народному слову—„Нѣтъ дерева, на которое не садилась-бы птица; а мимо сколькихъ людей счастье, не-глядя, проходить?“ Вмѣстѣ съ зорькою поднимается пахарь со своего жосткаго ложа, вмѣстѣ съ солнышкомъ принимается за работу, памятуя завѣтъ дѣдовъ-прадѣдовъ—набожныхъ-благочестивыхъ людей—о томъ, что кто не трудится, тотъ пусть и не ѣстъ, что „трудоу потъ—вѣрнѣе денегъ“ и т. п. Какъ-же ему было не обмолвиться такими поговорками, какъ, на примѣръ: „Ранняя птица носокъ прочищаетъ, поздняя глаза продираетъ!“, „Какая пташка раньше проснулась, та и корму скорѣе нашла!“, „Рано птица съ гнѣзда поднялась—сытнѣе дѣтять-птенцовъ накормила!“ Знаетъ народъ-хлѣборобъ, что безъ родительскихъ совѣтовъ да наказовъ не стать молодому подростку заправскимъ пахаремъ-хозяиномъ. „Птица не только дѣтокъ кормить, а и летать учить!“—вылетѣло у него изъ устъ мудрое—хотя и немудрѣное—слово. „Учись, умная голова, у глупой птицы,—какъ дѣтей учить!“—наставляетъ большакъ семьи молодожена сына (либо—внука). „И птица за собой выводокъ водить!“—приговариваетъ оя несмышлѣной молодухѣ-снохѣ, оставляющей безъ призора свою дѣтвору да все про дѣвичьи хоровады вспоминающей. „Красна птица перьемъ“,—повторяетъ простодушная народная мудрость,—„а человекъ—ученьемъ!“ Нелюбо широкой русской душѣ видѣть о-бокъ съ собою не въ мѣру кичащихся своимъ случайнымъ положениемъ, слишкомъ высоко задирающихъ носъ выскочекъ, „Не велика птица!“—роняетъ она въ ихъ сторону мѣткое слово. „И на вольную птицу есть укорота—силки да тенета!“, „Залетѣла птица выше своего полета!“, „Высоко летишь, гдѣ-то сядешь!“—слово за-словомъ оговариваютъ въ народѣ такихъ людей. „По пташкѣ и клѣтка!“—осаживаетъ посѣдѣлая старина-старинушка безпрестанно жалующихся на свою судьбу птицъ не высокаго полета, не заслуживающихъ лучшей участи, чѣмъ та, которая выпала на ихъ долю. „Все есть, только птичьяго молока нѣтъ!“—ведетъ народная Русь свою рѣчь о чьемъ-либо несмѣтномъ богатствѣ, но тутъ-же сама себя оговариваетъ: „Птичьяго молока—хоть въ сказкѣ найдешь, а другого отца-мать и въ сказкѣ не сыскать!“ О ротозѣяхъ-простецахъ сложился прибаутокъ: „Поймалъ птицу-юстрицу, пошелъ по рынку, просилъ полтинку; подали пятакъ,—отдалъ и такъ!..“

Жизненный опытъ цѣлыми вѣками подсказывалъ русскому народу тѣ примѣты, передъ которыми съ нѣкоторою долей изумленія останавливаются даже и умудренные наукой

люди, не знающіе: чѣмъ и какъ объяснить ихъ происхожденіе. Не все примѣты оправдываются на дѣлѣ, но твердо вѣрять въ ихъ непреложность простая душа суевѣрнаго пахаря. Такъ, напримѣръ, опытные охотники, звѣрующіе изъ поколѣнія въ поколѣніе, говорятъ, что не къ добру оставлять убитаго звѣря въ полѣ. Появится много звѣрья въ сосѣднихъ съ селами лѣсахъ—къ голодному году. Бѣжить звѣрье изъ лѣсу невѣдомо куда—къ лѣсному пожару (а по словамъ другихъ—къ засухѣ). О птицахъ—свои примѣты, на особый ладъ сложившіяся. Увидитъ зоркій глазъ мужика-погодовѣда, что купаются въ пыли подорожной мелкія птахи-щелбетуны, дождя начнетъ ждать. Если сидитъ-ощипывается домашняя птица—къ ненастью, „вольная“—къ ведру. Летятъ стаями пташки на конопляники—къ завидному урожаю конопли. Но, какъ объ отдѣльныхъ породахъ звѣриныхъ, такъ и о птичьихъ семьяхъ, существуютъ примѣты—о каждой наособицу.

Изощряясь въ словесномъ единоборствѣ, деревенскіе красноречивы всегда не прочь загнать захожему челоуѣку и загадку. Подчасъ такую загадаютъ, что въ тупикъ встанетъ не набившій разума на догадливости, не наварившій въ житейской кузницѣ языка новичокъ. „Звѣрокъ—съ вершокъ, а хвостъ—семь верстъ!“ (игла съ ниткой), „Деревянная птица, крылья перяныя, хвостъ желѣзный!“ (стрѣла), „Одна птица кричитъ: мнѣ зимой тяжело; другая кричитъ: мнѣ лѣтомъ тяжело; третья кричитъ: мнѣ всегда тяжело!“ (сани, телѣга и лошадь). „Махнула птица крыломъ, покрыла весь свѣтъ однимъ перомъ!“ (ночь), „Летѣла птица черезъ Божью свѣтлицу: тутъ мое дѣло на огнѣ сторѣло!“ (пчела и церковь), „Дважды родился, ни однова не крестился, одинъ разъ умираетъ!“ (птица),—сыплеть загадками наша деревня.

Русскій народъ, величающій „Индрика-звѣря“ всемъ звѣрямъ матерью, признаетъ, однако, за царя царства звѣринаго и могучаго льва. Но гордый властитель пустынь и степей мало знакомъ нашему пахарю-сказателю, знающему о немъ больше по наслышкѣ да по лубочнымъ картинкамъ. Потому и обмолвилась о немъ русская крылатая молвь словно мимоходомъ. „Левъ мышей не давить!“—гласитъ она въ укоръ сильнымъ людямъ, притѣсняющимъ слабыхъ. По старинному, и теперь еще не отжившему времени—вѣка, повѣрью—левъ строго блюдетъ свою царскую власть: „спать-спитъ, а однимъ глазомъ видитъ“. Про тигра, кровожаднаго сосѣда царь-звѣря, только и знаетъ народная Русь, что онъ—„лютый“. Но зато изъ этой могучей породы облюбовала она

въ своемъ живучемъ словѣ дальнюю родню льва могучаго да тигра лютаго—нашу красавицу домашнюю кошку, перенявшую отъ обоихъ понемногу свой нравъ-обычай. Дикой кошки совсѣмъ не знаетъ народное слово, а о своемъ домашнемъ „тигро-львѣ“ насказало и ни вѣсть сколько поговорокъ всякихъ. „Кто кошекъ любить—будетъ жену любить!“, „Безъ кошки не изба (безъ собаки не дворъ)!“, „Знаетъ кошурка свою печурку!“, „На мышку и кошка звѣрь!“, „Кошки дерутся—мышкамъ приволье!“, „Напала на кошку спѣсь, не хочетъ и съ печки слѣзть!“, „Любитъ кошка молоко, да рыльце коротко!“, „Лакома кошка до рыбки, да въ воду лѣзть не хочется!“—говоритъ-приговариваетъ нашъ краснословъ-народъ, примѣняя связанныя съ видомъ-нравомъ кошки поговорки ко всевозможнымъ явленіямъ человѣческой жизни. „Поклонись и кошкѣ въ ножки!“—говорится гордецу, которому—на-роду написано переломить свою спѣсь-гордость. „У нихъ лады—что у кошки съ собакой!“—киваютъ головой на сварливую супружескую чету. „Захотѣлъ отъ кошки лепешки!“—машутъ рукою при разсказѣ о чьей-либо сомнительной щедрости. По простонародной примѣтѣ: кошка свертывается клубкомъ къ морозу, крѣпко спитъ брюхомъ кверху—къ теплу, скребетъ лапами стѣну—къ вѣтру непогожему, полъ—къ замети-вьюгѣ, умывается—къ вѣдру (и къ приходу гостей), лижетъ хвостъ—къ дождю, на человѣка тянется—обновку (корысть) сулитъ. Существуетъ старинное повѣрье, что кошка такъ живуча, что только девятая смерть и можетъ ее „уморить до-смерти“. Загадки загадываетъ посельщина-деревенщина про этого живучаго звѣря такія, какъ напримѣръ: „Двѣ ковырки, двѣ подковырки, одинъ вертунъ, два войка, третья маковка!“, или: „Выходитъ турица изъ-подъ каменной горицы, спрашиваетъ курицу турица:—курица, курица! Гдѣ ваша косарица?—Наша косарица лежитъ на пещерскихъ горахъ, хочеть вашихъ дѣтей ловить.—Ахъ, горе горевать: куда намъ дѣтей дѣвать?“ (крыса, кошка, мыши и печь), или: „Идетъ Мырь-царь, навстрѣчу Мырь-царю Гласимъ-царь:—Гдѣ видѣлъ Смотрякъ-царя?—Смотрякъ-царь подымается на звеновскія горы; со звеновскихъ горъ—на пещерскія горы, со пещерскихъ горъ въ Стратилатово царство!“ (мышь, пѣтухъ и котъ). Въ цѣломъ рядѣ другихъ, подобныхъ этимъ, загадокъ загадываетъ народная молвь про кошку и обреченную ей добычу. Мышь зовутъ „сивой буренкою“, приговаривая, что ее „и дома не любятъ, и на торгу не купятъ.“ „Подъ поломъ-полѣмъ ходитъ барыня съ коломъ!“—гласить о ней старая загадка. „Мала-мала, а никому не мила!“—подговаривается другая. А и

какъ тутъ любить этого маленькаго сѣренькаго звѣрька русскому пахарю, когда объ иную пору мышинный народъ у него чуть не весь хлѣбъ на гумнахъ да по амбарамъ поѣдаетъ! Недаромъ заводитъ русскій мужикъ кошекъ для борьбы съ этимъ страшнымъ для него звѣремъ и даже особыми заговорами, изъ устъ вѣдуновъ-знахарей, заговариваетъ свои скудные запасы—„отъ мышееди“)

Кошка у древнихъ египтянъ считалась священнымъ животнымъ. У всѣхъ народовъ она была спутницею колдуновъ. Народное суевѣріе приписываетъ ей видящимъ въ темнотѣ глазамъ необычайную силу, почерпнутую изъ міра таинственнаго. Трехшерстная кошка, по мнѣнію нашихъ пахарей, приноситъ счастье тому дому, гдѣ живетъ; семишерстный котъ является еще болѣе вѣрнымъ залогомъ семейнаго благополучія. По словамъ русскихъ сказокъ, кошка—чуть-ли не самоемышленное животное. Она сама „сказываетъ сказки“ и не хуже дотошнаго знахаря умѣетъ „отводить глаза“. „Коть-баюнъ“ былъ надѣленъ голосомъ, слышнымъ за семь верстъ, и видѣлъ за семь верстъ; какъ замурлыкаетъ, бывало, такъ напустить, на кого захочетъ, заколдованный сонъ, котораго и не отличишь, не знаячи, отъ смерти. Черная кошка является, по народному слову, олицетвореніемъ нежданнаго раздора: „Имъ черная кошка дорогу перебѣжала!“ — говорятъ о врагахъ, недавно еще бывшихъ чуть не закадычными друзьями. Въ стародавніе годы знающіе всю подноготную люди говаривали, что на черную кошку можно вымѣнять у нечистой силы шапку-невидимку и неразмѣнный червонецъ. Нужна-де ей, окаянной, черная кошка, чтобы прятаться въ нее на святъ-Ильинъ день, когда грозный для всякой нежити-нечисти пророкъ сыплетъ съ небесъ своими огненными стрѣлами. Еще и въ наши дни говорятъ на Руси, что кто убьетъ чьего-нибудь любимаго кота,—тому семь лѣтъ ни въ чемъ удачи не будетъ. Кто любитъ-бережетъ кошекъ,—того этотъ хитрый звѣрь охраняетъ отъ всякой „напрасной бѣды“.) Много и другихъ повѣрій связано съ нимъ въ богатомъ суевѣрной памятью русскомъ народѣ.

Собирающій дани-выходы съ пчелиныхъ бортей и пасѣкъ—лѣсной воевода медвѣдь, изстари вѣковъ живущій по сосѣдству съ краснословомъ-пахаремъ, далъ обильную пищу его красному слову-преданію. Запечатлѣлся онъ своимъ неуклюжимъ обликомъ во многомъ-множествѣ пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ и загадокъ, каждая изъ которыхъ росла-повыросла на утучненной вѣками почвѣ народной жизни—вѣками богатырскаго труда, подвижническаго терпѣнія и простодушной.

мудрости. Окрестилъ русскій народъ медвѣдя Мишкой, Михайлой Иванычемъ величаетъ, Топтыгинимъ прозываютъ. Распознали-развѣдали двуногіе сосѣди обитателя лѣсныхъ берлогъ весь норовъ его,—знають, что незлобивъ и даже добѣръ по своему—по медвѣжьему—онъ, если его не трогать; но что охотникамъ, выходящимъ на него съ топоромъ да съ рогатиной, совсѣмъ напрасно полагаться на его доброту: умѣеть онъ быть грознѣе грознаго воеводы,—того-и-гляди изъ „косолапаго Мишки“ превратится въ свирѣпое лѣсное чудовище. „Отпѣтыми“ зовутъ завзятыхъ медвѣжатниковъ, при каждомъ выходѣ на охоту провожая ихъ — какъ на смерть. „Всѣмъ пригнетышъ!“ — прозвали медвѣдя даже и по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ еще на нашей памяти водили ихъ на цѣпи съ кольцомъ въ губѣ вожакъ, заставлявшіе лѣсныхъ воеводъ давать и сѣрому люду деревенскому, и господамъ-барамъ цѣлыя представленія: показывать, какъ ребята горохъ воровали, какъ пьяные мужики по канавамъ валяются, какъ старыя старухи, какъ молодыя молодухи ходятъ, и всякія иныя премудрости. Плясалъ медвѣдь на цѣпи, угощался медкомъ да винцомъ, потѣшалъ честной людъ православный, а самъ—только-бы сорваться съ цѣпи!—все въ лѣсъ норовиль убѣжать на свободное житѣе привольное. Оттого-то, вѣроятно, и сложилась старая пословица лѣнливыхъ работниковъ, любящихъ откладывать со-дня-на-день свою, даже и урочную, работу: „Дѣло не медвѣдь—въ лѣсъ не убѣжить!“ Увалень-медвѣдь: идетъ-нейдетъ, сопить, съ боку на бокъ переваливается, а ломить навѣрняка: гдѣ прошелъ, тамъ — и чуть не просѣка въ лѣсу. Присмотрѣлся къ его „вожеватости“ деревенскій примѣтливый людъ: „Экій медвѣдь!“ — говоритъ онъ о неповоротливыхъ мужикахъ: — „Такъ и претъ, не разбирая!“; „У него всѣ ухватки медвѣжьѣ: какъ увидить, обломъ, такъ и облапить норовить!“ — оговариваютъ привередливыя красныя дѣвушки неуча-парня. „Корова комола (безрога), лобъ широкъ, глаза узеньки; въ стадѣ не пасется и въ роги не дается!“ — обрисовываетъ самарская загадка пасущагося весной-лѣтомъ въ лѣсныхъ труппахъ, а на-зиму заваливающагося въ теплую берлогу да цѣлую зиму сосущаго свою жирную лапу—медвѣдя. „Медвѣдь—лѣшему родной братъ, не дай Богъ съ ними встрѣнуться!“ говорятъ симбирскіе подлѣсные жители, а сами (кто—посмѣшливѣе!) приговариваютъ, прибаутки ладятъ: „Ванька малый, гдѣ былъ?—У Тули!—Чего ѣлъ?—Дули!—Кого видѣлъ?—Воеводу!—Въ чемъ онъ?—Въ черной шубѣ и кольцо у губи!“ Отъ псковичей пошла гулять по свѣтлорусскому простору такая загадка въ лицахъ: „По-

шелъ я по тухтухту (на охоту), взялъ съ собою тавтаву) собаку), нашелъ я на храпъ-тахту (медвѣдя); кабы не тавтава, — съѣла-бы меня храпъ-тахта!“ (1) томъ, какъ собираетъ медвѣдь дань съ народа пчелинаго, существуетъ не мало всякихъ розказней. По медвѣжьему хотѣнью и зима студеная длится: какъ повернется онъ въ своей берлогѣ на другой бокъ такъ и зимъ ровно половина пути до весны осталась.

Волкъ, лиса и заяцъ стоятъ слѣдомъ за медвѣдемъ, лѣснымъ воеводою, въ словесномъ воспроизведеніи народной Руси, — причемъ каждый изъ этихъ трехъ представителей дикаго звѣринаго царства вносить въ общую картину послѣдняго свои, только ему одному присущія, черты. Первый является яркимъ воплощеніемъ злобнаго хищничества; вторая — сама хитрость, умѣющая заметать хвостомъ слѣды своей вороватости; третій — воплощенная трусость и незлобивость. Самыми выразительными для нихъ можно назвать присловья: „Изъ-подъ кустика хвѣтышь!“ (волкъ), „Въ чистомъ полѣ увертышь!“ (лиса) и „Черезъ путь предышь!“ (заяцъ). Едва-ли возможно точнѣе опредѣлить въ немногихъ словахъ весь ихъ нравъ-обычай.

Еще лучше медвѣжьей знакома волчья повадка русскому пахарю, — то-и-дѣло приходится ему сталкиваться лицомъ къ лицу съ этимъ хищникомъ: то зарѣжетъ онъ корову, забредшую изъ стада въ лѣсъ, то дерзко ворвется въ самую средину стада и выхватитъ овцу-другую, а то даже заберется темной ночью на дворъ, — если голоденъ очень. „Волка ноги кормятъ!“ — говоритъ народная Русь, а сама приговариваетъ: „Не за то волка бьютъ, что съръ, а за то, что овцу съѣлъ!“ Но тутъ-же и примѣняетъ она волчьи качества къ своему брату-человѣку, не отдавая предпочтенія послѣднему: „Двуногій волкъ опаснѣе четвероногаго!“ „Сытый волкъ смирише ненасытнаго человѣка!“ Сплошь-да-рядомъ можно услышать такія пословицы-поговорки, какъ: „Стань ты овцой, а волки готовы!“ „Выть тебѣ волкомъ (съ голоду) за твою овечью простоту!“ „Пастухи воруютъ, а на волка поклепъ!“ „Видѣть волка и въ овечьей шкурѣ!“ „Пустили волка въ хлѣвъ!“ „Сказалъ-бы словечко, да волкъ недалечко!“ Видитъ краснословъ-народъ около себя всякихъ хищниковъ, но — и видя — не сидитъ изъ предосторожности у себя по-запечью: „Волковъ бояться — въ лѣсъ не ходить!“ — говоритъ онъ, выходя прямо къ нимъ навстрѣчу. Слышитъ мужикъ-простота, что о-бокъ съ нимъ возводятъ на кого-нибудь злую напраслину, — невольное вырывается у него поговорка: „И то бываетъ, что овца волка съѣдаетъ!“ Приглядѣлся онъ къ хищному люду: „Не кла-

ди волку пальца въ ротъ, — откусить!“ — гласить о послѣднемъ крылатая молвь. „Дай денегъ въ долъ, а порукой будетъ волкъ!“ — обмолвилась народная Русь о любителей занимать безъ отдачи; „Какъ волка ни корми, все въ лѣсъ глдитъ!“ — о людяхъ, которыхъ не приручить; „Отольются волку овечьи слезы!“ — о томъ, что не избѣжать и злему человѣку заслуженнаго волчимъ нравомъ возмездія; „Обманеть — въ лѣсъ, какъ волкъ, уйдетъ!“ — о ненадежномъ товарищѣ-сотрудникѣ; „И волки сыты, и овцы цѣлы!“ — о такихъ случаяхъ, когда концы недобраго дѣла спрятаны въ воду, а тѣ, надъ кѣмъ это дѣло сдѣлано — еще не совсѣмъ обобраны. Приходится кому-нибудь случайно покривить душой, не подъ силу противъ всѣхъ прямой дорогою идти, когда всѣ колесятъ вокругъ да около; и вотъ — въ оправданіе готова у него подсказанная горькимъ опытомъ поговорка: „Съ волками жить по волчьи выть!“ Простонародныя примѣты гласятъ, что, если перебѣжить путнику дорогу волкъ, это — къ счастью; покажется много волковъ въ какую зиму подъ деревней, — къ голоду. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ называютъ волка „страхомъ“: „Страхъ (волкъ) тепло (овцу) волочетъ!“ — говорятъ рязанцы, любители загадокъ; „Страхъ тепло тащить, а тепло — карауль кричить!“ — вторятъ имъ симбирскіе краснословы. По всему свѣтлорусскому простору ходитъ такая загадка о волкахъ: „За лѣсомъ за лѣсомъ жеребята ржутъ, а домой нейдутъ!“ По стародавнему повѣрью, отъ нападенія волковъ можно зачураться путнику именемъ св. Георгія-Побѣдоносца: но это только въ такомъ случаѣ, когда тотъ, на кого нападаютъ волки, не обреченъ имъ на растерзаніе за грѣхи. Бѣлый волкъ — царь-волкъ; если встрѣтится съ нимъ человѣкъ, — не быть ему живому, даже если въ рукахъ ружье.

Волкъ, по народнымъ сказаніямъ, является олицетвореніемъ темной тучи, заслоняющей солнце, и вообще темноты. „Пришелъ волкъ (темная ночь) — весь народъ умолкъ; взлетѣлъ яснѣн-соколъ (солнце) — весь народъ пошелъ!“ — загадывается старинная загадка. „Облакигонештеи отъ селянъ влѣкодлаци нарицаются; егдау бо погыбнетъ лоуна или слѣнце — глаголють: влѣкодлаци лоуну извѣдоша или слѣнце; си же вся басни и лѣжа суть!“ — говорится въ Кормчей Книгѣ. Волкомъ иногда оборачивался, по слову языческой старины, даже самъ Перунъ, появляясь на землѣ; колдуны и вѣдьмы старались подражать богу боговъ славянскихъ. Въ одномъ изъ наиболѣе древнихъ заговоровъ причитается о томъ, что на сказочномъ островѣ Буянѣ „на полой полянѣ свѣтитъ мѣсяць на ослиновъ пенъ — въ зеленой лѣсъ, въ широкой долъ. Око-

до пни ходить волкъ мохнатый, на зубахъ у него весь скоть рогатый...“ Повторяющіяся не только на Руси, но и у всѣхъ славянскихъ и сосѣднихъ съ ними народовъ, сказки объ Иванъ-царевичѣ и сѣромъ волкѣ надѣляютъ этого звѣря-хищника даже крыльями. Летаетъ онъ быстрѣе вѣтра, переноситъ — сѣрый — на своей спинѣ царевича изъ одной стороны свѣта бѣлаго въ другую, помогаетъ ему добыть чудесную жаръ-птицу, золотогриваго коня и всѣмъ красавицамъ красавицу — Царь-Дѣвицу. Говоритъ этотъ сказочный волкъ голосомъ человѣчьимъ и одаренъ необычайной мудростью. Старинное малорусское повѣрье подаетъ пахарю-скотоводу совѣтъ класть въ печку кусокъ желѣза — въ случаѣ, если отобьется отъ стада, забредетъ въ лѣсъ животина, — низачто не тронетъ тогда ея лютый звѣрь-волкъ. Съ зимняго Никола, — говоритъ народъ, — начинаютъ волки рыскать стадами по лѣсамъ, полямъ и лугамъ, осмѣливаясь нападать даже на цѣлые обозы. Съ этого дня вплоть до Крещенья — волчьи праздники. Только послѣ крещенскаго водосвятія и пропадаетъ ихъ смѣлость. По разсказамъ ямщиковъ, волки боятся колокольнаго звона и огня. Поддужный колокольчикъ отгоняетъ ихъ отъ проѣзжаго: „Чуетъ нечистая сила, что крещонные ѣдутъ!“ — говоритъ бывалый, состарившійся за ямской гоньбою людъ. Во всей новгородской округѣ, для предохраненія скота отъ волковъ, въ зимнее время подбирающихся по ночамъ къ задворкамъ, еще недавно было въ обычаѣ обѣгать села-деревни съ колокольчикомъ въ рукахъ, причитая подъ звонъ: „Около двора желѣзный тынъ; чтобы черезъ этотъ тынъ не попалъ ни лютый звѣрь, ни гадъ, ни злой человѣкъ!“ Вѣрящіе въ силу колдовства люди разсказываютъ, что — если навстрѣчу свадебному поѣзду бросить высушенное волчье сердце, то молодые будутъ жить несчастливо. Волчья шерсть считалась встарину одною изъ злыхъ силъ въ рукахъ чародѣевъ.

Собака — одной породы съ волкомъ, но съ давнихъ временъ стала его лютымъ врагомъ, защищая-оберегая хозяйское добро. Недаромъ сложилась неизмѣнно оправдывающаяся въ жизни поговорка: „Собака — человѣку вѣрный другъ!“ Заслышитъ волкъ собачій лай, — сторонкой норовитъ обойти, — знаетъ, сѣрый, что зубы-то у этихъ сторожей острые, а чутье — на-диво. О своемъ вѣрномъ другѣ-сторожѣ наставлялъ краснословъ-пахарь немало всякихъ крылатыхъ словецъ, и всѣ они въ одинъ голосъ говорятъ о собачьей привязанности о собачьемъ „нюхѣ“ (чутьѣ), о собачьей неприхотливости. По собачьему лаю узнаетъ сбившійся съ дороги путникъ, гдѣ поблизости жиле человеческое. По нему-же загадываютъ на

Святки и красныя дѣвушки: „Гавкни, гавкни, собаченька, гдѣ мой суженый!“ Многое-множество примѣтъ связано съ хорошо знакомымъ деревенскому человѣку собачьимъ нравомъ. Если собака, стоя на ногахъ, качается изъ стороны въ сторону, — къ дорогѣ хозяину; воетъ песь, опустивъ морду внизъ (или копаеть подъ окномъ яму), — быть въ домѣ покойнику; воетъ, поднявъ голову, — ждуть пожара; траву ѣстъ собака — къ дождю; жметъ къ хозяину, смотря ему въ глаза — къ близящемуся несчастью; мало ѣстъ, много спитъ — къ ненастной погодѣ; не ѣстъ ничего послѣ больного, — дни того сочтены на небесахъ.

„Не бывать волку лисой!“ — говоритъ старая пословица. И впрямь такъ: весь нравъ ея — на свою особую статью. Зоветь ее народъ „кумушкой“, „Патрикѣвною“ величаетъ. „Лисой пройди“, въ его устахъ, равносильно со словомъ схитрить („спроворить“); есть даже особое словцо — „лисить“. Лиса — слабосильнѣе волка непримѣръ, да, благодаря своей повадкѣ, куда сытѣе его живетъ. Она — „семерыхъ волковъ проведетъ“: какъ ни стереги собака отъ нея дворъ, а все курятинки добудетъ. „Лиса и во снѣ куръ у мужика въ хлѣбѣ считаетъ!“ „У лисы и во снѣ упки — на макушкѣ!“ „Гдѣ я лисой пройду, тамъ три года куры не несутся!“ „Кто попалъ въ чинъ лисой, будетъ въ чинъ — волкомъ!“ „Когда ищешь лису впереди, она — позади!“ „Лиса все хвостомъ покроетъ!“ — перебиваютъ одна другую старинныя пословицы-поговорки. „У него лисій хвостъ!“ — говорится о льстивыхъ хитрецахъ. Въ простонародныхъ сказкахъ лиса, обыкновенно, выводится о-бокъ съ зайцемъ, который представляется рядомъ со своей пушистою сосѣдкой еще трусливѣе и беззащитнѣе. „По лѣсу-лѣсу лисье жаркѣе въ шубейкѣ бѣжить!“ — загадываютъ про него на среднемъ Поволжѣ. „Трусливъ, какъ заяць!“ — говорятъ въ просторѣчьи о робкихъ не-въ-мѣру людяхъ. Зовутъ бѣлаго зимой, сѣраго по осени, рыжаго лѣтомъ трусишку-звѣрка — „косымъ“. Всѣ поговорки о немъ — охотничьи. „Дѣлу время — потѣхъ часъ!“ — говаривали съ давнихъ дней на Руси. И вотъ, любо охотнику цѣлыми часами гоняться за косымъ. „Коня положу, да зайку ухожу!“ „Не дорогъ конь — дорогъ заяць!“ „Покуда зайца догоняешь — съ пару зайдешься!“ „Рубль бѣжить — сто догоняешь!“ Перебѣжить косой заяць дорогу, — лучше вернуться домой, по охотничьей примѣтѣ, а то никакого толку не будетъ весь день. Трусоватъ заяць, а есть на свѣтѣ и другой звѣрь, что — по народному слову — и его боится: лягушка, прячущаяся въ своей болотинѣ при видѣ такого страшилища... Въ пѣсняхъ зайцу-трусу

посчастливилось,—не „косымъ“ зовутъ тамъ его, а „зайнкой“ величаютъ. Его именемъ прозываются въ сѣверной и средней полосѣ Россіи особыя игровыя-хороводныя пѣсни (въ Вологодской, Тверской, Псковской, Вятской, Тульской, Новгородской и Орловской губ.). „Зайнька, по сѣничкамъ гуляй-таки, гуляй; сѣренъкій, по новенькимъ разгуливай, гуляй!“—запѣвается одна изъ такихъ „зайнекъ-пѣсень“. — „Зайнька, и гдѣ былъ, побывалъ? Сѣренъкій, и гдѣ былъ, побывалъ?— Былъ, былъ, парень мой, былъ, былъ, сердце мой, я во лѣсѣ въ ельничкѣ, во зелѣномъ въ сѣничкѣ!“—вторитъ ей другая, въ иномъ мѣстѣ записанная.— „Что-жъ ты дѣлалъ, зайнька? Что-жъ ты дѣлалъ, бѣленькой?—Я капусту ломалъ, зеленую поглодалъ!“—заливается третья, переносящая зайньку изъ лѣсу въ огородъ. Каждая изъ этихъ пѣсень продолжается вопросами о томъ, что дѣлалъ зайнька, — котораго, кстати сказать, изображаетъ ходящій въ кругу хоровода,—и кончается припѣвомъ, въ-родѣ: „Зайнька, поклонись, сѣренъкой, поклонись! Зайнька, кого любишь, сѣренъкой, кого любишь, зайнька, поцѣлуешь, сѣренъкой, поцѣлуешь“... Зайнька-парень цѣлуетъ которую-нибудь изъ дѣвушекъ подъ припѣвъ хоровода: „Вотъ какъ, вотъ такъ, поцѣлуешь!“... Послѣ этого его замѣняетъ поцѣлованная, а онъ присоединяется къ поющимъ, которые заводятъ новую пѣсню—„зайньку“. Чаще всего,—если въ кругу стоитъ-ходить дѣвушка,—поется: „Стелю, стелю постелюшку, стелю пуховую!“ кончающаяся словами:— „Кого люблю, кого люблю—того поцѣлую!“... Заяцъ не только воплощеніе трусости, но и олицетвореніе быстроты. Потому-то быстрое, едва уловимое мельканіе отблеска солнечныхъ лучей на стѣнахъ, потолкѣ и полу называется „зайчикомъ“. Это названіе относится въ народѣ и къ синимъ огонькамъ, перебѣгающимъ по горящимъ угольямъ. Встарину повсемѣстно на Руси зайчатина считались поганой пищею; еще и до сихъ поръ не вездѣ станутъ у насъ ѣсть зайца,—не говоря уже о старовѣрахъ-раскольникахъ, у которыхъ это прямо-таки воспрещается. Простонародное суевѣріе не совѣтуетъ вспоминать о зайцѣ, плавая во время купанья: Водяной утопитъ за это можетъ.

Бѣлка, красивый пушистый звѣрекъ, столь оживляющій своимъ непосѣдливимъ бойкимъ нравомъ пустынное безмолвіе сѣверныхъ угрюмыхъ лѣсовъ, то-и-дѣло упоминается въ старинныхъ русскихъ сказкахъ. Перепрыгиваетъ она съ вѣтки на вѣтку, поетъ-распѣваетъ, по словамъ сказочниковъ, веселыя бѣличьи пѣсенки, а сама—знай грызетъ орѣхи: не простые орѣхи, скорлупа у нихъ изъ чистаго золота, а зер-

на-ядрышки—жемчужныя. Если случайно забѣжитъ въ деревню изъ лѣсу бѣлка, быть для всей деревни худу,—гласить сѣдое народное слово. Оно-же, это умудренное многовѣковымъ опытомъ слово, сохранило до нашихъ дней повѣрье о томъ, что, если волки воютъ по залѣсью да бѣлки скачутъ по опушкамъ—надо ждать либо морового повѣтрія, либо войны. „Вертява, а не бѣсь!“—загадывается про бѣлку.

Изъ другихъ преставителей звѣринаго царства упоминается въ сказаніяхъ русскаго народа объ оленѣ. Воображенію славянина-сѣверянина, жившаго ѓ-богъ съ нѣрусью-оленеводами, каждое грозное облако представлялось оленемъ, везущимъ по небесному морю-океану колесницу Перуна-громовника. Съ Ильина дня, по наблюденіямъ деревенскихъ погодовѣдовъ, холодѣетъ въ рѣкахъ и озерахъ вода. Народъ перестаетъ съ этой поры купаться, говоря, что грѣхъ и ни къ чему доброму не поведетъ купанье послѣ того, какъ „олень омочитъ свой хвостъ“. Съ этимъ повѣрьемъ имѣютъ не мало общаго германскія преданія о „солнечныхъ оленяхъ“. Среди русскихъ свадебныхъ пѣсень попадаются и такія, въ которыхъ идетъ рѣчь объ оленѣ съ золотыми рогами. „Не разливайся, мой тихій Дунай!“—поется въ одной изъ нихъ, записанной въ Московской губерніи: „Не заливай зеленые луга; въ тѣхъ-ли лугахъ ходитъ оленюшка, ходитъ олень—золотые рога. Мимо ѣхаль свѣтъ Иванъ-господинокъ:—я тебя, оленюшка, застрѣлю, золотые роженьки изломлю!—Не убивай меня, свѣтъ-Иванъ-господинокъ! Въ нѣкое время я тебѣ пригожусь: будешь жениться—на свадьбу приду, золотымъ рогомъ весь дворъ освѣщу!“ („... въ теремъ взойду, всѣхъ гостей взвеселю!“—добавляется къ этому въ тождественномъ во всемъ остальномъ саратовскомъ разнопѣвѣ).

Старинныя сказки, родственныя по содержанію у всѣхъ народовъ, ведутъ, между прочимъ, рѣчь и про баснословную „птицу-льва“ („грифъ-птица“), представляющуюся воображенію сказочниковъ на-половину птицей (голова и крылья орлиныя), на-половину звѣремъ (туловище и ноги льва). Перья у этого птице-звѣря заострены, какъ стрѣлы; когти и клювъ у него—желѣзные. Великоною онъ—съ гору. Сказочные добры-мѣлодцы, отправляясь въ тридесятое царство, въ тридесятое государство за невѣстами, подходятъ къ синему морю,—нѣтъ переправы черезъ необозримую водную пустыню... Велятъ они рыбакамъ зашить себя въ лошадиную шкуру и положить на берегу. Прилетаетъ ночью грифъ, — схватываетъ шкуру и переноситъ въ ней добра-молодца за море. Разрѣзываетъ тогда онъ булатнымъ мечомъ свою оболоч-

ку и выходить на бѣлый свѣтъ, пугая неожиданностью чудовищнаго перевозчика, только-что собиравшагося-было позавтракать принесенной добычею. Птицы летаютъ такъ быстро, какъ вѣтеръ, — а есть и быстрее его, — говоритъ народъ. Болѣсти лихія-повальныя напускаются по-вѣтру, оттого и слывутъ „повѣтріями“. И самая смерть представлялась иногда суевѣрному воображенію — имѣющею птичій обликъ. Чумѣ придалъ народъ видъ утки со змѣиными головою и хвостомъ; холера въ нѣкоторыхъ захолустныхъ уголкахъ олицетворяется огромною черной птицею, пролетающею надъ деревьями-селами по ночамъ и задѣвающею желѣзными крыльями воду. „Птицей-Юстрицею“ величаютъ смерть старинная загадка о ней.

„На морѣ на окіянь,
На островѣ на Буянѣ
Сидитъ птица-Юстрица.
Она хвалится-выхваляется,
Что все видала,
Всего много ѣдала:
И царя въ Москвѣ,
Короля въ Литвѣ,
Старца въ кельѣ,
Дитя въ колыбели...“

„Жарь-птица“ русскихъ сказокъ, по объясненію А. Н. Аванасьева, является однимъ изъ воплощеній бога-солнца и въ то-же самое время — бога-грозы. Во всякомъ случаѣ, она создана народнымъ воображеніемъ изъ представлений о небесномъ огнѣ-пламени. За этою птицей, приносящею тому, кто овладѣетъ хоть однимъ ея перомъ, всякое счастье, отправляются одинъ за другимъ въ неизвѣданный путь сказочные добрыя молодцы. Живетъ она въ тридцатомъ царствѣ Кощея Безсмертнаго, въ окружающемъ теремъ Царь-Дѣвицы райскомъ саду съ золотыми яблоками, возвращающими молодость старцамъ. Днемъ сидитъ жарь-птица въ золотой клѣткѣ, напѣваетъ Царь-Дѣвицѣ райскія пѣсни; поетъ она, — изъ клюва скатный жемчугъ сыплется. Ночью вылетаетъ она въ садъ, перья у ней отливаютъ златомъ-серебромъ, вся она — какъ жаръ горитъ; какъ полетитъ по саду, весь онъ освѣтится разомъ. Одному перу ея, по словамъ сказокъ, „цѣна ни мало, ни много — побольше цѣлаго царства“, а самой жарь-птицѣ — и цѣны нѣтъ. Древнегреческое преданіе о Фениксъ-птицѣ, возрождавшейся изъ собственнаго пепла, имѣетъ нѣчто родственное съ нашимъ — о жарь-птицѣ. „Та (Фениксъ) убо

птица одиногнѣздица есть“, — повѣствуется въ старинномъ памятникѣ русской отреченной письменности: „не имѣеть ни подружія своего, ни чадъ, но сама токмо въ своемъ гнѣздѣ пребываетъ... Но егда состарѣется, взлетитъ на высоту и възнимаетъ огня небеснаго, и тако сходящи зажигаетъ гнѣздо свое, и тутъ сама съгораетъ, но и паки въ пепелѣ гнѣзда своего опять наряжается...“ Однимъ изъ воплощеній духа огня на землѣ считался въ древнія времена пѣтухъ, этотъ — по словамъ загадки — „Гласимъ-царь“, „Будимирь-царь“, представляющей неизмѣнно-вѣрные часы народной Руси, узнающей по пѣтушинуму пѣнію время ночи. Встарину онъ былъ посвященъ богу Свѣтовиту (Святовиду) и признавался за лучшую умилостивительную жертву богу огня—Сварожичу. „Пѣтухъ поетъ—значитъ, нечистой силѣ темной время прошло!“—говорятъ въ народѣ, твердо вѣрящемъ въ то, что съ вечера, до „первыхъ пѣтуховъ“ положено бродить по землѣ всякому порожденію діавола. „Пѣтухъ поетъ,—на небѣ къ заутренѣ звонять!“—приговариваетъ благочестиво-суевѣрная старина, завѣщавшая въ наслѣдіе своимъ правнукамъ преданіе о томъ, что, какъ перестануть пѣть пѣтухи—такъ и всему міру конецъ... „Бываетъ, что и курица пѣтухомъ поетъ!“—говоритъ пословица, примѣняемая къ людямъ, берущимся за непосильное дѣло и заранѣе похваляющимся сомнительнымъ успѣхомъ. Курокликъ (пѣние куръ), однако, считается самымъ недобрымъ предзнаменованіемъ. Въ памятникѣхъ отреченной русской письменности есть сказаніе о томъ, что существуетъ на свѣтѣ совсѣмъ особенный пѣтухъ. „Солнце течетъ на воздухъ въ день, а въ нощи по окіану ниско летитъ, не омочась, но токмо трижды омывается въ окіанѣ“, — гласитъ сказаніе, продолжая: „есть куръ, ему же глава до небеси, а море до колѣна; еда же солнце омывается въ окіанѣ тогда же окіанѣ въсколебается и начнутъ волны кура бити по перью; онъ же очутивъ волны и речеть: кокореку! протолкуется: свѣтодавче Господи! дай же свѣтъ мірови! Еда же то въспоетъ, и тогда вси кури воспоютъ въ единъ часъ по всей вселеннѣй...“ Другой пѣтухъ, „пѣтушокъ—золотой гребешокъ“ русскихъ сказокъ, представляется народному воображенію сидящимъ на сводѣ небесномъ и не страшнымъ ни воды, ни огня. Если кинуть его въ колодезь,—всю воду разомъ выпьетъ; въ огонь попадетъ,—зальетъ все пламя. Въ современномъ крестьянскомъ быту пѣтухъ считается существомъ, отгоняющимъ нечистую силу и охраняющимъ отъ пожаровъ. Потому-то и ставятъ деревяннаго, или желѣзнаго, пѣтуха на конькѣ крышъ. „Краснаго

пѣтуха пустить“—значить поджечь что-нибудь. Старые люди увѣряютъ, что, когда пожаръ начинается отъ молніи,—съ неба спускается пламенный пѣтухъ прямо на крышу. Бабы-лѣчейки, дающія вѣру всякому нашептыванью, носятъ больныхъ ребятъ подъ куриный настьсть (отъ лихорадки, желтухи и бессонницы), гдѣ и обливаютъ водою, приговаривая: „Зоря-зоряница, красная дѣвица! Возьми лихую болѣсть!“ Встарину рассказывали, что нельзя держать пѣтуха во дворѣ дольше семи лѣтъ, семигодовалый-де пѣтухъ яйцо снесетъ, а изъ этого яйца змѣй вылупится на пагубу люду православному. Это повѣрье еще въ давнія времена отошло въ область забытыхъ преданій прошлаго.

Царь-птица, орёлъ, является въ сказаніяхъ русскаго народа олицетвореніемъ гордаго могущества, до котораго—какъ до звѣзды небесной—высоко и далеко. Богъ-громовникъ чаще всего воплощался въ немъ. Простонародныя русскія сказанія приписываютъ орлу способность пожирать сразу по цѣлому быку и по три печи хлѣба, за единъ духъ выпивать по цѣлому ушату меда сыченаго-ставленаго. Но эти-же сказанія рисуютъ его богатырь-птицею, въ мелкія щепки разбивающею своей могучей грудью вѣковые дубы. Можетъ царь-птица, въ своемъ грозномъ гнѣвѣ, испускать изъ остраго клюва огонь, испепеляющій цѣлые города. Состарѣется орелъ,—слѣпнуть очи орлиныя. И вотъ—по словамъ сѣдой старины—„обрѣтъ же источникъ воды чистъ, взлетитъ выпрѣ на воздухъ солнечный и мракоту очію своею, и снидетъ же доловъ и погрузится въ ономъ источниці трикраты“. Появленіе парящаго орла надъ войскомъ служило предзнаменованіемъ побѣды и не у однихъ древнихъ славянъ. По старинному повѣрью, у каждаго орла въ гнѣздѣ спрятанъ камень оневикъ, предохраняющій ото всѣхъ болѣзней. Ястребъ—одной породы въ орломъ, да вороватъ не-въ-мѣру. Соколъ пользуется въ народной Руси несравненно большимъ почетомъ, какъ болѣе благородная по нраву птица. Пѣсня русская и не называетъ его иначе, какъ „младъ-ясѣнь соколъ“, величая этимъ-же именемъ и красавцевъ добрыхъ-молодцевъ. Соколиныя очи—зоркія очи. „Отъ соколинаго глаза никуда не укроешься!“—говоритъ краснословъ-народъ, знающій, по рассказамъ старыхъ памятливыхъ людей, что соколиная охота встарину была любимой потѣхою русскихъ царей и бояръ. Лебедь со своей бѣлою лебедушкой является въ глазахъ народа-сказателя-пѣснотворца воплощеніемъ красоты и дородства. „Лебеди на крыльяхъ за море снѣгъ понесли!“—говорится при первомъ снѣгѣ. Гусь—„вертогузъ“ и „сѣрая утица“

тоже знакомы крылатому народному слову. Долговязый журавль зовется на Руси болотнымъ воеводою; но,—гласить старинная пословица,—и „всякій куликъ въ своемъ болотѣ великъ!“

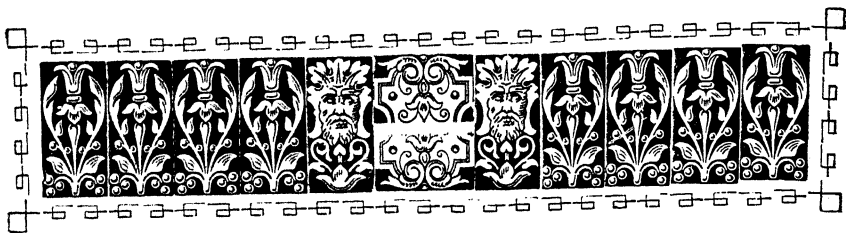
Воронъ—птица вѣщая—живеть, по преданію, до трехсотъ лѣтъ,—а все оттого, что питается одной мертвечиною. Онъ является прообразомъ вѣтра—Стрибожьего внука—и, по словамъ старинныхъ сказаній, не только „приносить бурю“ на своихъ черныхъ крылахъ, а и „воду живую и мертвую“. Есть у вороновъ свой царь-воронъ и сидитъ онъ,—говорять сказки,—въ гнѣздѣ, свитомъ на семи дубахъ. Про ворона, предвѣщающаго несчастье своимъ прилетомъ къ жилью, и про всю породу его—воронѣ крикливое да черногалочье—уже велась рѣчь въ одномъ изъ предыдущихъ очерковъ. Сорока, стрекотунья бѣлобокая, слываетъ за птицу-воровку да за „посвистуху, деревенскую бабу-лепетуху“, приносящую на хвостѣ всякія вѣсти. Кукушка-бездомница, кладущая яйца въ чужія гнѣзда, всегда считалась вѣщуньей: по ея отрывистому „ку-ку“ узнають красныя дѣвушки, сколько лѣтъ осталось имъ жить на свѣтѣ. Сова, ночная гуляка, величается въ простонародныхъ сказкахъ и притомъ въ сказкахъ „совушкой-вдовушкой, разумною головушкой, залѣсною барыней, Ульяной Степановной“. Всегда и вездѣ съ представленіемъ о ней соединялось понятіе о мудрости. Русское суевѣріе заставляетъ ее сторожить клады. Филинъ, „совкинъ деверь“—постоянный спутникъ Лѣшаго; сычи—гонцы послѣдняго. Аистъ—желанный гость южнорусскихъ деревень. Въ Малороссіи нарочно ставятъ на крышахъ шесты съ телѣжными колесами для аистовыхъ гнѣздъ. По старинному повѣрью, аисты охраняютъ хату отъ пожара: если и загорится,—такъ начнутъ носить въ клювахъ воду да заливать огонь. Обидѣтъ аиста, раззорить его гнѣздо—великую бѣду накликаютъ на свою голову!... Голубь—воплощеніе Духа Святаго, священная птица. За свой незлобивый нравъ прослыла она олицетвореніемъ кротости и доброты. „Къ недоброму человѣку и голубь не летитъ!“—говорять у насъ въ народѣ. „Они—какъ голубки воркуютъ!“—отзываются о чьемъ-либо завидномъ супружескомъ согласіи. „Голубка“, „голубушка“—ласкательныя слова. Неуклюжія обжоры—грачи со скворцами-говорунами да съ голосистыми пѣвцами полей—жаворонками приносятъ вѣсти о веснѣ. Ласточка, приводящая съ собою изъ-за моря и самую весну на свѣтлорусскій просторъ, представляется олицетвореніемъ домовитости. Если не вернется по веснѣ касатка на старое гнѣздо, это предвѣщаетъ пожаръ. Соловей, маленькая сѣренькая птичка, надѣленная отъ Бо-

га чуднымъ даромъ пѣнія на усладу всему чуткому къ голосамъ природы міру, пользуется особой любовью народной пѣсни, то-и-дѣло упоминающей имя этого пѣвца весны, особенно залюбившаго май-мѣсяць. Выданная на чужую сторону замужъ молодая молодушка съ соловьемъ въ лѣсу думу думаетъ: „Соловей ты, мой соловьюшко, соловей ты мой молоденькій! Пролети ты, мой соловьюшко, на мою родную сторонушку, къ моему-ли отцу-матери, поклонися ты родному батюшкѣ, что пониже того родимой матушкѣ, поклонися всему роду-племени!“ Встосковавшая по миломъ дружкѣ красная дѣвушка обращается къ соловью съ такой просьбою: „Соловейко малёнькій! Въ тебѣ голосъ тонёнькій; скажи—де мой милёнькій!“ Въ третьей пѣснѣ „жалобнехонько“ плачетъ, соловейкѣ наказываетъ дочь, отцомъ не любимая, за немилаго выданная,—чтобы снесъ соловей вѣсточку ея болѣзной матушкѣ: „Ты скажи, соловьюшко, чтобъ родимая не плакала, во чужомъ пиру сидючи, на чужихъ дѣтей гляючи, ко мнѣ горькой примѣняючи...“; общается прилетѣть она сама черезъ три года „вольной пташечкой“,—говоритъ, что сядетъ „у матушки въ зеленомъ ея садикѣ, на любимую яблоньку, на сахарную вѣточку“... Въ четвертой пѣснѣ—проситъ „сгоревавшая“ молодушка „у ласточки крылевъ, у соловушки голосочку, у кукушечки жалобочку“,—летитъ на родимую сторонку, садится на ворота; вышелъ старшій братъ—не узналъ сестры въ пташечкѣ, хочетъ застрѣлить, а младшій уже тугой лукъ натягиваетъ. Остановилъ обоихъ голосъ матери: „Стойте, дѣтки, не стрѣляйте! Не мое-ли милое дитятко плачетъ, не ваша-ли сестрица възрыдаетъ?“.. Воробей, никогда не расстающаяся съ пахаремъ птица, слыветъ воромъ,—все-то онъ норовитъ зернышко изъ-подъ самага носу утащить. Огородники не любятъ „вора-воробья“ больше всѣхъ,—ставятъ для его устрашенія всякія пугала по огородамъ, но сами-же говорятъ, что „старого воробья на мякинѣ не обманешь“. Въ дѣтскихъ пѣсенкахъ-прибауткахъ-побаскахъ воробью вмѣстѣ съ прочею мелкотой птичьяго царства—синичками, чечотками, щеглами, зябликами, снгириями—отведено не послѣднее мѣсто. Существуетъ цѣлый рядъ русскихъ пѣсенъ о птицахъ; въ этихъ пѣсняхъ воспѣвается то челобитье горегорькой кукушки сизому орлу „на богатую породу, на ворону“, то споръ птицъ, разрѣшаемый орломъ, то сватовство и свадьба совы, то—какъ „воробей пиво варилъ, всѣхъ гостей созывалъ, всѣхъ мелкихъ пташечекъ“. Есть и особая пѣсня—„Чины на мсрѣ разнымъ великимъ и малымъ птицамъ.“

Въ послѣдовательномъ-своеобразномъ порядкѣ чинопочита-
нiя проходятъ передъ слушателемъ этой старинной пѣсни
разноголосые и разноперые представители шумливаго птичь-
яго царства:

„Царь на морѣ—сизой орель,
Царица—бѣлая колпица,
Павлинь на морѣ воевода,
Малые павлинята—
То на морѣ воеводскiя дѣти.
Лунь на морѣ архимандритомъ,
Дьякъ на морѣ—попугай,
Кречеть на морѣ—подъячій,
Бѣлой колпикъ на морѣ—епископъ,
Черный воронъ на морѣ—игумень,
Грачи на морѣ—старцы,
Галочки на морѣ—черницы,
Ласточки на морѣ—молодицы,
Касаточки на морѣ—красныя дѣвицы...“

—ведеть свой перечень пѣсенный сказъ. И въ этой, какъ и
въ большинствѣ другихъ пѣсенъ, отражаются, словно въ зер-
калѣ, чуткая душа и зоркiй глазъ народа-пахаря, передъ ко-
торымъ всегда и вездѣ открыта—таинственная въ своей про-
стотѣ и простая при всей своей таинственности—необъятно-
великая книга природы.



LV.

Конь-пахарь.

Непосредственное участие коня въ земледѣльческомъ трудѣ народной Руси заставляетъ ее относиться съ особеннымъ вниманіемъ къ этому животному. Въ памятникахъ изустнаго простонароднаго творчества, дошедшихъ до нашихъ забывчивыхъ дней въ письменныхъ трудахъ пытливыхъ собирателей-народовѣдцовъ, а также разлетающихся и до сихъ поръ по свѣтлорусскому простору изъ устъ сказателей-краснослововъ, все еще не вымершихъ, несмотря на истребительную работу времени, то-и-дѣло ведется рѣчь о немъ. И былины, и пѣсни, и сказки, и пословицы, и загадки, и всякія поговорки-присловія, создававшіяся долгими вѣками простодушной мудрости, отводятъ въ своихъ рядахъ почетное мѣсто этому вѣковѣчному слугѣ народа-пахаря, составляющему первое его богатство послѣ земли-кормилицы. Гуляя по отведенному для него въ живой лѣтописи словесному полю, вы какъ-бы сопутствуете потомкамъ крестьянствовавшаго на Руси богатыря Микулы Селяниновича въ самобытномъ перерожденіи условій ихъ трудовой-подвижнической жизни на землѣ и „у земли“. вмѣстѣ съ постепеннымъ развитіемъ крестьянскаго быта подвергался видоизмѣненіямъ и взглядъ посельщины-деревенщины на коня. Въ древнѣйшія времена, застающія на Руси обожествленіе всей видимой природы, конь одинаково считался созданіемъ Бѣльбога (стихій свѣта) и Чернобога (стихій мрака), причемъ дѣтищемъ перваго являлся будучи бѣлой масти, а черной—порожденіемъ мрака. Сообразно съ этимъ и смѣна дня ночью представлялась суевѣрному воображенію языческой Руси—бѣгомъ-состязаніемъ двухъ коней. „Обго-

нить бѣлый конь—день на дворѣ, вороная лошадка обскачеть—ночь пришла!“—еще и теперь говорятъ въ народѣ. „Конь вороной („бурый жеребецъ“—по иному разносказу) черезъ прясла глядитъ!“ нерѣдко можно услышать передъ наступленіемъ ночи.

Исслѣдователь возрѣвнѣй славянъ на природу приводитъ любопытную старинную русскую сказку, прекрасно обрисовывающую это представленіе. Идетъ путемъ-дорогою дѣвица-красавица добывать огня отъ старой бабы-яги. Идетъ,—говоритъ сказка,—а сама дрожмя-дрожитъ. Вдругъ скачетъ мимо нея всадникъ: „самъ бѣлый, одѣтъ въ бѣломъ, конь подъ нимъ бѣлый и сбруя на конѣ бѣлая“... Слѣдомъ за нимъ—разсвѣтаетъ утро бѣлаго дня весенняго. Дальше идетъ дѣвица-красавица,—видитъ: скачетъ другой всадникъ—„самъ красный, одѣтъ въ красномъ и на красномъ конѣ“,—стало всходить солнце. Шла-шла путница, добралась до избушки на курьихъ ножкахъ, гдѣ жила баба-яга, чародѣйка-властительница небесныхъ грозъ,—видитъ еще всадника: „самъ черный, одѣтъ во всемъ черномъ и на черномъ конѣ“. У самыхъ воротъ провалился онъ сквозь землю, и въ тотъ-же мигъ наступила ночь. Пришла дѣвица къ бабѣ-ягѣ, спрашиваетъ про всадниковъ и узнала, что перваго звали „день ясный“, второго—„солнце красное“, третьяго—„ночь темная“... (Во всѣхъ русскихъ сказаніяхъ темная сила представляется выѣзжающею на черномъ конѣ, свѣтлая—на бѣломъ. Съ раздѣленіемъ власти надъ міромъ и всѣми явленіями его бытія между воцарившимся на славянскомъ Олимпѣ потомствомъ двухъ всемогущихъ стихій—бѣлые кони передаются богу-солнцу, богу-громовнику (сначала Перуну, потомъ Святovidу и, наконецъ, Свѣтлояру-Ярилѣ); черные-же становятся собственностью Стрибога и всѣхъ буйныхъ вѣтровъ—Стрибожьихъ внуковъ. Выше (см. стран. 21) уже велась рѣчь о бѣлыхъ коняхъ, содержащихся при величайшей святынѣ языческаго славянства—арконскомъ храмѣ Святovidомъ; говорилось также (см. стран. 334) и про коней Перуновыхъ, на которыхъ теперь—по словамъ народа—разъѣзжаетъ небесными дорогами святы-Илья-пророкъ. Солнце—этогъ „небесный конь“ индійскихъ сказаній, въ продолженіе дня обѣгающій небо изъ конца въ конецъ и отдыхающій ночью, чтобы снова появиться на своемъ вѣковѣчномъ пути, представлялось русскому язычнику свѣтлокудрымъ божествомъ—то богомъ, то богиней—разъѣзжающимъ на золотой колесницѣ, запряженной парой свѣтоносныхъ-бѣлыхъ (иногда—для большей торжественности—замѣнявшихся то шароу бриллиан-

товыхъ, то парю огнепламенныхъ) коней. Подводитъ ихъ поутру ко дворцу Солнца дѣва Утренняя Заря, уводитъ ввечеру—Вечерняя Заря. Родственные этому сказанія можно найти и у многихъ другихъ народовъ, бывшихъ язычниковъ, хотя и не происходившихъ отъ одного съ нами племенного корня. Такъ, у нѣмцевъ существуетъ старинная сказка о восьминогомъ солнцевомъ конѣ, бѣгающемъ быстрѣе вѣтра съ горы на гору, конѣ съ блестящимъ камнемъ во лбу—такимъ яркимъ, что отъ него темная ночь превращается въ бѣлый день. Есть подобная-же сказка и у славянъ—словаковъ. Эти послѣдніе рассказываютъ, что нѣкогда была на землѣ страна, гдѣ никогда не свѣтило солнышко. Всѣ обитатели ея давно-бы разбѣжались, если-бы у короля не было на конюшнѣ жеребца съ солнцемъ-камнемъ промежду глазъ, разсыпавшимъ свѣтъ во всѣ стороны. Повелѣлъ добрый король водить этого чудодѣйнаго коня изъ конца въ конецъ по всему королевству: гдѣ проходилъ конь—тамъ становился день, откуда уводили его—разбѣшивала между небомъ и землею свои черные пологѣ ночь непроглядная. Вдругъ пропалъ у короля конь, украла его страшная вслшебница (олицетвореніе зимы, похищающей солнце). Ужась овладѣлъ несчастною, погруженной во мракъ, странною. Такъ и сгинуть-бы ей и всѣмъ ея жителямъ во тьмѣ, да нашелся добрый человекъ: привелъ похищеннаго коня. И опять воцарилась въ королевствѣ свѣтлая радость (весна)... Издавна воображеніе русскаго простолюдина рисовало весну возвращающуюся на бѣломъ конѣ. Такимъ-же являлся и Овсень—Новый Годъ, привозящій первую вѣсть о возвратѣ весны. Празднованіе древнерусской Коляды—праздникъ возрождающагося солнца—сопровождался (и теперь по глухому захолустному сопровождается) пѣсенкой-колядкою, въ родѣ: „Ѣхала Коляда наканунѣ Рождества, въ малеваномъ возочку, на бѣлѣнкомъ (по иному разносказу—„на вѣрономъ“) конечку! Заѣхала Коляда, пріѣхала молода, ко Василью (новогоднему святому) на дворъ“ и т. д. Встарину эта пѣсня распѣвалась-выкликалась на Святкахъ даже въ стѣнахъ Москвы Бѣлокаменной, гдѣ, (по суровымъ словамъ благочестивыхъ, умудренныхъ книжнымъ начотчествомъ, людей, въ это-самое время „накладывали на себя личины и платье скоморошеское и межъ себя, нарядя, бѣсовскую кобылку водили“.

Можно найти цѣлый рядъ старинныхъ русскихъ сказаній, въ которыхъ представляются въ образѣ коня и мѣсяцъ, и звѣзды, и вѣтры буйные, облетающіе „всю подсолнечную-всю подселенную“ отъ-моря до-моря. Даже и тучи, заслоня-

ющія свѣтъ солнечный, и быстролѣтная молнія являются иногда въ томъ-же самомъ воплощеніи. „У матушки жеребецъ—всему міру не сдержать!“—говоритъ старинная загадка о вѣтрѣ; „У матушки коробья—всему міру не поднять!“—о землѣ; „У сестрицы ширинка—всему міру не скатать!“—о дорогѣ. Громовай гудъ представляется, по однимъ народнымъ загадкамъ, ржаніемъ небесныхъ коней. По другимъ—„Стукотить, гуркотить—сто коней бѣжить“. Русскія сказки упоминають о коняхъ-вихряхъ, о коняхъ-облакахъ; и тѣ, и другіе надѣляются крыльями, подобно бурому коню удалого богатыря Дюка Степановича, яснымъ соколомъ—бѣлымъ кречетомъ вылетѣвшаго-выпорхнувшего на Святую Русь „изъ-за моря, моря синяго, изъ славна Волынца, красна Галичья, изъ тоя Корелы богатыя“. „А и конь подъ нимъ—какъ бы лютой звѣрь, лютой звѣрь конь—и буръ, и космать“...—ведетъ свою рѣчь былинный сказъ: „у коня грива на лѣву сторону, до сырой земли... За рѣку онъ броду не спрашиваетъ, которая рѣка цѣла верста пятисотная, онъ скачетъ съ берега на берег“...

Изъ возницы пресвѣтлаго свѣтила дней земныхъ, изъ воплотителя понятій о звѣздахъ, вѣтрахъ, тучахъ и молніяхъ конь мало-по-малу превращается въ неизмѣннаго спутника богатырей русскихъ—этихъ яркихъ и образныхъ воплощеній могущества святорусскаго, служащихъ вѣрой-правдою Русской Землѣ съ ея княземъ (осударемъ)-Солнышкомъ, обороняющихъ рубежъ ея ото всякаго ворага лютаго, ото всякой наносной бѣды. Трудно представить богатыря нашихъ былинъ древнекиевскихъ безъ „вѣрнаго коня“ („добраго“, „борзаго“—по инымъ разносказамъ),—до того слились эти два образа, выкованныхъ стихійнымъ пѣснотворцемъ въ горнилѣ живучаго народнаго слова. И кони богатырскіе у насъ у каждаго богатыря—на свою особую статью. У Ильи-Муромца, матерого казака, конь не то что у горделиваго Добрыни Никитича; а и Добрынинъ конь не подъ-стать, не подъ-масть откормленному коню Алѣши Поповича, „завидушаго бабьяго перелестника“. Нечего ужъ и говорить, что всторонѣ ото всѣхъ нихъ стоитъ та „лошадка соловенька“, на которой распахивалъ свою пашеньку „сошкой клеовенькою“ богатырь оратай-оратаюшко, пересилившій своимъ крѣпкимъ кровными связями съ матерью-землею могуществомъ кочевую-бродячую силу старшого богатыря Земли Русской—Святого-ра. А у этого, угрызшаго въ сырую землю, представителя безпокойнаго стихійнаго могущества, отступившаго передъ упорнымъ крестьянскимъ засильемъ, конь былъ всѣмъ ко-

нямъ конь: сидючи на немъ, старѣйшій изъ богатырей русскихъ „головою въ небо упирается“. Подъ копытами коня Святогорова и крѣпкая Мать-Сыра-Земля дрожмя-дрожить. „Ретивой“ конь Ильи-Муромца, по словамъ былины, „осержается, прочь отъ земли отдѣляется: онъ и скачетъ выше дерева стоячево, чуть пониже облака ходячево“... У него, у этого коня ретивого, даже и прыть-то—богатырская:

„Первый скокъ ·скочить на пятнадцать версть,
Въ другой скочить—колодезь стальъ,
Въ третей скочить—подъ Черниговъ-граль“...

О Добрыниномъ статномъ конѣ былинные сказатели отзываются наособицу любовно-ласково. „Какъ не ясный соколь въ перелетъ летить: добрый молодець перегонъ гонить“...—говорять одни. „Куды конь летить, туды ископытъ стаеть, и мелки броды перешагиваль, а рѣчки широки перескакиваль, а озера болота вокругъ ѣхаль“...—продолжаютъ другіе. „Конь бѣжитъ, мать-земля дрожить, отодрался конь отъ сырой земли, выше лѣсу стоячаго“... — подаютъ свой голосъ третьи. Хорошь добрый конь и у богатыря Потока Михайлы Ивановича—„перваго братца названнаго“ дружины богатырей-побратимовъ. Вотъ въ какихъ, напимѣрь, словахъ описываетъ былина Потокову поѣздочку богатырскую:

„А скоро-де садился на добра коня,
И только его и видѣли,
Какъ молодець за ворота вѣхаль,—
Во чистомъ полѣ лишь пылъ столбомъ“...!

Объ иную пору приходится и богатырскому добру коню выслушивать такую неместную рѣчь своего разгнѣваннаго хозяина: „Ахъ ты, волчья сыть, травяной мѣшокъ! Не бываль ты въ пещерахъ бѣлокаменныхъ, не бываль ты, конь, во темныхъ лѣсахъ, не слыхаль ты свисту соловьиного, не слыхаль ты шипу змѣинаго, а того-ли ты крику звѣринаго, а звѣринаго крику туринаго!“ („Первая поѣздка Ильи-Муромца въ Кіевъ“.)

Изъ всѣхъ былинныхъ коней выдѣляется конь Ивана госканаго сына—близкій по своему норову къ сказочнымъ „сивимъ-буркамъ, вѣщимъ кауркамъ“, о которыхъ ведутъ на сотни ладовъ-сказовъ свою пеструю рѣчь русскіе сказочники. Объ этомъ конѣ спѣлась-сказалась въ стародавніе годы цѣлая былина. „Во стольномъ во городѣ въ Кіевѣ, у славнаго князя Владимира было пированье, почестной пирь. было столованье почестной столъ на многи князи, бояра и на рус-

скіе могучіе богатыри и гости богатые“...—начинается она, по примѣру многихъ другихъ нашихъ былинъ. Въ половину дня, „во полу-пирѣ“ хлѣбосольный князь-хозяинъ „распотѣшился, по свѣтлой гридиѣ похаживаетъ, таковы слова поговариваетъ“, — продолжаетъ стихійный пѣвецъ-народъ. „Гой еси, князи и бояра и всѣ русскіе могучіе богатыри!“—возглашаетъ князь: „Есть-ли въ Кіевѣ таковъ человѣкъ, кто-бъ похвалился на триста жеребцовъ, на триста жеребцовъ и на три жеребца похваленые: сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ и который полоненъ воронко во Большой Ордѣ, полонилъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ, какъ у молодца Тугарина Змѣевича; изъ Кіева бѣжать до Чернигова два девяноста-то мѣрныхъ версть промежъ обѣдней и заутренею?“ Вызовъ, брошенный ласковымъ княземъ стольнокіевскимъ, можетъ служить явнымъ свидѣтельствомъ того, что конскія состязанія были на Руси одною изъ любимыхъ потѣхъ еще во времена кіевскихъ богатырей. Многіе изъ нихъ могли—не хвастаясь—похвалиться своими конями, своею посадкой, своимъ умѣньемъ справиться съ конскимъ норовомъ; но тутъ,—гласитъ былина, — произошло нѣчто неудобъ-сказуемое: „какъ бы меньшей за большаго хоронится, отъ меньшаго ему тутъ князю отвѣту нѣтъ“. Но вотъ — выручилъ всѣхъ побратимовъ-богатырей одинъ: „изъ того стола княженецкаго, изъ той скамьи богатырскія выступаетъ Иванъ гостинной сынъ и скочилъ на свое мѣсто богатырское да кричитъ онъ, Иванъ, зычнымъ голосомъ“... Принялъ онъ вызовъ княжескій, соглашается биться объ закладъ, „Гой еси ты, сударь, ласковой Владиміръ-князь!“ — возговорилъ онъ, — „Нѣтъ у тебя въ Кіевѣ охотниговъ, а и быть передъ княземъ невольникомъ; я похвалюсь на триста жеребцовъ и на три жеребца похваленые: а сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ, да третій жеребецъ полоненъ воронко, да который полоненъ во Большой Ордѣ, полонилъ Илья Муромецъ, сынъ-Ивановичъ, какъ у молодца Тугарина Змѣевича; ѣхать дорога не ближняя, и скакать изъ Кіева до Чернигова, два девяноста-то мѣрныхъ версть, промежу обѣдни и заутрени, ускоки давать конинные, что выметыватъ раздолья широкія: а буюсь я, Иванъ, о великъ закладъ, не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ—о своей буйной головѣ!“ Взвеселилъ Иванъ сердце княжее, пришлакъ Красному Солнышку по душѣ смѣлая рѣчь сына гостиннаго. А за князь-Владиміра согласились держать „поруки крѣпкія“ всѣ, кто былъ на пиру („закладу они за князя кладутъ на сто тысячей“),—всѣ кромѣ одного владыки черниговскаго: держитъ онъ за Ивана. А тотъ, недолго думавъ,

прямо къ дѣлу: выпилъ за единъ духъ „чару зелена вина въ полтора ведра“ да и пошелъ „на конюшню бѣлодубову ко своему доброму коню...“ А конь-то у Ивана, гостинаго сына, не какъ у другихъ богатырей: онъ—„бурочко, косматочко, троелѣточко“. Вошелъ богатырь въ конюшню, припаль къ бурочкѣ („падалъ ему въ правое копытечко“),—припаль, а самъ заливадается слезами, плачетъ, по словамъ былины, что рѣка течеть,—плачетъ, причитаеть: „Гой еси ты, мой добрый конь, бурочко, косматочко, троелѣточко! Про то ты вѣдь не знаешь, не вѣдаешь, а пробилъ я, Иванъ, буйну голову свою съ тобою, добрымъ конемъ; бился съ княземъ о великъ закладъ, а не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ, бился съ нимъ о стѣ тысячей; захвастался на триста жеребенцовъ, а на три жеребца похваленые: сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ и третій жеребецъ полоненъ воронко, бѣгати скакати на добрыхъ на коняхъ, изъ Кіева скакати до Чернигова, промежу обѣдни, заутрени, ускоки давать конины, что выметывать раздолья широкія!“ Народъ-сказатель надѣляетъ богатырскихъ коней не только силой-мочью, но и способностью „провѣщать голосомъ человѣческимъ“. Это встрѣчается и въ былинахъ, и въ сказкахъ, и въ пѣсняхъ. Такъ и здѣсь было. „Провѣщится“ Ивану „добрый конь бурочко-косматочко-троелѣточко человѣческимъ русскимъ языкомъ“,—продолжаетъ безвѣстный сказатель, затонувшій въ волнахъ моря народнаго. Слѣдомъ—и самая рѣчь коня: „Гой еси, хозяинъ ласковой мой!“—говорить онъ сыну гостиному: „Ни о чемъ ты, Иванъ, не печалуйся: сива жеребца того не боюсь, кологрива жеребца того не блюдусь, въ задоръ войду—у воронка уйду! Только меня води по три зари, медвяною сытою пои и сорочинскимъ пшеномъ корми. И пройдутъ тѣ дни срочные и тѣ часы урочные, придетъ отъ князя грозенъ посоль по тебя—Ивана гостинаго, чтобы бѣгати, скакати на добрыхъ на коняхъ,—не сѣдай ты меня, Иванъ, добра коня, только берися за шелковъ поводакъ, поведешь по двору княженецкому, вздѣнь на себя шубу соболиную. да котора шуба въ три тысячи, пуговики въ пять тысячей, поведешь по двору княженецкому, а стану-де я, бурко, передомъ ходить, копытами за шубу посапывати и по черному соболу выхватывати, на всѣ стороны побрасывати,—князи, бояра подивуются и ты будешь живъ—шубу наживешь, а не будешь живъ—будто нашивалъ!..“ Выслушалъ богатырь рѣчь своего коня добраго, выслушавъ—не преминулъ исполнить все „по сказанному, какъ по писанному“. Былъ ему зовъ на княжій дворъ. Привелъ Иванъ своего бурку за шелковъ поводакъ; началъ-принялся Ивановъ ко-

сматочко-троелѣточко все выдѣлывать, какъ и „провѣщаль“ своему хозяину. И вотъ:

„Князи и бояра дивуются,
Купецкіе люди засмотрѣлися—
Зрякаетъ бурко по-туриному,
Онъ шипъ пустиль по-змѣиному,—
Триста жеребцовъ испугалися,
Съ княженецкаго двора разбѣжались:
Сивъ жеребець двѣ ноги изломилъ,
Кологривъ жеребець—такъ и голову сломилъ,
Полоненъ воронко въ Золоту Орду бѣжитъ,
Онъ хвостъ поднѣвъ, самъ всхрапываетъ“...

Сослужилъ конь своему господину службу немалую. „А князи-то и бояра испугалися, всѣ тутъ люди купецкіе, окарачъ они по двору напоззалися“,—продолжается подходящій къ концу былинный сказъ: „А Владиміръ-князь со княгинею печаленъ сталъ, кричитъ самъ въ окошечко косящатое:— Гой еси ты, Иванъ, гостиной сынъ! Уведи ты уродья (коня) со двора долой; прости поруки крѣпкія, записи всѣ изодраны!“ Былина кончается сказомъ про то, что поручитель выигравшаго закладъ богатыря—„владыка черниговской“—помогъ Ивану получить выигранное: „велѣлъ захватить три корабля на быстромъ Днѣпрѣ, велѣлъ похватить корабли съ тѣми товары заморскими, — а князи-де и бояра никуда отъ насъ не уйдуть“...

Глубоко трогательное впечатлѣніе производитъ старинная пѣсня, въ которой ведется рѣчь о томъ, какъ „не звѣзда блеситъ далече въ чистомъ полѣ, курится огонечекъ малешенекъ“... У этого огонечка, по словамъ пѣсни, раскнутъ-разостланъ „шелковдой коверъ“, а на этомъ коврѣ лежитъ „удаль-добрый молодець, прижимаетъ платкомъ рану смертнуную, унимаетъ молодецкую кровь горячую“... Неизмѣнный спутникъ богатырей русскихъ—„добрый конь“—стоитъ подлѣ раненаго, стоитъ—„бьетъ своимъ копытомъ въ мать сырую землю, будто слово хочеть вымолвить“.... Пѣсня приводитъ и самое „слово“ коня добраго:

„Ты вставай, вставай, удаль-добрый молодець!
Ты садись на меня, своего слугу;
Отвезу я добра молодца на родиму сторону,
Къ отцу, матери родимой, къ роду-племени,
Къ малымъ дѣтушкамъ, къ молодой женѣ!“

Услыхалъ удаль-добрый молодець таковы слова, вздохнулъ

такъ глубоко, что „растворилась его рана смертельная, пролилась ручьемъ кровь горючая“. Держить онъ отвѣтную рѣчь своему коню доброму, именуеть его и „товарищемъ въ полѣ ратномъ“, и „добрымъ пайщикомъ службы царской“, завѣщаетъ ему передать молодой женѣ, что женился онъ „на другой женѣ“, „взялъ за ней поле чистое“, что „сосватала (ихъ) сабля острая, положила спать калена стрѣла“...

Встрѣчаются въ былинномъ и сказочномъ народномъ словѣ рассказы о могучихъ коняхъ, выводимыхъ богатырями изъ подземелій, гдѣ они стояли въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ прикованными къ скаламъ. Подбѣгаютъ кони, провѣщающіе голосомъ человѣческимъ, къ сказочнымъ царевичамъ и добрымъ молодцамъ на распутяхъ, сами вызываются сослужить имъ службу вѣрную. И, впрямь, вѣрною можно назвать эту службу: они не только увозятъ своего любимаго хозяина отъ лютыхъ вороговъ, а и сами бьютъ - топчутъ ихъ; не только переносятъ его на себѣ за лѣса и горы, но и стерегутъ его сонъ, и приводятъ его къ источникамъ живой и мертвой воды и т. д. Въ народѣ до сихъ поръ еще ходятъ стародавнія сказанія о выбитыхъ изъ земли ногами богатырскихъ колеѣ ключахъ-родникахъ. Близъ Мурома стоитъ даже и часовня надъ однимъ изъ такихъ источниковъ, происхожденіе котораго связано въ народной памяти съ первой богатырскою поѣздкой богатыря, сидѣвшаго, до своего служенія Землѣ Русской, сиднемъ тридцать лѣтъ и трѣ-года во томъ-ли во селѣ Карачаровѣ. Въ кругу русскихъ простонародныхъ сказокъ далеко не послѣднее мѣсто принадлежитъ коньку - горбунку, обладавшему силою перелетать во мгновеніе ока со своимъ сѣдокомъ въ тридевятое царство, въ тридесятое государство. Появляется этотъ, напоминающій косматку-троелѣтку Ивана гостинаго сына, конѣкъ — какъ листь передъ травой, — на кличъ: „Сивка-бурка, вѣщій каурга, встань передо мной...“ и т. д. Влѣзетъ Иванъ-дуракъ ему въ одно ухо сѣрымъ мужикомъ-вахлакомъ, вылѣзетъ изъ другого—удалымъ добрымъ молодцемъ. Чудеса творить — всему міру на-диво—хозяинъ-всадникъ такого конька-горбунка, добываетъ все, что ему ни вздумается, не исключая ни жаръ-птицы, ни раскрасавицы Царь-Дѣвицы. Не можетъ съ нимъ поспорить-помѣяться въ этомъ отношеніи нашъ современный конь-пахарь, но за послѣдняго горой стоитъ его прямое происхожденіе отъ соловенькой лошадки могучаго богатыря, съ Божьей помощью крестьянствовавшего на Святой Руси въ старъ стародавнюю.

Поздніе потомки пѣснотворцевъ сказателей, воспѣвавшихъ богатырскаго добра-коня, современные краснословы деревен-

скіе именуютъ лошадь „крыльями человѣка“. Другіе-же, не залетающіе воображеніемъ за грань отошедшихъ въ былое вѣковъ, величаютъ коня на особую статью. „Не пахарь, не столяръ, не кузнецъ, не плотникъ, а первый на селѣ работникъ!“ — говорятъ они про него. Этотъ первый на селѣ работникъ кормитъ держащійся за землю сельскій людъ, — по его — же собственному крылатому слову: „Нашъ Богданъ не богатъ, да торовать: трехъ себѣ дружковъ нажилъ — одинъ его поить (корова), другой (лошадь) кормитъ, третій (собака) добро охраняетъ!“ Псковичи — изъ смѣтливыхъ краснобаевъ: запримѣтили они, что у коня — „четыре четьрки (ноги), двѣ растопырки (уши), одинъ вилюнь (хвостъ), одинъ фыркунь (морда) и два стеклышка (глаза) въ немъ“. На симбирскомъ Поволжьѣ про лошадь загадываютъ загадку: „Родится — въ двѣ дудки играетъ; выростетъ — горами шатаетъ; а умретъ — пляшетъ!“ Въ Ставропольскомъ уѣздѣ Самарской губерніи записана Д. Н. Садовниковымъ такая загадка въ лицахъ: „Шель я дорогой: стоитъ добро, и въ добрѣ ходитъ добро. Я это добро взялъ и прикололъ, да изъ добра добро взялъ!“ (лошадь съ жеребенкомъ въ пшеницѣ). Конскія ноги съ мохнатыми пучками на щиколоткахъ представляются любящему загануть загадку словоохотливому люду четьрьмя дѣдами, и всѣ четыре — „назадъ бородами“. Записано собирателями памятниковъ словеснаго богатства народнаго и такое крылатое слово про лошадь (въ сообществѣ съ коровою и лодкой): „Прилетѣли на хоромы три вороны. Одна говоритъ: — Мнѣ въ зимѣ добро! — Другая: — Мнѣ въ лѣтѣ добро! — Третья: — Мнѣ всегда добро!“ Ходитъ по свѣтлорусскому простору и на иной ладъ сложившаяся, родственная только что приведенной, загадка: „Одна птица (сани) кричитъ: — Мнѣ зимой тяжело! Другая (телѣга) кричитъ: — Мнѣ лѣтомъ тяжело! Третья (лошадь) кричитъ: — Мнѣ всегда тяжело!“.

Конь, по древнѣйшему произношенію — „кбмонъ“. Лошадь считается словомъ татарскаго происхожденія, но едва ли не ошибочно. Еще во времена Владиміра Мономаха, — когда про татаръ не доносилось на Святую Русь ни слуха, ни духа, — ходило это слово. „Лошади жалуете, ею же ореть смердъ...“ — писалъ удѣльнымъ князьямъ русскимъ этотъ великій князь. Встрѣчается оно и въ древнихъ грамотахъ новгородскихъ — по свидѣтельству Н. М. Карамзина⁸⁸⁾, не гово-

⁸⁸⁾ Николай Михайловичъ Карамзинъ — знаменитый историкъ, авторъ „Истории Государства Россійскаго“. Онъ родился въ селѣ Богородицкомъ (Карамзинка тожъ) Симбирскаго уѣзда, 1-го декабря 1766 года, въ семьѣ богатаго помѣщика. Дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ, 13 лѣтъ былъ отданъ въ

ря уже о позднѣйшихъ памятникахъ нашей старинной письменности. По тѣмъ мѣстамъ, гдѣ оберегается-соблюдается родная старина, еще и теперь можно услышать въ живой рѣчи древнѣйшее названіе коня-пахаря. „На горы казаки, подъ горой мужики“...—поется, напримѣръ, и въ наши дни по селамъ - деревнямъ Великолуцкаго уѣзда Псковской губерніи записанная покойнымъ П. В. Шейномъ пѣсня: „подъ горой мужики: все посвистываютъ, погаманиваютъ, — меня, молодую, поуговариваютъ. У меня, молодой, свекоръ-ба-тюшка лихой! Енъ на горушки меня не пуцаить. А я свекру угожу, три бѣды наряжу“... — продолжаютъ пѣвуны за-тѣйливые. Пѣсня кончается словами:

„Три бѣды снаряжу;
 Подошлю воровъ,
 Чтобъ покрали коровъ;
 Подошлю людей,
 Чтобъ покрали клѣтей;
 Подошлю куманей,
 Чтобъ увели ко моней“...

Въ другой, псковской-же, до сихъ поръ играющейся, пѣснѣ на „комоняхъ“ разѣзжаетъ широкая боярыня — Масляница.

одинъ изъ частныхъ московскихъ пансіоновъ, затѣмъ посѣщаль лекціи московскаго университета. Въ 1783-мъ году онъ уже печаталъ свои первые литературные (стихотворные и прозаическіе) опыты. Вскорѣ послѣ этого онъ сближается съ баснописцемъ П. П. Дмитриевымъ, затѣмъ поступаетъ въ военную службу, выходитъ въ отставку, уѣзжаетъ на родину, чтобы вскорѣ снова вернуться въ Москву и примкнуть къ кружку Н. И. Новикова. Путешествію за границу, совершенному имъ въ 1789—90 годахъ русская литература обязана его извѣстными „Письмами русскаго путешественника“. Послѣ этого мы видимъ его то издателемъ „Московского Журнала“ (1790—92 г. г.), то авторомъ повѣстей („Бѣдная Лиза“ и др.), то стихотворцемъ, то просто свѣтскимъ чело-вѣкомъ, то собирателемъ образцовъ русской литературы, то переводчикомъ иностранныхъ классиковъ, проводящимъ черезъ дебри суровой цензуры римскихъ и греческихъ философовъ, историковъ и ораторовъ. Въ 1802 3 годахъ П. М.—чѣ выступаетъ съ изданіемъ новаго журнала „Вѣстникъ Европы“ и съ увлече-ніемъ отдается историческимъ изслѣдованіямъ. Въ октябрѣ 1803 года, при со-дѣйствіи товарища министра народн. просвѣщ. М. П. Муравьева, онъ получаетъ званіе „историографа“ и 2000 руб. ежегодной пенсіи, прекращаетъ изданіе журнала и начинаетъ писать свою „Исторію“. Въ 1816-мъ году вышли пер-вые восемь томовъ этого обезсмертившаго его имя труда, въ 1821-мъ—9-й, въ 1824-мъ—10-й и 11-й. Черезъ два года, 22-го мая 1826 г., великій писатель скончался, не успѣвъ дописать 12-го тома своего гигантскаго труда, ко-торому посвятилъ болѣе 20 лѣтъ жизни. Похороненъ П. М. Карамзинъ въ С.-Петербургѣ (гдѣ провелъ послѣдніе 20 лѣтъ, за которые судьба сблизила его съ императорскою семьею)—въ Александро-Невской Лаврѣ. На родинѣ, въ гор. Симбирскѣ, воздвигнутъ—поветѣніемъ императора Николая I-го,—памят-никъ автору „Исторіи Государства Россійскаго“.

Вѣроятно, есть и по другимъ мѣстамъ такія пѣсенныя выраженія, но нельзя не замѣтить, что чѣмъ дальше, тѣмъ все менѣе и менѣе понятной великороссу становится это древнее слово, помнящее дни Гостомысла⁸⁹⁾. „Ахъ ты, конь мой конь, лошадь добрая!“ — поетъ современная деревня, сливая оба имени своего вѣковѣчнаго помощника. „Кляча воду возить, лошадь пашеть, конь — подь сѣдломъ!“ — на-ряду съ этимъ оговариваетъ она самое-себя.

Многое-множество пословицъ, поговорокъ и всевозможныхъ прибаутковъ-присловіи о конѣ-лошади, вылетѣло изъ словоохотливыхъ устъ русскаго народа, перехвачено по дорогѣ изъ однихъ — въ другія зоркими да чуткими калитами-собирателями, занесено ими на страницы живой лѣтописи народнаго слова. Не только пахаремъ-работникомъ былъ конь, а и вѣрнымъ другомъ родной удали. Онъ является въ представленіи народа-краснослова воплощеніемъ здоровой бодрости: „Онъ ходитъ — конь-конемъ!“ — говорятъ у насъ. Отголосокъ богатырскихъ временъ слышится въ такихъ изреченіяхъ вольнаго казачества, какъ: „Конь мой конь, ты мой вѣрный другъ!“, „Вся надѣжа — вѣрный конь!“, „Конь подь нами, а Богъ — надъ нами!“, „Господи, помилуй коня и меня!“, „Конь не выдастъ — и смерть не возьметъ!“, „Добрый конь изъ воды вытащить, изъ огня вынесетъ!“, „Счастье на конѣ, безсчастье — подь конемъ!“, „Счастливыи на конѣ, безсчастныи — пѣшь!“ и т. д. „Поглядимъ — вывезетъ-ли конь!“ — замѣчаютъ о надѣющихся на счастье. Про неудачливую случайность говорятъ въ народѣ: „Хотѣлось на коня, а досталось подь коня!“ Съ кѣмъ приключится несчастье, — къ тому сплошь-да-рядомъ примѣняются поговорки: „Пришла бѣда, отвориай ворота, выпускай добра-коня!“, „Пропаль конь — такъ и обротъ въ огонь!“, „Увели конька, такъ не нужна и обротъ!“ и т. п. Безлошадный дворъ — убогая семья; обезлошадѣть — попасть въ нужду невылазную. Потому-то и говорится въ народѣ: „Мужикъ безъ лошади — что домъ безъ потолка!“, „Безъ коня — не хозяйинъ!“, „Безъ лошади — не пахарь!“, „Есть на дворѣ лошадка да конекъ — и сытъ, и одѣтъ!“, „Безъ хлѣба съ голоду помрешь; безъ коня — и съ хлѣбомъ

⁸⁹⁾ Гостомыслъ — первый посадникъ повгородскій, убѣдившій старѣйшихъ отправить пословъ къ варягамъ для призванія князей. О немъ существуютъ и другія преданія, называющія его сыномъ Буриной, князя славянскаго (потомка Вандаля). По этимъ преданіямъ, онъ передъ смертью своей завѣщалъ призвать князей на Русь изъ родственнаго ему дома князей варяжскихъ. Рюрикъ, — если вѣрить сказанію, приходится — внукомъ Гостомыслу со стороны матери.

намыкаешься горя!“ Знаетъ народная Русь, что „Счастье не кляча—хомута не надѣнешь!“; по—и знаючи—готова, какъ и въ стародавнюю пору, повторять свои пословицы-поговорки, въ-родѣ: „Хорошъ конь—счастливъ и дѣтина!“ Древнерусскіе богатыри не только ударяли своихъ добрыхъ коней по крупымъ бедрамъ, а и становились на отдыхъ у Сафать-рѣки, засыпали имъ въ торока пшена сорочинскаго, запускали ихъ на луга поемные - бархатные, давали имъ тѣла нагуливать. Такъ и теперь твердо помнятъ коневоды русскіе, что погонять коня надо не кнутомъ, а овсомъ (кормомъ). „Не накормленъ конь — скотина, не пожалованъ молодець — сиротина!“ — ходитъ по свѣтлорусскому простору народное слово. „Конь тощей — хозяинъ скупой!“ — приговариваетъ народъ: „Гладь коня мѣшкомъ — такъ не будешь ходить пѣшкомъ!“ Хорошая лошадь безъ хозяина не останется, по слову старыхъ людей. „Добрый конь—не безъ сѣдока, съ сѣдокомъ—не безъ корму!“ — добавляют иные. Но и кормъ—корму рознь; недаромъ обмолвился сельскохозяйственный опытъ пословицами: „Вола гущей откормишь, коня — только раздуешь!“ Не одинъ кормъ, а и уходъ, за конемъ нуженъ: „Отъ хозяйскаго глаза и конь добруеть!“ Какъ въ ѣздѣ, такъ и въ рабочемъ обиходѣ, совѣтуютъ хозяйственные, заглядывающіе впередъ, люди беречь коня. „Однимъ махомъ всего пути не проскачешь!“—говорятъ они: „Однимъ конемъ поля не покроешь!“, „Выше мѣры и конь не прянетъ!“, „Пахать—паши, да оглядывайся, погонять — погоняй, да остерегайся!“ Не такъ-то легко завести добраго коня. По дѣдовскому повѣрью, идущему изъ далѣкихъ глубинъ старины стародавней, покупать лошадь надо съ большой оглядкою, съ не малой опаскою. „Однимъ деньгами добра коня не укупишь!“—гласитъ простонародная мудрость: „Не пришелся ко двору конь, такъ хоть живого подъ оврагъ вали!“ Повсемѣстно можно услышать въ деревняхъ-селахъ рассказы о томъ, какъ домовой („сосѣдка“—по инымъ разносказамъ) того, либо другого коня не взлюбилъ. Народъ вѣритъ, что этотъ хранитель домашняго очага каждую ночь разѣзжаетъ по двору на лошади: не придется ему по нраву новый конь — загоняетъ до полусмерти, приглянется — самъ, старый, гриву заплетать зачнетъ, холить примется, корму подглядывать станеть. „Нашихъ лошадокъ домовой любить!“—говорится сплошь-да-рядомъ въ крестьянскомъ быту при взглядѣ на коней, которымъ, что называется, впрокъ кормъ идетъ. Одинъ домовой любить одну масть, другой — иную. Не придется какая шерсть „ко двору“, — лучше и не заводить такихъ въ другой разъ: все

равно, толку не будетъ. До сихъ поръ старыя, прочно сидящія „на своемъ кореню“ хозяева придерживаются обычая водить лошадей одной масти, чтобы не досадить „дѣдушкѣ“, живущему въ подпечкѣ—что ни ночь, обходящему дозоромъ всѣ клѣти, всѣ сараи. „Чей конь—того и возь!“—сложилась въ народѣ поговорка о работающихъ людяхъ, наживающихъ достатокъ трудомъ праведнымъ; но ее-же иногда примѣняютъ и къ тѣмъ, кто не особенно чистъ на руку. „Даровому коню въ зубы не смотрять!“—оправдываются любители до поживы на-даровщинку. Но такимъ зазорнымъ хлѣбоѣдамъ того - и-гляди придется услышать отвѣдъ: „Съ чужого коня—среди грязи долой!“ Зачастую говорятъ они сами себѣ: „И прыгнулъ-бы на коняшку, да ножки коротки!“ Свое добро — всякому дорого. Изъ этого понятія и сложилась поговорка: „Не-продажному коню — и цѣны нѣтъ!“ Объ увальняхъ, неповоротливыхъ разумомъ, тяжелыхъ на соображеніе работникахъ обмолвилась народная Русь словомъ: „На конѣ сидитъ, а коня ищетъ!“. „Волкъ коню—не товарищъ!“—говоритъ она, сопоставляя рабочую силу съ хищникомъ, вырывающимъ кусокъ чуть не изо рта у сосѣда. „Чешись конь съ конемъ, а свинья—съ угломъ!“ — оговариваетъ простодушная деревня напрашивающихся на свойство, не приходящихся ей по сердцу чужаковъ. Ничего силкомъ съ человѣкомъ не подѣлать, какъ ни учи его—не приручишь; такъ и съ конемъ неѣзжаннымъ. А „обойдешь да огладишь—такъ и на строгаго коня сядешь!“—говоритъ народъ. Нѣтъ человѣка безъ недостатка, люди—не ангелы, жизнь—не рай. „Конь о четырехъ ногахъ—и тотъ спотыкается!“—гласитъ вѣщее, пережившее вѣка слово: „Кабы на добра коня не спотычка, кабы на хорошаго работника не худа привычка — цѣны-бы имъ не было!“ Опытъ — великое дѣло въ житейскомъ обиходѣ: вооружась имъ, понабравшись его по жизненной путинѣ, не надо уже и по семи разъ ко всему приглядываться, по семи разъ отмѣривать,—смѣло иди, рѣжь—не бойся!.. „Старый конь борозды не портитъ!“ — примѣняетъ народная Русь къ этому случаю свою крылатую молвь. Но не великая радость и старая опытность, если ей суждено—волей-не-волей — дряхлѣть годъ-отъ-году. „Укатали сивку крутыя горки!“—пригорюнивается не одна сѣдая голова, на Божій міръ глядячи, бывшее вспоминаючи: „Былъ конь, да изъѣздили!“ Приходитъ пора, что и тряхнулъ-бы прежній удалецъ стариной, да спина не разгибается; и принялся-бы за дѣло, да ноги ломить: какъ ни корми такого работника—все „не въ коня кормъ“... Знаеть-помнить объ этомъ народъ,—недаромъ къ слову молвить:

„Въ худого коня кормъ тратить — что воду лить въ бездонную кадую!“

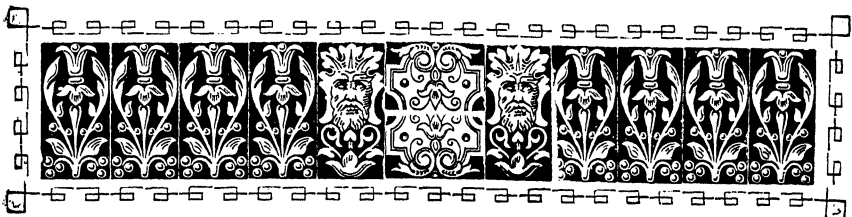
Дорожить хорошими работниками русскій народъ, въ потѣ лица—по Божію завѣту—вкусною хлѣбъ насущный. „Онъ работаетъ—какъ лошадь хорошая!“—ходитъ молва о такой ворающей горы силѣ,—„Что ни сдѣлалъ—все изъ-подъ кнута!“—о работникахъ иного склада, противоположнаго этому. „Лошадка въ хомутѣ—везетъ по могутъ!“—отговариваются слабняки, ссылаясь на свое малосиле. Какъ въ работѣ за столомъ вокругъ чашки со щами „ложкой, а не ѣдокомъ“, —такъ и въ дорогѣ—„не лошадей, а ѣдокомъ“, берутъ. Ко всякимъ случайностямъ своего домашняго обихода примѣняетъ коневодъ поговорки-пословицы, связанныя съ понятіемъ о конѣ-пахарѣ, конѣ-скакунѣ. „Кобыла съ волкомъ тягалась—востъ да грива осталась!“—говоритъ онъ о непосильной бохрѣбѣ съ кѣмъ-либо. „Не бери у попа дочери, у цыгана—лошадки!“—приговариваетъ онъ, недоувѣрчиво вслушиваясь въ хвастливыя рѣчи. „Большая лошадь намъ не ко двору—травы не достанетъ!“—посмѣивается деревенскій людъ, перебивающійся съ хлѣба на воду, въ отвѣтъ на предложеніе неподходящаго къ его засилью дѣла. „Шутникъ—покойникъ: померъ во вторникъ, а въ среду всталъ—лошадку укралъ!“—отзываются въ народѣ смѣшливымъ прибауткомъ на ложные слухи, распространяемые любителями ихъ. „Пѣшій конному не товарищъ!“—отвѣчаютъ сытые своимъ потовымъ трудомъ, сѣрые съ виду пахотники-мужики, когда ихъ спрашиваютъ, почему они не водятъ дружбы съ горожанами-бархатниками, у которыхъ, по пословицѣ: „На брюхѣ шелкъ, а подъ шелкомъ-то—щелкъ“... „Горе горькое хлѣборобу безъ своей родимой полосы, но не въ радость земля, если нѣтъ у него коня-пахаря на дворѣ.“ (Краснословъ-народъ, умудренный тысячелѣтнимъ опытомъ трудовой жизни, идетъ и дальше въ своихъ опредѣленіяхъ причинъ зажиточности: „Не дорога и лошадь, коли у кого во дворѣ бабушки нѣтъ („кому бабушка не ворожить“—по иному разносказу)!“—говоритъ онъ. Бабушкой зовется въ просторѣчьи иногда слѣпое счастье, иногда вызволяющій изъ всякой бѣды богатый (или сильный) родственникъ. „Счастье—не лошадь: не везетъ по прямой дорожкѣ, не слушается возжей!“—замѣчаютъ старые люди, перешедшіе поле жизни. Лишиться лошади—въ быту русскаго крестьянина великое горе: ничуть не меньшее, чѣмъ пожаръ, если только не большее. Оттого-то и причитаютъ, голосятъ на всю деревню бабы-хозяйки надъ павшимъ конемъ, называя его „кормильцемъ“, „родимымъ“ и другими ласковыми именами-величаніями-

ми. „Ой, что-то мы, горькіе, станемъ дѣлать! На кого-то ты, кормилецъ, насъ покинулъ?! Пойдемъ мы по міру съ сумою, подъ окнами Христа-ради... Намыкаемся мы горюшка, насидимся безъ хлѣбушка—со малыми дѣтушками... Кто-то намъ пашеньку запашетъ? Кто полосыньку взборонуетъ?“—голосомъ вопять, что надъ покойникомъ, деревенскія плакальщицы, на всѣ лады выхваляя его „статки“—достоинства. „Ты по пашенькѣ соху водилъ легче перушка“,—хватаящимъ за душу голосомъ продолжаютъ онѣ,—„бороздки-то бороздилъ глубокія, не-глядя—шелъ прямехонько, не погоняючи—любехонько! Твои быстры ноженьки не знали устали; помнилъ ты всѣ пути да всѣ дороженьки. Побѣжишь—не угнаться вѣтру буйному“...—Не мало и другихъ, кромѣ этого—подслушаннаго на сѣмбирскомъ Поволжѣ—причитанья, надъ павшимъ конемъ-пахаремъ, ходить и въ наши дни отъ села къ селу по народной Русси.

Весной-лѣтомъ, вплоть до поздней осени—работа коню въ полѣ (то пахота, то бороньба, то сѣвъ, то сноповозъ); зимой—извозъ начинается, тянутся по дорогамъ обозы. И тамъ, и тутъ сближается пахарь-человѣкъ съ конемъ-пахаремъ, Какъ-же не слагается въ стихійно, широкой душѣ перваго всякимъ словамъ крылатымъ да пѣвучимъ про нравъ обычай его вѣковѣчнаго помощника! И ходять они по-людямъ изъ-вѣка-въ-вѣкъ, изъ-года-въ-годъ, видоизмѣняясь сообразно съ мѣстными условіями жизни. Ямской промыселъ, существующій на Русси не одинъ и не два вѣка, придалъ этимъ „словамъ“ свой особый цвѣтъ. Дорога представляется русскому ямщику „брусомъ“ („бревномъ“), растянувшимся черезъ всю Русь. „Кабы всталъ, я бы до неба досталъ; руки да ноги, я бы вора связалъ; ротъ да глаза, я бы все увидалъ, все рассказалъ!“—влагаетъ онъ свою мысль въ уста дороги. Верстовой столбъ, по народному слову, „самъ не видитъ, а другимъ указываетъ, нѣмъ и глухъ—а счетъ знаетъ“. Поддужный колокольчикъ, веселящій сердце и ямщику, и сѣдоку, и даже лошадей подбадривающій (волковъ пугающій),—по народной загадкѣ—„кричитъ безъ языка, поетъ безъ горла, радуется и бѣдуется, а сердце не чувствуетъ“. Покровителемъ лошадей является, по народному представлению, святая двоица (Флоръ и Лавръ) (память—18-го августа), о которыхъ въ свое время говорилось уже (см. гл. XXXII). Дорожные люди отдаются подъ защиту св. Николая-чудотворца. „Призывай Бога на помощь, а Николу въ путь!“—гласитъ народное благочестіе. „Гдѣ дорога—тамъ и путь“,—приговариваетъ мужикъ-простота,—„гдѣ торно, тамъ и простор-

но!“ Ямская гоньба, почтовая ъзда создали-выработали своих лихачей, не лишенных своеобразной удалы, напоминающей отдаленный пережитокъ богатства. Любятъ они тѣшить сердце молодецкое, птицею летать; заливаются пѣснями удалыми, погоняютъ сжившихся съ ними коней не кнутомъ—не овсомъ, а посвистомъ да выкрикомъ. „Тѣло довезу, а за душу не ручаюсь!“ — подсмѣивается иной ямщикъ надъ своимъ безшабашнымъ молодчествомъ. „Съ горки на горку, баринъ дасть на водку!“ — покрикиваетъ онъ, разгоняя птицу-тройку. „Эй вы, соколики!“ — бодритъ коней его голосъ, какъ тачнуть уставать они. Словно и усталъ не беретъ ихъ, чуть только крикнетъ удалецъ-молодецъ, сидящій на козлахъ свое: „Грабать! Выручай!“ Шажкомъ поѣдетъ—пѣсню за пѣсней поетъ ямщикъ, особенно если порожнемъ приходится ѣхать въ обратный путь. Самые голосистые запѣвалы по большой дорогѣ—изъ ямщиковъ. И пѣсенъ никто столько не знаетъ.

Приглядѣлся народъ къ нраву-обычаю своего вѣковѣчнаго работника, коня добраго, за многовѣковую жизнь богъ-о-богъ съ нимъ. Отсюда—и множество всякихъ примѣтъ пошло по народной Руси разгуливать. Ржетъ конь—къ добру, ногою топаеть—къ дорогѣ, втягиваетъ ноздрами воздухъ дорожный—домъ близко, фыркаетъ въ дорогѣ—къ доброй встрѣчѣ (или къ дождю). Закидываетъ лошадь голову—къ долгому несашью, валяется по землѣ—къ теплу-ведру. Споткнется конь при выѣздѣ со двора въ дорогу—лучше, по словамъ старыхъ примѣтливыхъ людей, вернуться назадъ, чтобы не вышло какого-нибудь худа; распряжется дорогой—быть бѣдѣ неминуемой. Хомуть, снятый съ потной лошади, является въ деревенской глуши лѣчебнымъ средствомъ: надѣтъ его на болящаго лихорадкой человѣка,—какъ рукой, говорятъ, всю болѣзнь сниметъ. Вода изъ недопитаго лошады ведра—тоже, если вѣрить вѣдунамъ-знахарямъ, можетъ облегчать разныя болѣзни, если ею умыться со словомъ наговорнымъ. Конскій черепъ—страшенъ для темной силы-нечисти. Оттого-то до сихъ поръ во многихъ деревняхъ можно видѣть черепа лошадей, воткнутые на частоколъ вокругъ дворовъ. Другъ-слуга пахаря-народа конь-пахарь остается вѣрнымъ ему даже и послѣ своей смерти.



LVI.

Царство рыбъ.

Разселяясь во всё стороны свѣтлорусскаго простора, нашъ народъ-хлѣбоодъ шель берегами могучихъ рѣкъ, шагъ-за-шагомъ надвигался по ихъ многоводнымъ притокамъ на дремучія лѣсныя крѣпи, осѣдая на приглянувшихся его хозяйственному зоркому глазу, открытыхъ ласкъ солнечныхъ лучей, полянахъ, или на расчищенныхъ съ помощью топора мѣстахъ, всякій разъ—по близости отъ воды. Рѣки служили естественнымъ путемъ-дорогою народной Руси, сроднившейся съ ними съ младенческихъ лѣтъ своего богатырскаго существованія. „По которой рѣкѣ плыть—той и пѣсенки пѣть!“, „Изъ которой рѣки воду пить—той и славу сложить!“—гласятъ простонародныя изреченія, дошедшія до нашихъ дней изъ старины стародавней, пережившія цѣлый рядъ вѣковъ, затонувшихъ въ глубинѣ былого-минувшаго. Не только служили путемъ-дороженькой, но и за рубежь-границу слыли, встарину на Руси рѣки быстрыя-широкія: по одну сторону селилось-сидѣло, за Мать-Сырую-Землю держалось одно племя-родъ, по другую—иное, обособившееся отъ него, огородившее отъ постороннихъ наслоеній свою родовую самобытность. „Два братца въ одну воду глядятся, а вовѣкъ не сойдутся!“—обмолвилось о берегахъ рѣки крылатое народное слово, повторяющееся въ видѣ загадки и въ наши дни. Встарину-же его съ полной справедливостью можно было примѣнять не только къ берегамъ, а и къ ихъ обитателямъ, разбредшимся въ разныя стороны, слетѣвшимъ нѣкогда съ одного родимаго гнѣзда. Но не только отъ тѣсноты—въ жаждѣ приволья-простора—расходились другъ отъ друга племена-братья;

заставлялъ уходить за рѣки чуть не цѣлые народы натискъ чужеземныхъ враговъ, одинъ за другимъ наступавшихъ съ азиатскаго востока. Шло время, миновали вѣка за вѣками, отходило подобное расселеніе къ преданіямъ прошлого—вмѣстѣ съ зарубежными хищниками, мало-по-малу или исчезающими съ широкаго поля исторической жизни, или расплывавшимися незамѣтными каплями въ безпредѣльныхъ волнахъ могучѣвшей вѣкъ-отъ-вѣка русской стихіи. Память о быломъ осталась только на неписанныхъ скрижаляхъ всеобъемлющаго слова народнаго—въ старинныхъ сказаніяхъ, пѣсняхъ, пословицахъ и поговоркахъ, съ теченіемъ времени обступившихъ богатую яркой пестротой трудовую жизнь пахаря. „Ты отъ горя за рѣку, а оно—ужь стоитъ на томъ берегу!“—вылетѣло изъ устъ народныхъ окрыленное жизнью слово о лютомъ врагѣ, отъ котораго не отгородишься никакими—не только водными, но и каменными,—рубежами. „Нѣтъ конька лучше быстрой рѣченки: сядешь въ лодку, взмахнешь веслами—плыви, куда душѣ захочется!“, „Вода добрый конекъ: сколько ни навалилъ клады—довезетъ!“—опредѣляетъ народъ-краснословъ въ мѣткихъ образности изреченіяхъ значеніе рѣки—какъ водной дороги и сплавной силы. „Не накормила земля—накормитъ вода!“—можно услышать отъ береговыхъ жителей, спасаемыхъ въ скупые на урожай годы щедротами рѣки, являющейся ихъ кормилицею. У порѣчанъ и пазеровъ сложились даже и такія поговорки, на примѣръ, ни за что не пришедшія бы на мысль пьющему изъ ручьевъ-родниковъ, а тѣмъ болѣе—изъ колодцевъ, пахарю, какъ: „Воды—не нива, не орешъ ихъ, не съешь—а сытъ бываешь!“. „Поживи у рѣки, подрядись въ рыбаки—безъ пашни съ хлѣбомъ будешь!“, „Даль-бы Господь рыбку, а хлѣбецъ будетъ!“ Рыболовство въ неродимыхъ полосахъ,—на примѣръ, въ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ, излюбленныхъ морозами, губерніяхъ,—заняло первое мѣсто въ народномъ продовольствіи, превративъ прямыхъ потомковъ крестьянствовавшаго богатыря Микулы Селяниновича въ природныхъ рыбаей, съ малолѣтства кормящихся у рѣки. По черноземнымъ-же мѣстамъ, омываемымъ рыбными водами, оно является немалымъ подспорьемъ въ хозяйственномъ обиходѣ, давая заработокъ и пришлому люду, отхожему со своей—бѣдной какими бы то ни было угодьями—сторонки, мѣняющему свою доморощенную поговорку „Рыба не хлѣбъ—сытъ не будешь!“ на новую, подсказываемую прикармливающимъ промысломъ: „Рѣка рыбки дастъ, рыбка хлѣбцемъ накормитъ!“

Шла по народной Руси сказочная-пѣсенная слава не только о такой могучей водной стихіи, какую являлись для русскаго сказателя-пѣснотворца—„глубота, глубота окіянь-море, широко раздолье о-кругъ земли, глубоки омуты дѣпровскіе“; разносилась-разливалась по селамъ-деревнямъ молва и о несудоходныхъ рѣкахъ, богатою добычей оплачивавшихъ рыбацкій трудъ,—слыли они „медвяной“ („молочной“—по иному разносказу) водою въ „кисельныхъ“ берегахъ. „У насъ рѣченька не широка, не глубока, да торовата!“—приговариваютъ счастливые рыболовы, по морю не плававшіе, съ буркою на волновой быстринѣ не ратовавшіе: „Покланяешься съ берега берегу пониже да почаще—и сытъ, и пьянь станешь, и деньга-конѣйка въ мошнѣ зашевелится!“, „Не тотъ рыбакъ богатъ, который умень, а тотъ—кто счастливъ!“

Водныя угодыя съ незапамятныхъ временъ служили на Руси богатой доходною статьею, нерѣдко являясь предметомъ ожесточенныхъ споровъ между хозяйствовавшими сосѣдями. Старинныя судебныя волокиты сплошь-да-рядомъ затѣвались-поднимались изъ-за такихъ споровъ. „Чей берегъ—того и рѣка, чья вода—того и рыба!“—звучить отголоскомъ подобныхъ тяжёбныхъ дѣлъ посѣдѣвшая отъ времени поговорка. „Не все пироги съ рыбкою—поснѣдаешь и съ рѣдкою!“—подсмѣивается надъ берегового деревеньщиной, сидящею у рыбной рѣки безъ рыбы, природный пахарь, благодарящій Бога и за „пироги ни съ чемъ“: „Ушица—рыбаку“,—киваетъ онъ на воду,—„а рыбка—торгашу!“ Но многое-множество сложившихся въ рыбацьемъ обиходѣ пословиць-поговорокъ заглушаетъ эти прибаутки смѣшливые—одна другой опредѣленнѣе, одна краснѣй-цвѣтистѣе другой.

Знаетъ, твердо помнить рыбакъ свой, завѣщанный отцами-дѣдами, обычай: „Не учи рыбу плавать!“—отзывается онъ на замѣчанія пахаря-хлѣбороба, походя роняющаго свое крылатое словцо о томъ, что-де—„рыба въ рѣкѣ—не въ рукѣ!“ Считаетъ памятующая евангельскую повѣсть народная Русь рыболовство апостольскимъ дѣломъ; отдають себя наши порѣчане-паозеры подъ надежную защиту галилейскихъ рыба-рей, сдѣлавшихся—по слову Божію—ловцами человѣковъ. Св. апостолъ Петръ принимается русскими рыбаками и рыбопромышленниками за своего исконнаго покровителя. Ему поются заказываемые кормящимся у водныхъ угодій людомъ благодарственные молебны въ особые-положенные дни; его благословеніе испрашивается при началѣ промысловъ; зачастую приходитъ имя боговдохновеннаго рыбака на память благочестивому русскому человѣку при закидываніи сѣтей. Поч-

ти въ каждомъ лѣтнемъ жильѣ рыбацкѣй артели можно найти образъ святаго покровителя рыболововъ. Петровъ день (29-е июня) повсемѣстно слыветъ рыбацкимъ праздникомъ: такъ заведено на Руси со стародавнихъ временъ.

„Ловися, рыбка, малая и большая!“—сыплеть на всѣ стороны поговорками-присловьями рыбацкѣй ватага, до красныхъ словецъ охочая: „рыба мелка, да уха сладка!“, „И маленькая рыбка лучше, чѣмъ большой тараканъ!“, „Всякая рыба хороша—лишь-бы въ сѣтъ пошла!“, „На безрыбьи—и ракъ рыба!“, „Рыбка-плотичка—осетру сестричка, за плотвой и братъ—твой!“ и т. д. Приглядѣлся къ рыбацкому обычаю завзятый-коренной рыбацкъ,—недаромъ его по инымъ мѣстамъ „рыбалкой-чайкою“ прозываютъ: чуть не безошибочно скажетъ, когда какого рыбнаго „хода“ надо ожидать. Достаточно старому рыбаку выйти ввечеру, наканунѣ лова, на берегъ, чтобы узнать: будетъ-ли какой-нибудь толкъ изъ предстоящей ему работы. Нечего уже и говорить о тѣхъ мѣсяцахъ-недѣляхъ, когда какая рыба льнетъ къ берегамъ, когда икру мечетъ, когда стаями по широкому приволью гуляетъ: въ этомъ отношеніи для его зоркихъ глазъ рѣка представляется открытой книгою, писанной про грамотѣя дотошнаго. Вчитался онъ по этой „книгѣ“ и въ нравъ-обычай рыбацкаго народа,—всякаго человѣка, хоть самаго говорливаго, къ „нѣмой“ рыбѣ приравнять можетъ. „Большая рыба маленькую цѣликомъ глотаетъ!“, „Рыба рыбою сыта, а человѣкъ—человѣкомъ!“—говоритъ устами примѣтливаго рыбака простодушная мудрость народная про заѣдающихъ чужой вѣкъ сильныхъ людей. „Спѣла-бъ и рыбка пѣсенку, коли-бъ голоскомъ Богъ надѣлил!“—приговариваетъ она о робкихъ молчальникахъ жизни, безмолвно соглашающихся со всѣмъ и всѣми; „Дядя Мосей любить рыбку безъ костей!“—про любителей воспользоваться чужимъ трудомъ на-даровщинку. О бѣднякахъ говорится въ обиходной рѣчи: „Какъ рыба обь ледъ бьется!“, „Какъ рыба безъ воды!“ и т. п. По народному слову, подсказанному жизнью: „Рыба ищетъ гдѣ глубже, человѣкъ—гдѣ лучше!“ Шатающійся изъ стороны въ сторону не пристающій ни къ одному, ни къ другому дѣлу, а потому нигдѣ и не оказывающійся на своемъ мѣстѣ, людъ невольню вызываетъ у трудящихся весь свой вѣкъ трудомъ отцовъ-дѣдовъ замѣчанія, въ-родѣ: „По рѣчному стрежню (быстрому теченію) мечешься—намаешься, а все безъ рыбы останешься!“, или „Держись берега—и рыба будетъ!“ Про распознающихъ другъ-друга людяхъ одного дѣла обмолвилась народная Русь словомъ крылатымъ: „Рыбакъ рыбака—видитъ (чуешь)

издалека! Не любить русскій промышленникъ-торгашъ, когда по сосѣдству съ нимъ неожиданно-негаданно появляется соперникъ, отбивающій у него часть добычи-прибытка: „На одномъ плесу двоимъ рыбакамъ не житье!“—(подобно тому, какъ „двумъ медвѣдямъ—въ одной берлогѣ“) говоритъ онъ. Есть и такіе рыбаки, что - по народному слову— „изъ чужого кармана удятъ“ (воры); встрѣчаются и такіе, что „сами (ротозѣи) въ мережу попадаютъ“. Опасность рыбнаго промысла по большимъ рѣкамъ подсказала рыбакамъ поговорки: „Рыбу ловить—при смерти ходить!“, „Кто въ лѣсу убилъся?—бортникъ! Кто въ рѣкѣ утонулъ?—рыбакъ!“ Трудности, сопряженныя съ этимъ заработкомъ, сложили пословицу: „Безъ труда не вынешь и рыбку-плотичку изъ пруда!“ Преемственность этого труда, перенимаемая отъ поколѣнія другимъ поколѣніемъ, вызвала на свѣтлорусскій просторъ поговорки, то-и-дѣло повторяющіяся по рыбнымъ мѣстамъ: „Отець—рыбачить, дѣти еле ползаютъ, а и то ужъ въ воду смотреть!“ „Дѣдка — рыбакъ, туда - жъ и внуки глядятъ!“ и т. п.

По народной примѣтѣ, связывающей быть рыболова съ бытомъ пахаря, богатые рыбой годы сулятъ завидный урожай хлѣбовъ. Если въ засушливую пору перестанетъ клевать (идти на приманку) рыба,—это обѣщаетъ скорый дождь. По поводу послѣдней примѣты поселщина-деревеньщина, приглядывающаяся къ жизни природы, замѣчаетъ: „Нуженъ дождь—поклонись матушкѣ-водицѣ, пусть рыбку отъ клева отъучитъ!“ Другимъ суевѣрная память прошлаго подсказываетъ слова: „Кто съ Водянымъ ладитъ—у того и дождь вовремя въ полѣ, и рыбы въ неводахъ дводоль!“ По представленію такихъ людей, все рыбное царство отдано судьбою въ распоряженіе этого завѣщаннаго языческой стариною властителя. Въ настоящихъ очеркахъ, посвященныхъ бытописанію народной Руси, упоминалось уже о томъ, какимъ почетомъ очестливымъ окружаетъ Водяного суевѣрная русская память; была рѣчь и про особія „угощенія“, какими по захоластнымъ уголкамъ, крѣпко держащимся за преданія старины, чувствуютъ еще и теперь „добраго (къ памятливымъ рыбакамъ) дѣдушку“ въ особо установленные обычаемъ сроки.

Многіе собиратели памятниковъ простонароднаго изустнаго творчества записали въ свою лѣтописную кощницу загадки, связанныя съ рыбой, рыбаками и рыбачьимъ промысломъ. „Есть крылья, а не летаетъ; ногъ нѣтъ, а не догонишь!“—загадываютъ ярославскіе любители „загануть загадку, перекинуть черезъ грядку“—о рыбѣ; „По землѣ не ходить, а на

небо не глядитъ, гнѣзда не заводитъ, а дѣтей родить!“—подговариваются къ нимъ самарскіе—ставропольскіе („...не ходить, не летаетъ, гнѣзда не завиваетъ!“—вторятъ сосѣди-симбиряки). По всему среднему Поволжью ходятъ такія загадки какъ: „Звалъ меня царь, звалъ меня государь къ ужину, къ обѣду.—Я человѣкъ не такой: по землѣ не хожу, на небо не гляжу, звѣздъ не считаю, людей не знаю!“, „Кину я не палку, убыю не галку, оциплю не перья, съѣмъ не мясо!“, „У красной дѣвушки кушали господа; покушавши, Богу молились:—Благодаримъ тебя, красная дѣвица, за хлѣбъ, за соль, просимъ къ намъ въ гости!—Я по землѣ не хожу, на небо не гляжу, гнѣзда не завожу, а дѣтей вывожу!“ О рыбакахъ рыбаки сложили такія загадки: „По мосту идетъ—ничего не найдетъ, а какъ въ воду вступилъ — всего накупилъ!“ (Новгородск. губ.), „Домъ (вода) шумитъ, хозяева (рыбы) молчатъ, пришли люди—хозяевъ забрали, домъ въ окошки (сквозь неводъ) ушелъ!“ (Тульск. губ.) и т. д.

Народный стихъ о „Голубиной Книгѣ“—устами перемудраго царя—приписываетъ старшинство-главенство надо всѣмъ безсловеснымъ царствомъ „Киту-рыбѣ“:

„Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати.
Почему-же Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати?
На трехъ китахъ земля основана.
Какъ Китъ-рыба потронется,
Вся земля всколебается.
Потому Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати!“

Сохранилась изъ пріуроченныхъ къ вопросамъ о міросозиданіи и міропониманіи памятниковъ старинной русской письменности „Бесѣда Іерусалимская“, имѣющая непосредственную связь съ упомянутымъ стихомъ-сказомъ. Въ ней мѣсто Кита-рыбы отдается „мать Агянъ-рыбѣ великой“, съ которою ставится бокъ-о-бокъ предвѣщаніе о грядущей кончинѣ міра: „какъ та рыба разыграетца, и пойдетъ во глубину морскую, тогда будетъ свѣту преставленіа“.

О нѣкоторыхъ представителяхъ рыбаго царства ведется въ народной Руси свой сказъ—наособицу отъ другихъ. Немалымъ вниманіемъ народа-сказателя пользуются: прожорливая хищница щука, простодушный карась, юркій-увертливый, вооруженный колючками ершъ да толстякъ-осетръ. „На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ!“—говоритъ и не рыбакашій русскій людъ, вызывая передъ слушателями однородную картину изъ человѣческаго обихода житейскаго. По народному повѣрью, эта хищница воднаго царства до такой

степени зла, что и послѣ своей смерти можетъ откусить рыбаку палець: „Щука умерла—зубы остались!“—приговариваютъ краснословы, примѣняя эти слова къ посмертному наслѣдью надѣленнаго щучьимъ нравомъ человѣка. „Какъ щука ни остра, а не возьметъ ерша съ хвоста!“—оговариваютъ въ народѣ хищническія замашки попадающихся, какъ коса на камень—на не легко дающихся въ обиду людей. „Почти плавать щуку, отдай къ карасю въ науку!“; „Стали щукѣ грозить—хотятъ въ рѣкѣ утопить!“—посмѣиваются деревенскіе прибаутки надъ безсиліемъ двуногихъ „карасей“ предъ „щучьимъ“ произволомъ. Недоброе слово знатоки простонародныхъ примѣтъ о щукѣ молвятъ: если плеснетъ передъ рыбакомъ щука хвостомъ—недолго ему осталось жить и рыбачить на своемъ вѣку.

Въ симбирскомъ Поволжьѣ записана Д. Н. Садовниковымъ любопытная сказка про льва, щуку и человѣка. „На рѣкѣ разъ левъ со щукой разговаривалъ, а человѣкъ стоялъ поодаль и слушалъ,“—начинается она. Увидала водяная хищница человѣка—нырнула въ воду: „Чего ты ушла въ воду?“—спрашиваетъ ее царь звѣрей.—Человѣка увидала!—„Ну, такъ что-же?“—Да онъ хитрый!—„Что за человѣкъ! Подай мнѣ, его я съѣмъ!“ И пошелъ левъ на поиски за человѣкомъ: встрѣтилъ мальчика, спросилъ—человѣкъ-ли онъ,—отгорился тотъ, что-де еще только „будетъ“ человѣкомъ; старикъ попался,—я-де „былъ“ человѣкомъ. Шель-шель левъ, такъ и не можетъ найти человѣка. Попадается служивый, съ ружьемъ и при саблѣ. „Ты человѣкъ?“—„Человѣкъ!“—„Ну, я тебя съѣмъ!“—„А ты погоди, отойди отъ меня, я къ тебѣ самъ въ пасть-то и кинусь! Раскрой ее!“ Послушался левъ, и выстрѣлилъ солдатъ ему въ горло, а саблей—по-уху. Ударился въ постыдное бѣгство звѣрь-царь, прибѣжалъ къ рѣкѣ; выплыла щука, спрашиваетъ. „Да что,—отвѣчаегъ левъ,—дѣйствительно хитерь! Сразу-то я его и не нашель: то говорить, что былъ человѣкомъ, то еще будетъ... А какъ нашель, такъ и не обрадовался! Онъ мнѣ велѣлъ отойти да пасть раскрыть; потомъ—какъ плюнетъ мнѣ въ нее, и сейчасъ жжетъ, все внутри выжгло, а послѣ—высунулъ языкъ да ухо мнѣ и слизнулъ!“—„То-то же: я тебѣ говорила!“—сказала щука.

Ершь—что человѣкъ строптивый, на приманки ласковыя не податливый. „Онъ и щукѣ поперекъ горла ершомъ станеть!“—говорятъ въ народѣ. „Ершиться“—противиться, спорить, даже стараться вызвать ссору. По примѣтѣ—ершь, въ первую закинутую съѣть попавшійся, къ неудачному лову. „Ершь—неважное кушанье: съѣшь на грошь, на гривну рас-

плюешь!“—отзывается объ этой строптивой рыбкѣ промышляющая у рѣки посельщина. „Тягался—какъ лещъ съ ершомъ: и оправили, а пошелъ домой нагипомъ!“—подсмѣиваются въ деревнѣ надъ любителями судебной волокиты, которые всю жизнь свою отъ судьбы къ судьбѣ ходятъ и никакого толка-прибытка отъ такого хожденія не видятъ.

Осетръ—„князь рыбій“; не вездѣ и водится эта „красная“ рыба. „Славна Астрахань осетрами, что Сибирь—соболями!“—гласитъ о томъ народное слово. Донцы-казаки прозываются „осетерниками“. „Красны промыслѣ осетрами!“—говорится у рыбаковъ-ватажниковъ на Волгѣ, гдѣ вся рыба осетрового рода скупается для верховыхъ городовъ—столицъ, что и вызвало къ жизни пословицу: „Хлѣбай уху, а рыба—вся вверху!“

Одинъ изъ старшихъ богатырей русскихъ былинныхъ сказаній—Волхъ Всеславьевичъ (Вольга Святославичъ)—является представителемъ мудрости-хитрости, переходящей въ волхвованіе. Вѣщій богатырь-знахарь, развѣзжающій со своей дружиною по городамъ „за получкою“, выбивающій—по былинному слову—„съ мужиковъ дани-выходы“, даетъ своимъ вырисовывающимся изъ сказанія обликомъ яркое воплощеніе „змѣиной мудрости“, объединенной съ красотой-молодечествомъ. Былинныя сказатели именуютъ его сыномъ княжны Марѣы Всеславьевны и змѣя, надѣляя его способностью обертываться, по желанію, то въ „яснаго сокола“, то въ „сѣраго волка“, то въ „гнѣдого тура—золотые рога“, то въ „рыбу-щучинку“. Рожденіе его на свѣтъ бѣлый сопровождалось сотрясеніемъ земли и всколебаніемъ огнѣя моря: „рыба пошла въ морскую глубину, птица полетѣла высоко въ небеса, туры да олени за горы пошли, зайцы, лисицы—по чащицамъ...“ и т. д. Пятилѣтнимъ отрокомъ постигъ онъ всю премудрость, двѣнадцати лѣтъ—собралъ дружину въ тридцать богатырей безъ единаго, „самъ становился тридцатымъ“ и пошелъ-поѣхалъ разгуляться-потѣшиться на охоту молодецкую. Три дни, три ночи ловили его дружинники звѣрьё порсучее—не могли поймать звѣрька ни единаго. Обернулся Волхъ „левомъ-звѣремъ“—наловилъ звѣрья ни вѣсть числа. Ловила дружина послѣ этого три дня, три ночи птицъ—„гусей, лебедей, ясныхъ соколей“, не могла изловить ни „малой птицы-пташицы“. Обернулся Волхъ—„ногой“—птицей, полетѣлъ „по подоблачью“ и одинъ наловилъ птицы видимо-невидимо. И вотъ,—продолжаетъ былинный сказъ,—возговорилъ младъ-богатырь своимъ дружинникамъ:

„Дружина моя добрая, хоробрая!
 Слушайте большого брата атамана-то,
 Дѣлайте вы дѣло повелѣнное:
 Возьмите топоры дроворубные,
 Стройте суденышко дубовое,
 Вяжите путевья шелковыя,
 Выѣзжайте вы на синее море,
 Ловите рыбу семжинку да бѣлужинку,
 Щученьку, плотиченьку
 И дорогую рыбку осетринку,
 И ловите по три дня, по три ночи!

Хоть и набралась не малаго срама исполненіемъ двухъ предыдущихъ приказовъ вѣщаго богатыря-князя, но и на этотъ разъ перечить дружина не перечила: „И слухали большого брата атамана-то, дѣлали дѣло повелѣнное“,—ведетъ свою цвѣтистую рѣчь простодушный народъ-сказатель. Богатырскіе дружинники, неудачливые горе-охотнички, не долго думая, принимаются и за плотничью работу („брали топоры дроворубные, строили суденышко дубовое“), и за плетенье сѣтей („вязали путевья шелковыя...“). Принялись—все по атаманову хотѣнью, по князеву велѣнью сдѣлали: „выѣзжали на синее море, ловили по три дня, по три ночи,—не могли добыть ни одной рыбки...“ И вотъ, какъ и прежде: поправляетъ, незадачу на удачу самъ Волхъ Всеславьевичъ, „повернулся („обернулся“—по иному разносказу), онъ—сударь—рыбой щучинкой и побѣжалъ по синю морю. Заворачивалъ рыбу семжинку, бѣлужинку, щученьку, плотиченьку, дорогую рыбку осетринку...“. Такимъ образомъ и на этотъ разъ, взявшись за дѣло, не посрамилъ вѣщій своей змѣиной мудрости. Случалось (по другимъ былиннымъ сказаніямъ), что и переплывалъ онъ—обернувшись рыбою—моря синія, уходя отъ погони вороговъ, и птицей-соколомъ улѣтывалъ, и звѣрь-туромъ убѣгалъ; только ничего не могъ подѣлать онъ съ позабытою на недопаханной нивѣ сошкой кленовенькою любимаго сына Матери-Сырой-Земли Микулы-свѣтъ-Сеяиновича.

Изъ памятниковъ народнаго изустнаго творчества, перешедшихъ въ древнерусскую письменность, сохранился до нашихъ дней въ рукописномъ сборникѣ XVIII-го столѣтія любопытный „Списокъ съ суднаго дѣла слово въ слово, какъ былъ судъ у Леща съ Ершомъ“. Этотъ Списокъ даетъ яркую картину стариннаго русскаго судопроизводства, съ первой до послѣдней черты проникнутую неподдѣльной —

чисто-народною—веселостью. Царство рыбъ, въ которомъ враждуется дѣло, является, конечно, только подходящей оболочкою внутреннему содержанию; но нельзя сказать, чтобы плавающие по водамъ участники этой судебной волокиты были обрисованы въ недостаточно живыхъ, знаменательныхъ для нихъ (какъ рыбъ) чертахъ. Народъ-повѣствователь, перекладывая здѣсь человѣческіе нравы на иносказательный ладъ, зорко подмѣтилъ всѣ обычаи вооруженныхъ плавниками, одѣтыхъ чешуею дѣйствующихъ лицъ этого сказанія.

Начинается сказъ о судномъ дѣлѣ прямо съ челобитной, изложенной по всему чину стариннаго дѣлопроизводства-сутяжничества. „Рыбамъ господамъ: великому Осетру и Бѣлугѣ, Бѣлой-рыбѣ, бѣть челомъ Ростовскаго озера сынчишко боярскаго Лещъ съ товарищи...“—пишетъ челобитчикъ: „Жалоба, господа, вамъ на злаго человѣка, на Ерша Щетинника и на ябедника“. Далѣе слѣдуетъ самая жалоба: „Въ прошлыхъ, господа, годахъ, было Ростовское озеро за нами; а тотъ Ершъ, злой человѣкъ, Щетинниковъ наслѣдникъ, липилъ насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ жировъ; расплодился тотъ Ершъ по рѣкамъ и по озерамъ...“ По описанію челобитчика—этотъ злодѣй, самовольно завладѣвшій водами, составлявшими наслѣдственную вотчину „боярскаго сынчишки“, не особенно страшень-силенъ, но пронырливъ не въ мѣру и всѣхъ изобидѣтъ норовитъ: „онъ собою малъ, а щетины у него аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ нами на стану—и тѣми острыми своими щетинами подкалываетъ наши бока и прокалываетъ намъ ребра, и суется по рѣкамъ и по озерамъ, аки бѣшеная собака, путь свой потерявъ“... Обрисовавъ въ такомъ непривлекательномъ видѣ своего обидчика. Лещъ обращается къ собственной особѣ: „А мы, господа христиански!“—восклицаетъ онъ. „Лукавствомъ жить не умѣемъ, а браниться и тягаться съ лихими людьми не хотимъ, а хотимъ быть оборонены вами, праведными судьями!“ Выслушали „судьи праведные“ челобитную,—„Ты Ершъ истцу Лещу отвѣчаешь-ли?“—говорятъ. — „Отвѣчаю, господа (держитъ слово Ершъ) за себя и за товарищевъ своихъ въ томъ, что то Ростовское озеро было старина дѣдовъ нашихъ, а нынѣ наше, и онъ, Лещъ, жилъ у насъ въ сусѣдствѣ на днѣ озера, а на свѣтъ не выхаживалъ. А я, господа, Ершъ, Божіею милостію отца своего благословеніемъ и матерними молитвами, не смутчикъ, не воръ, не тать и не разбойникъ, въ приводѣ нигдѣ не бывалъ, воровскаго у меня ничего не вынимывали; человѣкъ я добрый; живу я своею силою, а не чужою; знаютъ меня на Москвѣ и въ иныхъ великихъ городахъ князи и

бояре, стольники и дворяна, жильцы московскіе, дьяки и подьячіе и всякихъ чиновъ люди и покупають меня дорогою цѣною и варятъ меня съ перцемъ и съ шавраномъ и ставятъ предъ собою честно, и многіе добрые люди кушаютъ съ похмѣлья и кушавши поздравляютъ.“ Обѣлили себя пронира-обидчикъ чище снѣга, сослался въ своемъ отвѣтномъ словѣ на самыхъ заслуживающихъ довѣрія свидѣтелей. Какъ не дать ему вѣры! Подумали судьи, опять—къ челобитчику:—„Ты, Лещъ, чѣмъ его уличаешь?“—„Уличаю его (говорить) Божіею правдою да вами, праведными судьями!“ Требуютъ судьи свидѣтелей, которымъ было-бы все вѣдомо про Ростовское озеро. Нашель свидѣтелей обиженный: рыбу-Сига („человѣкъ добрый, живетъ въ нѣмецкой области подъ Ивановъ-городомъ въ рѣкѣ Наровѣ“) да рыбу-Лодугу—изъ обитателей новгородскаго Волхова. Ершъ отводитъ предлагаемыхъ свидѣтелей: „Сигъ и Лодуга—люди богатые, животами прижиточны, а Лещъ такой-же человѣкъ заводной...“ На запросъ судей праведныхъ, что у него, Ерша, за вражда съ такими людьми,—онъ утверждаетъ, что „недружбы“ у него съ ними никакой не бывало, а что-де такъ, ни за что, ни про что, задумали эти люди загубить его—„маломочнаго человѣка“. Сталь ссылатся тогда Лещъ на новаго свидѣтеля—на Сельдь-рыбу изъ Переяславскаго озера; но и противъ Сельди поднялъ голосъ лещовъ обидчикъ, что-де сродни („съ племяни“) она прежнимъ свидѣтелямъ и всегда съ Лещомъ вѣстъ и пьетъ вмѣстѣ. Послали судьи „пристава Окуня“ за переяславской Сельдью, велѣли идти съ нимъ въ понятыхъ Налиму („Мню“). Сталь тотъ отговариваться, не хочетъ идти: „Господине Окуне!“—взмолился: „Азъ не го-жуся въ понятыхъ быть: брюхо у меня велико—ходить не смогу, а се глаза малы—далеко не вижу, а се губы толсты—передъ добрыми людьми говорить не умѣю!“ Пошли за понятыхъ Головель да Езь (язь), доставили на судъ Сельдь переяславскую. И вотъ—показалъ новый свидѣтель, что Лещъ—„человѣкъ добрый, христіанинъ Божій“, а Ершъ—„злой человѣкъ, Щетинникъ“... Плохо и безъ того Ершу становилось, но въ конецъ погубило его въ глазахъ судей новое свидѣтельство его злонравія: заговорилъ самъ Осетръ, сидѣвшій на судейскомъ мѣстѣ,—вспомнилъ онъ о своей собственной обидѣ. „...Когда я шель изъ Волги-рѣки къ Ростовскому озеру и къ рѣкамъ жировать“,—сказалъ онъ,—„и онъ (Ершъ) меня встрѣтилъ на устьѣ и нарече мя братомъ, а я лукавства его не вѣдалъ, а спрошаль про него, злого человѣка, никого не лучилось, онъ меня вопросы: братецъ Осетръ, гдѣ идеши? И азъ ему повѣдалъ... И рече имъ Ершъ: братецъ

Осетръ, когда азъ шелъ Волгою-рѣкою, тогда азъ былъ толще тебя и долѣ, бока мои терли у Волги-рѣки береги, очи мои были аки полная чаша, хвостъ же мой былъ аки большой судовой парусъ, а нынѣ братецъ Осетръ, видишь ты и самъ, каковъ я сталъ скуденъ, иду отъ Ростовскаго озера. Азъ же, господа, слышавъ такое его прелестное слово, и не пошелъ въ Ростовское озеро къ рѣкамъ жировать: дружину свою и дѣтей голодомъ моришь, а самъ отъ него въ конецъ погинулъ...“ Разказалъ Осетръ и про другое—горшее этого—лукавство Ерша Щетинника: зазвалъ его тотъ къ мужику въ неводъ за рыбой—покормиться. „И я на его, господа, прелестное слово положился“,—продолжаетъ Осетръ,—„и въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ да увязъ, а неводъ—что боярскій дворъ: войти ворота широки, а выйти узки. А тотъ Ершъ за неводъ выскочилъ въ ячею, а самъ мнѣ насмѣхался: ужели ты, братецъ, въ неводу рыбы наѣлся? А какъ меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ Ершъ началъ прощатися: братецъ, братецъ Осетръ! Прости, не поминай лихомъ! А какъ меня мужики на берегу стали бить дубинами по головѣ, и я нача стонать, и онъ, Ершъ, рече ми: братецъ Осетръ, терпи Христа ради!...“ Судное дѣло кончилось. Порѣшилъ судъ: „Леща съ товарищи оправить, а Ерша обвинить“. По обычаю—„выдали истцу Лещу того Ерша головою и велѣли казнить торговою казню — бити кнutomъ и послѣ кнута повѣситъ въ жаркіе дни противъ солнца за его воровство и за ябедничество“. Дьякомъ на суду былъ „Сомъ съ большимъ усомъ“, доводчикомъ—Карась, списокъ суднаго дѣла писалъ Вьюнъ, печаталъ Ракъ, а у печати сидѣлъ Снятокъ переславской. „Гдѣ его (Ерша) застануть въ своихъ вотчинахъ, тутъ его безъ суда казнить!“—выдали грамоту на Щетинника. Пожелалъ онъ произнести послѣднее слово подсудимаго: „Господа судьи“,—сказалъ,—„судили вы не по правдѣ, судили по мздѣ. Леща съ товарищи оправили, а меня обвинили!“ И произошло тутъ нѣчто совершенно для судей неожиданное: плюнулъ Ершъ имъ въ глаза и скакнулъ въ хвостъ (въ кусты). „Только того Ерша и видѣли“,—кончается весь сказъ.

Представляя сводъ небесный безпредѣльнымъ воздушнымъ океаномъ, воображеніе русскаго народа видѣло въ плавающихъ по небу тучахъ громаднхъ рыбъ. Ихъ причудливыя очертанія и необычайная подвижность не мало способствовали этому представленію, подсказанному простодушнымъ суевѣріемъ славянину-язычнику. Грозовая-молніеносная туча, иссиня-чернымъ чудовищемъ надвигавшаяся на

лазурь небесную и заслонявшая свѣтъ солнечный, чтобы разразиться громомъ-молніей надъ землею и утолить ея жажду потоками дождя-ливня, казалась суевѣрному взору „чудомъ-юдомъ“ — щукою-великаномъ, проглатывавшею прекрасное свѣтило дня. Проглотивъ его, чудовище мѣста себѣ не можетъ найти отъ жара, сожигающаго всѣ его внутренности; оно мечется изъ стороны въ сторону, пышетъ огнемъ, истекаетъ горячими слезами и, наконецъ, въ полномъ изнеможеніи—выбрасываетъ полоненное солнышко на свободный просторъ, исчезая съ просвѣтлѣвшаго неба-моря.

А. Н. Аванасьевымъ подслушана любопытная русская протонародная сказка, по своему содержанию сближающаяся съ только что описаннымъ представленіемъ. „Быль у мужика мальчикъ-семилѣтокъ—такой силачъ, какого нигдѣ не видано и не слыхано...“—начинается она:—„Послалъ его отецъ дрова рубить; онъ повалилъ цѣлыя деревья, взялъ ихъ словно вязанку дровъ, и понесъ домой. Сталъ черезъ мостъ переправляться, увидала его морская рыба-щука, разинула пасть и схлостнула молодца со всѣмъ какъ есть—и съ топоромъ, и съ деревьями“... Другому человѣку тутъ-бы и смерть пришла, а этому—хоть бы что: „взялъ топоръ, нарубилъ дровъ, досталъ изъ кармана кремь и огниво, высѣкъ огня и зажегъ костеръ“. И вотъ,—продолжается сказка,—„не въ могуто пришлось рыбѣ, жжетъ и палитъ ей нутро страшнымъ пламенемъ. Стала она бѣгать по синю морю, во всѣ стороны такъ и кидается, изъ пасти дымъ столбомъ—точно изъ печи валить; поднялись на морѣ высокія волны и много потопили кораблей и барокъ, много потопили товаровъ и грѣшнаго люда торговаго; наконецъ, прыгнула та рыба высоко и далеко, пала на морской берегъ, да тутъ и издохла... А мальчикъ-семилѣтокъ, мужицкій сынъ, принялся размышлять о томъ, какъ-бы ему освободиться—выйти изъ чудовищной рыбы на вольный свѣтъ. Много-ли, мало-ли думалъ,—вспала ему на разумъ мысль: взялъ онъ за свой топоръ. Рубилъ онъ день, другой рубилъ и третій,—къ исходу четвертаго прорубилъ въ боку у рыбы-щуки оконце, да и вылѣзъ изъ него. На томъ—и сказка досказывается. Вдохновенный изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу даетъ этому дѣтски-наивному произведенію своеобразное объясненіе. Рыба—туча; море—небо; мальчикъ-семилѣтокъ, сидящій въ утробѣ чудовища, высѣкающій огонь и разводящій пламя—изъ породы созданныхъ народнымъ воображеніемъ обитателей облачныхъ пещеръ, карликовъ-кузнецовъ, приготавливающихъ молніеносныя стрѣлы. Въ зимніе мѣсяцы видитъ его народъ-сказатель отдыхаю-

щимъ и набирающимъ силу (ростущимъ); приходитъ на бѣ-
 лый свѣтъ животворящая Весна-Красна,—просыпается въ
 „семилѣткѣ“ богатырская мощь. Какъ древне-славянскій Пе-
 рунъ (воплощеніе солнца), ударяетъ онъ огнивомъ о кре-
 мень-камень; подобно тому-же богу громовъ онъ вооруженъ
 топоромъ и прорубаетъ имъ себѣ дверь изъ мрачной темни-
 цы (зимы).

Въ финской „Калевалѣ“⁹⁰⁾, можно найти такія-же уподоб-
 ленія тучъ, неба, солнца, молній-громовъ, зимы и весны.
 Вотъ въ какіе, на примѣръ, образы воплотилось преданіе о
 похищеніи огня щукой-рыбою. Солнце и мѣсяцъ были за-
 ключены властительницею мрака въ мѣдную гору; вселенной
 грозила гибель. Повелитель вѣтровъ, Вейнемейненъ, сгово-
 рясь съ кузнецомъ Ильмариненомъ, задумалъ спасти за-
 темненный міръ. Взошли они на небо, высѣкли огонь-молнію
 и передали его на храненіе воздушной дѣвѣ. Стала она бе-
 речь огонь, какъ мать—любимое дѣтище: закутала его въ
 облачный покровъ, начала качать-баюкать въ золотой колы-
 бели, подвѣшенной на серебряныхъ ремняхъ къ небесной
 кровлѣ. Какъ-то неосторожно качнула она колыбель—и упалъ
 огонь въ море, озаривъ всю даль блескомъ своихъ искръ.
 Увидала его громадная щука морская и проглотила съ жад-
 ностью прожорливой хищницы, выведенной въ русской сказ-
 кѣ. Какъ и та, принялась она послѣ этого метаться во все
 стороны отъ боли. Невѣдомо что случилось бы съ нею и съ
 огнемъ; но узнали объ этомъ свѣтлые боги, начали ловить
 рыбу, закинули сѣти: попалась похитительница огня. „Я-бъ
 распласталъ эту рыбу, если-бы у меня былъ большой ножъ
 желѣза крѣпкаго!“ — промолвилъ Пейвень-пойка (Солнцевъ
 сынъ) и упалъ съ неба ножъ съ золотымъ черенкомъ, съ
 лезвиемъ серебрянымъ. Распоролъ брюхо рыбѣ-хищницѣ,—
 выкатился изъ нея синій клубокъ, изъ синяго — красный,
 а изъ краснаго—вылетѣлъ огонь, да такой знойной—что опа-
 лилъ бороду старику-пѣвцу вѣщему, повелителю вѣтровъ
 Вейнемейнену, что обжогъ щеки кузнецу Ильмаринену, что
 сжегъ-спалилъ-бы и землю, и воды, если-бы, по пропествіи

⁹⁰⁾ „Калевала“—поэма, составленная финскимъ ученымъ Элиасомъ Лен-
 протомъ изъ произведеній изустнаго пѣснотворчества этого народа. Слово
 „Калевала“—название мифической страны, гдѣ живутъ герои поэмы. Впервые
 появилась она въ печати въ 1835-мъ году, затѣмъ—въ 1849-мъ—вышла въ до-
 полненномъ видѣ, съ которымъ и представляетъ полный сводъ поэтическихъ
 сказаній финновъ. Въ ней—50 пѣсень, всѣ они составляютъ или пересказъ,
 или точное воспроизведеніе старинныхъ „рунъ“, вѣкогда объединявшихъ въ
 себѣ и пѣсню, и заговоръ.

извѣстнаго времени, снова не заковали его туманы-морозы („Похъюла“) въ гору мѣдную.

Въ славянскихъ преданіяхъ встрѣчается чудесная рыба, порождающая сказочныхъ богатырей. Такъ, напимѣрь, рассказываетъ, что жила-была на бѣломъ свѣтѣ одна царица, у которой не было дѣтей, а она только и желала одного счастья на землѣ—просила-молила у Бога сына. Привидѣлся ей вѣщій сонъ, что надо для этого закинуть въ море синее шелковый неводъ и первую вынутую изъ невода рыбу съѣсть. Рассказала царица этотъ сонъ своимъ приспѣшницамъ, приказала закинуть неводъ: попалась всего одна рыба, да и та не простая рыба, а золотая. Зажарили ее, подали на обѣдъ царицѣ, стала та ѣсть да похваливать. Обѣдки, оставшіеся послѣ царицы, доѣла страпуха-кухарка; доѣла—вымыла посуду, вынесла помои любимой черной коровѣ. И вотъ дался царицынъ сонъ въ руку,—въ одинъ и тотъ-же день родились на бѣлый свѣтъ три сына: Иванъ-царевичъ, Иванъ-кухарченкокъ да Иванъ-коровинъ-сынъ. Шло-проходило время; выросли они, выровнялись всѣ молодецъ въ молодца, стали богатырями могучими.

Русскій сказочникъ-народъ придаетъ иногда шукѣ такую сверхъестественную, всеобъемлющую силу, что только диву даются всѣ видящіе проявленіе этой-послѣдней. Попадаетъ такая чудодѣйная рыба въ руки, все равно—хоть Ивану-царевичу, хоть Емель-дурачку—измѣняетъ она обычной нѣмотѣ своей сестры-брата,—начинаетъ голосомъ „провѣщать“ человѣческимъ: „Отпусти меня въ воду, пригожусь тебѣ!“—говорить. Научаетъ она произносить всякій разъ какъ только понадобится ея помощь, слова: „По моему прошенью, по щучьему велѣнью!“ . Всякое-де желаніе, связанное съ этими волшебными словами, исполняется немедленно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается; но глубоко запали въ память народную эти слова: еще до сихъ поръ то-и-дѣло можно услышать присловье—„по щучьему велѣнью“—относящееся ко всему совершающемуся съ поразительной быстротою. Таковымъ — изъ ряда выходящимъ — почетомъ окружаетъ охочій до сказокъ пахарь-народъ заставляющую не дремать кроткаго карася прожорливую представительницу царства рыбъ.

Народное пѣсенное слово говоритъ о шукѣ-рыбѣ хоть рѣдко, да мѣтко: оно надѣляетъ ее всѣми признаками богатства несмѣтнаго. Вотъ, напимѣрь, въ какомъ блестящемъ видѣ предстаетъ она воображенію слушателей одной изъ святочныхъ—прозывающихся „подблюдными“—пѣсень:

„Щука шла изъ Новагорода,
 Слава!
 Она хвостъ волокля изъ Бѣлоозера,
 Слава!
 Какъ на щукѣ чешуйка серебряная,
 Слава!
 Что серебряная, позолоченная,
 Слава!
 Какъ у щуки спина жемчугомъ оплетена,
 Слава!
 Какъ головка у щуки унизанная,
 Слава!
 А на мѣсто глазъ дорогой алмазь,
 Слава!“

Кому поется эта пѣсня, тому этимъ-самымъ высказывается, по русскому старинному обычаю, пожеланіе богатѣть съ каждымъ годомъ и даже болѣе того—„не по днямъ, а по часамъ“. Съ такимъ пожеланіемъ имѣеть несомнѣнную связь повѣрье о томъ, что на днѣ окіанъ-моря лежитъ драгоценный кладъ (не имѣющій по стоимости равнаго во всемъ мірѣ), и что къ этому кладу приставлена сторожемъ все та-же щука, на которую простонародное воображеніе возлагаетъ такъ много разностороннихъ обязанностей. Не зная удержку въ своемъ творческомъ полетѣ-размахѣ, народъ-сказатель доходитъ иногда даже до такихъ предѣловъ преувеличенія, что заставляеть щуку-великана перекидываться мостомъ черезъ море синее. Идутъ и ѣдутъ по этому живому зыбкому мосту русскіе сказочные богатыри, свойствами которыхъ надѣляются порою и нѣкоторые облюбованные стихійною русской душою перешедшіе въ область сказаній святые угодники Божіи (Георгій-Побѣдоносець, Феодоръ-Тиронъ и др.). Бывало, по народному сказочному слову, и такъ, что на хребтѣ благодѣтельница-щуки переправлялись, какъ на конѣ переезжали, русскіе Иваны-царевичи съ берега на берегъ даже самое окіанъ-море.

У польскихъ сосѣдей русскаго пахаря—въ Маріампольскомъ у. Сувальской губерніи существуетъ—или, по крайней мѣрѣ, не такъ давно существовало—повѣрье о томъ, что одно изъ тамошнихъ озеръ (имя рекъ) выбрала себѣ для жилья щука-великанъ, прозвищемъ Струкись. Эта громадная рыба захватила полную власть надо всѣмъ населеніемъ озера: за всѣмъ-то она слѣдитъ зоркими глазами, все видитъ, все бережетъ, — не украсть у нея не единой плотички.

Однажды въ цѣлый годъ засыпаетъ Струкись,—и то всего-то на одинъ часъ,—во все-же остальное время бодрствуетъ, наблюдаючи за своимъ рыбимъ народомъ. Въ стародавнѣе годы сонъ смежалъ зоркіе щучьи глаза зубастой самозванной властительницѣ всегда въ одно и то-же время—въ ночь на Ивана-Купалу (съ 23-го на 24-е іюня). Но вотъ какой-то смѣлый рыбакъ, спровѣдавъ объ этомъ, вздумалъ отправиться на рыбную ловлю какъ-разъ въ эту пору,—поѣхалъ, наловилъ рыбы видимо-невидимо. Проснулась щука, увидѣла нарушителя ея правъ и успѣла опрокинуть его лодку—утопить дерзкаго, а всю рыбу вернуть въ свои владѣнія. Съ той поры никто не знаетъ, въ какой день-часъ уляжется Струкись для кратковременнаго отдыха на свои подушки изъ золотого песку. Такъ,—говорять въ народѣ,—никому никогда и не поймать въ озерѣ ни единой рыбешки. Пытаются рыбаки закидывать сѣти, да всякій разъ прорываетъ ихъ щука-Струкись: только убытокъ одинъ.

Со всякой, даже съ самой обыкновенною—водящейся чуть-ли не въ каждой рѣчкѣ, щукой-рыбою связывается въ народномъ предствленіи та или другая примѣта. Если попадетъ зубастая хищница при весеннемъ, первомъ послѣ вскрытія водѣ, уловѣ,—то на нее обращается особое вниманіе. Вспарываетъ рыбакъ ей брюхо,—смотритъ, много-ли икры. Толще икранный слой къ головѣ—это говоритъ ему о томъ, что урожайнѣе будутъ ранніе посѣвы въ яровомъ полѣ; къ хвосту сбивается комкомъ икра—надо переждать, сѣять попозднѣе; если-же вся икра поровну разложена,—когда ни сѣять, все равно: уродится хлѣбъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ такой, что „до Аксиньи-полухлѣбницы“ (24-го января) не хватить. Хребтовую кость щучью совѣтуетъ умудренная жизнью прадедовъ поселщина-деревенщина, вѣшать на воротной притолокѣ (отъ мороваго повѣтрія); щучьи зубы, по увѣренію знахарей-вѣду новъ, вѣрнѣе вѣрнаго оберегаютъ носящаго ихъ въ ладонѣ на шеѣ отъ укушенія ядовитыхъ змѣй.

Къ зубастой щуцѣ приравниваетъ деревенскій людъ и такое явленіе природы, какъ срывающій солому съ крышъ вихоръ буйный: „Щука хвостомъ махнула—крышу слизнула, лѣсъ до сырой земли согнула!“—говоритъ онъ. Коса острая и кривой серпъ, подъ-корень срѣзывающіе злаки-былія, также вызываютъ въ воображеніи народа-краснослава сравненіе съ прожорливой хищницею царства рыбъ: „Щука-хапуга (коса) хвостомъ (лезвіемъ) мигнула—лѣса (травы) пали, горы (копны) встали!“, „Щука (серпъ) прянетъ, весь лѣсъ (нива) вянетъ!“.

Не мало и другихъ красныхъ образностью словъ крылатыхъ сказалось-молвилось на Руси про рыбъ. Поселилъ русскій пахарь-сказатель ђ-бокъ съ осетрами, щуками, карасями и всякимъ другимъ чешуйчатымъ народомъ и „морскихъ людей“— безобразныхъ чудовищъ, и вѣчно молодыхъ голосистыхъ чаровницъ (красавицъ—ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать!)—дѣвъ русалокъ съ рыбьимъ хвостомъ.



LVII.

Змѣй-Горынычъ.

О змѣяхъ вообще нашъ пахарь-народъ обмолвился не особенно многими словами, занесенными въ сокровищницу живучихъ памятниковъ родной старины. Змѣя—это пресмыкающееся по землѣ и жалящее человѣка въ пята животное, распадающееся на множество видовъ, не уживается съ суровыми свойствами природы тѣхъ мѣстъ, откуда пошла и стала быть кондовая народная Русь, обогатившая пытливыхъ кладоискателей слова неощутимыми-нетлѣнными богатствами, завѣщанными позднему потомству изслѣдователей русскаго народнаго быта. На русскомъ привольѣ-просторѣ,—если обойти молчаніемъ новыя неоглядныя земли, приросшія къ его богатырской основѣ (Среднюю Азію, Кавказъ, Крымъ, Амурскій край),—у себя дома всего только двѣ ядовитыхъ змѣиныхъ породы: гадюка да родная сестра ея—мѣдянка. Ужь—совершенно безвредное существо—какъ-будто даже и не змѣя, а только сродни ей приходится, да и сродни только по виду своему змѣиному, а нравомъ совсѣмъ на иной складъ: спокойный, уживчивый и даже добрый по свѣому. Тамъ, гдѣ водятся ужи (по водянымъ зарослямъ да по болотинѣ), ихъ даже и за змѣй не считаютъ. „Прижали—какъ ужа вилами!“—ходить по-людямъ пословица, относящаяся къ пойманнымъ волжи и вообще поставленнымъ въ безвыходное положеніе людямъ. „Подъ мостомъ, мостомъ яристомъ, лежитъ свинья кубариста!“—загадываетъ про свернувшася ужа старая загадка (Казанск. губ.). „Дронъ Дровычъ, Иванъ Иванычъ сквозь воду проходить, на себѣ огонь проносить!“—подговаривается къ ней другая, подслушанная въ тульской округѣ. И ни въ той,

ни въ другой нѣтъ и слѣда злобнаго-опасливаго отношенія къ этому смиренному представителю ненавистнаго людямъ рода змѣйнаго, огуломъ окрещеннаго у насъ въ народѣ—„гадомъ ползучимъ“, „змѣей подколодною“, „проклятой нечистью“ и тому подобными именами. Простонародное повѣрье приписываетъ ужю даже спасительный для всего человѣчества подвигъ: „Мышь прогрызла Ноевъ ковчегъ, а ужъ—заткнулъ собой дыру“,—гласить оно: „только этимъ и остался живъ на святой землѣ грѣшенъ человѣкъ!“ На симбирскомъ Поволжьѣ можно еще и теперь услышать такую многозначительную пословицу, относящуюся къ этому безобидному обитателю сырыхъ мѣстъ, какъ: „Не присмотришься, такъ и ужа отъ змѣи не отличишь,—не то что добраго человѣка отъ злого!“ Не такимъ словомъ поминаютъ на Руси ядовитыхъ гадюкъ; недаромъ говорится: „всякій гадъ—на свой ладъ!“ Про нихъ—и про черную съ зубчатою пестриной по хребту, и про мѣдьянистую съ отливомъ—вылетѣла изъ народныхъ устъ такая нечестная родословная: „У змѣи-гадюки чортушка—батюшка, нечистая сила—матушка!“ О ней-же идетъ по-людямъ и такая молвь крылатая: „Нѣтъ хуже гадины, какъ змѣи-гадюкы!“ „Гадюку завидишь—глаза навѣкъ изгадишь!“, „Не гадюкъ-бы поганой матушку-землю свернить!“, „Завелась гадюка—весь дѣсь нечистью пропахъ!“.

Въ простонародномъ воображеніи змѣя является живымъ олицетвореніемъ всего нечистаго, возбуждающаго смѣшанное съ ужасомъ отвращеніе, всего злого, лукаваго, вредоноснаго. „Змѣя умираетъ,—а все—зелъе хватаетъ!“—отзывается народъ нашъ о злыхъ, жадныхъ до неправедной наживы людяхъ; „Сколько змѣю ни держать, а бѣды отъ нея ждуть!“—о лукавыхъ; „Выкормилъ змѣйку на свою шейку!“, „Отогрѣлъ змѣю за пазухой!“—о черной неблагодарности. Видитъ наблюдательный русскій краснословъ рядомъ съ собой льстеца-притворщика,—и про того готова у него живая рѣчь: „Лстець подь словами—змѣй подь цвѣтами!“... „Глядитъ—что змѣя изъ-за пазухи!“—обмолвилась народная Русь про смотрящаго изъ-подлобья, не въ мѣру подозрительнаго человѣка. Нѣтъ для открытаго другу-недругу глубокаго сердца народнаго ничего хуже лихой клеветы на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ: „Клевета—змѣя“,—вырвалось изъ этого сердца гнѣвное слово: „изъ-подъ куста укусить!“, „Клеветникъ змѣей лютою извивается!“, „У клеветы жало змѣинное!“ и т. д. Но, по народному-же слову, клеветнической навѣтъ—больнѣй жала змѣйнаго: „Змѣю завидишь—обойдешь, клевету-заслышишь.—не уйдешь!“. Сродни этому выраженію народной мудрости и та-

кія мѣткія изреченія, какъ: „Лучше жить со змѣей, чѣмъ со злою женой!“, „Сваха лукавая—змѣя семиглавая!“, „Недобрый свать—змѣѣ родной брать!“.

Простонародныя загадки рисуютъ „змѣю подколодную“ на разные лады. То она представляется воображенію стихійнаго художника слова „кускомъ желѣза“, лежащимъ среди лѣсу (Нерчинск. окр.), то—стоящимъ „подъ горой-горой вороннымъ конемъ“, котораго „нельзя за гриву взять, нельзя погладить“ (Олонецк. губ.), то тѣмъ, что—„по землѣ ползеть, а къ себѣ не подпускаетъ“ (Вологодск. губ.). Курская загадка—подъ-стать нерчинской: „Среди лѣса-лѣса лежитъ шмать желѣза, ни взять, ни поднять, ни на возъ положить!“—гласитъ она. Въ новгородскомъ залѣсѣѣ ходитъ такое загадывающее про змѣю слово: „Подъ мостомъ, подъ яростомъ, лежитъ кафтанъ съ яростью; кто до него дотронется—тотъ кровью омоется!“. Общая всеѣ словоохотливой деревенщинѣ-посельщинѣ загадка зоветъ змѣю „изъ куста шипулей, за ногу типулей“. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ загадку о змѣѣ представляютъ въ трехъ лицахъ (змѣя, сабля и муравейникъ),—говоря: „Зло во злѣ горѣло, зло злу покорилося, зло по злу и вышло!“ (Псковск. губ.), или: „Иду я путемъ-дорогой, ползеть зло; я это зло зломъ поддѣлъ, во зло положилъ, зломъ попользовался!“ (Самарск. губ.). Перехвачена по пути изъ усть въ другія и такая загадка: „Ползло зло (змѣя); я зло (ружье) схватилъ да зломъ злу жизнь прекратилъ!“.

Въ стародавніе годы,—гласитъ сѣверно-русское преданіе—было по всеѣ Двинской (сѣверной) округѣ всякаго гада ползучаго многое-множество: кишмя-кишѣли змѣи-гадюки: ни проходу, ни проѣзду по дорогамъ отъ ихъ змѣиной лихости не было. Давно это было,—не запомнятъ и дѣды нашихъ пращѣдовъ. Лютоваль змѣиный родъ, нагонялъ страхи и на Русь, и на нерусь—чудъ бѣлоглазую; да послалъ Богъ добраго человѣка знающаго: заклялъ онъ ихъ единымъ словомъ на вѣки вѣчныя. Въ житіи св. Александра Огневенскаго, подвизавшагося на рѣкѣ Чурьюгѣ, близъ Каргополя, имѣются такія—близкія къ упомянутому изустному преданію—слова: „молитвами его ползающіе змѣеве съ Каргопольской земли изгнани, и о памяти его во второ-первую недѣлю Петрова поста въ житіи не написано, но въ нѣ всенародное множество праздновати вѣнечника Александра память молитвоприношеніемъ: за умерщвленіе чувственныхъ змѣевъ“.

Знаетъ народъ-пахарь и такія средства, если не исцѣляющія, то утоляющія боль, при укушеніи змѣею, какъ вѣдомыя

лѣчейкамъ травы, посѣянные по лѣснымъ полянамъ рукою Творца-святеля на потребу-цѣльбу человѣческую; но не прочь онъ—по примѣру дѣдовъ—и въ наши дни оборониться отъ змѣиной лихости завѣщаннымъ пращурами заговорнымъ словомъ. „Змія Македонца!“—гласитъ одинъ такой заговоръ: „Зачѣмъ ты, всѣмъ зміямъ старшая и бѣльшая, дѣлаешь такіе изъяны, кусаешь добрыхъ людей? Собери ты своихъ тетокъ и дядей, сестеръ и братьевъ, всѣхъ родныхъ и чужихъ, вынь свое жало изъ грѣховнаго тѣла у раба (имя рекъ). А если ты не вынешь своего жала, то найду на тебя грозную тучу, камнемъ побьешь, молніей позжеть. Отъ грозной тучи нигдѣ ты не укроешься; ни подъ землею, ни подъ межою, ни въ полѣ, ни подъ колодою, ни въ травѣ, ни въ сырыхъ борахъ, ни въ темныхъ лѣсахъ, ни въ оврагахъ, ни въ ямахъ, ни въ дубахъ, ни въ норахъ. Сниму я съ тебя двѣнадцать шкуръ съ разными шкурами, сожгу самою-тебя, развѣю по чистому полю. Слово мое не пройдетъ ни въ вѣкъ, ни вовѣкъ!“... Если же ужалить черная гадюка, а не какая другая сестра ея, то старинное русское чернокнижіе завѣщало своимъ вѣдунамъ иное властное надъ ядомъ змѣинымъ слово. „На морѣ на Окіанѣ,—гласитъ оно,—на островѣ Буянѣ, стоитъ дубъ ни нагъ, ни одѣтъ; подъ тѣмъ дубомъ стоитъ липовый кустъ; подъ тѣмъ липовымъ кустомъ лежитъ золотой камень; на томъ камнѣ лежитъ руно черное, на томъ рунѣ лежитъ инорокая змія Гарафена. Ты, змія Гарафена, возьми свое жало, изъ раба (имя рекъ), отбери отъ него недуги. А коли ты не возьмешь свое жало, не отберешь недуги, ино я выну два ножа булатные, отрѣжу я у зміи Гарафены жало, положу въ три сундука желѣзные, запру въ два замка нѣмецкіе. Ключъ небесный, земный замокъ. Съ этого часу съ полудня, съ получасу да будетъ бездыханна всякая гадюка и ужаленія ея въ неужаленія! А вы, зміи и змійцы, ужи и ужицы, мѣдяницы и сарачицы—бѣгите прочь отъ раба (имя рекъ) по сей вѣкъ, по сей часъ! Слово мое крѣпко!“

Суевѣрные люди приписывали зміямъ силу чаръ въ различныхъ случаяхъ жизни, но болѣе всего вѣрили въ „любовный приворотъ“ съ помощью этихъ чаръ. Такъ, по совѣту знахарей, хаживали они въ лѣсъ, разыскивали тамъ гадюку. Найдя, они заранѣе заговоренною палкой-рогулькою должны были прижать змѣю къ землѣ и продѣть черезъ змѣиные глаза иголку съ ниткою. При этомъ обязательно должно было произносить слова: —„Змѣя, змѣя! Какъ тебѣ жалко своихъ глазъ, такъ чтобы раба (имя рекъ) любила меня и жалѣла!“ По возвращеніи домой надо было поскорѣе стараться

продѣть платью приглянувшейся красной дѣвицы этой иголкою, но тайно ото всѣхъ, а отъ нея—наособицу. Если удастся продѣлать все это,—любовь приворожена навѣки. Другіе знахари подавали совѣтъ: убить змѣю, вытопить изъ нея сало, сдѣлать изъ сала свѣчку и зажигать ее всякій разъ, когда замѣчаешь остуду у любимаго человѣка. „Сгоритъ змѣиная свѣча, и любовь погаснетъ,—ищи другую!“—приговаривали вѣдуны.

Въ любопытномъ памятникѣ русской письменности первой половины XVII вѣка—„Лексиконъ славенорусскій, составленный всечестнымъ отцемъ Киръ Памвою Берындю“ (іеромонахомъ, завѣдывавшимъ исправленіемъ книгъ въ Кіевопечерской лаврской типографіи), къ слову „змій“ относится поясненіе: „ужъ, гадина, змія, земный смокъ, морской смокъ.“ Что составителю словаря разумѣлъ подъ словомъ „смокъ“—пресмыкающееся, это вполне ясно,—недаромъ онъ въ предисловіи своемъ „ко любомудрому и благочестивому читателю“ говоритъ: „Читать, а не разумѣть, глупая рѣчь есть!“ По общепринятому у всѣхъ народовъ повѣрью, змѣямъ приписывается не только лихость злая („кусаетъ змѣя не для сытости, а для лихости!“), а и мудрость; но мудрость эта—отъ лукаваго, идетъ на пагубу.

Если-бы рѣчь шла только о видимыхъ всѣмъ змѣяхъ, то народъ-сказатель прибавилъ-бы ко всему сказанному очень немного. Но шагающее семиверстными шагами, залетающее въ заоблачную высь поднебесную воображеніе завѣщало ему безконечную цѣпь другихъ сказаній, связанныхъ съ этимъ ползучимъ гадомъ, пресмыкающимся по лицу земликормилицы. Мудрый змій—образъ воплотившагося врага рода человѣческаго, діавола, заставившаго изгнаннаго прародца людей—по словамъ глубоко-трогательнаго стиха духовнаго—плакать у вратъ потеряннаго рая и восклицать: „Увы мнѣ, увы мнѣ, раю мой, раю мой, прекрасный мой раю!“ и повторять, обливаясь слезами раскаянія: „Меня ради, раю, таковъ сотворенъ бысть! Прельсти мя Евва, изъ рая изгнала, рай заключила запрещеннымъ дѣломъ. Увы мнѣ коль грѣшну, увы окаяну!“...

Лукавый соблазнитель прародительницы человѣчества, прогнанный Богомъ и людьми діаволь-змій, навѣки осужденный пресмыкаться и жалить человѣка въ пятую, воплотился въ пылкомъ народномъ воображеніи въ крылатаго змѣя, прародителя не только обитающей въ преисподней нечисти, но и всѣхъ сказочныхъ огнедышащихъ драконовъ, о которыхъ пошла гудать вдоль по народной Руси изукрашенная пе-

страдью сказаній молвь, для которой нѣтъ на свѣтѣ никакого удержу. Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ переходять древнія преданія о драконахъ-змѣяхъ—одно другого цвѣтисте, ведущія простодупную рѣчь о самыхъ мудреныхъ вещахъ. Подобныя сказанія, очевидно, завѣщаны праѣдамъ современныхъ сказателей отъ временъ глубокой древности, безслѣдно затонувшихъ въ бездонномъ океанѣ забвенія. Они свойственны и не одной народной Руси, и не однимъ единокровнымъ съ послѣднею, когда-то жившимъ одною съ ней жизнью, славянскимъ племенамъ, но и такимъ праотцамъ народовъ—какъ китайцы. У нихъ крылатый огнедышащій змѣй русскихъ сказокъ до сихъ поръ является предметомъ особаго суевѣрнаго почитанія, граничащаго съ обожествленіемъ. Какъ и русскій Змѣй-Горынычъ, онъ представляетъ собою сказочное чудище, похожее и на крокодила, и въ то-же самое время на удава—эту „змѣю, всѣмъ змѣямъ большую“. Хотя онъ, волею воображенія сыновъ Небесной Имперіи, и лишенъ крыльевъ (у русскаго сказочнаго змѣя — ихъ не-то шесть, не-то двѣнадцать), но также можетъ взлетать выше облака ходячаго, также дышетъ огнемъ-пламенемъ. Ему повинуются и земля, и воды, и самыя свѣтила небесныя. Такъ и въ русскихъ стародавнихъ сказаніяхъ,—память о которыхъ осталась въ народѣ только невнятнымъ отголоскомъ смутныхъ пережитковъ преданнаго забвенію прошлаго,—подобный китайскому дракону „огнеродный змѣй Елеафамъ“, изъ устъ котораго исходятъ „громы пламеннаго огня, яко стрѣлено дѣло“, а изъ ноздрей—„духъ, яко вѣтръ, воздымающій огонь геенскій“, сотрясаетъ по своей волѣ основы Матери-Сырой-Земли, производя „трусъ“ и „потопъ“. Какъ во власти созданнаго суевѣріемъ китайцевъ—дракона—производитъ лунное и солнечное затменія,— такъ и сказочный Змѣй-Горынычъ порою скрадываетъ съ небеснаго свода пресвѣтлое свѣтило свѣтилъ земныхъ—солнце—и, налегая чешуйчатой грудью на ясный ликъ вроткой луны, заслоняетъ трепетный свѣтъ ея ото взора человѣческаго и повергаетъ въ ужасъ всю живую природу. По мнѣнію китайцевъ, драконъ держитъ въ своей властной рукѣ орошающіе землю дожди,—какъ держала ихъ поселенная позабытымъ въ народѣ словомъ въ лонѣ небеснаго моря-окіяна на островѣ Буянѣ „змѣя, всѣмъ змѣямъ старшая и большая“. Подобно Змѣю-Горынычу древнерусскихъ сказочныхъ былей, сложившихся въ сердцахъ пѣснотворца-народа, этотъ грозный духъ, до сихъ поръ не пережившій преданій о себѣ среди четырехсотмилліоннаго населенія еще недавно бывшей для всѣхъ

столь таинственною страны, можетъ „залегать дороги прямо-ѣзжія“. Многое-множество другихъ, уже совсѣмъ не прису-щихъ духу русскаго народа, свойствъ приписываетъ суевѣріе желтолицыхъ сыновъ Неба созданному ими генію земного зла, иногда даже и совершенно искренне покровительству-ющему имъ,—такимъ образомъ порождая зломъ добро, какъ ни противорѣчитъ послѣднее обстоятельство простому здравому смыслу. Но, въ свою очередь, надѣленъ совершенно особыми качествами и русскій драконъ Змѣй-Горынычъ, по всей вѣроятности зародившійся изъ одного и того-же источника преданій, въ одинаковой степени свойственныхъ всѣмъ народамъ, вышедшимъ изъ „колыбели человѣчества“—Азіи. Вѣроятно, въ могучемъ складѣ русскаго пахаря-народа, породившаго столькихъ богатырей, не было—на счастье родной ему земли—тѣхъ тлетворныхъ задатковъ духовнаго разложенія, которые къ концу XIX-го столѣтія оставили Китай все подъ тою-же властью созданнаго шесть тысячъ лѣтъ назадъ пугала. Если и было когда-нибудь, въ позабытыя всѣми времена суевѣрное обожествленіе змѣя-дракона въ народной Руси (что очень сомнительно для знакомыхъ съ развитіемъ древнеславянскаго языческаго богословія!),—то еще въ незапамятные годы успѣлъ несокрушимый духъ русскаго народа „стереть главу змію“ этого обожествленія. Ни Бѣльбогъ съ Чернобогомъ, ни Небо-Сварогъ съ Матерью-Сырой-Землею,—не говоря уже о позднѣйшихъ божествахъ еще не просвѣщеннаго Тихимъ Свѣтомъ вѣры Христовой народа (Бѣльбожичахъ со Сварожичами) не напоминали своимъ общеніемъ съ народнымъ духомъ ничего китайскаго. Они были совершенно самобытнымъ явленіемъ въ лѣтописяхъ постепеннаго саморазвитія русскаго міропониманія. Змѣй-же Горынычъ — хотя и существовалъ въ нашемъ народномъ суевѣрїи и до сихъ поръ не совсѣмъ чуждъ воображенію народа-пахаря, — всегда былъ яркимъ созданіемъ однѣхъ только сказокъ, представлявшимъ порожденіемъ нежити-нечисти, не заслуживавшей никакого поклоненія-почитанія, хотя и вынуждавшей своимъ лукавствомъ ограждать отъ нея всякими причетами-заговорами. И Лѣсовикъ со Степовымъ, и Водяной, и Полевикъ,—не говоря уже о покровителѣ домашняго очага „дѣдушкѣ“ Домовомъ,—всѣ вмѣстѣ и каждый на-особицу—пользовались въ русскомъ народѣ несравненно бѣльшимъ почитаніемъ, чѣмъ это чудище, несмотря на всю его силу-мочь. И это явленіе вполне объяснимо. Стоитъ только вспомнить, что въ лицѣ названныхъ созданій народнаго суевѣрїя воплощаются любовно льнуція къ суевѣрному сердцу

помышляющаго и не объ одномъ только хлѣбѣ насущномъ вѣрнаго сына земли-кормилицы преданія о духахъ-покровителяхъ, имѣющія осязательную связь съ древнимъ вѣрованіемъ въ загробное покровительство предковъ, витающихъ вокругъ поселеній своего потомства, что ни день поливающаго родную землю трудовымъ потомъ, порою слезами, а въ годы Божьей немилости—и кровью. Змѣепоклонство, распространенное и не въ однихъ предѣлахъ неподвижной Средней Имперіи, а и у многихъ другихъ народовъ, все еще находящихся подъ властью язычества, никогда не было свойственнымъ духу русскаго народа. Народная Русь, и на самой первобытной степени развитія, всегда относилась къ змѣямъ—какъ къ низшему (хотя и одаренному лукавой мудростью) существу, не позволявшему ей могучему, рвущемуся отъ земныхъ предѣловъ къ небеснымъ нивамъ, духу искать въ пресмыкающемся предметѣ обожествленія. Летучій огнедышащій драконъ, и устрашая своимъ видомъ трепетавашаго передъ нимъ сына матери-земли, оставался все тѣмъ-же змѣемъ. Въ то время какъ другіе народы видѣли въ драконѣ предметъ поклоненія, нашъ пахарь выходилъ на борьбу съ этимъ грознымъ чудищемъ, высылая противъ него своихъ могучихъ сыновъ. Драгоценнѣйшіе памятники русскаго народнаго слова—былины кievскаго періода сохранили отъ забвенія могучіе образы богатырей, выступавшихъ на единоборство съ грознымъ воплощеніемъ всего лукаваго, поработашающаго. Эти богатыри—плоть отъ плоти, кость отъ кости народнои; въ ихъ, выходящихъ изъ всякихъ границъ обыденнаго, обликахъ чувствуется мощное бiеніе стихійнаго народнаго сердца. Въ нихъ возстаетъ передъ взоромъ современнаго читателя-слушателя одухотворенный вѣрою въ торжество свѣтлой-праведной свободы Земли Русской могучій своею тысячелѣтней самобытносью духъ русскаго народа, которому—все по-плечу, для котораго нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ ничего невыполнимаго-непосильнаго. Передъ высокой силою воли созданныхъ народомъ-пахаремъ богатырей, одушевленныхъ неугасимымъ пламенемъ нелицемѣрной любви къ воскормившей-воспоившей ихъ родной землѣ, въ позорномъ безсиліи никнетъ кичащаяся своимъ дородствомъ сила залегающихъ пути-дороги, облегающихъ города православные, требующихъ данью въ свои пещеры змѣиныя дочери и женъ русскихъ—на съдѣніе и поруганіе Змѣевъ-Тугариныхъ, Тугариновъ Змѣевичей, Змѣищъ-Горынчищей. Меркнетъ передъ свѣтомъ ихъ горящаго своею дѣйствительною вѣрою сердца чадное полмя дракона лютаго.

Змѣй-Горынычъ какъ и китайскій прообразъ, его является, обитателемъ пещеръ, уходящихъ въ неизвѣданныя глубины горъ,—оттого-то, по объясненію изслѣдователей древнихъ сказаній, и звался-величался онъ „Горынычемъ“. „Змія лютая пещерная“,—прозываютъ это чудище народные стихи духовные. Въ „Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа“ Н. И. Костомарова—въ главѣ о народныхъ вѣрованіяхъ—приводится любопытная выписка изъ памятника русской отреченной письменности, относящаяся къ описанію русскаго драгона, именующагося здѣсь „змѣей-аспидомъ“. Онъ, по словамъ этого сказанія, обитаетъ въ „печорскихъ горахъ“—на крайнемъ сѣверѣ свѣтлорусскаго простора. „Аспидъ, змія крылата,—гласитъ сказаніе,—нось имѣть птичей и два хобота, и въ коей землѣ вселится—ту землю пусту учинить; живеть въ горахъ каменныхъ, не любитъ ни трубнаго гласа: пришедше-же обаянницы обаяти ю и копають ямы и садятся въ ямы съ трубами и покрываются дномъ желѣзнымъ и замазываются сунклитомъ и ставятъ у себя угліе горящее: да разжигаютъ клещи, и егда вострубятъ, тогда она засвищеть, яко горѣ потрястися, и, прилетѣвши къ ямѣ, ухо свое приложить на землю, а другое заткнетъ хоботомъ и, нашедъ диру малу, начнетъ битися; человекъ же, ухвативши ю клещами горящими, держатъ крѣпче; отъ ярости же ея сокрушаются клещи не едины, не двои и не трои, и тако сожжена—умираеть; а видомъ она пестра всякими цвѣты и на землі не садится, только на камень“...

Есть сказанія, по которымъ пещеры Змѣй-Горыныча находятся на берегахъ рѣкъ—то Днѣпра, то Волги, то сказочныхъ „Сафатъ“-рѣки и „Израй“-рѣки. Летитъ Змѣй по-небу,—самъ чернѣе тучи, а изо рта огонь пышетъ, искрами по всей поднебесной-„подселенной“ разсыпается. Гдѣ опустится онъ на землю,—все огнемъ спалитъ. Вздумаетъ поселиться гдѣ по близости отъ людскаго жилья—запретъ-отведетъ воды рѣчныя, если не дадутъ ему, Змѣю, давей-выходовъ. А дани его—не золото, не серебро, а живая плоть-кровь человѣческая. Истребитъ онъ всѣхъ людей до единого, если не сдѣлать по его: не приводить къ нему на съѣденіе-поруганіе женъ-дочерей, дѣтей малыхъ!..

По инымъ сказаніямъ, позднѣе сложившимся въ народной Руси и примкнувшимъ къ болѣе раннимъ, летаетъ чудище-Змѣй изъ своихъ невѣдомо гдѣ затерявшихся пещеръ только къ приглянувшимся ему красавицамъ. Летитъ онъ по-небу—змѣй-змѣемъ: только искры на-земь сыплются. Подлетитъ къ тому дому, гдѣ живеть зазнобушка, разсыплется весь надъ

трубой въ мелки искорки, встанеть-обернется въ избѣ добрымъ молодцемъ, — ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать красоты его!.. Сядеть съ любушкой за столъ, начнетъ рѣчи вести молодецкія, сожигать огнемъ-полынемъ своихъ змѣиныхъ очей разгарчивое сердце: и склонять на любовь не надо, сама — на шею къ нему кинется и красна-дѣвица, и жена чужемужняя... Знаеть Змѣй, когда придти, — когда никого другого и дома нѣтъ... Много разказовъ и до сихъ поръ ходитъ по-людямъ въ захолустной глуши про летающихъ огненныхъ змѣевъ да про дѣвицъ красныхъ, полюбившихся имъ; а въ стародавнѣе годы и того больше говорилось... Бывали, по словамъ сѣдой старины, и такіе случаи, что родились отъ такой любви сразу по двѣнадцати змѣенышей, до-смерти засасывавшихъ порождавшую ихъ на бѣлый свѣтъ красавицу. Сохранилъ народъ въ своихъ сказаніяхъ вѣщую память и о такихъ дѣтяхъ Горынчища, какъ Тугаринъ Змѣевичъ, на котораго перенесены были многія черты чудовищнаго отца. Русскій народъ-сказатель надѣлилъ его почти всѣми качествами Змѣй-Горынчыча — этого представителя темной стихійной силы. Есть основанія предполагать, что подъ Змѣй - Горынчычемъ подразумѣвались прежде всего грозныя-темныя тучи, залегающія на небѣ пути - дороги солнцу красному и лишающія тѣмъ весь согрѣваемый его лучами живой міръ главнаго источника жизни. Съ теченіемъ времени драконъ-змѣй является уже не въ видѣ самой тучи, а вылетающихъ изъ этой „небесной горы“ молній. Змѣевидность послѣднихъ сама говоритъ объ этомъ воплощеніи. Впослѣдствіи перенеслось представленіе о Змѣй-Горынчычѣ съ молній на метеоры, проносящіяся надъ землею и разсыпающіяся на глазахъ у всѣхъ. Летитъ такой „змѣй“, — по словамъ народа, — что шаръ огненный, искрами — словно каленое желѣзо — разсыпается. „Изъ рота яво огонь-полымя, изъ ушей яво столбомъ дымъ идетъ“... — гласитъ про него сказаніе, повѣствующее о битвѣ Егорія Храбраго со „змѣемъ лютымъ, огненнымъ“. Въ былинномъ сказѣ про Добрыню Никитича въ таковыхъ словахъ описывается появленіе „лютаго звѣря Горынчища“:

„Вѣтра нѣтъ — тучу наднесло,
Тучи нѣтъ — а только дождь дождитъ,
Дождя нѣтъ — искры сыплется:
Летитъ Змѣище-Горынчище,
О двѣнадцати змѣя хоботахъ“...

Реветь онъ такимъ зычнымъ голосомъ, что дрожитъ отъ змѣинаго рева лѣсъ-дубровушка; бьетъ хвостомъ онъ по сы-

рой землѣ—рѣчки выступаютъ изъ береговъ; отъ ядовитаго дыханья змѣинаго сохнетъ трава-мурава, листь съ деревь валится. Кажись, нѣтъ и спасенія встрѣчному человѣку отъ такого чудища грознаго! Но не таковъ духъ русскаго народа, чтобы трепетать въ безсильномъ страхѣ даже и передъ подобнымъ порожденіемъ темнаго зла. Ведеть онъ въ старыхъ сказаніяхъ смѣлая рѣчи про своихъ сыновъ, не только не страшившихся Змѣя - Горыныча, но и побѣждавшихъ его то силой-удалью богатырскою, то силой-вѣрою въ Поправшаго смертію смерть.

Исконный пахарь, всю жизнь и всѣ свои силы полагающій на трудъ ради хлѣба насущнаго, русскій народъ-сказатель сумѣлъ не только побѣдить Змѣя, но и запречь его въ соху. Среди особо чтимыхъ на Руси святыхъ угодниковъ Божіихъ не послѣднее мѣсто занимаютъ святые Косьма и Даміанъ, слившіеся—въ представленіи суевѣрной деревни—въ одинъ обликъ „Божьяго кузнеца — Кузьмы-Демьяна“. О томъ, какъ запрягъ онъ Змѣй-Горыныча („великаго змѣя“) въ выкованный имъ плугъ и распыхалъ на чудищѣ глубокой бороздою всю Землю Русскую, — говорилось уже выше (см. гл. „Ноябрь-мѣсяцъ“). До сихъ поръ показываютъ въ приднѣпровскихъ мѣстахъ борозды, проведенныя плугомъ, въ который былъ запряженъ русскій драконъ. Тянутся эти „Валы Змѣиныя“ съ малыми перерывами на цѣлыя сотни верстъ (въ Кіевской, Подольской, Волынской и Полтавской губерніяхъ) по лѣсамъ, по полямъ, по болотинѣ. По объясненію ученыхъ изслѣдователей старины, были проведены эти валы въ защиту отъ набѣговъ степныхъ кочевыхъ племенъ, нападавшихъ на русскіе города въ отдаленныя времена, близкія къ язычеству (въ IX—X вѣкѣ). Народъ-же приписываетъ происхожденіе ихъ преданію о „Божьемъ кузнецѣ“, отождествляя его съ другимъ—о кіевскомъ богатырѣ Никитѣ (Кирилѣ) Кожемякѣ.

Во второмъ томѣ аанасьевскихъ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“ приводится сохранившееся и до нашихъ дней въ Малороссіи сказаніе объ этомъ богатырѣ и его подвигахъ, имѣющихъ не мало общаго съ подвигами упоминаемаго въ лѣтописяхъ Земли Русской богатыря-отрока Владиміровыхъ дней Яна Усмошвеца, вышедшаго на единоборство съ вызывавшимъ на бой печенѣжскимъ ⁹¹⁾ великаномъ и побѣ-

⁹¹⁾ Печенѣги—древній, исчезнувшій съ лица земли, народъ тюркскаго происхожденія, нѣкогда кочевавшій (вмѣстѣ со своими родичами, половцами) въ степяхъ Средней Азіи. IX-й вѣкъ по Р. Х. засталъ ихъ населяющими пространство между Волгою и Ураломъ; затѣмъ они подвинулись—подъ давленіемъ хозаръ—западнѣе и, вытѣснивъ изъ теперешнихъ южнорусскихъ степей

дою надъ ними положившаго залогъ побѣды русской дружины надъ ордой печенѣжскою. Въ 992-мъ году на томъ мѣстѣ былъ поставленъ княземъ Владиміромъ городъ Переяславль— въ память того, что здѣсь русскій отрокъ „переелъ славу“ богатырей. Въ давнее время, — гласить приводимый А. Н. Аѳанасьевымъ сказъ, — проявился около Кіева Змѣй; бралъ онъ съ народа поборы не малые—съ каждаго двора по красной дѣвкѣ; возьметъ да и съѣстъ! Пришелъ чередъ—послалъ и князь свою дочь, а она была такъ хороша, что и описать нельзя. Змѣй потащилъ ее въ берлогу, а ѣсть не сталъ—больно она ему полюбилась. Приласкалась она къ Змѣю и спрашиваетъ: „Чи есть на свити такій чоловікъ, щобъ тебѣ подужавъ?“ — „Есть такій у Кіевѣ надъ Днипромъ: якъ затопить хату, то дымъ ажъ пидъ небисами стелеця; а якъ вйде на Днипръ мочить кожи (бо винъ кожемяка), то не одну несе, а дванадцять разомъ, и якъ набрягнуть вони водою въ Днипри, то я возьму да-й учеплюсь за ихъ, чи вытягне-то винъ ихъ? А ему-й байдуже: якъ поцупить, то-й мене з’ними трохи на берегъ не вытягне! Отъ того чоловіка тилько минѣ й страшно!“ Княжна вздумала дать про то вѣсточку домой, а при ней былъ голубокъ; написала къ отцу грамотку, подвязала голубю подъ крыло и выпустила ва окно. Голубъ взвился и полетѣлъ на княжье подворье. Тогда умолили Кирилу-Кожемяку идти противъ Змѣя; онъ обмотался куделью, обмазался смолою, взялъ булаву пудовъ въ десять и пошелъ на битву. „А що, а Кирило, — спросилъ Змѣй, — пришовъ битьця, чи миритьця?“ — „Дѣ вже миритьця! Битьця з’тобою, з’Иродомъ проклятымъ!“ Вотъ и начали биться, ажъ земля гудеть; что разбѣжится Змѣй да хватить зубами Кирилу, такъ кусокъ кудели да смолы и вырветъ; а тотъ его булавою какъ ударить, такъ и вгонить въ землю. Жарко Змѣю, надо хоть немного въ водѣ прохладиться да

венгровъ, заняли кочевья отъ Дона до Дуная. У нихъ были свои князья; въ X-омъ вѣкѣ среди ихъ кочевій стала развиваться торговля; въ началѣ XI-го вѣка многіе печенѣжскіе роды приняли магометанство. Съ 60-хъ годовъ X-го столѣтія они начали тѣснить русскихъ, осмѣливаясь нападать даже на Кіевъ. Русь вела съ ними упорную борьбу. Въ одну изъ войнъ съ печенѣгами погибъ князь Святославъ Игоревичъ. При Владимірѣ Святославовичѣ былъ сооруженъ на русскомъ рубежѣ цѣлый рядъ укрѣпленныхъ городовъ—для защиты отъ печенѣговъ. Послѣднее нападеніе ихъ на Кіевъ было въ 1034-мъ году, когда они были совершенно разбиты и бѣжали въ свои кочевья. Изъ послѣднихъ скорѣ вытѣснили ихъ новые среднеазиатскіе выходцы—торки, которыхъ смѣнили половцы. Слабѣя съ каждыиъ десятилѣтіемъ, печенѣги подвигались все дальше, перешли за Дунай и, наконецъ, безслѣдно исчезли на Балканскомъ полуостровѣ.

жажду утолить, и вотъ, пока сбѣгаетъ онъ на Днѣпръ, Кожемяка успѣетъ вновь и коноплей обмотаться, и смолою вымазаться. Убилъ Кирило Змѣя, освободилъ княжну и привелъ къ отцу. Сказка кончается слѣдующими словами: „Тотъ-же Кирило зробивъ трохи й неразумно: взявъ Змѣя—спаливъ, да й пустивъ по витру попелъ, то з'того попелу завелась вся та погань—мошки, комари, мухи. А якъ бы винъ узавъ да закопавъ той попелъ у землю, то ничего-бъ сего не было на свити“... По другому (великорусскому) разносказу дѣло подходитъ ближе къ сказанію о „Божьемъ кузнецѣ“. Никита, — гласить этотъ разносказъ, — опрокинулъ Змѣя-Горыныча наземь; и взмолилось къ Кожемякѣ чудище: „Раздѣлимъ, — говорить, — съ тобой всю землю, только отпусти!“ А тотъ молодецъ, да гораздъ, былъ. „Давай, — говорить, — раздѣлимъ!“ Взялъ онъ соху въ триста пудовъ, запрегъ въ нее Змѣя и погналъ его „отъ Кеива-города до синяго моря“. Догналъ до-моря, зачалъ и море дѣлать да и потопилъ въ его волнахъ Горынычу — во славу Божию да на радость всему міру-народу крещоному.

Въ цѣломъ рядѣ сказаній объ Егоріѣ Храбромъ (Георгіѣ-Побѣдоносцѣ) русскій народъ вель свою повѣсть о змѣборчествѣ. Великій воинъ Христовъ, поражающій своимъ копьемъ огнедышащаго дракона, является въ этихъ сказаніяхъ раздѣляющимъ по землѣ свѣтлорусской и утверждающимъ вѣру православную, заставляя разступаться передъ собою лѣса темные дремучіе, горы высокія, рѣки широкія. Бдетъ онъ, — по слову однихъ сказаній, рубить-колетъ лютое стадо змѣиное, заступающее ему путь-дорогу прямоѣжую, — принимаетъ „подъ свой великъ-покровъ землю свѣтлорусскую“. Въ другихъ сказаніяхъ терзаетъ Егорія злой царище-Демьянище, сажающій Храбраго въ погребѣ глубокіе на тридцать лѣтъ и три года. Но выходитъ и изъ-подъ земли свѣтозарный воитель, идетъ на свои великіе подвиги — насаждаетъ вѣру христіанскую, искореняетъ басурманскую, поражая на этотъ разъ — вмѣсто „лютаго стада змѣинаго“ — огненного змѣя-дракона. Въ другомъ сказаніи Егорій, подобно сказочнымъ богатырямъ, спасаетъ царскую дочь, отданную на жертву Змѣю-Горынычу. И всюду вослѣдъ за нимъ разливается надъ тьмою ужаса яркій свѣтъ радости освобожденныхъ отъ гнетущаго мрака и лихой злобы. Какъ объ этихъ сказаніяхъ, такъ и о напоминающихъ, по своей сущности, ихъ-же сказаніяхъ о св. Θεодорѣ-Тиронѣ, — которому точно также приписывается народомъ-сказателемъ побѣдоносная борьба со Змѣй-Горынычемъ, — уже была рѣчь въ настоящихъ очеркахъ, пос-

вященныхъ изслѣдованію суевѣрнаго быта народной Руси. Изъ другихъ святыхъ повѣствуетъ народъ о змѣборствѣ св. Михаила-архангела, по всему вѣроятію — руководствуясь въ послѣднемъ случаѣ апокалипсическимъ словомъ: „...и бысть брань въ небеси: Михаилъ и ангелы его брань сотвориша со змѣемъ... И поверженъ бысть змій великій, змій древній, царицаемый дѣволъ“...

Въ старинныхъ русскихъ былинахъ нѣсколько богатырей ведутъ славный бой со Змѣй-Горынычемъ: Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ, Потокъ Михайло Ивановичъ. Является Змѣй лютымъ ворогомъ народа православнаго, злымъ похитчикомъ красныхъ дѣвушекъ, лукавымъ оболстителемъ женъ-переметокъ. Въ былинѣ „Три года Добрынюшка стольничалъ“ ведется сказъ про полюбившуюся богатырю Марину Игнатьевну, знавшуюся съ Горынычемъ. Оболстила еретица Марина сердце богатырское, да не пришлось имъ со Змѣемъ посмѣяться надъ Добрынюшкой: едва ноги унесло отъ Никитича чудище лютое, а самой Маринѣ пришлось заплатить жизнью за свое лиходѣйство. Былина „Добрыня купался, змѣй унесъ“ повѣствуетъ о томъ, какъ вошелъ гулявшій съ дружиной хороброю, богатырь во Израй-рѣку, какъ „поплылъ Добрынюшка за первую струю, захотѣлось молодцу и за другую струю, а двѣ-то струи самъ переплылъ, а третья струя подхватила молодца, унесла въ пещеры бѣлокаменны“... И вотъ—видитъ неостерегшійся добрый молодецъ, не внявшій словамъ родимой матушки, предсказывавшей ему это, видитъ: „ни отколь взялся тутъ лютой звѣрь, налетѣлъ на Добрынюшку Никитича, а самъ-то говорить, Горынчище, а самъ онъ, Змѣй, приговариваетъ:—А стары люди пророчили, что быть Змѣю убитому отъ молодца Добрынюшки Никитича, а нынѣ Добрыня у меня самъ въ рукахъ!“ Но торжеству Змѣя не суждено было исполниться. Не соразмѣрилъ Горынчище разстояніе, отдѣлявшее его отъ богатыря,—мимо Никитича пролетѣлъ. „А и стали его (Добрыни) ноги рѣзвыя, а молада Добрынюшки Никитѣвича“,—продолжается былинный сказъ,—„а грабится онъ къ желту песку, а выбѣжалъ доброй молодецъ, а молодой Добрынюшка Никитичъ-младъ, нагребъ онъ шляпку песку желтаго,—налетѣлъ на его Змѣй-Горынчище, хочеть Добрыню огнемъ спалить, хоботомъ ушибить“... Но и тутъ дѣло вышло не по его, не по змѣеву, хотѣню.

„На то-то Дбынюшка не робокъ былъ,
Бросаеть шляпу земли греческой

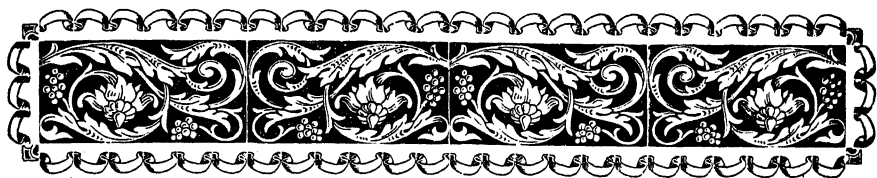
Съ тѣми пески желтыми
 Ко лютому Змѣю-Горынчицу:
 Глаза запырошилъ и два хобота ушибъ,
 Упалъ Змѣй-Горынчище
 Во ту во матушку во Израй-рѣку;
 Когда-ли Змѣй исправляется,
 Въ то время и во тотъ-же часъ
 Схватилъ Добрыня дубину,
 Тутъ убилъ до смерти;
 А вытащилъ Змѣя на берегъ,
 Его повѣсилъ на осину на горькую;
 —Сушися ты, Змѣй-Горынчище“...

Алешѣ-Поповичу выпало на долю поборотья и съ сыномъ Горынчыча—Тугариномъ Змѣевичемъ, представляющимъ народному воображенію надѣленнымъ всѣми статьяи богатырскими, а не только змѣиными. По народному слову, это—богатырь огромнаго роста („въ вышину трехъ сажень, промежъ глазъ—калена стрѣла“). Онъ выѣзжаетъ на бой въ полномъ богатырскомъ вооруженіи, на ворономъ конѣ. При надобности—онъ быстро поднимается на сложенныхъ подъ его богатырскомъ уборомъ „бумажныхъ“ крыльяхъ. Онъ также—какъ и отецъ его, Горынчище—устрашаетъ своимъ шипомъ-свистомъ. Зареветь-заголосить Змѣевичъ,—задрожитъ лѣсъ-дубровушка, зеленый листъ уронитъ наземь отъ ужаса. Входя въ города, онъ прикидывается удалымъ добрымъ молодцемъ—на погибель краснымъ дѣвицамъ.

Выѣхалъ въ поѣздку богатырскую Алеша Поповичъ, во товарищахъ съ молодымъ Екимомъ Ивановичемъ—„ничего-то они въ чистомъ полѣ не наѣзживали, не видали они птицы перелетныя, не видали они звѣря прыскачаго, только въ чистомъ полѣ наѣхали, лежатъ три дороги широкія; промежъ тѣхъ дорогъ лежитъ горючъ-камень“. Посмотрѣли, увидели богатыри надпись о трехъ дорогахъ: третья—„ко городу ко Киеву, ко ласкову князю Владиміру“. Рѣшили ѣхать по ней, раскинули шатры, встали на отдыхъ. Утромъ идетъ навстрѣчу калика-перехожая, говорить имъ, что видѣлъ онъ Тугарина Змѣевича. Помѣнялся съ каликой Алеша своимъ богатырскимъ платьемъ, взялъ шелепугу подорожную да „чингалище булатное“, пошелъ на Сафать-рѣку, гдѣ стоялъ станомъ Тугаринъ. Подошелъ, калика-каликой, а младъ-Змѣевичъ спрашиваетъ про Алешу, похваляется убить его. Но похвальба на бѣду навела: „сверстался (съ нимъ) Алеша Поповичъ младъ, хлеснулъ его шелепугой по буйной головѣ, рас-

шибъ ему буйную голову—и упалъ Тугаринъ на сыру землю: вскочилъ ему Алеша на черну грудь. Въ тѣ поры взмолился Тугаринъ Змѣвичъ младъ:—гой еси ты, кашка переходящая, не ты-ли Алеша Поповичъ младъ? Только-ты, Алеша Поповичъ младъ, семь побратуемся съ тобой!—Въ тѣ поры Алеша врагу не вѣровалъ, отрѣзалъ ему голову прочь... И пала глава на сыру землю, какъ пивной котель"... Привезъ потомъ Алеша въ Кіевъ на княженецкій дворъ Тугаринову голову, бросилъ среди двора Володимерова. „Гой еси, Алеша Поповичъ младъ! Частъ ты мнѣ свѣтъ даль, пожалуй ты живи въ Кіевѣ, служи мнѣ, князю Владиміру!“—было къ нему радостное слово ласковаго князя стольнокиевского. Радость княжая сказалась радостью по всему Кіеву, разошлась отъ Кіева по всей Руси...

Позднѣйшія сказанія, разгуливающія и теперь по неоглядному простору свѣтлорусскому, если и ведутъ рѣчь объ ухищреніяхъ Змѣя-Горыныча—дѣвичьяго да бабьяго погубителя, слетающаго въ хаты черезъ дымовую трубу,—то никогда не упоминаютъ уже объ его сынѣ Тугаринѣ Змѣвичѣ. А онъ-то для жаждущихъ свѣта праведнаго пахарей Земли Русской былъ едвали не опаснѣе своей скрытою подъ радующимъ русскій глазъ богатырскимъ цвѣтнымъ платищемъ силой темною-подземельною...



LVIII.

Влыя и добрыя травы.

Въ стародавнюю, до-христіанскую, пору, — когда Мать-Сыра-Земля представлялась мысленному взору народной Руси божественной супругою Неба-Сварога, одѣвавшія ея травы казались пышнокудрыми волосами великой праматери боговъ. Это представленіе — какъ въ зеркальной зыби рѣки — отразилось во многихъ русскихъ старинныхъ сказаніяхъ, звуча для пытливаго слуха современныхъ народовѣдовъ отголоскомъ преданій нашего языческаго прошлаго, померкшаго передъ Тихимъ Свѣтомъ, озарившимъ непроглядныя дебри суевѣрія, обступавшаго грозными призраками жизнь народа-пахаря. „Земля сотворена, яко человекъ... вмѣсто власовъ быліе имать“, — гласитъ одинъ изъ памятниковъ самобытной древнерусской письменности — несомнѣнно, церковно-проповѣдническаго происхожденія.

Стихъ о „Голубиной Книгѣ“, вобравшій въ десятки своихъ ходящихъ по всѣмъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора разносказовъ чуть-ли не всю сущность простодушной народной мудрости, ставитъ надъ произрастающими на земной груди травами одну — наибольшей-старшею. „Кая трава всѣмъ травамъ мати?“ — возглаголяется въ числѣ другихъ вопросовъ, предложенныхъ Володимеромъ-царемъ Володимеровичемъ перемудрому Давыду Евсевичу. — „Плакунъ-трава всѣмъ травамъ мати!“ — слѣдуетъ въ своемъ мѣстѣ отвѣтъ на это слово вопросное. „Почему Плакунъ всѣмъ травамъ мати?“ — продолжаетъ свою рѣчь стихъ-сказаніе: „Когда жидовья Христа рѣспяли, святую кровь Его пролили, Мать Пречистая Богородица по Иесу Христу сильно плакала, по своему

Сыну по возлюбленномъ; ронила слезы пречистыя на матушку на сырую землю. Отъ тѣхъ слезъ, отъ пречистыхъ, зарождалась Плакунъ-трава: потому Плакунъ-трава—травамъ матери!⁴ По старинному повѣрью, это наибольшее въ царствѣ травъ быліе заставляетъ плакать бѣсовъ и вѣдьмъ. Народъ русскій совѣтуетъ искать-собирать ее на зорькѣхъ подь Ивановъ день. Въ первомъ томѣ сахаровскихъ „Сказаній русскаго народа“ приводится любопытный заговоръ, шепоткомъ произносившійся встарину въ церкви надъ вырванной съ корнемъ „Плакунъ-травою“, для устрашенія нечистой силы. „Плакунъ, Плакунъ!“—гласить онъ: — „плакалъ ты долго и много, а выплакалъ мало. Не катись твой слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю! Будь ты страшенъ злымъ бѣсамъ, полубѣсамъ, старымъ вѣдьмамъ кievскимъ! А не дадутъ тебѣ покорища, утопи ихъ въ слезахъ; а убѣгутъ отъ твоего позорища, замкни въ ямы преисподнія. Будь мое слово при тебѣ крѣпко и твердо. Вѣкъ вѣковъ!“ По словамъ опытныхъ травовѣдцовъ, въ цвѣтахъ и корнѣ Плакунъ-травы—главная ея мощь. Корень этой „всѣмъ травамъ матери“ таитъ въ себѣ силу, охраняющую малодушныхъ людей отъ всякаго соблазна. Нѣкоторые относятъ имя „Плакунъ“ къ Иванъ-чаю (*epilobium angustifolium*), другіе—къ луговому звѣробою (*hipericum ascyron*), третьи—къ дикимъ василькамъ (*lithrum salicaria*), именующимся также и дубникомъ, подбережникомъ, твердякомъ, кровавницею и вербой-травою. Въ первомъ случаѣ „Плакунъ“ является цѣлебнымъ въ качествѣ „разбивающихъ припарокъ“. Это цвѣтущее въ июнь-юль растеніе весьма часто встрѣчается на лѣсныхъ опушкахъ, по горнымъ склонамъ и въ садахъ по лѣсистымъ мѣстностямъ. Во второмъ случаѣ—простонародныя лѣчейки приписываютъ ему раноцѣлительную силу, а также—„разводящую и противоглистную“. Имъ-же лѣчатъ въ деревенской глуши чахотку—болѣзнь, зачастую ставящую втупикъ ученыхъ врачей. Деревенскіе знахари собираютъ его по заливнымъ лугамъ и лѣснымъ низинамъ, сушатъ и пользуют имъ—и въ видѣ порошокъ, и въ видѣ настойки (на винѣ, или на водѣ) отъ самыхъ разнородныхъ болѣзней,—при благоприятномъ исходѣ лѣченія приписывая главную силу своимъ наговорамъ-нашептываніямъ, а при несчастномъ—ссылаясь на то, что болящій-де слѣдовалъ врачевнымъ указаніямъ безъ вѣры въ ихъ силу. Въ одномъ старинномъ лѣчебникѣ, изданномъ въ началѣ XIX-аго столѣтія и составленномъ по народнымъ средствамъ въ связи съ научною оцѣнкою ихъ, подавались тѣ или другіе совѣты, и въ заключеніе—съ про-

стодушной откровенностью—говорилось: „если не поможетъ, похорони съ честію“. Наши простонародные знахари могли бы сказать то-же самое, если-бы отъ нихъ потребовали объясненія перенятой отъ пращѣдовъ словесной науки врачеванія. Дикіе васильки („Плакунъ“) даютъ, по увѣренію не толь-ко знахарей, но и настоящихъ врачей, помощь при лѣченіи желтухи. Настоянная на ихъ цвѣтахъ вода—одно изъ средствъ противъ глазныхъ болѣзней вообще, а слезоточенія—наособицу. Во всѣхъ случаяхъ „трава всѣмъ травамъ мати“ (за то, или другое растение принимать ее) является доброю травой, подающею людямъ помощь немалую, —недаромъ народная молвь крылатая и говоритъ, что зародилась она впервые на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ изъ пречистыхъ слезъ Богоматери, пролитыхъ Приснодѣвою по Ея возлюбленномъ Сынѣ, принесшемъ темному міру Свѣтъ спасенія.

Народъ нашъ до того привыкъ видѣть въ своихъ знахаряхъ опасныхъ, знающихъ съ темной силою, людей, что всякій собиратель травъ еще недавно казался ему чародѣемъ, злоумышляющимъ на жизнь человѣческую. Даже въ самомъ словѣ „отрава“ слышится этотъ угрюмый взглядъ его на травознаевъ. Лѣченіе травами, мало-по-малу заходящее въ настоящее время изъ народной Руси въ русскую врачебную науку, въ стародавніе годы считалось явнымъ волхвованіемъ и по-временамъ преслѣдовалось—какъ несогласное съ христіанскимъ благочестіемъ дѣло. Для него въ древнерусскомъ законѣ было даже свое имя—„зелейничество“. Зелейщики (собиратели травъ), дѣйствительно, зачастую злоупотребляли своими знаніями и, пользуясь простодушнымъ суевѣріемъ народа, прикидывались заправскими колдунами, перенявшими свою „науку“ отъ „нездѣшной силы“. Самая обстановка, въ которой приходилось имъ встрѣчаться съ другими, не знающими „словъ“, людьми, придавала имъ въ глазахъ послѣднихъ такое обаяніе, что тѣ неволью поддавались чарамъ, основаннымъ не на какомъ-либо особомъ знаніи, а просто на темнотѣ народной. Измѣнялись условія жизни, одни понятія смѣнялись другими; но суевѣріе, отступая передъ истиннымъ знаніемъ, не хотѣло окончательно сдаваться: оно уходило все глубже и дальше въ народную среду, гдѣ живо и теперь.

Въ былые годы находились люди, которые считали возможнымъ придавать по желанію—травамъ ту или другую силу. Эта способность приписывалась колдунамъ-зелейщикамъ. Наговорное слово послѣднихъ могло напускать черезъ посредство совершенно безвредныхъ травъ даже моровыя повѣтрія.

Этому мѣнѣю придавалось столь важное значеніе, что съ нимъ находили нужнымъ считаться даже власти. Такъ, у Костомарова есть упоминаніе о томъ, что въ 1632-мъ году, во время войны съ Литвою, запрещено было ввозить въ предѣлы Московскаго государства хмѣль. Причина запрещенія коренилась въ томъ, что лазутчики донесли, что „какая-то баба-вѣдунья наговариваетъ на хмѣль, чтобы тѣмъ хмѣлемъ, когда онъ будетъ ввезенъ въ Московію, произвести моровое повѣтріе“. Народное суевѣріе приписывало колдунамъ-вѣдунамъ силу напускать всякія болѣзни—по большей части наговоромъ надъ травами и, въ особенности, надъ ихъ кореньями. (Встарину существовали на Руси особые знатоки травяныхъ зелій и „лютаго коренья“; ходилъ у нихъ по рукамъ, въ спискахъ, „Травникъ“, оберегавшійся пуще глаза и завѣщавшійся отцомъ сыну, дѣдомъ—внуку, если тотъ выказывалъ любознательность и склонность къ наслѣдованію знаній завѣщателя. II, дѣйствительно, ходилъ такой травознай по лугамъ, какъ въ насаженномъ собственными руками саду: всякой травѣ могъ указать онъ свое мѣсто, зналъ свойство каждой былинки. „Цѣлебна трава, если собирать ее знаючи!“—и теперь еще можно услышать въ народѣ. А въ старыя годы смотрѣли на собирателей травъ, какъ на постигшихъ всю глубину премудрости, имѣвшихъ общеніе съ нездѣшной силою! Отношеніе къ нимъ властей было неодинаково: то подвергались они безпричинному суровому преслѣдованію, то были въ великомъ почетѣ. Во дни царя Іоанна IV-го достаточно было подкинуть къ кому-либо пучокъ невѣдомыхъ травъ, чтобы это служило противъ него уликою въ злоумышленіи, заслуживающемъ чуть-ли не смертной казни. Одновременно съ тѣмъ самъ Грозный неоднократно призывалъ къ себѣ завѣдомыхъ колдуновъ-зелейщиковъ, желая извѣдать судьбы грядущаго. Въ присягѣ царю Борису Θεодоровичу Годунову встрѣчается обѣщаніе: „въ ѣствѣ и въ питѣѣ, и въ платѣѣ, или въ иномъ въ чемъ (ему, государю) напасти не учиняти; людей своихъ съ вѣдовствомъ да и со всякимъ лихимъ кореньемъ не посылати“. При царѣ Михаилѣ Θεодоровичѣ никто не имѣлъ права собирать какія бы то ни были травы—подъ страхомъ заключенія въ темницу. Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1650-мъ году самъ приказывалъ высылать крестьянъ въ Купальскую ночь на поиски за „сереборшнымъ цвѣтомъ, мятною травою, дягиломъ и другими цѣлебными травами“. Есть свидѣтельства о томъ, что Тишайшій царь, двадцать пять лѣтъ спустя, передъ самою своею кончиною, отдавалъ наказъ сибирскимъ воеводамъ

разыскивать тамошнихъ знахарей-травовѣдцовъ, пытатъ ихъ о свойствахъ травъ и высылатъ самыя травы на Москву. Этотъ наказъ былъ приведенъ въ исполненіе: нашелся знахарь, сообщившій черезъ воеводу цѣлый списокъ извѣстныхъ ему травъ. Такъ, изъ его сообщенія узнали на Руси: о травѣ „елкій“—пользительной при грыжѣ, о травѣ „колунъ“—помогавшей при трудныхъ родахъ, о „земляной свѣчкѣ“—исцѣлявшей запоры, о травѣ „пѣтушковы пальцы“—припарка сдѣланная изъ которой разгоняла желваки и всякія затвердѣнія. „Знаетъ онъ“,—отписывалъ гораздо позднеѣ одинъ изъ чиновниковъ начала нынѣшняго столѣтія, также допрашивавшихъ сибирскихъ знахарей,—„около Якутскаго масла, ростомъ кругло, что яблоко большое, ходитъ живо, а живетъ въ глухихъ и глубокихъ озерахъ. Будетъ какой человѣкъ болень нутряною красною грыжею или ломъ въ костяхъ, или мокрота будетъ нутряная, и сидѣти въ банѣ и послѣ того баннаго сидѣнья: сдѣлать составъ: часть того масла, большую часть нефти, часть скипидару, часть деревяннаго масла, да добыти полевыхъ кузнечиковъ зеленыхъ, что по травамъ скачутъ, да наловить коростеликовъ красныхъ, что летаютъ по полямъ, и тѣ статьи положить въ горячее вино, и дать стоять день одиннадцать или тринадцать; и послѣ того баннаго сидѣнья, велѣтъ того больнаго человѣка тѣмъ составомъ тереть по всему тѣлу, и велѣтъ быть въ теплой хоромиѣ, пока тотъ составъ войдетъ; и дѣлать такъ не по одно время; и то масло ѣдятъ и пьютъ отъ многихъ нутряныхъ болѣзней“. Не мало другихъ, подобныхъ приведенному, рецептовъ можно было-бы записать со словъ и современныхъ намъ знахарей.

Лѣченіе травами, съ незапамятныхъ поръ входившее во врачевный обиходъ всѣхъ народовъ, велось въ крестьянской Руси всегда рука-объ-руку съ волхвованіемъ, пережитки котораго сохранились до нашихъ дней во многомъ-множествѣ заговоровъ, нашептываній, причетовъ и заклинаній, принимаемыхъ на вѣру всѣми прибѣгающими къ помощи знахарей—прямыхъ (хотя и отдаленныхъ) потомковъ древнерусскихъ волхитовъ-зелейщиковъ.

По старинному простонародному сказанію, происхождение котораго безслѣдно затерялось въ неизвѣданныхъ безднахъ прошлаго, жилъ-былъ на свѣтѣ первый знахарь. Съ малолѣтства прислушивался онъ къ шелесту травъ и говору листьевъ; былъ онъ надѣленъ способностью слышать даже шепотъ Матери-Сырой-Земли, которая, по народному слову, „ради насъ, своихъ дѣтей, зелій всякихъ породила и злакъ всякой на-

поила⁴. Выстроилъ онъ себѣ на лѣсной полянкѣ келью, уединился отъ людей, всего себя отдавъ изученію цѣлебнымъ свойствъ растений. Цѣлые дни бродить онъ по полямъ, лугамъ и лѣсамъ, внимая голосамъ матери-природы. Общеніе съ нею сдѣлало для него явными всѣ ея тайны, и сталъ онъ всевѣдущимъ волшебникомъ. Вѣсть объ его силѣ быстрѣе вѣтра буйнаго пролетѣла по всему свѣтлорусскому простору. Начали съѣзжаться къ его бѣдной хижинѣ князи-бояре и богатые гости; шель къ нему и нищій-убогій. Никому не было отказа, всѣхъ провожалъ онъ отъ себя съ добрымъ совѣтомъ, каждому давалъ помощь, пускаючи въ дѣло только однѣ добрыя травы, созданныя на пользу страждущему люду. Дошла молва-слава о немъ и до палатъ царскихъ. Нерѣдкими гостями стали у бесѣдовавшаго съ природою знахаря и царскіе гонцы. Врачевалъ онъ всѣхъ и каждого, но не бралъ ни съ кого никакой платы. Не дремалъ, однако, и діаволь—врагъ рода человѣческаго, ходящаго по праведнымъ путямъ Божіимъ: взяла его зависть, сталъ онъ пускать по-вѣтру злыя слова, нашептывать черныя желанія, навѣвать лихія мысли доброму знахарю. „Въ твоихъ рукахъ такое могущество, какъ ни у кого на свѣтѣ!“ — повелъ онъ къ нему обольстительныя рѣчи. — „Стоить тебѣ захотѣть, и всѣ люди, со всѣмъ богатствомъ, будутъ у тебя въ полной власти!“ Нѣтъ, не прельщаютъ знахаря-отшельника ни богатство, ни власть, — попрежнему трудится онъ на пользу честному люду, не внимая злымъ навѣтамъ. А діаволь—стоитъ на своемъ: то онъ кустомъ цвѣтущимъ обернется, приманитъ къ себѣ пытливый взоръ добраго цѣлителя, то змѣей ползучею переползетъ ему дорогу (и опять—со своимъ нашептомъ), то вѣщимъ ворономъ закаркаетъ надъ кровлею знахаревой хаты; бывало, что и красною дѣвицей-раскрасавицею обертывался лихой ворогъ всего добраго. А все не находилось такого соблазна, чтобы совратить отшельника со стези добра! Годы шли за годами; сдѣтъ началъ, сталъ старѣться добрый знахарь. Подкралась къ нему-самому, общему цѣлителю, и беспомощная дряхлость. А діаволь—попрежнему нѣтъ-нѣтъ да и примется за свою работу: „Хочешь, я научу тебя, какъ воротить молодость? Только покорись мнѣ—и ты узнаешь, какъ сдѣлаться вѣчно молодымъ и не страшиться смерти!“ Сдѣлали свое злое дѣло слова-рѣчи діавольскія: не внималъ имъ молодой-сильный отшельникъ, вялъ—согбенный старецъ. Продавъ онъ свою свѣтлую-голубиную душу черному духу, визвергнутому Творцомъ съ небесъ за алчную-ненасытную гордыню. Воротилъ ему діаволь прежнюю молодость, научилъ — кромѣ добрыхъ, настѣян-

ныхъ Богомъ, травъ—распознавать и злыя, возросшія изъ сѣмянъ, разбросанныхъ по-вѣтру рукою врага рода человѣческаго. Великъ соблазнъ для однажды поддавшихся ему: сталь знахарь плодить своимъ знаніемъ не только добро, какъ въ былыя времена, а и зло,—не одну помощь оказывать людямъ, но и пагубу. Поселилась, свила гнѣздо въ его сердцѣ, лихая корысть. Радовался діаволъ, побѣдившій зломъ добро. А на небесахъ, „въ пресвѣтломъ раѣ“, плакалъ передъ престоломъ Божиимъ ангель-хранитель соблазвившагося отшельника, прося-моля взять у знахаря жизнь, покуда чаша созданнаго имъ зла еще не успѣла перетянуть почти полную чашу добра содѣяннаго. Не внималъ свѣтлому ангелу Господь во гнѣвѣ Своемъ, но умолила Его Заступница рода человѣческаго—Пречистая Дѣва: послалъ Онъ ангела смерти по душу къ со-вращенному праведнику. Провѣдалъ объ этомъ діаволъ, перебѣжалъ дорогу посланцу Господнему, напустилъ по его пути туманы мгlistые, — опоздалъ прибыть къ знахарю ангель: переступилъ онъ порогъ жилища его, какъ-разъ когда перетянула чаша зла на вѣсахъ небеснаго правосудія. Пахнуло дуновеніемъ смерти на грѣшника, купившаго у діавола безсмертіе; отошла жизнь отъ тѣла его,—какъ ни заклиналъ онъ ее. И вотъ—на пути между раемъ небеснымъ и бездонною преисподней—преградила ангелу смерти дорогу діаволъ, предъявившій свои права на душу знахаря. Отлетѣлъ отъ него ангель, и принялъ соблазнитель въ свои черныя объятія жертву лихихъ козней противъ свѣтлой Истины. До сихъ поръ клокочетъ въ аду котелъ смолы кипучей, вплоть до нашихъ дней кипитъ въ этой насыщенной злыми травами смолѣ первый знахарь, продавшій душу діаволу. Сдержалъ обѣщаніе отецъ лжи: не старѣется кипящій въ котлѣ грѣшникъ, и нѣтъ ему покоя смерти, хотя нѣтъ его и среди живыхъ. Только разъ въ году—на Свѣтло-Христово-Воскресеніе, когда разрѣшаются узы ада и двери райскія отворяются, невидимкою пробирается онъ на бѣлый свѣтъ. Вплоть до свята-Вознесеньева дня ходитъ онъ по лѣсамъ, по степямъ, посреди знакомыхъ травъ. Злыя и добрыя—узнаютъ онъ его, привѣтствуютъ по старому, шепчутъ ему каждая о своей силѣ. Горькой укоризною отзывается ему ихъ вѣщій шепотъ. Въ это-же время выходятъ на его стезю и многіе другіе, одаренные прозорливо-чуткими слухомъ люди: прислушиваются къ голосамъ травъ. Не видятъ они перваго знахаря, но сила его знаній передается по частямъ то одному, то другому изъ нихъ: иной внимаетъ злымъ, иной—добрымъ травамъ, — что кому дано. Такъ будетъ до послѣдняго дня міра,— гласить

стародавнее сказаніе. Въ этотъ „послѣдній день“ простятся-отпустятся прегрѣшенія первому знахарю на Святой Руси, если только не перетянетъ чаша новаго зла, содѣяннаго всѣми его послѣдователями.— „Какъ обглядишься вокругъ да около жизни, такъ и увидишь, что не бываетъ прощеннымъ великому грѣшнику: столько всякаго зла расплодилось на свѣтъ!“ —выводягь свое заключеніе сказатели, но тутъ-же не одинъ изъ нихъ оговаривается: „Всякое бываетъ! Нѣтъ границъ милосердію Господню, неисповѣдимы судьбы правосудія Божія! Уготовано мѣсто въ райскихъ садахъ пресвѣтлыхъ и для грѣшниковъ, искупившихъ первородный грѣхъ мукой геенскою!“ На томъ и сказу про перваго знахаря—конецъ. А отъ этого знахаря пошла по бѣлому свѣту, прижилась въ народной Руси, вся ихъ, знахарская, порода. Отъ поколѣнія поколѣнію передаются вѣщія „слова“. Знающіе ихъ пользуются и до сихъ поръ немалой славою въ суевѣрной посельщинѣ-деревенщинѣ, съ великимъ трудомъ открещивающейся отъ знахарскаго лихова навожденія. До сихъ поръ не можетъ она—въ своей простотѣ — зачураться отъ „порчи“, напускаемой на безпомощную во многихъ случаяхъ, мятущуюся въ своей темнотѣ душу жаждущаго свѣта пахаря. Оттого-то съ невольнымъ чувствомъ страха и сторонится сѣрый мужикъ-простота, ломая шапку, передъ всякимъ вѣдуномъ-знахаремъ. „Есть изъ ихъ братья и добрые, да и злыхъ не оберешься! Не распознать ихъ нрава-обычая!“—думается ему. „Траву отъ травы отличишь, а въ человѣчью душу не влѣзешь! Нѣтъ на ней никакой такой отмины: злая она, или добра!“

Рукописные памятники русскаго народнаго чернокнижія, дошедшіе до нашихъ дней на страницахъ печатныхъ трудовъ пытливыхъ народовѣдовъ-собрателей, сохранили отъ забвенія любопытный „Чародѣйный травникъ“. Кромѣ прославленной каликами-перехожими „всѣмъ травамъ матери“, особеннымъ вниманіемъ русскихъ чернокнижниковъ,—если можно такъ наименовать нашихъ вѣдуновъ-зелейщиковъ,—пользовались, судя по свидѣтельству названнаго сборника, слѣдующія восемь травъ: трава-колюка, Адамова голова, трава-прикрышь, сонъ-трава, кочедыжникъ, трава-тирличъ, разрывъ-трава и нечуй-вѣтеръ. Каждой изъ нихъ приписываются только ей-одной присущія качества. Такъ, первая обладаетъ силою придавать необычайную мѣткость ружью. Если его окурить этой травою,—ни одной птицѣ не улетѣть изъ-подъ выстрѣла, не заговорить послѣ того ружье никакому чародѣю-кудеснику. Потому-то „колюка“ и живетъ въ великомъ почетѣ у стрѣлковъ-охотниковъ. Сбирать эту траву совѣ-

туеть „Травникъ“ въ Петровки (и не иначе, какъ—по вечерней росѣ), а хранить-беречь ее—въ коровьихъ пузыряхъ; нето потеряется добрая половина ея чародѣйной силы. „Адамова голова“—тоже зелье стрѣлковъ-ловцовъ; время сбора ея—Ивановъ день, окуриванія снарядовъ охотничьихъ—Великій четвергъ. Беречь ее надо въ укромномъ уголкѣ, скрытно ото всѣхъ. Лучше всего дѣйствуетъ она при охотѣ на дикихъ утокъ. „Прикрышь“, по вѣщему слову сѣдой старины, полезителенъ противъ наговоровъ на свадьбы. Когда невѣсту приведутъ отъ вѣнца въ жениховъ домъ, знахарь, приглашенный заботливыми большаками, забѣгаетъ впередъ и кладетъ эту траву подъ порогъ. Молодوخу предупреждаютъ заранѣе, чтобы она, при входѣ въ свое новое жилье, перепрыгнула черезъ порогъ. Если-же все обойдется честь-честью, по положенію,—то жизнь молодой будетъ идти въ мужниной семьѣ мирно-счастливо, а если на чью голову и обрушится злое лихо, такъ это—на тѣхъ, кто умышлялъ противъ счастья молодоженовъ. Собираютъ прикрышь-траву въ осеннее время—съ Успеньева дня до Покрова-зализья, покрывающаго землю снѣгомъ, а дѣвичью красоту брачнымъ вѣнцомъ. Дѣйствие „сонъ-травы“, какъ показываетъ и самое названіе ея, пріурочивается къ сновидѣніямъ. Она обладаетъ силою предсказывать спящимъ какъ доброе, такъ и злое. Красныя дѣвушки кладутъ на Святки эту траву подъ изголовье. Счастье представляется во снѣ либо молодой дѣвушкою, либо добрымъ молодчикомъ, бѣда—дряхлой старухою съ горбомъ за спиною, съ клюкой въ рукѣ, съ развѣвающимися по-вѣтру космами сѣдыхъ волосъ, точь-въ-точь—бабой-ягою. Цвѣтетъ сонъ-трава въ тяжеломъ да веселомъ май-мѣсяцѣ—желтыми да голубыми-бирюзовыми цвѣточками; собирать ее положено не простыми руками, а съ особыми причетами-наговорами. Узнаютъ ее, опускаючи въ холодную воду ключевую: вынуть въ полнолуные—зашевелится. „Кочедыжникъ“—тоже, что и папоротникъ, цвѣтущій только одну ночь—подъ Ивана-Купалу. Незнающему особыхъ „словъ“ челоуку—не увидѣть его цвѣта. Чудодѣйную силу приписываютъ въ народѣ этому-последнему, зовутъ-величаютъ его „златоогненнымъ цвѣтомъ“ („жаръ цвѣтомъ“), посвящаютъ древнеязыческому Свѣтлояру, окружаютъ мѣсто его цвѣтенія цѣлымъ сонмомъ нежити: лѣшими, вѣдьмами, оборотнями разными. Кому выпадетъ счастье сорвать да унести изъ лѣсной трупобы хоть одинъ цвѣтикъ такой, — золото въ карманы само посыплется, полбзетъ въ хату всякая удача. Да что-то не слышно о такихъ счастливицахъ. „Кто и сорветъ жаръ-цвѣтъ,—такъ изъ лѣсу

не выйдетъ, —закружить его, заводитъ нечистая сила! —говорятъ старые люди, придерживающіеся дѣдовскихъ повѣрій. Въ „Чародѣйномъ травникѣ“ приводится цѣлый сказъ объ этой дивной травѣ. „Въ глухую полночь изъ куста широколиственного папоротника показывается цвѣточная почка“, —гласитъ онъ. —„Она то движется впередъ и назадъ, то заколышется какъ рѣчная волна, то запрыгаетъ какъ живая птичка“. Это —старается оберечь свою дорогую траву лѣсная нежить отъ взора людского прозорливаго. Что ни мигъ —то выше поднимается чудодѣйный цвѣтъ, —расцвѣтеть —уголь-углемъ пылаеть-свѣтится. Въ самую полночь лопається цвѣточная почка, лопнетъ —свѣтъ изъ себя такой разольетъ вокругъ да около, что —ровно бѣлый день загорится красной зарею. И въ то-же мгновеніе обрываетъ златоогненный цвѣтъ нечистая сила. Старинное русское чернокнижіе гласитъ, что кто хочетъ добыть жаръ-цвѣтъ, тому нужно съ вечера, сейчасъ-же послѣ зорьки, придти въ лѣсную сажу, найти заросшее кочедыжникомъ-папоротникомъ мѣсто, обвести кругъ, зачураться и ждать въ немъ —на самой срединѣ —полуночи. Ни оглядываться, ни откликаться не долженъ онъ, —хотя-бы и слышались богъ-о-бокъ знакомые голоса: обернется-оглянется невзначай, —тутъ ему или смертный часъ придетъ отъ навожденія лукаваго, отъ козней силы нездѣшной, или же останется онъ живъ, да дуракъ-дуракомъ на всю жизнь будетъ, —навѣки одурманитъ неосторожнаго пододонная нежить, собирающаяся въ лѣсной глуши подъ Ивана-Купалу. Великъ соблазнъ! Только одни чародѣи и ухитряются овладѣть цвѣткомъ-кочедыжника; даетъ онъ имъ силу-власть даже надъ нечистью-нежитью, отводящей глаза людямъ; взору ихъ придаетъ онъ способность видѣть и подъ землей, и подъ водою; въ рукахъ съ нимъ —могутъ они дѣлаться невидимыми безъ шапки-невидимки;клады сокровенные открываются передъ ихъ словомъ властнымъ, —стоитъ только подбросить имъ цвѣтокъ кверху: если есть гдѣ кладъ, засверкаетъ цвѣтъ звѣздою и упадетъ какъ-разъ на сокровища. }

Въ Симбирскѣ записана Д. Н. Садовниковымъ любопытная сказка про „Ивановъ цвѣтъ“ (цвѣтъ папоротника). Одинъ парень пошелъ его искать на Ивана на Купалу, —ведеть свою рѣчь эта сказка. —Скралъ (онъ) гдѣ-то Евангеліе, взялъ простыню и пришелъ въ лѣсъ на поляну. Три круга очертилъ, разостлалъ простыню, прочелъ молитвы, и ровно въ полночь расцвѣлъ папоротникъ, какъ звѣздочки, и стали эти цвѣтки на простыню падать. Онъ поднялъ ихъ и завязалъ въ узелъ, а самъ читаетъ молитвы. Только —„отку-

да ни возмись медвѣдь, начальство, буря поднялась... Парень все не выпускаетъ, читаетъ себѣ знай. Потомъ видитъ: разсвѣтало и солнце взошло, онъ всталъ и пошелъ. Шелъ-шелъ, а узелокъ въ рукѣ держитъ. Вдругъ слышитъ—позади кто-то ѣдетъ; оглянулся, катитъ въ красной рубахѣ, прямо на него; налетѣлъ, да какъ ударить со всего маху—онъ и выронилъ узелокъ. Смотритъ—опять ночь, какъ была, и нѣтъ у него ничего... На этомъ сказка и кончается.

Въ ту-же, Иванову, ночь предписывалось чернозвнжіемъ выходить на Лысую гору для сбора „тирличъ-травы“. Это—зелье оборотней, пуще глаза оберегаемое дотошными вѣдунами-знахарями. Существовавшее встарину повѣрье гласило, что, если сокомъ тирличъ-травы натереть подмышки, то можно обернуться во всякаго звѣря. Ни одной вѣдмѣ, по словамъ старыхъ людей, не обойтись безъ этого снадобья. „Разрывъ-травы“ никакъ не добудешь, если загодя передъ тѣмъ не запасешься либо цвѣтомъ кочедыжника, либо корнемъ Плакунъ-травы, выкопаннымъ голыми руками. У кого есть разрывъ-трава, —нипочемъ тому всѣ замки-запоры: разрываются на мелкіе кусочки отъ одного ея прикосновенія и желѣзо, и сталь, и золото, и серебро, и мѣдь. По тюрьмамъ по острогамъ то-и-дѣло ведется рѣчь объ этой травѣ, неразгаданная сила которой можетъ разбивать оковы-кандалы желѣзные, безъ пилы пилить рѣшотки чугуныя. Приложить ее къ замку,—самъ отомкнется. Кладаискатели обиваютъ пороги у вѣдуновъ, прося добыть-дать имъ этой травки: разрываетъ-разрушаетъ-де она тѣ двери желѣзныя, за которыми хоронятся клады, спрятанныя встарину разбойничьими атаманами. Трава „нечуй-вѣтеръ“—невиданное простыми добрыми людьми зелье. Растетъ она, по словамъ „Чародѣйнаго травника“, въ зимнюю пору, по озернымъ да рѣчнымъ берегамъ. Ночь-полночь подъ Новый Годъ—урочное время сбора этой травы. Нечисть-нѣжить, разгуливающая-бродящая объ эту пору по свѣту бѣлому, разбрасываетъ нечуй-вѣтеръ по своей дорогѣ. Кому попадется она въ руки—можетъ останавливать вѣтры буйныя, можетъ и рыбу ловить безъ неводовъ. Да вся бѣда въ томъ, что дается-то эта чудодѣйная трава однимъ слѣпцамъ. Они только и могутъ зачуй близость ея: наступать на нее,—какъ иголками начнетъ колоть глаза незрячіе. Много-множество другихъ зелій-травъ вѣдомо было знахарямъ. Не послѣднее мѣсто занимали среди нихъ приворотныя зелья—порошки да корни травяныя. Чудѣйные коренья до нашихъ дней не вывелись изъ суевѣрнаго обихода народной Руси, непоколебимо вѣрящей въ ихъ силу. Стародавнія сказанія упо-

минають про корень „обратимъ“, дававшійся колдуньями молодымъ молодушкамъ да дѣвицамъ-красавицамъ—для приворота любовнаго. Этотъ корень надо класть на зеркало и пристально, не сводя глазъ, смотрѣть на него, приговариваячи: „Какъ смотрю я, раба (имя рекъ), не посмотрюсь, такъ и рабъ Божій (имя рекъ) на меня бы да не насматривался!“ Травы „кукоось“ и „одоень“ были надѣлены въ сказаньяхъ той-же силою. Про первую въ таковыхъ словахъ говорить сѣдая старина: „Въ ней корень на-двое—одинъ мужичокъ, а другая—женочка, мужичекъ бѣденекъ, а женочка смугла... Когда мужъ жены не любитъ, дай ему женской испить въ винѣ, и съ этой травы любить станетъ!“ Объ одоень-травѣ говорится на иной ладъ: „Кто тебя не любитъ, то дай пить,—не можетъ отъ тебя до смерти отстать; а когда пастухъ хочетъ стадо пасти, и чтобы у него скотъ не расхотился—держатъ при себѣ, то не будетъ расходиться; похочешь звѣрей приучить,—дай ѣсть, то скоро приучишь!“ Въ изслѣдованіи О. И. Буслаева о народной поэзіи приводится повѣрье о травѣ „симтаринъ“, также являвшейся однимъ изъ приворотныхъ зелій. Симтаринъ—четверолистникъ: „первый синь, другой червленъ, третій желтъ, а четвертый багровъ“... Урочное время для сбора и этой невиданной травы—все та-же Иванова ночь, съ ея сборищами-шабашами нечистой силы. „А подь корнемъ той травы человекъ“,—гласитъ преданіе,—„и трава та выросла у него изъ ребръ“. Далѣе слѣдуетъ указаніе, какъ быть и что дѣлать съ этою находкой: „Возьми человекъ того, разрѣжь ему перси, вынь сердце. Если кому дать сердце того человекъ, изгаснетъ по тебѣ... Если которая жена мужу не вѣрна или мужъ женѣ—стерши мизиннымъ перстомъ, дай пить...“ Въ изслѣдованіи того-же знаменитаго ученаго записаны такія слова о травѣ „подотая-нива“: „Надо кинуть золотую или серебряную денгю, а чтобы желѣзнаго у тебя ничего не было; а какъ будешь рвать ее, и ты пади на колѣно да читай молитвы, да, стоя на колѣнѣ, хватать траву ту, обвертѣвъ ее въ тафту, въ червчатую, или бѣлую, и беречь ту траву отъ мерзкаго часа...“ Объ этой травѣ существуетъ повѣрье, гласящее, что она помогаетъ на судѣ и въ бою. Не малая слава шла про „девясиль“ (девятисиль, дивосиль)-траву, таившую въ себѣ средство отъ болѣзней сердца, а потому въ иныхъ мѣстностяхъ прямо и прозывавшуюся „сердечною“. Помогала она, по словамъ старыхъ людей, и отъ рахъ. Но еще больше возвеличивала суевѣрная молва „излюдинъ-траву“, растущую по старымъ рощамъ: „кто тое траву ѣсть, и тотъ человекъ живущъ, никакая скорби

не узрять тѣлу и сердцу“,—гласить о ней съ обветшалыхъ страницъ памятниковъ кудесничества вѣщее слово. „Кудрявый купырѣ“ считался лучшимъ противоядіемъ и даже могъ предохранять отъ будущей отравы, если съѣсть этой травы натошакъ. Была въ употребленіи у знахарей-зелейщиковъ и трава „Петровъ-крестъ“, которую брали въ дорогу—въ предохраненіе „отъ всякія напасти“. Трава „осогъ“ была въ большомъ ходу у торговыхъ людей. „Хочешь богато быть, носи на себѣ; гдѣ ни поѣдешь, и во всякихъ промыслахъ Богъ поможетъ, а въ людяхъ честно вознесешься!“—замѣчали о ней старинные травовѣды-корнезнаи. „Попутникъ“ (подорожникъ) вывѣшивался пучками во дворѣ—для отогнанія всякихъ гадовъ. „Прострѣль-трава“, „переносъ-трава“ и „укрой-трава“ дополняли списокъ вѣдомыхъ колдунамъ травяныхъ зелей. О второй изъ названныхъ травъ существовало такое повѣрье, что—если положить въ ротъ вынутое изъ нея „сердечко“ да пойти въ воду,—„вода разступится и пройдешь ты по морю—какъ по-суху“. Первая и третья считались наособицу добрыми травами: ими пользовали деревенскія лѣчейки—„отъ порчи“ (кликушества), насылаемой на человѣка лихими людьми,—то вынимающими его слѣдъ, то подкидывающими ему на дорогу заговоренныя-заклятыя „на болѣсть“ вещи. „Одолень-трава“ считалась отгоняющей отъ путника всякое зло. Выѣзжая-выходя въ путь-дорогу, отчитывались суевѣрные люди особымъ заговоромъ, зашивая эту траву въ ладонку и вѣшая ее на крестъ-тѣльникъ.—„Бду я изъ поля въ поле, въ зеленые луга, въ дальніи мѣста, по утреннимъ и вечернимъ зорямъ; умываюсь медвяною росою, утираюсь солнцемъ, облакаюсь облаками, опоясываюсь частыми звѣздами!“—начинается это заговорное слово.—„Бду я во чистомъ полѣ, а въ чистомъ полѣ растетъ одолень-трава..“—продолжаетъ оно свой вѣщій причетъ: „Одолень-трава! Не я тебя поливалъ, не я тебя породилъ, породила тебя Сыра-Мать-Земля, поливали тебя дѣвки простоволосыя, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолѣй ты злыхъ людей: лихо бы на насъ не думали, сквернаго не мыслили. Отгони ты чародѣя, ябедника. Одолень-трава! Одолѣй мнѣ горы высокія, доли низкіе, озера синія, берега крутые, лѣса темные, пеньки и колоды. Иду я съ тобою, одолень-трава, къ окіянь-морю, къ рѣкѣ Иордану, а въ окіянь-морѣ, въ рѣкѣ Иорданѣ, лежитъ бѣль-горючъ камень алатырь. Какъ онъ крѣпко лежитъ предо мною,—такъ-бы у злыхъ людей языкъ не поворотился, руки не подымались, а лежать-бы имъ крѣпко, какъ лежитъ бѣль-горючъ камень алатырь! Спрячу

я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всемъ пути и во всей дороженькѣ!⁹².

Благочестивый крещонный людъ православный, живучи изъ-вѣка въ-вѣкъ о-бокъ съ пережитками языческаго суевѣрія, отдалъ еще въ стародавніе годы всѣ цѣлебныя, добрыя, травы подъ святое покровительство великомученику Пантелеймону, посвятившему свою жизнь безкорыстному врачеванію во имя Христова и пострадавшему за исповѣданіе вѣры во времена императора Максиміана ⁹²). „Пантелей-цѣлитель“ считается Православною Церковью скорымъ помощникомъ врачей. Народная Русь представляетъ его расхаживающимъ среди травъ и собирающимъ на помощь страждущимъ-болящимъ цѣлебныя зелья. Богобоязненные старушки-лѣчейки не приступаютъ къ своему привычному дѣлу безъ молитвы, обращенной къ этому угоднику Божію. Не мало молебновъ о выздоровленіи служится по деревнямъ-селамъ святому Пантелеймону. Двадцать седьмой іюльскій день, память Пантелей-цѣлителя, — праздникъ всѣхъ лѣкарей-врачевателей. Въ старые годы этотъ праздникъ ознаменовывался въ нашемъ народѣ многочисленными приношеніями во храмъ Божій, къ образу великомученика. Кто чѣмъ богатъ, — каждый несъ отъ своего усердія: кто холстину, кто денегъ алтынъ, кто мѣрку жита, кто яицъ пятокъ-десятокъ, — и все это собиралось причтомъ церковнымъ въ свою пользу. По большей части приношенія были — отъ выздоровѣвшихъ по молитвѣ къ заступнику врачующихъ и врачуемыхъ.)

Пѣсня — этотъ живой откликъ стихійнаго сердца народнаго — не обошла у насъ молчаніемъ какъ добрыхъ, такъ и злыхъ травъ. Первая величаетъ она „травушкой-муравушкой“, „муравой духовитою“, „травой шелковою“ и другими ласковыми именами очестливыми. Ходятъ въ русскихъ пѣсняхъ красны-дѣвушки, по травушкѣ похаживаютъ, „черно-

⁹²) Максиміанъ — императоръ римскій (Маркъ-Аврелій-Валерій, прозванный Геркулемъ), былъ родомъ изъ Панноніи (изъ Сирміума) и происходилъ изъ простыхъ солдатъ. Онъ вступилъ на престолъ — послѣ оказанныхъ Риму военныхъ услугъ — въ 285-мъ году по Р. Хр. Когда произошелъ раздѣлъ Римской имперіи, на его долю достались Африка, Испанія, Галлія и Италия (остальныя земли достались Діоклетіану). Столицей своею онъ сдѣлалъ Миланъ. Онъ велъ удачную борьбу съ германскими племенами и построилъ цѣлый рядъ крѣпостей по Рейну. Въ его царствованіе продолжалось гоненіе на христіанъ. Въ 305-мъ году онъ отказался отъ престола, но въ 306-мъ снова овладѣлъ имъ; затѣмъ — передалъ власть сыну своему Максенцію (царств. съ 306 по 312 г.), разсорился съ нимъ и въ третій разъ провозгласилъ себя императоромъ (въ 308 г.), но попался въ плѣнъ, возставъ противъ своего зятя Константина. Жизнь свою онъ окончилъ самоубійствомъ — въ 310-мъ году.

быль-траву заламываютъ“, съ подорожничкомъ-травкой „та-ки рѣчи поговариваютъ“, а то и такую горькую жалобу на мила-дружка изливаютъ, какъ: „Ты трава-ль моя, ты шелко-вая, ты весной росла, лѣтомъ выросла. Подъ осень травка засыхать стала, про мила-дружка забывать стала. Милъ су-шилъ-крушилъ, сердце высушилъ, онъ и свель меня съ ума-разума!“ / Иногда къ травѣ обращается страдающая отъ из-мѣны чуткая женская душа, присутствіе какой чувствуется хотя-бы въ слѣдующей пѣснѣ:

„Полынька, полынька,
Травонька горькая!
Не я тя садила,
Не я сѣяла.
Сама ты, злодѣйка,
Уродилася,
По зеленому садочку,
Разстелилася,
Заняла, злодѣйка,
Въ саду мѣстечко—
Мѣсто доброе
Хлѣбородное!“...

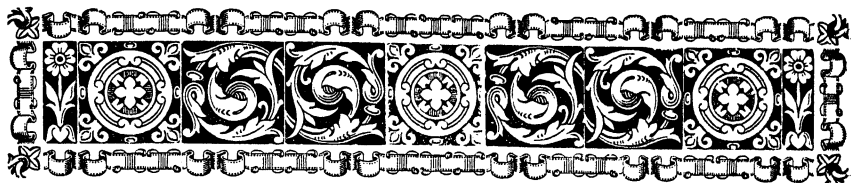
Свѣтитъ свѣтѣль-мѣсяцъ,—по дальнѣйшимъ словамъ пѣс-ни,—озаряетъ дорожку милому: „въ самый крайній домъ, ко чужой женѣ“. Отворяетъ чужая жена окошечко „помале-шеньку“, начинаютъ рѣчи съ милымъ вести „потихошеньку“ и т. д. Существуютъ и пѣсни про „лютые коренья“, про „лихія травы“. Одна изъ нихъ—про красную дѣвицу, отравляю-щую невѣрнаго друга милаго—повторяется въ десяткахъ раз-нопѣвовъ. Поется она и въ Тульской, и въ Тверской, и въ Костромской губерніяхъ. Записывалась она и въ Вологодской, и въ Рязанской, и на старой Смоленщинѣ. Слыхивали ее и въ среднемъ (нижегородско-самарскомъ) Поволжьѣ. „Разгуля-юсь я, младенька, въ чистомъ полѣ далеко“,—запѣвается одинъ разнопѣвъ ея,—„я разрою сыру землю въ темномъ лѣ-сѣ глубоко, накопаю зла-коренья и на рѣченку пойду, я на-мою зло-коренья разбѣлешенько, изсушу я зло-коренья раз-сухошенько, истолку я зло-коренья размелькошенько“... И вотъ, — продолжается пѣсня: „наварила зла-коренья, дружка въ гости позвала: — Ты покушай, моя радость, стряпатинья моего!—Угостивши любезнова, я спросила у него:—Каково, дружокъ любезный, у тебя на животѣ?—У меня на животѣ точно камешекъ лежитъ; ретиво мое сердечко во всѣ сторо-ны щемить!..“ Пѣсня кончается словами:

И скончался мой любезный
 На утряной на зарѣ.
 Отвозила любезнова
 Я на утряной зарѣ;
 Отвозила любезнова
 Въ чисто поле далеко,
 Я зарыла любезнова
 Въ сыру землю глубоко“...:

Въ одномъ разносказѣ сестра отравляетъ брата; въ другомъ хотѣвшая свести со-свѣту врага-„супостателя“ дѣвица-красавица невзначай „опоила дружка милаго“—который и завѣщаетъ ей проводить его во поле чистое, схоронить при дороженькѣ, „въ зголовахъ поставить колоколенку“, а „во ногахъ—часовенку“... Иногда мѣсто погребенія опредѣляется точнѣе. „Ты положь-ка мое тѣло между трехъ большихъ дорогъ“,—говоритъ отравленный: „между питерской, московской, между кievской большой...“.

Въ народныхъ пословицахъ, поговоркахъ, прибауткахъ и присловьяхъ трава является воплощеніемъ чего-то ненадежнаго. „Держись за землю“,—изрекла тысячелѣтняя мудрость народа-пахаря,—„трава обманетъ!“ Видитъ краснословъ-простота о-бокъ съ собою живущихъ ложью и ото лжи погибающихъ людей,—„Худая трава изъ поля вонь!“—срывается у него съ языка. „Худая молва—злая трава, а траву и скосить можно!“—утѣшается онъ порою, слыша облыжное слово. „Отвяжись, худая трава!“—выкрикиваетъ обиженный обидчику, или немилая жена—мужу постылому. „Гдѣ трава росла—тамъ и будетъ!“—приговариваетъ посельщина о неотступномъ чловѣкѣ, навязавшемся къ кому-либо на шею.

Всякія травы знаютъ опытные вѣдуны-знахари, но—по словамъ народа—„Нѣтъ такихъ травъ, чтобы узнать чужой нравъ!“ Слышитъ бѣднякъ-горюнь обѣщанье помѣги, а въ душѣ-то у него неволью пробуждается вѣщее слово прозорливой старины: „Пока травка подрастетъ, много воды утечетъ!“ О самонадѣянной, любящей похвастаться молодежи народъ отзывается коротко, но ясно: „Зелена трава!“ („Молодо—зелено!“—по иному разносказу). „Всякая могила травой поростетъ!“—въ раздумьи повторяетъ народная Русь, иносказательно напоминая о томъ, что все въ этомъ бренномъ мiрѣ—тлѣнь и суета, все рано или поздно становится жертвою забвенія—и злое, и доброе.



ЛХ.

Богатство и бѣдность.

Богатство, по народному опредѣленію, прежде всего — благословеніе Божіе; бѣдность — воплощеніе лихой бѣды-напасти. Объ этомъ явно свидѣтельствуетъ и самое словопроизводство, вполне согласующееся съ безхитростной мудростью народа-пахаря. Богъ, — гласитъ „Лексиконъ славенорусскій, составленный всечестнымъ отцомъ Киръ Памвою Берындю“ (въ XVII стол.), — „всебогатый, всѣхъ обогащующій (по любви-мудрцѣхъ внѣшнихъ — умъ, по богословцѣхъ же — духъ)“. Потому-то со словомъ богатство и связывается представленіе о богоданной силѣ, а со словомъ бѣдность — убожество и горе. Одно понятіе является полной противоположностью другого.

Въ зеркалѣ простонароднаго слова и богатство, и бѣдность отразились во всей своей яркости и разносторонности, зачастую даже какъ-бы противорѣчащихъ прямому ихъ опредѣленію. Что слово — то картина, что присловье — то новый образъ. „Не тотъ человѣкъ въ богатствѣ, что въ нищетѣ!“ — красной нитью проходитъ мысль черезъ всѣ эти картины-образы, созданные могучею русской рѣчью, окрыленной творческимъ воображеніемъ. Но и богатство не ко всякому человѣку одинаково подходитъ: къ одному такъ, къ другому — этакъ. „Не съ богатствомъ жить — съ человѣкомъ!“ — вылетѣло изъ народной стихійной души крылатое слово, подсказанное чуткимъ сердцемъ прозорливца-народа, сознающагося, что хотя въ довольствѣ-сытости и пригляднѣе живетъ, но „не въ деньгахъ счастье“, а въ добромъ согласіи. „Богатство — вода, пришла и ушла!“ — нашептываетъ народу-сказателю долготѣнній опытъ старыхъ, перешедшихъ поле жизни,

людей. „Глупому сыну не въ помощь богатство!“ „Ни конь безъ узды, ни богатство — безъ ума!“ — продолжаетъ онъ свой умудренный вѣками наслѣдственной передачи отъ поколѣній къ поколѣнію сказъ; но тутъ-же, не смущаясь, готовъ повторить и такія поговорки совершенно противорѣчиваго свойства, какъ, напримѣръ, „Богатство—ума дасть!“ „Богатый—ума купить; убогий и свой продасть-бы, да ни ломаного гроша не дадутъ!“ и т. д.

Бѣдность, по мѣткому слову свышшагося съ нею пахаря, не только плачетъ, но и „скачетъ, пляшетъ, пѣсенки поетъ“. Не иначе, какъ она-же — и въ горѣ не горюющая—сложила про богатство такія крылатыя слова красныя, какъ: „Богатымъ быть трудно, а сытымъ немудрено!“ „Въ аду не быть—богатства не нажить!“ „Мужикъ богатый—что быкъ рогатый!“ „У богатаго чортъ дѣтей качаетъ!“ „Богачу чортъ деньги копить!“ „Богатому не спится, все вора боится!“ „Голеный (бѣдненькій) охъ, а за голеныйкимъ Богъ!“ и т. п. Множество поговорокъ-пословиць и прибаутокъ обрисовываетъ бѣдность не въ такомъ сумрачномъ-угрюмомъ видѣ, какою она кажется, а у богатства поубавляетъ яркихъ красокъ, какими оно ласкаетъ-манитъ каждый случайно брошенный въ его сторону взглядъ. Такъ, хотя и говоритъ народъ нашъ, что „Богатому житье, а бѣдному—вытье!“, но о-бокъ съ этимъ приговариваетъ, самого-себя оговариваючи: „Кто торовать—тотъ не богатъ!“ „На что мнѣ богатаго, подай тороватаго („Не проси у богатаго, проси у тороватаго!“ — по иному разносказу)!“ „Не богатый кормить—тороватый!“ „Не силенъ — не борись, не богатъ — не сердись!“ „У богатаго богатины пива-меду много, да съ камнемъ-бы въ воду!“ „Богатичи, что голубые кони, —рѣдко удаются!“

Не зарится русскій мужикъ-простота, въ потѣ лица — по завѣту Божию —вкушающей насущный хлѣбъ свой, на чужой достатокъ. „Земля-матушка —богатительница наша!“ — говоритъ онъ: „Глядячи на людей, богатъ не будешь!“ „Не на богатство шлись, а на-Бога!“ „Съ богатства брюхо пучить, да душу плющить!“ „Не отъ скудости скупость —отъ богатства!“ Сторонится богачъ отъ бѣдняка убогаго, а тотъ и самъ не станетъ набиваться на свойство-кумовство съ нимъ, если только не поддастся зависти —этому одному изъ семи смертныхъ грѣховъ. „Богатый бѣдному не братъ!“ —гласитъ его смиренномудрыми устами краснорѣчивая многовѣковая жизнь. „Бѣдному —вездѣ бѣдно!“ —изрекаетъ она, но тотъ-же не прочь и подсластить свое горькое, что полынь-трава, слово присловьемъ —въ-родѣ: „Бѣдно живетъ, да по

Божьи!“, „Что бѣднѣе—то щедрѣе!“, „Бѣдность не—порокъ!“ „Бѣдень одинъ бѣсъ, а у человѣка нѣтъ такой бѣды, которая была-бы на-вѣкъ!“, „Куда богатаго конь везетъ, туда бѣдняка Богъ несетъ!“ и т. п. Тяжкой нуждою подсказана русскому народу поговорка—„Никто того не вѣдаетъ, гдѣ нищій обѣдаетъ!“, но и вѣка нужды настолько не сломили его богатырски-выносливаго духа, что онъ—съ полнымъ сознаниемъ своей силы—повторяетъ старую молвь, сложившуюся въ былыя времена: „Не крушить бѣдность, крушить—лихота!“, „Изъ нужды трудъ да потъ вызволять!“, „Нужда потомъ уходитъ!“, „Что за нужда, коли въ рукахъ сила есть!“, „Рабочій человѣкъ нужду съ плечъ стряхнетъ, какъ работать зачнетъ!“, „Размахнись, рука,—берегись, нужда!“, „Быль бы хлѣбъ да вода—молодецкая ѣда,—и нужды какъ не бывало!“ и т. д.

Нищета—крайняя степень нужды-бѣдности; но и на нее не слишкомъ угрюмыми глазами смотреть—великій въ своемъ смиреніи—русскій народъ. Цѣлый рядъ пословицъ, поговорокъ и всякихъ присловій краснорѣчиво говоритъ объ этомъ. „Скупой богачъ“, по народному слову, „бѣднѣе нищаго“. Обнищавшій людъ вызываетъ въ посельщинѣ-деревенщѣ не только состраданіе, но и нѣчто сродное съ преклоненіемъ предъ его убожествомъ. „Кого Господь полюбитъ—нищетою възыщеть!“—говорится въ народной Руси, завѣщавшей внукамъ-правнукамъ создававшихъ-слагавшихъ ходячія-крылатыя слова пращуровъ свой нерушимый-любовный завѣтъ: „Сироту пристрой, а нищету прикрой!“ Богъ, по мнѣнію простыхъ жизнью, чистыхъ сердцемъ людей, невидимо сопутствуетъ бѣднякамъ, впавшимъ въ нищету. „Богатство гибнетъ, а нищета все живетъ!“—можно услышать отъ старыхъ краснослововъ: „Силень смиреніемъ, богатъ нищетою!“, „Нищета умъ спасаетъ!“, „Нищета спорѣе богачества!“ Бродящая подъ окнами, кормящаяся именемъ Христовымъ нищая братія невольна вызываетъ въ представленіи простого русскаго человѣка тѣхъ „нищихъ духовъ“, которымъ—по евангельскому слову—уготовано „царство небесное“. Изъ этого представленія и вытекаютъ такія народныя реченія, какъ: „Не родомъ нищѣ ведутся, а кому Богъ дастъ!“, „Отъ сумы не отрекайся!“ и т. п. За великій грѣхъ считается на Руси изобидѣть нищаго-убогаго. Потому-то и дѣлится съ нимъ каждый, у кого есть коровай на столѣ да жито въ закрому, хоть кускомъ хлѣба,—чѣмъ Богъ пошлетъ, чѣмъ хата богата. „У нищаго отнять—сумою пахнетъ!“—говоритъ вѣщее народное слово, приговаривая: „Нищій болѣзни ищетъ, а къ

богачу онъ сами льнуть!“, „Нищему нѣтъ друга кромѣ сумы!“, „Умная жена—какъ нищему сума—все сбережетъ!“. Скупые, дрожащія надъ каждой крохою, люди добавляють къ этимъ поговоркамъ и такія, не приходящіяся по вкусу нищей братіи слова, какъ: „Нищій—вездѣ сыщеть!“, „Отдай нищимъ, а самъ—ни съ чѣмъ!“, „Суму нищаго не наполнишь!“. Подсмѣивающійся надъ своими недочетами-недостачами людъ сплошь-да-рядомъ гуторить: „Не хвались, старикъ, лохмотьями,—всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!“, „Хватить на мой вѣкъ, живучи у нищаго въ управителяхъ!“, „Хоть за нищаго, да выдамъ дочь замужъ въ Татицево: то-то житье будетъ привольное!“ Записаны собирателями живого великорусскаго народнаго слова и такія поговорки про бѣдноту-убожество, какъ могущія служить яркимъ заключеніемъ всѣмъ приведеннымъ выше: „Богъ не убогъ, а Микола милостливъ!“, „Убогій мужикъ и хлѣба не ѣстъ, богатый—и мужика съѣстъ!“ „Просить убогій, а подаешь—Господу Богу!“

Въ простонародныхъ загадкахъ не обойдентъ молчаніемъ главный рычагъ богатства. „Маленько, кругленько, изъ тюрьмы въ тюрьму (изъ кармана въ карманъ) скачетъ, весь міръ обскачетъ, ни къ чему сама не годна, а всѣмъ нужна!“, „Мала, кругла, покатна; какъ убѣжить—не догонишь!“, „Кругла да покатна—день и ночь бѣжить!“, „Что безъ ногъ ходитъ?“, „Кругло, мало, всякому мило!“, „Молоткомъ побьютъ и намъ дадутъ!“, „Что горитъ безъ пламени?“—загадывается въ народной Руси о деньгахъ.

Хотя скупость и не въ природѣ русскаго простолюдина, но потовой-страдный трудъ научилъ его быть скопидомомъ и относиться съ уваженіемъ ко всякому хозяйственному человѣку. „Безъ деньги—не копѣйка, безъ копѣйки и рубля нѣтъ!“, „Береги копѣчку про черный день!“, „Безъ денегъ—что безъ разума!“, „И барину деньга—господинъ!“,—обмолвился онъ про это въ старь стародавнюю. Но и деньги—деньгамъ рознь: есть добытыя трудомъ честнымъ, есть и нажитыя недобрыми дѣлами. „Тотъ правъ, за кого праведныя денежки молятся!“, „У того вѣковѣчный достатокъ, въ чемъ карманъ святые денежки!“—гласитъ сѣдая народная мудрость; но она-же изрекаетъ: „При бѣдѣ за деньгу не стой!“ Приглядѣлся-присмотрѣлся народъ-краснословъ къ тому, какъ деньги копятъ: „Деньга на деньгу набѣгаетъ!“—говоритъ онъ: „Деньги на деньгахъ растутъ!“, „Денежка рубль родитъ!“ и т. д. О богачахъ, не заслужившихъ своей жизнью уваженія, отзывается неумышленное народное слово въ такихъ поговоркахъ, какъ: „Кабы не деньги, такъ весь-бы—въ полденьги!“, „При

деньгахъ Памфилъ—всему свѣту милъ!“, „У Омушки денежки, Омушка—Ома; у Омушки ни денежки, Омка—Ома!“ „Много друзей—у кого деньгамъ водъ!“ Знаетъ мужикъ-простота, что „спѣсъ—деньгамъ сестра“; отсюда и пошло его подсказанное жизненнымъ опытомъ прозорливое слово: „Извѣдай человѣка—при деньгахъ, тогда и хвались, что знаешь его!“

У торговыхъ людей—свои живучія слова сложились про деньги,—до сихъ поръ съ давней поры по свѣтлорусскому простору разгуливаютъ. „Торгъ безъ глазъ, а деньги слѣпы: за что отдашь—не видятъ!“—говорится въ ихъ обиходѣ: „На торгу деньга проказлива!“, „Торгъ денежкой стоитъ!“, „Деньга (цѣна)—торгу староста!“, „Уговоръ дороже денегъ!“, „Не по деньгамъ товаръ!“, „По товару и деньги!“, „Оедюшкѣ дали денежку, а онъ алтына просить!“ Есть и такой неразборчивый людъ, что—въ своей алчности до наживы—готовъ всякую прибыль считать праведною. „На деньгахъ нѣтъ знака—какія онѣ!“, „Всяка денежка—не погана!“—говорить онъ. „Ставь себя въ рубль, да не клади меня-то въ деньги („въ полушку!“—по иному разносказу)!“—въ обычаѣ отговаривать себя обиженнымъ чѣмъ-либо самохвальствомъ.

Деньги—не птица, а съ крыльями: перенесутъ человѣка, куда тому вздумается,—и сами отъ него улетятъ того-и-гляди. Онѣ, по словамъ заглядывающихъ въ будущее людей, счетъ любятъ: „Хлѣбу—мѣра, деньгамъ—счетъ!“, „Деньги—не щепки!“, „Денежка рубль бережетъ, а рубль—голову стережетъ!“, „Безъ хозяина деньги черепки!“, „Держи деньги въ темнотѣ, а дѣвку въ тѣснотѣ!“—поучаютъ они склонную къ мотовству молодежь, падкую до нарядовъ да до разнословъ всякихъ, не по тощему карману мужику-хлѣборобу приходящихся. „Дружба—дружбой, а денежкамъ—счетъ!“—зачастую можно услышать въ дѣловой бесѣдѣ: „Братъ братомъ, свать сватомъ, а денежки—не сосватаны!“ Какъ на чужой коровай не совѣтуетъ разѣвать рта деревенскій хлѣбоѣдъ, такъ и о чужихъ деньгахъ отзывается онъ: „Не деньги, что у бабушки, а деньги—что въ запазушкѣ!“ Не любитъ распускать въ долги трудно достающуюся копѣйку русскій скопидомъ. „Въ лѣсу—не дуги, въ полѣ—не хлѣбъ, въ долгу—не деньги!“—обмолвился онъ объ этомъ; но не въ деньгахъ видитъ онъ главную силу жизни, какъ можно заключить изъ его-же словъ: „Не деньги насъ, а мы деньги нажили!“ „Были бы мы, а деньги Богъ дастъ!“ По образному народному выраженію: „Денежки—что голуби: гдѣ обживутся, тамъ ведутся!“ Не особенно привыкъ поливающій трудовымъ потомъ роди-

мыя нивы русскій пахарь гоняться за этими „голубями“. Въ противномъ случаѣ—не сложилось-бы у него столь красно-рѣчиво говорящихъ присловіи-поговорокъ, какъ, напримѣръ: „Лишнія деньги—лишняя забота!“, „Больше денегъ—больше хлопотъ!“, „Деньги—дѣло наживное!“ И эти поговорки—не пустое слово въ его правдивыхъ устахъ.

Русскія народныя былины создали два яркихъ воплощенія богатства—въ своихъ богатыряхъ: Чурилѣ Пленковичѣ и Дюкѣ Степановичѣ. Первый, впрочемъ, скорѣе является олицетвореніемъ щегольства-молодечества и болѣе подходитъ къ тѣмъ-же „бабьимъ перелестникамъ“,—къ которымъ принадлежитъ неотразимый побѣдитель разгарчивыхъ сердецъ Алеша-Поповичъ,—хотя при этомъ и не обладаетъ ни хитростью-изворотливостью, ни силой-мощью послѣдняго. Заѣзжій богатырь, выходець изъ земли сурожской—сынъ богатаго Пленка, гостя торговаго, набившаго сундуки златомъ-серебромъ и зажившаго „на Почай на рѣкѣ“—въ своемъ крѣпко-на, крѣпко огороженномъ дворѣ въ теремахъ „до семи до десяти“. Далъ старый Пленко своему сыну дружину молодецкую, предоставилъ ему во всемъ волю вольную, не жалѣючи добра, долгими годами накопленнаго. Поѣхалъ Чурило подъ Кіевъ, сталъ рыскать-охотиться по княжимъ островамъ непрошено, началъ обижать мужиковъ кіевскихъ, ловить не только звѣрье-птаство, а и красныхъ дѣвушекъ, молодыхъ молодушекъ. Дошли рѣчи о немъ ко двору княженецкому; захотѣлъ поймать-наказать Владиміръ—Красно Солнышко дерзкаго похитчика, смѣлаго охотника. Настигъ князь своевольника,—настигши, полюбилъ его за нравъ-обычай, за видъ молодецкій, взялъ въ свою дружину богатырскую. Зажилъ Чурило въ Кіевѣ, на-диво люду кіевскому принялся чудить по стольному городу. Щегольство Чурилино собирало за нимъ цѣлыя толпы любопытнаго народа всякаго, гдѣ бы онъ ни шелъ, куда бы ни ѣхалъ; удалство Пленковича заставляло точить на него зубы многихъ мужей. Все сходило ему съ рукъ, покуда не нашла коса на камень,—не всталъ онъ поперекъ дороги Бермятъ, Володимерову дружиннику, старому мужу молодой жены. Тутъ ему и смерть пришла...

Но еще раньше висѣла на волоскѣ тонѣшенькомъ удалая жизнь сурожскаго щеголя—изъ-за похвальбы его, Чурилиной. Коли-бы не старый матерой казакъ, Илья-Муромецъ, да не свѣтелъ-ласковъ князь Красно-Солнышко,—вступившіеся за Пленкова сына любимаго,—принять-бы смерть бабьему перелестнику отъ руки Дюка Степановича, другого (главнаго) воплотителя представленія былинныхъ сказателей о богаче-

ствѣ. Обликъ этого, тоже заѣзжаго, богатыря на цѣлую голову выше Чурилы. Дюкъ—боярскій сынъ; родомъ Степановичъ „изъ славнаго изъ города изъ Галича, изъ Волынь-земли богатые да изъ той Карелы изъ упрямые да изъ той Сарачины изъ широкіе, изъ той Индѣи богатые“. Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣляется мѣсто его богатырской родины по онежской (кенозерской) былинѣ, записанной А. Θ. Гильфердингомъ⁹³⁾. „Не ясѣнь соколъ тамъ пролетываль, да не бѣдой кречетко вонъ выпорхиваль, да пробѣхаль удалой дородній добрый молодець, молодой боярскій Дюкъ Степановичъ“,—продолжается былинный сказъ: „да на гуся ѣхаль Дюкъ на лебедя, да на сѣру пернасту малу утицу, да изъ утра пробѣхаль день до вечера, да не наѣхаль не гуся и не лебедя, да не сѣрой пернастой малой утицы“... Какъ большинство младшихъ богатырей Владиміровыхъ (кіевскихъ)—выѣхаль онъ на поѣздочку охотничью. И было у него въ колчанѣ „триста стрѣлъ ровно три стрѣлы.“ Всѣмъ стрѣламъ зналъ онъ, по словамъ былины, цѣну, не зналъ только тремъ: были онѣ оперены перьями того „орла сиза орловича“, который летаетъ подъ-надъ синимъ моремъ,—были онѣ, эти три стрѣлы, украшены яхонтами. Огорченный неудачею, вернулся удалой охотникъ въ родной Галичь-градъ, сходилъ ко „вечернѣ Христовскіе“, а потомъ и поклонился родимой своей матушкѣ („да желтыма ты кудрями до сырой земли“)—просить у ней благословенья ѣхать „во Кіевъ-градъ, повидати солнышка князя Владиміра, государыню княгиню свѣтъ-Апраксию“. Не совѣтуетъ сыну родимая ѣхать въ задуманный путь,—говорить, что-де „живутъ тамъ люди все лукавые“. Но не такъ-то легко отговорить Дюка Степановича, молодого сына боярскаго,—пришлось, волей-неволей, дать ему благословеніе; а вмѣстѣ съ благословенникомъ-прошеникомъ давала ему матушка „плѣтоньку шелкъвую“. Поклонился ей сынъ на бла-

⁹³⁾ Александръ Ѳеодоровичъ Гильфердингъ—извѣстный знатокъ славянскихъ литературъ и собиратель русскихъ былинъ—родился въ 1831-мъ году. Отецъ его былъ директоромъ дипломатической канцеляріи при намѣстникѣ Царства Польскаго. Образование А. Ѳ-чъ получилъ въ московскомъ университетѣ (на историко-филологическомъ факультетѣ) въ 1852-мъ году, послѣ чего сошелся съ кружкомъ славянофиловъ и подпалъ подъ могучее вліяніе А. С. Хомякова. Первымъ печатнымъ трудомъ А. Ѳ. Гильфердинга былъ очеркъ „О сродствѣ языка славянскаго съ санскритскимъ“ (Извѣст. II отдѣл. Академіи Наукъ 1853 г.); за нимъ послѣдовали: „Письма изъ исторіи сербовъ и болгаръ“, „Исторія балтійскихъ славянъ“ и т. д. Въ 1854-мъ году онъ защитилъ магистерскую диссертацию—„Объ отношеніи языка славянскаго къ другимъ родственнымъ“, въ 1856-мъ поступилъ на государственную службу—по министерству иностранныхъ дѣлъ—и былъ назначенъ боснійскимъ консу-

гословеніи, пошелъ въ конюшню стоялую, выбралъ себѣ жеребца невъжжаннаго. Этотъ выбранный конь хотя тоже звался „бурушкой косматымъ“, что и конь Ивана—сына гостинаго, да былъ-то онъ совсѣмъ на иную статью: „да у бурушка шорсточка трехъ пядей, да у бурушки грива была трехъ локоть, да и фостъ-отъ у бурушки трехъ сажень“. Сбруя Дюкова коня—безъ словъ уже говорить о богатствѣ хозяина. „Да удалъ узду ему (коню) течмяную, да осѣдлалъ онъ сѣделышко черкасское, да накинулъ попону пестрядиную, да строчена была попона въ три строки: да первая строка краснымъ золотомъ, да другая строка чистымъ серебромъ, да другая строка мѣдью-казаркою“, — гласитъ былинный сказъ, облюбовывая-описывая каждую мелочь. Снаряжонъ конь, взглядылся на него самъ богатырь. Наложилъ Дюкъ цвѣтнаго платица въ торока, понасыпалъ злата-серебра; сѣлъ Степановичъ на коня, перемахнулъ прямо черезъ стѣну города Галича богатаго, черезъ „высоку башню наугольную“. Ъдетъ полемъ богатырь, скачетъ конь, что ни скогъ—верста; ъдетъ выше дерева жаровчата, да пониже иде облака ходячего, да онъ рѣки-озѣра между ногъ пустилъ, да гладкіе мхи перескакивалъ, да синее-то море кругомъ-да несъ“... Ушелъ на добромъ конѣ Дюкъ Степановичъ и отъ „Горынь-змѣя,“ унесъ его косматый бурушко и отъ стада черна-воронья.

Проѣхалъ молодой боярскій сынъ три заставы крѣпкія, до четвертой доѣхалъ—видитъ: стоитъ бѣль-полотняный шатеръ, а въ томъ шатрѣ опочивъ держитъ матерой казакъ Илья-Муромецъ. Не зналъ про это Дюкъ, подѣхалъ—вызы-

ломъ. Пребываніе въ Босніи дало русской литературѣ и наукѣ книгу Гильфердинга „Боснія, Герцоговина и Старая Сербія“ (1859 г.). Служебная дѣятельность не мѣшала творческой работѣ молодого ученаго. Такъ, въ 1861-мъ году А. Ѳ—ча мы видимъ чиновникомъ государственной канцеляріи, въ 1863-мъ году—однимъ изъ выдающихся помощниковъ Н. А. Милютина и авторомъ проекта о преобразованіи вѣдомства народнаго просвѣщенія; одновременно-же съ этимъ появляется рядъ его статей въ „Славянскомъ Обзорѣ“, „Днѣ“, „Русскомъ Шивалидѣ“ и другихъ изданіяхъ, а въ „Вѣстникѣ Европы“ выходятъ первыя главы задуманной имъ „Исторіи славянъ“, оставшейся, впрочемъ, незаконченною. Въ 1867-мъ году открылось въ Петербургѣ отдѣленіе славянскаго благотворительнаго комитета, и А. Ѳ—чъ былъ избранъ его предсѣдателемъ, совѣстивъ вскорѣ это съ предсѣдательствомъ-же въ этнографическомъ отдѣленіи Русскаго Географическаго Общества. Повѣдка его въ Олонецкую губернію—велѣдъ за вѣдомомъ въ свѣтъ сборника Рыбникова—сослужила русскому народовѣдѣнію немалую службу. Болѣе 300 былинь, записанныя Гильфердингомъ отъ пѣвцовъ (составившія сборникъ „Онежскія былины“), явились богатымъ вкладомъ въ сокровищницу памятниковъ народнаго пѣсенотворчества. Одною изъ послѣднихъ работъ Гильфердинга былъ очеркъ „Олонецкая губернія и ея рапсоды“ („Вѣсти. Евр.“)—Скончался А. Ѳ—чъ въ Каргополѣ въ 1872-мъ году, предпринявъ вторую поѣзду за былинами. Собраніе сочиненій его (4 т. т. вышло въ 1868—1874 г.г.

ваеть спящаго на бой; но—какъ вышелъ изъ шатра съдой богатырь,—упалъ Степановичъ къ ногамъ стараго—со словами: „Да одно у насъ на небеси-де солнце красное, да одинъ на Руси-де могучъ богатырь, да старой-де казакъ Илья Муромецъ!“ Полюбились очестливыя Дюковы слова Ильѣ,—отпустилъ онъ его въ Кіевъ-градъ, обѣщаль свою помощь во всякой нуждѣ-бѣдѣ. Приѣхаль въ стольный городъ молодой боярскій сынъ, оставилъ коня („неприкована его да непривязана“) передъ палатами княжескими, а самъ пошелъ прямо „во высокъ теремъ“. Вошелъ, перекрестился, отвѣсилъ поклонъ на всѣ стороны, спрашиваетъ сидящихъ передъ нимъ бояръ: „Да гдѣ у васъ солнышко Владиміръ князь?“ Отвѣчаютъ ему, что пошелъ-де онъ къ заутренѣ. Отправляется и Дюкъ „во Божью церковь“, вошелъ—всталъ подлѣ князя Владиміра. Запримѣтилъ заѣзжаго добра-молодца княжій соколиный взоръ: „Да скажись-ко, удалый дородній добрый молодець! Ты коей орды да коей земли, тебя какъ молодецъ зовутъ по имени?“ Отвѣтъ держитъ князю боярскій сынъ—честь-честью. На новый вопросъ Владиміра—„Да давно-ли ты изъ города изъ Галича?“—говоритъ Дюкъ по правдѣ-истинѣ, что стоялъ-де онъ вечерню въ родномъ городѣ, а къ заутрени поспѣлъ въ Кіевъ-градъ. Полюбопытствовалъ князь,—дороги-ли кони въ Галичѣ?—Разная цѣна: есть и по рублю, и по два, и по сту, и „по два, по пяти-де сотъ“,—отвѣчаетъ Степановичъ: „да своему-де я добру коню цѣны не знай“... Опрашиваетъ Владиміръ всѣхъ князей-бояръ, далеко-ли отъ Кіева до Галича, и слышитъ, что—не ближній путь: „окольной дорогой на шесть мѣсяцевъ, да и прямой-то дорогой—на три мѣсяца“. Киваютъ бояре головою на Дюка Степановича, говорятъ, что, должно быть, это—не боярскій сынъ изъ Галича, а „мужиченко-засельщина“,—жилъ-де онъ у купца-гостя да и укралъ у него платье цвѣтное, да и коня-де угналъ у какого ни на есть боярина, приѣхаль-де въ Кіевъ—„надъ тобой-то, княземъ, надсмѣхается, да надъ нами, боярами, пролыгается“...

Отошла заутреня, вышли всѣ изъ храма Божія, видятъ: во кругъ Дюкова добра коня толпа собралась толкучая, всѣ дивуются на лошадь богатырскую да на снаряды молодецкіе. Поѣхаль князь съ боярами на своихъ коняхъ ко двору княженецкому; ѣдетъ съ ними и Дюкъ, а самъ глядитъ обаполь, головою покачиваетъ: все-то въ Кіевѣ ему кажется и неприглядно, и бѣднымъ-бѣдно. „Да у Владиміра все а не по нашему!“—говоритъ онъ: „какъ у насъ во городѣ во Галичѣ, де у мой-то сударыни у матушки, да мощены-де были мосты все

дубовы, сверху станы-де сукна богрецовыя. Напередь-де пойдуть у насъ лопатники, за лопатниками пойдуть и метельщичи, очищаютъ дорогу сукна сланаго. А твои мосты, сударь, неровные, неровные мосты да все сосновые!..“ И на широкомъ дворѣ княжескомъ ничто не пришлось по нраву боярскому сыну изъ Галича: „Да (говорить онъ) хороша была слава на Владиміра, да у Владиміра все да не по нашему!.. Какъ у насъ-то во городѣ во Галичѣ, да у моей сударыни у матушки, на дворѣ стояли столбы все серебряны, да продернуты кольца позолочены, разставлена сыта медвяная, да насыпано пшены-то бѣлоярые, да е что добрымъ конямъ пить, ѣсть, кушать, а у тебя, Владиміръ, того-де не случилось! И въ высокомъ теремѣ, за столами бѣлодубовыми, не пришлась заѣзjemu богатырю по вкусу чара зелена-вина,—показалась ему она („веселіе Руси“) горькою послѣ сладкихъ-дорогихъ заморскихъ винъ, которыя пиваль онъ на пирахъ у родимой матушки. Калачи крупчатые Дюку тоже не показалась сладкими. И вошелъ въ задоръ, принялся бахвалиться своимъ дородствомъ-богачествомъ молодой боярскій сынъ. — „Да свѣтъ государь ты Владиміръ-князь! Да когда правдой дѣтина похваляется, такъ пусть ударить со мной о великъ закладъ!“ —возговорилъ богатырь Чурило: „Щапить-басить по три года по стольному городу по Киеву, надѣвать платъя на разъ, на другой не перенашивать!“ Принялъ Дюкъ „великъ закладъ“, предложенный прославленнымъ щеголемъ-своевольникомъ. Поставили „порокъ“ (условіе): „который изъ ихъ а не перещапитъ (не перещеголяетъ), взяти съ того пятьсотъ рублей“. Разодѣлся щеголь Чурило всему Киеву надиво: „обуль сапожки-ты зеленъ сафьянъ, носы—шило, а пята—остра, подъ пята хоть соловей лети, а кругомъ пята хоть яйца кати. Да надѣль онъ шубку-ту купеческую, да во пуговкахъ литы добры молодцы, да во петелькахъ шиты красны дѣвицы, да наложилъ ень шапку черну мурманку, да ушисту-пушисту и завѣсисту“... Идетъ вдоль по стольному городу Пленковичъ,—на него красны-дѣвушки не налюбуются, молодыя молодушки не намотрятся: куда-де супротивъ него Дюку Степановичу! А тотъ—„не снаряденъ“ шель, не наряденъ, да одни каменя-„яфонты“, вpletенные въ его „лапотки семи шелковъ“, стоятъ „города всего Киева, опришно Знаменя Богородицы да опришно прочихъ святителей“. Не щегольская, а простая расхожая, шуба на плечахъ у галицкаго сына боярскаго, да—„во пуговкахъ литы люты звѣри, да во петелькахъ шиты люты змѣи“. Вспомнилъ Дюкъ про матушкино благословеньице,—недаромъ-де оно, святое, со dna мо-

ря подымаетъ!—вынуть изъ-за пояса плетоньку шелковую, да и стегнуть по своимъ пуговкамъ—заревѣли-зарычали они что звѣри лютые; провель плетонькой по петелькамъ—зашипѣли змѣями подколодными. Да отъ того-де реву ото звѣринаго, и отъ того-де свисту отъ змѣинаго. да въ Києви старой и малой на землѣ лежитъ“. Переща пилъ кievскаго щеголя галицкій боярскій сынъ; получивъ пятьсотъ рублей, купилъ онъ на всѣ деньги зелена вина, перепоилъ до-пьяна всю кievскую голь кабацкую. Пошла слава про щедрость богатаго богатыря по всему Киеву. А Чурилъ пуще прежняго стало „зазорно“, не унимается Пленковичъ: подбиваетъ князя Владиміра послать „во Волянъ-землю“ соглядатаевъ-„переписчиковъ“—провѣрить на дѣлѣ похвальбу Дюкову. Согласился Красно-Солнышко, отправляетъ Добрыню Никитича „во славной въ Галичъ-градъ, житяя его богатчества описывать“.

Пріѣхалъ могучій кievскій богатырь „во Волянъ-землю“, нашелъ перво-наперво три высокихъ терема красоты-высо-ты неописанной, зашелъ въ одинъ - видитъ: сидитъ въ немъ „жена стара матера, мало-де шелку, вся въ золотѣ“. При-нялъ ее „переписчикъ“ Володимеровъ за Дюкову родимую матушку, поклонился ей очестливо, говоритъ—что привезъ ей отъ сына челобитіе. „А я не Дюкова здѣсь а есть вѣдь матушка, а Дюкова здѣсь я есть портомойница!“—отвѣтила она Добрынѣ. Стало зазорно Никитичу, поѣхалъ онъ даль-ше, пріѣхалъ во Галичъ-градъ, увидалъ и здѣсь три высо-кихъ терема. И въ этихъ теремахъ сидитъ „жена стара ма-тера, мало-де шелку, вся въ золотѣ“. И ей—тѣ-же, что и передъ тѣмъ, поклоны съ челобитіемъ; опять ошибся Добры-ня,—это была „Дюкова божатушка“ (крѣстная). Дала она совѣтъ добрый Никитичу, какъ и гдѣ найти Степанычеву ро-димую матушку. Послушался могучій богатырь, „отъѣзжалъ во чисто поле, просыпалъ Добрыня ночку темную, на утро пріѣхалъ во Галичъ-градъ, да сталъ на дорогу прешпехтивную, гдѣ-ка стланы сукна багреповыя“. Какъ и похвалялся-гово-рилъ Дюкъ Степановичъ, на кievскую простоту гляючи,—„на-передъ пошли тутъ лопатники, за лопатниками пошли ме-тельщики, да очищаютъ дорогу сукна стланаго.“—Шла-про-шла по дорожкѣ родимая матушка удалого сына боярскаго. Поклонился ей Добрыня Никитичъ до сырой земли. Отозва-лась ласково на привѣтъ добрая боярыня, позвала его съ собою въ церковь Божию, а оттуда въ свой теремъ,—начала „поить-кормить, много чествовать“. Попилъ-поѣлъ Добрыня, всталъ изъ-за стола изъ-за дубоваго: „Да государыня ты, Дюкова матушка, да я вѣдь пріѣхалъ не тебя смотрѣть,

жизня твоего богатства описывать!— Повела старуха гостя въ погребѣ темные, отворила ихъ,—диву дался посланецъ княжій, живучи на свѣтѣ, никогда онъ такого богатства и во снѣ не видывалъ. „Да намъ съ города изъ Кіева да везти бумаги на шести возахъ, да чернилъ-то везти на трехъ возахъ, да описывать Дюково богатство, да не описать будеть!“—повезъ Никитичъ ярлыкъ скорописчатый ласковому князю Владиміру.

Вернулся въ Кіевъ богатырь, положилъ свой ярлыкъ передъ Краснымъ-Солнышкомъ, а самъ принялся рѣчь вести про все видѣнное. Но и тутъ не взялъ угомонъ задорнаго Чурилу: вызываетъ онъ Дюка Степановича биться съ нимъ о новый великъ-закладъ: „скакать на добрыхъ коней, за ма-тушку Почай-рѣку и назадъ на добрыхъ коняхъ отскакивать“. И вотъ—„ударилсь они о своихъ о буйныхъ головахъ: который изъ ихъ не перескочитъ, такъ у того молодца голова срубить“. Осрамился передъ Степановичемъ Пленковичъ. И ужъ выдернулъ Дюкъ саблю, хотѣлъ рубить щеголю-нахвалящигу голову, да вступились князь со княгинею: „Удалый, дородній добрый молодець! Не руби ты Чурилу буйной головой, да спусти ты Чурилу на свою волю!“ Внялъ просьбѣ заѣзжій богатырь,—„пиналъ“ онъ своего соперника „правой ногой“, а самъ—Дюкъ—приговариваетъ: „Ай де ты Чурило, сухоногіе, да поди щапи съ дѣвками да съ бабами, а не съ нами, съ добрыми молодцами!“ Князю съ княгинею отъ Степановича низкій поклонъ; прощается боярскій сынъ съ ласковыми хозяевами Кіева, ведетъ прощальное словцо и къ кіевлянамъ: „Да простите вы, бояра всѣ кіевски, всѣ мужики огородники! Да вспоминайте вы Дюка вѣки на вѣки!“ Съ тѣмъ словомъ и уѣхалъ онъ „во свой Галичъ-градъ, ко своей-то родимой сударини, да сталъ жить-быть, вѣкъ корótати“,—кончается былинный сказъ, посвященный прославленію богатства зарубежнаго. Диву давались кіевляне—„мужики-огородники“,—на Дюково богатство гляючи; но не перещипать-бы и ему того, чѣмъ богатымъ слылъ съ незапамятной поры народъ русскій, не гонящійся за шелками-бархатами, каменьями-„яфонтами“, а крѣпкій-сильный своею нерушимой связью съ Матерью-Сырой-Землею. Счастливъ Дюкъ, что пришлось ему вступить въ состязаніе съ Чурилой—бабынмъ перелестникомъ. А что сталось-бы, еслибъ судьба поставила его грудь съ грудью съ Микулой Селяниновичемъ, до сихъ поръ крестьянствующимъ на Святой Руси—въ лицѣ позднихъ потомковъ своихъ правнуковъ, все богатство которыхъ составляютъ хлѣбъ насущный, конь-пахарь да полоса-

полосынька!.. Того-и-гляди, въ сравненіи съ этимъ вѣковѣчнымъ богатствомъ народа-пахаря, свелось-бы на бѣдность хвалёное богатство.

Калики - переходіе, убогіе пѣвцы, сказатели духовныхъ стиховъ, еще и въ наши дни попадающіеся на Святой Руси, являются яркимъ воплощеніемъ взгляда русскаго народа на взысканную Богомъ бѣдность. Съ именемъ Христовымъ да съ умильными пѣснями-сказаніями о Немъ и святыхъ Его проходятъ они изъ конца въ конецъ весь неоглядный просторъ свѣтлорусскій — эти желанные гости сельскихъ праздниковъ и базаровъ, соперничающіе въ образѣ жизни съ птицами, не сѣющими, не жнущими и не собирающими въ житницы, но питаемыми Отцомъ Небеснымъ. Въ сказаніяхъ стиховныхъ о Вознесеніи Господнемъ, о которыхъ своевременно велась уже рѣчь на страницахъ настоящей книги, подробно повѣствуется о томъ—съ какихъ поръ появились на бѣдомъ Божьемъ свѣтѣ калики-переходіе. „Ужъ ты, Истинный Христосъ, Царь Небесный! Чѣмъ мы будемъ, бѣдные, питаться? Чѣмъ мы будемъ, бѣдные, одѣваться, обуваться?“—расплакалась нищя братія—какъ вознесся Христосъ на небеса. Услышавъ Сынъ Божій плачь убогаго люда. „Не плачьте вы, бѣдные-убогіе! Дамъ я вамъ гору да золотую, дамъ я вамъ рѣку да медвяную: будете вы сыты и пьяны, будете обуты и одѣты!“—быль имъ гласъ съ небеси. „Не давай ты имъ горы да золотыя, не давай ты имъ рѣки медвяныя: сильные-богатые отнимуть; много тутъ будетъ убійства, тутъ много будетъ кровопролитья. Ты дай имъ свое святое имя: тебя будутъ поминати, тебя будутъ величати,—будутъ они сыты и пьяны, будутъ обуты и одѣты!“—возразилъ Истинному Христу Иванъ Богословъ, и даровалъ Царь Небесный нищей братіи на прокормленіе вѣковѣчный даръ—Свое святое имя.

Древнерусское былинное слово сохранило преданіе о сорока каликахъ со каликою, разгуливавшихъ въ стародавнюю пору по Землѣ Русской и не только питавшихся по завѣту Ивана Богослова, именемъ Распятаго Учителя жизни, но и совершавшихъ дѣла богатырскія. Сказатели былинъ называютъ даже атамана этихъ каликъ-богатырей, величаютъ его то Касьяномъ Михайловичемъ, то молодымъ Михайлушкой Касьяновымъ. Въ Петрозаводскомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи подслушана-записана Рыбниковымъ такая побывальщинка о каликахъ богатырскаго склада: „Ходили калики-переходіе изъ орды въ орду, сорокъ каликъ со каликою. Лапотки на ножикахъ у нихъ были шелковые, подсумочки сшиты черна бархата, во рукахъ были клюки кости рыбаея,

на головушкахъ были шляпки земли греческой. Приходили они въ хоробру Литву, ко тому королю литовскому на широкой дворъ, становились подъ косявчето окошечко, и попросили они милостины:—Ай же ты, король литовский! Сотвори-тко намъ милостину, каликамъ переходимъ. Не рублямы мы беремъ и не полтинамы, беремъ-то мы цѣлыми тысячами!—Отъ ихъ отъ покриковъ богатырскихъ оконницы въ теремахъ поразсыпались, маковки во теремахъ покривились. Король вводилъ ихъ во палаты бѣлокаменны, кормилъ онъ, ихъ бѣствашкой сахарнею, и поилъ ихъ питьемъ медвянымъ, и дарилъ имъ дары драгоценныя. Говорилъ король таковыя слова:—Не калики есте переходжи, есть вы русскіе могучіе богатыри!“ Какъ эти калики, такъ и заходившіе въ Кіевъ-градъ подъ предводительствомъ приглянушагося княгинѣ Апраксіи Касьяна Михайловича,—являются исключительнымъ явленіемъ въ памятникахъ русской простонародной словесности. Но еще и теперь можно услышать, по пути на богомолье, тигучій напѣвъ ихъ убогихъ собратій, бродящихъ цѣлыми ватагами: „Отцы наши, наши батюшки, дай вамъ Господи доброе здоровье! Да несеть васъ Богъ до Сергія-Троицы!“ или: „Господи Исусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ! Кормилицы наши батюшки, милосливья матушки, сотворите святую милостынюку Христа-ради!“ и т. д. Въ собраніи народныхъ пѣсенъ Кирѣвскаго есть такой благодарственный стихъ нищихъ-убогихъ, каликъ-перехожихъ: „Ай вы нутетка, ребята, за царей Богу молити, за весь міръ православный, кто насъ поитъ и кормитъ, обуваеъ, одѣваеъ, темной ночи сохраняетъ! Сохрани его Господь Богъ отъ лихого чело-вѣка, отъ напраснаго отъ слова, сохрани Господь, помилуй! Что онъ молить и просить, то создай ему, Господи! Сохрани и помилуй при пути, при дорогѣ, при тѣмной при ночи, отъ бѣгучаго отъ звѣря, отъ ползучаго отъ змѣя! Закрой его Господь Богъ своею пеленою отъ летучаго отъ змѣя, при пути его, при дорогѣ, сохрани его Господь Богъ!“

Странническая-скитальческая жизнь бездомнаго убогаго люда, питающагося и одѣвающагося однимъ именемъ Христо-вымъ вызвала изъ сокровенныхъ глубинъ стихійной народной души, рядъ живучихъ яркихъ образовъ, слившихся-объединившихся съ понятіемъ о нищенствѣ—какъ подвигѣ. Эти образы, увѣковѣченные народной памятью въ пѣсенныхъ сказаніяхъ, являются для хранителей-носителей послѣднихъ живымъ примѣромъ подвижничества во славу Божию. Великій въ своемъ смиреніи Алексѣй—человѣкъ Божій, промѣнявшій престоль на пустыню Іоасафъ-царевичъ, проданный братьями на

чужбину Иосифъ Прекрасный и наособицу любезный нищенствующему люду Лазарь-убогій, все это—живые образы, говорящіе убѣдительнымъ языкомъ возревновавшей о Богѣ, взыскующей града вышняго, да и всякой бѣдствующей-страждущей въ этомъ мірѣ, душѣ. Въ нихъ явственно слышится убогому люду отзвукъ небесныхъ обѣтованій, запечатлѣнныхъ въ Божественномъ Писаніи; они—эти сжившіеся съ народнымъ сердцемъ образы—являются въ представленіи народа тѣмъ узкимъ мостомъ, по которому можно пройти надъ туманной бездною грѣховнаго міра въ свѣтлые чертоги царства небеснаго. „Блаженъ, кто можетъ вмѣстить въ свою жизнь подражаніе имъ!“—мыслить мятущейся духъ темнаго люда, и вотъ до сихъ поръ выскрываются въ народной Руси искренніе подражатели прославленныхъ подвижниковъ, покидающіе домъ свой, раздающіе имущество и возлагающіе на рамена свои бремя убогой-нищенской жизни—во имя Того, Кто двѣ тысячи лѣтъ назадъ сказалъ, что „легче верблюду пройти въ игольные уши, чѣмъ богатому наследовать царствіе небесное!“

Не одинъ десятокъ разнопѣвцовъ стиха о Лазарѣ-убогомъ ходитъ по селамъ-деревнямъ русскимъ,—каждый калика-перехожій поетъ-тянетъ съ него „Лазаря“: до того приплась подсердцу убогому люду эта евангельская притча, устами народа-сказателя повѣствующая о томъ, какъ жили на свѣтѣ два брата—два Лазаря („одинъ братецъ—богатый Лазарь, а другой братецъ—убогій Лазарь“). Наболѣе полный и въ то-же самое время наболѣе близкій къ своему первоисточнику разносказъ этого трогательно-умилительнаго повѣствованія записанъ въ великорусскомъ гнѣздѣ сказаній—новгородско-олонецкой округѣ. „Жилъ себѣ на землѣ славень-богатъ, пильѣль богатый—сахаръ воскушалъ, дороги одежды богато надѣвалъ...“—ведется въ немъ рѣчь о земной жизни перваго Лазаря. „По двору богатый похаживаетъ, за нимъ выходила свышняя раба, въ рудѣхъ выносила медъ и вино.—Испей, мой богатый, зелена вина; закушай, богатый, сладкіе меды!“ Вотъ богатый братъ однажды вышелъ за ворота своего дома, видитъ—лежитъ передъ нимъ бѣдный братъ его: „лежитъ убогій во Божьемъ труду, во Божьемъ труду, самъ весь во гною.“ Отвернулся богачъ, чтобы пройти мимо, не видя убожества бѣднаго; но подаль бѣдный Лазарь голосъ, остановившій богача: „Ой ты, мой братецъ, славень-богатъ! Сошли, Христа ради кошъ, милостыню,—хлѣба-соли, чѣмъ душу питать; про имене Христова напой, накорми! Христось тебѣ заплатитъ, Самъ Богъ со небесъ на мою на проторь на нищенскую!“ Но того, кто очерствѣлъ въ довольствѣ своемъ,

не разжалобить такими просьбами-мольбами, не заманить подобными обѣщаніями заманчивыми. „Лежишь ты, убогій, во Божьемъ труду, во Божьемъ труду, самъ весь во гною“, — отозвался богатый Лазарь: „Ой, осмердиль ты меня, какъ лютый песь! Что ты мнѣ за братецъ? Что ты мнѣ за родной? Этихъ у меня братьевъ въ роду не было! Есть у меня братья, каковъ я и самъ, каковъ я и самъ — князья-бояра; много у братьевъ имѣнья-житья, хлѣба и соли, золота и серебра! А твои-то братья — два пса-кобеля: по подстолюю они похаживаютъ!“ Отвѣтъ убогаго Лазаря на эти злыя, подсказанныя лихой гордынею, слова весь проникнуть народнымъ духомъ, отразившимся въ зеркальной глубинѣ сердца, свыкшагося съ нуждой-бѣдностью сына земли-кормилицы, — духомъ, знакомымъ пытливымъ народовѣдамъ по стариннымъ пѣснямъ-былямъ. „Потому я тебѣ братецъ, потому — родной, что единая матушка насъ породила, что единъ сударь-батюшка вспоилъ, вскормилъ, не единою долею онъ насъ надѣлилъ: большому-то брату богатства тьма, меньшому-то брату — убожество и рай.“ Не смутили эти слова богача, — плюнулъ онъ, повернулся и пошелъ въ свои палаты. Вслѣдъ за этимъ передъ слушателями сказанія — картина пира въ богачовыхъ палатахъ. Были на пиру, пили-ѣли друзья-братья; похаживали по подстолюю богачовы псы, подбирали съ пола падавшія со стола крохи; но не съѣдали они ихъ, а приносили къ убогому Лазарю. „Владыка со небесъ ему самъ душу питалъ, а псы ему раны зализывали.“ Горечью нестерпимою отозвалось въ душѣ убогаго милосердіе псовъ; всталъ со своего гноища, вышелъ онъ въ поле, воскликнулъ громкимъ голосомъ: „О, Господи, Господи, Спасъ милостливый! Услыши, Господь Богъ, молитву мою неправедную! Сошли ты мнѣ, Господи, грозныхъ ангеловъ, грозныхъ и не смирныхъ и немилостливыхъ! Чтобъ вынули душеньку сквозъ реберъ копье, положили-бъ душеньку да на борону, понесли-бы душеньку въ огонь во смолу! И такъ моя душенька намаялася, по бѣлому свѣту находилася! Какъ живучи здѣсь на вольномъ свѣтѣ, мнѣ нечѣмъ, убогому, въ рай превзойти, нечѣмъ въ убожествѣ душу спасти!“ Дошла до престола Господня слезная молитва Лазаря убогаго, — послалъ Онъ съ небесъ по Лазареву душу ангеловъ, но только не такихъ, о какихъ просилъ убогій; а „тихихъ, все милостливыхъ“. Подступили посланцы Божіи къ брату богача: „вынимали душеньку честно и хвально, честно и хвально въ сахарны уста; да приняли душу на пелену, да вознесли же душу на небеса, да отдали душу Богу въ рай, къ святому Аврамію праведному“. Приводятся вслѣдъ.

за этимъ и слова ангельскія, съ которыми была отнесена душа убогаго въ лоно праведныхъ:

„Вотъ тебѣ, душенька, тутъ вѣкъ вѣковать—
Въ небесномъ царствіи, пресвѣтломъ раю!
Съ праведными жить тебѣ, ликъ ликовать!“

Смерть убогаго прошла незамѣченной. Летѣло время, катились для богача дни въ прежнемъ довольствѣ, — прохладѣлся онъ въ пирахъ-бесѣдахъ съ утра до вечера... Но вотъ—напала на богатаго Лазаря болѣсть лютая, пришла къ нему въ домъ—къ его пышному-мягкому ложу „злая хворыбонька, зла-уродливая смерть“. Свѣтъ затмевается предъ очами богача, не узнаетъ онъ ни дома, ни жены, ни дѣтей, ни друзей своихъ. „О, Боже, Владыко Спасъ милостыливый!“—молится онъ на смертномъ ложѣ: „Услыши, Господь Богъ, молитву мою, молитву мою всю праведную: прими мою душу на хвалы себѣ! Создай ты мнѣ, Господи, тихихъ ангелей, тихихъ и смиренныхъ и милостыливыхъ, по мою по душеньку по праведную! Чтобъ вынули душеньку честно да хвадно, положили-бъ душеньку да на пелену, понесли-бы душеньку къ самому Христу, къ самому Христу, къ Аврамію въ рай! И такъ моя душенька поцарствовала! Живучи здѣсь на вольномъ свѣту, пла-ѣла душенька, все тѣшила! Мнѣ есть чѣмъ, богатому, въ рай превзойти; мнѣ есть чѣмъ, богатому, душу спасти: много у богатаго имѣнья-жизня, хлѣба и соли, злата и сребра!“ Дошла до слуха Божія и эта исполненная гордыни молитва умирающаго богача неправеднаго; но не внялъ Онъ ей: послалъ къ смертному одру тѣхъ самыхъ ангеловъ грозныхъ, о какихъ просилъ убогий; ввергнули онѣ богачову душу въ темную бездну—„въ тое злую муку въ геенскій огонь“. — „Вотъ тебѣ, душенька, вѣчное житье, вѣчное житье безконечное! Смотри-жъ ты, богатый, кто предвыше тебя!“—услышалъ Лазарь богатый въ своемъ новомъ жилищѣ. Поднялъ онъ взоръ и увидѣлъ младшаго брата Лазаря на лонѣ праведныхъ; увидавъ, воззвалъ къ нему изъ огня геенскаго: называетъ его братцемъ роденькимъ, просить-молитъ омочить палець-мизинець въ водѣ потоковъ райскихъ, поднести къ запекшимся устамъ—утишить пламя мукъ его. „Ой ты, мой братецъ, славень-богаты!“—отвѣчаетъ ему братъ: „Нельзя, мой родимый, тебѣ пособить,—здѣсь намъ, братецъ, воля не своя, здѣсь намъ воля все Господова. Егда мы живали на вольномъ свѣту, тогда мы съ тобой Богу не справивали, ты меня, братецъ, братомъ не нарекалъ, нарекъ ты меня, братецъ, лютымъ псомъ; про имене Христо-

во ты не подавалъ, нищихъ-убогихъ ты въ домъ не принималъ, вдовъ-сиротъ, братецъ, ты не призиралъ, ночнымъ ночлегомъ ты не укрывалъ, нагого, босого ты не одѣвалъ, на пути слѣдующему ты не подавалъ, темную темницу ты не просвѣщалъ, во гробъ умершихъ ты не провождалъ, до Божіей до церкви всегда бы со свѣчой, отъ Божіей церкви до сырой земли... Раскаянiе богатаго Лазаря, держащаго слезный отвѣтъ на эти слова брата, оказывается слишкомъ запоздалымъ. — „Ой ты, мой братецъ, славень-богатъ!“ — возражаетъ ему возлежащій съ праведными: „Вспокаялся, братецъ, да не въ время! Гдѣ твое, братецъ, имѣнье-житье? Гдѣ твое, родимый, злато-серебро? Да гдѣ-же твое братецъ, цвѣтное платье? Гдѣ твои, братецъ, свынiя рабы?“ Ничего не остается недавнему богачу неправедному, какъ отвѣтить на эти вопросы, что все это „прахомъ взято“, все это „земля пожрала“, „тлѣнь воспріялъ“, все — минулося. Заключительное слово Лазаря убогаго — спасительный якорь надежды каждаго страждущаго въ нашемъ мiрѣ подъ ярмомъ нищеты. Вотъ оно: „Ой ты, братецъ, славень-богатъ! Едина насъ мать съ тобой родила; не одни участки намъ Господь написалъ: тебѣ Господь написалъ богатства тьма; а мнѣ Господь написалъ въ убожествѣ рай. Тебя въ богатствѣ врагъ уловилъ; меня въ убожествѣ Господь утвердилъ вѣрою, правдою, всею любовію. Спасли мою душеньку святы ангели, гдѣ святы ангели ликъ ликуютъ; ликъ ликуютъ здѣсь ангели на земли, царствуютъ праведники на небесахъ. Живи ты, мой братецъ, гдѣ Богъ повелѣлъ: а мнѣ жить, убогому, въ пресвѣтломъ раю, съ праведными жить и мнѣ ликъ ликовать!“ И не только „ликъ ликуетъ“ Лазарь убогій на лонѣ праведныхъ, а разливается пѣсенная слава о немъ по народной Руси изъ устъ другихъ Лазарей, взысканныхъ нищетою, уповающихъ на благость-милость Господню, живущихъ-питающихся-одѣваемыхъ именемъ Христовымъ.

О-бокъ съ этими „Лазарями-убогими“ живутъ, какъ и въ старую старь, горделивые богачи. Есть не мало и бѣдняковъ, завистливыми глазами присматривающихся къ чужому достатку. Найдутся и такіе люди, что — подобно своимъ дѣдамъ-прадѣдамъ, дѣтямъ темной старины — кладовъ, зарытыхъ въ землѣ, заклятыхъ „словами“ великими, ищутъ всю свою жизнь, послѣдній достатокъ убогій на ихъ поиски теряючи. „Кладъ въ руки не всякому дается!“ — утѣшаются неудачливые кладоискатели: „надо такое слово знать, на которое онъ положень!“ Ищутъ они и „разрывъ-травы“, помогающей, по завѣту народнаго суевѣрiя, въ такомъ дѣлѣ, и за „златоогненнымъ

цвѣтомъ“ въ Иванову ночь по лѣснымъ трупобамъ бродятъ-скитаются, и ко всякимъ заговорамъ прислушиваются. Ходить по-людямъ и сказаніе о „неразмѣнномъ рублѣ“, овладѣвъ которымъ, вѣкъ свой съ нуждою не встрѣтишься.—какъ бы она, лиходѣйка, ни перебѣгала тебѣ путь-дороженьку. Говорятъ старые люди, что попадались въ руки инымъ счастливымъ такіе рубли, и даже совѣтъ даютъ, какъ добыть ихъ у нечистой силы. По увѣренію знахарей, для этого надо идти на базаръ, ни съ кѣмъ не говоря и не оглядываясь—купить гусака безъ торгу, давъ—сколько запросятъ; принеся его домой, задушить правой рукою, положить въ печь и жарить до полуночи неоципаннымъ, а въ полночь вынуть изъ печи и выйти съ нимъ на перекрестокъ, гдѣ и обращаться къ каждому встрѣчному съ предложеніемъ купить—тотъ изъ нежити-нечисти. Продавъ гуся, надо идти домой безъ оглядки,—хотя-бы вслѣдъ и неслись голоса всякіе. Оглянешься—вмѣсто рубля черепокъ въ рукахъ очутится глиняный. Принесешь домой неразмѣнный рубль,—съ нимъ не разстанешься во вѣкъ, если не станешь просить-брать съ него сдачи при покупкахъ: всякій разъ онъ въ карманъ воротится къ хозяину. Есть такіе люди, что и вѣрятъ этимъ розказнямъ; но невпримѣръ больше такихъ, кто живетъ на бѣломъ свѣтѣ, неразмѣнныхъ рублей не ищетъ, а если и вѣритъ въ какой кладъ, такъ только въ помощь Божию да въ свое трудовое засилье. Съ такимъ кладомъ въ рукахъ смотритъ богатыремъ народная Русь; съ нимъ и бѣднякъ взглянетъ соколомъ прямо въ глаза любой бѣдѣ-невгодѣ.



LX.

Порокъ и добродѣтель.

Суевѣрное общеніе съ природою, отовсюду обступающей быть народа-пахаря, создавшее своеобразные взгляды на жизнь и ея запросы, не могло не выработать и своихъ самобытныхъ законовъ нравственности, вошедшихъ съ теченіемъ вѣковъ въ плоть и кровь. Свѣтъ вѣры Христовой, озаривъ темныя-туманныя дебри народной Руси, внесъ въ ея жизнь новыя понятія о порокъ и добродѣтели. Но христіанское міровоззрѣніе нашло слишкомъ много родственнаго въ рускомъ народѣ и быстро приросло къ его стихійной душѣ, мало-по-малу заслоняя отъ взора просвѣтленныхъ очей обожествлявшаго видимую природу язычника все темное-злое, руководившее нѣкоторыми его побужденіями. Языческое суевѣріе, упрямо державшееся въ народѣ, до сихъ поръ еще не вымерло у насъ; но долгіе вѣка христіанской жизни сдѣлали свое дѣло: оно совершенно утратило всю тлетворность непосредственнаго вліянія на жаждущую свѣта любвеобильную крещеную Русь православную, труждающуюся съ Божьей помощью на освященныхъ вѣковымъ трудомъ пращуровъ родимыхъ поляхъ. Пережитки древнеязыческаго суевѣрія, явственно ощущаемые въ обычаяхъ современнаго крестьянина, являются уже не обрядами, а именно только обычаями, въ большинствѣ случаевъ придающими болѣе яркую окраску самобытному строю-укладу его жизни. Эти суевѣрные обычаи—зыбкій, но прочно построенный, мостъ, перекинутый съ крутого берега цвѣтистой старины стародавней къ пологому побережью нашихъ тусклыхъ дней, утопающихъ-теряющихся въ сѣромъ однообразіи будничныхъ заботъ,

связанныхъ съ борьбою изъ-за хлѣба. Въ этихъ обычаяхъ кроется-хоронится отъ беспощадной руки если не всестребляющаго, то всеглаживающаго, времени, преемственная связь отдаленнѣйшихъ поколѣннй народа съ ихъ позднимъ потомствомъ. Живучесть ихъ—прямое свидѣтельство насущной потребности въ этой невымирающей связи; въ ней—залогъ самобытности русской народной жизни, своими, чуждыми для иноземцевъ, путями-дорогами идущей по безконечной путинѣ вѣковъ. Живая душа народа слышится въ его могучемъ словѣ—пѣсняхъ, сказанiяхъ и пословицахъ,—создававшихся-слагавшихся на утучненной суевѣриемъ почвѣ, взростившей и могучихъ богатырей русскаго самосознанiя, увѣковѣченныхъ въ народной памяти былиннымъ пѣснотворчествомъ, и нищихъ духомъ—кроткихъ сердцемъ—искателей душеспасительной правды-истины, воспѣтыхъ въ стиховныхъ сказанiяхъ, до сихъ поръ разносимыхъ по свѣтлорусскому простору каликами-перехожими, пережившими вымирающихъ не по днямъ, а по часамъ, сказателей былинъ.

Въ Тульской губернiи записана покойнымъ П. В. Шейномъ и нѣсколькими другими собирателями памятниковъ народнаго пѣснотворчества любопытная пѣсня дѣвушки, задумывающей мстить своему милому за измѣну. „Хорошо тому на свѣтѣ жить, у кого нѣтъ стыда въ глазахъ“,—запѣвается она: „ни стыда въ глазахъ, ни совѣсти, никакой нѣтъ заботушки“... Изъ дальнѣйшихъ словъ пѣсни выясняется, что у самой пѣвицы есть и горе, и заботушка: „зазнобилъ сердце дѣтинушка, зазнобивши, онъ повысушилъ.“ За такое лиходѣйство готовится дѣтинушкѣ месть: „Я сама дружка повысушу; я не зельями, не кореньями—а своими горячими слезьми!“ и т. д. Такимъ образомъ, какъ видно изъ самаго заключенiя пѣсни, начальныя слова ея являются только поводомъ къ цвѣтистому сопоставленiю. Отсутствие-же стыда, совѣсти не только не представляется русскому народу хорошимъ дѣломъ, но и прямо-таки служить въ его глазахъ явнымъ свидѣтельствомъ того, что передъ нимъ—завѣдомо худой человѣкъ, въ общенiи съ которымъ надо „держать ухо востро“, а не лишнее и запастись „камнемъ за пазухой.“

Добро, по народному опредѣленiю, является Божьимъ дѣломъ, зло—служенiемъ дiаволу, врагу рода человѣческаго. Добродѣтель—лѣстница на небеса; порокъ—лѣстница въ „преисподняя земли“. „Добро дѣлай—никого не бойся,“—гласитъ устами старыхъ людей простонародная мудрость: „зло творить станешь—на каждомъ шагу по вѣмъ сторонамъ оглядывайся!“ „Доброму человѣку—весь мiръ свой домъ, злomu-

порочному и своя хата—чужая!“ „Добродѣтель—передъ Богомъ на страшномъ судѣ—твой свидѣтель, порокъ—лихой воробѣтъ!“, „Грѣхомъ заживешь—и деньги наживешь, да никуда кромѣ ада не придешь; добрыми дѣлами жить—и съ сумою ходить, да въ рай быть!“ „Добромъ жизнь украшается—что степь цвѣтами; отъ грѣховной жизни цвѣтъ души вянетъ!“ и т. д. „Отъ добра худа не бываетъ!“ „Отъ худа—и добра убываетъ!“—говорятъ въ народѣ, но тутъ-же себя оговорить готовы на иной ладъ сложившеюся пословицей, смахивающею на прибаутку: „Нѣтъ худа безъ добра, какъ нѣтъ и добра безъ худа!“ Эта пословица—измышление податливой совѣсти, если относить ея „худо“ ко грѣху-пороку, а не къ бѣдѣ-напасту. Въ одинаковой степени изреченіе—„За добро зломъ не платятъ!“ является словомъ простодушной недалновидности, смотрящей на жизнь глазами младенца малаго, которому все представляется въ болѣе свѣтломъ видѣ, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ.

Съ добродѣтелью не всегда по сосѣдству удача живетъ, но въ ней—по мнѣнію русскаго народа-сказателя—ближайшій путь къ покою душевному; а покой—родной братъ счастью. „Чась въ добродѣтели проведешь, все горе забудешь!“—говоритъ благочестивая старина, говоря—приговариваетъ: „Добро добро ведетъ!“ „Кто добро творитъ, тому Богъ отплатитъ!“ „За добродѣтель Богъ плательщикъ,—не берегись отпущать въ долгъ!“ „Сѣй добро, посыпай добромъ, жни добро, одѣляй добромъ!“ Въ русскомъ пахарѣ всегда сидитъ хозяйственная смѣтка, хотя-бы онъ и былъ изъ краснослововъ краснословомъ. Добродѣтель, въ его представленіи, куда выгоднѣе порока, хотя—на недалнозоркій взглядъ—последнему и сопутствуетъ красное жите-бытье богатое. Такъ, изъ устъ краснослова-пахаря, вѣкующаго свой вѣкъ о-бокъ съ трудовой бѣдностью, вылетѣли на свѣлорусскій просторъ живучія слова, окрыленные истинно-христіанской мыслью: „Кинь добро назадъ, очутится впереди!“ „Лихо помнится, а добро—во-вѣкъ не забудется!“ „За добро на небесахъ добромъ платятъ сторицею!“ „Добрый человекъ проживетъ долгій вѣкъ!“ „Гдѣ добра нѣтъ—тамъ не ищи правды, гдѣ нѣтъ правды—ложь всю душу вытянетъ!“ „Во злѣ проживать—себѣ добра не желать!“ „При солнцѣ и зимой свѣтло, при добродѣтели и въ холоду тепло!“ „У добра—ноги сами на прямой путь ведутъ; грѣхъ—окольными путями пробирается, о каждую кочку спотыкается!“

Что ни вѣкъ, что ни годъ—все большую силу забираетъ надъ міромъ грѣхъ; все крѣпче опутываетъ слабѣющую во-

лею жизнь порокъ своимъ тенетами-сѣтями, все труднѣе перейти поле жизни, не сбившись на торную тропу, быстро ведущую къ нравственной гибели. Это — общій голосъ старыхъ людей, добромъ поминающихъ минувшія времена. Но они же сами не прочь повторять и просвѣтляющія сумракъ ихъ взгляда на современность изреченія — въ родѣ такихъ, какъ, напримеръ: „Свѣтъ безъ добрыхъ людей не стоитъ!“, „Добродѣтелю каждый день живетъ!“, „Какъ ни худы времена, а все не вымерли люди праведные!“ и т. д. Хорошая молва-слава, по стародавнему народному слову, дороже богатства: „Въ богатствѣ сыто брюхо, голодна — душа!“, „Доброе дѣло питаетъ и душу, и тѣло!“, „Добродѣтель и въ водѣ не утонетъ, и въ огнѣ не сгоритъ, и подъ землей не сгноится!“, „Худая слава небо коптитъ, доброе словцо — солнечный лучъ!“, „Зломъ всю жизнь пройдешь, да назадъ не воротиться!“. Таковыми словами продолжаетъ развивать словоохотливый народъ-сказатель свое яркое опредѣленіе добра и зла, порока и добродѣтели.

О-бокъ съ людьми, надо всѣмъ, превыше всего — ставящими въру въ торжество правды-истины, всюду найдется немало и такихъ, что походя готовы затемнить-отуманить это свѣтлое солнышко жизненныхъ потемокъ. Не можетъ такой чловѣкъ спокойно слышать, что не все еще на свѣтѣ находится подъ несокрушимую власть порока; похвала современнымъ добрымъ людямъ — для его слуха ножъ острый. Если повѣрить имъ на-слово, — нѣтъ въ наши дни ничего истинно-добраго на свѣтѣ, а каждая добродѣтель является личиною тайнаго порока, прикрывающагося мелкими добрыми дѣлами только для того, чтобы отвести глаза отъ крупныхъ грѣховъ. „Добро — о двухъ концахъ, что палка: какъ повернешь, такъ и скажется!“ — говорятъ они: „Почувствуй у добраго чловѣка: научить — какъ рѣшетомъ воду носить!“; „Другая доброта — похуже воровства!“; „Къ иному добру подойдешь и вживѣ не уйдешь!“; „Нынѣшнее добро — ломаное ребро!“; „Избавь Господь отъ добрыхъ людей, а съ худыми-то мы сами справимся!“; Но не на такихъ оговорныхъ рѣчахъ взгляды народной Руси держатся, не такими недовѣрчивыми глазами смотритъ духовный взоръ народа-пахаря: надѣленъ онъ отъ Бога счастливымъ даромъ — находить и во злѣ крупницу добра. Не мимо молвится въ народѣ, что „свѣтъ и во тмѣ свѣтитъ“, недаромъ хлѣбосольный-гостепріимный людъ встрѣчаетъ желаннаго гостя привѣтствіемъ — „Добро пожаловать!“, а провожаетъ отъ себя ласковыми словами — „Въ добрый часъ — добрый путь!“.

Покладистая совѣсть не особенно стойкихъ въ борьбѣ съ

ходящимъ по-людямъ грѣхомъ людей подсказала народному живучему слову поговорки-присловья: „Не согрѣшивъ, не спасешься!“ „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ!“ „Одинъ Богъ безъ грѣха!“ „И первый человекъ грѣха не миновалъ, и послѣдній не избудеть!“ „Кто Богу не грѣшенъ, царю не виновать!“ „Грѣшный чистень, грѣшный плутъ—въ мѣръ всѣ грѣхомъ живутъ!“ Противъ этихъ, какъ-бы потворствующихъ грѣху-пороку, изреченій въ одинъ голосъ возстаютъ такія слова болѣе сильныхъ духомъ сказателей, какъ: „Съ людьми мирись, а съ грѣхами бранись!“ „Чей грѣхъ—того и бѣда!“ „Грѣхъ—душѣ пагуба!“ „Отъ грѣха бѣги къ спасенію!“ „Грѣхи вопіють къ небу!“ „Грѣхъ человека въ адъ тянетъ!“ „Грѣхи любезны, да доводятъ до бездны!“ „Отъ грѣха ко грѣху пойдешь, ничего кромѣ погибели не найдешь!“ „Не бойся кнута, бойся грѣха!“ Раскаяніе всегда было средни душъ русскаго человека. Потому-то и самые закоренѣлые злодѣи зачастую облегчали покаяніемъ бремя отягченной преступленіями души. Въ немъ видитъ народная Русь единственный путь къ исходу изъ заколдованнаго круга нравственной смерти, которая для истинно-русскаго человека непримѣръ страшнѣе тѣлесной. „Правда—свѣтлѣе солнца!“ — говорятъ добрые люди православные. Ложь, по народному представленію, темнѣе ночи, правда—мать добродѣтели, ложь—прародительница пороковъ, діаволь — отецъ лжи, сѣющій по-людямъ грѣхи, низводящіе человечество съ горнихъ высотъ надежды въ мрачную бездну отчаянія. На этихъ крѣпкихъ-незыблемыхъ устояхъ держится народная нравственность, несмотря на то, что вокругъ нея бушуетъ бурливое море соблазновъ, что ни годъ становящихся ярче-цвѣтнѣе да назойливѣй-неотвязнѣе. „Проѣхалъ-было мимо, да завернулъ по дыму!“ „На алый цвѣтокъ летитъ и мотылекъ!“ „Медь—сладко, мухъ падко!“ „Адамовы дѣтки—на грѣхъ падки!“ — обмолвился русскій народъ о привлекающемъ глазъ соблазнѣ-искушеніи, но въ то же самое время изрекаетъ свой приговоръ надъ поддающимися обаянію послѣдняго: „Порокъ — лихая болѣсть!“ „Порочный человекъ — калѣка!“ „Испорчилъ душу — сгнилъ заживо!“ Но не съ легкимъ сердцемъ готовъ осудить опутаннаго тенетами пороковъ грѣшника человекъ, ведущій болѣе близкую къ добродѣтели жизнь. Скажетъ онъ стгоряча ипогда и такое жестокое слово, какъ „Худая трава—изъ поля вонь!“ или „Туда ему и дорога!“ „Повадилса кувшинъ по-воду ходить, тамъ ему и голову сломить!“ „Одна паршивая овца все стадо портитъ!“ и т. п. Но пройдетъ первый пылъ, одумается обмолвившійся такимъ словомъ и совѣмъ на иной

ладь заговорить: слишкомъ сросся-сроднился съ его широкой-глубокою душой евангельскій великій завѣтъ: „Не судите, да не судимы будете!“ По его прямодушному слову: „Осудить легко, да понапрасну обидѣть легче!“ „Зря осудишь—душу погубишь!“ Народная Русь всегда широко открываетъ свои двери покаянію: сердцемъ слышитъ простая душа—искренне-ли, живо-ли оно, и только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ ошибается въ этомъ опредѣленіи его прозорливый взглядъ.] Какъ отецъ древней притчи, готовъ русскій людъ „заколотъ тельца“ для вернушагося на путь правый блуднаго сына, являющагося плотью отъ плоти, костью отъ кости его. Оттого-то и пришлась по-сердцу ему, разошлась-разлетѣлась эта притча въ десяткахъ разносказовъ стиховныхъ изъ устъ убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ по неоглядной, раздвинувшей свои предѣлы-рубежи къ берегамъ семи морей, родины могучаго богатыря-пахаря Микулы Селяниновича, любимаго сына любвеобильной Матери-Сырой-Земли.

Человѣкъ бѣ нѣкто богатый, имѣлъ у себе онъ два сына,—гласитъ одинъ изъ разнопѣвцовъ названнаго стиха духовнаго, занесенный въ сокровищницу этого рода народнаго словеснаго творчества. „И рече юнѣйшій сынъ отцу:—Отче! Дажь ми часть отъ богатства! Послушалъ отецъ милосердый, раздѣлил имѣніе равнѣ, какъ старѣйшему и юнѣйшему; не сдѣлалъ обиды и меньшему. Скоро младый сынъ отбѣгаетъ, отчее богатство взымаетъ. Отческихъ нѣдръ отлучился, во чуждей странѣ поселился“...—продолжается стиховный сказъ. Затѣмъ, послѣ краткой передачи повѣствованія о разгульной грѣховной жизни „отбѣжавшаго“ отъ отца — оторвашагося отъ земли, слетѣвшаго съ теплаго родного гнѣзда, — жизни, доведшей его до голодной-холодной нищеты, — приводится и самый плачь блуднаго сына, раскаивающагося въ своихъ грѣхахъ. „О, горе мнѣ, грѣшнику сущу, горе благихъ дѣлъ не имущу!“ — льется изъ глубины уязвленной сознаниемъ своей грѣховности души этотъ плачь“:—„Растощивъ богатство духовно, живой во странѣ сей голодно; совлекохся первыя одежды, Божія лишился надежды; се моя одежда и дѣло убиваетъ душу и тѣло; отидохъ далече на страну отъ рожецъ питатися стану; дому чюждъ Небеснаго Владыки, недостоинъ жити съ человѣки; временная предпочитаю, явиться отцу какъ не знаю“... Глубокимъ смиреніемъ отзывается въ кроткихъ сердцахъ простодушныхъ слушателей это умиляюще-трогательное покаянное слово, сложенное безвѣстнымъ стихопѣвцемъ, затерявшимся въ волнахъ моря народнаго: „Какъ предъ судъ Божій явлюся, како со святыми вселюся?“—про-

долгается онъ: „Отступихъ отъ Бога злобою, грѣхолобивъ самъ сый собою. Темноту паче свѣта желаю, свыше благодати не чаю. Что-же имамъ, грѣшный, сотворити, когда придетъ Господь судити? Вопроситъ о своемъ богатствѣ, расточенномъ здѣ во отрадствѣ?“ И вотъ—хватается блудный сынъ, какъ утопающій за соломенку, за мысль, озарившую его темную душу: „Пойду прежде дне того судна и реку вся дѣла мои блудна!“... Въ симбирскомъ разнопѣвѣ эта мысль облекается въ такія слова: —„Пойду я ко Господу, смирюся, паду на пречистыя Его нозы, пролью я умильные слезы: прости мене, Господи Владыко, заблудшаго сына!“ Записанъ и такой; еще болѣе краснорѣчивый, конецъ „плача“: „Колико наемникъ у отца моего! Паду предъ отцемъ, умилюся, да его пищи не лишуся! Расплачуся горькою слезою, не будетъ-ли милости со мною? Пойду и реку ему смѣло:—Согрѣшихъ ти, отче мой, зѣло! Приими мя, заблудшаго сына, яко отъ наемникъ едина!“ Народные стихопѣвцы по инымъ мѣстамъ переходятъ отъ плача блуднаго сына къ плачу отца по немъ. „Ахъ, увы, сыне, сыне мой сладчайшій!“—поется-сказывается эта часть стиха: „Наносишь мнѣ бо печаль, плачъ горчайшій. Въ горахъ-ли, въ вертепахъ обитаешь нынѣ, или аки въ скотской живешь въ долинѣ? Ахъ, пронзаешь мнѣ отчую днесь утробу, вводиши мене прямо ты ко гробу!“ Отчій плачъ заканчивается такимъ выкрикомъ обливающагося кровью сердца, рвущагося на части отъ неутолимой тоски-жалости:

„Ахъ, увы, мой сыне! Ахъ, увы, мнѣ горе:
Наносишь мнѣ слезы, якъ окіянь-море!“

Нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ сильнѣй-глубже материнскаго горя. Недаромъ спѣлась про это горе горькое такая пѣсня, какъ: „Подъ кустикомъ, подъ ракушковымъ, что лежитъ убитъ добрый молодець... Что не ласточка, не касаточка, вокругъ тепла гнѣзда увивается—увивается тутъ родная матушка; она плачетъ—какъ рѣка льется, а родная сестра плачетъ—какъ ручей течетъ, молода жена плачетъ—какъ роса падетъ, красно солнышко взойдетъ—росу высушитъ!“. Охъ, какъ велико, какъ безысходно, это материнское горе, какъ горьки-солони его слезы!.. Но не сладки—и отцовскія. Завидѣвъ плачущій отецъ своего блуднаго сына,—самъ поспѣшаетъ къ нему навстрѣчу, бросается къ пропадавшему-нашедшемуся—прямо на шею, все простивъ, все освятивъ своею святою печалью.—„Не тужи, азъ грѣхъ твой отмыю!“—воскликаетъ онъ при видѣ покаянныхъ слезъ сына, слыша его рыданіе.

И вотъ,—продолжаетъ народъ-стихопѣвецъ, — „начать (его) любезно лобызати, первое богатство давати: облакаетъ въ свѣтлу одежду, даетъ сыну благу надежду; перстень на руку возлагаетъ, первую печать подаваетъ и всей красотѣ сподобляетъ, пѣнія и лики созываетъ“... Возвеселилось сердце отцовское, возрадовался воспрянувшій изъ праха духъ блуднаго сына. „И начаша вкупѣ веселитися, и заклаша телець упитанный“,—гласитъ сказаніе, подходящее къ концу, почти не отступая отъ слова притчи евангельской. Увидѣлъ пиръ въ домѣ отеческомъ вернувшійся съ поля старшій сынъ,—увидѣвши, воспылалъ ревностью и недовольствомъ. Стихъ народный кончается отвѣтомъ отца на его упреки:

„Чадо! Вся моя—твоя есть;
Сей-же мертвъ бы и оживе,
Изгиблъ бы и обретесе!“

Глубоко запади въ любвеобильную народную душу эти живыя-оживляющія слова, сроднились съ нравственнымъ обликомъ пахаря, непоколебимо вѣрящаго въ то, что: „Прощенье—грѣшному міру спасенье!“ И благо ему—съ этой истинно-христіанской вѣрою, съ его смиренной кротостью, съ его великой въ своемъ смиреніи, самобытно-славянской простотою.

Какъ стихъ о блудномъ сынѣ является воплощеніемъ взгляда русскаго народа на порокъ и его послѣдствія и въ то-же самое время даетъ яркое представленіе объ отношеніи къ этому вопросу нравственности; такъ и про добродѣтель есть свой особый рядъ пѣсенныхъ сказаній—объ Іосифѣ Прекрасномъ. Въ этихъ-послѣднихъ сказаніяхъ объединилось все то, надъ чѣмъ вѣками думала по этому поводу народная Русь, думала-гадала—не только умомъ разумомъ раскидывала, а и проникновеннымъ взоромъ очей прозорливаго сердца зорко приглядывалась. Какъ и тотъ стихъ, этотъ поется-распѣвается въ многочисленныхъ разнопѣвахъ по всѣмъ уголкамъ родины народа-сказателя. Торжество добродѣтели нашло столь-же громкій-согласный откликъ въ народѣ.

Наибольшей полнотою и картинностью отличается въ пе-стромъ-цвѣтистомъ кругу этихъ разносказовъ-разнопѣвовъ—олонецкій, записанный П. Н. Рыбниковымъ въ Петрозаводскомъ и Повѣнецкомъ уѣздахъ этой губерніи. Олонецкій край является,—какъ выяснилось изъ трудовъ изслѣдователей-собираателей, — настоящей сокровищницею родной изустной старины, крѣпче держашейся здѣсь за бытовую обиходъ народной жизни, чѣмъ въ другихъ — менѣе памятливыхъ — мѣ-

стахъ. Безвѣстный слагатель стиха объ Іосифѣ Прекрасномъ, повидимому, былъ человѣкъ свѣдущій-начитанный въ книжномъ писани; а вмѣстѣ съ тѣмъ—ему нельзя отказать въ известной доль творческаго воображенія. Слившись съ народомъ, этотъ стихъ принялъ еще болѣе живую окраску, принарядившись цвѣтистою рѣчью—богатой сопоставленіями и щедрою-тороватой на яркіе присловы и мѣткія опредѣленія и въ то-же время вносящей въ повѣствованіе духъ сказочнаго вымысла.

„Во славномъ было во гради во Израилѣ жилъ-былъ благовѣрный мужъ Яковъ“,—заводится-начинается стихъ—по обычаю всѣхъ стихопѣвцевъ, ведаясь не отъ „замысла боянова“, а съ опредѣленія мѣста дѣйствія. Вслѣдъ за такимъ началомъ, стихопѣвецъ переходитъ къ повѣствованію о жизни „благовѣрнаго мужа“:—„Имѣлъ онъ дванадесять сыновей. Старѣйшая большая братья, всегда оны въ поли прибывали, на горахъ оны козловъ, овецъ пасоша. Меньшій юношъ молодой, именемъ же Осипъ Прекрасный, завсегда онъ въ своемъ домѣ пребываетъ, отца Якова спотѣшаетъ своей великой красотой, своей отличной лѣпотою“... Какъ и въ ветхозавѣтной повѣсти, обращается къ любимому изъ двѣнадцати сыновей своихъ благовѣрный мужъ („старѣйшій отецъ Яковъ“): „Юношъ ты мой молодой, именемъ же Осипъ Прекрасный! Поди въ чисто поле къ своей братьи, снеси ты имъ хлѣба на трапезу, снеси имъ родительское благословенье, чтобы жили бы братья въ совѣтѣ, во совети жили бы, во любви, другъ друга оны бы любили, одинъ одного бы почитали, за-едино хлѣбъ-соль воскушали!“ Не сталъ времени терять „юношъ молодой, именемъ же Осипъ Прекрасный“: выслушавъ слова отца, немедленно облекся онъ въ свою „цвѣтную ризу“ и пошелъ въ поле чистое; пришелъ къ братьямъ, остановился и повелъ къ нимъ свою рѣчь привѣтливую: „Старѣйшая большая братья! Принесъ я вамъ хлѣба на трапезу, принесъ вамъ родительско благословенье! Живите вы, братья, во совѣтѣ, во совети живите, во любви, другъ друга вы любите, одинъ одного почитайте, за-едино хлѣбъ-соль воскушайте! Ай-же вы, старѣйшая большая братья! Грозенъ мнѣ-ка сонъ показался: какъ-будто мы въ полѣ прибывали на трудной-на крестьянской на работѣ, по снопу пшена мы всѣ выжинали, мой снопъ красивѣе всѣхъ больше, ваши снопы къ ѣму приклонивши“... Не пришелся сонъ этотъ по нраву старшимъ братьямъ сновидца,—начали они бросать на Іосифа Прекраснаго свирѣпые-злые взгляды, стали скрежетать зубами, повторяя: „Ай-же ты, нашъ меньшій братъ

Осипъ! Неужель ты надъ нами будешь царемъ, неужели мы тебѣ будемъ поклоняться?“ И вотъ—напали братья на „юноша молодого“, напавъ—принялись бить-терзать безжалостно-безпощадно: „цвѣтну его ризу скидывали, во глубокой ровъ Осипа вверзили, желтыма песками засыпали; они взяли—козла закололи, изъ козла оны кровь источили, въ козелью кровь ризу замарали“... Сдѣлавъ это, стали они совѣтъ держать: „какъ буде отцу Якову сказати, какъ буде Израиля обманути“... Порѣшено было идти къ отцу самому младшему изъ братьевъ, Веніамину („Вельямину“—по произношенію сказателя): „Ай-же ты, нашъ меньшій братъ Вельяmine! Поди ты домой къ отцу Якову, снеси ты эту Осипову ризу, оболги ты старѣйшаго отца Якова, принеси ты намъ хлѣба на трапезу, принеси ты намъ родительско прощенье, принеси ты намъ родительско благословенье!“

Не прекословилъ старшимъ братьямъ меньшей братъ,— все выполняетъ Веніаминъ-Вельяминъ по сказанному, какъ по писанному. Пришелъ онъ къ отцу, начинаетъ „облыгать“ старика: „Старѣйшій отецъ нашъ Яковъ! Прими ты эту цвѣтную ризу: цвѣтная риза есть Осипа. Нашли мы эту ризу на горахъ: на горахъ лежитъ риза повержена. Мы не знаемъ, куда онъ подѣвался: таки-ль шелъ въ пустыню—заблудился, али его разбойники убили, али его звири растерзали, али его птицы расклевали?“ Горько отозвалась въ старомъ сердцѣ эта нежданная-негаданная вѣсть о любимомъ сынѣ: прижалъ благовѣрный мужъ Яковъ къ своему сердцу цвѣтную окровавленную одежду сыновнюю, залился слезами горючими. „Юношъ ты мой молодой, именемъ же Осипъ Прекрасный!“—вылетѣло-вырвалось изъ его сердца облитое слезами прозорливое слово: „Ты куда, мое цядо, подѣвался? Таки-ль шелъ въ пустыню—заблудился,—не была-бы твоя риза предо мною; кабы тебя разбойники убили—не оставили бы Осиповой ризы: Осипова риза не простая, Осипова риза золотая, по частямъ бы оны ризу разодрали, по жеребьямъ ризу разметали, по разбойникамъ бы ризу раздѣляли; кабы тебя звири растерзали,—знать было звѣриное терзанье, знать было зубное-бъ изгрызанье на этой на Осиповой ризѣ; кабы тебя птичи расклевали,—знать было-бы птичіе клеванье, знать было ногтиное терзанье на этой на Осиповой ризѣ!“ Не обмануло вѣщее сердце старика-отца: „Видно, братія Осипа скончали!“—заключаетъ онъ свои предположенія и, помявъ Господу Богу, рѣшаетъ не пускать Вельямина-сына въ поле къ старшимъ братьямъ, заподозрѣннымъ въ коварствѣ-злодѣйствѣ. Пошли домой братья, по дорогѣ—посмотрѣ-

ли на скрытаго ими въ глубокомъ рву Іосифа Прекраснаго,—видятъ-слышатъ: „Осипъ во рву слезно плачетъ, ко матушкѣ сырой землѣ причитаетъ“. Порѣшили братья вынуть его изъ желтыхъ песковъ, вывести изъ рва,—хотятъ предать его, ни въ чемъ передъ ними не повиннаго, злой-напрасной смерти. „Старѣйшая большая братья!“—взмолился Іосифъ: „не придавайте мнѣ злой смерти напрасной, не пролейте моей крови безповинной! Чѣмъ я вамъ есть не угоденъ? Лучшее вы продайте меня на цѣну, себѣ-ка мзду поберите, велику корысть получите!“ Стали братья совѣтъ держать, согласились на совѣтъ съ разумностью словъ Прекраснаго: вывели они его на торговую дорогу египетскую, видятъ—ѣдутъ купцы-измаильтяне. „Богатая измаильская купчина!“—закричали они тѣмъ: „купите себѣ у насъ раба, купите себѣ крѣпостного!“ И былъ проданъ любимый сынъ благовѣрнаго мужа Якова, по словамъ сказанія,—какъ Христоръ Іудюю,—за тридцать сребренниковъ, продали его братья въ тяжкую неволю на чужбину,—раздѣлили между собою полученную за него „великую корысть“... А купцы-измаильтяне заковали Іосифа Прекраснаго въ оковы,—повезли въ Египетское царство... Идетъ-ѣдетъ путемъ-дорогою торговый караванъ; пришлось держать путь мимо того мѣста, гдѣ была погребена Іосифова мать—„Рахилья.“ Какъ нѣжный-добродѣтельный сынъ, не могъ пройти онъ равнодушно-спокойно мимо святой для него могилы. „Богатая измаильская купчина!“—взмолился онъ. „Слободите вы ручи мои, нозѣ,—пустите меня на гору Патрону, на тую на родительску могилу чюднымъ крестомъ помолиться, къ матернину гробу приложиться, взять мнѣ родительско прощенье, взять мнѣ навѣки благословенье: больше мнѣ у ея не бывати, больше мнѣ и вѣкъ буде не видати!“ Тронулись купцы просьбою своего раба новопушленнаго, сняли они съ него оковы, велѣли проводить стражамъ на могилу. Плакалъ-рыдалъ горькими слезами, причиталъ слезными словами надъ гробомъ матери бѣдный рабъ измаильтянскій;—разжалобились стражи, сердце у нихъ было мягче сердецъ злыхъ-коварныхъ братьевъ. „Юношъ ты нашъ молодой, именовъ же Осипъ Прекрасный!“—возговорили они, поднимая Іосифа съ могильной насыпи, на которой бился-терзался онъ въ безысходной тоскѣ:—„Со твоею великой красотою, со твоею отличной лѣпотою, не будешь служить царю ты Харавону, не будешь ты тяжелой работы работати: будешь съ воеводами ты забавляться, будешь большо мѣсто занимати, съ вельможами ты честь производить!“.. Вернулся Іосифъ къ купцамъ,—свя-

зали его они, „на корабль проводили, повезли во Египетское царство“. Дорогой выпелть у измаильтигъ раздоръ изъ-за молодого раба, — никакъ не могутъ они подѣлить его между собою: „одинъ одному не здаваетъ на цѣну его не продаваетъ...“ Согласились спорившіе-здоровишіе бросить Иосифа въ синее море. Взмолился къ нимъ Прекрасный, чтобы не бросали его въ пучину морскую: „буду я вамъ (говорить) служить погодно; если вамъ, купцы, не угодно—буду я служить помѣсячно... Если вамъ, купцы, не угодно—свезите во Египетское царство, продайте луце меня на цѣну!...“ Такъ и было порѣшено у купцовъ-измаильтигъ.

На торжищѣ „подъ Египтомъ“ запросили купцы за Иосифа небывалую на рабовъ цѣну. Многое-множество народа собралось, — всѣ любовались на красу Прекраснаго: „богатая египетская купчина всѣ они торги постановили, всѣ купли продажи прикрыли, всѣ они на Осипа взирали, не могли ему цѣну оцѣнить...“ Выпало на долю сыну любимому благовѣрнаго мужа Якова попасть въ рабы къ богатому Перфилю-князю: даль-заплатилъ онъ купцамъ за Иосифа „безцѣтную казну“, разрѣшилъ имъ торговать безошлинно въ городѣ своемъ, Перфильевомъ.

Шло-проходило время. Долго-ли, коротко-ли шло оно, — сказъ умалчиваетъ про это. Богатый Перфилій-князь „въ любовь къ себѣ Осипа принимаетъ, за-едино хлѣбъ-соль воскушаетъ, со очей никуда-жь не спускаетъ“... Перфилій—ветхозавѣтный Пентефрій. „У князя зла была княжна“, — продолжаетъ сказъ стиховный свое цвѣтистое слово: „сердцемъ своимъ (она—при видѣ князева любимца) возмутилась, на Осипову красоту засмотрѣлась; въ особые покои выходила, бѣло свое лицо умывала, дороги одежды одѣвала, золоты монисты налагала, во теплую во спальну проходила, туда къ себѣ Осипа призывала, за бѣлыя руки захватила, безстыжія рѣчи говорила...“ А въ этихъ рѣчахъ улещала-склоняла она Прекраснаго на любовь грѣховную, уговаривала съ собою „жить въ совѣтѣ“, подговаривала—„споить князя злыма питьямы“, соблазняла Иосифа и богатствомъ, и высокимъ почетомъ. Не внималъ безстыжимъ рѣчамъ, а взмолился слезной мольбою, „юношъ молодой“, глубоко оскорбленный въ своей нравственной чистотѣ-лѣпотѣ — добродѣтели. „Сохранилъ меня Господь братнія смерти; сохранилъ Господь купеческія смерти; сохрани, Господь, тѣлеснаго согрѣшенія!“ Къ молитвѣ Иосифа сказаніе относится съ особой нѣжностью: оно сравниваетъ её съ голубемъ, на небо возлетающимъ... Отклонилъ Прекрасный всѣ соблазны... Далѣе все идетъ—ни въ чемъ

не расходясь съ ветхозавѣтнымъ повѣствованіемъ о женѣ Пентефрія, соблазвившей Іосифа: воспылавъ злобою на добродѣтельнаго юношу, „дороги одежды (она) скидала, золоты монисыты сорывала, по теплые спальны раскидала, бѣлое лицо свое растерзала, женски свои волосы растрепала“, — все для того, чтобы очернить голубиную чистоту любимаго раба Перфильева передъ княземъ. Далъ вѣру словамъ жены Перфилья-князь, повѣрилъ тому, что Прекрасный покусился на оскверненіе его, княжьева, ложа, — приказалъ бросить Іосифа въ темницу.

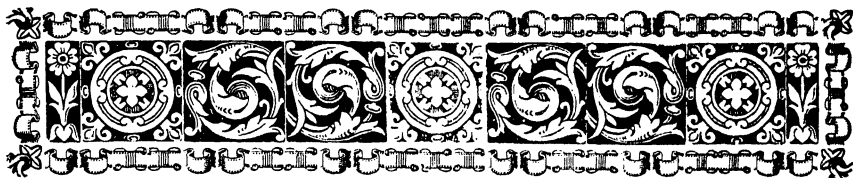
Сидя въ заключеніи, любимый сынъ благовѣрнаго мужа Якова — какъ и библейскій Іосифъ, — разгадываетъ двумъ сосѣдямъ по узамъ загадочные сны, привидѣвшіеся имъ и предвѣщавшіе скорое освобожденіе. Были эти сосѣди — тюремные сидѣльцы — „хлѣбодаръ“ и „виночерпъ“. Все исполнилось, какъ предсказалъ Іосифъ: выпустили обоихъ изъ темницы, вернули на прежнія мѣста при дворѣ „грознаго царя Харавона“ (фараона). А Прекрасному — сидѣть въ узахъ еще три года. Минулъ и этотъ срокъ, — привидѣлись царю смутившіе покой сны, и ни одинъ мудрецъ не смогъ разгадать ихъ, ни одинъ „сносудилецъ“, хотя и разсланы были царскіе указы о томъ по всему египетскому царству. Сны (тучныя коровы, пожранныя тощими) нѣсколько видоизмѣнены въ русскомъ народномъ сказаніи: „Первой-етъ сонъ ему показался: первое семь воловъ приходило, толстыя волы гладкіе, баскіе, по чистому полю расходились, на лузахъ травы оны не или, изъ ручей, зъ болотъ воды оны не пили, — тое семь воловъ проходило, второе семь воловъ приходило: тощи волы, гладны, ядовиты (жадны), — на лузахъ всю траву оны приили, изъ ручей, зъ болотъ воду оны припили, — тые семь воловъ проходило, тутъ скоро ночь скороталась...“ Никому-бы такъ и не разгадать царскихъ сновъ, да вспомнили про Іосифа Прекраснаго его тюремные знакомцы, — донесли про его вѣщій даръ царю грозному. Привели заключеннаго предъ очи царскія. — „Грозимый царю Харавоне!“ — отвѣтъ держалъ онъ на слово о снахъ: „Вашіе сны есть не простыя, вашіе сны есть царскіе: нельзя просто сновъ вашихъ судити, ты отдай съ себя царскую порфиру, посади меня на царское мѣсто, подай ты мнѣ въ руки царскій шкипетръ, положи на меня царскую корону: тожно я буду сновъ твоихъ судити!“ Далъ свое царское согласіе на все это царь Харавонъ: „Если (говорить) сны мои разсудишь, будешь ты прощенъ и помилованъ. Буду жаловать тебя воеводой, буду жаловать тебя полуцарствомъ, буду жаловать тебя полудержавой, послѣ ме-

ня царемъ на царство!“ Поклонился царю Иосифъ, а самъ — Прекрасный — говорить-прорицаетъ, сны царскіе разгадываючи: — „Первый-еть сонъ тебѣ показался, первое семь воловъ приходило: то наступить семь годовъ къ ряду здоровыхъ, вездѣ будетъ, сударь, хлѣбъ родиться, не гдѣ не будутъ хлѣба вызябати. Приказывай ты хлѣба посѣвати, посѣвай ты въ лузяхъ, въ болотахъ, посѣвай бѣлояровой пшеницы, построуй ты запасны магазей, распусти ты сумму большую по всѣмъ иностраннымъ государствомъ, приказывай хлѣба закупати, привозить въ египетское царство, насыпай запасны магазей. Тое семь воловъ на проходѣ, второе семь годовъ наступить: не гдѣ не будетъ хлѣбъ, сударь, родиться, вездѣ будетъ хлѣбъ вызябати. Какъ у тебя будутъ запасны магазей, прокормишь ты всю свою державу, съ иныхъ съ иностранныхъ государствій будутъ къ вамъ за хлѣбомъ пріѣзжати, будутъ вашъ хлѣбъ откупати, вы будете велику корысть полуцати!“ Разгаданы сны, и вотъ всѣ жители царства — „за Осипа Господа помолили, за Осипа присягу принимали, за Осипа крестъ цѣловали, Осипа царемъ(полуцарства) возносили...“ Все вышло по его разгадкѣ, и не преминулъ возведенный на высоту власти Прекрасный выполнить все — какъ говорилъ царю. Провѣдалъ „въ томъ Израильскомъ во градѣ“ про египетскіе запасы хлѣба благовѣрный мужъ Яковъ, — послалъ онъ братьевъ Иосифовыхъ за хлѣбомъ. По пріѣздѣ, повели ихъ къ царю Харавону, — бьютъ они челомъ грозному властителю, молятъ отпустить имъ хлѣба. Иосифъ-же, сразу узнавши братьевъ злодѣевъ, позвалъ ихъ въ свои палаты, приказалъ „кормить хлѣбомъ-солью“. Сидятъ они за столомъ, пьютъ-ѣдятъ, а Прекрасный къ нимъ свое слово держитъ; держитъ Иосифъ къ братьямъ слово, по имени каждаго называетъ, спрашиваетъ: живѣ-ли ихъ отецъ, живѣ-ли ихъ братъ меньшій. Братья — „жива отца Якова сказали, а жива брата Осипа не сказали“. Выслушалъ Прекрасный, далъ приказъ насыпать братьямъ возы хлѣба, не спрашивая за это никакой платы, а въ возъ къ младшему брату — Вельямину — велѣлъ тайно положить золотую чашу. Уѣхали братья Иосифовы, послалъ Прекрасный за ними въ погоню, приказалъ обыскать возы. Нашли въ одномъ возу чашу. „Ай-же вы, израильскіе люди!“ — воскликнулъ Иосифъ: „Я васъ кормилъ хлѣбомъ-солью, безденежно возы вамъ насыпалъ, еще вы тѣмъ мною довольны, увезли мою царскую чашу!“ Освирѣпѣли братья Веліаминовы: „Такой-же дуракъ (говорятъ) былъ его братъ Осипъ, такъ ему, дураку, и смерть случилась!“ Тутъ не могъ выдержатъ Иосифъ Прекрасный, залился горючими слезами: „Ай-же

вы, старѣйшая большая братья! Какъ бы я дуракъ былъ да мошенникъ, не кормилъ-бы я васъ хлѣбомъ-солью, не насыпалъ-бы возы вамъ безденежно. За что вы мене, братія, убили, цвѣтную вы съ меня ризу сдирали, въ глубокой ровъ меня бросали, желтыма песками засыпали, почто изю рву меня вынимали, почто вы купцамъ пррдавали?“ Обмерли отъ страха братопродавцы, пали къ ногамъ Юсифа, „Прости, государь, насъ—помилуй, прости ты насъ, Осипъ Прекрасный!“...

И вотъ—простилъ братьямъ Юсифъ („того онъ зла братняго не помнитъ“). Половину братьевъ оставилъ онъ у себя, а другихъ отпустилъ во Израильскую страну,—просить привести въ Египетъ отца своего стараго. Прошло нѣсколько времени, успѣли съѣздить братья Прекраснаго на родину, успѣли и вернуться съ благовѣрнымъ мужемъ Яковомъ къ его любимому сыну, возвеличенному Богомъ за высокую добродѣтель. Въ ожиданіи отца приказалъ онъ поставить столбъ, обвить-обить его бархатомъ. Прибыль ослѣпшій отъ горя благовѣрный мужъ Яковъ, велѣлъ сыну проводить его къ поставленному столбу,—началъ тотъ обнимать его, принимая за сына любимаго: „Свѣтъ ты мое любезное чадо, юношъ ты мой молодой, затужило твое ретивое сердечко на чужой на дальней на сторонки!“ Отъ жаркихъ объятій старца выступилъ сокъ изъ столба съ обоихъ концовъ; если-бы это былъ не столбъ—не остаться-бы въ живыхъ Юсифу Прекрасному. „Старѣйшій отецъ ты нашъ Яковъ“,—говоритъ онъ отцу: „тутъ тебѣ столопъ, сударь, поставлень, ты былъ ко столопу, сударь, приведенъ; укроти свое сердце богатырско, сдѣемъ со мной доброе здоровье!“—„Спасибо, любезное мое чадо, что ты не шелъ теперь ко мнѣ въ руки: зажалъ-бы съ тоски тебя до смерти!“—было отвѣтнымъ словомъ слѣпца.

Стихъ кончается краткимъ сказомъ про то, какъ повелъ Юсифъ отца во свои палаты, сталъ угощать-чествовать,—какъ жаловалъ онъ всѣхъ братьевъ „боярскими - генеральскими“чинами, жаловалъ и „удѣльными городами“; какъ „Яковъ блаженный“ жилъ-поживалъ во Египтѣ двѣнадцать лѣтъ, а когда умеръ-преставился—приказалъ Юсифъ перевезти его прахъ во Израильское царство, гдѣ и похоронить „у соборной Вожьей церкви“. Самъ-же Прекрасный „сто десять лѣтъ царствовалъ (вторымъ по царѣ) во Египтѣ“, а по кончинѣ также были отвезены его мощи на родину. „Ему слава и нынѣ, во вѣки вѣковъ, аминь“,—договариваетъ послѣднее слово сказъ, посвященный возвеличенію добродѣтели надъ порокомъ.



LXI.

Дѣтскіе годы.

Трудовая-подвижническая жизнь народа-пахаря, идущая по бѣлу свѣту рука-объ-руку съ бѣдностью, несмотря на всю темноту своихъ невзгодъ, не заслоняетъ свѣта солнечнаго отъ усталыхъ очей вѣковѣчнаго работника — со всею той радостью, какую несетъ землѣ этотъ чудодѣйный даръ неба. Чуткое сердце простолюдина болѣе, чѣмъ чье бы то ни было, надѣлено способностью смотрѣть проникновеннымъ взоромъ въ глубину обступающаго сумрака и находить въ немъ яркіе просвѣты, не только примиряющіе съ жизнью, но даже вызывающіе въ самомъ оскорбленномъ и униженномъ судьбою человѣкѣ любовь къ ней. На свой ладъ воспринимая впечатлѣнія всего окружающаго, суевѣрная душа народа, до сихъ поръ остающагося „тысячелѣтнимъ ребенкомъ“, близка къ матери-природѣ, — какъ былинка — къ возростившей ее землѣ-кормилицѣ. Въ ней, несмотря на всеокрушающую работу времени, еще не успѣла изгладиться та воспримчивость, съ какою, на примѣръ, смотритъ дитя на разстилающійся передъ нимъ необъятно-широкій просторъ міра Божьяго. Каждое явленіе природы и жизни запечатлѣвается въ ней — со всею своею полнотою и самобытностью, — и не только запечатлѣвается, но и обогащаетъ эту воспримчивую душу чистымъ золотомъ вѣры въ свѣтъ и тепло бытія и въ побѣду ихъ надъ тьмою и холодомъ жизни. Зеркало души народной — его не страшается смерти слово, выкованное могучимъ молотомъ творческаго воображенія на несокрушимой наковальнѣ многовѣковой мудрости, — отразило въ своихъ бездонныхъ глубинахъ все, чѣмъ живетъ и дышетъ, все — что видитъ и

чувствуетъ, все, — надъ чѣмъ печалится и чему радуется эта безпомощная въ своемъ стихійномъ могуществѣ, эта могучая въ своей дѣтской безпомощности душа. Слово - сказаніе и слово - преданіе орошающаго трудовымъ потомъ грудь Матери-Сырой-Земли богатыря-пахаря, почерпающаго въ безконечной преемственности поколѣній великую мощь, не обошло и взглядовъ народа на зарумяненные раннею зорькой земного бытія дѣтскіе годы, со всѣми ихъ запечатлѣвающимися до гробовой доски радостями и мелкими-преходящими невздами. Ведеть оно объ ясномъ утрѣ жизни человѣческой свой особый цвѣтистый сказъ.

Дѣти, по слову народной мудрости — „благодать Божья“; ими благословляетъ Богъ семейное счастье. „У кого дѣтей много, тотъ не забыть отъ Бога!“ — говоритъ посельскій-деревенскій людъ. говоря—приговариваетъ: У кого дѣтей нѣтъ—во грѣхъ живеть!“ Такимъ образомъ и на Руси бездѣтность считается карою Господней за грѣхи, какъ у древняго Израиля. Богомолы—люди старые—подаютъ молодожонамъ, лишеннымъ „Божьяго благословенія“, добрый совѣтъ: взять пріемыша, чужого ребенка-сироту, „въ дѣти“, чтобы— „Богъ простилъ, своихъ дѣтокъ зародилъ“. Благочестивая старина, крѣпко на-крѣпко державшаяся за прадѣдовскіе завѣты, сберегла до нашихъ забывчивыхъ дней и такія изреченія о дѣтяхъ, какъ, на примѣръ: „Дай-то Богъ дѣтокъ народить, дай-то Богъ дѣтокъ воскормить“, „Кому дѣтей родить—тому и кормить“, „На дѣтокъ Господь подастъ“, „Первый сынъ—Богу, второй—царю, третій—себѣ на пропитаніе“, „Сынъ да дочь—красныя дѣтки“, „Сынъ да дочь—день да ночь, и сутки полны“, „Дочерью люди красуются, сыновьями въ почетѣ живуть“, „Кто красенъ дочерью да сынами въ почетѣ—тотъ и въ благодати“ и т. д. „Счастливъ отецъ въ сыновьяхъ, а мать—въ дочеряхъ!“—молвить крылатое народное слово. Но оно-же обмалвливается, словно себя само оговаривая, что: „Дѣтки—дѣткамъ рознь!“ Какъ-бы въ поясненіе къ этому под-сказанному житейскимъ опытомъ присловью, ведеть пахарь-народъ и такія рѣчи о дѣтяхъ, какъ: „Добрый сынъ—на старость печальникъ, на поконъ души поминщикъ“, „Добрый сынъ—всему свѣту завидище“, и такія, какъ: „Блудный сынъ—ранняя могила отцу“, „Худое дитяtko—отцу-матери безчестье, роду-племени—позоръ“, „Дѣтки хороши—отцу-матери вънецъ, худы—отцу-матери конецъ!“ Отъ опечаленныхъ дѣтми отцовъ-матерей пошли ходить по свѣтлорусскому простору, такія поговерки, какъ: „У кого дѣтки—у того и бѣдки“, „Маленькія дѣтки—маленькія бѣдки, а выростутъ ве-

лики—большія бѣды будутъ“, „Дѣти—на рукахъ сѣти!“, „Малыя дѣти не даютъ спать, большія не даютъ дышать!“, „Съ малыми дѣтьми горе, съ большими—вдвое!“.

Какъ, по народному-же слову, дыма безъ огня не бываетъ на свѣтѣ бѣломъ, — такъ и дѣти не сдѣлаются для своихъ отца-матери „бѣдками“ безо всякой причины. По большей части корень этой-последней скрывается въ самихъ огорчаемыхъ своимъ потомствомъ людяхъ. По крайней мѣрѣ, таковъ взглядъ на это дѣло у стоокой народной мудрости. „Каковы батьки-матки—таковы и дитятки!“, „Яблочко отъ яблонки недалеко падаетъ!“, „Умѣль дѣте родить, умѣй и научить!“, „Дитятко, что тѣсто—какъ замѣсилъ, такъ и выросло!“, „Изъ рѣбенка, какъ изъ воска—что хочешь, то и лѣпи!“... Много можно было-бы припомнить подобныхъ только-что приведеннымъ изреченій, и всѣ они сводятся къ такому заключающему-замыкающему ихъ пестроцвѣтную цѣпь звену, какъ: „Не тотъ отецъ-мать, кто родилъ, а тотъ—кто вспоилъ, вскормилъ да добру научилъ!“ Твердо помнитъ честной деревенскій людъ эти слова, хотя любой отецъ готовъ возразить на нихъ поговоркой-пословицею — „Глупому сыну и умный отецъ разума не пришьетъ?“, или: „Въ худомъ сынѣ и отецъ не волень: его крести, а онъ—пустя!“

Родятся дѣти, по образному мѣткому народному слову—какъ грибы („отъ сырости“), растутъ—какъ „пшеничное тѣсто на опарѣ“. Хоть и бѣдень-бѣдень иной отецъ, а все на тѣсноту отъ ребятъ рѣдкій станетъ жаловаться,—словно памятуя завитное словцо дѣдовъ-прадѣдовъ, сказавшихъ, что „много“ дѣтей бываетъ, а „лишнихъ никому Богъ не пошлетъ“. Худы-ли, хороши-ли—все свои дѣти. „Который палець ни укуси—все больно!“—примѣняется къ этому понятію нашъ дѣтолюбивый народъ. „И змѣя своихъ змѣять не ѣсть!“, „Огонь—горячо, дитя—болячо!“, „У княгини—княжата, у кошки—котята!“, „Свое дитя—и горбато, да мило!“, „Дитятко криво, а отцу съ матерью—мило!“, „На чужой горбокъ не насмѣюся, на свой—не нагляжуся!“, „Свой дуракъ дороже чужого умника!“—продолжаютъ развивать эту основную мысль деревенскіе краснословы.

Видя въ сыновьяхъ своихъ богоданныхъ кормильцевъ (на старость лѣтъ), держащійся за землю хлѣборобъ сложилъ, пустилъ гулять по неоглядной народной Руси такія ходячія слова, какъ: „Сынокъ-сосунокъ—не вѣкъ сосунъ: черезъ годъ—стригунъ, черезъ два—бѣгунъ, черезъ три—игрунъ, а затѣмъ—и въ хомуть!“ Въ этой поговоркѣ отразилась, какъ въ зеркалѣ, вся кратковременность крестьянскаго „утра жиз-

ни⁴—игриваго, расцвѣченнаго зорями счастливой беззаботности дѣтства: чуть только начнетъ выравниваться мальчишка, не успѣетъ еще ни наигратъся, ни набѣгаться,—какъ за бороною по отцовской пашнѣ ходить, сивку-бурку погоняетъ, вспоминаячи „вѣщаго каурку“ бабушкиныхъ сказокъ, еще звучащихъ въ ушахъ. „Сына роста—кормильца вырастишь!⁴“, „Работные сыновья—отцу хлѣббы!⁴“, „Корми сына до поры, придетъ пора: сынъ тебя покормить!⁴—слово за словомъ роняетъ по своей путинѣ посельщина-деревеньщина, до краснаго словца—какъ до сытнаго хлѣба—охочая. Завѣщаетъ она дѣтямъ-внукамъ-правнучкамъ помнить хлѣбъ-соль родителей-дѣдовъ-прадѣдовъ: „Не оставляй матери-отца (говорить она)—и Богъ тебя не оставитъ до конца!⁴“, „Отца-мать не накормилъ—самъ себя на голодъ навелъ!⁴ и т. д.

Хотя и зоветъ народъ-пахарь всѣхъ вообще дѣтокъ „благословеніемъ Божиимъ“, но къ будущимъ пахотникамъ относится съ бѣльшей привѣтливостью, чѣмъ къ жницамъ. „Сынъ—домашній гость, а дочь—въ люди пойдетъ!⁴—говоритъ онъ, встрѣчая вѣсть о приращеніи чьей-либо семьи, все равно—своей, или сосѣдской: „Дочь—чужое сокровище: холь да корми, учи да стереги, а все—въ люди отдашь!⁴—вырисовывается въ этихъ и имъ подобныхъ поговоркахъ все тотъ же труженикъ-скопидомъ, хозяйственный человѣкъ, какимъ является русскій деревенскій людъ въ своихъ красныхъ образностью, яркихъ мѣткостью сказаніяхъ—о хлѣбѣ насущномъ, достаемомъ ему путемъ „страднаго“ труда.

Знаетъ отецъ-крестьянинъ, что не станеть баловать жизнь его родившихся на крестьянствованіе дѣтокъ, почему и закаляетъ ихъ съизмала, подготовляя ко всевозможнымъ лишениямъ, приучая къ тяготамъ всякимъ. „Изъ набалованныхъ дѣтокъ добра не будетъ!⁴—изрекаетъ строгій приговоръ „матушкинымъ сынкамъ-запазушникамъ“ суровый деревенскій опытъ. „Засиженное яйцо—всегда болтунъ, занянный сынокъ—всегда шатунъ!⁴“, „Что мать въ голову баловствомъ вобьетъ, того отецъ и кулакомъ не выбьетъ!⁴ Но еще болѣе сурово звучатъ такія, точно сложившіяся по „Домострою“, пословицы, какъ: „Наказуй дѣтей въ юности, успокоютъ ты на старости!⁴“, „За битаго—двухъ небитыхъ дають!⁴“, „Корми сытнымъ кускомъ, учи—крѣпкимъ дубкомъ!⁴“, „Не станешь учить, когда поперекъ лавки ложится,—во всю вытянется, не выучишь!⁴“, „Учи сына жезломъ, въ разумъ войдетъ—не попомнитъ отца зломъ!⁴ и т. п.

Хотя, по пословицѣ, родительское-отцовское слово не мимо

молвится,—но и мать на-вѣтеръ тоже не скажетъ о своихъ дѣткахъ-малолѣткахъ. Сердце материнское жалостливо; недаромъ отецъ зовется „грознымъ батюшкой“, а ее народное пѣсенное слово иначе—какъ „родимой матушкой“—никогда и не величаетъ. „Птица радуется веснѣ, а мать—дѣткамъ“, „У кого есть matka—у того и головка гладка“, „Нѣтъ лучше-милѣй дружка—какъ родная матушка!“, „Мать праведна—ограда каменна!“, „Мать о дѣтяхъ днемъ печальница, въ ночь ночная богомолица!“, „Кому и пожалѣть дѣтокъ—какъ не родимой матушкѣ!“, Народъ нашъ относится къ матери съ такимъ любовнымъ чувствомъ, такъ высоко возноситъ понятіе о ней, что, по его словамъ—нѣтъ на свѣтѣ дороже сокровища (богаче богатства)—какъ материнское благословеніе, а молитва ея—„со dna моря поднимаетъ“. Нѣтъ горше материнской печали о своихъ дѣтяхъ: „до-вѣку“ ея слезы о нихъ. Если и принимается она, по суровому примѣру отца, „учить“ своихъ малолѣтокъ, то,—гласитъ простодушная мудрость,—даже ея побой „не долго болять“. По словамъ старинныхъ поговорокъ: „Родная мать и высоко замашивается, да не больно бьетъ!“, „Своя matka и бьетъ, да не пробьетъ, а чужая, глядя (лаская), прогладитъ („и гладитъ—такъ бьетъ“—по иному разносказу)!“, „И побой—не въ побой, коль отъ матушки родной!“

О сиротахъ-малолѣткахъ молвятся въ народной Руси свои особыя слова-присловья. „Безъ отца—полсироты, а безъ матери—и вся сирота!“—гласитъ окрыленное житейской правдою слово. „И пчелки безъ матки—пропація дѣтки!“—добавляетъ оно, продолжая: „При солнышкѣ тепло, при матери—добро!“ „Все живучи найдешь, а второй матери не сыщешь!“ и т. д. Тяжелымъ-тяжело житье сиротское,—недаромъ сложилось такое сопоставленіе, какъ: „Въ сиротствѣ жить—день-деньской слезы лить!“ Но изстари вѣковъ слылъ сердобольнымъ русскій хлѣборобъ: сироту пристроить—для него самое богоугодное дѣло. Потому-то и говорится на Руси, что—„За сиротою—самъ Богъ съ калитою!“ „Далъ Господь сиротинкѣ ротокъ—дасть и хлѣба кусокъ!“ „Для сиротинки—нѣтъ чужбинки!“ „Идетъ сирота—распахни ворота!“ „Не накормишь, не пригрѣешь сироту—свои дѣтки сиротами жизнь проживуть!“ „Сиротскую обиду Богъ оплатитъ сто-рицей!“

Примѣты старыхъ, перешедшихъ поле жизни, людей сулятъ счастье каждому тому сыну, который уродился обликомъ „въ матушку родимую“; та дочь счастлива, по ихъ словамъ, которая похожа на отца. Тотъ ребенокъ выйдетъ-вырастетъ

красивѣе, нося котораго подь сердцемъ, мать чаще смотрѣла на мѣсяцъ, чѣмъ на солнце. Рожденіе ребенка окружается въ крестьянскомъ быту цѣлымъ частоколомъ примѣтъ, но не меньше ихъ приурочено ко „вторымъ родинамъ“—крестинамъ. Такъ, если воскъ съ закатанными въ него постриженными волосами ребенка потонетъ въ купели,—это сулить очень мало добра для крещаемого: скорѣе всего—смерть. Чтобы легче жило ребенку на свѣтѣ—совѣтуется ставитъ на окно чашку съ водою, когда понесутъ его крестить. „Подъ-воду для крещенія ходи безъ коромысла, — нето крестникъ горбатый будетъ („одинъ горбъ только и наживетъ“—по иному разносказу)!“ Если священникъ дастъ крещаемому имя преподобнаго, это общаетъ ему счастливую жизнь; а если имя мученика,—и жизнь сойдетъ на одно сплошное мученье. Если новорожденнаго приметъ бабка-повитуха на отцовскую рубашу—отецъ крѣпко любить станетъ; если послѣ этого положить ребенка на косматый бараній тулупъ,—ожидаетъ его богатство. Если крестильную рубашку первенца-ребенка надѣвать потомъ на всѣхъ другихъ дѣтей,—будетъ между ними всегда совѣтъ да любовь, а раздоръ къ нимъ и не подступится вовѣкъ. Чтобы мальчикъ былъ большаго роста,—однѣ опытыя бабки поднимаютъ его на крестильномъ столованѣ-пированѣ къ потолку надъ головою, другія-же—не менѣе опытыя въ такомъ дѣлѣ—выплескиваютъ для этого къ потолку рюмку вина. Есть такіе незадачливые люди, у кого дѣти хотъ и родятся, да не живутъ („не жильцы на бѣломъ свѣтѣ“). Чтобы избавиться отъ этого горя-злосчастія („На рать сѣна не на-косишься, на смерть ребятъ не нарожаешься!“), „Чѣмъ дѣтей терять—лучше-бъ не рожать!“),—надо, по словамъ примѣтливыхъ кумовей, брать кумомъ перваго встрѣчнаго (даже и не знакомаго, если согласится). Былъ еще способъ избавиться отъ такой напасти: продѣтъ новорожденнаго (до крестинъ) три раза въ лошадиный хомутъ,—но въ силу этого способа не вѣрятъ теперь и самые довѣрчивые къ старинѣ люди. Если кто хочетъ, чтобы ребенокъ раньше принялся ходить—надо провести его за-руки по голому полу во время пасхальной заутрени; чтобы сонъ младенца былъ спокойнѣе—не нужно только ничего вѣшать на колыбельный очепъ; чтобы „не обмѣнилъ ребенка нечистый“ (бываетъ, говорятъ, и такая бѣда!), совѣтуется класть ему въ-голову „вѣникъ съ первой бани“, которымъ выпарятъ родильницу. Никому не позволяють знающіе-помнящіе примѣты родители хвалить ребенка въ-глаза, — „Не дай Богъ на недобрый глазъ натолкнуться!“—говорятъ они: „Какъ-разъ сглазить, несчастнымъ на весь

вѣкъ не сдѣлаеть, такъ на болѣсть лихую наведеть!⁴ Чтобы не выросъ ребенокъ „лѣвшой“ совѣтуютъ, не класть его спать на лѣвый бокъ; чтобы отвести отъ него всякіе „призоры“, мѣють его въ первой банѣ водой, забѣленной молокомъ. Мало-ли и другихъ примѣтъ ходитъ по народной Руси о дѣтяхъ и дѣтствѣ! Есть даже (въ Пудоожскомъ уѣздѣ Олонецкой губ.) и такая, что—если стануть позволять ребенку „лизать рогатку“,—то ему никогда грамотѣ не выучиться. Не можетъ быть и сомнѣнія въ томъ, что это—повѣрье недавнихъ дней, когда въ народѣ пробудилось уже сознание той истины, что: „Грамота—второй языкъ!⁴“, „Ученье—свѣтъ, неученье—тьма“.

Стариннымъ грамотѣямъ былъ наособицу памятенъ святы-Наумовъ день (1-е декабря), когда просили-молили по всей Руси пророка Наума „наставить на умъ“ малыхъ ребятъ. Къ этому дню, починавшему „наумленье“-ученье, приурочивались особые обычаи, еще совсѣмъ недавно соблюдавшіеся по захолустнымъ уголкамъ родины богатырей-пахарей. О нихъ своевременно уже велась рѣчь, въ одномъ изъ предыдущихъ очерковъ.

Взглядъ народа-хлѣбороба на книгу-грамоту не могъ не отразиться въ мочушихъ волнахъ его словеснаго моря. „Не кустъ, а съ листочками; не рубашка, а спита; не человекъ, а рассказываетъ!“—говоритъ народъ-краснословъ о книгѣ. „Одинъ заварилъ, другой налилъ; сколь ни хлебай, а на любую артель еще станеть!“—подговаривается псковская загадка о томъ-же источникѣ неисчерпаемаго свѣта⁴. Въ казанскомъ Поволжьѣ загадывается о книгѣ на иной ладъ: „Подъ крыльцомъ, крыльцомъ яристомъ, кубаристомъ, лежитъ катокъ некатанный; кто покатаь, тотъ и отгадать!“ У рязанцевъ-зарайцевъ съ ярославцами-посехонцами сложился свой особый сказъ про перо (гусиное): „Носила меня мать, уронила меня мать, подняли меня люди, понесли въ торгъ торговать, отрѣзали мнѣ голову, сталъ я пить и ясно говорить!“⁴. „Голову срѣзали, сердце вынули, дають пить, велять говорить!“—ведутъ болѣе короткую рѣчь о томъ-же гусиномъ перѣ новгородскіе краснословы. „Малъ малышокъ, а мудрые пути кажетъ!“—отзывается начинающій приохочиваться къ грамотѣ деревенскій людъ—о карандашѣ. Исписанная бумага представляется народному слову „бѣленькой землею съ черненькими пташками“. Загадки о ней гласятъ слѣдующее: „Бѣлое поле, черное сѣмя, кто его сѣеть—тотъ и разумѣтъ!⁴“, или: „Сѣмя плоско, поле гладко, кто умѣеть—тотъ и сѣеть; сѣмя не всходитъ, а плодъ приносить!“ О письмѣ (посылаемомъ) обмолвилась народная Русь въ таковыхъ словахъ:

„Безъ рукъ, безъ ногъ, а вездѣ бываю!“, „Въ Москвѣ рубятъ, къ намъ щепки летятъ!“, „За моремъ дубъ горитъ, оттуда искоря!“ и т. п. „Разстилагся по двору бѣлое сукно; конь его топчетъ, одинъ ходитъ, другой водитъ, черныя птицы на него садятся!“—загадывается о бумагѣ, пальцахъ, писцѣ и буквяхъ. „Ни небо, ни земля, видѣнїемъ бѣла, трое по ней ходятъ, одного водятъ, два соглядаятъ, одинъ повелѣваетъ!“—ведется загадочная рѣчь о бумагѣ, буквяхъ, глазахъ, пальцахъ и умѣ-разумѣ.

У западно-славянскихъ и сосѣднихъ съ ними—не славянского корня—народовъ въ стародавнїя времена существовали преданїя о томъ, что дѣти до своего рожденїя на свѣтъ живутъ въ безвѣстныхъ пространствахъ небесныхъ міровъ, откуда и прилетаютъ въ урочный-предопредѣленный срокъ на землю—въ видѣ бѣлыхъ бабочекъ-мотыльковъ, чтобы вселиться въ новорожденнаго. У сопредѣльныхъ со славянами нѣмцевъ еще и теперь въ шутку увѣряютъ дѣтей, что ихъ принесъ на землю аистъ, доставшїй изъ колодца, гдѣ они жили въ подводномъ царствѣ, гуляли въ цвѣтущихъ лугахъ, питаея медомъ изъ цвѣточныхъ чашечекъ. Точно такое-же сказанье стародавнихъ дней еще недавно повторялось у чеховъ, относившихся къ нему съ полнымъ довѣрїемъ. Въ этомъ чувствуется несомнѣнная связь съ преданїями объ олицетворявшихъ нерожденные души эльфахъ, мудрыхъ-прекрасныхъ малюткахъ, населявшихъ въ средневѣковую пору нѣдра горъ и невидимкою выходившихъ оттуда въ часъ рожденїя человека. Въ Германїи до сихъ поръ показываютъ такїя мѣста, гдѣ, по преданїю, жили-веселились эльфы, добрые сосѣди злыхъ карликовъ и гномовъ. Обиталищемъ тѣхъ и другихъ были, кромѣ горныхъ проваловъ-ущелїй и пещеръ, лѣсные овраги, дупла вѣковыхъ дубовъ и тому подобные укромные уголки природы, чудеснымъ образомъ объединявшей въ себѣ простоту съ таинственностью. Богемскїя сказки, имѣющїя не мало общаго съ нѣмецкими, переносятъ мѣстопробыванїе младенческихъ душъ, не видѣвшихъ жизни, на острова небеснаго моря-океана, омывающаго вселенную. Эти острова (олицетворенїе свѣтлыхъ облаковъ, плавающихъ по воздушной лазури) представляется воображенїю сказочниковъ сплошь покрытыми розами, не отцвѣтая—благоухающими. Дѣти-эльфы рѣзвились-играли на нихъ вмѣстѣ съ крохотными птичками и бабочками, сами мало чѣмъ отличаясь—какъ отъ тѣхъ, такъ и отъ другихъ. Здѣсь, въ этой чудесной странѣ, никогда не бываетъ зимы и вѣчно царитъ лучезарный день, озаряемый незакатавающимся солнцемъ; и въ то-же самое вре-

мя островамъ эльфовъ незнакомо ни малѣйшее дуновение смерти. Уводитъ Дѣва Судьба на землю однихъ легкрылыхъ обитателей ихъ, а оттуда уже спѣшать-возвращаются „домой“ другіе, успѣвшіе по дорогѣ позабыть обо всемъ земномъ съ его печалями-тревогами, съ его похожими на горе радостями, съ его мучительнымъ блаженствомъ,—возвращаются такими-же чистыми, беззаботными и жизнерадостными, какими были прежде.

Такимъ образомъ, преданіе объединяло міръ нерожденныхъ съ блаженной страной, населенной душами праведниковъ. По другимъ онѣмеченнымъ славянскимъ преданіямъ—возвращались въ небесный рай эльфовъ только души безгрѣшныхъ младенцевъ, которымъ нечего было и забывать изъ омраченнаго грѣховной печалью земли.

На Руси никогда не существовало такихъ преданій, но нѣчто подобное слышится въ разказахъ о томъ, что дѣти-малолѣтки видятъ во снѣ райскіе сады, благоухающіе розами, по описанію совершенно напоминающіе острова эльфовъ. На дѣтскіе вопросы о рожденіи у насъ, обыкновенно, отвѣчаютъ, что „нашли въ травѣ“, „принесли вороны“ и т. п. Все это невольно напрашивается на сопоставленіе съ только-что приведенными сказаніями нѣмцевъ и онѣмеченныхъ славянъ. Въ Тверской губерніи, на старой-кондовѣй Велико-Руси, записана любопытная колыбельная пѣсенка.

„Богъ тебя далъ,
Христось даровалъ,
Пресвятая Похвала (Богородица)
Въ окошечко подала,—
Въ окошечко подала,
Иванушкой назвала;
Нате-тко—
Да примите-тко!“—

— запѣвается-начинается эта пѣсенка. Продолжается она обращеніемъ къ близкимъ ребенку людямъ:—„Ужъ вы, нянюшки, ужъ вы, мамушки! Водитесь, не лѣнитесь! Старыя старушки, укачивайте! Красныя дѣвицы, убаюкивайте!“ Вслѣдъ за этими увѣщательными словами, съ которыми-де подала малютку въ окошечко „Похвала“, идетъ самое убаюкиванье: „Спи-се съ Богомъ, со Христомъ! Спи со Христомъ, со ангеломъ! Спи, дѣтя, до утра, до утра до солнышка! Будетъ пора, мы разбудимъ тебя. Сонъ ходитъ по лавкѣ, дремота по избѣ; сонъ говоритъ: „Я спать хочу!“ Дремота говоритъ:—„Я дремать хочу!“ По полу, по лавочкамъ

похаживаютъ, къ Иванушкѣ въ зыбочку заглядываютъ,— заглядываютъ, спать укладываютъ“... Многое-множество другихъ колыбельныхъ пѣсенъ распѣвается на Руси и надъ мягкой постелькою барскаго дитяти—нянюшками-мамушками, и надъ холщевой или лубяной зыбкою будущаго пахаря-хлѣбороба Русской Земли. И въ каждой пѣсенкѣ, кѣмъ бы она ни пѣлась, чувствуется нѣжная любовь къ маленькому существу, несущему въ міръ улыбку солнца, озарявшаго потерянный рай праотцевъ человѣчества. И каждая-то пѣсенка, тихимъ журчаніемъ ручейка льющаяся надъ колыбелью, встрѣчаетъ „случайнаго гостя земли“ привѣтливымъ общаніемъ всяческихъ благъ земныхъ. Нѣкоторыя сулятъ ему,— хотя-бы онъ и былъ дѣтищемъ бѣдняка-бобыля, и въ глаза не видывавшаго никакихъ приманокъ жизни,— что онъ „вырастетъ великъ, будетъ въ золотѣ ходить, будетъ въ золотѣ ходить, чисто серебро носить, нянюшкамъ-мамушкамъ, дѣвушкамъ-красавицамъ пригоршни жемчугу дарить“ и т. д. Въ другихъ утѣшаютъ будущаго крестьянина тѣмъ, что онъ „будетъ воювать—богатырствовать, службу царскую служить, прославляться“... Третьи—сулятъ ублаживаемому нѣчто иное болѣе близкое къ осуществленію, въ-родѣ вятской пѣсенки, начинающейся упоминаніемъ о „куней шубѣ“, будто-бы лежащей „на ногахъ“ ребенка, и „соболиной шапкѣ“,— у него „въ головахъ“, но вдругъ совершенно неожиданно переходящей къ почерпнутымъ изъ окружающей дѣйствительности словамъ:

„Спи, посыпай,
На повозъ поспѣвай!
Доски готовы,
Кони сряжены...
Спи, посыпай,
Воронить поспѣвай!
Мы тѣ шапочку кушимъ,
Зипунъ сошьемъ,
Воронить сошьемъ
Въ чистыя поля,
Въ зеленые луга!..“

Когда ребенокъ начинаетъ изъ засыпающаго подъ звуки пѣсенъ „несмышлѣныша“ превращаться въ пытающагося проявлять сознательное отношеніе къ окружающему (принимается „гулить“),—къ колыбельнымъ пѣсенкамъ присоединяются „потѣшныя“. Ими мать (или нянька) забавляетъ дитяту, отвлекая его отъ слезъ и крика, къ которымъ будущій человѣкъ питаетъ не малую склонность—и въ палатахъ-хоромахъ,

и въ избахъ-хатахъ. Тутъ народное пѣсенное слово изошряет-ся на всевозможные лады, объединяя въ себѣ и напѣвъ, и сказку, и скороговорку, и даже игру. Появляются дѣйствующими лицами такихъ пѣсень-утѣхъ и „сорока бѣлобокая“, варящая кашу да гостей созывающая, и кошка, выходящая замужъ „за кота-ворокота“, и „коза рогатая-бодатая“, и „пѣтушокъ—золотой гребешокъ, масляна головка“, и „долгоногий журавель“, „что на мельницу ѣздилъ, диковинки видѣлъ“, и „зайчикъ—коротеньки ножки, сафьяновы сапожки“, и воронъ, сидящій на дубу, играющій „во трубу“, и многое-множество другихъ звѣрей, птицъ и невидали всякой. Прислушивающійся ко всему этому ребенокъ какъ-бы умышленно вводится въ невѣдомый ему дотолѣ, пробуждающій въ немъ пытлиность міръ природы, непосредственно связанной съ жизнью крестьянина. Надолго, если только не навсегда, запоминаются съ дѣтства эти пѣсенки потѣшныя, послѣ которыхъ ребенокъ начинаетъ „становиться на ножки“, ходить и лепетать своимъ дѣтскимъ, день-ото-дня все болѣе и болѣе богатѣющимъ языкомъ. Отъ этихъ пѣсенокъ—недалеко и до тѣхъ пѣвучихъ-голосистыхъ прибаутокъ-побасокъ, какими—по примѣру уличныхъ игруновъ—только что вставшая на ноги и выбѣжавшая босикомъ изъ душевной избы на вольный воздухъ дѣтвора принимается оглашать улицы, задворки и выгоны, откуда ее день-деньской зовутъ-не-дозовутся сердобольныя матери-мамки и начинающіе „учить“ (сначала слегка, а потомъ и почувствительнѣе) отцы-тятки.

Собирателями словесныхъ богатствъ народа русскаго не обойдены безъ вниманія и эти—„ребячьи“—пѣсенки, хорошо знакомыя всѣмъ, кто, если и не родился, такъ подолгу живалъ въ деревенской глуши и не сторонился при этомъ отъ вѣяній деревенскаго быта. П. В. Шейнъ привелъ въ своемъ „Великороссѣ“ не мало такихъ первобытныхъ произведеній народнаго пѣснотворчества—если не имѣющихъ особаго значенія въ смыслѣ художественности, требуемой отъ настоящей пѣсни, то много говорящихъ дѣтскому слуху и сердцу. Не лишены смысла эти образцы дѣтскихъ вдохновеній и съ бытовой стороны: въ нихъ высказывается прямое проникновеніе души ребенка въ трудовую жизнь отца-крестьянина, въ потѣ лица добывающаго хлѣбъ свой. Въ этихъ прибауткахъ пѣсенныхъ зачастую слышенъ голосъ будущаго пахаря-хлѣбороба, дышащаго однимъ дыханіемъ съ матерью-природою—то щедрой-ласковою, то скупой-грозною. Отъ ничего такого не выражающихъ припѣвовъ—„Тень, тень, потетень, выше городу плетень: на печи калачи—какъ огонь горячи...“,

или „Тили-бомъ, тили-бомъ, загорѣлся козій домъ...“, еще слишкомъ близко стоящихъ къ „потѣшнымъ“ пѣсенкамъ о со-року и котѣ-ворокотѣ, дѣтвора малая, и прыгающая, и чирикающая по воробьиному—очень скоро переходитъ къ болѣе осмысленнымъ.

Всюду и вездѣ, съ первымъ проблескомъ яркаго весенняго солнышка, съ первыми проталинками послѣ зимней стужи—можно увидѣть сначала у заваленокъ, а потомъ (когда потѣплетъ на дворѣ) посреди улицы и даже за околицею, кучку толкущихся на одномъ мѣстѣ ребятъ—маль-мала-меньше!—выкликающихъ свой привѣтъ возвращающейся на Свя-тую Русь красной веснѣ—въ-родѣ: „Приди, весна, съ радостью, съ великою милостью!“ и т. д., или: „Солнышко-ведрышко, выгляни въ окошечко! Твои дѣтки плачутъ, ѣсть-пить просятъ“... И нѣтъ конца-края ребячьей радости, если—какъ-разъ послѣ этого выкликанія—солнышко начнетъ осыпаться рыхлые, тающіе снѣга стрѣлами своихъ веселящихъ душу, животворныхъ лучей.

Подростаетъ дѣтвора и—что ни годъ—все болѣе и болѣе свыкается со всѣмъ обиходомъ деревенскаго быта, все ближе становятся ей каждая тревога, каждая надежда пахаря. Дождя просить засѣянная нива, а его—нѣтъ да нѣтъ. И вотъ льются-звенятъ звонкіе голоса дѣтскіе: „Ты, дождь, дождемъ поливай ведромъ на дѣдку рожь, на бабку полбу, на дѣвкинъ лень, на мужичій овесъ, на ребячью кашу!“ или:

„Дождикъ, дождикъ! Припусти!
Я поѣду во кусты—
Богу молиться,
Христу поклониться...
Я у Бога сирота,
Отворяю ворота
Ключикомъ-замочкомъ,
Золотымъ платочкомъ!
Дождикъ, дождикъ! Пуще!
Дамъ тебѣ я гущи!“...

Стоитъ на дворѣ ненастье, льютъ-ливня дожди, съ „гнилого угла“ туча за тучей надвигается,—нѣтъ ни просвѣта ужъ нѣсколько дней. Все опасливѣе начинаетъ приглядываться пахарь къ погодѣ: ну, сохрани Богъ—хлѣба вымокнуть!.. Ужъ готова деревня поклониться священнику—поднять иконы въ поле, молебствовать о прекращеніи дождей. Прислушиваются-ли, не прислушиваются-ли ребята малыя къ толкамъ-разговорамъ старшихъ,—у нихъ уже готова новая под-

ходящая къ случаю пѣсенка: или—„Радуга, дуга! Перебей дождя! Давай солнышко, колоколнышко“..., или: „Дождикъ, дождикъ, перестань! Я поѣду на Ердань („въ Астрахань“, „во Рязань“, „во Казань“, „во Рестань“—по инымъ разнопѣвамъ)—Богу молиться!“... и т. д. Что ни праздникъ, всей деревнею празднуемый, что ни обычай—связанный съ преданьями-повѣрьями старины,—у ребятъ-малышей и ушки на макушкѣ: сейчасъ они во все проникнуть своимъ ребячьимъ умишкомъ и слухомъ. Повернуть-ли Спиридоны-павороты („солновороты“) солнце на лѣто, зиму на морозъ; заколяютъ-ли веселыя Святки; прилетятъ-ли жаворонки на „Сороки“; обрадуется-ли Божій міръ Радоница Красная Горка,—на все найдется у дѣтвы деревенской свой веселый—какъ пѣсня жаворонка, какъ щебетъ касатки—откликъ. И не хуже отцовъ-матерей приглядывается ихъ зоркій глазъ къ жизни природы.

Смѣшливость, плодющая острое словцо, всегда была сродни коренному русскому человѣку,—будь-ли онъ сынъ черноземной срединной полосы, живи-ли онъ въ благодатной Украинѣ, трудись-бѣдуй-ли онъ по сосѣдству съ архангельскимъ поморьемъ. Болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, проявляется она въ дѣтскомъ, переходящемъ къ отрочеству, возрастѣ.—Тутъ—не знаетъ она себѣ никакой преграды-помѣхи, не укоротить ея никакому строгому „ученью“. Все, что способно возбудить смѣхъ, находитъ живой откликъ въ толпѣ ребятъ, еще не ознакомившихся на своемъ горбу съ тяжелой страдою труда деревенскаго. Нѣтъ конца играмъ-забавамъ, нѣтъ мѣры шалостямъ, нѣтъ удержу смѣху. Потѣшаются ребята и другъ-надъ-дружкой, не прочь зачастую высмѣять-вышутить и взрослого, подающаго къ этому тотъ или иной поводъ. И не только одною шаловливой забавою дѣтской отзывается этотъ смѣхъ,—попадаетъ онъ порою, что называется, не въ бровь, а въ самый глазъ. Смѣшной видъ челоуѣка, трудно произносимое или малоупотребительное въ деревенскомъ быту имя, предосудительный поступокъ, тотъ или другой порокъ, становящійся извѣстнымъ деревнѣ,—все это дѣлается предметомъ то веселаго, то мѣткаго-остраго, то злого и даже безпощаднаго ребячьаго смѣха. Впрочемъ, послѣдній немедленно готовъ перейти въ добродушно безобидную веселость-смѣшливость,—стоитъ только осмѣиваемому показать себя дѣтворѣ съ болѣе привлекательной стороны. Находятся въ каждой деревнѣ ребята, что похода слагаютъ новыя пѣсенки-прибаутки смѣшливыя. Они всегда бываютъ „коноводами“ ребячьей ватаги и слывуть общими любимцами, несмотря на свой готовый всѣхъ и вся просмѣять нравъ.

Дѣтскія игры деревенскія непримѣръ разнообразіе и веселіе городскихъ. Что ни годъ, то прибавляются къ нимъ новыя, изобрѣтаемыя самими-же играющими; порою подсказываетъ ихъ жизнь. И здѣсь зачастую проявляется острая наблюдательность малыша-крестьянина, обнаруживается природная русская смѣтка, еще не придавленная никакими тяготами житейскими. Сколько этихъ игръ, и не перечестъ: что ни деревня — то игра! Но есть цѣлый рядъ и такихъ, которые являются общими чуть-ли не для всего простора свѣтлорусскаго и даже ведутся съ незапамятныхъ временъ — вѣками. Въ такихъ играхъ дѣтвора, stalkивается уже съ подростками, знакомыми и съ хороводами не только по одной наглядкѣ-наслышкѣ, считающими себя чуть не за настоящихъ парней и дѣвчатъ.

Но не всё пѣсни да игры, — приходитъ время-пора приучаться дѣтворѣ деревенской и къ работѣ. Начинается это съ полотья въ яровомъ полѣ, постепенно переходить къ бороньбѣ, а тамъ — не успѣетъ и оглянуться подрастающій малышъ, какъ ужъ онъ идетъ полосую, соху ведетъ, или — подъ жгучимъ припѣкомъ солнышка, которое еще совсѣмъ недавно молилъ „выглянуть въ окошечко“, гнетъ спину съ серпомъ въ рукахъ, подрѣзая подъ корень рожь-кормилицу. Не угоняться за старшими чуть видному изо ржей потомку Микулы Селяниновича, а все-же долженъ онъ помогать отцу-матери, начинать расплату за то, что его на бѣлый свѣтъ родили, кормили-поили и если хоть и мало обували, то одѣвали.} Въ полѣ — потъ градомъ, спину ломить, съ непривычки слезы готовы къ горлу подкатиться клубкомъ; а только вернулся изъ поля домой — куда и усталъ дѣнется: опять — за игры-пѣсни... А то — съ конями въ луга, въ „ночное“... Хоть и гудятъ ноги отъ усталости, и руки намахались за-день, да зато какъ весело начинающей крестьянствовать дѣтворѣ провести ночь на лугахъ, собравшись въ кружокъ подлѣ костра. Сколько страховъ натерпишься, сколько сказокъ наслушаешься... А какъ сладко-крѣпко спится на травѣ подъ кафтанишкомъ въ то время, когда близится росистое утро, и лошади уже начинаютъ сбиваться все ближе къ своимъ пастухамъ-сторожамъ — въ предчувствіи того, что скоро опять надо будетъ скакать въ деревню, а оттуда плестись съ сохою или телѣгой въ поле. † Скорымъ шагомъ проходятъ золотые годы дѣтства для всякаго человѣка вообще; но въ стоящей на устояхъ страдаigna труда семьѣ сидящаго на землѣ и кормящагося живущаго ея дарами крестьянина они пролетаютъ быстрѣе быстраго.} Рано подростокъ становится парнемъ, позабываю-

щимъ о ребячьихъ забавахъ и если отводящимъ душу за пѣснями, то уже за хороводными—съ ихъ на иной ладъ слагающейся веселостью, или за тягучими-проголосными — съ ихъ тоской разыстомною. Не успѣтъ у подростка и усовѣ вырости, какъ уже—смотришь—сыграли его свадьбу и сталъ онъ заправскимъ мужикомъ, своему тяглу работникомъ, своей бабѣ-хозяйкѣ хозяиномъ, своимъ дѣтямъ отцомъ-кормильцемъ.

Кажется, еще совсѣмъ недавно былъ и самъ онъ всего-то „мужичкомъ съ ноготокъ“, о какомъ слыхивалъ въ бабьихъ да дѣдиныхъ сказкахъ, — а ужъ не страшны для него ни упыри-буканы, ни „бабы-яги“, которыми пугаютъ старики со старухами трусоватую дѣтворау шаловливую, рассказывая, что ходять-де они по селамъ-деревнямъ, воруютъ ребяташекъ да поѣдаютъ ихъ—не только вмѣстѣ съ косточками, а и съ новыми лапотками липовыми. Но еще долго спустя будутъ памятны обливавшемуся потомъ работнику, находящему свое „веселіе“ уже не въ беззаботной дѣтской смѣшливости, — и пѣсни ребячьи, и сказки старья.

„Мальчикъ съ пальчикъ“ да „дѣвочка-снѣгурочка“ являются любимыми воплощеніями дѣтей въ сказочную оболочку—въ устахъ русскихъ сказочниковъ. Первый, именующійся также и „мужичкомъ съ ноготокъ“, надѣляется способностью становиться невидимымъ въ опасныхъ для него случаяхъ. Воображеніе народа-сказателя порождаетъ его изъ случайно обрубленнаго пальца матери и поселяетъ въ подземныхъ нѣдрахъ, откуда и выводитъ по своему хотѣнью—по щучьему велѣнью, какъ говорится. Ему то приходится изображать мудраго старца съ бородою въ нѣсколько разъ длиннѣе себя и проникать взоромъ во всю подноготную тайнъ бытія человѣческаго; то попадаетъ онъ навстрѣчу сказочнымъ добрымъ молодцамъ и самъ по обличью схожъ съ ними—только ростомъ не вышелъ. Въ первомъ случаѣ онъ является колдуномъ, приносящимъ не мало всякаго зла людямъ; въ послѣднемъ—онъ творитъ только добро, пользуясь тѣми волшебными свойствами, которыми надѣленъ. Иногда въ его власти оказываются, по народному слову, и коверъ-самолетъ, и скатерть-самобранка, и мечъ-самосѣкъ. Нѣкоторые сказочники говорятъ, что этому мальчику-мужичку столько лѣтъ, что и не сосчитать; но есть не мало и такихъ, которые величаютъ его всего только „семилѣткомъ“. О дѣвочкѣ-снѣгурочкѣ ходитъ по народной Руси много всякихъ сказокъ. Всѣ онѣ изображаютъ ее дочерью „старика со старухой“, у которыхъ „не было дѣтей ни одинаго“. Вышли старики однажды зимой на дворъ

и принялись лѣпить изъ только-что выпавшаго снѣга куклу, —смотреть, а передъ ними дѣвочка-малютка, какъ есть — живая. Диву дались старики, стали „снѣгурочку“ растить. И росла не по днямъ, а по часамъ — выровнялась во всемъ красавицамъ красавицу, да такъ и осталась несмышленишемъ, что дитя малое. Пришли разъ подружки-сосѣдки, стали просить у старика со старухой пустить съ ними богоданную дочку въ лѣсъ по ягоды. Отпустили старики: „Возьмите, да не потеряйте!“ Далекo-ли, близко-ли ходили, много-ли, мало-ли времячка прошло, — вернулись все дѣвушки домой, а снѣгурочки — нѣтъ: потерялась въ лѣсу, заплуталась. „И теперь она тамъ!“ — заключаютъ болѣе увѣренные въ силу своего слова сказочники, обводя взглядомъ притаившуюся, обратившуюся въ одинъ слухъ дѣтвору. У другихъ — она попадаетъ въ руки къ бабѣ-ягѣ, гдѣ томится-мучается, укачивая новорожденнаго лѣшаго. Иные-же заставляютъ дѣвочку-снѣгурочку, утѣху старика со старухою, растаять подъ первыми знойными поцѣлуями вешняго солнышка краснаго. Но во всехъ разносказахъ она является яркимъ олицетвореніемъ недолговѣчности земной красоты, только подтверждающимъ то, что и сама жизнь — не что иное, какъ бысролетное дѣтство вѣчности.



LXII.

Молодость и старость.

Гораздъ словоохотливый русскій простолюдинъ загадки загадывать—ставить въ-тупикъ не отличающагося особой догадливостью собесѣдника. Но есть два вопроса-сопоставленія, которыя почти не укладываются въ его головѣ въ рамку загадки, несмотря на всю загадочность-тайственность своей сущности. Это: рожденіе—смерть и молодость—старость. Спросятъ про первое сопоставленіе,—отзовется народъ-загадчикъ и коротко, и неясно: „Одного не помню, другого—не знаю!“—скажетъ. По второму—найдена у него пытливыми кладоискателями живого народнаго слова тоже всего только одна загадка: „Чего хочешь (молодости)—того не купить, чего не надо (старости)—не продать!“ На этомъ оборвется и весь его сказъ. Не то будетъ, если изъ области загадокъ перенестись въ пестрый кругъ пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ, присловіи и огороженныхъ ими обычаевъ, сотканныхъ изъ повѣрій-преданій старины стародавней, не говоря уже о пѣсняхъ и сказаніяхъ—этой душѣ бездонно-глубокаго стихійнаго сердца народнаго.

Молодость и старость—два рубежа сознательной, вышедшей изъ оболочки дѣтства, жизни человѣческой. Передъ первую—міръ счастливаго невѣдѣнія, отовсюду окаймленный утренней зарею существования, окрашивающей весь кругозоръ, видимый смертному взору, въ розовый и радужный цвѣта; за вторую—міръ невѣдомаго, представляющійся—наоборотъ—охваченнымъ сумракомъ вѣчной, угрюмой тайны стоящимъ въ заколдованномъ кругу роковой безконечности. „Два вѣка не изживешь, двѣ молодости не перейдешь!“—

говорится въ народной Руси, взирающей въ далекия дали минувшаго и грядущаго съ одинаковымъ спокойствіемъ убѣленнаго тысячелѣтними сѣдинами мудреца: „Коротать молодость — не видать старости!“ Молодость слыветъ въ народѣ „золотой порою“ и является олицетвореніемъ удали-воли; старость представляется его мысленному проникновенному взору годиною мудрости и правды. „Чѣмъ старѣе—тѣмъ правѣе, чѣмъ моложе—тѣмъ дороже!“—гласитъ объ этомъ крылатое народное слово: „Молодой работаетъ, старый—умъ даетъ; молодой на службу, старый—на совѣтъ!“ Завзятые краснословы безъ смѣшливости—ни на шагъ: „Старь да малъ—дважды глупъ!“—зачастую готовы обмолвиться они: „Старый—что малый, а малый—что глупый!“, „Сѣдина въ бороду, а бѣсъ—въ ребро!“ и т. д. Но имъ всегда найдется отвѣдъ изъ устъ разсудительныхъ „благосмысленныхъ“ людей, глубже смотрящихъ на жизнь и ея смѣняющихся одно другимъ явленія. „Не смѣйся надъ старымъ, и самъ старъ будешь!“—укоризненно молвятъ они, останавливая говорунуновъ, ради краснаго словца не щадящихъ матери-отца: „Молодость—не грѣхъ, старость—не смѣхъ!“, „Старый конь борозды не портитъ!“ и т. д.

Старять человѣка, по народному слову, не годы, а горе; умираетъ не старый, а—тотъ, кому часъ воли Божіей пробьетъ. Всегда встрѣчались такіе люди, къ которымъ съ полной справедливостью можно отнести поговорки: „Самъ старъ, да душа молода!“, „Старъ, да дюжъ!“, „Старикъ, да лучше семерыхъ молодыхъ!“, „Старъ, да веселъ; молодъ, да угрюмъ!“, „Старое дерево трещить, а молодое летить!“. Молодежь хотя и не станетъ долго спорить противъ того, что—„Старый воронъ мимо не каркнетъ!“, „Старъ волкъ—знаетъ толкъ!“, „Стараго воробья на мякинѣ не обманешь!“,—всегда съ болѣею охотою повторяетъ такія поговорки, что называется—играющія ей въ руку, какъ на примѣръ: „Молодъ, да водить волость!“, „Молодъ князь—молода и дума!“ и т. п. Съ этой „молодою думой“ въ груди и жизнь кажется человѣку привольнѣй просторнѣе, и поросшая терновникомъ путь-дорога житейская, словно веселить-бодрить сердце, пробуждаючи удалъ молодецкую. Нужды нѣтъ, что въ глазахъ перешедшихъ поле жизни, старыхъ людей эта дума сходитъ всего-то за молодой задоръ („Молодо—зелено!“—говорятъ они), а этимъ-послѣднимъ совершалась на бѣломъ свѣтѣ добрая половина всѣхъ подвиговъ, легшая краеугольнымъ камнемъ храма славы человѣчества. Недаромъ слыветъ молодость за пташку вольную, у которой крылья не связаны,—куда захочетъ, туда и полетитъ!—которой никакіе пути не заказаны.

ны. Все, самое несбыточное—по плечу молодой удали; дать ей волю—такъ гору съ мѣста сдвинетъ и не крикнетъ даже... Но—„Стараго учить—что мертваго лѣчить!“; не даромъ ему сѣдина достается. Знаетъ мудрый жизненный опытъ, что—хоть и „старость—не радость“, но и „молодость не корысть“: не одни удалцы-молодцы въ молодости, а есть и такіе, о которыхъ никакого иного крылатаго слова не молвишь, кромѣ того, что-де: „Молоды опенки, да черви въ нихъ!“. И въ этомъ—не малая доля правды, если взглянуть на окружающую коренастые вѣковые дубы хилую молодую поросль, гнущуюся по-вѣтру во всѣ стороны,—съ высоты ихъ могучихъ, смотрящихъ въ небо вершинъ.

Хотя и умудряетъ,—какъ говоритъ народъ,—Господь Богъ стараго человѣка, но зачастую тяжкимъ бременемъ ложится ему на плечи эта достающаяся путемъ горькаго жизненнаго опыта мудрость. Тотъ-же возросшій на завѣщанномъ древними пращурами законѣ почитанія старѣйшихъ, въ теченіе многихъ вѣковъ впитывавшій въ свою плоть и кровь родовыя начала, народъ-пахарь сравниваетъ старость—съ гробомъ: „Гробъ—не добыча, а старость—не находка!“—говоритъ онъ. „Придетъ старость—приведетъ и болѣсть!“; „Старость—увѣчье человѣче!“; „Старость—неволя злая!“; „Старость—не красный денекъ!“; „Сдружилась старость съ убожествомъ!“; „Въ старомъ тѣлѣ—что во льду!“; „Выношенная шуба не грѣетъ, въ старой кости сугрѣву нѣтъ!“; „Молодость летаетъ вольной пташкой, старость—ползетъ черепашкой!“; „Старость придетъ—веселье на умъ не пойдетъ!“; „Старость съ добромъ не приходитъ!“ Многое-множество другихъ, подобныхъ приведеннымъ, поговорокъ-пословицъ, сложившихся въ давнюю пору, можно и въ наши дни услышать среди посельщины-деревеньщины, любящей говорить коротко—да мѣтко, не хитро—да складно. „Отъ старости одно зелье—могила!“—заключается ихъ цѣль неразрывнымъ звеномъ.

Не всѣ состарѣвшіеся люди дѣлаются брюзгливыми ворчунами, обличителями всего молодого-новаго, то-и-дѣло повторяющими свое излюбленное словцо: „Нынче молодежь—погляди да брось!“ Много и такихъ, что, просвѣтлѣвъ разумомъ на склонѣ лѣтъ, становятся и болѣе чуткими сердцемъ, болѣе склонными ко всепрощенію и всепониманію. Не ворчливая укоризны вызываетъ у такой старости видъ зеленаго молодого задора, а только сожалѣніе о своихъ прожитыхъ дняхъ. „Старость—эх-ма! Молодость—ой-ой!“—вырывается у нихъ изъ груди: „Молоды бывалъ—на крыльяхъ леталъ, старъ сталъ—на печи сижу!“; „Уплыли годы—что вешнія воды!“;

„Молодо—зелено, погулять велѣно!“ , „Молоденькій умокъ—что весенній ледокъ!“ , „Молодая отвага—что молодая брага!“ и т. д. Въ ладъ съ этими словами ведетъ свою рѣчь и такая поговорка, какъ: „Только-бы помолодѣть, ужъ зналъ-бы, какъ состарѣться!“ Всякую молодую ошибку-проруху готовы оправдать такіе добромъ поминающіе молодость старики. „Молодъ бывалъ—и со грѣхомъ живалъ!“—скажутъ они въ отвѣтъ-отповѣдь нетерпимости своихъ суровыхъ сверстниковъ „Кто бабушкѣ не внукъ, кто молодъ не бывалъ?“ и т. д. Если, по ихъ словамъ, „смолоду ворона по поднебесью не летала“, то—„не полетѣтъ ей и подъ старость!“

Быстро схватывающіе все своимъ зоркимъ разумомъ, „изъ молодыхъ да ранніе—на воркотню неуживчивой старости, что-де: „Зеленъ виноградъ не сладокъ, молодъ—не крѣпокъ!“ , всегда найдутъ что и какъ отвѣтить. „Молодъ годами—старъ умомъ!“—скажутъ они: „Умъ бороды не ждетъ!“ , „Молодъ, да старыя книги читалъ!“ , „Не спрашивай стараго, спрашивай бывалаго!“ Кто понесговорчивѣе, тотъ опять заворчитъ на это: „Молоко на губахъ не обсохло, а къ пиву тянется!“ и т. д. А добродушная старость ухмыльнется въ сѣдую бороду на молодой задоръ и если оговоритъ его чѣмъ, то не болѣе, какъ: „Молодой квасъ—и тотъ дойдетъ!“ , „Пока молодъ—пота и бродитъ!“ , „Молодъ—просмѣется, зеленъ—дозрѣетъ“. Иные-же еще, пожалуй, добавятъ къ этому: „Дважды молодому не бывать, не по двѣ молодости жить!“—добавятъ и вздохнуть, обвѣянные памятью былого.

Молодость—цвѣтъ жизни—недолговѣчна... Особенно скоро осыпаются лепестки этого „цвѣта“ у прекрасной половины рода человѣческаго. Дѣвушка красная цвѣтетъ—невѣстится. Придетъ ея „судьба“—и цвѣтенью конецъ недалеко въ крестьянскомъ суровомъ быту. „Расцвѣтаетъ—что маковъ цвѣтъ“ красавица,—„Кровь съ молокомъ!“—говорять о ней на деревнѣ. Но недаромъ пословица молвится, что „краснѣ дѣвка до замужества“,—года черезъ два и не узнать недавней хороводницы веселой, раскрасавицы—знобившей сердца разгарчивыя, какъ поется въ поволжской пѣснѣ, „безъ морозу, безъ осеняго дожда“. Еще недавно, быть можетъ, склонялъ къ себѣ ея любовь заговорнымъ словомъ удалъ добрый молодець, „замыкая“ свой заговоръ „семидесятью семью замками, семидесятью семью цѣпями“, посылая къ зазнобившей сердце дѣвицѣ тоску любовную. „На морѣ на Окіянѣ, на островѣ на Буянѣ“,—вычитывалось-нашептывалось это заговорное слово,—„естъ бѣды-горючъ камень Алатырь, никѣмъ невѣдомой; на томъ камнѣ устроена огнепалимая баня, въ той банѣ лежитъ раз-

жигаемая доска, на той доскѣ тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски изъ стѣны въ стѣну, изъ угла въ уголь, отъ пола до потолка, оттуда черезъ всѣ пути и дороги и перепутья, воздухомъ и аеромъ. Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски, и бросьтесь, тоски, въ буйную ея голову, въ тыль, въ ликъ, въ ясныя очи, въ сахарныя уста, въ ретивое сердце, въ ея умъ и разумъ, въ волю и хотѣніе, во все ея тѣло бѣлое и во всю кровь горячую, и во всѣ ея кости, и во всѣ суставы: въ семьдесятъ суставовъ, полусуставовъ и подсуставовъ. И во всѣ ея жилы: въ семьдесятъ жилъ, полужилъ и поджилковъ, чтобы она тосковала, горевала, плакала-бы и рыдала по всякъ день, по всякъ часъ, по всякое время, нигдѣ-бъ пробыть не могла, какъ рыба безъ воды! Кидалась-бы, бросалась-бы изъ окошка въ окошко, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на всѣ пути и дороги, и перепутья—съ трепетомъ, туженіемъ, съ плачемъ и рыданіемъ, зѣло спѣшно шла-бы и бѣжала и пробыть безъ меня (имя рекъ) ни единыя минуты не могла. Думала-бъ обо мнѣ—не задумала, спала-бъ—не заспала, ѣла-бы—не заѣла, пила-бъ—не запила, и не боялась-бы ничего, чтобъ я ей казался милѣе свѣту бѣлаго, милѣе солнца пресвѣтлаго, милѣе луны прекрасныя, милѣе всѣхъ и даже милѣе сну своего, во всякое время: на молодую, подъ полнь, на перекроѣ и на исходѣ мѣсяца“... Отъ этого-ли слова заговора, безъ него-ли—приглянулся добрый молодецъ красной дѣвицѣ, сладилась и свадебка, „одной дѣвкой на селѣ стало меньше, больше—одной молодлицею“. А „молодицѣ“ недолго превратиться и въ „бабу“, у которой одна тоска-сухота—хозяйство домалнее да ребята малыя. И вотъ, еще недавно развертывавшее передъ нею „всѣ пути-дороги, всѣ перепутьица“ народное слово изрекаетъ: „Бабѣ одна дорога — отъ печи до порога!“, „Далъ мужъ женѣ волю—не быть добру въ домѣ!“, „Шубу бей—теплѣе, жену бей—милѣе!“, „Побьешь бабу—и щи вкуснѣе!“, „Всѣ въ дѣвушкахъ дѣвки хороши, а отколь злыя жены берутся? Всѣ парни—молодцы добрые, а откуда грозные мужья живутъ?“—Отвѣтъ на этотъ вопросъ держитъ сама жизнь крестьянина, которая въ дѣтскіе да въ ранніе молодые годы кажется ему родимой матушкою, а потомъ оказывается мачихою лихой: „учить начнетъ — въ три погибели согнетъ, выучить — не выпрямишься!“

Въ хороводныхъ пѣсняхъ-играхъ—краса крестьянской молодости: ими красна и вся жизнь посельщины-деревеньщины, несмотря на то, что и дѣвкѣ, и парню—играть въ хороводахъ только до „злата вѣнца вѣковѣчнаго“. Нѣтъ числа пѣснямъ-

припѣвамъ, нѣтъ счета играмъ. Весна красная—сплошь хороходное время, словно созданное на утѣху - усладу молодой деревнѣ. Лѣто—порушка страдная — и то не унимаетъ голосистую молодежь. Словно и усталъ не беретъ ея: только выдастся праздничекъ Божій,—чуть не до бѣлой зорьки утренней пѣсни - пляски, игры всякія. Осенью — уберется людъ честной въ поляхъ, свезетъ на гумна хлѣбушко, молотѣба приспѣваетъ, а у молодого народа — опять забота веселая: хороводы доваживать,—пѣсни доигрывать,—къ свадьбамъ дѣло близится, октябрь-свадебникъ черезъ прясла заглядываетъ.

„Какъ на улицѣ дождикъ накрапаетъ,
Хороводъ красныхъ дѣвокъ прибываетъ.
Охъ, вы, дѣвушки, поиграйте!
Ужъ какъ вы, холостые, ни глядите:
Вамъ глядѣнницеймъ дѣвушекъ не взяти,
Ужъ какъ взять-ли, не взять-ли
Что по батюшкину повелѣнью,
Что по матушкину благословенью!“

Въ этой старинной хороводной пѣснѣ отразился, какъ въ зеркалѣ, взглядъ народной Руси на святость родительской власти надъ дѣтми и на связанные съ нею обычаи, ставшіе закономъ семейнаго быта, до сихъ поръ не утратившимъ своей силы. Но не такъ сталъ страшенъ для молодыхъ любящихъ сердцецъ этотъ нѣкогда неумолимо-суровый „законъ“, зачастую ломавшій-калѣчившій всю жизнь брачившихся. Свадьба—судьба, но и судьба не всеѣмъ лиходѣйкою на-роду написана. Изъ воли родительской рѣдко кто выйдетъ въ деревенскомъ быту, да и отцу съ матерью—не велика корысть дѣлать своихъ дѣтей несчастными. А если и не спросятъ отецъ-мать—сговорятъ, по рукамъ ударятъ, „пропьютъ“ дочь не за того добра-молодца, для котораго пѣлись - игрались ея хороходныя веснянки,—то изольется ея тоска горячая въ свадебныхъ пѣсняхъ, а тамъ — „Стерпится — слюбится!“ — если будетъ между молодожонами добрый совѣтъ. А не благословить имъ Богъ—такъ, по крылатому слову народной Руси: „И любя поженишься, да наплачешься!“... „Не всякая дѣвица—невѣста, что приглянется!“ — говорятъ въ народѣ: „Не всякъ добрый молодецъ—женихъ, что присватается!“—приговариваютъ: „Не ищи красоты — ищи доброты!“, „Красота приглядится, а добротой изба навѣкъ свѣтла будетъ!“ Не перечестъ всеѣхъ поговорокъ-пословицъ, которыми окружилъ народъ-пахарь „свадѣбу-судѣбу своихъ сыновъ-дочерей. Какъ о нихъ, такъ и о свадебныхъ обычаяхъ русской деревни;

былъ уже свой сказъ въ настоящихъ очеркахъ (см. гл. XLIII).

„Скажи, скажи, воробышекъ, какъ дѣвицы ходять?“—запѣвается одна хороводная пѣсня. „Онѣ этакъ и вотъ этакъ: туды глядь, сюды глядь, гдѣ молодцы сидять!“—не замедляется отвѣтъ. „Скажи, скажи, воробышекъ, какъ молодцы ходять?“—продолжаетъ запѣвало. Отвѣтъ слѣдуетъ точно такой-же, съ тою лишь разницею, что „молодцы“ высматриваетъ: „гдѣ голубушки сидять“. Иные слишкомъ долго себѣ невѣсть „высматриваютъ“, все раздумываютъ. „На молодой жениться—съ молодцами не водится!“—подсмѣивается надъ такой нерѣшительностью народное слово: „Богатую взять—станетъ попрекать; хорошую взять—не дастъ слова сказать; грамотницу взять—станетъ праздники разбирать; худую взять—стыдно въ люди показать; убогую взять—нечѣмъ содержать!“ и т. д.

По всему свѣтлорусскому простору поется-распѣвается съ незапамятныхъ временъ пѣсня о молодцѣ, собиравшемся жениться на вдовушкѣ, по нашедшемъ свою судьбу въ красной дѣвицѣ. „Какъ пошелъ нашъ молодецъ вдоль улицы на конецъ“...—начинается эта пѣсня: „Ахъ, Донъ ты нашъ Донъ, сынъ Ивановичъ, Донъ!“—подхватываетъ хоръ. „Донъ“ въ иныхъ мѣстностяхъ замѣняется „Дунаемъ“, что нисколько, однако, не мѣняетъ сущности дѣла. „Ахъ, какъ звали молодца, позывали удалца!“—продолжаетъ запѣвало, вызывая тотъ-же самый припѣвъ. А звали героя пѣсни — „во пиръ пировать, во бесѣдушку сидѣть, на игрище поиграть“. Не идетъ онъ, отговаривается: „Ужъ какъ мнѣ-ли, молодцу, худо можется, худо можется—нездоровится...“ Но всетаки, несмотря на „нездоровье“, сдвинувъ шапку-мурмашку на-бекрень, съ гуслими звончатыми подъ полою, идетъ онъ „ко вдовушкѣ на конецъ“. Пришелъ, садится „противъ вдовушки на скамьѣ“, сѣлъ, — заигралъ „во гусли во звончатые“... Игралъ-игралъ — бьетъ вдовѣ челомъ, „уронилъ шапку долой“,—обращается ко вдовѣ съ просьбой очестливою: „Ужъ ты, вдовушка моя, молодая вдова, подними шапку-мурмашку!“ — „Не твоя сударь-слуга, я не слушаю тебя!“—отвѣчаетъ вдова, и опять—„пошелъ нашъ молодецъ вдоль улицы на конецъ“. Снова звали, позывали его „во пиръ пировать, во бесѣдушку сидѣть, на игрище поиграть“; какъ и раньше, не пошелъ онъ ни въ первый, ни на вторую, ни на третью,—пошелъ „ко дѣвушкѣ на конецъ“. И вотъ,—продолжаетъ пѣсня:

„Какъ сядилса молодецъ,
Какъ сядилса удалецъ

Противъ дѣвушки на скамьѣ.
Заигралъ онъ во гусли,

Заигралъ во звончатые свои.
„Молодецъ дѣвицѣ челомъ,
Уронилъ шалку долой.

Ужъ ты, дѣвушка моя,
Ты, красная моя,
Подними шалку-мурмашку!“—

—обращается онъ къ ней съ тою-же самой просьбою, какъ незадолго передъ тѣмъ—ко вдовушкѣ. Глянула на добра-молодца красная дѣвица,—приглянулся; поняла она, какой за-таенный смыслъ кроется въ его просьбѣ. Ровно маковъ цвѣтъ, зардѣлася красавица, потупила свои очи дѣвичьи, исполнила просьбу. Потеряла она надъ собою волю, готова на-вѣкъ отдать ее молодцу счастливому...

„—Я твоя сударь слуга,
Я послушаюсь тебя!“—

—изъ ясной глубины сердца звучить отвѣтъ ея, полный той кроткой покорности, которою русская женщина способна побѣдить самую могучую силу воли, обезоружить неукротимый гнѣвъ, приворожить къ себѣ безъ наговоровъ, безо всякихъ зелей,—которою она сильна въ своемъ нѣжномъ безсиліи.

По словамъ одной пѣсни—„не безчестно молодцу вдоль по улицѣ пройти, вдоль по улицѣ пройти, къ хороводу подойти“. Другая прямо обращается къ нему: „Гуляй, гуляй, молодецъ, поколь не женилъ отецъ!“ Съ этою пѣсней словно сговорила третья, начинающаяся словами: „Гуляй, гуляй, дѣвушка, пока твоя волюшка,—скоро замужъ отдадутъ—всѣ гулянья отойдутъ!..“ Громадное большинство пѣсенъ рисуетъ семейную жизнь самыми мрачными красками—для вступающей въ чужую семью молодухи—семью, гдѣ, кромѣ мужа-хозяина, надъ нею являются наибольшими „свекоръ грозень батюшка“ да—пуще того—„свекровь лютая“. Много пѣсенъ спѣлось-сложилось въ русскомъ народѣ про житье молодой невѣстки въ мужниной семьѣ, — грустныя, тяжелыя все это пѣсни, горькою отравой жизни подсказанныя-нашептанныя. И во всѣхъ-то ихъ отзывается та грусть-тоска, которою напоена старинная пѣсня про „Лучинушку“. „Лучина, лучинушка березовая!“—запѣвается она: „Что-же ты, моя лучинушка, не ясно горишь, не ясно горишь да не вспыхиваешь?—Плачетъ-звенитъ напѣвъ, въ душу просится; „...да не вспыхиваешь...“—какимъ-то стономъ вырывается изъ груди пѣвца. Эщемить - занеетъ сердце отъ этого стона... „Аль тебя, моя лучинушка, свекровь залила?..“ Скорбная повѣсть загубленной молодости слышится въ этомъ вопросѣ.

Народная жизнь на каждомъ шагу выдвигаетъ изъ своей среды примѣры самобитности, изумительной для незнакомыхъ

съ нею близко. Что ни шагъ въ ея до сихъ поръ еще непроходимыя для многихъ дебри,—то и тупикъ для привыкшаго мѣрять всё на короткѣй аршинъ своихъ предвзятыхъ взглядовъ наблюдателя. Сплошь-да-рядомъ приходится встрѣчаться здѣсь съ самыми разительными противорѣчїями, не только мирно уживающимися бокъ-о-бокъ, но словно даже освѣщающими другъ-друга. Коренной русскій человѣкъ весь сотканъ изъ противорѣчїй. Особенно живо проступаетъ эта своеобразность его природы въ народной жизни, ближе стоящей къ первообразамъ бытія.

Вотъ, напримѣръ, какъ ярко проявляется въ русской народной пѣснѣ построенное на противорѣчїи чувство неожиданно зарождающейся страсти. „Попшелъ молодець на гулянье, къ краснымъ дѣвушкамъ на свиданье, ой лелю, лелю, на свиданье...“ — начинается эта, записанная въ Ветлужскомъ уѣздѣ Костромской губерніи, пѣсня. „Миръ вамъ, дѣвушки, на гуляньѣ, миръ вамъ, красныя, на свиданьѣ!“ — продолжается пѣсенное слово — очестливымъ поклономъ-привѣтомъ молодца: „Входитъ молодець въ кругъ къ дѣвицамъ, ходитъ молодець по кружалу, проситъ молодець побороться“. Такая необычная просьба приводитъ въ изумленіе: „Всѣ тутъ дѣвицы пріутихли, всѣ тутъ красныя пріумолкли...“ Выискалась, однако, въ хороводномъ кругу и такая, которой пришелся по нраву вызовъ молодца: „Одна дѣвица всѣхъ смѣлѣя, всѣхъ смѣлѣя, всѣхъ веселѣя, дѣвка къ молодцу выходила, выходила дѣвка — съ молодцемъ говорила:—Изволь, молодець, побороться!“ Въ дочери современной деревни какъ-бы проснулся духъ богатырокъ древней Руси, удалыхъ „паленицъ“, выходившихъ на единоборство со своими побратимами—богатырями, съ одинаго маху клавшихъ наземь чужеземца-нахвалящину. Такъ и здѣсь: „дѣвка молодца споборола, черну шапку съ кудеръ сшибла, на немъ синь кафтанъ изорвала, алу ленточку въ грязь втоптала, кушакъ шелковый изщипала, за русы кудри тербила; во право плечо колотила, лицо бѣлое пристыдила. Попшелъ молодець — самъ заплакалъ, пришелъ къ матери съ жалобдю...“ Читатель-слушатель пѣсни невольно настраивается на смѣшливое отношеніе „къ пристыжонному“ паленицею нашихъ дней молодцу. Но рассказъ совершенно неожиданно заканчивается на иной ладъ. Жалоба молодца показываетъ, что онъ-то смотритъ на это совсѣмъ по другому. „Ужъ ты матушка, мать родная!“ — говорить-жалобится онъ: „Меня дѣвушки не злюбили, всѣ-то красныя меня не любятъ, одна дѣвица сполубила, меня молодца поборола, черну шляпу съ кудеръ сшибла, алу ленточку въ грязь втоп-

тала, кушакъ шелковой изщипала, на мнѣ синь кафтанъ изорвала, а за русы кудри теребила, во право плечо колотила, лицо бѣлое пристыдила"... Эта пѣсня распѣвается въ нѣсколькихъ разносказахъ. Такъ, въ Тульской губерніи пѣвунны, продолжая пѣсню, ведутъ рѣчь и о томъ, что произошло вслѣдъ за жалобой молодца. Пошла мать пристыжоннаго пенять дѣвушкѣ. „Дѣвушка, ты дѣвушка, невѣста!“—обращается она къ ней: „Какъ тебѣ не стыдно? Какъ тебѣ не дурно? Обидѣла молодца-парня при всемъ при мирѣ, при мирѣ, при народѣ, при большомъ короводѣ!“ Обидчица—утѣшаетъ обиженнаго: „Не плачь, родимый (говорить она)! Русы кудри можно причесать, пухову шляпу можно надѣть, на сборахъ поддевку все можно собрать, ситцеву рубашку можно зашить, козловые сапожки—можно надѣть, а намъ съ тобою, молодець, все можно пожить, другъ-друга любить!“ Въ калужскомъ разнопѣвѣ—дѣвица отвѣчаетъ матушкѣ обиженнаго парня, что она—красная—„пожалѣетъ“ и, какъ видно изъ заключительныхъ словъ, дѣйствительно пожалѣла его:

„Назадъ-то молодца, назадъ ворочала:
—Воротися, молодець, воротися, удалой,
Не хвалися, молодець, да ты самъ собой,
Ты самъ собою, своей красотой!—
Всѣ русые кудерки на немъ причесала;
Пуховую шляпушку ему надѣвала,
Синенькій халатикъ, сборы собирала,
Ситцеву рубашечку на немъ зашивала,
Сафьяны сапоженьки ему надѣвала“...

„Пошелъ, пошелъ молодець, пошелъ—взвеселился“...—кончается пѣсня. Смоленскіе-бѣльскіе пѣсенники дополняютъ ее и тѣмъ, что дѣвица—„молодчика сладко цѣловала, сладко цѣловала, такъ отвѣтъ держала:—Тебѣ дѣла нѣту, что я друга била! Сама понимаю, друга утѣшаю, ой лѣшеньки, лѣшеньки! Друга утѣшаю!...“

Пѣсенное народное слово всегда было склонно къ смѣшливости. Вотъ какую, на примѣръ, картину рисуетъ оно: „... что и черная грязь—то старухи у насъ; что и бѣлая капуста—то молодухи у насъ; что лазоревый цвѣтокъ—красны дѣвушки у насъ; что гнилая-то солома—то ребята у насъ. На гнилую-то солому нынѣ честь пришла, что гнилая-то солома нынѣ женится, а лазоревый цвѣтокъ за нихъ замужъ идутъ“... и т. д. Псковичи, пѣвунны старинные, поднимаютъ цѣну на дѣвушекъ красныхъ. „Вылеталъ соловей изъ Новагорода“,—поютъ они,—„выносилъ онъ вѣсть

не радостну: какъ у насъ на Руси мальцы дешевы—первый молодецъ хоть-бы дровъ костерь, другой молодецъ хоть-бы лыкъ пучокъ, третій молодецъ хоть-бы дегтю кувшинъ! Вылеталъ соловей изъ Новагорода, выносилъ онъ вѣсть, вѣсть не радостну: какъ у насъ на Руси дѣвки дороги—перва дѣвка во сто рублей, друга дѣвка во тысячу, а третей дѣвицы—цѣны нѣтути!“ Въ старинной пѣснѣ—„А мы просо сѣяли, сѣяли...“, распѣвавшейся на Руси еще въ незапамятные годы, кони, пойманные на вытоптанномъ просѣ и запертые въ стойло, выкупаются у поймавшихъ не ста рублями, не тысячей: „Мы дадимъ молодца, молодца!“ — предлагаютъ хозяева коней. — „Намъ молодецъ не надо, не надо!“ — получается отвѣтъ. — „Мы дадимъ дѣвицу, дѣвицу!“ — Намъ дѣвица надобна, надобна!“ Въ одной калужской пѣснѣ, занесенной П. В. Шейномъ въ его пѣсенную кошницу, есть такое мѣсто:

„Погляди-ко-ся на сине море:
 На синемъ морѣ корабли плывуть,
 Корабли плывуть со товарами,
 Посреди—корабль съ златомъ-серебромъ,
 А другой корабль съ мелкимъ жемчугомъ,
 Какъ третій корабль съ красной дѣвушкой...
 — Злата, серебра дѣвать некуда,
 Мелка жемчуга сыпать не во что,
 Красну дѣвицу подавай сюда,
 Ей надобно напередъ идти,
 Напередъ идти, хороводъ вести“...

Дѣйствующія въ ярославской-пошехонской пѣснѣ красны дѣвушки выносятъ въ хороводъ по соловью въ рукахъ. „Ужь ты пой, распѣвай, соловей: пока воля есть у батюшки, пока вѣга есть у матушки, пока воля есть у дѣвушки!“ Отсюда—прямой переходъ: „Пой, распѣвай, красна дѣвица, въ хороводѣ разгуливай на вольной волюшкѣ, во красѣ во дѣвичей!..“ Пермскіе пѣсенники развиваютъ основную мысль приведенной пѣсни. „Поиграйте, красны дѣвицы, пока весело во дѣвушкахъ!“ — поется у нихъ: „Неравно-то замужъ выйдется, не ровень мужъ навѣрнется, либо старый-отъ удушливый, либо малый-отъ недошленькій, либо ровнюшка хорошенькая“... Недобрая „потѣха“ сулится пѣснею старому мужу: „Я бы стараго потѣшила—среди поля повѣсила, что на горькую осинушку и на самую вершинушку добрыми людамъ на посмѣшище, чернымъ воронамъ на граянь!“... Вятская пѣсня рассказываетъ о томъ, какъ стлала постельку мужу старому молодая жена. Начало этой пѣсни вѣтъ на

современнаго слушателя неподдѣльной одухотворенностью: „Какъ на морѣ валы бьютъ, валики-валы бьютъ; черный вонъ воду пилъ, воду пилъ, воду пилъ; онъ не напилъ, возмутилъ, возмутилъ, возмутивши, говорилъ, говорилъ, говорилъ: — Выдѣте, дѣвки, замужъ-отъ, замужъ-отъ за стараго старика, старика!“ Затѣмъ, пѣсня переходитъ къ обѣщанію молодухи молодой: „Я старому сноровлю, сноровлю, постельку постелю, постелю—въ три рядочка кирпичу, кирпичу, во четверту шипицу, шипицу, въ пятый рядикъ крапиву, крапиву; шипичюшка колюча, колюча, крапивушка жалюча, жалюча“... Не особенно очетливо относится къ льстящейся на молодость старости пѣсенникъ-народъ, по словамъ котораго и улица села-деревни украшается „молодцами, молодичами, душамъ красными дѣвицами“, какъ травой-муравою—зеленые луга.

Молодость въ представленіи русскаго народа является олицетвореніемъ воли, съ которою связано понятіе не только о широкой удали, а и о счастьѣ. Безпечная веселость и свободный полетъ чувствъ открываютъ послѣднему широкой путь въ жизнь человѣческую,—и была-бы она такъ богата имъ, кабы не залежали этотъ путь невзгоды житейскія, затемняющія собою свѣтъ солнечный передъ глазами изнемогающихъ подъ тяжелой ношею жизни. „Ахъ ты, молодость моя, молодецкая! Ой ты воля моя, воля дѣвичья!“—рвется изъ стихійнаго сердца народа-пѣснотворца открыленное мыслью слово: „Мы когда-то съ тобою, волюшка, разстанемся?“ Не замедляется и отвѣтъ на этотъ вопросъ: „Мы разстанемся съ тобою, волюшка, у Божьей церкви, у Божьей церкви да подъ златымъ вѣнцомъ, подъ златымъ вѣнцомъ да съ добрымъ молодцомъ!“.

Не всѣ, однако, поминаютъ весельемъ-радостью да волей вольною свою молодость. Нашептываетъ-подсказываетъ жизнь русскому народу и совѣтъ на иной ладъ сложившіяся пѣсни. „Ахъ ты, молодость, молодость!“—запѣваетъ иная пѣвунья голосистая: „Чѣмъ-то вспомнать тебя!“ И тутъ-же отвѣчаетъ себѣ:—„Вспомнать я молодость тоскою, кручиною, тоскою-кручиною—печалью великою!“ Въ Новгородской губерніи поетъ еще и теперь старинная пѣсня о томъ, какъ одинъ мужъ удалилъ отъ себя жену постылую, удаливши—самъ успокаивался. Начинается эта пѣсня укоромъ загубленной молодости:

„Ахъ ты, молодость моя молодецкая!
Не видалъ я тебя, когда ты прошла,
Когда ты прошла, миновалася...“

Виною въ этомъ — „худая жена, жена угрюмая, некорыстная“: „Ни продать жену, не промѣнять ее—что никому-то

она не надобна: ни брату, ни свату, ни товарищу“... Надумалъ онъ думу: „Какъ пойду-то я, добрый молодець, на конюшій дворъ („на сине море“—по иному разносказу), и куплю я, добрый молодець, новъ тесовъ корабль („смоленой корабль о двѣнадцати гребцовъ, тонкихъ парусовъ...“) посажу-ль на него свою жену боярыню: Ты прости, прости, можена боярыня!“ И вотъ,—продолжается пѣсенный сказъ: „коя рабля побѣжалъ, какъ соколъ полетѣлъ“... Одумался, вспокаялся добрый молодець: „Воротись ты, моя жена боярыня! Ужъ мы будемъ жить съ тобой лучше прежняго!“ Отвѣтъ жены въ новгородскомъ разносказѣ поется такъ: „Не кричи ты, мужъ, татаринъ злой! Намъ не жить съ тобой лучше прежняго!“, въ витебскомъ: — „Не порой солнце свѣтитъ, не по лѣтнему, не любить больше мнѣ мужа всё по прежнему!“

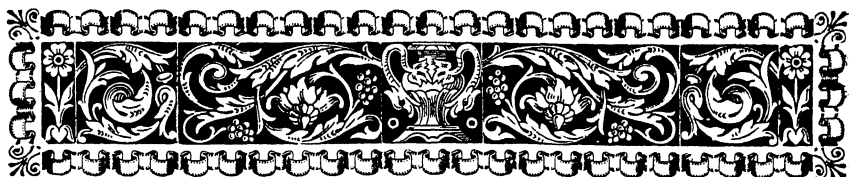
Яркія противоположенія между старостью и молодостью то-и-дѣло встрѣчаются въ пѣсенномъ народномъ словѣ. Но едва-ли не одно изъ самыхъ яркихъ представляется въ пѣснѣ — „Пойду, млада, по Дунаю“, занесенной И. П. Сахаровымъ въ его пѣсенное собраніе. „Пойду, млада, по Дунаю; ой-люли погуляю!“—начинается эта пѣсня: „Зайду, млада, во бесѣду; ой-люли, во смиренну! Во бесѣдѣ сидитъ старый; ой-люли постылый! На колѣняхъ держитъ гусли; ой-люли, лубяные! На гуслицахъ струны; ой-люли, мочальныя! Старой въ гусли заиграетъ; ой-люли, заиграетъ. Мое сердце ноетъ, ноетъ; ой-люли, занываетъ! Скоро ноги подломились; ой-люли, подломились! Бѣлы руки опустились; ой-люли, опустились! Ясны очи потупились; ой-люли, потупились!..“ Совсѣмъ иная картина открывается мысленному взору слушателя пѣсни—изъ второй ея половины, посвященной молодости. „Пойду, млада, по Дунаю; ой-люли, погуляю!“ „Зайду, млада, во бесѣду; ой-люли, во веселую! Во бесѣдѣ сидитъ молодой; ой-люли, мой любезной! На колѣняхъ держитъ гусли; ой-люли, звончатые! На гуслицахъ струны; ой-люли, золотыя! Молодой въ гусли заиграетъ; ой-люли, заиграетъ! Мое сердце радо, радо; ой-люли, взвеселилось! Скоры ноги расплясались; ой-люли, расплясались! Бѣлы руки размахались; ой-люли, размахались! Очи ясны разглядѣлись; ой-люли, разглядѣлись!..“ Эти двѣ картины говорятъ сами за себя безо всякихъ поясненій.

Недаромъ говорится — „Старый воронъ не каркнетъ мимо!“ Долголѣтній жизненный опытъ дѣлаетъ старыхъ людей вѣщими. Смотря на жизнь просвѣтленнымъ взоромъ сердца, вооруженные памятью—они, порою сами того не замѣчая, становятся—и не прибѣгая къ колдовству-волхвованью—знахарями. Каждый новый день, каждый шагъ говорятъ имъ все

больше и больше. Для нихъ перестаетъ быть тайною обступающая быть крестьянина-пахаря природа,—наоборотъ, каждое явленіе ея становится сроднившимся съ ними. Предсказаніе погоды, отъ которой такъ много зависитъ въ крестьянскомъ быту-обиходѣ, кажется старому хлѣборобу самымъ привычнымъ-обыкновеннымъ дѣломъ, — словно на крыльяхъ вѣтра слетаются къ „дѣду-всевѣду“ вѣсти о ненастьѣ, о ведрѣ, о грозахъ, о засушливой порѣ и обо всемъ, съ чѣмъ связаны хозяйственные тревоги-заботы земледѣльческой Руси.

Житейскія скитанія, сталкивающія съ многими-множествомъ разнородныхъ людей, мало-по-малу дѣлаютъ изъ засѣвающаго послѣдняго полосу своей жизни человѣка если не ворожею, то невольнаго угадчика. Достаточно иному старику окинуть совершенно незнакомаго ему собесѣдника однимъ бѣглымъ взглядомъ, чтобы знать, съ кѣмъ ему довелось имѣть дѣло. Большакъ семьи является и вершителемъ сельскихъ сходовъ, на которыхъ первый голосъ—по стародавнему завѣту—всегда принадлежалъ старикамъ. Они-же выбираются и въ судьи волостные, и въ ходоки—по важнымъ для всего деревенскаго міра дѣламъ. „У стараго человѣка глазъ тусклѣе, да совѣсть свѣтлѣе!“, „Старый нравъ—молодому костоправъ!“, „Старость—къ правдѣ ближній путь знаетъ!“—говорится въ народѣ. Старики являются на Руси хранителями всевозможныхъ завѣтовъ былого минувшаго. Они же—и памятливые сказатели всякихъ сказаній. Многія изъ этихъ послѣднихъ давнымъ-давно вымерли-бы, если-бы не собиратели, подслушавшіе ихъ изъ устъ отходившихъ на вѣчный покой патріарховъ деревни. „Пѣсни не знаетъ—нѣ-молодъ, сказки не расскажетъ—не старикъ!“—гласитъ народное слово.

Отработаетъ свою долю обзаведшійся внуками, поставившіи дѣтей на ноги дѣдъ; немощень станеть плотью.—начнетъ все больше и больше о душѣ думать. Влечеть-привлекаетъ старческіе помыслы страннической—во имя Божіе—подвигъ: принимается старъ человѣкъ пѣшешествовать по святымъ мѣстамъ. А иные даютъ подъ старость обѣтъ Господу—собирать на построеніе храма Божія и, благословясь, уходятъ изъ дому въ путь-дорогу, проторенную къ богомольному сердцу народной Руси. „Душа“ становится у начавшихъ заботиться о спасеніи ея людей все болѣе и болѣе властною надъ жизнью; все тѣлесное-земное отходить всторону, уступая мѣсто небесному-Божьему. Закатъ временной жизни близится къ озаренному лучами безсмертія разсвѣту вѣчности.



LXIII.

Вагробная Жизнь.

„Человѣкъ рождается на смерть, умираетъ—на жизнь“.⁷ Это крылатое народное слово не мимо молвится: оно вышло-вылетѣло на бѣлый свѣтъ изъ сокровенныхъ глубинъ стихійной русской души; мысль, одухотворяющая его, является отраженіемъ завѣтныхъ взглядовъ народа-пахаря—народа-сказателя, взглядовъ, на которыхъ зиждятся основы его міропониманія. Вѣра въ безсмертіе души человѣческой изстари вѣковъ была однимъ изъ главныхъ устоевъ, поддерживающихъ духовную жизнь народной Руси.

Еще въ до-христіанскія времена брезжилась хотя и блѣднымъ, но немеркнувшимъ, проблескомъ дневного свѣта надъ темной ночью языческаго суевѣрія эта мысль, вперявшая зоркій взглядъ въ далекую даль грядущаго. Какъ въ смутномъ-тревожномъ полуснѣ—грезилось пытливому сердцу славянина-язычника все то, что потомъ яркой зарею занялось надъ его головой—съ того дня, когда принялъ въ свои освященные молитвою воды Днѣпръ-Словутичъ крещавшуюся, по волѣ Владиміра—Красна-Солнышка, богатырскую и крестьянствующую Русь, еще за день за два передъ тѣмъ приносившую всѣ свои печали-тревоги къ деревяннымъ стопамъ златоусаго идола, поверженнаго во прахъ рукою князя-апостола и унесеннаго могучей рѣкою къ грознымъ днѣпровскимъ порогамъ—при кликахъ смущенной толпы: „Выдыбай, боже!“ Вѣрный сынъ Матери-Земли—русскій народъ еще въ младенческіе дни своего самостоятельнаго бытія—путемъ непрерывнаго общенія съ вѣчнымъ возрожденіемъ природы, обновляющей въ своей кажущейся смерти, дошелъ до созна-

нія того, что и человѣческое существованіе, являющееся лучшимъ цвѣтомъ красоть прекрасной вселенной, не могло и не можетъ не быть безконечнымъ.

Какъ проникъ дитя-человѣкъ въ эту тайну тайнъ мірозда-нія, какими глухими-извилистыми тропинками вышелъ онъ на этотъ прямой-свѣтлый путь,—покрыто туманомъ невѣдомаго. Но только шелъ этимъ путемъ богатырь-младенецъ,—какимъ поистинѣ былъ народъ русскій на зарѣ своей государственной жизни, — и самъ того не сознавая, къ побережью безпредѣльнаго моря Безконечности, надъ которымъ возсіяло для него пресвѣтлое солнце вѣры Христовой, проникшее своими лучами во всѣ потаенные уголки его младенчески-простой—хотя и затемненной-запуганной призраками грозныхъ преданій—жизни. Смутное представленіе о томъ, что бытіе человѣческое не ограничивается кратковременнымъ существованіемъ на землѣ, а безконечно продолжается за гранью смерти—въ таинственной области незнаемаго-невѣдомаго, встрѣтило желанный отвѣтъ въ новой, принесенной „изъ за теплыхъ морей“, вѣрѣ. Эта-послѣдняя нашла въ своихъ простодушныхъ послѣдователяхъ подготовленную вѣками постепеннаго саморазвитія плодородную почву, воспринявшую всю ея сущность и сроднившую ее—путемъ духовнаго перевоплощенія—со всѣми наиболѣе свѣтлыми сторонами былого-стародавняго. Древнее суевѣріе было слѣшкомъ жизненно, чтобы отпасть разомъ—подобно струпцямъ страшной болѣзни при исцѣленіи отъ нея; новая вѣра, воспринятая народнымъ духомъ, явилась слѣшкомъ всеобъемлющею и всепрощающею, чтобы отсѣкать отъ своего здороваго тѣла больные, но не наносящіе ему особаго вреда, члены. Къ тому-же, и самая болѣзнь,—какою представлялось блуждавшее впотьмахъ народное суевѣріе,—съ теченіемъ времени дѣлалась все менѣе и менѣе опасною для великаго дѣла возрожденія въ духѣ Истины могучаго въ своемъ подвижническомъ смиреніи и смиреннаго въ своемъ—что ни годъ, что ни вѣкъ—возрастающемъ могуществѣ народа-великана. Грозные призраки мало-по-малу становились все болѣе и болѣе кроткими и въ настоящее время уже не угрожаютъ своимъ присутствіемъ ничьему спокойствію. Цѣлый рядъ вѣковъ вѣрности новой вѣрѣ, прошедшихъ для народной Руси, продолжавшей въ большей или меньшей степени придерживаться суевѣрныхъ завѣтовъ старины стародавней, выработалъ у нея самобытные взгляды на жизнь и смерть. Взгляды эти слились съ основнымъ понятіемъ о безсмертіи духа человѣческаго и о безконечности существованія по ту сторону земной борьбы чувствъ и мыс-

лей, страстей и долга—борьбы темныхъ и свѣтлыхъ началъ, приводящей все и вся къ одному и тому-же порогу вѣчнаго слиянія съ Небесною Правдой, передъ которою безсильно все земное-преходящее. Переступивъ этотъ роковой порогъ, беспомощный передъ таинственными судьбами грядущаго сынъ земли становится ближе къ Небу.

Земная жизнь представляется воображенію народа-пахаря неоглядной нивою, по которой—смѣняя одна другую—проходятъ толпы святелей. Засѣваютъ они распаханную предшественниками ниву, а сами все идутъ да идутъ впередъ, скрываясь съ глазъ все надвигающихся и надвигающихся новыхъ святелей. Чтò посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ: какъ проведетъ свою земную жизнь, такое и воздаяніе получитъ святель жизненной нивы—„на томъ свѣтѣ“, за порогомъ смерти. „Съешь живучи, жнешь—умираючи!“—изрекаетъ простодушная мудрость народная, проникновеннымъ взоромъ вглядывающаяся въ повитую туманомъ невѣдѣнія, манящую къ себѣ и въ то же самое время пугающую своей таинственностью даль, отверзающую для однихъ врата райскаго блаженства, а для другихъ—открывающую муки ада. Многое-множество сказаній сложилось въ народѣ про эту даль—сказаній, причудливой вязью переплетшихъ христіанскія откровенія съ преданіями суевѣрной старины. Народное слово—этотъ чудодѣйный родникъ воды живой, самъ-собою выбивающійся изъ потаённыхъ нѣдръ жизни—запечатлѣло въ своей бездонной глубинѣ сказанія, отражающія въ себѣ многовѣковую работу мятущейся, сбивающей съ прямыхъ путей, но все-же неуклонно-неизмѣнно стремящейся къ свѣту, затемняемой, но не затемненной, стихійной души тяжкимъ житейскимъ сумракомъ прозорливой.

„Живъ Богъ, жива душа—моя!“—въ какомъ-то пророческомъ одушевленіи восклицаетъ русскій народъ-сказатель, для котораго—по его-же собственному изреченію—живое слово неизмѣримо дороже мертвой буквы. Смерть, представляющаяся мысленному взору людей иного духовнаго склада грознымъ чудищемъ, приводящимъ въ ужасъ своимъ приближеніемъ, для истинно-русскаго человѣка не такъ страшна. Преемственно связанный съ духовной жизнью отошедшихъ въ иной міръ родственныхъ ему по крови и по міровоззрѣніямъ поколѣній—русскій пахарь привыкъ встрѣчать смерть лицомъ къ лицу, безъ чувства особаго страха, благодаря тому, что въ немъ слишкомъ живуче яркое, какъ весенній солнечный лучъ, сознание, что это—лишь одинъ шагъ въ загадочную область вѣчнаго бытія. „Семи смертямъ не бывать, а

одной не миновать!“—говорить онъ] смотря прямо въ глаза роковой неизбежности, хотя тутъ-же и оговаривается, что: „На смерть, какъ на солнце, во всё глаза не взглянешь!“ Нравственная смерть, смерть духа—невпримѣръ страшнѣе для этого богатыря трудовой жизни, чѣмъ смерть, разрушающая тѣло. „Живому сердцу нѣтъ могилы!“—гласить живучая молвь народная, безъ крыльевъ перелетающая черезъ лѣса дремучіе, черезъ горы толкучія, то взвивающаяся—въ своемъ размахѣ—въ лазурную высь поднебесную, то—въ духовной тоскѣ-истомѣ—припадающая къ родимой груди Матери-Сырой-Земли.

Неизбѣжность смерти не повергаетъ простодушнаго русскаго святаго жизни въ уныніе. Знаетъ онъ и всякій часъ твердо помнить про то, что „отъ смерти не посторонишься“, что нѣтъ ничего на свѣтѣ „вѣрнѣе смерти“; но не забываетъ и о томъ, что „прежде смерти не умрешь“. Неизгладимо запечатлѣлась въ немъ вѣра сердца въ предопредѣленіе, гласящая, что „каждому человѣку своя судьба на-роду написана“. Смерть не страшна простецу-пахарю, какъ общее понятіе; но въ частности—онъ страшится смерти нечаянной, и одною изъ постоянныхъ молитвъ его является молитва о томъ, чтобы „привелъ Богъ помереть своей смертю“:—„Упаси Господь всякаго человѣка умереть безъ покаянія!“—испуганно отрещивается онъ отъ смерти „въ одночасье“. Смерть, по народному слову, у каждаго стоитъ за плечами („за порогомъ“—по иному разносказу); но умереть вдали отъ родныхъ, не выразивъ послѣдней воли, не обдумавъ положенія близкихъ, остающихся въ живыхъ, и—главное—не покаившись во грѣхахъ,—представляется въ кругу обступающихъ смерть явленій единственнымъ обстоятельствомъ, устрашающимъ духъ русскаго человѣка, который своею многолѣтнею жизнью-борьбой доказалъ воочию всему міру, что онъ—не изъ робкихъ.

Русскій человѣкъ всегда былъ сторонникомъ семейныхъ-родовыхъ началъ,—семьянинъ онъ и по самой природѣ своей. Потому-то и вылетѣло изъ его устъ глубоко трогательное по существу изреченіе: „Въ семьѣ и смерть—добро, на чужбинѣ и жизнь—худо!“ Родовой-общинный духъ сказывается въ другой, родственной съ этою, поговоркѣ: „На людяхъ—и смерть красна!“ Жизнь,—не особенно балующая пахаря-сказателя своими ласками, нашептала ему не мало такихъ, напимѣръ, красныхъ своею неумытной правдою крылатыхъ словъ, какъ: „Лучше смерть, нежели золь животъ!“ „Страховъ много, а смерть—одна!“ „Не столько смертей, сколько скорбей!“

„Горя много, а смерть одна!“ и т. п. Удаливость, порою смѣлое до дерзости, свойственное широкой душѣ, не любящей ничего недомолвленнаго-недодѣланнаго, на полдорогѣ никогда ни передъ чѣмъ не останавливающейся, слышится въ поговоркѣ: „Смерть русскому человѣку—свой братъ!“ Отсутствие страха передъ этимъ „своимъ братомъ“ и порождало изумлявшихъ миръ удалцовъ среди русскихъ солдатъ, бравшихъ неприступные города одной смѣлостью, орлами перелѣтывавшихъ непроходимыя горы, устилавшихъ мостившихъ путь своимъ братьямъ собственными костями. \Стыдъ-позоръ для истинно русскаго человѣка—хуже смерти. Это чувство не вымерло на Руси со временъ князя-язычника Святослава, обезсмертившаго себя обращеннымъ къ хороброй дружинѣ словомъ: „Ляжемъ костями! Мертвые срама не имутъ!“ Въ иныхъ случаяхъ смерть, въ представленіи русскаго народа, является даже благодѣтельницею: „Бога прогнѣвишь—и смерти не дастъ!“—замѣчаетъ по этому поводу непрестанно памятующая о смертномъ часѣ и „спасеніи души“ народная молвь.

Общій-неизбѣжный удѣлъ человѣчества—смерть не властна надъ живымъ духомъ, воспринимаемымъ отъ поколѣнія поколѣніемъ. У русскаго народа эта преемственная связь поколѣній проявляется особенно ярко и наглядно въ обычаяхъ, пріурочиваемыхъ къ поминовенію усопшихъ. \Изъ затерявшихся во мракѣ миновавшихъ вѣковъ языческихъ обрядовъ, объединенныхъ съ замѣнившими ихъ обрядами христіанскими, сложились эти обычаи, приросшіе къ сердцу народному. И не оторвать ихъ отъ этого свѣтлаго любовью сердца никакой новизнѣ, все сглаживающей-уравнивающей въ своемъ наступательномъ движеніи на пережитки сѣдой старины. \Съ незапамятныхъ временъ народная Русь окружала свой домашній очагъ духами-покровителями, въ которыхъ превращались упокоенные смертью работники жизненной нивы. Къ нимъ обращалась она встарину со всѣми своими печалами, не забываячи о нихъ и въ радостные-свѣтлые дни. Имъ приносилъ славянинъ-язычникъ домашнія жертвы. Языческое почитаніе-обоготовленіе предковъ, растворясь въ христіанскомъ отношеніи къ умершимъ, выдилось въ современное, сложившееся вѣками, общеніе съ покойниками. Цѣлый рядъ особыхъ поминальныхъ дней въ году, окруженный пестрой изгородью обычаевъ, до сихъ поръ—по добромъ завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ справляемыхъ во всѣхъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора, неогляднаго [слишкомъ краснорѣчиво говорить объ этомъ] трогательномъ, обвѣянномъ дуновеніемъ нездѣшняго-несказаннаго, (общеніи.) Простонародные поминальные обря-

ды-обычай въ одинъ голосъ свидѣтельствуя о томъ, что вѣра сердца въ русскомъ народѣ всегда беретъ верхъ надъ холоднымъ, недовѣрчиво относящимся ко всему, разсудкомъ; а также и о томъ, что могучій духъ кроткаго пахаря-хлѣбороба не только не страшится, но и не знаетъ себѣ, смерти, — словно возрождаясь къ новой и новой жизни при каждомъ любовномъ соприкосновеніи съ приобщившимися къ великимъ непостижимымъ тайнамъ загробнаго міра.

Поминовеніе родителей вмѣняется въ непремѣнную обязанность каждому человѣку; оскорбленіе ихъ памяти считается у русскаго народа за тяжкую обиду и въ то-же самое время—за великій грѣхъ передъ Богомъ. „Живъ—нашъ, померъ—Боговъ!“—говорится на Руси: „За мертваго нѣтъ заступы, кромѣ Бога!“ „Передъ мертвымъ не кичись: онъ сильнѣе живого!“ „Померъ: доброму—память, лихому—забвеніе!“ „Про мертваго не молви худа, Бога обидишь!“ „Мертвому одинъ судья—Богъ!“ „Живымъ—забота, мертвому—вѣчный покой!“ „Не бывать ни одному человѣку заживо въ царствѣ небесномъ!“ „Надъ каждою могилой—Святъ-Духъ!“ Немало и другихъ изреченій, окрыленныхъ вѣщою вѣрой сердца народнаго, ходитъ по-людямъ, изъ устъ въ уста передавающихся—среди позднихъ потомковъ раннихъ пращуровъ, видѣвшихъ въ своихъ предкахъ добрыхъ-свѣтлыхъ духовъ, домашнихъ боговъ-покровителей.

Смерть слыветъ въ народѣ „часомъ воли Божіей“. Благо-слови, Господи, помереть на родной сторонкѣ, въ свой часъ!“—возносится къ Творцу, не сотворившему смерти, простодушная молитва каждаго бѣдняка-бобыля, знающаго, что какъ бы ни гнала его, какъ бы ни издѣвалась надъ нимъ при жизни лихая мачиха-судьба, а умереть—такъ и ему любовно-ласково откроются материнскія объятія родной земли. Для добрыхъ и для злыхъ, для бѣдныхъ и для богатыхъ—для всѣхъ найдется мѣсто въ ея нѣдрахъ,—хотя и оговаривается посельщина-деревеньщина, что спознавшихъ съ нечистой силою лиходѣевъ „и земля не принимаетъ“. Находятся и теперь такіе дотошные всезнаи, что за вѣрное передаютъ розсказни о будто-бы не принятыхъ землею нераскаянныхъ злодѣяхъ.

У жизнерадостныхъ людей,—съ какими можно встрѣтиться всегда и вездѣ, если только повнимательнѣе приглядываться къ тому, что творится вокругъ да около—сложились свои поговорки-пословицы о жизни, о смерти и обо всемъ обступающемъ эти два явленія бытія человѣческаго. „Живой смерти не ищетъ!“—говорится въ ихъ кругу: „Умирать—не въ помирушки играть!“ „Кому жизнь не дорога!“ „Какъ жить ни

тошно, а умирать того тошнѣй!“, „Горько жить — горько, а еще-бы столько!“, „Смерть никому ни мила: ни богачу, ни бѣдняку, ни умному, ни дураку!“, „Приведи, Господи, пожить лишній часокъ, — на землѣ все милѣй, чѣмъ въ сырой землѣ!“ и т. д. На эти слова всегда готова у русскаго народа такая краснорѣчивая отвѣдь, какъ: „Бойся жить, а умирать не бойся: дольше жить — больше грѣшить!“, „Сколько ни живи, а умирать надо!“, „Всѣ тамъ будемъ: кто раньше, кто — позднѣе!“, „Царь и народъ — все въ землю пойдетъ!“, „Въ могилкѣ — что въ перинкѣ: не просторно, да улѣжно!“, „Одна смерть правдива!“, „Отъ смерти не бѣгай: все равно — не уйдешь!“, „Отъ жизни до смерти — одинъ шагъ!“, „Умеръ — Богъ, любя прибралъ!“ Да и не пересказать всѣхъ поговорокъ-присловій, какими обмолвилась словоохотливая, слова словомъ плодящая народная Русь о томъ, что неизбежнаго конца нечего бояться смертнмъ людямъ. „Жизнь — сказка, смерть — развязка, гробъ — коляска, покойна — не тряска, садись да катись!“ — можно заключить всѣ эти богатые изобразительностью слова прибауткомъ веселыхъ, легко смотрящихъ и на жизнь, и на смерть, краснобаевъ, руководящихся, при такомъ взглядѣ на столь важные вопросы — завиднымъ спокойствіемъ духа. „Смерть — злымъ, а доброму — вѣчная память!“, „Злому смерть, а доброму — воскресеніе!“ — говорятъ, хотя и не сходящіеся съ ними въ легкомысленности взглядовъ, но обладающіе тѣмъ-же драгоценнымъ качествомъ, болѣе строгіе, вдумчивые люди, проникновеннымъ взоромъ смотрящіе на жизнь человѣческую, искренно вѣрящие въ то, что смерть — „душѣ простор“.

Простонародныя загадки представляютъ жизнь и смерть двумя борцами, гляючи на которыхъ, нельзя разобрать: „кто бѣжитъ, кто гонитъ“. Смерть — въ устахъ людей, любящихъ перекинуться словомъ загадочнымъ — является столбомъ, поставленнымъ среди поля, который никто не обойдетъ, не объедетъ — „ни царь, ни царица, ни красная дѣвица“. Безчисленный рой разносказовъ этой загадки летааетъ по всему неоглядному приволью родины народа-сказателя. Въ устахъ рязанскихъ краснослововъ „столбъ“ замѣняется дубомъ, и загадка загадывается ибъ сколько на иной ладъ: „На полѣ на орднскомъ стоить дубъ таратынской, на немъ сидитъ птичка-вертяничка. Она хвалится-похваляется: отъ нея-де никто не уйдетъ — ни царь въ Москвѣ, ни король въ Литвѣ („ни царь Москвичъ, ни король Лукичъ“ — по иному разносказу)! Олонецкіе загадчики-отгадчики рисуютъ смерть премудрой совою, которая

сидить на корытѣ. „Не можно ее накормити—ни попами, ни дьяками, ни пиромъ, ни міромъ, ни добрыми людьми, ни старостами!“—говорятъ они. Въ симбирскомъ Поволжьѣ подслушана такая загадка про эту неизбѣжную вершительницу жизни: „Стоить древо; на деревѣ сидитъ голубь, а подь деревомъ—корыто; голубь съ дерева цвѣтъ щиплетъ, въ корыто сыплетъ,—съ дерева листь не убываетъ и корыто не наполняетъ!“... У олончанъ, вмѣсто голубя, дѣйствуетъ въ разносказѣ этой загадки орель—птичій царь. „Стоить столбъ“,—загадываютъ они: „на столбѣ—цвѣтъ, подь цвѣтами котель, надь цвѣтами орель,—цвѣты срываетъ, въ котель бросаетъ, цвѣтовъ не убываетъ, а въ котлѣ не прибываетъ!“ Эта загадка съ достаточной яркостью обрисовываетъ своеобразный взглядъ русскаго народа на мудрую хозяйственную распорядительность природы, уравнивающей убыль умирающихъ людей прибылью вновь нарождающихся. „Кто ниже Бога, а выше царя?“—спрашиваютъ о смерти пермяки-шадринцы. „На что глядятъ, про что вѣдаютъ да не знаютъ?“—перевариваютъ ихъ псковичи. „Какая загадка безъ загадки?“—подаютъ свой голосъ завязтые нижегородскіе говоруны: „Среди поля ухабъ, не проѣхать его никакъ: все третъ, все мнетъ и всѣ заертки рветъ!“, „Сидитъ птица на кусту, молится Христу, беретъ всяки ягодки—и спѣленьки, и зелененьки!“, „Зарѣжетъ—безъ ножа, убьетъ—безъ топора!“ и т. д.

Пестрая стая загадокъ про убивающее безъ топора чудище заключается—замыкается такимъ краснымъ сказомъ: „Летѣла птица орель, садилась на престолъ, говорила со Христомъ: — Гой еси, Истинный Христосъ! Далъ ты мнѣ волю надо всѣми: надь царями, надь царевичами, надь королями, надь королевичами! Не далъ ты мнѣ воли ни въ лѣсѣ, ни въ полѣ, ни на синемъ морѣ!“ Въ этой загадкѣ, дакъ въ зеркалѣ, отразился зоркій взглядъ народа—сказавша на безсмертную душу природы, возрождающейся съ каждою новой весною въ своемъ кажущемся зимнемъ умираніи.

По старинному, изъ глубины незапамятныхъ временъ дошедшю къ рубежу нашихъ дней, преданію, душа—покидая тѣло умершаго человѣка—не сразу разстается съ мѣстомъ земныхъ своихъ странствій. Въ продолженіе трехъ дней витаетъ она вокругъ покинутаго ею праха; то голубемъ—птицей летаетъ—вѣется вблизи покойникова дома, то—мерцающимъ огонькомъ—дрожитъ ночью надь кровлею, то бѣлой бабочкою бьется въ окно. До девятаго дня—нѣтъ ей покоя: все

еще не можетъ она позабыть о своемъ недавномъ обита-
лищѣ. Давно уже и погребенъ покойникъ, а въ домѣ по-
временамъ все еще чувствуется-слышится его незримое
присутствіе. Пройдутъ „девятинны“ со дня смерти, и душа
покидаетъ земные предѣлы — для новыхъ мытарствъ и
вплоть до самыхъ „сорочинъ“ (сорокового дня), когда ей
приходится идти на уготованное земной жизнью мѣсто —
или въ райскія селенія, или въ геенну огненную, на муки
вѣчныя.

Третій, девятый, двадцатый и сороковой дни, истекающіе
со времени смерти, являлись встарину освященными обыча-
емъ поминальными сроками; но мало-по-малу двадцатый день
сталъ опускаться, и поминовение ограничилось троекратнымъ
повтореніемъ. Съ послѣднимъ связано у благочестиваго люда
православнаго вѣрованіе о перемѣнахъ, совершающихся съ
почившимъ въ эти сроки загробной юдоли. Такъ, по сло-
вамъ строгихъ блюстителей прадѣдовскихъ повѣрій, на тре-
тій день измѣняется образъ покойника, на девятыя сутки —
начинаетъ разрушаться-распадаться тѣло его, въ сороковой—
ислѣвываетъ сердце. По свидѣтельству древней письменности
русскаго народа, на третій день по смерти приводитъ ангель-
хранитель освобожденную отъ тѣлесныхъ веригъ душу — на
поклоненіе Богу. „Яко-жь бо отъ царя земнаго послани бу-
дутъ воины привести нѣкоего и, связавше его, повѣдаютъ
ему повелѣніе цареву, трепещетъ же и держащихъ и веду-
щихъ его немилостиво къ путному шествію, аще и ангелы
отъ Бога послани будутъ поести душу человѣчу.“ По сло-
вамъ боголюбивой православной старины — если въ третины
будетъ какое-либо молитвенное приношеніе въ храмъ Божию
на поминъ души, то ей дается этимъ „утѣшеніе отъ скорби,
прежъ бывшія ей отъ разлученія тѣлеснаго, и (она) разумѣ-
етъ отъ водящаго ю ангела, яко память и молитва ея ради-
въ церкви Божіей принесена, и такъ радостна бываетъ.“ Съ
третьяго по девятый день ходитъ душа по мытарствамъ—съ
ангеломъ, показывающимъ ея просвѣтленному въ райскія
блаженства и адскія мученія. Настаетъ девятый день. И вотъ—
посѣщаетъ добродѣтельная душа мѣста совершенія ея доб-
рыхъ, угодныхъ Богу, дѣлъ; а грѣшную—ведетъ ангелъ по
путинѣ содѣянныхъ ею прегрѣшеній, возстановляя ихъ въ ея
памяти. Въ сороковой день приводитъ хранитель небесный
уходившуюся съ нимъ по мытарствамъ душу къ подножію
престола Господня—на послѣднее поклоненіе Творцу. Потому-
то и совершается въ этотъ день особо усердное моленіе объ
упокоеніи почившихъ рабовъ Божіихъ въ селеніяхъ правед-

ныхъ. „Добрѣ держитъ святая церковь, въ четырехдесятый день память сотворяя о мертвомъ!“—гласить объ этомъ поученіе святоотеческое.

Поминовеніе умершихъ никогда не ограничивалось на Руси однимъ молитвословіемъ Церкви: его всегда сопровождали особые поминальные столы, устраиваемые для всѣхъ родныхъ и близкихъ покойнику, а также и посильно щедрая раздача милостыни нищему люду, во множествѣ собирающемуся, безо всякаго зова, на похороны и поминки. Кладбища—священное мѣсто въ глазахъ всякаго русскаго человѣка—одно изъ любимыхъ дневныхъ мѣстопробываній нищей братіи въ многолюдныхъ городахъ. Здѣсь всегда перепадетъ на ихъ убогую долю поминальный кусочекъ и деньга - копѣйка. Въ поселской-попальной Руси,—гдѣ на кладбищахъ собирается народъ только въ извѣстные установленные обычаемъ дни, — нищие въ праздники толпятся въ церковныхъ оградахъ, у папертей, а въ будни бродятъ подъ окнами. „Кормилецы наши батюшки, милостивыя матушки, подайте святую милостыньку Христа ради!“—разливаются-плачутъ по подбѣконью умиленные старческіе голоса: „Родителямъ вашимъ царство небесное, а вамъ доброе здоровье! Роду вашему племени — домъ благодатный!“

Въ безсоновскую кошницу - сокровищницу духовныхъ стиховъ народныхъ занесенъ не лишенный своеобразной красоты „стихъ заукойный“, распѣваемый каліками-перехожими, бродячею Русью Христа-ради. „Господи, вспомяни славныя памяти родителій вашихъ, отцы ваши да мамы, Божа, вспомяни!“ — льется-журчитъ ручейкомъ, чуть-сочащимся по мелкимъ камушкамъ, заунывное пѣніе:—„Отцы ваши хресные, хресникамъ, хресницамъ, племянникамъ, племянницамъ, свекры, свекровки, диварья, золовки, во роду поколѣнія, во всемъ почитанія, при обѣдняхъ и при заутреняхъ, при церквахъ, при Божьихъ домахъ, за ясными свячами, за гласными звонами, за ѣствомъ херувимскимъ, за браными скатяртиями, за солодкими кутьями, за мягкими просвирами, за пахучимъ ладуномъ, заключенныхъ, полоненныхъ, въ войны посвяченныхъ, громамъ забивающихъ, молоньей палящихъ, на огню погорящихъ, на воды потопляющихъ, съ боку присыпующихъ, голодной смертяй помершихъ, которыи душачки бизъ попа помирали, въ Божой церкви не бывали, святого причастья не примали, вдовъ-ли сиротъ, бизпріютныхъ головъ,—въ чужи земли завядены, што некому поминать, по имени называть, на вспомянь души давать, вчисляя ихъ свѣтъ Христось во книги въ животныи, въ псалтыри въ суботни, въ грамо-

ты церковныя!“.. Стихъ кончается моленіемъ къ „свѣту Христу“: — „Доняси-жь ихъ, свѣтъ Христось, ты душачки до города Русалима, до царя Давыда, гдѣ Исаковы, Яковы мощи спочиваютъ! Дай, Божа, ты душачки во городи въ Русалими въ раю райавали, со святыми спочивали! Вѣчная имъ память, создай имъ, Божа, рай пресвѣтлой, зямельку легкую и царства небесная!“ Въ этомъ одноголосномъ-тягучемъ пѣснопѣннй явственно слышится порывъ православной русской души къ слиянію съ небеснымъ блаженствомъ, уготованнымъ для праведниковъ. Мѣсто земныхъ подвиговъ Сына Божія представляется темному люду самымъ близкимъ къ обители святыхъ угодниковъ. Потому-то и находитъ возможнымъ „рай райавати“ убогій стихопѣвецъ „во городи въ Русалими“.

Яркая картина смерти праведника и грѣшника воспроизведена народомъ-сказателемъ въ стиховныхъ-пѣсенныхъ сказаніяхъ о братьяхъ Лазаряхъ—убогомъ и богатомъ (см. гл. LIX). Такихъ-же „святыхъ ангеловъ, тихихъ, все милостивыхъ“ ниспосылаетъ Господь по праведную душу, какіе „вынимали (у Лазаря убогаго) душеньку честно и хвально, честно и хвально въ сахарны уста, да приняли душеньку на пелену, да вознесли же душу на небеса“... Къ смертному одру грѣшника, запятнавшаго свою порочную душу грѣхами нераскаянными, приходятъ—наоборотъ—„грозные ангелы—страшные грозные, немилостивые“: вынимаютъ эти посланцы гнѣва Божія грѣшную душу—также, какъ и душу Лазаря богатаго—„нечестно, нехвально, нечестно-нехвально, сквозь реберь его“, возносятся съ нею на небеса и оттуда низвергаютъ свою отягченную прегрѣшеніями ношу „во тьму глубоко, въ тое злую муку, въ геенскій огонь“.

Смерть представляется народному воображенію въ видѣ дряхлой старухи (или даже скелета) съ косою въ рукахъ. Старинная русская сказка обрисовываетъ этого косаря цвѣтовъ жизни человѣческой въ довольно смѣшномъ видѣ, что служитъ доказательствомъ живучести нашего смѣлаго народнаго слова, не задумывающагося даже передъ посягательствомъ на такую важную особу. Какъ и въ большинствѣ другихъ сказокъ—человѣкомъ, перехитрившимъ простофилю—Смерть, является завязатый носитель русскаго удалства—солдатъ. Умеръ воинъ христіолюбивый, и поставилъ его Господь на часахъ у входа въ пресвѣтлый рай,—ведетъ свою рѣчь эта сказка. Видитъ служивый: идетъ Смерть.—Куда идешь?—Къ Господу за повелѣніемъ, кого морить мнѣ прикажетъ!—Погоди, я спрошу!..—Пошелъ и услы-

шалъ желаніе Божіе, чтобы морила она самый старый людъ. Вспомнилъ солдатъ, что живы у него мать съ отцомъ,—жалъ стало ихъ, не передалъ онъ Смерти слова Господня, а сказалъ, чтобы шла она въ лѣса дремучіе и три года точила самые старые дубы. Заскрежетала зубами старая лиходѣйка, даже заплакала отъ досады, но повѣрила служивому, пошла выполнять переданное ей повелѣніе: ходила три года по лѣсамъ, три тода точила-грызла старые дубы,—воротилась за новымъ повелѣніемъ Божиимъ. Приказалъ Праведный Судіяморить ей молодой народъ; но солдатъ, у котораго были въ живыхъ молодые братья, передалъ приказаніе точить-грызть молодые дубы. Прошло еще три года, и на этотъ разъ (вмѣсто младенцевъ) пришлось обманутой служивымъ Смерти грызть-точить дубки малые въ теченіе новыхъ трехъ лѣтъ. Въ послѣдній день девятаго года идетъ Смерть, еле ноги волочить: „Ну,—думаетъ,—теперь хоть подерусь съ солдатомъ, а сама дойду до Господа. За что Онъ девять лѣтъ меня наказуетъ?“ Выслушалъ Вседержитель разсказъ Смерти, повелѣлъ солдату-обманщику девять лѣтъ носить обманутую на своихъ плечахъ. Носилъ-возилъ служивый старуху, уморился, вытащилъ рожокъ съ табакомъ, сталъ нюхать. Попросила понюхать и Смерть. „Полѣзай въ рогъ да и нюхай—сколько душъ угодно!“ Далась въ обманъ Смерть, а солдатъ захопнулъ табакерку да и за голенище, а самъ—на часы къ преддверію райскому, какъ ни въ чемъ не бывало... Нѣкоторые сказочники пересказываютъ конецъ сказки на иной ладъ. Велѣлъ,—говорятъ они,—Господь Богъ провинившемуся часовому откармливать Смерть орѣхами. Надоскучило солдату это занятіе, заспорилъ онъ со старухой: „Ты де-не влѣзешь въ пустой орѣхъ!“ Раззадорилась Смерть—влѣзла въ орѣховый свищъ, а служивый не будь дуракъ, взялъ да и заткнулъ дырку въ орѣхѣ, а орѣхъ спряталъ въ карманъ. Освободилъ Господь взмолившуюся къ нему заключенную, повелѣлъ ей уморить дошлаго солдата. И вотъ,—сказывается сказка,—сталъ онъ готовиться къ послѣднему концу, надѣлъ чистую рубашку и притащилъ гробъ. „Готовъ?“—спрашиваетъ Смерть.—Совсѣмъ готовъ!—„Ну, ложись въ гробъ!“ Полѣзъ солдатъ въ домовину—никакъ не можетъ улечься, какъ быть надо: то внизъ лицомъ, то на-бокъ ляжетъ. Проситъ онъ показать, какъ ложатся добрые люди въ гробъ,—ссылается, что никогда-де и не видывалъ, какъ помираютъ. Согласилась старая показать, что и какъ,—выскочилъ служивый изъ гроба, легла Смерть на его мѣсто, а дока-солдатъ захопнулъ крышку, стянулъ гробъ желѣзными обручами да

и закинуть его въ море. Освободилась изъ своей тюрьмы за-
маянная солдатомъ Смерть только тогда, когда бурей разби-
ло гробъ о каменныя скалы... Существуютъ и другіе разно-
сказы этой смѣшливой сказки, и во всѣхъ нихъ Смерть вы-
ставляется недогадливой - неповоротливой, недалекаго ума
старухой, а въ солдатъ-докъ воплощается пришедшаяся по-
сердцу — по нраву народу-пахарю прирожденная русская
сметка.

Не всегда, однако, относится съ такимъ легкомысліемъ къ
подгашивающей жизнь посланницѣ воли Божіей народная
Русь; — приходятъ ей на память подобныя сказки только подъ
веселую руку, въ беззаботный часъ, какіе далеко не такъ-то
часто выпадаютъ въ трудовой жизни, какъ это можетъ пока-
заться не вошедшему въ кругъ ея потовыхъ - страдныхъ за-
ботъ человѣку. Достаточно прислушаться хотя-бы къ двумъ-
тремъ изъ тѣхъ щемящихъ сердце, раздирающихъ живую ду-
шу причетовъ-плачей, какими еще и теперь провозають по
захолустнымъ селамъ-деревнямъ покойниковъ народныя пла-
кальщицы-вопленницы, — чтобы понять, какую скорбь-сму-
ту вносятъ смерть въ крестьянскую семью, какъ тяжело отзы-
вается ея приходъ на остающихся въ живыхъ. Нечего уже
и говорить о вдовахъ съ дѣтьми-сиротами! Недаромъ, прихо-
дя къ своимъ покойничкамъ во дни весеннихъ-„радоницкихъ“
и осеннихъ-прощальныхъ свиданій съ ними, припадаютъ онѣ
къ роднымъ могилкамъ, исходятъ на нихъ слезами горючими,
повѣряя лежащимъ во сырой землѣ свои жалобы горькія.
Многое-множество подобныхъ „воплей“ записано—сохранено
отъ забвенія собирателями памятниковъ живого народнаго
слова. Нѣсколько изъ нихъ уже было приведено въ предыду-
щихъ очеркахъ.

Наиболѣе ярко отразились представленія русскаго народа
о загробной жизни въ стиховныхъ сказахъ каликъ-перехо-
жихъ. Среди нихъ выдѣляется цѣлый рядъ, посвященныхъ
смерти, посмертнымъ мытарствамъ и Страшному Суду Бо-
жію; есть и воспѣвающие райское блаженство, являющее-
ся удѣломъ праведныхъ. Въ стихѣ „Плачь Адамовъ“, по-
ющемся-сказывающемся въ каждой округѣ на свой особый
ладъ, есть звучащее покаяннымъ словомъ народа - ска-
зателя мѣсто: „Оставимъ мы гордость, воспріемлемъ кро-
тость, возлюбимъ мы нищихъ, убогую братію, накормимъ
мы алчущихъ, напоимъ жаждущихъ, одѣнемъ мы нагихъ
своимъ одѣяніемъ. Тутъ намъ будетъ послѣдне свиданіе,
послѣдне прощанье! Прижмемъ мы руки къ сердцу, проль-
емъ ко Богу слезы, воззримъ мы на гробы“...—гласить

оно. Затѣмъ, нищѣ духомъ пѣвцы-сказатели восклицаютъ—
устаи плачущаго у двери потеряннаго рая прегрѣшивша-
го праотца людей:

„Гробы вы, гробы,
Превѣчны намъ домы!
Сколько намъ ни жити,
Васъ не миновати!
Тѣла наши пойдутъ
Во сырую землю—
Землѣ на преданье,
Червямъ на точенье.
Души наши пойдутъ
По своимъ по мѣстамъ“...

Вслѣдъ за этимъ вырывающимся у стихійнаго пѣвца-на-
рода изъ стремящейся къ вратамъ покаянiя, открытой вѣя-
нiю добра-свѣта, затуманенной сумракомъ мiрскаго зла,
души восклицанiемъ идутъ новыя покаянныя слова, кон-
чающiяся предвѣщанiемъ, что „на второмъ пришествiи ни-
что не пособитъ (грѣшникамъ), ничто и не поможетъ—ни
злато, ни серебро, ни цвѣтное платье, ни друзья и ни бра-
тiя; только намъ пособитъ, только намъ поможетъ слезы,
постъ и моленiе, и чистое покаянiе („... и святая милосты-
ня“, — добавляется въ другомъ разносказѣ-разнопѣвѣ сти-
ха)!...“

Человѣкъ, по словамъ стихопѣвца-народа, живетъ на зем-
лѣ—„какъ трава растетъ“; умъ-разумъ человѣческой—„какъ
маковъ цвѣтъ цвѣтетъ“; всякая слава земная представляется
также „цвѣтомъ“ браннымъ, какъ и самое бытiе земное-пре-
ходящее. „Съ вечеру человѣкъ въ бесѣдѣ здравъ и весель
сидитъ, а поутру человѣкъ той уже въ гробѣ лежитъ“, —
продолжаетъ народное пѣсенное слово и переходитъ къ даль-
нѣйшему воспроизведенiю картины лежащаго въ гробѣ.
„Ясны очи помрачались, и языкъ замолчалъ, руки-ноги онѣ-
мѣли“, — гласитъ эта сплетенная изъ словъ картина. Раз-
стающаяся съ тѣломъ душа напоминаетъ пѣвцу-сказателю
птеница, вылетающаго изъ гнѣзда на вольный просторъ. Вы-
летаетъ она и „приходитъ въ незнакомый мiръ“ и при этомъ
— „оставляетъ вся житейская попеченiя, честь и славу, и бо-
гатство маловременное: забываетъ отца-матерь, жену и чадъ
своихъ, преселяется во инъ вѣкъ безконечный“...} И вотъ, —
продолжаютъ убогiе пѣвцы, — видитъ преселившаяся въ вѣкъ
безконечный душа человѣческая „лица и вещи преужасныя“.
Прежде всего обступаютъ ее добрые ангелы, и „воздушны

духи темные“.— „Ты куда, душе, быстро течешь путем своим?“ — вопрошают ее первые: — „Ты должна по грѣхамъ своимъ оправдаться. Вспомни, какъ на ономъ свѣтѣ во грѣхахъ жила? Здѣсь грѣхами, какъ сѣтми, свивуть тя!“ Внемля словамъ ангеловъ, „вострепеталась“ грѣшная душа, кающаяся въ своихъ прегрѣшеніяхъ.— „Вы помилуйте, помилуйте, добрии ангелы!—“воскликаетъ она:— „Не отдайте мя, несчастную, въ руки злыхъ духовъ, вы ведите мя ко Господу къ милосердному! Я въ дѣлахъ своихъ при смерти успокаивалась, въ коихъ воленъ милосердный Богъ простить меня!“ За этимъ восклицаніемъ переносится просвѣтленный взоръ души человѣческой съ „того свѣта“ на „оный“, гдѣ справляется въ это-самое время вся погребальная обрядность.— „Вы же что, мои друзья и ближніи, и сродницы, обстояще гробъ и тѣло лобызаете?“—обращается къ стоящимъ вокругъ покинутого ею на землѣ тѣла кличъ смятенной души:— „Вы на что свѣщи и масло возжигаете? Не возжегъ бо я свѣтильника душевнаго. Вы на что меня водою обмываете? Не умылся я слезами предъ Господомъ. Вы почто меня во ризы свѣтлы облакаете? Не облекся я, живучи, во ризы свѣтлыя. Что-же въ ракахъ съ преподобными полагаете? Ихже образу житія не послѣдовахъ. Вы почто псалмы и пѣсни совершаете? Не воспѣлъ бо я, живучи, пѣсни духовныя. Что же въ церковь со свѣщами провожаете не возжегшаго свѣтильника масломъ милости?..“

Кличъ этотъ заключается послѣдней просьбою востоквавшей по добродѣтели кающейся грѣшной души:— „Раздѣлите мое имѣніе нищимъ-странникамъ!“ — просить-молить она:— „Ихъ молитвы, слезы теплыя послушаетъ Богъ и подастъ для ихъ прощенія грѣхомъ моимъ!“ За выполнение этой посмертной воли общаетъ плачущая-рыдающая душа и исполнителямъ великую награду: „...сами вы отъ Господа услышите“,—говоритъ она:— „Придите, благословленіи Отца Моего, вы наслѣдуйте уготованное царствіе со избранными святыми, Мнѣ спожившими!“ Въ этомъ кличѣ души, „преселившейся во инъ вѣкъ безконечный“, явственно слышится вдохновенный голосъ вѣры сердца народнаго.

Смерть представляется русскому человѣку путешествіемъ въ далекій невѣдомый край: потому-то и говорится вмѣсто „умереть“— „отойти (къ праотцамъ)“, а молитва, читаемая надъ умирающимъ, зовется „отходною“. Въ стародавніе годы на древнерусской языческой тризнѣ сжигали на свѣженасыпанномъ курганѣ, а иногда зарывали въ могилу любимаго

коня покойникова, чтобы онъ помогъ своему хозяину поскорѣе совершить тотъ путь, изъ котораго никто домой не возвращается. Еще и теперь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ кладутъ въ гробъ подорожный посохъ и новые лапти, все съ той-же цѣлью—облегчить умершему трудности предстоящаго путешествія. Далеко не легокъ этотъ путь! Пересѣкаютъ дорогу загробнаго путника не только овраги, горы и лѣса, но даже,—какъ говорить старинное преданіе,—рѣка огненная. Перевозить черезъ эту рѣку св. Михаилъ-архангелъ души праведныхъ, принимая ихъ, какъ любящая мать дѣтей—въ свои объятія. Грѣшники-же, не оставившіе по себѣ на землѣ добрыхъ дѣлъ, оглашаютъ берега этой рѣки напрасными воплями-стонами: не соглашается взять ихъ въ свою ладью грозный архистратигъ Господень. Много ихъ тонетъ въ волнахъ огненныхъ, погружаясь на дно—въ муки вѣчныя.

По другимъ-же сказаніямъ, эта рѣка „протечетъ съ востока до запада“ лишь предъ Страшнымъ Судомъ Божиимъ, вслѣдъ за которымъ наступитъ обновленіе міра. У Кирилла Туровскаго⁹⁴⁾ такимъ образомъ изложено это преданіе: „...огнь неугасимый потечетъ отъ востока до запада, поядая горы и каменіе и древа, и море иссушая; твердь же яко береста свертится, и вся видимыя сущія вещи, развѣе человѣкъ, вся отъ ярости огненной яко воскъ истаютъ, и згоритъ вся земля. И сквозь той огонь подобаетъ всему человѣческому роду пройти“... Дальнѣйшія слова древняго проповѣдника гласятъ слѣдующее: „...въ нихъ же суть нѣщии, мало имуще согрѣшенія и неисправленія, яко человѣци, понеже есть Богъ единъ безъ грѣха; да симъ огнемъ искушени будутъ, очистятся и просвѣтятся тѣлеса ихъ яко солнце, по добродѣтели ихъ: праведнымъ дастъ свѣтъ, а грѣшникамъ опаленіе и омраченіе. Прешедшимъ же имъ сію рѣку огненная си рѣка, по Божію повелѣнію, послуживше и отшедши къ западу, учинится во озеро огненное на му-

⁹⁴⁾ Св. Кириллъ Туровскій—русскій проповѣдникъ-писатель XII-го столѣтія, родился въ 1130-мъ году въ гор. Туровѣ. Постригшись въ монашество, онъ изучалъ творенія отцовъ Церкви, затѣмъ уединился въ башнѣ отъ всей братіи и отдался размышленіямъ. Первыми литературными трудами его были: „Сказаніе о черноризцѣмъ чину отъ ветхаго закона и новаго“ и „О подвигѣ иноческаго житія“. Слава о мудрости и святой жизни Кирилла дошла до великаго князя Андрея Боголюбскаго, и, по желанію послѣдняго, онъ былъ посвященъ во епископы туровскіе. Ему принадлежатъ множество поученій и до двадцати молитвъ („Молитвы на всю седмицу“ и друг.). Сочиненія его считаются современными богословами за перлъ краснорѣчія XII-го вѣка. Кончина св. Кирилла послѣдовала въ 1182-мъ году.

ченіе грѣшнымъ. Послѣ будетъ земля нова и ровна, якоже бѣ искони, и бѣла паче снѣгу, и потомъ повелѣніемъ Божиимъ премѣнится и будетъ яко золото, изидеть изъ нея трава и цвѣтїи много различїи и неувядающїи никогда же... и возрастутъ древа не яко видимая си суще, но выотою, лѣпотою, величествомъ невозможно есть изглаголати усты чловѣческими“...

Души умирающихъ младенцевъ, по вѣрованію народной Руси, не расходящемуся и съ ученіемъ Церкви, прямо идутъ въ царство небесное; но это только въ томъ случаѣ, если онѣ приобщились—путемъ крещенія—къ паствѣ Христовой. Некрещенные-же младенцы становятся, по словамъ народнаго суевѣрія, жертвою нежити-нечисти, — будучи обречены на вѣчное блужданіе надъ болотными трясиными въ видѣ подвластныхъ Водяному духовъ, проявляющихъ свое присутствіе дрожащими-мерцающими огоньками. Многіе изъ нихъ съ теченіемъ времени превращаются въ „кикиморь“, творящихъ волю нечистой силы. Другіе—суевѣрные на свой-особый ладъ—люди говорятъ, что становятся некрещеныя младенческія души русалками, — особенно, если мать утопитъ своего ребенка. „Мене мати породила, некрещену утопила!“ — звучитъ явственнымъ отголоскомъ этого повѣрья пѣсня русалокъ, распѣвавшаяся встарину на семицкихъ да на купальскихъ игрищахъ-гульбищахъ. „Приспанный“ (нечаянно задавленный во снѣ) ребенокъ также считается въ народѣ жертвою нечистой силы. По неписанному, подслушанному нашими народовѣдами, укладу русскаго простонароднаго суевѣрія, для избавленія души такого младенца отъ ея тягостной вѣковѣчной судьбы должна мать, совершившая этотъ невольный грѣхъ, простоять три ночи во храмѣ Божіемъ—въ кругу, очерченномъ рукою священника. Дѣлается-ли это гдѣ-нибудь въ настоящее время—неизвѣстно и даже сомнительно, чтобы дѣлалось; но сѣдая старина сохранила въ своихъ памятникахъ живучій слѣдъ этого суевѣрнаго обычая.

Еще болѣе тягостна загробная участь дѣтей, проклятыхъ своими родителями: нѣтъ имъ, по народному слову, отпущенія на томъ свѣтѣ, если не отмолятъ ихъ сами проявшіе. А отмолить проклятіе не такъ-то легко, какъ проклясть! Въ народныхъ русскихъ сказкахъ, записанныхъ А. Н. Леанасевымъ, есть любопытный владимірскій сказъ о „проклятомъ дѣтищѣ“. Жилъ старикъ со старухою,—начинается-заводится онъ,—и былъ у нихъ сынъ, котораго мать прокляла еще во чревѣ. Сынъ выросъ большой и женился; вскорѣ послѣ того.

онъ пропасть безъ вѣсти. Искали его, молебствовали объ немъ, а пропащій не находился. Недалеко въ дремучемъ лѣсу стояла сторожка; зашелъ однажды туда ночевать старичокъ нищій и улегся на печкѣ. Спустя немного слышится ему, что пріѣхалъ къ тому мѣсту незнакомый человѣкъ, слѣзъ съ коня, вошелъ въ сторожку и всю ночь молился да приговаривалъ: „Богъ суди мою матушку—за что проклала меня во чревѣ!“ Утромъ пришелъ нищій въ деревню и прямо попалъ къ старику со старухой на дворъ. „Что, дѣдушка“,—спрашиваетъ его старуха,—„ты человѣкъ мірской, завсегда ходишь по-міру, не слыхалъ-ли чего про нашего пропащаго сынка. Ищемъ его, молимся о немъ, а все не объявляется!“ Разказалъ нищій про то, что ему видѣть-слышать приключилось: „Не вашъ-ли (говорить) это сынокъ?“ Поѣхалъ, по его указанію, старикъ въ лѣсъ, заночевалъ въ сторожкѣ. И опять повторилось ночью то-же, что и раньше. Узналъ старикъ сына, кинулся къ нему: „Ахъ, сынокъ! Насилу тебя отыскалъ; ужъ теперь отъ тебя не отстану!“—„Иди за мной!“—отвѣчаетъ сынъ. Привелъ онъ отца къ проруби на рѣку, а самъ вмѣстѣ съ конемъ—въ прорубь. Только и видѣлъ его старикъ. Вернулся онъ домой, разказалъ старухѣ-женѣ, гдѣ живетъ ихъ дѣтище. На другую ночь мать-старуха заночевала въ лѣсной сторожкѣ и тоже—по словамъ сказки—ничего добраго не сдѣлала. На третью ночь пошла выручать своего мужа встосковавшая по немъ молодая жена. Опять пріѣхалъ въ урочное время добрый молодецъ; какъ запричиталъ онъ, молодуха и выскочила къ нему:—„Другъ мой сердечной, законъ неразлучной!“—говорить: „Теперь я отъ тебя не отстану!“ Привелъ ее мужъ прямо къ проруби. Не утратилась она: „Ты въ воду—и я за тобой!“—„Коли такъ, сними крестъ!“ Сняла, да и бросилась въ прорубь. Очутилась она въ большихъ палатахъ,—продолжаетъ близящійся къ концу народный сказъ. Сидитъ тамъ сатана на стулѣ, увидалъ молодуху и спрашиваетъ ея мужа:—„Кого привелъ?—Это мой законъ!—“ „Ну, коли это твой законъ, такъ ступай съ нимъ вонъ отсюда! Закона разлучать нельзя!“ Выручила жена мужа и вывела его на вольный свѣтъ,—кончаетъ простодушный народъ-сказатель.

„Всякая душа крещеная проситъ погребенія!“—говоритъ старинное русское изреченье. „Не похоронить—душу убить!“—вторитъ ему другое. Съ незапамятныхъ поръ считалось у насъ на Руси за великое богоугодное дѣло оказать помощь при погребеніи бѣднаго человѣка. Лишенные погребенія становятся, по народному повѣрью, вѣчными мучениками-ски-

тальцами. Блуждаютъ ихъ души по свѣту, пресмыкаются вмѣстѣ съ туманами по сырой землѣ; плачутъ онѣ кровавыми слезами, стонутъ тяжкимъ стономъ отъ своего безысходнаго горя великаго. Являются онѣ во снѣ близкимъ людямъ, — просятъ-молятъ ихъ о преданіи землѣ. Исполнится это ихъ желаніе — и скитальчеству конецъ, начало странствіямъ-мытарствамъ, общимъ для всѣхъ умирающихъ: вплоть до сороковаго дня послѣ погребенія, когда всякая душа приходитъ къ своему загробному предѣлу — или къ селеніямъ блаженства райскаго, или къ вѣчнымъ мукамъ.

Жизнь всегда казалась русскому народу драгоценнымъ даромъ Божиимъ. Посягающій на нее лихой человекъ является въ его глазахъ похитителемъ достоянія Господня, а потому и было убійство тяжкимъ грѣхомъ даже у языческой Руси. Но положительно противнымъ природѣ русскаго человѣка считалось самоубійство, — за этотъ тягчайшій грѣхъ лишалъ народъ-пахарь даже утѣшенія быть похороненнымъ на одномъ кладбищѣ съ близкими-родными, отводя для могилъ самоубійцъ лѣсные овраги и мочежины болотныя, всторонѣ отъ всякаго обиталища — и живыхъ, и мертвыхъ. По стариннымъ чешскимъ преданіямъ, душа самоубійцы превращается въ черную собаку и во все то время, которое онъ долженъ былъ прожить, если бы не наложилъ на себя рукъ, скитается по землѣ, чтобы — по минованіи этого срока — ввергнуться въ геенну огненную. Русское простонародное міровоззрѣніе хотя и не приравниваетъ самоубійцъ ко псу, но, тѣмъ не менѣе, осуждаетъ ихъ суровымъ судомъ, отказывая въ загробномъ общеніи съ близкими имъ по крови и по мысли. Могильники самоубійцъ окружаются призраками всякой темной силы, почему и слывуть „заклятымъ мѣстомъ“. Не видятъ эти мѣста ни поминальныхъ угощеній, не слышатъ ни причетовъ-плачей поминальщиковъ. Плачутъ надъ могилками самоубійцъ только облака-тучи, кропящія землю дробнымъ дождемъ; поетъ по нимъ панихиды, вопить надъ ними, только вѣтеръ буйный, облетая всѣ горы-долы свѣта бѣлаго, да воютъ, пробѣгая по сосѣднимъ буеракамъ сиромахи — волки сѣрые. Обходить деревенскій людъ поодаль эти заклятыя, оговоренныя суевѣрной памятью, мѣста, — ожидая отъ близости къ нимъ (особенно — ввечеру) всякаго навожденія.

Встарину было въ обычаѣ хоронить возлѣ проѣзжихъ дорогъ застигнутыхъ смертью въ пути. Еще и теперь можно встрѣтить не мало такихъ могилокъ, разбросанныхъ по неоглядной путинѣ свѣлорусскаго простора широкаго. „Гдѣ пролилась кровь убіеннаго — тамъ и погребай его!“ — вѣщаетъ

убѣленная мудростью старина. По ея слову, еще недавно соблюдался этотъ обычай въ среднемъ Поволжьѣ, на которомъ не мало тропинокъ-дороженекъ проложила обгагрившая кровью землю понизовая вольница, разбѣгавшаяся по обѣ стороны могучей рѣки—отъ воеводскаго разгрома, послѣ поимки Стеньки Разина—этого послѣдняго представителя русскаго ушкуйничества—сохранившася въ народной памяти съ очестливымъ именемъ „удалого Степана Тимоѣенча“. Считалось грѣхомъ переносить для погребенія на кладбища сраженныхъ въ дорогѣ стрѣлами грома небеснаго—убитыхъ молніей. И они находили себѣ вѣковѣчный покой тамъ, гдѣ были застигнуты „волей Божіей“. Но ни тѣ, ни другія могилки не внушаютъ прохожему-проѣзжему люду православному того суевѣрнаго ужаса, какой просыпается у него въ душѣ по сосѣдству съ могилами самоубійць.

Всѣ люди, по народному представленію, являются въ этомъ мірѣ странниками. Смерть настагаетъ ихъ тамъ, гдѣ ей указано Богомъ,—если только человѣкъ не поддастся—въ недобрый часъ—искушенію лукавому и не подниметъ самъ на себя руки, или не продастъ безсмертную душу свою лютому врагу спасенія рода человѣческаго—дѣволу. Конченъ земной путь; открыты врата новой—безконечной—жизни, столь радостной-отрадной для однихъ („ходящихъ по путямъ Божіемъ“) и столь горестной для другихъ—позабывавшихъ при земной жизни о Богѣ правды. Годы блаженства райскаго пролетаютъ, какъ мгновенія; мгновенія адскихъ мукъ кажутся годами. И такъ—до скончанія вѣковъ, до Страшнаго Суда Божія, о которомъ сокрушается народъ-стихотвѣецъ въ одномъ изъ своихъ стиховныхъ сказовъ:

„Плачу ся и ужасаю,
Егда онъ часъ помышляю,
Какъ придетъ Судія праведный,
Въ Божествѣ Своя славы,
Судъ справедливый судити
И страшный отвѣтъ творити!...“

Безчисленное множество разнопѣвовъ-разносказовъ стиха о Страшномъ Судѣ сложилось въ русскомъ народѣ. Поются-распѣваются они до нашихъ дней по всѣмъ уголкамъ боголюбивой народной Руси. Наиболѣе полный и связный изъ нихъ подслушанъ-записанъ Кирѣевскимъ въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи. Начинается онъ прямо съ покаянія: „Живали мы, грѣшныя, на вольномъ свѣту, пили мы ѣли, сами тѣшились, тѣлеса мы свои грѣшныя вынѣживали, грѣ-

ха много мы на душу накладывали, ничего мы душамъ добраго не уготовывали: за всё будемъ Богу нашъ отвѣтъ держать на страшномъ Христовомъ на пришествіи“. ! Затѣмъ, слѣдуетъ—продолжается исчисленіе грѣховъ: „Въ святую Божью церковь мы не прихаживали, святыхъ Божіихъ книгъ мы не слушивали, по писанному мы, грѣшныя, не вѣровали... Не имѣли мы ни среду, ни пятницу, святаго трехденнаго воскресенія, святыхъ годовыхъ честныхъ праздниковъ. Не имѣли мы у себя отца духовнаго, спѣсивые были—гордые мы немилостивые, до нищихъ до убогихъ неподатливые: за то-же мы Господа прогнѣвали, Владычицу Пресвятую Богородицу, Пресвятую Троицу присносущную, поклоняемую“... За покаяннымъ вступленіемъ идетъ рядъ вопросовъ, не всегда сопровождаемыхъ отвѣтами: „Да кто-же не слышалъ у насъ страху Христа, страху Христа, суда Божьева? Да кто-же у насъ во плоти взять у Христа? Во плоти взять у насъ Илья, Божій пророкъ, Илья, Божій пророкъ, и Онохъ, Божій пророкъ. Восходилъ же онъ на гору на Фаворскую, тогда онъ восходилъ, когда преобразился Господь съ преучениками своими, съ апостолами, показалъ Онъ ему, въ чемъ мука и рай и всякіимъ мѣста уготовленныя: гдѣ праведнымъ быть, гдѣ грѣшнымъ, гдѣ татыамъ быть, ворами, грабителями, еретиками, клеветникамъ, ненавистникамъ, гдѣ блудникамъ быть, беззаконнымъ рабамъ“... (Народъ-стихопѣвецъ точенъ—какъ и всегда—въ своихъ опредѣленіяхъ: „Татыи всѣ пойдутъ во великій страхъ“,—говоритъ онъ: „разбойники пойдутъ въ грѣзы въ лютыя; а чародѣи всѣ изыдутъ въ дьявольскій смрадь; а убійцамъ-то будетъ скрежетъ зубный; сребролюбцамъ-то будетъ несыпляющая червь, смѣхотворцамъ-груботворцамъ—вѣчная плачь, а пьяницамъ смола горячая...“ Вслѣдъ за этимъ—картина огненнаго обновленія природы, о которомъ уже упоминалось выше: „...протечетъ Сіонъ-рѣка огненная, отъ востока рѣка течетъ до запада: пожретъ она землю всю и камень, древесна и скотъ и птицу пернатую, пернатую птицу и воздушную. Тогда мѣсяцъ и солнышко потемнѣютъ, и небо засіяетъ, во свитки совется, и звѣзды спадутъ съ неба на землю, спадутъ онѣ, яко листья со деревьевъ. Тогда-же земля вся восколебается, всѣ ангелы Божіи преустроятся, завидѣвши страсти всѣ и ужасы. Сойдетъ съ небесъ Царица Владычица, Пресвятая Богородица, со престоломъ сойдетъ съ небесъ на землю; по Божьему все повелѣнію сойдутъ съ небеси святые ангелы, и снесутъ они Крестъ пресвятый Его, и поставятъ на мѣсто на Лобное; да гдѣ же претерпѣлъ Господь вольное распятіе. Потомъ снесутъ престоль Господень съ неба

на землю; тогда съ неба сойдётъ страшный Судія, страшный Судія, Самъ Исусъ Христосъ на свѣтоносномъ на облацѣ, и сядетъ Господь на престолѣ Своёмъ, да и будетъ судить живыхъ и мертвыхъ. Тогда убоится Его всякое созданіе, небо и земля и преисподенная, адъ восколыбнется. Тогда же, по апостольскому словеси, Ему поклонятся небесные и земные, и преисподенные"... Престолъ „Судіи праведнаго“ представляется воображенію народа-стихопѣвца окруженнымъ „полками архангельскими“. По правую руку отъ него стоятъ всѣ святые пророки, и мученики; по лѣвую—„многогрѣшныя съ самимъ сатаною, со угодники его“.—„Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ!“—вопіють послѣдніе.—„Вы, грѣшныя, беззаконныя рабы!“—отвѣтствуетъ имъ Господь: „Теперь плачете вы, молитесь, послѣднія слезы проливаете вы Мнѣ... А право глаголю, не знаю васъ! Отъидите отъ Меня, ненавижу васъ; сами вы себѣ мѣста уготовали, съ самимъ сатаною, со угодники его!...“ Какъ громомъ поражаетъ грѣшниковъ отвѣтъ Судіи праведнаго,—припадаютъ они „ко сырой землѣ“, принимаются плакать горько. Плачъ этотъ, по обычаю русскихъ пѣвцовъ-сказателей, выливается словами. Вотъ эти слезныя слова: „Горе намъ, грѣшнымъ, увы намъ, увы! Зачѣмъ, грѣшныя, мы на семъ свѣту родилися? Лучше бы намъ, грѣшнымъ, не родитися! Почто-же мы съ малешеньку не померли? Не слыхали-бы слова грознаго отъ страшнаго Судіи, Самого Христа, не потерпѣли-бы мы злой муки превѣчныя!...“ На этотъ „плачъ“ держитъ грѣшникамъ свое суровое слово перевозчикъ душъ праведныхъ—Михаилъ-архангелъ, которому и въ стиховныхъ пѣснопѣніяхъ убогихъ пѣвцовъ каликъ-перехожихъ дается народомъ то-же, что и въ другихъ сказаніяхъ, дерзновеніе передъ Господомъ Силь.—„О, вы грѣшныя, беззаконныя рабы!“—воскликаетъ онъ:—„На то было на вольномъ свѣту даны вамъ книги Божественныя: все въ книгахъ было написано, все въ книгахъ было напечатано, въ чемъ грѣхъ и въ чемъ спасенье, чѣмъ въ рай взойти, чѣмъ душу спасти и какъ бы избавиться отъ злой муки превѣчныя, и чѣмъ наслѣдовать вамъ царство небесное. Не будетъ Господь до васъ милостивъ за ваше житье самовольное! Сами вы себѣ мѣста уготовали съ самимъ сатаною, со угодники съ его!“ Еще бѣльшимъ страхомъ-ужасомъ отзываются эти слова въ смятенныхъ сердцахъ грѣшниковъ. Восплакались-возрыдали они пуце прежняго; но не тронули слезы-рыданія грознаго архистратига Божія, изрекающаго міру повелѣнія „Самого Христа“. И вотъ,—продолжается стихъ-сказъ,—повелѣлъ Господь вогнать всѣхъ грѣшниковъ въ огненную рѣку, по-

велѣлъ и берега рѣки надъ ними содвинуть, чтобы не было слышно стопа-скрежета. Услышавъ такое повелѣніе и въ то-же самое время завидѣвъ „прекрасенъ рай“, а въ немъ—„Пресвятую Матерь-Богородицу“, возопили „беззаконные рабы со воплею со великою“:—„Ой ты, наша, Заступница Госпожа Мать Пресвятая Богородица! Припади ты ко престолу, къ Судіи праведному со своими со слезамъ съ умильными за насъ, за грѣшныхъ, за убогихъ: чтобы до насъ Господи былъ милостивый, не послалъ-бы насъ въ злыя муки въ лютыя, прелютыя муки, злыя, превѣчныя, во тартарары преисподенныя!“ Обращаются грѣшники съ молитвою и ко всѣмъ святымъ, пророкамъ и мученикамъ,—чтобы припали и они съ мольбою о прощениіи „убогихъ-грѣшныхъ“ ко престолу Всевышняго, чтобы вывелъ ихъ Судія Праведный „на воленый на прелестный свѣтъ“. Обѣщаютъ они успокоаться и всегда идти по стопамъ Божиимъ. Не внемлетъ столь позднему покаянію („...Не есть во адѣ покаянія, не есть во адѣ исповѣданія!..“), — непоколебимъ въ Своемъ рѣшеніи Господь. Начинаютъ грѣшники прощаться со всѣмъ и всѣми. Это мѣсто сказанія дышетъ проникновеннымъ чувствомъ.—„Прости, наше утѣшеніе, прекрасенъ рай, простите наши райскія кущи!“—восклицаетъ скорбный хоръ грѣшниковъ:—Прости, нашъ Животворящій Крестъ, райское знаменіе... Прости ты, наша Заступница, Госпожа Матерь Пресвятая Богородица! Прости, нашъ страшный Судія, Самъ Іисусъ Христъ! Прости, нашъ Іоаннъ Предтеча! Прости, нашъ Михаилъ, архангелъ святой, простите всѣ ангелы, архангелы, херувимы и вся Сила Небесная. Уже намъ, грѣшнымъ, вашей славы не слышати“... Далѣе—прощаются грѣшники со всѣми святыми-праведными, „наслѣдниками Божиими“. Вслѣдъ за этимъ прощаніемъ идетъ слово грознаго Судіи, обращенное ко всѣмъ праведнымъ:—„Подите. Мои Христілюбимые, подите, отъ вѣку угодившіе Мнѣ; подите, святые Мои — праведные; подите, пророцы всѣ мученицы, подите, страстотерпцы, страстотерпницы; подите, пустынные жители! Скитались вы во горахъ, въ вертепахъ, во пустыняхъ, исправляли правила Божіи, исправляли вы Моего ради имени! Подите вы, страдальцы и мученицы: страдали вы Моего ради имени! Подите вы, апостолы, угодники Божіи, вы Мое въ мірѣ имя проповѣдали! Подите, наслѣдники вы Божіи, наслѣдуйте вы царствіе небесное! Моему царствію не есть конца!“... Стихъ-сказъ кончается краткимъ и спокойнымъ заключеніемъ повѣсти о Страшномъ Судѣ Божиимъ:

„Тогда исполнится слово пророческое:
Да исчезнуть отъ земли всѣ грѣшныя,
Съ шумомъ имъ будетъ скончаваніе,
Имъ же не быть здѣсь на земли,
Отъ вѣку вѣковъ...“

Въ это-же время—по другому сказанію,—„праведные возсіяютъ яко солнушко, радуючи, возвеселяючи, сами воспоютъ гласы ангельски...“ Такъ исполнится въ мірѣ правда Божія, предъ которою бессильно всякое земное могущество — по словамъ народа-пахаря, провидящаго за тьмою смерти свѣтъ жизни безконечной.

УКАЗАТЕЛЬ ПРИМЪЧАНІЙ.

- Августъ, импер.: 340.
 Александръ Ярославовичъ, вел. кн. 348.
 Алексій, св.: 177.
 Аркона, городъ: 21.
 Афанасьевъ, А. Н.: 9.
 Безсоновъ, П. А.: 8.
 Бретонцы: 309.
 Буслаевъ, Ѳ. И.: 11.
 Василий II-й, вел. кн.: 170.
 Венды: 109.
 Веселовскій, А. Н.: 514.
 Власій, св.: 149.
 Вятичи: 302.
 Георгій-Побѣдоносецъ, св.: 279.
 Гильфердингъ, А. Ѳ.: 639.
 Гостомысль: 577.
 Григорій Богословъ, св.: 15.
 Густинская лѣтопись: 226.
 Даль, В. И.: 45.
 Даміанъ, св.: 458.
 Димитрій Солунскій, св.: 445.
 Диоклетіанъ, импер.: 497.
 Длугошъ: 281.
 Довмонтъ, кн. псковскій: 102.
 Дровляне: 302.
 Елевзинскія таинства: 309.
 Забѣлинь, И. Е.: 100.
 Зоря, раст.: 41.
 Зосима, св.: 470.
 Илія, прор.: 338.
 Иллирійскіе славяне: 128.
 Ильмень, оз.: 73.
 Ильминскій, Н. И.: 96.
 Иннокентій, митропол.: 10.
 Ипатьевская лѣтопись: 34.
 Истоминонъ, Ѳ. М.: 366.
 Іосафъ, царевичъ: 478.
 Калайдовичъ, К. Ѳ.: 73.
 „Калевала“: 596.
 Карамзинъ, Н. М.: 575.
 Кирилъ, митропол.: 65.
 Кирилъ Гуровскій, св.: 698.
 Кирѣевскій, П. В.: 17.
 Климентъ, св. папа римскій: 78.
 „Коричная Книга“: 451.
 Костомаровъ, Н. И.: 304.
 Косьма, св.: 458.
 Крестовскій, Вс. В.: 379.
 Кроаты: 109.
 Левъ III-й, импер.: 429.
 Ложница солнца: 37.
 Максиміанъ, импер.: 630.
 Максимовъ, С. В.: 131.
 Матвѣевъ, А. С., бояр.: 519.
 Медьниковъ, П. И.: 441.
 Меря: 297.
 Меѳодій Патарскій, св.: 11.
 Мордва: 95.
 Николай-чудотворецъ, св.: 265.
 Новиковъ, Н. И.: 217.
 Нѣмецкая слобода: 262.
 „Нѣтовщина“: 456.
 Олеарій, Ад.: 167.
 Олегъ, кн.: 154.
 Павелъ, апост.: 316.
 Памфилъ, игум.: 302.
 Петръ Александрійскій, св.: 78.
 Петръ, апост.: 316.
 Писовыя Книги: 501.
 Радимичи: 302.
 Разрядныя Книги: 311.
 „Русская Правда“: 59.
 Рыбниковъ, П. Н.: 77.
 Савватій, св.: 407.
 Садовниковъ, Д. Н.: 179.
 Сахаровъ, И. П.: 42.
 Святополкъ I-й, кн.: 328.
 Сибирская язва: 334.
 Симеонъ Полоцкій: 519.
 „Синописецъ“: 437.
 Словаки: 36.
 „Слово о полку Игоревѣ“: 150.
 Снегиревъ, И. М.: 225.
 „Стоглавъ“: 212.
 „Судебникъ“: 500.
 Сѣверяне: 302.
 Тихонъ I-й, еписк.: 301.
 Фаминцынъ, А. С.: 167.
 Чуваши: 95.
 Шейнъ, П. В.: 411.
 Юрий Всеволодовичъ, вел. кн.: 102.
 Якушкинъ, П. И.: 13.
 Ярославъ I-й, вел. кн.: 102.
 Ѳеодоръ-Тиронъ, св.: 136.

Содержаніе.

стр.

Предисловіе	VII— XII.
I.	Мать-Сыра-Земля 1.
II.	Хлѣбъ насущный 19.
III.	Небесный міръ 32.
IV.	Огонь и вода 51.
V.	Сиве море 67.
VI.	Лѣсъ и степь 83.
VII.	Царь-государь 100.
VIII.	Январь-мѣсяць 109.
IX.	Крещенскія сказанія 120.
X.	Февраль-бокогрѣй 128.
XI.	Срѣтенье 143.
XII.	Власьевъ день 149.
XIII.	Честная госпожа Масляница 157.
XIV.	Мартъ-позимье 170.
XV.	Алексѣй—человѣкъ Божій 177.
XVI.	Сказъ о Благовѣщеніи 190.
XVII.	Апрѣль—продѣтній мѣсяць 198.
XVIII.	Страстная недѣля 209.
XIX.	Свѣтло-Христово-Воскресеніе 222.
XX.	Радоница—Красная Горка 241.
XXI.	Егорій-вешній 249.
XXII.	Май-мѣсяць 261.
XXIII.	Вознесеньевъ день 271.
XXIV.	Троица—зеленяя Святки 278.
XXV.	Духовъ день 285.
XXVI.	Іюнь-розанцвѣтъ 291.
XXVII.	Ярило 297.
XXVIII.	Иванъ-Купала 308.
XXIX.	О Петровъ днѣ 316.
XXX.	Іюль—макушка лѣта 323.

	<i>стр.</i>
XXXI.	Илья-пророкъ 333.
XXXII.	Августъ-собериха 340.
XXXIII.	Первый Спасъ. 351.
XXXIV.	Спасъ-Преображенъе 360.
XXXV.	Спожинки 365.
XXXVI.	Иванъ-Постный 373.
XXXVII.	Сентябрь-листопадъ 381.
XXXVIII.	Новолѣтје 392.
XXXIX.	Воздвиженъе 399.
XL.	Пчела—Божья работница 406.
XLI.	Октябрь-назимникъ 416.
XLII.	Покровъ-зазимъе. 426.
XLIII.	Свадьба—судьба. 433.
XLIV.	Послѣднїе назимнїе праздники. 445.
XLV.	Ноябрь-мѣсяцъ. 457.
XLVI.	Михайловъ день 468.
XLVII.	Мать-пустыня 475.
XLVIII.	Введенъе 489.
XLIX.	Юрій-холодный 495.
L.	Декабрь-мѣсяцъ. 503.
LI.	Зимнїй Никола 521.
LII.	Спиридонъ солноворотъ. 528.
LIII.	Рождество Христово 533.
LIV.	Звѣри и птицы. 546.
LV.	Конь-пахарь. 566.
LVI.	Царство рыбъ 583.
LVII.	Змѣи-Горынычъ. 601.
LVIII.	Злыя и добрыя травы 617.
LIX.	Богатство и бѣдность 633.
LX.	Порокъ и добродѣтель 652.
LXI.	Дѣтскїе годы. 667.
LXII.	Молодость и старость. 683.
LXIII.	Загробная жизнь. 697.
	Указатель примѣчаній. 721.

„БЫВАЛЬЩИНЫ“ Аполлона Коринфскаго

вышли въ свѣтъ *третьимъ изданіемъ*, дополненнымъ новыми стихотвореніями. Томъ въ 22 печатныхъ листа, отпечатанный (безъ предварительной цензуры) на лучшей альбомной бумагѣ большого формата.

47 пѣсенныхъ сказаній: Микула. — Бертрада. — Русалочья заводь. — Златоогненный двѣтъ. — Па. коврѣ-самолетѣ. — Потайный сказъ. — Бѣгство боговъ. — Измѣнница-жена. — Водяной. — Лада. — Бѣлбожичъ. — Суженый. — Подводная пустынь. — Старый ящикъ. — Горислава. — Царь снѣговъ. — Удаль. — Скоморошья потѣха. — Святогоръ. — Мара безумная. — Степь-уроцище. — Полонянкина коса. — Солнечные зайгрыши. — Изгой. — Пѣсня русалокъ. — Царевъ курганъ. — Сосѣди. — Вѣчные всадники. — Незванный гость. — Царевининъ мостъ. — Красная Весна. — Могила трѣихъ. — Доброгнѣва. — Два брата. — Князь-богоборецъ. — Несмѣяна-королева. — Перстень. — Чудище-Ложь. — Пиръ въ камышахъ. — Зависть Лихая. — Последній богатырь. — Безродная. — На плотяхъ. — Свѣтлояръ. — Калики-перехоже. — Чурило. — Елена-Краса.

25 „Нартинъ Поволжья“. — 43 очерка „Сѣвернаго лѣса“.

СПБ. 1900 г. Цѣна два рубля.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ имѣются въ продажѣ другія книги того-же автора:

1. „Пѣсни сердца“. Стихотворенія 1889—93 гг. Второе изданіе книгопрод. М. В. Клюкина. М. 1896 г. Цѣна (388 стр. in 12) въ перепл. 1 р.
2. „Черныя розы“. Стихотворенія 1893—95 гг. С. Петербургъ, 1896 г. Цѣна (294 стр. in 8) 1 рубль.
3. „Тѣни жизни“. Стихотворенія 1895—96 гг. С. Петербургъ, 1897 г. Цѣна (264 стр.) 1 рубль.
4. „Гимнъ Красотѣ“ и другія новыя стихотворенія 1896—98 гг. С. Петербургъ, 1899 г. Цѣна (316 стр. in 8) 1 р. 50 к.
5. „Вольная птица“ и другіе разсказы 1888—94 гг. („Вольная птица“. — „Поць шумъ дождя“. — „Любочка“. — „Мотя“. — „Тридцать кургановъ“. — „Домнино горе“. — „Она пришла“. — „Сергѣй Андреевичъ“. — „Неприятный случай“. — „Однимъ вечеромъ“. — „Просѣлкомъ“. — „Начало“.) С. Петербургъ, 1897 г. Цѣна (336 страницъ) 1 рубль.
6. „На ранней зорькѣ“. Сборникъ стихотвореній для дѣтей, съ многочисленными рисунками. Изданіе М. В. Клюкина. С. Петербургъ. 1896 г. Цѣна (150 стр.) 50 коп., въ папкѣ 65 коп. (печатаются второе изданіе).
7. „Старый морякъ“. Поэма Кольриджа въ стихотворномъ переводѣ Аполлона Коринфскаго, съ 41 иллюстраціями Густава Дорэ, 2-мя портретами Кольриджа, примѣчаніями его къ поэмѣ и біографіею. Роскошное изданіе in фоею. Изданіе второе, Ф. А. Югансона. Кіевъ, 1897 г. Цѣна 1 р. 50 к., въ переплетѣ съ золототисненіемъ 3 руб.
8. „Поэзія К. К. Случевского“. Этюдъ, С. Петербургъ, 1900 г. Изданіе П. П. Сойкина. Съ портретомъ и автографомъ К. К. Случевского. Цѣна въ художественно-исполненной обложкѣ 60 копѣекъ.
9. „Д. Н. Садовниковъ и его поэзія“. Сообщеніе, сдѣланное въ кружкѣ имени Я. П. Полонскаго. Изданіе П. П. Сойкина. Съ портретомъ Д. Н. Садовникова, грав. профес. Мате. Цѣна (112 страницъ) 50 коп.
10. „Пасха царя Аленскя“. Историческій разсказъ. Изданіе М. В. Клюкина, для народнаго и дѣтскаго чтенія. Цѣна (16 страницъ) 3 копѣйки.



Квитно-Основьяненко. Панъ Халевскій. М. 99 г. ц. 50 к.
Кнейль, С. Мое водоѣченіе. Цѣлебное лѣченіе болѣзней простой горячей и холодной водой. Съ 14 рис. и порт. автора. М. 97 г. ц. 50 к.
Кругловъ, А. В. Не герои. Очерки и разск. „Живыя души“. Т. I. М. 95 г. ц. 1 р.
— На чужомъ полѣ. Очер. и раз. „Живыя души“. Т. II. М. 95 г. ц. 1 р.
— Стихотворенія. М. 97 г. ц. 1 р. 25 коп.
Л. Н. Въ ожиданіи коронаціи. Вѣнчаніе русскихъ Самодержцевъ, перков. обрядъ корон. и подроб. описаніе 3-хъ корон. нынѣшняго столѣтія. Спб. 83 г. ц. 80 к.
Маминъ-Сибирякъ, Д. Въ глуши. Пов. и разск. М. 98 г. ц. 1 р. 25 к.
— Приваловскіе милліоны. Романъ. М. 97 г. ц. 2 р.
— Сибирскіе рассказы. Изд. 2-е М. 98 г. ц. 1 р.
— Горное гнѣздо. Изд. 2-е. Ром. ц. 1 р. 50 к.
— Осенніе листья. Очер. и разск. М. 99 г. ц. 1 р.
— Дикое счастье. Ром. М. 98 г. ц. 1 р.
— Въ дорогѣ. Очерки и рассказы. М. 98 г. ц. 1 р.
— Ранніе всходы. Ром. М. 99 г. ц. 1 р.
— Буянка. Пов. изд. 2-е. М. 99 г. ц. 50 к.
— Хлѣбъ. Ром. Изд. 2-е. ц. 2 р.
— Весеннія грозы. Ром. Изд. 2-е. ц. 1 р. 25 к.
— Около господъ. Пов. съ рис. ц. 1 р.
— Бурный потокъ. Романъ. ц. 1 р. 50 к.
— Падающія звѣзды. Изд. 2-е. Ром. ц. 2 р.
Марлитъ. Женщина съ рубинами (Яхонтовая діадема). М. 99 г. ц. 1 р. 50 к.
— Тайна старой дѣвы. Романъ. М. 98 г. ц. 1 р. 25 к.
— Имперская графиня Гизела. М. 98 г. ц. 1 р. 50 к.
— Въ домѣ Шиллинга. Романъ. М. 98 г. ц. 1 р. 50 к.
— Въ домѣ коммерціи совѣтника. Романъ. М. 98 г. ц. 1 р. 50 к.
— Вторая жена. Романъ. М. 98 г. ц. 1 р. 50 к.

— Эльза. М. 98 г. ц. 1 р. 50 к.
— Стелпная принцесса. Романъ. М. 98 г. ц. 1 р. 50 к.
— Совиный домъ. Романъ. М. 99 г. ц. 1 р. 50 к.
— Повѣсти и разск. ц. 1 р. 50 к.
Михеевъ. Художники. Очерки и рассказы. М. 94 г. ц. 1 р.
— Золотыя росыпи. Ром. 2 т. ц. 2 р.
Н. А. Какъ предупреждать и лѣчить дѣтскіе поносы. Подъ редакц. доктора О. В. Булюбаша. М. 97 г. ц. 20 к.
Нордау. Битва Трутней. Романъ. М. 99 г. ц. 1 р. 50 к.
— Душевные анализы. М. 99 г. ц. 50 к.
По, Эдгаръ. Баллады и фант. Перев. съ англійскаго К. Бальмонта. М. 95 г. ц. 1 р. 25 к.
Подпольскій. „Будни“. Очерки и разск. М. 95 г. 1 р.
Полевой. Клятва при гробѣ Господнемъ Рус. быль. ц. 1 р. 50 к.
— „Исторія Петра Великаго“. Съ порт. М. 99 г. ц. 2 р.
Потапенко, Н. „Не герой“. Ром. въ 2-хъ ч. Изд. 2-е. М. 97 г. ц. 1 р.
— „Одинъ“. Ром. Изд. 3-е. М. 97 г. ц. 2 р.
— „Смертный бой“. Ром. М. 97 г. ц. 1 р. 50 к.
— „Оксана“ и др. М. 97 г. ц. 1 р.
— „Записки молодого человѣка“. М. 97 г. ц. 75 к.
— „Живая жизнь“. Ром. Спб. 98 г. ц. 2 р.
— „Счастье поневолѣ“. М. ц. 2 р.
— „Новый“. Ром. М. 98 г. ц. 1 р.
— „Пѣшкомъ за славою“. М. 99 г. ц. 1 руб.
— „Два счастья“. Ром. М. 99 г. ц. 2 руб.
— Любовь. Ром. Изд. 2-е. ц. 1 р. 25 к.
— Великое въ маломъ. Ц. 1 р.
Пелино, Сильвіо. „Мои темницы“. Изд. 2-е. Съ рис. М. 99 г. ц. 1 р.
Прево, М. Послѣднія письма женщинъ. М. 98 г. ц. 60 к.
— „Тайный садъ“. Ром. М. 97 г. ц. 50.
— „Женскіе силуэты“. М. 97 г. ц. 75 к.
— „Мелкіе рассказы“. М. 98 г. ц. 75 к.
— О женщинахъ. Новыя письма. М. 99 г. ц. 60 к.